Григорий Водолазов

идеалы *и* идолы



мораль и политика

история, теория, личные судьбы

Григорий Водолазов

Идеалы *и* идолы

Мораль и политика:
история, теория,
личные судьбы



Москва 2006

Водолазов Г.Г.
В 62 Идеалы и идолы. Мораль и политика: история, теория, личные судьбы.— М.: Культурная Революция, 2006.— 864 с., ил.

ISBN 5-250-05999-6

Мыслители прежних времен (Сократ, Платон, Аристотель, Макиавелли, Кант) и наши современники (Эвальд Ильенков, Юрий Буртин, Лен Карпинский, Игорь Дедков, Игорь Клямкин) парадоксально встречаются друг с другом на страницах новой книги вице-президента российской Академии политической науки, доктора философских наук, профессора Григория Григорьевича Водолазова.

Оглавление

Незабвенному Эвальду Васильевичу Ильенкову
посвящает свое сочинение автор

Это не книга, Камерадо,
Тронь ее — и Человека тронешь…
Уолт Уитмен

введение. Эвальд (штрихи к портрету)

О человеке, которому посвящена эта книга

Первая встреча

Я ненавидел официальную советскую философию. Ее номенклатурных вождей, всех этих выучеников Института красной профессуры, этих, увешанных орденами и медалями, разукрашенных сталинскими премиями и всевозможными лауреатствами, невежд — циничных и наглых, выполнявших «историческую задачу» философских вертухаев, доносчиков, этих работников «философского отделения» ежовско-бериевского КГБ. Я презирал их прихлебателей, услужливо подгавкивающих им «шестерок». Меня тошнило от этого однообразного «философского» месива, переваливавшегося из одной книги в другую, из одной статьи в другую. Всё одним языком, одними формулами, одними клятвами в верности и одними, стандартными, проклятьями в адрес «неверных».

И потому, когда проф. Угринович (где-то на рубеже 1963–1964 гг. ведший у нас в МГУ философский аспирантский семинар) предложил к следующему занятию тему «Метод восхождения от абстрактного к конкретному» и порекомендовал в связи с этим почитать книгу какого-то «советского философа» Ильенкова, я с привычным презрением сказал себе: «Ну, уж нет. Обойдемся Гегелем и Марксом». Но ни у Гегеля, ни у Маркса не оказалось специального и систематического изложения сей проблемы. Чтобы по-настоящему разобраться в ней, надо было по меньшей мере пропахать четыре тома «Капитала», гегелевские «Феноменологию духа», Большую и Малую логики… Вот и пришлось, едва преодолевая отвращение, раскрыть книжку этого (как его?) Ильенкова.

И первую страницу книги, по привычной инерции, начал черкать красным карандашом, придираясь к отдельным словам и фразам — вот так сейчас и пройдусь по ней с кнутом да кистенем…

Но вдруг — о, чудо! Одна умная, красивая фраза, другая, третья — и я поплыл в этом потоке свежести, ума, красоты. Очнулся где-то в районе сотой страницы. Мой карандаш-кистень давно уже вывалился из рук и укатился куда-то под один из столов аспирантского читального зала (что на Моховой)…

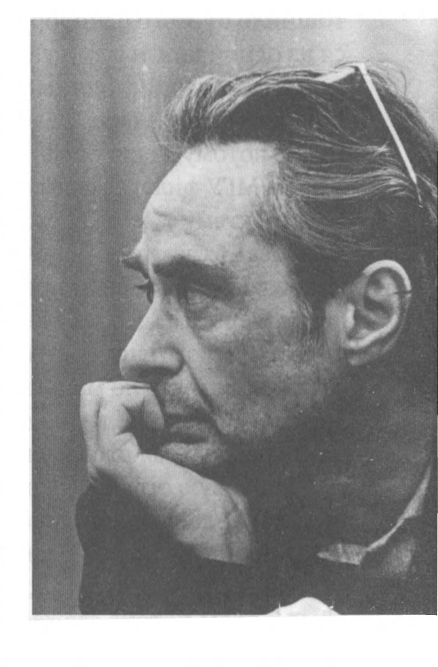
После моего двухчасового доклада на семинаре Дмитрий Модестович Угринович попросил меня остаться. Мы сидели с ним — дотемна — в маленькой, уютной университетской аудитории и говорили обо всём на свете.

«Хотите познакомиться с Ильенковым? — спросил он меня на другой день. — Вот его телефон, я ему о вас уже сказал. Он ждет вашего звонка».

Они были знакомцами по философскому факультету (учились ли на одном курсе, общались ли в аспирантском сообществе — сейчас уже не помню). Угринович был в высшей, в высшей степени порядочный, удивительно интеллигентный человек. И, наверное, именно эти, человеческие качества ценил в нём Ильенков.

И вот мы с Володей Хоросом (позвал я с собой моего университетского друга) — на Тверской (тогда — улице Горького) у Ильенкова, в его знаменитой комнате, заваленной книгами, рукописями — в шкафах, на шкафах, на полу, на стульях, креслах, диване, с огромным — в углу — ящиком-магнитофоном, смастеренным самим хозяином дома. И портреты — в редких просветах между книжными шкафами и за стеклами стеллажей. Запомнился портрет Гегеля — с холодным, пронзительным взглядом, с тяжелыми подглазными мешками на лице. Смотришь на него — и холодок бежит по спине.

Небрежно сунутая за стекло фотография самого Эвальда, тоже, как и Гегель, человека не от мира сего, с печатью абсолютной идеи на высоком челе. Только глаза — мягче и печальнее, и смотрят не на вас, не как у Гегеля — смущая и проницая вас, а — немного вниз, в задумчивости и печали. Дружеские шаржи на Эвальда, рисованные его друзьями: «Это — Сашки Зиновьева...»



Я — весь в классической немецкой философии. Грызу Канта и Гегеля, вчитываюсь в Фихте и Шеллинга. Володя Хорос, на год позже меня поступивший в аспирантуру, тоже потихоньку подключается. Я хочу отыскать главные, опорные точки этого высокого и холодного дома немецкой философии, я хочу ухватить расположение его «комнат», логику их переходов и взаимосвязей. Я хочу ухватить ту знаменитую гегелевско-марксовско-ильенковскую «клеточку» философских систем великих немцев, понять, как из этой «клеточки» постепенно вырастает всё остальное. Я хочу нащупать те основные нити, что связывают эти четыре философские системы в некое единство.

Пока же я довольно бессистемно плутаю по этому высокому и холодному дому. Не могу разобраться в расположении комнат, у меня всё рассыпается.

«Хорошо бы устроить философский самообразовательный семинар «на дому́». Скажем, раз в месяц мы приходим, Эвальд Васильевич, к вам и рассказываем, что прочитали, что и как поняли; вы — камертон: слушаете, при желании отзываетесь комментарием».

Ильенков сидит на кушетке: локти — на коленях, голова опущена на руки, густые, длинные, спутанные волосы почти закрывают его лицо, он смотрит в пол и ... молчит.

Наконец: «Ну что ж, давайте попробуем...»

... Нет, семинара, такого «Учебно-систематического семинара под руководством Ильенкова», не получилось. Побеседовали разок-другой по Канту, по «Критике чистого разума» — о том, как завязывается основной узел его логических проблем.

Говорил я, долго. Ильенков — опять в своей любимой позе: кушетка, взгляд в пол.

Слушал внимательно, не перебивая, никак — ни словом, ни жестом не реагируя. Дал выговориться до конца. Потом несколько добавлений, кратких замечаний и комментариев. Дал на дом что-то почитать, свое, рукописное. Позвал на научный семинар, в свой Институт философии.

Он завязывал другую, не «учебно-самообразовательную» форму общения: участвовать в научной жизни — в дискуссиях, выступать в печати, писать и обсуждать статьи, подключаться к каким-то реальным делам. Обучаться — в процессе всего этого.

Позвонил, например, «Юрке» Карякину: «Встреться, поговори, рекомендую...». Юра — молодой и горячий, полный революционно-преобразовательных планов. Этот не будет, как Эвальд, молчать, глядя в пол. Этот сам слова не даст сказать. За-го-во-рит! Рекомендация Эвальда для него, я это сразу, по откровенности разговора, понял — это всё, выше быть не может.

И вот уже — на квартире у Юры: Натан Эйдельман, Игорь Пантин, Евгений Плимак, Саша Володин. О, тут уже нешуточные страсти кипят: Октябрь, Ленин, Сталин (из презрения именуемый не иначе как «Джугашвили»), Советская власть, КПСС, кто виноват и что делать, в общем — «добро и зло, в свою чреду, — всё подвергалось их суду»...

С Эвальдом — «на ты»

Он на 15 лет старше меня. Он — уже признанный, «видный» философ, я — не имеющий ни одной научно-философской статьи аспирант (да еще не философской кафедры). Я не люблю фамильярности, бурсачества, я не люблю быстрых переходов на ноздрёвское «ты», тем более — с Эвальдом Васильевичем.

Но он мне позвонил: «Гриша, это — Эвальд. Можешь ко мне приехать?»

А потом — молодая, улыбающаяся, излучающая оптимизм и уверенность жена Эвальда, протягивая руку: «Оля!..»

Без кривлянья, совершенно как-то естественно и незаметно (как это мог обустраивать только Эвальд) перешли на «ты».

Для меня «Эвальд» звучало, как — «Гегель», а «ты» — как «Ты»!

Слёзы Эвальда

Видел дважды.

По телефону: «Эвальд! Добрый день!»

В ответ — потухший, надтреснутый, горем сломленный голос: «Да нет, не добрый... Саша умер». Это — бесконечно любимый и бесконечно ценимый Эвальдом Александр Иванович Мещеряков, доктор психологических наук, с которым они вместе растили, опекали знаменитую четверку слепо-глухих ребят. Я не видел никого, к кому Эвальд относился бы с такой трогательной, с такой нежной любовью — как к Александру Ивановичу, как к этой «четверке»...

Приезжаю: Эвальд — ничком на диване, лицом — в подушку...

И второй раз (современный, а тем более — молодой, человек будет, конечно, смеяться) — нападение американцев на Вьетнам.

Сквозь слезы:

— Оля! Отнеси мою дубленку в комиссионный...

Это он решил деньги вьетнамцам переслать. Кроме дубленки, у него нечего было ни заложить, ни продать. Московские же зимы он готов был проходить в демисезонке.

Защита докторской



«Странный человек Григорий Александрович: в одиночку на дикого кабана ходил, а форточка в доме хлопнет неожиданно — вздрогнет и побледнеет» — это Максим Максимыч о Печорине.

Эвальд не раз выходил в одиночку против философских кабанов, откармливаемых, поддерживаемых и поощряемых официальным партийно-философским руководством. Он был несгибаем духом. Но его тело, его вдрызг расшатанная нервная система — годами войны (всю прошел — до Берлина!), переживаниями за других, унижаемых и оскорбляемых, травлей, которую вела против него всякая философская нечисть, — едва выдерживали это напряжение постоянного противостояния (вот тут-то, между прочим, и выручала его иногда рюмочка-другая портвейна, снимавшая физический, телесно невыносимый стресс).

И на защиту докторской шел синий, с бледными, вздрагивающими губами: знал, что придут несколько розовощеких философских хамов мужского и женского пола и, по поручению свыше, будут пытаться терзать и дергать его всякими подлыми вопросами. Он не боялся их, ему была противна, отвратительна мысль о встрече с ними, о соприкосновении с ними. Он много

бы дал, чтобы избежать этого, чтобы не видеть их и не слышать — даже ценой отказа от защиты. Но жена, но друзья — настояли, и чуть ли не под руки повели.

Зал на пятом этаже Института философии был набит. «Как на концерте Лемешева», — острил нежно любивший Эвальда Михаил Александрович Лифшиц. Эвальд был бледен, еле держался на ногах. Но говорил — прямо, твердо, не увертливо — что думал и как думал. Тут-то и вылезла «кабанья стая». И среди их «вопросов» был особенно подло-коварный: «Ваша диссертация посвящена проблемам диалектики. Ну, а что нового здесь у вас по сравнению с трудами Маркса?» О, эти «кабаны», хорошо натасканные на травле мелких зверят! Вот попробуйте ответить на этот их вопрос. Если скажете: «Вот что у меня нового по сравнению с Марксом...», то тут вы и попались: «Ага, вас Маркс не устраивает, вам Маркс недостаточен? Вот вы и раскрыли свою суть. Мы же всегда говорили, что вы не марксист...» и т.д., на сто ладов.

А если вы, в стремлении избежать подобных поклепов, ответите, что нового по сравнению с Марксом у вас ничего нет, то вы снова — в ловушке, только теперь в другой: «Ага, так у вас ничего нового нет? Всё это уже есть в философии? Так за что же вы требуете себе докторскую степень?»

Помню ответ Эвальда: «По сравнению с вами и вашими друзьями у меня всё новое. По сравнению с Овсянниковым (автором неплохой — по тем временам — книжки о Гегеле) у меня меньше нового. По сравнению с Лифшицем у меня нового еще меньше...».

И — председательствовавший (симпатизировавший Эвальду Копнин): «Я думаю, ответ Эвальда Васильевича удовлетворил всех...»

Это все-таки было время, когда дряхлели сталинские соколы и ястребы, теряли свое, прежде безраздельное, влияние, а молодая и средневозрастная, ценившая Ильенкова, философская гвардия уже заполняла собой сектора, отделы и ученые советы Института философии. В общем, Ильенков благополучно защитился.

Ильенков и Лифшиц

Где-то в начале 60-х я отнес Игорю Виноградову (зав. отделом критики в «Новом мире» Твардовского) две свои статьи, написанные, что называется, «от души». Одна — про «Нравственность и революцию» (о том, что безнравственность в политике не может быть оправдана никакими «высокими» целями, что безнравственные средства неизбежно дают безнравственный результат, что «безнравственность ведет к контрреволюции» — с весьма прозрачными намеками на сталинскую «контрреволюцию», разрушившую гуманистическое содержание исходных социалистических принципов), другая — «Суд над судьями» (по поводу суда в Нюрнберге над нацистским режимом — в связи с только что прошедшим тогда на наших экранах фильмом Стэнли Крамера — и тоже с постоянными перекличками, касающи-

мися отношения к сталинскому режиму, его творцам, активным деятелям и мелким пособникам). Виноградов передал их Лифшицу (высшему тогда для него авторитету) на «экспертизу»: «Стоит ли с вами иметь дело?» — улыбаясь, объяснял он мне впоследствии. Лифшиц, по прочтении, заверил, что — стоит, и исписал поля и обороты страниц рукописи многочисленными комментариями.

«Прочтите и сотрите!», — сказал он мне после беседы в его симпатичной, эстетически оформленной квартирке на Ленгорах.

Эвальд, знакомый с моими статьями, узнав о комментариях Лифшица: «Приезжай, покажи».

Приехали с Володей Хоросом. Володя читает вслух. Обсуждаем. Эвальд: «Лифшиц, как теоретик, выше Плеханова... Не стирай ни в коем случае!»

Я послушался Эвальда...

Лифшиц тяжело болен, — в каком-то подмосковном санатории. Звонок Эвальда: «Поехали, навестим старика. И заодно Вальку Толстых проведаем. Он — там же, с тяжелым инфарктом; беда: молодой, а уже готовится к разговору с всевышним...»

Проговорили с Лифшицем целый вечер. Никогда не видел Эвальда таким оживленным, таким разговорчивым. Никогда не видел и Лифшица (обычно ироничного и саркастичного) таким нежным, таким ласковым; светились глаза — когда он смотрел на Эвальда.

Оба они пережили Эвальда. Лифшиц, выдающийся Лифшиц, учитель и друг Лукача, писавший в основном о великих — о Сократе, Платоне, Гегеле, Марксе, не счел зазорным написать фундаментальный философский труд о своем младшем, безвременно ушедшем, современнике — Эвальде Ильенкове. И тем, по сути, поставил его в тот, великий, ряд.

А Валентин Иванович Толстых, слава Богу, уклонился тогда от «встречи с всевышним» и до сих пор — проводя блистательные научные семинары и издавая книги, посвященные Ильенкову, поддерживает в наше смутное время огонь Большой Философии, зажженный когда-то Эвальдом.

Саша Суворов

Взволнованный звонок Эвальда. Просит срочно поехать — поговорить с Сашей Суворовым. Эвальд уже говорил с ним, но «хорошо бы — чтобы еще кто-нибудь... Как бы он с собой что-нибудь не сотворил...»

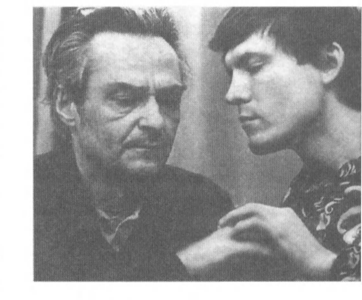
Саша — один из той самой, знаменитой, четверки слепоглухих ребят.

Познакомился я с ним и его друзьями за год до этого. Эвальд попросил меня прочитать им университетский курс философии. Что-то у них там с прежним преподавателем не заладилось. Наташа Корнеева — на одной из лекций — поднялась и покинула аудиторию: «Я на эти лекции ходить не буду...».

Просьба Эвальда была, понятно, знаком серьезного доверия: он тщатель-

но ограждал ребят от нежелательного общения. Вместе с Александром Ивановичем он вел их по жизни с самого раннего детства — и вот, о, чудо! — они студенты (!) психологического факультета МГУ(!).

Славные, симпатичные, талантливые ребята: голубоглазый красавец Саша Суворов (точь-в-точь — артист Ивашов из «Баллады о солдате»), поэт, тонкая, эмоциональная, эстетическая натура; остроумный, ироничный, улыбчивый Юра Лернер, между прочим, мастер скульптурных портретов — у него хорошо «видящие» руки; сосредоточенный, немногословный, очень серьезный и глубокий Сережа Сироткин — легко, лучше всех схватывал и распутывал самые сложные места из гегелевской «Науки логики» и марксова «Капитала»; и — гибкая, тоненькая, нежная (былиночка!) и всегда почему-то печальная Наташа Корнеева.



Мы садились за большой стол. Передо мной — вмонтированная в него пишущая машинка, соединенная проводами с какими-то штукенциями, стоявшими перед каждым из четырех моих собеседников (спасибо умельцам — студентам-физикам, пришедшим на помощь психфаковской четверке!). Я на машинке выстукиваю ребятам свои лекции, а у них из каких-то там ячеек выскакивают буквы азбуки для слепых — так, пальцами они и «слушают» меня.

Я сказал — «лекции». Нет, не совсем так. Это были беседы с активным участием в них ребят. Они выступали: для меня — голосом (педагоги, скромнейшие и потрясающе самоотверженные люди, опекавшие ребят, научили их говорить!), параллельно — для друзей — выстукиванием на тех штукенциях, где азбука для слепых. Так мы общались.

У меня особая метода преподавания, особый тип собеседования. Мой курс философии — это цепочка проблем, это узловая линия вопросов. Если уж заходит речь об «основном вопросе» философии, то он и должен сохранять статус основного **вопроса**, а не превращаться в основной **ответ** (как то было в прежних учебниках). И чтобы, например, Беркли или Кант не выглядели (как у авторов тех же учебников) слабоумными дурачками, выдвигавшими какие-то нелепые положения, которые элементарно — парой фраз — опровергаются. В моем курсе они были **великими** мыслителями, ставившими **великие** проблемы, решение которых далеко не просто и далеко не очевидно и по сей день.

Эвальд — частый гость на наших беседах. Садится в уголочек, в кресло, и внимательно наблюдает за ребятами. Иногда не удерживается и становится участником дискуссии.

Особенно заинтересованно и ретиво движется по нашим цепочкам проблем и вопросов Саша. Когда же я, в стиле древних наставников, слегка подталкиваю его мысль, и мы выбираемся, наконец, из проблемного «болота» на какую-то более или менее твердую почву «ответов» — он в волнении поднимается и ... гладит меня по голове — неплохо, дескать, она тут сработала. А когда он удовлетворенно и успокоенно откидывается на спинку стула, я

подбрасываю огонек сомнения в найденное решение — оно оказывается, увы, не полным, не окончательным, не совершенно бесспорным, появляются какие-то новые, усложняющие дело, нюансы, разворачивается вырастающая из нашего «полуответа» новая цепочка проблем... И конца этому не видно. Саша бывал доволен подобным процессом движения: вопрос — ответ — полуответ — новый вопрос — и т.д. А вот Наташе такая «зыбкость» бывала мучительна. Ей хотелось поскорее почувствовать твердую почву под ногами: вот вопрос — вот ответ! Она была готова ждать один-два-пять уроков, но когда-то же этот твердый, этот «окончательный» ответ должен же быть получен.

— Когда, Григорий Григорьевич?

— Никогда, Наташа. В этом специфика философского знания.

Да, это интересно, да, это, в общем-то, понятно, но это и ... мучительно — постоянно «выдерживать (как любил говорить Эвальд) напряжение противоречия».

За новогодними (и другими) праздничными столами (где — Кедров, Мещеряков, Эвальд) ненавязчиво продолжалось интеллектуальное воспитание наших подопечных. Я — Наташе, рифмованный экспромт:

Не смотри на проблемы косо,
Не спеши снимать с философии пенки.
Ведь ответов на все вопросы
Не знают ни Кедров и не Ильенков.

И дальше, что-то вроде:

Не вешай, Наташа, нос.
Вот тебе мой совет:
Лучше хороший вопрос,
Чем не очень хороший ответ.

... И вот этот взволнованный звонок Эвальда.

Саша — в депрессии. Сидим с ним на кушеточке в коридоре их общежития. Его, сухие, горячие, ладони в моих руках (я уже навострился «говорить» их «пальцевым» языком):

— Вы нас развиваете: Гегель, Маркс, Лермонтов, Блок... Зачем?.. Вы развиваете в нас высшие человеческие потребности. Зачем?... Я же инвалид, полный. Я не могу их реализовывать. Вы понимаете, что вы готовите трагедию?

— Нет, Саша, всё не так. Твои проблемы — проблемы не «инвалида», а — развитого, интеллигентного, нравственного человека в непростых условиях социального бытия. Печорин, Саша, не был «инвалидом», и — Лермонтов, и Достоевский, и Есенин, и Маяковский... Твои духовные мучения, твои искания и метания — в основе своей такие же, как и у нас, зрячеслышаших — как у меня, Володи Хороса, многих моих университетских друзей, как у Эвальда Васильевича, в конце концов. Мы ведь еще сталинское время застали, Саша.

Время особенно чудовищного расхождения высоких слов и грязных, кровавых дел. Нам было легко разобраться? Нам, никаким не «инвалидам», было легко нащупать достойную дорогу в жизни? Вам же еще чертовски повезло, дорогой мой Сашуня: с вами, с малых лет,—Мещеряков, Ильенков, Кедров. С вами, по их рекомендациям,—книги лучших умов России и мира. У нас не было таких наставников, мы блуждали духовными сиротами во тьме кромешной. Нам и сейчас не намного легче, Саша. Так давай вместе будем думать, вместе читать, сообща взбивать «лапками» молоко в темном высоком бидоне—авось собьем кусочки масла, авось оттолкнемся от них—и выпрыгнем на свет божий. Вспомни, как выбирались, выкарабкивались люди из платоновской «Пещеры»...

Саша протягивает руку и ... гладит меня по голове.

Обещание

Позвонил Витя Арсланов: «Умер Эвальд Васильевич...»

Это обычная история: всегда беспечно думаешь—у нас вечность в запасе, еще вместе столько дел понаделаем...

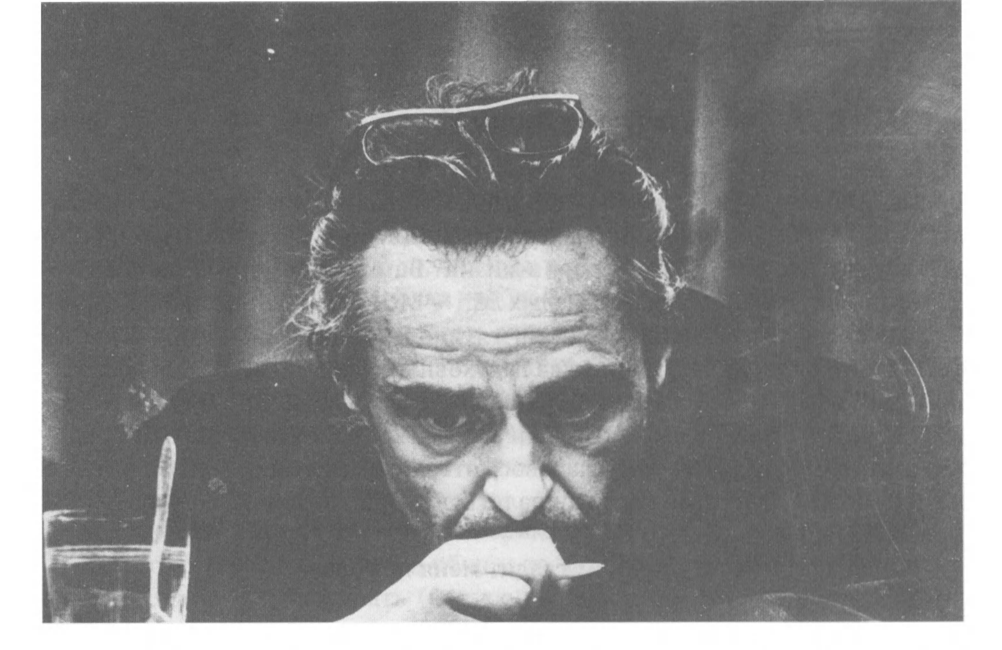
Эвальд мне предложил написать совместную работу. Ему Политиздат заказал книгу, посвященную 70-летию со дня выхода в свет «Материализма и эмпириокритицизма» Ленина.

«Я возьму вопросы диалектики,—предложил Эвальд,—а ты—социальные проблемы». Это была увлекательная задача: Ленин—против левацких проектов перекройки мира, против волюнтаристских программ заталкивания людей в «рай» дубиной. Тут была возможность показать отличие ленинской методологии (умеющей прислушиваться к действительности и, получая сигналы от реальной жизни, менять принципы и маршрут движения: НЭП—наиболее впечатляющий пример этого) от методологии сталинизма (с ее абсолютизацией насилия, с ее ставкой на то, чтобы ломать хребет непокорной, неподчиняющейся реальности). Мы много с ним говорили обо всём этом, писали друг другу записочки (я иной раз страниц по 20–25 накатывал), уточняя наши подходы и концепции.

Но я не успевал подготовить свою часть к сроку—уж очень сжатые они были, эти сроки. Эвальд подгонял: «Ну, у тебя же всё основное есть—в “Диалектике и революции”, в “От Чернышевского к Плеханову”, в записках твоих...»

Нет, не получалось быстро. Не все концы у меня сходились с концами. Где-то внутри было ощущение, что всё—и с Лениным тоже—обстоит сложнее, чем это представлялось прежде. Но, видно, к осмыслению и изложению этих «сложностей» я еще не был по-настоящему готов.

— Эвальд, дорогой! Давай поступим так: ты издавай свою, диалектическую, часть, а через год-два мы сделаем второе издание—с моим дополнением... Обещаю...



...Сейчас, четверть века спустя после тех наших разговоров, я написал эту книгу, которую и рассматриваю, как в определенной степени исполнение моего «обещания». Моя книга по названию перекликается с книгой Ильенкова «Об идолах и идеалах». Я умышленно допустил эту перекличку — дабы подчеркнуть преемственность наших размышлений. Но замыслы, но акценты наших сочинений — разные. Эвальд Васильевич сосредоточился на обрисовке и защите социальных Идеалов (выработанных выдающимися, близкими ему по духу, мыслителями) и критике противоположных им проектов социального устройства (которые квалифицировал как «Идолы»). Меня же интересует другое, а именно — как Идеалы (да, да, те самые прекрасные Идеалы, которые защищал Ильенков и которые, в принципе, вместе с ним готов защищать и я), как, повторяю, эти **Идеалы** — в процессе их реализации (или даже — теоретической конкретизации и прояснения) оборачиваются вдруг отвратительными, коренным образом отличающимися от исходных устремлений, **Идолами** и возможно ли избежать этих, гнетущих разум и сердце, превращений.

Реквием

Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек. За мною всюду
Как тень он гонится.
А.С.Пушкин. Моцарт и Сальери

Я всё-таки хочу понять — почему так получилось? Объяснений-то много. И таких, и этаких — всяких. Но меня не устраивает ни одно.

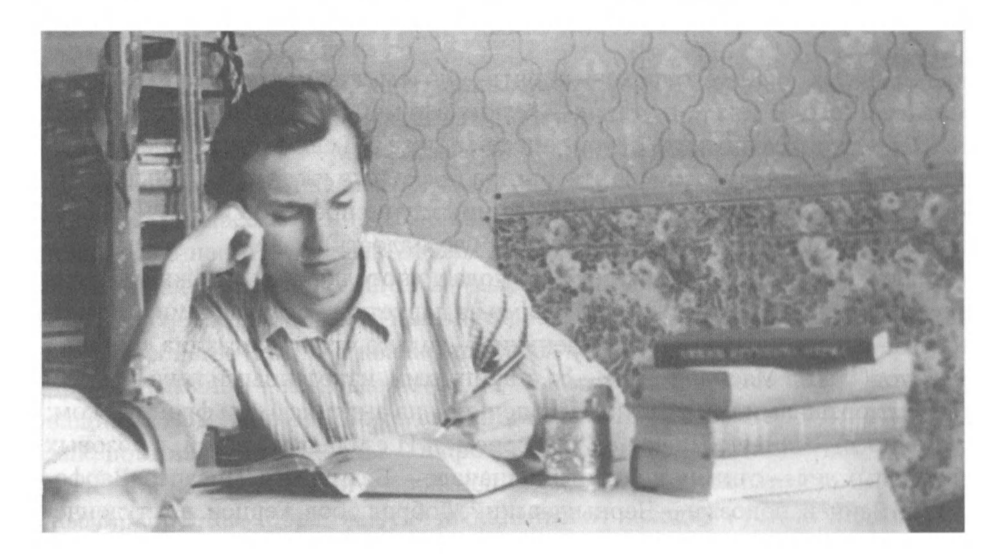
И — мучительно жить с этой занозой в мозгу. И еще мучительней сознавать, что вот так и уйдешь из этого мира (а сколько уж там, на донышке-то, осталось?) — ничего не поняв, ничего никому не прояснив (ну хотя бы немного, ну хотя бы чуть-чуть, ну хоть самую малость).

Вон они стоят, шкафы книг, — от пола до потолка. Вон они, книги, — на креслах, стульях, диванах, в углу (прямо на паркете) — с закладками, с пометками — бисером — на полях. Новенькие — только что из магазина «Библиоглобус» (что на Мясницкой) и — со старинными, изъеденными пылью и временем корешками. Иноязычные стопочки — на английском и французском; немецких — меньше (ибо — со «словарем»). И с младых ногтей, с розовых школьных лет — с ними и над ними: вначале — Белинский, Писарев, Варфоломей Зайцев, попозже — Чернышевский, Добролюбов, Герцен, во студенчестве — Плеханов, Маркс, Ленин, Грамши; потом туда, на Запад, опираясь на плечо Эвальда (Ильенкова) — к Гегелю, Канту, Фихте, Спинозе. Вместе с Гефтером — лениниана: всё — Ленина, о Ленине, вокруг Ленина, — начиная с его экономических тетрадочных рефератов начала 90-х, с полемик с Федосеевым, с Туганом, Михайловским, Струве, и дальше, дальше — по страницам всех этих горячечных споров с Плехановым, Мартовым, Богдановым, Каутским, Бернштейном, Розой…

Двигаясь то по классическим магистралям, то по дорожкам и едва различимым от пыли времен тропкам, отбегая в сторону и плутая там, в нехоженных местах, где давно уже не ступала нога человека, — раздвигая книжные заросли и расширяя освоенное пространство. Гаман, Якоби — кто знает сегодня этих теоретиков «непосредственного знания», современников Канта и Гегеля! А я стоял у могилы Гамана (на Берлинском кладбище) и рассказывал, рассказывал о нём его удивленным соотечественникам. Да это **я** и могилу-то его нашел, да не нашел — открыл! — очищал рукавом плаща (а, черт с ним, с плащом-то, не жалко!) от непроглядной ржавчины старинные крес-

ты, что вокруг гегелевской могилы, и на одном — едва проступило: Гаман. Господи! Вот встреча! Так это — Вы, дорогой г-н Гаман, с которым я так часто и так много беседовал в своем юношеском философском реферате? Здравствуйте!..

А уж Марксову-то делянку пропахали, перелопатили так, что местечка нетронутого не осталось. «Капитал»-то, «Капитал» изгрызли как — каждая строчка на зуб испробована. И все подготовительные рукописи, конспекты, письма-записки, все его — даже мельчайшие — значочки на полях чужих книг просмотрены десятки раз. А его «экономические рукописи» (то, что потом стало знаменитым 46-м томом его Собрания сочинений) — новый, неизвестный нам Маркс; не случайно так долго таили от нас эти его сокровища — они же разбивали в пух, в прах, насмерть этот чертов «реальный социализм».



И пока не было их перевода — ночами напролет, со словарем, ползали (вместе с Генрихом Батищевым) по этим его Тетрадям (Грундрисам), придирчиво различая разные там Энтойсерунги (переводимые Генрихом как «Овнешнение») от Энтфремдунгов («Отчуждение») и видя в этом, открытом нами различии, глубочайший смысл. Через лупу рассматривали его знаменитое определение сущности человека как «совокупности всех общественных отношений». «Да, не «совокупность»! — орал, сверкая красными от бессонницы глазами, Генрих. — А — «ансамбль»! Смотри: у Маркса в оригинале — именно «ансамбль»!». И из этого «уточненного» перевода, из этой жутко принципиальной разницы (не «совокупность», а «ансамбль»!) рождались ряды новых удивительных, далеко идущих философско-социологических «открытий» — и всегда просто убийственных для существующего политического режима.

Милый, славный, чудной, прекрасный Генрих! Спустись Оттуда к нам хоть на минутку, ведь, у вас Там наверняка многое видится яснее. Помоги, Генрих!..

И в спецхран проникали. Для современных необразованных «дикарей» поясняю: спецхран — специальное хранение книг в Ленинке на 4-м этаже, там хранились (вернее сказать, томились — как люди в концлагере) всякие «вражеские» книги. Выдавали их — по особым ходатайствам научных учреждений — тетеньки и дяденьки здоровой чекистской закалки. Конспектировать эти книженции было нельзя; впрочем, нет — можно, но тетради с конспектами — оставлять у этих тетенек и дяденек; а коли так, то на кой черт тогда конспектировать? Так вот, подлезали мы под эту спецхрановскую колючую проволоку, изощряясь во всевозможных хитростях и изворотах. Берешь бумагу в деканате: «Товарищ... будет заниматься критикой современных буржуазных концепций». Так, дайте мне для этой самой критики Троцкого, Бухарина, стенограммы съездов партии, закрытых Пленумов ЦК, дайте-ка этих заклятых врагов марксизма Каутского и Бернштейна, подайте сюда этих подлых ревизионистов Лефевра и Лукача, а ну-ка — Маркузе и Сартра (чтоб им пусто было!).

— А зачем вам Троцкий? Это же не ***современные*** и не ***буржуазные*** концепции.

— Ну, он имеет отношение...

— Всё ко всему имеет отношение. Мы позвоним в ваш деканат, выясним...

— Ну, ладно, не надо Троцкого.

— А этот вам зачем? А тот?...

Но все-таки кое-что удавалось выцарапать. Доставали, читали, пересказывали друг другу. Сегодня у Лена Карпинского сбор: Сережа Воробьев доложит — «Вебер о бюрократии», а совсем юный Володя Миронов прочитает своего «Че Гевару» — звонкий романтический манифест о жизни, принесенной на алтарь нравственности и свободы. А завтра мы с Володей Хоросом навестим Эвальда в подмосковном санатории. И на заснеженных, осиянных морозным солнцем полях Подмосковья Эвальд расскажет нам, почти наизусть, свой любимый роман — Оруэлл: «1984» (конечно же, непереведенный, конечно же, подпольный).

В общем чахли — как царь Кощей над златом — над книгами. Впрочем, пардон, «чахли» — это не совсем точно. Это надо поправить — хоть это и несколько удлинит и без того растянутое вступление. И всё-таки удлиню. Не пожалею для этого двух-трех дополнительных фраз. Не исключено, что в конечном счете может быть, именно это «вступление» и окажется для читателя более полезным, содержательным и интересным, чем «основная часть», ибо я не знаю еще, какой будет «основная часть» и удастся ли мне в ней написать что-нибудь путное. А тут — живая жизнь, приметы времени, от кого их еще узнает следующее за нами поколение?.. Так вот, «чахли», повторяю, — это не совсем то. Это нас какими-то «книжными червями» представляет, какими-то отшельниками с землисто-серыми лицами. А мы были — кровь с молоком.

И был футбол: любовались стелющимися по зеленой траве, волшебными пасами голландца Круифа, замирали, следя за по-кошачьи мягкими финтами бразильца Пеле, легко оставлявшего позади на лужниковской поляне нашего



отечественного кумира Валерия Воронина. Да и сами — с криками, стенаниями, руганью — гоняли мяч по ленгоровским университетским лужайкам.

И была музыка: не угодно ли послушать дуэт из «Севильского»: я — Альмавива, Хорос — Фигаро: «Притвориться, будто пьяный, будто пьяный вы солдат! — Будто пьян я? — Да, синьор мой. — Но что ж потом, что ж потом, что-о-о-о ж потом?..»... Во время международного молодежного фестиваля (57-й год) двинули не куда-нибудь, а к знаменитому итальянскому тенору Тита Скипа. С изящно (как казалось) нацепленными бабочками (знак светскости и аристократизма!) вваливаемся в 9 утра в номер удивленного — еще в пижаме! — и крайне раздраженного нашим неожиданным появлением маэстро («аристократам» и «светским львам» и в голову не пришло, что не худо бы предварительно оповестить заморскую знаменитость о своем визите); а Сашка Джиоев (красавец-осетин, фанат итальянской оперы) был даже уверен, что прямо там, в номере, маэстро споет нам — «Мы его заставим!», -- хорохорился Сашка. Не получилось, не спел нам великий итальянец! И общение оказалось коротким и не очень содержательным. На мой вопрос, говорит ли месье по-французски, — «месье» начал что-то сердито и быстро отвечать. И я, полагая, что собеседник не очень понял, на каком я к нему обратился языке, повторил свою фразу, которую совсем недавно выучил на первых уроках университетского французского: «Парле-ву франсе, месьё?». И тогда Тита Скипа медленно (так, чтобы я его смог понять) отчеканил: «Парблё, жё парль франсе авек ву дежа сенк минут!!» (что означало: «Да, черт побери, я с вами уже пять минут говорю по-французски!»)... А музыка у Эвальда! Да даже не му́зыка, а — настоящая музы́ка! Начиналось — поздними вечерами — обычно с Берлиоза, с его «Торжественного шествия» — пели трубы, звенели литавры, гремели барабаны. Громы революционной Франции, раскаты Свободы вылетали из Эвальдовой форточки на гнетуще унылую улицу Горького 60-х годов. Потом шел Вагнер. Да не сладкоголосый «Лоэнгрин», которого я знал наизусть, а неведомое мне (как, впрочем, и всему советскому народу): «Гибель богов». Эвальду кто-то тайно доставил из Италии магнитофонную — на огромной бобине — запись, и Эвальд крутил ее на странном магнитофонном устройстве, к созданию которого он приложил и свои руки. Из книжных своих развалов он извлекал — вот уж действительно «дубликатом бесценного груза» — потрепанные партитуры вагнеровских произведений, клал нам на колени и указующим своим пальцем помогал следить за немецкоязычным текстом...

Да, в общем, довольно подробностей, только их тронь, только начни — конца не будет. Главное, чтобы вы поняли: никаких землистолицых книжных червей не было. Была нормальная во всех отношениях молодость (насколько она могла быть нормальной в ненормальной стране).

И всё же (я хочу, чтобы вы и это поняли!) — центром, солнцем, вокруг которого вращалась вся наша молодая, разнообразная жизнь, была ***книга***

и — связанный с ней поиск смысла, *истины* (говоря возвышенно-прекрасным гегелевским языком) происходящего…

О своих книжных завалах-развалах я вам уже поведал. А вон еще ящики, картонные коробки — с конспектами, заметками, писаниями — все антресоли забиты; поверх шкафов и стелажей — рукописи, рукописи, рукописи.

И это всё — напрасно??

Как-то не очень расчетливо, не очень рационально оставить все эти развалы грызущей критике мышей или на растопку дачных шашлычных костров. Было бы в высшей степени нерасчетливо не попытаться упорядочить, систематизировать этот многолетний и многострадальный интеллектуальный поиск, как-то замкнуть эти разрозненные цепи исканий, сгустить, подытожить понадуманное за всю сознательную жизнь.

Да, нерасчетливо. Но… не хочется. Не хочется «подводить (даже предварительную) черту», «сгущать», «упорядочивать» и «систематизировать». Хочется еще поднабрать материальцу, еще кое-что поизучать, кое над чем подумать, кое-что подчитать — вон ту книженцию, ту, ту, ту…

Но вспоминается философская сказочка Льва Николаевича — о том, как мужик землицу для себя добывал (расскажу, как, давно читанная, она мне запомнилась — в данном-то случае я о своем ее восприятии поведать хочу и, может, в силу этого, в чем-то и не вполне точно передам содержание гениального оригинала — не обессудьте). Так вот, сказал однажды Господь мужику: сколько успеешь от восхода до заката солнца земли обойти — вся твоя; при одном условии: ты должен успеть вернуться туда, откуда вышел («замкнуть круг»), не успеешь — смерть! И пошел, побежал мужик: больше, больше прихватить. Вот уж солнце в зените, вот на закат пошло — ворочáться бы надобно, но впереди-то — лужок (ах, какой лужок — коровок-то где пасти!), а за ним — речка (ах, какая речка-то — лошадок-то где поить!), вот их прихвачу — и назад. А там-то, после речки (Господи, ты, Боже мой!), — рощица славная, а за рощицей — полянка ягодная… Так и несся наш мужик дальше, дальше — и упал с последним лучом солнца, и, уже лежа, из последних сил, потянулся — чтобы еще горстку чернозема в ладонь свою зацепить.

Да, не хочется «ворочáться», не хочется «замыкать круг», не хочется «итожить» — еще бы «лужок» прихватить, еще бы «рощицу». Но, видно, непрактично это — и судьба толстовского мужика тому пример. А потому сделаем первую прикидку итогов, попытаемся «замкнуть круг» — до «заката солнца». А там… отпустит судьба еще земного времени — отправимся в новое путешествие за «рощицами» и «лужками».

Еще раз: «Я все-таки хочу понять, почему всё так получилось?».

Почему гуманные планы и благородные замыслы, изначально присущие социалистической теории, марксизму (равенство, братство, свободный труд, материальное изобилие), обернулись в нашей стране, при реализации, такой чудовищной — сталинской — системой? Я не только репрессии, не только гулаги имею в виду. Я имею в виду возникновение общества, жестко разделен-

ного на новых (по сравнению с царизмом и капитализмом) господ и новых рабов, на чиновно-бюрократическое меньшинство, в руках у которого всё (и власть, и собственность), и обездоленное народное большинство, у которого — ничего. Я имею в виду появление новой общественной формации — с социально-классовыми антагонизмами, которых не знала история и появления которых никто (включая Маркса и Ленина) не ожидал и не предсказывал.

Когда я был помоложе, мне, большому почитателю Маркса, очень хотелось объяснить это тем, что исполнители (главным образом, сталинцы) извратили, вульгаризировали теорию Маркса. И задача, следовательно, состоит в том, чтобы выявить пункты этих извращений, восстановить подлинный (или как тогда любили говорить — «аутентичный») марксизм и затем реализовать его во всей чистоте и точности его замыслов. При этом я и мои друзья отдавали себе ясный отчет, что речь идет отнюдь не о мирных, товарищеских научных дискуссиях в рамках одной идейной парадигмы, а о жесточайшей, абсолютно непримиримой идейной борьбе принципиально разнящихся, даже — антагонистических, мировоззрений (хотя и одинаково именующих себя «марксизмом»). И реализация «нашего» марксизма предполагала не «поправки», не «улучшения» существующей системы (так называемого «реального социализма»), а ее коренное преобразование — в форме антибюрократической революции, имеющей целью вырвать власть из рук партгосноменклатуры и передать ее в руки угнетенного политически и эксплуатируемого экономически ***народа***.

Для меня и сегодня совершенно очевидно, что идеология и политика сталинского руководства с марксизмом, с его **сутью**, не имели ничего общего. Я и сегодня думаю, что сталинисты извратили и испоганили марксизм. Но!..

Но в последние годы, при более основательном рассмотрении событий XX столетия, мне всё чаще и чаще приходит в голову мысль, что сталинизм — явление не совсем постороннее марксизму, что есть в марксизме какие-то пространства, какие-то участки, какие-то почвы, на которых, при определенных условиях. могут вырастать ядовитые цветы сталинщины. Иначе говоря, сталинизм — не целиком «по ту сторону» марксизма, он взрастает из ограниченностей, узких мест марксизма, из его ошибок и ложных ходов.

Мой прежний — чересчур простой ответ — перестал удовлетворять меня. И задача тысячекратно усложнилась: исследовать, есть ли в марксистской теории то, что при определенных условиях может обернуться сталинизмом. Сейчас, когда я пишу эти строки, я не готов ответить на этот вопрос. Но я готов его **поставить** и начать соответствующее исследование. Интуиция же подсказывает: микробы сталинизма присутствуют и в Марксовом и тем более в Ленинском учении. Интуиция подсказывает: что-то очень важное упущено, не учтено ни Марксом, ни Лениным. Что?

Тут-то я, поначалу, и хотел перейти к «основной части». Но теперь чувствую — рано! Не всё договорено. Ведь может сложиться впечатление, что я собираюсь вести речь о судьбах марксизма, о достоинствах и недостатках этой теории. Отнюдь нет! У меня тут не курс лекций по истории социальных

учений, не пособие для сдачи кандидатского минимума по философии. Скажу яснее и острее: меня в этой работе вообще не интересуют судьбы ни Маркса, ни Ленина, ни их теорий. Это всё — для узкого круга марксоведов.

Маркс, Ленин, их идеи интересуют меня здесь лишь в той мере, в какой они вплетены в наше безрадостное бытие последнего столетия. А вплетены они, надо сказать, капитально («Вашим, товарищ, словом и именем дышим, думаем, боремся и живем!») — и только поэтому (**только** поэтому, господа!) мне придется «разбираться» с ними. (Из этого, впрочем, не делайте и вывода о моем каком-то пренебрежительном отношении к этим мыслителям и их идеям; нет, нет, они и сами по себе достойны серьезного внимания, изучения, анализа, просто *данная* работа — о другом, только и всего).

Не собираюсь также ограничиваться выяснением логики перехода только к сталинизму. Для меня не менее важно понимание и дальнейшей эволюции нашего, российского общества — погружение в болотную жижу брежневщины, барахтание в этом болоте в эпоху Горбачева и обретение нового (не менее, впрочем, отвратительного) социального качества в эпоху Ельцина. Но эта, дальнейшая, эволюция — это всё потом; да и понятой она может быть только в контексте эволюции сталинистской общественной формации, исходя из **ее** противоречий и закономерностей. Но это будет уже более простое и более легкое теоретическое занятие. Самое трудное, самое принципиально важное для понимания всего процесса российского развития в XX столетии — это рождение сталинизма из марксистского проекта. Это — выяснение сущности новой, невиданной в истории общественной формации. Самое главное — понять этот момент неожиданного рождения нового социального качества (не предсказанного, не предугаданного классическим проектом). Дальше — уже движение в рамках этого нового общественного строя. И это, конечно, проще для понимания.

И еще. Да, я хочу нащупать изъяны того проекта, на который ориентировалась наша страна в XX столетии, да, я хочу понять, где мы сорвались, какая историческая логика затолкала нас в кровавую колею, в экономические, политические и культурные тупики. И всё же не собственно непознанные фундаментальные закономерности общественного развития «не дают мне покоя». Ну чего же из-за них убиваться-то особенно? Не познанные сегодня, будут познаны завтра; приналяжем всем научным миром — и приоткроются завесы исторических тайн.

Мне «покоя не дают» явления гораздо менее крупные, менее масштабные. За мною «как тень гонятся» и гнетут душу разные «мелкие» (на фоне-то всемирных закономерностей и фундаментальных сдвигов!) подробности бытия, с которыми я никак не могу справиться ни мыслью, ни, в особенности, чувством и которые-то и сообщают моему поиску (уж, извините!) повышенную эмоциональность (мало свойственную людям моей — весьма уже почтенной — возрастной группы) и особую напряженность.

Ну, вот, например, такая «частность», как судьба Бухарина, Николая Ивановича (типичная, кстати, для многих из когорты «старых большевиков»).

Ведь как славно, как вдохновенно всё начиналось: в 29 лет — в Октябре 17-го года — он в головных рядах грандиозного социального сдвига. Помните, как Гегель (этот «сухарь» Гегель) приветствовал Французскую революцию: «Грандиозный восход солнца!»? А Октябрьская-то — помасштабней, покапитальней Французской будет: там один класс сменял другой у штурвала социального корабля, а тут — вообще классы уничтожаются, освобождается **всё** общество. Тут уж не просто «солнце», тут, почти по Маяковскому — «в **сто сорок** солнц восход пылал». И самым ошеломляющим было то, что всходили все эти солнца не в силу вечных и слепых законов природы, а (как казалось) по мановению, по воле дерзких и смелых пролетарских революционеров, прошедших тюрьмы, ссылки, изгнание. Выстояли, выдюжили. Просветили, организовали и вдохновили людей — и вот величественный итог: «нация рабов», забитый российский люд поднимается с колен! Свобода! Равенство!! Братство!!! Нет больше господ и рабов! «Я хочу, чтоб на крик "Товарищ!" оборачивалась вся земля!». Все — **товарищи**!

Можно задохнуться от счастья — от свершений и перспектив. И среди творцов этого великого исторического деяния — он, совсем молодой человек, — Бухарчик, Бухарушка, «золотое дитя партии», второй, после Ленина, теоретик. Как ясна и прозрачна даль истории, рассматриваемая им через волшебный кристалл марксизма! О эта ясность, эта уверенность в своих силах, в мощи своей теории, в верности выбранного пути!..

А совсем немного спустя: «Бухаринские изверги», «фашистские недобитки», «злобные контрреволюционеры, замышлявшие — еще в 18-м — убийство Ленина», «шпионы», «вредители», «реставраторы капитализма», «подонки общества». И под бурные, долго не смолкающие аплодисменты Колонного: «Расстрелять, как бешеных собак!».

Может быть, вернулись к власти те, кого сбросили в семнадцатом? Если бы! Не дрогнул бы, не растерялся бы тогда Бухарчик. Без слюней и соплей, твердым шагом — уверен! — взошел бы он на свой эшафот. Отдать жизнь за Истину, за Святое Дело, за свою Веру, за Счастье миллионов — как Гус, как Бруно, как Пестель, как Желябов — да, ради Бога!.. Но здесь-то не белая гвардия, не царская охранка, — свои же, «братья», «товарищи» вершат суд — те самые «рабочие и крестьяне», которых он освобождал в 17-м. Есть от чего не просто растеряться, рассудок потерять можно…

И именем «великой свободы», именем «стальной и любимой» (выкованной во многом им) «партии», именем «великой революции рабочих и крестьян» его поведут коридорами Лубянки последним маршрутом в грязные и кровавые подвалы и там буднично пристрелят — как подвальную крысу.

А на улицах и площадях будут трепетать на ветру красные полотнища лозунгов, которые они еще вместе с Ильичом сочиняли. И сверкать на солнце алые стяги со звездами, серпами и молотами. И празднично лететь на всю страну из репродукторов: «С Интернациона-а-а-лом воспрянет род людской…».

Ни понять, ни тем более объяснить, что же случилось с его любимым и высоконаучным марксизмом, Бухарин не успеет. Он отойдет в мир иной —

в полном душевном смятении, охваченный идейным кошмаром, и не словами, а самой судьбой своей формулируя для нас Проблему.

Мне «покоя не дают» — заснятые на старой, истертой временем кинопленке — глаза изможденных голодом украинских ребятишек — покорно и тихо ложащихся на землю (стоять, сидеть уже нет сил!), чтобы уже никогда с нее не подняться. Миллионами жизней заплатила Украина за сталинскую коллективизацию.

А сорванные с обжитых мест — с Поволжья, с Кубани — и выброшенные из товарняков на сибирский снег «кулаки» и «подкулачники», — т.е. крестьяне, которые поверили революционно-октябрьскому, а потом — нэповскому, лозунгу «Земля — крестьянам!» и попытались — своим истовым трудом — обеспечить себя и страну хлебом.

А полосы «Вечерки» середины 90-х годов — мелким шрифтом, в рамочке — тысячи имен: слесарь, учитель, кладовщик, шофер, инженер, врач, каменщик — с маленькими портретиками (у кого сохранились в «деле») или без них, с краткими биографическими данными и неизменной концовкой: «приговорен к расстрелу», «к десяти годам без права переписки» — мартиролог жертв 30-х годов. Это-то уже не «элитные» разборки в борьбе за властные места. О пытках и расстрелах тех, «элитных», граждан тоже тяжело читать. Но не расстреляй Ворошилов Тухачевского, Тухачевский расстрелял бы Ворошилова — одна стая, одно мировоззрение, один способ действий, и вождь-идол — один («Да здравствует Сталин!» — кричал расстреливаемый чекистами руководитель новосибирских коммунистов Эйхе!). Но в «Вечерке» — о другом, — о «разборках» закрепляющей свою монополию на господство сталинской бюрократии с ее главным историческим оппонентом — с не до конца придавленным, не до конца превращенным в раба народом. Короче — это «разборка» с народом победившей властной «элиты».

И куда же завлекло нас «единственно верное», «единственно научное» учение!

Впрочем, только ли с марксизмом случилась эта удивительно грустная и удивительно драматическая «ирония истории» (употребим эту великолепную гегелевскую формулу!). А что, разве с либерализмом, с его высокогуманистическими программами, воспевавшими свободы и права человека, не случалось чего-нибудь похожего? Случалось! И еще как случалось!

Вспомним историческую колею, по которой прокатилась Франция во второй половине XVIII века — от высокоморальных декламаций Гельвеция и Руссо к кровавому террору их якобинских учеников и тирании Бонапарта. Ведь как прекрасно, как возвышенно всё начиналось! Как вдохновенно декламировал Гельвеций: «Пусть только люди приобретут ясные идеи о нравственности — и они станут счастливыми и добродетельными»[1]. Или Руссо: «Если это сочинение попадет в руки человека добрых нравов, который ценит

[1] Гельвеций. Соч. в двух томах. М., 1974, т. 2, с. 7.

добродетель, любит своих собратьев, сожалеет об их ошибках и ненавидит пороки, который умеет растрогаться бедствиями человечества..., мое сердце найдет отклик в его сердце»[1]. Боже, как хорошо!

И такой человек ведь нашелся! «Я понял, — торжественно провозгласил он, — великую нравственную и политическую истину, возвещенную Жан-Жаком, что люди всегда искренно любят лишь тех, кто их любит, что лишь народ добр, справедлив, великодушен»[2]. Это — Робеспьер, это его слова, сказанные на заре революции. Это он возглавил движение за осуществление великих идей свободы, нравственности, гуманизма. И когда 30 мая 1791 года какой-то жестокий и бессердечный человек предложил принять закон о введении смертной казни, пылкий последователь Гельвеция и Руссо — Максимилиан Робеспьер — взлетел на трибуну Национального собрания. Казалось, сама Добродетель говорила его устами: «Когда в Аргос, — начал он с исторической аналогии, — пришла весть, что в Афинах некоторые граждане были приговорены к смертной казни, люди поспешили в храм умолять богов о том, чтобы они отклонили афинян от столь жестоких помыслов. Я пришел сюда просить не богов, а законодателей, которые должны быть их (богов!) истолкователями и их органами, о том, чтобы они вычеркнули из кодекса французов эти кровавые законы, предписывающие юридические убийства, которые противоречат разуму и человечности. Надо полагать, что обитающий во Франции мягкий, чувствительный, великодушный народ, все добродетели которого разовьются благодаря режиму свободы, проявит человечность в обращении с преступниками, и надо верить, что опыт и мудрость позволят вам закрепить те принципы, на которых основано **мое предложение об отмене смертной казни**». Поистине сердце Руссо «нашло отклик» в робеспьеровском сердце!

А три — всего-то! — год*а* спустя вот какие слова вырвались из глубин этого «сердца»: «Движущей силой народного правительства в революционный период должны быть одновременно добродетель и террор — добродетель, без которой террор пагубен, террор, без которого добродетель бессильна. Террор — это не что иное, как быстрая, строгая, непреклонная справедливость», «тем самым он является проявлением добродетели». Вот так-то: Террор как проявление Добродетели! Быстротечными процессами-расправами над оппонентами, с надуманными — в стиле Вышинского — обвинениями, грязью и кровью заканчиваются пышные декламации практикующих руссоистов. «Общественный договор Руссо, — не без иронии писал Энгельс, — нашел свое осуществление во время террора»[3].

А не прошли ли сходным маршрутом — за полтораста лет до Французской революции — Кромвель и кромвелевская Англия — от гоббсовских либе-

[1] Ж.-Ж. Руссо. Трактаты. М., 1969, с. 428.

[2] М. Робеспьер. Избр. произв. в трех томах. М., 1965, т. 1, с. 232.

[3] Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 20, с. 267.

ральных сентенций и борьбы с королевским деспотизмом — к новому, еще более крутому деспотизму кромвелевского протектората!

Только прикоснись, только начни вспоминать — и сразу увидишь: все эпохи крупных преобразований окрашены — ну, всенепременно! — в цвета «иронии». Иронии над нашим глубокомыслием, над нашим «пониманием» «исторических законов». По-видимому, не улавливаются нашим зрением, нашим чувством, нашим умом какие-то «ядовитые семена», залегающие не только в марксистской или либеральной почвах, но и в их, так сказать, подпочвах, в каких-то глубинных основах человеческого бытия и социально-преобразовательной практики. Есть, по-видимому, какие-то фундаментальные пороки в наших мыслях, теориях, практических действиях, сопровождающих все крупные, все «великие» социальные трансформации. Постоянная ирония истории, постоянные попадания — под пение сладкоголосых идеологических сирен — в тупики и ловушки, из которых потом долго приходится выбираться тяжелыми, полными драм и трагедий дорогами.

Неужели прав Гегель, утверждавший, что единственное, чему учит история, это то, что она ничему не учит? Неужели прав?

И неужели прав Сократ, видевший чуть ли не идеал, чуть ли не вершину мудрости в том, чтобы утверждать: «Я знаю, что я ничего не знаю»?

И хотя история дает массу примеров, подтверждающих правоту гегелевских и сократовских формул (и наоборот: не дает практически ни одного примера, ставящего их под сомнение), несмотря на это, каждое следующее поколение берется опровергнуть пессимистические формулы Сократа и Гегеля: может быть, с него, с этого поколения, и начнется великий и желанный переход («скачок»!) из царства необходимости (где человек — плохо понимающий смысл происходящих событий марионетка) в царство свободы (где замыслы, цели, формулируемые человеком, совпадают — в главном — с результатами его деятельности). С этим упованием (и — тоже, возможно, иллюзией) и я приступаю к своему писанию, с робкой (но неистребимой в душе и уме) надеждой, — что история может все-таки кое-чему (и существенному!) научить и что по прошествии двадцати пяти веков после Сократа, веков, наполненных самоотверженным поиском Истины тысячами и тысячами людей, простых и великих, мы, вчитавшись в их книги, вглядевшись в их судьбы, изучив их действия в сопоставлении замыслов и результатов, сможем, наконец, сказать: «Мы знаем, что мы кое-что теперь знаем!...»

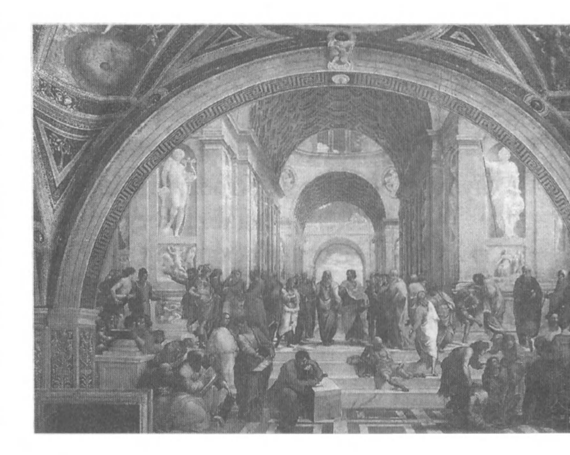
И начнем — с Начала. С самого что ни на есть Начала — с сотворения Мира. Мира политической философии. Когда не было еще ничего. Ни Макиавелли с его изощренными формулами политического действия, ни мучительных поисков Мором и Кампанеллой счастливых, солнечных человеческих общежитий, ни фундаментальных проектов Гоббса, Локка, Руссо — по гармоническому сочетанию частных и общих (даже — всеобщих) интересов людей, ни системосозидающих теорий Канта и Гегеля, ни Марксовой «философии практики», ни педантичных Веберовских конструкций, ни тонко,

витиевато вычерченных построений Хабермаса и Бориса Капустина... Когда не было ни либерализма, ни социализма. Ни одного — вообще — «изма». В общем, когда еще не было всех тех тысяч и тысяч книг, образующих ныне многоструктурную и многоименную систему современного Политического Знания.

А была лишь некая интеллектуальная туманность, состоявшая из клочков мифологии, протонаучных гипотез и прозрений, неотчетливых моральных предписаний и смутных эстетических идеалов...

Да, всё надо сначала.

С Древней Греции, этой прародины современной цивилизации. С Сократа, Платона, Аристотеля. И ступенька за ступенькой — подниматься сюда, к современности, проверяя эти ступени на прочность, на истинность, на крепость их сцеплений и оправданность переходов.



Да, знаю, знаю, не один уже ревизор в истории, не один «проверяющий» ходил-бродил по этим ступенькам, укреплял ценное, подлатывал убогое, обновлял обветшалое, менял направление лестничных маршей, возводил новые лестничные пролеты — выше, выше — к поднебесью Истины.

С них, с них — с Сократа, Платона и Аристотеля начинали свое движение Цицерон и Августин, Макиавелли и Гоббс, Локк и Руссо и совсем близкие к нам Гегель и Маркс... Всё там изучено-переизучено, исследовано-переисследовано. Охота тратить время на вторичные, третичные, десятичные досмотры! Хочешь двигаться вперед и выше — начинай с последних, ну, с предпоследних рубежей — с Маркса, ну, с Гегеля, ну, с Канта и Спинозы, в конце концов. Но — опять! — нырять в колодец времени, на самое дно, а потом — снова, как сотни твоих предшественников, карабкаться наверх по его заплесневелым стенкам?..

Да — снова, да — на самое дно! Придется! Что поделаешь! Мыслители нашего поколения уже пытались сэкономить время и силы, пытались обойтись лишь «необходимым минимумом усилий»: начать свое корректирующее движение с последних и предпоследних ступеней — с Ленина и Маркса. Не получилось! Мал разбег и узок горизонт

Нет, какие-то важные вещи в этом контексте улавливались. И собственно именно такой подход позволил собрать серьезный интеллектуальный улов демократическому крылу так называемых «шестидесятников». Они-то как раз и взяли (при всех их не слишком значительных и не слишком настойчи-

вых оговорках) за основу, за точку отсчета Маркса (более «узкие» и более прагматичные из них — Ленина). С этих ступеней они обозревали протекший исторический ряд, марксовым (ленинским) метром мерили историю, статьями марксового (ленинского) философско-социального «кодекса» судили исторические деяния. И — зафиксировали, описали в деталях, с исключительной научной добросовестностью, эмоциональностью, а нередко и литературным блеском впечатляющее несовпадение исходных марксовых (и ленинских) установок с действительностью «реального социализма». Им достало смелости сказать — где прямо и открыто, где косвенно и намеком (ибо сие подпадало под действие статей сталинско-брежневских уголовных кодексов с устрашающими клише: «антисоветская агитация и пропаганда», «контрреволюционная деятельность», «выполнение заказа международной реакции», — с последующей расправой) — достало, повторяю, смелости сказать и доказать: то, что есть, — не марксизм (не ленинизм) и не социализм. То, что есть, — не общество социального равенства и дружественных классов, на базе общественной собственности строящих счастливую жизнь, как о том грезили «основоположники», а общество вопиющего социального неравенства, общество, разделенное на всемогущую, всем владеющую и всем повелевающую партийно-государственную бюрократию («номенклатуру») и бесправный, ничем не владеющий, ничего не определяющий, дурачимый идеологическими попами, еле-еле сводящий концы с концами в своей повседневной жизни, Народ. То, что есть, — это новый тип классово-антагонистического общества, то, что есть, — новый тип социального угнетения. А отсюда следовал их лозунг: «Вернуться к Марксу (Ленину)!». Не к тем, что разошлись в главах и параграфах сталинского «Краткого курса», в партийных постановлениях и решениях, основополагающих идеологических «кирпичах» Политиздата и популярных брошюрах общества «Знание», а к чистому, высокому, умному, гуманному Настоящему («аутентичному») Марксу (Ленину). И — **начать всё** (т.е. — строительство совершенного, гуманного, экономически эффективного общества, поименованного ими «социализмом с человеческим лицом») **сначала**. И повести дело — в полном соответствии с Марксовыми (Ленинскими) предначертаниями.

Это было громадное завоевание поколения шестидесятников. Их труды, их мысли «закрывали» одну эпоху, эпоху безоговорочного доверия к марксизму и формам его реализации, и открывали другую — эпоху фронтальной критики социального мира, строившегося по марксистским чертежам.

Это идеологическое новаторство, эту идеологическую революционность шестидесятничества своим, что называется, звериным чутьем учуивала правящая «реально-социалистическая» бюрократия. О, таких марксистов (ленинистов) руководящие партийные господа боялись больше, чем прямых и открытых «антимарксистов». Ведь диссидентствующие антимарксисты не только не ослабляли, но даже, как это ни покажется кому-то странным, усиливали идеологические и политические позиции правящей номенклатуры. Ну, как же — за нею, за этой номенклатурой стоят, видите ли, такие интеллектуаль-

ные гиганты, как Маркс, Энгельс. Они, эти антимарксисты, по сути, дарили тупой и серой, антиинтеллектуальной бюрократии мощные мировые теоретические традиции, сами оставаясь с самодельными и жалкими идеологическими изобретениями.

Диссиденствующие же марксисты выбивали псевдомарксистскую номенклатуру с этой позиции и пускали ее по миру не прикрытой краденой у марксизма одеждой, а — такой, как она есть на деле, — клыкастой и меднолобой. И когда шестидесятники говорили: «Мы им (партсовбюрократам) Маркса не отдадим», — в этом была не наивность их (как думает нынешняя полуграмотная интеллектуальная шпана), а — мудрость, тонкое историческое и теоретическое чутье.

В общем, это была весьма плодотворная точка отсчета. Но — ***недостаточная***! ***Совершенно недостаточная***! И — потому, что во второй половине XX века, в совсем не-марксовых условиях, строить мир по Марксу было бы верхом наивности. И — потому, что в самих классических проектах было нечто такое, что не давало достаточного противоядия против сталинистских и тоталитаристских извращений. И, наконец, главное, — потому, что самого Маркса (Ленина), саму эту «точку отсчета» надо было перепроверять и уточнять. И перепроверять фундаментально — во всех «основных частях» и «источниках».

Тут вот ведь какая штука. Каждая новая социальная эпоха требует новой системы идей, понятий, категорий (т.е. того, что сегодня именуется «парадигмой»). И это, по-видимому, — закон интеллектуального развития социума: новая парадигма складывается не на базе коррекции парадигмы лишь предыдущей эпохи, но на базе генеральной ревизии и нового обобщения **всей** мировой интеллектуально-теоретической традиции, **всех** парадигм, возникавших на разных этапах человеческой истории.

Именно на переломе эпох трудились классические создатели новых парадигм — Цицерон, Августин, Макиавелли, Гоббс, Локк, Руссо, Кант, Гегель, Маркс... Да, они продолжали друг друга, да, каждый последующий опирался на предыдущего, но не рассматривал свою теорию в качестве **лишь звена** в мировой интеллектуальной цепи. Каждый строил свою **всеобъемлющую, целостную систему**, начинавшуюся с осмысления самых истоков человеческой цивилизации и самых истоков всемирной интеллектуальной традиции, т.е. — **с генеральной перепроверки парадигм, выработанных в человеческой истории**, т.е. — с ***начала***.

А разве сегодня мы не на переломе эпох? Разве не заканчивается эпоха, проходившая под интеллектуальный аккомпонемент марксовой парадигмы (даже противники, даже самые бескомпромиссные критики марксизма были по сути спутниками, вращавшимися вокруг главного парадигмального светила эпохи).

Нужна новая парадигма! Нужен — во имя движения к ней — новый, генеральный пересмотр всей предшествующей мировой интеллектуальной традиции.

Я знаю наперед — опыт истории свидетельствует! — в результате такой перепроверки не рухнут, не разлетятся в дым ни Гоббс, ни Руссо, ни Гегель, ни Маркс. Они останутся стоять высочайшими вершинами в горной цепи достижений мировой социальной мысли, но — обретут иные масштабы, иные краски, иные достоинства и иные недостатки…

Я знаю также, что вся эта работа — на годы и десятилетия. И не нам, «поколению 60-х», суждено увидеть окончание этой работы. Но позвать людей на нее, но приступить к ней, но сделать здесь первые шаги — это в наших силах и возможностях. Это даже наша **обязанность**.

Снова и снова: делай, что должно, и пусть будет, как будет!…

Предуведомление 1-е

О второй сюжетной линии этой книги

Всё началось с одного эпизода. «Да Вы, оказывается, знатный антисоветчик, Григорий Григорьевич», — мой знакомый аспирант, улыбаясь, протягивает листочек с выуженной им в Интернете цитатой из книги В.Л. Шейниса.

«Вскоре после поражения путчистов, — читаю я, — постановлением Президиума Верховного Совета России в октябре 1991 года была образована комиссия «по организации передачи-приема архивов КПСС и КГБ СССР на государственное хранение и их использованию». В состав комиссии вошли 34 человека, в том числе 23 народных депутата СССР и РСФСР, руководители государственных и ведомственных архивов, известные историки. Председателем комиссии был назначен советник президента Дмитрий Волкогонов, его заместителем — председатель Комитета по делам архивов при российском правительстве Рудольф Пихоя. В эту комиссию вместе с другими депутатами был включен и я… После отмены статей УК, каравших за «антисоветскую агитацию», Крючков (глава КГБ) издал еще один приказ, призванный замести следы текущей преступной деятельности его ведомства, — № 00150 от 24 ноября 1990 г. Теперь уже уничтожению подлежали дела оперативного наблюдения и разработки с «**антисоветской** окраской»… У меня в руках оказался обширный список лиц, в том числе известных ученых и литераторов, которых наше государство подвергло бесстыдной слежке. Некоторые (далеко не все) имена я успел переписать и считаю нелишним воспроизвести их здесь. Были уничтожены дела на следующих лиц: Генрих Батищев (2 тома), Георгий Владимов (48 т.), **Григорий Водолазов (3 т.)**, Владимир Войнович (10 т.), Юлий Даниель (7 т.), Лев Копелев (21 т.), Борис Можаев (1 т.), Александр Некрич, Леонид Седов (3 т.), Сергей Семанов (11 т.), Валентин Турчин (18 т.), Яков Этингер (1 т.)… Видимо, работа по заметанию следов производилась выборочно, до некоторых дел к концу 1991 г. руки не дошли. Их героями были Леонид Баткин (1 т.), Лариса Богораз (8 т.), Михаил Бернштам (4 т.), Михаил Гефтер (6 т.), Леонид Гордон (1 т.), Борис Грушин (1 т.), Владимир Дудинцев (1 т.), Наум Мандель (Коржавин) (1 т.), Феликс Светов (17 т.), Юрий Сенокосов (3 т.)».

Я понимал, конечно, что мой молодой коллега пошутил насчет моего «антисоветизма». Но я не принял его шутливого тона. О слишком серьезных вещах идет речь. «Нет, Саша, я не антисоветчик. Антисоветчики — это те, кто

собирал эти «тома». Я-то как раз за власть народа, за **власть Советов**. А *эти*, — я помахал листочком с цитатой, — за **диктатуру бюрократии**, за безраздельное господство партийно-государственной номенклатуры».

Они, надо отдать им должное, ясно понимали, что «мы» и «они» — на самом деле противники непримиримые и что какой-либо компромисс между «нами» и «ими» полностью исключен. И поэтому «они» имели все основания следить за «нами» — накапливая материал до некоторой «критической точки», по достижении которой «отслеживаемого» можно было бы «изымать из обращения».

«Мы», конечно, не спешили слишком явно им «подставляться», «мы» не были расположены, без крайней необходимости, доводить сумму «их» наблюдений до той самой «критической точки» (справедливости ради, замечу, что «критические точки» наших, т.е. брежневских, времен находились значительно выше «критических точек» сталинского периода: при Сталине для появления «критической точки» достаточно было двух-трех соответствующих листочков, при Брежневе — оцените прогресс гуманизма! — не хватало, подчас, и трех-пяти томов: и внутренняя ситуация в обществе уже была не такой, чтобы можно было по-сталински беззастенчиво совершать злодейства, да и на «мировое общественное мнение» приходилось нет-нет, да и оглядываться). «Мы» были нравственным и интеллектуальным «подпольем», и оттуда, стремясь соблюдать все правила «конспирации», наносили удары. А направлением наших «главных ударов» было разблокирование сознания людей, избавление его от навязанных и вдолбленных им с детства стереотипов мышления, обеспечивавших их покорность правящей бюрократии.

«Мы» отдавали себе ясный отчет в том, что политическое бытие общества существует в двух ипостасях. Одна — это система политических институтов, и другая — политическое сознание, политическая культура людей. Этой — второй — ипостаси «мы» уделяли особое внимание, отлично понимая, что политическая культура не есть какая-то маловажная, второстепенная часть политической системы. Она — не что иное, как просто другая форма существования политической системы. Это — «*субъективное* бытие политической системы», как удачно сказал один известный политолог. То есть — это та же политическая система, только существующая в головах людей, — в виде жизненных и нравственных установок, политических предпочтений, чаяний, надежд, ожиданий.

Вот здесь и проходила передовая линия нашей войны с бюрократией: сознание людей, сфера культуры вообще и политической культуры — в частности. «Они» били «нас» Постановлениями, цензурой, непечатанием. Старались перекрыть «нам» все пути влияния и деятельности. Но мы находили эти пути, прибегая ко всяким ухищрениям, — например, используя в своих статьях методы намеков, аналогий, подтекстов, приучая своего читателя к чтению «между строк». Поддерживая и прикрывая друг друга, поднимались на университетские кафедры, и с них, тоже соблюдая правила «подполья», вели свою просветительскую деятельность.

(Маленькое пояснение. Я беру «мы» — в кавычки, ибо местоимение это не относится к какому-то монолитному и организованному сообществу. Более того, среди тех, на кого заводили указанные Шейнисом тома, были люди очень разных идейных убеждений — от очень левых социалистов и атеистов до очень правых либералов, консерваторов и глубоко религиозных людей. И всё-таки все они могли сказать о себе: «Мы!», ибо, в условиях существовавшего тогда духовного гетто, их всех объединяло решительное неприятие бесчеловечной тоталитарной системы, и все они искренне и всерьез исповедовали знаменитый вольтеровский принцип: «Я не согласен с Вашими идеями, но готов отдать жизнь за то, чтобы Вы имели возможность их высказывать».)

После того разговора с аспирантом у меня и возникла мысль — в параллель с основным сюжетом (об интеллектуально-нравственном развитии *человечества* — от Сократа до наших дней) развернуть и другой сюжет, в котором так или иначе отразилось бы интеллектуально-нравственное развитие *нашего поколения* (ну, не всего, конечно, а той его части, которая впоследствии получила имя «шестидесятников»). Мне показалось любопытным проследить, как, какими дорожками и тропинками двигались «мы» к тому замечательному интеллектуально-нравственному миру, который можно было бы назвать «Миром Сократа».

Потом этот замысел (по крайней мере, для *этой* книги) сузился — до рассказа лишь об *одном* представителе этого поколения, чей жизненный путь, судьба и писания наиболее мне известны — об *авторе этой книги*.

Видите, говорю об «авторе» (т.е. о себе) в третьем лице. Потому, что этот «автор» — тоже *объект* моего сегодняшнего наблюдения. Он для меня сегодня — явление как бы внешнее и немного «чужое». Да и на самом деле многие заметки, статьи и книги этого «автора», давно мной не читанные, изрядно подзабылись, а многие эпизоды его жизни, небрежно и между делом записанные на страницах многочисленных тетрадей, давно не извлекались из архивно-чердачной пыли; и, читаемые сегодня, они предстают как рассказ о писаниях и действиях малознакомого мне человека.

О такого рода повествованиях хорошо написал Владимир Галактионович Короленко в предисловии к своей автобиографической книге «История моего современника:

«Я не пишу историю моего времени, а только историю одной жизни в это время, и мне хочется, чтобы читатель ознакомился с той призмой, в которой оно отражалось... А это возможно лишь в последовательном рассказе. Детство и юность составляют содержание этой первой части.

Еще одно замечание. Эти записки не биография, потому что я не особенно заботился о полноте биографических сведений; не исповедь, потому что я не верю ни в возможность, ни в полезность публичной исповеди; не портрет, потому что трудно рисовать собственный портрет с ручательством за сходство...

В своей работе я стремился к возможно полной исторической правде, часто жертвуя ей красивыми или яркими чертами правды художественной.

Здесь не будет ничего, что мне не встречалось в действительности, чего я не испытал, не чувствовал, не видел. И всё же повторяю: я не пытаюсь дать собственный портрет. Здесь читатель найдет только черты из «истории моего современника», человека, известного мне ближе всех остальных людей моего времени...»

Именно в этом, как я теперь сам вижу и о чем не всегда догадывался, когда писал сию книгу, состоит смысл моей второй сюжетной линии: повествование о том, как «мой современник» шел к той «золотой», идущей от Сократа, нити, как он то приближался к ней, то удалялся от нее, терял из виду и находил снова и как, в конце концов, обе сюжетные линии соединились, результатом чего и стало данное сочинение.

«С самого начала» — это *с самого начала* Большой Истории и это *с самого начала* маленькой истории — истории «моего современника».

«Вторая сюжетная линия», добавлю еще пару слов, идет неким фоном по отношению к основному тексту и не связана с ним напрямую. Но — сопряжена с ним какими-то внутренними подтекстами и мотивами. Через нее осуществляется крайне важная и крайне интересная для меня (и, хочу надеяться, — для читателя) **перекличка времён**. Она, как мне кажется, позволяет почувствовать *современность* многих древних сюжетов — с одной стороны, и *«не-сиюминутность»* сегодняшних наших дум, суждений и исканий — с другой. Хочу еще сказать, что автобиографические заметки, составляющие значительную часть содержания этой «второй сюжетной линии», писались между делом — по разным житейским случаям, как правило, — для узкого круга друзей, писались с изрядной долей небрежности, без притязаний на какую-то особую «художественность» или «литературность» и без планов на публикацию. Но когда я перечитал этого рода «заметки», мне показалось, что как раз их непритязательность, их, так сказать, ненарочитость (вкупе с когда-то напечатанными статьями, в которых я не изменил ни слова) позволят читателю лучше понять логику интеллектуального развития, становления нравственного и политического сознания представителей одной из ветвей того поколения, которое получило название «поколения шестидесятников». Я имею в виду ту ветвь «шестидесятничества», которая характеризуется именами Юрия Буртина, Игоря Дедкова, Лена Карпинского, Игоря Виноградова, Игоря Пантина, Генриха Батищева, Отто Лациса, Владимира Хороса, Игоря Клямкина, Георгия Целмса, Рема Блюма, Александра Волкова... Я счастлив, что могу назвать их всех своими друзьями.

... А подготовленных бдительными чекистами и, по свидетельству Шейниса, уничтоженных многотомных «собраний сочинений», этих свидетельств стойкого противостояния российской демократической интеллигенции социальному злодейству в очень непростых условиях, жалко. Было бы полезно — в воспитательных целях — познакомиться с этими «томами» нынешнему молодому поколению. Это было бы хорошим учебным пособием — как ос-

таваться свободным человеком в условиях несвободы, как быть гражданином, а не верноподданным.

Впрочем, действительно ли уничтожены они? Не такая это организация — «тайная полиция» — чтобы не держать «про запас» материалы — и на тех, на кого доносили, и на тех, кто доносил. Положили в какой-нибудь дальний, «сверхсекретный» ящик. Изменятся — в ту или другую сторону — условия, и, глядишь, пригодится **им** этот весьма богатый и весьма разнообразный «компромат».

Неужели ошибся Булгаков? Неужели «рукописи» всё-таки иногда горят? Не верю!

Предуведомление 2-е

Вообще-то, по большому счету, ни предуведомлять о чем-либо, ни объяснять что-либо не надо бы.

Пусть люди читают — и сами разбираются, что к чему. Ведь не объясняет же Булгаков — зачем это у него рассказы о древности, о Иешуа и Пилате запросто, без всяких связок и переходов, перемежаются с картинками из жизни современной Москвы. Читайте, разбирайтесь, думайте...

Но это — **Булгаков!** И это — «по большому счету».

Нам же, в том, что касается литературно-сюжетных изысков, пристало держаться поскромнее. И — не слишком рассчитывать на то, что все наши тексты говорят сами за себя и что у читателя достанет желания разгадывать все хитросплетения нашего повествования.

Поэтому — лучше уж перестраховаться и, дабы правильно (или используя современную манеру выражения — адекватно) быть понятым, — кое в чем объясниться с читателем напрямую.

Так вот, предуведомляю Вас, дорогой читатель, что наряду с двумя вышеуказанными сюжетными линиями присутствует еще одна — ну, если не «линия», то — «полу-линия». Это — разбросанные в разных частях книги «заметки на полях», отрывочки из «эссе» моих студентов, коим я зачитывал на лекциях или давал на дом «кусочки» из своей книги, из сочинений своих коллег. Особо хочу подчеркнуть, что знакомлю Вас с мнениями этих молодых людей отнюдь не с целью рекламирования своей педагогической деятельности (как может подумать кто-то, читая не лишенные комплиментарности в мой адрес студенческие заметки). Делаю это совсем, совсем по другим причинам.

Дело тут вот в чем. В последнее время всё чаще и чаще выпадает мне печальная доля — провожать в последний путь моих друзей (что поделаешь, завершается постепенно срок жизни, отпущенный моему поколению...). И однажды вдруг я заметил (прежде как-то не обращал на это внимания), что среди тех, кто пришел проститься, почти нет молодых лиц. Так было при прощании с Леном Карпинским, Юрием Буртиным, Отто Лацисом... Это как-то задело и поразило меня. Ведь не для нас же, своих ровесников, писали блистательные эссе эти исключительно талантливые и глубокие люди. Точнее — не **только** (да и не **столько**) для нас. В большей степени — для тех, кто идет **за нами** и кому хотелось бы передать интеллектуальное наследство.

И вот из них при прощании — никого! Одна «старая гвардия», только — «уходящая натура». Еще десять-двадцать лет — и растает, растворится во вре-

мени и пространстве это поколение... Может, не волнуют нынешних те вопросы, те проблемы, что волновали нас? Может, слишком старомоден стиль, которым мы писали свои сочинения?

Неужели прервется та нить, которую мы с таким старанием создавали, неужели зависнут в воздухе ее оборванные концы?

В общем, может ли оно, это «молодое, незнакомое племя» услышать нас? Можем ли мы с ним встретиться чувствами и мыслями, сможем ли понять друг друга?

Я, повторяю, давал студентам отрывки из своих писаний и из сочинений своих друзей. Я с волнением ждал: захотят ли прочитать, а прочитав, захотят ли откликнуться. И — как? Поймут ли, услышат ли?

Они прочитали и откликнулись. Я привожу некоторые из этих «откликов» — и вы уж сами решите, как ответить на те, волнующие меня вопросы.

Мне эта сюжетная линия крайне важна — ибо она добавляет в сплетение двух первых линий (дальней истории и ближайшей современности) — третью, имя которой — Будущее.

Всё — сначала!

глава 1. Наш современник Сократ

(469 г. до н.э. — 399 г. до н.э. — 2006 г. н.э.)

Итак, всё — сначала!
Но где оно, это «Начало»?

В поисках начала
(Небольшое, но крайне необходимое методологическое отступление)

«Трудно найти **начало** в философии» — это предупреждение старика Гегеля[1]. С ним, листая его «Науку логики», мы и совершим наше небольшое методологическое путешествие.

Трудно найти Начало в любой науке. Трудно найти такое Начало, которое не было бы взято наобум, произвольно или в силу непонятно каким образом сложившихся традиций и представлений. А о том, что верное Начало — «половина дела», свидетельствует не только высокая гегелевская Логика, но и порожденная многовековым опытом народная мудрость. Ведь начало во многом предопределяет всю последующую логику рассуждений. И если оно определено ошибочно, произвольно — всё здание ваших размышлений вначале накренится, подобно Пизанской башне, а потом, глядишь, и вовсе рухнет.

Должна быть высокая доля уверенности, обоснованности, что Начало определено верно. (Да, конечно, в процессе постройки здания Теории ее начало-фундамент будет уточняться, укрепляться, совершенствоваться, — но всё-таки в рамках преднайденного).

Оно (Начало) должно быть одновременно и «непосредственным» (т.е. ничем другим не определяемым, ибо если оно будет чем-то «определено», то это «определяющее» и будет тогда действительным Началом), и «опосредствованным» (т.е. обоснованным, а не случайно, произвольно определенным). «Начало должно быть *абсолютным*, или, что здесь то же самое, абстрактным, началом; оно, таким образом, *ничего не* должно *предполагать*, ничем не должно быть опосредовано и не должно иметь какое-либо основание, оно само

[1] Г.В.Ф. Гегель. Наука логики, т. 1, М., 1970, с. 123.

должно быть основанием всей науки»[1]. Начало — основание всей науки, но и «вся наука» — есть развитие и *обоснование* своего начала. Вся история развития теоретического знания — и философии, и социальной философии в том числе, — есть не просто и не только история создания концепций, систем, но одновременно история поиска и уточнения своего предмета и своего действительного Начала. «Философия (как, добавим, и всякая теоретическая система — *Г.В.*) должна начинать с чего-то *гипотетически* и *прагматически* истинного и что поэтому философствование (как и формирование всей теоретической системы — *Г.В.*) может быть сначала лишь **исканием**». Первые этапы развития социально-политического знания (от Платона и Аристотеля до Макиавелли, Гоббса, Локка, Руссо...) и были, в значительной степени, «исканием» своего предмета изучения и анализа и, в том числе, начала этого предмета. И по мере развития теории — всё яснее обозначается этот предмет, все яснее, вследствие этого, обрисовывается его истинное Начало. Именно об этом — у Гегеля: «В философии (во всяком теоретическом знании — *Г.В.*) движение вперед есть скорее возвращение назад и обоснование, только благодаря которому и делается вывод, что то, с чего мы начали, есть не просто принятое произвольно, а в самом деле есть отчасти *истинное*, отчасти *первое истинное*»[2]. О, этот тонкий и точный Гегель: всё-таки, несмотря на сколь угодно богатое развитие теории, Начало ее всегда остается лишь *отчасти* истинным. То есть: как бы пышно ни развивалась теория, каких бы головокружительных высот ни достигала она, ее базисные, начальные положения постоянно уточняются и шлифуются; чем богаче, чем выше теория — тем точнее ее понимание своего начала, — вот, кстати, еще один аргумент в пользу того, что при всяком новом витке своего развития теория вновь и вновь должна возвращаться к уточнению своего Начала. Такое понимание и рождает необыкновенную красоту гегелевских диалектических формул (которые узкий, прагматический, позитивистский ум принимает за пустую, софистическую игру словами): «Движение вперед есть *возвращение назад в основание, к первоначальному и истинному*, от которого зависит то, с чего начинают, и которое **на деле порождает начало**»[3]. Это потрясающе красиво, ибо потрясающе точно: не только Начало порождает Продолжение, но в еще большей степени Продолжение «порождает» (т.е. подтверждает, уточняет, шлифует, переформулирует, а иногда и существенно изменяет свое) Начало.

Потому мы, имея перед глазами многовековое развитие социально-политической теории — с ее беспрерывным возведением новых своих «этажей» и, одновременно, — беспрерывным воспроизведением и шлифовкой своего Начала, уже имеем возможность определить это начало — с достаточной степенью истинности и определенности, помня, впрочем, гегелевское «отчас-

[1] Там же, с. 126.
[2] Там же, с. 127.
[3] Там же, с. 127.

ти»: наше Начало всегда останется лишь отчасти «истинным», отчасти «правильным». Потому мы и имеем полное право на его уточнение, так же, как и те, кто последует за нами.

И первым «сгустком», первой «твердью» в этой доисторической туманности — через ее уплотнение, сгущение, структуризацию — стало учение **Платона**.

Это был первый развернутый проект идеального человеческого общежития — государства, стремящегося опираться на «законы», присущие общественному бытию, на ценности, порождаемые не субъективным произволом, не случайными движениями человеческой души, но глубинными требованиями природы человека и его социального мира.

И (о, чудо!) первый же в истории проект строительства совершенного государства оказался целиком пронизан той «иронией истории», о которой много веков спустя напишет Гегель.

Сопоставьте, столкните два полюса — начало и конец — платоновского проекта. Вчитайтесь в прокламируемые им в начале цели и сравните с полученными в конце выводами — потрясающее несовпадение, потрясающее противоречие.

Всё начинается с гимна неповторимой человеческой индивидуальности, так полно, так органично воплощенной в образе Сократа, учителя и друга Платона, главного героя всех его произведений. Всё начинается с гимна свободному и стойкому человеку, ориентированному не на диктат толпы, обстоятельств, закостеневших «обычаев» и «традиций», не на приказы «начальства», а — на выработку собственных убеждений, основанных на голосе своего разума и своей совести. Такого человека отречься от своего «Я» не сможет заставить даже угроза гибели. Об этом он, платоновский Сократ, просто и твердо заявляет начальственному грозному суду, разбирающему выдвинутые против него обвинения:

«Если я уйду от наказания..., даже если бы вы меня отпустили и при этом сказали мне: мы отпустим тебя, с тем, однако, чтобы ты больше не занимался исследованием и оставил философию, а если еще раз будешь в этом уличен, то должен будешь умереть, — так вот, говорю я, если бы вы меня отпустили на этом условии, то я бы вам сказал: «Желать вам всякого добра — я желаю, о, мужи афиняне, и люблю вас, а слушать буду скорее бога, чем вас, и пока есть во мне дыхание и способность, не перестану философствовать, уговаривать и убеждать всякого из вас, кого только встречу... Я могу вам сказать, афиняне: послушаете ли вы Анита (обвинителя) или нет, отпустите меня или нет — поступать иначе, чем я поступаю, я не буду, даже если бы мне предстояло умирать много раз»[1].

Это — **Начало.**

[1] Платон. Собр. соч., М., 1994, т. 1, с. 83.

А теперь заглянем в **Конец**, в последнее произведение Платона — «Законы»:

«Самое главное здесь следующее: никто никогда не должен оставаться без начальника — ни мужчины, ни женщины. Ни в серьезных занятиях, ни в играх никто не должен приучать себя действовать по собственному усмотрению: нет, всегда и на войне и в мирное время — надо жить с постоянной оглядкой на начальника и следовать его указаниям. Даже в самых незначительных мелочах надо ими руководствоваться, например, по первому его приказанию останавливаться на месте, идти вперед, приступать к упражнениям, умываться, питаться и пробуждаться ночью для несения охраны и для исполнения поручений... Словом, пусть человеческая душа приобретет навык совершенно не уметь делать что-либо отдельно от других людей и даже не понимать, как это возможно».

Первый, и очень впечатляющий пример, Иронии (пока еще не собственно) Истории, но — Теории, а еще точнее — Истории Теории!

Вот, для начала, и попробуем разобраться в этой «Иронии истории теории», попробуем обнаружить причины ее возникновения. Наверняка на материале **теоретических** построений (да к тому же рожденных в условиях еще не слишком усложненного, еще не слишком запутанного социально-политического мира, ограничивавшегося пространством небольших государств — городов-полисов) — наверняка на этом материале легче ухватить логику вышеназванных превращений. На таком (можно сказать, — генетическом) уровне легче вычленить причинные предпосылки всевозможных сальто-мортале идей и явлений, легче нащупать нить Ариадны, двигаясь по которой, мы сможем с большей уверенностью сориентироваться впоследствии в несравненно более сложных, более запутанных социально-политических лабиринтах нового и новейшего времени.

Пространство платоновской мысли — это удивительно благодатный объект исследования, ибо создавал его гений, человек невероятной интеллектуальной силы и строжайшей теоретической последовательности. Это — не распутывание интеллектуального клубка посредственности, где всё вкривь и вкось, всё путано-перепутано, где посылки неполны, а следствия полупроизвольны. Платоновское мышление течет в стройных берегах Логики и Красоты. Оно последовательно и беспощадно: если какой-то (даже сверхнепопулярный — по тем или иным причинам) вывод неукоснительно следует из предпосылок — Платон делает его без колебаний (как бы он ни противоречил сложившимся в обществе представлениям, как бы он ни расходился с внутренним ощущением и непроизвольными чувствами самого Платона). Он следит за развитием своей мысли так же, как великий писатель, писатель-мастер, — за развитием создаваемого им литературного сюжета — когда не писатель ведет сюжетную канву, а сюжет, сама логика характеров героев и описываемых ситуаций ведет писательское перо. «Вы представляете, что выкинула моя Татьяна, — делился в разговоре с друзьями Пушкин, — она вышла замуж!». А как стонал, как орал в негодовании на своего героя Бальзак:

«Негодяй! Подлец!», — костерил он Растиньяка, и его перо едва успевало бежать за отвратительными поступками бессердечного карьериста.

Так и Платон — его «перо» вела логика развития исходных его идеалов, логика их возможного воплощения в жизнь. И именно эта логика — кстати, думаю, совершенно неожиданно для Платона (гуманиста и свободолюбца, критика тирании) привела его с железной необходимостью к выстраиванию тоталитарных структур, по сравнению с которыми критикуемые им тирании кажутся довольно мягкими и гуманными социальными формациями. Важно понять эту неожиданную и странную логику, описать условия её реализации. Платон на бумаге проделал то. что много веков спустя проделывало человечество в реальной жизни, в практике своих масштабных исторических преобразований.

Не поняли платоновскую идейную драму теоретики и практики последовавших в истории революций, не разгадали грозных предупреждений, несущихся со страниц его произведений. И, наверное, это тоже закономерно. Ведь, известно, ключ к анатомии обезьяны — анатомия человека. Не наоборот! Ключ к пониманию первичных, неразвитых форм объекта — в его зрелых, развитых формах («Сова Минервы вылетает в полночь» — не так ли?). Платон становится по-настоящему понятен — лишь в свете опыта Английской, Французской и, в особенности, Октябрьской Революций. А понятый Платон, в свою очередь, «возвратным ходом», — существенное подспорье в понимании этих революций и продемонстрированной ими «иронии истории».

Такими вот «загогулинами» (дай Бог Вам здоровья, Борис Николаевич, творец богатых смыслами неологизмов!), да, такими вот, повторяю, «загогулинами» идет развитие социального знания: от проблем и загадок новейших революций — к истокам, к Платону и от изученных и по-новому понятых «истоков» — снова к современности, снова к событиям нашей эпохи. И только в этом движении «современность-истоки-современность» возможно установить общее направление исторических ветров, тенденций истории, примерные контуры будущего; только в этом контексте возможно более грамотно, более содержательно сформулировать задачи, стоящие перед Современным Человечеством.

Начало
Что есть справедливость? Мораль, политика, жизнь

Итак, мы начина-а-а-аем!
(*из «Пролога» к «Паяцам» Леонкавалло)*

История Человечества — так я думаю — начинается... с Сократа. А рубеж, разделивший Предысторию и Историю — суд над Сократом.

* * *

Суд над Сократом — сплошная тайна, сплошная загадка. Двадцать с лишним веков «всё прогрессивное человечество» ломает голову над этой загадкой. Отвечает и так, и этак. Кажется, еще немного, еще несколько точных и заветных слов — и качнется, и взлетит вверх занавес, скрывающий волнительную тайну. Но нет, не находится это слово — только легкое колыхание темного бархата, только мимолетный просверк лучей угадываемой за ним Истины.

Каждое новое поколение математиков бралось **доказывать** 5-й постулат Евклида, стараясь сократить до четырех количество аксиом (т.е. положений, принимаемых на веру, без доказательства), лежащих в основе Евклидовой геометрии — так она выглядела бы более научно обоснованной. В ходе таких попыток открывались невероятные, потрясающие, великие вещи — Гауссом, Больяи, Лобачевским, Риманом. Но 5-я Евклидова аксиома так и не превращалась в **доказанную** истину, так и оставалась утверждением, принимаемым на веру.

Примерно та же история — с судом над Сократом. Каждое новое поколение философов, политических мыслителей бралось разгадывать его тайну. И тоже немало чего удавалось наоткрывать при этом. Но ощущение неразгаданности оставалось и продолжало мучить всех, желающих понять логику и смысл интеллектуальной истории человечества, а с ней и через нее — смысл человеческой истории вообще, назначение и сущность Человека…

Там всё было странно — сплошная воландовщина.

Какой-то сапожно-кожевенных дел мастер (Анит) вместе с привлеченными им сообщниками — бездарным (но страшно честолюбивым и заносчивым) рифмоплетом (Мелетом) и серым, посредственным ораторишкой (Ликоном) — пишут в афинский суд донос на 70-летнего старца (Сократа), требуя для него смертной казни. Обвинение — из двух нелепых пунктов: «развращение юношества» (современному молодому читателю, со сбитыми набекрень мозгами, поясню: речь у доносителей шла о развращении **интеллектуальном**) и «отрицание старых богов и придумывание новых».

И вот за это предлагается, видите ли, убить человека. Ну, бред. Полный. И почти очевидный. Ну, беседовал старик с некоторыми юношами, ну, говорил им какие-то вещи о смысле жизни, назначении человека — да, вещи, по-видимому отличающиеся от того, что говорил Анит, или (ну, допустим даже!) — отличающиеся несколько от общепринятых в Афинах дидактических наставлений. Ну и что? Что, Сократ этот был правителем Афин, народным трибуном, государственным идеологом, наставления которого считались бы обязательными для исполнения гражданами? Какое там! Просто — старый человек сугубо частным образом беседовал с пятью-шестью, редко — с десятью, собеседниками (со всеми, кому не лень было его слушать) — на пирушках, на базаре, в перерывах спортивных состязаний. Никого ни на что не под-

бивал. Его спрашивали — он отвечал, как он думает. Он спрашивал — ему отвечали, и потом вместе обсуждали эти ответы. Ни к бунтам, ни к восстаниям, ни к борьбе с режимом, ни к неповиновению не призывал, никогда. И даже если предположить, что он говорил что-то, по вашему мнению, господа доносители, «не то» и «не так», то кто вам препятствовал сказать тем же людям и «то», и «так»? И потом, есть же в Афинах школы, гимназии, десятки официальных учителей, идеологов, ораторов. Что, Сократ затыкал им рот, что ли?...

В общем, тут не требовалось никакого адвокатского блеска, никакого адвокатского хитроумия, никакого особого адвокатского мастерства, чтобы перед судьями обнаружить всю нелепость «состава преступления» и требуемой — смертельной — меры наказания.

И насчет богов этих (отрицание одних, придумывание других) — тоже бред. Ксенофонт (ученик Сократа) две сотни страниц написал, массу (известных всему афинскому люду!) примеров привел, из которых видно, что ни богохульником, ни разрушителем религиозно-интеллектуальной афинской традиции Сократ не был. Ну, иронизировал (с присущими ему мягкостью и добродушием) над тем, что кто-то в поведении птиц выискивает знаки божественных знамений, подсмеивался над теми, кто в каких-то других, столь же нелепых приметах видел волю и знаки богов. Так разве это **богов**, это — **дураков** «отрицание».

И насчет выдумывания новых. Да, Сократ признавался друзьям, что иногда, попадая в затруднительную жизненную ситуацию — когда трудно рационально взвесить все аргументы в пользу того или другого выбора — он прислушивался к тому, что говорит ему некий внутренний голос («даймоний», как его называл Сократ). И Сократ свидетельствует, что неоднократно убеждался: голос, «даймоний» этот, дает очень удачные советы. «Ага! — взвизгивали тут Аниты и Мелеты. — Вот, вот! Вот это и есть новый, придуманный им Бог — Даймоний! Убейте его за это!». И снова — бред собачий. И тут не нужно никакой адвокатской изворотливости. Достаточно спокойно, толково и просто разъяснить людям, как это и делали потом Платон с Ксенофонтом, что ни о каком «новом Боге» тут не шло и речи. Что это — всего лишь «внутренний голос», который есть у всякого (более или менее нормального) человека, — это голос Совести, голос Нравственного Выбора. Ну, какие-нибудь чудаки или полные тупицы и могли бы пойти на поводу у демагогии Анитов и Мелетов. Но полтысячи свободных афинских граждан, судивших Сократа, клюнуть на такую чепуховину — да ни за что!

Но вот поди ж ты, хотя обвинения доносителей никак — по всем афинским законам и обычаям — не тянули на «смертную казнь» (да и обвинения эти на суде доказаны не были), — несмотря на всё это, Сократа (а судили его не в закрытом заседании и не какие-нибудь там сталинские «тройки» и «пятерки» по приказам сверху, а пять сотен свободных афинских граждан в открытом процессе) Сократа, повторяю, приговорили... к смерти.

Тут самое время дать — для современного читателя — краткую справку, как проходили афинские суды той далекой поры рубежа V–IV вв. до н.э.:

«Дело Сократа подлежало рассмотрению в одном из отделений гелиэи — афинского суда присяжных. Гелиэя состояла из 6000 членов, ежегодно избиравшихся по жребию из десяти афинских фил. Судьями могли быть лишь афиняне, достигшие 30 лет, не отягощенные государственными долгами и не лишенные гражданской чести.

Из 6000 членов гелиэи 1000 были запасными, а остальные 5000 по жребию распределялись на 10 судебных отделений по 500 человек в каждом. На случай равенства голосов «за» и «против» в каждое из 10 судебных отделений добавлялся еще один гелиаст. Обычно — так было и в случае с Сократом — гелиэя рассматривала подсудные ей дела на одном из своих отделений в составе 501 гелиаста. Председатель судебного отделения и прочие руководители процесса избирались по жребию.

Продолжительность судебного заседания в Афинах была установлена с ориентировкой на самые короткие дни в году в месяце посейдон (декабрь–январь) и равнялась 9,5 часам или в пересчете на воду для клепсидр (водяных часов) — 11 амфорам. За это время суду предстояло полностью разобрать соответствующее дело, выслушать стороны и вынести приговор... Время прений сторон определялось клепсидрами, причем для обвинителя и подсудимого с их свидетелями и помощниками имелись соответственно два отдельных сосуда с одинаковым количеством воды. Клепсидра запускалась, когда слово давалось соответствующей стороне.

Процедура слушания дела Сократа была в соответствии с требованиями афинского судоговорения такова: оглашение обвинительной жалобы Мелета, выступление обвинителей (Мелета, Анита, Ликона) и подсудимого (Сократа), тайное голосование судей по вопросу о виновности или невиновности подсудимого, вынесение приговора (в случае с Сократом — обвинительного), предложения сторон (после признания судом вины) о мере наказания, тайное голосование судей по вопросу о мере наказания и оглашение избранной меры, последнее слово осужденного.»[1]

Ну, вот, и как мы уже сказали, 360-ю голосами Сократ был приговорен к смерти.

Удивление и потрясение таким поворотом дела первым в истории высказал один из учеников Сократа, Ксенофонт: «Часто удивлялся я, какими это доводами люди, обвинявшие Сократа, убедили афинян, что он заслужил смертный приговор от сограждан»[1]. С этой фигурой вопрошения, с этим выражением «удивления» он так и остался стоять в истории, передавая эстафету вопрошения и удивления последующим поколениям.

А эта фантастическая история с голосованием судей. «Виновен» — решило 280 человек из 501. А когда далее решался вопрос о мере наказания этого «виновного», — за смертную казнь проголосовало 360(!) человек. То есть по-

[1] В.С. Нерсесянц. Сократ. М., 1977, с. 119–120.

[2] Ксенофонт. Сократические сочинения. СПб, 1993, с. 39.

лучается, что 80 судей, посчитавших Сократа невиновным, вдруг этому «невиновному» влепили «смертный приговор». Что за дьяволиада такая?

Но самое странное и загадочное — поведение Сократа на суде. Вместо того, чтобы спокойно, с присущей ему логикой и убедительностью, отводить идиотские обвинения, он начинает сам себе формулировать обвинения — причем весьма серьезные и основательные. При этом ведет себя по отношению к судьям столь вызывающе — словно задался целью не защитить, а обвинить себя, словно боится, что (вдруг!) его оправдают. Создается впечатление, что он, по выражению Ясперса, просто «выхлопатывает себе смертную казнь». Зачем? Почему?

Заманчиво принять участие в коллективном многовековом поиске ответа на эти вопросы, на эти загадки и странности.

Мне кажется, что многие «странности» станут понятными и разъясненными, если мы поймем, что судебный процесс над Сократом движет не слепая игра каких-то сил, не случайный баланс доводов и контрдоводов, не искусство обвинителей и не сознание судей. Процесс с самого начала и до самого конца выстраивается и режиссируется... Сократом. **Он** им управляет. **Он** создает его — как мастер-живописец свою картину, как писатель — роман, как философ — эссе. Вся жизнь Сократа — в главном и в частностях — это философское произведение, классически выстроенное. Суд, последовавший в ходе его приговор, смертная казнь Сократа — это последняя глава в его жизне-произведении, и создана она в совершенно блистательной манере — по законам Истины и Красоты.

Давайте же повнимательнее вглядимся, «вчитаемся» в эти последние страницы Сократовского жизне-творения и попытаемся затем понять скрытые в них глубинные смыслы.

Последняя глава жизне-творения Сократа (шесть «Зачем?» и одно «Почему?)

Она, эта глава, началась с того, что Сократ отверг приготовленную для него знаменитым афинским оратором и адвокатом Лисием защитительную речь, составленную с блеском, по всем правилам афинских судебных тяжб и с учетом настроений и состояния массового сознания афинян в ту эпоху:

«— Отличная у тебя речь, Лисий, да мне она не к лицу.

Лисий удивлен:

— Если речь отличная, то как же она тебе не к лицу?

— Ну, а богатый плащ или сандалии разве были бы мне к лицу?»[1].

[1] Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1998, с.105.

Так, ясно: он будет защищаться сам («сказать, как я хочу, и так, как я хочу!»).

А как же он хочет? А вот как. Сразу же в первых же фразах он провозглашает ситуацию противоборства: «Афиняне, вы не услышите речи разнаряженной, украшенной изысканными выражениями». То есть — речей, которые вы привыкли слышать от обвиняемых. Иначе говоря: я отвергаю **ваши** правила игры, **ваши** судебные приличия и условности; вы «услышите речь простую, состоящую из первых попавшихся слов» (Платон. Собр. соч. в 4-х томах, т. 1, с. 70). И на это, конечно же, сразу, вполне им ожидаемое и предвидимое — первый «ШУМ». То есть вызов, брошенный им, принят — а как его не принять? — и первая составляющая противоборства — «шум» — появилась. На что Сократ, как бы мимоходом, бросает: «Прошу вас, не поднимайте из-за этого шума». Дальше констатация «шума» пойдет через всю речь Сократа; Сократ будет к этому «шуму» судей относится с полнейшим безразличием, без всякого волнения и смущения, он будет спокойно и твердо гнуть свою линию; его упоминания о «шуме» будут лишь формой фиксации наиболее острых, центральных пунктов спровоцированного им противоборства.

И кривую противоборства он поведет круто, по нарастающей.

«ЗАЧЕМ?» № 1 Все знали Сократа как мягкого и деликатного (хотя и ироничного, но добродушно-ироничного) собеседника. Даже когда оппоненты его были грубы и неуступчивы, он оставался беззлобным и добродушным. Суровый, ригористичный, не склонный к сентиментальности и комплиментарности Гегель (с присущей ему добросовестностью и педантизмом изучивший жизнеповедение Сократа) говорит о его «безукоризненно благородном характере». И, давая характеристику Сократу, рисует образ человека, которого можно было бы назвать классическим интеллигентом античности (а, может быть, даже, по крайней мере, я склонен думать так — **первым настоящим Интеллигентом в мировой истории**): «Его поведение в отношении других было не только справедливо, правдиво, откровенно, лишено суровости, честно, но мы видим также в нём пример тщательнейшим образом выработанной *аттической светскости*; это — общение в высшей степени образованного человека, который при всем остроумии не вносит в свои отношения с другими ничего личного и избегает всего неприятного». И дальше: «Сократические диалоги... — высшие образцы этой тонкой общежительной культуры»[1]. Прекрасно! Точно и тонко — как это всегда у Гегеля.

А на суде? Тут словно другой Сократ.

Как это «ничего личного», как это «избегает всего неприятного»? Какая там, к дьяволу, «светскость»? Характеризуя своих оппонентов, без стеснения рубит с плеча, говорит зло, резко, да и просто нарочито грубо, не выбирая вы-

[1] Г.В.Ф. Гегель. Лекции по истории философии. Книга вторая. СПб, 1994, с. 42

ражений. С первых же слов, с первого же абзаца своей защитительной речи: «верного они ничего не сказали», «но сколько они ни лгали», «это с их стороны... всего бесстыднее», «они не сказали ни слова правды». И дальше — по нарастающей: «клеветники на меня клеветали»; о Мелете: «человек этот большой наглец», «он подал на меня жалобу просто по наглости», «Мелет лжет»[1].

Ну, не принято так выражаться в афинском суде вообще, а находясь в роли обвиняемого, — тем более. Будь смирен и деликатен! Даже самые наглые, самые необузданные люди, которые в обычной жизни не стеснялись крыть соперников отборной бранью, — и те, выступая перед столь высоким и столь многолюдным афинским собранием, вели себя тише воды, ниже травы. А этот — наоборот: обычно вежливый и деликатный, вдруг так, можно сказать, «бесчинствует»! Ведет себя, ну просто вызывающе, порождая раздражение в душах слушателей.

Зачем?

«ЗАЧЕМ?» № 2 А куда подевалась общеизвестная скромность Сократа? Снова вспомним Гегеля: «Сократ был невозмутимым благочестивым образцом моральной добродетели: мудрости, скромности, воздержания, умеренности...». А вот познакомьтесь, пожалуйста, с образчиками его «скромности» и «умеренности» в речи на суде: «Они (обвинители) не сказали ни слова правды, а от меня вы услышите ее всю»; известность свою я получил «благодаря мудрости» и «этой мудростью я... в самом деле мудр». Да что же это такое творится с Сократом? Уж не заболел ли старик, не температурит ли? Дальше — больше. Впору эпиграфом к его речам уже брать знаменитую формулу Ильфа и Петрова: «Остапа понесло!». Да, Сократа просто «несло»: «Мне кажется, бог послал (!) меня городу как такого, который целый день, не переставая, всюду садится и каждого из вас будит, уговаривает, упрекает», «другого такого вам нелегко будет найти, о, мужи»; наконец: «таким образом, о мужи афиняне, я защищаюсь теперь совсем не ради себя, как это может показаться, а ради вас, чтобы вам, осудившим меня на смерть, не проглядеть дара, который вы получили от бога».

Ну, как вам эта автохарактеристичка: «Дар, полученный афинянами от бога»? Не слабо?

«ЗАЧЕМ?» № 3 Итак, *к оппонентам* — дерзко и грубо, *о себе* — с самомнением и вызывающей, просто шокирующей нескромностью.

А по отношению *к судьям*?

Ведь как это было принято в Афинах? Выходишь на сцену в качестве обвиняемого перед сотнями сограждан — отдайся целиком на их коллективную

[1] Платон. Собр. соч., т. 1, с. 70, 72, 80.

волю, продемонстрируй перед ними свою малость и свое смирение. Не стесняйся никаких жестов самоуничижения. Не постесняйся стать на колени, залиться слезами, привести на суд своих детей и внуков (лучше малолетних, чтобы они пищали и плакали — так будет жалобней). Славословь общественное мнение афинян. Это не стыдно и не позорно. Это даже почитаемо: значит, ты — «наш человек». Стыдно так вести себя перед врагами или в какой-нибудь частной ссоре с соседями. А здесь, перед своими согражданами, — только так. Сам железный, гордый, волевой и бесстрашный Перикл не стыдился перед афинскими судьями лить слезы и униженно молить — не осуждать на изгнание его возлюбленную, прекрасную и талантливую Аспазию. А что уж говорить о других ...

А этот потерявший всякое чувство реальности старец не упускает случая выказать нечто вроде даже презрения к коллективному разуму мужей афинских. Так, когда они недовольно и осуждающе «шумят», он не тушуется, не умолкает, не просит прощения («оговорился» там, или — «случайно вырвалось», «недостаточно подумал»), а, перекрывая шум, просто требует, чтобы они... замолчали: «И вы не шумите, о мужи афинские, даже если вам покажется, что я говорю несколько высокомерно». (Ничего себе «несколько», ничего себе «если покажется» — вспомним его совершенно откровенные эпатажные речи!). И снова: «Ты, почтенный Мелет, отвечай нам (*т.е. мне, Сократу — Г.В.*), а вы, афиняне, помните, о чем я вас просил вначале, — не шуметь, если я буду говорить по-своему» (т.е. «нескромно», «резко», «высокомерно»).

А уж когда он заявил — вещь вообще немыслимую, невозможную для Афин — «даже если бы вы меня отпустили и при этом сказали мне: на этот раз, Сократ, мы не согласимся с Анитом и отпустим тебя, с тем, однако, чтобы ты не занимался этим исследованием и оставил философию, а если еще раз будешь в этом уличен, то должен будешь умереть, — так вот, говорю я, если бы вы меня отпустили на этом условии, то я бы вам сказал: «Желаю вам всякого добра..., о мужи афинские, а слушаться буду скорее бога, чем вас, и пока есть во мне дыхание и способность, не перестану философствовать», когда, повторяю, он заявил им ***это***, тут вообще шум поднялся невообразимый. А он, глазом не моргнув, еще жару добавляет: «Не шумите, мужи афинские», вы должны «не шуметь..., а слушать; вам будет полезно знать, как я думаю». Более того, «я намерен вам сказать и еще кое-что, от чего вы, наверное, пожелаете кричать» еще больше. И дальше — те самые, уже приведенные нами рассуждения о том, что он «дан городу богом» и что он советует «не проглядеть дара, который вы получили от бога».

Ну, знаете, всему есть предел... Да он что, издевается над нами?.. Впрочем, может, это он по незнанию, по неведению так ведет себя? Ведь по рынкам, да по базарам, в основном, шатался, ведь, человек. Где ему знать судебную этику! Тогда можно было бы понять (и в какой-то мере простить) все его «непристойности».

Так нет, он и эту возможность у судей отнимает напрочь. Выясняется, что он прекрасно знает все эти их «правила»; просто отказывается им следовать —

из принципа, по убеждению. И при этом открыто противопоставляет себя судейскому сообществу, унижает судящих его афинских граждан — до невозможности, до нестерпимости: «Возможно, что кто-нибудь из вас рассердится (*«возможно»? «рассердится»? да вы послушайте, что он им сейчас скажет — тут не «рассердишься», тут от негодования и ненависти задрожишь, и не «возможно», а абсолютно точно*), возможно (повторим!), что кто-нибудь из вас рассердится, вспомнив о себе самом, как сам он, хотя дело его было и не так важно, как мое, упрашивал и умолял судей с обильными слезами и, чтобы разжалобить их, приводил своих детей и множество родных и друзей, а вот я ничего такого делать не намерен, хотя подвергаюсь, как оно может казаться, самой крайней опасности». (В общем, какие же вы все ничтожества, дорогие мои сограждане, а вот я...). И Сократ продолжает, что называется, наращивать и наращивать. И держится так вовсе не потому, что бесчувствен и равнодушен к смерти или некого ему и привести на этот высокий форум: «Есть у меня кое-какие родные; тоже, ведь, и я, как говорится у Гомера, не от дуба родился и не от скалы (*и здесь не без юмора, только какой-то это нахальный юмор!*), есть и сыновья, о мужи афиняне, целых трое, один уже взрослый, а двое младенцы; тем не менее ни одного из них не приведу я сюда и не буду просить вас о помиловании». Вот так! Получили, о мужи афиняне?

«ЗАЧЕМ?» № 4 Сократ продолжает усугублять трудности своей защиты. Вместо того, чтобы ограничить круг обвиняемых и обвинений, сосредоточившись на таких хлипких обвинителях, как Анит и Мелет, он, по доброй своей воле, резко расширяет содержание обвинения и количество и «качество» обвинителей: «Ведь у меня много было обвинителей перед вами и раньше, много уже лет...» И называет «обвинителей» по-настоящему солидных и авторитетных, иных можно даже назвать людьми знаменитыми (даже гениальными — Аристофана, например) — не чета бездарному поэтишке Мелету или кожевнику Аниту: «Их-то опасаюсь я больше, чем Анита с товарищами», ибо те, прежние, «обвиняли меня раньше и гораздо больше, чем теперешние»[1]. Ежели так, зачем же ты их тащишь сюда, Сократ? Зачем удесятеряешь сложность своей защиты?

Ну, не самоубийца ли ты? Зачем?

«ЗАЧЕМ?» № 5 Всё описанное выше происходило до голосования по вопросу — виновен ли Сократ.

И вот 280 человек из 501-го (многие из которых поначалу были лояльно настроены по отношению к мудрому старцу, но затем, по-видимому, были раздражены его поведением на суде) голосуют: «виновен». И всё же соотно-

[1] Там же, с. 71.

шение голосов не слишком катастрофично для Сократа: 280 против 221-го. Это же почти равновесие. Перетяните на свою сторону всего 30 голосов — и будет 251 (т.е. — большинство!) за невиновность!

В такой ситуации, кажется, всякому должно быть ясно: найди «правильный» тон, «верную» интонацию, «подходящие» аргументы, пойди (ну, совсем немного, совсем чуть-чуть) навстречу обычным представлениям афинских граждан, ну, потрафь им немного — и 30–40 голосов — твои, и согласится большинство на какую-нибудь мягкую форму порицания.

Так нет, он не только не борется за эти 30 голосов, он так выступает после первого голосования, что дополнительно несколько десятков голосов судей берут сторону обвинителей. Уже первые фразы в этой, второй части суда (когда должна быть определена мера наказания признанному уже виновным Сократу) не могли не удивить присутствовавших. То, «что вы меня осудили», начинает Сократ, «это не было для меня неожиданностью», «гораздо больше меня удивляет число голосов на той и другой стороне», «что меня касается, то ведь я и не думал, что буду осужден столь малым числом голосов, ... я думал, что буду осужден большим числом голосов».

Собственно, что ты хочешь этим сказать, Сократ? Ты что, огорчен? Тебе хотелось, чтобы признавших тебя виновным было значительно больше?

Во всяком случае, он делает всё, чтобы добиться этого, и, надо сказать, блистательно добивается. Вот как это ему удается.

Коли большинство признало тебя виновным, теперь ты, в соответствии с правилами афинского правосудия, должен сам предложить себе наказание. Ну, будь уступчивей, «гибче», молили друзья и ученики, ну назначь себе штраф покрупнее; да, знаем, ты беден, но мы заплатим. Это — элементарный житейский компромисс. Ты был хорош, великолепен, не отступил. Дело сделал. Ну, а теперь — небольшая уступка: ты им — штраф, они тебе — жизнь.

И тут Сократ выкинул номер, от которого онемели даже его лучшие ученики. «Итак, чего же я заслуживаю...? — начал изобретать себе наказание Сократ. — Что-нибудь хорошего, о мужи афиняне, если уж в самом деле воздавать по заслугам, и при том такого хорошего, чтобы для меня подходило. Что же подходит для человека заслуженного и в то же время бедного, который нуждается в досуге вашего же ради назидания?». Наверное, здесь он сделал паузу, наверное, была звенящая тишина: пять сотен афинских граждан ждали развязки — что же такое придумает этот странный человек? «Для подобного человека, о мужи афиняне, — с несколько, я думаю, наигранной кротостью продолжил Сократ, — нет ничего более подходящего (*здесь, я думаю, была еще одна пауза*), как получить ***даровой обед в пританее***».

Да что он говорит, не ослышались ли? «Даровой обед в Пританее»! Да эту величайшую честь предоставляют ***героям*** Афин, Олимпийским победителям. А он, признанный уже «виновным»...

[1] Там же, с. 90.

И совершенно ошарашенную, как я полагаю, судейскую толпу он добивает небрежным (нарочито-небрежным) и спокойным (тоже несколько наигранно-спокойным) повтором — чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений (не ослышался ли он?): «Итак, если я должен назначить себе что-нибудь заслуженное, то вот что я себе назначаю — даровой обед в Пританее».

Потом, наверное, посмотрел на вконец расстроенных таким поворотом речи своих друзей-учеников — и «уступил» им, по видимости (именно — «по видимости», потому что форма уступки была просто издевательской по отношению к судейской общественности): «Да, вот что, афиняне, могу еще штраф предложить с меня взять. (Вы, ученики, довольны, что я и ваше пожелание учел?) Правда, денег у меня нет. ...Пожалуй, я вам могу уплатить мину серебра (мелочь — по тем временам); ну, столько я назначаю». И совсем уж сжалившись над своими почитателями: «А вот они, о мужи афиняне, — Платон, Критон, Критобул, Аполлодор — велят мне назначить тридцать мин, а поручительство берут на себя; ну, так назначаю тридцать». (А вы, друзья, сами увидите, готовы ли они всерьез отнестись к вашему предложению).

Но, конечно, после его «бесплатных обедов», после его «одной мины» всё это выглядит неприкрытым измывательством над бедными «мужами афинянами».

И вот теперь уже 360 человек — за смертный приговор. Парадокс: 80 судей, признавших его в первом голосовании «невиновным», после этаких его речей, переметнулись в ряды обвинителей, да еще с требованием смертной казни. Добился-таки своего Сократ! Зачем?

«ЗАЧЕМ?» № 6 И вот — заключительная, прощальная речь — после «смертного приговора». Может, тут, готовясь к отходу в другой мир, смягчился и смирился Сократ и решил сказать что-нибудь примиряющее, отпускающее грехи своим строгим судьям?

Какое там! Ответил предсказанием-угрозой: «А теперь, о мои обвинители, я желаю предсказать, что будет с вами после этого... И вот я утверждаю, о мужи, меня убившие, что тотчас за моей смертью придет на вас мщение, которое будет много тяжелее той смерти, на которую вы меня осудили».

А вот что он скажет тем ста сорока, кто, несмотря ни на что, проголосовал за его невиновность и, естественно, против смертной казни: «Не раскаиваюсь в том, что защищался таким образом, и гораздо скорее предпочитаю умереть после такой защиты, нежели живым, защищаясь иначе».

и последнее:

«ПОЧЕМУ?» Почему не бежит Сократ? Ведь Критон всё устроил, всё подготовил. Критон — близкий друг Сократа, его земляк и сверстник. Он богат и знатен, что не мешает ему, однако, быть последователем Сократа. Кри-

тон — один из тех, кто (вместе с Платоном, Критобулом, Аполлодором) готов был уплатить штраф за Сократа в 30 мин. И вот за три дня до срока казни, на рассвете, приходит благородный Критон в тюрьму к своему другу и склоняет его к побегу. Надо было спешить: истекали 30 дней, дарованных судьбой Сократу (В день вынесения ему смертного приговора на остров Делос было отправлено ежегодное священное посольство, феория, — в честь легендарного афинского героя Тесея, некогда, по преданию, спасшегося от чудовища-минотавра на Крите и принесшего обет богу Аполлону. По обычаю, на время пребывания феории на Делосе, смертная казнь в Афинском государстве откладывалась до ее возвращения через 30 дней).

И вот — три дня до возвращения священного посольства. Три дня до срока казни.

«Послушайся ты меня, — умоляет Сократа верный и преданный Критон, — и не отказывайся от своего спасения...». Всё продумано и всё готово. Стража подкуплена (да она к тебе и так расположена — готова закрыть глаза на твое исчезновение). И жилье подготовлено в Фессалии («у меня там друзья, которые будут тебя высоко ценить и оберегать, так что во всей Фессалии ни один человек не доставит тебе огорчения»). И средства для жизни — будут, в достатке: «ты же можешь вполне располагать моим имуществом, и я думаю, его будет достаточно». И Симмий Фиванец, и Кебет, «и еще очень многие» готовы дать деньги («Фонд Сократа»!). И будешь продолжать ты свою, такую нужную для людей, деятельность. И продлишь такую нужную для друзей твоих жизнь.

Но Сократ отказывается — мягко, понимая и уважая намерения своего «милого друга» Критона. Мягко, но ***неколебимо***: «Если ты будешь (продолжать) говорить противное, то будешь говорить понапрасну». Почему?

Вот так: шесть «Зачем?» и одно «Почему?»...

Сократ: исповедь и завещание
(Предсмертные «письма» Платону)

Я нашел их. Не спрашивайте, где и как, это — долгий и особый разговор, да и для другого сорта изданий — для какого-нибудь журнала вроде «Огонька» или «Вокруг света». Я буду доказывать их подлинность не дотошным рассказом о месте, времени и обстоятельствах находки — хотя бы потому, что подобные рассказы мало чего стоят. Тут можно много чего наплести — поди проверь. Вон опубликовал недавно один чудак в «Независимой газете» некое «Завещание Плеханова». И наговорил, наплел с пять коробов — как по невероятным человеческим цепочкам, с рук на руки двигалось оно, начиная с 1918 года. Разумеется, люди, прятавшие и передававшие его, давно уже померли, а в живых — вот только он, автор сенсационной публикации, — последнее звено в цепи движения потрясающего документа. Конечно, в целях проверки можно попытаться пройтись по всем пунктам «пе-

редаточной» эстафеты, поднять архивы, пятое, десятое. Но мне нет надобности это делать. Мне достаточно прочитать несколько дубоватых, малограмотных фраз из этого «Завещания», чтобы сказать: Георгий Валентинович **таким** образом никогда не выражался, **так** он просто не мог написать; я еще, подобно Гамлету, слава Богу, способен отличить полет сокола от полета цапли; я еще могу отличить щенячий писк какого-нибудь нынешнего эстрадного поп-кумира от сверкающего звукового потока Марио Ланца. Так вот **я** подлинность писем буду доказывать всем известными фактами, цитатами и свидетельствами из давно опубликованных книг. Приводимые мной письма не содержат ни одного факта, не известного ранее, ни одной цитаты, ранее не опубликованной. В общем, любителей дешевых сенсаций я должен разочаровать: в письмах напрочь отсутствует какая-либо новая информация. Новое в них — лишь **объяснение** известного.

И еще одно предварение. Кому-то, возможно, покажется уж очень современным стиль этих писем. Да, конечно, переведи я их на старославянский, они выглядели бы «посолидней», «подревностней». Но я перевел их не просто на русский, но на **современный** русский язык (при сохранении древнегреческого содержания — что подтвердят, в частности, многочисленные цитаты из произведений античных авторов, приводимые мной в том виде, как они переведены в серьезных классических изданиях).

А теперь — к письмам.

письмо 1. День первый, после приговора.

Дорогой Платон!

Возьми себя в руки, дружище! Тут не надо никаких истерик. (*«Перед вынесением окончательного решения Платон пытался увещевать присяжных. Он уже было взобрался на помост и начал говорить: «Граждане афиняне, я — самый молодой из всех, кто сюда всходил...» — как судья закричал: «Долой! Долой!»*[1]*.)* Не надо выглядеть жалко — давая врагам нашим повод для торжества. Неизбежность надо принимать стойко. Взвесь возможности: есть шансы — дай бой, нет — без стенаний прими судьбу, хладнокровно и достойно. Но это — так, совет на будущее.

А вообще-то спасибо тебе, дружище. Твой — хотя и бессмысленный — порыв был для меня, пожалуй, единственной наградой в этот день. Я понял, даже нет — почувствовал: есть люди, готовые и способные встать со мною рядом, перед палачами.

Но не спеши разделить мою земную судьбу. Ты молод, у тебя всё впереди. Ты много еще можешь сделать.

Мне нечем тебя утешить. Я понимаю, как ты переживаешь, теряя Сократа (говорю о себе в 3-м лице — не из чванливости, чего мне перед тобой-то

[1] См. Диоген Лаэрций. История философия, с. 105.

чваниться, — просто знаю себе цену и знаю твое ко мне отношение; а потому будем говорить откровенно, что называется, «без дураков»). Но — выдержи, выстои.

Это наш последний с тобой разговор. И впервые — письменный. Ты ведь знаешь, я не любитель писательства. Это — сознательно, по многим причинам. Ведь задачу свою я видел не в том, чтобы писать какие-то назидательные, дидактические трактаты, рассчитанные на любого человека, или расписывать научные, претендующие на высокую и объективную истину теории. Я просто не был готов к этому. Я совсем не валял дурака, говоря, что «я знаю, что я ничего не знаю». Эту фразу мою будут трепать разные там историки философии, выворачивая ее и так, и эдак и выискивая в ней какие-то особые потаенные, глубокомудрые смыслы. На самом же деле она предельно проста и не на какую сверхмудрость не претендует. Я просто честно и искренне сказал, что ничего не знаю о том, что, в первую очередь и главным образом, следовало бы знать человеку. А именно — о действительной сущности и действительной природе человека и вытекающем из этой его природы назначении человека в этом мире.

Ты можешь, и вполне резонно, заметить, что «незнание» — не добродетель, что незнанием не хвастаются, не гордятся, а в моей-де фразе есть этот оттенок горделивости. Да, не скрою, есть. Но горжусь я в ней не «незнанием», а — **знанием**, хотя и специфическим. Главное в ней ведь то, что я **знаю**, что я ничего о вышеупомянутом **не знаю**. Тогда как другие относительно себя этого **не** знают. Им-то кажется, что они знают очень многое, едва ли не всё. Но что они знают? Что знают даже самые мудрые из мудрейших — от Фалеса до Анаксагора? Ну, знают, когда наступит солнечное затмение, как определить высоту пирамиды, знают, что квадрат, выстроенный на гипотенузе, равен сумме квадратов, построенных на катетах, знают о «законах природы», устанавливают причины разнообразных природных явлений. Они многое знают о мире, в котором мы живем. А мудрейшие из них (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит) немало продвинулись по пути осмысления мира как некой целостности, как некоего единства, пронизанного общей субстанцией. Да, мир, эту среду нашего обитания, знать надо — чтобы осмысленно в ней действовать. Кто же с этим спорит! Но во всём этом многознании нет **главного**: осознания того, что мы, люди, — не просто «часть природы», не просто превращенная, усложненная форма воды, воздуха, огня, апейрона, подчиняющаяся в своей деятельности, как и все другие вещи, «законам природы» (воды, воздуха, огня и т.п.), а — «вещь» особая, уникальная, одаренная такими «инструментами», как «душа», «сознание», «совесть», благодаря которым мы действуем в мире, следуя иным законам и правилам, чем все остальные природные «вещи».

Вот что я **знаю**, Платон! И разве это малое знание? Разве оно не открывает дверь в новый, неизведанный, неисхоженный еще мир познания? Да, я только приоткрыл дверь в этот мир я о нём еще ничегошеньки не знаю. Но я знаю — где этот мир и где дверь в него!

Я поздно открыл этот мир. Большую часть жизни я посвятил изучению той «мудрости», которой обладали мудрейшие. Я читал их книги, я ездил к ним, слушал их речи, вел с ними беседы, мучительно размышлял над их исканиями. И наступил предел, рубеж, когда я понял: все эти знания — второстепенны, малосущественны для человека, они — лишь некое введение, некое предисловие к миру его действительных знаний; это — с одной стороны. А с другой, — хотят, несчастные, узнать сущность Мира, Космоса, его происхождение, его — бесконечное! — прошлое и — такое же бесконечное — будущее. Ведь это же претендовать на то, чтобы сравняться с Богом (описать его цель и замысел!). Иначе говоря, с одной стороны, — их метод уводит человека от действительно стоящих и важных для него предметов познания, а с другой — выдвигаемая ими познавательная задача (понять замысел Творца!) не может быть решена в надлежащей степени: ведь это — бесконечный процесс накапливания микроскопических кусочков истины.

А когда я понял, **что** именно надо познавать и где находятся эти предметы познания, отведенный мне лимит земного времени приблизился к концу. Конечно, я приоткрыл ту, найденную мной, потайную дверь и, разумеется, потоптался немного в том, лежащем за этой дверью, мире Истины. Но сколько я могу один там понаоткрывать! Да и умри я — кому-то снова, путем тяжких испытаний, придется вновь искать и открывать ту потайную дверь. Потому-то я и видел своей задачей, дорогой Платон, рассказать людям об этой «двери», об этом входе в Мир Истины. Позвать их туда, объяснив, что мир, где живут они, это всего лишь царство теней, дающих слабое и искаженное представление о подлинной Истине.

При случае объясни это людям, Платон. Напиши об этом с тем литературным блеском и той образностью, которой — из современников — один лишь ты обладаешь в такой совершенной степени. *(Не этот ли завет Сократа выполнил Платон, создав свой знаменитый образ-миф о Пещере? — см. «Государство», кн. 8).*

Так вот, дорогой Платон, мне, в первую очередь, и надо было рассказывать людям не о Мире Истины (потому что и сам я еще только-только приглядывался к нему и мало что успел разглядеть, да и потому, что, скажи я о нём людям, — за сумасшедшего примут, или, того хуже, за богохульника, врага общества и каждого человека), мне надо было всего лишь потихоньку-полегоньку **готовить** людей к вступлению в этот новый мир, увлекать их, звать за собой. Надо было осторожно и деликатно — в форме непритязательных бесед — подводить их к мысли о противоречивости, спутанности, а то и пустоте их так называемых «знаний». Важно было, чтобы они (с моей легкой помощью, незаметным подталкиванием) сами приходили к этому выводу — что их «знания» — это мишура, пустяки, что надо идти к другим предметам, к другим сферам познания. Поэтому каждый мой разговор с человеком — новый, по форме, примерам, содержанию. Он, этот разговор, — вслушивание, всматривание именно в **этого** человека, это я ему, этому, данному, конкретному человеку, опираясь на его специфический жизненный опыт (моряка,

воина, земледельца, сапожника), стараюсь показать никчемность тех «знаний», которыми его кормят со школьных лет. Поэтому что же тут записывать? Разговоры наши — будничные, с одним — об одном, с другим — о другом. Какая же тут «система», какая «наука»?

И еще, может быть, самое главное. Даже то, что я знаю, что продумал и, казалось бы, понял, меня самого не до конца устраивает. Я ощущаю неполноту, ограниченность этого знания. Любое мое, даже более или менее «правильное», утверждение надо десятки раз исправлять, уточнять, расширять — в одном отношении и ограничивать — в другом. В частном-то разговоре оно сойдет — оно в нём текуче, оно живет: само себя критикует, уточняет, изменяет. А запиши его — оно так и застынет в своей ограниченной форме. Вот почему я и не писал ничего, дорогой Платон. Не пришло время. Для меня не пришло.

Но тут уж, в этой необычной ситуации, в какой я сейчас оказался, пришлось вот обратиться к несвойственной мне форме общения: взяться за перо (?). Мне кое-что хочется сказать тебе на прощанье, кое-что пояснить для тебя, жаль уносить в могилу. Конечно, будь ты рядом, — я не изменил бы своему обычаю устной беседы. Но ждать твоего выздоровления — рискованно, вдруг ты не поправишься до того, как мне принесут смертельное зелье.

Письмо сие, по изложенным выше причинам, не публикуй, оно только для тебя, одного. Оно — некая путеводная нить для тебя по истории моей жизни, и ты сам — я верю! — разберешься, может быть, лучше, чем я, где я сужу сам о себе верно, где — нет; ведь автохарактеристика — штука опасная, иногда далеко отходящая от истины…

Сейчас тишина. Умиротворяюще горит моя масляная лампа, за окном — темное афинское небо, усыпанное драгоценными каменьями звезд, этими знаками Пространства и Вечности.

Ушли восвояси мои друзья и мое семейство. Целый день надрывали мне душу.

Вначале — Ксантипа с сыновьями. Этих особенно тяжело было вынести. Эти ее рыдания, с младшеньким на руках. А тут еще Критон со своими сентенциями — что я-де поступаю эгоистично, несправедливо, отказываясь спасти свою жизнь бегством. «Ты предаешь своих сыновей, — наседал он на меня. — Оставляешь их на произвол судьбы, между тем как мог бы и прокормить, и воспитать их. И твоя это вина, если они будут жить как придется; придется же им испытать то самое, что выпадает обыкновенно сиротам на их сиротскую долю». А потом и совсем добивает: «Или не нужно заводить детей, или уж нести все заботы о них — кормить и воспитывать, а ты, мне кажется, выбрал самое легкое; следует же тебе выбирать то, что выбирает человек добросовестный и мужественный, особенно если говорил, что всю жизнь заботился о добродетели». И пошло-поехало: и в суд можно было не являться, и на суде вести себя иначе, и вот после суда — можно спокойно убежать за пределы Афин.

А я вот «самое легкое» выбрал — казнь смертную, а я вот такой не-мужественный и не-добросовестный — не размазал слюни по лицу, изворачиваясь

перед судьями, такой вот гордец: не бухнулся перед ними на колени — о, да, ради них, детей, жены... О-о-о!..

М-да, по самому больному месту ударяет мой друг Критон.

Моя бедная, несчастная моя жена. В самом деле, что она получила от жизни со мной? Нищету и унижения. Идеи мои, мысли мои? Ну, что они ей? Она — земной человек. Она — прекрасный и нормальный, во всех отношениях, человек. Она хотела жить «как все», как другие: обеспеченная семья, ухоженные дети, получающие хорошую, земную, профессию... Я ничего этого ей не дал. Я **не мог**, мой милый, мой дорогой Платон, я **не мог** всего этого ей дать. Ну, ведь для меня мой образ жизни — не чудачество, не блажь, а единственно возможный способ существования. От другого — я бы или повесился, или сошел бы с ума.

Тогда нечего жениться, нечего заводить детей, — кипит благородным гневом Критон. Не знаю, может быть. Но кто же, женясь, может предвидеть, что более чем нормальная жизнь, т.е. жизнь по правилам справедливости и нравственности, окажется столь несчастной и трагической...

Но как бы там ни было, я — объективно — очень виноват перед ней. Я-то жил счастливо (как это ни покажется странно обывателям), ибо — в полном соответствии со своими желаниями и идеалами. А она? Она-то — другая. Я втянул ее в чуждую ей жизненную колею. Она, а не я, — на самом деле жертва. И — не «судьбы», не «обстоятельств», а исключительно — моей недальновидности. Но когда я увидел, когда понял это — задолго до суда! — исправить что-либо было уже невозможно. Не бросать же жену и детей.

Да, и дети... Да, рано. Рано приходится умирать, Платон. Детей бы хоть немного поставить на ноги, тогда бы уж — и в вечный сон. Но опять: как это «на ноги»? Отказаться от моего образа жизни? Не могу! Не «не хочу», а просто ***не могу*** — это отказаться от жизни... Но есть, Платон, и еще одна грань во всей этой истории. Критон кричит — что я должен жить, чтобы детей «воспитывать». А что, я разве их не «воспитывал» всем своим образом жизни, разве я не учил их добродетели, разве я им — не словами, не болтовней — а делом, делом всей своей жизни не показывал, что такое «справедливость», «честность», «порядочность», «долг»? И разве **это** — не главное в «воспитании»? А что, разве своим поведением на суде я не продолжил их «воспитание», разве, черт тебя побери, Критон, смертью своей я их не «воспитываю»? Разве они получили бы лучший урок «воспитания», видя, как их отец, спасая свою шкуру, предает всё, чему он их учил верить и поклоняться? И разве моя «маленькая просьба» к согражданам — последнее, с чем я обратился к ним на суде, — не акт «воспитания» моих детей, не моя «воспитательская программа» детям на всю их жизнь? Ну, ты помнишь, конечно, эту мою «маленькую просьбу»:

«Если, о мужи, всем будет казаться, что мои сыновья, сделавшись взрослыми, больше заботятся о деньгах или еще о чем-нибудь, чем о доблести, отомстите им за это, преследуя их тем же самым, чем и я вас преследовал; и если они будут много о себе думать, будучи ничем, укоряйте их так же, как и я

вас укорял за то, что они не заботятся о должном и воображают о себе невесть что, между тем, как на самом деле ничтожны. И, делая это, вы накажете по справедливости не только моих сыновей, но и меня самого».

…А когда Ксантипа с детьми уходили от меня по тропинке в сгущающуюся тьму афинского вечера, я, стоя на пороге моей тюрьмы и глядя им вслед на их согнутые, горем придавленные спины, на их горестно опущенные руки, — веришь ли, разрыдался. И рыдал долго и безутешно, как рыдают только в детстве.

Вот и сейчас: пишу тебе это, и не могу сдержать слёз, и — перехватывает горло…

Продолжаю некоторое время спустя.

Ну и еще одно (и, надеюсь, последнее) мое сетование — перед тем, как перейти к серьезному нашему с тобой разговору. Об учениках моих. Тоже весь день душу тянули. Хорошие, славные они ребята, но какие-то наивные и — не хотел этого говорить, но тебе всё же скажу — глуповатые. До предела. Аполлодор мне своими слезами весь мой плащ оросил — до сих пор вот сижу с мокрыми плечами — будто дождем окатило. Сидит и причитает: «Особенно мне жаль, Сократ, что тебя осудили *несправедливо*». Надоели мне эти стенания. Легко стенать, когда *других* режут. Ну, и съязвил я (о чем сейчас жалею — бедный и славный Аполлодор этого не заслужил!): «А тебе что, — говорю, — было бы легче, если бы меня осудили *справедливо*?».

А потом он надумал, что принесет мне какой-то новый, «прекрасный» (по его выражению) плащ — чтобы в нём, в этом, неимоверно прекрасном, плаще, мне умереть (такая вот трогательная забота!). «Неужели мой собственный плащ, — отвечаю я ему, — годился, чтобы в нём жить, и не годится, чтобы в нем умереть?».

Да и Критон тот же, извел прямо меня: всё о побеге да о побеге. Ну, что за глупый парень! Мочи моей просто нет! Совсем не понимает, **что** произошло. А объяснять ему — и долго (до цикуты не успеешь!), и для него — бесполезно, — не поймет ничего.

«Извините за простодушие…»

Григорий Григорьевич! Извините меня за простодушие, но, когда Вы начали нам читать про то, что «нашли письма Сократа», я, конечно же, Вам поверил и невероятно обрадовался. Такая находка, такая сенсация! Нам же говорили, что Сократ не написал ни строчки. Всё, что о нём известно — от Платона и Ксенофонта. И вдруг такая потрясающая находка — 10 его (!) писем!

Но когда Вы начали читать его первое письмо, до меня стало доходить: да нет, это не подлинные письма Сократа,

это — ***Ваша*** реконструкция мыслей и идей Сократа, это просто Ваш «художественный прием». И поначалу я почувствовал жуткое разочарование: «Не Сократ!». Но продолжая слушать Вас, я увлекся ***Вашим*** Сократом. Мне были так понятны, так близки его искания, сомнения, размышления, переживания, — словно всё это он пишет не Платону, а лично мне. Меня очень тронули его проникновенные и откровенные речи, заставили многое пережить и о многом задуматься.

Но одна мысль не давала покоя: все-таки, кто это — исторический, реальный Сократ (с несколько осовремененной лексикой) или Ваш литературный герой; чьи это идеи, мысли, сомнения, страдания — того, знаменитого афинского философа, или Вашего персонажа (пусть даже родственного Сократу).

И Вы помните, я попросил у Вас разрешения ксерокопировать эти Ваши «сократовские письма». И два с лишним месяца посвятил тому, чтобы сравнивать высказываемые в них мысли с мыслями того, древнего, Сократа — мыслями, зафиксированными для нас Платоном и Ксенофонтом.

Я прочитал все четыре платоновские тома. Я проштудировал «Сократические сочинения» Ксенофонта. А потом я решил «проверить» (уж, извините!) Вас. И убедился, что практически все идеи, «высказываемые» Сократом в Ваших (его) «письмах», могут быть подтверждены прямыми цитатами из Платона и Ксенофонта.

Вся эта работа так увлекла меня, что я даже сделал комментарий (примечания) к Вашим письмам, в котором к каждому тезису «письма» даю сноску — подлинную цитату из сочинений учеников Сократа.

Может быть, Вам самому это будет интересно и, может быть, сочтете возможным включить мои примечания в готовящуюся Вами книгу?

Мне кажется, такие примечания были бы полезны читателю, который увидел бы, что в «письмах» не придуманный, а подлинный Сократ, и тогда Ваш тезис о его «современности» получил бы дополнительную доказательность.

Правда, в трех-четырех местах мне не удалось найти убедительных подтверждений. Не поможете ли?

Юрий А-в.

Юра — студент 3 курса МГЛУ (Московского государственного лингвистического университета), где я читал курс «История политических учений».

Я любил «переписываться» со своими студентами. И в «заметках на полях» его «Примечаний» написал о том, что его письмо и проделанная им работа была для меня настоящей наградой — свидетельством «ненапрасности» моих педагогических и просветительских усилий. И еще я заметил, что его примечания превосходны, в чем-то даже полнее тех цитат, что выписывались мной при подготовке главы о Сократе, и что я обязательно воспользуюсь его примечаниями и комментариями, в этом, действительно, есть смысл. Но не в данной книге, у нее — особый жанр, и мне не хотелось бы «утяжелять» ее таким подробным и скрупулезным «научным аппаратом». Пусть читатели или поверят мне или, подобно Юре, сами обратятся к чтению сочинений учеников Сократа (это, думаю, будет небесполезной и небезынтересной для них работой).

Я написал Юре, что у меня есть замысел: издать материалы работы моего «Мастер-класса» по проблематике «Политика и мораль», который я в течение нескольких лет вел в разных вузах, и там работа Юры найдет свое место.

ПИСЬМО II. Мне передали, Платон, что ты пришел в сознание, что тебе полегчало. Ну и слава Богам! Но не будем тратить время на разговоры о суетном...

Друзья всё упрекают меня за поведение на суде, за речи мои, там произнесенные: «не то», «не так», «можно было оправдательного приговора добиться» и т.д. Я — отшучиваюсь; всерьез объяснять всё это — штука сложная. Ведь это не только для них, и для меня самого — загадка!

Выступал-то я на суде, скажу тебе откровенно, по наитию — так, как мой внутренний голос мне подсказывал. Это **он** вел меня. Во все сложные и острые моменты дискуссии я обращался к нему: «Так?» — «Да, так», — отвечал **он**; ни разу не остановил, ни разу не упрекнул...

А сегодня я хочу попытаться разобраться — для себя и для тебя — почему же так, а не иначе, повелевал он мне поступать. Да и понять мне заманчиво, что это за штука — мой «внутренний голос» (или, как я его высокопарно называю, «мой демон», «мой даймоний»). Давно, давно он направляет меня, и слушаюсь я его беспрекословно, и не было еще случая, чтобы он подвел меня, т.е. повелел делать то, за что мне потом было бы стыдно и противно. Ты ведь знаешь, Платон, я не мистик. Ты знаешь, как высоко я ставлю человеческий разум. Он, разум, главный объяснитель всего, главный ответчик за всё. Ты знаешь все мои речи, все мои идеи — тут всё основано на рациональном, разумном доказательстве. Я знаю только одно благо — **знание**. И вот тем не менее (поди ж ты!), в какие-то моменты (я заметил, — наиболее запутанные и наиболее сложные) разум, рациональное мышление вдруг дает сбой и тупо, растерянно молчит, и тогда — совершенно неожиданно для меня — откуда-то из глубин всего моего существа поднимается какая-то повелевающая сила (это даже не «голос»; голосом я ее называю так, условно, другого слова просто не подберу), — каким-то непостижимым образом толкающая меня к тому или иному поступку. Я хочу понять, что это. Я хочу понять

его природу, суть его связи с моими чувствами и моими действиями. Я не верю, что мой разум не способен приоткрыть завесу над этой тайной (*и, добавим, такой прекрасной!*) силой.

Но вначале хочу разложить, что называется, по полочкам смысл, логику моих поступков, моих действий на суде, хочу рационально объяснить для себя (и для тебя, Платон) — какова была необходимость действовать так, а не иначе. Короче говоря, хочу перевести на язык разума те иррациональные импульсы, те толчки, что шли от таинственной и неведомой силы, которую я называю «внутренним голосом», «даймонием». А потом уж попробуем разгадать — кто же это там «сидит во мне», кто же это так повелительно и так умело ведет меня по жизни.

Я попробую ответить на все те «зачем» и «почему», что задают мне мои друзья.

Ну, во-первых, вся эта история с Лисием.

«Я бы выиграл дело», — говорил он мне после суда. Да, может, и выиграл бы, но «выиграл» бы на свой лад. Мне же не всякий «выигрыш» нужен, и уж во всяком случае — не «любой ценой».

А если бы к тому же и не выиграл? А такой исход был бы вполне возможен: Анит с Мелетом подсуетились — многих афинян привлекли на свою сторону, кого — сплетней и клеветой, кого — деньгами. И вот, представляешь, зачитал бы я угодническую, заискивающую перед судьями речь Лисия и — получил бы тот же приговор! Остался бы в истории дураком. Полным! Да и не остался бы тогда в ней — какой смысл истории сохранять память о глупцах!

Нет, Платон, тут нельзя было рисковать. Я отдавал себе отчет, что, скорее всего, это мои последние речи в жизни. Это, если хочешь, мое Завещание — вам, друзьям моим, моему любимому и прекрасному отечеству, да и (не сочти за нескромность) — человечеству, нынешнему и будущему. И вот вместо моего Завещания оставить текст Лисия?.. Глупее не придумаешь!... (Вот, стало быть, что прежде всего шепнул мне мой «голос». Неплохо ведь шепнул? А?).

Да, и потом: упустить такую потрясающую возможность обнародования моего Завещания — при таком стечении народа!

Тебе ли мне объяснять, в каких условиях вел я свои философские беседы в течение всей своей жизни. Пять, шесть, максимум десять, человек — вот и вся обычная моя «аудитория», да, между делом — на базаре, у меняльной лавки, посреди шума, гама, суеты мирской: один подходит, другой уходит. Какое уж тут особое философствование!

А слушателей-то этих как я заманивал — и смешно, и жалко. Ну, ты помнишь нашу первую встречу с тобой?

... Был жаркий и пыльный, типично афинский летний день. Ты, со своим слугой и корзинками, сосредоточенно шагал к рынку — закупать, видимо, продукты для вечерней пирушки. Я знал о тебе, Платон (как знал всех достойных внимания афинян), и незаметно для тебя наблюдал за тобой. Я слы-

шал твои стихи, твои речи. Я разглядел большой художнический дар, наполняющий твою душу. Твои гекзаметры, обращенные к богу любви, сияющему Эроту («сыну Киферы») я выучил наизусть и повторял бесчисленное число раз — так они восхитительны:

Только в тенистую рощу вошли мы, как в ней увидали
Сына Киферы, малютку, подобного яблокам алым.
Не было с ним ни колчана, ни лука кривого, доспехи
Под густолиственной чашей деревьев блестящих висели.
Сам же на розах цветущих, окованных негою сонной,
Он, улыбаясь, лежал, а над ним золотистые пчелы
Роем медовым кружились и к сладким губам его льнули.

Как ты нашел такие слова, такое их сочетание, такую музыку звуков, такие словесные краски и ритмы — как будто не человек, сами боги создавали эту картину. Эта вязь образов: «густолиственная чаша блестящих деревьев», «цветущие розы, окованные сонной негой», и на этих-то, поистине божественных, розах — Он, олицетворение любви; а «золотистые пчелы», «льнущие» к «его сладким губам»! Это не просто хорошо. Это божественно!

Я чувствовал упругую силу и неотразимую логическую красоту твоих молодых речей, видел, как ты, словно играючи, ухватываешь самую суть вещей, о которых говоришь.

А потом этот сон. Необыкновенный, осиянный солнечными лучами день (какие только в снах и бывают!). Я лежу на каком-то бархатно-зеленом травяном пригорке, и на груди у меня — о, чудо! — ослепительно белый, молодой, необыкновенной красоты и грации лебедь. И вдруг мягкий и плавный взмах крыльев — и с дивным криком он взлетает и плывет — туда, вверх, в бездонную синеву неба, и парит там, где только он, небесная синь и сверкающее солнце.

Я разгадал этот символ. Лебедь, взлетающий с моей груди, — это ты, мой дорогой Платон.

После этого сна и встретил я тебя, спешащего на базар. Мне захотелось остановить тебя, вырвать из состояния твоей базарно-хозяйственной сосредоточенности, чем-то отвлечь и увлечь тебя. И ты помнишь, что я у тебя спросил? Вряд ли это отложилось в твоей памяти. А я помню — как сейчас.

Скажи мне, где можно достать масло и сыр?

На базаре, — рассеянно-небрежно ответил ты.

А добродетель?

Когда я с подобными вопросами обращался к другим людям, реакция бывала разная: один — посмотрит на меня и рассмеется (ну, ты, дескать, и шутник, дед, славно дурака валяешь) и… пойдет дальше; другой — с недоумением и опаской: странный, ненормальный старик; третий — со злобой: отвяжись ты, старик, со своей ерундой, мне надо успеть важные вещи сделать — то купить, это, отвяжись, а не то — смотри у меня… А ты — остановился и,

без улыбки, без усмешки, без раздражения, очень внимательно и очень серьезно посмотрел на меня; сколько мы так молча смотрели друг на друга — не знаю, думаю — очень долго. А потом я сказал: «Пойдем покажу, где можно достать добродетель…».

Ты отослал слугу домой и пошел за мной, мой прекрасный, мой ослепительно белый Лебедь…

Да, я не был безвестным в Афинах. Обо мне говорили, бывало, пересказывали мои беседы. В общем, без внимания не оставляли. И всё же это внимание имело какой-то насмешливо-иронический характер. И над плащом-то моим — старым и рваным — потешались, и над моей привычкой ходить босым — и в жару, и в холод, над моей манерой говорить образными аналогиями (где персонажами выступали сапожники и пекари, моряки и кузнецы…), над моей манерой вести диалог (которая представлялась как способ бессмысленного запутывания собеседника).

Да, я становился героем различных театральных произведений, причем известнейших, гениальных авторов — таких, как, например, Аристофан. Мало кто (при жизни!) сподабливался такой чести. Но каким же там меня представляет великий Аристофан! Ты, конечно же, не помнишь. Тебе, ведь, было всего 4 года, когда его комедия «Облака» забавляла афинян. Вот послушай же, как представляли Сократа. (А ведь мне тогда было 46 лет, и это было время моего расцвета!).

Там некто Стрепсиад ведет своего сына — Фидиппиада — ко мне, чтобы я научил его умению вести «кривые речи», назначение которых одурачивать кредиторов и не возвращать, вследствие этого, им долги. Ведет он его к моему «маленькому домику», который Стрепсиад именует «мыслильней» — где «того, кто денег дает им, пред судом они обучат кривду делать речью правою». Так вот обозначается смысл моей деятельности. Сын, естественно, тоже знает, как в Афинах говорят об обитателях этой «мыслильни»: «А, знаю, негодяи бледнорожие, бахвалы, плуты, нечисть босоногая, дурак Сократ и Херефонт помешанный» (видишь, и мою «босоногость» отметить не забыли!). «Ну, и что? — возражает ему отец. — Главное — научиться тебе у них «кривым (т.е. хитро-лживым) речам»:

С кривою этой речью всяк, всегда, везде
Одержит верх, хотя бы был кругом не прав.
Так если ты кривым речам научишься,
Из всех долгов, которым ты один виной,
Не заплачу я и полушки ломаной.

Вот, оказывается, чем занимается твой, Платон, учитель!

Но этого мало. Надо еще основательней «пройтись» по Сократу. Стрепсиад расспрашивает вышедшего из «маленького домика» «Ученика» Сократа — чем они в этой мыслильне занимаются, о чем они там «мыслят». И Ученик с готовностью объясняет:

Так слушай и считай за тайну страшную!
Недавно Херефонта вопросил Сократ:
На сколько ног блошиных блохи прыгают?
Пред тем блоха куснула Херефонта в бровь
И ускользнула на главу Сократову.

Стрепсиад И как же сосчитал он?

Ученик Преискуснейше!
Воск растопивши, взял блоху и ножками
В топленый воск легонько окунул блоху.
Воск растопивши, получил блошиные
Сапожки, ими расстоянье вымерил.

Стрепсиад Великий Зевс! Не ум, а бритва острая!

Ученик Что ж скажешь ты о новом изобретенье
Сократа?

Стрепсиад О каком, скажи, прошу тебя?

Ученик Мудрец сфетийский Херефонт спросил его,
Как мыслит он о комарином пении:
Трубит комар гортанью или задницей?

Стрепсиад И что ж сказал о комарах почтеннейший?

Ученик Сказал он, что утроба комариная
Узка. Чрез эту узость воздух сдавленный
Стремится с силой к заднему отверстию.
Войдя за узким входом в расширение,
Из задницы он вылетает с присвистом.

Стрепсиад Тромбоном оказался комариный зад!
Мудрец кишечный, дважды, трижды счастлив ты!
Избавиться от тяжбы — дело плевое
Для вас, разъявших тело комариное!

Ученик На той неделе истина великая
Погибла из-за ящерицы.

Стрепсиад Как же так?

Ученик В полночный час, исследуя движение
И бег луны, стоял он, рот разинувши.
Тут с крыши в рот ему наклала ящерка.

Стрепсиад Смешно: Сократу в рот наклала ящерка!

Да, Платон, Аристофан — гений. И это всё написано, действительно, смешно и талантливо. Я сам каждый раз хохочу, вспоминая эти строки. Да и то

надо признать, что элементы чудаковатости были в наших (моих) беседах, в нашем (моем) поведении. И можно потешаться над ними. Да ты сам знаешь, что нередко, в минуты отдыха, на скромных пирушках наших мы и сами над собой потешались, гротесковали, пародируя наше «глубокомыслие».

Но у Аристофана-то не просто шарж, не просто дружеская пародия, не просто гротесковое преувеличение наших действительных чудачеств. Аристофан не шутит. Он высмеивает зло и всерьез. Да даже не высмеивает, он издевается. У него мы на самом деле предстаем «бахвалами, плутами, нечистью и дураками».

И никто не вступился за Сократа. Зрители хо-хо-та-ли!! Пусть же позднейшие историки помнят об этом и не рассказывают сказки о том, как «ценили» меня Афины, как считали «мудрейшим». «Мудрейшим» я был для них в кавычках, а без кавычек — в лучшем случае ***юродивым***!

Конечно, кроме Аристофановых насмешек, останутся еще записи моих учеников, в которых будет представлена действительная деятельность нашей «мыслильни». Но и тут, Платон, дело плохо: ведь даже лучшие записи меня не устраивают. Вот, я знаю, Ксенофонт всё за мной записывает. Знаю, что — «из любви ко мне», что хочет сохранить для потомков мысли «мудрого Сократа». Поэтому ни осаживать его не хочу, ни обижать критикой. Но то, что он показывал мне, — ну, не я это, и всё! Так, что-то очень отдаленно похожее. Я у него какой-то навязчивый морализатор, занудный дидактик: вот всех самодовольно обучаю всяким пустякам и банальностям — примитив жуткий! Он всё по поверхности фраз скользит, не понимает главного, существенного, не схватывает подтекстов, нюансов. Не чувствует иронии, не ухватывает, как бы это сказать, вёрткости, многозначности слов. У него — плоско всё. Пытался деликатно объяснять ему — вижу, не понимает, обижается даже. Так он теперь тайно пишет, мне не показывает — насмешек моих побаивается. Ну, опубликует он всю эту примитивщину после моей смерти — представляю разочарование умных людей после такого чтива: «И этот поверхностный проповедник банальностей и есть «мудрейший» Сократ?». Боги! Спасите, защитите меня от моих учеников!

Знаю, Платон, что и ты записываешь мои разговоры. Извини, дружище, но и тебе правду сказать хочу. Да, за твои тексты, знаю, мне стыдно не будет. Там, уверен, всё будет умно, тонко, изящно, глубоко. Поумней и поглубже даже, чем то было у меня в действительности. Но Платон, но дорогой мой Платон, это ведь тоже буду не я, это, в большей степени будешь ***ты***! И чем дальше будет развиваться твой ум и расцветать твое литературное мастерство, тем дальше и дальше *твой* Сократ будет уходить от Сократа подлинного.

И что-то мне, под конец жизни, стало немного жаль этого «подлинного Сократа». Хотелось бы, чтобы хоть что-то осталось от него такое, что он на самом деле думал и говорил. Одна из таких возможностей приблизиться к подлинному Сократу — это наложить друг на друга Ксенофонтовы и твои тексты. Ксенофонтово изложение приземлит высокий полет твоих записей, оно более зримо, более жизненно передаст приметы нашего времени, более адек-

ватно передаст мою манеру выражаться, особенности речей моих собеседников. А твой высокий стиль, твоя благородная манера изложения, твое глубокомыслие поднимут пласты непритязательных жизненных наблюдений и пересказов Ксенофонта на уровень большой теории. Передай, Платон, этот мой совет своим друзьям, ученикам и всем, кто хотел бы добраться до более или менее подлинного Сократа.

И всё же такое «наложение» текстов — процесс не механический. Он требует тонкой теоретической наблюдательности и серьезной искушенности в философствовании. Не всем это окажется по силам. Вот почему мне и захотелось *самому* — с максимально возможной для меня четкостью — изложить свои основные мировоззренческие позиции.

Знаешь, Платон, что самое страшное для мыслящего, творческого человека? Не преследование за идеи, не публичное и громкое поношение. Нет, это — нормально, это — борьба, и ты должен отдавать себе ясный отчет, что новый, нестандартный, необычный взгляд на мир обязательно встретит сопротивление поклонников традиций, коих, поначалу, естественно, большинство. Самое страшное — это **заговор молчания вокруг тебя**. Когда сказанное тобой слово гаснет в пустоте, утопает в песке безгласия. Ты криком кричишь, а слово не летит, не передается дальше, а — падает возле, рядом, без эха, без отклика. Ты словно замурован, ты словно под колпаком, из-под которого выкачен воздух. А тебе есть что сказать людям, и ты должен это сказать. И дело тут даже не столько в трагедии твоей личной нереализованности (хотя, что ж тут скрывать, и это — штука мучительная), сколько в понимании того, что не может успешно развиваться и процветать общество, в котором мыслящие, болеющие за судьбу Отечества люди живут либо с кляпом во рту, либо в изгнании. Потому-то и принимали за чистую монету галиматью, которую писал обо мне Аристофан, потому-то на суде и рассматривалось всерьез обвинение Мелета, приписывавшего мне совершенно не разделяемые мною взгляды Анаксагора; да они не только меня, но и Анаксагора-то толком не знали.

В общем, Платон, у меня всю жизнь не было ни арены, ни трибуны, где я мог бы обращаться к людям. И вот, Платон, подарок судьбы: я — впервые в жизни — могу выступить перед громадной аудиторией своих сограждан — полтысячи судей и еще вокруг сотни, а то и тысячи «зевак», пришедших послушать, как будут судить Сократа. Более того, я получаю возможность выступить в условиях, когда они, эти полтысячи судей, **обязаны** меня выслушать, **обязаны** вникнуть в то, что я говорю. Ибо им надо не просто поаплодировать после «спектакля», но пошевелить мозгами, чтобы вынести обоснованный приговор. И пошевелить мозгами — очень серьезно и очень основательно — ибо речь-то идет о **смертном** приговоре, вещи очень серьезной и очень основательной.

В общем, это как раз тот редкий (в моей жизни —единственный!) момент, когда, по сути дела, все Афины будут слушать тебя самым внимательным, самым основательным образом. Вот почему, Платон, я и отказался от чуждой мне речи Лисия. И «внутренний голос» одобрил это мое решение.

ПИСЬМО III. Ах, какое утро сегодня, Платон! Эта заря, разгорающаяся над морем; воздух — такой чистоты и прозрачности, что кажется — вон те рощи, что толпятся у горизонта, — здесь, рядом, прямо у тебя перед глазами, — прозрачность поглощает пространство. И — сочные, ярко-зеленые цвета вокруг — травы, стеблей цветов, крон деревьев, — цвета постоянного обновления и вечной молодости... Сидел бы у окна — и часами, не шевелясь, смотрел и смотрел на это очарование. Но, увы, лимит моих часов практически исчерпан...

Критон приходит ко мне каждый день — как на работу. И всё пеняет, что я неправильно вел себя на суде, что был-де я не похож на себя обычного. Что-де я, такой обычно вежливый, такой деликатный, такой дружелюбный, и вдруг так набросился на своих оппонентов и т.д., и т.д.

Понимаешь, Платон, мне надо было с самого начала взять верный тон, поставить наш диалог с обвинителями в рамки, соответствующие моменту и нашим реальным с ними отношениям. Дружелюбие мое и деликатность существовали ведь в других, совсем других условиях — в частных разговорах, да и то преимущественно с друзьями или людьми, по своей доброй воле и желанию пришедших побеседовать со мной. Чего же мне не быть с ними деликатным и дружелюбным! А тут-то — совсем другая ситуация. Тут надо было не смягчать, не замазывать различие наших — с оппонентами — взглядов, а резко очертить их абсолютную несовместимость. Надо было сразу обозначить ситуацию **противостояния**.

Вспоминают Перикла — не постеснялся-де встать перед гражданами на колени и уронить слезу. Да, времена Перикла — это не просто 35 лет тому назад, это вообще другая **эпоха**. Это — эпоха, когда Афины были единой **семьей**, сплотившейся в противостоянии сначала с персами, потом — со Спартой. Сейчас этой семьи нет. А есть жесткое противоборство двух идейных и общественных лагерей. На одном полюсе — Аниты и Мелеты, на другом — наша с тобой «мыслильня», Платон. И те, Аниты и Мелеты, объявили нам войну, и войну не на жизнь, а на смерть. Это уже не некое внутрисемейное недоразумение, которое-де надо уладить. Это — сражение непримиримых сторон (ведь смертного же приговора потребовали члены «нашей» афинской «семьи»!). И потому действительный, реальный выбор был не между семейной ссорой и семейным примирением (будь так, я всей душой выбрал бы второе: среди своих и перед своими — почему бы не смириться, не повиниться, не покаяться?). Выбор был между позорной, унизительной, трусливой капитуляцией перед врагами и сражением.

Вот мне и надо было сразу дать понять: мы, афиняне, перестали быть **единым** народом (как в лучшие годы Перикла), мы стали **разделенным** народом, и вышел я не на семейный совет, а на **сражение**. А коли так, то вести его надо по законам сражения: стоять насмерть, назад — ни шагу!

Мне с самого начала надо было дать понять ясно афинянам, что нас с оппонентами разделяют не пустяковые разногласия. Что тот строй жизни, мысли, нравственности, культуры, который защищают Аниты, поистине **губите-**

лен для нашего Отечества, для всей великой греческой цивилизации. Тут, сам понимаешь, не до сантиментов!

Наши враги правильней, глубже, нежели добродетельный, но наивный Критон, понимали смысл происходящего. Они объявили нам генеральное сражение. И его, несмотря на их сегодняшнее громадное превосходство в «живой силе», должно было принять — так же, как некоторое время тому назад мы, тогда еще единые, афиняне, приняли генеральное сражение, навязанное нам тысячекратно превосходящими нас силами персами. Мы, как ты прекрасно знаешь, потерпев поначалу ряд сокрушительных поражений, в конечном счете, именно потому, что не уклонились от противоборства, отстояли право на жизнь. На жизнь — по нашим представлениям.

И когда я стоял на помосте перед враждебным собранием, я помнил о том опыте. Для меня, в отличие от Критона и Лисия, «победить» — означало не спасти жизнь путем уклонения от сражения, а — ясно и громко сказать во всеуслышание: «Афиняне, опомнитесь! Мы — на краю катастрофы. Идеалы, формы деятельности Анитов означают гибель нашего Отечества, гибель всей греческой цивилизации. Опомнитесь, афиняне!»

Видишь, как я разбушевался, Платон. Одно воспоминание о сражении на том суде снова горячит кровь и рождает молодой задор у семидесятилетнего старца!

ПИСЬМО IV. А теперь насчет моей вызывающей «нескромности» на суде, что особенно мучает скромнягу Аполлодора.

И снова: Аполлодор меряет всё масштабом дружеской беседы за кружкой вина, тогда как противостояние на суде было всеафинского, и больше — всегреческого, масштаба. И такие масштабы схватки предъявляют иные требования к его участникам.

Тут тоже ведь всё очевидно — как на ладошке. Они, наши враги-обвинители, не только какие-то там личные счеты сводят. Они ведь от имени Афин, от имени всей Эллады пытались говорить. Они выставляли себя ее вождями, ее героями, ее защитниками. И **они** же — заметь, Платон, — **меня** назначили вождем противостоящих им сил. Не я напросился на эту роль, это они меня на нее поставили — притянув к суду и потребовав смертного приговора.

И что же, мне следовало отказаться от этой роли, сославшись на свою «малость», и упрятаться в кусты, которые погуще? Нет, Платон, я должен был соответствовать месту, которое они и судьба мне определили.

ПИСЬМО V. Самое трудное для меня, Платон, объяснить, почему я так «заносчиво» держал себя с судьями. Ну, с обвинителями — ладно, еще можно понять — прямые враги. Но зачет так раздражать судей? Зачем возбуждать в них недоброжелательство — словно напрашиваясь на смертный приговор? Что это, организованное самоубийство?

Нет, Платон, я не хотел и не хочу умирать. Все эти россказни обо мне — о моём будто бы легком и безразличном отношении к смерти — ерунда. Я хочу жить, Платон! Хочу бродить под синим небом моей дорогой Эллады, беседовать с людьми (обучая и учась мудрости), по-детски переживать, наблюдая за соревнованиями атлетов и сидеть с друзьями на вечерних пирушках, — попивая наше терпкое, солнечное, виноградное вино и внимая, под переборы кефарных струн, чарующему сладкоголосию наших песен...

Поройся в своей памяти, Платон, — было ли когда-нибудь, чтобы в своих беседах я проклинал жизнь и славил уход из нее. Да никогда, ни словом, ни намеком! Большего жизнелюба, чем Сократ, в Греции не было и нет. Далось же друзьям моим возводить на меня напраслину!

Впрочем, я примерно представляю, как возникло это недоразумение. Оно — результат чересчур поверхностного и излишне прямолинейного понимания моих рассуждений о бессмертии души человеческой. Поняли так, что коли, по Сократу, душа бессмертна и жизнь ее вечна, то с какой стати тогда ценить быстротечную земную жизнь. Зачем цепляться за это кратковременное, призрачное, полное невзгод и страданий существование, когда Там, за Горизонтом, — блаженство, когда Там не мелочные, суетливые заботы о хлебе насущном, а полная высокого смысла духовная жизнь, когда Там — общение не с этими ничтожными, эгоистичными, мелочно-злобными Анитами и Мелетами, а — с прекрасными, чистыми и мудрыми, давно поджидающими тебя — Гомером, Гесиодом, Фалесом, Анаксагором, Гераклитом... Вот почему и решили, что для Сократа расставание с жизнью не драма, не трагедия, а чуть ли не блаженство. Вот потому-то, решили, он так и торопит свой смертный приговор.

Это всё полная ерунда, Платон. Я держусь прямо противоположного взгляда. И это не трудно понять — если не скользить по поверхности слов моих, если поосновательнее вдуматься в то, что я вам всем неоднократно, на разные лады и по разным поводам, говорил.

Нет, для меня земная жизнь человека — вовсе не какой-то «мимолетный эпизод», не «бессмысленный пустячок», которым можно легко и просто поступиться во имя «вечного, блаженного» существования Там. По моему убеждению, земная жизнь для человека — это главное, основное и решающее. Это, если угодно, его «всё»!

Да, я говорил о «бессмертии души» и даже, бывало, вел не лишенный подробностей рассказ о ее мытарствах и радостях в Том, другом, Мире. Но нельзя же, друзья мои, понимать всё так буквально. Ну, куда еще ни шло — если какой-нибудь сапожник или земледелец, не слишком искушенный в делах культуры, поймет всё это буквально. Тут не будет особой беды. Это небесполезно даже — и для него, и для его ближайшего окружения: будет человек искренно верить в воздаяние на том свете — и за плохое, и за хорошее, что он сделал здесь. Ну и пусть верит: это будет для него неплохим стимулом справедливо относиться к людям, более разумно строить свою жизнь. Но я лично никакой ответственности за такое толкование своих слов не несу. Заметь,

я нигде и никогда обо всех этих вопросах «того света» не говорил как о каких-то достоверных, твердо установленных фактах. Постоянно — честно и прямо — добавлял: «если это есть на самом деле...». Я никогда не дурил головы людям, никогда не использовал их доверие к моим (несколько, впрочем, преувеличенным молвой) знаниям для того, чтобы выдавать фантазии за реальность.

Что же до культурно-развитых, интеллектуально-образованных и духовно-тонких людей, то они, конечно же, поймут (и об этом я сам говорил открыто и прямо), что все эти разговоры мои не более чем притча, миф, художественный образ. И понимать их надо, повторяю, не в лоб, не буквально.

Да, мои мысли, чувства, идеи (то есть — моя «душа») — если они окажутся стоящими (на что я очень надеюсь) — обязательно встретятся с идеями, мыслями и чувствами Фалеса и Анаксагора, Гомера и Гесиода, Перикла и Фукидида... (с их «душами»). Но встретятся не как некие реально существующие самостоятельные субстанции. Нет, они встретятся не иначе, как в *сознании* человеческом, в *мышлении* наших потомков. И в этом идеальном, этом духовном пространстве наши «души» на самом деле будут беседовать друг с другом, вести жаркие споры и приходить — одни к согласию, другие — к отторжению. И перед «Высшим судом» они обязательно предстанут — судом наших потомков, судом истории. И одни — будут прокляты и наказаны забвением, другие — «приговорены» к долгой жизни, третьи — и вовсе к бессмертию, т.е. к включенности в нескончаемую жизнь общечеловеческого духа. Бессмертен, Платон, Дух человеческий. И — душа отдельного человека, в той мере и в той степени, в какой она окажется вплетенной в жизнь этого Духа.

А отсюда я делаю очень важный вывод о «земной жизни». Поскольку «душа» отдельного человека (его идеалы, чувства и мысли, определяющие всю его жизнедеятельность) формируется **лишь** в пространстве его земной жизни, то, следовательно, от того, как она сложится Здесь, зависит судьба, которая ей уготована Там. Потому-то я и считаю, что **земная** жизнь является для человека **наивысшей** ценностью. В ней, и только в ней, заключается его возможное бессмертие. Как же можно пренебрежительно обращаться с этой наивысшей ценностью, как же можно легкомысленно отказываться от нее в обмен на мифические загробные прелести?

Вообще, Платон — перейду, в заключение, к более крупным обобщениям — идея «бренности» земной жизни и «благостности» загробной — это страшная, это античеловеческая идея.

Специально говорю об этом заостренно, резко и определенно, ибо внешне эта, кстати, весьма распространенная, идея выглядит привлекательно. И многие ее сторонники — субъективно, по намерениям — благородные и высоконравственные люди. Им представляется, что идея эта препятствует сосредоточению человека на «низких» потребностях «тела», земной жизни и ориентирует его на несуетную, возвышенную жизнь Там. На деле же эта точка зрения полностью обессмысливает и обесценивает жизнь человека Здесь. Ведь получается: Здесь он — «временно», «мимолетно», а главное — это Там.

Эта точка зрения не ориентирует человека на создание «высокого мира» — Здесь и Сейчас.

Я же, Платон, прежде всего хочу, чтобы этот высокий мир появился не Там, а Здесь (тогда и Там он будет высок и прекрасен). И я хотел бы сделать для этого всё, что смогу, что в состоянии сделать. Повторяю — для Этого, а не Того мира. Я хотел бы, чтобы люди жили красиво, справедливо и счастливо прежде всего Здесь — в Афинах, в Греции, на всей нашей Земле.

Вот такова, Платон, моя действительная философия.

Но тогда, спрашивается, почему на суде я не цеплялся за эту «высшую ценность» — свою земную жизнь? Почему, коли уж она так значима для меня?

Элементарный расчет, Платон! Я не мог обессмысливать свою жизнь — во имя «тела» отказаться от «души». Я не мог допустить, чтобы моя земная жизнь пала в цене. Я ведь стремился, чтобы она соответствовала своей сути, то есть на самом деле была *бесценной*. А с бесценной вещью надо и обращаться соответственно — содержать ее в абсолютной чистоте. Во имя жизни тела предать свою душу, лишив и ее, и себя шансов на бессмертие? Ну, уж нет! Это было бы в высшей степени нерасчетливо. В общем, Платон, я тут — совершеннейший эгоист: забочусь о себе, любимом, и о своей душе. Ну, правда, от моего «эгоизма» никому не будет худо. Это не тот тип распространенного ныне эгоизма — животного, биологического, эгоизма «тела», не гнушающегося жить за счет других. В основе моего «эгоизма» — жгучее желание обессмертить жизнь общечеловеческого духа и облагородить жизнь человеческого «тела». И за это, надеюсь, мой «эгоизм» назовут разумным эгоизмом — эгоизмом, в котором сливаются воедино «мое», индивидуальное, и «наше», общественное. Это — личная (если угодно — «эгоистическая») потребность жить не «для себя» только, но — вместе с другими и «для других». Вот так я обо всём этом думаю, мой дорогой Платон.

И всё же есть тут для меня загадка. Есть трудность, которую я не могу ни понять, ни объяснить. Почему идеи, которые я проповедую, идеалы, которые я защищаю, — для меня выше моей жизни? Почему я не могу поступиться ими даже во имя сохранения жизни своего «тела»? Почему отступление от них означает уничтожение души своей? Вообще: откуда пришли они ко мне, эти идеи, что выражается через них? Почему какой-то «внутренний голос» с какой-то непреодолимой категоричностью «приказывает» мне следовать таким, а не другим идеям, поступать так, а не иначе? Какова природа этого «голоса», что за повелительная сила исходит от него?

Я не мистик, Платон. Я хотел бы иметь рациональное объяснение.

Но его у меня нет.

Могу лишь немного пофантазировать на сей счет.

Начну с элементарного, с очевидного — с того, что мы, люди, — некая частица Бесконечного Природного Бытия. Совершенно очевидно также, что Бытие это управляет поведением своих частей, нами — в том числе. Мы следовали, мы подчинялись логике Бытия задолго до того, как заработало наше сознание, как стихийные процессы стали осмысливаться нами. Мы в течение

длиннейшей вереницы лет следовали этой логике, этому, если угодно, Замыслу Природы — что и обеспечивало наше выживание. Так не продолжает ли действовать эта внутренняя логика Космоса, Вселенной и сегодня, не продолжаем ли мы быть объектами ее воздействия, элементами, частями огромного и единого космического механизма (или даже — организма)? Да, мы кое-что уже познали, мы уже не так слепы, как много веков(?) тому назад. Но что мы познали-то? Так, некоторую поверхность вещей, некий узенький, тончайший слой этого мира. Мы поняли лишь самую-самую поверхность явлений, корни которых уходят в бездонные глубины Вселенной, в Бесконечность. Поди, попробуй познай их! Да, я знаю, что я ничего (ну — «почти ничего», ладно уж, смягчу категоричность своего афоризма) не знаю. Но из тех, бескрайних, глубин Бытия поднимается некая могучая сила, «заправляющая» и этим миром, и всеми его частями. В виде всеподчиняющих законов воздействует она на все природные объекты. И через всё наше существо проходит эта сила, регулирующая наши отношения со Вселенной. Я не знаю, как именно она регулирует и во имя чего регулирует. Есть ли у нее какой-то изначальный определенный «замысел», или весь этот мир — система лишь каких-то частных, конечных смыслов — вспыхивающих и затухающих, уступающих место другим частным целям и смыслам? Не знаю! Этого, самого главного-то, я и не знаю!!

Но я, Платон, чувствую упругую и мощную логику этой поднимающейся из глубин Природы силы, ощущаю ее пульсацию, я слышу, черт побери, Ее Голос! Вот это, по-видимому, и есть тот «внутренний голос», о котором я не раз всем вам говорил, — мой Даймоний, голос Природы, или, если угодно, голос Бога.

Я не могу ни тебе, ни себе объяснить, почему Он требует думать и поступать так, а не иначе. Наверное, того требует какая-то неведомая нам Гармония этого мира, задачи выживания и развития как Мира в целом, так и отдельных его частей, в том числе такой его «части», как Человечество. И поскольку с тех пор, как я своим, натренированным познанием, слухом смог «расслышать» этот голос, как стал следовать его «советам», он мне ни разу не посоветовал глупостей или чего-то недостойного, я отдался на его Волю (ну, конечно, не полностью, не абсолютно, не целиком; все-таки рационально-разумное объяснение играет важную роль в моей жизни, но — в значительной степени). И об этом ни разу не пожалел.

Ты, возможно, удивишься моим откровениям. Все-таки в нашей тесной и маленькой «мыслильне» принято было думать, что главное достоинство моих размышлений — в их рационализме. В том, что я ушел от фантастических и мифологических способов объяснения мира и места человека в нём. В том, что я неукоснительно следовал девизу: **познай** самого себя! В том, что утверждал уверенность в безграничных возможностях познания.

И тут вдруг пишу тебе о каких-то таинственных «голосах», поднимающихся в наше сознание из глубин Космоса, глубин Вселенной. Рехнулся, спятил старик на старости? Нет, «старик» не рехнулся и не спятил.

Я по-прежнему неколебимый поклонник Разума человеческого, по-прежнему убежден в громадных возможностях человеческого познания, по-прежнему зову своих учеников учиться, думать, познавать — постоянно, каждодневно, ежесекундно. Но — беда, если кто-то вообразит себя Богом или богоподобным всезнайкой. Вообразит, что понял, схватил самую суть этого мира, и на этом основании, в этой своей самоуверенности начнет, подобно Богу-Демиургу, вершить свою волю над миром и людьми.

Я думаю, Платон, дело тут обстоит вот каким образом. Конечно, Разум, Знание, Познание — это главное, это решающее для человека. На Разум, в первую очередь и главным образом, должен опираться человек в своей деятельности. Но, Платон, только — «в первую очередь», только — «главным образом». Рацио, Разум — это далеко не «всё». Тот, кто берется совершенствовать человеческий мир, а тем более его «переделывать», должен отдавать себе ясный отчет, что в мире действуют не только его, человека, воля, не только *познанные* его разумом законы, но и законы, силы, им еще *не* познанные, в том числе законы и силы, корнями уходящие в бесконечные связи, глубины и дали Вселенной, и которые, следовательно, никогда — в полной мере — не сможет познать человек. Из этого-то рождаются все «шутки» истории — когда мы, действуя в соответствии с познанными законами, стремимся к одному, а воздействие глубинных, не познанных нами сил приводит нас к другому. Поэтому, при всём уважении и доверии к Разуму и Знанию, двигаться в этом мире следует с величайшей осторожностью и деликатностью — как по тонкому-тонкому льду, дабы не провалиться, дабы не утонуть самому и не утопить других. Еще и еще раз: доверяя открытым нами законам, постоянно проверять и перепроверять их на практике, постоянно уточнять и корректировать их, быть постоянно готовыми к появлению нежданного и неизвестного нам, еще не открытого нами. **Иначе — Беда!**

Я думаю, Платон, вот те самые правила нравственности, морали — они-то и есть этот «голос» Природы, ее указания нашему «телу» и нашему «разуму». Поначалу человечество следовало им инстинктивно, интуитивно, прилаживаясь с помощью их к повелениям Бытия. Жизнь отбирала из них те, что проходили проверку временем, и закрепляла — в памяти людей и народов, в их нравах, обычаях, традициях; с молоком матери всасывались они, эти правила, в человеческую психику. И выглядели они, эти принципы, эти правила не как изобретенное, созданное человеком, но как звучащий голос Природного Бытия, как «внутренний голос» человека.

А потом в человеческой истории произошло нечто странное. Законы, коренящиеся в «природе» человека, в «природе» Бытия вдруг *столкнулись* с законами, созданными людьми — с так называемыми политическими законами, регулирующими жизнь граждан, их взаимоотношения с государством, обществом, друг с другом. Нравственный закон требует: «живи не по лжи!», будь *всегда* правдив и честен. А закон государства вносит существенную коррекцию: нет, *не* всегда: с врагами твоего полиса ты не обязан быть «честным» (и в самом деле, разве обязан ты воинам враждебного войска «честно» рас-

крывать военные секреты своего отечества?). Нравственный закон запрещает убивать себе подобных («Не убей!»). А государство категорически (и, наверное, по-своему справедливо) настаивает: *Убей* недругов, с мечом и копьем идущих на твой город. Нравственный закон требует относиться к другим людям, как к тебе подобным, как тебе равным, согласно золотому правилу: относись к другим точно так, как ты хотел бы, чтобы они относились к тебе. Ты не хочешь быть в услужении у кого-то, не хочешь, чтобы кто-то, используя силу или хитрость, жил за твой счет, присваивая себе большую часть произведенных тобою продуктов? Не хочешь? Ну, так и сам тогда не стремись к этому, не обогащайся за счет подневольного труда других. А государственный закон не только разрешает подневольный труд и присвоение продуктов труда других людей, но и мотивирует свое разрешение весьма убедительным аргументом, что подобное «социальное» разделение труда и появление на его основе классов — есть условие наиболее быстрого развития общества, наиболее быстрого преодоления им дефицита материальных благ; общества первобытного равенства сокрушительно проигрывают обществам социального неравенства — и экономически, и в военном отношении. В общем — два ряда сталкивающихся, а нередко — и взаимоисключающих требований и законов. И самое удивительное — у каждого из этих двух взаимоисключающих рядов есть свое историческое оправдание. Оправдание есть, но человеку-то что делать — какому «исторически оправданному» требованию следовать — нравственному или политическому?

Я много раз возвращался мыслью к рассмотрению того, как возникло это странное и страшное противоречие. И получалось, как в жутком сне: вот вроде бы всё в истории идет естественно, логично, понятно, одно согласуется с другим, одно вытекает из другого, а завершается всё в итоге каким-то кошмаром, неизвестно когда и где подкравшимся.

Ну, вот, давай-ка вместе пробежимся по ступеням этого естественного процесса, заканчивающегося… кошмаром.

Вот первая ступень: человек, еще не выделившийся из природы, не создавший еще ни общества, ни государства. Живет и действует по тем «законам», правилам и традициям, которые продиктованы условиями его бытия и задачей выживания. Это традиции и правила, в основном, морального толка, поскольку существует приблизительное равенство людей — нет еще ни особо богатых, ни особо бедных.

Так, поднимаемся на следующую ступень. Постепенно, по мере усиления человека, совершенствования его трудовых инструментов и роста количества производимых им продуктов, усиливается специализация деятельности: каждый совершенствуется в своей профессии, сосредотачивается на ней — так он будет работать успешнее и произведет больше. А затем эти «специалисты» потянутся друг к другу — дополняя один другого и обмениваясь продуктами своего мастерства. Сапожник нуждается в гончаре, гончар — в плотнике, а все вместе — в земледельце, а земледелец — в них. Ну, и так далее. Вот так-то и возникает первое «общество», первое «государство». Правила морали,

нравственности («будь честен и справедлив!», «не убей!», «заботься об общем деле!»...) продолжают действовать, продолжают быть условиями выживания каждого и всего социума. Пока всё понятно.

Ещё несколько шагов, Платон! Это первое сообщество людей, развивая и усиливая специализацию, порождает различие интересов. Каждому хочется *свою* деятельность сделать главной, доминирующей в жизнедеятельности общества. Тоже — логично и вполне понятно: кому не хочется стать возможно более значимым и более уважаемым среди своих соотечественников! И тут возникает первая опасность: претензии на наибольшую значимость начинают нарушать гармонию отношений прежде «равных» людей. И тогда, в целях обеспечения этой гармонии, люди договариваются о неких общих правилах поведения, которые обеспечивали бы точную и выгодную для всех меру сочетания частных и общественных интересов. А для того, чтобы заставить всех следовать этим правилам, люди создают общественный (политический) орган, обладающий возможностями и силами принуждения.

Тоже всё пока в рамках гармонии, без особых противоречий. Только, пожалуй, — некоторый намек на них: созданный *политический* инструмент охраняет *нравственные* требования и правила. Намек на противоречие — в том, что инструмент, обладающий правом насилия и принуждения, имеет целью защищать (и настаивать на) выполнение правил, которые по природе своей должны соблюдаться добровольно, а не под угрозой насилия.

Но двигаемся дальше. Дальше тоже всё естественно-необходимо. Начавшееся соревнование разных интересов, обостряющееся соперничество людей — одних, наиболее энергичных и сильных (а то и коварных), поднимает на гребень жизненной волны, других — опускает в низины. Начинается и стремительно растет разделение на богатых и бедных. Жизненные обстоятельства вынуждают одних работать на других, а то и становиться собственностью этих других. Патриархальное равенство постепенно умирает, уступая место всё более расширяющемуся и углубляющемуся неравенству. А с ним — на смену безраздельному господству правил нравственности, регулирующих взаимоотношения людей, приходят и получают всё большее распространение новые, замешанные на насилии, политические, правила, узаконивающие господство одних людей над другими. Кажется, человечество попадает в какую-то страшную беду. В самом деле, у какого нормального человека не обольется кровью сердце, когда он увидит, как массы когда-то свободных людей превращаются в рабов! Но поразительное дело, Платон: те полисы, которые культивируют эту расколотость общества, социальное неравенство, развиваются быстрее и в столкновениях с патриархальными обществами «равенства» одерживают легкие и безраздельные победы. Это обстоятельство и зафиксировал однажды Фрасимах с присущими ему прямотой и цинизмом. «Бросьте вы болтать о разных «моральных правилах» — «не убей», «не лги» и т.п. — оставьте эти словесные игрушки для детей малых, — бросил он нам с Полемархом. — Если вы всерьез желаете благополучия и величия своему государству, опирайтесь на *политические* правила, на политические установ-

ления, узаконивающие неравенство, господство одних над другими, опирайтесь на реальную силу, не брезгуйте пускать в ход насилие и принуждение».

Вот это и есть внезапно возникшая ситуация кошмара.

Я ясно вижу эти два ряда требований — политические и моральные. Я вижу, повторяю, определенную оправданность и тех, и других. И я вижу, как в определенных, довольно часто встречающихся, ситуациях они сталкиваются между собой, давая человеку прямо противоположные рекомендации. И скажу тебе совершенно откровенно: я не знаю, как их согласовать, я вообще не понимаю, почему так получилось. Какая-то трагическая ситуация: человек словно зажат между этими двумя полюсами рекомендаций — какой следовать, какую выбрать?

Ну, для себя лично я выбрал полюс Нравственности. Но это не значит, что и всех других я зову за собой. Нет, кто-то должен заниматься политикой. Вспомни мои разговоры с Каллимахом, с другими, кто решил выбрать государственную стезю. Ведь я их не только не отговаривал от этого, но даже и давал советы, как лучше управляться с этими делами, коли уж ты выбрал в жизни эту дорогу.

Я, конечно же, понимаю, что для своего выживания в нынешних условиях человек не может не забивать животных. Я это понимаю. Но работать на скотобойне… Нет, уж увольте. Сие не по мне.

В общем, проблему я вижу, решение — нет…

Давно потух мой фитиль. Пишу при свете луны.

Спокойной ночи и добрых тебе снов, Платон.

письмо VI. Сегодня снова вереница гостей. Разговоры долгие, тягостные, вперемежку со слезами. Целый день! Утомительно!

Сейчас уже ночь. Поэтому — очень коротко.

Расширение круга обвинителей — зачем?

А затем, что Аниты и Мелеты не тянут на серьезное противоборство. С ними не получится Большой Дискуссии, в разговоре с ними не высветятся те Проблемы, над которыми есть смысл и интересно думать. Эти Аниты и Мелеты всё будут сбиваться на какую-то ерунду: того-то я смутил, тот сын не послушался своего отца (а сына наставлял Сократ) и т.д., и т.п. И буду я в этой паутине с ними дрыгаться… Мне нужны оппоненты — вровень (представляю, как заморщится скромняга Аполлодор, читая эти гордяческие строки!). Разве это странно? Странно было бы другое — если бы я последний день своей публичной жизни потратил на распутывание анито-мелетовской белеберды.

Ну, до завтра!…

письмо VII. Относительно предложенного мною себе «наказания» — ну, насчет бесплатных обедов в Пританее до конца дней моих. Спрашивают, зачем я выкинул эту раздражившую всех штуку?

А как же иначе мне их разбудить-то? Ты же видел этих судей. У них ведь вроде и глаза раскрыты, и кричат рты, и двигаются руки — и тем не менее они ...*спят*! Глубоким сном! В какой-то момент я на мгновение закрыл глаза — и мне даже показалось, что я слышу их... храп! Это спали, это храпели их души, Платон!

И мне захотелось как-то смутить их покой, прервать этот их храп...

Ну и глупая тактика, будет корить меня Критон. Чего добился? Кого разбудил? Так «разбудил», что они спросонья тебе еще 80 голосов за смерть кинули.

А как же, Критон, отвечу я, про 140 оправдательных-то голосов ты забыл? Ведь это одна треть всех судей! Одна треть — не шутка! А, может, вот их-то я, на самом деле, разбудил? Ты не подумал об этом, Критон? И, может, теперь на одно мое место — «человека души» — придет 140?

Так вот, эти «140», Платон, и есть хоть какое-то оправдание моих действий. И — моя награда!

Пока!

ПИСЬМО VIII. Подбивают бежать. Куда-то в Фессалию. Там у Критона всё заготовлено для моей «безбедной», «спокойной» и «счастливой» жизни.

Нет, Платон, не побегу!

И не надо в связи с этим славить мое какое-то особое «законопослушание». Не из-за почтения к законам я не побегу. Я же на суде — открыто, прямо, публично — сказал (ну, ты же слышал, ты же помнишь): даже если вы постановите, чтобы я не занимался философией и не вел своих бесед, я **не подчинюсь**! Меня не «закон» от бегства удерживает, а — разум и тот же мой внутренний голос.

Ну, это же так понятно. Еще раз: чего я хочу, какова моя цель? Разбудить людей, перенести их внимание и заботы с Тела на Душу. Я должен отстоять свой главный тезис: существует нечто, что выше жизни Тела. Я это продемонстрировал на суде. И 140 человек проснулись и пошли за мной.

И вот теперь я побегу спасать свое Тело?

Ты представляешь, как восторжествуют эти афинские телофилы: ага, все-таки он не выдержал, сдался, все-таки Тело поставил выше Души! И что будет с теми, проснувшимися? Да они снова немедленно уснут. Их бодрствование не будут подпитывать моя стойкость и моя судьба.

А когда я стойкостью, смертью своей подтвержу мои принципы — не откроются ли глаза у следующей сотни?

И потом. Критон заговорщически шепчет мне, что убежать легко — что меня охраняют плохо, совсем почти не следят за тем, кто ко мне приходит и что я делаю. Чудак! Не понимает. Что это — намеренно. Они чуть ли не коврик передо мной расстилают — только беги! Им очень хочется, чтобы я «убежал» — ведь тогда станет правдой основной тезис их обвинения — моего будто бы презрительного отношения к Афинам, к народу, их населяющему.

Ведь обвинители мои представляли дело так, что на суде идет борьба тех, кто «любит этот город» (это — они!) с тем, кому этот город и эта земля безразличны, с тем, кто делает всё для того, чтобы погубить наш полис, — в частности, посредством «развращения молодежи» и «уничтожения наших духовных традиций» (это — я!). В общем, «любящие свой город» против «ненавидящего» его.

Но послушай их повнимательней — как они с каким-то надрывом, прямо-таки со слезой в горле вопиют о своей бесконечной любви к «земле предков», к ее истории и традициям. Прислушайся — и ты услышишь, как сквозь эти все их сентиментальные всхлипы и вопли то и дело прорывается нечто похожее на рычание — звуки какой-то лютой злобы, какой-то неизбывной ненависти к тем, кто смеет любить свой город иначе, чем они, к тем, кто, на их манер, не орет истошно на каждом перекрестке о своей безмерной любви к своему родному отечеству.

Нет, Платон, я этим духовным насильникам не отдам мою милую Грецию. Они-то всё про военное могущество да про «славу оружия» вопиют — там мы этих поколотили, там — тех, и все «нас боялись» — и персы, и Спарта.

Мы с ними никогда не сойдемся, Платон. Ибо для меня моя родина — это, прежде всего, песни и стихи Гомера, которые над моей колыбелью пела и сказывала моя мать, это искания Фалеса и Анаксагора, это шум и суета Афинских пристаней, это наше море и наше солнце, это те юноши, с которыми я веду долгие вечерние беседы — о благе, о справедливости, о смысле жизни. Да и восхищение военным геройством предков не чуждо мне. Я знаю каждую подробность саламинского боя, схватки при Марафоне, битвы при Платеях. И имена Фемистокла, Аристида, Эфиальта, Перикла — для меня священны. Да и сам я, как ты знаешь, был не последним на полях сражений. Но моя любовь не слепа. Я знаю, я ясно вижу и отвратительные страницы истории нашего с тобой города. Да, мы победили персов, мы спасли нашу культуру от наводнения варварства, но сами стали почти как персы. Да иногда и хуже, страшнее персов — когда своих союзников, помогавших нам защититься от восточного нашествия, стали пригибать к земле, силой навязывая им свой образ жизни, свой тип правления, превращая их в данников, по сути — в рабов. И я восхищаюсь теми, кто давал достойный отпор позорным действиям нашего с тобой, Платон, города.

Я восхищаюсь Мильтиадом на Марафонском поле и проклинаю его жестокости в отношении жителей Пароса, которых наши с тобой соотечественники хотели (и, слава богу, безуспешно) поставить на колени. Я презираю Алкивиада и всю эту поддержавшую его горячечную, воинственную публику нашего города, затеявшую авантюру вторжения на Сиракузы. И не забыть мне, как травили и изводили лучших людей нашего города — Аристида, Анаксагора, Фемистокла (Перикла — даже!).

А они-то, они-то, все эти Мелеты-Аниты, особенно ценят в нашей истории эту игру мускулами и требуют любить, в первую очередь, именно это. И попробуй только не полюбить на их манер — живо голову оторвут. Такие вот они, эти сладкоголосые певцы «любви» к «земле предков».

Да ладно бы еще действительно любили свой город и своих сограждан, ну, пусть с перебором, с преувеличением. Так нет, болтовня всё это, ложь и лицемерие. Не город они любят, а свое **господство** в нём. Лицемеры и казнокрады, вытягивают все жилы, все жизненные соки из «города» — под грохот своей «безмерной любви» к земле предков…

Нет, Платон, не побегу! Ни за что!

ПИСЬМО IX. Ну, а сегодня — о **самом** главном.

В предыдущих письмах я всё крутился вокруг «зачем?» и «почему?» — зачем и почему я действовал на суде так, а не иначе. Но самое-то главное — во имя чего? «Зачем» я отказался от речи Лисия? Затем, чтобы оставить *свое* завещание людям, а не лукавую словопись обвиняемого по одному частному делу. Зачем бесплатные обеды в Пританее? Затем, чтобы разбудить афинян. Зачем не бегу в Фессалию? Затем, чтобы пробудившиеся не заснули опять.

Но Завещание, но забота о пробуждении, но беспокойство по случаю возможного нового засыпания — это-то всё ***во имя чего***?

Признаюсь тебе, что не хотел бы до поры, до времени касаться этого вопроса. Мне тут самому не всё ясно, многое еще надо бы додумать. Но, увы, никакой другой «поры» и другого «времени» у меня уже, как ты понимаешь, не будет. Всё! Финиш! Или — пусть несовершенно и приблизительно — сегодня или — никогда! Так пусть будет сегодня. Как получится, так и получится. С богом!

Я расскажу тебе, как я натолкнулся на то, что когда-нибудь, возможно, назовут «проблемой Сократа». Во всяком случае я так бы назвал ту противоречивую, запутанную интеллектуальную ситуацию, в которую меня угораздило попасть.

Тут, Платон, важны подробности, детали. Я сказался сегодня больным и просил стражу никого ко мне не пускать. Сегодня у меня будет только один собеседник — ты.

Итак…

Итак, был обычный летний афинский день. Жаркий, сухой и душный. И был праздник — в Пирее. Мы с юным Главконом, посмотрев красочные торжественные шествия и конные соревнования, помолились и собрались, было, возвращаться домой, как к нам подошел молодой Полемарх с приятелями и пригласил к себе — поужинать (благо, до ночной конной эстафеты с факелами оставалось еще порядочно времени). «Отец особенно звал тебя, — сказал он мне. — Он что-то совсем стал плох…»

Я сразу понял, в чем дело. Отец Полемарха — Кефал — к тому времени крепко сдал. Годы, болезни делали свое дело. Он уже не бегал, как когда-то, из конца в конец Афин — покупая в одном месте, продавая в другом, не суетился на пристанях, загружая товаром триеры, отплывавшие в дальние страны, не гремел на народных собраниях, бесконечно выступая с новыми идеями и предложениями. Он медленно, согнувшись, выходил из своего дома,

тяжело опускался на скамейку и, одинокий, долго, не шевелясь, смотрел куда-то вдаль — туда, где край моря смыкается с краем неба и куда западает багровое вечернее солнце. В общем, тут были все основные стихии бытия — море, небо, солнце, земная твердь и… о чём-то напряженно думающий, много переживший и много повидавший Человек. Я садился рядом с ним — и начинались наши неспешные беседы, часто прерываемые долгими паузами — молча продолжали думать над сказанным. Каждый раз — снова и снова — он возвращался к одной теме, по-видимому, сильно мучившей его.

«Знаешь, Сократ, — доверительно шептал он мне, — когда я почувствовал приближение смерти, то на ум стали приходить вопросы, над которыми я прежде всерьез никогда не думал. Жил себе и жил, как жили мои предки, как жили другие — вокруг меня. И не задумывался, хорошо ли то, что я делаю, плохо ли. И — зачем всё это я делаю… Ну, вот, сижу я сейчас на горах своего накопленного богатства и думаю: а зачем это я так убивался всю жизнь, стараясь приумножить его. Зачем оно мне теперь? Что я его на тот свет возьму, что ли? Сыну? Да ему и сотой доли было бы достаточно, чтобы начать вполне безбедную и самостоятельную жизнь. Да и вообще — такое ли богатство ему надобно? То ли я завещаю ему?

Говорят еще, что *там*, на загробном суде в Аиде, будут день за днем разбирать все мои поступки, совершенные в этой жизни. Я, правда, не знаю, Сократ, есть ли на самом деле этот Аид с его загробным судом. Не очень-то я в это верю, — нет никаких, даже мало-мальских свидетельств в пользу этого. Но если даже его нет, сама идея о неизбежности самоотчета о прожитой жизни кем-то хорошо придумана. Вот сейчас у меня много свободного времени. И — сажусь я на эту скамью, как на скамью подсудимых, и сам вершу над собой суд — пострашнее аидовского. Сам задаю себе очень неудобные вопросы: правильно, праведно ли я жил? И вот не на том, сомнительном, «высшем суде», а на этом, вполне реальном, моём, собственном, земном суде всё больше — с леденящим душу ужасом — прихожу к мысли: как глупо, бездарно и бессмысленно мною растрачен, пущен по ветру дарованный мне Богами подарок — ***жизнь***! Жил — без понимания, без смысла, без цели. И рождается из всего этого неизбывная печаль, гнетущая тоска — вот он, приговор Моего Суда! Почему я не задумался обо всём этом раньше, когда был молод, полон сил, когда можно еще было выстроить свою жизнь, как выстраивает храм талантливый зодчий — чтобы она была на самом деле чистым, высоким и светлым храмом, а не свалкой, в которой, без плана и системы, вперемежку, набросаны и ценные вещи, и всякий хлам (причем, естественно, как и во всяком, не контролируемом разумом процессе, — хлама намного больше!). Почему я не задумался?..

Я упустил свое время, Сократ. И вот хочу, чтобы его не упустил мой сын — это, может быть, единственное доброе дело, которое я мог бы еще попытаться сделать. Но вот беда: когда я заговариваю с ним обо всём этом — о красивом, благородном, осмысленном построении своей жизни по законам красоты, нравственности, справедливости, — он не понимает, о чём это я. Он хороший,

добрый, воспитанный юноша. Но живет, следуя давлению обстоятельств — так же бездумно и бестолково, как жил я. А когда я становлюсь в своих назиданиях особенно настойчив, он даже начинает сердиться — что вот-де сами вы, старики, пожили, насладились благами молодости, покуролесили — без меры и удержу, а теперь призываете всех к умеренности, к служению каким-то «высшим», таким, честно говоря, скучным, «ценностям»; вы хотите-де прежде времени сделать нас стариками; подождите, придет время — и мы будем, подобно вам, сидеть одиноко на скамейках и, в лучах предзакатного солнца, — думать о «смысле бытия» и «назначении человека»; но до этого дайте нам ***пожить***!

Да разве я, Сократ, хочу сделать его жизнь серой, скучной? Я всего лишь хочу сделать ее *осмысленной*, чтобы не обстоятельства, традиции, обычаи (неизвестно кем, как и почему созданные) волокли его по жизни — и тем превращали в раба обстоятельств, но чтобы он сам управлял своей жизнью (когда надо — опираясь на обстоятельства, а то и вопреки им) и управлял бы не своевольно, а в соответствии с требованиями справедливости и нравственности. Я хочу, чтобы он был разумен, совестлив, свободен в молодости и спокойно-счастлив — в старости.

Но он не слушает меня, Сократ. Вся моя надежда на тебя. Поговори с ним. Тебя, человека постороннего, еще не старого (*мне тогда что-то под сорок было, Платон!*), но уже слывущего мудрым, он может послушать и, главное, — услышать».

Так говорил Кефал.

Я не обещал ему исполнить его просьбу — потому, что сам не очень-то ясно представляю, в чём смысл бытия человека, в чём его «назначение», что это за «принципы нравственности и справедливости», в соответствии с которыми следовало бы выстраивать свою жизнь. Убедить в необходимости думать над всем этим — постоянно и напряженно, в течение всей своей жизни, раскрыть примитивность, спутанность представлений о нравственности и справедливости, засоряющих рассудок большинства людей — за это я, пожалуй, еще и мог бы взяться. Но и только...

Я не откликался на просьбу Кефала еще и потому, что отдавал себе отчет, как трудно донести до молодого сознания серьезность и необходимость задаваемых Кефалом вопросов — ибо в молодости голос тела для большинства людей слышен гораздо громче, чем голос Души. Но я и не отказывался категорически, ибо знал, что бывают в жизни такие особенные, такие редкие ситуации — ситуации потрясения и удивления ходом событий или неожиданно возникшей атмосферы особого взаимного доверия, большой взаимной симпатии — когда у молодого человека вдруг душа и разум открываются к восприятию высоких и нестареющих Истин. Такая-то ситуация и сложилась вдруг в тот вечер...

Итак, я понял, зачем зазывает меня Кефал — вдруг завяжется тот, заветный, разговор с Полемархом.

И он завязался!

Как бы случайно. Как бы ненароком.

Пока Полемарх с приятелями возбужденно обсуждали результаты спортивных состязаний, пока разливали по чашам вино, мы с Кефалом — вполголоса, как бы не для них, а для себя — завели разговор о том, что означает «жить по справедливости». Кефал процитировал Симонида, который утверждал, что «справедлив» тот, кто честен, кто всегда говорит правду, возвращает долги и т.п. Я начал оспаривать утверждения Симонида. Но неожиданно вмешался Полемарх, краем уха слушавший нашу с Кефалом перепалку:

— Ты, Сократ, как всегда, оспариваешь очевидные вещи. Симонид абсолютно прав!

— Ты думаешь? — повернулся я к Полемарху (заметив, что Кефал потихоньку ретируется из нашей комнаты — посчитал, по-видимому, свою задачу — завязать соответствующий разговор — выполненной). — И что же, врагам на войне надо выкладывать всю правду? И врачу — ни в коем случае не скрывать от больного неизлечимость его болезни? И — отдавать взятое в долг, скажем, оружие психически заболевшему человеку, который этим оружием может покалечить и себя, и других?

И пошло-поехало. Вначале Полемарха разговор лишь забавлял. Надо же: казалось бы, очевидные, общепринятые, усвоенные с детства истины оказываются с червоточинкой. Полемарх отвечал на мои вопросы быстро, игриво и весело. И каждый раз, к своему удивлению, попадал впросак. И вот, запутавшись совершенно в своих попытках определить суть «справедливости», он уже всерьез взмолился:

— Да, Сократ, странно всё это как-то. Вот уж не думал, что не смогу толково объяснить, что такое «справедливость». Ты меня просто в тупик какой-то загнал. Так помоги же мне теперь из него выбраться.

Существует, Платон, мнение, что у меня-то уж, наверняка, есть четкие ответы на все эти каверзы. И что «запутываю» я собеседника в сугубо педагогических целях — дабы он сам пришел к выводу о бедности и односторонности своих знаний и был бы готов с вниманием и заинтересованностью выслушать мое, т.е. «истинное» мнение. Глупости всё это, Платон. Выявляя через наводящие и «смущающие» вопросы «спутанность» знаний собеседника по какому-то вопросу, я, на самом деле, выявляю «спутанность» не столько мышления данного, конкретного человека, сколько «спутанность» афинского, греческого сознания вообще. Это, добавлю, и — «спутанность» моего собственного сознания, Платон; я же не от дуба родился, я — сын своего времени и своего народа. Ни в одном разговоре, никогда не претендовал я на роль всезнайки, вразумляющей невежд. Будет случай — обрати на это внимание Ксенофонта, склонного представлять меня знающим всё и вся. Нет, когда я беседую с человеком, это ведь я и сам с собой беседую, это я и себе задаю каверзные вопросы, это ведь я и свою «спутанность» обнаруживаю, делая ее открытой для «распутывания» — для анализа, прояснения и уточнения. Во время беседы, таким образом, я сам обнаруживаю слабые стороны и моих собственных представлений и сам ищу способы их преодоления.

Иначе говоря, моя беседа с Полемархом была одновременно и беседой с самим собой.

И вот когда я намеревался продолжить — для Полемарха и себя — поиски более глубокого и точного определения «справедливости» и «нравственности», в нашу беседу неожиданно вступил Фрасимах, да не вступил даже, а прямо-таки влетел, ворвался — так напористо стал он ораторствовать. Он призвал нас «оставить нашу наивную и глупую болтовню о справедливости, ибо в реальной жизни всё определяет не принцип нравственности, а право сильного». Только «сильный» (не сверяющий свои действия с требованиями справедливости) преуспевает в реальной, а не придуманной философами и школьными учителями, жизни, — кричал он. Только «сильный» получает всё — богатство, общественный почет, семейное благополучие. А «справедливые» плетутся по жизненным обочинам в бедности и неустроенности. И общество относится к ним с иронией, а то и просто с презрением. «Справедливый» смахивает больше на юродивого.

Конечно, друзей Фрасимаха коробили его весьма циничные высказывания. Фрасимах, надо заметить, был уже в некотором подпитии; в ином состоянии он вряд ли решился бы высказываться в столь обнаженной форме. Но, заметь, он говорил правду. И говорил, надо сказать, превосходно. Резко и твердо. Приводил массу разительных примеров из жизни афинского общества, уже основательно втянутого в масштабные торговые операции на внутреннем и внешнем рынках, в жестокие процессы принуждения к труду свободных бедняков и рабов, в острые схватки граждан за приращение богатств. И мои милые юные друзья во главе с Полемархом просто растерялись: да, Фрасимах верно и точно говорит о том, что есть в жизни, но неужели надо, на самом деле, забыть о «справедливости», и зачем же тогда ее правила так настойчиво вдалбливают в голову каждому — с самых малых лет.

И тут уж с Полемарха всю его игривость и беззаботность как рукой сняло. На какие-то очень серьезные, очень важные для каждого вещи начал выходить разговор. Он ждал моих возражений Фрасимаху. Добрый, воспитанный юноша, он не хотел быть «сильным» на фрасимаховский манер, то есть подавляющим других и счастливым за счет других. Иначе говоря, он не хотел быть «сильным» и «несправедливым». Он хотел быть и «справедливым», и... счастливым! Он не хотел быть и слыть юродивым, он хотел быть нормальным, уважаемым (собой и другими людьми) человеком. Неужели счастье можно строить только на несчастье другого? Неужели «справедливость» обязательно должна сопровождаться страданиями? Тогда зачем она? — Вот вопросы, которые я читал в его, обращенных ко мне прямо-таки с мольбою, глазах.

Я не скажу, что тогда, в той беседе, я убедительно для всех (в том числе, для себя) ответил на все эти вопросы.

Ну, не мог же я, Платон, сказать, что быть «справедливым» мне повелевает мой «внутренний голос». И хотя это на самом деле так, но ведь я сам не могу до конца понять и объяснить природу этого странного голоса, объяс-

нить, почему он повелевает делать то, а не другое, и почему я должен его слушаться. А если у другого нет этого «внутреннего голоса», он что, должен *моего* слушаться, что ли? Почему?

И всё же я не мог, не должен был оставить Фрасимаха моральным победителем в нашем споре — о слишком серьезных, о слишком значимых вещах пошел уже разговор, слишком несимпатичный жизненный принцип выдвигал Фрасимах, и слишком растерянными выглядели мои молодые собеседники.

И тут я посчитал необходимым несколько изменить своей манере рассуждений. Обычно я начинал издалека и постепенно, шаг за шагом, вместе с собеседником двигался к вытекающему из многочисленных предпосылок выводу. Здесь же нельзя было медлить: на резкость и определенность тезиса Фрасимаха надо было сразу ответить таким же резким и четким определением своей позиции, а потом уже разъяснять ее и приводить аргументы. К тому же, как ни важен был затронутый вопрос, всё же молодые мои друзья не забывали, что до ночной конной эстафеты оставалось не так уж много времени, и я должен был это учитывать.

В общем, начал я с того, что резко и категорично заявил, что никогда и ни за что не соглашусь с Фрасимахом и что я убежден — не «сильный», а только «справедливый» и «нравственный» человек может быть по-настоящему счастлив.

Аргументов я приводил много — они что-то объясняли, что-то доказывали. И выглядели они, в общем-то, как мне показалось, более или менее убедительно для моих юных собеседников. Но у меня самого — после того разговора — осталось чувство неудовлетворенности. И весьма глубокой.

Ну, во-первых, что касается всех этих традиционных аргументов относительно «высшего суда» на «том свете» (на котором-де могут покарать за неправедную жизнь). Я их, конечно же, все привел. Разумеется, дав им расширительное — в моем, рационализированном стиле — толкование. Ну, ты его знаешь — что-де если даже не верить в мифы о «том свете», то посмертный «высший суд» над каждым человеком всё же состоится — например, в памяти потомков. И будут на нём одни — наказаны презрением и забвением, другие — вознаграждены любовью, славой и долгой (в памяти потомков) жизнью. Так что, заметил я, волнение по поводу суда «на том свете», охватившее старого Кефала, имеет вполне резонное и рациональное основание.

Попытался я — в связи с этим — ответить и на типичное в таких случаях возражение: какая-де особая радость ныне живущему человеку от того, что его идеи, мысли и поступки будут жить долго (или даже вечно) — ведь его-то уже не будет; какое же это «вознаграждение», какое же это «счастье» для него, нынешнего. Реальную-то, свою земную, жизнь он проводит в нищете и страданиях. Так что не *он* будет «вознагражден», а всего лишь *память* о нём.

Не скажите! — ответил им я. Меня, например, и сегодня, сейчас греет мысль, что мои идеи (то есть моя душа) еще долго будут жить среди людей, что к ним будут обращаться, над ними будут задумываться, смеяться и плакать. Это ощущение ненапрасности твоей жизни, ее «правильности» дает мне

сегодня, сейчас, а не по ту сторону физического бытия, ощущение счастья. Это — во-вторых. И меня не огорчает мой старый поношенный плащ, мои потрепанные сандалии, мой скромный обед, мое не слишком высокое положение в обществе. Скажу больше: будь я невероятным богачом или «крупным государственным деятелем», но бедным большими идеями и мыслями, лишенным чувства сострадания к людям, поступающим вопреки требованиям нравственности, я был бы здесь и сегодня глубоко несчастлив. Ведь сказал же один из наших с тобой современников: «Открытие одной истины для меня дороже завоевания персидского царства». И я его понимаю!..

Так что, в этом смысле, «справедливый», заботящийся о чистоте помыслов, возвышенности разума и благородстве поступков человек получает вознаграждение вполне в пространстве здешней, земной жизни.

Рациональное зерно, Платон, в этих аргументах — и первом, и втором, конечно же, есть. Но я приводил их и чувствовал: нет, это всё слабо, это всего лишь бледная тень истины. Так, содержание первого аргумента выглядит, как некая *угроза* человеку за неправедные действия, как некая форма *принуждения* его к нравственной жизни под страхом загробного наказания. Хорошо же будет человеческое «благородство», порождаемое не свободным внутренним убеждением, а *страхом наказания*! В общем — слабо. Какая-то внутренне противоречивая мотивация. Да, и потом: человек тут как бы не живет здесь и сейчас, а всё думает — что о нём скажут «потомки», всё на них оглядывается. В этой постоянной и напряженной заботе о мнении «потомков» легко соскользнуть на такой тип жизнеповедения, где главным становится не *быть*, а *казаться*.

Пытаясь преодолеть слабые стороны этих первых двух аргументов, я привел еще один довод в пользу того, что «справедливый», «нравственный» человек — счастливее человека, «преуспевающего» на фрасимаховский манер. Есть еще одно «вознаграждение» за праведную жизнь, сказал я. Это — состояние гармонии и душевного комфорта, — когда тебя не разрушает, не разрывает противоречие между «должным» (тем, что должен делать, в соответствии с требованиями морали) и твоими реальными поступками. Когда ты поступаешь, когда живешь «не по совести», — начинается разрушение не только твоего психического мира, но и мира телесного, ибо раздвоенность, разорванность сознания человека формирует вокруг него некую ауру, губительную и для духа, и для тела. Такой человек (даже при всех его богатствах и карьерных успехах) не сможет жить долго и счастливо: у него не будет бескорыстных и искренних друзей, дружной, наполненной любовью семьи, он будет окружен атмосферой лицемерия и угодничества, зависти и ненависти. Я им напомнил забавный (но очень точный и тонкий) ответ Фалеса на вопрос: «Что для тебя самое удивительное?». «Тиран, доживший до старости», — ответил милетский мудрец. Да, не доживают тираны до старости: совесть, низкие страсти, гнетущая атмосфера, ненависть близких и дальних сжирают их. И не только к тирану политическому это имеет отношение. Ко всякому тирану, всякому тиранчику — в семье ли, в хозяйственном или государственном деле.

Вот этим аргументом я дорожу, Платон. Считаю его посильнее первых двух. И собеседниками моими он встречен был с пониманием.

Но всё же, но всё же… Я видел их по-прежнему вопрошающие глаза: «Да, всё это так. И все-таки, почему, чёрт побери, «справедливый», как правило,— гонимый и страдающий. Почему, несмотря на все твои (отдадим должное— весомые) аргументы, Сократ, основная масса афинян предпочитает жить по «кодексу Фрасимаха»?».

И ты знаешь, я даже обрадовался, что перерыв между праздничными эстафетами подходил к концу и надо было свертывать наш разговор. Ничего особенно значимого и толкового мне в тот вечер сказать бы больше не удалось.

Вопросы, поднятые в том разговоре, стали с тех пор главными вопросами моих раздумий. Так и этак вращал я их перед своим мысленным взором. Я видел, я понимал ***проблему***. Но ее решение, решение, удовлетворяющее меня, мне не давалось.

Спокойной ночи, Платон!

ПИСЬМО X. Спешу, очень спешу, Платон. Успеть бы! Когда начал эти письма писать, думал, в два-три письма всё уложу. Кратко скажу главное— и дело с концом. А теперь, вот, вижу: и десяти мало. Описание проблемы разрастается, обрастает побочными, но очень важными для понимания главного ходами. Да я и сам увлекся: в процессе писания что-то мне и самому приоткрылось, многое самому стало яснее. И теперь уж грех не положить на бумагу всю эту проясненность разума. Крамольная мысль залетает мне в голову: вот для того, чтобы довести всю эту писанину до конца, можно, пожалуй, было бы и рвануть из моей темницы куда-нибудь в Фессалию. Но это так—шальная идея. Я постараюсь успеть. Я буду писать, если понадобится— с раннего утра и до позднего вечера—все мои оставшиеся дни. Я должен успеть—во что бы то ни стало.

Тот разговор в доме Кефала, проблемы, вдруг выросшие в нём, стали для меня потрясением. А мои молодые собеседники как-то легко и быстро переключились на другое. Хлебнув остатки вина, они гурьбой повалили на ночную конную эстафету, возбужденно обсуждая перспективы предстоящего соревнования, его возможных победителей и, думаю, напрочь забыв о всех тонкостях нашего философского спора. Да и то: понять «природу» и «назначение» человека—да это не поймешь ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшие сто лет, только голову без толку наломаешь, засоришь не нужными сегодня материями. А вот кто придет первым сегодня, сейчас—фессалиец, македонец или их соотечественник афинянин—это реальность, насущная, увлекательная…

А я пошел домой, в Афины. 7 километров хода. Шел и думал. Ночь, тишина… На ходу, я заметил, хорошо думается. И—чтобы под открытым небом, среди полей, трав, деревьев. Кажется, что не просто **ты** думаешь, а—ты

вместе с этими травами, деревьями, облаками. Мысли, словно испарения земли, поднимаются в твою голову, живут, нижутся в стройные ряды, перекликаются друг с другом — то сталкиваются в жарком споре, то счастливо сходятся в согласии. Только не мешать им, только следить за их жизнью — с удивлением, зачарованностью и … как бы немного со стороны, — словно это не ты, словно это кто-то другой, очень Спокойный и Мудрый, думает. Удивительна эта жизнь духа!

Мне многое открылось в ту ночь, Платон. Видно, почва моей души была уже хорошо распахана предыдущими размышлениями, видно, была она уже засеяна зернами будущего интеллектуального урожая, и, наверное, тот наш разговор был для них каким-то неожиданным и щедрым дождевым потоком, пустившим эти зёрна в рост.

И вот, чтобы ты понял, что именно я понадумал в ту ночь, как это «надуманное» росло и развивалось дальше (приведя, между прочим, меня к моему нынешнему состоянию — ожиданию смертельной цикуты), мне нужно поподробнее рассказать тебе об этих исканиях, о тех «зернах», что в течение многих лет ложились в эту почву. Наберись терпения, Платон, и выслушай.

…Прерываюсь. Только что приходил мой охранник и взволнованно (ибо сочувствует мне) сообщил, что корабль наш с дельфийских празднеств завтра приплывает в Афины. Значит, послезавтра мне дадут долгождущее меня зелье. И, стало быть, никаких «нескольких» дней, на которые я рассчитывал, для моих писаний тебе, у меня уже нет. Сегодня отдам все свои последние земные распоряжения, а весь завтрашний день посвящу своему последнему письму тебе — максимально возможно досказать, что еще не досказано. Успею ли? Всё время немного не хватает — *жизни*, чтобы додумать до конца все свои мысли, чтобы завершить всё начатое, *дней*, чтобы выполнить задуманное (это я — о письмах тебе), *часов и минут*, чтобы обстоятельно попрощаться с родными и друзьями…

ПИСЬМО XI. Итак, завтра я ухожу от вас, Платон.

Мой добрейший стражник (называю его «добрейшим» без всякой иронии — всё, что было в его силах и возможностях, он для меня делал: был сердечен в обращении, не стеснял в общении с друзьями и родственниками, заботился, чтобы вовремя и вкусно меня накормить…) мой, повторяю, добрейший стражник уже поведал мне, что ждет меня завтра. Очень толково рассказал, как будет действовать даруемый мне афинскими гражданами яд: вначале онемеют ступни ног, потом омертвляющий холод будет подниматься к коленям, выше, выше, — под самое сердце… Мой заботливый страж дал несколько дельных советов, как всё это перенести наиболее легким образом — когда сесть, когда лечь, когда и на какой бок перевернуться, дабы с полным комфортом встретить час своего ухода. В общем, практически я полностью готов к завтрашней процедуре. Осталось вот только написать несколько строк (точнее — несколько страниц) тебе. Написать последнее и — хочу верить —

самое главное. Не просчитался ли я, Платон? Не ошибся ли, отдавая свою жизнь за… что? Да, за что же я отдаю ее?

Началось всё … Нет, я не могу назвать ни точной даты, ни какого-то конкретного события, когда что-то стронулось, что-то перевернулось в моих мыслях, в моей душе. Перелом, сдвиг готовился постепенно. Некая масса душевного дискомфорта накапливалась постепенно — капли, долбящие камень. В ту ночь, когда я, покинув жилище Кефала, шел домой из Пирея в Афины, я мысленно пробежался по ступенькам развития моего сознания.

Я был очень послушным юношей, Платон. Не только законопослушным (об этом и говорить нечего!), но и просто послушным. Я был очень доверчив и любил учиться. Старшие мне все казались очень мудрыми людьми — опытными в жизни, многознающими; я впитывал их советы, внимал их традициям и обычаям.

А уж как я относился к учителям! Это было особенное почитание. Я был уверен, что они знают всё, — так уверенно, так твердо учили они. И моя задача, я был убежден, состояла лишь в том, чтобы усвоить предлагаемые мне знания.

Законы, обычаи, традиции моего полиса были для меня священны. Имена Мильтиада, Фемистокла, Перикла я произносил с сыновней любовью и трепетом.

А наши предания, наши рассказы, песни и гимны о богах! Я их впитал с молоком матери — с почтением и благоговением. «Илиада» Гомера — это и была для меня Эллада. Я постоянно был с ее героями. Я был Ахиллесом, Патроклом… В мечтах и снах сражался за наше дорогое отечество. И знал, что во всех сражениях и битвах за моими плечами — мои сограждане и наши прекрасные и вдохновенные Боги. Я твердо, неколебимо знал: выпадет мне судьба — стану Ахиллесом, Патроклом.

Да, вот таким был я. Всё это было так чисто, так свято. Впоследствии я частенько тосковал по этому состоянию душевного равновесия, жизненной полноты, высокости и чистоты помыслов. Это ж такое счастье — когда все жизненные ориентиры так определенны, когда всё так ясно — только учись и живи в согласии с этими идеалами: защищай до последней капли крови свое отечество, своих соплеменников, будь мужествен, прям, открыт, добр, безукоризненно честен. За тобой — история твоей родины, твой народ, твои боги. Но в эти чистые и ясные краски постепенно начали вплетаться какие-то диссонирующие оттенки. И по мере того, как я взрослел (и, наверное, умнел) эти, поначалу едва заметные, диссонансы становились всё зримее, всё беспокойнее, нарушая ясность жизненных установок. На безоблачное небо моих идеалов начали набегать темные тучки.

Тускнели образы моих кумиров: я узнавал о непомерном честолюбии и мелком тщеславии Фемистокла, о совершенно неоправданной жестокости Мильтиада. Я начал сомневаться в мудрости коллективного сознания афинян, совершавших порой чудовищные вещи — изгнание безупречного Аристида, травля гениального Анаксагора, зависть и ненависть по отношению к тем, кто хоть немного поднимался над интеллектуальным горизонтом толпы.

Самое печальное (ибо я очень дорожил этим): пропадало благоговение перед богами. Сколько мелочного, несимпатичного, низко-человеческого открывал я в их поведении — коварство, интриги, неблагодарность, лживость, бессердечность. Мутнел свет, лившийся от них в мою душу. А потом я наткнулся на фразу одного мудрого человека, которая довершила процесс развала моего почитания. Если бы у лошадей были боги, — однажды иронически бросил он, — они были бы похожи на лошадей. Ты видел, Платон, какими представляют себе богов эфиопы? Черными с плоскими носами и выпяченными вперед большими губами — взлетевшие на небо эфиопы! Так кто же кого создал, Платон, боги — нас, или мы — богов?

Меня стали смешить все эти фокусы с предсказаниями оракулов и пифий. Бьется в истерике, в падучей человек, надышавшийся мутящими сознание парами, поднимающимися из горных расщелин, выкрикивает нечто несообразное, а мудрые мужи принимают это за голоса свыше, вслушиваются, вдумываются в эту галиматью. «Дерево спасет Афины!» — бормочет бьющаяся в истерическом припадке пифия. «Дерево спасет» — что бы это значило? О, да это совет строить вокруг Афин деревянные стены! «Да, нет, — гремит в ответ Фемистокл. — Это означает — строить флот, мощный и сильный. Это «дерево» кораблей и будет спасителем отечества». В общем, толкуй оракульский бред, как твои интересы (или интересы твоего племени) подсказывают.

А эти «приметы», тоже посылаемые «свыше», — комедия! О, птицы поднялись слева — быть поражению! А вот — справа, значит — победа! И никакого искусства полководца не требуется, и мужество граждан излишне — достаточно, видишь ли, чтобы птички *справа* взлетели.

Я не могу сказать, что все мои идеалы и принципы рухнули. Нет, они, в общем-то, остались — большинство моих представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо, но в *обоснование* их я перестал слепо верить. Для меня уже был недостаточен довод, что так-де исстари повелось в Афинах, что так-де думали и поступали наши предки. Я требовал объяснений: а *почему* они так думали, почему они так поступали. Я требовал доказательств и объяснений. И — не получал их. Я видел при этом, что подобные мысли и сомнения — штука небезопасная: «афинские мужи» довольно сурово преследовали критиков их традиций. Можно было бы, конечно, выбросить весь этот скепсис из головы, затаиться — и жить, «как все», «как принято». Но это, как ты знаешь, не для меня. Голова и характер как-то иначе устроены. Я стал метаться в поисках выхода, в поисках людей, думающих подобно мне. Людей, которые стремились бы в своих объяснениях опираться на разум, и главным аргументом которых было бы Доказательство, а не Уверение.

И в этих метаниях я натолкнулся на тех, кого называли «физиками», или «натурфилософами». На мудрецов, в первую очередь, из Милета — **Фалеса, Анаксимена, Анаксимандра.** В их лице я нашел новых, устраивающих меня учителей и ревностным учеником ринулся к ним на учебу.

Мне нравилось их прямостояние. Спину не гнули ни перед кем — ни перед царями, ни перед богами. Они не сказки про силы небесные рассказыва-

ли, а пытали природу, дотошно и строго, — как произошел этот мир, в котором нам суждено жить, по какой логике, по каким законам он изменяется. Их очищающее, освобождающее влияние на мой разум было громадно: так летние грозы прибивают к земле пыль — и на смену душному и застойному воздуху приходит первозданная чистота и свежесть — дыши, не надышишься!

Нет, боги у них — так чтоб уж совсем — не исчезли. Но пространство их бытия и деятельности резко сузилось. Они стали у них чем-то вроде поэтических, нравственных образов, с помощью которых формируют нравственное и эстетическое сознание людей. Они перестали быть реальными участниками мира природы и мира людей. Какой надо было обладать научной и человеческой смелостью, чтобы заявить подобно этим мудрецам из Милета: не воля богов, а естественные силы, свойства природных тел движут события, и человек способен познать эти события и эти свойства.

На место, где прежде были всем заправляющие боги, Фалес поставил некое вполне реальное, природное, естественное начало, некое «первовещество», из себя порождающее всё сущее. Он назвал это первовещество, это животворное начало всего «водой». Всё — из нее, и всё — в нее! Богам здесь нет места!

Я был снова счастлив. Мир снова стал для меня прозрачным и ясным. У меня снова под ногами твердая почва. Я знаю людей, которые знают всё и которые всё могут объяснить доводами **разума.** Я с головой окунулся в их учения.

Но и это счастье оказалось недолговечным. Почему-то мудрецы, учителя мои, никак не могли договориться — каково же оно, это «первовещество». Анаксимену показалось, что фалесовская «вода» — слишком грубая, слишком сложная субстанция для того, чтобы быть «самой первой». Она сама — превращенная форма другого, более простого и более подвижного вещества. И таковым он предложил считать «воздух». А Анаксимандру и его ученикам «воздух» показался чересчур «определенным» и достаточно сложным образованием. И в основе всего, по их мнению, должно быть нечто еще более простое и еще менее определенное. И такое вещество, совершенно лишенное качеств, но способное к их обретению, они наименовали «апейроном». Гераклит (из Эфеса) предложил свою версию: всё — из «огня», всё, что ни есть — превращенная форма «огня».

Таким образом, почва, на которую я так счастливо и с такой надеждой взгромоздился, оказалась не очень твердой и буквально поплыла у меня под ногами.

Идея «первовещества» оказалась не менее иррациональной, чем идея «богов» — то же фантазирование, те же уверения вместо убеждения, та же Вера вместо Знания. Да и то: какое может быть *знание* о том, что существовало где-то в недосягаемой для нашего взора глубине времен?

Но главное мое разочарование было связано даже не с этим разномыслием моих учителей о природе первовещества, а с более фундаментальным пороком их теорий, их системы мышления.

Ну, вот, предположим, что мы, в соответствии с их логикой, установили достаточно отчетливо, каким именно было это «первовещество» (сделаем такую уступку милетцам, возьмем этот, идеальный для них, вариант). Пусть это будет вода, воздух, апейрон, да что угодно. Ну, и выясним далее, как это первовещество порождает второе, третье, четвертое, вообще — всё многообразие природного мира.

Ну, и какую картину мира в итоге дает нам это идеально, до конца реализованное учение милетцев?

А — такую, в которой мир этот оказывается цепочкой материальных причин, развертывающейся без всякой «цели» и без всякого смысла. Вселенская бессмыслица! Течет себе первовода, струится первовоздух, горит первоогонь, порождая то одно, то другое, то третье — и всё это неизвестно зачем, неизвестно для чего. Так, пустая и бессмысленная игра природных сил — некое переливание из пустого в порожнее.

А где же вопрос, который всё время у меня (да, я знаю — и у многих других) на кончике языка: а **зачем** всё это? Есть ли во всём этом движении первовещества и во всех этих его превращениях какой-то «смысл», «цель», «замысел»?

Могут сказать (и мне не однажды говорили), что вопросы эти («зачем?», «в чём смысл?», «с какой целью?») не корректны по отношению к природе и вселенной. Нет в них никаких ни «замыслов», ни «целей». Не знаю, может быть. Но вопрос этот вы все-таки поставьте. Ведь он не праздный, коли постоянно, вновь и вновь, ставится каждым новым поколением людей. Поставьте, рассмотрите его. Пожалуйста, можете сделать любое заключение. Но у милетцев сам этот **вопрос** отсутствует. Вот где я с ними особенно разошелся. Мне-то кажется, что именно этот вопрос должен рассматриваться в качестве центральной задачи познания. И я принялся размышлять над ним.

Не могу сказать, Платон, что я (даже сегодня, на исходе своей жизни) в состоянии убедительно и развернуто ответить на него. Но у меня есть серьезные основания полагать, что мир — не бессмысленен, что он — не вселенская бессмыслица, что в мире есть нечто такое, что близко к таким понятиям, как «замысел», «цель», «целесообразность», «гармония» и т.п. Ведь это же нелепо — предполагать, что в деятельности человека, одного из звеньев природной «цепи», есть «замыслы» и «цели», а у природы (то есть у всей «цепи») их нет. Как же можно тогда говорить об **осмысленности** человеческой деятельности, если она вплетается в бессмысленную цепь? Не может быть **осмысленного** звена в **бессмысленной** цепи! Откуда же будут браться и куда будут «впадать» «смыслы» этого специфического звена? В бессмысленной цепи **все** звенья должны быть бессмысленны. И наоборот: если в неразрывной, целостной цепи хотя бы одно звено наполнено смыслом, то и вся цепь должна обладать каким-то сходным, каким-то соответствующим, каким-то «смыслоподобным» качеством.

Ты понимаешь, в чем специфика моего подхода? Я не из природных «смыслов» и «целей» (откуда я почерпну знание о них?) вывожу человечес-

кие. Я от человеческой осмысленности (о ней-то я, с большей или меньшей достоверностью, кое-что сказать могу) иду к природной. Я не из всеобщего закона вывожу частный. Я от несомненно установленного частного закона восхожу ко всеобщему.

И еще одно обстоятельство, дающее мне основание говорить о внутренних «смыслах» природного бытия. Когда мы говорим, что *человек* мыслит, познаёт, говорит, мы как-то упускаем из виду, что это, ведь, не просто *человек* говорит, а — поскольку человек является частью, органом природы — это вся *природа* говорит (голосом человека), это не просто *человек* мыслит, это *природа* мыслит (посредством человека), это не просто *человек* познаёт, это с помощью и через человека *природа* познаёт самое себя. Человек есть, по сути, — самосознание природы. И потому все характеристики человеческой деятельности это одновременно и характеристики природного бытия — в первую очередь, в той его сфере, которая является пространством деятельности человека. За рамками этого, человеческого, пространства характеристики, присущие человеческой деятельности («цели», «смыслы» и т.п.), тоже присутствуют, но содержат в себе, по-видимому, какие-то дополнительные, специфические черты, отражающие несколько иной, «не-человеческий», характер «целесообразности» и, вследствие этого, должны быть нами названы как-то иначе, дабы общеприродная «целесообразность» не отождествлялась целиком с «целесообразностью» человеческой деятельности (я употребляю здесь термин «целесообразность» за неимением пока другого, более точно выражающего суть дела, понятия).

В природе, иначе говоря, существуют как бы два ряда причинности — **физическая**, (которую изучали натурфилософы) и, так сказать, **целевая** причинность, изучение которой не менее (а может и более) важно, чем изучение первой.

Боюсь быть чересчур многословным, но чтобы еще понятней, еще нагляднеи сделать мою мысль, приведу вот какой пример.

Почему, поставим мы вопрос, Сократ в данный момент находится в тюрьме, а, скажем, не у себя дома? Тому есть, во-первых, целая цепь чисто физических причин, которые натурфилософы могли бы изложить с достойной уважения основательностью: «Сократ в тюрьме, а не дома — потому, что после суда над ним он встал — натянулись его мышцы и сухожилия, начали сгибаться и разгибаться в коленях его ноги, затем ноги стали передвигаться по земле, неся тело Сократа в направлении тюрьмы и т.д., и т.п.». И это верно: на самом деле, без этих физических действий, без этой «игры сухожилий» Сократ не мог бы оказаться там, где он сейчас пишет тебе это письмо. Но есть ведь и еще одна цепочка причин: Сократ в тюрьме еще и потому, что его представления о жизненных принципах и идеалах не совпали с представлениями афинских вожаков. И эта причина, разумеется, гораздо более существенна для понимания того, почему Сократ оказался там, где он оказался. А «логика сухожилий» — лишь внешнее проявление, лишь физическая реализация того, что произошло в сфере духовной, «смысловой».

Думаю, что эти два ряда причин присущи как человеческой деятельности, так и «деятельности» природы в целом.

И вот в период моего интеллектуального разлада с натурфилософами, в период, когда я указанным выше образом размышлял над внутренним «смыслом» бытия, я натолкнулся на идею **Анаксагора**, которую для себя сразу же назвал «гениальной». Речь идет об идее, связанной с понятием «Нус».

От этого ***нуса***, едва прослышав о нём, я был в совершенном восторге. Вот он, размечтался я, лучший ответ на все мои искания и вопросы. ***нус***, как узнавал я в передаче друзей Анаксагора, это некий «внутренний разум» природы, ее «смысл», движущая и всеопределяющая целевая причина.

Анаксагор нашел и удивительно подходящее имя этой силе—***нус***. Имя, позволяющее не отождествлять стоящее за ним содержание ни с одним из известных доселе родственных феноменов. Это не мифологический Бог (хотя и обладает силой, сопоставимой с божественной), это не Первовещество милетцев (хотя, как и оно, является началом всего и пребывает во всём), это и не человеческий Разум (хотя, подобно ему, духовен, наполнен «смыслами» и «целями»). Это именно некий ***нус***—что-то вроде ***разума мира***.

И снова я—ревностный ученик, уже—Анаксагора. И снова период влюбленности (в Анаксагоровскую идею) завершился очередным разочарованием. Наверное, я слишком много ждал от Анаксагоровского ***нуса***, а потому столь сильным было разочарование. Теперь, когда с высоты своих лет я оцениваю его идеи, то не могу не воздать им должное: это был громадный прорыв в господствовавшем тогда натурфилософском понимании мира.

И всё же Анаксагор всё еще путается в паутине натурфилософского мышления. ***нус*** у него не стал Всем, не стал Главным и Всеопределяцим в мире. Он всё же—нечто подсобное, нечто второстепенное в его теории. Анаксагор все-таки пытается объяснить логику мира, его взаимосвязей вещными (натурфилософскими) причинами. Он, подобно милетцам, хочет быть строго «научным». И только когда не находит вещных причин происходящих в мире изменений и превращений, только тогда он прибегает к такой Причине, как ***нус***—не от хорошей, так сказать, жизни. Мне же хотелось, чтобы ***нус*** был ***всем***, Главным, ***смысловой душой*** мира. И я стал искать, как подобраться к нему, где та дверь, через которую можно войти в его царство, и где тот ключик, что открывает эту дверь.

И мне кажется, я нашел этот драгоценный ключик, Платон. И нашел я его в ходе критики еще одной стороны натурфилософского мышления.

Видишь ли, для натурфилософов «человек» не был какой-то особой, специфической «вещью» среди других «вещей». Он для них был тем, что и всё существующее—превращенная форма «воды», «огня», «воздуха»; подчиняется законам этих стихий и существует, как и всё на свете, в соответствии с этими законами. И ты знаешь, поначалу это утверждение не только не коробило, не смущало меня, но, наоборот, казалось мне очень важным, ценным и почти очевидным. Ну, как же: человек—это часть природы, он действует в рамках ее законов. Законов естественных, познаваемых. Он не игрушка в

руках богов. Не быть игрушкой в чьих бы то ни было руках — это в их позиции меня особенно подкупало. Но потом, вникая глубже и глубже в логику размышления моих милетских учителей, я заметил, что у них человек, перестав быть зависимым от богов, становится «зависимым» от... законов «воды», «воздуха», «апейрона». Причем — зависимым всецело, абсолютно. Он — вещь среди других, принципиально ему подобных, вещей. Как и они, он живет исключительно в пространстве жесткой природной *необходимости*. В поступках, в деятельности человека всё в такой же степени необходимо, в какой столкнутый с горы камень летит вниз, а не на небеса («хочет» он того или нет).

Мне не нравилось это, Платон. Я не столько разумом, сколько всем своим существом, ощущал, что это не так. Что «человек» — это вовсе не «вещь среди других подобных вещей». Да, конечно, он — из *этого* мира и в *этом* мире. Да, в силу этого он подчиняется законам природы — как камень или вода: столкнутый с обрыва, он полетит, подобно камню, вниз, а не вверх — по тем же самым, что и камень, законам. Это так. Но Человек одновременно — и нечто отличное, **принципиально** отличное от камня и **всех** других вещей. Только Человек (причем в главной для себя сфере деятельности) реагирует на воздействия извне не пассивно, не непосредственно. Он преобразует эти воздействия в свою волевую и умственную энергию — и **выбирает**, решает, как именно, каким образом ему реагировать. Иначе говоря, он всё время **решает проблемы**. Не кто-то за него решает, а он сам. У него всегда есть **выбор**, и он может на одно и то же воздействие реагировать **по-разному**. А где есть пространство **выбора** — там появляется пространство **свободы**. У милетцев, я заметил, «свобода» и «случайность» практически отсутствуют. Всё — необходимо. «Мы говорим: человек действует «свободно», обстоятельства его деятельности «случайны» лишь тогда, — внушали мне мудрецы из Милета, — когда нами не выявлены и не поняты действительные причины происхождения и «обстоятельств», и «человеческих действий»; найди, определи эти причины — и конец и «свободе», и «случайности», всё — необходимо!». Я по-другому смотрю на эти вещи. Сейчас я сформулирую одно парадоксальное (на первый взгляд!) положение, которое, однако, абсолютно точно отражает реальность: «**Человек *необходимо* действует *свободно***». Перед человеком *с необходимостью* появляются *разные* возможности действий. В каждом пункте его жизненного пути перед ним с необходимостью возникает *развилка* жизненных дорог. Сама суть, сам тип его деятельности — это постоянный *выбор* одного из многого. И где, повторяю, есть пространство *выбора*, там есть пространство *свободы*. В этом пространстве живет только человек и никто другой, и ничто другое. Пространство Человека — это, стало быть, особое пространство, это, можно даже сказать, *особый мир*. Вселенная, Космос, Природа как бы раздваиваются — на мир Природы и мир Человека. Одно только добавление: человек существует и действует одновременно в двух этих мирах — Природном и собственно Человеческом. И эту **двумирность** бытия и следовало зафиксировать и понять.

Вот это понимание *специфики* Человека всё больше и больше отделяло и отдаляло меня от моих дорогих учителей из Милета.

В этом контексте очень важна была и еще одна идея, которой я придавал всё большее и большее значение. Идея, на первый взгляд, очевидная, но смысл которой и выводы из которой далеко не очевидны. Идея — что только через призму человеческого *сознания* мы способны двигаться к пониманию сущности мира. И главное неочевидное следствие, вытекающее из этого утверждения, следующее: если все знания о мире мы получаем через такой «инструмент», как сознание человека, то надо, в таком случае, основательно присмотреться к этому «инструменту» — дает ли он нам действительную картину мира или, в силу своего несовершенства, искажает ее — дает нам представление не столько о мире, сколько о своих собственных свойствах и состояниях.

Так, потихоньку-полегоньку, начал я размышлять над сим вопросом. «Потихоньку-полегоньку» — потому что не было уверенности, в ту ли сторону я двинулся. Страшно восставать против учительской мудрости, страшно оставаться одному против всех. Откуда-то изнутри поднимается тревожная, трусливая мыслишка: неужто ты один такой «мудрый», неужто никто до тебя до этого не додумался, неужто гениальный Фалес просмотрел это, а ты, простой человечишко, заметил?

Но мне снова повезло. Судьба в помощь мне послала Протагора. Снова я не один, снова есть у меня мудрый учитель, на которого можно опереться и к которому можно мне, маленькому, обыкновенному человеку, прислониться. «Человек — есть мера всех вещей!» — с восторгом повторял я вслед за Протагором его знаменитый тезис. Именно так: всё, что мы знаем о вещах, — всё это продукт человеческого сознания, всё это пропущено через него.

Могут сказать: а что тут особо мудрого, особо, по сравнению с милетцами, нового в этой формуле Протагора? Что, милетцы не догадывались, что всё, что мы знаем, выдано сознанием человека? А чьим же, простите, еще сознанием оно может выдаваться? Да, тут тонкая грань, разделяющая Протагора и милетцев. Мудрецы из Милета, конечно же, знали, что не с неба нам сваливается знание о мире. Но они просто не задумывались о том, *как* к нам приходят эти знания, не ставили вопроса ни о механизме их получения, ни о специфике «инструмента», с помощью которого мы получаем их. Они просто брали эти знания как некую данность. То есть они не отличали «теней» вещей (то, как они существуют в нашем сознании) от того, как они реально, во внешнем мире, существуют. Они даже не поставили вопроса о том, не привносит ли человеческое сознание что-либо в свойства познаваемых им вещей, а Протагор *эту* проблему поставил в центр своих размышлений. Поскольку человек — мера всех вещей, поскольку сведения о вещах мы получаем только через сознание, то и следует основательно изучить этот «инструмент». Отсюда еще одно требование, вытекающее из его формулы: **познай самого себя**! То есть — познай, как и в какой степени ты можешь познать окружающий тебя мир!

Но едва я, полный надежды, пошел за Протагором, как снова — проблема. Я вдруг увидел, что от Протагора расходятся две дорожки. Сам Протагор лишь слегка потоптался у этой развилки, не двинувшись дальше ни по одному из направлений. И потому после Протагора каждому (и мне в том числе) предстояло самостоятельно выбирать — по какой из дорожек двинуться дальше.

Одна — это та, по которой кинулась основная масса мыслителей, получивших имя «софистов». Увлеченные идеей Протагора о том, что мир, с которым имеем мы дело, — это лишь картина, рисуемая нашим сознанием, они представили дело так, что, стало быть, с миром, как таковым, и истиной, как таковой, мы дела не имеем и иметь в принципе не можем. Человеческое сознание по *своим* законам (что, в понимании софистов, означало «по своему *произволу*») творит наши представления о мире. И потому, когда мы что-то кому-то доказываем, то победой в нашем споре становятся не положения, соответствующие свойствам и связям внешнего мира, то есть — истине (ибо некому, негде и нечем устанавливать это соответствие), а положения, наиболее изящно, наиболее виртуозно, а то и наиболее *ловко* «доказанные». Всё субъективно и произвольно. **Истины нет.** Есть лишь искусство оперирования словами.

Основная идея софистов, разумеется, ложна. И сейчас я скажу, почему. Но прежде воздам им должное вот в каком отношении: воспевая силы (хотя и в искаженно-преувеличенной форме) человеческого интеллекта, они воспитали у нескольких поколений греков преклонение перед этим инструментом познания. Они были энергичными критиками пассивности и покорности; они защищали самостоятельность интеллекта индивида от натиска усредненных стандартов толпы. В разуме, в интеллекте человека они видели главный источник его силы и свободы. Но, увы, Платон, ни одна, даже самая прекрасная, идея не бывает настолько прекрасной, чтобы ее нельзя было довести до абсурда. Софисты и довели идею Протагора до абсурда. Свои виртуозные логические ходы они нередко использовали для того, чтобы «доказывать» очевидные нелепости. Они гордились, если путем словесных манипуляций им удавалось «доказать», что черное — это белое, а прямое — это кривое. Они хотели ввести человека в мир свободы, а ввели в мир произвола и хаоса.

Я пошел от Протагора по другой дорожке. Я видел силу человеческого интеллекта не в обосновании «чего угодно», а в движении к пониманию **сути,** истины человеческого (а через него и природного) бытия.

Вот так соединялись, так смыкались две линии моих размышлений: одна — идущая от Анаксагора (с его идеей Мирового Разума, мировой, предустановленной гармонии, смыслонаполненности и «целесообразности» бытия), и другая — идущая от Протагора (с идеей, что человеческий разум есть именно тот инструмент, который *по природе своей* родственен Мировому Разуму, что сутью этого инструмента является постановка «целей» и отыскание «смыслов» и что, поэтому, инструмент этот способен проникнуть в тайны Мирового Разума).

Отсюда и рождалась главная задача моих интеллектуальных исканий: совершенствуя и оттачивая инструмент познания (человеческий разум), проникать в тайны Гармонии Мира, по крупицам собирая сведения об общем Замысле Бытия, месте и назначении Человека в этом Замысле — дабы строить жизнь и свою личную, и общечеловеческую во всё большем соответствии с этим Замыслом (лучше сказать по-анаксагоровски — с этим ***нусом***) и с этим Назначением.

Это и есть ядро той системы знаний, которую мне показалось целесообразным назвать **Философией**. Да, не Наукой (ибо задача науки — давать точные, проверяемые практикой, опытом знания о частных, конкретных сферах бытия и человеческой деятельности; я же веду речь о знании Всеобщего), не Мудростью (присущей милетцам и отличавшейся смешением, неразличением конкретно-научных и всеобще-мировоззренческих построений; я же веду речь о том, что существуют два различных типа познания, со своими специфическими предметами, способами, методами и целями познания). Я называю предлагаемые мной методы и систему знаний Философией, т.е. всего лишь *стремлением* к мудрости, к истине — путем долгого и даже бесконечного приближения к ней. И «предмет», «объект» моего наблюдения, изучения и понимания — «Человек и Мир в их единстве и взаимозависимости». Мой метод: познание Мира через Природу Человека и познание Человека через Природу Мира.

… Да, Платон, я не сомневаюсь, что ***нус*** этот, этот Мировой Разум существует. И в нём, через него мы, наконец, я уверен, откроем (или скажу мягче — приоткроем) «предназначение» человека. И, уверен, будем в соответствии с этим познанным предназначением, в соответствии с логикой Мирового разума обустраивать свою жизнь.

Но здесь, на этом долгом пути познания, надо будет учесть одну сложность или одну тонкость — назови как хочешь: человек, как индивид, связан с Миром Природы и с пронизывающим его Разумом не прямо, не непосредственно, а через ту среду, которую люди называют «обществом», «государством», «социумом». Это — ближайшее к индивиду пространство Внешнего Мира. Стало быть, призыв «познай самого себя» означает не познание себя как индивида только, но и познание той системы связей и отношений, в рамках которой индивид только и может существовать и действовать. «Познай самого себя» означает, таким образом, — познай «смысл», «цель», «назначение» общества, государства и свое место в нём. Познай, иначе говоря, прежде всего свой ближний — человеческий — мир. И только через него приоткроются перспективы познания «дальнего» — природного — Мира.

А у самого входа в этот ближний (человеческий) мир, как оказалось, высится некий барьер, не преодолев, не взяв который нет шансов проникнуть внутрь этого «ближнего мира». Барьер этот — теоретическая и практическая проблема «Политика и Мораль». В одном из писем я тебе уже писал об этой драме человеческого бытия — о существовании двух рядов требований (моральных и политических), дающих человеку во многих жизненных ситуаци-

ях взаимоисключающие рекомендации. Ну, ты помнишь: *моральный* ряд — не лги, не убивай, будь добр, бескорыстен, не прибегай к насилию и т.д., и *политический* — допустимо лгать («во благо» обществу или отдельному человеку), убивать (если речь о врагах отечества), применять насилие (во имя общественного «порядка»)… Морально-нравственный ряд базируется на убеждении, добровольности, равенстве, политический — на принуждении (подкрепляемом всей силой государства) и неравенстве.

Я натолкнулся на поразительную вещь: общество развивается каким-то таким странным образом, что путь к свободе с необходимостью пролегает через пространство несвободы, что путь к обществу доброй воли и ненасилия идет через ступени государственного насилия, а дорога к равенству — через этапы неравенства, и, наконец, путь к человеческому сообществу, основанному целиком на *нравственных* принципах, пролегает через сообщества, где господствуют принципы *политические*.

Я не взял этого барьера, Платон. Я не разгадал этой загадки. Да, лично я встал на сторону Нравственности. Ее принципами предпочел я руководствоваться во всех ситуациях своей личной и общественной жизни. Она, Нравственность, убежден, составляет истинную природу Человека. И идеальное общество будущего будет, несомненно, обществом Нравственности. Но почему Нравственное в наши времена уступило лидерство Политическому? Я не думаю, что тут произошло какое-то «недоразумение», что в чём-то «ошиблись», что-то «недопоняли» люди. Если бы так, если бы так… Тогда бы исправление, тогда бы возвращение на «истинную», «правильную» (то есть — нравственную) дорогу было бы не слишком сложным и не слишком долгим делом. Но, думаю, не «недоразумение» всё это. Во всём этом есть какая-то жесткая необходимость, какая-то не ухватываемая мной пока логика. Я всем своим существом чувствую, и мой «внутренний голос» подсказывает мне, что это — неизбежная и необходимая трагедия, через которую должно пройти человеческое бытие. Но почему? Не знаю! И ни сил, ни времени решить это у меня уже нет, Платон. Но я побуждаю тебя, всех учеников моих, — разобраться поосновательней в этой проблеме и попытаться решить ее. Это, если угодно, и есть мое Завещание вам.

…Фу, устал. Пишу уже несколько часов, без перерыва. Начал писать на восходе солнца, а сейчас уже сумерки, едва различаю написанное. Надо перевести дух. Нет, спать сегодня не буду. Продлю свое жизнебодрствование на одну ночь…

Продолжаю несколько часов спустя. Ходил из угла в угол своего убогого жилища, пока не начало светать. Удивительное и символическое это сочетание: погруженные во тьму, спящие глубоким сном Афины и слабая, тонкая багровая полоска, едва высвечивающаяся на горизонте. Не наша ли то «мыслильня», Платон, эта тоненькая багровая полоска над афинским горизонтом, предваряющая неизбежное появление Солнца в небе Эллады?..

Пока в кромешной тьме ходил из угла в угол, привиделось мне нечто, тоже весьма символическое. Мне привиделась какая-то пещера, в полумра-

ке которой стоят люди. Они стоят спиной ко входу. Солнечный свет едва проникает — через этот вход, через довольно значительное пространство, отделяющее людей от него. Они стоят, тесно прижатые плечами друг к другу, и не могут повернуться лицом ко входу — какими-то оковами схвачены их руки и ноги — не шевельнуться, не повернуться. Там, за входом в пещеру кипит, бурлит жизнь: что-то там движется, строится, кто-то передвигается, происходят встречи и столкновения — и всё это *тенями* отражается на стенах пещеры, куда только и могут смотреть охваченные оковами люди. Никто из них и никогда не был повёрнут лицом ко входу и даже не знает о его существовании. Никто не имеет ни малейшего представления ни о бурлящей за этим входом жизни, ни о солнечном свете. Они провели свои жизни в пещерном сумраке, и тени, движущиеся по стенам, представляются им единственной реальностью, реальным миром, окружающим их. Они смотрят на эти тени, «изучают», «познают» их, устанавливают «логику» их взаимоотношений и взаимозависимостей, «законы» их взаимодействия — и называют всё это «Наукой». Они придумывают историю их возникновения и выясняют пути их влияния на человеческую жизнь — и совокупность этих фантазий называют Мифологией.

И вот я вижу далее: одному из этих несчастных как-то удается (по-видимому, случайно) слегка повернуть голову и заметить, что сзади есть какой-то источник света. Потом, в силу жгучего любопытства, — как-то извернуться — и высвободить из оков одну ногу, другую, потом — руки, шею. Конечно — не безболезненно: вон лохмотьями повисла на высвободившихся запястьях кожа, вон — раздробленные пальцы освобожденных ног, вон красно-кровяные подтеки на свободной от оков шее. И всё же теперь он свободен! Он ползет, на окровавленных коленях, навстречу льющемуся свету. Он начинает различать те реальные предметы, вещи, что перемещаются там, за входом. Он начинает понимать, что его соплеменники имели дело не с действительным миром, а лишь с его тенями и что действительный путь к счастью — это путь в тот реальный мир, где солнечный свет и настоящие, реальные вещи, способные развить и удовлетворить все присущие природе человека потребности. И он, вдохновленный этим открытием, возвращается в пещеру, к людям — поведать им о том. Что всю жизнь они имели дело с тенями, призраками реального мира, рассказать им о прекрасном, солнечном, бытии, позвать их за собой — из оков к Выходу из тьмы.

При этом он отлично понимает, как озлобятся на него начальники этого царства тьмы и как большинство его несчастных соотечественников, свыкшихся со своей сумеречной жизнью, посчитает его сумасшедшим: «Какой «вход»? Какой такой «солнечный свет»? Какая там может быть жизнь за каким-то там «входом»? Да что он мелет такое, внося сумятицу в нашу такую уютную, такую понятную и привычную жизнь, смущая молодые души, склонные поверить этому ненормальному, этому врагу традиций и порядка?

Так неужели же он напрасно рвал кожу на запястьях, вырываясь из оков, и кровавил колени, продираясь ко Входу? Неужели никто не узнает, что он

видел там, на солнечном свету? Неужели дорога к Свету будет опять надолго закрыта людям? И он обращается к ним, окованным железом и медью, зовет за собой и на устроенном ему за это суде кричит во весь голос, из последних сил: «Очнитесь! Рвите оковы! Повернитесь — и вы увидите Вход в страну Солнца!»...

В этом кричащем и будящем человеке, Платон, я узнал... себя!

...Я объяснил, я смог объяснить тебе — во имя чего можно отдать жизнь?

* * *

Эхекрат. Скажи, Федон, ты сам был подле Сократа в тот день, когда он выпил яд в тюрьме, или только слышал обо всём от кого-нибудь еще?

Федон. Нет, сам, Эхекрат.

Эхекрат. Что же он говорил перед смертью? И как встретил кончину?

Федон *(в изложении Платона — диалог «Федон»):*

Ну, пора мне, пожалуй, и мыться, сказал Сократ, я думаю, лучше выпить яд после мытья и избавить женщин от лишних хлопот — не надо будет обмывать мертвое тело.

Когда Сократ помылся, к нему привели сыновей — у него было двое маленьких и один побольше; пришли и родственницы, и Сократ сказал женщинам несколько слов в присутствии Критона и о чём-то распорядился, а потом велел женщинам с детьми возвращаться домой, а сам снова вышел к нам.

Было уже близко к закату... Появился прислужник и, ставши против Сократа, сказал: «Сократ, мне, видно, не придется жаловаться на тебя, как обычно на других, которые бушуют и проклинают меня, когда я по приказу властей объявляю им, что пора пить яд. Я уж и раньше за это время убедился, что ты самый благородный, самый смирный и самый лучший из людей, какие когда-нибудь сюда попадали. И теперь я уверен, что ты не гневаешься на меня. Ведь ты знаешь виновников и на них, конечно, и гневаешься. Ясное дело, тебе уже понятно, с какой вестью я к тебе пришел. Итак, прощай и постарайся как можно легче перенести неизбежное». Тут он заплакал и повернулся к выходу. Сократ взглянул на него и промолвил: «Прощай и ты. А мы всё исполним как надо». Потом, обратившись к нам, продолжал: «Какой обходительный человек! Он всё это время навещал меня, а иногда и беседовал со мною, просто замечательный человек! Вот и теперь, как искренне он меня оплакивает. Однако ж, Критон, послушаемся его — пусть принесут яд».

А Критон в ответ: «Но ведь солнце, по-моему, еще над горами, оно еще не закатилось. А я знаю, что другие принимали отраву много спустя после того, как им прикажут, ужинали, пили вволю, а иные даже наслаждались любовью, с кем кто хотел. Так что не торопись, время еще терпит».

А Сократ ему: «Вполне понятно, Критон, что они так поступают, — те, о ком ты говоришь. Ведь они думают, будто этим что-то выгадывают. И не ме-

нее понятно, что я так не поступаю. Я ведь не надеюсь выгадать ничего, если выпью яд чуть попозже, и только сделаюсь смешон самому себе, цепляясь за жизнь и дрожа над последними ее остатками. Нет, нет, не спорь со мной и делай, как я говорю».

Тогда Критон кивнул рабу, стоявшему неподалеку. Раб удалился, и его не было довольно долго: потом он вернулся, а вместе с ним вошел человек, который держал в руке чашу со стертым ядом, чтобы поднести Сократу. Увидев этого человека, Сократ сказал: «Вот и прекрасно, любезный. Ты со всем этим знаком — что же мне делать?». «Да ничего, — отвечал тот, — просто выпей и ходи до тех пор, пока не появится тяжесть в ногах, а тогда ляг. Оно подействует само».

С этими словами он протянул Сократу чашу. И Сократ взял ее с полным спокойствием — не задрожал, не побледнел, не изменился в лице. Он поднес чашу к губам и выпил до дна — спокойно и легко.

До сих пор большинство из нас как-то удерживалось от слез, но, увидев, как он пьет и как он выпил яд, мы уже не могли сдержать себя. У меня самого, как я ни крепился, слезы лились ручьем. Я закрылся плащом и оплакивал самого себя — да! не его я оплакивал, но собственное горе — потерю такого друга! Критон еще раньше моего разразился слезами и поднялся с места. А Аполлодор, который и до того плакал не переставая, тут зарыдал и заголосил с таким отчаянием, что всем надорвал душу, всем, кроме Сократа. А Сократ промолвил: «Ну, что вы, что вы, чудаки! Я для того главным образом и отослал отсюда женщин, чтобы они не устроили подобного бесчинства, — ведь меня учили, что умирать должно в благоговейном молчании. Тише, сдержите себя!».

И мы застыдились и перестали плакать.

Сократ сперва ходил, потом сказал, что ноги тяжелеют, и лег на спину: так велел тот человек. Когда Сократ лег, он ощупал ему ступни и голени и немного погодя — еще раз. Потом сильно стиснул ступню и спросил, чувствует ли он. Сократ отвечал, что нет. После этого он снова ощупал ему голени и, понемногу ведя руку вверх, показывал нам, как тело стынет и коченеет. Наконец, прикоснулся в последний раз и сказал, что когда холод подступит к сердцу, он отойдет.

Холод добрался уже до живота, и тут Сократ раскрылся — он лежал закутавшись — и сказал (это были его последние слова): «Критон, мы должны Асклепию петуха. Так отдайте же, не забудьте». «Непременно», — отозвался Критон. Он понимал ход мысли Учителя: Асклепию, Богу врачевания, выздоравливающие обычно приносили петуха — в знак признательности; смерть Души Сократа одновременно была ее выздоровлением — освобождением от оболочки несовершенного тела и земных невзгод. — Не хочешь ли еще что-нибудь сказать?»

Но на этот вопрос ответа уже не было. Немного спустя он вздрогнул, и служитель открыл ему лицо: взгляд Сократа остановился. Увидев это, Критон закрыл ему рот и глаза».

И в заключение — от автора: «Верую ... в Сократа!»

«Он Человек был!»
(Шекспир, «Гамлет»)

Сократ не был ни «посланником Бога на земле», ни сыном Божьим. Он знал, что ему дарована одна-единственная жизнь и что он никогда не воскреснет. Он знал, что Второго Пришествия его не будет и что страдания его ничем не окупаемы. Он не явил ни одного Чуда. Кроме разве чуда сохранения человеческого достоинства в нечеловеческих обстоятельствах.

Примеры Богов, Полубогов («героев», т.е. сынов Божьих, — в древнегреческой лексике) не повторимы для смертного человека. Боги и Полубоги — из другого ведь «материала». Этот материал «неразрушим», в нём нет места боли и настоящим страданиям, сомнениям и страхам. Им, божественным субъектам, легко быть бесстрашными и самоотверженными. Им легко рисковать своими «жизнями», ибо риск этот условный, так как их бессмертные жизни, по сути, не могут быть прерваны.

Не то Сократ. Он — ***человек*** был! И оказалось, что этот «всего лишь ч-е-л-о-в-е-к» способен быть почти что Богом. «Почти что» — потому что, да простят меня античные и современные верующие люди, он выше Богов, он сильнее и добродетельнее их — ибо здесь Смертный поступает подобно Бессмертному и потому становится выше его.

Вот почему, если бы меня спросили, верующий ли я, — я без колебания бы ответил: «Верующий!.. В **Сократа**!!»...

«Вы приблизили его к нам»

Откровенно говоря, произведения древних философов меня никогда особо не привлекали. Мне казалось, что то время настолько далеко от нас, что понять людей, живших в ***том***, совершенно другом мире, просто невозможно. Поэтому, если совсем уж честно, страницы их трудов подчас весьма утомительны и абсолютно непонятны. Когда ты остаешься один на один с Платоном (или «его» Сократом), Аристотелем или неким другим мыслителем той бесконечно безвозвратной эпохи, прямо-таки теряешься и смущаешься перед его гением и способностью заставить тебя осознать свою собственную никчемность и понять, что ты можешь осмелиться лишь поразмыслить, совершить легкое шевеление своего «умишка». А «приблизиться» хоть чуточку к тем грозным (в своем величии) речам, надменно обращающимся к тебе с бессчетных страниц книги, не удастся никогда.

Извините, пожалуйста, за весьма длительное повествование о моем восприятии древних философских трудов, но оно, действительно, было очень нужно...

Потому что, когда Вы начали читать отрывки из Вашей книги, вдруг стало легче и интереснее. («Легче» не в том смысле, что Сократ неожиданно показался веселым и забавным, а в том, что зародилось ощущение того, что ты тоже можешь быть причастен к подобным произведениям). Ведь вступление, очень легкое для восприятия (что редко встречается в наши дни) и абсолютно не обременительное, ведется от лица современного человека, что достаточно «подбадривает» — ты в душе начинаешь радоваться, что не один-одинешенек отправляешься постигать «древнюю мудрость».

Затем Вы говорите о том, что просто предоставляете на наш «личный» суд письма Сократа. Я отчетливо понимаю, что это Ваш «литературный» прием — все эти «письма» Сократа, да и Вы не скрываете этого. Эта Ваша «придумка» позволяет узнать мысли, идеи Сократа как бы «изнутри». Вы приближаете его к нам, и становится особенно ясно то, о чём Вы неоднократно говорите, что собственно сама Жизнь Сократа и есть его подлинная философия. По-моему, это очень удачно: Вы «нашли» эти «письма» и нам на наше усмотрение «отдаете». Если ты устал от бесконечных исследований и чужих мнений, то такая подача просто «отдушина» для напичканного и истерзанного различнейшими точками зрения, взглядами и проблемами ума. Как хочешь — так и воспринимай, над чем хочешь — задумывайся, на что хочешь — на то и обращай внимание. И только так обязательно создастся твое именно *личное* отношение к Сократу, что-то только твое и ничье больше (так как никогда нельзя, мне кажется, забывать, что кто бы и что бы ни писал, этот некий «кто-то» был живым человеком).

Итак... далее последовали сами письма, и Вам удалось создать такой формой, повторюсь, подачи материала удивительный эффект: вдруг сам Сократ, удивительно теперь человечный, а соответственно и доступный, заговорил с нами, причем, во-первых, не через неких посредников (как это было в работах Ксенофонта и Платона), а сам, и во-вторых, заговорил очень просто и как-то искренне, что ли. Он обращался к своему другу Платону, но было впечатление, что и нам это можно послушать, поприсутствовать. Сократ вдруг поделился с нами совершенно «по-житейски» тем, что у него тогда было сказать Платону. Он вспоминал жену, детей, «глупых» плачущих учеников: это был человек, который сетовал

и удивлялся другим людям, который легко и внятно объяснил сам, почему он не хотел спастись бегством, он с трепетом говорил о своей любви, потрясающей любви к ***его*** Греции, любви не слепой, а видящей всё, и гадкое тоже, но сумевшей сохранить именно что-то такое прекрасное, что было доступно только ему, Сократу. И услышав всё это из его «уст», ты, действительно, начинаешь понимать, что это был Великий Человек... Человек, который, несмотря на казнь, останется с Платоном и с нами...

Извините за несколько сумбурно изложенное мое восприятие услышанного. Мне просто хочется поблагодарить Вас за то, что Вы смогли разбудить во мне интерес к личности Сократа и надежду на то, что хоть что-то я способна понять...

Люся Богданова,
3-й курс МГЛУ (Лингвистического университета)

глава 2. Земляничная поляна

Путь к Сократу, первые шажки (или: путешествие в детство — поездом, автобусом, пешком и мыслью). 38–53 гг. XX века н.э.

Основная часть этой главы написана летом 1999 года в поезде Челябинск–Москва. Писалось это всё для брата Леонида — писателя, попросившего меня, отправлявшегося по служебным надобностям в Башкирию, посетить там, под Уфой, места, где в эвакуации во время войны проходило наше детство. Ему нужны были свежие краски воспоминаний — для романа, который он в то время писал.

Я выполнил его просьбу. А написав для него свой «отчет», увидел, что он имеет не только подсобное (для романа), но и некоторое самостоятельное значение, вписываясь в замысел *моей* книги.

Я не стал выправлять импрессионистскую мозаичность, скоропись своего текста — мне показалось, что так лучше передается эмоциональность и волнительность встречи с детством.

И еще одно предварительное замечание. Уже составляя эту книгу, я нашел уместным дать этой главе подзаголовок: «Путь к Сократу, первые шажки». Вообще-то ни в детстве, ни в юности, ни даже в зрелые годы я о Сократе и не помышлял. Ну, да, кое-что почитывал о нём, учась в университете, — такое холодное и отчужденное знание, ни уму, ни сердцу — для сдачи экзаменов по истории философии и зарубежной литературе. И только потом, где-то в 90-е годы, когда основательно вчитался в него (по произведениям Платона и Ксенофонта, разумеется), когда понял, когда почувствовал — **кем** Сократ является для истории, для духовной жизни Человечества, я вдруг ощутил, что, собственно, всё мое развитие было **дорогой к Сократу**.

Первые ступени, первые шажки к нему — овладение теми нехитрыми моральными ценностями, что наработало человечество и что передавалось юным созданиям — в простеньких житейских ситуациях — воспитателями, родителями, старшими братьями и сестрами, и что укоренялось в общении со своими маленькими сверстниками. Конечно, детский эгоизм то и дело толкал ко всякого рода не очень симпатичным поступкам, но, в идеале, что такое «хорошо» и что такое «плохо» мы представляли уже достаточно ясно.

А потом — тоже вполне «по Сократу» — углублялись, усложнялись и расцвечивались представления о нравственном идеале — через художественную литературу, позднее — науку и, наконец, — философию.

Вначале — Вальтер Скотты, Жюль Верны, Дюма, Майн-Риды, Куперы — школа мужества, благородства, товарищества. Потом, где-то с 12 лет, — наши: Лермонтов (с Печориным), Тургенев (с Базаровым, Инсаровым, Рудиным), Чернышевский (с Лопуховым и Кирсановым), Герцен (с Бельтовым); Толстой, Достоевский, Чехов, Короленко... — высшая школа нравственности; образцы красоты и гармонии — Пушкин, Есенин, Тютчев, Фет, Надсон, серебряный век — с Блоком и Бальмонтом, революционная стихия — с Маяковским во главе... Да и не в конкретных именах дело — их множество, и у каждого — свои. Дело... Вы помните, как это у Леси Украинки — о стихах-«слезах» Данте и о его возлюбленной: «по тем слезам, как по росе душистой, вошла в отчизну славы Беатриче»? По тем стихам, повестям и романам, что запоем читали в детстве, входили мы в мир Высокой, Абсолютной Нравственности — в мир, который, как мы поняли позднее, следует именовать Миром Сократа.

А далее — наука, социальная, экономическая, политическая (да, и естественная — тоже, хотя о значении последней в описываемом контексте судить мне сложнее), — Идеал обретал всё более строгие очертания. И наконец, — философия, стремившаяся соединить *смыслы* Вселенной со *смыслами* человеческой деятельности. Но это всё — в будущем. А пока о первых, самых первых шажках в этом направлении.

«Вновь я посетил...» (А.С. Пушкин)

Я не «навещал» Алкино. Я попрощался с ним. Навсегда. Последний раз сегодня мелькнуло в окне маленькое станционное здание с надписью «Алкино»... Почему-то имя «Алкино», память «Алкино», жизнь «Алкино» связываются у меня с моей дорогой мамулей. Может быть, и потому, в частности, что мой алкинский период жизни — это жизнь, целиком вписанная в жизнь мамули, моя жизнь — всего лишь часть ее жизни, немыслимая вне ее; так сказать, — несамостоятельное существование. Всё, что там было (именно в Алкине, не в «Военторге» — здесь-то на первый план, пожалуй, выходит отец; кстати, и в названиях — ассоциации: «Военторг» — звучит резко, решительно, командно — мужской род!; «Алкино» — нежно и ласково-женственно), так вот — всё, что было в Алкине, наполнено маманей: в Уфу с переломом — на ее вытянутых руках, в садик и из садика — с ней, ее голос, заполняющий пространство комнат и придомья («Ах, ты, сердце, сердце девичье!..», «Челита», «Над полями, да над чистыми», «Ну-ка, чайка, отвечайка...»), голос звенит, серебрится...

Но вернемся к жанру Отчета, подготовленного «по поручению» Леонида (документальный материал для его автобиографического романа). Написать — сейчас, в поезде, немедленно, по горячим следам.

Итак — свершилось!..
«Социалистическая революция,
о которой так много говорили большевики,
совершилась!»

Свершилось. Двенадцать часов: станция «Алкино», «Санаторий Алкино», Военторг, Михайловка.

Приехал в Алкино в 7 утра; в 7 вечера — плелся, еле — от усталости и вымотанности — передвигая ноги (12 часов — на ногах!), к станционному Алкинскому зданию, в обратный путь.

Но хватит предисловий. К делу!

Впрочем, пожалуй, еще одно и, надеюсь, последнее, предварительное замечание. Мои соображения о малости шансов найти что-либо основывались на том, что ни в одном из четырех намеченных пунктов посещения у меня не было твердых, бесспорных ориентиров. Мир маленького человека — очень узок, очень мал, его пределы — несколько десятков (может быть, несколько сотен) метров в диаметре (если представить этого маленького человечка — центром его Вселенной). Михайловка: тут радиус моего мира — 10–20 метров: дом, огород, пятачок за воротами, дальше — так, некоторые туманные, разрозненно «плавающие» объекты, где-то там школа (в которую ходил Леонид) и т.п. Печку, окна, скамью у окна помню хорошо, семечки помню, тюрю — но какие же это ориентиры для поиска! В Алкине я постарше — и вселенная моя чуть пошире: наверное, сотни две метров в диаметре; дом Андроновых — центр вселенной, и от него радиусами: вниз — огород, за ним (чуть туманнее) — свинарники со жмыхом, налево — к злополучной и знаменитой горке, направо вверх — к санаторию, прямо вверх — к моему садику. Военторг: вселенная постепенно расширяется, но всё равно: 150–200 метров в радиусе, не более. Контора Военторга — в центре, столовая — там, землянка, где родился Сашуха, — здесь, дом Севки-Фимки-Мишки, ДК офицеров,.. ну, вниз еще, через лесок — к санаторию на пригорке и дальше (уже туманится!) стадион 40-го полка — среди деревьев, со скамеечками для немногочисленных зрителей и возвышающейся над ними трибункой для начальства (которое не знаю когда сюда ходило, и потому «начальством», залезавшим на трибуну и трепетно-восторженно следившим за футбольными сражениями, были мы).

В общем, все ориентиры — хлипкие, легко смываемые временем. Пожалуй, единственно стойким и не смываемым временем ориентиром (правда, лишь в Алкине) была та самая знаменито-злополучная горка. Горушка — довольно высокая и крутая (срыть ее не так-то просто, даже большевикам, поворачивающим течения рек), горка извивчивая, бегущая к железной дороге, где — переход-переезд к Михайловке. Таким образом, горка — стойкий ориентир, тем более желательный для меня, что там-то и произошло то самое драматическое Событие, о котором речь впереди. Потому главной целью и было — найти эту горку. Попутно — всё остальное. В общем, по Станиславскому: ***горка*** — сверхзадача и сквозное действие.

* * *

Всё складывалось великолепно. На защите выступил, на банкете посидел. Быстро решил проблемы с билетом: договорился с железнодорожным начальством Челябинска, что со своим обратным билетом Челябинск-Москва подсяду на поезд в Уфе (после посещения Алкина) — обещали предупредить проводников, чтобы место мое в вагоне никто не занимал. Купил билет до Уфы, и в 20 часов двинулся из Челябинска в Уфу, куда и прибыл в 5 утра. Теперь билет от Уфы до Алкина, и у меня будет целый день (световой день) на всё мое землянично-полянное путешествие. Электричкой от Уфы до Алкина — час езды. Электричка чистенькая, публика — тоже, одеты изящно, полетнему. Нет ощущения «деревни». Обычная московская дачная электричка. Отличие разве что в большем количестве несколько необычных лиц — чуть скуластых и с черными глазами-пуговками (башкиры!), женщины-башкирки — многие — весьма привлекательны.

«Только б не было войны!»

«Только б не было дождя!» — заклинал я, планируя свою поездку в Алкино. И вот — чистое синее небо с редкими облачками, море солнца. «Всё сошлось, всё состыковалось, — произношу мысленно первую фразу моего будущего отчета, — и поездка, и погода». Правда, направо — небо синее и солнце ясное, а вот налево — как-то там на горизонте пасмурновато. Но нет, это вроде бы стёкла там поездные мутные, да и уж очень направо-то хорошо; не может же вдруг всё перевернуться, часов 10–12 продержится же погода. Желаемость этого тем более важна, что мне не удалось в Челябинске купить дождевичок; я его долго искал по магазинам — дабы исключить всякие возможности помех моему замыслу (ведь мне придется в Алкине много ходить, фотографировать — дождь был бы жуткой помехой: ходить плохо, снимать плохо, да и вымокнешь весь, как собака). Но дождевичков я не нашел и теперь уповал на счастливое стечение обстоятельств; небо справа — внушало надежды, небо слева — небольшую тревогу. Чувствовал ведь, нутром ощущал возможность предательства Свыше, — потому и искал в жаркую, солнечную челябинскую погоду дождевичок. И, увы, предчувствия меня не обманули — самым коварным, самым подлым образом. Но обо всём по порядку. А пока — вокруг небесная синь и солнечный свет…

Первые шаги по **земляничной поляне***:* *ни* **поляны,** *ни* **земляники**

Сходил со ступенек электрички — на Алкинскую землю — так, как, наверное, Армстронг вступал на лунную поверхность.

Первые шаги понятны: к станции, к манящему названию. Мушка фотоаппарата: скорее перевести образ здания на пленку, скорее остановить и навечно запечатлеть «мгновение», которое «прекрасно». (Тут же волнительная мысль: что если Славик и Анечка, заряжая фотоаппарат, сделали что-нибудь не так, и все мои щелкания окажутся безрезультатными? Вот то-то будет обидно, понимаете ли...).



Прошу башкирского паренька «щелкнуть» меня — обязательно на фоне вывески (дабы соединялись Алкинские приметы и мое присутствие — чтобы ***земляничная поляна*** представала взору не сама по себе, а как в фильме Бергмана — со своим постаревшим (правильнее даже — немыслимо и безнадежно постаревшим) героем.

... Пока — ничего особенного, да с самой этой станцией и не связаны какие-то особо памятные воспоминания. Да, помню, как-то пару раз появлялись мы тут с маманей — в гостях у начальника станции (жил он и какие-то еще семьи — с тыла станционного здания). Помню: были там какие-то симпатичные палисаднички, уютные квартирки с суетой многочисленных жильцов. Но всё это малозначаще для меня. Сейчас там тоже вроде кто-то живет, но — ни палисадников, ни муравейной человеческой суеты. Закрытые (или запертые?) двери...

К пожилому человеку:

— Вы не жили тут во время войны? Людмилу Ивановну, учительницу, дочку начальника станции, не припоминаете?

— Она в Чишмах живет.

Кассирша — ни о ком ничего не знает, ее дело — билеты продавать.

Ладно... Тут не интересно. Туда — к подлинно родным местам.

Так вот, рядом со станцией та горочка, что я видел с поезда, когда ехал в Челябинск, и которую я принял за «ту», «знаменитую». Щелкнул сам, щелкнул меня на ней и вышеупомянутый башкир. (Да, придумал: на всех фото держать пальцы знаком «победы» — V (виктори!) — чтобы сразу узнавать на фото: о, это алкинские фотографии! И знак — по делу: посещение Алкина — это, на самом деле, победа, большая победа нас с Леонидом — он подталкивал к этому, я — реализовывал).

Ну, щелкнулся я на горочке, — но на всякий случай, уже ясно понимая, что это — не ***та*** горка — слишком маленькая, узенькая и слишком близка к станции.

Поднялся по ней. Дома — дачного типа, заборы, огороды. Не узнаю ничего. И дело не в конкретном узнавании. Не узнаю, не чувствую той, алкинской, атмосферы, которая возникает (должна возникнуть) черт его знает от

чего — от каких-то деталей — цветов, запахов, типа деревьев и их сочетаний, крапивы, лопухов и т.д. Ничего. Ни поляны, ни земляники. С таким же успехом мог выйти на какой-нибудь Пионерской или в Юматове (пригородные станции под Уфой). Не могу даже разжечь воображения, чтобы поплыли перед глазами картины прошлого, способствуя его поиску в настоящем.

— Андроновы? — переспрашивает пожилой мужик, не один десяток лет здесь живущий. — Нет, не знаю, не помню. — (А в деревне все должны знать всех!)

В общем, чувства и память на нуле. Нарастание недоумения.

Первые проблески, или рассказы синего домика

Ладно. Двинусь дальше — параллельно рельсам (в сторону Москвы — в соответствии с информацией Леонида — перед отъездом). Спросил насчет Военторга — и тут неопределенность:

— Да, стоят тут у нас воинские части, есть военный городок. Туда — автобусом.

Автобусом? Каким еще автобусом? Мы с Леонидом пешком через лесок ходили (тоже перед отъездом: «Помнишь, как мы в грозу из Алкина в Военторг бежали? Там всё недалеко».). А тут — автобусом пилить. Правда, добавление — оптимистическое (для моих чувств): «Едете до Алкина-2...» О, это звучит! Что-то Леонид перед отъездом говорил про «Алкино-2», где, по его словам, мы и жили. Я тогда не очень стал разбираться с этими «номерами» Алкина. Да, ладно, чего там — «один», «два», «три». Приеду, выйду — и найду, ну, поищу малость...Оказалось, что занес он мне в ухо важнейшую информацию. Мир стал чуть более узнаваемым. Да-да, мне нужно Алкино-2. Ну, а автобусом — пусть будет автобус.

Алкино-2! Вперед! Двигаемся к автобусу, а заодно шарим ногами и глазами вокруг — не мелькнет ли на горизонте «знакомый (*печоринский*) парус».

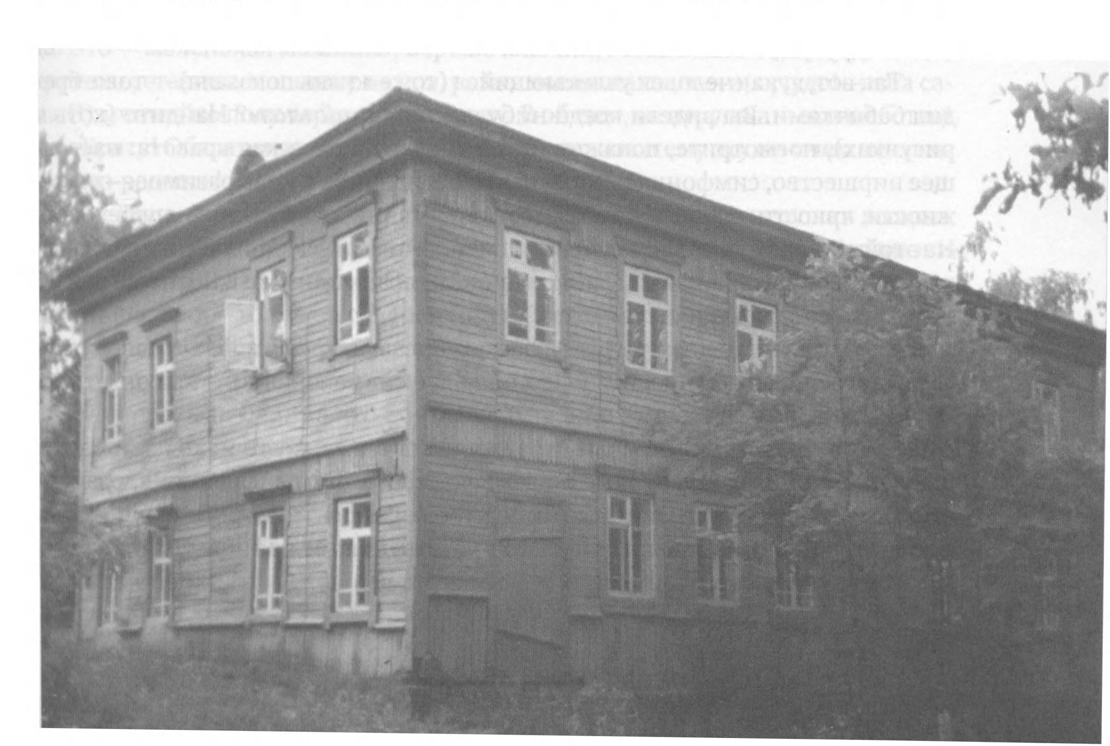
И он мелькнул — на выходе из этого пристанционного поселочка, мелькнул в виде ржавой-прержавой стрелки-вывески, на которой — хотя и с трудом — но можно было прочитать: «К детскому санаторию «Алкино». Ага, еще одно знаковое слово — также втиснутое мне Леонидом перед отъездом; чего он там говорил? Что наше место называлось «Санаторий Алкино»? Было немного непонятно: ну, я помню — там вроде бы был санаторий (или бывший, довоенный санаторий) — но как это наши подслеповатые избы-огороды, в которых бабки и тетки Марии совсем не были похожи на подлечивающихся пациентов, — как это всё могло называться «санаторием»? Что-то непонятно. Ну да ладно, приедем — разберемся на месте. А, оказалось, что и без этой информации мне нелегко было бы разобраться.

Пошел по направлению указующей стрелки. («Верной дорогой идете, товарищи!»). Да, дорога всё больше стала походить на «верную». Еще одна пе-

ржавленная стрелка (наверняка — из 30-х годов)! И вот теперь начинает звучать знакомая, давно-давно известная мне мелодия — вначале потихонечку (как это отцовское «ту-ру-ру-ру» — лейт-мотив, нащупанный им в «Онегине», из письма Татьяны), потом — всё громче и решительней. Узнаю травы, цветы (их сочетания, их сочность), связки деревьев, взаимосвязи лощин и пригорков, лесные и лужайковые запахи — всё то, что формировало когда-то мир чувств, сколько раз в эти сочетания цветов и запахов было хожено и с группой из садика, и вольным ребячьим набегом.

И вдруг — первый удар (первое явление Христа народу!): неожиданно, из зелени (а я, судя по стрелкам, уже на территории санатория) — ***дом*** Григория Григорьевича (нет, нет — не меня, так я себя в связи с Алкином не могу назвать даже в шутку, а — скрипача Григория Григорьевича, которого я совершенно не помню, но знаю и отчетливо помню, что «после Андроновых» (или «во время Андроновых», но просто в летний период) мы жили в «санатории» (которого, мне кажется, тогда в качестве «санатория» не существовало) в доме скрипача Григория Григорьевича».

Да, это ***он*** — ажурно-легкий, двухэтажно-сине-голубой! (Всевышний продолжает тащить за шиворот к цели!). Не пожалел на него двух кадров (без моего, правда, присутствия в них — снимать было некому — пустынно) — для Леонида, с одной стороны, с другой — для меня. Для Леонида домик этот был, вроде бы, весьма значимым: там у него было что-то вроде Болдинской осени (тетрадки стихов, впечатляющее романсовое творчество), книги, чердак, Толька Пушков, Лермонтов, залитый керосином, и т.д. (см. его, Леонида, биографический роман). Для меня — это, в частности, бабочки. Именно там — апогей страсти к бабочколовлению и бабочкособиранию. Всё идет в дело — сачки, панама, просто ладони. Бабочек и цветов — как в раю (должно быть!).



Разно- и многоцветные стаи бабочек — и тех, что попроще (лимонницы, шоколадницы, коих и везде навалом), но и тех, которых я нигде и никогда не видел (разве что в редких экзотических книжках), а тут вот они — порхают перед тобой с цветка на цветок — все эти махаоны, «черные принцы», «павлиньи глаза» — птицы, а не бабочки. Поймать, засушить (великому и тонкому этому искусству обучились — разумеется, Леонид, в первую очередь, я на эту тонкую работу — по возрасту не слишком годился) — и в альбом. А цветы — в гербарий!

Не числю себя природолюбивым лириком (я все-таки посуше, все-таки — сужу по опыту быстроутекшей жизни — больше рационально-думающий и абстрактно-мыслящий). Но вот жизнь обкатывала меня эстетически, добавляла в систему мыслей и чувств художественные, эстетические краски: то заставляла слушать пение и петь самому — дабы избавиться от заикания (и... вот уже «нет таких опер, юноша, которые бы я не знал наизусть», — «Македонский» из «Музыкальной истории»), а тут вот ввергнула меня в Алкинский мир — дикий, первозданный, неистоптанной еще людьми природной красоты — во все эти мириады цветов, запахов, бабочек, пчел, шмелей и т.д.; ну, плюс, наверное, влияние художественной по происхождению натуры брата-на-старшего — абсолютный слух, ранние стихи, раннее музсочинительство («и падают, и падают снежинки», «ночевала тучка золотая» — мне и сегодня кажется, что эта его «тучка» — лучше, чем классический романс — не помню кого — Глинки ли, Гурилёва)... Правда, что касается «падающих снежинок» «на ленинский от снега белый гроб», то уже отец заметил (очень высоко оценивая мелодию в целом), что хотя мотив великолепно передает быстрое, кружащееся порхание снежинок, но очень уж как-то весело, с этаким радостным подплясом падают они на ленинский гроб. Леонид, по-моему, с отцом согласился, но поправлять красивую мелодию не захотел. (И то верно, легче написать другую).

Так вот, я, как человек увлекающийся (тоже жизнь показала) — тоже бредил бабочками. Вы видели когда-нибудь «***павлиний глаз***»? Найдите (хоть в рисунках), посмотрите, покажите детям — фантастическая красота: настоящее пиршество, симфония цветов, нечто невиданное и невыразимое — по нежности, яркости, необычайной красоте сочетаний, окаймлений и переходов. На этой же даче началось увлечение авиационными эскадрильями бумажных голубей (переросшее в эпидемию, впрочем, позднее — уже в Военторге, и об этом — в свое время и своем месте).

Сейчас на этом доме висит вывеска: «Здесь во время войны располагался эвакогоспиталь» (спросить у Леонида: что сие означает, был ли он до нас, при нас, помнит ли он его).

Именно здесь, в этом доме, произошел случай или, точнее, один из тех жизненных эпизодов, которые я называю «***событиями***» (для меня, разумеется), т.е. — эпизодами, которые были рубежовыми в моем развитии. Этот — с точки зрения овладения какими-то нравственными принципами.

А случилось вот что.

1938–1945

В наш детский садик — голодный и бедный...

(Бедный — в смысле игрушек и того, что называется материальным достатком; но всё спасало, всё окупало то, что мы с воспитателями были постоянно на воздухе, в лесу, на лужайках, среди цветов, ягод, кузнечиков, напоенных солнцем и небом прудов — и тут мы были невозможными богачами — куда ни за что не дотянуться и сегодняшним столичным садикам «новых русских» — с их компьюторно-игровой и видеотехникой. Ну, конечно, видюшничек нам и тогда не помешал бы, не повредил. Ведь не «вредили» же кинофильмы, которые мы смотрели по десятку раз, которые невероятно волновали и развивали наше воображение. Без дрожи предстоящего наслаждения не могли видеть первые «мушки», летающие по едва засветившемуся экрану. Еще не появилась надпись «Мосфильм» с Мухинскими фигурами, еще нет ни названия фильма, ни имен исполнителей ролей, только-только погас в зале свет, только-только задрожала кинематографическая рамка на белой, сморщенной простыне экрана — с какими-то трассами темных и светлых точек — мы уже в ином, невероятном мире. Но «эпидемия кино» — тоже чуть позднее — в Военторге, в ДК офицеров — на открытом воздухе; в Алкине я лично кино не помню).

Но вернемся к нашему, повторяю, нищенски-бедному садику. В один невероятно прекрасный день туда привезли... о, господи, даже сейчас испытываю волнение — ***игрушки***. По нынешним меркам и возможностям — непритязательные, но тогда для нас — восхитительные: ну, там кубики, животные, куклы, паровозики и т.д. Но среди них была сверхфантастическая и сверхпотрясающая игрушка, подобной коей мне не доводилось до того видеть никогда. Это — маленькая машинка; берешь ключик, вставляешь в дырочку сзади, крутишь, ставишь машинку на пол, разжимаешь пальцы — и, о,чудо! — она сама (!) мчится по полу через всю комнату. В общем, не игрушка — волшебство!

Брату! Обязательно показать брату! Доставить и ему эту ни с чем не сравнимую радость!

— Дети, сейчас за вами придут родители. Соберите все игрушки в ящик.

Собрали. Все! Кроме одной! Эта «одна» была запихнута в рейтузики и слегка выпирала на животе. Но если повернуться спиной ко всем и быстро надеть пальто — то будет совершенно незаметно. Раз, два, три — операция проведена успешно. Мама уже здесь, взять ее за руку — и домой, на эту самую «дачу Григория Григорьевича»...

И вот, когда Леонид что-то сосредоточенно записывает в своей тетрадке, я потихоньку завожу чудо-машинку — и, тарахтя, несется она через всю комнату. Я знал, какое она произведет впечатление. Ну, конечно же, тетрадь в сторону — и мы уже вместе с братом упоенно упражняемся с этим маленьким чудом. Придумываем ей маршруты, ставим препятствия, одни из которых она опрокидывает, перед другими — тарахтя, останавливается в бесси-

лии. Летит по столу—и прыгает с края стола в подставленную шапку. Мне— особая радость: это ведь я—творец этого необыкновенного вечера. Не часто такое случается. Всё время что-то придумывает старший брат, а тут—я! От этого чувства счастлив вдвойне.

Леонид придумывает: садимся на пол, в разных углах комнаты, расставляем, не слишком широко, ноги. Задача: попасть бегущей машинкой в эти ворота. Счет идет на очки. И вдруг во время этой невероятно увлекательной, захватывающей всё твое состояние борьбы Леонид спрашивает (так—кстати, между прочим):

— А где это ты взял эту машинку? — (Ожидая, видимо, ответа, вроде того, что—«мама купила», «подарили» и т.п.).

— А я в садике взял!—в упоении игры отвечаю я.

— Как «взял», украл что ли? — (Не чувствую подвоха, глубинного смысла вопроса; весь в экстазе, уверенный, что брат одобрит,—ибо вижу, как горят его глаза и какое счастье доставляет эта машинка).

— Ага, украл!—весело, ожидая одобрения, кричу я, в очередной раз запуская машинку в братовы «ворота».

И вот тут-то и произошло то самое ***событие***.

Секунду назад смеющийся, веселый, увлеченный брат вдруг мрачнеет, глаза холодные. Встает с пола.

— Ворованными вещами я не играю!—и уходит.

Я так и застыл со своими распахнутыми для игры «воротами» и «волшебной машинкой» в руках. Так, наверное, чувствуют себя боксеры, попавшие в глубокий нокаут (ну, что-нибудь—после удара Тайсона)...

На утро, точно таким же макаром (хорошо еще, что мать не видела!)— в рейтузы, пальто сверху. В садике—сразу к ящикам, спиной ко всем. И вот уже машинка—среди мишек, зайцев и буратин...

Никто не заметил.

А мне—урок, урочище на всю жизнь...

Брат не напоминал про всё про это, видимо, понимал всю непростую гамму моих чувств, и, поняв, что игрушку я вернул, продолжал общаться со мной по-прежнему, как будто ничего этого никогда не было...

И еще о чём напомнил мне ***голубенький домик***.

Явление отца — «оттуда»

Необычно и радостно: меня забирают из садика в середине дня. И мать необычна: загадочна, глаза сияют—что-то произошло. Ничего не объясняет. Да мне и не надо никаких объяснений. Главное: из садика—домой!..

А дома—вот в этом самом, голубеньком, доме, в нашей комнате—сидит на диване какой-то человек.

Особенно запомнились две вещи.

Глаза этого «человека» — синие-синие и как бы плывущие в облачке счастья. Они светились (свет шел словно изнутри, из их глубины) и именно ***плыли*** (может быть, это были слёзы, стоявшие в глазах). И не сходящая с губ улыбка — «человек» безотрывно смотрел на меня и улыбался.

И хотя в какой-то момент маманя сказала, что это мой папа, я, по-видимому, был суров и насуплен, — отец не делал попыток ни обнять меня, ни подойти. Он просто сидел на диване и смотрел — так, как я уже описал. (Наверное, помнил, как когда-то, в 39-м, я в страхе кинулся от него к матери — когда мы пришли к нему на свидание во Владимирскую тюрьму; родился-то без него!).

А вторая крепко запомнившаяся вещь — пшеничная (именно так — пшеничная, а не пшенная!) каша. Молочная, нежная, сладкая — ничего подобного до этого, мне казалось, я не ел.

Вот так мы и сидели: отец — на диване, я — напротив, за столом, поглощая потрясающую кашу. Оба молчали: отец — весь светясь, я — угрюмо уплетая кашу.

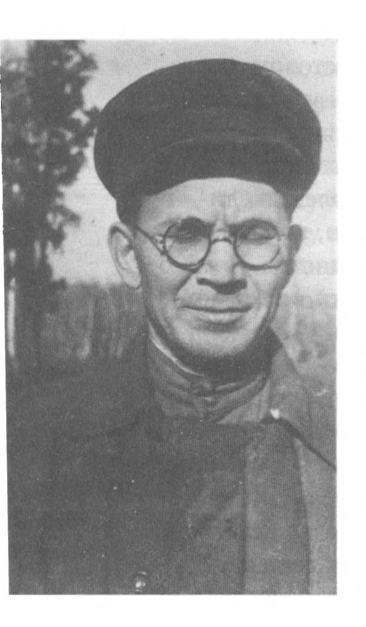
К отцу надо было привыкнуть. Что такое «отец» — я не знал (так, помнил смутно, как мы с ним одной чайной ложечкой халву на Короленко ели — и всё!). Правда, у матери постоянно спрашивал — где папа? Он, конечно же, был «на фронте» (как у всех моих друзей) и нещадно бил фашистов. Помню детские хвастовствы друг перед другом: «А у меня отец — летчик, он только — ррраз... — (и фантазии о его героизме...)». — «Ну, и что — летчик! А у меня — из зенитки стреляет. Он летчиков фашистских, знаешь, сколько насбивал», — (имеется в виду, что у него отец поважнее и понужнее... Хотя, думаю, сами они о своих отцах мало что знали — так же, может, как и я).

Я настаивал, чтобы мама назвала мне его звание. (Я знал все их внешние выражения — от ефрейтора до маршала: сколько у кого полосочек на погонах, сколько у кого и каких звездочек. Частенько пытался просвещать на сей счет бабку Татьяну — первые безуспешные шаги моей просветительской деятельности: «Чего лейтенант, чего капитан, какие там звездочки, шел бы вон лучше матери помогать...»). Так вот, выжал из матери: отец — капитан! (Это, конечно, не полковник, не генерал, но ничего — командир! А повоюет — и побольше звание получит. Мне хотелось, чтобы он был «пулеметчик» (нравилась героическая песня «Два Максима»). Так и видел: отец-капитан (четыре звездочки на погонах) приник к пулемету — и косит, и косит врага: «так-так-так, — говорит пулеметчик, так-так-так, — говорит пулемет». И он, действительно, оказался пулеметчиком — эту военную тайну я, таки, выжал из матери и понес ее по моим друзьям. Ого, «пулеметчик»-то не уступит ни летчику, ни артиллеристу. Все же прекрасно знали: «строчит пулеметчик за синий платочек...». Поэтому когда мы с вернувшимся отцом попривыкли друг к другу, я его (понимая, что касаюсь «военной тайны») тихо и доверительно спросил: «А ты там, на фронте, строчил из пулемета?». Отец засмеялся: «Строчил, строчил!». (Смех я отнес к тому, что задаю наивные вопросы, а как же еще: на фронте — и не «строчить»?).

А вернулся отец с фронта, потому что ранен. Вон он, хоть и выписали его из госпиталя, — до сих пор с палочкой ходит, с трудом переставляя всё еще опухшую ногу. Вот подлечится, и опять на фронт — «строчить». (Эх, мне бы туда! Везет же взрослым!).

Потом уже, много-много времени спустя, я узнал, из какого «госпиталя» вернулся отец и какие раны он залечивает.

И «фронтом», где он бил фашистов, и госпиталем, где он лечился, был сталинский лагерь, — где он в очередной раз сидел (с 40-го года, где-то вроде под Воркутой). Отец понял, что все они — в лагере — смертники: туда партию за партией, тысячи за тысячами гнали «врагов народа» — добывать воркутинский уголь, пилить деревья — всё для фронта. Но поскольку это всё «враги народа», то естественно — никакой заботы о них — ни хлеба (толком), ни воды (толком). В общем, кормить и лечить врагов, жалеть их — не к чему (пусть работают по 14–16–18 часов в сутки!). И люди «дохли» — мало кто выдерживал 4–6 месяцев. Отец — за счет своей природной физической силы: батрак, мешки с мукой таскал на горбине; кость, помню запястья, — широченная; отец — ширококостный, с широкой развернутой грудью, мощной мускулатурой. Но и он подвигался там к пределу — к нам ведь приехал тоненьким, худым — тростиночкой качающейся.



И придумал он там, в лагере, симуляцию: паралич ноги́ (изучил по медицинским справочникам, что были в лагерном медпункте, все симптомы паралича). Дал себе слово: больше не шевелить этой ногой, всё — ее нет, он её не чувствует. И, о, чудо — нога начала опухать, синеть — не может человек двигаться без костылей.

Медицинская комиссия. Отец знает: будут пробовать конечность на непроизвольные рефлексы. В частности — колоть ногу какими-то там иголочками: дернется, нет? Отец — всю волю в кулак: не дёрнуться, не пошевелить! Обследовали, стучали, кололи — присматривались придирчиво и недоверчиво. Да! Паралич прогрессирует. Комиссовать! Освободить в близкую смерть! «Талантливый специалист — главврач Греков (тоже из заключенных), — рассказывал как-то отец, — мне показалось, догадался о моей симуляции (по его глазам видел!), но, видимо, пожалел меня».

Вот так и «строчил» мой отец-капитан, вот из такого госпиталя приехал он к нам в Алкино.

(«Твоему отцу повезло, что он сидел, — бросил как-то мне «парадоксов друг» Матвей Розов. — Жив остался. А на фронте — был бы убит». Он остался в живых не потому, что сидел, дорогой мой Матвей, все, сидевшие там одновременно с ним, все, как выражался отец, имитируя отношение к ним лагерного начальства, «сдохли». Он не «сдох» — по причине своей вынужденной хитрости да гуманного порыва лагерного врача...).

А тогда в ***синем домике*** я сидел напротив него, лопал свою кашу и купался в лучах его, как я теперь понимаю, синеглазой любви.

И в свете всего вышесказанного читателю будет теперь особенно понятно всё великолепие моего вопроса: «Ты из пулемёта строчил?» и не меньшее великолепие его ответа — сквозь смех: «Строчил, строчил...».

По земляничному следу

А когда я пересёк территорию санатория, эквилибрируя по зеленым тропкам, обочь которых плотными зелеными рядами стояли травы, кустарники, деревья и изящно-легкие (по меркам 30–40-х годов) синие ажурные домики, и вышел из санаторных ворот, — передо мной открылось то самое: не современные дачные строения, что преобладали в районе станции, а — нормальные деревенские дома и домишки, с нормальными (т.е. старенькими, покосившимися) заборами вдоль дорог, изрытых колеями телег и (нечастых) машин, с гусями, гогочущими вокруг могучей, неправильной формы лужи, теленком и тёлочкой, привязанными длинными веревками к деревцу посередине полянки (они то мирно и аппетитно жуют траву, то вдруг начинают резвиться, толкая и бодая друг друга). Тогда-то и возникло ощущение: кажется, я напал на «земляничный след». Не знаю ещё, где тут «дом Андроновых» (в котором мы какое-то время, кстати — до «синего домика» — жили и где произошло столько Событий), но атмосфера, чувствую, та, нашенская. Это ощущение окрепло, когда я увидел там, вдалеке, на той стороне холма, несколько длинных белых свинарников или коровников (мне показалось, это — те, где мы воровали жмых). Быстро зафиксировать их на пленочке, «быстро» — словно боялся, что то ли пропадет это видение, то ли кадры пленки кончатся, то ли дождь хлынет (небо чтой-то начало хмуриться) — в общем, немного нервничал).

— Девочки, ну-ка, щелкните меня. Вот в это окошечко смотрите, на эту кнопочку нажимайте, но чтобы обязательно во-о-он те «коровники» в кадр попали. (Господи, сделай так, чтобы пленка проявилась!).

Потом, правда, часа три-четыре спустя (после посещения Алкина-2), побывав в этих свинарниках-коровниках, увидел, что это всего лишь... конюшни (и, следовательно, жмых в них мы красть не могли). Да, и, помнится, вожделенные (из-за жмыха!) «наши» свинарники стояли не на пригорке (как эти конюшни), а в низинке — куда спускались наши огородики. Но стиль конюшен — «нашенский», атмосферы не только не разрушающий, но даже её упрочивающий: свинарников-то наших сегодня не видно, а вот конюшни вроде бы даже и при нас были (спросить у Леонида!).

Теперь ясно — где-то здесь «моя» горочка, — отыщем её — а от неё уж залучатся пути и к дому Андроновых, и к тому самому садику, и к другим достославным примечательностям...

Но пока... «мы пойдем другим путем». Через полчаса (как мне сказали) будет автобус на Алкино-2. Кто их знает, сколько автобусов в день тут хо-

дит, — может, один или два, — не пропустить бы Алкино-2 (то бишь Военторг); все-таки для меня Военторг более значим (там и прожито больше — и прожито сознательней — там кинофильмы, первые прочитанные книги, наконец, — 1-й класс школы, — и вселенная меряется уже не в десятки, а в сотню-полторы метров; и вселенную эту помню лучше. Прикрою глаза — и ясно вижу: контора — один вход — работа отца, сидит за счётами, согнувшись, — вид через окно, вернее — оконце, подслеповатое и низкое); другой вход — наше (и Тартаковских) жилье. Напротив (окон Тартаковских) — Севка, Мишка, Фимка. Напротив наших жилых входов — столовая (офицерская), за ней — землянка, где родился Сашуха (имеет право на гражданство Великой Башкирии!); чуть обочь — дорога, по ней… «Алкино-два, конечная», — прерывает водитель мой поток сознания.

Ехали от «санатория «Алкино» минут 10, вначале — по широкому современному шоссе, бегущему к Уфе, потом свернули с него в лес (тоже, впрочем, по хорошей асфальтовой дороге).

И вот оно, Алкино-2 (сиречь — военторг)

Сходя с последней ступеньки автобуса, снова чувствую себя Армстронгом, вступающим на Луну. Момент волнительный: найду ли, что ищу, узнаю ли?.. Землянки-то, наверняка, срыты. Немногочисленные мазанки, скорее всего, развалились. Открытый ДК — за деревянным забором, в густом и влажном лесу — наверное, давно подгнил и завалился. Единственная надежда — на тот черномраморный театр, где мы с бабкой Таней блистали на гарнизонной сцене с поэтическим шедевром «Бабушка и внучек» (не мог же такой могучий храм искусства исчезнуть, не оставив никакого следа!), да на оставшуюся в памяти сеть дорог и горок — а там уж сориентируемся…

Так, где тут военторг, где театр, где сплетения знакомых дорог, где известные горки, с которых зимой неслись просто на лыжах, а летом — на стадионы и эстрады 40-го, 26-го, 28-го полков?

Ничего не узнаю: вокруг — пятиэтажные, белого цвета, панельные дома, магазины и магазинчики — с кока-колой, фантой, жвачкой (мы вар, гудрон жевали — пёк, жёг, бывало, и язык, и щеки). Ага, «Штаб воинской части». Туда: нет ли тут старожилов, может быть, кто-нибудь знает, где тут была дача генерала Ворожейкина, военторг. Нет, никто ничего не знает — просто не понимают, о чем это я.

«Ну, клуб тут есть?» — (надежда на тот черномраморный театр нашего детства). — «Есть! Вон там, на пригорке». Иду. Да, — клуб, каменный. Но не наш, и вообще таких тогда не было. Ну, и куда теперь? Ладно — поплутаю, поброжу, пошарю — может, на какие-то старые селения наткнусь — не могло же время смыть всё, до последнего человека, до последней щепочки. Что-нибудь да застряло в быстром потоке лет, зацепилось за какой-нибудь уступочек. Поднимаюсь — по лесным тропинкам — наверх, — какой-то посело-

чек, домишки старенькие. Стучу в один, в другой: «Есть кто-нибудь, кто во время войны тут жил?» — «Да, вроде, нет. Нет, нет, тут все недавние. А-а, вот, попробуйте к тете Зине…».

Встреча с тетей Катей

— Тетя Зина, во время войны вы жили здесь?

— Нет, я в 60-м сюда приехала.

— Военторг помните?

— Нет. Постойте, а попробуйте к Кате сходить. Она в-о-о-н там, в крайнем доме.

Ладно. Развалюха.

— Есть тут кто? (Сцена почти что из «Тамани»).

Кривая, скрипучая дверь приоткрывается — в проёме старушечья голова — платок, телогрейка (всё, как водится). Глядит настороженно, подозрительно.

— Тетя Катя — это вы?

— А что вам нужно?

Ну, объясняю: эвакуация, военторг, хочу навестить эти места.

— Вы с какого здесь года?

— С 44-го…

(Ого, вот это удача — это же нашенское время! Ура! Надо разговорить эту «подозрительную» бабку. Стою в десяти метрах от двери — голова бабки чуть



высунута; чувствую: сделаю пару шагов — голова с перепугу скроется, и дверь захлопнется. Так, быстро как-то войти в доверие).

— А военторг помните?

— Ну, как же, я там в столовой работала.

(В столовой! Ну так это совсем то самое!)

— А Тартаковского помните?

— Ну как же!

— А полки — 40-й, 26-й, 28-й?

— У меня муж в 40-м служил.

(Так-так, так потихонечку контакт завязывается. Осторожненько, между разговором, сближаюсь. Замечает это, — и голова, соответственно моему приближению, начинает уходить в раковину развалюхи.)

— Тетя Катя, а не знаете место, где стояла контора военторга?

— Ну, как же «не знаю»? Вон пойдете туда, по дороге. Туда-туда, там вот она и стояла.

— Там неподалеку Павлин ещё жил (вспоминаю фамилию чеха-портного, может знает?).

Лицо светится:

— Да-да, Павлин, я его хорошо знала — (потепление идет, но медленно!).

— Тетя Кать, может, покажете мне это место? Сам я, конечно, не найду…

— Приходите завтра.

— Завтра не могу. У меня поезд сегодня.

— Сейчас я не могу. Дочку жду. Приходите попозднее.

(Да, куда там, к дьяволу, «попозднее»! Время в обрез! Но что делать: нажмешь — сломаешь.)

Смиренно: «Ну, хорошо, тетя Катя, я погуляю, а через часок загляну».

В это время потихоньку началось то, чего я так боялся, еще когда ехал в поезде из Москвы и когда в Челябинске искал дождевик. Небо потемнело, затянулось тучами — и вот они уже, первые капли, упали сверху. Вначале — редко, потом чаще, чаще — застучали по крыше, по кронам деревьев, но, главное (и что обиднее всего) — по незащищенным плечам моего спортивного костюма, по лысине (ну, лысина — ладно — дождь теплый; а вот вымокнуть, как собака, — неприятно; да, и потом — как фотографировать в дождь?.. Творец! Что же ты делаешь?). Я намеренно затягиваю разговор, чтобы увидела бабка, как я, бедный, начинаю мокнуть под усиливающимся дождем — может дрогнет, сжалится ее сердце — и пригласит она меня в хату. Нет, голова утягивается в раковину избы. Ладно. Постою немного под деревом. Но дождь уже как из ведра, никакая листва не защищает — уже весь мокрый… А это уже не дождь, — гроза! — да сильная, мощная — с громом, от которого глохнешь, и молниями, от которых слепнешь. Не хватало еще, чтобы здесь, в родном военторге, меня молнией бы под деревом пришибло! (Будто к аленькому цветочку прикоснулся — так разбушевалась природа!). Да и бабка мне нужна позарез! Без нее я тут ничего не найду. Пустым будет мой отчет Леониду.

Под ливнем — ибо уже ничего не страшно — иду к бабкиной двери и стучу. Громко и решительно: «Баба Катя!». Чёрррт! Не открывает. Навеса нет, дождь поливает. Молнии с громами свирепствуют. Только «гордый буревестник»… продолжает стучать в бабкину дверь… Старушка за дверью, наверное, дрожала от страха: открыть — не открыть. (Но я же ей и Тартаковского, и Павлина назвал, и номера полков, да и вид вроде у меня не разбойный…).

Открыла наконец.

— Баба Кать! Можно я у вас тут вот в сенях постою пяток минут? Деваться-то некуда, а вымок вот уже до костей.

Впустила. Тронулось жалостью старушкино сердце.

— Вы уж меня извините. Боюсь ведь. Вижу, что человек вроде обходительный. Но сейчас, знаете, время какое. Взять-то у меня нечего. Бедность. А вот похулиганить, поглумиться над старухой — это у нас могут. Извините! Да вы проходите в комнату.

Слово за слово, осторожненько, успокаивающе, завоевывая доверие, продвигаюсь вместе с ней из сеней в горницу. Снимаю набухшую водой спортивную кофточку, надеваю другую, сухую — что у меня в полиэтиленовой сумке. Мокрую — вместе с бабой Катей — развешиваем в коридоре, для сушки.

И вот мы за столом, в горнице. Ждем ее дочку (тогда баба Катя сможет повести меня на экскурсию — туда, где родное пепелище) — а пока ведем неторопливую беседу: я подбиваю ее на воспоминания о военторге, ей же интереснее рассказать о своей судьбе, попытать меня, не могу ли я чем помочь.

Она — крымская татарка. Пока отец на войне «защищал Родину», — к ним, в Крыму, к дому подкатила легковушка, из которой выпрыгнули два молодых и решительных человека в чекистской форме — и дали ей и ее матери 15 минут на сборы (гитлеровцы гнали человеческий скот на работы в Германию, сталинцы — в Сибирь; только гитлеровцы гнали «чужих», а сталинцы — своих); так 16-летняя девочка Катя (по-татарски — Кадрия) и ее маманя, скотница симферопольского колхоза, в одночасье (точнее — в 15-минутье) стали «врагами народа», лишились всего имущества (что за 15 минут соберешь в кошелку? Да и как и куда с ними потащишься?). И забросили их вместе с другим крымско-татарским человеческим «скотом» куда-то в голую степь в Башкирии. Как хочешь устраивайся, ни жилья, ни работы, ни пищи. Сталинские троглодиты гноили человеческий «материал» — так, зазря; даже «пользы» — ну, хоть какой-то, ну, хоть «для себя» — не стремились извлечь. Ну, — собаки, одним словом, бешеные и дурные. Единственное, о чем позаботились, — поставить всем штамп в паспорте о прикреплении их к этому пятачку на башкирской земле (знак ссылки!); убежишь — получишь лагерный срок. Но и печати-то эти ставились халтурно, кое-как. Матери поставили, а Кате — нет: думали, что ей еще нет шестнадцати (без паспорта, стало быть!). Оставшийся чистым паспорт Кати и спас их. Они бежали — вот сюда, под Уфу, в глушь военторга.

— Мамин паспорт с тем штемпелем я сожгла, — рассказывает баба Катя. — Ну, потеряли в дороге, во время оккупации, — объясняли всем. А по своему, чистому, устроилась на работу в столовую военторга.

Баба Катя разговорилась, ожила, разрумянилась. Откинула платок — и на плечи легли хорошие, чистые, даже пышные волосы. Смотрю — не такая уж она древняя старуха, как мне поначалу показалось, — и глаза светлые и умные, и речь культурная.

Показала старые фотографии: вот она — молодая, с мужем и маленькими детьми. Да она там просто красавица.

Муж — офицер из 40-го полка, фамилия странная — Кондони.

— Грек? — спрашиваю. — Итальянец?

— Нет, украинец. Такой человек был. Умер внезапно, 60-ти еще не было. Крепкий, красивый, здоровый, мастер на все руки. Рак поджелудочной железы. В полтора месяца сгорел. Думала, не выдержу. Вы знаете, я ему целый год письма писала.

— После его смерти?

— Да... Писала, как я его люблю, просила побыстрее взять с собой.

— Письма сохранили, бережете? (Подумал: для писателя это было бы просто клад).

— Храню. Вон целая папка...

М-да... Чудная, славная тетя Катя!.. Посидеть бы с тобой, попить чайку, вслушаться, вдуматься в переплетения твоей судьбы...

Но мое время тает, сжимается, как шагреневая кожа. Мне надо посетить пепелище. Никто, кроме тети Кати его не покажет.

— Тетя Кать, а как в военторговской столовой работалось? — осторожно подвигаю ее к моим задачам.

— А кем, вы говорите, работал ваш отец?

— Бухгалтером, вначале — старшим, потом — главным, а потом (временно) — и начальником военторга. Водолазов Григорий Петрович.

— С усиками такой? — и баба Катя точно воспроизвела отцовские усы. — Григорий Петрович?

— Ну?

— Да я его прекрасно знаю. ***Это ж тут самый лучший человек был.*** Все другие придут в столовую — наорут, накомандуют и в сумку продукты себе суют. Григорий же Петрович такой был обходительный, ко мне очень хорошо относился, такой внимательный. Всегда подойдет, про жизнь расспросит и вот так по плечу погладит. Только ему и могла рассказать про свои беды — ведь жили-то с матерью в жуткой землянке — там десятки людей набито. И он мне помог комнату получить... И еще вам скажу: ведь это он мне вручал медаль «За победу над Германией». Нет, таких людей тут больше не было. Он — особенный... Да только медаль-то я эту и удостоверение куда-то потеряла. Такая беда! Сейчас была бы она у меня — мне бы и пенсию прибавили бы, и ремонт дома сделали бы. Обратиться куда-то надо, да не знаю куда. Раньше было, конечно, плохо. Но сейчас такие времена настали, что ни пожаловаться некому, ни узнать что-нибудь — негде просто.

— Баба Кать, я попробую зайти в Москве в наградной отдел. Может, там есть сведения о вашей награде... Если что, отпишу вам.

Смотрю за окно — дождь, вроде, немного поутих, и на часы — время бежит быстро. Поднимаюсь.

— Ну, что ж, тетя Катя. Всё! Я должен идти, иначе ничего не успею.

Но тетя Катя уже надевает какие-то ботики, повязывает платок и накидывает на плечи армячишко.

— Пойдемте, я вам покажу место, где стоял военторг, где жил Павлин...

— Но дочь ведь придет, и потом дождь еще не совсем кончился.

Но тетя Катя уже ожила, смеется озорно:

— А чего мне дождь! Он теплый. Да приду и посушусь. Вам-то потяжеле будет. (Да, сейчас выйдем — и моя последняя сухая футболочка набухнет водой; но у меня нет выбора: только вперед; дождевичок-то в Челябинске, шляпа! не достал!) А дочке — напишем записку.

Диктует: «Лиля! Я вернусь скоро, ключ — где всегда. Мама». Смеется: «А почерк-то ваш, а не мой. Она ж удивится. Допишите: «Записку писал мой хороший знакомый из Москвы — профессор». Подумает — мать с ума сошла. Да ладно, пойдемте».

Прошу разрешения сфотографировать ее у дверей дома.

— Да чего старуху фотографировать, я ж страшная стала.

— Да я для брата-писателя это делаю. Ему — для его писаний — важно увидеть, как выглядит военторг сегодня (а приехать самому ему вряд ли удастся).

Соглашается. Я щелкаю фотоаппаратом. Подаю ей руку — и в путь. Это, по ее прикидке, — метров 300–400 отсюда. Но Баба Катя героически чапает рядом со мной.

— Скверная штука старость, — философствует она, — жить не хочется, тоскливо. Всё бы ничего, но тоска...

А погода, между тем, буйствует. Маленький дождь вдруг опять оборачивается ливнем — и снова громы с молниями. Мы с бабой Катей то под дерево какое встанем, то под навес крыльца какого-нибудь забьемся. Задал же я задачку старушке. (Нет, Всевышний, ты не прав!).

Чуть стихает стихия — вперед, к пепелищу!

— Далеко еще, баба Катя?

— Да, нет, вон там, где трактор стоит, Видите домики — вот на их месте и стояла контора. А вон за ними, налево — там Павлин жил. А дальше, за домиком, — там склад был.

— Тетя Кать! Всё. Спасибо. Теперь я знаю где. Вы идите домой, а я уж сам туда дойду побыстрее.

— Ну, идите, идите. А я за вами следом. Пока вы там смотрите, я и подойду. Ведь это хорошо, что вам захотелось приехать на место вашего детства. Как бы мне хотелось в своем Крыму оказаться. Он мне последнее время постоянно снится — наша белая саманочка, наш плетень и... яблони. И папа снится. Стоит за плетнем и зовет: иди ко мне, дочка. А я всё никак не могу добежать до него — то какие-то кустарники, то плетень мешает... Нет, это вы хорошо придумали, а вот мне уже туда не поехать...

Ладно. Спешу к месту, указанному тетей Катей. ***Два домика***. В общем, оба — копия той нашей конторы. Фотографируемся с тетей Катей на их фоне. Один — более похожий на нашу контору (не ухожен!) — на замках. Тут всё как тогда: входы в жилую часть — правая дверь — к нам (захожу внутрь и фотографирую; сени в точности наши), левая — в квартиру Тартаковских. Выходит молодой хозяин соседнего домика (более ухоженного и потому менее похожего на военторговскую контору). Разговорились.

— Да мой дом и есть прежняя контора военторга. Только я подновил его малость, ремонт кое-какой сделал.

Не знаю. Он — молодой, чего-то, наверное, путает. Щелкаю на всякий случай — может, глаз Леонида различит, где оригинал.

Но... не могу, танцуя от этого домика, восстановить в нынешних очертаниях черты прошлого («в твоих чертах ищу черты другие» — и не нахожу: стоит типичная башкирская деревня — грязная, размытая колдобинная улица с двумя рядами домов по её сторонам (у нас же был, по сути дела, только один — наш ряд).

Прощаюсь с бабой Катей. Долго смотрю ей вслед — как карабкается она по грязно-скользкой горке — к своему дому. Вспоминаю: «Жить незачем. Тоска!». И еще — ее фотографии — с мужем, детьми и... белозубой улыбкой...

Не обращая внимания на дождь (укрываться уже нет никакого смысла — весь мокрый, кеды наполнены водой и ноги в них чавкают), так вот, не обращая внимания на дождь, мешу ногами близлежащие окрестности. Постепенно налаживается система взаимодействия старых признаков.

Я то и дело останавливаюсь, прикрываю глаза и, мысленно ставя себя в центр «моей» вселенной (у здания военторга), усилием памяти воспроизвожу образ былого. И он начинает накладываться на настоящее, корректировать и исправлять его, цепляясь за сохранившиеся знаки прошлого. Так, вот небольшой подъемчик от конторы — туда, где —

стоит ДК офицеров. Двинемся по этой дорожке — метров 200–300, войдем вон в тот лесок — и упремся в голубой деревянный забор, окружающий зрительный «зал» под открытым небом. Так, вперед! Но, собственно, по какой дороге я иду? По той ли, по которой в июне 1999 года лупит дождь и обочь которой стоят два ряда домиков-мазанок, с огородами и телевизионными антеннами на крышах, которая введет меня в лес и поведет сквозь него, никуда и ни во что не утыкаясь — ни в синий деревянный забор, ни в летнюю киноэстраду? Или по той, которая оставляет слева контору, склад, дом какой-то странной женщины, в костер у дома которой мы как-то, шаля, набросали толи — и она подняла, закрутила облака черного дыма, покрывшего гарью соседние дома и лица случайных прохожих (вот крику-то, вот ругани-то взрослых было — нам на потеху!). Справа мы оставляем, по-моему, магазин и заросли кустарника, ползущего вниз, к оврагу.

По какой же дороге иду я? Не знаю. Наверное, сразу по обеим.

И точно: первая дорога приводит меня в лесные заросли, где — странное небольшое кладбище — десяток могил — каких-то воинов, «погибших при исполнении». Даты смерти на могилах — 50-е годы, т.е. «после нас».

А вторая дорога... Вторая — вдруг словно крылом волшебным махнула — и убрала все эти заросли и могильнички эти. А на их месте — да, тот самый голубой забор — ДК офицеров, под открытым небом. За забором — храм искусства: фильмы на белой простыне и потом — бесконечные пересказы и ра-

зыгрывание сцен из них. «Тринадцать» знали практически наизусть («Тэче помалэньку»!). Все диалоги воспроизводили — с точно теми интонациями, что в фильме. Кино — это счастье, омрачавшееся только тем, что перед ним... заставляли мыть ноги в тазу с холодной водой. Зачем их мыть, когда завтра опять босиком — по пыли и грязи, и цыпки от воды ноют, словно старые раны. Хорошо симульнуть — так, быстренько макнуть пятки в воду и скорей портянки накручивай (в кино, как и всегда, когда не босиком, — в сапогах и портянках). А если одежда — то, конечно, военная — всем чех Павлин шил. У меня для ежедневной носки — светло-зеленые галифе и гимнастерочка, с ремнем и портупеей (что ты!), ну и пилоточка — так, на бочок. А по большим дням, «на выход», — фуражка, с блестящим черным козырьком, темно-зеленый китель с золотыми пуговицами и темно-синие, суконные (из дорогого материала!) галифе. Где-то у братьев есть фотография, где я вот при таком полном параде. «О, Гришка-генерал!», — смеялся, рассматривая ее, отец...



Фильмы начинались, когда Некто гигантским реостатом гасил солнечный свет, и темный звездный потолок накрывал нашу зрительскую аудиторию.

А до этого можно было покружиться в вальсе — под духовой оркестр, которым виртуозно командовал маленький симпатичный еврейчик Лев Наумович. Он так извивался, дирижируя, такие немыслимые траектории выписывал своей палочкой, что приходили просто смотреть на него (как на Майкла Джексона — это сравнение поможет современному читателю яснее представить того необыкновенного дирижера-виртуоза). «Покружиться в вальсе» — конечно, не нам, пацанам, — «ерундой» мы не занимались. Но слушать оркестр и смотреть на танцующих было интересно.

Да, вот они — сейчас перед нами (лес раздался немного в стороны, волшебным образом уплыли клены и березы, растворился в воздухе густопереплетенный кустарник) — да, вот они, офицерики — в туго перепоясанных гимнастерках и славно надраенных сапогах (модники — в хромовых, гармошкой) вокруг приятный аромат, как я теперь понимаю, портвейна (или чего уж там они попивали из своих алюминиевых кружек?). Под звуки «Сопок Маньчжурии» они ведут по кругу своих дам — девушек крепких, одетых в крепдешины и шелка; прически — под Дину Дурбин, от них тоже крепкий приятный запах — одеколона. Если говорить кратко — тип буфетчицы, — вроде той, что изображает Вера Васильева в «Сказании о земле сибирской».

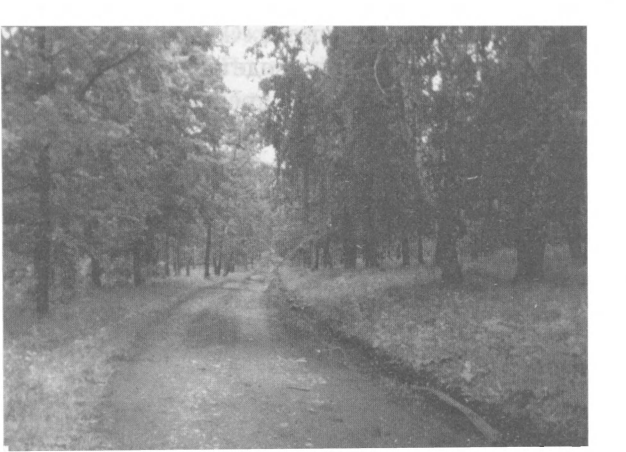
А сейчас двинемся налево. Видение пропало, мы — снова в пустынном лесу, около странного могильника. Налево: лес, лес, лес...

И снова волшебство: лес редеет, расступается — и перед нами забор из изящных железных прутьев. Это — ***дача генерала Ворожейкина. Та***инствен-

ная и значительная персона, этот генерал. Ездил — фантастика! — на легковой машине, при том, что основной тягловой силой там были лошади (среди них — военторговский мерин; ах, имя из башки вылетело, какое-то оно оригинальное было — Маркиз, что ли? — отец на нём ездил на «ревизии» в войсковые части, иногда брал меня с собой: страх — при беге под горку — вывалиться из коляски). Так, среди лошадей и изрядно забрызганных грязью полуторок — ***он***, Генерал, в легковом автомобиле. Персона таинственная — потому что редковидимая и о которой говорят почему-то шепотом. Пару раз, правда, видеть доводилось: лампасы, золотого тиснения погоны, благородно-седой (похож на старых царских генералов — Брусилова, например). Какой-то его то ли сын, то ли внук (да, видимо, внук, ибо имел фамилию Окулов) ходил в мой первый класс, но мы его почти не видели (ходил он крайне редко). Тем не менее он был круглым (даже — круглейшим!) отличником — никогда ни одной четверки, и нам его ставили в пример (почти как Павлика Морозова). Впрочем, истины для, замечу, что похвальную грамоту «за отличные успехи и примерное поведение» в 1-м классе («похвальная грамота» — золотом, и портреты Ленина и Сталина — по углам), похвальную грамоту, наряду с Окуловым, получил и аз грешный.

О даче сегодня не напоминает ничего. Никаких следов. Лес и кустарник. Напоминает, может быть, только линия опушки этого леса: там дорога, переходившая когда-то в аллею ДК (а сейчас — просто лесная дорога), а тут — длинная ровная линия леса — намекающая на когда-то стоявшую здесь стройную ограду…

Постепенно, постепенно — вникая в нынешние природные знаки, соединяя их с образами памяти, — сквозь внешнюю незнакомость современного пространства начинают проступать не просто отдельные черты прошлого, но их, связанный воедино, комплекс. К трем точкам (поначалу приблизительных, но, по мере подсоединения к ним других, всё более определенных), к трем, повторяю, точкам (военторг, ДК, дача Ворожейкина) добавляется важная четвертая — дорога, идущая параллельно воображаемому забору Ворожейкинской дачи. Она идет вниз, с небольшим наклонением, вбегает в лес, и я знаю (память уже включена!) — если пойти (а лучше и правильнее — побежать, ибо это — наиболее удобный тогда способ передвижения) — если побежать по ней, то прибежишь вскоре к нашей школе. Дорога сохранилась, но проверить, куда она приведет сегодня, уже не могу — цейтнот.



По ней ***1 сентября 1944 года я пошел в школу*** — начался долгий и не прекращающийся по сей день путь обретения знаний, или (выразимся еще возвышенней), — началось движение к Истине (впрочем, и сегодня у меня нет вразумительного ответа на знаменитый вопрос Пилата).

Похвальная грамота с портретами вождей

Мне было 6 лет. В школу тогда брали с 8-ми, редко — с 7-ми, но честолюбивый отец настоял: Гришутке пора учиться. Интеллектуально я был готов к этому шагу: уже читал и писал, более того — с 5 лет «помогал» матери проверять диктанты. Мать приносила кипы тетрадей своих учеников. Давала мне прочитать исходный текст диктанта. А затем сажала рядом с собой за стол. Я должен был «помогать», то есть читать ребячьи тексты и, при обнаружении ошибки, простым карандашом на полях ставить тоненькие галочки — если ошибка синтаксическая, и — точечки — если орфографическая. Я всерьез принимал материны объяснения, что она устает, что ей не под силу внимательно прочитывать все работы, а вот после меня — она-де только пробегает их, так как основная часть ошибок мной уже выявлена.

К работе я относился очень серьезно и проверял тщательнейшим образом — ревниво следил за тем, найдет ли мать после меня еще какие-то невыявленные ошибки. Очень переживал — до слез — если таковые находились. И уже к чтению следующей работы моя квалификация, естественно, возрастала.

Считать мог до скольких угодно. Операции сложения и вычитания, деления и умножения (с не очень крупными величинами) выполнялись молниеносно (отец постоянно устраивал математические соревнования-конкурсы — с участием матери, Леонида, моих и леонидовых друзей).

Школа — это громадное событие, это переход в новое качество — не детсадовская уже шваль! Мечтал о школе, считал денечки до 1 сентября.

Но в первый же день, вернувшись из школы домой, твердо сказал родителям: «В школу больше не пойду!». Начало великого пути в страну Истины оказалось смазанным напрочь.

Произошла просто чепуха какая-то. Пришли мы с Леонидом в это загадочное и желанное для меня место. Он подвел меня к дверям 1-го класса и пошел к себе, в 5-й, где его уже ждали друзья.

Я недоуменно потоптался перед дверью — может, кто-то позовет, кто-то подойдет и скажет, куда же мне дальше. Потом робко зашел в класс. Я увидел сцену, как две капли вода похожую на знаменитую репетицию оркестра из «Веселых ребят» — ну, ту, где все невероятно и изощренно дубасят друг друга. В классе стоял гвалт невероятный, кидались какими-то шишками, тряпками. Одни захватывали парты, другие их оттуда вышибали. А ученики — мужики настоящие, иным — по 12–13 лет (не учились в первые военные годы!)...

«Занимай место!», — услышал первую деловую команду, обращенную ко мне. За парты, рассчитанные на двоих, набивалось по трое. И я всюду оказывался четвертым. Наконец, нашел парту, где было только двое, и встал в проходе около нее. Стоял довольно долго — может, полчаса, может, час — ни учителя, ни уроков. Сплошной ор и грязные летающие тряпки... Вышел из класса, быстренько пересек школьный дворик — и на эту вот самую дорогу, что лежит сейчас передо мной, — обратно, домой.

«В школу я больше не пойду!». И не ходил… несколько дней. Потом, с насилием отца и уговорами матери, был — под родительским конвоем — вновь доставлен в школу. Там уже всё более или менее устаканилось. И началась моя «Большая жизнь».

Отец разжигал честолюбие. Надо было во всем быть первым, всё делать «блллестяще», учиться только на пятерки; четверки — позор. Я видел его счастливые глаза, когда Леонид бросал, приходя из школы: «Диктант — 5, арифметика — 5…» (по пятый класс включительно брат был круглым отличником).

Мне очень хотелось, чтобы поскорей и от моих пятерок зажигались радостью и гордостью отцовские глаза. Но… нам, черт их дери, отметок не ставят и не ставят; неделя проходит, другая — без отметок. Приходить из школы, видеть, как отчитывается «весь пятерышный» Леонид, слышать отцовское «Молодец!» и не иметь возможности хвастнуть своими успехами — нет, это было выше моих сил. Я уже просто психически не мог это вынести.

И вот, наконец, в один прекрасный (и трагический — для меня, ниже узнаете — почему) день — я прихожу из школы домой и, опережая Леонида, выкрикиваю: «У меня пятерка по письму!». И — немедленная, давно ожидаемая награда — отцовское «Молодец! Вот и мы начали!». Но надо же посмотреть, за что пятерка, увидеть воочию успех среднего сына (в начале 44-го родился Сашуха, и теперь я уже был «средний»).

— Ну, покажи, — говорит мамуля.

— Вот! — вытаскиваю тетрадку «по письму» из портфеля и раскрываю нужную страницу.

— Та-а-а-к.., — недоуменно тянет маманя. — А где же пятерка-то?

— А вот. Ты чего, не видишь что ли? — и тычу пальцем в верхний(!) уголок страницы, где корявым детским (т.е. — моим) почерком, простым карандашом, выведена маленькая-маленькая, едва видная циферка 5.

Где же мне было знать, что отметка ставится красным карандашом и не в уголке страницы, а — под текстом. Как же это из моей башчонки вылетело (за лето, наверное), где мать ставит оценки своим ученикам за диктанты!

Очередной позор! Сколько же у меня их таких было!

Через пару недель и первоклассникам начали ставить оценки — и всё встало на свои места: красные пятерки — там, где им и следует быть, радостные, честолюбивые отчеты, сияние отцовских глаз, и наконец — ***похвальная грамота с*** портретами вождей.

Вот что ты мне напомнила, дорожка, так нейтрально, так бесстрастно устремившаяся сегодня в лесок — за которым школа (только была? Или, может, и есть?). Вряд ли. Наверное, школа у жителей современных пятиэтажек отличается от той халупы (двух, рядом стоящих халуп), где мы учились, где писал я свои изначальные палочки и крючочки — на газетной бумаге (ни тетрадей, ни белых листов не было; мать резала газету на тетрадные страницы, сшивала их, потом разлиновывала — синим карандашом — в косую)…

А чуть левее дороги в школу — ***землянка***.

Туда мы въехали после санаторного домишки. Дело шло к зиме, и санаторные досточки уже не защищали от башкирских, весьма суровых холодов. Землянка эта тогда казалась мне вполне нормальным жилищем, даже с важными достоинствами: в ней не дуло, а натопят печку—и тепло, и уютно. Хотя сейчас-то я понимаю, что была она вроде горьковской ночлежки (из «На дне»): длинная, вырытая в земле и накрытая какими-то стволами деревьев и кусками толи, дыра, внутри—ни перегородок, ни комнат. Десятка три человек—жильцы!—татары, русские, башкиры—спали на нарах (в три яруса по стенам), земляные полы и земляные стены; печка—железная буржуйка—с трубой, пробивающей крышу. Нам пошли навстречу: начальство учло интеллигентский статус нашей семьи (мать—учительница, отец—бухгалтер, двое детей)—отгородили нам угол фанерой. Получилась отдельная комната—с окошком на потолке, откуда тоненькой струйкой тек мутный свет. Никаких неудобств я не чувствовал. Всё было прекрасно: отдельная комната, папа, мама, брат; в землянке и на улице—друзья, целый день на воздухе: «ножички»—не остаться последним, не тянуть зубами из земли колышек, что забивают победившие рукояткой ножа—забивают по самую макушку, а последний—еще так вдаряет этой рукояткой, что колышка и не видно—приходится подбородком (руки за спиной—словно наручниками схвачены—таковы правила!) слегка разрыхлить землю, и потом зубами тащить злополучный колышек, и долго потом отплевываться от набившегося в рот песка. Я был ловкий, ножичком владел сноровисто, и грызть землю, пробиваясь к колышку, случалось не часто. Но—случалось, не я один был такой ловкий.

Потом—лянга: подбивать ногой «пушок» (кусочек отрезанной откуда-то шкурки, с приклеенным к нему варом свинечиком). Тут важно, чтобы валенки были не новые—растоптанные, мягонькие—тогда пушок этот ложился на ногу плавненько и подлетал кверху ровненько—до двухсот-трехсот за раз набивали (вот где зарождалась будущая филигранная футбольная техника!).

Карты. Делали сами. Процесс делания увлекательней самой игры. Где-то найти картон, ровно нарезать 36 прямоугольничков, и потом—о, потом вообще фантастика. Делаешь формочку: вырезаешь сердечко—черви, ромбики—бубни, потом—крести, пики. И затем—слюнявя цветные карандаши (для придания яркости)—замазываешь формочку, наложенную на белую прямоугольную картонку. И вот уже—красные, как лесная земляника, шестерки, семерки, восьмерки бубей, червей. На других картонках—ровненькими красивыми черными колонночками появляются пики, крести... Играть такими картами, такой красотой—наслаждение.

А мастерское владение неким таинственным, непонятным для взрослых языком: после каждого слога вставляешь букву «з» с соответствующей гласной. Научаемся говорить быстро и небрежно—хохоча говоришь брату при родителях: «О*зо*ни*зи* ни*зи*че*зе*го*зо* не*зе* по*зо*ни*зи*ма*за*ю*зю*т».

А то можно заняться увлекательным, смешным и одновременно—довольно опасным—делом: завидев Разяпку (человека из разряда «юроди-

вых» — ходил — и лето, и зиму — в тюбетейке, засаленной-просаленной, из нее он ел суп — и суп не протекал сквозь! — туда ему (из милосердия) накладывали — в столовой — вареной картошки; хорошо: и головной убор у Разяпки, и посуда — одновременно)... Так вот, идет Разяпка по пространству нашей военторговской вселенной, какие-то бессвязные звуки — нараспев — бормочет. Мы — из-за укрытия — ему: «Разяпка, Разяпка! Киль манда, муклашка берям!» (что по-башкирски вроде бы означает: «Подойди сюда, я тебя налуплю!»). Разяпка останавливается, оглядывается — где его мучители? Но ты молчишь, притаился, затаил дыхание (догонит ведь, всыпет так, что долго помнить будешь). Только несчастный тронется дальше, а ты снова: «Разяпка, киль манда, муклашка берям!».

Ему бы плюнуть на нас да и идти своей дорогой. А он — мечется, ищет, прислушивается — откуда эти угрозы? Вот нам-то и весело! Но и страшновато: он иной раз угадывает направление звука и с каким-то воем бежит прямо на нас. Ну, тут уж убегать надо так, чтобы пятки сверкали (полагали: догонит — пощады не жди от этого дикого человека!).

А набегавшись за день, — пробраться к себе в землянку — и бухнуться в постель, — тут же провалившись в глубокий сон. А утром — раз-два — чего-то там перехватил «на завтрак» — и на улицу.

Нет, прекрасная, изумительная была жизнь в землянке.

Там, между прочим, где-то на рубеже 43–44 года (записано в метрике произвольно: «2 января 1944 года») родился Сашуха (ныне — Александр Григорьевич Водолазов, золотое перо издающейся в Париже — не шутите! — «Русской мысли», 60-с лишним-летний человек — с седой, не очень ухоженной бородой (в стиле Хэмингуэя), сохранивший, впрочем, повадки шантрапы 40–50-х годов — летает по-прежнему на велосипедах (старых, замызганных, с кривыми колесами и погнутыми рулями), — летает и в переносном (т.е. быстро ездит) и в прямом смысле (т.е. со всего размаха влетает — постоянно! — в лесные какие-то ямы-канавы, перелетает через руль и ломает руки, накладывая на них затем гипс, — и продолжая затем с загипсованной рукой «лётать на велике»). Детям его, по-видимому, всё это страшно нравится, и они стараются ему подражать — так же, без всяких раздумий, на сумасшедшей скорости летят по тропинкам лосиноостровского леса, — то врезаясь лбом в стволы деревьев, то влетая в щели мостиков, перекинутых через канавы с грязными ручьями, и добиваясь того же, что и отец, эффекта — поломанные ключицы, локти, запястья и т.п.. Однажды гуляющая по лесу чинная лосиноостровская публика с удивлением смотрела, как на двух велосипедах мчатся по лесу два странных человека (пожилой и молодой) — оба с загипсованными правыми руками на рулях: форма, что ли, такая у этой сумасшедшей велосипедной команды?..

«Вот у тебя теперь — младший братик», — сказали мне. Да, в нашем полутемном земляночном углу появилась какая-то маленькая кроватка (люлька?) — и в ней мирно посапывало новое человеческое существо. До самого

отъезда из Военторга в Москву (т.е. до августа 45 года) это существо занимало крайне незначительное место в моей жизни — а чего с ним делать? — ни в карты, ни в ножички, ни в лянгу поиграть... Помню пару (не больше!) эпизодов, с ним связанных.

Например, — как давали имя. Сидели все четверо (мать, отец, мы с Леонидом) — шел конкурс на лучшее имя. Леонид придумал: «Александр! Красиво и звучно!». Все повторили по нескольку раз — звучит! Так «существо» стало «Александром»... А сегодня я ни в какую (почему-то) не могу затянуть его в гости к человеку, давшему ему имя — такое красивое, такое звучное...

И другой эпизод. Трагически-комический. Старший брат (имеется в виду — самый старший, т.е. Леонид) решил как-то позабавиться с младшеньким, — и начал его подбрасывать к потолку, крутить вокруг своей шеи, мотать из стороны в сторону. И вот выполняя какой-то особенно экстравагантный трюк с живой годовалой куклой, одиннадцатилетний маэстро не удержал маленького братца, и тот с высоты его плеч точно, прямо перпендикулярно хряпнулся теменем об пол (о доски! Никаких ковров тогда, могущих смягчить удар, и в помине не было!). Маэстро, помню, тогда получил хорошую трепку (может, этот эпизод и положил начало их нынешним непростым отношениям?!). Помню, тогда (всерьез, в шутку ли?) взрослые говорили,что круглая прежде голова малыша приняла несколько продолговатую форму. И когда младший братец обучался великой русской речи, то на вопрос: «А ну покажи, где коленка?» он указательным пальчиком указывал почему-то на свое темечко — чем вызывал безудержный смех отца: «А у тебя там и правда коленка!..». И потом, в чуть более сознательном возрасте, уже ясно отличая коленку от головы, братец, видя, что это вызывает всеобщее веселье, — отвечая на вопрос о месторасположении коленки, продолжал показывать на свою голову...

Уже поскольку координаты старого Военторга более или менее для меня прояснились, я прикинул расстояние, на каком и от конторы Военторга, и от дороги, ведущей к школе, стояла Землянка, давшая миру знаменитого публициста, — и запечатлел это, расчисленное мной, место — для Истории, для самого Сашухи и для его детей: ничего, конечно, сейчас особенного — старенькие, покосившиеся заборчики нынешних огородов; но сразу за ними (если вы знаете, **что** здесь когда-то имело место) — вы увидите не просто криво и бессистемно растущие кустарники с погнутыми деревьями на заднем плане, но — как у Тарковского в «Зеркале» — вы увидите, как из темной (и потому несколько таинственной) глубины заснятой на фото чащи (вглядитесь, вглядитесь в фотографию — она же необычная, волшебная, в ней какая-то мистика, тайна!), так вот, из глубины этой чащи (подключите немного воображения!) — под какую-то начавшую звучать напряженную музыку начинают проступать и как бы наплывать на вас контуры — неясные, смутные — той Землянки, слегка поднимающей над землей свою крышу.

Сашухин Вифлеем. Так и подпишем под этой фотографией.

Золотой петушок

А между Конторой и Землянкой — там, где сейчас какая-то лужаечка с большой ямой — нечто вроде помойки или свалки для жителей близстоящих домов — располагался когда-то еще один мой Знак Памяти. Собственно, и тогда здесь тоже была довольно большая яма, и ее тоже можно было и тогда прекрасно использовать в качестве помойки. Но она служила другому, чему-то другому, но чему именно — не знаю. Она всегда была полна водой — настоящий маленький прудик, или — большая и довольно глубокая лужа. Может, держали ее в противопожарных целях, а, может, просто было лень (да и некому) засыпать — как лужу в Миргороде. А, может, ее назначением и было стать Знаком Моей Памяти, или местом свершения очередного События.

А суть и детали его состояли в следующем.

Среди немногочисленной живности, обитавшей около нашего дома-конторы (две собаки — соседский Жульбарс, наша дорогая, милая, черненькая Аза — и стайка домашних кур), среди этой живности был один субъект, люто (почему-то!) ненавидевший меня и люто (поэтому!) ненавидимый мной. Если быть более точным, то чувства к нему с моей стороны вернее будет обозначить даже не как «ненависть», а скорее — как панический страх.

Вы еще не догадались, о ком идет речь? Нет?

Так вот, речь идет об огромном (так мне тогда казалось! ибо он был ростом почти с меня!), жирном и наглом... Петухе. Это — единственное существо, которое мне дьявольски омрачало жизнь, делало иногда ее просто невыносимой.

Стоило ему заметить меня (даже вдалеке!), как он, выгнув голову и навострив клюв, гогоча и хлопая крыльями, со всех своих петушиных ног летел в мою сторону, и только моя исключительная настороженность да быстрота ног позволяли избегать с ним встречи (впрочем, вспоминается, что пару раз ему-таки удавалось напасть неожиданно и довольно чувствительно долбануть меня своим железным клювом).

Я плохо представлял себе его действительные возможности и степень исходящей от него угрозы. Но слышал (от бабки, от соседей, от кого-то еще), что есть такие сильные и бешеные петухи — один даже заклевал насмерть малого ребенка (клевал по темечку!), и это ассоциировалось с пушкинским сказочным образом — где «золотой петушок» заклевывает (тоже вспрыгнув на темечко) какого-то господина — царя, кажись («Жил-был славный царь Додон»). Вот и у нас был тут такой петух, который, чую, добирался и до моего темечка.

Домой заходить — было проблемой. Идешь и издалека высматриваешь, где мой враг? А он, словно зная о моих затруднениях, вышагивает взад-вперед перед нашей дверью: «не проскочишь!». Тут важно выбрать момент, когда он, как часовой в тюрьме, повернет в другую сторону — ко мне затылком, и в это мгновение — пулей влететь в дверь сеней!

И не пожалуешься никому: стыдно — мужик здоровый (уже почти 6 лет!), а петуха какого-то испугался, — отец засмеет!

И вот однажды... Была весна 44 года. Начало весны: сугробы сахарного белого снега превращались в светлые, чистые, сверкающие на солнце ручьи, а та Яма заполнялась талой водой — до краев, — мне там было бы с головкой.

Я — в валенках с калошами и в теплых ватных стеганых штанах (эти детали костюма будут иметь значение в последующих событиях!).

Погода — чудо! Настроение прекрасное. Ну, и расслабился я — как профессор Плейшнер в нейтральной Швейцарии. Это расслабление, как известно, стоило профессору Плейшнеру жизни и едва не стоило — мне.

Я забыл про своего врага. А он — нет!.. Внезапно, за спиной, я услышал характерный клекот и хлопанье крыльев. Клюв моего врага был уже в полуметре от моего, как я думал, темени. Я рванул от него со скоростью, наверное, превышающей мировой рекорд (ну, по крайней мере, — для юниоров). Ноги несли меня вперед, а голова оборачивалась назад — где мой враг, с его бешеными, налитыми кровью глазами и копьем клюва? Расстояние сократилось уже до нескольких сантиметров!

И ноги, с бешеной, повторяю, скоростью, вынесли меня на край той злополучной Ямы. Еще один рывок — и холодная, талая мартовская вода мягко сомкнулась над моей головой... Когда я выбрался, по склизким глиняным краям ямы, наверх — врага моего след простыл. Валенки полны водой, а вата моих толстых штанов впитала столько влаги, что я — с такой «ношей» — едва доплелся до дома.

И перед тем, как свалиться в сорокаградусную болезнь, с бредом и холодными тряпками на лбу, — я вынужден был поведать растиравшей меня чем-то мамане всю историю моих взаимоотношений с «петушком — золотым гребешком»...

Когда, через пару недель, я вновь вышел на солнышко, — моего врага нигде не было.

Я не стал допытываться, что с ним случилось...

Вот эти деревья, с широкими стволами и могучей кроной, что стоят здесь сегодня, наверняка видели ту сцену, наверняка, помнят ее. Здравствуйте же, мои дорогие, мои милые ровесники. Вы узнаёте меня? Расскажите, как вы тут жили без меня, что довелось увидеть, пережить?.. Молчат мои старые друзья, задумчиво покачивая своими зелеными головами. Нет, не помнят! Ничего!

Мой друг Мишка

А за той «исторической» Ямой — дом Севки-Фимки (они постарше, ближе по возрасту к Леониду) и моего друга — Мишки Старобинского (родители коих, как перешептывались военторговские взрослые, «пригрелись» в эти лютые военные годы к военторгу — какими-то там товароведами, счетоводами и т.п., составляя дружную и преданную Тартаковскому армию,

и всё это-де потому, что они какие-то там «евреи»; я в этом ничего не понимал, я знал просто хороших ребят, друзей-приятелей, и их симпатичных родителей — тетя Роза, дядя Миша, тетя Ева и т.д. и т.п. — без всякого отличения их от тетей Клав, Зин, Вер и т.д.). Лет 10-12 спустя, уже студентом МГУ, разыскал в Ленинграде Мишку Старобинского. Посидели у него дома, поговорили, кое-что вспомнили. Правда, вспоминал, в основном, я. Он мало что помнит. Да и вообще без трепета и волнения (как мне хотелось и как я ожидал) говорит о прошлом. Весь в заботах о настоящем. Нет. Не протянулась между нашими сердцами и душами ниточка из прошлого, — порвалась и затерялась где-то там, в тумане времени. Даже общих воспоминаний нет — он ничего не помнит!

Да как же так? Разве можно забыть, как мы с ним начинали курить? Это ж память на всю жизнь!.. Вон в том лесочке (что вокруг дачи Ворожейкина) мы (Мишке — 7, мне — 6 лет), вооружившись спичками и газетой (для самокруток!), сели под кустом и начали приобщаться к взрослой жизни. Видели, как взрослые ровненько разрывали газету на маленькие прямоугольнички, насыпали на них какой-то сухой смеси, называемой табаком, и славно так пускали дымок... Табака у нас, естественно, не было — дефицит! А зачем нам табак? Вон в лесу листьев сухих полно (была, видимо, осень 44 года). Ладонями натерли из них отличного сухого порошка, закатали его в цигарки; как положено, послюнили концы газетного прямоугольничка, заклеили — чем не «взрослая» папироса! Правда, листвяный порошок получился всё же не очень мелкий — и цигарка наша вышла довольно толстая (ну примерно с гаванскую сигару!).

Первый опыт был, естественно, поставлен на мне (более молодом и потому более простодушном). Мишка зажег спичку и подпалил вставленную мне в рот «сигару». Произошло всё совсем не так, как у взрослых — когда цигарка начинает мягко и медленно тлеть, лишь слегка поблескивая крошечными огоньками. Моя «сигара», начиненная сухими листьями, — вспыхнула, да даже не «вспыхнула», а просто полыхнула ярким красно-синим огнем. Я поспешил хватануть «дымку» — из «костра», полыхавшего у меня прямо перед носом, — и ничего не понял: ну, дым, довольно противный — горячий и кашлючий — да еще огонь, бьющий в физиономию. Выплюнул уже всю охваченную пламенем «сигару». Повторять опыт — на Мишке — не стали...

— Гришутка, что это у тебя с лицом?! — вскинулась мать за ужином.

— А что?

— Да, ты посмотри в зеркало...

Ого-го! Ресниц нет, бровей — тоже, так — маленькие, обгоревшие «пенёчки», лоб и нос — в саже...

А помнишь?.. А помнишь?.. Одно, другое, третье воспоминание — толкаюсь в Мишкину память. Он начинает потихоньку втягиваться — как бы оттаивает, «просыпается» — добавляет какие-то детали, — что-то появляется от «старого» Мишки (начинаю «узнавать», а поначалу думал: да он ли это? не

ошибся ли я адресом?). Расстались уже тепло, хорошо, сговорившись списываться, общаться. Но протянулась эта возникшая связующая ниточка только до порога мишкиного подъезда. Выйдя на вечерний ленинградский проспект, я понял — не без печали и грусти — нет, больше мы с ним не встретимся и не увидимся: что можно было вспомнить — вспомнили, а что еще сегодня нас соединит?

Вместе учиться курить? — Да вон он как мастерски затягивается сигаретами. Сопя, рисовать игральные карты? — Да вон они у него, атласные, в серванте — и малая колода — из 36-ти, и большая — из 52-х карт.

Резаться в ножички? — Где? На асфальте? Да и как-то жгучего желания не возникает этаким образом поубивать время.

Обсудить «проблему» деторождения? — Да, когда-то это было интересно: Мишка говорил какую-то «ерунду», а я запальчиво возражал, отстаивая «благородные» версии, сформированные на основе расспросов матери: «дети рождаются от природы»… Мишка презрительно, всезнающе фыркал, но я твердо и решительно стоял на своем.

Сыграть в «Морской бой», хитро расположив «корабли»?

Сесть в разные углы комнаты и перестучаться азбукой Морзе (которую мы знали настолько, что перестукивались со скоростью, близкой к скорости словесного разговора)? Или залезть на крыши своих домов и передавать флажками (тоже по морзяночному алфавиту) «срочные» и «важные» сообщения?

А, может, вновь обратиться к «самолетостроительству» — понаделать эскадрильи голубей-самолетов? «Ястребков» — с длинными, узкими хвостиками, юрких, летающих быстро и витиевато. «Бомбардировщиков» — с широкими («тяжелыми»), выгнутыми крыльями — парящих плавно, медленно и долго. «Штурмовиков», мастерски пикирующих к полу и потом, почти над самым полом, взмывающих вверх. Все — с красными звездами на крыльях, а на самых лучших — надписи: «Гастелло», «Талалихин», «Покрышкин», «Кожедуб» (это — командиры наших «эскадрилий», — лучшие из лучших). Ты пускаешь своих, — Мишка старается подбить их своими самолетами, потом роли меняются. «Подбитые» берутся в плен. Когда пленена вся эскадрилья, в бой идет гвардия, последний резерв, — «Гастелло», «Талалихин», — особо юркие и долго летающие голуби. Ими можно вернуть всё свое плененное войско. Но когда подобьют и их — горе, трагедия…

Прощай, дорогой Мишка, оставайся там, в моей памяти, — славным семилетним мальчишкой, ближе которого у меня тогда друзей не было…

«Травой ничто не скрыто» — вспоминается название одного детектива. Вот этой сегодняшней травой, что позади нынешней ямы-помойки (а когда-то «исторического» озерца), этой травой не скрыт для меня тот Севкинско-Фимкинско-Мишкинский домик. Вот он поднимается над ней — как испарение, идущее из-под земли, и, вначале — туманные, его контуры проясняются, обретая черты реальности (правда, реальности — только для меня). Я всматриваюсь в бело-извёсточные стены этого дома-мазан-

ки, в его маленькие, подслеповатые окна, сквозь которые я едва различаю (но всё же — различаю) Севку, переписывающего в тетрадь кольцовского «Пахаря», Фимку, отрезающего ломоть черного хлеба (для всей нашей молодецкой компании)... Наверное, проходящий мимо меня сегодняшний прохожий с удивлением посмотрит на седо-лысого человека, замершего — надолго — на одном месте и всматривающегося в эту ничем не примечательную траву. Чего он там высматривает, не больной ли какой?

А за домиком этим — только отсюда, где сейчас стою, не увидишь («домик» мешает, надо обойти его!) — да, вот там, справа, с той стороны, где Мишкино жилье — вот оттуда уже видно: за домиком — мастерская чеха Павлина. Самого его не помню, вроде даже никогда не видел; но запомнилась необычная какая-то национальность (чех!) и странное имя — Павлин. Спасибо тебе, дружище, чех-Павлин, что запомнился и что, оставшись в памяти, помог сблизиться с бабой Катей, найти с ней общее пространство памяти. Но не только забавным именем и странной национальностью запомнился Павлин.

Он шил шинели. Отцу пошил — из синего, тонкого, «английского» сукна. Шинель-красавица, мне казалось — как у генерала Ворожейкина. Но видно сукно и шинель нравились не только нам. Какая-то подлая крыса (они там у нас широко водились, а то и говорили про какое-то невиданное мной животное и пострашнее — про хорька, который будто бы у кого-то всех кур «передушил», и что хорёк этот и на людей нападать может; хорька побаивался — не встретиться бы на узкой дорожке), так вот, повторяю, какая-то подлая крыса (а, может, это был даже сам хорёк!) выгрызла из висящей на кухне шинели весьма значительный клок этого чудного голубого английского сукна. И Павлин мастерски вставил заплатку — ну, совсем не видно, что заплатка, как-то он там мылом швы замазывал. И отец в ней ходил по большим дням — статный, высокий, элегантный, — куда там твой генерал.

Бабушка и внучек

Ну, а если двинуться направо от ДК — дорога вниз, горочка, у подножия которой — великолепное, изумительное (так тогда казалось) здание театра из (как помнится) красивого черного полированного камня (уж не из мрамора ли?). Здание высокое (с двух-трехэтажный дом, примерно). Конечно, среди землянок, едва высовывавшихся из земли, и подслеповатых мазанок вроде нашей конторы оно выглядело зданием из будущего, словно людьми другой цивилизации (марсианами, например) построенным.

В этом здании мы с бабкой Таней были частыми участниками концертов. Шумный успех имела поэма (или просто длинный стих-диалог) «Бабушка и внучек». Бабуля (так мне хочется ее сейчас назвать — хотя так мы ее никогда не называли, а между собой — только «бабка Таня») вечно ворчала, скрипела, постоянно ругала нас — то не так, это не так, угодить ей было не-

возможно, разве что превратиться в старую бабку — вроде ее московской подруги Маши, которая, пия чашки чая и покорно поддакивая, слушала все бабкины разглагольствования, а попив чайку, поворачивала кверху дном чашку и клала на «попочку» оставшийся микроскопический кусочек сахару — до следующего раза... Мне трудно было быть Машей — уж сахара-то кусочек «до следующего раза» ни за что не оставлю. И всё же сейчас думаю о бабе Тане с теплой грустью, а если и с иронией, то отнюдь не саркастической («Стареем, тетя Маша, да, стареем!»). А вспоминая о нашем с ней выступлении, хочу назвать ее именно так: Бабуля. Так вот, Бабуля ставила меня на стул — так что становился вровень с ней ростом. И мы начинали наш стихотворно-патриотический диалог. Содержания в подробностях не помню. Помню лишь, что Бабуля ласковым голосом называла меня «внучек» (чего, как вы уже понимаете, никогда, абсолютно никогда не случалось в жизни). Спрашивала вроде того, что «куда же собрался ты, внучек?», а я в ответ звонко: «А я, бабушка, возьму саблю и ружьё и всех врагов перебью — тебя защищу!» ну и т.п.

Да, вели мы диалог звонко и искренне. А то, что совпадало «по сценарию» (объявляли ведь: выступают бабушка такая-то и ее внук такой-то), — это особенно трогало аудиторию, у женщин — слёзы на глазах. Гром аплодисментов! Хорошо нам было с бабулей... на сцене!..

Первое горе: Аза

Дорога (и горочка) остались — вот скольжу по ней, размытой ливнем, вниз — не появится ли там, внизу, что-нибудь оставшееся от того черномраморного чуда...

По этой дороге, по этой горочке возвращались мы в августе 45-го из военторга в Москву — и за нами, за машиной бежала, высунув язык, наша Аза, силясь догнать нас («милый, милый смешной дуралей, ну, куда, ну, куда ты гонишься?»). И потом, уставая всё больше и больше, стала отставать, отставать... Наконец, по-видимому, осознав безнадежность своего предприятия, остановилась, села на задние лапы и бесконечно печальными (так мне казалось) глазами навсегда провожала самых дорогих, самых близких ей людей... Я умолял родителей взять Азу с собой... И она еще долго снилась мне в Москве — будто прибегает к нашему оконцу на Гражданской, становится передними лапами на подоконник, я кидаюсь к ней, обнимаю за шею — необыкновенно счастливый...

Акамедик

А тем временем доплыл я по грязи до подножия горки: на месте «театра» — какой-то перелесок, а справа — современные холодные белоблочные пятиэтажки.

Давайте вот что сделаем. Остановимся на мгновение, слегка затуманим взор, чуть-чуть углубимся в себя и медленно-медленно поведем глазами справа налево — видите, как движением наших глаз смыты пятиэтажки, и на их месте симпатичные, уютные домики с палисадниками, — освещенные мягким летним вечерним солнцем. В одном из них живет «сепетинер», к которому мы и идем с папой и мамой (они в хорошем расположении духа — оживленно разговаривают, смеются). Я знаю, что «сепетинер» — врач, друг нашей семьи.

— А что такое «сепетинер»? — спрашиваю отца, ожидая услышать что-то вроде разъяснений о том, чем отличается врач-сепетинер от, скажем, врача-терапевта или врача-хирурга.

— Да это его фамилия, — отвечает мать. Шутит?

— Пап, это правда, что «сепетинер» — фамилия? — переспрашиваю отца. Тот хохочет:

— Нет, кличка!

А остался в памяти сей Сепетинер тем, — что в разговоре с ним была, по сути, предсказана моя судьба.

— Ну, и кем же ты будешь, когда вырастишь? — спросил как-то полный и добродушный (Пьер Безухов!) Сепетинер.

— Акамедиком! — решительно отрапортовал я — под хохот отца и других участников сцены...

Я и стал — и академиком (двух Академий), и «акамедиком» (какая может быть нормальная наука в ненормальном обществе!).

Первые муки творчества, первый позор

А если перейти дорогу от нашего домика (конторы) и потом направо вниз — через кустарник и небольшой лесочек — выйдешь на поляну, где посередине, на холмике, — здание (бывшего когда-то) летнего санатория, легкое и всё мелко-застекленное. Как только переехали сюда, в военторг (отец-пулеметчик устроился младшим бухгалтером), беспросветная голодуха наша закончилась. Нет, излишеств — никаких. Честность отца была у всех притчей во языцех (тем более на фоне вороватой военторговской братии — во главе с завхозом Исааком Осиповичем (почти Дунаевским!) Тартаковским, частенько предлагавшим отцу — с доставкой на дом — кусочек (приличный!) маслица, сальца, мясца и т.д. и т. п. — это во время войны-то!). Отец был кристаллен. (Помню эпизод — как раз с «маслицем». Пошла маманя к соседям — Тартаковским — масла ложечку взаймы взять — детям лепешки испечь. И через десяток минут — несет Исак Осипыч (лично!) большой куль масла: берите, берите, Александра Сергеевна, у меня его навалом, только что завезли. Мать и взяла. А вечером — отец: откуда масло? отнеси ннемедлленно!)

Всё — так. Но хлебушек, что ни говори, был! Уже о том, чтобы обсасывать корочки и собирать крошки, речи не было. Но всё, конечно, по минимуму-миниморуму.

Отец, чем бы ни занимался, вкладывал всю душу. Он там работал, как Том Сойер красил забор: так же, как томсойеровская братва мечтала хоть на немножко получить в руки кисть Тома, — так и мы, глядя на работу отца, думали, что не может быть ничего интересней и значимей, чем его работа. Он приходил, сияющий, домой: попросил начальник военторга его, младшего бухгалтера, составить годовой отчет (вместо старшего и главного бухгалтера!). Так он ночи сидел — и составил «бллестящий» отчет (сияет глазами!). «Да, начальник так и сказал — «бллестящий»; такого, сказал, у нас никогда не было!». И отец быстро становится старшим, а потом и главным бухгалтером. И всё делает страстно, «бллестяще».

Так вот, в том санатории, на холмике-горочке, мы ели-пили, сидя на каких-то тюках — ни столов, ни стульев. Спали на каких-то тряпках на полу. Была осень сырая и холодная, и из всех щелей дуло. А запомнилась — подаренными нам с Леонидом симпатичными маленькими блокнотиками, на обложках которых значилось: «25 лет Красной Армии. 1918–1943 гг.». Впервые в жизни — у меня! — такая замечательная книжица, — в которой можно рисовать или чего-то там писать.

Леонид, конечно, сразу начал заполнять ее своими стихами и иллюстрациями к ним. Я тоже пытался рисовать в нём стандартные танки (со звездами), самолеты (со звездами), — из которых торчат пулеметы и пушки; из их дул пунктиром обозначен путь то ли пуль, то ли бомб, которые (следите за траекторией чёрточек!) ударяют в танки и самолеты с крестами и свастикой — и те горят или падают на землю. Рисовал я старательно, но удивительно бездарно — ни одной, нигде живой чёрточки. Свою художественно-живописную бездарность я хорошо осознавал. Помню уже позже, на уроках рисования в школе хороший наш учитель, Виктор Иванович, ставил кувшин или чучело птицы — и учил, как вначале проводить линеечки, фиксирующие высоту кувшинчика, ширину его боков, размеры горлышка, как потом закруглять донышко и плавными линиями соединять концы тех размеченных линеек, как закрашивать — в одном месте темнее, в другом светлее — как бы отсвет от окна. Я всё делал по науке — как учил Виктор Иванович. Делал старательно. Но кувшин получался плоским — не сосуд для питья, а — его проекция на плоскость, — словно по кувшину асфальтовым катком проехали. А сидевший сзади меня Сережка Касперский без всяких там палочек и расчисленных пропорций просто брал карандаш и без всяких там фокусов быстро-быстро очерчивал бока вазы, донышко, легкими движениями набрасывал тени. У меня-то кувшин ровнее (ну, как же — по линеечкам выписан!), у него — не очень пропорциональный, кривоватый вроде, но — живой кувшинчик: просто бери его, наливай и пей! А учитель наш: мне — пятерку (ибо по всем правилам науки!), а Сережке — четверку (за безалаберность и легкомыслие).

Но вернемся к моему блокнотику, с которым связана одна весьма запоминающаяся история.

В 43-м я уже умел читать. Первая прочитанная мной настоящая, толстая книга была «Маугли». Так что этот пятилетний молодой человек был уже на-

читанным и интеллектуально развитым субъектом. Он мог уже совершенно осознанно наслаждаться только что написанными и выразительно прочитанными отцовскими стихами:

Люблю зимы холодное дыханье
И нежный хруст снежинок под ногой,
И позднего листа на ветке трепетанье,
И леса шумного торжественный покой.

Да, всё это именно так — и холодное дыхание военторговских зим, и хруст снежинок — чистейшего снега — под валенком, и покой окружающего их маленький поселочек зимнего леса; и всё это так мелодично, так красиво...

Он восхищался и стихами брата — про пограничника («у ног его верный пес»), — и читал это на разных «вечерах» и утренниках с б-а-а-альшим чувством, про природу... И вот однажды как-то так вдруг остро почувствовал (так, наверное, Сократа посетил его знаменитый Демон-Даймоний): отец пишет стихи, брат — пишет; после них (ну, — после их смерти; то, что «все мы помрем», он уже знал) что-то останется — вот эти стихи; и о них, об их авторах будут вспоминать. А он? Он проживет свою жизнь тихо и незаметно? Не оставив следа? Ведь он столько уже прожил (пять лет!) и еще ничего не написал! Успеет ли? (В общем — «пять лет, и еще ничего не сделано для истории!»). Нет, надо немедленно садиться за творчество и писать, писать — вот такие же толстые тетрадки, блокноты, как у Леонида. А то не успеешь, будет поздно.

И вот первые пять-шесть стихотворений легли, что называется, на бумагу и старательно переписаны в тот самый блокнотик с напоминанием о 25-летии Красной Армии. Стихи были об «утре», «вечере», «ручейке», «зиме», «весне» и т.п. Помню сейчас кусочек из стихотворения «Зимний вечер». Начиналось оно так:

Вот уж вечер наступает,
В комнате темно,
Только ветер завывает
И стучит в окно.

Такое вот напряженное начало. Но ведь все эти «завывания» — по ту сторону окна. А по эту — всё иначе:

На печи сидят ребята,
Сказки говорят.
А старушки то и дело
Стряпают, глядят...

Согласитесь, что атмосфера домашнего уюта, сердечности передана здесь довольно зримо — и теплая печь, и вечерние сказки, и — бабушки, пекущие

пирожки и ласково глядящие на внучат. Конечно, шедевр этот написан в жанре социалистического реализма: изображается не то, что есть, а то, что должно быть. Никаких этих «печек» со «сказками», никаких добрых бабушек, пекущих пирожки, не было. Был холодный «санаторный» сарай — с дырами и щелями, через которые влетал ледяной ветер, и была вечно ругающаяся бабка.

Помню явственно и муки творчества, сопровождавшие написание этого стихотворения. Отдавал, к примеру, отчет себе в том, что сказки не «говорят», а рассказывают. Но это слово не влезало в стих и не рифмовалось. Ну, и черт с ним, оставлю — «говорят», смысл понятен (между прочим, в соответствии с указанным принципом я и этот отчет пишу! — верность своему творческому методу пронес через всю жизнь!).

Вместо «старушки то и дело стряпают, глядят» первоначально было (это я для будущих Ираклиев Андронниковых рассказываю!) «слушают, глядят». Но первоначальная редакция показалась мне бедноватой по содержанию: ну, что же они, старушки-то, «сидят» и ничего не делают, только слушают ребячьи сказки и... «глядят». Нет, лучше — «стряпают». Тут как-то больше тепла и уюта, да и перспектива тепленьких, пышненьких пирожков добавляет настроения. Да, лучше — «стряпают»! Смущало, правда, — «то и дело». Как можно «то и дело» стряпать? (Или — как в первоначальном варианте — «то и дело» «слушать»?). Мне хотелось как-то сказать, что они, «старушки»-то эти, занимаются своим, очень обещающим (для ребят) делом — печением пирожков, а по временам («то и дело») взглядывают на ребят, прислушиваясь к их занятным разговорам. Ну, это-то я всё передал, желаемое настроение в стихе создается. Но слова (понимал!) были нескладные, топорщились! Однако лучшие варианты не отыскивались, — и оставил всё как есть...

Вот теперь, когда первый десяток стихов лег на бумагу, жить стало психологически спокойней — теперь можно и в «чижика» поиграть, и в «ножички» (главное-то Дело начало делаться!). Смущал, правда, художественный уровень написанных произведений (их ясно понимаемая словесная нескладность). Да видимо поэтому и у слушателей (родственников) они (в отличие от Леонидовых творений) особых эмоций не вызывали. Надо создать что-нибудь более совершенное! Но, увы, оно никак не создавалось.

И тогда — берется какая-то школьная хрестоматия по литературе — и оттуда, целиком, списывается стихотворение (как вспоминается, что-то из Есенина — то ли «Черемуха», то ли «Белая береза»; ого, отличил-таки гения от макулатурщиков!). Так вот, переписываю аккуратненько стихотворение в свой блокнотик — под своей фамилией, разумеется. И вечером читаю собравшимся родственникам (матери и Леониду). Мамуля, как всегда, слушает в пол-уха (у нее там своих всяких проблем по горло!).

— Молодец! — как обычно, говорит она.

— Чего — «молодец»?! — вступает «прямой» и «честный» Леонид. — Да он всё это из книжки списал.

— Нет! Нет! — кричу. — Это я, я сам написал!

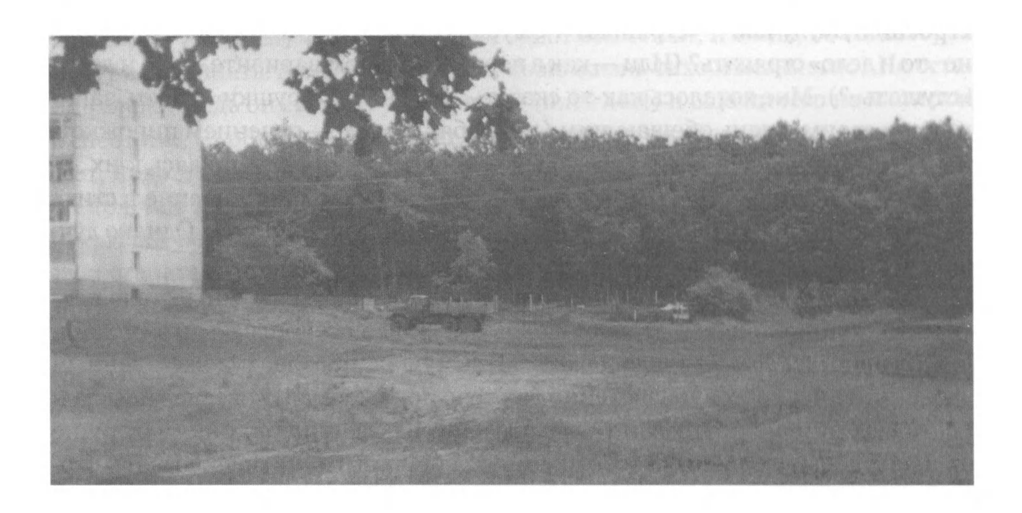
А Леонид уже несет злополучную хрестоматию... О, позор!

— Дурак! Дурак! Дурак! — в истерике кричу я ему. — Дурак!..

На этом мое стихотворное творчество было прервано — раз и навсегда, на всю жизнь. Великий поэт не состоялся. «Пришлось переквалифицироваться в управдомы»...

Конец света. Нашего света

Дорожка, бегущая от военторговской конторы вниз, меж кустарников и деревьев, сохранилась. И, как прежде, выводит она на широкую поляну, с холмиком посередине. Но на месте «нашего» летнего санатория — на холмике сём —могучая стройка: растет длинный многоэтажный дом, натужно хрипят грузовики и самосвалы — с цементом, кирпичом, досками; переругивается шоферня, рабочие на строительных лесах. Индустриальное общество стуками, громами, запахом бензина и выхлопных газов заполняет собой тот почти нетронутый, почти первобытный мир, который окружал нас



здесь полсотни лет тому назад. Я успел застать его последние судороги. Через пяток лет сюда и приезжать незачем — новый мир полностью займет место той, «нашей», Вселенной.

Это и есть «конец Света» — нашего Света.

Не на Брайтон ли Бич?

...А природа, меж тем, продолжает испытание меня на прочность: косым, упругим дождем (то слегка смолкающим, то оборачивающимся страшенным громо-молниевым ливнем) студит, охолаживает мой энту-

зиазм. Какое уж тут романтическое «путешествие в Детство»! Правит всепоглощающий реализм сегодняшнего, сиюминутного стихийного бедствия — спасайся, кто может! Кроссовки полны воды, одежда — до нижнего белья — набухла — далеко не живительной — влагой. Одна радость: фотоаппарат, с драгоценной пленкой, — основательно закатан в полиэтиленовый пакет, — значит, кусочки нашей Вселенной, запечатленные на фотопленке, будут сохранены, проявлены и отпечатаны, — и, значит, миру нашего детства обеспечено ***бессмертие***...

На базарчике — между автобусной остановкой «Алкино-2» и высокими, мощными, железными воротами современной воинской части — как в Греции, «есть всё». Тут, укрывшись от дождя под базарными навесами, подкрепляюсь какой-то башкирской разновидностью кефира, кусочком переброшенной сюда из Дании колбасы и, запасшись на будущее американской бутылочкой Пепси (где я, господа, уж не на Брайтон ли Бич?), начинаю менять свою экипировку: покупаю сухие (ну, естественно, сухие — мокрых не продают!) носки, два маленьких полиэтиленовых пакетика (надену их поверх сухих носков — и никакая жижа промокших кроссовок мне уже не страшна). Вот у этих двух русско-башкирских красоток куплю футболочку — ах, чудо-то какое: в Москве таких нет (футболок, разумеется, а не «красоток») — белоголубая — Basketball (вроде даже — «Чикаго Буллс» — подарок от великого Майкла Джордана!), и всего — что-то за 15–20 рублей. Блеск!

Вот бы еще плащ-дождевичок (в который раз кляну себя за челябинскую беспечность!) — тогда бы «нам не страшны ни льды, ни облака». Нет, всё ж таки тут не «как в Греции» — дождевиков нет!

— Роза! А у тебя ж дома партия дождевиков вроде есть. Сбегай, а молодой человек подождет. Подождете? — обращается напарница Розы к «молодому человеку», т.е. ко мне. (Прониклись сочувствием базарные красотки — побалагурил я с ними, поплакался, пожаловался на судьбу, испытывающую меня ливнем!). И минут через 15 — пока я нацеплял на себя одежные обновки — Роза протянула мне — мечтаемый, вожделенный дождевик — именно то, что мне нужно, что я так безрезультатно искал в Челябе — тонкий, прозрачно-зеленый, с капюшоном!!!

Надел дождевик, заправил его в штаны (дабы защититься от мокрющих штанин), вышел из-под навеса и двинулся к остановке. «Теперь, — крикнул я мысленно отцу небесному, — я тебя не боюсь, лей, сколько хочешь!». «Отец небесный» бросил еще несколько пригоршней дождевых капель, быстренько разогнал облака и выкатил на синие просторы солнце. Оно ярко и весело светило мне всю оставшуюся часть дня. Ну и шуточки у тебя, Всевышний!

Осталось только сфотографироваться — на память — в этом, сразу ставшем нелепым дождевике, заправленном в мокрые спортивные брюки. Желающие могут увидеть эту забавную картинку — взглянув на фото, где я, щурясь от яркого солнца, стою, упакованный в дождевик, у автобусной остановки, показывая на табличку ждущего отправления автобуса — «Алкино-2» и — на аналогичное название автобусной станции, —фотографии, с большой



готовностью сделанные скучавшим на этой остановке маленьким (10–11-летним) мальчиком…

Фото — есть, но отправления автобуса — нет: у водителя обеденный перерыв — на часполтора. Рекомендация Всевышнего понята: еще раз вернуться на родное пепелище и подстраховаться — еще раз стрельнув фотоаппаратом. Повинуюсь — с удовольствием.

И теперь эти «дополнительные» фото перед вами. Вон фотография белой мазанки (вернее — двух белых мазанок, похожих как две капли воды, как близнецы). Это наш военторговский дом: первые два окна — наша квартира (кухня + комната), другие два — контора, где в правом (как войдешь) углу за столиком сидел отец — счеты, кипы бумаг. Отец — в гимнастерке, курит, грызет ногти и сосредоточенно что-то пишет мелко-бисерным почерком. Какая из этих двух фотомазанок наша — сказать не берусь, их нынешние хозяева приписывают каждый себе честь обладания бывшей конторой военторга. Но то, что каждая из этих хат — точное воспроизведение того, «исторического», дома, — ручается и моя, еще довольно ясная, память, и свидетельство Леонида, получившего в дар все фотоматериалы: «Да, это наша контора!»…

А как жить-то теперь — без войны?

Прошу, господа, обратить ваше внимание на первое оконце слева. Оно для меня — действительно историческое. В одно из майских утр, точнее в то время, когда ночь начинает переходить в рассвет (т.е. часа в 4), — именно в это окно кто-то забарабанил снаружи. Разлепив глаза, я увидел приплюснутое к стеклу лицо Наила (симпатичного татарского мальчишки, нашего с Леонидом дружка — чуть старше меня, чуть моложе Леонида).

— Победа! Победа! — колотил он в окно. — Война кончилась!!!



А на улицу — в предрассветных сумерках, уже высыпала вся военторговская публика. Всеобщее возбуждение, крики, объятья…

Но подождите, подождите, а как же жить-то теперь — без войны-то? Во имя чего? Всё как-то сразу обессмыслилось.

И что же — теперь снимать со стены карту, на которой флажками обозначалась движущаяся к Берлину, извивающаяся от Балтийского до Черного моря, линия фронта?

И что же — теперь уже не услышишь по вечернему радио звеняще-торжественный голос Левитана: «Наши героические войска, прорвав оборону противника, освободили города Курск, Харьков, Киев и вышли на государственную границу Советского Союза… В ознаменование… приказываю произвести салют в столице нашей Родины Москве двадцатью артиллерийскими залпами из пятисот орудий… Верховный Главнокомандующий Иосиф (пауза, в течение которой как бы накапливается некая мощная энергия, и вдруг — с силой — выбрасывается из радиотарелки — как разряд молнии, как удар грома, как сверкание клинка, как разрыв бомбы) — С-с-с-талин!!». И сразу следом, по радио — б-бах, б-бах, б-бах (считаем — точно: 20 залпов). Ур-ра! И этому тоже конец?.. А сводкам о победах 1-го Украинского (знали: там — маршал Конев), 3-го Украинского (маршал Толбухин), 4-го Украинского (Малиновский), а тем более о победах наших любимых фронтов — 3-го Белорусского (по-левитановски, в конце приказа: командующий фронтом генерал армии Черняховский. Молодой, наш любимец! И вот горе: убит. Скорбим о молодом генерале), 2-го Белорусского (по-левитановски: «…маршал Рокоссовский и начальник штаба генерал-лейтенант Боголюбов»), 1-го Белорусского («…маршал Жуков и начальник штаба генерал-полковник Малинин») — до сих пор все фамилии на слуху. Что, и этому торжественному, ликующему звону левитановских колоколов — тоже конец?

И уже не будем мы с братом ревниво следить за тем, чей фронт первым ворвется в Берлин — его (1-й Белорусский — с Жуковым), или мой, возглавляемый красавцем-маршалом Константином Константиновичем Рокоссовским (ах, как заразительно прекрасно раскатывается эта буква «Р»: Р-р-р-рокоссовский!)? Страдал, узнав, что «Лёнькин» Жуков брал Берлин, а «мой» — Рокоссовский — где-то топтался неподалеку… Где было знать тогда, что так распорядился усатый кремлевский Хозяин!

И не будем мы больше собирать носки и варежки для красноармейцев?

И не услышим больше дробной поступи проходящих мимо окон отправляющихся на фронт батальонов — с их возвышенно-прекрасными, с их грозными песнями:

Среди лесо-о-о-в дремучих
(и стройная дробь сапогов: трам-трам-трам)
Среди родны-ы-ы-х полян
Живет страна-а-а могучих
Отважных партизан *(трам-трам-трам)*

Суровый голос раздается (трам-трам-трам)
Кляне-е-мся зе-е-млякам,
Покуда се-е-е-рдце бьется (трам-трам-трам)
Пощады нет врагам!

И Колька Болосов (соученик Леонида) не будет больше «сыном полка» и не будет приходить к нам — в стянутой ремнями-портупеями гимнастерке и зеркально начищенных гуталином сапогах — и переписывать в Лёнькину тетрадь свои любимые военные песни:

Что ты смотришь угрюмо, товарищ,
Бородою седой ты оброс,
И в борьбе, средь боёв и пожарищ,
На себя посмотреть не пришлось?

И уйдут в прошлое такие просто потрясающие фильмы, как «Секретарь райкома» (с очаровательной Ладыниной и Ваниным), «Радуга» с Марецкой, «Два бойца» с Бернесом и Андреевым, «Актриса» с Бабочкиным и Сергеевой, «Зоя Космодемьянская», «Она защищает Родину»?.. О чем же тогда в кино рассказывать — как люди «мирно» в магазин ходят и хлеб жуют?

Я вообще не представляю — как это люди до войны жили (чем они занимались-то?) и как они теперь будут жить — после нее. Да, жизнь утрачивает свой смысл, свой стержень, свою энергию, напряжение. Становится пустой…

Такие вот мысли-ощущения примешивались к чувству послепобедной радости… Но постепенно, потихоньку-полегоньку начали появляться в течении жизни какие-то отдельные смыслообразующие островки; оказалось, что и без войны жить можно, оказалось, что и в мирное время можно найти кое-какие увлекательные занятия…

Время, назад! Именно так: из Военторговских 45–43-х годов — в Алкинские 43–42-й годы и Михайловский — 41-й. Такую временную последовательность путешествия диктуют мне обстоятельства моего визита…

Не успел. Про горку-то ту, про ту историю не успел написать. За окном — уже подмосковье. Пригородные современные станции. А вот уже и окраинные московские дома, асфальтовые реки, троллейбусы, рекламные щиты над пространством улиц и на крышах зданий.

Всё. Детство проехали. Въезжаем в современность. Словно просыпаюсь. Заоконный городской пейзаж не будит воображение. В Театре Воспоминаний опускается занавес…

— Уважаемые пассажиры, наш поезд прибывает в столицу нашей Родины — Москву…

А про «горочку» — где-то у меня в тетрадочке записано коротенько — для внучки (перед сном: «Дедуля, расскажи что-нибудь о своем детстве!»). Там —

протокольно и немного отстраненно, не в стиле «Земляничной поляны». Но дописывать, впоследствии, сохраняя тот, «земляничный», стиль не стал. Время прошло, да и кураж как-то пропал.

Приведу — для завершенности воспоминаний — этот кусочек (написанный тоже в поезде — для скоротания времени).

Бегство из Москвы (осень 41-го года)

13.10.03.
поезд Москва-Екатеринбург

Грузовичок — у крыльца Короленковского подъезда. Суета, толкотня. Вещи, заполнившие кузов. Среди вещей — мы. Куда-то отправляемся. Надолго, далеко.

Откуда-то чапает дед.

— Мама! Вон — дедушка. Дедушка, иди сюда, скорей…

Но дед остается, с нами не едет.

Мамуля, бабка Таня, Ленька и я.

Площадь при вокзале (сейчас понимаю — у Казанского). Народу, машин (грузовиков с вещами — подобных нашему) — море. Суета, толкотня, крик, гам — как тут люди разбираются, кому куда. Мое дело маленькое, от меня ничего не зависит: сиди, зажатый вещами в кузове, и жди — куда поведут, куда понесут.

Поезд, вагон-теплушка. Помню смутно. Едем, едем, едем… Иногда стоим, в степи, подолгу.

Чишмы, под Уфой. Сидим на полу, в грязном вокзальном зале, среди нехитрого нашего скарба.

Мать ушла (выяснять, есть ли тут работа и жилье).

В деревне Михайловка

Крестьянская изба. Мамуля — учительницей, Леонид — во 2-м классе. Я остаюсь дома, один. Страшновато. Вспоминается Нильс (из сказки про путешествие с дикими гусями). В книге — рисунок: Нильс за столом, а из-за края стола выглядывает какое-то странное существо (гном!). Вот и здесь: маленькое подслеповатое окно, полутьма комнаты, большой серый стол. Не хочу, чтобы на стол впрыгнул какой-нибудь гном.

Семечки. Очень вкусно. Жую с кожурой. Кожура мешает наслаждаться. Учат шелушить. Не могу научиться. Да ладно, и с кожурой — хорошо.

Тюря. Тоже большое удовольствие. В миску с молоком — куски черного хлеба. Вначале вычерпывается молоко, а потом — к пропитанным молоком,

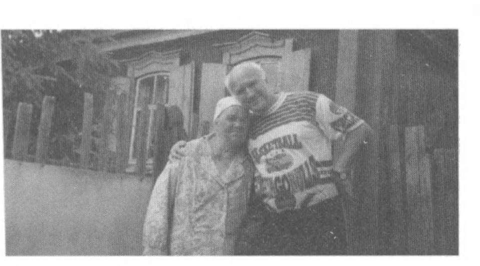
набухшим хлебным мякишам. Замечательно! (Надо бы сейчас попробовать — наверное, вкусно!).

Картошка. Холодная, вареная. Порезанная ломтиками, политая постным маслом и посыпанная солью. Непередаваемо!

Кусок черного хлеба, поверху — соль и подсолнечное масло. Восторг!

От одиночества и тоски — почапал через всю деревню — к Леньке в школу. Нашел класс. Пустили. Стоял Филиппком около Ленькиной парты и с интересом смотрел, как он пишет мелком на черненькой (грифельной) доске — бумаги, чернил, ручек, по-видимому, не было. А мелом на маленькой грифельной дощечке (у каждого!) удобно: написал, стер, пиши по-новой.

Тот ли я дом нашел (когда несколько лет назад посетил Михайловку), тех ли людей? «Тетка Марья», помню — тогда молодая, наверное, лет 19–20; значит, сейчас — лет 75. Совпадает: и дом вроде этот, и тетка Марья 75-летняя вышла. И вроде вспомнила нас: бабку Таню помнит, мать. Но полной уверенности у меня все равно нет. Пошел по деревне, к «Школе» — ее нет. «Вон там была», — две старые тетки. Разговорился. Вроде бы помнят мать: «Ну, как же, учительница, с темными волосами, Каплунова, с такой короткой стрижкой…»



Ничего себе Шуточка!..

Потом — Алкино, где на той вон горочке чуть не укокошили санями. Помню: снег, белый-белый. Помню: солнце, слепящее. Множество детворы. Горка высокая, крутая. Летящие вниз, к железной дороге: маленькие саночки — дети, и большущие сани — для больших ребят, парней и девок. Сядут — кучей-малой — в такие сани-розвальни и несутся с горы — со свистом, весельем и хохотом.

Я ползу снизу со своими саночками наверх — для очередного спуска. Зачем-то почапал поперек горки (наверное, туда, где не так круто взбираться). И тут-то оно и случилось. Да, что-то припоминаю: летящее на меня чудовище. Потом — провал. И вот мы с мамой на дровнях — в Уфу, в больницу. Мороз крепок, трещит («и у Наденьки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым инеем кудри на висках и пушок над верхней губой» — это, понятно, Чехов, «Шуточка»; наверное, там, у Антона Палыча, была вот такая же горочка, как у нас, и я, каждый раз, перечитывая его гениальный рассказец, представляю именно нашу, алкинскую, горочку, на вершине которой стоят Наденька и ее молодой человек: сейчас они сядут в санки — вроде наших, больших, и полетят вниз — и будут скрипеть полозья, вихриться снежинки, и в свисте ветра — загадочно и непонятно откуда: «Я люблю вас, Наденька!»…). Так вот, мороз крепок, трещит. Белые снежные просторы, солнце, синющее небо. Семенит лошадка. Мама держит меня на вытянутых ру-

ках (так меньше трясет меня на ухабах, и меньше боль от сломанной ноги. Над головой (я — на спине) — бесконечно тянущиеся провода.

Больница — гипс: вся нога, и вокруг живота — широкий гипсовый пояс. Ни шевельнуться, ни вздохнуть толком. Гипс — противный и очень жесткий.

Возвращаемся в Алкино. У нас — одна комната. Маленькая, два подслеповатых окна. Я — днями и неделями на спине. Раскрашиваю цветными карандашами толстый «Революционный календарь». Там — лица знаменитых людей. Помню портретик Берии: гимнастерку его — в зеленый, портупею на ней — в коричневый, щеки — оранжевым, губы — ярко-красным. Симпатичный получился человечек — в поблескивающих очках. «Штурм Зимнего» — знаменитая арка, матросы, карабкающиеся на высокие чугунные ворота, — раскрашиваю в сине-красные цвета. Потом какие-то танки, самолеты. Целыми днями — с этим календарем.

Иногда выносят на улицу — пахнет зимней свежестью. Мама, в синем пальто, с Ленькой пилят дрова. Хорошо, радостно поет пила — вжик, вжик. И я не один. Мама поет: «Над полями, да над чистыми...». Слова, мелодия совпадают с обстановкой: тоже — «снежок в лицо», и «поле ровное блестит» «серебряными искрами». Весной (ибо — уже солнце теплое и шумят ручьи) снимали гипс: освобождение из заточения. Какая-то местная врачиха ножницами резала: поддавалось трудно (как камень!) — размачивала, подсовывала под гипс свои пальчики, защищая от ножниц мои ноги. Долго мучилась, разрезая.

Уф, наконец-то! Развалился надвое мой белокаменный сапог. Свобода!

Но — гнойные раны. Особенно глубокие — на позвоночнике. Еще бы немного — и без ног остался бы. Обошлось.

Но одна нога — короче другой (не росла в гипсе!), может, поэтому так ловко финтил в футболе (как Гарринча!). Впрочем, потом ноги вроде бы сравнялись.

Вышел, наконец, на улицу: красота — свобода и солнышко. Но отвык ходить, да и ноги несоразмерны. Упал — и сломал руку (видно, за тяжелую зиму кости хрупкими стали). И уже в гипсе — рука. Но по сравнению с прежним гипсовым панцирем — это ерунда.

Дальнейшее я уже описал — в «Земляничной поляне».

1945–1950

Заика

У заик в детстве судьба незавидная. Простодушная и беспощадная ребятня так и впивается в недостатки, ущербинки своих товарищей. Если у тебя поранен глаз (ну, разряжал найденный в лесу патрон — и рванул он тебе по глазу) — значит, быть тебе прозванным «кривым», «косым», «одноглазым». «Эй, кривой, пошли в футбол играть!». И «кривой» в общем-то принимает это как должное: что же тут поделаешь, он и в самом деле «кри-

вой». «Иду!» — весело откликается он, и, в свою очередь, кличет «Жиртреста» — Вовку Журавлева, у того, вишь, комплекция подгуляла…

Особенно тяжело заикам — «эй, заика, оставляй хлебца пошамать!..». Заика — сродни вроде как «убогому», неполноценному: говорит — рожи корчит, губы перекашивает, глаза закатывает, мычит, — стараясь выдавить из себя очередной слог, договорить слово до конца. Говорить с ним — мука мученическая. А уж ответ на уроке — всем мучение. Правда, хитроватая юная братия заик частенько с выгодой эксплуатировала свой недостаток: не выучит урок, выходит к доске — и начинает так заикаться, так мычать, так закатываться-запутываться в слогах, что учитель не выдерживает: «Ладно, садись, потом письменно ответишь». И ребята похохатывают — знают: валяет дурака Ванька-Витька-Вовка, дурит учителя (и, может быть, в эти редкие моменты даже завидуют ему: эх, у них-то нет этого орудия уклонения от ответа — получай свою законную пару!).

Но в остальном заики — народ терроризируемый и беспощадно забиваемый сверстниками. Да и то сказать, трудно быть гордым, независимым, этаким Печориным, если у тебя всё время рот перекошен в бессильных попытках выговорить слово. Заик как бы «опускают» (лагерный термин!) в низшие, презренные слои, и большинство заик мирятся с этой своей ролью — и вырастают людьми с покалеченной психикой, ущербными, забитыми. Они, как правило, не общительны, не участвуют в общих детских забавах, спортивных сражениях и т.п.

Чтобы заике выстоять в этом ребячьем обществе, нужно закалить волю, характер, да и физическую силенку нарастить (дабы иметь чем ответить на агрессию со стороны)…

Когда я попадал в новый коллектив (например, во 2-й класс 374-й школы, куда пошел после возвращения из эвакуации в Москву), то, едва услышав мои речевые затруднения, сразу же, на первой перемене: «Эй, заика, передай ластик!», «Эй, заика, а ну, посторонись!». Откликнись один раз: передай ластик, посторонись — и всё, ты пропал, ты принял это отношение к тебе, ты согласился на «опущение».

Моя реакция: никакой реакции, это не ко мне, этого я не слышу — ни ластика тебе, ни посторонения. Ухом слышу, но ухом не веду, глазом не поведу, только внутренне (незаметно для обращающегося) собираюсь в жесткий комок, в снаряд, гранату, пулю. Иной сразу кумекает: этого обращения я не принимаю. Меняет тон: «Грих, дай ластик!». А, это ко мне, это я принимаю: «На!..» Другой не врубается в ситуацию. «Слышь, заика, говорю тебе — посторонись!», — и толкает в спину. Ну, тут бомба взрывается с силой, яростью и энергией, совершенно неожиданной для окружающих. Больше он меня, меньше, сильнее-слабее — это роли не играет. Бешеный, яростный комок начинает осыпать его градом ударов — в нос, глаз, грудь, живот. Как правило, с его стороны — никакого сопротивления: «Да ты чё? Чего ты? Бешеный!» — и ретируется (он, наверное, и не думал, что нехорошо поступает: подумаешь — заику назвал «заикой»!).

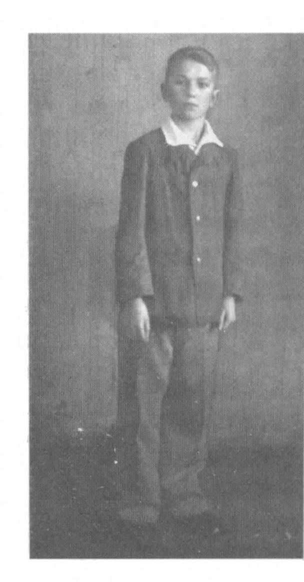
Класс смотрит — вначале в недоумении (от степени продемонстрированной ярости), потом — с чувством некоторого восхищения («Вот это да! Не побоялся такому верзиле врезать!»). Кто-то пытается уже подластиться или просто похвалить. Нет, я не принимаю ни похвал, ни поздравлений. Ярость уступает место полному и молчаливому хладнокровию — как будто ничего не произошло, как будто ничего этого не было — ни «заики», ни ярости. Сажусь за парту, молча раскрываю тетради или выхожу на перемену, позвав своего друга: «Витька, пойдем в фантики поиграем...».

Я как бы предупредил всех: вот так я буду строить с вами свои отношения.

И к тому, первому, «обзывале», не испытываю ни чувства вражды, ни чувства ненависти. Подойдет, обратится через некоторое время нормально — нормально и отвечу, как будто между нами ничего и не было. Он понял, я понял, мы — «договорились» и оставляем всё в прошлом.

А потом, вскоре, выясняется, что и в спорте я далеко не последний, и в «расшибалке», и в «чеканке» — мастеровит, и в учебе — круглопятерочник; а молниеносно решаемые мной задачки всех вариантов контрольных работ моментально разлетаются в моих записочках по всему классу, и я не в стороне, а нередко — во главе неисчислимых коллективных шалостей. И о том, что я — «заика», никто уже и не вспоминает. Я даже думаю, спроси их: «А что, Гришка — заика?», они удивятся: «Да, ты что!».

Но должен сказать, что я и в речи не был похож на обычного заику: я не мычал, не тянул нараспев слога, не кривил рот и не закатывал глаза. Я знал, где, когда и как я спотыкаюсь. Подходя к трудному месту, я сосредотачивался, напрягался (но не внешне, а внутренне) — и либо брал словесным разгоном (как велосипедист, взлетающий на вершину горы), либо останавливался и спокойно ждал, когда какие-то там внутренние сцепления сработают и я смогу произнести слово, или успевал заменить трудное для меня слово — другим, более легким для произношения. Синонимические ряды у меня были поэтому богатейшие. Недавно совсем (где-то в 2000-м году) Юра Буртин заметил, слушая чтение одной моей статьи по телефону: «Слушай, зачем у тебя так много синонимов, разных названий одного и того же? Сокращай!». Это вот оттуда, наверное, Юра, — из моего заиканного детства.



Правда, когда расслабляюсь немного и утрачиваю жесткий контроль над речью, — заиканские манеры тут же о себе дают знать. Лариса вспоминает, что когда я пришел к ним (Викторовка, Кустанайской обл., сентябрь 1950 года) в 7-й класс, то вначале (да и потом тоже) они не поняли, что я заикаюсь. Мне бы это заикание было бы вдвойне огорчительно — ведь впервые — после раздельного московского обучения — я попал в класс с девчонками. Да не с девчонками даже, а почти с девушками: Ларисе было 13, Лиде Близниченко — 15, Маше Киктенко (перечисляю классных красавиц) — 14. Я же — Печорин перед княжнами Мэри. А можно ли представить себе Григория Александровича, кото-

рый бы, вместо лаконичных и язвительных афористических реплик, корчил бы перед Мэри гримасы, силясь выговорить какое-то слово. Где уж тут до блеска ума и сверкания остроумия!

Так вот, на вопрос педагога, впервые увидевшего меня: «Мальчик, как тебя зовут?», я почему-то ответил так: «Г...ригорий Г...ригорьевич Водолазов» (Григорию Григорьевичу было 12 лет!). Между «Г» и «р» я слегка споткнулся.

Для меня самые трудные сочетания — т-р («труд»), г-р («грусть»), с-р («среди»), д-р («другой»). Наитруднейшее (до сих пор) — т-р («труд», «Троцкий», «трагедия» и т.п.). Так что даже учась в Университете, я утыкался в эти проклятые «т-р». В особенности — на чертовой политэкономии, где постоянно надо было произносить «труд»: *труд* абстрактный и конкретный, *труд* и капитал, наемный *труд, трудовая* теория стоимости. Из-за этого «труда» не любил выступать на семинаре: ну, встретился бы этот «труд» один-два раза, уж как-нибудь взял бы его приступом, а то — через каждое слово. Понимая, что не вытяну такого, улыбаясь (словно шутя, дабы чересчур не драматизировать ситуацию), обращаюсь к Владимиру Францевичу Станису (преподававшему политэкономию): «Вы не будете против, если я вместо слова «труд» буду употреблять «работа»?». Тот удивлен, думает, что дурачусь, отшучивается в ответ: «Вас что, марксистская терминология не устраивает?».

Так вот — возвращаясь к казахстанской школе: поспоткнувшись слегка на Г...ригории Г...ригорьевиче (что вызвало улыбки у ребят — подумали, что немного дурачусь), потом, вызванный к доске доказывать теорему, споткнулся на «перпендикуляре». Почему-то звуки вокруг «р» представляют сложность. И вот без обычной своей собранности и осторожности, полагая, что проскочу без проблем, наткнулся на этот «перп...» и уже начал: «Пе...е...е...». Не начинать бы! А чуть — помолчать, подождав, пока там, в голове, что-то сомкнется, и лишь потом выпалить. А я не подождал, решил поднажать, проскочить трудное место на усилении звука, и — не вышло. Почти запел: «Пе-...е...е...ерпендикуляр...». Класс грохнул от хохота (полагая, что я продолжаю дурачиться). Ну, и я сделал вид, что схохмил — чем вызвал неудовольствие учителя. («Не видимые миру слезы» заикана!).

А теперь вернусь еще дальше — к сентябрю 45 года, к 374-й московской школе. Говорить, отвечать уроки — это было мучение, адское напряжение: и ответить всё, и не показать миру своих проблем с речью.

Мать повела в поликлинику («им. Нансена»), что напротив школы. И была там врачишка, и дала потрясающий (как я теперь понимаю) совет (и передаю его вам, все заиканы России!) — это же просто открытие, патентовать надо! Совет — из двух рекомендаций. Первая: мальчику надо постоянно (где только возможно!) **петь!** (В пении люди не заикаются, приучаются плавно соединять буквы, совершенствуя звуковые и физиологическо-психологические связи между ними). И — вторая: садиться около радио и, прислонив одно ухо к нему, повторять всё, что говорит диктор.

Надо ли говорить, что при моем желании избавиться от этого проклятого заикания, при моем — когда надо! — исключительном, невероятном (не хва-

стаюсь, проверено временем!) упорстве я принялся за реализацию этих рекомендаций. Я **пел** всё время (когда не на уроках, не играю в футбол и не жую макароны). Иду в школу—пою всю дорогу, из школы—пою; стою в очереди в магазине—потихоньку напеваю. Соседи—матери: «Шур, чего это у тебя Гриша всё время поет?»—не ненормальный ли, дескать?

Кстати, и слух свой потихоньку развил (тут я крепко отставал от братьев с их абсолютными «слухами»). Но вот постепенно довел его до более или менее приемлемого уровня. И петь, интонировать подучился (слушая Козловского, Шаляпина, Карузо, Лемешева). Так что, когда в 1950-м приехали к отцу в Казахстан (место его очередной ссылки), то, бывало, по просьбе отца, устраивал для него многочасовые концерты: русские романсы, арии Дубровского, Ленского, князя (из «Русалки»). Из последней отец особенно любил кусочек, начинающийся словами: «Мне всё здесь на память приводит былое—и юности красной привольные дни»—видно, вспоминал дни своей «красной юности». «Дубровского» слушал со слезами на глазах, особенно, когда после вступительного речитатива начиналось: «О, дай мне забвенье, родная...»). Бисировал я ему балладу герцога—из «Риголетто», именно—балладу, а не знаменитую «песенку»; он постоянно повторял оттуда строчку: «где нет свободы, быть не может любви». (Много лет спустя вспоминал, что когда в марте 53-го «подох змей-горыныч», он вышел в казахстанскую степь и во весь голос раскатил эту балладу,—в надежде, что придет теперь и свобода, и с нею любовь!). Обожал отец (откуда только он их знал—мальчик из дооктябрьской Саратовской деревенской глуши!)—*арию* герцога («Вижу голубку милую»). Потом—«Вертер» (и «О, природа!», и «О, не буди!»), «Лоэнгрин» («Рассказ», ария, дуэт с Эльзой—«Чудным огнем пылает сердце нежно»). С замиранием сердца слушал дуэт Альфреда с Виолеттой «Покинем край мы, где так страдали» (где я пел и за Альфреда, и за Виолетту, и за «дуэт»). Каватины Фауста, Валентина и т.д., и т.д. В общем—обширнейший оперный репертуар, которым-то я и лечился от своего недуга.

Я был для отца—заместо патефона, концертного зала. «Гришутка поет изумительно,—восклицал он.—С душой. Не хуже Козловского!»,—и смотрел на меня своими васильковыми, светящимися радостью и гордостью глазами. Отмечу, что маманя была довольно равнодушна к моему пению. И когда отец звал ее разделить его восторги: «Нет, Шур, ты послушай, как он поет!», она уклонялась: «Да мне, Григорий, посуду еще помыть надо». «Да подожди, ну, оставь ты свою посуду. Потом все вместе помоем. Ты послушай! Ну-ка, Гришутка, Каварадосси, Рудольфа (из «Богемы»)...». Я же, счастливый таким вниманием, часами заливался перед ним соловьем.

Тут, правда, есть еще одна деталь, касающаяся его восторженного слушания и слёз на его счастливых и одновременно грустных глазах. Он рассказывал, как в какой-то тюрьме, где они, в набитой битком, вонючей, с парашей около них, камере сидели уже много месяцев—битые-перебитые, измотанные допросами и унижениями, и вот где-то под вечер сидевший с ними один польский офицер (которого почему-то с особым усердием обрабатыва-

ли — всё тело в кровоподтеках), так вот, этот польский офицер вдруг начинал свой «концерт». Отец: «Это что-то изумительное! Это такой тенор, какого я нигде и никогда не слышал... И вот мы — и политические, и отпетые уголовники — вдруг замолкали. И слушал я его с восторгом и слезами». А пел он именно то, что я пел отцу. Особенно там, конечно, котировались «О, дай мне забвенье, родная», «Мне всё здесь на память приводит былое», «Где нет свободы, быть не может любви»...

И потому — слушая меня, отец, видимо, слышал и того Поляка, и вновь, и вновь переживал горькие и сладостные минуты своей прошлой тюремной жизни...

И вновь я забежал — по годам — далеко вперед, и вновь вернемся в первое послевоенные лето-осень 1945 года — когда я старательно выполнял первую рекомендацию: всё время пел. (И эта привычка — до сих пор: стою ли я у окна в коридоре мчащегося поезда, крашу ли на даче забор. Сосед по даче — проф. Москвичев: «Я — своим домашним: идите сюда скорее, садитесь тихонько на лавочку, сегодня Григорий Григорьевич романсы поет...»).

И вторую рекомендацию выполнял свято: ухо — у черной тарелки радиоприемника, и — вслед за диктором (Левитаном, Герциком, Высоцкой): «Внимание! говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем важное сообщение Центрального комитета партии и Советского правительства...»

Вот начинают клеймить американских империалистов — клеймлю и я. Вот рассказ о «фашистской клике Тито–Ранковича», пожалуйста, — и я про «югославских фашистов». И все культурные, театральные, спортивные новости — скрупулезно повторяются звонким детским голосом. Инсценировка «Белого пуделя» — исполняю вместе со всеми актерами. Дмитрий Николаевич Журавлев читает «Русский характер», «Тихий Дон» — и я читаю.

Братья-заиканы, дорогие мои! Попробуйте эту штуку. Полезнейшая вещь! Ведь когда повторяешь за кем-то, то отвлекаешься от своих, где-то глубоко в тебе сидящих комплексов, не боишься, что вот сейчас натолкнешься на свои проклятые «т-р», «с-р» и т.п. Начинают плавно восстанавливаться в мозгу разорванные, поврежденные связи. А заодно (незаметно для себя) ты обучаешься языковой культуре, правильной русской речи. Ведь вот меня-то «учили» Качалов, Журавлев, Яхонтов, Консовский. Всё это пригодилось мне потом — в лекторской моей работе. Вот и недавно Леонид, слушая по радио мои какие-то политическо-аналитические разглагольствования, заметил: «Удивительно, как ясно, четко — без мекания и хекания — ты говоришь, как твердо, чисто и уверенно звучит у тебя голос. Откуда это у тебя? Наверное, опыт профессорско-преподавательской работы?» Отчасти — да, это. Но главное, мой дорогой брат, это — оттуда, из детства. Оттуда, где навечно в нашей памяти стоит круто накренившийся на бок (куда до него Пизанской башне!) наш дом-развалюха, где на стене висит на ржавом гвозде черная радиотарелка и где, около нее, прижавшись к ней правым ухом и глядя в низенькое, открытое в подсолнухи и акации, оконце, сидит мальчик, сосредоточенно

повторяющий за Чацким — Царёвым: «Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног...!». Оттуда всё это, оттуда.

...И вот пошло-поехало! Потихоньку, понемногу заикание стало уходить. К 8-9 классу остались уже так, лишь некоторые реликты.

И кто бы мог подумать, слушая мои лекции, беседы по радио и телевидению, слушая мои лекционные курсы в Московском Университете, что оратор сей был в детстве страшным заикой, не могущим подчас не то, что довести фразу до конца, но — договорить одно слово.

Так что, друзья-заикающиеся, не паникуйте, не отчаивайтесь! Берите на вооружение рекомендации той безвестной гениальной врачишки, и — в путь! Да осенит вас мой пример!

А пришло ко мне заикание сейчас расскажу, каким образом. Замечу только, что история этой «болезни» — это, можно сказать, и история и моей семьи, и моей страны. Многое, очень многое можно увидеть, проследив возникновение, развитие этой «болезни» и процесс преодоления ее (впрочем, остаточки, осколочки ее — как пули, как осколки у давно раненных людей — до сих пор гнездятся в моем теле, в моем мозгу; и нет-нет, да и дают о себе знать, особенно это по-прежнему затруднительное для меня сочетание «т-р»)... Итак —

История Болезни

С самого раннего детства, да что там «с детства», — с пеленок я — взрослыми — был втянут в две масштабные и жестокие войны. Одна — война Государства (со всем его державно-бандитским могуществом — с винтовками в руках вертухаев, километрами колючей проволоки, воронка́ми с зарешеченными окнами и замаскированными под «хлеб» и «мясо», толпами сыщиков, шпионов, сексотов, доносчиков, отрядами истязателей и палачей из НКВД), в общем — война Государства против нашей маленькой семейной ячейки. Главный удар наносится, естественно, по главе этой ячейки — по отцу: с 30-го по 54-й год — тюрьмы, лагеря, ссылки (разделяемые незначительными перерывами свободной, вернее полусвободной, жизни).





Но доставалось, разумеется, и матери. После первого отцовского ареста, — как это у Маяковского: «Отрекитесь! — ревели». «Отрекись!» — орали ей друзья-комсомольцы. А когда не отреклась, — рвали из рук у нее комсомольский билет (у нее, за неотречение исключенной из их сталинско-комсомольского братства). А она — прижимала его к груди, а она — из последних сил отбивалась

от их наглых рук. И — сохранила эту книжицу. Я видел ее, всю измятую, — среди стареньких мамулиных документов.

«Отрекись!» — орало ей институтское руководство. И ты, отличница, лучшая студентка Второго МГУ, геройски сражавшаяся в Талдоме с кулаками, врагами Советской власти и любимого тобой комсомола, с врагами, только благодаря вмешательству счастливого случая не убившими тебя (топор уже был занесен над твоей головой), о чём в нескольких номерах писала — целые полосы! — «Учительская газета» («Каплунова повторила подвиг учительницы Лапшиной, учительницы, убитой классово-враждебными дикарями»), ты... В общем: «Отрекись!» — и тебя возьмут, как было уже намечено, в аспирантуру, где ты будешь писать о своем любимом Чернышевском и его «новых людях».

«Отрекись! — орала ей мать (бабка Таня). — На кой черт ты ломаешь себе жизнь из-за этого вражины?»

Со всех сторон: Отрекись! Отрекись! Отрекись! И война с тобой — Комсомола, Институтского начальства, Родственников и Государства в целом — будет окончена.

Она не отреклась (хотя не была антисталинисткой и отцовской политической активности не слишком симпатизировала). В общем, не отреклась. И всю жизнь вынуждена была, сколько доставало сил, обороняться от наглого и садистского Государства. Естественно, «бомбы», «осколки», вражда и ненависть этого Левиафана сыпались и на головы детей.

И 2-я война — с другим Великим Мародером — с Гитлером.

И лупили нещадно наш маленький семейный мирок с двух сторон: с одной — Сталин, с другой — Гитлер.

Родился я, когда Сталин запихнул отца во Владимирскую тюрьму, а первые осознанные впечатления о мире пришли вместе с бомбами, которые валил на наши головы Гитлер.

...Начало войны в памяти не осталось, не помню ни разговоры взрослых, ни речь заики-Молотова (хотя радио у нас звучало постоянно, и я хорошо помню песни тех лет: «На закате ходит парень», «Так будьте здоровы, живите богато», «Три танкиста»...).

Помню объявления по радио. Трагически-взволнованным, левитановского типа, голосом: «Граждане! Воздушная тревога!! Воздушная тревога!!!». И сразу же гаснут огни улиц, квартир домов, и — протяжный вой сирен — по радио и на улицах: «У-у-у-ууу!». И — тревожная красота ночного московского неба: черное или темно-синее с мечущимися по нему лучами прожекторов. И вскоре — постепенно приближающийся, нарастающий вал самолетного гула, а потом какие-то свистящие звуки и следом за ними — громовые разрывы, и — дрожание стен и оконных стекол.

Сирена, самолетный гул, разрывы не были для меня чем-то из ряда вон выходящим. С ними, под их аккомпанемент пробуждалось во мне сознание. Они были для меня почти так же естественны, как восход и закат солнца, как ветер, шуршащий листвой деревьев, как удары грома и блеск грозовой мол-

нии. Ну, что же, вот гроза, ливень — и молнии, и гром, а вот изумительно красивое темное небо в сверкании прожекторных стрел, и — самолеты, и дрожание земли, и сиренный вой. Так устроен мир...

Другой («мирной») жизни я не знал. Да, какая-то нервозность от поведения взрослых передавалась, но особого страха не было.

Помню, как под этот торжественно-тревожный вой, под этой прожекторной тьмой бежали мы (с матерью и Леонидом) куда-то (теперь знаю — в бомбоубежище) — в подвал дома на Короленко (где мы тогда жили у бабки Тани и деда Сергея). Наутро я слышал, как взрослые говорили друг другу, что в каком-то подвале случилась беда: бомба попала точно в здание и прошила его насквозь — до подвала, и там все погибли. И они замолкали, в волнении глядя друг на друга. Опасался — как бы бомба (чья она, кто это бросает, почему мы бежим и кто это воет по радио — не имел понятия), опасался, как бы бомба не пробила наше здание до подвала. Поэтому бывал рад, когда, несмотря на объявление воздушной тревоги, оставался дома (мысль о том, что, пробивая дом до подвала, бомба должна пройти и сквозь нашу квартиру, как-то не приходила мне в голову).

А оставляли нас иной раз дома потому, что бабке и матери надо было «дежурить» где-то там на крыше и какими-то щипцами хватать падающие на крышу бомбы («фугасные» и «зажигательные») и бросать их в бочку, то ли с песком, то ли с водой, — улавливал я из рассказов взрослых.

Нам с Леонидом стелили на полу, в коридоре, напротив ванной и туалета — понимал замысел: чтобы не было нигде стекол, они почему-то «могли вылететь» и «поранить». О таких случаях вызнавал я тоже из рассказов взрослых.

Но особенная радость — оставаться на время воздушной тревоги дома, с дядей Ваней. Леонид с маманей бежали в бомбоубежище — иногда аж в метро «Сокольники». Наше убежище в доме бывало переполненным, а там ведь иной раз приходилось сидеть всю ночь и детей надо было укладывать где-то спать. В Сокольническом же метро стояли койки с матрацами. Со мной, маленьким, бежать до метро (а это метров 800!) тяжело.

И вот матерь с Леонидом — в Сокольники, а мы с дядей Ваней — дома.

Дядя Ваня — сосед по коммунальной квартире, где в двух других комнатах жили бабка с дедом и «Сашка», т.е. — брат мамы — дядя Саша, с женой — «Тонькой», которую бабка Таня, поругавшись, частенько называла «фашиской» (бабка не любила мужей и жен своих детей, не любила она и детей своих детей, т.е. внуков, т.е. — нас).

Так вот дядя Ваня (муж «Клашки») — человек дородный, с лысой головой, и невероятно добродушный. Он приходил откуда-то «с работы» — общительный, оживленный, веселый. От него шел какой-то приятный запах (говорили, что он как-то так «выпивает», и это запах того, что он выпивает). Он никогда ни в какое бомбоубежище не ходил. Приходил домой, балагурил, шутил, всех выпроваживал в бомбоубежище и заваливался спать.

И вот, когда меня оставляли с ним, мы «заваливались спать» вместе. Шли в его комнату и ложились на диван: я — у спинки, дядя Ваня — с краю. Он бы-

стро засыпал, похрапывая и посвистывая. А я лежал между ним и спинкой дивана — и было тепло и спокойно, хотя, помню, его большой живот иногда придушивал меня, и я крутился, изворачивался — чтобы не задохнуться. Но, закрытый от стекол его огромным животом и спинкой дивана, успокаиваемый его мерным и мирным храпом, тоже потихоньку затихал и проваливался в сон...

Дядя Ваня — как только его увидишь — снимал все тревоги, напряжение, которое висело в воздухе. И потом, уже после его смерти от сердечного приступа в 46-м году («Пил!», — ставила диагноз бабка Татьяна), — когда я слышал на веранде у Тольки патефонную песенку: «Дядя Ваня, хороший и пригожий; дядя Ваня всех юношей моложе; дядя Ваня — известный наш чудак; без дяди Вани мы ни на шаг», я с благодарностью и громадной теплотой вспоминал этого большого и славного человека.

Встреча с Гитлером

Ну, конечно, — не лично. Через посредников.

... Поздним сентябрьским вечером 41-го года, когда, как обычно, по черному московскому небу метались стрелы прожекторов, вырывая из небесной мглы силуэты гудящих самолетов, и пронзительно, безостановочно выла сирена, мамуля пришла в наш детский садик и... почему-то не стала забирать меня домой. А к другим ребятам родители и вовсе не пришли. Мы лежали на матрацах, на полу (подальше от стекол!) и готовились ко сну.

Мамуля села рядышком на стульчик и стала менять мои непрочные матерчатые тапочки на кожаные: распорола свою сумку, и быстро, ловко орудуя иголкой с толстой ниткой, смастерила мне не очень складную, но зато прочную обновку.

Странно: зачем это маманя, на ночь глядя, затеяла всё это? Что, завтра днем нельзя было это сделать?

Да, и еще странно, что нас не забрали домой, оставив ночевать в садике. К чему бы это?

А игрушки, аккуратно сложенные в перевязанные веревками ящики? А вещи, завернутые во множество каких-то тюков?

Э-э, да не увозить ли нас куда-то собрались?

Не хочу! Никуда я не поеду! Останусь тут, в Москве, на Короленко: буду бегать с мамой и Леонидом в бомбоубежища и прятаться от бомб и осколков стекол в тесную, уютную щель — между спинкой дивана и большим, теплым и мягким животом дяди Вани.

— Мама, не уходи! — я крепко держу ее за краешек платья.

— Спи, сынок, спи. Я никуда не уйду. Буду тут с тобой.

Не верю. Глаза, между тем, слипаются, хватка пальцев слабеет. Мама пытается осторожно и мягко высвободить платье из моего кулачка. Э, нет, начеку: «Не уходи!», и складки ее платья снова в моей руке.

И всё же сморил-таки проклятый сон.

Утро. Пуст мой крепко сжатый кулачок. Плакать бессмысленно, каким-то чутьем ощущаю: к прежнему возврата нет, начинается новая жизнь—«без мамы», и к этому надо начать привыкать...

Мы в вагоне поезда. Из разговоров взрослых улавливаю—везут нас куда-то «за Урал». Куда это, за какой «Урал»? Надолго ли?

А ехать-то, оказывается, весело! Можно обезьянами прыгать по вагонным полкам, побегать, потолкаться в коридоре. А то—примоститься у окна и смотреть, как летят мимо нас деревья, дома с огородами, собаками, утками. А если отвоевать местечко у приоткрытого окошка, то тут уж про свое сиротство и вовсе забудешь: всё внимание на врывающиеся в наше оконце ветки деревьев, надо изловчиться и сорвать листочек; потом посмотрим, у кого больше.

Нет, нет, всё не так плохо. А «за Уралом», наверное, и еще лучше будет.

Ну, а это уже совсем что-то невероятное, дух захватывающее: ***самолеты***! Не силуэтами в высоком, черном ночном небе, ловимые лучами прожекторов, а—при свете белого дня, совсем рядышком: вон, прям над крышей нашего вагончика—золотятся на солнце и покачивают крыльями. Машем летчикам, видим даже их шлемы и большие очки на глазах. Ура!

Вот только начинаем замечать, что рисунки на их крыльях—странные: не звезды красные, которые мы так любили рисовать, а—кресты черные. Опять что-то не то!

Пока соображали, что к чему,—за окнами что-то шарахнуло—раз, два, три. Поезд резко дернулся и встал. Мы все—кубарем на пол.

— Дети! Быстро—из вагонов!

Ступеньки лестницы—что-то уж больно высокие, два моих роста до земли будет.

— Прыгай! Прыгай!—толчок в спину—качусь вниз по насыпи.

— К лесу! Через поляну, к лесу! Бегом! Быстрей, быстрей!

Что за диво: паровоз наш—на боку, первые вагоны—вообще кверху тормашками. Крики, стоны, плач. И земля—фонтанами к небу.

— К лесу! К лесу! Скорее!

Добежали. Почти. Ба-бах—и тишина... Что такое: сверху земля и с боков земля. Разгребаю, выкарабкиваюсь потихоньку. А вон и наши ребята—кто уже в лесочке, под деревом, кто, как и я, из земляных завалов выбирается. Мечутся взволнованные воспитательницы...

Сижу, прислоненный к стволу дерева. Что произошло, что происходит—просто сообразить не могу, и—гул в голове, ничего не слышу и не понимаю.

Воспитательница протягивает очищенное яичко и кружку с молоком.

Идем лесом. Долго. Идем, идем, идем. Заходим в какие-то деревушки. Заправляемся слегка и снова—в дорогу. Соображаю плохо, как во сне. О, а где же это мы? Да, это уже... Короленко. Наш дом. Ура! Воспитательница нажимает кнопку звонка. И на пороге—моя мамуля:

— Гришутка!...

Где-то в своих мемуарных заметках маманя описала эту сцену. И увидел я себя ее глазами: маленький (трех-с половиной-летний) мальчик, босиком

(куда подевались ее такие замечательные сандалии?), грязный, оборванный, перевязанный какими-то с кровавыми пятнами тряпками — заместо бинтов (осколочек какой-то по спине резанул, — в миллиметрах от позвоночника...).

Я помню, как раздели, как помыли, как накормили меня.

Помню, как попытался я что-то рассказать мамане, — и не смог. Ни слова не смог из себя выдавить. Помню, встал перед табуретом на колени, положил голову на руки, и от всего пережитого и в особенности от пришедшей ко мне немоты — беспомощно, тихо и горько заплакал...

Вот так в сентябре 41-го года и состоялась моя встреча с Гитлером. Да, конечно, не лично. Через посредников.

Встреча со Сталиным

И тоже — через посредников. Разбуженный посреди ночи, я лежал в постели под тонким колючим зеленым одеялом и смотрел, мало, впрочем, что понимая. Но ощущение наваливающейся на нас беды было. Я различал ее в голосе матери — я никогда не слышал такого его дрожания: старалась говорить по-учительски спокойно, но голос предательски вздрагивал, прерывался, казалось, еще немного — и она разрыдается.

— Да это же ребенок 4-летний раскрашивал. Какие перечеркнутые портреты Ленина и Сталина?

«4-летний ребенок» — это Сашуха. Рисовальщик, как и я, бездарный: умел рисовать только плоские, кривые домики с трубой, из которой высоко в небо уходила некая спираль, долженствующая изображать дым, да еще — такие же плоские — танки и с самолетами над ними; черточками изображался полет пуль, бомб и снарядов, летевших из танков и самолетов со звездами в танки и самолеты со свастикой. С раскрашиванием у него дело обстояло лучше. Про специальные альбомы «для раскрашивания» мы тогда и слыхом не слыхали. Сашуха брал настенные календари, материны учебники по литературе, слюнявил — для яркости — грифели цветных карандашей — и... начинал украшать великих: румянил им щеки, чернил или коричневил им волосы, а у кого усы, то — и усы, маршалам желтил погоны, краснил большие маршальские звезды, кители покрывал зеленью, а портупеи — синевой. Сталинский китель красил ярко-зеленым — с особым тщанием и любовью. Но... соскальзывал карандаш в детской руке, и залезали цветные черточки за пределы строгих контуров вождей. Румяна выскакивали за пределы ленинских щек, ярко-зеленые полоски пересекали контуры сталинского кителя.

— Найдены книжки с перечеркнутыми портретами вождей. На лбу товарища Ворошилова подрисовано большое кровавое пятно...

Похоже! Правда, не прямо на лбу, а на буденновке — переусердствовал Сашуха с раскраской звезды «на лбу». Ее строгие пятиконечники расплылись под ярко-багровым карандашом, а, кроме того, захотелось ему — для красоты — добавить лучики, бегущие от этой самой звезды. Лучики получились

кривоватыми, неровными — словно струйки кровавые. В общем, долбанули товарищу Ворошилову прямо в лоб с пяти метров из мелкокалибирки.

— … кровавое пятно. Записал?

Диктовавший был в фуражке. Запомнил его сапоги и темно-синие галифе. Он по-хозяйски расхаживал в наших малюсеньких комнатенках, рылся на этажерке, заглядывал в ящики комода, засовывал руки под матрацы.

Что делал отец, не помню. По-видимому, не суетился и молчал.

Запомнился только его уход. Белое-белое лицо, склонившееся ко мне, глаза с едва проступающей влагой и плотно сжатые губы, которыми он прикоснулся к моей щеке. (Господи, а было-то ему всего 42 года, и это был, как я узнал много позднее, его пятый (!) арест!) Куда увели отца эти двое (или трое?), в фуражках и галифе, — не имел понятия.

Но то, что — ночью, то, что так дрожал голос матери, то, что после их ухода она села за стол и, никогда не курившая, выкурила несколько штуковин «Беломора», то, что, молча и долго, смотрела в окно в серую полуночь-полуутро — становилось ясно, что пришла Беда. И как-то сразу почувствовал, что что-то тяжелое, взрослое легло и на мои 10-летние плечи…

— Мам, я пойду в очередь, за мукой…

Это были предмайские, предпраздничные дни. В магазинах «выбрасывали» муку (на пирожки и лепешки к праздничным столам), и за ней выстраивались длинные (бесконечно длинные) очереди: становились с вечера и каждый час ночью уточняли и переписывали номера очередников. Я пришел в четыре, и на моей ладони химическим, фиолетовым карандашом вывели: 1586.

Будем на 1-е Мая с мукой!

1950–1953

На юбилее (1998 год) Лиды Близниченко (когда-то ученицы Викторовской средней школы Кустанайской области Казахской ССР, а ныне — доцента Московского университета дружбы народов). Викторовка — забытая богом деревушка, место последней ссылки отца; моя неустрашимая и несгибаемая маманя добилась-таки его перевода из «столичной» — в стране ГУЛАГа — Магаданской области на щадящие просторы «периферии» — в казахстанские степи, заселенные ссыльными советскими немцами и «предательскими народами» Кавказа:

«Как хороши, как свежи были розы!..»
(светлой памяти наших «контрреволюционных» учителей)

Они и сегодня хороши, эти свежие розы, которые мы с ней кладем на маленький холмик, что на подмосковном Хованском кладбище…

Они и здесь вместе, наши дорогие школьные учителя — Григорий Петрович и Александра Сергеевна…

Когда 1 сентября 1950 года наш новый классный руководитель и учитель математики входил в наш класс, мы уже знали, что он сослан сюда, в глухую казахстанскую деревушку, за контрреволюционную агитацию и пропаганду.

И контрреволюция в нашем классе началась сразу, с первых его шагов.

Ну, «революция» — это когда в класс входит суровый директор школы и называет не допускающим возражений тоном имя нашего будущего комсорга, нашего детского руководителя.

«Контрреволюция» — это когда входит улыбающийся учитель и предлагает нам *самим* (!) избрать в комсорги того, кого мы *сами* (!) пожелаем.

— Лиду Близниченко! — поспешно выкрикнул маленький, лысенький Володька Копылов.

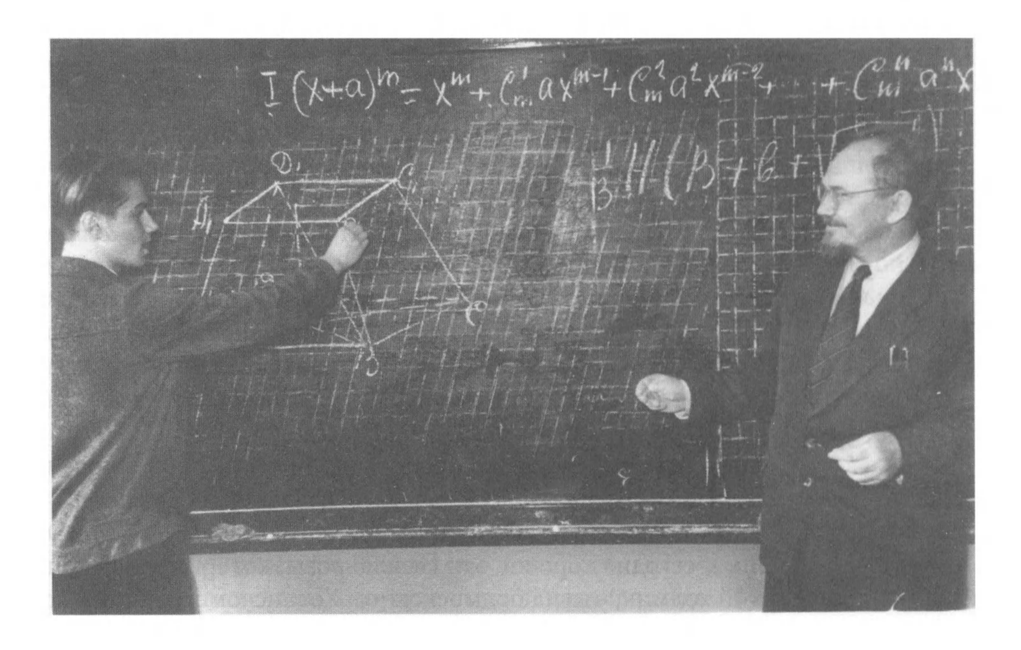
— Лиду, Лиду, Лиду! — понеслось с разных сторон.

— Так, ну-ка, кто же это Лида Близниченко?

Тут я впервые и увидел ее (я тоже, как и тот учитель, впервые вошел в этот класс — московский школьник, тоже волею не слишком приятных обстоятельств, заброшенный в это сельцо). Я увидел ее, словно сошедшую со страниц «Вешних вод». Нет, скорее из «Накануне» — Елена Стахова. Да, вот это ближе…

И уроки математики — тоже были сплошной контрреволюцией.

Вместо двух труб, уныло вливающих в бассейн и выливающих из бассейна воду, нам предлагались написанные гекзаметрами, хореями и ямбами задачки из каких-то немыслимо старых учебников, задачки, которые решали, например, юные граждане далекой и легендарной Эллады. Полвека проле-



тело с тех пор, а вот до сего времени помню — наизусть — многие из тех волшебных задачек:

Есть кадамба-цветок, на один лепесток
Пчелок пятая часть опустилась.
Здесь же рядом росла вся в цвету семенгда,
И на ней третья часть уместилась.

Потом еще какие-то части пчелиного улья размещались на других, неведомых нам, но таких романтичных цветах. И еще одна пчела, которую тоже следовало учесть, решая задачку, —

Летала и взад и вперед, ароматом цветов наслаждалась.
Так скажи ж теперь мне, подсчитавши в уме,
Сколько пчелок всего здесь собралось.

И мы, окутанные поэтичной красотой древней Эллады, с ее таинственными кадамбами и семенгдами, быстро, лихорадочно, скрипя молодыми мозгами, считали, считали…

Первому — за правильный ответ — пятёрка!

Да, впрочем, не в пятёрке тут было дело. Первому — наградой доставалось традиционное, восторженное учительское «Бл-лестяще!» — и вспыхивали радостным огоньком *его* васильковые глаза.

Чаще других это «Бл-лестяще!» доставалось нашему комсоргу.

Видно было, как она обожала, да, нет, боготворила *его*.

И теоремы *он* доказывал так, как будто это не Евклид много веков тому назад, а — *он*, сегодня, сейчас, вот только что — перед нами — открыл, что сумма углов треугольника равняется 2d. И не Архимед, а *он, он* открыл тот знаменитый закон о «погруженном в жидкость теле», и что не Архимед по улицам Сиракуз, а *он* сейчас побежит по пыльным улицам Викторовки с криком «Эврика!». И если бы *он* вдруг сделал это, мы — всей гурьбой — с такими же криками ринулись бы за *ним*!

А *Александра Сергеевна* (приехавшая к нему на год, чтобы немного скрасить его ссыльное одиночество) вела свою контрреволюционную агитацию на уроках русского языка и литературы.

Началось с урока, посвященного суровой «революционно-демократической» поэзии Некрасова. *Она* вошла в класс и вдруг своим чистым, звонким, просто-таки волшебным голосом… *запела* его «Коробейников» — эх, полным-полна коробушка. И мы вдруг ощутили, какой светлой, душевной и веселой лирикой полнится некрасовская муза.

Лида — главная героиня всех поставленных *ею* на сцене сельского клуба спектаклей и подготовленных *ею* концертов. Зал, где на скособоченных деревянных скамейках сидели только что загнавшие в сараюшки своих коров и свиней деревенские жители, дружно плакал, когда Лида читала поэму

Алигер «Зоя». А уж когда она играла Зою в спектакле, и «гестаповцы» — Колька Стрижак и так похожий на немца узкоглазый и черноволосый казашонок Роман Галиев — бросали ее после допроса на раскиданное на сцене сено, — она, измученная, вдруг поднималась во весь рост — из уголков ее рта бежала струйка крови (это она раскусывала спрятанный за щеку какой-то шарик, наполненный красными чернилами) — и начинала что-то говорить своим проникновенным, слегка дрожащим голосом, — то ***вставал весь зал***, — славя эту девушку, ставшую олицетворением непокоренной Родины.

И гордую полячку Марину Мнишек играла. И зло, иронично — в сцене у фонтана — унижала меня, пытавшегося изображать Самозванца. А игравший роль фонтана бывший гестаповец Колька Стрижак, свернувшись на полу — за табуреткой — калачиком, изо всех сил сжимал большую, выкраденную из сельской больницы, клизму, из которой била фонтанная струя. И ничего, что упоенный своей ролью и желая поднять повыше серебряную струю фонтана, он высовывал свою клизму много выше табуретки. Все это видели, но никто не смеялся. Героиня играла так, что никто не сомневался, что перед ними — истинный (почти Бахчисарайский) фонтан.

А потом ревнивый к ученической любви наш революционный директор сожрал контрреволюционного учителя и добился его перевода в другое, еще более глухое село. И пока тот готовился к отъезду, наш комсорг, вместе со своей подружкой — старостой (кстати, тоже умницей и красавицей, ставшей впоследствии моей женой), вел свой класс, несмотря на грозные запреты школьного начальства, в маленькую подслеповатую землянку, где жил их любимый учитель и где продолжалось контрреволюционное воспитание.

А потом судили и их, двух подружек, школьно-педагогическим судом.

И — ни раскаяния, ни слезинки!

Я понял, они — могут быть Зоями не только на сцене.

... И вот много лет спустя, она, как и Александра Сергеевна когда-то, входила в классы красноярских школ, как Александра Сергеевна, она пела, читала стихи, рождая в своих маленьких и больших учениках любовь к прекрасному, нежному и могучему русскому языку. И так же, как когда-то Александре Сергеевне от нее, сегодня ей идут потоком письма от ее учеников, которые, беря уже пример с Лидии Ивановны, входят в классы к своим маленьким подопечным...

И когда она сегодня кладет цветы на маленький холмик, что на Хованском кладбище, я твержу про себя: «Нет, никогда не завянут розы, передаваемые от одного учительского поколения другому»...

И в заключение:

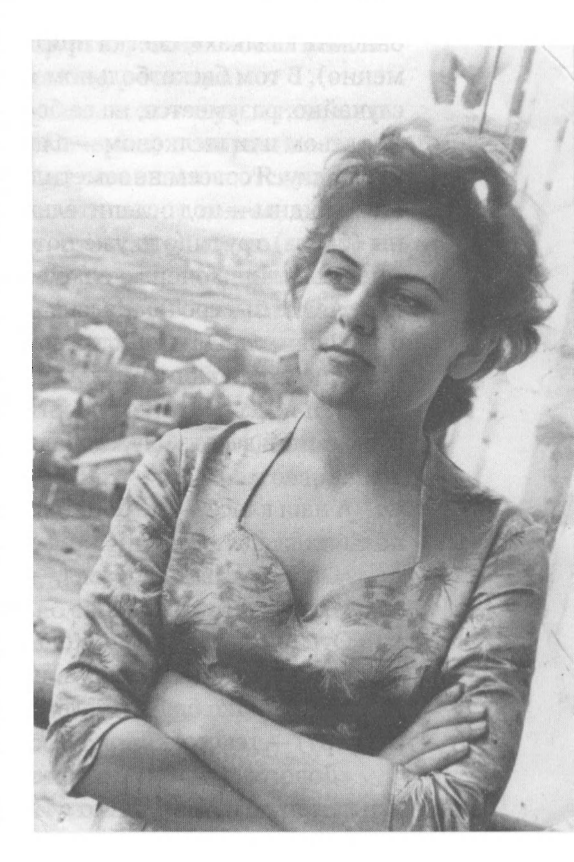
Да, в жизни всякое — и солнце, и морозы,
Но счастлив, что с тобою снова я.
Дарю Тебе сегодня эти розы,
Тургеневская девушка моя.

Одна — и на всю жизнь
Запись в «Дневнике» 02.01.2001

Он знал, что хоронить Ее будут без него. Вернее, вместе с ним. Только бы облегчить близким хлопоты по случаю всей этой тягостной тягомотины. Лучше бы всего: самому обмыться как следует, под душем, надеть черный костюм и поехать бы туда, на кладбище, к свежевырытой яме — и лечь в стоящий на ее краю ящик — чтобы только слегка толкнуть его туда... и быстренько засыпать комками замерзшей глины...

Причин того, что случилось, он не понимал. Ну, да, темень, узкое шоссе, встречная машина с невыключенным дальним светом — лупит прямо в глаза. Ну, и что — сколько раз он ездил и в темень, и по узким дорогам, и навстречу машинам со слепящим светом; и — ничего, и машина его была легка в управлении и послушна. А тут — заскользили как-то колёса, и руль както перестал их прихватывать...

На стене висел его любимый, сделанный им самим когда-то, давно-давно, портрет. Она, невероятно красивая, невероятно изящная, да просто — божественная, стояла на тернопольском балконе; за плечом, в дымке, украинский пейзаж с типичными, куиндживскими, хатками... А Ее взгляд — да куда там Джоконде! — спокойно-задумчивый, в даль, в даль, в бесконечность, туда, где не сходятся параллельные прямые, в судьбу. «Тургеневская девушка». Нет, это только одна из Ее граней... Нет, Ее невозможно описать — так же, как невозможно прозой передать пушкинское, скажем, «Слыхали ль вы за рощей глас ночной?»...



«Посмотри-ка, у меня руки сложены... и пальцы — как у Пушкина» (это на портрете Кипренского).

Точно! Так же! Один к одному! Эта красота, эта вольность жеста. Вот в чем дело-то: это же полный аналог пушкинского стиха, пушкинской поэзии.

Это не я фотографировал. Это сам Бог перенес Ее облик на пленку моего фотоаппарата.

...И было 1-е сентября 1950 года. И — Викторовская средняя школа, одноэтажное, бело-саманное здание с огромными круглыми черными печками (одним боком — в класс, другим — в коридор). Отец — у классной доски.

— Так, сегодня мы выбираем старосту.

Старост не выбирали, старост назначало школьное начальство (ну, бывало, ученики единогласно подтверждали назначение). А тут мы — сами! — выбираем старосту...

В школе этой я проучился всего лишь год, но в сны приходит только она, полная неописуемого очарования. Окна, выходящие прямо в деревенский дворик, в которые так славно было сигануть во время переменки — приземлившись в высокую, мягкую траву, посреди шумящих листвою яблонь. В конце длинного коридора — библиотека, там — старая, еле видящая немко-еврейка Анна Исааковна (из ссыльных немцев): «Что вы хотите?» (через «ч» — что, и — с еврейским акцентом). И я, единственный и постоянный читатель, беру из ее рук стопочку свеженьких свежепахнущих газет — вести оттуда, с «материка», из «мира». Горе, — когда почта запаздывала или газеты не приходили.

А баскетбольная площадка во дворе! Я, маленький (предпоследний в классной шеренге), но ловкий, — проскальзываю чуть ли не между ног у защитников и засыпаю мячами корзину. ***Она*** — случайно оказалась в противоположной команде. О, Она — тоже легкая и ловкая (когда на футбольном поле, что за овражком, напротив школы, всем классом, по команде учителя физкультуры Ивана Федотовича Гостищева, бежали — на скорость — от ворот до ворот, то мы с Ней всегда были первыми; конечно, я мог поднажать — и легко занять единоличное первое место, но я, почти как Ладынина в «Кубанских казаках», слегка притормаживал, — и мы финишировали одновременно). В том баскетбольном матче — я, останавливая Ее прорыв, наступил, случайно, разумеется, на ее босоножку (она играла в босоножках и белом — марлевом или шелковом — платьице) — и Она упала на пыльную и жесткую площадку. Я совсем не заметил, что юбка поднялась чуть ли не к голове и что стали видны — под ослепительно белым платьем — черные сатиновые Юркины (брата) трусы (это уже потом Она мне, со смехом, рассказывала). Тогда мне было лишь очень жалко ее, я был просто удручен своей неосторожностью. А Она быстро поднялась и от волнения ли, от неловкости ли (по случаю открывшихся Юркиных трусов), схватила меня сзади за локти, так что моя голова с симпатичным (как мне казалось) чубчиком оказалась ... у нее на груди, и я замер от неловкости и ... счастья. И замерла вдруг Она, не зная, что со мной делать. Ну, сделала вид, что наказывает меня, выталкивая с площадки.

А наш класс — где блистал отец, стуча мелом по доске и осыпая рукава и полы пиджака меловой крошкой...

«Он доказывал теоремы, — говорила Она впоследствии, — словно это **он** только что их открыл».

Отец приехал сюда с Колымы, из Сусумана. Мы с матерью, помню, ходили на почту, что на Миллионной улице, у Красного Богатыря, и маманя подавала в окошко бланки телеграмм с длинным — совсем не телеграфным (по размеру) — текстом:

«Дорогой Иосиф Виссарионович!..» И я с изумлением смотрел на мамулю, ведущую с Ним, лично с Ним переписку.

Или: «Дорогой Лаврентий Павлович!..»

Или: «Дорогой товарищ Абакумов!..»

Она просто осыпала их телеграммами (при учительской-то зарплате и трех сыновьях да не работающих бабках).

И вот, видно, достала она-таки этих своих «дорогих».

«Ну, дети, открывайте энциклопедии. Выбирайте. Из семи областей Казахстана».

Суетится, ничего не понимая, стриженый Сашуха. Начштаба — Леонид — листает какие-то справочники. Карагандинская? Нет, угольная пыль! Семипалатинская? Далеко от Москвы. Актюбинская?.. Кустанайская — «укутанный в зелень город», река Тобол, ближе всех к Москве. Кустанайская!!

Так мы все тут — на середине между Москвой и Сусуманом — и соединились вновь...

— Так, кого же старостой? Какие есть предложения?

Одним выдохом, едва ли не все: Белашову!

— Белашову? Кто Белашова?

Я, двенадцатилетним Печориным, сидел на первой парте, у двери, полубоком к классу, небрежно и непозволительно перекинув руку за спинку парты.

Белашова?

Я медленно, с деланным печоринским равнодушием, поворачиваю голову.

По диагонали от меня, на предпоследней парте, у окна — Она! Встала!

Я ее и сейчас вижу — стоит мне только смежить ресницы.

Если бы я снимал фильм, то сделал бы так: в классе — шум и гам; мальчик (да, нет, не мальчик, двенадцатилетний Печорин) поворачивается (в полуоборот), и когда его глаза (крупным планом) останавливаются на вставшей девушке, вдруг — разом! — стихает шум, и — тишина, долгая, абсолютная... И — глаза девушки; она что-то говорит, отвечая учителю, но это не слышно. Полная и абсолютная тишина... А потом — название фильма: «С первого взгляда...» Это было буквально так: с первого, самого первого взгляда.

Год счастья. Начинавшегося каждое утро: сегодня я снова увижу Ее!

За весь год — ни слова друг другу (а что сказать, а как обратиться, да и о чем сказать — о задачках по алгебре, о сочинении по литературе?). К Лидке Близниченко или Машке Киктенко — к первым школьным красавицам — подойти с этим — да хоть сто раз. А к Ней... Разве с Божеством разговаривают о «задачках»? Разве есть темы, достойные Ее?

Мечтать — это, пожалуйста. Я — Рудин, она — Наталья Ласунская, я — Лаврецкий, она — Лиза Калитина («Увидела ли, узнала ли она его? — подумал Лаврецкий. Только дрогнули ее ресницы, только еще ниже, к четкам опустилась ее голова»). Она — Джемма, Ася, Марианна... Это я Ей — один, в нашей пустой комнате — пою ариозо Ленского и «Средь шумного бала». Да, особенно «Средь шумного бала»: «И грустно я грустно так засыпаю, и в грезах неведомых сплю...», и — божественные — две последние строчки...

Тупых, троечниц — какими бы они раскрасавицами ни были — не мог терпеть. А тут вытащил ее тетрадь с диктантом — из материнской стопки (ма-

муля в нашем же классе преподавала литературу) — Бог мой, тьма ошибок! Высунув язык, аккуратненько всё исправил, оставив одну или две (чтобы — на четверку; на пятерку — это чересчур!). Но здесь — от этих ошибок — почему-то не померк для меня ее божественный свет. («Я увидела все эти исправления, — много лет спустя вспоминала Она, — и подумала: какая замечательная учительница — исправила, чтобы вдохновить, чтобы не травмировать меня»).

На математике у отца она блистала. У отца была привычка — зажигать класс, заставляя соревноваться: кто быстрее решит — тому пятерка. И здесь всё было примерно так, как при беге на футбольном поле: мы с Ней далеко впереди (и я, случалось, слегка притормаживаю).

И машину-то — это я для Нее ведь водить обучился. Убедила взять дачный участок (для меня всё, что за пределами авторучки, книжки, чистого листа бумаги — обуза; только и думаю, как бы уклониться от того, от сего — в общем, от суеты мирской; но она, проклятая, затягивает и затягивает...). Участок! Дачу! Строить! О, господи, да это свыше всех сил моих!!!

— Представляешь, вечером — дочки (и внучки) идут на реку с полотенчиком через плечо...

И так мне понравилась эта картина: и утопающее за лесом солнце, и тихая, едва шевелящая волнами речка, и вечерний стрекот какой-то живности в траве, и — дочки, с полотенцем через плечо.

Но ездить туда! Нет, **туда** еще ничего: можно сесть на Белорусской — в полупустую электричку. Но оттуда! В воскресенье! Вечером! Влезть-то толком не влезешь. И — Она, зажатая со всех сторон могучими бабами и мужиками с волевыми и загорелыми лицами — стоя, с оттягивающими руки сумками, полтора часа в безвоздушном (ибо воздух весь выдышен) вагоне, уже не очень здоровая (упавшая однажды там в обморок)... Нет, это не возможно. Придется. Машину!

О, господи! Правила движения, инструктора, милиционерьё — при сдаче на права, и так далее, и так далее. В общем, волокла судьба и вот приволокла. К злополучному этому обрыву. Я — вот он. А Она...

Дети еще не знают. И узнают уже... не от меня.

Ключи у них, славу Богу, есть. (Дверь выламывать не придется. Хичкоковская ситуация — когда ломали 26 апреля (в мой день рождения) дверь в квартиру матери; договорились, утром 25-го, что вечером ей звоню и уславливаемся о нашем к ней приезде — отметим мое сколько-то там летие. Но телефон молчит — и вечером, и утром. Уехала к друзьям? Инсульт? Сердце — не может встать и подойти к телефону? Звоню подругам — ни у кого. Хорошо бы — если у подруг. Слесарь из домоуправления. Топориком взламывает замок... И там — Цепочка! Изнутри(!) — закрыто на цепочку!..).

Ну, а тут взламывать не придется. Только не запереть на собачку и цепочку снять.

Так, по жизни, вроде бы всё нормально. По 60 лет. Достаточно. Дети — на собственных ногах. Старшей — сорок, канун докторской.

Фотоальбомы. Успела привести в порядок наше невозможное фотохозяйство. Альбом старшей дочки. Мордатая кроха, приникшая к материнскому соску...

«Писа́ть много не на чем. Дочурку я видела мало, хорошо не рассмотрела, но рост ее 50 см, она перегоняет всех своих женихов, одновременно родившихся. Похожа на Гришу. Голубоглазая, лобастая, с красными губушками, русая и кудрявая. По-моему, она очень сердитая, но плакала почему-то мало, а только взглянула на меня во все глазенки...». Из роддома ехать некуда. Пока суечусь в поисках машины, чтобы ехать неизвестно куда, Стасика поздравляют с отцовством: он принял на свои руки закутанную в белоснежье ту, которая «с красными губушками».

Альбомчик — младшенькой. В Дубовке (санаторий «Дубовая роща», в Железноводске, для почечников) — маленькая, худенькая, изможденная девочка с черными полосами под глазами. Тяжелый пиелонефрит, послегрипповое осложнение. ***Она*** ее вытащила прямо-таки с того света. Чудом доставала путевки и ехала вслед, и каждый день приходила к санаторному заборчику (охраняли детей строго — чтобы родители — ни-ни). ***Она***, в укромном месте, подходила к заборчику и часами, незамеченная охраной, стояла там. И младшенькая, завидев ***ее***, успокаивалась — только кивнет незаметно для всех головкой, только пошевелит приветливо пальчиками...

На исходе зимы 67-го мы с Барыкиным, как вчера, позавчера, как много лет подряд, резались в шахматы — блиц. И сегодня, как и вчера, как много-много лет подряд Барыкин сливал партию за партией (видя главную причину своих неудач, что вот-де рука у него от фигурам к часам летает медленнее).

Степанида (старуха-соседка) — на звонок — открыла дверь.

Стучит к нам, расплывается в улыбке: «Телеграмма из Тернополя. Поздравляю Вас с дочкой».

И стала затем вознаграждением Барыкину за всё, за все его мучительные и горестные поражения — трогательная дружба с этой самой «дочкой». «Дорогой Владимир Егорович!..» — писала она из Дубровки. «Дорогая Наташа!..» — отвечал ей Владимир Егорович и старательно, как взрослой, писал он ей своим опрятным, хорошо отшлифованным литературным стилем серьезные письма.

А всех жальче ее брата — Юрку... Когда все уснут, он потихонечку (чтобы — одному) достанет фотографии —

и там, где они с Лялькой (так он звал ее в детстве) под портретом Сталина, вместе со всей семьей расположились. Лялька — сердитая и насупленная: Юрка — с часами на руке, а у нее часы отобрали и отдали Томке, чтобы та не ревела;

и там, где Лялька, светлым ангелочком, стоит рядом с ним и мамулей и, по своему обыкновению, смотрит в даль — туда, где не сходятся (или сходятся?) параллельные...

и там, где ***она*** с ним в Ленинграде, — измученная своими неудачными поступлениями в институты (приезжала одна, из глухой провинции, не очень

представляя условия поступления и программ вступительных экзаменов, — поступая по настоянию своего очень идейного отца то в какие-то сельхозвузы — «будешь агрономом, сельское хозяйство поднимать, и на партийной стезе агрономы ценятся», то — в какие-то технологическо-металлургические...)

Вот, не поступившая, — в какой-то семенной лаборатории какой-то МТС на тернопольщине. (День — в лаборатории, вечерами — светлыми, теплыми западноукраинскими вечерами, — Татьяной Лариной — в рощице у старой, разрушенной теребовлянской крепости — с Бальзаком или Стендалем в руках.)

Самая страшная фотография — последняя. За неделю до случившегося. В лесной чащобе в Дербышках, что под Казанью, у лесного колодца. Коллективная фотография: Она — веселая, со всегдашним изяществом как-то изогнулась — красавица (!) и по сей день, видно, купается в лучах обожания, которым окружила ее семья брата. Можно сказать, бесконечно живая...

Да, Юрку жальче всех...

Я понимал, что это — наказание, Божье. Не понимал только, за что именно. Грехов за жизнь наберется, конечно, немало. Но сколько ни вспоминал — не тянут они на такое жестокое. Нет, не тянут...

А потом вспомнил. Обещал же Ей, себе, в конце концов — Ему, там, в далеком и синем небе — отметить 50-летие нашей первой встречи, 50-летие того «первого взгляда» — 1 сентября 2000 года. И — не отметил, в суете всё откладывал да переносил.

Так и получи сполна. Это — да. Это — по заслугам!..

И — словно награда за прозрение —

Телефон:

— Григорий Григорьевич, приезжайте немедленно. Мы спасли Ее. Да, было почти безнадежно, клиническая смерть. Вытащили с того света!..

* * *

Нет, ребятки, когда я звонил вам, то вовсе не собирался исправлять свою жуткую ошибку и отметить пропущенный юбилей. И совершенно искренне на вопрос Володи Хороса «По какому случаю собираешь?» ответил: «Да не по какому. Просто — приходите, и — всё, без случая и без повода».



Просто я почувствовал тонкость грани, отделяющей наше бытие от нашего небытия, легкость, простоту и быстрость шага, способного перенести нас за эту грань.

И пока мы все и всё еще ***здесь*** — будем почаще давать это понять друг другу. И еще я прошу вас взглянуть на тот — ***ее*** — портрет, — чтобы лишний раз почувствовать, как все-таки прекрасен этот в сущности-то совершенно бессмысленный, мир.

Мир начинается с Солнца и Музыки

Короленко как-то заметил, что признак гениальности человека — это наличие памяти о максимально ранних периодах его жизни. Сам Короленко говорит, что помнит какой-то пожар — когда ему было чуть больше года (и в таком возрасте — помнить, вот он-де, один из признаков гениальности!).

Наверное, раннее пробуждение сознания, интеллекта — действительно, влияет на активизацию интеллектуальной деятельности, на ее будущее. Лариса говорит, что разговаривала с дочерьми с первых же дней их появления на свет. И к полутора-двум годам они уже знали наизусть большие куски из Пушкина, и двухлетняя Аллочка «читала» (поскольку знала наизусть!) пушкинские сказки на показываемых (на простынях на стене) диафильмах — чем приводила в изумление бабу Сашу и деда Гришу.

Но сейчас меня интересуют не истоки и не признаки гениальности-там или талантливости. Просто интересно — на лифте памяти опуститься далеко-далеко вниз — туда, к самым истокам своей памяти — откуда для меня *начинался* этот мир. (В общем, *для меня* этот мир не бесконечен, он имеет начало и, увы, будет иметь конец, о котором, естественно, написать мне не удастся, а вот о начале...).

Итак, — на «лифт», и — вниз, по этажам-годам.

... Не могу определенно сказать, что было самым-самым первым. Поэтому — о «самых первых».

Владимир, где я родился, разумеется, не помню — абсолютно. Только — по рассказам матери и отца.

Собственно, не во Владимире я и родился-то, а под Владимиром — какая-то там была «фабрика Оргтруд» (наверное, — «Организованный труд»). Была, вроде, и такая пригородная станция (поселок) — Оргтруд. Вот в этом самом Оргтруде (ну, хохма, ну, смех!) я и родился. В метрике у меня так и сказано: место рождения — станция Оргтруд Владимирской области.

Мама говорила, что родился я 28 апреля. И до 16 лет, т.е. до получения паспорта, и «отмечали» мой день рождения 28 апреля — родное число, к которому я привык. А получая паспорт, увидел, что в метрике стоит 26 апреля: то ли мать что-то перепутала, то ли в ЗАГСе ошиблись. Но после 16 лет мой день рождения — 26-е (какой-то чужой день; родной — потерял, а новый так и остался чужим). А между тем, день рождения всегда был значимой вехой. Бывало, лежишь в постели на Гражданской 27-го: о, завтра — 28-е, мне будет уже не 8, а 9 лет, уже не 10, а 11 и т.д. — и это как-то чудно, странно, волнительно (зримый бег времени!); интересно, каким-то я буду в далекие 16 лет...

«Отмечаниям» и разным прочим внешним «формальностям» в нашей семье как-то особого внимания не уделялось. Вообще, какие-то «семейные обряды», «традиции» у нас отсутствовали — всё как-то на ходу, по-бивуачному, «по-базаровски»: какие еще «сопли-сантименты»!..

Правда, помню, иногда ребят-друзей приглашали — на что-то вроде чаепития. Подарки друзья дарили (как и я им тоже) — какую-нибудь коробочку красивую из-под зефира, пастилы, конфет (без конфет и зефира — разумеется, давно съеденных; просто пустая, но красивая коробочка и т.п.)...

Так вот, родился (по рассказам родителей и старшего брата) — когда отец сидел в тюрьме. Во Владимирскую область («за 101-й километр» — настолько не имели права приближаться к столице нашей Родины!) они, родители, поехали после очередной отсидки и очередного освобождения отца. И там-то, на этой самой фабрике Организованного Труда, преподавали (то ли в техникуме при фабрике, то ли в вечерней школе) отец — математику, мать — русский язык и литературу. И вот опять какая-то волна «заборов» (от «забрать»!) — в общем, очередная чекистская зачистка, и отца, как обычно, «зачистили»... Мать, как теперь понимаю, в жутком положении: одна с двумя детьми (Леониду — 5 лет, мне — несколько месяцев), да еще надо на электричке во Владимир ездить — отцу передачи возить. И молоко пропало, меня кормить нечем, ору безостановочно — и денно, и нощно. Мать — в отчаянии. Помню, уже в старости, отец, однажды крупно поссорившись с матерью и желая ее скомпрометировать (впрочем, это был единственный случай в жизни у отца: видно, был нервный срыв, а так — мать он всегда боготворил, и это боготворение старался привить нам, детям) так вот, говорит: да я тебе расскажу, какая она мать (в смысле — плохая!), она же убить тебя хотела (сама мне рассказывала) — что есть силы ударяла тебя о стену... (Да, видно в полном изнеможении — как у Чехова в «Спать хочется» — могла кинуть меня, беспрестанно орущего, на кровать, к стене... В общем, — милая моя, измотанная и несчастная мамуля!).

А потом (тоже — с рассказов родителей) — уже в 39-м году, в тюремном дворике — первое свидание с отцом.

— Это твой папа, — знакомит мать. Я кидаюсь от него, незнакомого страшного дядьки к матери, под защиту. Страшное переживание отца: не может сына взять на руки.

Ну, это — Владимир, Оргтруд. Да, а как красиво, как возвышенно звучит записанное в моем паспорте: место рождения — город Владимир. Один из древнейших и славнейших городов Руси: ***Владимир***! А на самом деле, я — из зачуханного, грязного и заплеванного полустанка «Станция Оргтруд» — так в первом моем паспорте и было записано. Потом уже, при смене паспортов, мы с паспортисткой, не понявшей, что это за место рождения такое — «Станция» (на вокзале, что ли?), да, еще какой-то «Оргтруд», записали это возвышенно-прекрасное: место рождения — город ***Владимир***!

Итак, Владимир не помню напрочь. Собираюсь как-нибудь съездить туда — и может быть, найду какие-то следы от той знаменитой фабрики...

А помню следующее. Обрывочные, но прекрасные (для моей памяти и моих очей) сцены. Они, как в фильмах Феллини–Тарковского или в бергмановой «Земляничной поляне», освещены каким-то неестественным, ярко-белым светом, — как бы на недопроявленной до конца фотопленке...

Итак — весна (по-видимому 1940 года).

Весна — потому что помню (ясно!) — солнце, не просто солнце, а всё заливающее ***Солнце*** — яркое, ярчайшее, мягкое, нежное, теплое (вот так — с такого Солнца для меня и начался этот Мир!). Я сижу в какой-то коляске-каталке, рядом — мальчик в зеленом бархатном пальтеце (это мой старший брат), он стоит у «бережков» бегущих по улице ручьев, они и сейчас перед моими глазами — все эти, в сверкающем солнце, ручейки — они как-то весело-радостно журчат, струятся, переливаются; мне от них весело и славно: солнце, синий воздух, журчащие ручейки и — Лёня какой-то палочкой что-то там подгоняет в этих ручейках (плывущие ли «носики», «кораблики» — не знаю) и поет песенку «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер!..».

И теперь, до сих пор, я не могу без какого-то особого, немыслимого волнения слушать эту песенку — она сразу возвращает меня в тот изумительно-прекрасный мир — с Солнцем, ручейками, с мальчиком в зеленом бархатном пальтишке, всё это наполняется ее звучанием — **мое Начало Мира!**

А 40-й год — это потому, что помню — отца. Он еще на свободе — после Владимирской отсидки. Берия, узнал я позднее, сменил Ежова и, как «хороший следователь» после «плохого», продемонстрировал гуманистические устремления, выпустив некоторых «политических» из тюрем (как выяснилось потом — на очень короткий срок). В общем, отец — на свободе — чтобы снова потом сесть, как я теперь знаю, где-то в середине 40-го. Следовательно, раз я его помню, мне где-то около двух лет (это, конечно, не короленковский «год с небольшим», но уж как было, так и было...).

Еще помню Лёнину школу (он, видимо, в 1-м классе, это — 382 школа в Сокольниках): масса детей, их юное буйство — шум, гам, смех, беготня, но главное — тоже Солнце, сверкающее в стеклах распахнутых окон, и тоже — Музыка (замечаю сегодня, что именно музыка наиболее полно и адекватно воспроизводит ощущения, чувствования от тех давних-давних ситуаций).

Диссонансом — Лёнина учительница Мария Захаровна (запомнилось вот и имя, и отчество — наверное, из-за этого самого «диссонанса»). Были как-то у нее дома с мамой и Леонидом — она лежала на кровати, болела. Говорили: «Умирает». Я чувствовал, что это какая-то волнительная, настораживающая, страшноватая ситуация, хотя и не понимал толком, что это значит. Что-то тяжелое, что-то очень неприятное легло — навсегда — на дно души. Оно никогда уже не исчезало, но всё же основное пространство памяти заполняли те распахнутые, блещущие солнцем школьные окна, песня «Из открытых окон школы слышны крики октябрят» и шум детской жизни...

И еще одна, забавная, примета Начала моего Мира. Я — у бабки Тани, на Короленко (на ул. Короленко). Там целые дни, не переставая, звучит радио. Не выключалось никогда. Помню, чаще других пели: «На закате ходит парень» и «Так будьте здоровы, живите богато». Черная, пергаментная радиотарелка — у двери, над сундуком (где спала бабка Таня) — портрет Сталина, в белом кителе, с поднятой рукой — доклад о Конституции (он долго там, и после войны, висел, тогда-то я и прочитал про «Конституцию»).

Это — обстановка. А «примета» состояла вот в чём.

По радио услышал, как мне показалось (по торжественному тону говорящего), важное сообщение. Пришел отец, сообщаю ему: «Ты знаешь, закончилась война с Англией». Отец: «Да с Англией у нас никакой войны не было!». Нервно настаиваю: «Была! Была! Я же слышал!». Был совершенно уверен — настаиваю до слез — обидно, что не верят моему такому важному сообщению. Потом выяснилось: с Финляндией! Перепутал Англию с Финляндией (ну, звучат же похоже!). Вот и считайте, сколько мне было, когда политикой начал интересоваться. Когда там с Финляндией мир заключили? Заглянем для верности в энциклопедию.

Мирный договор подписан 12 марта 1940 года, — сообщает Большая советская энциклопедия. Значит? Значит, мне был 1 год и одиннадцать месяцев. Снова: далеко до Короленко. Но, с другой стороны, Владимир Галактионович — какой-то бытовой пожар запомнил, а я-то — уже в мировую политику оказался погруженным!

И еще — образ предвоенных Сокольников. Мир звуков, запахов, красок. Под ослепительным солнцем — желтые цветы акации, фиолетовые — сирени, белые — черемухи. Огромные лопухи, березы и липы (разные запахи!). Застекленная веранда Толькиного дома, сам (довоенный) Толька — чистенький, приятный мальчик, с аккуратно подстриженным чубчиком, в фуфайке и коротких штанишках. Молодое, вечное, теплое, спокойное — в общем, довоенное (да, и всё это в обрамлении песни «Катюша» — это, по-видимому, Надька, Толькина сестра, распевала своим звонким голосом, летевшим над нашими маленькими двориками)...

...Вот такой он, этот лифт — вниз, по этажам годам, и дальше, дальше — через тысячелетия...

Дальше, дальше, дальше!..

глава 1. Школа Платона

(IV в. до н.э.)

Необыкновенная драматургия Платона
(«Государство» как художественно-философская драма)

Странное начало

Странно, очень странно начинается Платоново «Государство»:

«Книга первая

Сократ. Вчера я ходил в Пирей вместе с Главконом, сыном Аристона, помолиться богине, а кроме того, мне хотелось посмотреть, каким образом справят там ее праздник, — ведь делается это теперь впервые. Прекрасным было, по-моему, торжественное шествие местных жителей, однако не хуже оказалось и шествие фракийцев. Мы помолились, насмотрелись и пошли обратно в город.

Увидев издали, что мы отправились домой, Полемарх, сын Кефала, велел своему слуге догнать нас и попросить, чтобы мы его подождали... Немного погодя подошел и Полемарх, а с ним Адимант, брат Главкона, и Никерат, сын Никия, и еще кое-кто, также, вероятно, с торжественного шествия.

Полемарх сказал:

— Сдается мне, Сократ, вы спешите вернуться в город...

Адимант добавил:

— Неужели вы не знаете, что под вечер будет конный пробег с факелами в честь богини?

— Конный? — спросил я. — Это нечто новое. Будут передавать из рук в руки при конных ристаниях? Так я тебя понял?

— Да, так, — сказал Полемарх, — и вдобавок будут справляться ночные торжества, а их стоит посмотреть. Пожалуйста, останьтесь, не раздумывайте.

Главкон отвечал:

— Видно, придется остаться.

— Раз уж ты согласен, — сказал я, — так и поступим.

И мы пошли к Полемарху домой...»

И это — классическое философско-политическое произведение?! И это — научный труд о государстве?!

Вы можете представить себе, чтобы так начиналось политологическое сочинение какого-нибудь современного автора? Чтобы, например, Федор Бурлацкий (известный современный политолог и тоже, между прочим, автор работы о государстве) начал бы свою книгу так: «Был пасмурный осенний день, моросил холодный дождь, и ветер гнал по Тверской желтые листья. У памятника Юрию Долгорукому я неожиданно встретил своего давнего приятеля Григория — и чтобы согреться и немного поболтать о том, о сем, мы заскочили в ресторанчик ВТО, что на углу Пушкинской площади...». И — еще что-нибудь в этом роде на нескольких страницах... Что бы вы подумали об авторе? Об издательстве, выпустившем в свет эдакий «научный» труд?

Но, слава богу, вышеназванная книга Бурлацкого начиналась, на самом деле, нормально, как то и положено научному труду — с описания происхождения государства, определения его сущности, характерных черт, этапов становления и развития... В общем, и у автора, и у работников издательства с психикой все в порядке, все они — вне медицинских подозрений.

А Платон?

Да, странно, да, чудно он начинает.

Наверное, говорите вы себе, это — особенность древних трудов. Наверное, для античных авторов это было нормой: не спеша поговорить о том, о сем, не имеющем прямого отношения к делу, установить некий человеческий, дружеский контакт с читателем, расположить его к себе, а уж потом приступить к серьезному разговору. Ну, знаете, как это бывает перед серьезным разговором больших людей: несколько слов о здоровье, о погоде, пара-тройка анекдотов и забавных эпизодов из обыденной жизни, ну, и — к делу. И при прощании — так же: привет жене, детям, как они? Еще пара шуток. В общем, некий ритуал. Это ведь и сейчас так. А у античных авторов к тому же еще и свои, специфические причуды были. Например, серьезные философские трактаты излагать стихами — «Труды и дни» Гесиода, «О природе вещей» Лукреция Кара...

И отнесет современный читатель «странное» начало «Государства» на счет особенностей античного письма. И, вооруженный современными установками на «серьезное» чтение, постарается пролистнуть эти, «не имеющие отношения к делу» страницы, — чтобы начать с «сути», то есть с того, что относится к заявленной в заглавии теме — ***Государство***.

Пролистнет... И — пропустит самое главное. Пролистнет не просто десяток-другой страниц. Пролистнет... ***Платона***!

Платон (о чем заранее и со всей ответственностью хочу предупредить современного и, в первую очередь, юного читателя, к которому я, главным образом, и обращаюсь)... Платон — ***гений***. Потом, вчитавшись в него, вдумавшись в его писания, я уверен, вы убедитесь в этом сами. А пока примите, пожалуйста, на веру или даже, лучше сказать, на заметку: **Платон** — ***гений***. А это, помимо всего прочего, означает, что у него, как у всякого нормального гения, нет ничего случайного, «проходного», ничего, что можно «пропустить», «пролистнуть» как несущественное. У него все — каждая стра-

ница, каждая фраза, каждое слово — необходимы, несут громадную смысловую нагрузку.

Да, это может *выглядеть* как что-то внешнее, второстепенное, случайное по отношению к сути дела. Но не обманитесь, не примите легкость и изящество платоновского письма за внешнюю и необязательную *форму* изложения. Не примите простоту за поверхностность. Его «простота» и «прозрачность» — обманчивы. Как-то Плеханов сказал о Белинском: его, как всякого по-настоящему великого мыслителя, легче ***не*** понять, чем понять. Это — и о Платоне тоже.

Платон — гений. А это значит, что он не может начать с середины, продолжая разговор, начатый кем-то другим. Он должен начинать с Начала, с самого Начала и вести до самого Конца. Он должен начать с самых, что ни на есть, корней и еще глубже — с того, что этим корням предшествует. Гений, классик — это человек, удерживающий в своих руках, в своем сознании все концы и начала. Будь моя воля, я бы дал Платоновой книге подзаголовок: «Начала и Концы». Так бы и начертал на обложке: «Платон. Государство. (Начала и Концы)».

Платон начинает с того, с чего на самом деле — в реальной жизни и реальной истории — начинается тема Государства. Это только изуродованным специализацией, жестким (даже — жестоким) разделением труда профессионалам кажется, что история Политики, теория Государства начинается с неких фундаментальных теоретико-политических формул и постулатов, с разбора мудреных, высокоученых (понятных только Посвященным) дискуссий коллег по профессиональному цеху. Но так начинается только кабинетная, только учебно-школьная или учебно-вузовская политология.

В человеческой же истории и человеческой практике, в нормальной человеческой жизни, наконец, тема Государства начинается именно так, как у Платона, — с простейших жизненных ситуаций, с вопросов, которые задают себе постоянно и которыми мучаются простые, нормальные люди, занятые вполне обыденными, вполне земными делами.

Это же совершенно идиотски-перевернутое видение мира: считать насущные, «обыденные» потребности и интересы простых людей пустяками, не заслуживающими серьезного внимания и уважения, а вот Проблемы Государственного Строительства, жизнь Государственных Структур — причислять к Вопросам, единственно достойным больших умов. Это идиотское видение реальности навязывается нам извращенным и самодовольным бюрократическим мышлением, для которого человек — ничто, а Государство — Все!

Да, Платон был из государственнического сословия, и он знал о той значительной роли, которую играет государство в жизни человеческого социума. Но Платон еще был и Сократовцем. И, как верный Сократовец, понимал, что не государство первично по отношению к человеку, что это Человек создал государство для *своих* нужд, для решения *своих* проблем, что государство — это *его* инструмент, а не он — инструмент государства, что это государство для Него, а не Он для государства.

Потому и должно все начинаться с Его простых жизненных забот и потребностей, с вопросов, встающих перед ним во дни радостей, сомнений и печалей. Платон знал, что из этих простых житейских забот и каждодневных вопросов — через их сгущение, конденсацию — постепенно возникают фундаментальные вопросы человеческого бытия. А в ходе попытки ответа на них рождается и политическо-государственная проблематика, требующая для своего осмысления уже хорошо экипированного, теоретически и методологически, профессионализма.

Платон стремится перевернутому видению бюрократа противопоставить видение рядового, нормального человека. Потому и начинает — с обыденной, многократно встречавшейся каждому ситуации — со случайной встречи добрых знакомых, продолжившейся, как это тоже часто водится, застольной беседой, разговором «за жизнь» — на одну из тех вольных тем, что велись в давно прошедшие времена и ведутся по сию пору — на улицах, базарах, интеллигентских кухнях и которые, как бы они ни начались, заканчиваются одним и тем же: **кто виноват**, что так плохо обустроена жизнь людей, и — **что делать**, чтобы обустроить ее лучше.

Чтобы эта, **человеческая**, составляющая всех последующих теоретических абстракций прозвучала в должной, соответствующей ее значимости мере, Платон и строит свое произведение не просто как логическую систему движения понятий, но как жизнь человеческого сердца и духа. И потому его главное научно-теоретическое сочинение — одновременно и художественное, драматическое произведение, выстроенное по всем сценическим канонам.

Вначале, как водится —

Пролог

Обычный — жаркий и пыльный — афинский полдень. Тщательно выписанные декорации сцены. Гул праздника за кулисами. На авансцене — беглый, житейский разговор старых знакомых: не худо бы одним придти в гости к другим, провести время за ужином — до ночной конной эстафеты...

Поворот сцены, и —

Действие первое.

Завязка: что есть справедливость? («Улыбка Кефала»)

В доме Полемарха. Театральный луч Платоновского интеллектуального спектакля скользит по участникам пирушки. Скользит быстро, не останавливаясь ни на ком, они тут, в начале, пока не главные: Лисий, Евтидем, Главкон, Адимант, Фрасимах, Хармантид, Клитофонт, Сократ с Полемархом...

И вот луч неожиданно дрогнул и долгим светящимся пятном остановился на **Кефале**, отце Полемарха. И пока зритель вглядывается в освещенное лицо Кефала — «за кадром» звучит внутренний голос Сократа: «Он мне по-

казался очень постаревшим: прошло ведь немало времени с тех пор, как я его видел»[1]. Луч платоновского внимания продолжает движение по контуру фигуры Кефала: «Он сидел на подушке с венком на голове, так как только что совершал жертвоприношения во внутреннем дворике дома»; «мы уселись возле него — там кругом были разные кресла»[2]. Всё! Мизансцена полностью готова: в центре — Кефал, он будет главным героем начального действия, вокруг него (как вокруг центра) — участники действия.

Итак, **всё начинается с Кефала**. Поначалу — тоже житейски-бытово. Кефал благодарит Сократа, что он заглянул к нему, потом, как всякий пожилой человек, сетует на одиночество, вспоминает прежние, так быстро утекшие годы. И — естественным переходом: «Знаешь, Сократ, когда кому-нибудь приходит мысль о смерти, на человека находит страх и охватывает его раздумье о том, что раньше ему и на ум не приходило» — правильно ли он жил? Ведь, «сказания, передаваемые об Аиде, — а именно, что там придется подвергнуться наказанию тому, кто здесь поступал несправедливо, он до той поры осмеивал, а тут они переворачивают ему душу: что, если это правда?.. И вот его уже одолевают сомнения и опасения, он прикидывает и рассматривает, уж не обидел ли он кого чем... В общем, следовал ли он в жизни тому, что можно назвать справедливостью. Да и что такое справедливость?»[3].

Разливавший по чашам вино и вполуха слушавший стариковские сетования Полемарх небрежно, так это — между прочим, бросает что-то в том смысле — что-де какая тут может быть трудность в понимании справедливости. Справедливость? Да это элементарно: говорить правду (или говоря современным языком — «жить не по лжи»), отдавать то, что взял...[4]

Тут Кефал поднимается со своего кресла: ему-де пора уходить — заниматься священнодействиями; а «беседу, — объявляет, — я препоручаю вам»[5].

«— Значит, Полемарх, — говорит Сократ, — будет твоим наследником в беседе?

— Разумеется, — отвечал Кефал, улыбнувшись, и тотчас ушел совершать обряды»[6].

Все! Больше с Кефалом мы никогда не встретимся. Он ушел из интеллектуально-сценического пространства Платона навсегда.

Но почему, черт побери, он уходит «улыбнувшись»? Зачем понадобилась Платону эта ремарка? Какая разница, как уйдет Кефал, — «улыбнувшись» или не «улыбнувшись»? Ушел и ушел. Зачем эта, не идущая к делу, деталь? Зачем понадобилась Платону эта «улыбка Кефала»?

[1] Платон. Государство, 80.

[2] Там же.

[3] Там же, 82–83.

[4] Там же, 83.

[5] Там же.

[6] Там же, 84.

Да затем, что она — ключ к пониманию произошедшего. Она выдала тайну, движущую пружину всей этой истории. «Улыбнувшись» — значит, замысел хитрого старца удался: разговор, в который он хотел втянуть молодежь и своего сына — в первую очередь, завязался. А уж Сократ (Кефал знал его способности!) не даст огоньку этой вспыхнувшей дискуссии погаснуть.

Кефал уходит навсегда, полностью выполнив предназначенную ему драматургическим сюжетом миссию: он и только он — человек, который, по его же выражению, «уже ближе стоит к тому миру»[1] — и может быть зачинателем мучительных размышлений о назначении человека, о смысле человеческого бытия, о том, что значит быть праведником...

Сколько еще раз в истории Кефалы разных времен, стран и народов будут ставить эти вопросы перед собой и перед поколениями, следующими за ними. Пограничная ситуация — между «этим» и «тем» миром — время прямых и жестких вопросов. Время — когда уже не надо никуда бежать «по делам»: все возможные «дела» давно уже переделаны, на новые нет уже ни сил, ни времени. Время — когда, по сути, вообще уже ничего не надо, а только вот так опуститься, тяжело и устало, в кресло и, устремив в пространство свой взор, вопросить (неизвестно, впрочем, кого): «Зачем? Зачем все это было?»

«Он снял ноги, лег боком на руку, и ему стало жалко себя. Он подождал только, чтобы Герасим вышел в соседнюю комнату, и не стал больше удерживаться и заплакал, как дитя. Он плакал о беспомощности своей. О своем ужасном одиночестве, о жестокости людей, о жестокости бога, об отсутствии бога.

"Зачем ты все это сделал? Зачем привел меня сюда? За что, за что так ужасно мучаешь меня?.."

Он и не ждал ответа и плакал о том, что нет и не может быть ответа. Боль поднялась опять, но он не шевелился, не звал. Он говорил себе: "Ну еще, ну бей! Но за что? Что я сделал тебе, за что?"

Потом он затих, перестал не только плакать, перестал дышать и весь стал внимание: как будто он прислушивался не к голосу, говорящему звуками, но к голосу души, к ходу мыслей, поднимавшемуся в нем.

— Чего тебе нужно? — было первое ясное, могущее быть выражено словами понятие, которое он услышал. — Что тебе нужно? Чего тебе нужно? — повторил он себе. — Чего? — Не страдать. Жить, — ответил он.

И опять он весь предался вниманию — такому напряженному, что даже боль не развлекала его.

— Жить? Как жить? — спросил голос души.

— Да, жить, как я жил прежде: хорошо, приятно.

— Как ты жил прежде, хорошо и приятно? — спросил голос. И он стал перебирать в воображении лучшие минуты своей приятной жизни.. Но — странное дело — все эти лучшие минуты приятной жизни казались теперь совсем

[1] Там же, 82.

не тем, чем казались они тогда. Все — кроме первых воспоминаний детства. Там, в детстве, было что-то такое действительно приятное, с чем можно было бы жить, если бы оно вернулось. Но того человека, который испытывал это приятное, уже не было: это было как бы воспоминание о каком-то другом.

Как только начиналось то, чего результатом был теперешний он, Иван Ильич, так все казавшиеся тогда радости теперь на глазах его таяли и превращались во что-то ничтожное и часто гадкое.

И чем дальше от детства, чем ближе к настоящему, тем ничтожнее и сомнительнее были радости. Начиналось это с Правоведения. Там было еще что-то истинно хорошее: там было веселье. Там была дружба, там были надежды. Но в высших классах уже были реже эти хорошие минуты. Потом, во время первой службы у губернатора, опять появились хорошие минуты: это были воспоминание о любви к женщине. Потом всё это смешалось, и еще меньше стало хорошего. Далее еще меньше хорошего, и что дальше, то меньше.

Женитьба... так нечаянно, и разочарование, и запах изо рта жены, и чувственность, притворство! И эта мертвая служба, и эти заботы о деньгах, и так год, и два, и десять, и двадцать — и всё то же. И что дальше, то мертвее. Точно равномерно я шел под гору, воображая, что иду на гору, и ровно настолько из-под меня уходила жизнь... И вот готово, умирай!

Так что ж это? Зачем? Не может быть. Не может быть, чтоб так бессмысленна, гадка была жизнь? А если точно она так гадка и бессмысленна была, так зачем же умирать, и умирать страдая? Что-нибудь не так.

"Может быть, я жил не так, как должно?" — приходило ему вдруг в голову. "Но как же не так, когда я делал все как следует?" — говорил он себе и тотчас же отгонял от себя это единственное разрешение всей загадки жизни и смерти, как что-то совершенно невозможное.

"Чего же ты хочешь теперь? Жить? Как жить? Жить, как ты живешь в суде, когда судебный пристав провозглашает: «Суд идет!»" Суд идет, идет суд, — повторил он себе. — Вот он, суд! Да я же не виноват! — вскрикнул он со злобой. — За что?" И он перестал плакать и, повернувшись лицом к стене, стал думать все об одном и том же: зачем, зачем весь этот **ужас**?

Но сколько он ни думал, он не нашел ответа».

Это — не платоновский, это — русский, толстовский «Кефал» — Иван Ильич. Цитата получилась длинноватой, но как ее сократить? Это же Толстой!..

А эта, услышанная мной по телевидению, фраза М.С. Горбачева, с невыразимым страданием сказанная им за несколько дней до смерти жены: «Чем я занимался всю жизнь? Суетой! Раиса Максимовна просила: когда выздоровеет, — купить домик где-нибудь, вдали от шума и гама, на берегу моря; и чтобы — вместе, вдвоем, в тишине и покое... Я так и сделаю. Обязательно!»

Правда, едва похоронив жену, Михаил Сергеевич, следуя, по-видимому, инстинкту «рабочей лошади», всю жизнь, без устали, ходившей по кругу, вновь занялся обычной своей «суетой» — принялся создавать какую-то «объединенную социал-демократическую партию» — со странной (как всегда у

него), командой, странными (не имеющими никакой связи ни с реальной жизнью, ни с заботами простых людей), «программными установками». В общем — очередной тур «суеты сует». И трудно ему что-либо советовать: ибо тот «домик на берегу», без Раисы Максимовны, — зачем он?..

...Вот, стало быть, каковы эти «Кефаловы вопросы», постоянно поднимающиеся из глубин жизненных коллизий человеческого существования. И они-то, а не собственно государственные проблемы — **главные** для Сократа и Платона. **Их** надо бы обсудить, **их** надо бы решить. **Они**-то и предопределили всю нить повествования. А «государство» — возникнет где-то потом, после — как одно из срединных звеньев этой интеллектуальной нити. Оно возникнет как необходимое звено в движении и разрешении тех коллизий, с которыми столкнется теория и практика, уходящая корнями в вопросы о смысле человеческого бытия, о «назначении» человека в этом мире.

По ступеням этих обостряющихся коллизий и будет восходить Платонова мысль. И — начнет развертываться, раскручиваться действие, подогреваемое, подталкиваемое, движимое обостряющейся борьбой социальных и интеллектуальных противостояний.

Увлекательно следить за этой разворачивающейся на наших глазах драмой идей. Результаты этого нашего слежения будут тем более содержательными, если мы отдадим себе отчет, что перед нами произведение особого, редко встречающегося в мировой культуре, жанра. Я определил бы его как «интеллектуальную драму». Да, я утверждаю: произведение Платона — не «научный трактат» в его обычном понимании (хотя по части научности Платону трудно отыскать соперника в мировой истории). Произведение Платона — именно драматическо-**художественное** произведение, правда, особого типа художественности. В нем, как и в обычном художественном произведении, действуют живые люди, наделенные индивидуальными чертами, и действуют они — в конкретных, живых, подробно выписанных, обстоятельствах. И как в обычном художественном произведении люди эти — не просто «индивидуальности», но еще и определенные «типажи», «типы». Одно только важное различие: если «типическое» в обычном художественном произведении конденсирует в себе **социальное** (социальные черты и признаки), то платоновская типизация — это типизация философско-интеллектуальных, философско-нравственных сторон деятельности человека. Если Онегин, Печорин, Базаров — и индивиды, и носители *общих* («типических») черт определенных *социальных* групп, то герои Платона (все эти Полемархи, Фрасимахи, Главконы, Сократы) — носители, выразители, в первую очередь, типических черт групп определенной **идейной, интеллектуально-философской ориентации.**

У обычных художников пространство действия их героев — **социальная жизнь**, у Платона — **интеллектуальное бытие**, жизнь **духа.**

В общем, перед нами не художественная литература в обычном смысле слова и не обычный теоретико-политический трактат. Перед нами произведение, которое можно было бы назвать **художественно-философской драмой**.

К этому только еще одно пояснение. Может показаться невозможным и противоестественным соединение в «одном флаконе» художественного и научно-философского методов мышления. Форма художественности — «образ» (т.е. — представление «общего», «типического» в форме индивидуального), форма научности — «понятие» («общее» в форме «общего»). Говорят, что это несоединимо, что это принципиально разные способы отражения и освоения действительности, что это — «километры» и «килограммы» (попробуйте-ка их «соединить», попробуйте понять, что это будет за чудо — «килограммо-километры»). И потому, когда пытаются все-таки соединять и то, и другое, то в результате получают произведение, которое и не «искусство», и не «наука», а так, нечто находящееся «между ними» и потому не представляющее особой ценности ни для мира науки, ни для мира художественного творчества. Сколько мы знаем таких произведений, где «гармония» поверена «алгеброй», и в результате — бездарные творения (пышным цветом цветшие, например, во времена так называемого «социалистического реализма», требовавшего «отражения жизни» с точки зрения «научной идеологии», предписывавшего высчитанное с аптекарской точностью соотношение «положительных» и «отрицательных» сторон действительности).

Не спутать, не смешать нелепого «социалистического» кентавра с Жанром Платона!

Вы говорите, **в принципе** несоединимы методы художественного и научного мышления, эстетическое и научно-теоретическое. Но разве социальная жизнь людей не целостна и разве не органическими частями этой целостности являются эстетические, художественные и научные, теоретические ее аспекты? Разве человеческое бытие, в сути своей, не единство материально-вещного, материально-социального и идейного, интеллектуального, духовного? Да, в наше время эта «целостность» разделена, раздроблена (а то и разорвана); различные стороны, различные, внутренне связанные, сферы деятельности целостного человека противостоят друг другу. Да, целостная (по природе своей) сущность человека оказалась раздробленной, разорванной, развивающейся в социально-разделенной, «отчужденной» форме — это было и условием прогресса человечества на определенных этапах (ну, как же — специализация, профессионализация!), и причиной жестоких катаклизмов — когда «этическое» отрывалось от «научного» (и иные «ученые» были способны наслаждаться в*и*дением «великого научного эксперимента» — взрыва атомной бомбы над многосоттысячными японскими городами...), «интеллектуальное» от «физического» («голова» человечества отделялась от его «тела» и «мускулов», порождая односторонних, уродливых существ — физически ущербных «головастиков» — на одном полюсе, и «безголовых» с налитыми мышцами «трудяг» — на другом). В общем — когда «добро», «красота», «истина» выступают не как **стороны** деятельности целостного человека, а как самостоятельные сущности, часто не стыкующиеся друг с другом.

В таких условиях бытия и на самом деле трудно соединить «художественное» и «научное».

Но не будем забывать, что эпоха Платона — это эпоха, когда разрыв человеческой сущности еще не стал свершившимся фактом, когда «целостный» человек (во всяком случае — из числа **свободных** афинских граждан) был реальностью, когда поэтому содержанием его воспитания и образования было формирование не профессионально-одностороннего существа («профессионального кретина»), а — всесторонне развитой личности, которую Гегель назвал «прекрасной индивидуальностью»; систему подобного воспитания греки называли «каллогатией» — единством «физического» и «мусического» (эстетического, духовного). То была эпоха, когда связи индивида и социума были прозрачны, когда индивидуальное и социальное были органически слиты, когда социальное выступало превращенной, развитой формой индивидуального. Короче говоря, это было время, когда органическое единство всех сфер общественного бытия человека еще можно было разглядеть — и отразить в том синтетическом видении, которое и предложил Платон...

Мы еще увидим вновь воссозданную целостность человека и его деятельности, целостность человеческой личности, восставшую из пепла отчужденного, разорванного своего развития. И придут новые Платоны, в творчестве которых, в способах и методах освоения ими действительности, в жанрах их сочинений отразится это восстановленное органическое единство всех сторон общественного бытия. Придут новые Платоны, в сочинениях которых будет зримо просматриваться связь эйнштейновского мышления, толстовской художественности и кантовского философско-этического начала. И разве научно-эстетические герценовские «Былое и думы», разве художественно-философское полотно «Войны и мира», разве «Идолы и идеалы» Эвальда Ильенкова, разве солженицынские «Архипелаг Гулаг» и «Красное колесо» не являются впечатляющими примерами того жанра размышления и повествования, начало которому положил Платон?

Да и «килограммо-километры», между прочим, не такая уж, в определенных условиях, нелепица. Разве не в «тонно-километрах» исчисляется, например, работа водителей дальних перевозок («дальнобойщиков»)?

Платон — первый из таких «дальнобойщиков», везший свой интеллектуальный продукт из V — IV веков до н.э. — в вечность...

Действие второе

Наивный Полемарх: Справедливость? — Жить «не по лжи!»

— Значит, Полемарх будет твоим наследником (*в беседе*)?

— Разумеется, — отвечал Кефал, улыбнувшись, и тотчас ушел совершать обряды.

Полемарх *(разливая вино по чашам, небрежно)* Да, это же элементарно, Сократ. «Справедливость» — это говорить правду, отдавать то, что взял в долг, ну и т. д...

Сократ В общем, жить не по лжи?

Полемарх Вот именно!

Сократ А если напавшие на Афины враги будут спрашивать тебя, где затаились афинские воины?

Полемарх (*не колеблясь, без раздумья*) Им — солгу! *(И остановился, сам удивленный: оказывается, иногда можно и даже нужно — жить «по лжи»!).*

Сократ А врач, обнаруживший неизлечимую болезнь у больного?

Полемарх М-да… И тут, пожалуй, не грех будет солгать: правда может убить больного.

Сократ А отдашь ли ты оружие, взятое в долг у человека, который (прости за предположение) сошел с ума?

Полемарх Да, ему, пожалуй, отдавать не стоит — и себя может покалечить, и других убить…

Томительная пауза. Медленно цедят вино…

Полемарх Ну, хорошо. Уточняю: «справедливость» — это быть честным только с друзьями. В общем, творить добро друзьям и зло — врагам. Кажется, к этому даже ты не придерешься?

Сократ А ты легко различаешь, кто тебе на самом деле «друг» и кто «враг»? Не перепутаешь? Не сотворишь ли, по недоразумению, зло «друзьям» и добро «врагам»?

Полемарх Не перепутаю! Не перепутаю афинян со спартанцами!

Сократ Афиняне — «друзья», спартанцы — «враги»?

Полемарх Это — очевидно.

Сократ Опять «очевидно»! А *спартанский* царь Леонид и те триста *спартанцев*, что под его началом в сражении с персами в Фермопильском ущелье сложили головы, защищая свободу Эллады (и Афин, в том числе)? А с другой стороны, *афинянин* Критий и его друзья, тиранически правившие нашим полисом и уничтожившие многих наших с тобой соотечественников, не желавших быть при них холуями?..

Полемарх Вот она, знаменитая сократовская ирония — так и вяжет по рукам и ногам. Что ни скажи — всё оказывается полуистиной…

Вот примерно так выглядит у Платона завязь диалога Сократа с Полемархом (даю его в своем, кратком, пересказе; проверьте, если желаете, точность моей версии — загляните в параграфы 331–335 платоновского «Государства»).

Что же всё это означает? Зачем Сократ так запутывает бедного Полемарха? Куда ведет, к чему клонит? Он что, вообще против этих принципов—«не по лжи» и т.д.? Он—за то, чтобы действовать «по обстоятельствам»: выгодно тебе—режь правду-матку, не выгодно—лги без зазрения совести, так, что ли?

Да, не похоже это на Сократа.

Тогда—что же? Тогда—зачем? Тогда—почему?

Да очень всё просто. У Полемархов эти «принципы» вовсе не «принципы». Они—не жизненное кредо, не продуманная система ценностей, а—с чужих слов заученные и попугайски повторяемые ритуальные заповеди,—так, слова—и только: «помолился» утречком на эти «принципы» и—шагай в мир—воротить, как бог на душу положит. Поспевай только, чтобы не проплывало мимо то, что к твоим рукам может прилипнуть. Полемархи—и вот это-то и выявляет Сократ—**не живут** по этим принципам. И самое удивительное—не по причине сознательного лицемерия, а потому, что—как-то это так неожиданно для них самих получается—по ним, по этим принципам, почему-то **невозможно** жить. Жизнь подсовывает такие коллизии, такие ситуации выбора, что тут частенько не до правил «высокой нравственности».

Так задумайся, крепко задумайся над всем этим, Полемарх, а не болтай беспечно о «справедливости» и «высоких нравственных нормах». Просмотри свое жизнеповедение, проанализируй цепочки своих поступков и действий, разберись, каким установкам ты тут реально (а не в воображении) следуешь. Разберись, почему твои поступки так часто рассогласованы с твоими моральными заповедями. И—как к этому рассогласованию отнестись: менять принципы или менять поведение?

Вот к этому, вот к этим вопросам и «клонит» Сократ, на них пытается он натолкнуть Полемарха и слушающих их беседу юношей...

Растерянный Полемарх, примолкшие молодые люди и тихо торжествующий Сократ...

Тут обязательна пауза. Притушенный свет. Погрузившиеся в полутьму сцена и зрительный зал. И—музыка: тихая, мягкая, ненавязчивая—виолончель? скрипка? Нет, лучше, созвучней ситуации, наверное,—арфа, мягкий перебор струн, под который лучше, сосредоточенней думается. И вдруг мелодия обрывается—резко, на полуноте. Как это у Чехова—«звук лопнувшей струны». И—в ярком луче юпитера—лицо Фрасимаха, бледное, но решительное.

Действие третье

Циничный Фрасимах: Справедливость?—Выгода сильнейшего!

Сейчас, сейчас он, Фрасимах, вырвется из тягостной сократовско-полемарховской паутины: «Что за чепуху вы несете, Сократ!.. Что вы строите из

[1] Там же, 336с.

себя простачков, играя друг с другом в поддавки...»[1]. Сейчас он резанет им правду-матку: «Так вот я и говорю, почтенный Сократ: во всех государствах справедливым считается одно и то же, а именно то, что пригодно существующей власти; ... справедливо везде ... то, что пригодно для сильнейшего».[1]

«О, этот "грубый", этот "циничный" Фрасимах! — вот уже много веков негодуют в "зрительном зале" высоконравственные "театралы". — Он имеет бессовестность топтать возвышенные идеалы добра, честности, альтруизма и славить принципы насилия, своекорыстия, господства сильнейших, угнетения и подчинения "слабых", обеспечения своего благополучия за счет других...»

Осторожнее, аккуратнее, господа «театралы»! Не возводите напраслину на откровенного и прямодушного греческого юношу. Да вы вслушайтесь повнимательней в то, что он говорит: «во всех государствах **считается**...». Вы понимаете: не он «считает», а во всех государствах «считается»! Он говорит не о том, что **для него** желательно, что **ему** хотелось бы, а о том, как в реальной жизни люди действуют и «считают» (независимо от **его** желания или нежелания). Он просто говорит: солнце восходит на востоке, а заходит на западе. Только и всего! Он просто говорит: люди Эллады, граждане Афин живут и думают вот каким образом. Потому, если уж вам, господа зрители и господа комментаторы, хочется кого-то обвинить в «цинизме», то и обвиняйте этих самых граждан, а не отражающее их зеркало — Фрасимаха.

Меж тем, пустившийся во все тяжкие говорения правды-истины юноша продолжает с нарастающей эмоциональностью: «Надо обратить внимание, Сократ, величайший ты простак, на то, что справедливый человек всюду проигрывает по сравнению с несправедливым».[2] Заметьте снова: Фрасимах называет кошку кошкой, то есть действительно справедливого (по-сократовски справедливого) человека — «справедливым». И он, опять-таки в полном согласии с Сократом, называет преуспевающего насильника «несправедливым». Не наоборот — как то было бы свойственно действительному цинику и защитнику «правосильных», для которого «справедливыми» были бы преуспевающие люди насилия. И он очень толково, реалистически и убедительно очерчивает различие судеб в современном ему обществе — «человека-справедливого» и «человека-несправедливого»: «Прежде всего во взаимных обязательствах перед людьми: когда тот и другой ведут какое-нибудь общее дело, ты нигде не найдешь, что при окончательном расчете справедливый человек получил больше, чем несправедливый, наоборот, он всегда получит меньше. (*А что, разве не так было и есть во все времена — от античнорабовладельческого до развито-социалистического и информационно-постиндустриально-демократического общества? — Г.В. Здесь и далее* ***курсив*** *внутри цитат означает, что это —* ***авторский*** *комментарий*). Затем — во взаимоотношениях с государством, когда надо делать какие-нибудь взносы: при

[1] Там же, 339.
[2] Там же, 343d.

равном имущественном положении справедливый вносит больше, а несправедливый меньше, и, когда надо получать, справедливому не достается ничего, а несправедливый много выгадывает. (*Пусть кто-то попробует доказать, что это не так!*). Да и когда они занимают какую-нибудь государственную должность, то у справедливого, даже если ему не придется понести какого-нибудь иного ущерба, приходят в упадок его домашние дела, так как он не может уделять им достаточного внимания, из общественных же дел он не извлекает никакой пользы именно потому, что он человек справедливый. Вдобавок он вызывает недовольство своих родственников и знакомых тем, что не хочет покровительствовать им, если это противоречит справедливости. А у человека несправедливого все обстоит как раз наоборот. (*Мало что изменилось со времен Эллады, не правда ли, господа?*)[1]». И итоговая сентенция: «Я повторяю то, что недавно говорил: обладание властью дает большие преимущества. Это ты и должен учитывать, Сократ, если хочешь судить, насколько каждому для себя полезнее быть несправедливым, чем справедливым».[2]

Сейчас — внимание! Сейчас начнется очень странный обмен репликами, в ходе которого мы впервые увидим Сократа таким растерянным. И причина сего будет не в какой-то особой силе доводов или интеллектуальной мощи Фрасимаха. Просто устами Фрасимаха заговорят реальные жизненные факты. Факты, фантастически трудные для понимания и объяснения с помощью того этико-философского инструментария, которым располагал Сократ.

Тонко, драматургически-мастерски — через странность сократовских реплик — будет передавать нам Платон это необычное для Сократа состояние растерянности — свидетельство того, что великий мудрец выходит на такой уровень проблем, для решения которых нужна новая, более совершенная теоретическая экипировка. Мы увидим, как поначалу Сократ попытается обойти эту новую проблематику, несколько упростить ее, свести к проблемам прежнего, уже освоенного им уровня. И — как из этого ничего не получится.

«Добродетель ты называешь справедливостью, а пороком — несправедливость? Так?» — вопрошает Сократ и ждет от Фрасимаха опровержения: нет, дескать, для меня то, что ты называешь «справедливостью», — порок, а то, что ты именуешь «несправедливостью» — добродетель. О, тогда легко и свободно полилась бы речь Сократа — он, мы знаем, умеет хорошо критиковать подобные построения. Но Фрасимах, не задумываясь, самым что ни на есть безапелляционным образом отвечает: «Не иначе, дражайший!» (то есть он, как и Сократ, считает, что в принципе справедливость — это добродетель, а несправедливость — порочность). Но к этому еще добавляет, что «несправедливость», которая, хотя и «порочна», почему-то считается людьми «целесообразной» (то есть имеет опору в действительности и гораздо чаще, чем беспорочная справедливость, обеспечивает человеку и обществу жизненный успех).

[1] Там же, 343е.

[2] Там же, 344.

Это не то, что нужно Сократу. Он пытается зайти с другой стороны:

—Неужели… справедливость порочна?

Ах, какой же ты, Сократ, стал неловкий! Ну, ты же только что ведь спрашивал: назовет ли Фрасимах справедливость *добродетелью*. И получил от него *утвердительный* ответ…

Фрасимах не только не попадает в сократовские сети, но и каждым своим ответом ставит перед собеседником новые проблемы.

Итак, Сократ:

—Неужели… справедливость порочна?

Фрасимах:

—**Нет**, но она весьма благородная тупость.

Великолепно! Фрасимах просит собеседников обратить внимание на то, что в тех, «высоких» и «благородных», принципах есть нечто оторванное от реальной жизни, не сопрягающееся с ней; и при попытках (естественно, безуспешных) все же внедрить эти принципы на не соответствующую им почву—и возникает ощущение тупика или, как сказал Фрасимах,—***тупости*** (хотя, конечно, и в самом деле,—«благородной»).

И приходится признать, что, как ни крути, элементы такого рода «тупости» вкрадываются и в реплики Сократа (что, кстати, так нехарактерно для его обычного, нормального состояния):

—Разве несправедливые кажутся тебе разумными и хорошими?—это он уже третий заход делает.[1]

И снова Фрасимах безупречен:

—По крайней мере, те, кто способен доводить несправедливость до совершенства и в состоянии подчинить себе целые государства и народы.[2]

Кажется, что это—цитата из Макиавелли—за двадцать веков до его рождения. То, что в обычном обиходе называют «несправедливым», «жестоким», «аморальным», без всякого колебания применяется на практике сильными мира сего—и это часто оказывается наиболее эффективным способом защитить свое государство от посягательств извне, сделать его сильным и независимым. Разве это не так, разве это не констатация реального положения дел? Разве тебе неизвестно, Сократ, что честные, добрые, совестливые, гуманные правители терпели сокрушительное фиаско в борьбе с безнравственными, готовыми на всё соседями—разве овцы устоят против волков и шакалов! И это ведь не просто их *личные* поражения и беды, это поражения и беды той *страны*, тех *граждан*, которым выпала судьба жить под руководством не способных жестко отстаивать интересы своей страны прекраснодушных правителей.

Ну, скажи, Сократ, положа руку на сердце, так это или нет? Да или нет? Ну, добавь, если угодно: «к сожалению», «к несчастью», но признай: «К сожалению, к несчастью (к чему угодно), но это—так!».

[1] Там же, 348d.

[2] Там же.

Но нет, Сократ уклоняется, до последней возможности:

— Мне прекрасно известно, что ты этим хочешь сказать, но меня удивляет, что несправедливость ты относишь к добродетели и мудрости, а справедливость — к противоположному.[1]

Ну, Сократ, это уж слишком! Человек тебе уже битый, наверное, час растолковывает, что он думает иначе, чем ты только что ему приписал, и на все твои прямые вопросы отвечает с не допускающей сомнения ясностью и определенностью. Ну, не относит Фрасимах «несправедливость» к добродетели и мудрости, а «справедливость» к «недобродетели». Он так же, как и ты, считает «справедливость» очень симпатичным и добродетельным принципом *обычной морали,* а «несправедливость» — принципом «плохим» и «недобродетельным». Просто он добавляет еще, что почему-то «плохие», «недобродетельные» принципы обеспечивают человеку успех в жизни, а «добродетельные» — ведут к катастрофе.

Ты, Сократ, не можешь объяснить, почему так происходит в жизни, и невольно стремишься упростить проблему. Ты *сам*, за Фрасимаха, вдруг формулируешь его позицию не соответствующим его взглядам образом.

И тогда-то уставший от твоих странных вопросов Фрасимах отвечает, с несомненной иронией:

— Конечно, именно так.[2]

Однако, ты, такой обычно чуткий к интонации собеседника, делаешь вид, что не чувствуешь иронии (уж очень нужно тебе это «согласие», выдавленное из Фрасимаха!), и не без удовольствия комментируешь:

— Это уж слишком резко, мой друг… (т.е. — слишком резко, слишком абсурдно называть аморальность добродетелью и мудростью).

Вот ведь, как: *самому* — за оппонента! — сформулировать в угодной тебе форме тезис, получить иронический ответ и после всего этого — говорить на повышенных эмоциональных тонах о резкости «оппонентских» формулировок! И, мало того, — потом еще пространно опровергать эту приписанную оппоненту точку зрения: «Если бы ты утверждал, что несправедливость целесообразна, но при этом, подобно другим, признал бы ее порочной и позорной» — это бы, дескать, еще ничего. (Но, Сократушко, дорогой! Да он же так именно и утверждал. При чем же здесь твое «если»?) А теперь, — продолжает Сократ критиковать позицию, приписанную им Фрасимаху, — ясно (ясно?), что ты станешь утверждать, будто несправедливость — прекрасна и сильна и так далее, то есть припишешь ей все то, что мы приписывали справедливости, раз уж ты дерзнул отнести несправедливость к добродетели и мудрости».[3] О, господи! Да это ты, Сократ, «дерзнул» приписать ему все это. И снова ироническая реакция Фрасимаха: «Ты догадался в высшей степени

[1] Там же, 348е.

[2] Там же.

[3] Там же.

верно».[1] (Ирония тем более уместная — после того, как Фрасимах неоднократно говорил прямо противоположное, отвечая на прямые вопросы Сократа). Шутливо-ироническая реакция Фрасимаха очевидна для всех. Но Сократу надо обернуть ее в свою пользу: «Мне кажется, Фрасимах, ты сейчас нисколько не шутишь, а высказываешь то, что представляется тебе истинным»[2]. (Во всяком случае, так хочет думать Сократ: ну, скажи, что не шутишь, скажи, что ты на самом деле так думаешь...)

И — поразительный (браво, Платон!) ответ Фрасимаха, порядком уставшего от неуклюжих сократовских попыток выдавить из него желаемое:

— Не все ли тебе равно, представляется мне это таковым или нет? Ведь мое утверждение ты не опровергнешь.

...И снова притушивается свет

Все! Фрасимах больше не нужен Платону. Он, выполнив свою миссию, уйдет со сцены — вслед за Кефалом и Полемархом. Каждый отыграл свою роль. Кефал поставил проблему: «Что есть праведная жизнь? Что значит — жить "по справедливости"?» Полемарх, щегольнув поначалу знанием нравственных прописей, запутался затем в том, *как (и возможно ли вообще)* руководствоваться ими во всех жизненных обстоятельствах. Подталкиваемый сократовскими вопросами, Полемарх вдруг обнаружил, что нравственные прописи, хотя и звучат привлекательно, но подчас плохо сопрягаются с реальной жизнью.

А их и не надо «сопрягать» с жизнью» — для раскрытия этого тезиса понадобился Фрасимах, объяснивший, что реальная жизнь выстраивается совсем не по тем возвышенным правилам нравственности, что внушаются людям с детства; что она зиждется на своекорыстии, на «праве сильного», на всевластии правителей. Хорошо это или плохо? Вопрос не корректен. Плохо или хорошо, что солнце всходит на Востоке? Плохо или хорошо, что день сменяется ночью? Так оно есть — и все тут! «Нравится» это тебе, не «нравится» — принимай эти условия твоей жизнедеятельности и приспосабливайся к ним. Волки не могут не поедать овец, и не надо никаких стенаний по этому поводу («ах, бедненькие, несчастненькие овечки!»), не надо мечтаний о выведении какой-то невероятной (невероятно прекрасной!) породы — волков-вегетарианцев... И ты не опровергнешь это, Сократ!

И самодовольный Фрасимах покинет авансцену. И будет очередная пауза, только более длительная, чем предыдущие, — ибо более сложна проблема и более сложны над ней размышления. Неужели Фрасимах смог так сильно смутить Сократа? Неужели мудрый старец пасует перед этим самоуверенным молодым человеком? Да нет, конечно. Не перед Фрасимахом пасует Сократ. Перед ***проблемой***!

(Вообще, заметим в скобках, все эти Кефалы, Полемархи, Фрасимахи — не что иное, как грани самого Сократа. Мысли, ими озвучиваемые, — это

[1] Там же, 349.

[2] Там же.

мысли самого Сократа, которые в его голове сопоставляются, развертываются, сталкиваются. Это не столько диалог этих людей между собой и не диалог Сократа с ними, это — диалог Сократа с самим собой. Это не *собеседники* приводят Сократа в замешательство. Это в *его голове* не сходятся подчас концы с концами, это *его* идеи ввергают его в трудноразрешимые ситуации. Все это и означает: Сократ пасует не перед собеседниками. Перед ***проблемой***!)

Действие четвертое

Растерянный Главкон: почему справедливый всегда несчастен?

Одновременно с вновь вспыхнувшим на сцене светом — реплика Сократа, как бы продолжающая прерванную антрактом беседу, — в спину уходящему в глубину кулис Фрасимаху:

— Следовательно, чудак ты, Фрасимах! — несправедливость не может быть выгоднее справедливости.

Но Фрасимаху спор перестал быть интересным. Довольно! Он высказал все, что хотел. Отстреливается иронической репликой:

— Ну, и угощайся этим, Сократ...

Взял чашу с вином и устроился там, в затемненном углу, запрокинув голову на спинку кресла и закрыв глаза, — надо же отдохнуть немного, до конной эстафеты...

Луч юпитера, следовавший за уходящим в глубь сцены Фрасимахом, перескакивает на Главкона, — передавая ему эстафету в беге коллективной мысли.

Пусть световое пятно, разгораясь все ярче и ярче, подольше задержится на лице Главкона — его как-то особенно надо выделить.

Попробуйте спросить у читавших «Государство», что они могут сказать о Главконе — девять из десяти, нет — девяносто девять из ста даже не вспомнят такого. А вспомнит его десятый (нет — сотый), — и не найдет в его речах чего-либо стоящего внимания и запоминания, — так, один из малоинтересных собеседников Сократа, коснувшийся малозначащих и второстепенных вещей. И Главкона «пролистывает», «просматривает» не только, что называется, массовый, обыкновенный читатель, но и нередко комментатор-профессионал. Прочтите, интереса ради, как, например, позиция Главкона излагается в комментариях к «Государству»: «Главкон ставит вопрос о том, к какому виду блага может быть отнесена справедливость, а затем четко формулирует точку зрения единомышленников Фрасимаха: справедливость — изобретение слабых людей, неспособных творить несправедливость, а несправедливость всегда выгодна, и возможно сравнивать, насколько счастливы человек справедливый и человек несправедливый, только рассматривая их у предела»[1]. И

[1] Платон. Собр. соч., М., 1994, т. 3, с. 561.

всё!! Получается, что Главкон всего лишь «четко формулирует точку зрения единомышленников Фрасимаха». Если так, то «пропустить», «пролистнуть» Главкона — нет никакой беды. Зачем и кому нужен повтор Фрасимаха! Да, и куда уж «четче» самого Фрасимаха, резкого и определенного, можно сформулировать его точку зрения!

А между тем, господа, Главкон — не проходной, не второстепенный персонаж, не бледная тень Фрасимаха. Он — *ключевая фигура* «Государства». Именно он формулирует *центральную проблему* всей Платоновой работы. Проблему, которая оказывается не решаемой для Сократа (в чем великий античный мудрец открыто и признается) и для решения которой надобится Платон со своим многосотстраничным «Государством». Главкон — это **мост, разделяющий и соединяющий Сократа и Платона.** Вот что такое Главкон!

Одно только «замечание на полях». Не ищите в справочниках, энциклопедиях, специальных исследованиях по античной философии имя Главкона. Это ведь не какой-то реальный Главкон, это Платон устами своего *героя* формулирует Проблему. Не существует Великого Главкона, есть только Великий Платон, скрывающийся за спиной своего героя.

Еще раз: не пропустите, не пролистните платоновского Главкона. Без понимания Проблемы, им формулируемой, «Государство» останется совершенно не понятым произведением, книгой за семью печатями...

Как и в любом эстафетном беге, Главкон начинает там, где кончил Фрасимах: «Я снова вернусь к рассуждению Фрасимаха...»[1] То, что перестало быть интересным Фрасимаху, становится безумно интересным и страшно важным для Главкона.

И — **начинается монолог Главкона**, обращенный к Сократу. Ослепительно-яркий, оранжево-красный свет на разгоряченно ораторствующем Главконе, сдержанно-мягкий — на внимательно слушающем Сократе, и в легкой полутьме — все остальные. Монолог платоновского Главкона заслуживает быть процитированным целиком. Но, увы, это была бы цитата на полтора десятка страниц. Это — чересчур, так не цитируют. И потому передадим пафос его речи в нашем изложении (захотите проверить степень его соответствия оригиналу — раскройте «Государство», 358–368).

Итак, внимание: **на авансцене Главкон:**

— Я вернусь к Фрасимаху. Я совершенно растерян, я совершенно сбит с толку его речами, в которых он так зримо, так (не могу, к сожалению, не признать!) убедительно показывает, как устроен наш, человеческий, мир, как складываются в нем отношения между людьми и государствами.

Да, мне ненавистны, отвратительны те циничные принципы жизни, о которых говорил Фрасимах. Я не желаю жить «по Фрасимаху». Мне ненавистно это «право сильнейшего», перешагивающего через нравственные нор-

[1] Платон. Государство, 358.

мы, — в целях достижения желаемого для себя результата. Я хочу жить «по Сократу»! Всей душой, всем сердцем я — с Сократом!

Вот выкрикнул «всем сердцем» — и запнулся, и остановился. «Сердцем» — да! А разумом? А разум подавлен фрасимаховской логикой, его неоспоримыми доказательствами, что и в государственной, и в личной жизни достигают успеха и почитания, как правило, люди, не слишком щепетильные в вопросах морали.

Я не понимаю, я не могу найти каких-то убедительных ответов — почему нравственный, добродетельный, справедливый человек обречен (это доказывает Фрасимах и с этим, по сути, соглашаешься ты, Сократ) на то, чтобы провести свою жизнь в страданиях, и чем он нравственней — тем безмерней его страдания. Почему? Кто и зачем так устроил? Если «нравственность», «справедливость» — это «хорошо», то почему тогда это «хорошо» не защищает и не поощряет общество? Зачем оно наказывает этого человека? Почему, с другой стороны, оно щедро вознаграждает людей безнравственных и безнравственных правителей — в особенности, даруя им прижизненную и посмертную славу? Почему?

(Сократ поднимает руку, желая вклиниться в монолог юноши…)

— О, я знаю, Сократ, ты сейчас скажешь, что я неверно употребляю слова. Что, дескать, «вознаграждение» безнравственных людей — богатством, благополучием, славой — призрачное, обманчивое «вознаграждение», что это скорее — «наказание»: их, этих «преуспевающих» фрасимаховцев, всю жизнь будет мучить нечистая совесть, у них будет неспокойный, тяжелый сон и полная раскаяния и сожалений старость; они всю жизнь будут страдать неизлечимой болезнью души. А вот нравственный человек, хотя и — бедный, хотя и — гонимый, хотя и — не осыпанный дарами общества, живет в полном душевном и психологическом комфорте — в соответствии со своими убеждениями и принципами; а это и есть подлинное «вознаграждение», это и есть настоящее «счастье». Все это я много раз слышал от тебя, Сократ. И доля истины (даже — значительная) во всем этом, конечно, есть. И, повторяю, *сердцем* я все это воспринимаю.

Но, во-первых, нашептывает мне Разум, почему столь дорога плата за это «счастье» — плата поломанными судьбами детей, жены, близких, учеников (которых ты, великий «нравственник», даже не спрашивал, готовы ли, согласны ли они жить на твой манер), да и собственными страданиями? Можно, конечно, прибегнуть к словесным фокусам (извини за невольно передавшуюся мне фрасимаховскую прямоту и резкость, но говорю — как думаю) — и обозвать «страдания» (в нормальном, человеческом, общепринятом смысле) «удовольствиями» (в некоем абстрактно-философском понимании), «несчастье» — «благом», «горе» — «радостью» и т.д. Можно *назвать* себя, униженного и гонимого, «благополучным» и «счастливым» человеком.

Нет, нет, не хочу огрублять и оглуплять твою мысль, Сократ. Такое, повторяю, действительно, возможно — скажем, в обществе, жестко поделенном на угнетателей и угнетенных, на палачей и жертв. Быть «преуспевающим»

палачом — несчастье, да лучше уж — жертвой! Но есть что-то преувеличенно-экзальтированное в назывании «счастливым» человека, которому палач отсекает голову…

Меня, во-вторых, повергает в полную растерянность и тупую интеллектуальную апатию тот совершенно очевидный и бесспорный (убедительно изложенный нам Фрасимахом) факт, что шанс принести пользу своему Отечеству и своим согражданам имеет *только* тот государственный муж, который в борьбе с государствами-соперниками действует строго «по Фрасимаху», т.е. — тот, кто способен во имя победы своего государства, не колеблясь, спокойно и решительно, перешагивать через всякие там морально-нравственные ограничители. Нравственный же, справедливый человек на месте политического руководителя, не способный на хитрость, коварство, жестокости, на пренебрежение моральными нормами, — источник не блага, не добра, а — больших бед для своего государства и своих сограждан. Он будет терпеть поражения в военных схватках с государствами-соперниками, он не удержит подданных в рамках закона (ибо для этого частенько приходится прибегать к не слишком моральным действиям — принуждению и насилию), он не сможет обеспечить разумного баланса различных интересов в обществе, не сможет заставить противоборствующие социальные силы соблюдать этот баланс. Иначе говоря, он не сможет обеспечить общественную стабильность — важнейшее условие успешного социального развития. И уж не знаю, будет ли такой «честный» и «справедливый» деятель, разваливший страну и превративший своих сограждан в данников, рабов соседних государств-победителей, «спать спокойно», будет ли он испытывать состояние «счастья»…

И снова — пауза, снова — полумрак на сцене и в зале — для анализа, размышлений, напряженной работы мысли и сердца — для тех, кто «на сцене», и для тех, кто «в зале». И проходят перед их мысленным взором картины истории, полностью подтверждающие эти, какие-то очень несимпатичные тезисы.

Ведь все они, «великие» госмужи, одним мирром мазаны! Тот же Фемистокл, военный руководитель Афин, этот Идеал всего греческого мира… Вот он крутится в трагической ситуации 479 года до н. э.

Объединенный греческий флот (под командованием спартанца Эврибиада и его заместителя афинянина Фемистокла), отступая, маневрируя, уклоняясь от решительного сражения с персами, входит — для передышки — в Саламинский пролив.

Эврибиад и Фемистокл — поздним вечером, в каюте командующего.

— Эврибиад! Всё! Хватит отступать. Нужно сражение. Здесь, в проливе. Только тут мы имеем шанс победить: узкое водное пространство лишает маневра громоздкие и неповоротливые персидские корабли, наши же — легче и маневренней, они будут иметь здесь большое преимущество; и — рифы: весь пролив в рифах, мы их знаем, как свои пять пальцев, персы же о них и представления не имеют. На рифах разобьется половина персидского флота.

— Нет! У меня нет подобной уверенности. Я уже отдал приказ: утром выходим из пролива и идем к берегам Пелопоннесса.

— Пелопоннесса? Поближе к твоей Спарте? Но там, в открытом море, нас наверняка разобьют. Ты хочешь пожертвовать нашим флотом, чтобы ослабить военную мощь персов и тем сделать возможным сопротивление им на суше, у границ Спарты? Ты меряешь все интересами Спарты!

— А ты — Афин!

— Нет, я — всей Эллады... Послушай, Эврибиад...

Командующий гневно замахнулся жезлом (да, был в Древней Греции такой оригинальный способ воздействия на упорствующего в своих взглядах подчиненного!).

— Бей, но выслушай!...

Эта фраза потом пойдет гулять по страницам различных сочинений, часто становясь эпиграфом к произведениям, в которых автор высказывает всю правду, заведомо зная, какую волну гнева поднимет эта правда у Начальства. Но сейчас она — экспромт, и звучит впервые:

— Бей, но выслушай!...

— Я сказал: нет! Утром мы покинем пролив...

И тогда — летит с преданным Фемистоклу слугою, на тайном суденышке, письмо царю персов: понимаю безнадежность нашего положения, хочу облегчить и ускорить твою победу (надеюсь, ты оценишь мою помощь тебе!); лучшего места для разгрома нашего флота, чем Саламинский пролив, найти трудно: мы загнаны тут в угол; доношу тебе, что Эврибиадом отдан приказ — на рассвете выйти из Саламинской ловушки в открытое море; поспеши закрыть входы и выходы из пролива.

И — поверил Ксеркс, и закрыл он к утру все «входы и выходы», и неизбежным стало сражение. И взгромоздился Ксеркс на золотой трон, что поставили на вершине берегового холма — лучшее место, чтобы лицезреть разгром вражеского флота.

Хмурый, потерянный, бегущий от ответственности Эврибиад: «Ты хотел этого, Фемистокл. Так бери командование в свои руки!..»

И несколько часов спустя — предвиденная Фемистоклом ***Победа***! ***Полная и безоговорочная***!! И — сохранившая свободу Эллада. И — всегреческая слава Фемистокла.

А не схитри Фемистокл, не обмани (своего — Эврибиада и чужого — Ксеркса), не поступись он «святыми» нравственными заповедями, — быть бы греческому флоту битым, а афинянам и спартанцам — рабами персов.

Но самое удивительное, самое поразительное (и это особенно важно для понимания проблемы, содержащейся в речах Главкона) — это то, что Аристид (единственный, с кем посчитал нужным поделиться своим «коварным» замыслом Фемистокл, честнейший, благороднейший Аристид, вошедший в

историю как абсолютный образец нравственности) ***не*** высказался против замысла Фемистокла! Даже у него политическая целесообразность взяла верх над принципами морали!

Может быть, это была уникальная ситуация, в которой лоб в лоб столкнулись требования морали и политической целесообразности? Может быть, это — исключение из правил? В том-то и дело, что — нет. Такое в политике случается едва ли не на каждом шагу. Это-то в политике и есть «правило». *Вся* деятельность Фемистокла (кстати, далеко не самого не-нравственного из политиков древнего мира) — тому подтверждением!

Так, сразу после победы над персами началась ожесточенная конкуренция в уже «свободной» Элладе между Афинами и Спартой. И вот Афины начинают возводить высокие и мощные стены, протягивая их до приморского предместья Афин — до Пирея (14 километров — туда и обратно!). Замысел ясен: превратить Афины в комплексе с Пиреем в морской порт, а Афинское государство — в морскую державу; а заодно застраховаться на случай возможной агрессии со стороны Спарты (слабой — на море и непобедимой — на суше). Спарта, естественно, — против: это будет проигрышем в конкурентном противостоянии — неприступные стены сделают Афины неуязвимыми на суше, а на море они и так господствуют. Нарушаемый баланс интересов и сил вынуждают Спарту в ультимативной и угрожающей форме потребовать прекращения начатых Афинами строительных работ.

Успокоить (а если сказать точнее — обмануть, обвести вокруг пальца) своего недавнего союзника поручается отправляемому в Спарту Афинскому посольству во главе — ну, конечно же, с кумиром всей Эллады Фемистоклом, слава которого и доверие к которому всех греков безграничны. Задача посольства простенькая: выиграть время, в течение которого Афины возведут свои стены. Средства достижения сей патриотическо-афинской цели — любые, без каких-либо ограничений.

И вот неделю, не спеша, с продолжительными остановками (ну, лошадей кормить как следует надо, члены посольства тоже не железные, требуется отдых, то, се), едем до Спарты. Добравшись, наконец, целый месяц водим своих бывших боевых друзей за нос: то не можем, как следует не обустроившись, начать переговоры (неделя — на обустройство!), то, начав переговоры, внушаем спартанцам, что это никакие не капитальные стены, а некие невысокие, временные ограды — то ли от разбойников и пиратов, то ли от диких хищников (которых, ох, сколько развелось под Афинами), в общем, никаким серьезным средством защиты они служить не могут (еще неделька!), то долго и тщательно выверяем состав предложенной Фемистоклом (какой благородный жест!) совместной афинско-спартанской комиссии, которая поедет в Афины, чтобы на месте (своими глазами!) убедиться в правдивости слов героя Саламинской битвы (еще десяток дней!). А когда, наконец, нам из Афин сообщат: «Всё! стены готовы!» — мы вежливо приостановим переговоры...

А стены? Ах, да, стены... Да вот, видите ли какая тут история приключилась: обманули нас с вами эти несносные афинские ремесленники и купцы —

построили, лукавцы! Ну, что ты будешь с ними делать! Решили самого Фемистокла обхитрить! Ну, подождите, обманщики, вот вернется великий полководец в Афины, он там разберется с вами!..

Как «победитель персов» «разобрался» с ними, история умалчивает. Но выстроенные «длинные стены» остались стоять — на десятилетия…

М-да… Не слишком нравственно, не слишком порядочно вел себя в этой истории знаменитый афинский политик. Но зато каков результат: афиняне защитили себя от любого возможного агрессора на суше, обеспечили себе доминирование на море; став морской, торгующей, открытой для всех полисов державой, достигли, в итоге, невиданного по тем временам экономического взлета, а с ним — политического и культурного расцвета, подготовив пришествие «золотого века» Перикла — века, которым восхищается и интеллектуальными соками которого уже много веков питается все человечество…

Главкон (словно продолжая внутреннюю работу мысли «зрителей»):

— А вы хотели бы, чтобы во главе Афин стояли не Фемистоклы, а безупречно честные и абсолютно нравственные политики? Ну, и получили бы Афины, подвластные Спарте, — с классно, по-спартански, вымуштрованной пехотой и бесстрашной конницей, но без Эсхила, Аристофана, Софокла, Фидия, Анаксагора, без Парфенона и Афины Паллады. Вы хотели бы, чтобы на месте афинских народных собраний, где каждый ощущает себя значимым и уважаемым членом полисной семьи, была спартанская казарма? Вы хотели бы, чтобы на месте афинской всесторонне развитой, прекрасной индивидуальности был безупречный в выполнении приказов начальства спартанского типа воин?

Я, Главкон, этого бы не хотел!

Но почему все успехи Афин оказались возможными *только* в результате политики, пренебрегающей нравственностью? Вот что давит, вот что гнетет мою мысль и мое сердце.

И еще один, совершенно обескураживающий меня аспект той же проблемы, не касающийся уже «высоких» государственных действий, а связанный с повседневной жизнью граждан.

Совершенно очевидно, что относиться друг к другу в соответствии с принципами морали могут только подобные друг другу, только равные люди. «Хорошо смеяться среди равных», — говорят мудрые. А тем более «среди равных» — жить! Общественное равенство — вот, по-видимому, жизненное пространство добродетели и нравственности. Только общество «равных» (отдаю себе отчет в неоднозначности, некой неопределенности, многослойности и «многосмысловости» этого понятия, но употребляю за неимением лучшего и с надеждой в дальнейшем его уточнять и детализировать), так вот, повторяю, только общество «равных» способно покончить с «фрасимаховским» «правом сильнейшего», с двойным жизненным стандартом, — когда некие «сильнейшие» позволяют себе относиться к другим («низшим», «слабейшим») — так, как не позволяют им относиться к себе, любимым.

«Ай да Главкон! — замечаю про себя я, зритель XXI века, следящий за философской драмой давних времен. — Еще не родилось знаменитое библейское "золотое правило": "Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе", еще идея эта не отлилась в классическую философскую формулу "категорического императива" Канта, — но суть, но смысл того, что будет "золотым правилом нравственности", и того, что будет названо "категорическим императивом", уже, оказывается, неплохо известны древним».

Главкон:

— Да, «равенство» — это, по сути, другое название «нравственности». Это — почти синонимы. Во всяком случае, это — неразрывная категориальная пара. И, стало быть, если я хочу жить «по Сократу», я должен строить «общество равенства», я должен быть противником всякого социального неравенства (которое-то и порождает циничные и отвратительные «права сильнейших»); *только* тогда я смогу прожить свою жизнь, не изменяя Истине, Добру и Красоте. Получается, общество «равных» — вот идеальное человеческое общежитие, к которому надо стремиться всем сердцем и всей душой.

Так это просто, так это ясно, так это очевидно.

Но почему, скажите, объясните мне, факты истории, судьбы народов так беспощадно стирают эту «ясность», так жестоко разрушают эту «очевидность»?

Ведь эти «идеальные» общества равных, весьма распространенные в древние времени, терпели жесточайшие поражения в соревновании с обществами «неравных», с обществами, разделившимися на управителей и управляемых (а потом — на господ и рабов), — поражения военные, экономические, культурные. И понятно — почему. В обществе «неравных» выделяются и совершенствуются группы профессионалов — политических управителей, военных стратегов, экономических руководителей. Да, они не «равны» основной массе сограждан. Но эта «основная масса» освобождает их от тяжелого, физического труда — создавая им возможности совершенствоваться в *руководстве* всеми сферами жизни общества. И, конечно, сообщества, ведомые этими профессионалами, легко побивают общества, не сумевшие ввести это разделение социальных функций между людьми. Может, в этих, социально неразделенных, обществах и «хорошо смеяться» «среди равных», может, в них — и симпатичная нравственная атмосфера (все — «равны», все — «братья» и «сестры»!), но это — общества обреченных. Обреченных — на экономический тупик, культурный застой, военные поражения в битве с «неравными». Иначе говоря, они обречены на гибель.

Так как же можно желать такого общества, как можно видеть в нем какой-то «идеал»? Выходит, «идеал» надо искать в другом месте. Выходит, что «идеалом» является «общество неравенства» — общество жизни, прогресса и силы. Но тогда — да здравствует «принцип Фрасимаха»?

Ну, великий, ну, мудрый, ну, проницательный Сократ, объясни ты нам все это. Распутай, ради богов, все эти парадоксы!

Финал

Сократ: «Я признаю свое бессилие»

И — взоры всех — и тех, кто «на сцене», и тех, кто «в зале» — на Сократа. Вот он, ***момент истины***, вот — ***сейчас***...

Но Сократ молчит, минуту, две, три... И, наконец, — в абсолютной, напряженной тишине — очень медленно, очень раздумчиво и очень серьезно, и — как бы не собеседникам на сцене и не зрителям в зале, а куда-то выше, поверх голов, в неразличимую даль:

«Мои доводы против Фрасимаха, которые, как я полагал, уже показали, что справедливость лучше несправедливости, не были вами восприняты...»[1] (Именно так: не «не поняты», а «не восприняты»; Главкон «понял» идеи Сократа, но не признал их убедительными).

И после новой, долгой, паузы: «Не знаю, чем вам помочь»[2].

И, наконец, очень тяжело и очень тихо, но так, что слышно в самом последнем ряду: «Я признаю свое бессилие...»[3].

Платон начинается...
(Внутренние монологи автора философской драмы)

Монолог 1-й. После Сократа

*Сократ: общество — как сообщество **Индивидуальностей***

«Я признаю свое бессилие...».

Да, именно так — резко и словами самого Сократа — надо обозначить тот рубеж, на котором Он остановился. Идти дальше — придется — уже без Него.

Мне страшно идти дальше, без Него.

Ах, как легко, как просто, как радостно и даже — как весело было идти рядом с Ним! Это Он, на своих плечах, нес интеллектуальную Вселенную, полную загадок и проблем. Он шел вперед — не спеша, как бы вразвалочку, небрежной, вольной походкой и шел как-то уж очень уверенно — словно не по первопутку, не по не хоженым никем местам, а — по давнему, хорошо Ему известному и выверенному маршруту. И хотя частенько бросал нам, что он, мол, «знает, что ничего не знает», — мы относились к этому, как к шутке, как к симпатичной причуде Гения, стремящегося снизить пафос нашего восторженного к Нему отношения. Ну, да — «не знает»! Пусть кому другому это

[1] Платон. Государство, 368b.

[2] Там же.

[3] Там же.

рассказывает. Он знает всё!!! И мы бойкой и дружной стайкой семенили за Ним — по протоенным Им дорожкам. За Ним, с Ним, за Его спиной мы не боялись никого и ничего — ни царей, ни богов, ни героев, ни пересудов общественного мнения, ни угроз властей. Да кляните вы нас, сколько вашей душе угодно, да смейтесь над нами, сколько и как вам хочется. Да пусть хоть десяток Аристофанов будут выставлять нас на посмешище, представляя дураками, кретинами, людьми со слегка сдвинутой психикой. Нас это не задевает и не волнует. Абсолютно!

Мы соберемся нашей мыслильней, нашей сократовской стайкой где-нибудь на опушке приафинской рощицы — и уж там нахохочемся, поиздеваемся, понасмешничаем над этими благономеренно-серьезными гражданами, над чванливыми и тупыми «государственными мужами», над псевдоглубокомысленными «властителями дум»!…

Да, Проблемы обступали нас со всех сторон, требуя размышления и ответов. И мы, топая за Сократом, оглядываясь на него, ища его одобрения, напрягали наши молодые умы, — фонтанируя идеями, которые сами нередко называли «сумасшедшими». Мы не боялись «ошибиться», зарваться, наговорить глупостей, заблудиться в мыслелабиринтах. Нас было кому поправить, ограничить, вытащить из непролазных интеллектуальных чащоб — Учитель был рядом. Бывало — с резвостью и наивным нахальством молодых львят кидались мы на нашего старого мудрого Льва, пытались задирать его своими молодыми коготочками. Делали, правда, это немного как бы не всерьез, по-мальчишески, как бы пробуя и демонстрируя Ему свои накапливающиеся силы, и всегда готовые к тому, что наш могучий царственный Вожак, если уж мы сильно досадим Ему, отмахнется своей тяжелой лапой, — и мы, по-сыновьи, примем эти Его успокоительные удары.

Легко жить и мыслить, когда знаешь, что есть на свете Сократ. В случае чего — Он выручит, спасет, разберет все твои заблуждения и ошибки и выведет на крепкую и верную дорогу…

Мне страшно идти одному, мне страшно от одной мысли — придти на трагически освободившееся место Сократа и подставить свои плечи тому небесному своду Проблем и Вопросов, что лежал на Его плечах. Выдержу ли?

И — нельзя не идти, нельзя уклониться, нельзя отвести, убрать свои плечи, ибо — кто же тогда, кто — вместо?

Как-то так получилось, что я оказался в нашей стайке «вторым» — сразу за Сократом. Да и тот его сон, — где я белым лебедем взлетаю с его груди… Сократ неспроста же рассказал его — это же Его наказ, Его завещание.

Совершенно искренне (чего мне перед собой-то лукавить!): меня не гордость распирает оттого, что я — «второй», а после Сократа оказываюсь «первым», меня гнетет Ответственность, меня подавляет объем встающих задач. Я знаю: я должен продолжить тот путь, которым шел Сократ, я не имею права допустить, чтобы затерялась, поросла бурьяном дорога, которую Он проложил сквозь заросли, пробил сквозь каменные холмы. Меня обязывает к этому память — перед Сократом. Ну, что же, я сделаю, что смогу, я сделаю все,

что в моих силах — я хочу, чтобы твой поиск, Учитель, оказался не напрасным, я хочу, чтобы не прервался, не заглох тот идейный, интеллектуальный импульс, что дал Ты, я хочу, чтобы, в той степени, на которую я способен, реализовалась Твоя идея духовного бессмертия, бессмертия Твоей души.

В общем, делай, что должно, и пусть будет, как будет! В дорогу!

...Мне, прежде всего, надо дать читателю понять, что с середины 2-й книги моего «Государства» беседу поведет уже не реальный, исторический Сократ, беседу поведу я, Платон. Да, мой герой будет по-прежнему называться Сократом, ибо я намереваюсь продолжать мыслить по той логике и исходя из тех предпосылок, которые были созданы Сократом. Это будет **Сократовское** мышление (в той степени, в какой я смогу быть верным ему). И в то же время я не хочу обманывать читателя, приписывая Сократу то, чего он не говорил и не мог говорить. С середины Второй книги — это мой Сократ. И вот эта знаковая фраза «Я признаю свое бессилие» — она и отделит исторического Сократа («Сократа-Сократа») от **моего** («Сократа-Платона») — да простит мне мой дорогой Учитель нескромность присоединения своего скромного имени к его — бессмертному и великому. Боги, помогите мне хоть в какой-то степени оказаться достойным своего Учителя!

Итак...

Воспроизведем вкратце логику предшествующей дискуссии.

Итак, всё началось с *Кефала*: как достойно, как «правильно», как «справедливо» прожить жизнь? Все эти его «достойно», «правильно», «справедливо», естественно, не имеют строгого и точного научного содержания (смешно было бы ожидать философско-методологической высоты от заурядного афинского обывателя!) — так, примерное, обыденное употребление понятий. Но тем не менее — пусть и не в строгих научных категориях — вопрос поставлен.

Потом — *Полемарх*. Он «знает», что значит «достойно» и «справедливо». И — изрекает ряд элементарных нравственных требований, совокупность которых и называет «справедливостью»: быть честным, добрым, сострадательным...

Сократ наводит тень на эту «ясность». Рисует ситуации, в которых «достойным» оказывается «солгать» и воздержаться от сострадания (при столкновении с врагами твоего отечества, например). Возникает, в результате, сомнение в возможности строить свое жизнеповедение на основе только принципов морали.

Фрасимах подхватывает этот мотив сомнения в реализме и всеобщности нравственных рекомендаций и доводит его до жесткого и принципиального отрицания нравственных принципов как способа регулирования отношений между людьми и как ориентиров для построения «справедливой» жизни. Он предлагает быть «реалистами» и жить по тем законам и канонам, по которым строятся реальные отношения между людьми в обществе — «право сильнейшего», природный и естественный «эгоизм»...

Главкон (с Адимантом): Фрасимах прав — важнейшие аспекты жизни и отношений людей в современном обществе, действительно, базируются на принципах, противоположных нравственности, и Полемарх прав — моральные заповеди, хоть и не всегда и не всюду, но служат инструментом построения «достойных» и «справедливых» отношений между людьми. Но как возможно это сосуществование двух (часто взаимоисключающих) рядов принципов? Как сориентироваться в них человеку? Почему возникло и что собой знаменует это противостояние нравственности и государственности?

И заключительное *Сократа*: Я **бессилен ответить на эти вопросы.**

Я еще и еще раз фиксирую внимание читателя на этой фразе. Да, именно так — жестко и определенно — должен был бы ответить Сократ, если бы такой разговор возник в действительности. Я не покривлю душой, если вложу эту фразу в его уста: здесь — и его абсолютная честность (сродни той, что «я знаю, что ничего не знаю»), и ясное осознание того, что в рамках той — центральной для Сократа — системы понятий вопрос, поставленный Главконом, неразрешим.

Вот это я должен особенно основательно объяснить — что это за **система Сократовских понятий, что составляет ее основополагающий, исходный принцип, в чём громадная сила и в чём недостаточность этого принципа.**

Система нравственных и политических понятий Сократа основывается на принципе **Индивидуальности** в качестве центрального, всеопределяющего принципа всей общественной жизни людей. В открытии и описании этого принципа — бессмертная заслуга моего Учителя.

Вообще-то, если быть абсолютно точным, Индивидуальность была «открыта», вернее — порождена всем ходом истории Эллады (и Афин, в первую очередь). Сократ же первым разглядел значимость этого феномена, дал описание и всестороннюю оценку этого явления, в котором он увидел самую глубокую суть греческого мира, главную особенность нашей культуры — в отличие от культуры Востока (и Персии — как классического представителя восточной культуры, находящегося к тому же в непосредственном соприкосновении и в противостоянии с нами).

До определенного периода (не возьмусь определять точные временные рамки — может быть, до эпохи Гомера и Гесиода, а, может, даже до эпохи Солона), до определенного периода, повторяю, мир не знал собственно человеческой Индивидуальности. Индивид был полностью поглощен материей «общности», можно сказать, — растворен в ней. А Восток и по сию пору — это общество, лишенное Индивидуальности; это, можно сказать, неиндивидуализированная общность. Индивид там — не самостоятелен, не самодостаточен. Он — не самостоятельная часть Целого, он — всего лишь *один из* органов этого Целого. Сущностью обладает там лишь Общество в целом, у индивида нет самостоятельной сущности, он обладает ею лишь постольку, поскольку сопричастен с этим Целым. Поэтому он столь малозначим в подобных общественных системах. Там Целое, Общность — все, Индивид — ничто.

«В Персии нет граждан, там только подданные» — так характеризуют афиняне различие Персидского и Греческого сообществ.

Кто из образованных моих соотечественников не читал «Историю» Геродота! С ее страниц встает миллионноликий, подобный гигантскому муравейнику, Восток. Там почти не видно лиц, только огромные серые массы, разлитые по бескрайнему азиатскому пространству. Вот эта масса («мириады людей», «полчища») поднята Царем и двинута на Элладу — многомиллионная масса не отличимых друг от друга человеческих букашек («подданных»). Эта «масса» — самостоятельное гигантское существо. Вот оно по двум наведенным громадным мостам переползает через проливы из Азии в Европу. Вот ползет эта многоголовая гидра по дорогам и горам Эллады, пожирая немыслимое количество съестного на своем пути — «поразительно, что нашлось достаточное количество пищи для стольких мириад людей»[1], выхлебывая несметное количество воды — «иссякали реки», в них «нехватало воды, чтобы напоить войско и скот»[2]. Индивидуальность тут только одна — стоящий над всеми, сияющий над всеми Царь — «из стольких мириад людей не было ни одного по красоте и статному телосложению более достойного обладать таким могуществом, чем сам Ксеркс»[3]. Он имеет право делать с этими «мириадами», что только его душе угодно, он имеет право казнить и миловать — без объяснения причин и намерений. Букашке не объясняют, почему и зачем ее топчут, просто походя вдавливают ее подошвой в пыль и двигаются дальше.

Показательную для всей этой персидской системы историю, случившуюся с одной такой «букашкой», поведал нам Геродот. Она тем более показательна, что «букашка» эта вроде бы и не походила на обычную «букашку»: героем сей истории был очень богатый и очень, как он полагал, влиятельный человек — Пифий, «сын Атиса, лидиец, который устроил царю и всему его войску роскошный прием», когда те проходили через родной город Пифия — Келены[4]. В своем усердии Пифий не ограничился пышным приемом, он «объявил, что готов предоставить царю деньги для войны»[5]. Царь спросил, сколько же денег у него. «У меня 2000 талантов серебра, а золота 4 000 000 дариевых статеров без 7000, — отвечал Пифий. — Эти деньги я приношу тебе в дар. Самому же мне достаточно средств от моих рабов и поместий».

«Ну, и как, вы думаете, поступил Царь?» — спрашиваю я обычно у своих учеников в Академии. Никому еще не удавалось ухватить логику мышления восточного деспота. Предполагали разные глупости и жестокости: «вместе с деньгами отобрал рабов и поместья», «деньги забрал, а его казнил» и т.п. Нет, не то — примитивно и грубо, нет восточной изощренности! Вот как оно по-

[1] Геродот. История, кн. 7, 187.

[2] Там же, 43.

[3] Там же, 187.

[4] Там же, 27.

[5] Там же.

вернулось на самом деле: «Ты оказал моему войску роскошный прием и обещаешь большие суммы денег,—молвил Повелитель.—За это я желаю отдарить тебя вот такими дарами. Я нарекаю тебя моим гостеприимцем (высокая привилегированная должность) и (внимание!!) **восполню из моего собственного достояния те 7000 статеров, которых не хватает у тебя в 4 000 000, чтобы сумма была полной и число круглым.** Владей же своим богатством, которое ты сам приобрел»[1]. Самодурно и красиво: никто не может быть щедрей Царя персов!

Но не закончилась еще эта история, ее апофеоз—впереди. Казалось бы, живи и радуйся себе, богатая «букашка» Пифий,—так славно получилось: и деньги свои округлил, и щедроты Царя получил. И подзабыл на короткое время Пифий, в каком обществе он живет, показалось ему вдруг, что он не «букашка» вовсе, а—человек, богатый и знатный. И в этой не простительной для умудренного человека «забывчивости» обратился он однажды к Ксерксу: «Владыка! Я желал бы попросить тебя о том, что тебе легко исполнить, и для чего будет очень важно твое согласие». Ксеркс же,—продолжает Геродот,—ожидая от него любой другой просьбы, кроме того, что Пифий действительно просил, обещал исполнить и повелел говорить, что ему нужно. Услышав ответ царя, Пифий ободрился и сказал так: «Владыка! У меня пять сыновей. Им всем выпало на долю идти с тобой в поход на Элладу. Сжалься, о царь, над моими преклонными летами и освободи одного моего старшего сына от похода, чтобы он заботился обо мне и распоряжался моим достоянием. Четырех же остальных возьми с собой...»

Ну, и что же теперь Ксеркс?—снова спрашиваю я учеников. О, каких только решений не предлагают они: «оставил всех пятерых сыновей» (*по аналогии с предыдущей щедростью*!), «казнил Пифия», «ввел старшего сына в свою свиту»... Снова не то, снова примитив. Он же должен как-то сдержать свое Царское слово—оставить сына отцу. И он сдержал—на азиатский манер. «Ксеркс,—рассказывает дальше Геродот,—в страшном гневе отвечал ему такими словами: "Негодяй! Ты еще решился напомнить мне о своем сыне, когда я сам веду на Элладу собственных сыновей, братьев, родственников и друзей? **Разве ты не раб мой** (*вот о чем на мгновение запамятовал «букашка» Пифий!*), который обязан со всем своим домом и с женой сопровождать меня?.. Ты сделал мне, правда, доброе дело, но не тебе хвалиться, что превзошел Царя благодеяниями. А ныне, когда ты выказал себя наглецом..."». В общем, Царь «повелел палачам отыскать старшего сына Пифия и **разрубить пополам,** а затем одну половину тела положить по правую сторону пути, а другую по левую, где должно было проходить войско. Палачи выполнили царское повеление, и войско прошло между половинами тела»[2]. Сын—«остался» отцу, а отец лишний раз получил подтверждение, что он не более чем «букашка».

[1] Там же, 29.
[2] Там же, 38–40.

Это — что такое восточные «подданные».

А теперь — что такое афинские «граждане»? Что такое союз «индивидуальностей» — людей, сознательно и рационально выстраивающих свою индивидуальную судьбу и, если включающихся в коллективное, социальное действие, — то не в качестве «букашки», не в качестве «раба», толкаемого и направляемого властной рукой господина, а в качестве сознательного и равноправного члена коллективного действия?

Об этом — Перикл в своей вдохновенной речи на церемонии погребения павших героев Афин:

«У нас городом управляет не горсть людей, а большинство народа... В частных делах все пользуются одинаковыми правами по законам. Что же до дел государственных, то на почетные государственные должности выдвигают каждого по достоинству, поскольку он чем-нибудь отличился не в силу принадлежности к определенному сословию, но из-за **личной** доблести. Бедность и темное происхождение или низкое общественное положение не мешают человеку занять почетную должность, если он способен оказать услуги государству. В нашем государстве мы живем **свободно** и в повседневной жизни избегаем взаимных подозрений: мы не питаем неприязни к соседу, если он в своем поведении следует **личным** склонностям... **Терпимые** в своих частных взаимоотношениях, в общественной жизни не нарушаем законов, главным образом из **уважения** к ним... Наши противники при их способе воспитания стремятся с раннего детства жестокой дисциплиной закалить отвагу юношей, мы живем **свободно**, без такой суровости, и тем не менее ведем отважную борьбу с равным нам противником... Мы развиваем нашу склонность к **прекрасному** без расточительности и предаемся **наукам** не в ущерб силе духа... Признание в бедности у нас ни для кого не является позором, но больший позор мы видим в том, что человек сам не стремится избавиться от нее **трудом**. Одни и те же люди у нас одновременно бывают заняты делами **и частными, и общественными**. Однако и остальные граждане, несмотря на то, что каждый занят своим ремеслом, также **хорошо разбираются в политике**. Ведь только мы одни признаем человека, не занимающегося общественной деятельностью, не благонамеренным **гражданином**, а бесполезным обывателем. Мы не думаем, что **открытое обсуждение** может повредить ходу государственных дел. Напротив, мы считаем неправильным принимать нужное решение без предварительной подготовки при помощи выступлений **с речами за и против**... Одним словом, я утверждаю, что город наш — школа всей Эллады, и полагаю, что каждый из нас сам по себе может с легкостью и изяществом **проявить свою личность** в самых различных жизненных условиях»[1].

Да, Эллада породила Индивидуальность как значимого и ответственного субъекта общественного развития. Раньше был как бы один субъект —

[1] Фукидид. История, кн. 2, 37–41.

человеческое сообщество, как целостность (неиндивидуализированное общество), теперь появился «второй субъект» — Индивидуальность, со своими особыми, специфическими интересами и потребностями, далеко не во всем совпадающими с интересами и потребностями общественного Целого. Да и само это Целое обрело новое качество — оно перестало быть аморфной общественной материей, оно стало союзом, **Сообществом Индивидуальностей.**

Сократ первым зафиксировал новизну этой возникшей общественной реальности, первым дал ее философско-научное объяснение. Философия Сократа и была осмыслением, осознанием этим новым субъектом истории своей сущности, своей особой роли в жизни Природы и Общества.

Монолог 2-й. Навстречу учителю — с другого конца

От Государства — к Индивиду

С проповедей Сократа началось понимание того, что Человек, прежде чем быть афинянином или спартанцем, богатым или бедным, начальником или подчиненным, — Индивидуальность. И в качестве таковых, люди подобны, равны друг другу: не может быть «большей» или «меньшей» Индивидуальности, не может быть «полуиндивидуальности», «частичной индивидуальности». Индивидуальность — либо она есть (и тогда — Афины), либо ее нет (и тогда — Персия). И вот в этой-то атмосфере, в этой-то среде равенства людей, в качестве Индивидуальностей, и возникают, как установил Сократ, те принципы отношений, совокупность которых и будет названа «моралью» или «нравственностью». Это потом, по прошествии времени, равные друг другу люди будут обретать различия — в сфере «богатство-бедность», «господство-подчинение» и т.д. И на этом «этаже» общественных связей — этаже различий и неравенства — возникнут новые, особые принципы отношений. Они будут отличаться от нравственных, в чем-то противоречить им, а где-то причудливым образом сопрягаться с ними: ведь и «богатый» и «бедный», «хозяин» и «работник» — прежде всего Люди, прежде всего Человеки. Чем отличаться, в чем и как сопрягаться?

Вот на какой уровень задач и проблем вывел нас наш Учитель. Вся логика его поисков выдвигала на первый план вопрос уже не просто об Индивидуальности, как новом субъекте истории, но и по-новому — о другом субъекте — человеческом сообществе, которое после Сократа уже нельзя было рассматривать, как некую общественную материю, в которой стерты, погашены все частные, индивидуальные различия, а как, повторяю, Сообщество **Индивидуальностей**. Сократ понимал, что Индивидуальность при всей ее значимости и самостоятельности все же лишь *относительно* самостоятельна, лишь *относительно* самодостаточна. Он прекрасно понимал, что само существование человеческой Индивидуальности невозможно вне ее связи с обществом, в отрыве от него. И потому, в отличие от Антисфена и Диогена (абсолютизировавших Индивидуальность, отрывавших ее от общества, го-

сударства и тем превращавших ее в асоциальный феномен), Сократ стремился рассматривать Индивидуальность в ее связи с обществом, он изучал пути и формы связи Индивидуального начала с Общественным. Но одно обстоятельство помешало моему дорогому Учителю разглядеть всю противоречивую сложность, всю неоднозначность этих связей. Он, высоко вознося Индивидуальное, несколько переоценил (вот уж, действительно, недостатки — продолжение достоинств!) его значение в связке «индивид–общество». Для него именно Индивидуальное было всеобщим исходным принципом. Общественное же было как бы продолжением и укрупнением (увеличением в масштабе) Индивидуального; он оценивал Общественное только через призму интересов и потребностей Индивидуального. «Природу» человеческого он искал, в первую очередь, в его Индивидуальном бытии. Самостоятельное, особое бытие Общественного (со своими особыми интересами, потребностями и законами, в чем-то существенно противоречащими интересам индивидуального бытия) не было предметом Сократовской философии. Сократ, таким образом, ухватил лишь часть проблемы, проделал лишь половину пути к открытию истины человеческого бытия. Нам предстоит пройти другую половину.

Нам надо начать с другого конца — с Государства, с Общества. И двигаться навстречу Сократу, рассматривая проблемы нравственности и политики, т.е. те, что рассматривал Сократ, с высоты другого полюса — Государства. Это тем более важно, что всё противостоявшее сократовскому нравственному максимализму (то, о чем говорил Фрасимах) зарождалось в сфере *государственной* деятельности. Каким-то образом именно от Государства исходят импульсы не-нравственного, а то и прямо без-нравственного поведения...

В общем, дорогой Учитель, я начинаю с Государства (Общества) и движусь к тебе — навстречу твоему «отдельному человеку». Так и сформулирую в своей книге: «Мы сперва исследуем, что такое справедливость в государствах, а затем точно так же рассмотрим и в отдельном человеке».

Но прежде надо обязательно разрушить обаяние фрасимаховского «реализма», исходящего как будто бы из другого (нежели у Сократа) начала — Общественного, Государственного и противопоставлявшего свою, «более высокую», правду Общего «менее высокой» правде Индивидуального (Сократовского). Это непременно надо сделать, иначе не сдвинешься с места: чего же двигаться, чего искать, когда Фрасимах с Калликлом «все нашли», «все доказали», «всех убедили»: они — «реалисты», смотрят правде и жизни в глаза, и на место прекраснодушных, но мало реалистичных, моральных рекомендаций они ставят те реальные, укорененные в действительности, в общественной жизни принципы, по которым на самом деле живут люди. Я видел, как под воздействием их речей зажигаются энтузиазмом глаза молодых людей: долой лицемерие моральных догм, да здравствует предельно обнаженная правда Фрасимахов и Калликлов.

[1] Платон. Государство, 129.

Да, нет, не от обаяния Правды зажигаются ваши глаза. Не самообманывайтесь, друзья мои! Это в вас кипит кровь молодости и силы. Я вижу, как под покровом слов о Правде наливаются силой ваши мышцы, как начинают хищнически раздуваться ваши ноздри. Как зреет самодовольная уверенность: скоро, скоро мир будет принадлежать вам. Состарились прежние хозяева жизни, одряхлели некогда грозные львы. Так да здравствует «право сильнейшего»! Так никаких поблажек слабым и дряблым, никакого сочувствия, никаких сантиментов!! Да и в нашем-то кругу «сильнейших» — тоже не зазевываться: сегодня — ты, а завтра — я. Закон силы — закон жизни! А нравственность вашу слюнявую — по боку, она не более чем просьба о милостыне слабых и дряблых людей.

Вот что я читаю в ваших глазах, мои дорогие, мои бедные и несчастные юноши, восхищающиеся фрасимаховским «реализмом». Вот почему вам так нравятся фрасимаховские всклики о «лицемерии моральных догм», вот что стоит за фрасимаховскими стремлениями к Правде и Реализму!

Вы хотите предстать в общественном мнении знаменосцами Правды и Реализма, являясь на деле знаменосцами хищничества и зоологического эгоизма. Задумайтесь над этим, друзья. Во всяком случае, я вас предупредил…

И еще. Вдумайтесь — как следует, со всем тщанием — в ваши мировоззренческие принципы, в центральные тезисы вашей концепции — как они слабы, как противоречивы, как разрушают ваши базисные утверждения о пустоцветности и нереалистичности нравственных принципов.

Ну, в самом деле, разве «моральные догмы» (все эти требования честности, доброты, сострадательности, справедливости) — разве они пустое сотрясение воздуха, разве они не *укоренены* в традициях, бережно передаваемых по наследству от одного поколения к другому? Пустяки, плоды пустой фантазии не будут столь тщательно храниться человечеством. Значит, эти «догмы» для чего-то нужны, значит, они чему-то служат — какому-то важному и вполне реальному делу? Да и последите за своим поведением в реальной (не в выдуманной, а в абсолютно *реальной*!) жизни — разве вы в отношениях с людьми вам близкими, с людьми вам равными — с родственниками, друзьями, соседями, с соотечественниками, встречающимися вам на улице, разве в отношениях с ними вы не следуете обычным, элементарным принципам нравственности и морали?

Ну, признайте для начала, что хотя бы в этих сферах моральные рекомендации *работают* в полной мере, оттесняя в другие сферы любезные вашему сердцу и вашим мыслям «насилие», «принуждение», «право сильнейшего»…

А этот ваш забавный тезис — вы частенько его формулируете, не замечая, как он напрочь разметывает, рушит всю вашу иронию по поводу «бессилия» и «не-реализма» нравственных принципов. Вы постоянно советуете «сильнейшим», пренебрегающим нравственностью, людям: старайтесь, действуя не-нравственно, **выглядеть** в глазах людей абсолютно **нравственным** человеком — тогда-де ваши жизненные успехи, ваша карьера будут особенно быстрыми и впечатляющими.

Вы не чувствуете, что здесь вы «попались»? Ведь этим своим утверждением вы, по сути, признаете реальную громадную общественную силу Нравственности. Вы же рекомендуете склонить головы под ее сень. Вы же рассчитываете получить солидный барыш от облачения в ее платья. Словесные пустоцветы таких барышей ведь не приносят!

В общем, дорогие «реалисты», довольно не-реалистично с вашей стороны признавать одну («государственническую», «политическую») сторону и не признавать другую («нравственническую») сторону одной и той же *Реальности*.

То есть не сократовцам, а именно вам как раз и недостает того действительного реализма, к которому вы, судя по вашим словам, стремитесь.

Ну, а теперь — самое главное. Держитесь, друзья мои!

Теперь — о самом странном, самом смешном и самом наивном аспекте вашего «реализма».

Вы полагаете, что наивысший реализм состоит в том, чтобы в своих теориях исходить из того, что **есть**, а не из того, что «должно быть» (как, по вашему уверению, поступают ваши «морализирующие» оппоненты).

Да, да, да! — сразу подхватывает дружный хор ваших юных сторонников. — Мы — из того, что **есть**, а вы — из того, что **должно быть**.

Прекрасно. А вы не задумывались, мои дорогие юноши, что в жизни **есть** как «здоровье», так и «болезнь», как «красота», так и «уродство», как «норма», так и «ненормальность»? Ведь **есть** — и то, и другое. Так вот, а что если современное греческое общество (или греческое «государство» — я не сторонник жесткого различения этих понятий) не является ни «нормой», ни феноменом «здоровья»? Что если это — «болезнь», что если это — «уродство», «ненормальность»? Что если это явление нуждается в лечении или даже в устранении? И что же, в этом случае, будут означать ваши «реалистические» рекомендации — приспособляться к тому, что **есть**? Приспосабливаться к логике «ненормальности» и «уродства»? Ваши рекомендации, в этом случае, выступят фактором усугубления «болезни» общественного организма, фактором «уродования» жизни отдельных людей.

Да, важно исходить из того, что **есть**, но еще важнее **оценить** то, что есть, и из такой оценки сделать вывод: **должно** ли быть то, что есть, или это «есть» надо переделывать. Так что проблема «реализма» оказывается несравненно более сложной, чем это вам представлялось.

Так вот, я вас спрашиваю: вы можете ответить на вопрос, какая реальность перед вами — «здоровая» или «больная», что это — реальность «нормы» или реальность «отклонения от нее»? Я знаю: вы не сможете ответить на этот вопрос — хотя бы потому, что даже не догадались его поставить.

В общем, из того, что нечто **есть**, вовсе не следует, что так оно и должно быть и что к этому «есть» надо во что бы то ни стало приспосабливаться, если хочешь прослыть реалистом, а не фантазером.

Я-то вот и хочу прежде всего рассмотреть вопрос: то, что **есть** в социальной и политической жизни греческого мира, существующие варианты и типы греческих государств, — это «норма» или «отклонение от нее»?

Я хочу выяснить, что вообще значит «норма» государства, я хочу далее сопоставить эту «норму» с тем, что **есть**, — определив, насколько реальность отклоняется от «нормы». И в случае, если окажется, что государство, которое **есть**, является существенным отклонением от «нормы», что государство это — «больное», — я попробую наметить пути его «излечения», я попробую определить дорогу, ведущую к «норме».

Ну, а решившим эти задачи, не составит уже, полагаю, большого труда сформулировать рекомендации и для «отдельного человека» — как **он** мог бы способствовать этому процессу движения к «норме», как — затем — в «здоровом», «нормальном» государстве выстраивать ему линию своей жизни, каким советам — сократовским или фрасимаховским — ему следовать.

Таков мой план анализа.

Все! На сегодня достаточно. Завтра — отдых, буду гулять, обкатывая, оттачивая пункты плана, их последовательность, логику переходов — пусть всё уляжется и отстоится в сознании, а тогда уж писать — пункт за пунктом.

Монолог 3-й. «Идея», «назначение» государства

Встал рано утром — едва солнечный свет брызнул из-за горизонта. Чтобы думать, мне нужно солнце. Оттуда льется энергия, и умственная в том числе. Без него — пасмурно и в природе, и на душе. Солнце — не просто тепло и свет, оно наше ***все***, наше всеобщее Благо. Сократ совершенно прав: думает не просто человек, а вместе с ним, через него — вся окружающая его природа. Мысли поднимаются из земли и льются из солнца, промываясь голубизной неба и прочищаясь белизной облаков.

Гимнастика и легкий, продолжительный бег. Во время неспешного бега хорошо и сосредоточенно думается, потом — подустал, учащенное дыхание стало мешать думанию, перешел на шаг — и растворился в созерцании идей.

Со всех сторон рассматривал проблему «Нормы» — первый пункт моего вчерашнего плана. Перекатывал ее раскаленным угольком с одной ладони на другую — смотрел, где она вспыхивает огоньком истины, а где тускло мерцает под слоем мертвого пепла. Перескажи человеку со стороны, — как текли, скакали, метались идеи и мысли, — покажется скукой и занудством. А для меня это увлекательнейший процесс — путешествие по неведомому миру, в котором не ступала нога (может, правильнее тут сказать — душа) человеческая. Увлекательно ломиться через интеллектуальные заросли, ломая и отгибая ветви деревьев, притаптывая траву и мастеря дорожки и тропинки — вначале неловкие и неровные, разбегающиеся в разные стороны (по какой шагать дальше?). Потом — по этим дорожкам — вперед и назад, еще и еще раз — ровняя, расширяя, утаптывая их, отказываясь от неудачных и совершенствуя удачные. И уж эту, большую или меньшую, упорядоченность освоенной территории — потом — перенести на бумагу, — избавив читателя от сумбура первоначальных поисков.

И вот что я надумал относительно «Нормы» (кстати, для себя я ее называю по-разному: «Образец», «Идеал»...). Лучше всего определить Норму, как то, чем предмет **должен быть**. Должен быть, разумеется, согласно не моему или чьему-то желанию, а согласно **его Природе**, то есть — заложенному в нем «предназначению», некоему внутреннему его «смыслу». Этот его внутренний «смысл», его «норму», его «идеал» можно обозначить более общим и более содержательным понятием — **Идея.** Каждый предмет — носитель определенного «идеала», определенной **Идеи**.

В вещном, природном, материальном мире вы, конечно же, не найдете «идеалов» как таковых, а также — вещей, соответствующих своему «идеалу», предметов, в которых была бы полностью реализована их «идея». Материальный мир — не мир сущностей, а мир явлений, мир несовершенных, деформированных — под влиянием окружающей среды и условий жизни — материальных вещей. В материальном мире, повторяю, мы не найдем «идеалов», «образцов» как таковых; тут все — в большей или меньшей степени — отклонения. Но зерно «идеи», но — больший или меньший — намек на «идеал», «образчик», «норму» — обязательно присутствует в каждом предмете, что, между прочим, и позволяет нам относить данный, конкретный предмет к определенному *роду* предметов («род», «вид» — это уже ближе к «идеальным» сущностям). Мы способны разглядеть, уловить эти «намеки», эти черты «идеала», «идеи» в предмете. И эти, открытые нами, черты «идеала» служат нам ориентирами в познании и преобразовании материальных объектов. Для самих же вещей эти «идеалы», эти «идеи» выступают неким внутренним источником развития в строго определенном направлении — к «образцу», к «норме». **Идея** — это, можно сказать, **замысел** Природы, определившей тем или другим предметам назначение и смысл существования.

Я отдаю себе отчет, что все это весьма ответственные утверждения, что в них выдвигается не какая-то частная идея. Здесь речь идет об определенном ***типе философского мышления***. И он, следует сказать без обиняков, противостоит другому, весьма популярному в нашем Отечестве, типу мышления — Демокритовскому.

Не сомневаюсь, что в дальнейшем нас с Демокритом будут сталкивать лбами, будут указывать на существование «двух принципиально различных линий в философии» — «линии Платона» и «линии Демокрита». Вопрос — важный, и в связи с ним — несколько слов, для ясности. Да, различия между нами, конечно, есть, и довольно существенные. Но я боюсь не Демокрита и его взглядов. По секрету: в главном-то мы с ним не слишком расходимся. Я даже думаю, что он ближе ко мне, чем многие из тех, кто называет себя «платоником», моим «учеником и последователем». Я боюсь вульгарных, примитивных и ограниченных последователей Демокрита, до предела упрощающих и оглупляющих учение своего великого Учителя. Вот с ними-то, с этими «демокритиками», будет, по-видимому, война не на жизнь, а на смерть (впрочем, не мы им, а они нам объявят эту смертельную войну, — и под их тупыми, но увесистыми топорами, провижу, немало погибнет как моих, так

и Демокрита, единомышленников. Впрочем, буду справедлив: дураков и злодеев будет, наверное, не меньше и среди моих «последователей»).

В связи со всем этим еще одно пояснение.

Моя мысль состоит (повторю, с некоторыми дополнениями, еще раз) в том, что магистральный путь изменения, развития предметов, вещей, явлений определяется, в первую очередь и главным образом, не случайным, внешним, «материальным» воздействием, не «средой», не некими «законами материального мира» («материи»), а, прежде всего, — заложенным в данный предмет его «смыслом», его «назначением», тем, чем он должен быть, должен стать «по природе своей», по «идее», в нем заложенной. Логично также допустить, что определенные «смыслы» присущи не только отдельным предметам, но и всей их совокупности — Природе, Миру в целом. Моя мысль: Природа, Мир — не произвольное нагромождение материальных объектов, так или иначе, по случайным, частным законам взаимодействующих между собой, но — Единство, Целостность, но — Система, имеющая внутреннюю «задачу», ориентирующаяся на некую Идею, в ней заложенную. Идея эта как бы предшествует материальному миру, выступает Законом его изменений.

Я не хочу никого уверять, что все это — *доказанная,* со всей научной строгостью, истина. Думаю, что это и невозможно *доказать* — ни сегодня, ни завтра, ни когда-либо в будущем. Этот мой основной мировоззренческий и методологический принцип всегда останется более или менее обоснованной **гипотезой**. И пусть будут, пусть постоянно соперничают эти две гипотезы — Демокрита и та, которой придерживаюсь я. В этом соперничестве (если оно будет тонким, умным и честным) наши две школы будут совершенствовать свои методы и свои аргументы — на общую пользу Философии, Науке, практическим делам человечества.

Да, повторяю, мой подход — гипотеза. Но принять ее в качестве весьма вероятного *знания* у меня есть немало оснований. Например, те, что привел Сократ в своем девятом письме ко мне. Да и с каждым научным открытием, с каждым успешным шагом продвижения человечества по пути социального и культурного прогресса эти основания множатся, приоткрывая — всё шире и яснее — «смысл», заложенный наиболее зримо — в истории Человечества и пока чуть менее зримо — в истории Природы. Не сомневаюсь, однако, что и умные ученики Демокрита по-своему, опираясь на *свои* исходные принципы, возьмутся за выяснение этих «смыслов», — и тут наши потомки, наши последователи — зрю через многие столетия — смогут дружно, хорошо, критикуя и дополняя друг друга, поработать!...

«Помилуйте, — воскликнет тут хорошо информированный читатель XXI века, — да нигде Платон не высказывался о Демокрите. Что это у вас за тип исследования — это научное, базирующееся на установленных фактах, сочинение или это плод вашей вольной фантазии?» Да, господа проницательные читатели, прямых высказываний Платона о Демокрите нет (по крайней мере, до нас не дошли). Но моя задача — описать, как соотносятся между собой

учение Платона (поименованное впоследствии «идеализмом») и Демокрита (окрещенное «материализмом»). Я передаю **смысл** тех аргументов, что высказывал Платон против «материализма» и в защиту своей концепции. Я мог бы написать, например, так: отличие Платона от Демокрита состояло в следующем... и далее «от себя», своим языком изложить, в чем это отличие состояло. Я же это «от себя» передаю Платону (уж позвольте мне, как автору, выбрать наиболее устраивающую меня **манеру** изложения). Вы вправе сказать мне, например: нет, Платон **так** говорить не мог, это не соответствует **духу** его учения. Ну, что же, это будет, по крайней мере, критика и по сути затронутых проблем, и учитывающая специфику жанра моего сочинения. Но льщу себя надеждой, что подобная критика не выдержит проверку текстами Платона.

В книге, в окончательном варианте, всё это, конечно, надо будет изложить, но более сжато и более четко. Ведь большинство читателей, для которых я пишу свое «Государство», это — непрофессионалы (для профессионалов, слушателей моей Академии, будут особые, «закрытые», предназначенные только для них и по причине сложности — только для них доступные тексты; что может быть нелепее, когда философ-профессионал — а мне такое доводилось наблюдать, и не раз — выходит со своими сверхсложными теоретическими конструкциями, со своей специфической, известной только посвященным, научной терминологией на широкую аудиторию слушателей. Такой ритор, не к месту распускающий павлиний хвост своей эрудиции, конечно, «потрясает» аудиторию своей ученостью, но взаимополезного общения не получается — это разговор слепого с глухим). Я же хочу быть услышанным и понятым теми самыми «простыми людьми», с которыми любил говорить Сократ. Я хорошо понимаю, что эти «мои» читатели могут быстро устать от абстрактных «мудрствований» вокруг «нормы вообще», «идеалов», «идей», «смыслов»... Им наверняка хочется поскорее перейти к их интересующей конкретике — государству, нравственности, к выяснению того, как могут и должны сочетаться политика и мораль... Подозреваю, что если будут затягиваться мои «мудрствования», они начнут нетерпеливо перебивать: ну, довольно блуждать в этих философско-методологических дебрях. Ну, пусть будет мир «идей», «норм», «образцов», пусть он, по-твоему, «предшествует» миру материальному, телесному, пусть он олицетворяет собой «замысел природы» — да ради богов! Все это не так уж и важно. Ты переходи, наконец, к делу, — расскажи нам, что собой конкретно представляют эти «нормы» и «идеалы» государства. И не без иронии, возможно, добавят: не забудь, кстати, поведать нам, кто же все-таки рассказал тебе об этих «нормах» и «идеалах». Может, кто-то из жителей того, «идеального», мира? Уж не Боги ли? Неужели тебе, Платон, подобно сказочному Одиссею, повезло общаться с Богами?

Да, подобные вопросы предусмотреть нетрудно. И потому, прежде чем перейти к желаемой читателям «конкретике», придется — ну, что уж тут поделаешь! — объяснить еще, как достигается знание «нормы», «идеала», «идеи». И объяснить не мифологически, не в стиле Гомера. Я ведь не сказки расска-

зываю, не мифы сочиняю, у меня должно быть все рационально обосновано и столь же рационально проверяемо. Я ведь стремлюсь разработать символ Знания, а не символ Веры!

Итак, поясняю. Никакого общения с Богами! Все просто и естественно. В мир идеальный я проникаю через мир природный, мир телесный. Ведь этот идеальный мир **присутствует в телесном** — как его внутренний стержень, каркас, как его внутренняя природа. Идеальный мир предстает перед нами в телесной (материальной) оболочке. Материальные предметы и есть носители «идеальных сущностей». «Идея» лавра, которых так много в нашей роще Академа, — присутствует в каждом лавре — и в том, что слабым зародышем едва поднялся над землей, и в том, что — в самом расцвете природных сил, и в том, что, полузасохший, пригнулся к земле. Они, эти три лавровых дерева, очень разные, но это предметы одного *рода,* одной «идеи»: это — **лавры** (хотя в первом случае «идея» присутствует в виде намека, во втором — в более адекватной, более развитой форме, а в третьем — едва теплится, едва присутствует в страшно деформированном виде). Задача, в общем, состоит в извлечении «идеи» из ее материального носителя. Вот и вся «мистика»!

Я сейчас попробую рассказать — как я из конкретных реальных государств извлекал эту самую их «норму», как устанавливал заложенную в них «идею». Процесс довольно длительный и занудный, но, вы увидите, — никакой мистики, никакого «нашептывания» Сверху, никакого «доверительного общения» с Богами. Все происходило в рамках **трех**, вполне рациональных, методологических операций.

Первая: эмпирическое изучение максимально доступного мне числа современных государств, их строения, их внутренних связей и отношений, их органов управления, их способов действования и т.д. Я побывал в десятках греческих полисов, в Египте, Персии. Я провел долгие часы в беседах с купцами, путешественниками, мудрецами, рассказывавшими о жизни неведомых мне государств во многих уголках мира. Я сопоставлял увиденное и услышанное, фиксировал общие черты, присущие большинству государств. Так, постепенно, складывался у меня общий («абстрактный») образ «государства вообще».

Но это был лишь первый шаг к открытию «нормы», лишь намек на нее: ведь могло случиться так, что большинство изученных мною государств представляют собой деформированное, искаженное проявление их сущности, отклонение от «нормы». Что если большинство из них подобны тому полузасохшему лавру из нашей рощи? Много ли бы я узнал о сущности, о «норме» лавра, изучая и сопоставляя его деформированные, погибающие экземпляры? Я описал бы всего лишь «общий тип» уродства, а не «норму», я описал бы лишь «типическое» *отклонение* от нее. То же — и с выделением общих признаков реально существующих государств. Нет никакой гарантии, что мы установили «норму».

И тем не менее эта первая, аналитическая, операция — чрезвычайно важна. Худо-бедно, но путем выделения и суммирования общих черт мы получа-

ем пусть не *понятие* (предполагающее, как известно, фиксирование *существенных* признаков явления), но некое первичное *представление* о том феномене, *который* называется «государством». В этом *представлении* случайные черты изучаемого объекта еще не отделены от необходимых, несущественные — от существенных, элементы «болезненности», деформированности — от «нормы». Тут все пока вперемежку.

Поэтому необходима **вторая** операция. Надо дополнить наш *аналитическо-сопоставительный* метод обобщения *историческим.* Надо рассмотреть, как *возник* изучаемый нами «предмет». Чтобы знать предмет, говорят мудрые, надо знать историю его происхождения. Это, пожалуй, самая важная часть исследования. Здесь мы устанавливаем — **для чего** появился такой феномен, как государство, **какую задачу** решал он своим появлением, на **какую проблему** он был ответом. В этом-то контексте и выявляется **назначение** предмета, **смысл** его появления на свет, его **идея**.

Да, это действительно важнейшая ступень анализа. Но я не мог *начать* с нее. Ибо *до* формирования, *до* выявления первичного образа («представления») «государства» было не ясно — историю *чего,* происхождение *чего* мы собираемся изучать. Наша первая, нехитрая, аналитическая, операция позволила нам *выделить* наш предмет изучения, *отделить, отграничить* его от других явлений общественной жизни. *Только* после этого и можно было приступать к *историческому* анализу. И только в таком, историческом, анализе, повторюсь, появляется возможность уловить «идею» государства, поскольку она еще не замутнена последующими влияниями.

Это все, надеюсь, ясно и понятно. И при изучении большинства предметов и явлений особых методологических и теоретических трудностей возникать не должно. Но вот при изучении такого феномена, как государство, возникает совершенно особая, совершенно специфическая трудность. Дело в том, что становление такого явления, как «государство», происходило, увы, в давно прошедшие, в весьма далекие от нас времена, от которых не сохранилось почти никаких свидетельств, и потому проследить исторический процесс возникновения государства — задача трудно осуществимая.

Как же быть?

И тут нам на помощь приходит **третья** часть нашей теоретической операции.

Ну, начальная ее часть — очевидна: хоть и мало осталось сведений о происхождении «первичных» государств, все же кое-что установить можно — почерпнуть из преданий, из сказаний и мифов, из песен Гомера и Гесиода, из трудов Геродота и Фукидида. Да к тому же и в наше время в разных местах Эллады родо-племенные объединения людей преобразуются в «государства» — появляются Полисы. И хотя этот процесс не «первичен», хотя, при своем возникновении, эти новые полисы испытывают влияние соседей — уже существующих государственных образований (и в силу этого процесс возникновения государственности лишен здесь первоначальной прозрачности и чистоты), все же кое-какие закономерности исторического становления го-

сударств здесь могут проявиться и быть оцененными и зафиксированными исследователями.

Но это, как я уже сказал, только *начало* третьего этапа нашей теоретической операции. Сейчас — о **самом**, пожалуй, **главном**.

Обратите внимание на одну удивительную вещь. Современные развитые государства постоянно *воспроизводят* условия своего возникновения; они постоянно как бы подпитывают необходимость своего существования, демонстрируют свою необходимость для разрешения неких общественных проблем, для разрешения неких общественных противоречий — то есть воспроизводят всю ту сумму проблем, для регулирования которых и понадобился в свое время такой феномен, как Государство. Короче говоря, они хотя и в своеобразных, специфических (окрашенных в современные тона) формах, но воспроизводят **ситуацию своего появления на свет**, «облегчая» тем самым задачу исследователю.

Разумеется, скажу в заключение этого своего методологического отступления, все эти, изложенные мной, методы и способы исследования *не гарантируют* получения, в итоге, полной и неоспоримой *истины* (на каждом из указанных этапов — немало подводных камней), но я абсолютно уверен, что только предложенная мной методология обеспечивает возможность *наибольшего приближения* к Истине…

И вот, комбинируя, сочетая эти **три** методологические ипостаси, опираясь на совокупность **трех** указанных методов, я постепенно и пришел к своим результатам.

глава 2. «Наш факультет на Моховой»

От Стромынки до Лубянки. 50-е годы XX века н.э.

Несколько пояснений

Заголовок — взят из незамысловатой, но очень симпатичной студенческой песенки — о том, что-де «не забудем мы с тобой наш факультет на Моховой».

Стромынка — это улица, тянущаяся от Сокольнического метро до Преображенской площади. На Стромынке располагалось общежитие студентов ряда гуманитарных факультетов МГУ

Лубянка — это название площади в самом центре столицы. Там высилось (и высится по сию пору) строгое и суровое здание КГБ (теперь ФСБ), — куда тягали подозрительных молодых (впрочем, и немолодых — тоже) людей, иногда — чтобы посадить, иногда — чтобы запугать и «образумить».

Наш факультет — журналистики — на Моховой занимал часть второго этажа того здания (№ 9), во дворе которого стояли (и стоят до сих пор) Герцен и Огарев (в виде памятников, разумеется). Низкие потолки, узенькие коридорчики (двум человекам не разойтись), маленькие, обшарпанные, подслеповатые аудитории. Но мы этой убогости не замечали. Подумаешь, беда какая — обшарпанные стены. Да большинство из нас из дворянских особняков сюда, что ли, прибыло? Из деревенских развалюх и коммунальных (набитых людьми, как селедками в бочке) квартир! Да и жили мы тогда в атмосфере духовных исканий и студенческого братства. А она, эта атмосфера, не зависела от ширины коридоров и высоты потолков. Мы знали, что в этих вот самых аудиториях, по этим коридорчикам бродили когда-то московские студенты Лермонтов, Герцен, Огарев. Тени этих людей, а не потолки и стены формировали нас.

Я поступил туда в 55-м. Я полагал, поступая, что «журналистика» — это «Современник», «Отечественные записки», «Вестник Европы», что «журналистика» — это Белинский, Писарев, Добролюбов… Я — «туда», я к ним поступал. А оказалось там всего два отделения: газетное и редакционно-издательское. Редактором, правящим чужие тексты, быть не хотелось. Газетное? Ну, пусть будет пока — «газетное». Потом разберемся.

Разобрался и не жалею, что занесла меня судьба на этот факультет — по причинам, изложенным ниже.

На Моховой.
Мемуарная зарисовка (2000-й год)

Два дня Владимира Георгиевича

День первый: Суд

Надо спросить у Лены, с ее цепкой на цифры и даты памятью, — когда же всё-таки это было. У Тони, еще одной свидетельницы, спрашивать бесполезно: ее философический, глобально-космический взгляд способен легко перепутывать не только числа и месяцы, но и годы, а то и столетия.

То, что это был 1955-й год — это точно. Июнь или июль? Вроде — июль. И число?.. Что-то выплывает в памяти — 11-е (Лена, выручай!).

В общем, было это 50 с лишним лет тому назад... Когда я хочу яснее представить степень давности вспоминаемых событий, — я делаю это вот каким образом. Представим, друзья, что нам, первокурсникам, в 1955 году кто-то решил рассказать об эпизодах 50-летней давности, т.е. получается, — о 1905 годе. Представили? А теперь вспомним, чем был тогда для нас этот 1905-й? Это ж — когда еще Лев Толстой жил, это ж еще — до первой мировой, до революции, до 37 года, второй мировой... Вот так-то...

Из того коловорота мальчиков и девочек, что толпились на тесном пятачке у дверей 1-й аудитории факультета журналистики МГУ, в памяти задержались только двое.

Одна — ну, конечно, Ленка. Разве где-нибудь, когда-нибудь и у кого-нибудь могла она не «задержаться» в памяти! Вот и сейчас: закрываю глаза — и в ушах шумок неразличимого говора, на фоне которого отчетливо звучат только ее, давно уже ставшие легендарными, фразы — насчет прыгающего с каме(?)шка на каму(?)шек воробы(?)шка и прочей правописательной чертовщины...

Ну, а другой — Он. Он стоял немного в стороне от абитуриентского улья. Не суетился у дверей, пытаясь через узкую щель разглядеть страшных участников профессорского суда. Ни к кому не обращался с вопросами. В общем — не толпился и не суетился. И только когда очередная «допрашиваемая» с сумасшедшими глазами и красными пятнами на щеках вываливалась из аудитории и растерянно спрашивала толпящихся о «действующих лицах «Гамлета» (тогда не изучавшегося в школе), и когда толпящиеся эти начинали судорожно и безрезультатно копаться в своей памяти, Он — со стороны и как бы немного Сверху, как бы Оттуда — хладнокровно и четко перечислял: Клавдий, Гертруда, Полоний, Лаэрт... — ну, всех! — до Розенкранца и Фортинбраса. И дальше, в случае затруднений, все взоры и уши невольно обращались к нему. И он ни разу не обманул ожиданий.

Он был очень спокоен, даже как бы слегка безразличен к происходящему — так взрослые взирают на игры детей. Как будто бы даже (так хранит

память!) вынул из кармана брюк (был он без пиджака, в темненькой рубашке с короткими рукавами) — слушайте! слушайте! — карманные шахматы и начал анализировать какую-то позицию — без позы и бравады, — просто ждал своей очереди собеседования, ну, и надо же было чем-то занять себя.

Ах, гениальный наш Архипов — как точно он назвал Его позднее: «Юноша из Саратова». Не «мальчик», не «молодой человек», не «парень», а именно Юноша — симпатичный без приторности, интеллигентный без чудаковатости, с чувством достоинства без заносчивости. В общем — Юноша. Единственный на нашем курсе, кто в полной мере был достоин этого имени.

Каким-то током воздуха, неслышными ветрами судьбы меня подвинуло к тому месту, где стоял Он. И вот мы уже ведем — Онегин и Ленский (неважно, кто из нас кто) — дружескую беседу и склоняем свои головы над шахматными фигурами...

За таинственную дверь я шагнул первым. За длинным столом — человек двенадцать. Два допрашиваемых абитуриента — по пятерке судей на каждого.

На простой и стандартный вопрос (как я потом узнал) Аспиранта (и сукиного сына, по совместительству): «Почему Вы идете на ф-т Журналистики?» я начал мудрить — приплел (горячо почитаемого мной тогда) Писарева и его теорию «экономии умственных сил в обществе», — на что Аспирант, надвинув на меня свое желтое лицо, с неприятно-колючими глазками, зло бросил: «Если Вы Писарева не поняли, нечего тут и ссылаться на него!» Не исключено, что Писарева я, действительно, не понял (впрочем, не думаю, что Аспирант имел тут преимущество передо мной), и, конечно же, мне очень не хотелось затевать склоку с комиссией (я страстно мечтал поступить в Университет, перед моим внутренним взором постоянно горела отцовская фраза: «Университет — ну, это же ***светоч***, это.. это...» — и он не находил слов — только глаза сияли; для него, батрака, добравшегося через ликбезы и рабфаки до горних вершин Университета, он был такой же святыней, как собор святого Петра для католика), — все так, но агрессию этого молодого хорька (как сразу назвал его про себя) я стерпеть не мог. Чемберлену был дан достойный ответ. Начавшуюся перепалку примирительно остановил пожилой профессор (по-видимому, — Западов). Потом всё шло хорошо — до вопроса: «Чьим органом является газета «Труд»?». Я вообще не знал, что газеты — это чьи-то «органы». И вообще полагал, что «журналистика» — это «Современник», «Русское слово», «Новый мир», а не заметки в газетах. Ну, и что же ответить им? Пораскинул мозгами и, по здравому смыслу, брякнул: «Министерства промышленности, наверное...» — смех! — А «Известия?» — начали добивать. Закачалась почва под ногами — прощай, Светоч! И вдруг помощь — свыше, в самом прямом смысле этого слова: наверху одной из аудиторных колонн, оклеенных образцами газет, — «Известия», и мое зоркое, цепляющееся за соломинку, зрение выхватило: «Советов депутатов трудящихся»!! Ну, дальше опять все хорошо пошло. Но чего уж теперь — ведь в светоч-то этот чтобы попасть, — надо ж, наверняка на все, абсолютно на все, вопросы ответить. А я в Писареве запутался, с «Трудом» вообще опозорился...

— Все. Спасибо. Идите.

И ... дрогнул Сокол. И — смалодушничал: попросил, чтобы еще вопрос задали. Откликнулся «Западов»: «Какие русские журналы XIX века знаете?». Вопрос не простой: задайте его сегодняшнему выпускнику, сколько он назовет? — один-два журнала, ну, три — от силы. В школах этого не «проходят» и тогда не «проходили». Но для меня, исчитавшего вдоль и поперек Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Зайцева, знавшего, словно личных своих врагов, всех битых-перебитых ими оппонентов (это ж не просто — они, это ведь я вместе с ними чихвостил — всех этих Гречей, Сенковских, Булгариных, Громек, Кавелиных, Дудышкиных) — для меня вопрос этот был подарком судьбы... Теперь и уходить как-то полегче. Но все равно — «Труд» этот чертов... В общем, наверное, — 50 на 50.

Беседуя со своими визави, краем уха прислушивался к тому, что происходит рядом. А рядом (вот ведь судьба!) сидел зашедший прямо за мной мой новый знакомый. Отвечал он уверенно, но, главное, очень как-то красиво, афоризмы сыпались и сверкали, как звезды в майскую ночь: «алмазный язык Джека Лондона» и т.п. — это все оттуда, из этого дня. Но эти «собаки» за столом так и сбивают с высокого «штиля», тянут на примитивщинку. Им, видите ли, не терпится узнать правописание прилагательных с суффиксами -ан,-ян.

— Ну, конечно, с одним «н».

Пауза.

— А оловянный?

— С двумя!

— А стеклянный?

— Тоже с двумя!

— Почему же?

Господи, да элементарно же, это — исключение. Ужель не знает? Юноша на секунду задумывается, характерным (так часто повторяемым потом) изящным жестом поправляет очки и говорит нечто завораживающее и загадочное:

— Это, знаете ли, зависит от структуры слова...

Он что-то еще возвышенно-прекрасное говорил по этому поводу — пока расплывшиеся в улыбках комиссионеры не подсказали:

— Да все гораздо проще: это — исключения.

Потом он еще что-то напутал с зарубежным циклом стихов Маяковского — и тоже в сфере чего-то общеизвестного, примитивного ...

Выходит.

— Ну, как?

— Да нормально.

Ни сомнений, ни волнений. А я глядел на него чуть ли не как на ракового больного: разве «ан»-«ян» — такую элементарщину простят ему? И мне хотелось, чтобы мой онкологический диагноз оказался ошибкой — и Он поступил бы (ну, со мной вместе, конечно же).

Долго, до вечерних московских огней, гуляли мы в тот день по городу. Сверяли литературные симпатии — многое совпадало. Играли в «концерт-

загадку»: перепели, все, что знали, — песни, романсы, арии, какие-то простенькие кусочки симфонической музыки (вроде Полонеза Огинского и Сентиментального вальса Чайковского). Отгадывали друг у друга почти все — да и как иначе: слушали-то (я — в Москве, Он — в Саратове) одну и ту же черную радиотарелку — те же «театры у микрофона», «клубы веселых артистов», «монтажи опер», «музыкальные шкатулки». Про футбол — конечно, выяснилось, что болеем за одну — цедековскую — команду. В красивую когорту имен — Рахманинов, Чайковский, Моцарт, Россини — ворвалось не менее прекрасное созвездие — Хомич, Федотов, Бобров, Бесков... — и все они великолепно стыковались друг с другом. И в шахматах — оказались примерно равны — где-то в районе 1–2 разряда, обсудили стили игры всех шахматных чемпионов мира — серебром зазвенели имена Стейница, Ласкера, Капабланки, Алехина, он — с придыханием — о Кересе, я — о Смыслове. Про кино, про живопись — всё, что знали, рассказали друг другу. Не сошлись только на Лóлите Торрес. Он мне «по-испански» исполнил «Куимбру» и «Номес мирес». Не жалел тех самых, «звездопадных», слов — передать свою очарованность этой нежной и романтичной аргентинской девушкой. Меня почему-то не трогали ни девушка эта, ни ее песни — патоко-сентиментально, занудно и пресно (но мнение свое утаил: видел — для него она — Дульсинея Тобосская).

Расставались, когда уже загустела ночная тьма и захолодел летний московский воздух, — где-то в районе Чистых Прудов. Я смотрел ему вслед. Луна едва пробивала лучами ночные облака, и покойно качалось ее мутное отражение на глади прудов... Эти проклятые «ан»-«ян», этот чертов «Труд»...

День второй: Приговор

Опять — к Лене: через сколько же это дней нам велели прийти за результатами, — через неделю, десять дней?..

...18 июля мы снова в 1-й аудитории. В очереди к столу секретаря комиссии. В тех вон толстых журнальных талмудах — наш приговор.

«Та-а-ак... Хорос...» — палец ответственного секретаря заскользил по списку. («Ну, успеха тебе, дружище!»). «Зачислен с общежитием. Заполняйте анкету!.. Следующий!». Это уже — ко мне. Мой друг, между тем, не оборачиваясь, не выказывая никакого интереса к моему «приговору», со своей обычной внутренней сосредоточенностью, направился куда-то вглубь аудитории — заполнять предложенную анкету. Я был поражен и удручен. Но долго предаваться этому чувству времени не было. Палец секретаря уже скользит по списку фамилий, начинающихся с буквы «В»: «отказать», «отказать», «отказать» — ну, просто одни «отказать» (а чего ж ты хотел? — «Министерство промышленности»!)...: «Зачислен, без общежития». Так, а почему без общежития? Ах, да, — Писарев, «Труд»...Потом доходит: да потому что — москвич, и никакого общежития, естественно, не просил. И — горячая волна, с головы до пят: Господи, неужели это правда — и я войду в этот Мир, в этот Храм, в этот Светоч?.. И засияют глаза отца — это ж его вторая попытка, — через сы-

на...(Моя и книжка-то первая была реализацией порушенного отцовского замысла: это ведь он—в конце 20-х—писал «Российские корни ленинизма»...) Это ж целых пять лет—Университетских! Целых пять лет (огромный срок!) счастья!

Как-то потом, перебирая у Стасика, на Лесной, старинные, подернутые желтизной времени, письма и открытки его загадочной, удивительно красивой и молодой (на фотографиях) бабушки Баси, впрочем, какой «бабушки»— прелестной, погибшей во цвете лет женщины,—я наткнулся на открытку, датированную 1914 годом, которая потрясла меня. Басе писал ее племянник—из Харькова, легкий, летящий почерк просто струит радость: «Милая, дорогая Бася! (*Помню дословно!*) Я счастлив: принят в Харьковский университет. Впереди столько прекрасных университетских лет...». Меня потрясло, что он говорит моими словами, описывает мои чувства. Сколько в тех строках надежд... Нет, не совсем то. Меня больше потрясло, по-видимому, все-таки другое—соединившиеся в этой открытке радостный крик жизни, молодости (которые кажутся бесконечными, неисчерпаемыми, устремленными в нескончаемое будущее), и—печать тлена, немота смерти, тяжелое молчание холодного космоса. Давно ушла из жизни красавица Бася, а «столько счастливых лет» племянника оказались мигом, малоразличимым в летящем потоке времени. «Как хороши, как свежи были розы»!..

А удручался я поступком моего друга, как я вскоре понял, совершенно напрасно: просто ему и в голову не приходило, что мы можем не поступить. Пришли на собеседование, ответили, получили по анкете, заполнили—и вперед—за учебу, товарищи!

Фауст! Дорогой и несчастный Фауст, ну, как же ты так!?.. У меня же вот оно, состоялось! «Остановись—ты прекрасно!».

...И подсел к нашему столу четверокурсник—красавец армянин—Игорь С-ян. Комсомольский вожак факультета: ребята, даешь колхоз!—в Ельне, под Москвой; ваша университетская бригада первокурсников—с пятикурсницей Лилей Филатовой во главе. «Колхоз»! Да, скажи он сейчас, что я, в составе Университетской (!) бригады, должен нужники чистить, я только спрошу: «Где лопата?». А не найдется лопаты—так пойду. Но все это, конечно, внутри, глубоко запрятано. Внешне же—помесь Печорина с Базаровым (никаких сентиментальностей и эмоций!).

(...Кажется, всего пару дней назад—телефонный звонок: умер Игорь С-ян, не на что хоронить, последнюю пенсию успел пропить. Да, я знаю—он так, в день ее получения, делал постоянно. Накупит какой-то сивухи, притащит ее в свою квартиру, больше похожую на нору какого-то не очень чистоплотного зверя. И вот—в одной руке стакан, в другой—мякиш черного хлеба, он будет им заедать сивуху, перемалывая его своими желтыми, совершенно беззубыми деснами. А потом, упившись, часа в 2–3 ночи, позвонит мне или Тамаре Дедковой—и, цепляясь за остатки распадающегося сознания, будет нести какую-то околесицу, перемежая ее бесконечными и не очень разнообразными матюками). Но все это будет потом. А тогда...—напротив нас си-

дел обаятельный молодой человек с хорошо вычищенным (сверкающим!) комсомольским значком и завораживал нас рассказами о студенческом журналистском братстве…

И снова мой друг поразил меня: нет, увы, он не сможет в колхоз поехать, у него там дела в Саратове, то, се.

Жаль! Где ж ему было знать, как славно там будет нам, возглавляемым очаровательной Лилей. Что появится в жизни нашей чудеснейший Лева Борщевский (неприспособленный к сельскому труду, но очень добросовестный, Лев будет неуклюже, на палящем солнце, копнить сено, всадит зубья вил себе в ногу, и сердобольные крестьянки будут ласково увещевать интеллигентного, стеснительного Льва, чтобы он немедленно «поссал» на ногу — «как рукой снимет!»). Что будем там мы с Геркой Ломановым лежать на душистом сене под звездно-веснушчатым небом, и Герка тихим и проникновенным голосом будет делиться со мной своей голубой мечтой — написать нечто художественное, в стиле Алексея Толстого, любимого (отдадим должное его тогдашнему вкусу!) его писателя. И будет та самая, не могущая быть не заметной, душевно соединяющая всех нас Лена, — которая, между прочим, без особого (мягко говоря) голоса и особого (грубо говоря) слуха будет запевать, распевать и допевать все песни, слова которых она (в отличие от всех) знает от начала до конца; это с ее (извините) голоса мы выучим навсегда, на всю жизнь «Поезд оставил дымок», «Я не знаю, где встретиться» и многое другое, что для нас вскоре перестанет быть просто песнями, а превратится в неразрывную часть нашей души и нашей судьбы. Там, наконец, будет Тоня Ермакова — мечтательная девушка с сильным характером и постоянным поиском высокой и жертвенной деятельности.

А, может, дружище, ты все провидел и знал, что никуда от тебя не уйдут ни Лена, ни Лева, ни тем более Тоня…

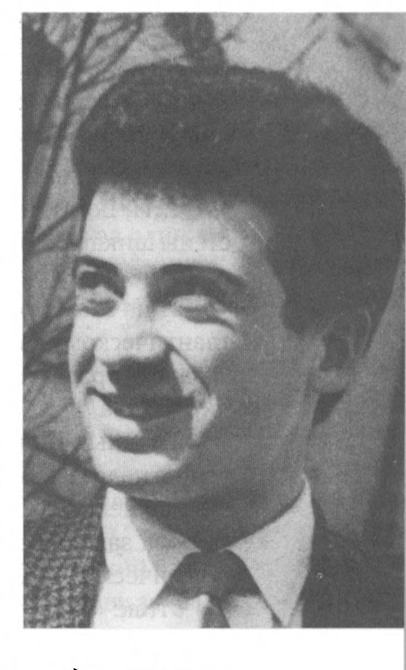
45 лет спустя — я приду на улицу Анохина. Там, конечно же, будет Лена (Павлова), бесконечно счастливая, что ей все еще удается собирать и слеплять (хоть на один вечер) рассыпающиеся по пространству бытия осколки ее счастливой (как она убеждена) юности, там будет Стасик (Сергеев), рыцарь печального образа (всё еще — по инерции — прикидывающийся веселым и разухабистым Санчо Пансой), которого я заново (и с радостью) открыл для себя в год недавней совместной работы в «Мегаполисе», там будет Галя Ефанова, удивительно сердечная и душевная, и — напоминающий характером героев Жана Габена, как-то органично прибившийся к нашей компании, но все же остающийся «младшеньким», вроде как «сын полка», — Саня (тот самый Сашуха, из военторговской землянки). Ну, и, конечно же, во главе стола, — хозяйка дома, слегка стреноженная жизнью, но почти не изменившаяся — Тоня и ее муж — да, тот самый, практически тоже не изменившийся Юноша, с которым мы — столько лет назад! — полные надежд, вступали в этот огромный, непонятный, безумный и, простите за банальность, прекрасный — для всякого живого существа — мир.

Мгновение, остановись, черт тебя подери!

Лева Борщевский

Марик (Розовский, какой-то там вроде «народный артист» и руководитель какого-то там жутко популярного театра, что для меня является сущим пустяком по сравнению с тем, что он, как и Лев Борщевский, — верный член нашего университетского, почти пушкински-лицейского, братства), так вот, Марик на вопрос, уедет ли он в Израиль, ответил однажды: «Я буду *последним* евреем, кто туда уедет».

Я очень хотел, чтобы Лева был *предпоследним.* Но он не посчитался с моим хотением — и уехал задолго до желаемого мной срока. (Правда, в Нью-Йорк, но уехал же!) Впрочем, не так: не «не посчитался», он просто не мог «посчитаться», ибо ничего не знал о моем хотении: ни я ему о том ничего не сказал, ни он меня не спросил. А если бы я ему сказал или он меня спросил, то не исключено, что Лева бы поступил иначе — и постарался держаться до предпоследнего...



C'est si bon!

Да, это был полный ***сесибон***!

Зануда-лектор произнес свою последнюю филиппику в адрес акул империализма, и можно было двинуть в Ленинку, где на затененных стеллажах среди прочих стопочек — моя: с заказанной вчера стенограммой XVII съезда партии. Посмотрим, как это ленинско-бухаринская гвардия прохлопала усатого подонка. Заодно — любопытства ради — посмотрим, что на этом съезде, делали Лев Милх (родитель одной симпатичной девчушки с нашего курса) и «товарищ Михайлов» (партийный псевдоним отца нашего однокурсника Жорки Целмса), оба вскоре после съезда ненароком расстрелянные тем самым подонком...

В общем, всё было се си бон!.. До того момента, как ко мне повернулся Лев Борщевский. Аккуратно записав последнюю фразу лектора (насчет «акул») и так же аккуратно положив клеенчато-коричневую тетрадь в свой видавший виды портфель, он повернулся ко мне:

— Слушай, Водолазов...

(Когда Лев называл меня по фамилии, я знал — речь пойдет о чем-то очень важном и значительном. Но на этот раз его ошарашивающее предложение превзошло все ожидания).

— Слушай, Водолазов, а не завалиться ли нам сегодня в ресторан?

Я был бы не более ошарашен, если бы Лев предложил мне «сегодня завалиться в... публичный дом». Да, о ресторанах я слышал, читал. Но чтобы вот так запросто вдруг туда двинуть, да не просто двинуть, а как-то там «завалиться» — вообразить такое было свыше моих сил.

Но... дрогнуть, но смутиться под взглядом Льва, смутиться его так запросто, так небрежно высказанным предложением?.. Ну, уж нет!

—Лады! —так же небрежно, с видом (как мне казалось) заправского кутилы, бросил я. (Ни прежде, ни после я никогда не употреблял это дурацкое, так не свойственной мне слово —«лады!»)

—Лады, —повторил я, надеясь внутренне, что богатый, по-видимому, ресторанный опыт Льва будет надежным поводырем в нашем приключении. Хотя его изрядно стоптанные башмаки, вспученные на коленях, давно не знавшие утюга брюки и не первой свежести сорочка мало способствовали созданию образа ресторанного Льва, этакого Бодлера-Гогена-Ронсара, завсегдатая парижских кабачков.

—Лады! —еще более уверенно и дерзко повторил я, незаметно прощупав содержание своего брючного кармана —(о, там еще оставалась довольно значительная часть весьма, впрочем, незначительной стипендии).

...И, почти как парижская Сена, Москва-река била своими волнами в стены шикарного (по моим представлениям) заведения, что напротив «Ударника», —под славным названием «Поплавок».

И на этом слегка колыхающемся —подобно фешенебельному трансатлантическому лайнеру —Поплавке, за угловым столиком, небрежно (как им казалось) развалясь, сидели два «Бодлера» —в предвкушении развратного пиршества.

Главный Бодлер —ну, тот, что со вспученными на коленях штанами, решил подозвать «Гарсона» эффектным и звонким щелчком пальцев (так оно, судя по некоторым зарубежным фильмам, полагалось вести себя в подобного рода заведениях; это вам не какое-то там жалкое самообслуживание в студенческих столовках).

Итак: «Гарсон!» —и пальчиками, как кастаньетами. Но, видно, Левины маленькие и потные (как я теперь понимаю, от смущения и волнения) пальчики отказывались играть роль кастаньет —и вместо эффектного, слышимого во всех углах зала звонкого щелчка, —получился какой-то жалкий, едва слышимый даже мне хлюп.

Но «Гарсон» все понял, и с плохо скрываемой иронией протянул нам красно-сафьяновую папку: «Заказывайте!». Бодлер-1 галантно —теми же липкими пальчиками —подвинул папку ко мне. Я постарался как можно небрежней и непринужденней открыть ее, но, взглянув на названия блюд, ясно понял: заказать я просто физически не в состоянии —названия блюд (а я знал только «котлеты с макаронами») сбивали меня с толку.

—Полагаюсь на твой вкус, —молвил Бодлер-2 Бодлеру-1.

...Мы ели нечто с приводящим меня в трепет названием и, конечно, пили!! (Тут обязательно два восклицательных знака!). И что пили —не знаю (кроме портвейна «Три семерки», который я считал самым шикарным напитком, мне ничего знать не доводилось). В общем, это совершенно неважно, что мы ели и пили, —в шуме ресторанной музыки и в валящих отовсюду клубах табачного дыма. Важно, чем все это закончилось.

А закончилось тем, что, получив счет, который, с уже хорошо отработанной небрежностью, Бодлер-1 принял из рук «Гарсона», Лева, мгновенно перестав быть Бодлером, начал судорожно шарить по всем своим, впрочем, весьма немногочисленным, карманам, вытаскивая из их закоулков уже не десятки, а какие-то помятые, пожамканные рубли и копейки, мгновенно покрывавшиеся влагой от потных пальчиков-кастаньет ресторанного Льва. (Да, должен вам доложить, что перед этим были, естественно, вытрясены и все мои карманы — со всей той значительной частью моей незначительной стипендии).

И все равно — ***не хватало***!

На счете было начертано: 107 рублей 60 копеек.

Чтобы вам, более чем полвека спустя, представить себе масштабы этой суммы, скажу: талоны на комплексные обеды в МГУшной столовой (на Моховой, под аркой), которые мы регулярно покупали с Володей Хоросом, стоили 30 копеек. Я вас прошу: поделите 107 рублей на 30 копеек. Поделили? Ну, и сколько получилось? Да, верно — 360. То есть два Бодлера за один вечер проели и пропили столько, на сколько два замечательных студента Хорос и Водолазов могли питаться в течение — страшно сказать — года (включая время летних студенческих каникул)!

Итак, на счете было начертано 107 руб. 60 коп.

Два Бодлера — едва, вместе с запотевшими копейками, едва наскребли сотню.

Господа! Где взять еще 7 руб. 60 коп.?

— Оставьте документ, завтра принесете деньги, — пришел на помощь Гарсон.

Единственный документ, бывший у Бодлера-1, — комсомольский билет, не спасал: священную реликвию молодого помощника партии нельзя было передавать в чужие руки.

Только — мой студенческий!

Сам погибай, а товарища выручай... И мой любимый, лелеемый мной документ перекочевал в грязный (я настаиваю на этом эпитете!) карман этого отвратительного Гарсона, который вовсе и никакой не «Гарсон», а просто скотина поганая.

Да, я вам еще уполномочен напомнить, — что это было за время.

Это было еще время, когда огромноживотый, лысый, нахрапистый декан грозно стучал своей деревянной рукой по кафедре, когда колюче смотрел на всех нас наш, назначенный парткомом, комсомольский фюрер Игорь Е. И когда со стены 16-й аудитории — вместе с тремя другими «классиками» — на нас взирал их четвертый — усатый — сотоварищ.

Ну, вы понимаете, достаточно было маленького телефонного звонка в деканат, — и не видать бы мне уже никогда своего, такого симпатичного, студенческого билета. Да и комсомольский пришлось бы выложить на стол районного комитета Коммунистического Союза Молодежи. И правильно — «за моральное разложение»!..

...Едва первые лучи встававшего над «Ударником» солнца скользнули по водной глади Москва-реки, два полностью протрезвевших, хотя справедливости ради, следует сказать, что и в тот злосчастный вечер они вряд ли выпили больше, чем по паре бокалов красного вина, и всё же настаиваю на этом образе — *два полностью протрезвевших* Бодлера, зажав в одном из четырех своих кулаков 7 руб. 60 коп., — стояли перед еще не открывшимися дверями знаменитого заведения на московских водах в ожидании уже не «Гарсона», а Человека, от которого зависела их жизненная судьба.



Он, надо сказать, не оказался ни гадом ползучим, ни скотиной поганой. Он взял деньги — и вернул студенческую реликвию.

И снова для двух Бодлеров весело засинело московское небо, заиграло теплыми лучами солнце и игриво, дружески залопотали листьями придорожные деревца. Бодлер-1 вынул из кармана счет и не без гордости, глядя на цифру 107, произнес: «Не стыдно будет его показать ребятам... Будет что вспомнить!».

Со своей стороны, Бодлер-2, незаметно прощупав лежащие в кармане твердые корочки его милого документа (на месте!), с готовностью откликнулся: «Да, будет что вспомнить!..»

— Ну, Лева, пока...

На затененной полке Ленинки его ждала стенограмма XVII съезда партии...

Ностальгия

Познание начинается с удивления
(Платон)

Меня, Лева, удивила, меня просто поразила какая-то твоя статейка, написанная то ли в стенную факультетскую газету, то ли в наш рукописный журнал. Не помню уж сейчас — о чём. Помню, что она была красочна и что там несколько раз упоминался «Бодлер». Но самое запомнившееся и самое поразившее — это «отсвечивающие солнечными бликами купола Шартрского собора».

Название собора и фразу о его «золотых куполах» ты написал так легко, так обыденно и непринужденно, как будто этот Шартрский собор стоял во дворе твоей свердловской хибары. Только вот затопишь печь отсыревшими осиновыми дровами, только брызнешь на лицо из умывальника студеной (от ночного холода) водицей, только проглотишь политый постным маслом и посыпанный солью кусок черняшки, только выбежишь во двор (где — наи-

скосок, у плетня, досчатая, с незакрываемой дверью, уборная) — и вот он здесь, голубчик, прямо перед тобой — сверкающий своими золотыми куполами Шартрский собор. Подумаешь, невидаль, да его тут каждая свердловская собака знает!..

А я вот не знал, понятия о нем не имел. И — побежал, полетел в Ленинку: не терпелось увидеть — пусть на рисунке или на фотографии — как сверкают на солнце те удивительные купола. А заодно и разузнать, кто же такой этот, проходящий красной нитью через всю статью, «Бодлер». Да не просто «Бодлер», а «Шарль Бодлер» (чертовски красиво и увлекательно всё это звучит!).

И про импрессионистов (так потом полюбившихся мне) от Левы узнал. Тоже — из его статейки для стенной печати и тоже написанной так, словно он только вчера, вот, болтал по телефону то ли с Ренуаром, то ли с Писсаро…

Лева, Лева, дорогой мой служащий какой-то налоговой конторы в Соединенных Штатах! Куда все это подевалось: где твой Бодлер, где Ренуар, где золотые купола Шартра?..

Юлик Надеждин
(«А ты кто такой?»)

Шел ли дальней стороною,
Плыл ли морем я,
Всюду были вы со мною,
Верные друзья…

Прилично уже подвыпивший, похожий на слегка постаревшего Арамиса, Юлик Надеждин, с не сходящей с лица широчайшей и пьяноватой улыбкой, теребил меня за плечи и ласково прислонялся то к одной, то к другой моей щеке:

— Гришка! Нет, ты мне скажи, кто ты такой? Да, нет, я знаю, что — великий. Мне Стас об этом уже много раз говорил. Знаю, что где-то ты там президент какой-то академии черти чего. И все-таки: кто ты такой? Дай мне что-нибудь твое почитать. Ну, кто ты такой?

И я, так же радостно теребя его за плечи и глядя в его, плавающие в улыбке глаза, ответил. Ответил достойно, тонко и мудро. Ну-ка, с трех раз догадайтесь, как? Нет, не догадаетесь ни за что.

Глядя в его подпитанные кристалловским напитком, плывущие в улыбке глаза и имитируя некую форму агрессии, на вопрос «кто ты такой?» я ответил:

— А ты кто такой?…

А теперь догадайтесь, как ответил Юлик.

Он повернулся, подошел к брошенному в углу потрепанному портфелю, нагнулся, — разумеется, при этом покачнулся и, долбанувшись лбом о стену буфета театра Марика («У Никитских ворот»), вытащил из портфеля малень-

кую белую книженцию — первый сборник его стихов, только что вышедший в Ярославле, — и начертал на обложке: «Гришке, родному навек!»

Читай, дескать, и узнаешь, кто я такой.

Почитаю, Юлик, почитаю.

Но не хитри, не лукавь, Юлик: ты и без чтения моих книг знаешь, кто я такой, — ты же сам и написал это: «Родной навек».

И все! И не надо никаких книг и статей. Нет, нет, раз ты попросил, я пришлю обязательно и статьи, и книги. Ну, скажем точнее: *может быть,* пришлю. И наверняка что-то тебе там ляжет на душу, с чем-то не согласишься. Но все мои книги и статьи ничего не добавят к тому, что ты обо мне знаешь: «Родной навек». Всё! Остальное — мелочи и пустяки.

И не обижайся, Юлик, и мне твои стихи (твои чудные, прекрасные, изощренно мудрые и изящно простые, афористические и непритязательные твои стихи) мало что добавят к моему знанию о тебе.

Хотя какое это знание!... Расскажи кому о наших запомнившихся эпизодах общения за пять лет университетской жизни — удивятся люди: и с этого-то они «родные навек»?!

Ну, вот этот, например, самый запомнившийся, — который, подвыпив, мы любим с тобой вспоминать и смаковать — в деталях, подробностях. Как в один божественный день (а в университетской юности все дни — божественные)... Так вот — как в один божественный день мы, после первого тайма, проигрывали студенческой сборной симпатичных и ловких итальянских ребят, напоминающих нынешних Дель Пьеро и Вьери, и как перед началом второго — я шепнул тебе: «Юлик, после свистка судьи я тебе откидываю назад мяч и сразу делаю сумасшедший рывок к итальянским воротам, а ты длинным пасом посылаешь мяч мне, за спины итальянских защитников».

Я знал, что ты можешь это сделать не хуже нынешнего Бэкхема. (Кто же может забыть твою мягкую, вкрадчивую, филигранную технику — ты и на поле оставался поэтом! Кто может забыть, если видел хотя бы раз, как ты останавливал отскакивающий от земли мяч своей «пятой точкой» — как бы садился на него, и мяч послушно, как укрощенный зверь, прилипал к этой самой твоей пятой точке и мягко, парашютиком, опускался на землю. И пока пораженные, потрясенные и зачарованные защитники смотрели на это волшебство, ты уже уходил вправо-влево и стелил мне изумительные пасы — только забивай!).

Так и в этот, незабываемый, раз.

Я, начав с центра, отбросил тебе мяч и с лихостью кавалерийского рысака из 1-ой Конной и к недоумению итальянцев рванулся к их воротам. И тут, о, Юлик! о, Бэкхем! — кожаный шар просвистел через все поле, как и договаривались, за спины наших врагов, и я, не давая ему опуститься, почти как Рональдо, как Зидан, с лету, со звоном, отправил его в правую «девятку».

И все! И не надо никаких стихов, никаких книг и статей!

Подумаешь, удивится проницательный читатель, какой-то пас, какой-то удар по воротам... И с этого-то они «родные навек»?!

Да это не пас и не удар, черт побери. Это — ***гармония***, физическая, психологическая, духовная. Это — абсолютная слитность движений и стремлений.

Таких «пасов» — за пять университетских лет — были сотни каждый день: пара малозначащих слов при встрече, пара реплик в курилке, несколько выкриков на молодых и горячих студенческих дискуссионных базарах.

И не вспомнить сегодня ни этих слов, ни этих реплик. Ну, может, чуть яснее припоминается твое «Слышишь, на Киевской полночь пробило», или наши — со Стасиком Сергеевым, Володей Хоросом и другими — наивные капустниковые пустяки. Не вспомнишь ничего определенного и сверхзначимого. Но вспомнишь главное: гармонию, совпадение. Ни на что не натыкаешься при общении, никаких узлов, никаких заноз. В каждой мелочи — колея в колею, шаг в шаг. ***Гармония***!

Мне, Юлик, ей-богу, не важно, что Володя Хорос сегодня, почти как Брежнев, весь в научных регалиях, что о нем с придыханием, как о бесспорном мэтре, говорят рвущиеся в науку молодые кандидаты. Мне бесконечно дороже те мгновения, когда залоснятся от шотландской «Белой лошади» его глаза и когда он, всё тем же характерным движением поправив на переносице свои очки, поведет своим бархатным франко-шансонным тенором — и не какой-нибудь музыкальный изыск, а наибанальнейшую, просто феноменальную по своему примитиву (и оттого — божественную) мелодию про бакинские огни.

Мне, Юлик, совершенно не важно, какой там пост у Стаса Сергеева — главный, зам., ответственный секретарь? — даже насколько хороши его репортажи и очерки. Это, Юлик, пустяки, это — профессия. (Хотя, между прочим, я уверен, что и профессиональное свое дело он исполняет классно; я же помню, как у него — на втором курсе — «заглядывал в окно вечер голубыми глазами звезд», мне достаточно той фразы). И всё же профессия, Юлик, для меня — дело десятое. Мне важнее Стас, наклеивающий на щеки кривые, то и дело отклеивающиеся бакенбарды, водворяющий на свой лысый череп цилиндр, вскарабкивающийся, несмотря на свою животину, на стул — и с упоением читающий — под Пушкина — свои (графоманские? — это ты брось!) сочинения..

Мне, Юлик, не важно, чем занимаются Эля Сутоцкая, Галя Ефанова. Ну, наверное, не семечками торгуют. Да, впрочем, торгуй они семечками, — они не перестали бы быть «родными навек» Элей и Галей.

Мне абсолютно безразлично, что там в «Пионерке» делает Лена Павлова (Гоцева) — главный ли она редактор, литсотрудник, техредактор или (мало ли что взбредет в ее неординарную голову!) она подметальщица полов или мойщица туалетов. Знаю лишь, что примись она за любую из этих работ — справится с блеском. И если даже за туалеты примется, будет это делать с такой легкостью, веселостью и душой, что все сотрудники — от главного редактора до машинистки — соберутся вокруг нее, как пацаны вокруг красившего забор Тома Сойера, и будут просить-умолять: «Лена! Дай унитазик почистить. Ну, только один! Ну, пожалуйста!»... И когда она заведет (слово

«запоет» по отношению к ней, ты сам знаешь, неуместно), когда она заведет песню про «составы», которые кого-то куда-то умчат, то куда там до нее Галли Курчи или Тотти дель Монте!

Вот так-то, Юлик, ты, вместе с моими друзьями и товарищами (кто чуть ближе, кто чуть дальше) — вы создавали ***мой мир***, где мне было уютно, прекрасно и счастливо, вы создавали то, что поразительно точно обозначила както на конверте с нашими фотографиями Лена Павлова, — «***мое счастье***».

А я, Юлик, вместе с другими, — создавал ***твой мир***, который и был для тебя теплым и родным.

Вот, дружище, почему мы и ***родные навек***.

Шел ли дальней стороною,
Плыл ли морем я,
Всюду были вы со мною,
Верные друзья…

Остановись, мгновенье?

И был вечер. Один из тех вечеров, которые неоспоримо свидетельствуют, что рай, действительно, возможен.

Покой, полный жизни. Тихо шелестела волнами река. Мягкие травы зеленым ковром покрывали ее пологие берега. Раскидистые деревья опускали на землю легкие тени, — запутывая в своих пышных кронах теплые лучи опускающегося за горизонт солнца. Покачивали головами желтые и голубые цветы, — причудливо узоря зелено-травяной бархат. Едва слышно пели кузнечики, перебирали крыльями стрекозы и на широко раскинутых крыльях плыли по прозрачному небу птицы.

Не было ни Днепрогэса, ни Магнитки, ни съездов партии с их неизменно историческими решениями, ни арабо-израильского конфликта, ни апартеида в Южной Африке, ни… В общем, не было ничего. Кроме этой маленькой приречной лужайки, кроме не поймешь из какой эпохи прибежавших сюда сельских избенок на пригорке.

Да еще их, двоих.

Она — у самой кромки воды — полоскала ли что-то там, набирала ли в ведра воду… До этого они почти не общались. Он, неделю тому назад, заприметил ее в кузове грузовичка, наполненного только что поступившими в МГУ студентами, отправлявшимися на сельские работы в подмосковную деревню. Ее нельзя было не заприметить — она была особенная.

Она была с ними, со всеми, и как-то отдельно от всех. Была улыбчива и доброжелательна, проста и общительна. Но чувствовалось — существует еще какой-то отдельный, особый — ***ее*** — мир, который она таила в себе, закрывала его внешней общительностью. Мир, в который, он быстро понял, она не впускала никого. Он легко представил ее гончаровской Верой (из «Обрыва»): вот

она беседует с щебечущей Марфинькой, говорит с бабушкой, Татьяной Марковной, а потом уходит в свою, полную тайн, комнату, подходит к окну и, слегка отодвинув штору, долго смотрит вдаль, туда, где широкая шелковая лента Волги опоясывает темно-зеленый лес, стелется меж высоких оранжевых прибрежных обрывов. Мир, в который так стучался Борис Райский и дверцу в который он так и не смог отыскать.

И вот как-то так случилось, что они оказались одни — две песчинки, сблизившиеся в пространстве и времени по непредсказуемой воле беспорядочных космических ветров.

О чем они говорили? За давностью лет это невозможно вспомнить — кроме тех двух ее фраз. Наверное, она спросила его, что он читает. Он сидел, прислонясь к широкому теплому стволу дерева — с Писаревым на коленях (он — куда бы ни ехал — обязательно захватывал несколько томиков любимых авторов). Наверное, он ей что-то сказал о Писареве, о своих пылких к нему симпатиях, о Варфоломее Зайцеве. Наверное, они — как это водится в юности — делились своими привязанностями — к писателям, литературным героям. Почти наверняка всплыла тема Чернышевского, его новых людей из «Что делать?» (еще один объект его поклонения!), потом, наверное, перешли к тургеневским и гончаровским героям — к тем идеальным женщинам и мужчинам, которых так трудно, практически невозможно (заметил, по-видимому, он) встретить в реальной — в особенности теперешней нашей — жизни.

— А я свой идеал нашла! — сказала она.

— И кто же это? — неосторожно спросил он.

— Ты!..

Да, когда он спрашивал, у него мелькнула где-то в подсознании мысль о возможности подобного ответа. Мелькнула и сразу погасла: разве может он, еще ничего не сделавший, никак не проявивший себя в жизни, быть Идеалом, тем более для ***такой*** девушки; и если даже — так, то разве скажет она ему об этом? А она сказала — без всякого жеманства и кокетства, без всякой возможности принять это за легко даримый комплимент или дружескую шутку. Она сказала спокойно, серьезно и твердо…

Ну, и что, умудренные жизненным опытом господа, вы могли бы посоветовать этому юноше — как реагировать, как вести себя? Вы же понимаете, какую планку судьбы обрисовала ему она. Соответствовать идеалу Елены Стаховой, Софьи Перовской, гончаровской Веры (а именно с ними он отождествлял ее) — значило бы быть освобождающим Грецию Джорджем Байроном, Инсаровым, Герценом, ну, Лопуховым или Кирсановым — по меньшей мере… Она протягивала ему руку и свою судьбу…

Сейчас, когда пишутся эти строки, их жизни, их судьбы уже, в общем-то, в прошлом. Пофантазируйте, угадайте, как сложились, а еще лучше — как могли сложиться их жизни и их судьбы.

Впрочем, нет, я забираю назад свое предложение — не могут земные истории быть продолжением историй небесных, божественных.

Не надо продолжений.

Пусть навсегда незакатным останется вечернее солнце над крышами домов подмосковной деревушки; пусть никогда не прервется в прозрачном небе парение птиц, пусть вечно, непрерывно струит свои воды маленькая сельская речушка. И пусть навсегда останутся юными и навсегда вдвоем — одни во всей вселенной — девушка, стоящая у кромки воды и испытующе смотрящая на Него, и — он, прислонившийся к теплой пахучей коре старого дуба — с томиком Писарева на коленях…

Остановись, Мгновенье?

От Стромынки до Лубянки

«Мне двадцать лет» —
так назывался фильм Марлена Хуциева.

Мне двадцать лет — 26 апреля 1958 года. Свои дни рождения я, как правило, не «отмечал» — испытывая неловкость от необходимости привлекать внимание к своей особе; не был уверен, что кому-то интересна эта подробность из моей жизни. И сегодня, конечно же, не планировал никаких «отмечаний».



Но мне его помогли «отметить» — и, может быть, это единственный день рождения, который мне запомнился…

— Вас вызывают в кагэбэ, сегодня к десяти, — сообщил мне комендант студенческого общежития на Стромынке Агаев.

— А что это такое — «кагэбэ»? (Я ведь знал МГБ, НКВД — по судьбе отца, по письмам, телеграммам матери — Сталину («Дорогой Иосиф Виссарионович!..») и Абакумову (министру МГБ, НКВД), а это какое-то «кагэбэ»).

— Вы что, не знаете? — недоверчиво заметил Агаев.

— Не знаю.

— Комитет государственной безопасности. При себе иметь паспорт.

(Ого! Какой-то холодок пробежал где-то внутри. Виду не показывать — ни удивления, ни смущения, ни наигранного безразличия. Агаев ничего не должен прочитать на моем лице. Спокойно, серьезно и делово, без бравады и вызова).

— Хорошо. Но у меня — лекции.

— Вам там дадут справку. К 10 часам, в бюро пропусков.

Так, спокойно, не суетиться. Знал — когда-то это должно случиться. «Знал», что обязательно «придется» «пройти через тюрьмы» — а то как же, русскому

думающему и честному человеку — без этого, ну, никак нельзя. Чернышевский, Ленин, отец… Но вроде бы как-то это рано, вроде бы не созрела ситуация для этого. Нет, это еще не самое «то», это — предварительная схватка, авангардные бои.

Так, во-первых, надо кому-то из друзей сказать об этом «вызове»: если не вернусь, если там оставят, — чтобы знали, куда я «ушел». Хороса в комнате общежития не оказалось, сказал кому-то другому (Нине Деревянкиной?).

Еду. Трамвай, метро. Перебираю все события-истории последних дней — где, в чем прокол? Да, было много всякого — и поступков, и разговоров, да, за что-то там зацепиться и можно было бы, но чтобы так серьезно, основательно — чтобы на площадь Дзержинского, в «главное здание», как-то на *это* все эти разговоры-события не тянули.

Бюро пропусков. Собранность, мобилизованность, внешне — как бы «открытость» («мне нечего скрывать и нечего бояться»). Комната, вроде бы, 62. Сумрачные, темноватые коридоры. Встречаются какие-то люди: вам вон туда, товарищ Водолазов (откуда они меня знают? — как в хичкоковском сне).

Так, № 62.

— Здравствуйте…

Молчит, нет ответа. Сидит за столом, набычившись, погруженный (вижу — якобы «погруженный») в листание какого-то объемного дела (безмолвно намекает — «моего»). Крепкий. Белобрысый. В штатском.

Я, с едва заметным вызовом:

— Здравствуйте…

Так, поднял голову.

Начинаем разговор. (Сижу напротив).

— Как ваши дела в Университете?

— Хорошо.

— Хотите, чтобы и дальше было «хорошо»?.. Это зависит от вас, от нашего сегодняшнего разговора… Нам известно, что вокруг вас группируются антисоветски настроенные студенты.

— У вас неверная информация. (Никаких эмоциональных уверений и возгласов: «Да вы что? Да как такое возможно?». Никаких «возмущений»: «Да как вы смеете мне, комсомольцу, говорить такое?». Нет, нет. Спокойно, там кто-то напутал, сейчас мы с вами распутаем…).

— Расскажите, с кем вы особенно близки, о чем говорите? Поймите, мы никому не хотим зла, репрессий. Мы хотим помочь, предупредить — чтобы люди не сбились, не споткнулись.

Нет, нет, это все не про «то», это — разминка, предисловие, что-то там заготовлено более существенное. Что? Напряженно жду, маскируя свое напряжение.

— А кого вы знаете с других факультетов? У вас там есть знакомые?

Ах, вот оно что, уж не Степан ли?

Степан Ан-ев, студент с философского. Познакомил меня с ним С. — препротивнейший парень с нашего курса, от него ощущение чего-то скользко-

го и грязного, — хотя писал он стихи и, в общем-то, неплохие, и в кружках наших литературных участвовал — например, в нашем Западовском кружке. (Руководитель — проф. Александр Васильевич Западов, светлая личность, читал «Древнюю русскую литературу». Собирались мы с ним на Стромынке — писали, читали, обсуждали. Помню, он, маститый, пожилой профессор, подарил мне, студенту 3-го курса, свой автореферат докторской: «Грише Водолазову с любовью». Помню, были у него с Хоросом дома, где-то на Киевской. Чаевничаем. На диване — полная пожилая женщина, с густой копной волос. Западов — нам: «Друзья, познакомьтесь. Вы знаете, кто это? Анна Андреевна Ахматова». Увы, я тогда больше знал о ней по постановлению ЦК «О журналах "Звезда" и "Ленинград"»; и (невежда!) особого интереса к ней не высказал. Ну, Ахматова — и Ахматова, ну, и что? Даже не вгляделся толком, не обратился, не спросил ничего. Здравствуйте — здравствуйте, очень приятно...)

Так вот, этот С., «зная» наши с Хоросом «общественно-политические» интересы, как-то и познакомил нас со Степаном. Невысокий, красивый армянин, постарше нас, очень интеллигентный, — как и мы, критически настроенный к происходящему, — интонациями и поведением как бы намекающий, что он нас прощупывает, не все договаривает, что там где-то у него есть какая-то тайная (подпольная?) деятельность. Намекнул, что даст нам что-то почитать, им и его друзьями подготовленное (по истории ли России — истории партийной борьбы, или какой-то их политэкономический анализ ситуации), — чтобы мы почитали, высказались, присоединились к ним; в общем, вроде бы как «вербовал» нас в какую-то свою деятельность.

Но я уже как бы «перерос» этап молодежно-студенческой фронды. Позади были наши студенческие волнения 1956–1957 годов. Сейчас мы уже в «настоящем», взрослом движении — коллективноопытничестве — движении рабочего класса, возглавляемого рабочим вождем слесарем Матвеем Розовым. И я (комсорг курса) переключаю деятельность студентов с собственно молодежных, студенческих проблем на участие в этом «взрослом», «рабочем» (в перспективе, да уже и сейчас, — революционно-демократическом) движении. Поэтому к Степановым намекам на возможную «подпольную» деятельность отношусь немножко «свысока» и, в свою очередь, «вербую» его в наше, коллективноопытническое, движение. Да, Степан, хорошо, рукопись вашу мы с Хоросом и другими нашими друзьями почитаем, да, готовы с вами сотрудничать, но главное — подключайтесь к нам, к нашему коллективноопытничеству, это — дело значительно серьезней.

Вот мы втроем (Хорос, Степан и я) ходим по длинным коридорам общежития, спускаясь на третий этаж, дабы не мозолить глаза нашим соученикам (живущим на четвертом), ходим часами — далеко за полночь, до 3–4-х утра, тихо беседуем — обо всем, — сидя на подоконнике.

Приближался день наших более плотных коллективных контактов. Определенное единомыслие между нами выявилось. Смущали, помню, два различия в оценках — Сталина (Степан не принимал нашу абсолютную критику в адрес «вождя»; что-то даже говорил о его «величии», общности с Лениным;

ну, это ладно — что-то кавказское, переубедим) и в оценке Дудинцева (автора популярного тогда романа «Не хлебом единым»); мы, как и Степан, принимали весь критический пафос романа, но посмеивались (в отличие от Степана) над Лопаткиным (главным героем, инженером-изобретателем — *одиночкой* (!), верившим, что в *этой системе* в одиночку можно одержать победу, нет, надо *объединяться* и преобразовывать систему, а не рассчитывать на то, что и в *этой* системе можно служить людям. А объединяться нужно на платформе коллективноопытничества — *подлинно* коммунистического, рабочего, антибюрократического движения. Поэтому, Степан, переключайте свою энергию с подпольно-студенческих шалостей на дело серьезной социальной борьбы, идите к нам).

Но не успел нам Степан передать свою рукопись. Встретили мы его случайно днем, в метро (Сокольники — Охотный ряд). Он был взволнован и бледен: «Ребята, я должен немедленно уехать к себе (в Ереван или Тбилиси, сейчас уж не помню). Вот мой адрес, будем переписываться; нет, адрес не записывайте, запомните так».

Прошел месяц. Нет Степана, и вестей от него нет. Жаль! Ведь хорошо бы их в коллективноопытничество втянуть — расширив наш круг за счет студентов-философов. Да и его неизвестная и загадочная группа была нам, вследствие его рассказов, симпатична. К тому же хорошо бы, чтобы коллективноопытничество пустило корни и на Кавказе. Тем более развивается оно успешно: недавно о нем вышла целая полоса в «Московском комсомольце», которую делали мы с Хоросом и Володей Кривошеевым (известным впоследствии журналистом — выгнанным, кстати, из «Известий» за отказ славить нашу агрессию в Праге, он тогда — в 68 году — был там собкором). На этой полосе была статья наших «вождей» — Матвея, Николая (Арбузова), Дмитрия (Гафановича), Бориса (Беликова), статья Глеба Кржижановского (престарелого соратника Ленина, у которого мы были — посещение достойно мемуарного пера, но об этом как-нибудь в другой раз). В общем, наше движение на подъеме, идем к победе!

Надо подключить кавказских друзей (через Степана). Пишем ему письмо. Помним город, улицу, а вот номера дома и квартиры запомнили нетвердо: то ли дом 12, квартира 14, то ли наоборот: дом 14, квартира 12. Решили послать письма в оба адреса, чтобы наверняка дошло до Степана. Рассказываем об успехах коллективноопытничества, настаиваем на немедленном и активном подключении. Просим ответить.

Ответа нет (15–20 дней).

И вот теперь это белесый кэгэбист просит (требует), чтобы я вспомнил своих знакомых с других факультетов.

Ладно, я пока не заедаюсь, не требую: говорите, дескать, в чем дело, нечего в кошки-мышки играть. Не буду пока, потерплю. Более достойно, казалось, вести себя иначе: делаю вид, что рассматриваю этот разговор как «товарищескую» беседу со старшим «товарищем», не недругом, не врагом моим; вы же-де — чекисты эпохи после XX съезда, не какие-то там ежовцы-

берианцы, вы хотите хорошего, добра — и стране, и молодежи, вы можете что-то не понимать, в чем-то быть неверно информированными; хорошо, поговорим, разберемся. В общем, «товарищеский разговор», а не «допрос» следователем подозреваемого-обвиняемого.

Итак, начинаю понимать: клонит к Степану. Не спешить, не выпаливать с самого начала его имя, не представлять знакомство с ним как что-то очень значимое и серьезное, о чем я сразу вспомнил.

Называю, делая вид, что с трудом вспоминаю, ребят с филологического («вместе проходили военные сборы»), с истфака («в Ленинке часто видимся»).

— А с философского кого-нибудь знаете?

Вот, вот, к Степану гнет. Но и тут не спешить: называю две-три фамилии, потом так же вяло: «Ан-ев…» и собираюсь назвать следующую — как бы проскочив эту, «малозначащую» для меня станцию.

Он перебивает:

— Не буду скрывать — речь идет об Ан-еве. Он и его подпольная антисоветская группа ***арестованы***! Что вы можете нам рассказать о его антисоветской деятельности?

М-да… Это — нокдаун. «Подпольная группа», «антисоветская деятельность», «арестован». Ситуация неожиданная. Мир чуть-чуть качнулся и поплыл: ведь, со Степаном мы наговорили в те вечера с пять коробов всякой всячины, чего только не касались наши острые, резкие, критиканские языки!..

Быстро, быстро выходить из состояния гроги, быстро соображать — как себя вести, что говорить. Откуда им известно о наших с ним общениях (потом уж, несколько дней спустя, подумал: письма, может, наши, посланные на Кавказ, открыли нашу связь; или и на Стромынке следили за ним и за нами)? В общем, откуда им известно и что именно им известно? Быстро соображай и выбирай правильную тактику. Нет, нельзя попадать в положение вертящегося, крутящегося, изворачивающегося и уличаемого; продолжать делать вид «товарищеской беседы» (хотя теперь это становится уже очень трудно).

Тяну, как бы вспоминаю (а мысль внутренне работает над выбором стратегии противостояния — что они знают? Неужели Степан им все рассказал?).

— Мне ни о какой его деятельности ничего не известно… Нас с ним случайно познакомил С. (называю это имя спокойно и с удовольствием — догадываюсь, что он — сексот, доносчик; на С. он никак не реагирует, словно не слышит, в другие же фамилии впивается, как коршун: а это кто? а это что? Но, естественно, получал ответ: «мой хороший друг, хороший товарищ, никаких грехов за ним не знаю» и т.д.). С Ан-евым мы имели два–три (не помню точно сколько) поверхностных разговора — о том, о сем; содержание этих разговоров, в силу их малой значимости, я помню плохо, но твердо знаю, что для вас и вашего ведомства они интереса не представляют.

— И все-таки попытайтесь вспомнить. Откровенно говоря, содержание этих разговоров нам хорошо известно. Но мы хотели услышать его и от вас. Ведь это были очень дружеские разговоры? Ведь Ан-ев так похож на Степана Шаумяна, не правда ли?

(Елки-палки, еще один нокдаун! Ведь, это я как-то в один из наших вечеров-ночей, улыбаясь, заметил, что Степан «похож на Степана Шаумяна» — одного из знаменитых 26 бакинских комиссаров. И вот этот мой сегодняшний собеседник знает такую (!) подробность! Снова слегка качнулся и поплыл мир: нас же было трое: Степан, Хорос и я. Хороса, насколько я знаю, пока не вызывали. Значит, Степан *все* разболтал. Уж если *это* рассказал, то остальное — наверняка (среди «остального» особенно крамольными были мои фантазии на тему коллективноопытничества: я шел в мыслях и агитации среди друзей дальше Матвея и его товарищей — я мечтал, что мы превратим это рабочее движение в народную антибюрократическую *партию*, при этом я несколько преувеличивал его силу, масштаб и массовость). В общем, дело худо.

— Ну, давайте, давайте, рассказывайте, что говорил он, что говорили вы. По поводу чего спорили?

— Из того, что осталось в памяти (это же было давно, несколько месяцев тому назад) помню, что не сходились мы в оценке Сталина (знаю, что вопрос этот по видимости «острый», но сейчас, после XX съезда, расхождение по нему не опасно ни для кого).

— Ну и в чем были ваши разногласия?

— Ну, Ан-ев считает, что Сталин — продолжатель дела Ленина в новых условиях.

— Ну и что? Это же — верно.

— Нет, мы с этим не соглашались. Нам ближе позиция, изложенная в докладе Хрущева на XX съезде.

Припоминаю что-то еще, совсем уж малосущественное.

— Нет, я вижу, вы не хотите быть с нами правдивым и искренним.

— Если вы что-то мне напомните, раз вы говорите, что вам «все» известно, — я смогу либо подтвердить, либо уточнить, либо опровергнуть…

Уже 12 часов. Два часа ходим вокруг да около. (Поехал к ним, не завтракая).

Встает, вызывает какого-то лейтенанта в кагэбэшной форме. Сажает того за стол и уходит, ничего мне не сказав. Лейтенант садится, молчит, листает «дело». В общем, стережет меня. Мне даже показалось — вынул пистолет и положил на стол рядом с собой (дело-то серьезное — об антисоветской деятельности идет речь!).

С час сидим неподвижно и молча. Для себя решил: не буду просить ничего — ни чаю, ни бутербродов, ни похода в туалет. (Продержали, кстати, где-то до 19–20 часов, т.е. около десяти часов, без еды и туалета. Мне показалось достойней: ни о чем не просить; больше хладнокровия и независимости!)

Через час возвращается мой первый собеседник, приглашает пройти в другую комнату.

Там — несколько человек, целый синклит — три мужика и какая-то баба, типичная гэбистка с проницательно-холодными глазами. Здесь уже разговор не о Степане, на другую тему.

— Расскажите нам о том, в каком это *движении* вы участвуете.

Вспоминаю рассказ Матвея, как он в 48 году, будучи арестован или «задержан», вел пропаганду коллективноопытничества среди допрашивавших его чекистов. По его стопам, по-матвеевски, двинулся и я. Пошел-поехал рассказывать о сути коллективноопытничества (к/о), о его значении для страны, для социализма, о его большом воспитательном значении для молодых людей, для студентов — окно, открытое в реальный мир, к рабочему классу и т.д. и т.п. — что я столько раз проговаривал в разных аудиториях. Слушали, не перебивая. Потом — вдруг:

— А кто руководит вашим движением?

(Э, нет, друзья, тут вы меня не поймаете, я уже оправился от «нокдаунов», освоился тут в вашей ситуации; вы ждете, конечно, что я скажу, как дурак: Розов, Гафанович, Арбузов, Беликов (движение будет выглядеть некой политической организацией, почти что «партией» — со своим «руководством» и т.д.). Нет, не дождетесь!).

— Руководит этим движением, можно сказать, Московский городской комитет комсомола — вот целая полоса об этом движении в его органе, «Московском комсомольце». А, кроме того, есть *инициаторы* этого движения: Розов, Гафанович и т.д.

— А почему же оно не получает широкого признания, поддержки государственных и партийных органов, коли оно такое хорошее, полезное, коммунистическое?

— Потому что в феврале-марте зеленых листьев на деревьях не бывает, — (вспоминаю образ из речей Матвея), — и вот кажется некоторым, что их никогда и не будет, а приходит май — и все деревья в зелени. Для коллективноопытничества сейчас апрель — вот первые зеленые листочки (материалы в газете), скоро и для него май наступит... И еще, — (видя, что они примолкли и инициатива переходит ко мне, перехожу в наступление), — и еще: есть немало людей, которые сопротивляются коллективноопытничеству — рутинеры, консерваторы, многие мастера, руководители цехов и предприятий (в условиях коллективноопытничества, делающего рабочего реальным хозяином на предприятии, они утрачивают свой статус, свои командные высоты) и т.д.; поэтому важно, (перехожу уже на менторский, матвеевский, тон), — чтобы вы не только *расспрашивали* о коллективноопытничестве, но и помогали ему в жизни, способствовали его продвижению к победе.

— Ну, мы сами знаем свои задачи... А что, вам и вашим друзьям в комсомоле тесно? Вам что, помимо комсомола и коммунистической партии, еще какую-то партию захотелось создать?

(Узнаю свои словесные фантазии! Кто же донес их до Лубянки? Ведь говорил я это в очень тесных дружеских кругах. Ужели и там предатель? Кто?)

— Нет, нам в комсомоле не тесно. Тем более в комсомоле, который, как я вам уже сказал, активно поддержал коллективноопытничество и включил его в круг своей деятельности, — (это, конечно, было страшным преувеличением, блефом: в «Московском комсомольце» наша полоса появилась по недосмотру главного редактора: не врубился человек в дело, думал, обычная

«рабочая инициатива», коих было пруд пруди и от которых не было никому не жарко, не холодно; но формально — вот комсомол поддержал, не придерешься). — Ну, и т.д. и т.п. — еще 2–3 часа.

Потом — в третий кабинет: там двое других, до сих пор мною не виденных, и мой хмурый, белокурый бес.

— Нам известно, что вы переписываетесь с Дедковым, обсуждаете получаемые от него письма. На этих обсуждениях часто звучат антисоветские высказывания...

(Игорь Дедков — уже на работе в Костроме. Мы с ним действительно переписываемся, и основная линия моих к нему писем — наивная и настойчивая агитация за коллективноопытничество, чуть ли не «требование» к Игорю решительно подключаться к этому «великому делу». Ответные письма Игоря — дружеские, но сдержанные. Он умудренней нас, старше. Его там, в Костроме, таскают в КГБ, и он знает, что почту его читают...)

К 19–20 часам вся эта тягомотина, наконец, заканчивается.

Мой «белокурый» дает мне подписать бумагу, что обо всем, что здесь говорилось, я обязуюсь молчать; предупрежден: за нарушение сей тайны — статьи уголовного кодекса такие-то и такие-то.

На прощание пожелание: думайте, если хотите, чтобы у вас все было хорошо, и — «мы с вами еще встретимся».

В тот же день, вернувшись в общежитие, отыскал одного из своих близких друзей (Н.), пошли с ним — на воздух, к Майским прудам — дабы никто не подслушал.

— Меня вызывали на Лубянку. Не исключено, потянут и тебя. Надо быть готовым...

Тренирую: задаю те вопросы, который ставил мне белобрысый. «Врать, изворачиваться особо, — говорю, — не надо. Но отвечать — осторожно, аккуратно, не попадаться им на крючок».

Н., конечно, попадается, — прямо «всеми четырьмя ногами».

— Кто руководит вашим движением к/о? — спрашиваю.

— Розов, Арбузов, Гафанович..., — «честно» отвечает Н.

И так — почти по каждому вопросу. Поправляю. Через пару часов посчитал, что Н. натренирован.

Но Н. почему-то не вызвали.

Вернее, у меня отсутствовала информация о том, что его вызывали. Вношу это уточнение сейчас — после одной странной фразы, вернее эпизода, рассказанного мне недавно (в 1998 году) моим давним студенческим другом Стасом Сергеевым, много лет — с Аджубеевских времен — проработавшим в «Известиях». Сидели мы с ним за чашечкой кофе и вспоминали какие-то эпизоды из своей быстро протекшей жизни. И вдруг — Стас:

— Ты знаешь, странную фразу мне как-то сказал Б. (известный спортивный обозреватель «Известий» и — одновременно — известный всем служитель Лубянки), так вот, этот Б. говорит мне (речь идет о периоде первой половины 60-х годов): «Да Н. — он же официальный сексот КГБ».

Ну, это сюрприз! Не знаю… У меня никогда насчет его (Н.) никаких подозрений не возникало,—хотя из неоднократных допросов чекистов выходило, что они знают очень интимные подробности моих разговоров, ведшихся среди только узкого круга близких друзей. Кто из них? У меня подозрение пало на одну студентку с младшего курса, и я дистанцировался от нее. Но знания героев-чекистов о содержании моих разговоров не убавлялось. Значит, еще кто-то…

Но чтобы—Н. … Я и сейчас не могу в это поверить. (Но с какой стати Б. было такое говорить Стасу?) И сейчас уж не знаю, могло быть такое, нет ли? Вспоминается одно откровение Н.:

—Знаете, ребята, я вам честно скажу: если меня будут пытать, я расскажу все, до последнего слова. Я не выношу боли.

Мы (нас было человек 5–6) как-то смущенно замолчали. Во-первых, вроде, как-то это звучит честно и благородно: не побоялся открыто (!) признаться в своей слабости. И каждый к тому же, наверное, подумал, во всяком случае я про себя подумал: «А как я? Я—выдержу? Если «пытать будут»? Боль мне тоже не в радость… В общем, не знаю, выдержу ли». Но почему-то не могу говорить, как Н. Не могу, потому что **не знаю**, выдержу ли (он-то уже **знает**, что **не** выдержит, а я **не знаю**; я буду стараться «выдержать» изо всех сил, да, изо всех сил—это я твердо знаю, и, кто его знает,—а вдруг «выдержу»…).

Мне почему неприятно «честное» признание Н. Как-то шкарябнуло оно по душе и по сердцу, но шкарябнуло словно мимоходом,—как запашок гнильцы, моментально унесенный ветром, ибо его «признание» как-то не выглядело актуальным: вроде пора «испанских сапогов» и ежовско-бериевских измывательств позади, и вроде бы и нам пока не угрожает ни дыба, ни колесование… Кольнуло, царапнуло и улетело (ну, можно за шутку или за игру ума принять). И забыл я **ту** фразу. А вот Стас процитировал Б.—и всплыла та фраза–«признание».

А что если в разговорах его на Лубянке всплыла в воображении моего студенческого товарища угроза «пытки»—и начал «раскалываться» он под влиянием этой угрозы и «боязни боли»?…

Но нет, и сегодня не могу в это поверить (но все же где-то там, внутри, на краешке сознания вспыхивает: «А вдруг—он?»).

Есть тут и еще одна странность. Меня ведь с десяток раз за время университетской учебы цепляли: приглашали на «беседы» в странную (без вывески) комнату № 5 на первом этаже знаменитого и старинного университетского здания (перед которым стоят Герцен с Огаревым и где—хотя и сумрачный сегодня, но потрясающе расписанный «актовый», ныне читальный, зал, в котором проведено столько счастливых часов в чтении и разговорах). И вот в эту комнату № 5 водили «пытать». С каждым новым «разговором» тон мой становился суше, резче, враждебнее. Телефонный звонок на Ленгоры (в общежитие): «Это—Елена Борисовна (кличка чекистки), я же просила вас прийти, почему не пришли?».—«Хочу вам сказать: я больше к вам не приду, и перестаньте мне звонить. Я отказываюсь с вами разговаривать. Всё!»—и кладу трубку.

И — о, поразительно: отвязались, собаки! По-видимому, почувствовали, что лимит моей сдержанности исчерпан…

Так вот, я не верю, что Н. ни разу (!) не вызывали. Этого просто не может быть, ведь во всех наших «антисоветских делах» он был рядом со мной. Но ни разу (!) ни о каких «вызовах» он мне не говорил. Это — подозрительно.

Но, повторяю, и сейчас, сегодня не могу класть на него пятно. Во всяком случае, уверен, лично обо мне он не сообщал (если вообще «сообщал») ничего, что подводило бы меня, что называется, «под монастырь»…

И еще, чтобы уж совсем закончить рассказ об этой истории. На следующий, после моего двадцатилетнего юбилея, день, я, наплевав на данную мной подписку о «неразглашении» и угрозы статей уголовного кодекса, — собираю наш самый-самый студенческий актив (человек 10–12) и сообщаю им о беседе на Лубянке. Подчеркиваю: «Нам нечего бояться и нечего затаиваться, мы делаем социалистическое дело, мы не должны позволить консерваторам, бюрократам, сознательным или несознательным противникам подлинного социализма сорвать нашу деятельность. Но, понимая, что за нами будет слежка, мы должны быть собранными, взвешенными, аккуратными в разговорах — поменьше пустой трепотни; это — уже серьезная борьба, не игрушки, это — деятельность у опасной черты. Но это не значит, что нам нужно примолкнуть, пригнуться, «уйти на дно», напротив, — вести себя смелей, тверже, открытее, но — серьезней (никакой репетиловщины!)» и т.д, и т.д. в таком роде.

Когда начал рассказывать о «беседах» на Лубянке, смотрю: попритихли ребятки, чувствую, у некоторых холодок стал заползать в душу. Но по мере того, как я говорил дальше, анализировал, «призывал», — чувствовал: холодок, внутренняя дрожь уходит, ребята как-то суровеют, подтягиваются, возникает какой-то феномен коллективной смелости и решимости.

И Дедкову вскоре написал письмо. Он мне намекнул, что, дескать, надо бы временно ограничить нашу переписку. А я ему — открытым, что называется, текстом пишу: нет, мы не должны свертывать связи; это они, следящие за нами, хотят нас припугнуть, разъединить, заставить «лечь на дно»; напротив, нам надо плевать на них, на их слежку и делать свое, нравственное и совершенно не выходящее за рамки законности, дело.

А еще через день — идем по Москве (вечер) — наша «руководящая» четверка и мы с Володей Хоросом. И снова, пренебрегая той «подпиской», ставлю в известность друзей о содержании «разговоров».

Напряженно слушают. Матвей выспрашивает все до мельчайших деталей, просит возможно точнее передавать формулировки их (чекистов) вопросов, в особенности тех, что имеют отношение к коллективноопытничеству. Чувствую, взвешивает, переваривает — что бы это все значило и что нужно предпринять.

Николай (Арбузов): «Друзья, ситуация обостряется. Чем ближе победа, тем активней сопротивление. Нам надо продумать нашу дальнейшую тактику с учетом всего этого. Но прежде отметим, что сегодня в наиболее сложной ситуации Гриша, и давайте подумаем, как лучше его поддержать и защитить».

Матвей взрывается: «... твою мать, что ты говоришь, Николай? Какая там "опасность"? Не нагоняй испугу! Ты же видишь: они там, вызвав Гришу, думали, что перед ними воробей, а оказался — Орел!».

Николай (как обычно, сразу поддерживает Матвея, понимая, что его слова предназначены для поддержки меня): «Ну, конечно, Матвей, Гриша держал себя геройски...».

Понимаю всю их «игру»: все эти «орел», «геройски» — это для моей поддержки, подкрепить, подпереть меня. Но и приятно, черт побери, — приятны не сами эти слова-преувеличения, а ясно выраженная готовность придти на помощь, приятно видеть, что ты не один, что тебя не предадут, не бросят, а поддержат — твердо и решительно, и, если понадобится, то и геройски. И тогда-то особенно хочется быть достойным их слов-преувеличений — вести себя «геройски» и «по-орлиному»...

Матвей: «Завтра же идем к "слесарю" *(так Матвей кличет Климента Ворошилова, с которым он где-то мельком общался, агитируя за к/о)* или там еще к кому-то такого же типа, все рассказываем, чтобы... ну, в общем, — ответить Лубянке контрударом и попутно защитить Гришу».

Я предлагаю этого пока не делать, потому что в тех «беседах» открытой, прямой, грубой атаки на к/о не было. Так, намеки, цепляющие вопросы (не попадусь ли в словесные капканы). Это — пока зондаж, разведывательная операция, но не объявление открытой войны. Нам самим, без крайней необходимости, не стоит ее начинать... Посмотрим, как будут разворачиваться события.

Матвей соглашается. Но затем на всех встречах, где мы пропагандировали, «пробивали» к/о — в райкомах, парткомах, министерствах, журналах (в «Коммунисте», например), не называя меня и не ссылаясь на меня (помня о моей «подписке»), орет: «Некоторые (в органах КГБ) делают палаческую работу по отношению к к/о... Либо они поймут это и прекратят свое палачество, либо, после победы нашего великого дела, понесут очень серьезную ответственность, хотя не исключаю, что мы их простим, пусть только побыстрее поймут.. и т.д.».

Двадцать лет спустя, год 1980-й

Дорогие ребята! Как-то встретимся мы сегодня — через двадцать лет после того, как в последний раз мы все вместе — словно перед дальней дорогой — посидели в 16 аудитории, а потом — за столами, в студенческой столовой на Ленгорах, где — помните? — был наш выпускной вечер? Что мы скажем сегодня друг другу, пожимая при встрече руки в стареньком и не изменившемся фойе нашего клуба? О чем подумаем мы, вглядываясь друг в друга — узнавая и не узнавая?

Я думаю, это очень нужная всем нам и своевременная встреча. Наша встреча — это хорошая возможность (пусть только на один вечер) приоста-

новить инерцию своего движения по жизни, отключить (пусть на пять-шесть часов!) время, — вернувшись в тихое, неподвижное, застывшее прошлое, вернувшись к нашим истокам, к тому ощущению мира и себя в этом мире, которое давало нам наше прежнее общение, — когда у нас все было в возможности и все казалось возможным, когда мы не имели еще никакого представления о такой степени быстротечности человеческого бытия — мы еще не теряли близких, друзей, мы не знали еще серьезных хворей и болезней — мы были бессмертны, вечны: мы могли стать кем угодно, мы еще не катились по более или менее узкой колее, мы просто беспорядочно и свободно бродили по полю — широкому, бескрайнему, бесконечному.

Наверно, всё это и давало ощущение полноты и богатства жизни.

Недавно я встретил одного своего старого друга (он учился на курс старше), я чуть ли не с криком радости кинулся к нему и напоролся — как Максим Максимыч на холодность Печорина. Впрочем, аналогия с лермонтовским романом тут не полная, лишь по форме схоже, суть же здесь была несколько иная: нет, он, хотя и занимает черт знает какой высокий пост, не кичился, не подавал два пальца и не говорил свысока: не в этом дело, он хотел со мной встретиться и чувством, и мыслью, — но не получалось; он был заполнен своими сегодняшними служебными заботами и заботками, старым друзьям тут просто не оказывалось места, тут вообще не оказывалось места ничему и никому, кто не причастен к его службе, к его «делу». Свое дело он, наверное, знает превосходно (спец!), но тропинки и дорожки, бежавшие когда-то от него к общечеловеческому, общезначимому, общеинтересному и общеважному, — они как-то позаросли и позатерялись. Он потерял свою целостность, универсальность. Маркс в таких случаях говорил о «профессиональном кретинизме». (И не воспринимай, дружище, — если прочтешь это и узнаешь себя, — как обидную кличку; это просто название некоторого недуга; я подметил его у тебя, но и сам я, наверно, не безгрешен на сей счет; кто знает, может, другой кто вот так же «напарывался» на меня).

Наша встреча — это возможность выскочить из своей все более затвердевающей скорлупы сегодняшнего «дела» и посмотреть на него, может быть, немного наивным, но требовательным и бескомпромиссным взглядом тех юношей и девушек, которыми мы когда-то были, юношей и девушек 1956 года, года нашего гражданского рождения. Хотим мы этого или нет, но именно с такими вот «экзаменаторами» предстоит нам встреча сегодня. Едва мы поднимемся в фойе, едва взглянем друг на друга, — и из наших глаз, наших улыбок, возгласов родится сам собой тот прекрасный и наполовину забытый мир. Мы будем в этот вечер пришельцами именно из того мира. Мы просто не можем все вместе вступить в 1980-й год, мы просто не можем обратиться к сегодняшним друг другу, ибо не знаем друг друга «образца 80-го года», и у нас не будет времени на узнавание: мы неизбежно должны будем начать наше общение с того момента, с того слова, с той фразы, на которых расстались двадцать лет назад. И это очень полезная для нас неизбежность. Я знаю, там будет романтическая, не будничная, возвышенно-праздничная Ирочка

Добровольская. Почему-то сразу после нее вспоминается Лева Борщевский. Я не знаю, чего он не знал, он знал все, я помню его строгий анализ форм собственности и изящное эссе о начинавшем тогда Илье Глазунове; Лева, как известно, не был «красавцем-мужчиной», но когда он в 24-й аудитории на стареньком пианино играл Бетховена, то был прекрасен, как Жерар Филипп. Я увижу Геру Ломанова, того семнадцатилетнего паренька, с которым мы лежали в пахучей соломе в одном колхозном сарае и который долго и тихо говорил о своей любви к Алексею Толстому и о том, что хотел бы писать как-то в его манере.

Я ловлю себя на мысли, что кого ни вспомнишь — все какие-то яркие, колоритные, крупные и удивительно разные. Эта наша «разность», наша нестандартность, наша непохожесть были нашим счастьем: мы дополняли друг друга, мы тянулись друг к другу, мы развивали и обогащали друг друга. Деловые энергичные ребята (Володя Мушастиков, Жора Целмс, Гена Сперский) без всякой подготовки могли бы командовать ротой, полком, руководить райкомами, заводами; и совершенно немыслимые в энергично шагающем строю эстетически утонченные Андрюша Золотов (открывший нам глаза на Рихтера), Юлик Надеждин (поэт с тихой, благородной интонацией), Володя Барыкин (знаток живописи и эстетики). Всегда такие аккуратные, такие деликатные, такие сдержанно вежливые Саша Кузнецов и Женя Блажнов, и такие разудалые Лешка Сребницкий, Славка Филиппов и их друзья из комнаты на Стромынке — где стоял вечно зеленый, плотный, не пролезавший даже в широко раскрытую форточку дым, где на столе составлялись такие «натюрморты», которые ни одному абстракционисту не снились в самом кошмарном сне, где звенели Славкины и Лешкины стихи и где собиралось наше курсовое литературное общество, возглавляемое профессором А.В. Западовым. Лиричный Володя Хорос, которого легко представить в костюме графа Альмавивы или молодого Фауста, и почти Мефистофель — Боря Лукьянов, острый, как лезвие бритвы, ядовито-остроумный. «Простой», как правда, Коля Иванов, исключительно серьезный товарищ — Рома Золочевский и развеселые, ироничные Леня Лейбзон, Гена Галкин, Юра Рогов. А Юра Клепи-



ков, а Марик Розовский, а Нина Агаева, а Тоня, а Костя Щербаков, а Лера Косичев, а Лена Павлова, а Стасик Сергеев, а Витя Веселовский, а Таня Пупкова, а.., а — нет, тут невозможно остановиться, тут не спеша и по порядку надо перечислять всех. У нас не было «незначительных», «не имеющих значения», тех «бесконечно малых», которых можно было бы «сократить», округляя величину интеллектуального и нравственного потенциала нашего курса. И это прекрасное разнообразие не было случайным результатом соединения просто разных людей, оно поддерживалось и развивалось самой спецификой нашего факультета. Это был уникальный факультет (говорю «был», потому что не знаю, каков он «есть»): он не давал жесткой и строгой профессии, и мы избежали ранней специализации. Я смотрю в приложенную к диплому «выписку из учебной ведомости» — бог мой, что мы только не изучали: историю философии и основы организации промышленности и сельского хозяйства, языкознание и логику, эстетику и зарубежную литературу, всемирную историю и технологию полиграфического производства, зарубежную печать и стилистику, политэкономию и диалектический материализм и т.д., и т.д. Ну, только греческого языка не хватает! Да это же прообраз учебного заведения будущего: широкое и универсальное гуманитарное образование — и уже потом, на этой основе — сознательный и самостоятельный выбор профессии и жизненного пути. Совсем не случаен поэтому такой развернутый веер выбранных нами дорог: кинорежиссеры, сценаристы, поэты, научные работники (филологи, философы, историки, экономисты), преподаватели вузов, школьные учителя, артисты, театральные режиссеры, музыковеды и искусствоведы, литературные критики, работники партийных, комсомольских и профсоюзных органов, а кто очень хотел — тому оказался не заказанным и путь журналиста.

И еще одна специфическая черта нашего курса. Это был курс не только поразительного разнообразия, но и удивительного единства, — которое основывалось, наверно, на том, что все мы были детьми войны (и знали, что такое не вернувшиеся с фронта отцы и старшие братья, что такое вконец изможденные матери), на том, что большинство из нас жило на стипендию, без родительских дотаций, на том, что высокие идеи и высокие слова были для нас не просто словами, а, по-добролюбовски выражаясь, — «сердечной святыней». Нам повезло с преподавателями. Владимир Александрович Архипов: он не был каким-то идеально-небесным человеком: сложный, противоречивый, разный, но когда я читаю пушкинское «Куницыну дань сердца и вина! Он создал нас, он воспитал наш пламень», — я вспоминаю Владимира Александровича; во всяком случае, если он и не зажег «наш пламень», то угольков в него подбросил немало. Александр Васильевич Западов — умный, ироничный, всесведущий, не над студентами, а среди них. Мы еще застали профессора Константина Иакинфовича Былинского, одного из могикан языкознания. Елизавета Петровна Кучборская. Она как будто парила над кафедрой, над нашими головами — смотрела всегда куда-то вверх, словно не с нами, а с богами-олимпийцами разговаривала, и даже не разговаривала, а — пела им, вещала — о чем-то возвышенно-прекрасном, о чем-то прекрасно-

несовременном; она завораживала красотой своего слога и пластикой движения. Доброе чувство живет в нас и ко многим другим педагогам, которые не только «растили» нас, но и, как они сами потом говорили, росли вместе с нами. Не все наши ребята смогут приехать на сегодняшнюю встречу, но мы вспомним каждого, и в особенности — тех, кто так трагически рано ушел из жизни: Тому Мокшину, Лешу Пахомова, Олега Соколова, Сашу Трухачева, Алика Чудинова.

Наш курс не был каким-то особым студенческим мирком, замкнутым на молодежные, чисто студенческие проблемы, он был домом, распахнутым в мир: мы жили интересами всего человечества, страны своей и народа своего. «Своими», почти сокурсниками, были для нас люди других веков и других народов, «своими» были для нас и многие наши современники, в том числе и те, кто никогда не переступал порог нашего факультета. Вот почему наш курс можно назвать курсом Рафаэля и Моцарта, Чернышевского и Толстого, Есенина и Маяковского, Валентина Овечкина и Владимира Дудинцева, курсом «Нового мира» Твардовского и первых поэм Евтушенко. Может быть, я несколько субъективен (и, конечно, далеко не полон) в этом выборе имен и фамилий, кому-то дело представляется иначе; я говорю о своем ощущении. Но, наверно, мы все сойдемся на том, что превыше всего наш курс ставил гражданское и человеческое достоинство.

Газета «Журналист», май, 1980 г.

1959 год

Вступая в жизнь

донесение № 1. Направляю вам статью Автора (за которым мне поручено наблюдать), а также свои комментарии к ней.

Автору — 21 год. Перешел на последний курс факультета журналистики МГУ. Активный участник студенческих волнений в МГУ, начавшихся после XX съезда партии. На втором курсе (1956 г.) в середине года — был инициатором созыва не санкционированного партийным руководством факультета комсомольского собрания курса, на котором, вопреки всем уставным нормам и правилам, было смещено (подобранное ранее этим руководством) комсомольское бюро. И было избрано новое, как было заявлено, «революционное» комсомольское бюро курса, секретарем которого и стал Автор. После чего им было подготовлено (от имени нового бюро) и вывешено на стене «Воззвание к студентам факультета» — с резкой критикой администрации (стиль работы которой назван «удушающе-бюрократическим»), системы преподавания (навязывающей студентам «ложные и лживые представления об истории страны и обществе, в котором живем») и общей атмосферы жизни

на факультете («атмосферы лицемерия и несвободы») и призывом к замене декана и ряда «наиболее одиозных преподавателей». Даже «вождь» студенческого движения на факультете пятикурсник Игорь Дедков на собрании второкурсников посетовал, что «Воззвание» написано «излишне радикально». Тем не менее Автор был введен в общефакультетское комсомольское бюро — по предложению Дедкова. *Беседы* с Автором в партбюро факультета, а затем и в Комитете государственной безопасности (на пл. Дзержинского) не оказали на Автора никакого воздействия.

Направляемый вам мною сборник «О людях нашей профессии», только что (июнь 1959 г.) изданный типографией факультета журналистики, — ясное тому свидетельство. Авторы статей в сборнике — члены студенческого кружка, старостой которого является Автор. Все они — люди, остро критически (если не сказать больше) оценивающие ситуацию в стране и особенно в той сфере, где им через год предстоит работать, — в органах печати. Это — **Владимир Хорос** (*в дальнейшем — известный ученый, доктор исторических наук, руководитель крупных научных коллективов, один из ведущих научных сотрудников Института мировой экономики и* международных *отношений),* **Борис Лукьянов** (*позже — доктор философских наук, профессор, главный редактор журнала «Художник»),* **Нина Деревянкина** (*впоследствии — Павлова, известная журналистка, писательница, автор нашумевшей в свое время ефремовско-мхатовской постановки ее пьесы «Вагончик»*), **Владимир Барыкин** (*кандидат филологических наук, преподаватель МГУ, один из видных работников Книжной Палаты*), **Светлана Юрчик** (*впоследствии — Туторская, много лет проработавшая в лучшей по тем временам газете страны — в «Известиях»*), **Ростислав Филиппов** (*автор ряда талантливых поэтических сборников*).

Статья Автора «Вступая в жизнь» претендует на то, чтобы быть своеобразным Манифестом этого кружка. И, по-моему, содержание этого «Манифеста» не может не привлечь самого пристального внимания компетентных органов. Центральные (и наиболее тревожные) идеи статьи мною подчеркнуты в тексте. Считаю нужным также кратко зафиксировать основные моменты концепции Автора.

Он дает резкие и крайне негативные оценки существующей системе партийно-государственного правления. Вот как он оценивает и увязывает именно в **систему** деятельность возведенных им в социальные **типы** руководителей партийных, государственных и хозяйственных органов. **Главный редактор крупной партийной газеты** характеризуется в статье как «вельможа» и «барин», «ловкий демагог», который строил свою карьеру «ползком, сбивая колени», у него «мягкие движения, за которыми скрывается звериная(!) жестокость», у него «добрая безразличная улыбка, которая скрывает клыки хищника», у него «рысьи глаза» и «ледяной унтер-офицерский голос». И этот человек — в одной связке с секретарем райкома партии, работниками обкома, с хозяйственными руководителями, характеристики которых, даваемые Автором, не менее негативны. Так, **секретарь райкома партии** именуется

«современным Пеночкиным» (сродни тургеневскому помещику-самодуру), **председатель колхоза** — «современным бурмистром», который в своих «шкурнических интересах» «буквально грабит коллективное хозяйство» и, подобно угодливым «бурмистрам» крепостнической России, посылает «подарочки» помещику-коммунисту — «коровок, баранчиков и тому подобную мелочь». У них, разумеется есть «дружки и заступники в **обкоме**», то есть на всех этажах партийно-политической лестницы везде «свои люди». И далее вывод, претендующий на очень широкое обобщение: «Карьеристы, бюрократы тесно связаны между собой. Располагая большими возможностями, обширными связями, они покрывают друг друга, действуя как **хорошо слаженный механизм**». Именно этот «механизм» (сравниваемый часто с «феодальным»), а не отдельных порочных чиновников описывает автор, именно над ним он стремится вершить свой суд. Автор далее стремится выявить и другие социальные составляющие этого «механизма». Частью этого механизма, этой системы, «союзниками и опорой бюрократов», пишет он, выступают «службисты» (эта безропотная и «исполнительная» армия высших слоев бюрократии), а также трусливые и «равнодушные» обыватели: «Службисты вместе с равнодушными являются опорой бюрократии; при их поддержке бюрократы творят произвол».

И никого не должен вводить в заблуждение провозглашаемый вдруг Автором тезис, что «победа справедливости есть закон нашей жизни» и что добиваться этой «справедливости» можно, опираясь на решения «**ленинской** линии ЦК». Нет, Автор тут не хитрит, не лукавит, не приспосабливает свою лексику к официально допустимой. Он всерьез пишет о «ленинской линии», под которой понимает курс «на привлечение широких масс к руководству государством, осуществление во всех областях жизни принципа коллективного руководства», то есть — курс на развитие некой народной демократии. Он всё время противопоставляет «настоящих коммунистов» («простых, честных людей», лишенных «шкурнических интересов», искренне и самоотверженно заботящихся об «общественном благе, выступающих за то, чтобы трудящиеся стали реальными хозяевами общественного богатства и своей судьбы, а не бессловесными существами с «зажатыми ртами») — коммунистам «не настоящим» (руководящему «бюрократическому» сословию). Говоря о «ленинской линии», Автор имеет, конечно, в виду решения XX съезда с его резкой критикой культа Сталина и осуждением сталинских репрессий. Но все дело в том, что он толкует эти решения совсем иначе, чем это сделала партия на июньском Пленуме ЦК (1956 г.). Пленум подчеркнул, что культ личности Сталина **не изменил социалистическую природу** общественного строя в нашей стране, а партия сама честно вскрыла допущенные ошибки и уже исправила их, и вопрос, следовательно, закрыт. Автор же, очевидно, не согласен с этой партийной установкой. Он считает, что вопрос не только не закрыт, но что, напротив, к его решению как бы и вовсе не приступили. Для него решения XX съезда — лишь провозглашение **намерений** борьбы с бюрократией, и он призывает в полной мере эти намерения реализовать. Повышенная эмоциональность тона статьи выдает Автора с головой: он, отталкиваясь от воз-

можностей, заложенных, по его мнению, в докладе Хрущева на XX съезде, настаивает на решительной и повсеместной борьбе с **бюрократической системой**, коренным образом противоречащей принципам классического (в его трактовке — демократического) социализма. Я особо хочу обратить ваше внимание на заключительные строки его статьи, в которых, по сути, дается предельно резкая критика именно позиции июньского Пленума, существенно уточнившего (и смягчившего) положения доклада на XX съезде: «Не следует благодушничать, — пишет Автор, — бюрократы, теряя позиции, становятся злее и хитрее, они перекрашиваются в новые цвета (*Ничего похожего на спокойные, уверенные и оптимистические решения Пленума*! — курсив мой, осведомитель). Дни бюрократии сочтены, — продолжает Автор, — наступило время ставить вопрос о ее окончательной ликвидации. Сметать эту дрянь, путающуюся в ногах. И наше место, журналисты, — на передовой».

Для меня, товарищи, несомненно — это призыв не больше, не меньше, как к некой «антибюрократической» революции (опирающейся на «ленинские», в его трактовке — народно-демократические, идеи) — об этом говорят и тон статьи, и ее «глобальные» обобщения, и даже заключительный термин — «на передовой»: **фронтовой** термин, товарищи!

Статью Автора прилагаю.

Конечно, никакого «Донесения», уважаемый читатель, я на самом деле не читал. Это просто моя фантазия: я попытался представить — чем могли заполняться страницы того трехтомника слежки за мной, о котором упомянул В.Л. Шейнис (см. «Предварение второе» этой книги). У меня даже была мысль написать цикл таких Донесений, предваряющих последующие мои сочинения, — дабы современному читателю более рельефно раскрыть те подтексты, что присутствовали в наших писаниях. Но, написав и прочитав Донесение № 1, решил им и ограничиться. Мне показалось, что оно чересчур толково, слишком «культурно» и слишком деликатно для гэбешного осведомителя.

Ну, а теперь — к упомянутой в Донесении статье.

«Вступая в жизнь»

Вот она, жизнь, — раскрыла свои объятия, распахнула могучие двери, зовет к себе, смущая тебя бескрайней широтой и неизвестностью. Пять студенческих лет, зеленые, шумящие годы, уже откружились у ног твоих желтыми поблекшими листьями. Жизнь зовет. Ты вступаешь в нее, волнуясь и замирая, словно в холодные волны моря. Ты делаешь первый шаг, второй — студеная ледяная вода. Смелее, вперед! Не оглядывайся на берег — там уже другие, они готовятся плыть за тобой. Взмах руки, еще, еще — навстречу ветру, навстречу волнам — вперед... Туман завернул тебя в молочное покрывало, только след, оставленный тобой, еще серебрится под луною...

Счастливого пути тебе, товарищ!

Как-то встретит нас жизнь...

Андрей Логов только что окончил журналистский вуз. Ему 25 лет — за плечами полтора года войны, год работы в районной газете, но он так же молод, так же неопытен в жизни, как и ты, оканчивающий факультет Журналистики. Андрей едет в редакцию крупной газеты — работать, жить.

С этого начинается действие в книге В. Перчаткина «Журналисты».

Перчаткин — опытный газетчик. Он много повидал на своем веку, поэтому его рассказы, герои жизненно правдивы, а потому заслуживают пристального внимания и изучения.

Андрей Логов вступает в жизнь... У него горячее сердце и большие мечты. Наша жизнь будит в нем инициативу, наполняет энтузиазмом.

Как Андрей писал свой первый материал — отчет о пленуме райкома партии! — от напряжения стучало в висках, но он не чувствовал усталости. «Пленум не удался, решил он, больше походил на совещание хозяйственников». «Прочтут в газете отчет — забегают, — подумал Андрей».

Но забегал Андрей.

«У нас не было сигнала, — устало сказал главный редактор газеты Ковалев, — и такой критической статьей мы можем подорвать авторитет райкома в глазах рядовых коммунистов».

«Радостное возбуждение, в котором он (Андрей) находился все утро, погасло», — констатирует автор.

Его погасил главный редактор Ковалев.

Ковалев... вглядись в него, товарищ. Крепко запомни его, запомни, как величаво поднимает он голову, как большими усталыми глазами смотрит на входящего, не спеша отвечает на приветствие и рукой указывает на мягкое кресло возле стола. Хозяин! Запомни его усталые задумчивые глаза, за которыми пустота, запомни его мягкие движения, за которыми скрывается звериная жестокость, запомни его добрую безразличную улыбку, которая скрывает клыки хищника. Запомни... и не склоняй перед ним голову.

В редакции он присвоил себе монопольное право говорить от имени партии и народа.

Это не узколобый, невежественный рутинер, он не грубит с подчиненными, не кичится своим «я». Он совсем не похож на тех оглупленных бюрократов, которые частенько появлялись в нашей литературе и кино, в нем трудно увидеть и Победоносикова. Его голыми руками не возьмешь: это ***ловкий демагог***, козыряющий своим партийным билетом, своим безукоризненным, чистеньким прошлым — никуда не привлекался, нигде не был замешан. Он хорошо работал, он всюду «отличался». Но его энтузиазм с самого начала был поддельным и показным. «Он ясно понимал, — пишет Перчаткин, — что выдвинуться можно только благодаря хорошей работе, и не щадил сил. В любое время молодого агронома можно было видеть на полях среди колхозников, в хатах-лабораториях, в клубах за чтением лекций».

Ковалев создает свой политический капиталец расчетливо. Он не сделает ни одного активного шага, если будет заранее знать, что о нем не узнают в

райкоме или обкоме. Простые, честные люди живут вокруг него. Не шумя, не афишируя, они делают добрые, хорошие дела. Ковалев же будет неделю страдать, если инструктор обкома не узнает, что он выступил с лекцией перед комбайнерами на току. Ведь для него это будет напрасно потерянным временем.

И ***ползком, сбивая колени***, добрался Ковалев до места главного редактора крупной газеты. Теперь он — ***вельможа, барин, «хозяин»***, как называют его редакционные подхалимы.

Его представления о коллективе взяты из арсенала ***феодалов***: «Коллектив? — восклицает он. — Что такое коллектив? Если руководитель держит вожжи, то коллектив — ансамбль, а отпустить вожжи — начнется демагогия и получится крыловский квартет».

И вот эта теория вожжей и кнута (о кнуте Ковалев умалчивает, но этот атрибут лихого ***феодального наездника*** подразумевается, ибо чем же подгонять коллектив, склонный развалиться, как только наш «руководитель» отпустит вожжи) эта теория положена Ковалевым в основу деятельности редакции, и, конечно, создает весьма «благоприятную» обстановку для работы в газете. «В редакции нет творческой обстановки, — говорит разгоряченный Андрей Логов на одном из производственных совещаний. — Мы заполняем страницы газеты, а чем — мало интересуемся. Нужно это читателю или нет, — нам все равно». Ковалевым, конечно, нет никакого дела до читателя, им вообще нет ни до кого дела. Все многоообразие мира, все его краски, звуки, запахи, все его радости и печали слились для Ковалева в то, что он называет «собственным благополучием». Какое ему дело до того, читают его газету или пускают на самокрутки, от этого его заработная плата не убавляется. Его занимает лишь мысль — не вылететь из седла, удержаться. Коммуниста эта мысль не волнует. Он идет с поднятым забралом и развернутым знаменем. Ковалеву же надо подделываться под коммуниста. Это очень трудная игра, но тот, кто в ней имеет успех, это большой актер, это ***опасный враг***.

Он не может думать и чувствовать по-коммунистически. Поэтому поет с чужого голоса, пытаясь повторить слово в слово арию ведущего певца. Он за формулы цепляется, как за спасательный круг, он не может видеть ни дальше, ни ближе ее, ни больше, ни меньше, чем там сказано. Он боится всего «своего», всего, что не совсем подходит под эту формулу. Его заскорузлость мешает понять новое, а голос благополучия твердит: смотри, как бы чего не вышло.

Критиковать и хвалить он может только «по сигналу». А если «сигнала» нет, то в ковалевской газете пишут по принципу «ни да, ни нет». «Когда пишете о чем-нибудь положительном, — говорит Ковалев, — в конце говорите о недостатках, хотя бы незначительных: чем мы гарантированы, что завтра там на случится что-нибудь плохое. Потом скажут (ох, эта... княгиня Марья Алексевна!): газета захвалила. Возьмите статью и немного исправьте». И если вы, смутившись этой логикой карьериста, сдадитесь и сделаете по его совету, — вы погибли, Ковалев будет вить из вас веревки. Но учтите и то, что если вы будете возражать робко и трусливо на мягкие, но настойчивые доводы Ковалева, то ... ***блеснут рысьи глаза, а ледяной унтер-офицерский голос***

резанет по сердцу: «Делайте, что сказал, — бросив эти слова, Ковалев уткнулся в бумаги». Коротко и ясно — «делайте, что сказал». ***Подойти и вытряхнуть его из кресла!..*** Но нелегко подойти к нему.

У Ковалева есть ***дружки и заступники в обкоме***, у него есть «преданный» друг — ***секретарь райкома партии Мурашев, этот современный Пеночкин. У Мурашева-Пеночкина есть свой современный бурмистр — председатель одного из колхозов Новосильцев. Он буквально грабит коллективное хозяйство. В общем хозяйстве его волнуют прежде всего шкурнические интересы, которые всячески поддерживае Мурашев. А ему современный бурмистр, в свою очередь, посылает «подарочки» в виде коровки, баранчиков и т.п. мелочи. Народ в этом колхозе забит и запуган. Кому пожаловаться на Новосильцева? Мурашеву? Пробовали, но Пеночкин оказался на высоте помещичьего мировоззрения, жалующиеся рты были «зажаты», по выражению колхозников.*** На вопрос Логова, посетившего этот колхоз: «Если Новосильцев плохой хозяин, почему вы не переизберете его?» — колхозники: «Где там! В этот раз хотели прокатить, но на собрание сам Мурашев прибыл и всем рты зажал. Райком, дескать, рекомендует, избирайте! Ведь он секретарь, у него сила».

Как сместились, исказились понятия у людей, которыми «руководят» Мурашевы. У настоящего коммуниста — сила не потому, что он секретарь, а потому что правильней, глубже понимает жизнь, потому что он не формально принадлежит к ленинской партии, составляющей душу и мозг народа.

Беспокойные люди выгоняются Мурашевым вон. Понимая силу печатного слова, Мурашев в первую очередь обеспечивает себе спокойствие на этом фронте. Новый редактор районной газеты рассказывает Логову: «Я здесь всего полгода. Здесь был опытный редактор, но что-то не поладил с товарищем Мурашевым. Его освободили».

Карьеристы, бюрократы тесно связаны между собой. Располагая большими возможностями, обширными связями, они покрывают друг друга, действуя как хорошо слаженный механизм. Они отлично понимают, что вожжи и кнут еще не обеспечивают им безраздельного господства над коллективом, ибо члены его, объединившись, выбросят их, как щепку. Поэтому они кладут в основу своей деятельности принцип: «разделяй и властвуй». Разъединить коллектив — это поможет им легче расправляться с неугодными.

С приходом Логова в редакцию Ковалев почувствовал, что его трон закачался. Приближалась схватка.

На одном из партсобраний редакции после критических выступлений Логова и Шатрова поднялся Ковалев, отмобилизованный, исполненный жестокой решимости. «Выступления здесь Логова, Шатрова и других я отметаю, как надуманные и клеветнические. Со всей партийной ответственностью я заявляю: творческая обстановка в редакции вполне пригодна». Тяжелый аргумент эта «вся партийная ответственность»!

Ему вторит ответственный секретарь редакции Нефедов: «Логов не критиковал, а шельмовал». Золотая фраза! Она должна войти в историю вместе с кры-

латыми словами Дантона, афоризмами Монтеня, филиппиками Цицерона. Все знают, что критика и самокритика — движущая сила нашего общества. Об этом написано много статей и брошюр. ***Но достаточно вымолвить высокопоставленным бюрократам: «Это не критика, а клевета», как от прекрасного лозунга остается лишь приятное воспоминание, он наполняется такой пустотой, что теряет всякий смысл. Это умение опустошать прекрасные мысли, лозунги, понятия — отличительная черта бюрократии.***

Союзниками и опорой бюрократии являются службисты. Это исполнительные люди, которые педантично исполняют свои обязанности, но которые не сделают шага, если дело выходит из их обычного регламента, если им придется пожертвовать своим временем. Таков ответственный секретарь редакции Борис Николаевич Нефедов. Человеческие радости и волнения для него не существуют. Он, как хорошо заведенная и смазанная машина, педантично, вот уже в течение многих лет исполняет служебные обязанности. «Казалось, разбуди его среди ночи, он, не задумываясь, сделает макет очередного номера, прочитает и поправит статьи перед набором. Иногда ему думалось, что он все до подробностей изучил и теперь выполняет свои обязанности механически, как автомат». Это действительно так. Но всем ясно, что будет, если творческое дело коммунистического воспитания масс доверить автомату. Можно быть уверенным, что никакая семилетка будущего не поставит перед собой задачи автоматизировать «линии» коммунистического воспитания.

Нефедова с Ковалевым связывает дружба. Это очень трогательная дружба. Наши герои не делят в часы досуга «трапезу», «мысли и дела», ибо трапезы у них хватает каждому с избытком, мыслей у них нет, а дела, то есть все служебные обязанности, давно уже поделены. Друг познается в беде — вот девиз этих «реалистов».

«Эта дружба проявлялась всегда в те острые минуты, когда взаимно следовало поддержать авторитет. Нефедов находил искусный момент выступить в защиту Ковалева на «летучке» или партсобрании. Редактор старался не остаться в долгу». Вот это да! Вот это дружба! Этих друзей не разольешь никакой водой, ибо их дружба основана на прочной и прекрасной экономической основе. «Ответственный секретарь в глубине души ясно сознавал, что его благополучие зависит от дружбы с редактором». Это то самое благополучие и благоразумие, о которых с такой «теплотой» отозвался Маяковский:

Надеюсь, верую, вовек не придет
Ко мне позорное благоразумие.

Газета готовила полосу об успехах области. Ковалев, пытаясь разрекламировать своего дружка Мурашева-Пеночкина, решил дать в номере положительный материал об одном из колхозов ***«мурашевского воеводства»***. Сделать этот материал поручили Логову. Андрей внимательно слушал напутствия и советы Бикбулатова, замечательного газетчика, настоящего коммуниста: «Пиши, как подсказывает тебе совесть газетчика». Так и поступил

Андрей. Вместо положительной статьи он привез корреспонденцию: «В Щегловском районе зажимают критику». Нефедов опешил. У него в голове не укладывается, как это можно вместо порученного положительного материала привезти этакое критиканство. Что поручили, то и делай.

«Ты с ума сошел, — растерянно сказал он, испугавшись за Логова (что теперь скажет "хозяин"?), — в полосу нужен только положительный материал». (Его не взволновали вопиющие беспорядки в Щегловском районе, лети хоть все к черту, но положительный материал должен быть. Совсем как герой Достоевского: «Миру провалиться или мне чай не пить; нет, лучше миру провалиться, а мне чай завсегда пить»). Рядом с Нефедовым — безразличный и равнодушный Александрович, который сокрушается, что из-за невыполнения Логовым поручения «рушится оригинально задуманная им симметричная верстка». (Бедный Александрович! Что же ему теперь делать!). ***Службисты вместе с равнодушными являются опорой бюрократии; при их поддержке бюрократы творят произвол.***

Статью Логова о Мурашеве Ковалев запретил печатать, но молодой журналист, к изумлению бюрократической шатии, не оказался ослом, живущим по принципу «жуй, что дают». Он знает, где искать справедливость. Его статья неожиданно появляется в «Правде». Разозлил он ***бюрократическое зверье.*** «Мстить» было их решением. «Ты послушал разговоры каких-то кляузников, — холодно заявил ему Ковалев, — и решил, что имеешь достаточное основание писать разоблачительную статью. Ты даже не побеседовал с Мурашевым. Мне легкомысленные люди в редакции не нужны. Я увольняю тебя, сдай корреспондентское удостоверение». Ковалев заявляет обкому о несоответствии статьи действительности, попутно осторожно нащупывает возможность «засадить» Логова. «Если Мурашев действительно оклеветан, — говорит секретарь Осипов, — то он может возбудить уголовное дело против Логова».

Но всех и всегда обманывать невозможно. Хороших, честных людей больше, только они иногда бывают беспечны, очень уступчивы и снисходительны, они слишком доверяют каждому. Однако в трудные минуты они поднимаются до вершин высокого гражданского мужества. Секретарь парторганизации редакции Хребтов, зав. сельскохозяйственным отделом Бикбулатов, старый коммунист Сидоров — они смело выступили в защиту Логова. И обком партии, разобравшись, сделал невозможной дальнейшую преступную деятельность Мурашева, Ковалева и их собратьев. Они исключены из партии, удалены с руководящих постов.

Победа справедливости — это закон нашей жизни. Только эта справедливость не дается в руки сама, за нее нужно бороться, а это под силу людям убежденным и волевым. Таким должен быть журналист. А если ты тряпка, то иди мой полы, а не берись за воспитание трудящихся масс.

Характерен в этом отношении образ молодого сотрудника сельхозотдела Шарова. Он способный журналист. У него есть одна страсть — поэзия. Шаров пишет талантливые стихи. Но Ковалев отказывается их печатать: «А,

вечно лезет со своим творчеством... У нас партийная газета, а не литературная. Мы можем обойтись и без стихов». Ковалеву подхихикивает Нефедов.

«Опять мои стихи вернул Ковалев, — грустно сообщает Шаров Андрею. — Ничем не пробьешь эту стену... Пойдем со мной, выпьем. Меня тоска берет». Да, слабый пойдет и будет пить. Он быстро опустится. А, напившись, будет бить себя в грудь, хрипеть: «Эх, загубили меня...». А кто его «загубил»? — сам! Своя же слабость и трусость. Эти «герои» начинают очень напоминать своих буржуазных братьев-писак, репортеров (из О. Генри и Драйзера).

Но настоящие, честные, сильные журналисты выдюжат!..

Жизнь зовет... Сложная и интересная. Трудно переоценить роль журналиста, агитатора и организатора в этот ответственный период развернутого строительства коммунизма. Тебя, честного и справедливого, ждут советские люди в цехах заводов и на полях колхозов, на высоте строек и в глубине шахт. Тебя ждут наши боевые редакции газет, проводящих огромную организаторскую работу.

Но если ты встретишь газету, которую удачно характеризует герой повести Акимов: «Ваша газета скучная, в ней мало пишется о людях. Если называется фамилия, то возле нее обязательно стоит цифра, процент. Газета должна учить, к чему-то звать, вызывать у читателя размышления. А зачастую развернешь номер — почитать в нем нечего. Обо всем пишется как-то сухо, казенным языком на один лад», если встретишь такую газету, знай, там работает Ковалев, и твой долг — бороться с ним.

Теперь с ними бороться легче, ибо их с каждым днем все меньше. Залогом успеха этой борьбы — ленинская линия ЦК на привлечение широких масс к руководству государством, осуществление во всех областях жизни принципа коллективного руководства, резкий подъем материального и культурного благосостояния советского народа. ***Но не следует благодушничать, — бюрократы, теряя позиции, становятся злее, хитрее, они перекрашиваются в новые цвета.***

Дни бюрократии сочтены, наступило время, когда можно ставить вопрос о ее окончательной ликвидации. Сметать эту дрянь, путающуюся в ногах.

И наше место, журналисты, — на передовой.

Журналист № 40 (122), 1959 г., с. 19–23.

О XX съезде — пятьдесят лет спустя

Выступление на теоретической конференции в Горбачев-фонде, посвященной юбилею XX съезда КПСС, февраль 2006 года.

Водолазов Г.Г.: Уважаемые коллеги! Я хочу начать вот с чего: вызвать в вашем воображении художественный образ XX съезда и Никиты Сергеевича Хрущева, созданный Эрнстом Неизвестным. Это — сочетание

черных и белых тонов. Я не подсчитывал их пропорцию у Неизвестного, что преобладает в памятнике Хрущеву. Но думаю, это и неважно. Важна сама идея — сочетание черного и белого. И еще очень важно, что это сочетание заканчивается памятником, а не могилой, сровненной с землей.

Я хотел бы дать некий политико-философский эквивалент этому образу. Мой образ — это качающиеся чаши весов: черная и белая. И я кладу на черную и белую чаши определенные материалы и смотрю, куда и почему клонятся на этих весах чаши.

Что же на черной чаше? На ней — очень серьезные вещи. Прежде всего это не сломленная и даже не надломленная, а сохраненная бюрократическая система — социальная и политическая (правда, освобожденная от крайностей сталинистской формы). Вот что на этой черной чаше.

Не случайно Никита Сергеевич однажды сказал (как раз в период кануна XX съезда): «Сталин предан делу социализма, но все — варварскими методами». Вот и решалась задача: отказаться от варварских методов, преодолеть те кризисные явления, к которым привело эту систему сталинское руководство.

Ведь к 1953 году сталинский вариант этой системы трещал по всем швам — и в экономической, и политической, и культурной сферах.

Так, в экономике перестала эффективно работать система директивного планирования. Ибо шедшие в центр с мест сообщения об успешном выполнении и перевыполнении планов оказывались на деле ложью («очковтирательством», как это стали называть впоследствии). И понятно — почему: ведь успешные рапорты для чиновников всех уровней были условием их движения вверх по бюрократической вертикали. И приходилось планировать, исходя из совершенно нереальной ситуации, ставя все более высокие и все более невыполнимые задачи. В итоге разрыв между реальным положением дел и их отражением в статистике с каждым годом нарастал в геометрической прогрессии. И к 1953 году достиг катастрофических размеров, что было вскоре после смерти Сталина зафиксировано сентябрьским Пленумом ЦК 1953 года: реальные данные по сельскому хозяйству были в разы меньше приводимых в официальных документах. Так же обстояло дело и с «уровнем жизни». Официально представляемый мир — это мир «Кубанских казаков», мир изобилия и довольства, в котором, согласно знаменитой сталинской формуле, «жить стало лучше, жить стало веселее». А реальность — в сказанных накануне XX съезда словах Хрущева: «Я при царизме, будучи шахтером, пил молока, сколько хотел. А сейчас достать кружку молока — проблема».

Политическое руководство сталинской эпохи жило в иллюзорном, ложном мире и решения поэтому принимало, совершенно не соответствующие реальным возможностям. Хрущев рассказывал, как они с Микояном, исходя из реального положения дел, предлагали Сталину (в последние годы его жизни) ограничить налог на крестьянство 6—7 миллиардами рублей — больший налог губителен для крестьянских хозяйств. А Сталин, размахивая ложными рапортами, определял: «40 миллиардов! А вы — псевдогуманисты, сродни на-

родникам и эсерам», в общем — враги. «Когда мы от Сталина вышли, — вспоминал Хрущев, — я сказал Микояну: «Нас спасет только, если крестьянство не восстанет». Если бы Сталин не умер, не знаю, чем бы все это кончилось».

От экономического краха страну спасла смерть Сталина. И Хрущев на сентябрьском Пленуме видит выход в том, чтобы сказать правду о положении дел в экономике, привести в соответствие статистику и реальность. И начать **реальное** планирование.

Разрастался и кризис в кадровой политике. Я помню, как в начале 60-х годов у нас в «Известиях» (где я тогда — при Аджубее — работал) один очень высокопоставленный чиновник делился с нами, журналистами: «В начале 50-х годов стало невозможно находить кандидатов на руководящие должности: у подавляющего большинства возможных кандидатов оказывались «подмоченными» анкетные данные — у них родственники находились то ли в лагерях, то ли в ссылках, то ли в оккупации побывали. С такими анкетами тогда на высокие посты назначать было не принято. И возникла необходимость списать этот анкетный компромат, перестать обращать на него внимание». После смерти Сталина эти анкетные проблемы были устранены — появилась возможность подбирать кадры не на основе анкет, разработанных в ведомстве Берии, а в соответствии с компетенцией и профессионализмом кандидатов.

Систему, сложившуюся при Сталине, губила ее негибкость, жесткая бюрократическая иерархия, сламливающая всякую инициативу, идущую снизу. Все — только сверху вниз. При Хрущеве и решалась задача — избавить систему от разрушающих ее крайностей, от варварских форм и найти новые формы деятельности, которые способны придать этой системе большую подвижность и гибкость, больший динамизм, и тем — продлить ее жизнь. Отсюда — рождение новых, более гибких форм: система совнархозов (передвигающая акцент хозяйственной деятельности от центральных министерств в регионы — ближе к жизни, ближе к реальности), разделение партийных органов на сельскохозяйственные и промышленные — с той же целью, расширение сферы и форм «общественного контроля», повышение роли общественных депутатских комиссий, создание народных дружин. Была заметна бóльшая открытость политических лидеров. Иные сетовали: вот-де Хрущев «много болтает», чуть ли не каждый день выходят целые простыни газет с его бесконечными речами. Да и слава Богу! После сурового немногословия Сталина и Молотова, после закулисья Берии открытость лидеров, пусть с некоторым перебором, но демократизировала общественную жизнь, придавала ей, что называется, человеческий облик.

Но все эти нововведения шли в русле и рамках прежней системы. Они лишь смягчали ее кризисные черты, придавали ей большую гибкость и жизнестойкость. Скажу больше и резче: Хрущев не ломал ту систему, он спасал ее. А в основе своей система оставалась прежней: по-прежнему партийно-государственная номенклатура заведовала всеми участками общественной жизни, по-прежнему это была **ее** диктатура, по-прежнему отсутствовал действенный, реальный контроль народа за ее деятельностью. И по-прежнему

чиновничий аппарат полностью отвечал тому образу, который еще в прошлом нарисовал Михайловский: «Русская бюрократическая лестница, если смотреть на нее снизу вверх — восходящая лестница бар, если смотреть на нее сверху вниз — нисходящая лестница лакеев». Вот эти баре-лакеи и продолжали занимать ступени на бюрократической лестнице.

И система эта уже во второй половине 50-х годов стала сводить на нет те некоторые элементы демократии, что были инициированы Хрущевым и XX съездом. Она отторгала их, активно и быстро возвращалась к прежней своей сути.

Восстанавливался прежний механизм движения вверх по чиновной лестнице: успешные рапорты. Начинался этап новой лжи и очковтирательства. Рязанский партийный вождь Ларионов рапортует о выполнении за год трех (!) планов по животноводству, тульский секретарь обкома Хворостухин — о выполнении двух планов. И пошло, поехало... И снова — растущие ножницы придуманного мира и реального, снова план теряет свой конструктивный характер, снова запутываются связи на всем пространстве экономической жизни. И снова кризис экономики и потребления. Снова — огромные очереди за хлебом, снова — быстро пустеющие полки магазинов.

И снова воспроизводятся методы командно-бюрократического отношения политических руководителей ко всем сферам общественной жизни.

К ученым — опять отношение как к «челяди», обслуживающей политиков. Руководящие политики влезают в пространство научных дискуссий, в которых мало что смыслят, и ретиво поддерживают тех, кто особенно лоялен к партийным бонзам. Снова, как и при Сталине, на коне авантюрист Лысенко, в общественной науке царят сталинские соколы — Федосеев и Константинов.

В отношении к искусству возрождаются ждановские методы — шельмование и преследование неугодных партийным верхам писателей, художников, композиторов. Дудинцева — в порошок, за его «Не хлебом единым», Вознесенскому публично предлагается взять иностранный паспорт и катиться из страны на все четыре стороны, бульдозером — по выставкам неугодных художников, Пастернака за «Доктора Живаго» травят похлеще, чем Ахматову и Зощенко в 40-е годы.

И, конечно же, быстро формируется новый культ — уже самого «нашего дорогого Никиты Сергеевича». И — репрессии — по отношению к инакомыслящим. Апофеоз — расстрел рабочей демонстрации в Новочеркасске.

В общем, — серьезный груз на этой, черной, чаше. И давит, и тянет она с большой силой вниз.

А что же на другой, на белой?

Первое и главное: Хрущев и XX съезд распахнули двери лагерей и тюрем, вернули родителей к детям и детей к родителям, восстановили честь и достоинство оболганных и униженных людей.

Даже если было бы только это, — на моих весах белая чаша перевесила бы все, что лежит на черной. XX съезд был единственным из всех съездов (после Ленина), где зримо присутствовала гуманистическая тенденция. Это

была не обычная для съездов КПСС лицемерная болтовня о том, что у нас — «все для человека, все для его блага». XX съезд не просто провозгласил, он **сделал** «для человека», «для блага людей» нечто очень ощутимое и реальное. И потому его можно назвать **съездом реального гуманизма**.

Эти тысячи и тысячи (а с членами семей — миллионы) возвращенных к нормальной жизни людей не могут не быть благодарны Никите Хрущеву. Да, Хрущев в сталинские времена и сам принимал — и весьма активное — участие в жестоких репрессиях. Он сильно грешен. Но это — проблема его судьбы и его совести. Для тех же, кто вышел на свободу из-за колючей проволоки, не так важна прошлая жизнь освободившего их человека.

Но я бы еще отметил, что доклад Хрущева можно назвать формой его личного покаяния, покаяния не словом, а ***делом***.

И отдадим должное его мужеству. Он — единственный из высшего руководства партии, кто решился на такого рода доклад, на такой шаг, и, между прочим, — против воли абсолютного большинства Президиума ЦК. Это был поистине **революционный** шаг.

И последующие критики Хрущева в брежневскую (да и нынешнюю) эпоху хают его отнюдь не за то, что он был недостаточно демократичен, что пытался авторитарно-административными мерами осуществлять демократизацию, что на его совести участие в репрессиях, а как раз за лучшее в нем — за критику сталинизма, за милосердие к раздавленным сталинизмом людям.

Но не только это на белой чаше весов. Хрущев имел мужество назвать одного из величайших политических злодеев в истории **злодеем** и разрушить широко распространенную легенду о величии и безгрешности «вождя народов». Он так долбанул об пол псевдохрустальную вазу с именем «Сталин», что сколько потом ни пытались собрать, склеить ее разлетевшиеся осколки, — уже ничего не получалось. Это — навсегда!

Доклад Хрущева способствовал пониманию того, что есть разные «социализмы»: сталинский, казарменный, тоталитарный социализм и социализм с тенденциями гуманизма и демократии, социализм нэповского типа. Был — объективно — поставлен вопрос о сути социализма, о его возможных формах и их противостоянии. Идея «демократического социализма» («рыночного социализма», «социализма с человеческим лицом») станет затем центральной идеей того интеллектуального движения, которое получило название «шестидесятничества» — в России и «Пражской весны» — в Чехословакии.

XX съезд распахнул ворота не только лагерей и тюрем, но и ворота «лагерей» духовных, он способствовал снятию «шапок манкуртов», сжимавших и губивших человеческие головы и мозги. Да, пространство свободного думания и при Хрущеве оказалось не слишком велико. Но дух свободомыслия вырвался наружу, и загнать людей вновь в духовный концлагерь стало уже невозможно.

В общем, на **моих** весах белая чаша явно перетягивает чашу черную.

Но я отдаю себе отчет, что XX съезд и доклад на нем были высшей точкой деятельности Хрущева. Дальше пошло по нисходящей. Сохранившаяся

бюрократическая система отторгала и перемалывала тенденции народности и демократизма, существовавшие в деятельности Хрущева. И хотя был еще резко антисталинистский XXII съезд, был одобренный Хрущевым «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, был «Теркин на том свете» Твардовского и т.п., но в целом система работала на сохранение административно-бюрократического типа деятельности.

И она, эта система, победила. И пришел Октябрьский Пленум 1964 года, сбросивший Хрущева. А потом подошел и август 1968 года, когда был раздавлен советскими танками гуманистический и демократический социализм чехословацких коммунистов. И новая генерация политиков с Брежневым во главе выбросила почти все, что было на «белой чаше», и «черная чаша» начала стремительно опускаться вниз.

И все же стимулированное XX съездом движение шестидесятников продолжало жить, исподволь готовя новый демократический и гуманистический сдвиг, получивший название «перестройка» (сдвиг, который, впрочем, имел не менее печальный конец, чем хрущевские реформы; но это — предмет особого разговора и другого «круглого стола»).

На моих весах, повторяю, белая чаша XX съезда перетягивает груз, лежащий на черной чаше. И потому я обязательно пойду на Новодевичье кладбище и положу цветы к памятнику Никиты Сергеевича. А мысленно я кладу их сегодня, сейчас.

К Новому Миру!

глава 1. Наш современник Платон

(427 г. до н.э. — 347 г. до н.э. — 2006 г. н.э.)

Новые горизонты теории

Идеальное государство как нравственный институт

Сменим пластинку, господа! Всё! Довольно внутренних монологов, довольно предисловий с их скрупулезным повествованием о *методах* предстоящего исследования. Пора переходить к *сути* дела, пора поведать о ходе самого анализа и его результатах — уже не посредством сконструированных **нами** монологов, а с помощью подлинных «монологов» (точнее — диалогов) Платона, совокупность которых составляет его «Государство». И пусть тут заговорят сами *тексты* платоновского «Государства» — выверенные и отшлифованные их автором. А мы подстроимся к ним, пробуя оценить их значение *для истории* политико-философской мысли, *для современной Платону* реальности, для понимания проблем, со всех сторон обступающих нас *сегодня*.

Начинается у него все просто и деловито: «Займемся мысленно построением государства с самого начала»[1]. Да, просто, да, деловито, но заявочка, меж тем, фундаментальная: построение ***государства***, да еще — с ***самого*** (что ни на есть) ***начала***.

Отлично! Займемся!

И вот перед нами — несколько строк, содержание которых и составляет фундамент, а точнее — фундаментальный исток, всей государственно-политической теории Платона. Говорю так возвышенно и несколько высокопарно — дабы настроить ваше внимание на очень вдумчивое, очень серьезное отношение к словам, которые вы сейчас прочтете и которые, без такого моего предуведомления, могут показаться вам не слишком значимыми. Они могут показаться вам (как когда-то, при первом чтении, казались мне) даже какими-то простенькими, элементарными утверждениями и по этой причине — могут проскочить *сквозь* ваше сознание, не оставив серьезного следа.

[1] Платон. Государство, 130.

с. 271

Итак, внимание:

«Государство возникает, как я полагаю, когда каждый из нас не может **удовлетворить себя сам**, но во многом еще нуждается... Каждый человек привлекает то одного, то другого **для удовлетворения той или иной потребности**. Испытывая нужду во многом, многие люди собираются воедино, чтобы обитать сообща и **оказывать друг другу помощь**... Таким образом, они кое-что уделяют друг другу и кое-что получают, и каждый считает, что **так ему будет лучше...** Кто-нибудь будет земледельцем, другой строителем, третий — ткачом...»[1].

Ничего особенного? Никаких открытий? Не торопитесь!

Я прошу вас: перечитайте этот абзац еще раз. Я прошу: обратите внимание на выделенные мною слова. Прочитали? Обратили?

А теперь скажите честно: вы не удивлены? Ведь вы же, наверняка, — в духе распространенных, традиционных представлений — считали Платона государственником-тоталитаристом. А что можно ждать от государственно-тоталитарного мышления? Ну, конечно, утверждений вроде того, что «государство превыше всего», что оно — смысл и цель всей человеческой деятельности, что «отдельный человек», «индивид», по сравнению с государством, — вторичен, малозначащая, близкая к нулю величина, что государство — нечто вроде гигантского спрута и своими щупальцами захватывает человеческие особи и всасывает их в себя, заставляя двигаться в соответствии с потребностями своего государственного тела и т.п.

Но тут-то все наоборот! Тут не Государство формирует, создает индивида, а Индивид — государство. Тут не потребности Государства, Социума определяют и подчиняют все остальное, а — потребности и интересы Индивидов. Тут *индивиды* ищут наилучшие способы и формы удовлетворения *своих* потребностей — и *потому* создают государство. Тут Индивид ищет, как Ему (а не какому-то там «государству») будет лучше.

В общем, не Индивид выступает тут материалом, «средством» для государства, а государство выступает для Индивида «средством» решения его, Индивида, проблем. **Вполне Сократовская позиция! И *с нее* начинает Платон развертывание своей концепции.** Согласитесь, это совсем не тоталитаристский тип мышления. Все это гораздо ближе к тому, что впоследствии, много веков спустя, получит название «либеральной», «демократической», «гуманистической» идеи.

Да, потом, в процессе выращивания из этого зерна «дерева» идеального государства, у Платона с нарастающей силой начнут звучать тоталитарные мотивы. Но, заметьте, это начнется «потом», и самым интересным для нас впоследствии и будет — понять, как и почему из гуманистических идей Со-

[1] Там же, 130, 131.

крата (целиком разделявшихся Платоном), на сократовской почве гуманности и свободы произрастут вдруг цветы тоталитарного зла.

Вот почему для нас так важно зафиксировать эти исходные, гуманистические и демократические, основы платоновского социально-политического мышления. Это — *необходимейшая* предпосылка наших с вами дальнейших разговоров.

И еще одна — мало кем замечаемая, но чрезвычайно важная сторона платоновской теории государства. Вы обратили внимание, чему, главным образом, служит, согласно Платону, создаваемый Индивидами институт государства — «оказывать друг другу помощь». А — не подавлять одних («слабых») в угоду другим («сильным»), как о том сообщал нам Фрасимах. «Первичное» государство, по Платону, это *Институт Взаимопомощи*! И потому в нормальном, «здоровом» государстве *Нравственность* — и есть единственно нормальный способ взаимоотношения людей. Вот она, причина неискоренимой привязанности Сократа и его учеников к моральным ценностям, вот она, почва, на которой зарождается, а потом поднимается в душу и сердце тот самый «внутренний голос» Сократа, тот самый «Даймоний», заставляющий человека ставить нравственные принципы превыше всего на свете.

Платон *установил*, а Сократ это *чувствовал* всем своим существом, что «норма», что «идеал», что «сущность» государства — это **Институт Взаимопомощи**, что государство — это, прежде всего, **Нравственный Институт.**

Вот, стало быть, и ответ Платона («Сократа-Платона») на вопрос, что есть «справедливость» применительно к государственному устройству: **справедливое государство — это сообщество людей, организованное на принципах *нравственности*.** А отсюда неумолимо следует ответ и на другой, поставленный «Сократом-Платоном» вопрос: что значит «справедливость» применительно к деятельности «отдельного человека»? Это — деятельность по сохранению и развитию Института Взаимопомощи людей. «Справедливость» в этом аспекте — означает исполнение каждым своих, специфических, функций по поддержанию этого социального единства. Или, иначе говоря, — когда каждый занимает *свое* место и добросовестно исполняет *свое* дело в общем комплексе взаимополезных и взаимозависимых дел индивидов.

Это — самое **начало** разговора о справедливом государстве; прибегая к более поздней философской лексике, — описание исходной, «генетической», «клеточки», из которой потом вырастет сложный организм развитого государства. Мы обязательно рассмотрим этот описываемый Платоном процесс — и увидим, как усложнятся первоначальные определения «справедливости» (применительно и к государству, и к отдельному человеку), как категории «нравственности» и «справедливости» утратят свою полную синонимичность, как усложнится содержание «справедливости», как возникнет необходимость формулирования нового понятия, вбирающего в себя в качестве своих частей, своих аспектов и «нравственность», и «справедливость», — понятия **«Благо».**

Но обо всем этом — несколько позже, когда перейдем к теме идеального государства Платона. Пока же ограничимся исходной системой платонов-

ских понятий, его пониманием первичного государства как Института Взаимопомощи людей, создаваемых людьми и для людей, как Нравственного Человеческого Сообщества равных друг другу Субъектов.

Индивид и государство: нравственный человек в нравственном сообществе

Не знаю, как вы, господа, я же, человек XX столетия, желающий быть «демократом» и «гуманистом», целиком разделяю все эти идеи Платона.

Они, между прочим, представляются мне великолепным противоядием против тех макиавеллиевских штучек (вызывающих шумное одобрение у значительной части современного политического бомонда), — в которых на разные лады перепевается идея, что нет в человеческом мире ценности выше, чем Государство, что всё должно мериться интересами Государства, что интересы сохранения и усиления Государства оправдывают любые средства. Человек имеет право, пафосно провозглашает Макиавелли, «ради сохранения государства, поступить против верности, против любви к ближнему, против человечности...»; «пусть князь заботится поэтому о победе и сохранении государства — средства всегда будут достойными и каждое будет одобрено»[1].

Да кто же это вам сказал, господин Макиавелли (отвлечемся на недолго от платоновских сюжетов; впрочем, несколько критических замечаний в адрес флорентийского политического писателя помогут нам более отчетливо представить позицию Платона), кто же вам, повторяю, сказал, г-н Макиавелли, что государство является высшей целью человеческого общежития? Кто вам сказал, что все остальное по отношению к государству выступает только как «средство»?

Впрочем, я знаю — **кто.** Это подсказал вам ваш образ жизни — государственного чиновника, добавлю — добросовестного государственного чиновника, самоотверженно (до поры до времени) служившего своей государственно-чиновничьей корпорации. Для госчиновника, для госбюрократа в служении Государству — весь смысл его жизни, для него оно на самом деле — высшая Цель и высшее Божество. Вы, г-н бывший секретарь Коллегии по военным и иностранным делам, в своем «Государе» сформулировали, не отдавая себе, впрочем, в том отчета, не что иное, как кредо, как философию государственной бюрократии — полагая, что формулируете общие принципы, выражающие суть социальной жизни и отражающие интересы абсолютного большинства граждан.

Вы крепко заблудились, г-н Макиавелли. А между тем, компас, указывающий верную дорогу (я имею в виду труды античных классиков), был в ваших руках, и вы этот компас, по вашему уверению, высоко ценили. Но, по-

[1] Н. Макиавелли. Государь. М., 1996, с. 85.

видимому, не вполне разобрались с показаниями подрагивающей на нем стрелки.

Мне никогда не забыть, дорогой г-н Макиавелли, тех искренних, тех щемящих строк, которые вы написали в одном из писем своему другу с места вашей унизительной политической ссылки: «Когда наступает вечер, я возвращаюсь домой (*после угнетающей суеты рабочего дня и общения с людьми, от которого «плесенью покрывается мозг»*) и вхожу в свою рабочую комнату. На пороге я сбрасываю свои повседневные лохмотья, покрытые пылью и грязью, облекаюсь в одежды царственные и придворные. Одетый достойным образом, вступаю я в античное собрание античных мужей. Там, встреченный ими с любовью, я вкушаю ту пищу, которая уготована единственно мне, для которой я рожден. Там я не стесняюсь беседовать с ними и спрашивать у них объяснения их действий, и они благосклонно мне отвечают. В течение четырех часов я не испытываю никакой скуки. Я забываю все огорчения, я не страшусь бедности, и не пугает меня смерть. Весь целиком я переношусь в них»[1]. И среди этих ваших собеседников — «античных мужей» — на первом плане, конечно же, — он, великий и мудрый Платон.

За эти строки я Вам «прощаю» все. Я «прощаю» Вам Вашего «Государя» (тем более, что в своем «Тите Ливии», который Вам не надо было посвящать тиранам и не надо, стало быть, стелиться перед ними, Вы обо всем пишете несколько иначе). Мне хотелось бы быть в эти вечерние часы — с Вами, пристроиться тихонечко где-нибудь в уголке на кресле, тоже, как и Вы, облачившись в свои лучшие, по возможности — белые, одежды, положить на колени что-нибудь из Платона или Аристотеля и, взяв, в качестве орудия общения с ними, хорошо отточенный карандаш, бежать по страницам их увлекательнейших — для меня и для Вас — сочинений. И как славно было бы — иногда, отрываясь от книги, перекинуться с Вами парой слов — делясь своими мнениями, впечатлениями, восторгами. Это были бы славные вечера, дорогой г-н Макиавелли!

Кстати, я не преминул бы Вам дружески попенять (уж извините!) на то, что Вы не придали значения словам нашего общего с Вами Учителя — Платона — о происхождении государства, о его «норме». По крайней мере, Вам пришлось бы тогда пополемизировать с ним в своем «Государе», пришлось бы не просто провозгласить, но попытаться *доказать*, что государство — высшая цель и высшее благо для человеческого общежития. И кто знает, может, тогда, более основательно задумавшись над этим вопросом, Вы не были бы столь категоричны в своем обожествлении государства. (Впрочем, простите мне эту самоуверенную интонацию. Тут, уверяю Вас, дело отнюдь не в каком-то чувстве собственного превосходства. Просто я лет на 500 постарше Вас, и, стало быть, располагаю итогами опыта, которого не было и не могло быть у Вас — опыта деятельности «великих» государственников,

[1] Там же, с. 562.

легко перешагивавших, в соответствии с Вашими рекомендациями, через нравственные нормы — всех этих Фридрихов, Наполеонов, Гитлеров, Сталиных, Пол Потов. Вам, наверное, трудно, а то и невозможно, было представить, какие реки крови прольют, сколько грязи в историю понанесут эти верные последователи идей Вашего «Государя».)

Но вернемся к Платону.

Да, я высоко ценю платоново начало политико-философской теории государства. Но ведь наверняка найдутся умники, которые попробуют посмеяться и над Платоновыми словами, и над моим восхищением ими.

Помилуйте, воскликнут они, да ведь Платон наговорил тут полную бессмыслицу, простительную разве что людям далекой древности, когда серьезные научные исторические знания были лишь в зародыше. В двадцать первом же веке соглашаться с его дикими, по нынешним временам, утверждениями — верх нелепости. Ну, в самом деле, как это возможно, чтобы где-то, до возникновения человеческого общества, в лоне дикой природы, появились вдруг некие одинокие платоновские «профессионалы»: в одном диком лесу — повар, в другом — сапожник, в третьем — гончар, в четвертом — строитель. Потом они каким-то образом узнали о существовании друг друга, поняли, что нуждаются друг в друге, — вышли из своих диких зарослей, сели на полянке и «договорились» создать механизм взаимодействия и взаимопомощи — государство. Ну, абсурд же полный! Ну, не могли они *до* своей встречи, *до* своего реального взаимодействия стать столь узкими профессионалами. Иначе ведь придется предположить, что «первый» повар ходил без сапог и не имел крыши над головой, «первый» сапожник, хотя и тачал великолепную обувь, — был (без поваров-то!) вечно голоден и бездомен (без строителей-то!), а «первый» мастер строительного дела, хотя и строил великолепные дома, ходил постоянно голодным и босым. И только потом, прослышав както про уникальные профессиональные способности друг друга, они «догадались» объединить усилия. Ну, чепуха какая-то!

Должен вступиться за Платона.

Да, конечно, реальный конкретно-исторический процесс превращения диких предчеловеческих стад в человеческое сообщество, а родо-племенных связей и отношений — в государственно-политические происходил иначе. Конечно, не готовенькие, где-то и каким-то чудесным образом возникшие профессионалы — всякие там плотники, сапожники, портные — собрались однажды и «договорились» о взаимодействии, о создании государства. Теория подобного «общественного договора» есть, конечно же, в высшей степени наивная теория. Действительно, специализация, профессионализация человеческого труда происходила постепенно — *внутри* до-человеческих, пред-человеческих и человеческих сообществ, не *вне* их и не *до* них. В этих сообществах постепенно происходили *разделение* и *специализация труда*. Да, не через *сложение* специализированных видов труда (невесть откуда взявшихся) формировалось развитое человеческое общество. А наоборот — через *разделение* труда внутри себя дикое стадо постепенно превращалось в человеческое общество.

Но, господа умники, Платон ведь и не обещал нам нарисовать *конкретно-историческую* картину возникновения государства. Вы что-то не с тем к нему пристаете. Вспомните-ка получше, что он нам всем предложил: давайте «займемся *мысленно* построением государства с самого начала». В этом «мысленно» — все дело. То есть: давайте-ка попробуем, предложил Платон, выделить в человеческом сообществе то, что держит его, что составляет самую глубокую суть его единства, его целостности. И эту, самую глубокую, суть общества он видит во взаимопомощи, во взаимосвязи людей. Он видит эту суть в *единстве специализированного, разделенного* между индивидуумами труда. Это — то, на чем держатся и древние, и все современные общества. Устраните эту «взаимопомощь», разрушьте это *единство* разделенного труда — и общество рухнет.

И эту *суть* общества можно разглядеть и в сложнейших переплетениях связей и отношений общества нашего, двадцать первого века. Просто она была ясней, прозрачней на ранних этапах развития человечества, и потому столь уверенно на нее указал Платон. Единство разделенного труда в обществе обладает экономическими, политическими и культурными характеристиками. Но как система взаимосвязи и взаимопомощи **равных** (но не одинаковых; можно, пожалуй, сказать — **одинаково важных** для общества и друг для друга) субъектов — это, повторяем, по мнению Платона (и по нашему — тоже), ***нравственный*** институт.

И реальное государство, реальное общество должны соответствовать этой своей сущности, своей «норме», своей «идее» — они должны быть, скажу не без удовольствия еще раз, ***нравственными*** институтами. И «отдельные люди», индивиды, живущие в такого рода «институтах», должны отражать их суть — должны быть *нравственными* субъектами, должны быть людьми, руководствующимися принципами справедливости и морали. Иначе говоря, должны быть **Сократами**!

Почему же они не стали таковыми? И почему реальные государства не отвечают своей «идее», своей «норме»? И что сделать, чтобы они пришли «в соответствие»? Это и было предметом дальнейших раздумий Платона.

Итак, «норма», «идея» общества (и государства) установлены. Теперь надо: 1) описать реальность (то, что есть); 2) понять, почему эта реальность отклонилась от «нормы», от «идеи»; 3) наметить путь возвращения к «норме».

«Беличье колесо»
Тирания–тимократия–олигархия–демократия–тирания... Есть ли выход?

То, что **есть** в полуторасотне греческих полисах, можно, по мнению Платона, сгруппировать в четыре основных типа государств, которые он обозначает так: Тирания, Тимократия, Олигархия, Демократия. Сейчас мы последуем за Платоном и посмотрим: как он описывает *их суть*; в чем

он видит их *расхождение с «нормой»*; как определяет, *кто виноват* в том, что реальность отклонилась от «нормы»; *что делать*, чтобы привести реальность в соответствие с «нормой»; и — *кому делать* все это.

Начнем с тирании.

И — сразу голос современного, нетерпеливого читателя:

«Нет, минуточку! А это — зачем? Зачем нужны мне все эти платоновские размышлизмы о каких-то «тимократиях», «тираниях» и прочих политических устройствах древнегреческих государств? Я — не специализируюсь в истории античности, я не собираюсь сдавать экзамены по истории государства и права. Я живу в *современном* мире и озабочен *его* проблемами. Я имею дело с могучими, мощными государствами современного мира и их *ближайшей* историей. Мне *этот* мир и *его* проблемы важно понять. А тут сейчас, я чувствую, начнется разговор о политическом устройстве каких-то архидревних «полисов», все население которых может уместиться в одном жилом квартале современного города. Передо мной, повторяю, современный мир, в котором только что отгремели две кровавейшие мировые бойни, передо мной мир компьютеров и ракет, уносящихся к Луне и Марсу, передо мной страны-гиганты с уникальнейшими социальными и политическими системами — миллиардный Китай, многосотмиллионная Индия, передо мной — Соединенные Штаты Америки, Россия, грандиозный союз государств Европы — страны, ведущие замысловатые (и часто очень опасные) игры на мировой арене. Передо мной — сходящиеся в жестоком (а иногда даже — смертельном) клинче мировые цивилизации, мировые культуры и мировые конфессии. Передо мной — человечество с ядерной бомбой в дрожащих руках, не дай Бог ей из этих рук вывалиться!.. А вы мне про какие-то затерянные в исторических временах, зажатые в каменистых расщелинах балканского полуострова микроскопические — по нынешним масштабам — социальные организмы. Я еще готов вместе с Сократом, Платоном, Аристотелем размышлять над вопросами о «смысле жизни», «природе и назначении человека», о «нравственных основаниях человеческого бытия». Ну, это все же вечные вопросы, вечные проблемы. Они — примерно те же и для человека с ракетой, и для человека с луком и стрелами. Но видеть поучительный для нас смысл в анализе примитивных политических систем сверхдалекого и странного — по нынешним нашим меркам — мира... Увольте!»

Я понимаю вас, уважаемый нетерпеливый читатель. Действительно, в том, древнем, ушедшем в глубокие пласты памяти и исторических наслоений, мире много такого, что целиком осталось в прошлом, что утратило всякую связь с современными процессами. И в писаниях Платона, конечно же, есть немало вещей, жестко привязанных к современной ему реальности и утративших свою актуальность для ныне живущих.

Согласен!

Но...

Но есть в истории, есть в прошлом нечто такое, что неистребимо, что живет вечно, что входит в настоящее и готовится перейти в будущее. Прости-

те за банальность (но вы своей репликой вынуждаете меня к ней прибегнуть): настоящее ведь *вырастает* из прошлого, как стебель из семени, как колос из зерна; настоящее вбирает в себя соки прошлого, питается ими. Так вот я — про это вечно живущее и переходящее из поколения в поколение «нечто», обеспечивающее и символизирующее преемственность и единство человеческой истории. Я — про эти вот самые «соки», а еще точнее — про кровь, по капиллярам перетекающую от одного поколения к другому. Я — про то у Платона, что и сегодня помогает понять многое и что без Платона, без его идей, рожденных на основе более простой («примитивной»), а потому — более ясной и прозрачной, действительности, понять крайне затруднительно.

Я хоть и профессор, но здесь совершенно не собираюсь устраивать консультации к сдаче какого-либо экзамена на *исторические* сюжеты.

Сегодня и здесь я просто ваш собеседник и ваш современник, вместе с вами размышляющий над *современными* проблемами и вопросами. А обращаюсь к Платону и зову присоединиться ко мне в полной уверенности и лишь потому, что Платон — наш с вами Современник и что его подходы, его теоретические завоевания, как, впрочем, и заблуждения — серьезное, проверенное временем подспорье в раздумьях над проблемами современности.

В общем, я — не собственно про Историю. Я — про Историю, переходящую в Современность. Вся эта структура древних политических режимов, общая база их возникновения, механизмы развития и умирания, логика переходов друг в друга — всё это содержится в фундаментальных основаниях, в структурах современных социальных организмов, в их, если хотите, *генах*. Ведь мы с древними — одной крови. Повествование Платона — это рассказ, по сути, о нашем с вами общем «генетическом коде». И без его расшифровки мы мало что поймем в жизни нашего современного, развитого, организма. ***Итак:***

Тирания

Это — неограниченная власть одного человека. «Неограниченной монархией» называли ее Платон с Аристотелем. Как правило, это — власть, опирающаяся не на закон, а на непосредственное насилие. Весьма распространенная форма политического правления в Древней Элладе.

В Древней Греции тирания почиталась многими. Причем — не только из страха перед тиранами, но нередко — по собственной доброй воле. Почиталась — не только сподвижниками тирана и запуганными ими гражданами, но и людьми, что называется, «вполне приличными» — которые нередко видели в тирании даже наиболее эффективную форму организации общества в условиях нескончаемых малых и больших войн, которыми была полна история Древней Эллады. Тирания, собирающая силу и волю подданных в единый кулак, казалась им наилучшей защитой от внешних и внутренних смут.

Тирания (под разными названиями — Диктатура, Тоталитаризм и т.п.) и сегодня имеет немало почитателей во всем мире. Только такого рода ре-

жим, убеждены они, обеспечивает государству внутреннюю стабильность и внешнюю безопасность, только такой режим, по их мнению, способен сделать государство «сильным», «могучим», «уважаемым» (точнее — почитаемым из чувства внушаемого им страха) современным мировым сообществом; только такой режим способен превратить обычное государство в «великую державу».

А что же Платон?

О тирании он знал не понаслышке, испытал на собственной, что называется, шкуре. Попытался реформировать одну тиранию — превратить ее в некоторое подобие своего идеального государства (и великие не чужды иллюзий!). Руководитель Сиракуз Дионисий заманил знаменитого афинского философа к себе. Тиранам, как известно, льстит, когда при *их* дворе собираются «великие» — поэты, художники, скульптуры, ученые, философы. Они, эти «великие», — с *тобою*, всемогущим меценатом и благодетелем, они — *твои* друзья и одновременно — *твоя* собственность. Свет их величия ложится и на тебя, на твой двор, на твои дела. Они — сверкающий пьедестал *для тебя*. А если среди них еще и самый великий, самый почитаемый из всех философов Эллады — то это, ведь, и твое сверхвеличие.

Но тут, правда, одна закавыка. Иных «великих» приручить бывает несложно (кого — наградами, кого — угрозой, кого — лестью). Но вот таких, как Платон, великих и неподкупных, великих и безукоризненно нравственных, — таких приватизировать весьма трудно. Они почему-то говорят совсем не то, что жаждешь услышать ты. И говорят — спокойно, твердо, прямо тебе в лицо, да еще не стесняясь и не смущаясь присутствием «публики», свидетелей, которые ведь понесут их речи в другие уши, и войдут эти речи в историю. И останешься ты в истории голеньким, т.е. таким, каков был на самом деле — без расшитого золотом плаща, без придворных холуев твоих.

О такого рода разговорах с Дионисием, о развитии отношений с ним поведал Платон в одном из своих писем друзьям — так называемом седьмом письме.

Позвольте, опираясь на содержание этого письма, реконструировать разговор сиракузского тирана с Платоном и слегка прокомментировать его.

Дионисий Кто самый счастливый человек, Платон?

(Угодливые, тающие в восхищении взоры присутствующих придворных — все как один обращаются на тирана Сиракуз, как бы подсказывая Платону: вот Он, вот счастливец из счастливцев — осчастливил свой народ, прославил свою страну, а сколько щедрот пролито им на наши недостойные головы...)

Платон (*спокойно, уверенно и твердо*) Сократ.

(О, боги! Что он говорит! Да, как это можно? Его — Сам, лично (!), пригласил, обласкал... А он! Он называет «самым счастливым» какого-то государственного преступника, казненного хотя и другими, но все же Государственными Руководителями!)

Дионисий В чем состоит цель властителя?

(Еле удерживаются, чтобы своим ответом не опередить Платона: да в чем же ином, как не в том, чтобы сделать государство сильным и могучим — таким, где от одного Его имени разбегались бы внешние враги и стушевывались враги внутренние, как не в том, чтобы сиял великолепием Его Двор и чтобы слава о Нем летела во все уголки Эллады).

Платон Делать из своих подданных хороших людей.

(О! Дались ему эти «подданные»! Добро бы еще сказал: чтобы делать из подданных верных и послушных тебе слуг. А то: «хороших людей». Ну, да — Сократов и Платонов, которые вот так, нагло будут дерзить Покровителю, как ты сейчас...)

Дионисий А как ты оцениваешь суды в моей стране?

(Ну, чего тут задумываться: твои суды — самые справедливые в Элладе, а ты — самый справедливый судья; доверять свою судьбу тебе — это счастье для каждого).

Платон Суды лишь зашивают порванное платье.

(Да он просто негодяй! Видишь, на что намекает — что мало-де «залатывать дыры» в государстве, управляемом тираном, надо менять саму систему власти).

Дионисий Требуется ли храбрость тирану?

(А как же! И ты — ее воплощение, это и слепому видно!).

Платон Тиран — самый боязливый человек на свете, так как он дрожит перед своим цирюльником, опасаясь, как бы он не зарезал его бритвой.

(Все с ужасом посмотрели на... цирюльника. Но с еще большим ужасом на... Платона).

Дионисий Я понимаю все твои намеки. Но зачем тогда ты приехал ко мне в Сицилию?

Платон Я ищу совершенного человека.

(Так вон, вон же он тут, перед тобой. На колени, грубиян! Что за упертый народ, эти философы из Афин! Ничему не научила их судьба Сократа!).

Дионисий *(всё понявший, после тяжелой паузы)* Клянусь богами, ты его еще не нашел, это совершенно ясно...

И — финал бесед с тираном, финал благородных попыток повернуть его взор в сторону Справедливости и Человеческого Достоинства. В одно прекрасное солнечное утро диктатор вежливо прощается с философом и отправляет в Афины на отплывающем корабле (это был первый «философский пароход» в истории!). Кормчему в тайном приказе был Дионисием предоставлен выбор: либо утопить чересчур гордого философа, либо продать его в рабство (тут, по-видимому, тиран ухмыльнулся в усы — мне почему-то кажется, что у Дионисия были усы! — и с претензией на иронию произнес, ясно демонстрируя, что он кое-что усвоил из Платоновых лекций: рабство-де не нанесет Платону никакого ущерба, так как он, будучи человеком, заботящимся, главным образом, о душе и согласии с самим собой, и в рабском состоянии способен испытывать счастье. Большого счастья тебе, Платон!).

На острове Эгине «защитник справедливости» был ссажен с философского парохода на берег (кормчий оказался большим гуманистом!) и препровожден на невольничий рынок: за будущего раба просили 20 мин (сумма приличная, да и было за что: Платон был крепкий мужик — не один приз получил в молодости на спортивных состязаниях, в каменоломне ему цены не было бы!).

Рассказывают, Платону повезло: вместо отправки на рабский труд в каменоломни, он был выкуплен случайно забредшим на рынок своим добрым знакомым по Афинам — Анникеридом, и, естественно, тут же отпущен на волю.

И вернувшись на родину, в свою милую сердцу Академию, он принялся за продолжение своего «Государства», обогащенный забавным опытом попыток перестроить тираническую систему на свой лад.

— Свободным или рабским ты назовешь государство с тираническим строем? — задает «Сократ-Платон» риторический вопрос ученику-собеседнику. И эхом звучат запланированные и целиком одобряемые автором ответы.

— Как нельзя более рабским.

— Богатым или бедным бывает по необходимости тиранически управляемое государство?

— Бедным.

— Такое государство не преисполнено неизбежно страха?

— И даже очень.

— Где еще, в каком государстве, по-твоему, больше горя, стонов, плача, страданий?

— Нигде.

— Такое государство самое жалкое из государств?

— А разве это неверно?

— Даже очень верно.[1]

Прошу вас, читатель, взять чистый лист бумаги, написать на нем заголовок: «Тирания, по Платону, это —». Нарисовать, далее, рамочку и внутри ее записать в краткой, обобщенной форме характеристики, даваемые Платоном тирании. Вот так примерно:

Тирания, по Платону, это —

Государство рабов Государство всеобщей Бедности Государство всеобщего Страха Государство горя, стонов, страданий Самое жалкое из государств[2]

[1] Платон. Государство, 577–578.

[2] Там же.

Потом, очень прошу вас, вырежьте аккуратно ножницами эту рамочку, сделайте сотни две копий, положите их в конверты и разошлите поклонникам Карла Поппера, уверяющим всех, что именно Платон — страстный защитник и пропагандист деспотизма. Да, пожалуй, под рамочкой еще напишите (непременно крупными буквами — для лучшего запоминания): тирания — это «крайнее заболевание государства»[1]. Такой вот этот «поклонник деспотизма»!

На самом же деле, это — первый в истории адекватный тирании портрет, написанный к тому же лаконичной, жесткой и беспощадно правдивой платоновской кистью. Здесь о сути тираний — древних, сегодняшних ли — сказано все — не убавить, не прибавить! В нем, в этом портрете легко узнаются Дионисии всех времен и всех народов.

И все же это лишь часть заслуг Платона в понимании сути тиранических (диктаторских) режимов. И с сегодняшней точки зрения — может быть, не самая главная часть. Ведь сегодня мало кто — из демократически ориентированных людей — будет оспаривать, что тирания — отвратительный строй, отвратительный политический режим. Сегодня, в отличие от эпохи Платона, для такого рода утверждений не требуется какой-то особой смелости и сверхпроницательности. Сегодня (после многосотлетнего опыта существования различных тираний) это — почти очевидная вещь, почти общее место.

Особо же пристального внимания заслуживает другая и, к сожалению, менее известная сторона платоновской концепции Тирании. Я имею в виду анализ ее корней, исследование причин возникновения этой отвратительной социальной болезни. Тут Платон, смею утверждать, не только идет вровень с нашим временем, но и значительно опережает его — вот этим своим исходным тезисом: ***тирания рождается из ... демократии.***

Тирания — из... демократии

Звучит парадоксально и вызывающе. Ведь многие возникновение тираний связывают с деятельностью каких-то особо жестоких, особо волевых и особо фанатичных людей. Людей, параноидально стремящихся к единоличной и безраздельной власти. Параноиками, людьми со сдвинутой психикой называют иные исследователи, например, Сталина и Гитлера. Не знаю, я не психиатр, медицинские документы о состоянии психики этих тиранов мне неизвестны. Но все равно: даже если предположить, что Сталин, согласно утверждению Бехтерева, имел симптомы паранойи, это ничего не объясняет. Ибо нам придется понять, нам придется дать ответ на вопрос: почему сотни и тысячи параноиков, с манией величия и параноидального стремления к власти, оказались в больнице Кащенко, под присмотрим могу-

[1] Там же, 544.

чих санитаров, а вот *этот* оказался в Кремле и стал Диктатором, Руководителем крупнейшего государства. Нет, здесь психиатрией, здесь паранойей, здесь просто личными качествами человека ничего не объяснишь.

Какие-то иные — мощные, общественные — силы своей деятельностью — создают условия и предпосылки того или иного политического режима. *Они* формируют нишу, они «сколачивают кресло» для будущего Руководителя. А вот кому потом удастся *занять* это кресло, эту нишу — вот здесь сыграют свою роль те или другие личные качества человека. Но, повторяю, это не *он*, опираясь на свои «личные качества», *создает условия*, не он *формирует нишу*. Короче, не в субъективных характеристиках отдельного человека следует искать причины тектонических социально-политических сдвигов.

Это первым и понял Платон.

Тирания, согласно ему, **возникает** не из стремлений и волевых усилий различных кандидатов в Дионисии, а **из деятельности массовых общественных сил в рамках режима, именуемого Демократией**.

Для многих нынешних сторонников Демократии этот тезис, конечно же, покажется странным, да и просто нелепым; такого просто не может быть.

Может! — утверждает Платон.

Нет, Платон начинает вовсе не с очернения Демократии, вовсе не с приписывания ей каких-то скрытых негативных черт, какой-то страшной тайной болезни, дающей следствием тиранию.

Напротив, он аттестует ее самым лучшим образом, почти стихами: «это правление — такое прекрасное и по-юношески дерзкое»[1]. Он знает о демократии все. Такое впечатление, что ему знакомы события Английской (XVII века), Французской (XVIII века) и Русской (1917 года) революций. Он как будто ***их*** опыт обобщает: «Демократия осуществляется тогда, когда бедняки, одержав победу, некоторых из своих противников уничтожат, иных изгонят, а остальных уравняют в гражданских правах и в замещении государственных должностей»[2]. Он знает и то, что происходить все это может и мирным, и вооруженным путем — посредством, как будут говорить позднее, революций или реформ — «силой оружия или же потому, что ее (*демократии*) противники, устрашившись, *постепенно* отступят»[3].

При победившей демократии «появится полная свобода и откровенность и возможность делать, что хочешь». И — «каждый устроит себе жизнь по своему вкусу»[4]. И, естественно, многие будут считать, что «это самый лучший государственный строй»[5]. И «многие … решат, что он лучше всех». И он, дей-

[1] Там же, 563е.

[2] Там же, 557.

[3] Там же.

[4] Там же, 557b.

[5] Там же, 557c.

ствительно «лучше всех» — среди существующих. Описывая его, Платон снова и снова поднимается на горние вершины поэзии: «словно ткань, испещренная всеми цветами, так и этот строй, испещренный разнообразными нравами, может показаться прекраснее всего».

Вот что такое демократия! Вот как ее воспевает Платон! Правда, в этой музыке воспевания демократического строя настораживающим диссонансом звучат и как-то несколько портят, несколько снижают общий возвышенный тон повествования эти два слова — «может показаться». То есть то, что демократия — «прекраснее всего», это может лишь «показаться»! Может лишь *показаться*, что демократия — предел мечтаний, может лишь *показаться*, что демократия — «идеальный строй». Да, она лучше всех *существующих*, но вовсе не идеал — вот суть Платоновой мысли. (Учтите, это все говорится за две с половиной тысячи лет до знаменитого афоризма Черчилля насчет того, что демократия — вещь не слишком хорошая, но вот лучше ее, увы, ничего нет. Вы хоть теперь-то понимаете, почему Платон — «наш современник»?).

Да, демократия — лучше других, — не устает повторять Платон. Но в ней есть такие пороки, такие опасности, такие раковые клетки (сказали бы сегодня), которые, при своем развитии, и при определенных условиях, подготавливают самый отвратительный режим — Тиранию.

Сейчас Платон поведает нам, как это происходит. А мы, следя за его рассуждениями, будем постоянно держать в уме, совмещая с платоновой логикой, различные аспекты развития событий (например, последний год якобинского правления, подготовившего приход генерала Бонапарта, или Альендовскую Чили, перетекшую в диктатуру Пиночета, или преддеголлевскую Францию, или предсталинскую Россию, или предгитлеровскую Германию, да и события горбачевской «перестройки» и ельцинских «реформ» — из того же в общем-то ряда). Речь, конечно, не идет о полном и строгом совпадении платоновых предсказаний с указанным процессами (да и сами эти процессы разнятся по многим своим параметрам), но общая тональность всех этих событий, их, так сказать, общее освещение, Платоном ухвачены и предсказаны поразительно точно.

Итак: от демократии — к тирании

Демократы всех времен и народов должны хорошо проштудировать платоновские страницы, посвященные этому сюжету. Может, поможет. Может, более осторожно, более аккуратно и осмысленно будут выстраивать они свой демократический рай на нашей грешной земле.

Итак: от демократии к тирании. Такое парадоксальное, на первый взгляд, развитие событий, как покажет Платон, есть, с одной стороны, следствие общей логики, некой общей инерции социальных, демократических процессов, а с другой — оно результат удивительной эволюции людей, взлетающих к вершинам власти на демократической волне.

Вначале — о социальной инерции. Помните ньютоновское: движущееся тело будет находиться в состоянии равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку на него не подействует другое тело. Добавим: «другое тело» должно обладать значительной массой и силой воздействия, чтобы изменить маршрут первого тела.

У набирающего разгон — под влиянием идеологем, лозунгов, призывов и идеологических программ социального «тела» инерция громадна. Отдельным людям повлиять на изменение маршрута его движения (даже когда это необходимо) — вещь архисложная, а в большинстве случаев и просто невозможная: гигантская масса разогнанного социального тела несопоставима с ограниченными силами и возможностями отдельных людей. Социальная инерция берет свое, легко отбрасывая слабые усилия людей, пытающихся изменить его маршрут.

Такова именно инерция общества, разгоняющегося по пути к Свободе.

Но обо всем по порядку — вслед за текстами Платона.

Итак, Платон, «Государство»[1]:

— То, что определяет как благо демократия и к чему она ненасытно стремится, именно это ее и разрушит.

— Что же она, по-твоему, определяет как благо?

— Свободу. В демократическом государстве только и слышишь, как свобода прекрасна и что лишь в таком государстве стоит жить тому, кто свободен по своей природе. Но ненасытное стремление к одному (к свободе) и пренебрежение к остальному искажает этот строй и подготавливает нужду в тирании.

— Как это?

И Платон объясняет — как: свобода довольно легко и довольно быстро перерастает в свободу без границ, свободу без берегов, свободу без рамок; свобода человека становится его «своеволием», свобода перерастает в «произвол».

И дальше — просто потрясающие штрихи картины такой безудержно развивающейся «свободы», такой ультрадемократии — как будто все это списано с России конца XX столетия нашей (!) эры:

«Во главе государства, где — демократический строй и жажда свободы», «встают дурные виночерпии» (вы уж не обижайтесь на Платона, Борис Николаевич, что делать — правда превыше всего!) и «государство это сверх должного опьяняется свободой в неразбавленном виде, а своих должностных лиц карает, если те недостаточно снисходительны и не предоставляют всем полной свободы, и обвиняет их в мерзком олигархическом уклоне»[2]. Эта наглая, эта разнузданная свобода не ограничивается сферой политической жизни, она «проникает и в частные дома», «в школы»: отец «начинает страшится

[1] Там же, 562b.

[2] Там же, 562d.

своих сыновей», «учитель боится школьников и заискивает перед ними, а школьники ни во что не ставят своих учителей и наставников», «лошади и ослы здесь выступают важно и с полной свободой, напирая на встречных, если те не уступают им дорогу» (при «демократии» «лошади» и «ослы» както особенно успешно движутся по чиновничьей лестнице!); «душа граждан делается чувствительной, даже по мелочам: все принудительное вызывает у них возмущение как нечто недопустимое. А кончат они... тем, что перестанут считаться даже с законами — писаными и неписаными, — чтобы уже вообще ни у кого и ни в чем не было над ними власти»[1].

Да, именно так, и мы, российские граждане XXI века, это хорошо знаем. Попробуйте в обществе «победившей демократии» только заикнуться о каких-то «рамках», каких-то «границах» свободы, — и со всех сторон понесутся вопли: «А! Опять! Опять вы хотите загнать всех в стойла! Опять эти «рамки», эти «запреты»! Знаем: начинается «рамками» неких рекомендаций, а заканчивается «рамками» концлагерей. Хватит, довольно, нахлебались мы в этих «рамках», в этих «границах». Свободу без берегов! Полную!».

И хватали, и глотали — с лихорадочной быстротой, энтузиазмом и наслаждением, — что понятно, после стольких-то лет несвободы. Но в этой атмосфере демократической эйфории как-то забывали давнюю мудрость, ставшую сегодня в общем-то для всех почти несомненной истиной, — а именно, что свобода одного человека ограничивается свободой другого, что пространство «моей свободы» ограничивается пространством «вашей свободы», что свобода деятельности индивида ограничивается свободой деятельности *союза* индивидов (в пределе — свободой *общества*). Так что от «рамок» никуда не уйти. Свобода может течь только в «берегах». И прежде всего — в берегах *права и нравственности*. *Право* не разрушает, *право обеспечивает* свободу. (Другое дело, что для неукоснительного соблюдения права общество и составляющие его граждане должны иметь все необходимые средства и рычаги!)

И *нравственность* не узда для свободы. Она — узда для не-свободы, для своеволия, для вседозволенности.

В общем, свобода — всегда «рамочна». Тут, конечно, есть проблемы: не допустить превращения этих «рамок» в колючую проволоку концлагерей. Да, опасность такая есть и она реальна, кто спорит? Но, избегая ее, не впасть бы в другую крайность — крайность уничтожения *всяких* рамок. И тогда, в этом случае, вы получите тот же, «концлагерный», результат. Вы получите ту же «тиранию». Ваша безрамочная, ваша безбрежная свобода превратится в анархию, беспорядочное, ничем не регулируемое столкновение эгоизмов, в то, что Гоббс называл «войной всех против всех». И под звон лозунгов «свободы» полезут сильные, ловкие, наглые, верткие, освободившиеся от всех «пут» (в том числе — от пут совести и стыда!), полезут такие «свободные» на верх-

[1] Там же, 563de.

ние ступени власти и начнут они, опираясь на захваченные ими властные ресурсы, заглатывать материальные и интеллектуальные блага, производимые всеми другими «свободными» гражданами страны, заглатывать, сколько могут заглотить. А заглотить они, как показала практика, могут безграничное количество этих самых благ — этакие Гулливеры в стране несчастных лилипутов.

И не только в чиновные доходные кабинеты ринется эта армия «сверхсвободных», но и в структуры так называемого «бизнеса» (больше похожие на разбойничьи шайки). Начнут они и там заглатывать, засасывать в свои утробы, сколько могут заглотить и засосать.

И начнется тут противостояние обжирающихся и голодных, нахватавшихся и пусторуких, всесильных и бесправных — то, что Платон именовал «внутренней войной». И поведет эта «внутренняя война» к распаду не просто прежних, несвободных, полулагерных структур, но к распаду самой социальной ткани, связывающей общество в некую целостность, к распаду самого социума.

И возникнет ситуация общественной нестабильности, ситуация незащищенности, испытываемой абсолютным большинством граждан — ситуация, где нет «правил», где нет «рамок» и где из всех возможных «прав» господствует «право сильного» — право плюющего на законы коррумпированного чиновника, право неправдоподобно разбогатевшего олигарха, право крепкого кулака, право киллера.

Вот тогда-то и начинает со всех сторон подниматься вопль: остановите анархию, остановите беспредел, ограничьте свободу — свободу заглатывания всего и вся; обеспечьте безопасность каждому, защитите от коррумпированных чиновников, олигархов и бандитов: дайте стране стабильность, спокойствие, порядок. Да здравствует сильная власть, да здравствует «сильная рука»! Хватит, наглотались мы этой «свободы»...

И снова — к платоновым тезисам. Вдумайтесь, вчитайтесь в них «с чувством, толком, расстановкой» — они ведь целиком об этом, о том, о чем мы только что писали. Только выражено все по-платоновски спокойными, мудрыми и весомыми словами.

Начинает он медленным, размеренным, общефилософским пассажем: «Все чрезмерное обычно вызывает резкое изменение в противоположную сторону, будь то состояние погоды, растений и тела. Не меньше наблюдается и в государственных устройствах»[1].

Вот привел эту цитату из Платона и сразу увидел разницу — моих, нервных, горячих и, не могу не признать, суетливых, слов и Его — спокойно-величественных. Я пишу как бы изнутри событий, теснимый ими, сопереживая тем, кто тут со мной, рядом, и сам я — один из них. Платон — *над* событиями, на горних Олимпийских вершинах, смотрит на перипетии человеческой истории умудренным и спокойным взором: так, наверное, смотрят инопла-

[1] Там же, 352.

нетяне (если они есть) на свой эксперимент (если он проводится) с подопытными им суетящимися и копошащимися землянами.

«Чрезмерная свобода, — продолжает чеканить Платон, — … и для отдельного человека, и для государства оборачивается не чем иным, как *чрезвычайным рабством*», «тирания возникает, конечно, не из какого иного строя, как из демократии; иначе говоря, из *крайней свободы* возникает *величайшее и жесточайшее рабство*»[1].

Это что касается социально-политической инерции, разгоняющей общество в направлении все и вся разрушающей свободы.

Теперь о чудеснейшем преображении ворвавшихся во властные кабинеты демократов. Куда-то уходят, как-то выдавливаются из командных структур наиболее деятельные из них, наиболее альтруистичные и совестливые. Высшие, почетные и доходные, государственные ячейки все плотнее заполняются теми, кого Платон именует «трутнями». Возникает целая армия «демократических трутней».

Конечно, бездельники и паразиты, стремящиеся половчее устроиться на чужих спинах, существуют при любом строе. Они существуют и в той системе, где главной является экономическая деятельность (производство товаров и капитала, сказали бы мы сегодня) — то есть в системе, которую Платон поименует олигархией (и о которой разговор еще впереди). Но там эти бездельники-трутни не в почете (не могут быть в почете бездельники в обществе производителей!) — «их отстраняют от занимаемых должностей, и потому им не на чем набить себе руку и набрать силу»[2].

Не то при «демократии». «При демократии они, за редкими исключениями, чуть ли не стоят во главе: самые ядовитые из трутней произносят речи и действуют, а остальные усаживаются поближе к помосту, жужжат и не допускают, чтобы кто-нибудь говорил иначе (*Знакомая картина, читатель?*) Выходит, что при таком государственном строе всем, за исключением немногого, распоряжаются подобные люди»[3]. «Демократия» оказывается благодатным пространством для размножения «трутней». (Небольшая историческая справка: говорят, в «демократической» России в 2000 году было в 2 раза больше чиновников, чем в «авторитарно-тоталитарном», «бюрократическом» СССР!!)

Но дальше-то, дальше… Слушайте же, господа.

Трутням-то, болтунам и бездельникам этим, надо же чем-то питаться. И питаться им хочется послаще и побольше. Где взять прикажете? Трутни же не способны к производству. Вот как решают эту свою «пищевую» задачу господа трутни: «Из состава толпы всегда выделяется и другая часть… — постепенно богатеющие дельцы…Таких богачей обычно называют *сотами трутней*»[4].

[1] Там же.

[2] Там же, 564d.

[3] Там же.

[4] Там же, 564e.

(Вот какую роль уготавливают реальным производителям руководящие демократическо-бюрократические трутни — быть их «сотами», «кормильцами». Производители, опираясь на открывшиеся при первых шагах демократии возможности свободной хозяйственной деятельности, начинают создавать — для себя и для общества — стремительно разрастающуюся массу материальных благ. Трутни же, засевшие в чиновничьих кабинетах, изобретают массу способов, массу благовидных предлогов для отъема этих благ. И это, пожалуй, единственная сфера деятельности, где трутни способны развивать бешеную энергию.)

«Третий разряд, — продолжает описывать нашу сегодняшнюю реальность Платон, — составляет ***народ*** — те, что трудятся своими руками, чужды делячества, да и имущества у них немного. Они всего многочисленнее и при демократическом строе всего влиятельнее, но лишь когда соберутся вместе»[1]. *Но «собираться вместе», по мере развития «демократии», им удается всё труднее — об этом, опасаясь их соединенной силы, постоянно, прибегая к различным уловкам, заботятся «трутни». И все же* ***народ*** *— главная потенциальная опасность для трутней. Поэтому важно его не только запугивать, но и слегка задабривать. Ну, а чем могут задобрить народ ничего не производящие трутни? Да дело это, как объясняет Платон, весьма простое:* «У власти имеется возможность отнять собственность у имущих и раздать ее народу», впрочем, — добавляет Платон, — «оставив бо́льшую часть себе»[2]. Мне особенно нравится это добавление Платона: отобрать у производителя его продукт — под предлогом «заботы о страдающем народе» — и… «оставить бо́льшую часть себе». Платон хорошо знал подлинную природу демократов у и **при** власти!

Да, (чуть не забыл!), он и про возникающий на этой почве отъема бюрократией собственности и богатства у производителей конфликт все написал — тогда, две с половиной тысячи лет назад: «Те, у кого отбирают имущество, бывают вынуждены защищаться, выступать в народном собрании и вообще действовать насколько это возможно. И хотя они не стремились к перевороту, кое-кто все равно обвинит их в кознях против народа и в стремлении к олигархии. *(Ну не колдун ли, не провидец ли, Платон!)* В конце концов, когда они видят, что народ, обманутый клеветниками, готов не со зла, а по неведению расправиться с ними, тогда они волей-неволей становятся действительными приверженцами олигархии. Они тут ни при чем, просто тот самый трутень ужалил их, и от этого в них зародилось такое зло…Начинаются обвинения, судебные разбирательства, тяжбы»[3]. *(Ну не мистика ли, господа, — видеть такие детали нашего нынешнего бытия за 2500 лет до его появления!)*

Нет, Платон не защищает тех производителей, что превратились в «олигархов». Он только против, чтобы, под предлогом борьбы с «олигархами»,

[1] Там же, 565.

[2] Там же.

[3] Там же, 565c.

драли шкуру со *всех производителей*, людей реального дела. Он только предостерегает народ: внимательно разберись в сути идущей там, наверху, войны между трутнями и олигархами — трутни не лучше, трутни для тебя даже хуже и опаснее олигархов (последние, хотя и приворовывают немерено, но все-таки, в отличие от трутней, что-то *производят*).

Но, владея монополией на работу языком, трутни всё негодование общества стремятся перевести на олигархов: начинаются обвинения, судебные процессы...И «народ» — в растерянности: кто же защитит от этих ужасных олигархов? И начинает народ испуганными и растерянными глазами шарить по верхним этажам властной лестницы: где же тот спаситель, что придет и «наведет порядок», что защитит гонимых и обездоленных? В общем, ширится запрос на могучего и великого «народного заступника».

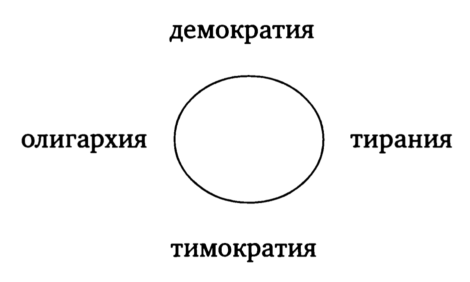
Народ, — свидетельствует Платон, — привык особенно отличать кого-то одного, ухаживать за ним и его возвеличивать[1]. И совершенно потрясающий по проникновению в суть дела вывод: **«Значит, уж это-то ясно, что когда появляется тиран, он вырастает именно из этого корня, то есть как ставленник народа»**[2].

О, господи! Как грустна ты, матушка-история, с какой же синхронностью ты повторяешься — из века в век, из века в век. И крутимся мы в тебе, как белки в беличьем колесе. Печально и грустно!..

***

«Беличье колесо» — это у меня не случайно вырвалось. Теория политических режимов у Платона и есть не что иное, как описание этого бесконечно и безостановочно вращающегося «беличьего колеса», в котором несчастной белкой крутится общество, в тщетной надежде, что, перебирая лапками стенки колеса, раскручивая, разгоняя его, оно (общество) не стоит на месте, а движется куда-то, вперед и выше.

А Платон с грустной иронией вычерчивает это «беличье колесо» сменяющих друг друга режимов. И получается что-то вроде вот этого:



[1] Там же.

[2] Там же, 565d.

Это «Платоново колесо» дает очень наглядное и очень глубокое представление о логике движения политических систем — и не только в древнем мире. «Колесо» Платона может быть ключом к пониманию политических процессов нового, новейшего и самого новейшего времени.

А коли так, то последуем за ним, за его аргументацией, вникнем в ее суть и примерим ее к более поздним эпохам (и к нашей — в том числе).

От тирании — к тимократии

Итак, один поворот («четверть-поворот») мы разобрали: демократия сменяется тиранией. Мы воздали должное платоновой проницательности, отметив, что так, как описывает Платон, действительно, не раз бывало в истории.

И все же будет вполне законен и правомерен вопрос: а что, демократия не может **не** перерастать в тиранию, что, она **с необходимостью** оборачивается, в конце концов, диктатурой, что, она **неизбежно** втаскивает общество в авторитарные, а то и тоталитарные режимы? Да, так, как описывает Платон, бывает, и так в истории преимущественно и бывало. **Но** — может быть, можно своевременно остановить инерцию «безбрежной», «безрамочной» свободы? Может быть, можно ввести ее в гуманистические и правовые рамки — и тем защитить ее от самой себя, и тем помешать свободе перерасти в своеволие, произвол и анархию, а через них — в тиранию? И тем приостановить вращение — на одном месте — «беличьего колеса» и обеспечить возможность стабильного и поступательного развития. Может быть, можно взять под жесткий контроль народа всех этих «демократов у власти», сплачивающихся в коррумпированную чиновничью корпорацию, — через систему общественных союзов, гражданских объединений, правозащитных организаций (национальных и международных), через институты свободы слова и свободы печати?

Может быть, с другой стороны, можно ограничить и разнузданность олигархов, перекрыть им каналы бандитского, не правового обогащения, — и тем уменьшить масштабы общественного неравенства, снизить накал социальной борьбы?

Это всё законные и очень важные вопросы. Можно сказать, вопросы вопросов. И мы обязательно к ним вернемся. Их, между прочим, так или иначе, поставит Аристотель; и мы, вместе с Аристотелем, поразмышляем над ними. Но пока, следуя за Платоном, отставим их в сторону. Для Платона вопросов тут не было: демократия, согласно ему, **неизбежно** и **необходимо** перерастает в тиранию. (И это не «увлечение» Платона и не какая-то его «элементарная ошибка». В прошлые эпохи так оно, в значительной степени, и было. И потому Платон имел полное право *так* ставить и *так* решать этот вопрос. Но, повторяю, потерпите, мы еще к нему вернемся — для подробного и обстоятельного разговора).

А пока рассмотрим следующий «четверть-поворот» платоновского колеса — **от тирании к тимократии.**

Мы уже говорили: оценки Платоном исторической роли и исторической миссии тирании — объемны, многосторонни и диалектичны. Ему чуждо эмоциональное отвержение тирании, что называется, с порога.

Безбрежная, безрамочная, анархическая демократия разрушает самые основы социальной ткани, провоцирует возникновение всеобщих, массовых требований «сильной руки». Рассыпающаяся бочка требует обручей. Идея «порядка» и «сильной руки», овладевая, что называется, массами, выдвигает на политическую авансцену волевых, решительных руководителей, в которых народ видит своих защитников. Именно такой человек, проницательно отмечает Платон, приходит к власти.

Ступенька за ступенькой прослеживает Платон путь — как этот «народный заступник» постепенно превращается в тирана.

Ну, на первых порах он, действительно, должен выглядеть «народным вождем» — призванным на службу народом и активно поддерживаемым им. «В первые дни, вообще в первое время он приветливо улыбается всем, кто бы ему ни встретился, а о себе он утверждает, что он вовсе не тиран; он дает много обещаний частным лицам и обществу; он освобождает людей от долгов и раздает землю народу и своей свите. Так притворяется он милостивым ко всем и кротким»[1]. Тут одна тонкость, хотя и не очень существенная. Я не знаю, точен ли здесь перевод. Специалисты по древнегреческому! Посмотрите, пожалуйста, — как там в оригинале. Слово «притворяется», по всей логике Платоновых размышлений, тут не вполне подходит. Наверняка, у Платона несколько иначе: наверное, вместо «притворяется» у него употреблено что-нибудь вроде — «выглядит» или «выступает». Ибо на первых порах такой вождь **на самом деле**, а не «притворно», по отношению к большинству граждан, «милостив» и «кроток». «Притворяться» он будет несколько позже.

Но какой бы глагол там ни употребил Платон, его точка зрения совершенно ясна: «сильный руководитель» поначалу не может не восприниматься всеми как именно «народный заступник». Он должен ответить (и отвечает) на чаяния и мольбы народные. Ограничить (и ограничивает) произвол на всех этажах общественной лестницы. Укротить (и укрощает) анархию и беспредел в общественных отношениях. Короче, он затягивает обручами рассыхающуюся и разваливающуюся «бочку» социальной жизни. Всё это, конечно, будет выглядеть как ограничение «демократии», но **народ** (который считается — и вполне справедливо — субъектом демократии) поддержит эти необходимые — для стабилизации общественной жизни — ограничения.

Прелюбопытнейшая фигура — этот диктатор, опирающийся на *народную* волю. С одной стороны, мы имеем здесь дело с единоличной властью (еди-

[1] Там же, 356.

ноличной диктатурой), с другой — здесь еще сохранено некое демократическое содержание: перед нами уполномоченный **народом** диктатор, которому **народ** передал (на основе плебисцита или всеобщих и свободных выборов) право на диктаторское правление.

Отсюда, вообще, абстрактно говоря, два пути. Один: по мере выполнения задач стабилизации — снижать уровень и масштабы насилия и, возвращаясь к демократическим методам управления (но взятым в разумные «рамки»), отказываться постепенно от диктаторских, централистских методов властвования. И — другой: наращивать инерцию диктаторства, устраняя остатки демократических институтов и процедур, и двигаться, шаг за шагом, к антинародной тирании.

Это — абстрактно говоря. Но Платон желает быть конкретным, опирающимся на практику, исследователем. Он желает быть реалистом, а не прекраснодушным фантазером. И потому для него никаких *двух* путей тут нет. Есть один-единственный: от «народного» вождя — к антинародной тирании. (И снова надо признать, что, как правило, так оно и было в истории).

Вот, согласно Платону, логика этого постепенного, но неумолимого движения.

Поначалу этот руководитель, в качестве «народного заступника», будет карать «беспредельщиков», «трутней»: «Карая (*их*) изгнанием и приговаривая к страшной казни, он между тем будет сулить (*народу*) отмену задолженности и передел земли»[1]. В общем: жестокости и насилия — во имя «благой» цели. В общем: дубиной загонять всех в земной рай. Но историческая практика, таков ход мысли Платона, быстро вразумляет: ставка на ужесточающееся и разрастающееся насилие не ведет к «благой» цели, а «дубина» и «рай» (как — гений и злодейство) несовместны. И еще, о чем свидетельствует история: *заразителен* этот метод насилия, который, кажется, дает такие быстрые результаты. Карательная деятельность, поддерживаемая (поначалу) «народом», будет вдохновлять нашего «сильного руководителя» на новые карательные подвиги, — усиливающие его личную власть и «народную славу». *Средства* все больше будут становиться *целью*, **самоцелью**. Он будет все больше утверждаться именно как «каратель». Платон хорошо изучил психологию подобного рода вождей: «Имея в руках чрезвычайно послушную толпу, разве он воздержится от крови своих соплеменников?»[2].

Заметим, попутно, как терминологически точен Платон: «народ», о котором он говорил выше, в условиях отречения от своих властных полномочий и передачи их своему «ставленнику», перестает быть «народом» и становится «послушной **толпой**» — со всеми ее крайне несимпатичными чертами и инстинктами. И когда: с одной стороны — агрессивно-послушная толпа, а с другой — легко подавляемые и уничтожаемые противники, то развивает-

[1] Там же, 566.

[2] Там же.

ся у «ставленника народа» чувство всемогущества, всевластия, самодурного беспредела.

—Говорят, кто отведал человеческих внутренностей, мелко нарезанных вместе с мясом жертвенных животных, тому не избежать стать волком. Или ты не слыхал такого предания?—спрашивает «Сократ-Платон» Адиманта.

—Слыхал,—отвечает тот.

—Разве не то же и с представителем народа?[1].

Да, поначалу он будет расправляться преимущественно с «трутнями», но, свирепея и ожесточаясь в ходе этой расправы, он будет распространять свои репрессии и на иные слои общества, которые, по тем или иным причинам, ему лично покажутся враждебными. И этих *своих* врагов он будет называть, конечно же, *врагами всего народа*. «Он станет привлекать их (*своих соплеменников, именуемых врагами всего общества*) к суду по несправедливым обвинениям и осквернит себя, отнимая у людей жизнь, своими нечестивыми устами и языком он будет смаковать убийство родичей» (т.е. *«своих соплеменников»*)[2].

Параллельно он примется за уничтожение другого *своего* врага: «Он тот, кто поднимает восстание против обладающих собственностью»[3]. Заметьте: не просто—против «чрезвычайной собственности», собственности сверхмерной, собственности, присвоенной в ходе наглого грабежа в период «демократической» анархии, а—«против обладающих собственностью», т.е.—против собственников вообще. И это понятно: собственник—это человек, обладающий (благодаря собственности и основанному на ней производству) изрядной долей независимости от чиновных «хозяев жизни». Для «народного» же вождя, постепенно превращающегося в диктатора и тирана, *всякая* независимость—**невыносима**. Люди должны зависеть не от своего труда, не от своей собственности, а от Него, от Его благорасположения. И, естественно, со временем река Свободы, вводимая *таким образом* в берега, начнет усыхать, и вскоре останутся только «берега», покрытые бетоном.

И вот уже «народный заступник» не покоится «величествен... на пространстве великом, но, повергнув многих других, прямо стоит на колеснице своего государства уже не как представитель народа, а как совершенный тиран»[4]. То есть—двигаясь по этой тирановозвышающей дороге, уничтожая соперников и личных врагов из числа прежних чиновников и собственников, он, в один прекрасный день, увидит себя противостоящим... народу. Прежняя лесть народу, прежнее задабривание его становятся не только излишними (ибо «именем народа» уже уничтожены все соперники тирана, и в народ-

[1] Там же, 565е.

[2] Там же.

[3] Там же, 566.

[4] Там же, 566d.

ном одобрении и поддержке он уже не нуждается), но и просто вредными, ограничивающими волю тирана. Он должен разрушить эту сложившуюся свою зависимость от народа. На место народной любви к нему он должен поставить более надежное чувство — страх. (Это именно то, о чем напишет двадцать веков спустя Макиавелли: «Пошел спор, лучше ли, чтобы его (руководителя, диктатора) любили, а не боялись. Отвечают, что желательно было бы и то, и другое. Но так как совместить это трудно, то гораздо вернее внушить страх, чем быть любимым... Ведь любовь держится узами благодарности, но так как люди дурны (*успокаивает Макиавелли свою совесть!*), то эти узы рвутся при всяком выгодном для них случае. Страх же основан на боязни, которая не покидает тебя никогда»[1].

Да, страх — надежнее, чем любовь. С помощью его диктатору править удобнее, сподручнее. Он начинает систематически насаждать его. «Если он заподозрит кого-нибудь в вольных мыслях и в отрицании его правления, то таких людей он уничтожит под предлогом, будто они предались неприятелю»[2]. (Сталинские «соколы» — все эти Вышинские, Ежовы, Берии — с их бесконечными шпионскими процессами — читали Платона?).

Помимо страха, есть еще несколько верных средств укрепления тирании. Например, «надо постоянно вовлекать граждан в какие-то войны» — для того, во-первых, «чтобы народ испытывал нужду в предводителе» и «чтобы из-за налогов (на ведение войн) люди обеднели и перебивались со дня на день, меньше злоумышляя против него»[3].

И вот тирания достигает своего наибольшего могущества.

Но Платон, как вы помните, нам неоднократно напоминал: «Все чрезмерное обычно вызывает резкое изменение в противоположную сторону»[4]. Так и тирания: достигнув вершин своего безмерного могущества, когда, кажется, все затихло, все подавленно молчит и слышны только приказы тиранской шайки и песнопения придворных соловьев, тирания вдруг начинает крениться на бок, а тиран — чувствовать, как сгущаются тучи над его головой. Ведь «такие (*карательные*) действия делают его все более и более ненавистным для граждан»[5]. Постепенно исчезает то позитивное, что выпало на долю свершить «сильной руке». Пропадает всякая оправданность его диктаторских действий. Железный обхват обручей, которыми скреплялась разваливавшаяся социальная «кадушка», крепнет. И крепнет настолько, что обручи эти не просто держат кадушку, но раздавливают ее. Общество начинает задыхаться от этого железного хвата. В нем закупориваются все поры инициатив, самодеятельной энергии людей. Оно почти перестает дышать.

[1] Макиавелли. Государь, М., 1996, с. 82.

[2] Платон. Государство, 567.

[3] Там же, 567.

[4] Там же, 564.

[5] Там же, 567b.

И если раньше усиление властных скреп понималось и поддерживалось большинством общества, то теперь начинает зарождаться и нарастать сопротивление этому удушающему политическому режиму. Он становится «ненавистным для граждан», «некоторые из влиятельных лиц, способствовавших его возвышению (*а теперь — понявших и почувствовавших его губительность)*, станут открыто, да и в разговорах между собой выражать ему свое недовольство всем происходящим — по крайней мере, те, кто посмелее»[1]. И, естественно, «чтобы сохранить за собою власть, тирану придется их всех уничтожить»[2]. (У каждого тирана есть свой 37-й год, своя «ночь длинных ножей»!).

Парадокс — в том, что, защищая свое единовластие от завистливых друзей и ненавидящих врагов, он укрепляет свое единовластие за счет сужения базы прежней своей поддержки. Сужение же базы своей социальной и политической поддержки он пытается компенсировать усилением и расширением репрессий. «Он следит за тем, кто мужествен, великодушен, кто разумен, кто богат» — «он поневоле враждебен всем этим людям и строит против них козни, пока не очистит от них государство»[3]. Разумеется, начинает зреть протест — поначалу скрытый, а потом все более явный: он (тиран) становится ненавистным гражданам.

И тогда пускаются в дело последние резервы единовластия: тиран окружает себя «толпой негодяев»[4], «верными телохранителями, которых требуется ему все больше и больше». Одни «негодяи» встанут около него с оружием в руках, с кнутами, судами и тюрьмами. Другие «негодяи» встанут рядышком с ним — с песнями, одами, поэмами, в которых «до небес превозносят тираническую власть»[5]. Третий разряд «негодяев» будет вербоваться (лаской, подкупом, угрозой) за рубежом. Эти, чужестранные, поклонники тирана начнут «собирать густую толпу» и, обладая «прекрасными, сильными, впечатляющими голосами», будут «привлекать граждан к тирании...» [6]. Все эти группы «негодяев», конечно же, «получают вознаграждение, и им оказывают почести всего более, как это и естественно, со стороны тиранов»[7].

И все же это, в конце концов, оказывается слабой защитой от разгорающегося гнева всех слоев общества. В то время, как репрессивная гвардия тирана, все эти «негодяи-сподвижники» «будут им (*тираном*) восхищаться», «люди порядочные будут ненавидеть и избегать его»[8].

[1] Там же, 566b.
[2] Там же.
[3] Там же, 567b.
[4] Там же, 567d.
[5] Там же.
[6] Там же, 568c.
[7] Там же.
[8] Там же, 568.

...В общем, «недолго музыка играла». Недолго диктатура оказывала обществу полезные услуги — скрепляя социальную ткань после «демократической» анархии и «демократической разнузданности». Очень быстро ее «сильновластие» оказалось удушающей петлей для общества. Сформировавшаяся политическая система «сильной руки» оказалась, в итоге, несравненно хуже и губительней для людей и общества, чем «демократическая система», даже в ее неадекватной, извращенной форме, — «по пословице, «избегая дыма, угодишь в огонь»; так и народ из подчинения свободным людям попадает в услужение к деспотической власти и свою неумеренную свободу меняет на самое тяжкое и горькое рабство»[1]. Лекарство оказалось хуже болезни!

И снова — вопрос из XXI века, аналогичный тому, что возникал у нас при анализе саморазрушающейся демократии: «А нельзя ли приостановить описанную выше нежелательную инерцию, нельзя прервать логику разрушительного движения? Так ли уж неизбежно перерастание авторитарного режима «сильной руки» в режим деспотический, в тиранию? Неужели у общества нет возможности, использовав авторитарные методы для преодоления анархии и социального распада, для стабилизации общественной жизни, остановиться на каком-то рубеже авторитаризма и двинуться не в направлении к тирании и тоталитаризму, а — к цивилизованной, «рамочной», правовой демократии? Что думает на сей счет Платон?

И на сей счет Платон думает примерно так же, как и при ответе на первый аналогичный вопрос. Он думает, что инерция правления «сильной руки» **неостановима**: режим «сильной руки», упоенный своими успехами на первых порах, не способен быть самокритичным; робкие и деликатные предупреждения мудрых и сведущих людей он игнорирует с самомнением и самонадеянностью победителя. И Платон имел право **так** выстраивать логику своего анализа, ибо практика не давала примеров — когда бы режим «сильной руки» сам себя добровольно ограничивал, и тем самым, по сути, сам себя устранял бы, трансформируясь в какой-то вид правового демократического устройства.

Добавим, практика не давала подобных примеров не только во времена Платона, но и во все времена после него. Возможно (я лично на это очень надеюсь), что только человечество XXI века, вконец истощенное этими бесконечными и однообразными политическими метаморфозами, истомленное этой беготней в «беличьем колесе» (так рельефно обрисованном Платоном), поставит, наконец, всерьез подобные вопросы и найдет способы преодоления печальных инерционных метаморфоз. Ведь не о четырех же временах года, навязываемых неподвластным нам Космосом, идет речь, а о четырех формах, выстраиваемых ***людьми****, и, стало быть,* ***им*** *подвластных.*

И снова: запомним этот вопрос, мы к нему тоже обязательно вернемся. Но пока вновь последуем за Платоном, стремясь понять дальнейшую логику вращения «беличьего колеса» — от **тирании к тимократии.**

[1] Там же, 359.

Еще один парадокс: наиболее слаб тиран — в момент, когда он подавил *всех*; наиболее слаба тирания — когда она становится *абсолютной*. Когда ты *всех* держишь в страхе, то ты и бояться должен *всех*. Когда предельно закручены *все* гайки — механизм утрачивает гибкость, подвижность, он костенеет. Абсолютная тирания — это закупорка всех форм общественной деятельности, это остановка общественного дыхания, это — остановка жизни.

Замирает наука — кто, кроме тирана, рискнет сказать тут новое слово? Разве кто-то может быть хоть в чем-то умнее, компетентнее деспота, этого «несравненного корифея всех наук»?

Умолкают музы. Искусство превращается из средства художественного *познания* мира, из зеркала мыслей и дум общества в форму *искажения* мира и одурачивания людей — в угоду тирану и его приспешникам. (Заметим, вместе с тем, что одурачивание людей становится, со временем, «одурачиванием» и самого тирана, все больше отрывающегося от реальности и все больше погружающегося в придуманный угодливыми идеологами мир).

Стагнирует и разваливается экономика — никто в ней не смеет сделать шага без начертаний и приказов все планирующего, все далеко провидящего «кормчего». А что может планировать «кормчий» со своей командой, когда отсутствует правдивая информация о состоянии дел в различных сферах жизни общества? Информация подается только такая, которую желают иметь на тираническом «верху». И наш «великий кормчий» имеет, стало быть, дело не с реальными фактами, а с грезами и фантазиями, творимыми его верноподданными. Из *них* он исходит, на *их* основе он составляет свои «гениальные» планы; и неизбежен момент, когда эти «гениальные» плановые грезофарсы совершенно разойдутся, напрочь расстыкуются с реальными возможностями.

Затухает всякая общественная жизнь: люди перестают обсуждать встающие перед обществом проблемы…

Ну, и как же, ну, и куда же дальше крутанется «беличье колесо»? Что там *за* тиранией, *после* нее?

Особенность следующего четверть-оборота связана с тем, что, как было совершенно ясно Платону, тирания — не *реформируема*. У нее нет, переведем мысль Платона на язык современной науки, внутренних механизмов трансформации. В условиях тирании отсутствует всякая возможность для формирования оппозиционных политических сил, способных эффективно возглавить перестройку общественных структур. Отсутствует сама возможность более или менее свободного размышления над проблемами, в которых запутывалось общество. Отсутствует возможность разработки реформаторских программ — попробовал бы тогда кто-нибудь только намекнуть о такого рода программах!… Поэтому крушение тирании неизбежно осуществляется путем резких, насильственных (сегодня мы бы сказали — революционных) действий. На них решаются люди «яростного духа»[1], те, кто «скорее рожден для

[1] Там же, 332.

войны, чем для мира», люди, «готовые на военные подвиги»[1]. Этих суровых, решительных и честолюбивых тираноборцев Платон называет *тимократами,* а их правление **тимократией** *(греч. «тимос» — «честь»).*

И никакой особой архаики, ничего исторически устаревшего нет в этих теоретических формулах Платона. Ну, термин этот («тимократы») — конечно, древнегреческий, сегодня он не на слуху. Ну, употребите вместо него что-нибудь более современное, близкое по смыслу — «революционеры», например. А вместо «тимократии» — скажем, «революционный переходный период», «революционная диктатура», «революционная демократия». Но *содержание,* но *смысл* и *важнейшие уроки* такого (тимократического, или — революционного) периода не устарели. Нисколько. «Тимократами» вполне можно назвать Кромвеля и его «железнобоких», этих честолюбивых воинов, восставших против тирании Карла I. «Тимократами» были Робеспьер, Марат, Сен-Жюст и все народные генералы Конвента (до Гоша и Бонапарта — включительно). «Тимократами» (правда, потерпевшими поражение) были наши декабристы. «Тимократами» были молодые кубинцы — Фидель, Рауль, Че. «Тимократы» шли во главе революций 1917 года — против русского тиранического самодержавия. Да мало ли…

В общем, нет тут у Платона никакой древнегреческой экзотики. Да, он — про Элладу, но — и про нас тоже.

Присмотримся же повнимательнее к этому режиму, приходящему на смену тирании.

О, **тимократия** — славный период в жизни общества. Идет раскупорка общественных пор, тают ледники деспотизма, к обществу возвращается дыхание, жизненная энергия. Период героев, для которых, кажется, нет ничего невозможного! Каким заревом освещены их вдохновенные лица, как волнующе звенят их страстные речи. «Тимократ» Робеспьер, взметнувшись на трибуну Конвента: «Мы хотим выполнить веление природы и осуществить судьбы человечества, сдержать обещание философии, отпустить грехи провидению за длительное господство преступлений и тирании. Пусть Франция, известная когда-то среди рабских стран, … становится примером для наций, ужасом для угнетателей, утешением для угнетенных, украшением вселенной и пусть, скрепив нашей кровью наше дело, мы смогли бы увидеть сияние зари всеобщего счастья! В этом наше **честолюбие**, в этом наша цель»[2].

И — тимократ 20 века Лев Троцкий, перед возбужденной, многотысячной, краснозвездной аудиторией: «Если культура будет служить только буржуазии, мы уничтожим культуру. Если это солнце будет светить только буржуазии, мы ***погасим*** солнце!». Вот ведь как!

Да, тимократия — это эпоха освобождения от тирании. Но одновременно это, как видно даже из приведенных выше кратких цитат, — эпоха боль-

[1] Там же.

[2] М. Робеспьер. Избр. произв., т.3, с. 108.

шой крови, эпоха пылкого, но совершенно непрактичного энтузиазма. «Погасим солнце»!

Красиво и звонко! Но, попробуй, черт побери, погасить его, попробуй дотянись до него! Да и зачем? Зачем его гасить-то? Бог с Вами, Лев Давидович! И сможет ли взойти «заря всеобщего счастья», если ее, по-робеспьеровски, замешивать на крови?

В общем, тимократия — это разрушение старого мира и... неумение строить новый. Ибо нельзя замешивать общественную жизнь на *непрекращающемся* насилии — даже если оно поначалу и имеет антитираническую направленность. Нельзя строить общество на разрушении, даже если, поначалу, это — разрушение тиранических крепостей. Нельзя обществу долго сидеть на поднятых кверху штыках, даже если, поначалу, эти штыки были направлены в грудь тиранов.

Общество (ну, это же — элементарно!) должно *созидать, создавать, приумножать* ***общественное богатство.*** Заниматься экономической, хозяйственной деятельностью — непонятное и скучное занятие для горящих огнем революционного пыла тимократов.

Когда наиболее дальновидный из вождей тимократов-большевиков Ленин воскликнул в 20-е годы (на излете тимократической революции, т.е. — ее насильственно-революционной фазы): «Коммунисты, учитесь торговать!», — его не поняли. Его соратники, вся эта масса героев революции и гражданской войны, просто остолбенела. Как, как? Нас, героев, которые готовились зажигать новые звезды и гасить старые солнца, которые на своих плечах несли счастье Всему Человечеству, скрепляя свои надежды своей и чужой кровью, своей и чужими жизнями, нас — не ослышались ли мы? — наш главный вождь призывает... *торговать?!*

И стоит герой Урбанского (в фильме «Коммунист») в своей солдатской шинели, видевшей не один фронт гражданской войны, в шинели, бурой от пыли и крови, и мнет, в растерянности, ключи от склада, которые вручил ему секретарь партийной ячейки. Что же — все? Конец всем мечтам о великой деятельности, о всемирном братстве, об общечеловеческом счастье? Что же — идти открывать этим ржавым ключом ржавый замок склада-сарая, и выдавать мужикам гвозди, наливать им в бидоны керосин для фитильных ламп?...

И — падает революционный энтузиазм, и снижается накал речей, и тускнеет свет, лежащий на лицах преобразователей. Да и сами преобразователи, в большинстве своем, уходят в политическое небытие, уступая место людям, умеющим производить, торговать, людям экономической смекалки и экономической жилки.

Тимократы сделали свое дело: они свергли тиранию. Они расчистили место — для свободной экономической деятельности. Учитесь производить! Учитесь торговать! Обогащайтесь!

Первоначальное и все расширяющееся накопление разрушает режим доблестных, яростных, честолюбивых. «Скопление золота в кладовых у частных лиц *губит тимократию*», «кончается это тем, что вместо стремления

выдвинуться и удостоиться почестей развивается наклонность к стяжательству и наживе и получают одобрение богачи — ими восхищаются, их назначают на государственные должности, а бедняки там не в почете». Так постепенно «тимократия переходит в олигархию»[1].

От тимократии — к олигархии

«Олигархия» — еще один рубеж в кружении платоновского «беличьего колеса» политических режимов. Уже не личная доблесть, не честолюбие выходящих на борьбу с тиранией становятся почитаемыми качествами. «Свергается с престола честолюбие и присущий ему прежде яростный дух»[2]. «Тимократический человек» уступает место «олигархическому» — который «возведет на трон свою алчность и корыстолюбие»[3]. У *олигархического человека* «кроме богатства и богачей ничто не будет вызывать восторга и почитания, а его честолюбие будет направлено лишь на стяжательство и на все то, что к этому ведет»[4].

Революционная романтика, реформаторская юность сменяется реалистической прозой, экономической жизнедеятельностью становящихся все более умудренными мужей. «Ни одна перемена не происходит у юноши с такой быстротой и силой, как превращение любви к почестям в любовь к деньгам»[5].

Да, в этом реализме производства и накопительства утрачивается нечто возвышенное и прекрасное, исчезает некая романтическая устремленность в какое-то необыкновенно благородное будущее. Но на мечтах — даже самых прекрасных — о будущем, на энтузиазме, не соединенном с реальными заботами о «хлебе насущном», общество не может долго существовать. «Скучная» и «унылая» хозяйственная деятельность — есть громадный шаг вперед по сравнению с тимократической мечтательностью. Экономическая деятельность спасает общество от гибели, которую уготавливает ему продолжающаяся сверх необходимого романтическая тимократическая поза. Так что и в этой смене, в этом переходе от тимократического к олигархическому строю (который Платон поименовал «олигархией») есть немало ценного и значимого для общественного развития.

А дальше — снова действие социальной инерции. Увы, ни одна — даже самая прекрасная — истина не может быть настолько прекрасной, чтобы ее нельзя было довести до абсурда. Ни одна историческая ситуация не в состоя-

[1] Платон. Государство, 335, 336.

[2] Там же, 359.

[3] Там же, 339.

[4] Там же.

[5] Там же.

нии быть настолько прекрасной, чтобы — при своем развитии — она не могла бы обратиться в свою — совсем не прекрасную противоположность.

То же — и с олигархией. Свободная — не скованная тираническим строем — хозяйственная деятельность порождает все обостряющуюся конкуренцию, соперничество — то, что позднее один мудрый философ назовет «войной всех против всех». Эта война и сама по себе будет порождать нестабильность государства, но одно из ее следствий будет особенно разрушительно для жизни общества — это разрастающаяся пропасть (и как следствие — вражда) между «богатыми» и «бедными». «Крупным недостатком олигархии, — утверждает Платон, — является то, что подобного рода государство неизбежно не будет единым, а в нем как бы будут два государства: одно — бедняков, другое — богачей. Хотя они и будут населять одну и ту же местность, однако станут вечно злоумышлять друг против друга»[1]. Естественно, особенно активны в этой борьбе будут бедняки, составляющие большинство народа: «Одни из них кругом в долгах, другие лишены гражданских прав, а иных постигло и то, и другое, они полны ненависти к тем, кто владеет теперь их имуществом, а также и к прочим и замышляют переворот»[2].

От олигархии — к демократии

Наступает момент, когда это классовое противостояние достигает высшей степени остроты — и тогда большинство народа (превращенное в бедняков) восстает и, победив, отстраняет богачей от власти, лишает их возможности накапливать свои богатства за счет разорения других людей. Этот новый, приходящий на смену олигархии, строй, представляющий собой правление большинства народа, Платон именует ***демократией***.

«Демократия, на мой взгляд, осуществляется тогда, когда бедняки, одержав победу, некоторых из своих противников уничтожат, иных изгонят, а остальных уравняют в гражданских правах и в замещении государственных должностей»[3].

Так **Олигархия** с необходимостью сменяется **Демократией** — и «беличье колесо» Платона делает, таким образом, еще один свой четверть-оборот.

Ну, а *демократия*, вы помните, своей инерцией свободы рождает анархию и произвол и переходит — вначале в режим «сильной руки», а потом — в *тиранию*; *тирания* сменяется *тимократией, тимократия — олигархией, олигархия* — снова *демократией*...

Крутится, вертится шар голубой!..

Катится по человеческой истории «беличье колесо» Платона...

[2] Там же, 336–337.

[3] Там же, 342.

[4] Там же, 343.

глава 2. К «Новому миру» Твардовского!

«Шестидесятничество» — 60-е годы XX века н.э

«Дыра в заборе»

Это написано где-то в середине 90-х годов. Юра Буртин (вместе с Игорем Виноградовым) задумали издать к «юбилею» разгрома «Нового мира» воспоминания-эссе людей, которые печатались в нем, были близки к нему. В этой связи они и обратились ко мне. Знаю, что многие откликнулись на их просьбу. Но… умер Юра, и дело заглохло.
«Игорь! — обращаюсь я со страниц этой книги к Игорю Виноградову, нынешнему главному редактору «Континента». — Доведи начатое дело до конца: опубликуй собранные материалы. Нужна помощь? Я в твоем распоряжении».

«Я Вам по секрету скажу, — ироничный и парадоксальный Михаил Александрович Лифшиц наклонился ко мне и деланно-заговорщицким тоном произнес: "Новый мир" — это не направление, это — дыра в заборе…»

Михаил Александрович — блистательный (хотя и не очень типичный) новомировский автор, обожавший Твардовского и высоко ценивший его журнал, — и вдруг этакая хула: сравнить орган передовой общественной мысли с какой-то там … дырой в заборе.

…К Лифшицу на домашние беседы я попал после того, как Игорь Виноградов (тогда — член редколлегии «Нового мира») передал ему две мои статьи: «патриарх» должен был решить, «стоит ли со мной иметь дело».

На дворе была середина 60-х годов, и было мне чуть более 20 лет. Статьи были «программные» — это было мое «заявление» о приеме в «партию «Нового мира». Они были резко антисталинистскими и решительно оппозиционными по отношению к тоталитарно-авторитарной системе, сложившейся в нашем обществе. Написаны были, разумеется, языком аналогий и подтекстов (легко, впрочем, разгадываемым привычным к такому общению новомировским читателем). Одна статья — про «нравственность и революцию» — на материале Французской революции и деятельности Робеспьера — о том, как и почему прекрасные и светлые слова о демократии, равенстве, мораль-

ности вдруг — в ходе революции — набухают кровью и торят дорогу террору. Вторая — о проблемах (необходимости и возможности) народного суда (и не только юридического) над теми, кто создавал, обслуживал и продолжает обслуживать античеловеческие, террористические, тоталитарные социальные системы. База для размышлений — фильм Стэнли Крамера о суде над нацистами и их пособниками (понять, каких «нацистов» имел в виду автор статьи, для новомировского читателя труда не представляло).

Строгую экспертизу одного из новомировских корифеев мои статьи (и — я, следовательно) прошли успешно. «Автор — с умом и пером», — сделал заключение эксперт, исписав все поля моих сочинений словами солидарности, несогласия, диалоговых соразмышлений…

И тут вдруг этакое: оказывается, «партии», в которую я готовился вступить, нету, а есть просто «дыра в заборе». Вообще-то, внимательно читая «Новый мир», а потом общаясь с членами его редакции и авторами, я и сам приходил к тому же примерно заключению, что и Лифшиц, только не формулировал его столь заостренно.

Но объяснимся, о чём, собственно, идет речь.

Образ этот, конечно, не слишком лестный: никому и ничему не пожелал бы быть сравненным с «дырой в заборе». Но это — «вообще». А если поставить его в определенный исторический и социально-политический контекст, то дело будет выглядеть существенно иначе.

Ну, прежде всего. Разве плохо быть дырой в Заборе — в высоченном, бетонном заборе, опоясанном многими рядами колючей проволоки с бегущим по ней смертельного напряжения током, Заборе — с вышками по углам и бдительными стражами на вышках, Заборе, за которым текла жизнь нашего духовного концлагеря? «Дыра», пробоина, брешь в ***таком*** заборе — да это же счастье великое, это — возможность глотнуть немного воздуха свободы.

Правда, есть и другая грань у объемного лифшицевского образа. «Это — дыра, — продолжал с мефистофельской усмешкой мой собеседник, — куда очень разные люди вываливают очень разные вещи». И тоже верно и тоже тут нет ничего особенно обидного для журнала! В зазаборной и подзаборной нашей жизни никаких вольностей не допускалось. Дозволялось делать только то, что жестко предписывалось концлагерным начальством. И вот не принимавшие этот лагерный режим «инакомыслящие» прибивались к этой «дыре» и кричали в нее о своих болях и бедах, о своих надеждах. Но это были очень разные боли и очень разные надежды, — что и констатирует Лифшиц. Да, всех этих «инакомыслящих» объединяло неприятие колюче-проволочной атмосферы Зазаборья. Но очень по-разному представляли они себе — как жить, когда этот Забор (в один прекрасный день) рухнет (на что, впрочем, при своей жизни не слишком надеялись), и — как подточить, свалить этот Забор, дабы он, падая, не придавил рвущихся на свободу. Среди множества взглядов и позиций ясно различались две основные тенденции. Я и мои такие же молодые друзья-единомышленники, вслед за Лифшицем (не будучи, впрочем, его «учениками», ибо наше мировоззрение формировалось и сформи-

ровалось независимо от него), именовали одних сторонников этих тенденций — «либералами», других — «демократами». К «демократам» мы относили тех, кто уповал на «народную самодеятельность», на «низовую, массовую демократию». В «либералах» у нас ходили те, кто иронизировал над возможностями «кухарок» участвовать в управлении государством, делал ставку на «элиту», на «избранных» и уже тогда вовсю «тусовался» с покрытыми легкой пленкой либерального лака широко мыслящими кремлевскими спичрайтерами и другими диссиденствующими из высоких кабинетов. «Новый мир» и был той территорией, где, гонимые властью, собирались и те, и другие, и, слегка переругиваясь друг с другом, обличали бюрократию, деспотизм, и — каждый на свой манер — вели просветительскую работу. Мы, разумеется, были «демократами» и были убеждены, что если, на обломках Забора, к власти придут «либералы», то ничего путного для общества не произойдет: просто один наднародный олигархический режим сменится другим — не столь, конечно, кровавым, но столь же не-демократичным. Это наше ощущение тех лет получило полное подтверждение в перестроечные и постперестроечные годы. Вот какой портрет современного либерала-свободолюбца прямо с натуры рисует демократ новомировского закала Юрий Буртин. Они, писал Буртин, «оказались падки на успех, на свет телевизионных юпитеров, на вдруг широко открывшиеся возможности печататься, давать интервью, ездить за границу — выступать там на всевозможных симпозиумах и круглых столах, читать лекции о перестройке в Гарварде и Сорбонне. Только и слышно было о наших “прорабах перестройки”: “он сейчас в Англии”, “она завтра прилетает из Швеции”, “на следующей неделе они все уезжают в Барселону”… В Барселону ездили много чаще, чем в Тулу или Кострому. А поездка за границу из страны всеобщего дефицита — это и возможность что-то купить, да и сотня долларов по нашей нищете — дело совсем не лишнее… Незаметно возникал стиль жизни, недоступный большинству, и тем самым происходило реальное отдаление от этого большинства… А затем к вкусу популярности для многих «новых людей» добавились вкус власти, маленькие удовольствия, до-



ставляемые высоким общественным положением: магическое действие удостоверения с почтенным титулом, украшающим фамилию, личный кабинет в Белом доме, мягкое сиденье персональной "Волги", исполнительность помощников и секретарш...». Да-да, примерно такой эволюции мы и ожидали от наших «либеральных» друзей по новомировским кругам. Но поскольку в далекие 60-е перспективы крушения Забора были туманны, то наше переругивание не обладало тогда особой злободневностью, и все мы были «шестидесятниками» (хотя и очень разными по своим базовым взглядам — что сегодня становится очевидным для всех и что, к удивлению многих, но не нас, чрезвычайно затрудняет давать общую, однозначную характеристику такого явления, как «шестидесятничество»).

Эти краткие полумемуарные заметки — не место, где имеет смысл подробно останавливаться на мировоззренческих различиях двух течений «шестидесятничества». Но чтобы передать современному читателю некое образное, эмоциональное ощущение различия этих двух типов отношения к миру и людям, приведу одну дневниковую запись другого новомировского автора (и нашего друга) Игоря Дедкова (по нашей классификации, бесспорного «демократа»), недавно, увы, ушедшего от нас:

«Вот с чем я столкнулся, что почувствовал, когда И.Т. вспоминал 60-е годы, — запишет Игорь в Дневнике 28 января 1988 года. — Ясное-ясное представление: он где-то поверху, я где-то внизу, он — о «Вопросах философии», о Капице, Лысенко, Кедрове; я — о чем? — о «Северной правде», о каком-нибудь Грише Илюшко, пьянице Комракове, о Леньке Воробьеве и так далее — жизни «разных сортов». Или (25 марта 1988 года): «Разговаривали за завтраком обо всем на свете. Н.Б. вспомнил, как С. Ф., выступая на круглом столе, сказал о 50 тысячах долларов, на которые он производит закупки оборудования. А присутствующая врач из райбольницы сказала: а у нас и 50 рублей нет, чтобы купить необходимое... Тот о тысячах долларов (не дают), а она — о пятидесяти рублях (не дают), и посреди разговора меня вдруг кольнуло, и здесь в роскошной этой столовой, среди сытых и чинных людей, я с горьким сожалением почувствовал правоту и недоступность, и упущенность конкретной жизни. В какую-то долю мгновения я увидел крыльцо темного от времени деревянного больничного строения, женщину, наскоро сметающую веником снег с валенок, услышал ее бодрый голос: «Ну, как тут мои больные?». Никогда я так не ощущал многоэтажности, многослойности жизни, как в эти дни. Отвлеченность живет за счет конкретности. Плавание в разных водах». Именно так: мы с ними — из одного водоема, но плаваем в **разных водах.**

Нам, шестидесятникам «демократической» ориентации, в «Новом мире» было особенно близко и дорого укореняемое Твардовским «народническое» или, употребляя недавно прозвучавшее удачное словцо Солженицына, **нравственническое** начало, характерное для «деревенской прозы» (Абрамов, Дорош, Тендряков, Можаев), произведений Семина, Владимова, Дудинцева: мы отдавали свои симпатии Василию Теркину, солженицынским Ивану Денисовичу и Матрене...

На литературно-критической и научной новомировской территории **нашими** были Михаил Лифшиц, Игорь Виноградов, Юрий Буртин, Игорь Дедков, Евгений Плимак, Александр Лебедев, Игорь Сац... Нам представлялось, что новомировцы либерального толка теснят наших единомышленников, и мы, молодые «демократы», молодые друзья «Нового мира» (может быть, несколько прямолинейно и наивно) видели свою задачу в том, чтобы по мере сил и возможностей способствовать превращению «Нового мира» в журнал последовательно «демократического» направления и ничего не имели бы против раскола с «либералами». Нам хотелось, чтобы в «Новом мире» не было ничего от либеральных тусовок самовлюбленных, обладающих титаническим самоуважением, празднословных столичных «интеллектуалов», «интеллектуальных пижонов» (ну, вроде нынешних завсегдатаев телевизионных пресс-клубов). Мы хотели, чтобы «Новый мир» был интеллектуальным и организационным центром «демократической», нацеленной на коренные социальные и политические преобразования **партией**. Мы хотели, чтобы «Новый мир» Твардовского был наследником некрасовского «Современника» и чтобы в нем были свои Чернышевские, Добролюбовы, Писаревы, Шелгуновы — короче, чтобы он был журналом современной революционной демократии (понимая «революционность» не столько как вооруженно-кровавую борьбу, сколько как процесс коренного изменения существующего общественного строя, слома диктатуры партийно-государственной бюрократии и установления действительного народовластия). Конечно. по молодости лет, по незначительности сделанного на тот момент, мы не были в самом центре новомировского «котла», где варилась стратегия журнала, и, естественно, мало на что могли серьезно влиять, но активности и инициативы нам было не занимать: будучи молодыми университетскими преподавателями, вовлекали студентов в околоновомировскую деятельность, выступали инициаторами проведения «подпольных» круглых столов (помню особенно содержательный разговор о задачах и перспективах «демократического» движения — при участии Роя Медведева, Игоря Виноградова, Лена Карпинского, Генриха Батищева, Юрия Буртина, Михаила Гефтера, Владимира Хороса и некоторых других, запротоколированный и изданный в самиздате Роем Медведевым с зашифрованными именами участников). Мы, где только могли, защищали «Новый мир» от ширящихся и ужесточающихся нападок открытых (из «Октября») и слегка закамуфлированных сталинистов. Моя резкая отповедь «октябристу» и «молодогвардейцу» Чалмаеву, выступившему с докладом на факультете журналистики МГУ и по-кагебистски назвавшему «Новый мир» органом «внутренней эмиграции» и «нравственного подполья», — стоила мне отказа в защите кандидатской диссертации и лишения работы. И таких, невидимых миру фактов сопротивления «новомировской партии» накату тоталитарной системы, были десятки и сотни — во многих городах и весях страны.

Помню свои горячие речи в кабинете Владимира Лакшина (талантливого, блестящего литератора, тогда самого влиятельного, после Твардовского, в журнале человека, который нашему ригористическому мышлению пред-

ставлялся не вполне твердым и не вполне последовательным демократом — так сказать, «мягкий искровец») — по поводу того, каким хотелось бы видеть журнал. А говорил я там примерно то, о чем вскоре написал в своей книге «От Чернышевского к Плеханову»[1]. Да, в книге речь шла как бы о «Современнике», но современный адрес был прозрачен — это советы «Новому миру», это продолжение моего разговора с Лакшиным. Вот один из таких пассажей:

«Между читателями и «Современником» установился тот живой, духовный контакт, когда люди понимают друг друга с полуслова, с полунамека. Образно говоря, читатели журнала чувствовали себя членами революционного союза (пусть организационно не оформленного), центральным комитетом которого был «Современник». Среди них бытовало даже такое название — Партия «Современника». Создание такой «партии», с силой которой не могла не считаться реакция и которую ввиду ее оригинальности невозможно было разогнать, создание такой партии — бессмертная заслуга Чернышевского и его ближайших сподвижников. Ибо, повторяю, журнал был не просто «любимым», не просто «популярным» у революционной молодежи, он был не просто «учителем и другом», он был именно руководителем и организатором лучших революционных сил общества… Ни до, ни после не было такого легального (!) журнала, который был бы не просто органом оппозиционных сил, но крайней левой в революционном движении, **главным штабом** революционных сил». И далее я рассуждаю о том, каков путь к созданию подобного типа журнала, «в чем состоит «секрет» превращения журнала (при данных обстоятельствах) в «главный штаб» и «центральный комитет»?».

И отвечаю — специально для Владимира Лакшина:

«Секрет этот заключался не в чем ином, как в **выработке научно и всесторонне обоснованной программы.**

«Современник» сделал глубокий анализ экономического быта России, дал всестороннюю оценку политического момента и, исходя из него, выработал программу действий, наметил пути борьбы и ее конечные цели.

Такую программу не может заменить (*и тут — внимание! — начинаются сыпаться стрелы в адрес наших тогдашних друзей-«либералов»*) никакая (даже блестящая!) критика частностей эксплуататорского строя, никакое (даже самое пылкое!) отрицание существующих общественных отношений, основанное на абстрактно-гуманистических идеалах и разлюбезном «здравом смысле» (мы уж не говорим о мелком обличительстве и булавочных уколах). Вообще программа, состоящая только из негативного материала, только из отрицания существующей действительности, такая программа для создания революционной партии не годится… История знает немало радикальных деятелей, которые прекрасно умели оперировать словом «долой»; это были настоящие виртуозы разрушительства (словесного, разумеется), хорошо отвечавшие на вопрос: «Как разрушать?». Но они совершенно терялись, когда

[1] Г. Водолазов. От Чернышевского к Плеханову. М., 1969.

их спрашивали: «Как строить?». И когда в редкие исторические моменты революционная волна поднимала их к власти, вчерашние радикалы становились жалкими мокрыми курами, которым любая политическая посредственность, но имеющая вполне определенный план действий, могла без труда открутить головы. Кто не знает, как строить, тому лучше не приниматься за разрушение. Так хоть какой-никакой, а домишко стоит; и худо-бедно, а живут в нем люди, какая-никакая, а все-таки крыша над головой, да и не так холодно, как на улице. А подожги его бестолковый человек — и сам будет мерзнуть на пепелище и других разорит; а тут еще найдется какой-нибудь предприимчивый деятель — да вместо дома построит что-нибудь вроде свинарника, да и поселит туда погорельцев, да за это еще с них три шкуры будет драть...»[1] (А что? Не предвидение ли это картины деятельности наших «либералов» в эпоху «перестройки» и «демократических реформ»?). И так далее, и так далее — все о том же и о том же — кто виноват и что делать? — и не в XIX веке, а здесь и сейчас.

Книга моя хорошо была понята и друзьями, и, конечно же, врагами. В «Вопросах литературы» появилась на нее рецензия-донос под выразительным заголовком «Далекие аналогии». Володя Лакшин (мы с ним стали потом и до конца его жизни были «на ты») возражал мне, что с моей «узкой» программой журнал был бы закрыт немедленно, а так — именно широта и некоторая размытость его идейной палитры позволяла ему держаться несколько лет. Я не соглашался, доказывая, что именно «интеллектуальное пижонство», дешевое фрондерство «либеральных» авторов журнала, их неопасные для Системы, но очень болезненные для отдельных сановников втыкания булавочек и шпилек в их мягкие места — именно эти штучки вызывали особое, **личное** раздражение представителей номенклатуры (ну, так же, как, например, современные «Куклы» на НТВ: этот совершенно неопасный для Системы, нередко бездарный и пошлый капустник — составляет предмет гордости «смельчаков» из НТВ и — одновременно — раздражения неумных чиновников, не понимающих, что это всего лишь дружеские шаржи их принципиальных телевизионных соратников).

Добрейший Марьямов (член новомировской редколлегии) передал мою книгу Твардовскому: а вдруг лягут ему на душу высказанные в ней идеи... Но было уже поздно. Александра Трифоновича выпроваживали из журнала, вертухаи заколачивали «дыру в заборе»...

Сразу же — заявление в новую редколлегию: прошу вернуть мои набранные, подготовленные к печати статьи, ибо я их писал в **другой** журнал. Шаг простой и естественный — так поступили многие авторы того, настоящего «Нового мира».

Написал «облитое горечью и злостью» большое эссе — «Оптимистический некролог» — попытка выяснить историческое значение «Нового мира»,

[1] Там же, с. 28–30.

раскрыть особенности новой общественной эпохи, сгущающегося социального мрака, наметить способы противостояния ему. Отвез домой Рою Медведеву (для передачи в самиздат и на Запад). Рой открыл все имеющиеся в квартире водопроводные краны — забурлила, запела вода, защищая нашу беседу от подслушивающих устройств. Рой указал на некоторые фактические неточности, посоветовал исправить и через пару дней привезти материал. А на следующий день ко мне, на Беговую, примчался взволнованный и взъерошенный Генрих Батищев (диссидентствующий, редкостно одаренный философ): «Вчера у Роя был обыск. Очень вероятно, что нагрянут и к нам с тобой. Почисть свои архивы и библиотеку!». В туалете жжем с братом компрометирующие материалы: костер чуть ли не до потолка. Звонок в дверь. КГБ? Неужто не успели?.. Нет, это — соседи: «Что там у вас горит? Все наши вентиляционные решетки окутаны дымом!». Конспираторы хреновы, нашли, где жечь литературу! Перешли на другой способ: рвем бумаги на мелкие куски — и в унитаз. Кое-что оставляем (жалко жечь!) и рассовываемым по знакомым, которым обыск не грозит. Но знакомые наши тоже не слишком благонадежные люди, и через некоторое время сами вынуждены уничтожать отданные на хранение рукописи. Среди них был и мой «Оптимистический некролог». И был он, увы, в единственном экземпляре (рукопись и копирки, в целях конспирации, были уничтожены сразу после перепечатки).

Сажусь за «Обращение» к писателям по случаю разгрома «Нового мира» (не помню уж, на что там они собрались — то ли на свой Съезд, то ли на Пленум). Даю почитать Лену Карпинскому. Лен одобряет и вставляет в текст несколько ярких, афористичных фраз: «Заставим этих «властителей дум» либо действовать, либо сгорать со стыда...». Множим на редком в те годы ксероксе — 50 экземпляров. И распространяем среди писательской братии. Какая-то (небольшая, впрочем) группа совершает демарш поддержки: требует обсуждения «Обращения». Но трусливое и ленивое большинство не намерено вступаться за погибающее демократическое издание.



А совсем недавно дочь Твардовского — Валентина Александровна — рассказала мне, как тронут был ее отец этим «Обращением» — так уже ради этого стоило его писать...

«Новый мир» был островом Свободы, затопленным в конце концов волнами тоталитарно-бюрократической ненависти. Но он какое-то время продержался, этот остров. И успел взрастить на своей почве семена Нравственничества и Демократии, семена, полетевшие по пространству нашего Отечества, семена, внедряющиеся в человеческие души и при благоприятных условиях прорастающие в них.

Камень для фундамента российской демократии, который новомировцы вкатывали в гору, снова сорвался почти к самому ее подножью. «Бессмысленный, сизифов труд!» — скажут одни. «Начнем все заново!» — отзовутся другие. Начнем заново — обогащенные и просветленные опытом интеллектуальной, нравственной и общественной деятельности демократов-шестидесятников, общей Родиной которых и был «Новый мир» Александра Твардовского.

...Завтра я наберу хорошо известный мне телефонный номер:

— Юра! Когда мы сядем за наш очередной «Монолог в форме диалога» — о проблемах формирования в России гражданского общества?».

— Приезжай немедленно! — ответит мне Юрий Буртин и, помолчав, добавит. — Нужен новый...

— «Новый мир». И нумеровать его будем,..

— начиная с того, последнего, номера,..

— который подписал...

— Твардовский.

— Еду!..

Суд над судьями

К началу 60-х огоньки надежд, зажженные XX съездом, постепенно угасали. Бюрократическая социально-политическая система сталинизма, получив в 1956 году небольшую пробоину, уверенно восстанавливала свое полновластие. Да, ее *чересчур* варварские методы репрессий (в особенности против партийной номенклатуры) были осуждены. Но, видите ли, «ошибки периода культа личности», как отметил «исторический» июньский Пленум ЦК 1956 года, не смогли изменить «природу» советского строя. И, посвоему, это была абсолютно правильная констатация, если, конечно, под «советским строем» понимать не демократически организованную власть народа (как о том лицемерно писалось во всех официальных документах), а — безраздельное господство бюрократии. Да, верно, «природа» бюрократической диктатуры, действительно, не изменилась.

Почему же попытки исторического суда над сталинизмом, предпринятые на XX и XXII съездах, окончились пшиком? Почему ни осуждения не получилось, ни тем более преодоления той, сталинской, системы не удалось? Более того, с середины 60-х годов об «ошибках» — и, тем более, о «преступлениях» — сталинщины и говорить-то стало не слишком уместно. А фигуру самого «вождя народов» начали подсвечивать довольно привлекательным светом. «Субъективистским», «запальчивым» оценкам второй половины 50-х годов противопоставляли «объективный», «взвешенный» анализ деятельности «генералиссимуса» и «генерального секретаря»: «Да, товарищи, были, были серьезные ошибки, но были и большие, несомненные достоинства, которые не следует замалчивать». И акцент все больше смещался в сторону этих «несомненных достоинств».

Как отнестись ко всему этому? В чем причины такого безрадостного хода событий? Существуют ли возможности организованного сопротивления или просто личностного противостояния этой системе? Вот вопросы, которые в тот период занимали умы людей, стремившихся к гуманному, демократическому (что в тех условиях означало — «демократически-социалистическому») строю.

Фильм (и изданный отдельной книжечкой текст сценария) Стэнли Крамера «Нюрнбергский процесс» появился как нельзя более кстати.

Нет, будущее германской нации и то, как она будет рассчитываться со своим прошлым, честно говоря, меня тогда не очень волновало. Они там сами, без нас, разберутся. А у нас своих проблем по горло. Тут для анализа важна была заманчивая схожесть нашей отечественной действительности с германской послевоенной ситуацией — предпринятые попытки осуждения и преодоления тоталитаризма и политической тирании. Анализ германской ситуации (что, конечно, допускалось сверхбдительной советской цензурой) позволял высказаться по поводу данной проблемы вообще, прозрачно намекая на ее схожесть с ситуацией в нашей стране, которая-то, главным образом, и волновала автора приводимой ниже статьи.

В общем, пишем о Германии, имея в виду Россию. Дело это, конечно, не простое. Подтекст не должен быть явным и прямым (иначе быть вашей статье перечеркнутой красным цензорским карандашом, и это еще в лучшем случае!); все-таки особенности германской ситуации в анализе не должны быть устранены напрочь, но и российская проблематика не должна раствориться в немецкой специфике.

Пусть же посмотрит современный читатель — как это мы пытались делать. Пусть оценит ситуацию разговора «с кляпом во рту».

Я давно не держал в руках этой давней своей статьи. И сегодня — сорок лет спустя после написания — читал ее, как работу *другого* человека, — таким, отстраненным, взглядом. Мне самому было любопытно посмотреть, как писали, как думали люди в ту — теперь уже далекую — пору. И мне показалось, что — хорошо думали и неплохо писали.

Во всяком случае, если бы ее автор — тот 25-летний молодой человек — разрешил мне, сегодняшнему, — я с удовольствием подписался бы под той статьей (ну, может быть, кое-где слегка подправив терминологию, сняв кое-какие цитаты и смягчив *безусловность* положительных оценок кое-каких деятелей; ну, может быть, я делал бы больший акцент на том позитивном опыте преодоления наследия преступной диктатуры, накопленным послевоенным поколением немцев, опыте, который не худо было бы перенять нам, россиянам). Я тем более согласился бы поставить сегодня свою подпись, что основная идея статьи — о неспособности одной формы номенклатуры осудить и преодолеть другую форму номенклатурного господства — целиком относится к сегодняшнему этапу — этапу смены номенклатурного «социализма» номенклатурной же «демократией». И сегодня, как и прежде, как во всех прошлых и будущих системах номенклатурного господства, идеологи бюрок-

ратии будут — явно или слегка завуалировано — обелять, или, как я выразился в той давней статье — «объективировать» — фигуру близкого им по духу «генерального секретаря», «вождя и учителя».

Ну, а теперь — к статье, написанной в середине уже далеких 60-х годов.

Суд над судьями
(О принципе личной ответственности)

Вряд ли сегодня смогу я уснуть.
Как мне быть справедливым?

Как мне быть справедливым? — над этим мучительно думает судья Хейвуд. Он, действительно, плохо спит, он, несмотря на протесты и защиты, и обвинения, возится с каждым свидетелем, выжимает из них все, что прямо и не прямо относится к делу, которое он разбирает. Он встречается с людьми и не участвующими в процессе, он долго беседует с ними, чтобы понять самую суть процесса, самую суть проблемы, которая поглощает его целиком — не только как судью, но и как простого человека. А проблема эта и в самом деле не простая.

Но, простите, я еще не сказал, кто такой этот судья Хейвуд и чем он занимается.

Дэн Хейвуд — герой киноповести «Суд над судьями» (Нюрнбергский процесс). Это американский судья. Ему поручено судить группу немецких судей, занимавших важные посты при гитлеровском режиме. Время действия — 1948 год.

Всего за два года перед этим здесь же, в Нюрнберге, шел «главный процесс» — над фашистскими главарями, и отсветы этого «большого» процесса, естественно, ложатся на один из «малых» нюрнбергских процессов, в котором и участвует судья Хейвуд.

К 1948 году «великий», «руководитель Германского рейха и вождь немецкого народа» Адольф Гитлер признан (так сказать, уже вполне официально) преступником. Признаны преступниками и его верные и «доблестные» соратники. Они признаны — не только международным судом, но преступниками их признал немецкий народ. А это, в конечном счете, может быть, самое главное: выстраданное мнение народа — неистребимо. Пусть иные современные политические деятели и историки еще пытаются как-то «объективировать» роль Гитлера и его подручных. Это может иметь успех лишь временный и относительный, ибо в сознании подавляющего большинства народа они — преступники.

Это же народное мнение заключает в себе и ту мысль, что то страшное, что творилось при Гитлере, творилось именно ***при*** Гитлере — при его непосредственном участии, но не им одним и не десятком-другим его ближайших «верных и доблестных» соратников. То «страшное» делалось многими; полицейские, судьи, государственные чиновники и т.д. — все они составляли ак-

тивное, движущее начало того, что теперь мы клеймим именем фашизма. Таково мнение народное.

Оно-то и заставило начать такие процессы, как «малый нюрнбергский».

Когда в 1946 году судили главарей, все было в общем-то предельно ясно. Они давали установки, руководящие указания, были инициаторами важнейших антинародных декретов и т.д. При разборе же дел нижестоящих чиновников («исполнителей») эта ясность вдруг начинает пропадать; и чем меньший пост занимал чиновник, тем меньше ясности в его деле, тем труднее вынести приговор. Как определить — ответственны ли они за то, что происходило в Германии, и если — да, то *как определить степень их ответственности*. Над этим на протяжении всей киноповести и бьется судья Хейвуд.

Сразу, забегая вперед, скажем, что в общем-то судья Хейвуд так и не решил этой проблемы. Правда, Хейвуд со своими помощниками приговорил подсудимых к пожизненному заключению, но того главного, что хотел он понять, — не понял.

«Хейвуд сидит в машине, которая едет к аэропорту, — пишет автор в конце киноповести, — он думает о Яннинге в его камере. О том, как тяжело ему должно быть сейчас. Он думает обо всех Яннингах, живущих в Германии. Обо всех фрау Бергхольт, об обаятельных, культурных людях. Как могли они принимать участие во всем этом? *Он знал, как это было, и в то же время не мог понять*. Он понимал это умом, но не был уверен, что понимает это до конца. И за всем этим стоял неминуемый вопрос: может ли все это случиться дома, в Америке? Это был, как принято говорить, вопрос вопросов. Хейвуд не знал. Он не мог ответить на этот вопрос. Не мог.

И вдруг он почувствовал всю тяжесть пережитого за последний год, все, что он видел, о чем слышал, сидя на судейской скамье. Люди, которых стерилизовали за их политические убеждения. Глумление над дружбой и верой. Убийства детей. Боже мой, думал он, с какой легкостью это может произойти. Хейвуд не знал, может это произойти в Америке или нет. Он не знал. Но он твердо знал, что это произошло. Произошло! И в этом и был, вероятно, окончательный ответ. Именно поэтому, наверно, Геббельсам, Гиммлерам и Ханнам всех времен удавалось достигать своей цели. Они это сделали. Это произошло».

А что касается «пожизненного заключения», то... Вот читайте последние строки киноповести, где приводится выдержка «из сообщения газетного агентства»: «К настоящему времени из 99 человек, приговоренных (на Нюрнбергских процессах) к тюремному заключению, ни один не отбывает больше наказание».

Почему же судье Хейвуду и его коллегам не удалось решить этой проблемы, *почему не пришло возмездие немецким судьям, ответственность которых за злодеяния гитлеровского периода инстинктивно осознавалась едва ли не всеми*?

Давайте посмотрим, какие же обвинения предъявлялись гитлеровскому «правосудию» вообще и вершившим его немецким судьям в частности.

Вот что говорит по этому поводу выступивший в суде в качестве свидетеля Карл Вик (виднейший юрист в догитлеровской Германии, бывший одно время даже министром юстиции).

В период, предшествовавшей захвату власти Гитлером, судья был полностью независим, — объясняет суду Вик. Во времена же гитлеризма «не стало объективного судопроизводства. Судьи были вынуждены выносить решение, руководствуясь формулой «необходимо в целях защиты государства». «Раньше целью судебного разбирательства было установление объективной истины по делу каждого из обвиняемых, а ныне (при Гитлере) судье вменено в обязанность в первую очередь карать действия, направленные против государства». «Было уничтожено право апеллировать к высшей инстанции. Имперский Верховный суд был ликвидирован и вместо него создан Народный суд и суд по особо важным делам». И, наконец, — «отправление правосудия зависело от указаний диктатора».

Разберем эти обвинения. При этом мы особенно внимательно будем следить за тем, есть ли у *одного* бюрократического режима — пусть более мягкого, пусть чуть более «гуманного» и «правового» (того, что получил название «буржуазной демократии») — есть ли у него достаточно оснований, чтобы безусловно осудить *другой* бюрократический режим (тоталитарную террористическую диктатуру во главе с обожествленным вождем). Есть ли, иначе говоря, у до-гитлеровских или после-гитлеровских режимов политические, юридические и моральные основания осудить режим гитлеризма? (*Замечание 2006 года. В те времена, когда писалась эта статья, (а это был переход от хрущевского режима к брежневскому) для меня было важно разобрать: в состоянии ли «хрущевский (а тем более брежневский) режим» по-настоящему осудить режим «сталинский» — и в плане юридическом, и в плане моральном. И я все больше склонялся к тому, что — не в состоянии, что смягченно-бюрократический режим Хрущева способен осудить лишь некоторые* ***крайности*** *сталинской диктатуры, не более того; что он способен осудить лишь наиболее одиозных деятелей прошлого, вроде Сталина, Берии и их самого ближайшего окружения. Но осудить* ***систему****, предъявить счет* <u>*всему*</u> *бюрократическому аппарату, составляющему ее стержень, предъявить счет всем ревностным и послушным исполнителям предписаний вождей тоталитарного режима — хрущевская система была не в состоянии. Ибо хрущевский авторитаризм был ближайшим родственником сталинско-бериевского тоталитаризма, и основная масса бюрократии легко переправлялась с кровавого сталинского берега на несколько более гуманный — хрущевский. Мне хотелось сказать об этом, мне хотелось отнять у бюрократии — у* ***всех*** *членов бюрократического сословия, перекочевавших со сталинского берега на хрущевский, — возможность чувствовать себя* ***неответственными*** *за сталинщину, за свою деятельность в ее эпоху. Мне хотелось разрушить их аргументацию своей «непричастности» к действиям террористической сталинской диктатуры: мы-де «маленькие люди, о многом не знавшие», «мы — не инициаторы, мы лишь исполнители», «мы были как все, и если осуждать, то*

осуждать надо всех — все «поддерживали», все «голосовали», все «одобряли», чего же нас-то выделять в какой-то отряд «особо виновных»; а сейчас мы «осудили прежние репрессии», и «хватит копаться в прошлом, давайте смотреть в будущее». Вот и хотелось показать, что, если в сознании народа укоренится подобная логика, то у него не будет достойного будущего. Нужно осуждение не только отдельных преступлений отдельных политических персонажей, но — самой сути бюрократической, т.е. не-народной и даже прямо анти-народной ***системы****. Так что под употребляемым в статье термином «буржуазная демократия» я подразумевал* ***бюрократический режим*** *(западного или советского типа), а под «режимом гитлеризма» — тоталитарный режим вообще. Все эти подтексты и аллюзии, легко ухватывавшиеся читателем того времени, следует иметь в виду, читая эту статью сегодня).*

Итак, разберем аргументацию «буржуазного демократа» Вика.

Вначале — об объективном судопроизводстве и установлении объективной истины.

Не припомните ли вы, Вик, демонстраций и забастовок рабочих «в период, предшествовавший захвату власти Гитлером?» Не припомните ли вы также, как относилось «объективное» правосудие к организаторам этих демонстраций и этих забастовок? Я напомню вам, Вик. Оно расстреливало мирных демонстрантов и отправляло в тюрьмы протестующих. Я готов с вами согласиться, что в тюрьмы отправлялись люди, ***действительно*** имевшие отношение к упомянутым событиям. Это тщательно и «объективно» устанавливал ваш суд — и этим он действительно отличался от суда гитлеровцев, для которых достаточно было просто доноса какого-либо осведомителя, — неважно, соответствует он действительности или нет. Это все так. Но разве положение, гласящее, что «борьба рабочих против капиталистов и буржуазного государства — преступление», — разве это объективная истина?

Нет, это не объективная, а классовая «истина». Это — «буржуазная», т.е. антинародная истина, Вик. И потому ***принципиально*** она ничем не отличается от «истины» гитлеровского «правосудия».

Вы говорите также, что «судья был полностью независим». Так ли это, Вик? Да, он не был зависим от телефонного звонка какого-нибудь высокопоставленного чиновника, требующего так, а не иначе решить дело (как было при Гитлере). Это верно. Но он был зависим от государства и государственного аппарата в целом (а это было «буржуазное государство» и это был ***бюрократический*** аппарат, Вик), он был зависим от класса эксплуататоров в целом, от его интересов, закрепленных в вашем, Вик, кодексе. Просто при гитлеризме на место косвенной, скрытой зависимости пришла зависимость открытая, явная, грубая. Поэтому вы не правы, Вик: судья ***был*** зависим и зависим от сил, враждебных народу.

Далее. Вы считаете, что апелляция к каким-то там высоким инстанциям — есть чуть ли не синоним правосудия и объективной истины (к высоким инстанциям, задача которых держать народ в узде и охранять господствующий класс, его прибыли и привилегии!). А я скажу, что вы, Вик, вместе с ва-

шими кодексами и законами, разрешаете обращаться к высшей инстанции, к Имперскому верховному суду, так как знаете, что это — ***бюрократическая*** инстанция и что она — инструмент борьбы ***вашего*** господствующего класса. Но вы — запрещаете апеллировать к еще более высокой инстанции — к инстанции классовой борьбы, к той единственной инстанции, которая может дать свободу народу, покончить с узкоклассовыми «истинами» и провозгласить общенародные, т.е. действительно объективные истины. И какая принципиальная разница, что у вас, Вик, на две-три инстанции было больше, чем у гитлеровцев, раз «правосудие» у вас и у них — ***антинародное***?

Поэтому вы и не правы, говоря: «не стало объективного судопроизводства». Не правы потому, что его и не было.

И последнее, Вик. Ваше обвинение: при гитлеровцах вместо твердой законности была введена порождавшая широкий произвол формула «необходимо в целях защиты государства». Но ведь мы с вами уже выяснили, что ваша «твердая законность» по отношению к народу — тот же произвол (пусть менее «широкий», но дело не в степени!). Все ваши кодексы — это кодексы защиты бюрократического государства, а также привилегий и собственности господствующего меньшинства, защиты, осуществлявшейся при содействии полиции, армии, госаппарата. Поэтому ваши кодексы ничем по существу не отличаются от формулы «необходимо в целях защиты государства», только они имели не столь грубую, не столь циничную форму.

Таким образом, всё ваше обвинение, Вик, сводится, в основном, к тому, что было изменено не существо дела (которое заключается в антинародности и гитлеровского, и до-гитлеровского «правосудия»), а лишь форма: на место формальной демократии, длинных «объективных» процессов (с апелляциями и пр.) пришло усечение этих формальностей до минимума. (Конечно, это изменение «форм» немаловажно. И подлинно народные партии постоянно подчеркивают это — говоря об отличии буржуазной демократии от фашизма. Но при этом они не забывают, что это — лишь разница *форм*, а не существа дела.)

А поскольку Вы, Вик, пошли по критике формы (ошибочно полагая, что критикуете сущность), то, естественно, защитник немецких судей, проницательный и ловкий Рольфе, легко кладет Вас на обе лопатки:

— Доктор Вик, — говорит Рольфе, — Вы употребили выражение «необходимо в целях защиты государства». Не можете ли вы объяснить трибуналу, в каких условиях находилась Германия в тот период, когда к власти пришли национал-социалисты. Не подтвердите ли вы, что в стране царил голод?

— Да, — помолчав, отвечает Вик.

— Не подтвердите ли вы, что внутренние связи между землями, составляющими германское государство, были нарушены?

— Да.

— Не подтвердите ли вы, что существовала Германская коммунистическая партия?

— Да.

— И что национал-социализм кое в чем помог выправить это положение?

— Да...

Рольфе помогает Вику понять самого себя. Вот что стоит за его вопросами: «Раз мы сходимся в самом существе дела, то будьте же, Вик, последовательны и перестаньте малодушничать. В условиях голода, разорения страны, при наличии крепких оппозиционных сил и проч. — разве можно было в таких условиях допустить все эти формальные процедуры, которые затягивают процессы и отвлекают внимание от главного». И Рольфе убедительно показывает, что сохранение антинародного режима (сторонником которого, объективно, является и Вик) было невозможно иными методами.

И четыре «да» Вика в ответ на ясно поставленные вопросы — не что иное, как капитуляция.

Так провалилось обвинение, выдвинутое Виком против гитлеровского судопроизводства; столь же просто и быстро опрокинул Рольфе и его обвинения против конкретных лиц и чиновников, вершителей «правосудия».

— Доктор Вик, вы убеждены в истинности обвинений, выдвинутых против Эрнста Яннинга (*министра юстиции в эпоху гитлеровского правления)*?

— Да, убежден.

— Можете ли вы, положа руку на сердце, сказать, что считаете его ответственным за инкриминируемые ему преступления?

— Да могу, — произносит наконец Вик. В голосе его — убежденность.

В чем же, по мнению Вика (этого буржуазного «демократа»), виновен Эрнст Яннинг, (человек, который, хотя и был министром юстиции при Гитлере, но, судя по сценарию, не совершал каких-то зверских расправ, а, насколько мог, сохранял свое достоинство юриста, был не в ладах с Гитлером и даже в 1942 году ушел в отставку, когда Гитлер высказал резкое недовольство им)? Кстати, из четырех подсудимых в киноповести мы выделяем Яннинга. По отношению к нему наша проблема имеет наиболее ясный вид. Остальных можно судить не как судей, а просто как уголовников: один — украл, другой — пытал, бил и т.д. И судья Хейвуд думает большей частью над Яннингом, ибо проблема — в нем.

Итак, Яннинг обвиняется Виком в том, что он был министром юстиции с 1935 по 1942 год, гитлеровским министром юстиции, носил на мантии свастику и способствовал своей деятельностью укреплению нацистского режима.

— Вы носили на своей мантии это изображение (свастику)? — спрашивают у Вика в суде.

— Нет, — отвечает доктор Вик. — Я счел бы это позором для себя.

— И вы предпочли в 1935 году лучше уйти в отставку, чем носить фашистскую свастику?

— Да.

— Носил ли свастику на своей мантии Яннинг?

— Да.

(А Вик утверждает, в ответ на другой вопрос, что судья, который носил свастику, не мог в то же время «работать во имя того, что он считал благом для своей родины».)

Итак, Карл Вик, в отличие от Яннинга не носил свастику, ушел в отставку, чтобы не нести ответственности за преступления нацистского режима, он не помогал фашистам. И потому он так решительно говорит об ответственности Яннинга, и потому-то «в голосе его — убежденность».

Но посмотрите как быстро, под вопросами проницательного Рольфе, испаряется она.

« — А себя вы считаете свободным от ответственности? — спрашивает Рольфе.

— Да, считаю — отвечает Вик.

— Принимали ли вы в 1934 году присягу в лояльности как государственный служащий?

— Ее принимали все.

— Нас не интересуют все».

Рольфе доводит до сведения суда текст присяги, в которой говорится: «Клянусь, что я во всем буду повиноваться руководителю Германского рейха и вождю немецкого народа Адольфу Гитлеру; что я буду верен ему.. и т.д».

«Глаза всех присутствующих в зале устремлены на доктора Вика. После долгого молчания он произносит, как бы ***оправдываясь***:

— Присягу принимали все. В принудительном порядке».

Но ведь Яннинг многое делал тоже «в принудительном порядке». Почему же он — ответственен, а вы — нет? Где же ваша логика, Вик? — вот, по существу, о чем говорит Рольфе. «Яннинг — в большей, а вы, Вик, и такие, как вы, — в меньшей степени, но все способствовали укреплению фашистского режима. Вот почему, ***слушая Вика***, Рольфе имел полное право сказать судье: «Привлекая к суду Эрнста Яннинга, возглавляемый вами трибунал привлекает тем самым к суду весь немецкий народ».

После всех этих точных и метких ударов Рольфе «Вик смотрит на Хейвуда, словно пытаясь произнести что-то в свое оправдание. ***Но сказать ему нечего***, теперь он это знает. Он беспомощно оглядывается.

— Свидетель свободен, — произносит Хейвуд.

Еще несколько секунд Вик неподвижно сидит на свидетельском месте, потом встает и медленно идет к выходу. Гораздо медленнее, чем шел сюда. Шел как человек с незапятнанной репутацией, убедивший себя в том, что не имеет никакого касательства к событиям с 1933 по 1945 год. Теперь он идет, сознавая, что на репутации его, на совести его — позорное пятно. И самое страшное то, что забыть об этом ему теперь никогда не удастся».

Да, ему не удастся забыть истину, которую открыл ему Рольфе. Потому что она — истина. Яннинг — в большей, а он, Вик, в меньшей степени, но оба — ответственны за то, что произошло в Германии. Мерка демократа Вика оказалась недостаточной для действительного суда над Яннингом.

С тех же (или почти с тех же) позиций, что и Вик, обвиняет Яннинга прокурор Лоусон, с тех же (или почти с тех же) позиций судит Хейвуд. Короче: «буржуазная демократия» судит фашизм — именно об этом рассказывает киноповесть. А также — о том, что эта самая «буржуазная демократия» не

в состоянии вынести такой исторический приговор фашизму, какого он по-настоящему заслуживает. (*Подобно тому, как хрущевская — а уж тем более брежневская — «демократия» оказалась недостаточной для действительного осуждения сталинского тоталитаризма — Г.В., 2006 г.).*

«Буржуазная демократия» может судить не фашизм, а лишь его ***крайности***. «Буржуазная демократия» может вынести смертный приговор прямым убийцам людей, тем, кто давал руководящие инструкции, тем, кто «на местах» истязал «инакомыслящих» и т.п. Но судить фашистских чиновников, фашистских бюрократов, которые ***непосредственно*** в зверствах не участвовали, «буржуазная демократия» не может, ибо это значит судить те принципы, на которых держится сама «буржуазная демократия», это значит судить себя.

Госаппарат «буржуазной демократии» — это аппарат бюрократический (т.е. не подотчетный, не подконтрольный народу), это антинародный аппарат. И механизм его работы — в основном тот же, что и у фашистского аппарата. И это, между прочим, прекрасно понимает Рольфе. «Я буду настаивать на точном и беспристрастном установлении меры ответственности, — говорит он своему подзащитному Яннингу. — Игра будет вестись в соответствии с ***их собственными правилами***. Посмотрим, хватит ли у них смелости вынести приговор такому человеку, как Вы». А «их правила» — это не **личная ответственность перед народом**, а ответственность лишь перед теми или иными бюрократами. Это — **бюрократическая ответственность**.

И с точки зрения «их правил», с точки зрения этой, бюрократической, ответственности Рольфе совершенно прав, заявляя:

— Если Эрнст Яннинг будет сочтен виновным, неизбежно возникнет вопрос о причастности к делу и многих иных.

Он на миг останавливается. Голос его становится резок:

— Ибо Эрнст Яннинг, как и любые другие судьи, не устанавливал законов. Он проводил в жизнь законы своей страны. «Права она или нет, но это моя страна». Эта формулировка принадлежит видному американскому патриоту. (*Получайте, судья Хейвуд, свою долю!*). В чем была обязанность Эрнста Яннинга (*по нашим с вами, антинародным, бюрократическим «правилам»*): исполнять законы своей страны или отказаться исполнять их и тем самым стать предателем (*наших с вами бюрократических принципов*)? Такова самая суть вопроса, лежащая в основе ***этого*** процесса».

Опять, — верно и точно! Согласны вы, судьи, признать наши с вами антинародные принципы управления преступными — тогда судите Яннинга (и «многих других»). А раз вы, я знаю, не согласны, то не лучше ли прекратить нам этот пустой разговор.

Надо сказать, что объективно и суд, и прокурор ***принимают*** такую постановку вопроса. Они судят Яннинга и прочих не как представителей бюрократической системы, а как лиц, виновных в конкретных фактах произвола. Не будь дела еврея Фельденштейна, к которому имел отношение Яннинг, — не знаю, как выпутывался бы суд. Обвинение стало напирать на частности. Постановка вопроса Оскаром Рольфе действительно смутила его.

Подлинного и последовательного представителя народа, то есть действительного демократа, господин Рольфе смутить не сможет. Да, Яннинг виновен,—ответит этот представитель, да, виновны и многие другие. Виновен весь бюрократический аппарат в целом и каждый его чиновник (правда, степень этой вины и ответственности у каждого—своя, но об этом ниже).

Итак, первое, что признает действительно народный и действительно демократический суд—это преступность бюрократической системы и государственного аппарата в целом (и лишь потом перейдет к обсуждению вопроса о личной ответственности чиновников). А признав это, народный суд приговорит его, «аппарат в целом», к смертной казни, т.е. разобьет и уничтожит его. Нетрудно установить, что таким судом может лишь действительно (а не на словах) демократическая революция.

Вот почему тот, кто хочет по-настоящему решить этот «коварный» вопрос об ответственности Яннингов, должен перевести его в другую плоскость: не «как быть с Яннингами при нынешнем режиме?», а «как быть с нынешним режимом, при котором Яннинги остаются безнаказанными?». «Как уничтожить этот режим?»—вот начало решения проблемы личной ответственности.

Сломав буржуазно-бюрократическую машину, народная, демократическая революция тем самым ***разом*** накажет ***всех*** служителей той машины: они потеряют власть, привилегии и антинародные источники дохода.

И это—главное. Но революция не ограничится этим «общим» судом. Она последовательно проведет и групповые, и персональные дела. Она постарается наказать *всех*, кто участвовал в становлении, укреплении и развитии антинародного режима; и не потому, что они представляют какую-то особенную опасность для нее (мы опускаем случай, когда эти люди становятся в ряды вооруженной контрреволюции; это случай ясный). Дело не в их *личной* опасности, а в опасности ***идеологической***. Уже первые шаги победившей реальной демократии должны будут на деле доказать народный характер революции, доказать, что высшей и решающей инстанцией является народ и что преступление против народа, деятельность против народа не прощаются.

Есть преступление—есть наказание. Ты убил человека—отвечай. Ты способствовал убийству—отвечай. Ты способствовал созданию условий, в которых беспрепятственно могло совершаться убийство—отвечай.

—Это юридически неправильно,—возразит представитель «буржуазной демократии»,—ибо чиновник, которого вы собираетесь судить, жил при других условиях, при существовании иных законов. Это надо учитывать.

Это будет учтено. Но все же заметим нашему оппоненту, что то будет не юридическое крючкотворство и не какая-то «охота за ведьмами», это не будет некой «кампанией», в ходе которой хватают людей направо и налево и, не слишком разбираясь в характере и степени их персональной ответственности и вины, что называется, «скопом» выносят приговор.

Мы не говорим о формальной стороне дела, о том, как будет все происходить: будут ли это суды присяжных или рабочие собрания, или еще что—

решит жизнь, это — дело творчества масс. Мы говорим о сути: народном, демократическом суде, который будет спрашивать с человека по существу, а не с той точки зрения, нарушил или не нарушил «обвиняемый» тот или иной параграф присущих прежней системе бюрократических установок. Народ не оправдает тех, кто творит произвол, видите ли, не по доброй воле, а по приказу сверху. Пусть ищут другие, «смягчающие вину обстоятельства». Человека нельзя *заставить* убить другого человека, нельзя *заставить* вынести жестокий, несправедливый приговор, — какие бы грозные приказы ему не отдавались.

Нам могут возразить: «Не слишком ли много уделяете вы внимания госаппарату и его чиновникам. Если вы для решения проблемы личной ответственности берете за основу классовый подход, то, видимо, в центре вашего внимания должны быть капиталисты и предприниматели, а не вторые лица — содержащиеся на их подачках представители государственной власти».

Это возражение не учитывает специфики фашистского государства, — ответим мы. Фашистский госаппарат не был на побегушках у предпринимателей. Он был не слугой их, а их коллективным компаньоном. Он был коллективным эксплуататором народных масс (и, может быть, самым бесчеловечным эксплуататором). Многие национализированные отрасли промышленности принадлежали, по существу, не государству, не обществу, а — гитлеровской бюрократии. Она распоряжалась ими как своей частной собственностью, она через самые разнообразные каналы получала главные доходы от этих отраслей. Фашистское чиновничество обогащалось за счет налогов с населения. В погоне за максимальной прибылью оно покрыло страну концлагерями, где господствовал, по сути дела, бесплатный труд. А для того, чтобы удерживать государство в своей частной собственности, гитлеровская бюрократия нуждалась в громадном штате полиции, в огромной численности армии. Деньги на это, которые выкачивались с народа, также можно смело записать в статью эксплуататорского дохода гос.чиновников, ибо это была ***их*** полиция, ибо это была ***их*** армия.

Еще раз: фашистский государственный аппарат — это не что иное, как капиталистическое акционерное общество и чиновники — его пайщики. Заметим, что слом бюрократической государственной машины вовсе не напоминает слом какого-нибудь сарая — шарахнул пару раз ломом и готово. ***Слом государственной машины — это процесс, ибо это не что иное, как строительство новой государственной машины***. Недостаточно отменить высокие оклады, недостаточно «рассекретить» государственную деятельность, недостаточно поставить работу госаппарата под всенародный контроль. Надо ***изменить взгляд*** на государственную работу, воспитать новые кадры работников управления, для которых демократический характер руководства стал бы привычкой. Т.е. нужна система экономических и политических мероприятий, которые постепенно сделали бы госаппарат действительно демократичным, действительно народным. А это, повторяем, процесс. И процесс (даже при абсолютно правильной и абсолютно безошибочной политике) не

скорый. Ибо идеология бюрократизма преодолевается нелегко. Она — в головах и в действии целой армии ***мелких чиновников***, которые народному, демократическому государству достаются по наследству от старого режима. Их нельзя (да и не нужно) экспроприировать, их надо перевоспитать — и в первую очередь привить им чувство личной ***ответственности*** перед народом. Не перед «начальством» только, не перед инструкциями только (это у них привито!), но перед всем обществом. И первым шагом на этом пути должно быть решительное и полное разоблачение той реакционной роли мелкого чиновничества в период фашистского правления. Слой мелкой буржуазии и мелкого чиновничества составлял (численно) главную силу фашизма.

Такое разоблачение в особенности важно потому, что этот мелкий чиновник переходит в новое общество подобно Карлу Вику, с уверенностью, что он не несет никакой ответственности за происшедшее, он не чувствует за собой никакой вины; да и общество в целом, зараженное буржуазно-бюрократической идеологией, не склонно обвинять его: что, дескать, спросишь с него, он «маленький человек».

А пока все это по-настоящему не осознано ни самим чиновничеством, ни обществом, строительство нового государственного аппарата ***невозможно***.

Необходимость подобного осознания ясно ощущается автором киноповести. Вот какой монолог вкладывает он в уста Эрнста Яннинга: «Сказать правду нелегко. Но если и существует в чем-либо спасение для Германии, то оно в том, чтобы ***каждый из нас***, кто осознает свою вину, признал это, какой бы боли и унижения это ему не стоило».

Яннинг, разумеется, не революционер, и проблема в целом ему не ясна. Но какую-то часть проблемы он понимает и понимает верно. Для нас это тем более интересно как важный аргумент, важный довод в деле перевоспитания масс мелкого чиновничества. Такие речи иногда лучше действуют на них, ибо исходят от людей, которых они привыкли слушаться, которым они привыкли повиноваться. Упускать такое обстоятельство нам не следует. Пусть Яннинги помогают нам открыть глаза мелким чиновникам на происходившее (где надо — мы их поправим).

Вот что говорил Яннинг:

«Страну лихорадило. Это была лихорадка бесчестья, отчаяния, голода. Да, у нас была демократия, но ее разрывали изнутри. И самое главное, был страх. Страх перед сегодняшним днем, страх перед завтрашним днем, страх перед соседями, страх перед самим собой.

Только поняв это, вы поймете, как мы приняли Гитлера. Ведь он сказал нам: “Выше головы! Будьте горды тем, что вы немцы! Среди нас есть дьяволы: коммунисты, либералы, евреи, цыгане. Покончив с дьяволами, мы тем самым покончим и со всеми вашими бедами!” Старая-престарая история о жертвенном агнце.

Что же сказать о тех из нас, кто лучше других понимал, что все это означает? Обо мне и многих других, кто знал, что в словах его ложь и кое-что похуже лжи? Почему мы молчали? Почему мы присоединились к нему?»

Внимание! Яннинг приступает к объяснению одного из важнейших психологических переломов:

«Нам показалось, что не случится ничего особенного, если кучка политических экстремистов утратит свои права. Какая разница, думали мы, если утратят свои права представители национальных меньшинств? Это всего лишь проходная фаза. Это всего лишь этап, который скоро кончится. Со всем этим рано иди поздно будет покончено. С самим Гитлером рано пли поздно будет покончено. А ведь страна в опасности. “Мы выйдем из мрака. Мы пробьемся вперед”, — так, кажется, они пели».

И германская машина с фюрером за рулем «пробивалась вперед». Когда она заезжала вдруг в грязь и начинала буксовать, Яннинги вместо сучьев и досок бросали ей (скорей, скорей, вперед из мрака!)... людей. По тысячам, десяткам тысяч трупов можно и сейчас легко найти ту дорогу, по которой гитлеровская машина ехала «к свету». Но тогда Яннинги очень спешили «из мрака», им некогда было оглядываться.

«А затем в один прекрасный день мы оглянулись и увидели, что над нами нависла во много раз более ужасная опасность. Ритуальные церемонии, начавшиеся здесь, в этом судебном зале, как опустошающий шторм, пронеслись над всей Германией, обессилили ее народ, сковали его. То, что, казалось, должно было быть проходной фазой, превратилось в ***образ жизни***».

И если пока Яннинги спешили вырваться сами и вывести страну «из мрака», они не осознавали, что происходило вокруг, то теперь, когда они «оглянулись» и что-то «поняли» — было поздно. Нет, отойти в сторону было не поздно, поздно было бороться с этим. Конечно, и «отойти в сторону» — не бог весть какое геройство. Но Яннинги и отойти струсили; и в конечном счете именно по трусости они стали уже ***сознательными*** сообщниками преступников, — и с этого момента начинается их главная вина, т.е. такая, которую должно судить уже не просто судом общественного мнения, а судебным трибуналом.

Яннинги прекрасно ***сознавали***, что творят — произвол.

«Я принял решение по делу Фельденштейна еще до того как вышел в судебный зал. Независимо от улик и доказательств я должен был признать его виновным. Это, по существу, был не суд. Это был жертвенный ритуал, в котором Фельденштейн, еврей, был всего лишь беспомощной жертвой».

Деятельность Яннингов объяснялась не только трусостью перед Гитлером и гитлеровцами, но, в не меньшей степени, и трусостью перед народом. (В качестве буржуазных демократов, они так же, как и фашисты, всегда представляли силу, враждебную народу; кроме того, на их руках уже была кровь преступлений — пусть даже поначалу «неумышленных» — и за эту кровь, они знали, народ потребует ответа). Вот причины их ***сознательного***, (а не слепого) подчинения фашизму. Они делали вид, что не знают о крайностях фашизма. Но они ***знали*** о них.

« — Мой адвокат пытается заставить вас поверить, что мы не знали о существовании концентрационных лагерей!

И он почти выкрикивает с болью и мукой:

—Не знали?! Где же мы были в то время?!

Теперь он словно обращается ко всем немцам, сидящим в зале.

—Где были мы, когда Гитлер начал изливать потоки ненависти в своих речах в рейхстаге? Где были мы, когда на каждой железнодорожной станции, на каждом разъезде в Германии стояли вагоны для скота, набитые детьми, которых увозили один бог знает куда? Где были мы, когда они среди ночи плакали и взывали к нам? Мы были глухи? Немы? Слепы?

—Он (адвокат) хочет уверить вас, что мы не знали об уничтожении миллионов. Он пытается найти оправдание в том, что мы знали только об уничтожении сотен. А разве это хоть в какой-то степени уменьшает нашу вину? Быть может, мы и не знали подробностей. Но если это и так, то мы их не знали только потому, что не хотели знать».

И еще раз: «Если и существует в чем-либо спасение для Германии, то оно в том, чтобы каждый из нас, кто осознает свою вину, признал это, какой бы боли и унижения это ему не стоило». А тем, кто не осознает свою вину,— добавим мы,—демократически организованный народ должен «помочь» сделать это.

Яннингу, если угодно, ***легче***, ***проще*** осознать свою вину—он был министром юстиции. А чиновник поменьше—тот, извините, нет. Он тут «ни при чем». Он «маленький человек», не им это начато, не от него все это зависит. Так думает сам этот «маленький чиновник», так внушает и ему, и всем людям «общественное мнение» буржуазной демократии—потому, что «буржуазной демократии» нужны именно так думающие чиновники, «буржуазной демократии» нужна эта идеология бюрократизма.

А демократически организованный народ подойдет к этому чиновнику иначе. Он спросит с него не по мерке бюрократической, а по мерке личной ответственности. И тогда не будут приняты во внимание ни «приказы его начальства», ни любые другие «внешние обстоятельства». У тебя были связаны руки, ноги? У тебя был зажат полотенцем рот? Нет? Почему же ты промолчал, почему не пришел на помощь, почему ты хотя бы не покинул эту банду, терроризировавшую людей? Ага, ты боялся, что после того, как ты один раз «не промолчишь», ты уже больше не сможешь «говорить вообще». Почему? Потому что ты это видел на примере Отто, Ганса, так, что ли? А знаешь ли, почему ты видел эти примеры? Потому что промолчали вокруг Отто и Ганса такие, как ты. При содействии, да-да содействии таких, как ты, замолчали навсегда и Отто, и Ганс. И ты несешь за это ***личную*** ответственность. Конечно, не только ты. Глупо было бы спрашивать с тебя одного. Ты не генерал, не министр, ты, как принято среди дураков говорить, «маленький человек». Ну ладно. Пусть маленький. Так и неси ответственность согласно своей величине. Пусть—маленькую ответственность, но знай—ты ***соучастник***, и ты должен быть судим—и собой, и другими. Она—маленькая, эта ответственность. Да, она маленькая по сравнению с другими. Но для тебя она не маленькая, для тебя она самая огромная, ибо охватывает тебя целиком,

для тебя она — такая же огромная, как и всякая «немаленькая ответственность» — для других.

Ты должен понести наказание. Нет, не в тюрьме, не за решеткой, — это для других, огромная доля вины которых не сравнима с твоей; ты должен нести наказание в своем сердце и своей душе. И об этом (чтобы ты его чувствовал) позаботится общественное мнение народа. Оно покажет, на чем строилось твое благополучие, оно покажет, что твой уют держится разорением соседа, которого среди ночи увезли в Дахау, его кровью, его жизнью; оно покажет, что твои чистенькие, здоровые дети украли здоровье и детство у детей твоего соседа; что твоя цветущая, радостная, такая молодая жена похитила радость у жены соседа.

Впрочем, все это тебе не «покажут», а скорее напомнят. Ведь ты и сам знаешь это, но стараешься не думать об этом, стараешься убедить себя, окружающих, свою семью, что ***твое*** добыто ***твоим*** трудом, ***твоим*** старанием; ***твое*** счастье выковано ***тобой*** и не имеет никакой связи с несчастьем соседа. Сосед просто «не умеет жить», ему просто «не надо было болтать лишнее», ему просто «не надо было лезть, куда его не просят». А потому пусть пеняет на себя. Я тут не при чем.

И ты ни при чем. Ты ни при чем, когда увозят ночью соседа, когда его где-то там хлещут плетью через всю спину до кровавых ремней, ты «ни при чем». И когда приходит новое время, когда на улице появляется солнце и тают снега, когда сосед возвращается «оттуда» стариком — с разбитым сердцем и отбитыми почками, и когда призывают к ответу тех, кто приезжал за ним ночью, кто бил его наотмашь и хлестал через всю спину до кровавых ремней, ты и тут «ни при чем». Они тащили, они били, они виноваты. Казните их, наказывайте. Ты «ни при чем». Ты по-прежнему моложав, и юна твоя жена, и учены дети, и здоровы внуки, у тебя уже не одна комната и даже не одна квартира, у каждого сына — своя; и ты им внушаешь: вы, дети, — ни при чем. Были бандиты, были изверги, они мучили людей, они высекали на спинах кровавые ремни. Их судят, их осудят. Вы, мы — ни при чем. Мы можем резвиться в сосновом бору и подставлять свои бронзовые плечи солнцу.

А рядом, через дорогу, — ваш сосед; он не раздевается, он не подставляет плечи солнцу, он не хочет пугать детей своими шрамами.

А рядом, через дорогу, — ваш сосед. Его выносят в креслице «на воздух», и он судорожно глотает его. Сила его легких досталась вам.

Вы не изверг, не бандит, вас огорчает вид соседа, вас трогают болезни его еще молодой годами жены. Но вы посмотрели, вздохнули — и снова пошли в свой мир, где солнце, где бронзовые плечи, где все еще молодая и цветущая жена и где такие славные внучата. Вы огорчились только на мгновение, — вас ведь это не касается, вы ведь «ни при чем». И не только вы так думаете. Вас успокаивает «общественное мнение», радио, печать своей теперь уже не фашистской, а «демократической» страны. Всюду слышны проклятья в адрес палачей недавнего прошлого, а вы — в стороне, о вас вроде бы забыли. Да даже нет, не забыли, просто вы подразумеваетесь невиновным:

«что же, судить всю нацию?» Ах, какой дивный аргумент, вы его даже шепчете во сне, в вашем удивительно уютном, удивительно солнечном сне: «Что же, судить всю нацию?»

Полноте! Вы ли — «вся нация», и вся ли нация — такая, как вы. А разве не нация — те, кого опоясывали кровавыми ремнями, разве не нация — те, кто боролся или готовился к борьбе, разве не нация — та молодежь, что пришла теперь, без пятен крови на манжетах рубашек. Наконец, те, кто был с вами в ваших уютах, те, кто ныне взял на себя ответственность за происшедшее, те, кто встал на колени перед своими «не умевшими жить» соседями или, по случаю их отсутствия, — перед их детьми, те, кто разметал по ветру свой кровавый уют и поклялся искупить свою вину своей активностью, своим подвижничеством. Разве это не нация? Это-то и есть нация. И она должна вышибить тот благодушный аргумент из ваших рук. Она должна разбудить вас среди ночи, нарушить ваш сытый и крепкий сон, поставить вас перед судом чести и совести и сказать: вы виновны, виновны в кровавых ремнях, опоясывавших вашего соседа, в его разбитом сердце, в несчастье его детей, его жизни, вы виновны в похищении человеческого счастья.

И чтобы вы не забывали об этом, вам постоянно из радио, из газет, из кино должно нестись: ты виновен, на тебе кровь. Помни это, помни постоянно, не забывай. Расскажи о своей вине детям, внукам и правнукам. Расскажи, чтобы это никогда не повторилось.

«Нипричемность» — это не просто жизненный принцип чиновника. «Нипричемность» — это целая идеология бюрократизма. Высшие, начальство, «генералитет» заранее отпускают низшим все возможные грехи. Эти «высшие» всю ответственность берут на себя — и тем самым они развязывают руки своим подчиненным, делают их послушными, исполнительными, даже ретивыми. И «подчиненные», с готовностью выполняя указания одного правительства, столь же ретиво будут выполнять указания (даже прямо противоположные) другого правительства. «Когда революция уже совершена, — говорил в конце XVIII века один из лидеров французских католиков Камилл Жорден, — католики переносят на новое правительство все то религиозное повиновение, которое они воздавали прежнему правительству». Таковы же и в XX веке «католики» буржуазно-бюрократического аппарата. Только богом для них является начальник канцелярии, а исповеданием веры — собственное благополучие. Эта вера вытесняет из их душ веру в свою страну и свой народ. «Католики» XX века в розницу и оптом торгуют интересами народа, и потому народ, взяв власть в свои руки, имеет полное право спросить с них за это. Они — ***виновны***.

— Вы чересчур субъективны, вы слишком уж все упрощаете, — слышу я возражения оппонента «с того берега», — вы чертите слишком прямые линии. Жизнь сложнее — и роль Гитлера, и ответственность чиновничества, и проч., и проч. Да, было плохое, кто спорит. Но было и хорошее. Вспомните, как об этом говорил Рольфе и как Вик четырежды отвечал «да». Вспомните простодушное признание «женщины из народа» — фрау Хальбештадт: «При

Гитлере было много плохого, но было кое-что хорошее. Он построил автостраду. Многим дал работу. Нет, нет, было и хорошее».

— Нельзя хаять все, что было при Гитлере, — резюмирует этот «объективный» летописец. Вы посмотрите: Гитлера нет, а автострады, каналы, заводы, города, выстроенные при нем, остались. И все это является достижением немецкого народа, его национальным богатством.

Это возражение не принадлежит к числу примитивных. Мимо него нельзя пройти, его нельзя оставить без внимания. Ведь, действительно, почти одно и то же говорят и политический деятель Рольфе и «объективный историк» и такие «люди из народа», как фрау Хальбештадт. Значит, здесь что-то есть. Разберемся.

Ну, во-первых, отделим фрау Хальбештадт от Рольфе и «историка». Они говорят только по-видимому одно и то же. На самом деле — это разные вещи.

Фрау — это, что называется «святая простота», она — из разряда тех женщин, которые бросали хворост в костер Яна Гуса. Им сказали, что это безбожник, что это плохой человек, что он хотел их погибели. Они и поверили. Они не могут самостоятельно анализировать, да честно говоря, им и некогда — столько работы, едва поворачиваться успеваешь. Где тут разобраться, кто — дьявол, а кто — нет. А если к этому добавить умело работающую пропагандистскую машину Геббельса, которая использовала темноту и невежество таких, как Хальбештадты, которая мастерски пользовалась их предрассудками, то можно понять, почему Хальбештадты не разбирались в происходящем. И разве можно обвинять в чем-либо этих простых, задавленных работой и условиями жизни, людей? Вина за это ложится на тех, кто держал их в нужде и невежестве, на тех, кто не захотел им открыть глаза на происходящее.

Так обстоит дело с Хальбештадтами.

Иная статья — Рольфе. Он не фашист и не приверженец фашизма. Он так же, как и Вик, как Лоусон и Хейвуд, — буржуазный демократ (чуть правее, чуть левее — не в этом дело). И на суде он выступает рупором не фашизма, а западногерманской «демократии» (которую при всех ее реваншистских устремлениях, при всей внутренней реакционности, фашистской пока не назовешь. Это еще не фашизм. Разумеется, это не столько заслуга ее лидеров, сколько заслуга немецкого народа, решительно выступающего против возрождения нацизма, — но это к слову). Итак, чего же хочет добиться Рольфе, «объективируя» гитлеровское время? Что ему дался этот Гитлер?

А вот что. Рольфе хочет доказать, что и во времена гитлеризма существовала Родина, Германия, Немецкий Народ и что можно было вполне и тогда работать не для Гитлера, а для немецкого народа. То есть он решительно оспаривает заявление Вика, который отрицал, что можно было носить свастику и работать на будущее. Рольфе хочет доказать, что — можно. Зачем это ему понадобилось?

Прежде чем ответить на этот вопрос, разберем по существу — можно или нельзя было работать на будущее под сенью свастики. Рольфе и его единомышленники говорят про автострады, каналы и проч. — что это-де делалось ***при***

Гитлере, а не ***для*** Гитлера. И вот Гитлера-де сейчас нет, а автострады остались. А кто ездит по автострадам, кто плывет по каналам — немецкий народ.

Стоп. Мягко стелит г-н Рольфе.

А сколько стоили эти автострады и эти каналы? Рольфе умалчивает об этом. Они стоили — тысячи, миллионы — не марок, не долларов, не франков, нет, — тысячи, миллионы человеческих жизней. Какой канал? Кровь это течет по каналу, а не вода! Какие автострады? Не по асфальту и не по бетону — по костям человеческим несутся машины сегодняшних немцев.

— Ваши чувства понятны, — скажет мне ловкий Рольфе. — И я их полностью разделяю. Но оставим на минуту эмоции в стороне. Пройдут годы, десятки лет, сменятся поколения, — страшное забудется, а каналы и автострады останутся.

— Плохо, если забудется, — ответим мы.

Засыпать канал, конечно, не стоит. Но проплывая по каналу, люди должны снимать шляпы.

И когда «сменятся поколения», когда пройдут эти «десятки лет», перед автострадами, выстроенными при фашизме, перед каналами, вырытыми в то время, будут пламенеть слова: «Товарищи! Вы едете по дороге, щедро политой кровью ваших предков. Отдайте им долг!»

— Но иначе было нельзя, — не сдается Рольфе. — Иными методами невозможно было Германии в короткие сроки выйти «из мрака».

В таком случае и не надо было ей выходить «из мрака», г-н Рольфе. Народ отказался бы идти «к свету», если бы от него потребовали зверского, ничем не оправданного убийства лучших его сынов, гибели миллионов людей. Лучше «во мраке», чем под «солнцем» фашизма, — ответил бы народ.

Но самое-то страшное заключается в том, что, загубив миллионы жизней, фашисты не приблизили Германию к свету, к солнцу, потому что дорога к солнцу не требует миллионов жертв.

И последнее, г-н Рольфе, кто вам сказал, что другие методы были невозможны? Бросьте!

По всему по этому мы в данном случае соглашаемся с Карлом Виком: под свастикой работать для будущего было нельзя. Для будущего можно было работать только ***против*** свастики.

А теперь ответим на вопрос, зачем понадобилось Рольфе объективировать процесс, доказывать, что можно было работать для будущего и т.д.? Ответ прост.

Возьмите биографии нынешних руководителей Западной Германии. Посмотрите их внимательно. В годы разгула гитлеризма, когда в застенках погибали лучшие сыны немецкого народа, — в такие вот годы начиналась государственная карьера большинства из этих людей. Они старательно работали под тенью свастики, они верой и правдой служили фюреру. От их имени и выступает Рольфе. Эти «государственные люди» хотят выгородить себе право смело смотреть сегодня в глаза людям, они хотят сохранить себя лично, они хотят сохранить буржуазно-бюрократический аппарат — основу сво-

его могущества. «Хорошего при Гитлере было немало, — говорят обычно они и иногда оговариваются: — правда, делалось оно часто плохими методами».

Нет, господа, извините, это не «объективность», а просто лицемерие. Во-первых, методы неотделимы от результата, — по существу, это одно и то же. А во-вторых, что вы болтаете о каких-то «плохих» методах? Что для вас-то лично было «плохого» в них? Да вы, пожалуй, всерьез так и не думаете, просто несколько уступаете общественному мнению.

А вот Хальбештадты на своей шкуре испытали обратную сторону этого «хорошего».

« — Мы маленькие люди, — говорят супруги Хальбештадт Хейвуду, — мы потеряли сына на войне. У нас погибла при бомбежке дочь. Во время войны мы голодали. Для нас все это было ужасно».

И вместе с тем, они же: «при Гитлере было много плохого, но было кое-что хорошее. Он построил автостраду. Многим дал работу».

Супруги Хальбештадт не могут одно согласовать с другим. «Построил автостраду». Но вам-то что оттого, Хальбештадты, разве вы в танках ездите друг к другу в гости, разве вам нужно руководить переброской воинских частей по этим автострадам? Он «дал работу». Но какую работу? Устройство дорог — в военных целях, строительство заводов — в военных целях, развитие промышленности — в военных целях. То есть он дал работу, чтобы потом бросить в качестве пушечного мяса вашего сына и вашу дочь в кровавый котел войны, — преследуя свои личные, подлые цели, цели фашистской военно-бюрократической верхушки.

Работа и автострада — неотделимы от гибели ваших детей, фрау. Работа и автострада — был лишь первый шаг к их убийству.

А хорошее, о котором иногда говорят, то есть то, что делалось руками немецкого народа, оно, конечно, осталось, но приписывать его (хоть в малой степени) гитлеризму — с одной стороны, смешно, а с другой стороны, подло.

Представьте себе, садовник посеял семена травы. А потом пришел другой садовник и покрыл этот участок, ну скажем, асфальтом. Однако трава была столь хороша и столь сильна, что во многих местах все же пробилась через асфальт. Неужели мы будем воздавать хвалу второму «садовнику»?

«Объективация» эпохи гитлеризма, попытки снять ответственность с чиновников, работавших тогда, — это неизбежный и необходимый процесс в условиях западногерманской «демократии».

Она не может, она не в состоянии судить и осудить фашизм и, в особенности, методы и принципы работы его государственного аппарата. И это не под силу сделать не только западногерманской «демократии», но и буржуазной демократии вообще (о чем и свидетельствует талантливая киноповесть «Суд над судьями»).

Наша статья подходит к концу. Но прежде чем поставить последнюю точку, ответим на могущий возникнуть вопрос: «Так что же, если буржуазная демократия не в состоянии по-настоящему осудить фашизм и фашистских чиновников, значит, не надо требовать от нее этого? Значит, не надо

писать петиций, заявлений, устраивать митинги, демонстрации с выставлением требований о наказании лиц, ответственных за преступления фашизма? Значит, все это не надо?»

Нет, надо! Обязательно надо! И петиции писать надо, и митинги, и демонстрации — надо; и, может быть, делать все это еще более смело, еще более требовательно. Но при всем этом не надо только надеяться, что буржуазно-бюрократическое правительство в точности исполнит все эти требования. Дело даже не в том, хочет оно или не хочет. Оно ***не может*** исполнить этих требований в силу своего внутреннего устройства. Оно может исполнить их, только ***перестав*** быть самим собой, то есть буржуазным и бюрократическим аппаратом, но быть им оно не перестанет, если его не «перестанут». **Вот сознание, которое должно родиться и развиться в массовой борьбе за наказание лиц, ответственных за прошлое. Борьба за наказание ответственных *лиц* прошлого должна перерастать в борьбу за революционное уничтожение *нынешних* антинародных *режимов*.**

Сущность буржуазно-бюрократического государства скрыта от глаз за фасадом цветистых «демократических» и народолюбивых фраз. А подобная борьба, требование суда над судьями (наряду, разумеется, с другими формами борьбы) позволит трудящимся заглянуть за этот фасад и понять, кто ими правит. И тогда...

О, тогда берегитесь, нынешние временщики!

Итак, предыдущая статья была «про немцев». Следующая — про китайцев, про Мао, про «культурную революцию», про хунвейбиновских Идолов. Но если говорить правду, то она в большей степени про тех «китайцев», что жили на 1/6 части суши — от Калининграда до Магадана.

И еще — справедливости ради. Мне очень нравится присутствующая в статье формула: «Безнравственность ведет к контрреволюции». Так вот, не мной сочинена она. Это — подарок Лена Карпинского. Прочитав рукопись статьи, он заметил: «Да, ты прав: безнравственность ведет к контрреволюции». И я тут же вставил эту фразу в свой текст. Написана статья где-то в 1969 году, напечатана чуть позднее в журнале «Молодой коммунист».

Нравственность и революция

Топор под компасом

Есть в современном мире очень «неустрашимые» И очень бестрепетные «революционеры», готовые на все ради «светлого будущего». Во имя «победы мировой социалистической революции» они, например, «готовы» в ядерной войне с империализмом пожертвовать половиной человечества. Их не смущает, что в этой «мировой революционной войне» будет убито полтора миллиарда человек, «зато, как учит вождь этих «бестрепетных» — председа-

тель Мао, империализм будет полностью уничтожен, и во всем мире будет лишь социализм, а за полвека или за целый век население опять вырастет, даже более чем на половину». Более того, «победивший народ крайне быстрыми темпами создаст на развалинах погибшего империализма в тысячу раз более высокую цивилизацию, чем при капиталистическом строе, построит свое, подлинно прекрасное будущее». Вот почему было бы просто недостойно «настоящего революционера» сожалеть об этих полутора миллиардах, составляющих к тому же ничтожную величину по отношению к миллиардам миллиардов — людей будущих поколений. «Небольшое кровопускание» — зато потом «десятки тысяч лет счастья».

Да и последствия атомных взрывов не так уж страшны. Маоисты любят приводить в пример остров Бикини, где после проведенных американцами ядерных испытаний было всего лишь «два плохих года», а затем, как трогательно выражается председатель Мао, «природа взяла свое»: «там живут мыши», «в реках водятся рыбы», «вода пригодна для употребления, на плантациях зеленеют растения, щебечут птицы».

Видите, прямо райская жизнь после атомного удара — даже птички щебечут!

Что и говорить, заманчивое будущее обещают маоисты всему человечеству, за исключением, впрочем, тех, кому предстоит сгореть в пламени ядерных взрывов и на чьем пепле будут строить «прекрасное будущее». Тот же, кому «жалко» эти «полтора миллиарда», тот — не революционер, а просто слизняк, буржуазный гуманист, зараженный «философией выживания», начисто лишенный классового подхода, тот — пособник империализма, социал-империалист и уже совсем неожиданно — «черный бандит» и «собачья голова».

Итак, маоисты — за «прекрасное будущее», за «уничтожение империализма», за «мировую социалистическую революцию», за «классовый подход» и т.д. и т.п. — в общем, провозглашается весь тот набор выражений и лозунгов, которые нам дороги, которые лежат в основе нашего миросозерцания и которые издавна являются компасом в нашей практической деятельности. И вот мы слышим, как некоторые «тоже марксисты-ленинцы» предполагают замесить эти лозунги на крови полутора миллиардов наших современников, мы слышим, что для осуществления этих лозунгов придется-де уничтожить целые народы. И мы видим, как заметалась указывающая направление стрелка — под компас подложен топор.

Революция в революции?

По улицам и площадям Пекина идут тысячи молодых людей — те, кого готовят к непосредственному нажатию смерть несущих кнопок. Они ускоряют шаг согласно указанному стрелкой направлению: «мировая революция», «светлое будущее». Они ускоряют шаг, не зная о диверсии, не зная, что стрелка эта с некоторых пор показывает в противоположную сторону.

Им грубо льстят, называя «застрельщиками мировой революции», их шествия, их «деятельность» называют «революцией против бюрократии», «революцией в революции», «массовой демократией в условиях диктатуры пролетариата» и т.д.

Ну, что же, возможно, что бюрократия в Китае действительно пустила крепкие корни, не исключено также, что деятельность ее вызывала народное недовольство (кто же будет доволен постоянными провалами всевозможных «великих скачков» или стратегическими лозунгами типа «производить как можно больше, потреблять как можно меньше»), возможно, в ее деятельности были и аспекты, которые можно было бы в каком-то смысле сравнить с движением по капиталистическому пути (узурпация узкой группой лиц рычагов управления производством, отстранение масс от действительного участия в управлении государством, грубое нарушение демократических норм и принципов), — все это отнюдь не невозможность в условиях массового мелко-крестьянского хозяйства, при великодержавной, недемократической политике руководства и культурной неразвитости огромных масс населения, не имеющих в силу своей отсталости возможности реально контролировать деятельность государственных чиновников.

Но разве события в Китае похожи на сознательную борьбу народа против бюрократии, разве это демократия шагает по улицам Пекина? Попробуйте спросить у кого-нибудь из этих орущих «детей председателя Мао», что конкретно сделал Лю Шао-ци, которому они грозят разбить «собачью голову», — много ли они вам смогут сказать?

Разве предали гласности факты подрывной деятельности «тех, кто стоял у власти и шел по капиталистическому пути», разве выслушали Лю Шаоци и его сторонников, разве было проведено всенародное обсуждение этих касающихся каждого вопросов, в процессе которого и происходил бы рост народного самосознания, расширялось бы участие народа в решении общегосударственных дел? Нет, ничего подобного не было. Народ используется лишь в качестве разменной монеты в «высокой» (и одновременно низменной) игре различных бюрократических клик и только. Ошеломляющее подтверждение этому — дело Линь Бяо. Вчера «боевой друг и ближайший соратник», преемник «великого кормчего», сегодня — «бандит типа Лю». А ведь с каким фанатизмом шли, да не шли, а прямо-таки бежали (куда?) за этим, еще вчера непогрешимым Линем…

О какой демократии, о какой самодеятельности народа вообще может идти речь там, где используют такие принципы: китайский народ «представляет собой лист чистой бумаги», «на нем можно писать самые новые, самые красивые слова, можно рисовать самые красивые картины» — это из самого Мао. А вот из «Женьминь Жибао»: «Надо учиться у армии, которая выполняет приказы решительно, быстро, строго, не вступая в пререкания и не торгуясь», «делать то, что ей велят».

Эти и подобные им установки создают ту своеобразную нравственную атмосферу, в которой и формируется долженствующий явить миру пример

тип «застрельщика мировой революции», представителя массовой демократии — вообще тот идеал человека, к которому, как полагают маоисты, со временем, вслед за Китаем, придет «все прогрессивное человечество». Что же из себя представляет тот идеал?

Нравственные идеалы «застрельщиков революции»

«Учиться у Ван Цзе» — с этого призыва начинается нравственное воспитание миллионов китайских молодых людей. Что же такое сделал этот Ван Цзе, что у него призывают учиться всех? Оказывается, он наиболее ярко и точно выразил высшую цель личности в маоистской «революции», ее нравственное кредо: «Я хочу стать универсальным винтиком». Но недостаточно учиться только у Ван Цзе, надо еще подучиться у некоего Чжана Хун-Чи, еще одного «идола» современной китайской молодежи, который углубляет представление о нравственном идеале, обогащает его новыми определениями: «Куда бы меня ни привинтили: на винтовку, на сельскохозяйственное орудие, на автомашину, на станок — на все согласен, везде буду выполнять роль маленького винтика».

И вот появляются сотни, тысячи таких «универсальных винтиков». Их и привинчивают туда и сюда: то привинтит Линь Бяо на винтовку, нацеленную в лоб Лю Шао-ци, то, смотришь, «винтик» — уже на винтовке, дуло которой повернуто в сторону лба Линь Бяо.

Как славно быть винтиком — на все согласным, ни в чем не виноватым и ни за что не ответственным. Вся ответственность ведь у того, кто тебя привинчивает, и в первую очередь она у человека, глядящего отовсюду с многочисленных портретов, человека, чьи изречения собраны в маленькую красную книжицу. И человеко-винтики должны только многократно повторять там написанное, дабы этими стальными нержавеющими цитатами нарезать на свои мозги ту универсальную резьбу, которая и позволит навинчивать их сразу, куда надо и как надо.

Думать и понимать — не обязательно. Об этом «Женьминь Жибао» говорит ясно и недвусмысленно: «Мы должны исполнять указания товарища Мао Цзедуна вне зависимости оттого, постигли мы их или еще пока не постигли. Мы должны утвердить абсолютный авторитет Мао Цзедуна. В этом состоит наша наивысшая дисциплина». Знать, что нужно и как нужно, — такую привилегию имеет он один, абсолютный и непогрешимый. В мире существуют «два красных солнца — одно на небе, а второе среди людей»: второе — это Он, и второе несравненно «солнечнее» первого, ибо обычное «солнце восходит и заходит, а произведения Мао всегда излучают свет». После таких слов остается только встать на колени. И встают. Посетивший Китай Пабло Неруда воскликнул: «Крестьяне отвешивают поклоны и становятся на колени перед портретом вождя. Разве это — коммунизм?»...

Да, много самых различных — социально-экономических, политических, культурных — проблем ставит перед мировой марксистско-ленинской мыс-

лью развертывающаяся пружина китайской «революции (может быть, контрреволюции?) в революции». Среди них и проблемы, с которых мы начали разговор в этом разделе — соотношение целей и средств в революции, нравственный облик революционера, идеал личности, ее место, роль, размеры ответственности в происходящих социальных битвах века; события в Китае отчетливо свидетельствуют, что тема «нравственность и революция» становится в ряд важнейших злободневнейших проблем нашего времени.

Правильное понимание различных сторон этой проблемы тем более важно, что в современном мире наряду с теми, кто готов ради «светлого будущего» превратить одну половину человечества в пепел, а другую — в винтики с универсальной резьбой, наряду с теми, кто растаптывает элементарные нравственные требования (как атрибут буржуазного, слюнявого, внеклассового гуманизма), существуют теоретики, которые всё в истории, все совершающиеся в ней события пытаются вывести из нравственных требований и принципов. Они не нравственные требования проверяют логикой и задачами классовой борьбы, но саму борьбу классов пытаются понять и оценить с моральной точки зрения. У этой довольно популярной в странах развитого капитала концепции имеются два варианта — либерально-реформистский и революционный.

Либеральные социал-реформаторы (вроде «этических социалистов» и им подобных) столь «нравственны», что протестуют против всякого намека на революционную борьбу, если в ней могут быть человеческие жертвы. Они хотят «светлого будущего» без жертв, они хотят войти в него «по-доброму», «человеческим путем». Они революционный путь борьбы не приемлют органически и принципиально, потому что ему сопутствуют (неважно — в больших или малых размерах) кровь и разрушения. Они пишут слово «человек» преимущественно с большой буквы, они трогательно говорят о неповторимости любого человека и часто вспоминают слова Гете, что каждый человек есть «всемирная история», они — против того «шахматного мышления», которое имеет дело с абстрактными» массами и классами людей, а не с живыми конкретными людьми, они клянутся Достоевским: и т.д. и т.п.

Как видим, эти люди тоже произносят немало слов, которые и мы носим в своем сердце, — о неповторимости человека, о том, что человек есть самоцель, что в человеке все начала и концы нашей философии. Но наше миросозерцание неотделимо от идеи революционной борьбы за такого человека, за такой мир, где человек перестал бы быть винтиком; где он стал бы Человеком.

Без этого последнего звена — моральной (не говоря уже о прочей) оправданности революционной борьбы с силами, разрушающими человека и человечество, — без этого звена все «человеколюбивые» рассуждения являются либо фальшью, либо бесплодными мечтаниями дряблых людей. Потому что жизнь не есть столкновение двух видов рассуждений: гуманистических, с одной стороны, и человеконенавистнических — с другой, — которые предлагались бы людям для демократического обсуждения и выбора. Жизнь подсовывает иное противоречие, иное столкновение: она кладет на одну чашу исторических весов убитых полицией демонстрантов, замурованных в тюрь-

мах и лагерях, протестующих против социальной несправедливости, растоптанное национальное и человеческое достоинство малых стран, ставших жертвами империалистического вероломства, а на другую… Что же вы положите на другую, любезные сторонники «ненасильственных действий»? Ваши сладкозвучные речи? Некоторые — лучшие — из таких людей понимают, что в этих критических ситуациях подобные речи бессильны либо кощунственны. Тогда-то и прорывается у них; как у Алеши Карамазова, знаменитое «Расстрелять!». (Помните эту вспышку гнева у тихого и фантастически смиренного, незлобивого и всепрощающего Алеши, выслушавшего рассказ, как помещик на глазах у матери затравил собаками восьмилетнего ребенка?) Зияющую дыру образует это «Расстрелять!» в философии «ненасильственных действий», более того, оно одно ставит весь вариант морально-исторической концепции под сомнение. Тогда и наступает пора популярности революционных вариантов той же самой концепции, вариантов, в основе которых лежит стремление к реализации моральных норм и требований революционным, насильственным путем. (Такая позиция и такие стремления характерны, например, для многих отрядов современного «нового левого» движения.)

Но как бы ни были различны эти варианты, в их основе все же лежит один и тот же философский принцип: нравственное требование — исходное в социально-преобразовательной деятельности, моральные принципы, — фактор, определяющий и обусловливающий все остальные аспекты исторического действия. Этот-то принцип и является ошибочным, он не позволяет не только позитивно разрешить социально-преобразовательные задачи, но и дать аргументированную критику маоистских концепций, без которой невозможно успешное и плодотворное развитие современной революционной теории и революционной практики.

В чем же неудовлетворительность названного принципа? Чтобы понять это, нам придется обратиться к событиям, давно прошедшим, но чрезвычайно важным для ответа на поставленный вопрос, в которых разбираемая нами проблема была впервые в истории поставлена в ясной и четкой форме, в качестве животрепещущей, практической проблемы поистине всеевропейского (если не всемирного) масштаба, нам придется обратиться к событиям французской буржуазной революции XVIII века.

С позиции «вечной справедливости»

Вождь французской революции XVIII века. Максимилиан Робеспьер утверждал, что «единственная основа гражданского общества — это мораль»[1], он видел цель революции в осуществлении «той вечной справедливости, законы которой высечены не на мраморе и не на камне, а в сердцах людей»[2].

[1] М. Робеспьер, Избр. произв., т. III М., 1965, с. 164.

[2] Там же, с. 107.

И задача политических деятелей и ученых «сводится к тому, чтобы внести в законы и в управление моральные принципы, которые водворяют в книги философы»[1]. «Мы хотим, — говорил он, — заменить, в нашей стране эгоизм нравственностью, честь честностью, обычаи принципами, тиранию моды господством разума,.. наглость гордостью, тщеславие величием души,.. убожество великих величием человека»[2]. Эти нравственные идеалы справедливости, добра и равенства и есть для Робеспьера тот «компас», который может направлять» «среди бурь всякого рода страстей и среди вихря интриг»[3]. Эти извечные, коренящиеся в самой природе человека нравственные идеалы и есть, по Робеспьеру, побудительная причина революции, масштаб, которым измеряется ее продвижение вперед, ее конечная цель.

Таковы исходные философские посылки, которым и предстояло пройти всестороннюю проверку в огне революционной практики.

Поначалу казалось, что ход событий полностью подтверждает концепцию Робеспьера. Французский народ поднялся на борьбу за эти идеалы, сверг короля и его приспешников, разгромил своих неисчислимых внутренних и внешних врагов; до «золотого века» человечества, до того, чтобы «увидеть сияние зари всеобщего счастья», оставалось вроде бы всего лишь несколько шагов — тем более, что во главе правительства стоял честный, неподкупный, бесстрашный, обладающий колоссальным авторитетом Робеспьер, ученик Руссо и любимец народа.

И вдруг... на гребне успехов — когда блестящие победы республиканской армии практически гарантировали Франции невозможность реставрации, когда были побеждены все, кто, по мнению якобинцев и их вождя, стоял на пути развития революции, когда Конвент единодушно проголосовал за давно вынашиваемый Робеспьером проект декрета о культе «верховного существа» (этого абстрактного носителя высших нравственных добродетелей) — в этот момент происходит нечто, на первый взгляд, невероятное и необъяснимое: Робеспьер перестает посещать заседания правительства и в течение полутора месяцев (месяцев острейшей социальной борьбы!) не выступает в Конвенте. Потом, 8 термидора II года республики (т.е. 26 июля 1794 г.) он появляется в Конвенте, где произносит блистательную, лучшую свою речь, которую неожиданно называет политическим завещанием. На другой день, 9 термидора, Конвент (всего полтора месяца назад единогласно избравший его своим председателем!), принимает решение об аресте Робеспьера и его друзей. А 10 термидора его гильотинируют на Гревской площади Парижа.

Некоторые историки склонны объяснить такой поворот событий той или другой трагической случайностью. Одни, например, полагают, что всего этого с Робеспьером могло бы и не случиться, если бы он принял активные меры

[1] Там же, с. 164.
[2] Там же, с. 108.
[3] Там же, с. 110.

вместо того, чтобы безмятежно спать в ночь с 8 на 9 термидора. «Этот сон стоил ему жизни», — писал Луи Барту. Другие считают, что всё дело-де в том, что в своей последней речи он не назвал заговорщиков по именам и не потребовал их ареста; третьи — что несколько замешкался ближайший помощник Робеспьера Сен-Жюст на заседании 9 термидора, не успев произнести решающих слов обвинения, и т.д. и т.п.

Мы не фаталисты: конечно, Робеспьер мог бы и не погибнуть 10 термидора. Наверное, он мог бы, при чуть более счастливом стечении обстоятельств, и победить еще одну группу заговорщиков. Но ни эта возможная частичная победа, ни какой-либо другой личный успех уже не значили для Робеспьера ничего: крах потерпела концепция Робеспьера, его философская и политическая программа, рассматривавшая извечные принципы нравственности, справедливости, равенства в качестве определяющих принципов всей социально-преобразовательной деятельности. И этот крах был осознан Робеспьером. Его капитуляция началась не в ночь с 8 на 9 термидора, а гораздо раньше: она видна уже в неуверенном тоне многих речей 1794 года и становится очевидной, когда он фактически самоустранился от дел.

Вождь якобинцев растерялся не тогда, когда его взяли под стражу в Конвенте, не тогда, когда жандарм Мерде, пытаясь вновь арестовать освобожденного народом Робеспьера, выстрелом из пистолета раздробил ему челюсть, и не тогда, когда он шел последней своей дорогой на эшафот, — здесь Робеспьеру ни на секунду не изменило мужество. Он растерялся тогда, когда увидел, что республика, выходящая из огня революции, отнюдь не представляет из себя республики нравственности, политических и человеческих добродетелей, равенства и справедливости. Эгоизм, коррупция, всесилие кошелька, угодничество и властолюбие — все то, против чего направляло удары революционное правительство, — не только не исчезло, но и стало принимать еще более пышные формы.

Правительство Робеспьера отчаянно боролось с этими «пороками» с помощью террора, революционных судов, но получалось, как в сказке: на месте одной срубленной «безнравственной» головы появлялись десятки новых. Более того, революционные трибуналы и суды вместо того, чтобы расправляться с «порочными людьми», начали вероломно, под клеветническими предлогами, уничтожать «патриотов» и «настоящих революционеров».

В своей последней речи-завещании Робеспьер лишь открыто возвещает о капитуляции. Он говорит о своем «бессилии делать добро и остановить зло»[1] и заканчивает речь на высоко и трагически звенящей ноте: «Я создан, чтобы бороться с преступлением, а не руководить им. Еще не наступило время, когда порядочные люди могут безнаказанно служить родине; до тех пор, пока банда мошенников господствует, защитники свободы будут лишь изгнанниками»[2].

[1] М. Робеспьер. Избр. произв., т. III, с. 226.

[2] Там же, с. 230.

Странное завещание, не правда ли? Завещание, которое ничего не завещает, не говорит, что и как надо делать. И все-таки завещание состоялось: хотел того Робеспьер или нет, но его последняя речь завещала потомкам несравненно более важное, чем практический план ближайших действий, она завещала им великую проблему. Проблему, состоящую в следующем: если, как показал ход событий, не требования нравственности и вечной справедливости, то что же является определяющим в социально-преобразовательной деятельности (и как частный момент — почему же концепция якобинцев имела такой успех на первых этапах революции и потерпела не менее ошеломительное фиаско в итоге?).

Это — проблема, над которой затем бились несколько поколений европейских революционных мыслителей: французские социалисты-утописты, историки времен реставрации, Гегель, Фейербах, — проблема, разрешить которую удалось лишь Марксу и Энгельсу.

Основоположники марксизма открыли, что не движение нравственности, а классовая борьба, порождаемая противоречиями способа производства, определяет ход и исход социальных боев. Сохранение частной собственности (ревностным сторонником которой был Робеспьер, полагавший, что она способствует развитию активности и самостоятельности человеческой личности) и порождало всё то, против чего пытался бороться Робеспьер: резкое расслоение общества на богатых и бедных, коррупцию, корыстолюбие, эгоизм и т.п. Робеспьер полагал, что нравственные принципы, охраняемые и насаждаемые всей мощью государственного аппарата, смогут свести на нет некоторые отрицательные последствия частной собственности и преобразовать экономическую и политическую жизнь страны. Но все получилось наоборот: экономика, отношения частной собственности создали соответствующую себе политическую и нравственную атмосферу в обществе. Робеспьер не знал, где искать основу коррупции и корыстолюбия, ему до времени удавалось рубить листья, но нетронутые и глубоко уходящие в почву корни давали новые и новые побеги, справиться с которыми якобинской партии было уже не под силу. Приход основанных на частной собственности буржуазных производственных отношений был естественно-исторической необходимостью, против которой моральный запрет бессилен. Таковы причины краха якобинцев.

И причина их первоначальных успехов коренилась отнюдь не в их нравственной программе, как таковой, а в том, что направленность их программы поначалу совпадала с экономическими требованиями эпохи, ибо провозглашаемые ими свобода, равенство и справедливость были, по существу, не общечеловеческими лозунгами, а лозунгами антифеодальной борьбы и означали не что иное, как свободу от крепостной зависимости, свободу хозяйственной деятельности, равенство людей перед законом (в чем выражался протест против феодального принципа сословной иерархии), справедливость равных возможностей развития людей (равных, в смысле — не связанных с происхождением и сословной принадлежностью), т. е. в абстрактные мораль-

ные лозунги объективно вкладывалось совершенно определенное конкретно-историческое, буржуазное содержание (это и понятно, раз лозунги эти связывались с «лозунгом» сохранения частной собственности). Потому нарождающаяся, крепнущая буржуазия и поддерживала наиболее ревностных и последовательных проводников этих лозунгов как наиболее радикальных разрушителей феодализма.

Но когда силы абсолютизма и феодальной реакции были сломлены, фанатики равенства, ученики Руссо, перестали быть нужными и желанными для буржуазии людьми, так как логика их теории и их действий неумолимо вела к провозглашению равенства не только в области правовых, но и в области экономических отношений (что уже было бы явно антибуржуазной мерой).

Лидеры якобинцев служили буржуазии, не сознавая того, а когда это обнаружилось, то, с одной стороны, они не захотели служить ей, предпочитая смерть позорным аплодисментам, а, с другой стороны, буржуазия не стала дольше терпеть у власти людей, не стремящихся к сознательной защите ее интересов.

Такова печальная, но поучительная история концепции об определяющей роли нравственности в исторических процессах. И если в период французской буржуазной революции эта концепция сыграла определенную исторически прогрессивную роль (несмотря на всю свою ограниченность и ошибочность), то в условиях подготовки и осуществления социалистической революции, в период, когда создана и разработана подлинная наука об обществе, эта концепция не имеет исторического оправдания. Меняется ее качество: из наивной концепции неумелого выражения борьбы с капитализмом и угнетением она превращается в концепцию умелого ведения борьбы с подлинно революционным, социалистическим движением. Это отчетливо видно на примере печальной эволюции русской народнической мысли. Вырождение этой концепции хорошо иллюстрирует и пример так называемого «этического социализма».

Итак, исторический опыт ясно показал, что нравственность не является определяющим фактором социального развития.

Не значит ли это, что содержание нравственности никак не влияет на характер социальных боев, на характер и результат революционных битв?

Так, может, в таком случае все разговоры о нравственности отбросить в сторону, может быть, надо говорить только о задачах класса и о том, что для достижения этих задач вовсе не нужно помнить о тех нравственных нормах и принципах, которые выработало человечество?

Совершенно верно, скажут нам маоисты, именно из этого мы исходим, этому подчиняем все остальное, и никакие нравственные требования и принципы не остановят нас в следовании к этой цели: если существующая мораль противоречит нашим выверенным классовым установкам, то долой эту мораль — революция все оправдывает, все освящает. Этому-де и учит марксизм, говорят они.

Нет, этому марксизм не учит. Марксизм учит другому.

Все ли «освящает» революция?

Марксу и Энгельсу не довелось читать ни «Женьминь Жибао», ни афоризмов «красного солнышка» из Пекина. Но они были знакомы с идеями Бакунина и Нечаева, а значит, были знакомы со многим из того, что говорят сегодня маоисты.

«Революционер», читали Маркс и Энгельс у Бакунина, «презирает и ненавидит во всех побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравственность. Нравственно для него все, что способствует торжеству революции... Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности должны быть задавлены в нем единой холодной страстью революционного дела... Стремясь хладнокровно и неутомимо к этой цели, он должен быть готов и сам погибнуть, и погубить своими руками все, что мешает ее достижению», «мера дружбы, преданности и прочих обязанностей в отношении к... товарищу определяется единственно степенью его полезности в деле всеразрушительной... практической революции», «он не должен останавливаться перед истреблением положения, отношения или какого-либо человека, принадлежащего к этому миру... результатом... будет бесследная гибель большинства и настоящая революционная выработка немногих», «наше дело — страшное; полное, повсеместное и беспощадное разрушение»[1]. «Пусть же все здоровые, молодые головы принимаются немедленно за святое дело истребления зла, очищения и просвещения земли огнем и мечом», формы этой деятельности «могут быть чрезвычайно многообразны: яд, нож, петля и т.п. Революция всё равно освящает!»[2]. (Кажется, это только что сделанный перевод с китайского!)

Прочитав этот страшно революционный, чрезвычайно целенаправленный текст, Маркс и Энгельс почему-то не спешат зачислять Бакунина в свои ученики. Более того, они с возмущением пишут о попытке бакунистов представить эти взгляды как конкретизацию идей «Манифеста Коммунистической партии». Совсем по-современному звучат их гневные слова, вскрывающие причину такой подтасовки: «...авторы такого рода идей используют «Манифест» для того, чтобы внушить доверие к своим татарским фантазиям»[3].

В чем же состоит суть марксистской критики такого рода фантазий?

Дело отнюдь не сводится к тому, что, как полагают некоторые, марксизм возражает всего лишь против уж очень несимпатичных средств борьбы и что задача-де состоит в том, чтобы подобрать какие-нибудь более гуманные средства. Дело отнюдь не сводится к возмущению вопиющей аморальностью изложенного подхода — это была бы всего лишь моральная критика аморальности (и потому, как всякая «только моральная» критика, — слабая и недо-

[1] Цит. по: К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч., т. 18, с. 415–418.

[2] Там же, с. 394–395

[3] Там же, стр.414.

статочная). Речь вовсе не идет о том, что вот-де бакунисты и им подобные назначают слишком дорогую и слишком большую плату, а надо бы поменьше. Нет! Все дело в том, что это вообще не плата за победу, а дорога к поражению, ибо с помощью прокламируемых ими средств победа над старым миром попросту невозможна.

Почему же невозможна победа?

Подлинной и высшей целью социалистической революции является не просто отстранение капиталистов от руководства производством и государством, не просто развитие производительных сил и повышение производительности труда. Все перечисленное — лишь средства по отношению к высшей цели коммунистического переустройства мира: создание условий для полного всестороннего развития человека, создание общества, где «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех»[1]. Эту высшую цель необходимо постоянно держать в поле зрения, ни на минуту не упускать из виду среди сложного переплетения различных линий борьбы, различных задач — ближайших и далеких. Ни на минуту нельзя забывать, что социалистическая революция означает борьбу против того мира, где человек низведен капиталом до роли придатка машины, всего лишь средства для получения прибыли, до роли одной из деталей сложного механизма капиталистического производства, которое само по себе цель. Социалистическая революция означает борьбу против того мира, который деспотически очерчивает человеку узкий круг его деятельности, «деятельности», сводящейся к тому, чтобы исполнять, не рассуждая, исполнять то, что приказывают, что требуют хозяин и организованное в соответствии с интересами капитала производство. Социалистическая революция и есть выражение того, что человек хочет перестать быть вещью, придатком машины, средством производства; он хочет стать Человеком — существом, свободно и наравне с другими участвующим в определении целей общей деятельности, выборе средств их достижения и совместной реализации, т.е. хочет стать активным и сознательным участником исторического процесса.

И что же предлагают этому человеку анархисты, маоисты и им подобные «тоже социалистические преобразователи»: «слушаться, не рассуждая» (но этого требовал и «старый мир»), быть «универсальным винтиком» (но человек и был «винтиком»), «производить как можно больше, потреблять как можно меньше» (но ведь этого же самого и требовал от него капиталист) и т.д., т. е. человеку предлагается жить и действовать в полном согласии с принципами, порожденными старым обществом. Естественно, в «революционном» движении, исповедующем такие установки, человек не может очиститься от прежней скверны, не может развиваться и совершенствоваться. Поэтому в случае победы, в случае прихода к власти такого рода «революционной» партии и происходит с неизбежностью, говоря словами Маркса, воз-

[1] К. Маркс и Ф.Энгельс. Соч., т. 4. с. 447.

рождение «всей старой мерзости» прежнего строя. Так что не моральности в добавление к объективно-классовому подходу недостает маоистским программам. Им недостает именно самого классового, объективного подхода к явлениям действительности, что наиболее полно и проявляется в безнравственности, антигуманизме их программ.

Народ в этих «революционных» программах выступает не в качестве субъекта исторического творчества, а в качестве объекта деятельности власть захватившего или стремящегося к власти меньшинства, рассуждения которого о народе как о «белом листе бумаги», как о пассивном и послушном материале, есть не что иное, как возрождение морали рабовладельцев и деспотов. «Революционеры» с иезуитским лозунгом «цель оправдывает средства», по выражению Маркса и Энгельса, лишь «доводят до крайности буржуазную безнравственность»[1].

Революция, таким образом, не только не «все освящает», но и более того: революция, которая начинает «освящать» безнравственные средства, быстро теряет свой пролетарский, социалистический характер.

Безнравственность ведет к контрреволюции.

Итак, как показали основоположники марксизма, голос нравственности — хотя и не первый, не единственный и не решающий голос в выборе путей преобразования мира, но это очень важный и очень существенный голос, который нельзя игнорировать.

Тем более, что голос нравственности слышен лучше других голосов (например, голосов науки, политики) массе простых людей, которые, отгороженные высоким барьером капитала от научного знания, воспринимают и судят социальный мир в категориях добра и зла, хорошего и плохого, справедливого и несправедливого, т. е. в категориях нравственности. Моральное сознание народа, его нравственная позиция — это колоссальный фактор исторического развития, подчас не менее ценный, чем научная оценка, ибо нравственное не есть что-то безразличное к объективным законам развития социальной действительности, не форма субъективно-ценностной оценки их человеком, а лишь своеобразная, специфическая форма выражения этих законов.

«Если нравственное сознание массы, — писал Энгельс, — объявляет какой-либо экономический факт несправедливым, как в свое время рабство или барщину, то это есть доказательство того, что этот факт сам пережил себя, что появились другие экономические факты, в силу которых он стал невыносимым и несохранимым»[2].

Слов нет, это нравственное чувство ничего не говорит о том, почему данные «факты» пережили себя, какие «факты» должны прийти им на смену, и потому его явно недостаточно для успешной преобразовательной деятельности. И все же нравственный протест масс — из самых первых сигналов о

[1] К. Маркс и Ф.Энгельс. Соч., т. 18. с. 415.

[2] К. Маркс и Ф.Энгельс. Соч., т. 21. с. 184.

том, что не все обстоит благополучно в этом обществе. Поэтому не надо спешить сразу предавать анафеме нравственное чувство, если оно вдруг вступает в противоречие с каким-либо выводом науки. Надо внимательно разобраться, не «вина» ли в том науки, не «отстает» ли научная оценка от моральной. Нравственное чувство, таким образом, может быть колоссальным побудительным стимулом определенным образом направленного научного исследования — тут роль морального начала трудно переоценить.

Но только в единстве научного и нравственного подходов — и никак иначе — схватывается истина социальной жизни. Наличие у марксистских партий нравственного, гуманистического идеала требует от них до минимума сводить насилие на каждом из этапов борьбы и применять более мягкие средства там, где имеется выбор. Этому принципу марксисты, безусловно, следуют и там, где эксплуататорские классы навязывают им насильственный способ действий, тот же принцип тем более обязателен для них после подавления сопротивления эксплуататоров — здесь на первое место ими выдвигаются организация, воспитание. Именно этот принцип попирают в последние годы в своей внутренней и внешней политике маоисты, дискредитируя марксистское учение.

Следующая статья («Если хочешь быть человеком...») — из журнала «Молодой коммунист», напечатана где-то в середине 70-х. В этом органе ЦК ВЛКСМ подобралась славная компания, поставившая перед собой задачу придать журналу демократическую (а это значит — оппозиционную) окраску, продолжив в определенной степени традиции закрытого к тому времени «Нового мира». В эту компанию, помимо штатных работников журнала (Игоря Клямкина, Володи Глотова, Левы Тимофеева, Жоры Целмса) входили такие «нештатные» люди, как Лен Карпинский, Саша Ципко, Саша Янов, Володя Хорос и автор этих строк. Года полтора нам удавалось реализовывать наши планы. Потом, как это водилось в той системе, всё было порушено. Важную роль во всей этой затее играл Игореша Клямкин, редкостно талантливый публицист, но главное — удивительно интеллигентный, удивительно нравственный человек, до сих пор обожаемый мной бесконечно (несмотря на некоторые наши с ним идейные несовпадения), о чем я и сказал в «речи» по случаю его 60-летия:

Однажды в семидесятые...

Игорь не писал о Бухарине. Это — Отто Лацис. Несколько сотен страниц накропал он, сидючи в Праге, в воздухе полусвободы — все-таки жесткий прессинг Лубянки там чувствовался слабее. Потом, после 85 года, он их издаст, и молодой перестроечный, бесконечно демократический читатель, сваливая всех большевиков (от Ленина и Сталина до Рютина и Бухарина), а заодно и меньшевиков (всяких там Плехановых, Мартовых, Аксельродов) в одну кучу и отправляя всех вместе, скопом, на историческую помойку, будет удивляться — за что же так жестко преследовали когда-то всех этих лацисов...

Игорь не писал и развернутого предисловия к этой рукописи. Это — Лен Карпинский. Это Лен нашел преданную машинистку, взявшуюся печатать его горячие, пламенные страницы.

Не Игорь выдвинул, не Игорь осуществлял идею создания подпольной свободословной библиотеки. Это тоже Лен — по примеру своего знаменитого отца, составлявшего во времена «оно», где-то там, в Женеве, с благословения Ленина (лично!), какую-то жутко революционную библиотеку, останки которой сохранились и где-то пылились на чердаке Леновой дачи. Лен мечтал о своеобразном продолжении традиции — написании серии работ, зовущих к антибюрократической революции.

— Ну, что, мудрец, — обращался он к уныло смотрящему в пол Эвальду Ильенкову, — может, хватит заумных кабинетных дискуссий, и поработаем на более живое дело?..

Холодной иронией встречал горячечные речи Лена Михаил Александрович Лифшиц — он-то уже проделал нечто подобное в 30-е годы со своим другом Лукачем, до сих пор ребра переломанные ноют. А вот Генрих Батищев заводился с пол-оборота и сразу хватался за свое неистовое перо. Основательные Михаил Гефтер и Игорь Пантин стремились подвести под прекрасные воздушные миражи Лена нечто похожее на крепкий фундамент. Юра Буртин, Игорь Виноградов, Рой Медведев тоже сочувственно внимали Лену. (Замечу в скобках, что своими планами громыхал Лен не только в узких, проверенных, что называется, кругах, но и на весьма широких сборищах, не озабочиваясь возможным присутствием на них господ Репетиловых, а то и просто бдительных граждан, так сказать, «боевых помощников партии»; он несколько преувеличивал защитительные ресурсы своего высокого родства и своей недавней цековско-комсомольской карьеры.) Но это всё — Лен. Не Игорь.

Не Игорь выдвинул идею некоего «Соляриса», подпольного оппозиционного журнала (впрочем, тут дальше придуманного красивого названия дело не пошло). Не он распространялся о ней, угрожающе потряхивая кулаком кому-то там наверху...

Но именно за Бухарина-Лациса, за Леновы предисловие и библиотеку, за несуществующий «Солярис», за угрожающие потряхивания кулаками на частной кухне и ухватила Его за воротник бдительная чекистско-партийная пятерня.

Нет, нет, я вовсе не хочу сказать, что Игорь Моисеевич Клямкин был абсолютно безгрешен перед Партией и Советской властью. Его много за что было хватать и даже не пущать. Ну, например, за настойчивые попытки превратить «Молодой коммунист», проверенный и перепроверенный журнал комсомольско-цековской номенклатуры, в журнал хитро и хорошо камуфлируемой демократической оппозиции режиму, в орган, наследующий некоторые традиции разгромленных сто лет назад — «Современника» и пять лет назад — «Нового мира». И хотя Поройков мало походил на Некрасова с Чернышевским, а Апресян — на Твардовского с Лакшиным, идея Игоря не была безумной. Как-то так получилось, что в журнале подобралась веселая и бой-

кая, сродни воландовской, компания: известный бузотер, ничего и никого не боящийся Жорка Целмс, экзальтированный, златоперьевый искатель и защитник правды Володя Глотов, напористый, молодой, еще не ведающий о крутых маршрутах своей будущей судьбы Лева Тимофеев… Игорь был душой этого «младокоммунистического заговора».

И когда заканчивался рабочий день, когда за крыши многоэтажек закатывалось московское солнце, пустели редакционные коридоры и погружались в темь кабинеты боевых комсомольских публицистов, в комнате Игоря открывались удивительные собрания молодых просветителей. С вдохновенными проповедями выступал Саша Ципко, призывая высвободить из-под сталинистских напластований гуманистический, свободолюбивый потенциал марксизма, звучащий приговором существующему режиму. (И мы с ним, как самые крупные — среди нас — знатоки этого дела, из номера в номер, поочередно, «высвобождали» этот «потенциал».) Двадцать лет спустя в Киеве, в кулуарах одного из симпозиумов, Саша, вдрызг расплевавшийся к тому времени с марксизмом и со всеми его «потенциалами», дружески попеняет мне: «Это ты своим Марксом сбил Игоря, он до сих пор от него освободиться не может!». Во-первых, не «своим», а нашим с тобой, дорогой Саша, Марксом. Нашим, нашим, дружище — перечитай свои марксистские эссе в «Младокоммунисте». А во-вторых, не кори ни меня, ни себя за Игоря: его не собьешь, если только он сам не захочет быть «сбитым» (ты же его знаешь: очень упрямый и очень самостоятельный товарищ!). Там другой Саша — Янов, еще не высокочтимый, еще не вальяжный профессор американских университетов, а просто — Саша, а для многих даже — Сашка, раскрывал нам тайну своих фигов, заполнявших все его карманы — он клял Россию за подавление польских повстанцев в 1863 году с такой страстью, что всем становилось ясно: вместо Варшавы читай «Прага», вместо «вешатель Муравьев» — «вешатель Брежнев» и на место «год 1863-й» смело ставь «1968-й».

И конечно же, — непременный Лен. Рожденный, как и Герцен, «для больших форумов», он волею обстоятельств вынужден был довольствоваться форумами маленького Игорева кабинета. Но, словно на больших форумах, произносил звонкие речи, щедро рассыпая свои, по-герценовски сверкающие, афоризмы… За все это смело можно было хватать Игоря Моисеевича. А так схватили его, можно сказать, зазря — за Лациса, Бухарина, Лена, за не им придуманный «солярисный» прожект. По сути — за то, что он читал сочинения своих друзей и что не затыкал уши, слушая их речи.

И вот теперь о главном, ради чего все это писалось: как он вел, как держал себя в этой ситуации. Ведь он изгонялся из своей профессии — из журналистики, у него выпадало из рук (не по его вине!) его любимое, так тонко продуманное и так удачно начатое дело в журнале, он оставался ни с чем и уходил в никуда. Так вот, на допросах он не впадал в истерику, не вопил (будто бы «наступательно») о том, что «сейчас не 37-й год», что он «будет жаловаться», «не потерпит» и т.п. Он отвечал (знаю и по его рассказам, и по свидетельству других) следователям спокойно, вежливо, выдержанно. Не уни-

жался до жалоб (или — «требований»), что его не поят чаем, не водят в туалет. Его оружием было достоинство и хладнокровие. Он не клял ни одного из своих излишне горячих, не очень осторожных (и иногда не в меру — на допросах — откровенных) друзей. Никому ни слова упрека. Он понимал: по большому счету, не из-за них у него возникают проблемы. Он (в отличие от Андропова) хорошо знал «общество, в котором мы живем».

В общем, он был олицетворением мужественности и хладнокровия — настоящий мужчина. Он был воплощением всепонимания, толерантности и благородства — настоящий русский интеллигент. Он был прост и естественен.

Не дрогнул, не согнулся, не прогнулся.

Было ясно: это — его ***суть***. Так он поведет себя в любой ситуации.

С 60-летием тебя, дорогой Игореша!

«Если хочешь быть человеком...»
(«для себя» или «для других»?)

«Я смеюсь над так называемыми «практичными» людьми и их премудростью, — писал Карл Маркс в одном из своих писем. — Если хочешь быть скотом, можно, конечно, повернуться спиной к мукам человечества и заботиться о своей собственной шкуре»[1]. Если хочешь быть скотом... А если хочешь быть человеком? Что это значит — быть человеком? В чем состоит смысл деятельности, достойной человека?

Маркс ответил на эти вопросы опытом своих исканий, опытом научных размышлений, опытом революционной борьбы — всей своей жизнью.

Давайте же посоветуемся с Марксом, размышляя над вопросами, которые в том или другом возрасте (особенно часто и особенно напряженно — в юности) задает себе каждый: как найти, как определить — во имя чего стоит жить, какими принципами и критериями руководствоваться при выборе жизненных дорог, при решении важнейших, острых и противоречивых, общественных ситуаций.

Давайте проследим за тем, как эти вопросы возникали перед Марксом, как с юношеских лет он искал на них ответы, как, ступенька за ступенькой, по мере обогащения его опыта борьбы и расширения его научных знаний, углублялись и усложнялись эти ответы, приобретая все более стройные, все более классические формы.

«Первая обязанность юноши»

Маркс «начинается» в своем школьном сочинении «Размышления юноши при выборе профессии». Оно написано в 1835 году, Марксу было тогда 17 лет.

[1] Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 31, с. 454.

«Животному, — развертывает цепочку своих рассуждений Маркс, — сама природа определила круг действий, в котором оно должно двигаться, и оно спокойно его завершает, не проявив стремления выйти за его пределы, не подозревая даже о существовании какого-либо другого круга»[1]. Человек же не может, не должен пассивно плыть по установившемуся течению жизни, двигаться по инерции, по кругу, ограниченному окаменевшими заветами и традициями, не отдавая себе отчета — куда направлено это течение, благотворна ли эта инерция, хороши ли традиции и верны ли заветы. Он должен постоянно анализировать, взвешивать, размышлять, проверять — с тем чтобы не стихийно, не по наитию, не по настроению, не по первому толчку непосредственного чувства, а ответственно и сознательно, опираясь на ясные и убедительные для разума критерии, сделать выбор своей дороги в жизни. «Серьезно взвесить этот выбор — такова, следовательно, первая обязанность юноши, начинающего свой жизненный путь и не желающего предоставить случаю самые важные свои дела» (там же). Такова первая заповедь, таков первый совет Маркса.

К выяснению критериев выбора жизненной дороги, высшего смысла человеческой деятельности и переходит далее Маркс в своем сочинении.

Для себя или для других?

Да, с такого самого общего и внешне довольно простенького вопроса начинаются часто размышления вступающего в сознательную пору жизни человека: жить — для себя или для других (для общества, человечества и т.п.)? Непритязательно формулируемая, но весьма серьезная нравственная проблема, к рассмотрению которой и приступает юноша Маркс.

Но, прежде чем знакомиться с его ответом, следует, по-видимому, уяснить, почему этот вопрос является проблемой, в чем его сложность и тонкость.

Не исключено, что какой-нибудь любитель прописных истин воскликнет (а мне не раз, как, наверное, и каждому, доводилось слышать такие восклицания):

«А какая, собственно, здесь проблема? Неужели кто-то (кроме разве каких-либо закоренелых циников) скажет: “Для себя”? Большинство, не задумываясь, ответит: “Конечно, для человечества”. Разумеется, далеко не все живут в соответствии с этим решением. Но это уже другой вопрос — чисто практический (одному не хватает силы воли, другому — умения, третий не может противиться своим эгоистическим желаниям и т.п.). Но с точки зрения теории, принципов — о чем тут говорить? Тут все предельно ясно — надо исповедовать правило: не для себя, а для человечества».

Но вот как раз против такой «теории», против этого правила и выступали, как это ни покажется странным любителю прописных истин, многие без-

[1] Там же, т. 40, с. 3.

укоризненные в нравственном отношении люди, и среди них такие хорошо известные молодому читателю, как Чернышевский, Добролюбов, Писарев.

Что же не устраивало их в этом, так благородно звучащем, девизе?

Добролюбов, например, просит читателя приглядеться к Берсеневу из тургеневского «Накануне». Тургеневский герой — как раз из тех, кто «находит, что надо жертвовать своим счастьем для родины, нации и пр...».

Но поскольку все это — «не для себя», то он, замечает Добролюбов, смотрит на это как на долг и противопоставляет этот долг своему счастью. «Он похож...на великодушную девушку, которая для спасения отца решается на ненавистный брак. С затаенной болью и тяжкой покорностью судьбе ждет она дня свадьбы и рада была бы, если б что-нибудь ей помешало»[1]. Хорош же нравственный принцип, если столь гнетущим образом действует он на человека! Такой человек, подчеркивал Добролюбов, «не сумеет и не посмеет определить себя на широкую и смелую деятельность, на вольную борьбу»[2].

Писарев присматривается к другому литературному герою — Щетинину из повести «Трудное время» писателя — революционного демократа В.А. Слепцова. Этот тоже в юности все «не для себя, а для человечества» собирался жить и даже при случае «погибнуть» намеривался. Но для него «работа на человечество» вроде работы на барщине — хоть нужный, но тяжелый, мучительный и неинтересный труд. Такой благородно-барщинный труд быстро приводит человека к усталости и разочарованию. А тут к тому же под рукой всегда вполне сносное оправдание имеется: дела-то веков поправлять нелегко, и сил-то у него, Щетинина одного, маловато, чтобы человечество подвигнуть, да и человечество еще не доросло до того, чтобы быть способным понимать Щетининых и принимать их благодеяния. Поэтому и кончает слепцовский Щетинин тем, что, продолжая говорить (правда, все реже и все более вялым языком) о человечестве, начинает вить гнезда для своих детей, ругаясь с мужиком из-за каждой копейки[3].

Такие вот результаты дает так красиво звучащая, но в сущности своей фальшивая нравственная формула «не для себя, а для человечества». И вся ее фальшь начинается именно с этого «не для себя», с разделения и противопоставления «для себя» и «для других».

Совершенствование себя — через служение человечеству

Ошибочность противопоставления «для себя» и «для других», личного и общественного интереса была в полной мере осознана 17-летним Марксом. Он обращает внимание на то, что «служение человечеству», оторванное от личного интереса, становится ложной, фальшивой деятельностью: или иг-

[1] Добролюбов Н.А. Изрб. соч. М.–Л., 1948, с. 229.

[2] Там же, с. 227.

[3] См.: Писарев Д.И. Соч., т. 4. М., 1956, с. 50–85.

рой скоропреходящего «тщеславия» (неспособного питать напряженную, устойчивую работу по совершенствованию мира), или подневольным тягостным трудом (не дающим — в силу его подневольности — ни личного удовлетворения, ни серьезного общественно полезного результата).

Руководствуясь в своей деятельности этой ложной установкой, заключает Маркс, «вскоре мы почувствуем, что наши желания не удовлетворены, что наши идеи не осуществились, мы станем роптать на божество, проклинать человечество»[1]. И это, по Марксу, закономерный итог осуществления принципа, противопоставляющего «личный» интерес и «общечеловеческий», «наше собственное совершенствование» и «благо человечества». «Не следует думать, — пишет он, — что оба эти интереса могут стать враждебными, вступить в борьбу друг с другом, что один из них должен уничтожить другой»[2]. И далее развивается центральная и удивительно глубокая мысль, венчающая все рассуждения юного Маркса: «Человеческая природа устроена так, что человек может достичь своего усовершенствования, только работая для усовершенствования своих современников, во имя их блага»[3]. Только служа человечеству, можно совершенствоваться самому, иного пути подлинного самосовершенствования нет — вот установленный Марксом тип связи между «личным» и «общечеловеческим». Совершенствуя мир, человек тем самым совершенствует себя — эта мысль, высказанная 17-летним Марксом, станет одной из генеральных линий в философии и этике марксизма.

Правда, пока это была очень общая и очень абстрактная формула. Чего же недоставало в ней? Во-первых, было не раскрыто, не доказано, почему только путем совершенствования человечества человек способен усовершенствовать себя — в чем закономерность и необходимость такой связи. Иначе говоря, Маркс провозгласил, но пока не доказал это положение. И, во-вторых, в ней, в этой формуле, не было еще ответа на вопрос: каким образом можно определить пути и направления совершенствования мира, где почерпнуть указания на сей счет? Ответить на эти вопросы и означало в полной мере решить проблему смысла и целей человеческой деятельности.

Дон Кихот или серьезный борец?
(От романтики «должного» к реализму действительного)

Прежде всего жизнь заставляла Маркса ответить на второй, более конкретный вопрос: в каком направлении следует «совершенствовать» мир (в особенности тот мир, в котором он непосредственно действовал, — мир прусской монархии) и где почерпнуть знания об этом? Историю своих размышлений Маркс изложил в письме отцу, написанном 10 ноября 1837 года — два

[1] Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 40, с. 4.

[2] Там же, с. 7.

[3] Там же.

года спустя после школьного сочинения. Письмо отцу — важный жизненный знак, свидетельствующий, как далеко продвинулся Маркс за это время, впечатляющая автохарактеристика мыслительных рубежей, им достигнутых и преодоленных.

Рубеж первый — начало. Оно было весьма типичным для юноши, воспитанного в духе высоких идеалов честности, добра, отзывчивости, чести, всерьез, как руководство к жизни, воспринявшего мир высоких книжных истин, юноши, который, повзрослев, стал замечать грубую и низкую действительность, развивающуюся совсем по иным принципам. И Маркс так характеризует свое настроение того периода: «Нападки на современность, неопределенные, бесформенные чувства, отсутствие естественности, сплошное сочинительство из головы, полная противоположность между тем, что есть, и тем, что должно быть»[1].

Неприятие низкой действительности, протест против нее во имя высоких идеалов — чувство прекрасное и благородное. Но это, увы, наивное и бессильное благородство; оно слишком просто думает справиться с действительностью: зачеркнуть ее, отмести это несовершенное «сущее» и на его место поставить целиком новое, ослепительно чистое и прекрасное «должное», рожденное в голубых небесах чистой мысли (и почерпнутое отчасти из книг Канта и Фихте, под влиянием которых поначалу и находился Маркс).

Существующее выступало в этих представлениях, как нечто случайное, чего могло бы и не быть, как исторический казус, как заблуждение, как результат человеческого непонимания истины, неумения устроить жизнь в соответствии с ней или, наконец, как результат злого умысла отдельного человека или группы людей, стоящих на верху общественной лестницы.

Но первые же донкихотские попытки одним махом пересоздать действительность заканчиваются, естественно, конфузом, потому что действительность эта на деле вовсе не случайна, она — закономерный итог предшествующего исторического развития, она имеет серьезные и глубокие корни в массовом сознании и массовых интересах. Этот момент столкновения «высоких» (но нежизненных) идеалов и «низкой» (но имеющей прочную историческую обусловленность) действительности — серьезная проверка молодого человека. Это одна из решающих развилок на жизненном пути: по какой дороге двинется он дальше?

Многие, набив себе первые синяки и шишки, быстро «умудрялись»: спешили расстаться с «наивными» юношескими мечтаниями, всецело подчиняясь властному голосу «низкой» действительности, — во имя своего личного комфорта и благополучия. «Обыкновенная история» — так с грустью скажет о подобной эволюции русский писатель И.А. Гончаров.

Но есть возможность и принципиально другого выбора — того, который был сделан Марксом. Хотя, конечно, дался он непросто: ему предшествовал

[1] Там же, с. 9.

жестокий психологический и идейный кризис. «...Немало было проведено в течение первого семестра бессонных ночей, — исповедуется Маркс своему отцу, — немало было пережито битв, немало испытано внутренних и внешних побуждений... Я забросил природу, искусство, весь мир, а своих друзей я от себя оттолкнул»[1]. И первый итог: «завеса спала, моя святая святых была опустошена, необходимо было поместить туда новых богов»[2]. От искусственно сконструированных, от заоблачных идей «должного» Маркс «перешел к тому, чтобы искать идею в самой действительности»[3]. Это был громадный шаг вперед. Молодой человек поставил перед собой великую и реалистическую цель: найти в самой действительности рычаги ее преобразования. «Если прежде боги жили над землей, то теперь они стали центром ее»[4]. И Маркс четко формулирует для себя эту новую задачу: «... Нужно внимательно всматриваться в самый объект в его развитии, и никакие произвольные подразделения не должны быть привносимы; разум самой вещи должен здесь развертываться как нечто в себе противоречивое и находить в себе свое единство»[5]. Это был уже не восторженный язык категорических императивов «должного» Канта и Фихте, а спокойный и строгий язык философии Гегеля. Последняя все сильнее влияла на юного Маркса, прививала ему необходимые для всякого серьезного человека внимание и уважение к внутренней логике самой действительности, к ее объективным закономерностям.

«Я уже раньше читал отрывки гегелевской философии, — рассказывает Маркс отцу о том, как он «пришел» к Гегелю, — и мне не нравилась ее причудливая дикая мелодия»[6]. Но вот однажды он «захотел еще раз погрузиться в море» философского анализа и защитить кантовско-фихтевские позиции против Гегеля. «Я написал диалог почти в 24 листа: «Клеант, или об исходном пункте и необходимом развитии философии», — продолжает свой рассказ Маркс. И что же? «Это мое любимое детище, взлелеянное при лунном сиянии, завлекло меня, подобно коварной сирене, в объятия врага». «Мой последний тезис оказался началом гегелевской системы»[7].

Правильный философский подход, учил Гегель, отстоит «дальше всего от того, чтобы конструировать государство, каким оно должно быть... Постичь то, что есть, — вот в чем задача философии, ибо то, что есть, есть разум (*то есть необходимость, то есть то, что весьма основательно причинно обусловлено*)»[8]. Это чрезвычайно важная рекомендация: не «выдумывать», не

[1] Там же, с. 14.
[2] Там же.
[3] Там же.
[4] Там же.
[5] Там же, с. 10.
[6] Там же, с. 15.
[7] Там же.
[8] Гегель Г. Соч., т. VII. М.–Л., 1934, с. 16.

«конструировать» и не предлагать этих субъективистских «выдумок» и произвольных «конструкций» в качестве рецептов благодетельствования человечества, а изучать жизнь, реальность, открывая в ней необходимость, причинно-обусловленную связь. «...Философия, охватившая целый мир, восстает против мира явлений. Такова в настоящее время гегелевская философия» — этим, сделанным в 1839 году, выводом Маркс как бы подводит итог своей эволюции от философии «мира явлений» к философии действительного, реального мира[1].

Реализм, но не конформизм!

Но вскоре Маркс обнаруживает недостаточность и гегелевской философии. Гегелевская методология анализа реальной действительности с ее принципом «постичь то, что есть» содержит в себе одну, очень существенную опасность: выясняя причинную обусловленность возникновения той или другой исторической ситуации (а все имеет причину — даже самые темные, самые мрачные исторические события!), можно сбиться на оправдание данной ситуации, данных событий, на примирение с ними. К сожалению, гегелевская философия, так убедительно обосновавшая необходимость перехода от романтических грез к серьезному анализу реальной действительности, не давала лекарства против примирения со всякой действительностью.

Народ имеет такое правительство (или такое правление), какого он заслуживает, любил повторять Гегель. Иначе говоря, гегельянец мог неплохо показать, что всякая форма общественного правления не случайна, что она соответствует уровню развитости, уровню культуры, потребностей и интересов данного народа; но на основании чего данная социальная форма должна уступить место другой — ответить на этот вопрос для гегельянца было непосильной задачей. Нельзя же требовать создания правительства, которого народ «не заслуживает», которое не соответствовало бы уровню народных потребностей, опережало бы уровень народного сознания. По этой причине Гегель сам примирялся со всеми гнусностями современной ему прусской монархии, по этой причине политическими консерваторами были многие его ученики-эпигоны. Проблема, вставшая перед молодежью ряда европейских стран того времени, не желавшей примиряться с социальной несправедливостью, и состояла в том, чтобы, приняв на вооружение важный гегелевский принцип «постичь то, что есть», найти в самой действительности обоснование, почему «то, что есть» должно быть устранено и что должно появиться вместо него. Для этого надо было прежде всего найти слабое место, порок гегелевской философии. И Маркс находит: имя этому пороку — идеализм.

Да, Гегель сделал важное открытие — подметил, что история человечества — не цепочка случайных, произвольных действий, а закономерный про-

[1] Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 40, с. 109.

цесс, что в ней существует объективная, независимая от воли и желания людей закономерность, неуклонно, с железной необходимостью пробивающая себе дорогу. Но Гегелю не удалось открыть природу этой закономерности, понять ее. И поэтому он предположил, что существует некая сила, некая мировая воля, некий «разум», некая «абсолютная идея», которая и управляет историческим процессом, диктует ему свои законы. Гегель поставил перед человеком задачу: через изучение истории, представляющей собой зримое воплощение — «инобытие» — этой «абсолютной идеи», познавать ее «требования» и приспосабливаться к ним, строить в соответствии с ними свою деятельность.

Во всем этом Маркса не устраивало, во-первых, то, что объективные закономерности, сложившиеся в лоне «абсолютной идеи», можно устанавливать лишь post factum — задним числом, лишь после их реализации в человеческой истории; таким образом, гегелевская философия в определенной степени помогала понять «прошлое», помогала ответить на вопрос, почему «так произошло», но она была бессильна понять будущее и предсказать, что и почему «должно произойти»; это была философия, обращенная в прошлое, — прогрессивные же социальные силы нуждались в философии, устремленной в будущее. Во-вторых, гегелевская философия только провозглашала наличие объективной закономерности в истории, но не объясняла ее; нельзя же считать объяснением уверения в том, что развертывающаяся в истории логика сложилась в сфере высшего разума и что все в истории происходит так, а не иначе, потому что так ей на роду (то есть в лоне абсолютной идеи) написано. И наконец, в-третьих, Маркса не мог устроить фатализм гегелевской концепции: человек в ней выступал как пассивное существо, в задачу которого входило только постараться понять, «чего хочет» абсолютная идея, приспособиться к ее требованиям, подчиниться им и… полюбить свою судьбу, какой бы она ни была.

И автор, и действующее лицо одновременно

Задача, следовательно, состояла в том, чтобы, сохранив гегелевскую идею объективного и закономерного развития истории, раскрыть ее действительную природу, дать ей серьезное, строго научное обоснование и выявить действительное место и значение человека в определении путей исторического развития.

Эта задача была решена Марксом в работах «К критике гегелевской философии права» (1843 г.), «Нищета философии» (1847 г.), а также в написанных вместе с Энгельсом трудах «Святое семейство» (1845 г.), «Немецкая идеология» (1845—1846 гг.), «Манифест Коммунистической партии» (1848 г.).

Маркс устанавливает, что не воля, не красочные фантазии великих или невеликих людей творят историю, но и не сверхъестественный гегелевский дух управляет ею. Он приходит к выводу: источник общественного развития надо искать в более «прозаической», но зато и действительно всеопределяющей области — в практической жизнедеятельности людей, в способе про-

изводства ими материальных благ, исследуя «состояние промышленности, торговли, земледелия, общения...». А для этого надо было изучать прежде всего механизм производства средств, необходимых для удовлетворения потребностей людей в пище, питье, жилище, одежде и т.п. Такое же изучение показывает, что в этом «механизме» весьма существенную роль играют производительные силы, с помощью которых человек воздействует на природу, на окружающий его мир. Совершенствуясь, развиваясь, производительные силы для своего дальнейшего успешного функционирования требуют, чтобы люди, в свою очередь, изменили, усовершенствовали и тип своих общественных связей, своих социальных отношений, ибо прежний, устаревший характер социальных отношений и тип общественных связей людей не дает возможности наилучшим образом использовать развитые производительные силы. А «так как, — пишет Маркс в "Нищете философии", — важнее всего не лишиться плодов цивилизации — приобретенных производительных сил, то надо разбить те традиционные формы, в которых они были произведены»[1].

Это и было новое, материалистическое понимание истории: источником ее развития служит вполне земное и реальное противоречие между производительными силами и производственными отношениями, которое для своего разрешения настоятельно требует изменения социальных условий.

Отсюда перед человеком и возникает задача: «понять то, что есть» — понять, в чем состоит это противоречие, это в определенный момент возникшее и развивающееся несоответствие производственных отношений, то есть социального устройства, производительным силам. Отсюда возникает и новое, выработанное Марксом, понимание роли людей в общественном развитии. Субъективистскому романтизму и активизму (с его лозунгом: свободная воля людей всецело определяет путь социального развития; человек — всемогущий автор исторической драмы) и гегелевскому объективизму (с его принципом: человек — лишь актер, лишь действующее лицо исторического спектакля, сюжет которого пишется в лоне абсолютной идеи) Маркс противопоставляет положение, которое, на первый взгляд, звучит довольно странно: люди в одно и то же время и авторы, и действующие лица их собственной исторической драмы[2].

Возможно ли такое — чтобы люди были «определяемым», подчиненным фактором общественного развития и «определяющим» одновременно? Ведь если человек — «определяемый» фактор исторического процесса, то тогда «определяющим» может быть лишь то, что не есть «человек», лишь что-то стоящее над ним и подчиняющее его себе. Если же человек — «определяющая» сила, то как же он может быть «определяемым», подчиненным? И кому подчиненным? Может быть, самому себе? На самом деле должно быть что-то одно: человек — либо автор, либо актер, либо «определяемое», либо «определяющее».

[1] Там же, т. 4, с. 144.

[2] См.: там же, с. 138.

Между тем впечатление «странности» Марксовой формулы исчезнет, как только мы вчитаемся в авторские разъяснения и комментарии к ней. А суть этих разъяснений сводится к следующему.

Деятельность человека в целом определяется объективными условиями, сложившимися ранее к ее началу. Каждое поколение на любой ступени истории «застает в наличии определенный материальный результат, определенную сумму производительных сил, исторически создавшееся отношение людей к природе и друг к другу»[1]. Это и есть тот реальный базис, на котором развертывается деятельность любого поколения, не выбирающего произвольно, по желанию, условий своей жизни и труда, а получающего их как наследие прошлого. И человеческая деятельность не может быть чем-либо иным, кроме как реализацией возможностей, решением проблем и противоречий, порожденных данным базисом. В этом смысле человек и является действующим лицом, исполнителем предписанных базисом объективных требований.

Вместе с тем полнота, степень, скорость реализации этих объективных требований зависит во многом от поведения социальных групп, классов, политических партий и в первую очередь от глубины понимания революционным классом своих исторических задач, от уровня его организованности и сплоченности, от того, как ведет он свою повседневную политическую и экономическую борьбу. Иначе говоря, Маркс видит задачу не в том, чтобы уповать на стихийное движение «обстоятельств» самих по себе, а в том, чтобы, опираясь на эти обстоятельства, на эти объективные условия, обеспечить наиболее быстрое движение человечества по пути исторического прогресса, «сократить и смягчить муки родов нового общества». Объективизму с его лозунгом стихийности, мелкобуржуазному волюнтаризму с его культом «всемогущих социальных гениев» Маркс противопоставляет освещенную ясным светом сознания классовую борьбу, в ходе которой прогрессивные классы, опираясь на объективные условия (но не фетишизируя их), и творят историю, а поскольку ее конкретный облик формируется именно в ходе классовых боев, то в этом смысле марксизм имеет полное право говорить о человеке как об авторе разыгрывающейся исторической драмы.

Эта историко-материалистическая концепция, раскрывающая связь объективных обстоятельств и деятельности людей, показывающая, что «обстоятельства в такой же мере творят людей, в какой люди творят обстоятельства»[2], и стала у Маркса одним из важнейших общеметодологических принципов при анализе противоречий антагонистических формаций и поиске способов их разрешения.

Этот анализ, эти поиски позволили Марксу в середине 40-х годов XIX века сформулировать ответ на вопрос: в каком направлении должно быть преобразовано человеческое общество? Одновременно с антагонизмом классов,

[1] Там же, т. 3, с. 37.

[2] Там же, с. 37.

утверждал Маркс, развивались производительные силы, и один из классов, представляющий собой «отрицательную сторону общества, неуклонно рос до тех пор, пока не созрели, наконец, материальные условия его освобождения»[1]. И потому освобождение людей от эксплуатации, ликвидация классов — ближайшие главные преобразовательные цели. Им Маркс был верен до конца своих дней.

А теперь мы можем дать ответ и на другой вопрос, поставленный в начале статьи: почему, согласно Марксу, только путем «совершенствования человечества» человек способен «усовершенствовать» самого себя; в чем закономерность и необходимость такой связи?

Человек — это мир человека

Когда философы домарксовой эпохи хотели понять, в чем состоит сущность (или, как они выражались, «природа») человека, то обычно рассматривали человека как индивида — изучали его, индивида, интересы, стремления, потребности и т.д. Из «природы» индивидов они стремились понять сущность человека вообще и в соответствии с этой «природой» определяли смысл и задачи человеческой жизни и деятельности (на такой позиции стояли, в частности, знаменитые деятели французского Просвещения и ближайший философский предшественник Маркса — Людвиг Фейербах).

Маркс же доказал вещь на первый взгляд удивительную: через изучение (даже самое скрупулезное) индивидов к пониманию человеческой сущности не пробиться. Ведь чтобы понять сущность, «природу» человека, надо понять, как он действует, как он влияет на окружающий мир в целях удовлетворения своих потребностей. И вот тут выясняется, что, во-первых, средства, органы, с помощью которых он воздействует на мир, далеко не сводятся к его природным, его индивидуальным органам. Если на ранних этапах развития человек имел «в распоряжении» главным образом свои «естественные органы» (руки, ноги, зубы и т.д.), то затем в его деятельности все более возрастала роль механических средств. Человек, отмечал Маркс в «Капитале», «пользуется механическими, физическими, химическими свойствами вещей для того, чтобы в соответствии со своей целью применить их как орудия воздействия на другие вещи... Так данное самой природой становится органом его деятельности, органом, который он присоединяет к органам своего тела, удлиняя таким образом, вопреки библии, естественные размеры последнего»[2].

Создаваемые первобытным человеком молоток, рубило, лук являлись как бы продолжением и усилением его рук, ног, глаз. Молоток, рубило со временем превратились в мастерскую, фабрику, завод, систему промышленности, которые тоже являются не чем иным, как своеобразными, искусствен-

[1] Там же, т. 4, с. 143.

[2] Там же, т. 23, с. 190.

ными «органами» людей, средствами их воздействия на окружающий мир. Поэтому, если мы хотим понять «человека», нам и придется изучать всю эту сложную и разветвленную систему его «органов», то есть нам придется изучать, говоря словами Маркса, «мир человека»,

И, во-вторых, другой важный момент. Привести в движение эти свои могучие, разросшиеся искусственные органы человек сам по себе, в одиночку, не в состоянии. Он может это сделать, только соединившись определенным образом с другими людьми, т.е. вступив с ними в определенные отношения (среди которых главные — производственные). Общественные отношения, таким образом, — это тоже средство, тоже своеобразные органы, с помощью которых человек воздействует на мир. Вот почему Маркс именно в совокупности общественных отношений видит сущность человека. «...Сущность человека, — писал он, — не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений»[1]. Стало быть, фабрики, заводы, государство, соединенные определенным образом люди — это, по Марксу, и есть «я». Мое природное тело есть только частичка «меня». И так же, как я стараюсь содержать в чистоте свое тело — мою лицо, чищу зубы, стремлюсь, тренируя мышцы, совершенствовать свои естественные органы, точно так же я должен заботиться о совершенствовании искусственных органов — производительных сил и общественных отношений. Вот почему отдавать свою энергию, свое время делу развития производительных сил, культуры, улучшению общественных отношений, т.е. делу «совершенствования человечества», — значит работать на себя, а не на других, ибо другие есть не что иное, как продолжение, как часть тебя, и ты — часть других.

Однако это вовсе не значит, что человеческая индивидуальность растворяется в общем — в общественных отношениях и производительных силах, что она целиком сводится к этому всеобщему и что вследствие этого невозможно никакое разнообразие индивидуальностей, — упрек, который часто бросают марксизму буржуазные идеологи.

Нет, марксизм понимает всеобщее диалектически — как единство многообразного, марксизм утверждает, что прочность и богатство общественных связей и отношений находится в прямой зависимости от разнообразия вступающих в эти отношения индивидов. Тут глубокая диалектическая связь: лишь вследствие нарастания разнообразия среди людей (в области разделения труда, профессионализации, специализации и т.д.) возможно расширение и углубление социальной общности, но, с другой стороны, только в рамках и на базе ширящихся общественных связей и отношений может вырасти всесторонне и универсально развитая «прекрасная индивидуальность» (употребляя запоминающееся определение Маркса). Диалектика этой связи наиболее ярко выражена в знаменитой формуле «Манифеста Коммунистической партии»: «Свободное развитие каждого является условием свободного

[1] Там же, т. 3, с. 3.

развития всех»[1]. Таков тот рождаемый развитием действительности и формулируемый марксизмом идеал связи индивидуального и общественного.

Итак, по сущности своей, считает Маркс, противопоставление себя и других, себя и общества, себя и человечества — ложно. Но это не просто ложность рассуждений, не ошибка лишь сознания. Если это так, достаточно было бы ее осознать. И проблема, а вместе с ней и противоречие «для себя или для других» исчезли бы — единство личности и общества было бы осуществлено. Но дело как раз и состоит в том, что человек, трудящийся человек, реально, а не в воображении отчужден в антагонистическом обществе от своей собственной сущности: производительные силы принадлежат не ему, и над общественными отношениями он не властен. Мир человека в действительности (а не в воображении) — чужой для него мир. Это-то и показал Маркс, поставив задачу присвоения человеком своей собственной сущности. Значит, надо было не только осознать факт отчуждения, но и определить пути его реально-практического преодоления. И ведущим моментом здесь была не просветительская деятельность фейербахианского типа, не индивидуальное, нравственное совершенствование, не террористические акции против отдельных личностей, не благодетельствование большинства со стороны маленькой волевой группы политических заговорщиков, а массовая революционная борьба за отмену частной собственности, то есть за отмену элитарной, ограниченной собственности на всеобщее, общечеловеческое, принадлежащее по сути своей каждому человеку, — на общественные производительные силы.

Таким образом, борьба за присвоение трудящимися производительных сил и общественных отношений и есть процесс присвоения человеком своей сущности, процесс очеловечивания человека. Такая борьба и есть та деятельность, в процессе которой происходит совершенствование человеческого мира и каждого участвующего в ней индивида.

«Для себя» — значит «для других»

«Ниспровергнуть все отношения, в которых человек является униженным, порабощенным, беспомощным, презренным существом»[2], перестроить их так, чтобы человек стал высшим существом для человека, — вот в чем видел Маркс содержание деятельности, достойной человека. В этом видят смысл и цель своей жизни и ученики Маркса — коммунисты современного мира. Их твердость, последовательность и самоотверженность в борьбе за ее осуществление во многом связаны с тем, что цель выбрана ими не произвольно, а в результате глубокого, подлинно научного анализа многовекового исторического опыта человечества, анализа, впервые осуществленного в трудах Маркса. Да, сформулированная им цель — есть и результат длительного раз-

[1] Там же, т. 4, с, 447.
[2] Там же, т. 1, с. 422.

вития прогрессивной мысли, и задача, рождаемая логикой каждодневной практической борьбы трудящихся со своими притеснителями. К пониманию этой задачи приходят все более широкие массы.

Например, недавно в рабочем клубе одного маленького финского городка мне довелось беседовать с группой финских рабочих-коммунистов. Это были достаточно материально обеспеченные люди: некоторые приехали на нашу встречу на своих собственных автомашинах (небольших, недорогих, но на своих). Я спросил у них: «Как бы вы ответили на вопрос, который часто задают буржуазные теоретики (типа Гэлбрейта) или мелкобуржуазные (типа Маркузе): «Зачем рабочему, имеющему холодильник, телевизор, а то и автомашину, вступать в коммунистическую партию, бороться против капитализма, за социализм?»

Отвечая, рабочие упоминали о многом — и о дамокловом мече безработицы, висящем над головой каждого трудящегося, и о потогонной системе труда на капиталистическом предприятии, и о том, что капитализм не может дать прочного мира людям земли... Но среди прочих был один аргумент особенной силы и особенного звучания.

Да, современный капитализм (конечно, под напором нашей борьбы), перебивая и дополняя друг друга, горячо говорили одновременно молодой парень-слесарь и пожилой рабочий-строитель, может обеспечить работающего человека куском хлеба и даже с маслом на этом хлебе, в то и с сыром на этом масле; но нас капиталисты хотели бы превратить в хорошо откормленных животных, нас «смазывают» маслом так, как рачительный хозяин смазывает машину, чтобы она продуктивнее работала; к нам хозяева относятся как к машине среди других машин, как к станку среди других станков; мы лишены возможности реально влиять на ход дел на своем заводе, на судьбы своей страны; наш рабочий инструмент, станки, на которых мы работаем, эти наши механические руки, принадлежат не нам, а другому — капиталисту, и этот «другой» указывает, как нам ими двигать; мы же стремимся сами распоряжаться своими механическими руками, сами определять, что и во имя чего нам производить, — для этого мы и хотим ликвидировать частную собственность, чтобы перестать быть говорящими машинами и стать в полной мере людьми.

Так вот, по-рабочему, опираясь на собственный опыт, изложили финские товарищи цель, которую Маркс по-научному, по-философски формулировал как присвоение человеком своей собственной сущности, отчужденной от него антагонистическим способом производства. Жизненная, простая, ясная и достойная цель коммунистов, понятная и близкая каждому трудящемуся во всем мире, цель, в которой «для себя» и «для человечества» прочно слиты самым естественным образом.

* * *

«Если человек трудится только для себя, он может, пожалуй, стать знаменитым ученым, великим мудрецом, превосходным поэтом, но никогда не

сможет стать истинно совершенным и великим человеком,—писал юноша Маркс.—История признает тех людей великими, которые, трудясь для общей цели, сами становились благороднее; опыт превозносит, как самого счастливого, того, кто принес счастье наибольшему количеству людей…

Если мы избрали профессию, в рамках которой мы больше всего можем трудиться для человечества, то мы не согнемся под ее бременем, потому что она—жертва во имя всех; тогда мы испытаем не жалкую, ограниченную, эгоистическую радость, а наше счастье будет принадлежать миллионам, наши дела будут жить тогда тихой, но вечно действенной жизнью, а над нашим прахом прольются горячие слезы благодарных людей»[1].

Жить в соответствии с этими принципами—это и значит быть Человеком.

… У Тургенева есть стихотворение в прозе—«Порог». В нем говорится о революционерке, решительно перешагнувшей порог мещанского благополучия и вступившей на путь борьбы с социальным злом:

«Девушка перешагнула порог—и тяжелая завеса упала за нею.

—Дура!—проскрежетал кто-то сзади.

—Святая!—пронеслось откуда-то в ответ».

«Дураки», «святые»—так, по словам писателя, характеризовали революционеров разные круги общества.

—Ни то, ни другое,—скажем мы. Просто—нормальные люди, следующие естественному и почти очевидному принципу: «для себя»—значит «для людей».

[1] Там же, т. 40, с. 7.

В поисках идеала

глава 1. Социальный идеал Платона

Триединая дорога к идеалу
Через Искусство, Науку, Философию

Вот же ситуация! Безнадежная! Крутится беличье колесо режимов: демократия перерастает в тиранию, тирания сменяется «революционной диктатурой» (употребим современный термин!) тимократии, та, в свою очередь, уступает место олигархии, а олигархия устраняется демократией, которая вновь подготавливает почву для тирании... Вращаются жернова истории, перемалывая то там, то здесь появляющиеся слабые ростки надежд на достойную жизнь, руша попытки формирования человеческого бытия, в котором слились бы воедино Истина, Добро и Красота.

Ну, что же, не скули и не ной, — принимай реальность, как она есть. И — стоят Калликлы, Фрасимахи, Макиавелли и Михельсы олицетворением этой «железной», этой «беспощадной» логики «реальности» и смотрят иронически на Сократов и Платонов, протягивающих свои руки к бешено вращающимся жерновам, дабы приостановить их вращение и — в минуту приостановки — проскользнуть (вместе со своими согражданами) в щель между ними — в то желанное пространство, где царит Справедливость и Благо. Смирись, гордый человек! Оставь надежды, всяк сюда, в этот мир, пришедший!

Платон не приукрашивает ситуацию, не облегчает задачи поиска выхода. Он тысячекратно усложняет ее. Ибо это **он**, а не кто-то другой, — за 2000 лет до Макиавелли и за 2500 лет до Михельса — открыл эти «железные законы» вращения социального «колеса», это **он**, а не кто-то другой, описал беспощадность и мощь жерновов, смалывающих попытки выстраивать жизнь по законам Нравственности и Красоты. Это **он**, а не кто-то другой, высмеял наивные стремления Полемархов обосновать возможность жить «по Справедливости», по «законам Истины» в том, реально существующем обществе. Замкнутое, закупоренное со всех сторон пространство, в котором — беличье колесо и беспощадные жернова — все кажется тщетным и беспросветным.

Понятное и объяснимое состояние духа — после всех этих платоновских пассажей о кружении давящих Человека политических режимов, где только иногда, на переходах, в зазорах, вспыхивает надежда на приостановку этого бешеного «колесного» бега и, кажется, приоткрываются «окна», через которые можно выпрыгнуть в пространство иной, более достойной Человека, более соответствующей его «природе», жизни: вот — Тимократия, сметаю-

щая гнусности Тирании, вот — Демократия, поднимающая с колен угнетенных и превращающая их из «рабов» в «граждан», вот — Режим Сильной Власти, слепляющий клочки социальной материи, разрушаемой анархизмом... Вот-вот, еще несколько шагов, несколько усилий — и выскочим, выпрыгнем из этой «железной», антигуманной логики. Но «колесо» делает свой очередной дооборот — и с хрустом рассыпаются надежды...

Это в такие минуты — минуты гибели Сократа и их общих надежд — Платон впадает в депрессию и долгие годы не может придти в себя. Это в такие минуты — подавления (на первых порах) английским абсолютизмом оппозиции — Кромвель, утратив надежду на возможность продолжения борьбы, удаляется (как он полагал — навсегда) в деревенскую глушь. Это в такие минуты — краха либерально-локковских надежд на Свободу — Руссо пишет свои полные грусти и пессимизма сочинения (читая которые, по слову Вольтера, хочется встать на четвереньки и бежать в лес). Это в такие минуты — расставания с надеждою на скорую пролетарскую революцию (где-то в конце 70-х годов XIX века) — Маркс надолго откладывает в сторону работу над творением всей своей жизни — «Капиталом» и подолгу лежит на диване, решая алгебраические и шахматные задачки или читая по-французски «Трех мушкетеров». Это в такие минуты — летаргического сна мыслящей России (после поражения декабристов) — Герцен пишет: «Господи, какая невыносимая тоска!.. Неужели мне считать жизнь оконченною, неужели всю готовность труда, всю необходимость обнаружения держать под спудом, пока потребности заглохнут, и тогда начать пустую жизнь. Можно было бы жить с единой целью внутреннего образования, но среди кабинетных занятий является та же ужасная тоска. Я должен обнаруживаться — ну, пожалуй, по той же необходимости, по которой пищит сверчок, ...и еще годы надобно таскать эту тяжесть!»[1] Это в такие минуты — подавления самодержавно-милитаристской Россией всяких ростков свободы (в 1916 году!) — Ленин с грустью заметит: нынешнему поколению русских революционеров не дожить до желанной революции...

Настроение, накатывающее не только на Великих, но и на простых смертных. В минуты, когда перед глазами пробегает история России последних двух столетий — стоящий перед виселицей Достоевский, осужденный всего лишь за чтение (!) друзьям письма (!) Белинского Гоголю, погибшие в расцвете сил гении — Пушкин, Лермонтов, Есенин, Маяковский, Высоцкий, загнанный в Петропавловку 23-летний Писарев, убитый каторгой Чернышевский, вышвырнутые из страны Герцен, Огарев, Плеханов, терзаемые властями Толстой, Сахаров, Солженицын, разрушенный сталинской бюрократией величественный и многообещающий поначалу проект Социализма — проект человеческого Равенства, а следом за ним — порушенный экономическими мошенниками, политическими наперсточниками проект Либерализма (проект человеческой Свободы), когда перед глазами бегут выпрыгивающие из телевизора

[1] Герцен А.И. Соч. в 9 томах, т. 5. с. 91.

лица «знаменитых» правых, левых и всепобеждающих «центристов» — в такие минуты, приходя в аудиторию к своим студентам в Институте Философии, я... Дозволите процитировать начало одной моей недавней лекции?

Я начал ее с Пушкина:

Увижу ль, о, друзья, народ освобожденный
И рабство павшее и павшего царя?
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли, наконец, ***прекрасная заря***?

И после паузы: «***Не взойдет!.. Никогда!..***»

И снова — пауза, еще более длительная. «То есть вообще-то где-нибудь веков этак через десять может и взойдет что-то похожее на «зарю». Но это — через десять веков, что для нас с вами и означает — «никогда!». А на нашем с вами веку произойдет по-есенински:

И месяц будет плыть и плыть,
Роняя весла по озерам.
А Русь все так же будет жить,
Плясать и плакать у забора...

В общем, не бередите себе душу ожиданием «прекрасной зари». Прошу вас успокоиться: ***не взойдет***!

Мы ведь еще не забыли, как торопил ее восход, к примеру, Ульянов-Ленин, человек бешеного темперамента, невероятной энергии — не нам с вами чета, человек, к тому же опиравшийся на такие — созданные им — инструменты переделки действительности, как железнодисциплинированная партия, как беспощадная ЧК. Он буквально «за уши» тащил эту «зарю» из-за беспросветно темного горизонта.

1 октября 1917 года: «Дорогие товарищи, ... медлить — преступление... надо идти на восстание тотчас...»[1]

8 октября: «Окружить и отрезать Питер, взять его комбинированной атакой флота, рабочих и войска...»[2]

22–23 октября: «Ура! Наступать изо всех сил, и мы победим вполне в несколько дней!»[3]

Вечером 24 октября: «Надо во что бы то ни стало, сегодня вечером, сегодня ночью арестовать правительство, обезоружив (победив, если будут сопротивляться) юнкеров и т.д. Нельзя ждать, можно потерять все»[4].

[1] В.И.Ленин. ПСС, т. 34, с. 340–341.

[2] Там же, с. 383.

[3] Там же, с. 434.

[4] Там же, с. 435.

И — утром 25 октября: «Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой всё время говорили большевики, совершилась. Да здравствует всемирная социалистическая революция! (*Бурные аплодисменты*)»[1].

Ну и что? Что там Ленин вытащил из-за горизонта?... Да, поначалу мелькнуло что-то похожее на «зарю», но очень скоро черно-свинцовые, набухающие кровью тучи застлали все небо — от края и до края.

Не в-з-о-й-д-е-т !!!

Ну, тут я делаю совсем уже немыслимо длинную — поистине качаловскую — паузу и на несколько минут оставляю в молчании ошарашенную аудиторию. Пусть переварят сказанное, пусть подумают. Они же попривыкли к моему, в целом оптимистическому, окрасу лекций. Пусть же услышат и другую интонацию. Я, ведь, не эпатирую, не валяю дурака. Я все это — всерьез!

Да и мне самому надо перевести дух и подумать, как двигаться в нашей беседе дальше. Ведь, когда я, с такой твердостью, говорю, что «заря» не взойдет, я же и сам чувствую, что это — и так, и **не** так. Какая-то другая часть моей души, моего сердца и моего разума (мой «даймоний»!) восстает против этого утверждения: нет, нет, ты не вполне прав насчет «зари», ты слишком категоричен. Она все-таки может взойти и не через безнадежно далекое время. И с **этой** надеждой, с **этим** убеждением ты ведь сам постоянно живешь, и **этот** настрой ты должен передать тем юношам и девушкам, что ошарашенно сидят сейчас перед тобой. Не ты ли сам в заключительных абзацах своей книги «Дано иное» (1996 г.) написал:

«Есть где разгуляться пессимизму, есть от чего впасть в апатию: ни гуманистический социализм «с человеческим лицом», ни нормальная демократия, ни социальная рыночная экономика не складываются на нашей отечественной почве.

Я отдаю себе отчет в неизбежности нарастания таких умонастроений. И я не призываю к историческому бодрячеству, ибо понимаю: быстрых решений сегодня, действительно, нет. И все же дорогу — коротка она или длинна — осиливает только идущий. Приостановиться на мгновение, оглядеться вокруг, похоронить мертвых, расстаться с лжедрузьями, оплакать иллюзии и, подлатав экипировку, запасшись новым идейным провиантом, снова — в дорогу. Думать самому и подвигать к этому других, вновь и вновь слеплять атомы распавшейся материи низовой, массовой российской демократии, объединяя людей труда всех его форм и ветвей — интеллектуального, физического, управленческого, предпринимательского, художественного, твердо и мужественно следуя принципам вековой человеческой нравственности и нестяжательства. В общем, как советовали древние мудрецы, — делай, что должно, и пусть будет, как будет.

[1] Там же, т. 35, с. 2, 3.

И все же, и все же… Потенциал российской демократии, нравственные традиции русского народа столь велики и прочны, а сложившийся номенклатурный строй столь полон разрывающих его противоречий, что, **несмотря ни на что, я не расстаюсь с надеждой, что это демократическое «БУДЕТ» осуществится еще на нашем с вами веку, читатель»**[1].

Что же это за раздвоение мысли, раздвоение души? Да, припоминаю, — и не у меня только. И у Великих такое — едва ли не на каждом шагу. Что за раздвоение мысли и чувства у **Гоголя**? Его мертводушная Россия, в которой, кажется, нет никого, кроме Собакевичей, Ноздревых, Коробочек, Плюшкиных и Чичиковых, и вдруг Она — мчится птицей-тройкой по белу свету, и Ей, уважительно сторонясь, «дают дорогу другие народы и государства». Да откуда взялась эта волшебная тройка, откуда прыть-то у нее такая, и кто мчитто ее, сидя на облучке? Чичиков, Селифан, Ляпкин-Тяпкин?… Абсурд какой-то! Не эта ли раздвоенность сознания разрушила, в конце концов, гоголевскую психику?..

И всё же летит гоголевская мечта птицей-тройкой, вырываясь из этого мира Собакевичей и Хлестаковых, все-таки не застревает она в разбухших от грязи колеях российских дорог! И рядом с **пушкинским**, ясно слышимым, сомнением (взойдет ли «прекрасная заря»?) — звучит, как совершенно несомненное его же: «Товарищ, верь! **Взойдет** она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена!». И **Руссо**, со своими единомышленниками, не в лес, ведь, по-вольтеровски, рванул, а зажег Великую французскую революцию, и — понеслась над миром миллионоголосая «Марсельеза», и зазвенел под небесами не смолкающий вот уже несколько столетий клич: ***свобода! равенство! братство***! И **Маркс** предсказывал человечеству в совсем, совсем недалеком будущем ***скачок*** «из царства необходимости в царство свободы». И мрачнейший **Достоевский** все же заверил нас всех, что выход есть: «Красота спасет мир!».

Платон был первым в истории, кто явил миру образчик этой раздвоенности сознания и дал ключ к пониманию природы этой «раздвоенности».

Все просто. Есть логика будней, логика сиюминутности, логика «малого исторического пространства», логика сегодняшних условий и обусловленных ими возможностей. Некоторые и считают высшим проявлением «реализма» деятельность в рамках этих существующих «реальных возможностей». «Политика — есть искусство возможного» — торжественно (и не без самодовольства) формулируют они свое «реалистическое» кредо.

Но…

Но в той же самой реальности есть и другая логика — логика ***дальнодействия***, логика развития человеческой природы, далеко выходящая за рамки сегодняшних дней, логика Большого (можно сказать, — Космического,

[1] Водолазов Г. «Дано иное». М., 1996, с. 165.

Бесконечного) пространства. Человек — звено не только нынешних общественных отношений, он феномен не только настоящего. Он — явление, начало, истоки которого коренятся в бесконечно далеком прошлом, а результаты, векторы его деятельности уходят в бесконечно далекое будущее.

Еще раз: деятельность человека, его сознание определяются не только и не просто сегодняшними социальными условиями, но всей реальностью бесконечного бытия.

Да, бесконечность эта не может быть сосчитана, она не поддается четкому и строгому осмыслению. Знание о ней — всегда незаконченная, всегда открытая система. Но взгляд, устремленный к дальним горизонтам (а не утыкающийся в стенки вращающегося «беличьего колеса» современных возможностей), взгляд дальнодействия, взгляд, различающий далеко отстоящие от современности «цели» движения, **этот взгляд** (правильный или не вполне, ясный или более или менее туманный) — **он** способен скорректировать наши представления о «возможностях», **он** способен вывести человека за пределы стен современности, **он** способен поднять людей на деяния, которые кажутся утопическими, фантастическими, выходящими за пределы реализма. С точки зрения сиюминутности, с точки зрения малого пространства сегодняшнего бытия они выглядят **невозможностями**. Но только **они** дают шанс на то, чтобы шагнуть за узкий горизонт сегодняшних возможностей и обеспечить развитие человеческого сообщества. В **этом** — глубокий смысл знаменитого лозунга: «Будьте реалистами, требуйте невозможного!».

Это не утопическое развлечение, не пустая игра фантазии — рассмотреть и описать ту далеко отстоящую от нынешней ситуации «цель» развития, называемую **идеалом**, сообщить о нем людям, сформировать тягу к нему. Не будет идеала, не будет массовой тяги к нему — не будет никакого (ни большого, ни малого) движения по пути прогресса.

Эту задачу и решали в истории подлинно великие люди, подлинные властители дум, подлинные преобразователи — творцы дальнодействия, которых Платон именовал ***философами***.

«Политики» (обычные, нормальные, типичные политики) — это всего лишь маленькие ткачи, ткущие свою малую социальную ткань в пределах «возможного». Они сшивают, склеивают то там, то здесь рвущиеся ее части. Они реагируют на **сегодняшние** проблемы и интересы, стараясь держать общество на плаву экономической и социальной стабильности. Но даже в тех случаях, когда им это на какое-то время удается, — приходит все-таки день, когда они с удивлением, с грустью (а то и с негодованием) констатируют, что неожиданно (для них!) врываются какие-то неведомые, невесть откуда взявшиеся силы, которые рушат их, с таким «искусством возможного» выстраиваемые социальные изобретения. И тогда наступает время грандиозных, непредсказуемых, «невозможных» (с точки зрения прежней логики) сдвигов и переворотов — масштаба Английской, Французской, Русской (Октябрьской) революций, обрушения нацистской Германии или распада сталинско-брежневско-горбачевского СССР.

Великая Политика (Политика — с большой буквы) — это владение искусством ***невозможного***, это умение за бегом будней разглядеть глубинные течения, очертить далекие «цели» и идеалы.

Идеал

Вначале об идеале должно быть общее, самое общее представление. Не надо деталей жизнеустройства и быта, они — только помеха и причина недоразумений. Вначале — только общее звучание, вроде музыкальной симфонической темы — нечто весьма смутное. Но необыкновенно прекрасное и — плохо переводимое на язык строгих понятий и категорий.

Если совсем общо и коротко: **идеальное общество — то, где могут жить Сократы.**

Говоря «Сократы», я не о «гениях» веду речь. Гениальность — всего лишь **мера** (предельно высокая) того **качества**, которое я имею в виду. А качество это — человеческая **норма**. «Сократ» — это синоним всего лишь нормального (в высшей степени нормального) во всех отношениях человека. «Нормальный» — это открытый, дружелюбный, отзывчивый, добрый, честный, с развитым чувством достоинства, и, вместе с тем, скромнейший и деликатнейший человек (помните гегелевское: «Сократ — образец античной светскости», или кьеркегоровское: «Сократ — первый в истории интеллигент»?).

Я назвал лишь некоторые, первыми пришедшие на ум, черты человеческой «нормы». Каждый может назвать еще десяток-другой подобных черт, тут не требуется особой мудрости, они известны всем и каждому. В общем, нормальный человек — это человек, свободно и полно реализующий и развивающий свою природу, человек, не раздавленный, не деформированный несовершенными социальными условиями, человек, напрочь лишенный зависти, злодейских замыслов, корысти, желаний угодничать перед одними людьми и господствовать над другими.

Идеальное общество, стало быть, — это общество, в котором могут нормально жить нормальные люди, это **общество, где есть все условия для развития человеческой Нормы в ее высшие формы — Талант и Гений**.

Это и есть самое общее представление о человеческом общежитии. Это предощущение его сердцем, душой, каждой клеточкой тела.

Но ведь далее надо перевести этот язык Сердца на язык Разума. Эмоции — уложить в русло Логики. Смутные, «музыкально-симфонические» желания — воплотить в строгие, ясные, убедительные формы социальной организации. Гармонию поверить Алгеброй. Задача — и необычайно трудная, и (для большинства людей) — довольно скучная. Одно дело идеалы, рисуемые романтико-поэтическим воображением, и другое — обоснование этих идеалов законами бытия, обеспечение их экономическими программами и планами изменений политических структур. Тут придется переориентироваться с легкого и быстролетного чтения на слежение за неспешным разверты-

ванием логических посылок, на вдумчивое прослеживание аргументации, касающейся весьма прозаических и, вместе с тем, довольно сложных вещей. Путь к знанию здесь извилист и труден. Истину, понимание придется завоевывать, говоря великолепными герценовскими словами, «в поте мозга».

Тут, предупреждаю, понадобится основательное терпение. Специфика предмета, специфика решения задачи того требуют.

Вы помните, как досаждали платоновскому «Сократу» его нетерпеливые молодые собеседники: ну, не тяни, Сократ, не отвлекайся, ну, не вычерчивай ты нам свои причудливые интеллектуальные фигуры — то продвигаясь вперед, то останавливаясь и делая шаги назад, в сторону,.. ну, дай ты нам четкое и ясное описание своего представления об идеальном государстве, о совершенном обществе и расскажи нам четко, просто и ясно, откуда ты его почерпнул. Главкон просто умоляет Сократа не «уклоняться от вопроса, каким образом можно осуществить это государственное устройство»: «Пожалуйста, ответь нам не мешкая»[1]. Да что там «умоляет», просто требует — именем величайшего из богов: «Ради Зевса, Сократ, не отстраняйся, словно ты уже закончил рассуждение»[2], «не медли»[3].

А Сократ, вот поди ж ты, «отстраняется», а Сократ — «медлит», а Сократ все «мешкает» да «мешкает». Да еще как бы гордится своим «мешканием», своими замедляющими ход доказательств хитросплетениями, своими перепрыгиваниями с одного вопроса на другой: «Как лакомки, сколько бы ни подали к столу, набрасываются на каждое блюдо, дабы отведать его, хотя они еще недостаточно насладились предыдущим, так, по-моему, и я: не найдя ответа на то, что мы рассматривали сначала, а именно на вопрос, что такое справедливость, я бросил это и кинулся исследовать, будет ли она недостатком и невежеством или же она мудрость и добродетель. А затем, когда я столкнулся с утверждением, будто несправедливость выгоднее справедливости, я не удержался, чтобы не перейти от того вопроса к этому»[4].

Почему же это так «медлит», так «мешкает» Сократ, почему с одного вопроса (не решив его) перепрыгивает на другой и вновь возвращается к первому?

Да потому, что путь Сердца — прост и прям, а путь Разума — хитр и тернист. Тут все — словно в каком-то причудливом танце: шаг вперед, потом — в одну сторону, в другую, потом назад — один шаг, другой, и снова — вперед, и снова — влево, вправо... Некое как бы кружение на месте, но (и это заметьте!) с непременным, в конечном счете, продвижением вперед. А причудливость этого движения (что выглядит, как «мешканье», как «кидание» из стороны в сторону) объясняется тем, что всякий делаемый вперед шаг требует затем приостановиться, оглядеться вокруг, освоить обрамляющие этот шаг

[1] Платон. Государство, 472b.
[2] Там же, 506d.
[3] Там же, 472a.
[4] Там же, 354f.

справа и слева интеллектуальные пространства, в сопряжении с которыми сделанный шаг наполняется дополнительными смыслами и значениями, потом, с целью понять эти лево-правые пространства, — обратиться к их корням и истокам (т.е. повернуться назад) и, обогатившись знанием «корней» и развитых форм, причин и следствий на основном и сопутствующих направлениях, снова сделать шаг вперед (вступая уже в хорошо освоенные пространства), и далее — следующий, второй, шаг вперед с новыми лево-правыми зигзагами, новым отступлением и новым восхождением.

Ну, так вот «устроен» путь познания «идеала». Что же тут поделаешь? Хотите всерьез приобщиться к выстраиванию социальных образцов человеческого общежития — набирайтесь терпения. «Другого пути, — мог бы с полным основанием сказать Платон, — у меня для вас нет!»

Идеальное (совершенное) государство не выдумывается из головы, социальная «паутина» идеального государства не ткется так, как это делает паук — из себя вытаскивающий «строительный материал». Социальные нити идеального государства отыскиваются в реальности, в реальной истории человеческого общества и шире — в реальной истории Природы, Космоса, Бытия. Нет ничего легче, чем придумать идеальный человеческий мир — в виде молочных рек с кисельными берегами. И нет ничего бессмысленней таких занятий и ничего бесплодней такого рода мечтаний. Совершенное государство (у Платона) не плод неуемной (и в силу этого — пустой) фантазии, оно вырастает из скрупулезного изучения реальности. Идеальное государство не придумывается им, а открывается. Открывается в тех намеках на него, что содержатся в логике Социального и Природного Бытия. Намеки на идеал отыскиваются в мусоре и различных, создаваемых несовершенной деятельностью людей нагромождениях реального Социального процесса, в многообразии случайностей Природного процесса. Там отыскиваются строительные камни идеала и из них выстраивается целостный проект идеального сооружения — для воплощения его в жизнь.

«Идеал», «совершенство» — полностью реализованная идея («замысел»), заложенная в той или другой вещи, в той или другой системе вещей и явлений. (Идеальная яблоня, например, — та, что в срок покрывается ярко-зелеными листьями, в срок цветет душистыми белыми цветами и плодоносит крупными и сочными плодами. То есть — яблоня, соответствующая своей сущности, своему «назначению», своей «идее» — примерно такая, что тянется своими ветвями с наливающимися на них яблоками в окно моего загородного летнего домика, где я сейчас и пишу эти строки. Потому, кстати, и ворвалась она примером в мои писания).

Мы уже описывали важную часть процесса движения познания к открытию «идеи» той или другой вещи, того или другого явления. Мы обращали внимание на то, что начало такого открытия — в тщательном изучении ситуации возникновения, становления данной вещи (явления). Именно тогда, в этот момент существует наилучший шанс для открытия того, для чего возникла данная вещь, какую функцию она выполняет в системе других вещей

и явлений, каков ее «замысел», ее «идея». Мы говорили, что важно, далее, внимательно проследить — в каких формах наиболее полно реализуется ее «назначение», как постепенно раскрывается заложенная в ней «сущность», как исходная «клеточка» последовательно порождает развитый организм.

И в связи с этим мы отмечали, как таким путем отыскиваются важные черты совершенного государства. Сейчас мы попытаемся расширить и углубить представления о механизме поиска «идеи» вообще и «идеала» совершенного государства, в частности и в особенности.

Анализ возникновения, становления предмета должен быть дополнен анализом того, какое место занимает данный предмет («вещь», «явление») в более широкой системе связей предметов и явлений, какова специфическая роль его в жизни, функционировании и развитии всей данной системы. А «данная система» — это и ближайшая система связей и отношений, и более далекая, более масштабная система (в которую включена «ближайшая»), и сверхдальняя (в пределе — Система систем, Система всей Природы, всего Бытия).

Стало быть, если мы хотим по-настоящему (т.е. «абсолютно») понять сущность и «назначение» данного предмета, то должны последовательно подниматься по ступеням систем — от более узких и простых ко всё более сложным и широким (вплоть до предельно широкой — Системе систем) и понять его место в этой Системе систем — в Системе Мироздания, Системе Бытия.

Совершенное, идеальное государство, тем самым, — это то, что в наибольшей степени отвечает своему назначению, как одного из элементов Бытия.

И вот теперь — очередной, важный, шаг в цепочке Платоновых рассуждений. Для Платона Природа, Космос, Мироздание, Бытие — это не простая сумма, не механическая совокупность конкретных вещей, предметов, явлений. «Устроитель», «устроивший космос», «пожелавши возможно больше уподобить мир прекрасному и вполне совершенному среди мыслимых предметов, устроил его как единое видимое живое существо»[1]. Усмотреть в невероятном многообразии Вселенной органическое Единство, представить Мир как единый организм, разглядеть за совокупностью бесчисленного множества конкретных предметов «тело Вселенной»[2] — это грандиозная мысль.

Бытие у Платона, таким образом, — это единый организм, это органическое тело, которое, как и всякое тело, как и всякая — большая или малая — система, имеет свою «сущность», свою «цель», свое «назначение, короче — свою «Идею». На эту «Цель», на эту «Идею» должны работать все элементы бытия. Идеальный предмет (в том числе, идеальное государство) — это тот элемент, который наиболее полным, наиболее совершенным образом работает на Систему, на «идею» Бытия.

Таким образом, другая, параллельная, дорога к познанию назначения (идеи) данного предмета, явления пролегает через открытие Идеи Бытия и

[1] Платон. Тимей, 30c, d.

[2] Там же, 32c.

понимание того специфического места, которое занимает изучаемый предмет в реализации этой Всеобщей Идеи.

Эту Идею («Замысел», «Назначение», «Сущность») Бытия Платон именует **Благом**.

Кажется, методология поиска идеального состояния предмета (в нашем случае — Государства) теперь совершенно ясна: вначале определяем содержание, интенции Блага, т.е. — Идею Природы, космоса, бытия; потом рассматриваем, какими должны быть те конкретные предметы, чтобы Благо могло быть реализовано наиболее полным и эффективным образом. В частности, — каким, в русле реализации всеобщих «целей» Блага, должна быть организация человеческого сообщества, государства.

Так вот: это — обманчивая ясность. Дело обстоит совершенно не так.

Не так — ибо в этом случае чрезмерно большую смысловую нагрузку несет знание Блага, между тем как возможности его познания весьма ограничены. Вы представляете: прежде, чем начинать устраивать совершенное государство, вы должны определить, в чем Смысл, в чем Идея Бытия (и не человеческого только, а Бытия вообще)! А много ли мог сказать что-нибудь более или менее определенное на сей счет человек эпохи Платона? Да и возможности познания всего этого современным человеком не слишком-то расширились. В результате мы либо обречены всю жизнь потратить на отыскание этих высших «целей» Бытия (без всяких шансов на то, чтобы выкроить время для познания и совершенствования тех общественных отношений, в которых живем), либо — в стремлении высвободить время для конкретной социальной деятельности — попытаемся быстренько состряпать примерное представление об этих «целях» (некую гипотезу, неизбежно весьма произвольную) и получим, в итоге, некий суррогат знания, которое (по причине его приблизительности и произвольности) весьма опасно применять в конкретной деятельности.

Да, конечно, основной тезис — верен: человеческая деятельность должна сопрягаться с Благом (с Идеей, заложенной в Бытии). Но как конкретно и как эффективно обеспечить это сопряжение?

Только той сложной системой познавательных движений, о которой мы уже писали: вперед, в стороны, назад, снова вперед. Конкретно, по-видимому, это должно выглядеть так. Начинать надо не с попыток познания Блага (в его «самости», в его «сущности», в его «идее»). Начинать надо с изучения и познания того, что находится непосредственно перед глазами — с изучения тех звеньев Бытия, которых вы являетесь современником и «соучастником». Осваивать Бытие следует не с его Начала (где, в какой бесконечной, туманной дали пребывает это его «Начало», как до него дотянуться, как его угадать?) и не с его Конца (попробуй установить его «конечные» Смыслы и Цели!). Начинать надо со «срединных звеньев» — со своей эпохи, осторожно и по мере возможностей раздвигая пространство познаваемого и познанного к «Началам» и «Концам».

Навсегда врезалось в память, как Джавахарлар Неру писал из британской тюрьмы своей четырнадцатилетней дочери Индире письма о Всемирной ис-

тории и как формулировал он свою познавательную методологию (цитирую по памяти, хранившей это порядка пятидесяти лет — тут важна не точность слов, а точность передаваемого смысла, за что ручаюсь): я, писал Неру, не углубляюсь в вопросы о правильности или неправильности той или другой философской концепции, не касаюсь их представлений об основах Мира, Мироздания, я не оперирую такими предельно широкими обобщениями, как Материя или Сознание, я не ищу смыслов и целей, заложенных во Вселенной, да даже не размышляю над тем, есть ли вообще у Вселенной эти «смыслы» и «цели» — ибо все это непроверяемое и недостижимое знание. Я начинаю с Середины, со срединных звеньев мировой цепи явлений — с событий доступной нашему познанию части мировой социальной истории и через них буду открывать, «угадывать» более далекие тенденции развития.

Да, именно так: начинать надо со «срединных звеньев» и отсюда двигаться — насколько возможно — к Началам и Концам, после чего снова и снова возвращаться к «середине», к своей эпохе, своему времени.

«Срединные звенья» Платона

Итак: прежде всего — разглядеть то, что перед глазами, а потом уже двигаться к горизонту и за горизонт.

А перед глазами — несколько десятков греческих полисов. Перед глазами — несколько вариантов построения полисных систем: тирания, тимократия, олигархия, демократия... И все — «неудачные», все формируют условия, в которых тяжело живется. В которых трудно дышится большинству людей. Это все больные социумы. Но в этих болезненных организмах можно различить здоровые клетки, здоровые, хорошо функционирующие органы, можно уловить тенденции, опираясь на которые, развивая которые возможно двигаться от «больных», деформированных человеческими неумелостями и невежеством, государств к более или менее «здоровым», более или менее «нормальным». В искривленном, покореженном общественном сознании можно выделить некоторые, возвышающие человека, ценности. А развив и обогатив их, — можно выработать систему жизненных принципов и ориентиров, реализация которых сделает людей счастливыми.

Эта новая система прекрасных и перспективных ценностей отыскивается и формируется постепенно, исподволь, поначалу — на эмоционально-интуитивном уровне. Она живет в народных традициях, сказаниях и мифах, выглядит поначалу сказочным, прекраснодушным фантазерством. Но эти сказки, мифы, колыбельные песни матерей закладывают основы высоких, возвышенных ценностей — пусть часто не соприкасающихся с реальностью, но в мечте, в фантазии возвышающих Душу.

Вообще эти первичные представления о Прекрасном (и шире — о Добре и Красоте) формируются, по большей части, **Искусством**. Искусство — главное пространство формирования человеческой Души. Не с мудрых (а то

и мудреных) сентенций Гераклита, Анаксагора, Фалеса, Пифагора начинается воспитание чувств и формирование нравственных ориентиров людей. Без Фалесов и Гераклитов серьезному человеку, конечно, не обойтись. Они к нему придут, но придут на помощь чувствам в более зрелые годы жизни индивида. Первоначальный же нравственный мир человека, его мировоззренческие установки формируются, повторяю, под воздействием художественных творений. В Древней Элладе это были, прежде всего, творения Гомера. Его напевные стихи шепчут матери над детскими колыбелями, их учат наизусть юноши, они — обязательный атрибут всех праздников, встреч и бесед. Не случайно так часто будут цитировать поэта(!) Симонида собеседники Сократа в платоновом «Государстве», обсуждая содержание понятий «справедливости», «добра» и т.п. Не случайно так много страниц в «Государстве» Платон посвятит программе воспитания чувств молодежи посредством Поэзии, Музыки, Живописи...

Пропущенные через поэтически-романтический фильтр, хранимые в душах людей ценности будут проходить далее проверку философией, логикой, наукой. И, интуитивно рожденные, получив одобрение и поддержку теории, эти ценности становятся основой уже значительно более прочной формы освоения мира — убеждением.

Так, на базе анализа срединных звеньев рождается все более основательное представление о «совершенном» — «совершенном обществе», «совершенном государстве», «совершенном человеке». Так, постепенно, формируется все более глубокое знание о сущности, о существенных признаках и атрибутах «идеального», «совершенного» общества.

Я уже писал, что на уровне интуиции, на эмоционально-художественном уровне совершенное общество предстает как общество, где есть все условия для развития человеческой нормы в ее высшие формы — Талант и Гений. А дальше... А дальше в дело вступает рационально-рассудочный анализ, который и должен прояснить и конкретизировать, о каких условиях может идти речь.

Такова нормальная логика анализа, таковы ступени движения человеческого чувства и человеческого разума от поверхности явлений к их сущности.

По таким именно ступеням и шагал Платон, ведя за собой читателя.

Вы помните, как в «Государстве» завязывается разговор о честности, правдивости, справедливости, о том, что составляет суть «порядочного человека»[1], о высших жизненных ценностях? Все начинается с... поэтических цитат! Со ссылок не на ученых, не на философов, не на политических деятелей. На поэтов! Спорящие вглядываются в их тексты, скрупулезно анализируют их художественные образы и идеи. Начинающий разговор старый Кефал обозначает проблему поэтическими строками из Пиндара[2]. У Пиндара черпает он аргументы в пользу праведной, наполненной справедливыми по-

[1] Там же, 331b.

[2] Там же, 331a.

ступками, жизни: «Кто не знает за собой никаких несправедливых поступков, тому всегда сопутствует отрадная надежда, добрая «кормилица старости», как говорится и у Пиндара. Превосходно он это сказал, Сократ, что кто проводит жизнь праведно и благочестиво, тому

Сладостная, сердце лелеющая сопутствует надежда,
Кормилица старости;
Переменчивыми помыслами смертных
Она всего более правит.

Хорошо он это говорит, удивительно сильно»[1].

Полемарх, принимающий эстафету разговора от отца, начинает свою речь ссылкой на другую поэтическую знаменитость — на «мудрого и божественного» Симонида[2]. Не обойдется и без обязательного в подобных беседах Гомера: эпизоды из «Одиссеи» позволят расширить и углубить разговор о справедливости[3]. А потом еще там будет Софокл[4], Гесиод[5]...

Красота, сила, масштабность, афористичность поэтических формул затрагивают чувства человека, касаются струн его сердца и дают первый толчок его представлениям о Прекрасном, о Добре, о Зле, о Справедливости. Но это, подчеркивает платоновский Сократ, лишь начало пути, лишь завязь проблем и вопросов: «Симонид дал лишь поэтическое, смутное представление того, что такое справедливость»[6].

Поэтичное, эмоциональное, прекрасное, но, с точки зрения разума, смутное, представление должно быть прояснено. Человеку, желающему понять логику Бытия, желающему осмысленно и конструктивно преобразовывать социальный мир, желающему быть архитектором истории, придется от поэзии переходить к прозе — в прямом и переносном смысле этого слова. Такой человек не имеет право засыпать над «скучными» экономическими таблицами, над сухими строками социальных проектов и политических программ.

Срединные звенья: от поэзии к прозе, от языка чувств к голосу рассудка

Вы не забыли: совершенное общество — то, где есть все условия для развития человеческой нормы в ее высшие формы — Талант и Гений? Какие же это «условия»?

[1] Там же, 331a,b.
[2] Там же, 331d, 332a.
[3] Там же, 334b.
[4] Там же, 328e, 329a, b, c.
[5] Там же, 328e.
[6] Там же, 332c.

Платон переходит с языка чувств, эмоций, интуиции на строгий язык Рассудка, на язык теоретического анализа. Язык Искусства сменяется языком Науки. (Забегая вперед, скажу, и на это прошу читателя обратить особое внимание: Платон поднимется потом на еще одну, завершающую, ступень познания — Ступень Разума. Искусство и Наука будут увенчаны Философией). Итак, о некоторых важнейших условиях осуществления идеального государства, открываемых научно-теоретическим анализом Платона.

Первое условие (и первая ипостась) совершенного общества — ***свобода***.

Свобода

«Это сладкое слово — Свобода», — говорим мы сегодня. Сладость свободы ценил и Платон: «Человеку надо быть свободным и больше всего страшиться рабства»[1].

Человеку надо быть свободным, как свободным был Сократ — свободным в суждениях, поведении, поступках. Его нельзя было заставить, принудить делать то, что он не желает делать — по причине несоответствия требуемого человеческой природе, человеческой норме.

Его нельзя было заставить — когда он, в порядке очередности, оказался эпистатом (дежурным главою афинского Совета) — способствовать незаконному и несправедливому вынесению смертного приговора афинским стратегам по надуманному предлогу. И был он тогда один против всех, и эти разгоряченные и разбушевавшиеся «все» грозили ему за его несогласие суровой карой[2].

Его нельзя было заставить участвовать в выполнении жестокого и необоснованного приказа правителей Афин об аресте и доставлении в суд (для последующего вынесения смертного приговора) добропорядочного, но неугодного правителям, гражданина Афин — Леонта Саламинского. «Когда вышли мы из Круглой палаты, — вспоминал Сократ, — четверо из нас отправились в Саламин и привезли Леонта, а я отправился домой. И по всей вероятности, мне пришлось бы за это умереть, если бы правительство не распалось в скором времени»[3].

Его невозможно было превратить в угодника власть имущих, его невозможно было заставить прогнуться перед ними — даже при смертельных угрозах. Когда «коллегия Тридцати», как это и свойственно стремящимся к абсолютной власти тиранам, уничтожала «самых выдающихся» афинских граждан, ожидая в этих случаях славословия и рукоплесканий от затравленных и запуганных афинян, Сократ не побоялся (в свойственной ему словесной манере) дать публичную оценку деятельности этих руководителей: «Странно было бы, мне кажется, если бы человек, ставши пастухом стада коров и уменьшая

[1] Там же, 181.

[1] Платон. Апология Сократа, 32b.

[1] Там же, 32d.

число и качество коров, не признавал себя плохим пастухом; но еще страннее, что человек, ставши правителем и уменьшая число и качество граждан, не стыдится этого и не считает себя плохим правителем государства»[1]. О такой «антиафинской агитации и пропаганде» (пардон за использование современной, но очень подходящей к той давней ситуации, лексики!), разумеется, было немедленно донесено бдительными гражданами главным лицам тиранической тридцатки — Критию и Хариклу. И те, естественно, не преминули призвать прямодушного старца пред свои светлые очи, и «запретили Сократу разговаривать с молодыми людьми» (пока, отметим, правители пробавлялись угрозами, и до казни Сократа было еще что-то около пяти лет). И вот он, оставленный нам Ксенофонтом разговор Сократа, человека Свободы, с людьми, олицетворяющими собою Насилие (к слову сказать, — образец того, как возможно сохранять чувство высокого человеческого достоинства перед всесильными властвующими негодяями; это — наглядный урок того, как не выглядеть жалким, как, будучи абсолютно беззащитным, суметь выставить правящих тиранов в совершенно комическом, совершенно идиотском виде, — когда они сами вдруг ощутили свое полное ничтожество перед стоящим перед ними «слабым» человеком — примерно так, как несколькими веками позднее чувствовал себя «всемогущий» римский прокуратор Пилат перед пытаемым прокураторскими палачами Христом!).

Итак, они грозно запрещают Сократу «разговаривать с молодыми людьми» (какой-то они там даже «закон» придумали о запрете подобных разговоров). Сократ не буйствует в ответ, не прибегает к истерическим протестам (удел слабонервных!). Он весь покорность и деликатность, он, конечно же, готов к исполнению законов и приказов этих облеченных властью грозных людей. Только... Сократ этак тихо и вежливо спрашивает: «Можно ли предложить им вопрос по поводу того, что ему непонятно в этом запрещении». Ну, готов человек подчиниться, практически безропотно. Он только вот смиренно просит разрешения кое-что уточнить — дабы он смог наиболее точно и полно исполнить предписание высокочтимых руководителей. О, ну, раз так, раз так смиренно, то — пусть: «Они отвечали, что можно».

«Хорошо, — сказал Сократ (*продолжая свою дьявольскую игру в покорность и деликатность*), — я готов повиноваться законам; но чтобы незаметно для себя, по неведению, не нарушить в чем-нибудь закона, я хочу получить от вас точное указание вот о чем. Почему вы приказываете воздерживаться от искусства слова *(видите, как, кстати, это изящно выражено: не «почему вы ограничиваете мою свободу высказываний?» и не «на каком основании вы мне затыкаете рот?», а почему, вот, от некоего «искусства слова» вы предлагаете мне «воздерживаться»; какой он милый и деликатный, какой «белый и пушистый»!)* — потому ли, что оно, по вашему мнению, помогает говорить правильно, или потому, что неправильно? Если — говорить

[1] Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, 1, 11, 32.

правильно, то, очевидно, пришлось бы воздерживаться говорить правильно *(Харикл начинает потихоньку закипать: он никак не должен выглядеть человеком, запрещающим говорить «правильные вещи»)*; если же — говорить неправильно, то, очевидно, надо стараться говорить правильно *(т.е. тогда надо не запрещать говорить вообще, а советовать говорить* ***правильно****; так я понимаю смысл ваших рекомендаций, уважаемые граждане диктаторы?)*».

«Харикл *(естественно!)* рассердился и сказал ему: "Когда, Сократ, ты это не знаешь, мы объявляем тебе вот что, для тебя более понятное, — чтобы с молодыми людьми ты вовсе не разговаривал». Вот это «по-ихнему», по-тирански — без всяких там лицемерностей и двусмысленностей. Вынудил-таки Сократ тиранов сбросить маску благочестия и показать истинное лицо: приказываем тебе прекратить свои беседы-разговоры, правда, еще с некоторой, смягчающей приказ, добавкой: запрещаем разговоры — «с молодыми людьми». Значит, еще не полный мрак, не полный запрет: значит, вроде, с «немолодыми» говорить не запрещается, и, значит, не такие уж они мракобесы, эти тираны, никакие они не принципиальные противники свободы высказываний; просто, вот, заботятся о неокрепших еще умах, только и всего. Нет, Сократ не согласен подыгрывать им в сохранении более или менее приличного облика. Процесс стягивания лицемерных масок продолжается: «На это Сократ сказал: "Так чтобы не было сомнений *(о, он по-прежнему — воплощение покорности!)*, определите мне, до скольких лет должно считать людей молодыми". Нотки хорошо упрятанного «искусством слова» издевательства слышны тут, впрочем, уже весьма отчетливо. Харикл это, конечно же, ощущает, но придраться не к чему, и он вынужден отвечать на «дурацкий» вопрос Сократа: «До тех пор, пока им не дозволяется быть членами Совета, как людям еще не разумным; и ты не разговаривай с людьми моложе тридцати лет». О-хо-хо! Харикл уже зело смешон и жалок — втянул его Сократ в какой-то омут нелепостей: до тридцати, стало быть, с человеком не разговаривать, а исполнится ему тридцать лет и один день — значит уже можно начинать с ним разговоры? Так, что ли? Тиран, властитель, назначение которого с помпезным видом изрекать значительные вещи, вдруг должен что-то мямлить насчет того, что вот тогда-то нельзя говорить, а через день — можно. И — втягивается в этот дурацкий подсчет дней — когда можно, когда нельзя. Представляю, какими выпученными — от растерянности и одурения — глазами смотрел на почтительно стоявшего перед ним Сократа. А от того — никакого сочувствия, никакой пощады: он заходит с другой, третьей стороны — все также почтительно, все так же деликатно: «И когда я покупаю что-нибудь, если продает человек моложе тридцати лет, тоже не надо спрашивать, за сколько он продает?».

Могу представить себе, как зачесались руки у тщеславного, дурачимого Харикла, представляю, как захотелось вдруг треснуть этого деликатно-наглого старца по лысине — да так, чтобы он больше слова пикнуть не мог. Но — нельзя, это было бы еще большее унижение — следствие его, хариклой, полной беспомощности (тут же стоят свидетели — как же можно перед ними так бездарно валиться с пьедестала величия!). Надо сделать вид, что ника-

кого внутреннего насмехательства над ним не происходит, что идет спокойный, серьезный, проясняющий суть дела разговор: надо спокойно ответить и быстро свернуть его. «О подобных вещах можно»,—отвечает Харикл (наверное, ощущая холодный пот, выступивший на его спине: о, боги, о каких вещах его, великого, может быть, даже величайшего в истории, политического деятеля, заставляет говорить этот проходимец, это ничтожество в рваном плаще,—о том, имеет ли он, это ничтожество, право спрашивать у продавца «моложе тридцати лет», за сколько тот что-то там продает...). И чтобы не выглядело всёе настолько уж мелко и пошло, добавляет назидательно и с важным видом: «Но ты, Сократ, по большей части спрашиваешь о том, что знаешь; так вот, об этом не спрашивай!». И все! И на этой, все-таки не слишком жалкой, ноте разговор должен быть закончен. За ним, за Хариклом—последнее и серьезно-назидательное слово! Но Сократ (ну, полный мерзавец, ну, неисправимый негодяй!) с еще большей почтительностью реагирует: «Так, и не должен я отвечать, если меня спросит молодой человек о чем-нибудь мне известном, например, где живет Харикл или где находится Критий?».

Скрипнул зубами Харикл, отвечать—глупо, не отвечать—еще глупее. «О подобных вещах можно»,—бросил Харикл, собираясь величаво развернуться и уйти с гордо поднятой головой (что, впрочем, уже не скрыло бы его позорного бегства от покорного и вежливого собеседника).

И тогда вмешался наблюдавший за всей этой сценой Критий (надо же спасать лик грозной и величественной диктатуры!): «Тут (*продолжает свой рассказ Ксенофонт)* Критий сказал (*я же думаю, что—не «сказал», а, потеряв терпение, рявкнул; хватит, деликатности в сторону!*): “Нет, тебе придется, Сократ, отказаться от всех этих сапожников, плотников, кузнецов: думаю, они совсем уже истрепались оттого, что они всегда у тебя на языке”».

Не испугался, не стушевался, не дрогнул Сократ, не произвел на него большого впечатления начальственный окрик: «Значит (*отказаться*) и от того, что следует за ними,—от справедливости, благочестия и всего подобного?».

Так потихоньку да полегоньку подобрался Сократ к самой сути разговора—открылась его тщательно заслоняемая словесными выкрутасами тайна: не о запрете каких-то там бесед с неокрепшими молодыми умами идет речь, а о требовании прекратить «агитацию и пропаганду» в пользу «справедливости, благочестия и тому подобного». Вот во имя чего пытаются заткнуть рот Сократу! И потерявший над собою контроль Харикл рычит: «Да, клянусь Зевсом (*т.е. признает именно эту суть разговора*)—и от пастухов (*откажись!*); а то, смотри, как бы и тебе не уменьшить числа коров». Вот такая теперь полная ясность: приказываем тебе замолкнуть, не послушаешься—уничтожим.

«Тут и стало ясно (*заключает Ксенофонт*), что им сообщили рассуждение о коровах и что они сердились за него на Сократа»[1].

[1] См. Ксенофонт. Сократические сочинения. СПб., 1993. Воспоминания о Сократе. I, II. с. 31–51.

Да, свободного, свободолюбивого человека легче убить, чем заставить служить не-свободе. В этот строй — строй «благочестия, справедливости и свободы» — Сократ поставлен Богом. И «если бы теперь, когда меня Бог поставил в строй, обязав, как я полагаю, жить, занимаясь философией и испытуя самого себя и людей, я бы вдруг испугался смерти или еще чего-нибудь и покинул строй, это был бы ***ужасный поступок***»[1].

«***Свобода — прекрасное, великое достояние как отдельного человека, так и целого государства***»[2].

Это — девиз Сократа. На этом стоял Платон.

Другая ипостась Платоновского Идеала — ***равенство***.

Равенство

Хорошо смеяться среди равных!
(из древнегреческих афоризмов)

Вот как об идее Равенства начинает Платон свой разговор в «Государстве».

«Сократ» (кавычки означают, что речь идет о *платоновском* Сократе — персонаже «Государства») — Адиманту: Ты знаешь, что «портит» людей?[3].

Тут обязательна пауза. И довольно длительная.

Тут с ответом нельзя спешить — пропадет его неожиданность, нестандартность, его фундаментальная значимость. Быстрый ответ тут будет выглядеть как очевидность, как даже банальность. Пусть Адимант (вместе с читателем) немного подумает, пусть помучается в поисках наиболее содержательного ответа. Ведь он, под влиянием впечатляющего рассказа Сократа-Платона о «беличьем колесе» политических режимов, о разрушающем воздействии на человека этих политических Идолов, наверняка, будет искать ответ на поставленный вопрос в плоскости пороков *политических систем*. Вновь мысленно переберет все недостатки политических режимов. Какие же пороки, «портящие всех людей», в них наиболее существенны? *Анархия* демократии? *Экономические тупики* тимократии? *Звериный эгоизм* олигархии? *Жестокая несвобода* тирании? Да, так, все это, в самом деле, «портит» людей. Но Адимант уже хорошо изучил манеру своего собеседника. Он знает: ответы эти «Сократа» не устроят. Тот ждет не просто перечисления разнообразных, более или менее произвольно называемых причин; он желает дойти до корней, до сути, до *первопричины, до причины причин.* Именно это Сократ называет Познанием, Знанием — отыскание Общего (в пределе — Всеобщего) в конк-

[1] Платон. Апология Сократа, 28e–29a.

[2] Ксенофонот. Воспоминания о Сократе. IV, V. 2.

[3] Платон. Государство, 421d.

ретном, эмпирическом многообразии. Что порождает и анархию (демократии), и экономические тупики (тимократии), и сверхкорысть (олигархии), и несвободу (тирании) — вот в чем вопрос!

Поняв эту задачу, Адимант (как весьма развитый и образованный человек), наверное, попытается разложить политические режимы на их элементарные составляющие, рассмотреть эти части, эти детали и затем выявить наиболее ядовитые и зловредные из них — операция, которую до сих пор проделывают политики и политологи, стремясь обнаружить главные изъяны внутри политических институтов. В ходе такого анализа, конечно, будет открыто много любопытного, полезного — что значительно углубит наши представления и знания о специфике «политического». Но открытия *причины причин* несовершенств, «болезненности» политических режимов — того, к чему подталкивает своих собеседников «Сократ», в таком анализе не произойдет. Потому что эта *причина причин*, как потом покажет «Сократ», — внимание! — находится ***за*** пределами «политического».

Гений — это тот, кто говорит вещи совершенно неожиданные, а после того, как он их выскажет, они выглядят почти очевидными («как это я сам не додумался до этого?»). Гениальное — всегда неожиданно и всегда просто. Природа гениальности — в решительном выходе за традиционные рамки, в которых прежде пытались решить проблему, за рамки привычного набора средств, которые обычно предлагались для ее решения. Гениальность — в открытии новой, неожиданной точки обзора. Гениальность — это рывок за «флажки», расставленные традицией, это рывок «за горизонт»...

А вот теперь имеет смысл вернуться к тому, обращенному к Адиманту, вопросу: «Ты знаешь, что портит всех людей?».

За «флажки», за горизонт привычного и шагает платоновский Сократ в своем ответе: людей портит «***богатство и бедность***»[1].

Представляю разочарование читателя после нашей долгой и интригующей подготовки. И это-то неожиданно? И это-то гениально? Неужели нужна какая-то особая проницательность, чтобы сказать подобное? Да кто же этого не знал и не знает?

Ну, во-первых, этого «не знал» такой весьма образованный собеседник «Сократа», как Фрасимах. Вы не забыли — тот, что прославлял «право сильного». Для Фрасимаха разделение на «богатых» и «бедных» — вовсе не беда, не какая-то там «порча», а — норма, естественное следствие неодинаковости людей от природы; более того, для него это — факт даже сугубо положительный, ибо экономическое неравенство стимулирует людей прилагать максимум усилий, чтобы разбогатеть, и тем самым оно способствует развитию энергии человеческой деятельности, стимулирует соревновательность, обусловливает экономический прогресс. Уравнивание же ведет к общественному застою, социальному сну.

[1] Там же, 421d, 422a.

Этого «не знало» и большинство граждан Афин эпохи Платона. Они в тот период были буквально охвачены страстью к обогащению. Когда-то — в эпоху Фемистокла и Перикла — благородное и возвышенное афинское государство, защитившее греческий мир от агрессии персидских орд и смирившее амбиции тоталитарной Спарты, во времена Платона все больше превращалось в государство-хищника, государство-захватчика, ведя политику, которую впоследствии наиболее проницательные исследователи назовут «античным империализмом». Расцветшая военная и экономическая сила Афин делает их господами большей части греческого мира. Многие полисы становятся данниками, донорами Афин, что в дальнейшем приведет к разрушению нравственной, греко-патриотической составляющей Афинского союза, к отчуждению от Афин их союзников, к захватническим авантюрам (вроде пиратского похода на Сиракузы в 415 году) и, наконец, — к падению Афин, к утрате ими своей роли центра Греческой цивилизации.

Этого «не знала» (как «не знает» и поныне) всякого рода либерально настроенная публика. Я храню купленную когда-то в киоске газету «Аргументы и факты», № 18, май 2004 (!) года. На странице 6-й там очень дельная статья — «Почему мы не любим богатых?». «Есть мнение, — излагает автор весьма популярную ныне точку зрения, — что богатые — *благо* для экономики страны. Их деньги рано или поздно пойдут на инвестиции в отечественную промышленность. Возрастет число рабочих мест...». «Нет! — возражает автор этим Фрасимахам современного мира. — “Богатые” только тогда будут “благом”, когда не будет “бедных”; благосостояние страны, ее будущее развитие зависит в первую очередь не от богатых, а от преобладающего среднего класса, к уровню которого надо подтягивать бедные слои населения». И дальше: «Я пока не вижу, что задача сокращения разрыва между бедными и богатыми поставлена осознано». Более того, нашими отечественными правящими либералами была поставлена задача прямо противоположная: создать класс *богатых*. И они с этим успешно справились: к 2004 году народилось в России 36 миллиардеров! «Причем не рублевых, а долларовых. А в Японии всего семнадцать. А в Англии и Франции — еще меньше. Вдумайтесь: 36 российских миллиардеров имеют 79,8 миллиарда долларов — пятую часть нашего валового продукта, или 30% всех доходов населения страны... В России 10% богатых, или 14,4 млн. человек, концентрируют в своих руках 35% всех доходов населения, а 10% бедных — всего 2,3%, в 14 раз меньше. В Западной Европе этот разрыв составляет только 7 раз». И великолепная смысловая иллюстрация к этому тексту — по сути, редакционное фотопослание «богатым» и их политическим и идеологическим покровителям: за высоченным забором, на фоне соснового бора, еще более высоченный каменный дом, настоящая храмина — с многочисленными резными балкончиками, сверкающими окнами и роскошными верандами; а напротив этой домины (внимание!) подмонтирована знаменитая арка Зимнего, и — ощетинившаяся винтовками и пулеметами толпа «бедняков», сопровождаемая броневиками с матросами на броне и пушками, направленными в сторону замка новорусского богача.

Так вот, и эти, шикующие за зеркальными окнами «богачи» тоже пока еще «не знают», сколь опасно это соседство немыслимого богатства и столь же немыслимой бедности. Ну, что же, узнают. Со временем. Газета довольно прозрачно намекает им на это...

Правда, некоторые из наиболее, не скажу «совестливых», скорее дальновидных либералов, «прознали»-таки про ту опасность, о которой две с половиной тысячи лет тому назад сигнализировал Платон. Так, знаменитый миллиардер Михаил Ходорковский, по-видимому, действительно «прозрел» (и, думается, задолго до тюрьмы; да и в тюрьму-то эту, не исключено, угодил во многом по причине своего «прозрения»). «Русский либерализм,—делится он результатами своего прозрения,—потерпел поражение потому, что пытался игнорировать жизненно важные интересы подавляющего большинства российского народа». «Либералы,—продолжает он,—думали об условиях жизни и труда для 10% россиян,.. а забыли—про 90%», «они отделили себя от народа пропастью», «к середине 90-х они слишком обросли «мерседесами», дачами, виллами, ночными клубами». Либеральная публика превратилась в «расслабленную богему, даже не пытавшуюся скрывать безразличие к российскому народу, безгласному населению». «Они всегда говорили—не слушая возражений,—что с российским народом можно поступать как угодно, что в "этой стране" все решает "элита", а о простом люде и думать не надо...».

И дальше, дальше—всё точнее и резче: «Они (*российские либералы 90-х годов*) обманули 90% народа, щедро пообещав, что за ваучер можно будет купить две "Волги"» (*это, как вы понимаете,—в адрес главного «либерала» России—Чубайса; не случайно он, после этой статьи, будет на всех углах кричать о «предательстве» Ходорковского*); «они закрывали глаза на российскую социальную реальность, когда широким мазком проводили приватизацию, игнорируя ее негативные последствия, жеманно называя ее безболезненной, честной и справедливой»; «они не заставили себя задуматься о катастрофических последствиях обесценения вкладов в сбербанке»; «никто в 90-е годы так и не занялся реформами образования, здравоохранения, жилищно-коммунальной сферы, адресной поддержкой малоимущих и неимущих—вопросами, от решения которых зависело и зависит огромное большинство наших сограждан».

И—финал этой умной, точной, беспощадной и мужественной самокритики:

«Либералы со своей задачей не справились. Ныне мы должны признать это со всей откровенностью. Потому что время лукавства прошло... Теперь нам придется проанализировать наши трагические ошибки и признать вину. Моральную и историческую... Надо заставить большой бизнес поделиться с народом—вероятно, согласившись с реформой налогообложения полезных ископаемых, другими, возможно не очень приятными для крупных собственников шагами...Вложить деньги в создание принципиально новых общественных институций, не замаранных ложью прошлого. Создавать настоя-

щие структуры гражданского общества... Для меня же Россия — Родина. Я хочу жить, работать и умереть здесь. Хочу, чтобы мои потомки гордились Россией — и мною как частичкой этой страны, этой уникальной цивилизации. Возможно, я понял это слишком поздно — благотворительностью и инвестициями в инфраструктуру гражданского общества я начал заниматься лишь в 2000 г. Но лучше поздно, чем никогда». (Михаил Ходорковский. Шансы есть. Кризис либерализма в России. «Ведомости», 29.03.2004 г.).

Ходорковского, вроде бы, лишили свободы за чересчур пренебрежительное отношение к своим налоговым обязанностям. Возможно. Но чудится мне, что помогли затолкать его за тюремную решетку и те обитатели подмосковных дворцов и лазурно-береговых вилл, кто хотел бы затормозить процесс «прозрения» (я, кстати, совсем не уверен, что «возвращенными в бюджет» налоговыми суммами Ходорковского будут «делиться с народом», что они пойдут на «благотворительность и инвестиции в структуры гражданского общества»). Во всяком случае, Чубайс и ведомая им СПС (политическая организация миллионеров-миллиардеров и сбитых с толку наивных и несчастных представителей либерально настроенной интеллигенции) считали Ходорковского предателем. И верно, ведь в этой своей статье он и на самом деле — предатель. Добавим только — предатель корпорации злато- и кровососущих «богачей» и обслуживающей их бюрократии. Побольше бы таких «предателей»!..

Так вот, а вы говорите, что Платонова формула — банальна и общеизвестна...

Заметим при этом, что Платон вовсе не претендует на то, чтобы быть «вождем *бедняков*». Он не выступает «против богатых» от «имени бедных». Тут существенно другое. Платон не требует «упразднить богатых». Он требует упразднить «богатых И бедных». Он требует устранить *разрыв* в материальном благосостоянии между людьми. Он выступает не от имени того или другого сословия, он выступает от имени общества в целом, от имени Человека вообще.

Для Платона, как верного ученика Сократа, существование богатства-бедности — это не какая-то там «экономическая несправедливость». Нет, это нечто гораздо бо́льшее. Это — прежде всего, разрушение человеческой нравственности, разрушение («порча») человеческой личности, индивидуальности — как «богатой», так и «бедной» (хотя и разрушаемой по-разному). Богатство «ведет к роскоши, лени», бедность — к «низостям и злодеяниям»[1]. Богатство — это хамство, корысть и бессердечие, бедность — это зависть и злодейство.

Знаете, относительно бед, рождаемых разрывом между богатством и бедностью, можно говорить очень много и очень пространно — на десятках и сотнях страниц описывать разнообразные преимущества общества равенства. Но мне кажется, что вся бесконечная сумма преимуществ общества «равных» перед обществом «неравных» может быть выражена в одном забав-

[1] Там же, 422a.

ном, но ярком и точном, афоризме древних: хорошо смеяться среди равных. Вы удивлены? Вы удивлены, что я придаю ему такую всеобщую значимость?

Да все просто. Улыбка — это открытие душ и сердец навстречу друг другу. В мире же, жестко разделенном на «богатых» и «бедных», люди проникаются враждой друг к другу, становятся настороженными, недоверчивыми, одни — заносчивыми, другие — заискивающими, — превращаются в нравственных уродов.

Вы помните хрестоматийный рассказец раннего Чехова «Толстый и тонкий»? Так вот он именно об этом. Вы помните, конечно, как там после долгой разлуки встретились два «друга детства». Помните, как они лобызались, как радостно, по-братски хлопали друг друга по спине, как устремляли друг на друга глаза, полные слез умиления. А как упивались они воспоминаниями о своих детских шалостях: «Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо...».

Хо-хо... Ха-ха... Как славно вспоминать, как славно хо-хо-тать с другом. В общем, — как «хорошо смеяться среди равных»!

И вдруг (вы помните?) выясняется, что один из этих милых друзей — всего лишь «коллежский асессор», у которого «жалование плохое» — и плохое настолько, что он «портсигары приватно из дерева делает» и продает «по рублю за штуку», а другой... О, другой — «до тайного советника дослужился» и «две звезды имеет».

И всё! И конец человеческому: «Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой... Сам он съежился, сгорбился, сузился... "Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с"». Ну, и при прощании Тонкий осмелился пожать лишь три пальца на протянутой руке «друга детства», он «поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: "хи-хи-хи"»...

Да, смеяться раскатисто, свободно, от души можно лишь «среди равных».

Да, — именно об этом наверняка сказал бы Платон — если бы имел возможность прочитать рассказ Антона Павловича. «Ты думаешь, будто надо стремиться к превосходству над остальными, — бросает платоновский Сократ Калликлу, — ты не замечаешь, как много значит и меж богов и меж людей ***равенство***»[1]. Еще раз: хорошо смеяться среди равных! И вообще: хорошо **жить** среди равных!

Только в среде «равных» легко формируется и легко сохраняется ***чувство собственного достоинства*** — великое чувство. Которое вело и Сократа, и Платона по всем изгибам их непростой жизни.

Но система «богатство-бедность» — предпосылка не только *нравственной* погибели человеческого сообщества и составляющих его индивидуаль-

[1] Платон. Горгий, 508а.

ностей. Она — предпосылка его *политической* катастрофы. Там, где неравенство, — там, где общество расслоено на «богатых» и «бедных», — там, по меткому слову Платона, возникают «два враждебных между собой ***государства***: одно — бедняков, другое — богачей»[1]; и между этими «враждебными государствами» с неизбежностью вспыхивают внутренние войны, не менее (а то и более) жестокие, чем войны внешние. В этой вражде (в этой «классовой борьбе», сказал бы современный политолог) общество себя истощает и, в конечном счете, губит. Снова: не просто *класс бедняков* страдает, страдает *все общество.* Об *этом* предупреждает Платон — и бедных, и богатых.

И еще. Я прошу вас в должной мере оценить политическое звучание платоновской идеи *равенства* и гражданскую смелость ее автора. Вы не забыли, в какую эпоху и в каком обществе он живет? Вы не забыли, что это был уже не золотой век Перикловой демократии, а эпоха Афинского «империализма»? Пышным цветом цвел культ богатства и силы — культ, поддерживаемый не только все более укоренявшейся индивидуалистической моралью (в духе Фрасимаха и Калликла), но и всей политикой государства. И в эту атмосферу всеобщей корысти, стяжательства, эгоизма и насилия вбросить лозунг ***равенства***, лозунг искоренения полюсов богатства-бедности — это, говоря на современном молодежном сленге, круто!

Отметим и настоящий переворот в сфере методологии политического анализа: перемену традиционной точки зрения на политику. Политика для Платона — не имеет смыслов и целей «в себе» и «для себя», она — «для другого» и «для других». Она — для решения проблем, рождающихся в сфере неполитической, — в сфере экономической и социальной, в сфере, которую мы сегодня называем гражданским обществом. Истинная политика, для Платона, — не та, что изощряется в создании оригинальных политических форм, не та, что распределяет властные функции между конкурирующими группами политических элит, а та, что приспособлена (в том числе своими формами и институтами) к наиболее эффективному решению не-политических, *социальных*, проблем. Это от Платона идет понимание политики как *процесса согласования интересов индивидов, групп, слоев в обществе*. Поддержание в обществе Равенства и есть, по Платону, одна из важнейших задач политики.

Одна тонкость, без знания которой Платоновская концепция равенства будет не понятой. Платон все время ведет речь не о «равенстве в бедности», а о «равенстве в достатке», не о равенстве в «обществе бедных», а о равенстве в «обществе состоятельных граждан». Совершенное (т.е. без полюсов «богатство»-«бедность») общество, по Платону, это не благотворительная организация, которая озабочена, главным образом, тем, чтобы «справедливо» («примерно поровну») *распределить* общественное богатство. Он мечтает о создании не *распределительной*, а *производительной* корпорации. Он озабочен не тем, как отобрать богатство у «богатых» и распределить его среди «бедных».

[1] Платон. Государство, 423а.

Он озабочен не тем, как *делить* богатство, а — как его *приумножать,* и приумножать — наиболее эффективным образом. Этому, по его мнению, и должно поспособствовать разделение труда, система специализации и профессионализации производителей.

Это, между прочим, — продолжение темы «равенства», но рассматриваемой в несколько ином ракурсе. Это продолжение темы возникновения общества-государства. Мы уже описывали ту элементарную «клеточку», из которой, по мнению Платона, выросло человеческое сообщество, ту элементарную комбинацию человеческих деятельностей, из которой рождалось развитое социальное взаимодействие: гончар-пекарь-строитель... суммируют свои усилия и, взаимодействуя друг с другом, формируют первоначальную социальную ячейку...

Равенство в обществе — не в том, чтобы все занимались одним и тем же. Подобных утопических предложений в истории общественной мысли было сформулировано немало. Их авторам все хотелось, чтобы никто и нигде не выделялся, ничем не отличался от остальных: равенство — так равенство — полное и абсолютное; и если уж обществу нужны специалисты, то только так: сегодня ты — гончар, завтра — пекарь, послезавтра — строитель. Как это — с иронией — у Маяковского: «Сидят папаши, каждый хитр — землю попашет, попишет стихи». Сегодня — землепашец, завтра — поэт, послезавтра — ядерный физик. Этакая специфическая «разносторонность» — равенство, доведенное до абсурда, до идиотизма. Согласно же Платону, равенство — не одинаковость, не подобие. Равенство — это *равно*нужность каждого сообществу, — когда бы «каждый имел свое и исполнял бы тоже свое», когда бы каждый «занимался своим делом и не вмешивался в чужие».

«Беда, коль сапоги начнет точать пирожник, а пироги печи сапожник!» — это Платон знал за 2500 лет до Крылова! Это и есть Справедливость — когда каждый занимается «своим» делом, — к которому предрасположен своими способностями и наклонностями, делом, в котором он спец, в котором он мастер.

И это тоже в общем-то элементарно. Правда, тут возникают кое-какие вопросы, кое-какие проблемы. Например: хорошо ли это — всю жизнь быть привязанным только к шитью сапог или к выделыванию пирогов? Я не хочу быть узко, односторонне развитым существом, неким «профессиональным кретином». Я не хочу быть просто «сапожным» или «пирожным» *винтиком* общества. Короче, я хочу быть не только сапожником, но еще и Человеком, в многочисленных его проявлениях.

Да, как равенство можно довести до абсурда — до уподобления, до обезличивания людей, так до не меньшего абсурда можно довести социальное разделение труда — до превращения Человека в некую узкоспециализированную деталь общественной машины, до превращения Человека в ограниченного узкой сферой своей деятельности «профессионального кретина». Реальность такого абсурда на практике продемонстрирована в истории — с одной стороны, обществами тоталитарно-бюрократического типа (незаконно пре-

тендовавших на название «социалистических»), с их обезличкой, уравниловкой, нивелировкой, и — с другой — обществами частнособственнического эгоизма, где в погоне за «ростом производительности труда» (и на его основе — максимальной прибыли) калечили человеческую натуру, приспосабливая ее к одной-единственной механической операции, выполняемой на огромном конвейере экономической деятельности.

Да, повторяю, тут есть проблема, тут есть вопрос: как избежать опасностей подобного рода, как сочетать профессионализм, специализацию людей с их обязательной многосторонностью? И ответ на это, как в теории, так и на практике, весьма и весьма непрост. И мы об этом еще специально поговорим. Но все эти проблемы, все эти вопросы не затмевают, не дезавуируют главного: необходимости в совершенном обществе («обществе равенства») *разделения труда.*

Итоговая формула на сей счет: «Каждый отдельный человек должен заниматься чем-нибудь, что нужно в государстве, и при том как раз тем, к чему он по своим природным задаткам больше всего склонен»[1]. Тут несколько важных идей. Первая — идея равенства как *равно*нужности разных людей. Вторая: эта равнонужность зиждется на *необходимости* сложения разнопрофессиональных усилий людей — для функционирования и развития социума. И третья: эта *необходимость равного* участия разнопрофессиональных граждан в совместной деятельности реализуется в процессе *свободного* определения каждым гражданином своего места в совокупной общественной деятельности, исходя из своих природных задатков; то есть имеет место *выбор* (важный аспект «свободы»!), в основе которого — осознание гражданином связи *специфичности* своей индивидуальной «природы» и *общих* задач, стоящих перед сообществом, членом, частью которого он является. Так в Платоновском социальном пространстве сопрягаются Необходимость и Свобода, Свобода и Равенство.

Дружба (братство)

И третья (наряду со Свободой и Равенством) ипостась совершенного государства. Она у Платона именуется по-разному: Дружба, Дружелюбие и даже — Братство. В совершенном государстве граждане «должны… заботиться о стране, в которой живут, как о матери и кормилице, и защищать ее, если кто-то на нее нападет, а к другим гражданам относиться как к *братьям*, также порожденным землей»[2]. «Такому государству, — комментирует А.А. Чанышев идеи Платона, — будет свойственно единство ***большой семьи,*** где все — родители и дети, сестры и братья»[3].

[1] Там же, 433c.

[2] Там же, 414e.

[3] Чанышев А.А. История политических учений… М., 2000, с. 42/.

Свобода, равенство, дружба (братство)

Итак, что же получится, если коротко-лозунгово обозначить главные черты Платоновского совершенного государства? Это, по сути, — ***свобода, равенство, дружба (братство)***.

Неожиданно, правда? Честно скажу, я сам удивился подобному итогу своего анализа. Но тем ценнее, тем важнее для меня этот итог.

Но, разумеется, смешно и глупо, в этой связи, было бы зачислять Платона в предтечи Великой Французской революции XVIII века, смыслом и знаменем которой был названный лозунг. Разные эпохи — разное наполнение этих предельно широких понятий конкретным социально-политическим содержанием. Это — понятно, это — элементарно. Я только настаиваю: Платон был первым в истории, кто с такой отчетливостью указал тот общий, принципиальный вектор всемирно-исторического *движения* к совершенному обществу, то направление, на которое ориентировалось абсолютное большинство великих теорий и великих движений всех протекших после Платона веков.

Пожалуйста, уточняйте, сколько вам угодно, содержание этих лозунгов применительно к разным эпохам и временам. Признайте только: ничего более вдохновляющего, чем эта формула «Свобода, Равенство, Братство» человечество до сих пор не выработало.

Добавим только: разные эпохи не только обусловливали разное наполнение этих всеобщих принципов, но и по-разному выстраивали их взаимоотношения, их иерархию в рамках их единства. Одни делали акцент на ***свободе***, в ней видели *главное* содержание, *главную* цель человеческой деятельности — так рождались великие *либеральные* проекты. Другие — клали в основу ***равенство***. И на фундаменте *равенства* возводили свои идеальные социальные конструкции — так рождался другой великий проект — *социализм*.

Это увлекательный роман — любовь и ненависть двух великих идеологий, роман, разворачивавшийся на протяжении многих веков человеческой истории, роман, которому и сегодня не видно конца. И я обязательно в дальнейшем найду возможность коснуться перипетий этой захватывающей, поистине шекспировской, драмы — взаимоотношений этих Монтекки и Капулетти, двух знатных и уважаемых социально-политических семейств. И, забегая вперед, хочу сказать: я полон уверенности, что внутри этих благородных семейств сегодня подрастают свои Ромео и Джульетты, что они ищут пути друг к другу. И еще я уверен, что конец этого романа будет оптимистичней шекспировского финала.

И снова — замечания и поправки к только что написанному. Что делать — ведь не скажешь все и сразу. Не опишешь же в одной фразе, в одном абзаце сразу все стороны, все грани, все оттенки рассматриваемого предмета. Приходится двигаться постепенно — одна грань, другая, одна краска, другая (в чем-то несовпадающие, в чем-то даже исключающие друг друга). Вот сказал я о величии двух социально-политических проектов. И никаких сомнений на сей счет у меня нет — они главным и решающим образом определяли дея-

тельность людей и ход всемирной истории за последние столетия. И благородных нравственных принципов рождено немало в лоне этих проектов, и немало благородных людей взращено этими «семействами», и там, действительно, есть свои Джульетты и Ромео. Все так. С одним, но весьма существенным добавлением. Там есть и свои Клавдии, без долгих раздумий и колебаний отправляющие на тот свет неугодных им людей, свои льстивые и жестокие Полонии, ревностно обслуживающие Клавдиев, свои кровавые леди Макбет, свои виртуозы коварных и подлых интриг Яго. История этих идеологий — история не только гуманных намерений и благородных деяний. В их истории немало кровавых, грязных и позорных страниц. Мы ведь знаем и хорошо помним, как замечательная идея Равенства превращалась на практике в кровавого Идола, пожирающего людей. Это под знаменами Равенства маршировали и действовали сталинско-брежневские чекисты, маоистские хунвейбины, полпотовские красные кхмеры. Мы помним, с другой стороны, как во имя Свободы трудилась без устали французская гильотина в революции 18 века — ***освобождая*** землю от людей, понимавших свободу иначе, чем упивавшееся властью либерально-революционное чиновничество. Мы помним, как после всевозможных революций либеральные политики и экономисты на фундаменте идей Свободы выстроили общество вопиющего неравенства, в котором реальной Свободой пользовалась лишь горстка разбогатевших буржуа. Как под звон свободолюбивых идей либеральных политиков России было «приватизировано» богатство, произведенное несколькими поколениями российских граждан.

Короче говоря, мы помним, как в истории Равенство убивало Свободу, а Свобода уничтожала Равенство.

И легко было бы отделаться от этих проблем, обозвав подобную практику «искажением» великих проектов, «отступлением» от высоких идей и принципов. Но, увы, то было не «искажением» и не «отступлением», а — органической частью тех принципов и тех идей, то было одним из возможных вариантов их реализации. И мы обязательно поговорим обо всем этом — как внутри мира «светлых принципов» зарождались эти мрачные возможности, откуда вдруг возникали эти странные и страшные «варианты». Мы попытаемся во всем этом разобраться. Но чуть позже. А пока вернемся к Платону.

Вернемся в то благословенное для теории время, когда еще не было ни социалистических, ни либеральных концепций, ни основанных на них практических действий, когда еще только-только складывались принципы политической *теории*, когда все казалось достаточно простым и ясным, когда за спинами прекрасных Идеалов еще не вырисовывались — словно отбрасываемые Идеалами тени — отвратительные контуры Идолов. Это время еще не могло родить теорий, в которых учитывались бы все возможные переплетения надежд и опасностей разрабатываемых социальных проектов. Оно рождало крайне общие (и в силу этого — несколько упрощенные) схемы становления совершенного общества. То было, конечно, фактором ограниченности этих теорий, но одновременно — и фактором их силы. В них прочерчивалась

твердыми, прямыми линиями логика будущего социального развития. Да, без тонкостей, без нюансов, без усложняющих эту логику возможностей и вариантов. Но зато генеральное направление развития человеческого общества выступало в этих проектах с необыкновенной, не замутненной деталями, ясностью. Это было время, когда политическая *философия еще не отливалась в лозунги непосредственного политического* действия, когда пространные политико-философские рассуждения еще не переплавлялись в стройные и строгие политические лозунги.

Это, кстати, надо иметь в виду, когда мы говорим об ориентирах Платона на Свободу, Равенство и Дружбу (Братство). У него, конечно. нет этой *лозунгово-сформулированной* триады (это сделают — через две с лишним тысячи лет — французские просветители и их ученики, возглавившие Великую революцию конца XVIII века). У Платона — лишь философское обоснование *содержания* этих ценностей. У него они — не боевой клич, а — рассудочно-аналитическая, философско-политическая концепция. У него — это самая общая характеристика Общественного Идеала.

А теории такой высокой степени общности, такой предельной абстрактности, как правило, не свойственна непосредственная конструктивность. Она — такая степень обобщения, такая степень «отлета» от действительности, что соединить ее с реальностью, *перевести* с общефилософского языка на язык практически-политических действий — задача крайней сложности и трудности, да и требующая того, чтобы социальные условия и политическая культура людей дозрели до возможностей такого «перевода».

Платоновская конструкция сообщает человеку лишь некий социальный настрой, рождает в его сознании лишь некие общие устремления. Она способствует формированию в его душе и разуме лишь некой общей интеллектуально-нравственной ауры. Она споспешествует возникновению в обществе лишь некой интеллектуально-нравственной атмосферы, в которой-то, постепенно, и будут выстраиваться согласующиеся с ней планы конкретных социальных и политических действий.

Из сказанного, однако, вовсе не следует, что эти всеобщие идеальные (далеко «отлетающие» от действительности) Платоновские ориентиры — ничего или мало чего сто́ят, и что без них в конкретной деятельности можно вполне обойтись. Нет и нет! Без них не обойтись! Они *абсолютно* необходимы! Да, *из* «атмосферы» ни здания не построишь, ни каши не сваришь, ни сапог не сошьешь. Это так. Но *без* атмосферы — ни «здания», ни «каши», ни «сапоги», ни сами люди просто не смогут появиться на свет. Общая атмосфера, общие условия бытия человека — много значат.

Итак — атмосфера Свободы, Равенства, Дружбы. Это — начало, это — первый шаг к пониманию и описанию общественного Идеала.

Куда дальше и что дальше?

Привлекательность и общая правильность первых шагов отнюдь не обеспечивают автоматической правильности дальнейшего маршрута. Сбиться с маршрута, поменять — иногда незаметно для себя — Идеалы на Идолов мож-

но в любой точке пути, сложного и извилистого. Иначе говоря, правильность первых шагов отнюдь не гарантирует дальнейшей удачи. Да и то, в какой мере «правильны» эти первые шаги, по-настоящему может рассказать нам только их конкретизация. Конкретизация укажет нам то действительное содержание, которое вкладывал автор в созданные им первоначальные теоретические конструкции.

Кроме того, конкретизация общих первичных понятий предполагает выстраивание длинной интеллектуальной лестницы, со сложными, нередко на 360 градусов, поворотами, разнообразными ступенями, пролетами и маршами, предполагает умение восходить по ней — от абстрактной всеобщности к реальности, — процесс, который на языке философии именуется «восхождением от абстрактного к конкретному». На этом пути мы, вместе с Платоном, встретим немало барьеров, будем не однажды попадать в тупики, путаться в хитросплетениях категорий и понятий. Но поскольку это будет путешествие с гением и к тому же освещаемое светом опыта веков, протекших со времен Платона, то, уверен, итог его будет достаточно плодотворен.

Вопросы и проблемы встанут рядами уже с самых первых шагов, с первых попыток прояснить основные понятия вышеназванной триединой формулы.

Да, Свобода, например, — это, действительно, сладкое слово, и кажется оно таким простым и таким понятным. В самом деле, что может быть проще и понятнее. Свобода? Ну, это нечто, противоположное не-свободе, принуждению, подчинению. Господству. И — стоп! Сразу проблемы. Как возможно, например, «не подчиняться» законам природы? Как вы можете «освободиться» от действия закона всемирного тяготения, от закономерностей обмена веществ — только, пожалуй, освободившись от... жизни. Вы же изначально включены в многочисленные цепи закономерных природных процессов, вы изначально *подчинены* природной необходимости. И только в русле этих законов, этой необходимости вы можете жить и действовать. Но тогда — где, но тогда — в чем ваша Свобода?

И еще. Вы же не только природное, вы еще и социальное тело, и в этом качестве являетесь звеном в цепи развертывающихся общественных закономерностей. Общественные процессы, как и природные, не произвольны, не анархичны, не бессистемны; здесь свои, объективные, не зависящие от вашей воли и ваших желаний законы — экономические, например. Да и законы нравственные, политические, социальные: в них отражается движение независимой — вопреки вашим желаниям — реальности.

Наконец, пространство вашей свободы, как известно, *ограничивается* пространством свободы других людей. Как это у Рассела: «свобода вашего кулака заканчивается у кончика носа другого человека».

И в итоге наше «сладкое слово», наша «чудесная мечта» обрастает скоплением трудноразрешимых проблем. Получается, что *свободу* имеет смысл искать только в пространстве природной *необходимости*, в рамках социальных *закономерностей*, в сфере жестко *ограничивающих* друг друга индивидуальных взаимодействий людей. Странная тогда какая-то Свобода получается...

И с Равенством дело обстоит не проще. Тоже — замечательное слово, тоже прекрасная мечта. И интуитивно-эмоционально мы, в общем-то, ухватываем его суть: все мы — люди, все мы — человеки, никто не должен особо возноситься над другими, подавлять других, каких-то *избранных* быть не должно. Но как это может выглядеть в реальности? Как усреднение всего и вся? Запретить Моцарту писать музыку — дабы товарищ не выделялся? (Ну так, пушкинский Сальери и выполнил, по-своему, эту задачу). Запретить Лобачевскому заниматься математикой? А Смоктуновскому — служить в театре? А если уж — разрешить, то только на уровне реплик: «Кушать подано»? Что же, во имя Равенства запретить соревновательность, конкуренцию — чтобы было по Высоцкому: «первых нет и отстающих», и в итоге — «общепримиряющий» «бег на месте»?

А что уж говорить о «Дружелюбии» (или «Братстве»), суть, коренная основа которого — в сопряжении Равенства и Свободы!

Платон знал о наличии многих из этих проблем. Он подходил к ним в многочисленных диалогах своего Сократа, поворачивал то одной, то другой гранью, намечал направление их решения, давал варианты ответов — кратких, более полных, развернутых. Останавливался, сводил сказанное в некое единство, что-то уточнял и шел дальше. Мы поговорим и об этой его работе — работе гения, двигавшегося по первопутку и проторявшего в нехоженых местах колею другим гениям — Аристотелю, Спинозе, Гегелю, Марксу...

Остановимся и на еще одной грани деятельности и теоретических исканий Платона. Он не просто *вычерчивал на бумаге* проект совершенного общества, идеального государства. Он мечтал о *реальном создании* такого государства — самому ли, вместе с философскими друзьями и политиками, разделяющими его взгляды, или с другими «зодчими», готовыми взять его проект за основу. В душе он был не просто теоретиком, а подлинным практиком, желавшим и стремившимся увидеть свои проекты идеального государства воплощенными в жизнь. В сути, в основе своей он был *государственным* человеком. И этим он отличался от своего Учителя — Сократа.

У них, у Сократа и Платона, был разный жизненный опыт. В разных условиях формировались их характеры, их наклонности. У них были разные детство и молодость — когда закладываются базисные основы личности.

Сократ — сын каменотеса Софрониска и акушерки («повивальной бабки») Фенареты. Не из рабов, конечно. Из свободных. Но свободных — бедных, оттесненных на обочину жизни. С юности — помощник отца: обработка камней — для разных, материальных и эстетических, нужд афинян. И — взгляд *снизу* на высокую политику афинских аристократов. Взгляд — подданного, человека из народа, из самой гущи, с самого дна. Человека, привыкшего жить по обычным, «народным» правилам нравственности и справедливости и уважающего государственные законы.

Платон — из высших, самых высших слоев афинской аристократии. Из самых-самых. В его родословной далеким предком — Кодр, афинский царь, пожертвовавший собой ради спасения афинян. Сохранилась на сей счет —

кто говорит «легенда», а кто — «быль»; я думаю, если и легенда, то весьма близкая к были. Так *могло* быть. Во время одной из войн афинян оракулы обещали победу их врагам, если те **не** убьют Кодра. А Кодр переоделся нищим, пошел в лес, где стояли враги, «за хворостом», вызвал их на ссору — и дал в ней себя убить. Когда те узнали, **кого** они убили, — то в ужасе (страшась божеской кары) бежали. И более близкий предок — знаменитый Солон, дед (или прадед?) матери Платона. По его законам жили несколько столетий демократические Афины. И все ближайшие родственники Платона — дядья, двоюродные, троюродные братья — все в высших кругах политической элиты, государственные правители.

Сократ с первых же шагов своей сознательной жизни смотрел на государственную деятельность с почтением и некоторым страхом: да, законы надо, конечно же, выполнять и уважать, но есть в них нечто подавляющее человека, какое-то дискомфортное начало, и к тому же они почему-то часто трудно совместимы с теми «народными» правилами, по которым он привык жить с детства. Нет, надо тесать свои камни, набираться ума-разума, жить нормальной жизнью простого человека — и подальше держаться от этого запутанного лабиринта государственных дел, от опасной паутины политических законов.

Не то Платон. «Когда я был еще молод,.. — вспоминает он в одном из своих писем друзьям (так называемом "седьмом письме", подлинность которого почти ни у кого не вызывает сомнения), — я думал, как только стану самостоятельным человеком, тотчас же принять участие в общегосударственных делах»[1]. А как же еще мог думать потомок Кодра и Солона!..

В общем, два разных, два прямо противоположных вектора исходных устремлений: один — **к** государству, другой — **от** него!

Да, Платон желал быть, прежде всего, *практическим* деятелем. Он занялся теорией только потому, что без нее, как он рано понял, невозможна серьезная практическая деятельность. Можно сказать, его философия была первым в истории вариантом *философии практики.*

Нет сомнения, что именно эта нацеленность на *практическое* воплощение своих идей сообщила его теоретическим исканиям такую основательность (ибо от верности чертежа зависело, устоит или рухнет здание, которое он намеревался возводить), такую глубину, такую эмоциональность и такую страстность (ибо это было стремление не просто к познанию окружающего мира — у такого познания нет видимых *конечных* целей, у него нет конца; такое познание, как правило, длительный и потому в общем-то вялотекущий процесс — куда спешить, куда торопиться?). У Платона же познание было процессом, долженствующим завершиться возведением великого, сверкающего, вечного и прекрасного социального храма. Такой замысел, такая цель, такие стремления не могли не сообщить его поискам повышенную страст-

[1] Платон. Собр. соч., т. 4, с. 475.

ность, повышенный эмоциональный фон, высочайшую степень интеллектуального напряжения.

Эта ориентированность на *практическое* воплощение своих идей заставила Платона не только выписать общефилософские и общесоциальные обоснования своего государственного проекта, но и предложить основательно разработанную внутреннюю структуру совершенного социума — его экономическое, социально-классовое устройство, его политические институты, основные линии его культурной и социальной деятельности.

А обо всем об этом — в следующей главе.

Платон: совершенное государство

От «срединных звеньев» — к корням и основаниям

Итак, «срединные звенья» установлены: Свобода, Равенство, Дружба. Ничего лучшего (повторяю!) человечество со времен Платона не придумало. Все освободительные деяния, все великие события, именовавшиеся Реформами и Революциями, все — об этом, все, по крайней мере, *начинали* с этого.

Да ни у кого ничего лучшего и не было. За исключением, впрочем, ... Платона. У него есть кое-что и повыше, помасштабнее этих лозунгов. У него есть понятие, объединяющее их все, включающее их в себя и, одновременно, стоящее *над* ними. Это понятие — ***справедливость***.

Свобода, Равенство и Дружба — это, по Платону, формы осуществления и реального существования Справедливости. Так от рубежа срединных звеньев начинается движение к *сути* социальных процессов, к их глубинным основаниям и причинам, к тому, что составляет самый сокровенный смысл общественного бытия.

«Минуточку! — слегка раздраженно остановит здесь меня читатель. — “Справедливость” как выражение глубинной сути человеческого бытия? Что-то уж очень странное! О чем это Платон? Мы ведь, подобно Полемарху и другим нормальным людям с нормальным интеллектом, прекрасно знаем, что “справедливость” — это когда говорят правду, возвращают взятое в долг, заботятся о ближних, ну и т.д. — обычные и хорошо всем известные нормы морали, правила нравственного поведения. Но какое все это может иметь отношение к “сути”, к “сокровенным смыслам” человеческого **Бытия**? Или Платон использовал хорошо известное всем слово в каком-то ином, нетрадиционном, совершенно необычном смысле? Но зачем? Зачем путать несчастного читателя? Почему не придумать для *другого* содержания *другой* термин? Странно!»

Объясняю. Платону нужен был именно этот термин, включающий в себя все свои известные, обыденные, морально-ценностные значения, но, при их логическом развитии, — наполняющийся новыми смыслами и значениями, и в итоге (к чему и стремился Платон) — соединяющий в себе *человеческие* морально-нравственные оценки с *природными, онтологическими* характе-

ристиками. В этом термине Платоном фиксируется факт органической связи *природного* и *социального,* процесс преобразования *природного* в *социальное,* вырастания *социального* из *природного.*

Понятие это — удивительная и терминологическая, и содержательная находка Платона! Ведь это так просто. Ну, вот представьте себе, например, ситуацию: человек в ходе своей жизни не смог реализовать заложенные в нем возможности и способности. Такое бывает, и нередко. Не правда ли? И это — весьма печально, а то и трагично. В самом деле: человек пришел в этот мир — порожденный соединением, столкновением, взаимовлиянием миллиардов случайных факторов. Это — просто Чудо, что именно он, этот человек, появился, что называется, на свет Божий. На его появление работала вся Вселенная, вся человеческая (и даже вся вселенская) история (а не просто папа с мамой). И пришел он в этот мир на едва уловимое — по сравнению с бесконечным потоком лет — *мгновение.* И вот, поди ж ты, не реализовал заложенные в нем возможности. Не ответил достойно на чудо своего появления. Вот и ответьте мне, следуя вполне обыденному, вполне традиционному смыслу слов: «Это хорошо? Это *справедливо*?». Не сомневаюсь, вы скажете: «Ну, конечно же, это — беда, это — жуткая *несправедливость*». И такой ответ будет тем более обоснован, если выяснится, что не реализовался этот человек вследствие «происков» других людей или препятствующей роли «обстоятельств», созданных другими людьми. *Несправедливо* — если человеку *не дали, помешали* (люди ли, обстоятельства ли) реализовать себя. Это абсолютно *несправедливо.* Уместно, законно, оправданно употребление здесь этих терминов? Думаю, ни один Полемарх (то есть вполне и полностью «нормальный человек») не оспорит это. Ну, а дальше надо сделать только одно, маленькое, интеллектуальное усилие (к которому, надеюсь, мы уже подготовлены логикой предшествующего изложения), — и мы перепрыгнем барьерчик, отделяющий обыденное употребление термина «справедливость» от Платоновского.

Внимание! Приготовиться и — прыжок:

Справедливость — это самореализация каждого человека, согласно его общечеловеческой и его индивидуальной природе.

Или по-другому: *Справедливость* — это когда каждый получает возможность (*свободно*) заниматься делом, соответствующим *его* «призванию», *его* «назначению»; *Несправедливость* — когда люди или обстоятельства *вынуждают* его заниматься *не своим* делом, иначе говоря, *справедливость* — это «каждому — свое». «Каждый человек должен заниматься чем-нибудь одним из того, что нужно в государстве, и притом как раз тем, к чему он по своим природным задаткам больше всего способен (*отсюда — Равенство, как равнонужность людей друг другу, в результате чего между ними и возникают отношения Дружбы)*»[1].

[1] Платон. Государство, 433b.

Вот так — постепенно, «незаметно» и «органично», — морально-оценочные (со значительной долей человеческой *субъективности*) характеристики соединились в платоновском понятии «Справедливость» с природно-онтологическими характеристиками (с их божественно-величавой *объективностью*). Логичен Платон, убедителен? По-моему, — да!

И тут (как всегда, когда мы подходим к какому-то новому существенному рубежу в развитии Платоновской теоретической концепции) я прошу читателя приостановиться. Платоновская формула Справедливости столь масштабна и значима, что ее нельзя сходу «заглотнуть» и «лететь» по строкам и страницам дальше. Она — не для быстрого чтения. В нее надо как следует еще и еще раз всмотреться, ее надо *прочувствовать*.

Этой формулой Платон выводит деятельность людей за рамки случайных, прагматических решений, принимаемых под слепым давлением многообразных внешних обстоятельств, выводит из сферы хаотичных попыток так и эдак, вкривь и вкось решать проблемы — в мир упорядоченного, осмысленного, разумного движения, в пространство, пронизанное некой высшей логикой Бытия. Платон указывает людям на Точку Отсчета, он предлагает Критерий: **строить свое социальное бытие, сверяясь с Природой человека**, и — оттуда, из этой Природы, черпать программу и энергию своего движения.

Уже сама по себе идея выдвижения объективного, независимого от человеческих воль и желаний, Критерия (Основания) деятельности — грандиозная идея. На место воспеваемой оппонентами (главным образом, из лагеря софистов) «свободной» деятельности (которая в их трактовке выступала как торжество «дурной» субъективности, как *произвол*) Платон ставит *необходимость и историческую закономерность,* которые по отношению к обществу и человеку выступают синонимами «справедливости». Тем самым, рассматривая общественное развитие как *закономерный* процесс, Платон превращает Историю в **Науку**.

И снова предвижу недоумение. Разве Платоном установлено, разве им раскрыто содержание этого Критерия («природы человека»)? Все, что у него есть, — лишь некоторые догадки и предположительные (к тому же — не слишком внятные) гипотезы на сей счет. Может ли быть *научной* теория, кладущая в основу такой неопределенный «критерий»?

Может!

Да, содержание понятия «природа человека» у Платона довольно туманно, это — «незаконченное» знание. Но (внимание!) Платон, между прочим и с полным основанием, считал, что *знание* это *в принципе* не может быть *законченным.* Ибо «природа человека» уходит корнями в «природу» бесконечного множества вещей бесконечно разнообразного Мира, и «вещи» эти своим воздействием ее в значительной степени определяют. И попробуйте сосчитать бесконечность, попробуйте подвести ясный, четкий, «законченный» итог этому бесконечному разнообразию воздействий! Представление о «природе человека» никогда не может стать раз и навсегда полученным результатом. Это — ***процесс. Процесс*** бесконечного погружения нашего разума в глубины

уходящей в бесконечность человеческой природы. Все наши возможные представления о ней могут быть описанием лишь ее «временны́х срезов», неизбежно неполно, ограниченно, приблизительно представляющих ее сущность.

Хлипкое основание для Науки? Нет, нормальное основание. Наука ведь не религия. Наука не обещает никаких Абсолютов, она не претендует на то, чтобы давать результаты, которые не могут быть подвергнуты исправлениям. Наука — не храм Абсолютной Истины, а — живой организм постоянно изменяющегося и развивающегося Знания. *Научный* характер идеи Платона — в указании на существование *объективных* основ человеческой деятельности. *Научность* идеи Платона, во-вторых, — в его уверенности, что знание об этих основах может быть получено вполне *рациональным* путем. И третий признак *научности* — в платоновском подчеркивании *относительной* ценности получаемых результатов (в рамках которых, впрочем, в ходе постоянного и непрерывного изучения, будет расти объем *достоверного* знания).

А такое — совершенно верное! — понимание науки как *относительно*-истинного знания, обусловливает одну важнейшую черту социальной деятельности. Понимание *приблизительности* «точек отсчета» и «критериев» диктует необходимость *осторожности и аккуратности* в движении по социальному пространству, позволяет избежать отвратительного, малограмотного фанатизма (ибо вы всегда будете готовы к уточнению и изменению исходных позиций и, следовательно, к корректировке курсов и маршрутов движения). Это осторожное, взвешенное ступание по историческому полю, эта постоянная готовность прислушиваться к голосу практики и корректировать, под ее воздействием, теорию — и есть то, что превращает социально-политическую деятельность в разновидность Научного Творчества, в **Искусство.**

Социально-политическая деятельность как единство Науки и Искусства — это тоже впервые было открыто Платоном.

Вот так была нащупана первая ступенька, ведущая вглубь — от «срединных ориентиров» человеческой деятельности к ее базисным основаниям. Имя этой «ступеньки» — **Справедливость**.

Справедливость и Благо

Теперь уже, в этом новом контексте, не просто Свобода, Равенство и Дружба характеризуют «смысл» человеческой деятельности, но — **Справедливость**, выступающая как высшая задача, высшая цель социального развития (состоящая в создании условий для реализации каждым человеком заложенных в нем природой общечеловеческих и индивидуальных возможностей); а **Свобода, Равенство и Дружба** — как формы и условия осуществления **Справедливости.**

Как оценить эту Платоновскую концепцию? Много это или мало — с точки зрения понимания практических нужд конкретно-исторического общества и составляющих его индивидов?

Это — *очень много*, если иметь в виду, что это — *первая* в истории разработка важнейших ориентиров для социальной деятельности людей. В почти неизученной туманности природного и социального Бытия — появились первые (и весьма значимые) ***опорные точки***, появились первичные ***указатели***, на которые можно в определенной степени ориентироваться, прокладывая маршруты движения в неведомом и непознанном мире.

И это — *очень мало*, поскольку уж очень общи, очень туманны и очень приблизительны эти «ориентиры». Они, может быть, и годны для такой общей, приблизительной ориентировки, но мало что могут дать для совершенно конкретной и сугубо практической деятельности.

И все же, будучи мало пригодными для конкретной практически-преобразовательной деятельности, принципы эти сами указывают направление своей дальнейшей конкретизации, своего движения навстречу социальной конкретике. Они стимулируют постановку дальнейших, уточняющих суть дела, вопросов, они кладут начало развертыванию цепочки причин и следствий, в процессе осмысления которых ткется «золотая нить» Социального Знания.

Но, отдавая должное интеллектуальным звеньям, положившим начало формированию этой «нити», мы должны признать и то, что процесс ее плетения в высшей степени трудный и в высшей степени долгий. Пройдет немало сто-, а то и тысячелетий, пока концы этой волшебной нити опустятся с теоретических поднебесных высот на нашу грешную землю, пока эта «золотая нить» соединит высокую теорию и земную практику.

Так, если вы пришли к идее, что *справедливое* общество — то, в котором созданы условия для всесторонней и всемерной реализации человеческой сущности, для наиболее полного воплощения «человеческой природы», то, естественно, следующим вопросом будет: а в чем, собственно, состоит «общечеловеческая» природа и какова индивидуальная «природа» («назначение») данного человека? Да, это нелегкий вопрос. Но главное — он поставлен, и процесс размышления над ним (слава Богу и Платону!), как говорится, пошел.

И «пошел» этот процесс с выработки Платоном еще одной фундаментальной идеи, а именно: «природа человека» в главном и решающем определяется, детерминируется той Системой, которая создала Человека и органической частью которой он является — системой Всеобщего Бытия, его «смыслами» и «целями». Эту «смыслонаполненность» Бытия Платон именует ***благом***.

Подробный разговор о ***благе*** — впереди. Сейчас же просто зафиксируем главные элементы теоретической конструкции Платона, намечающей общие контуры, общее направление построения идеального государства:

Благо (как «смысл», как «цель» бытия, как причина причин всех вещей и изменений в мире);

Справедливость (как *человеческая* форма реализации блага);

Свобода, равенство, дружба (как *конкретные формы справедливости*, реализуемой в совершенном человеческом обществе).

Общие принципы, общие контуры совершенного человеческого общежития, таким образом, намечены. Можно приступать к более подробной и более конкретной характеристике ***идеального государства***.

Идеальные государства Павла Коленова и Платона Афинского

Вначале — об «идеальном государстве» Коленова. Нет, нет, не ищите эту фамилию в философских словарях. Не найдете. Она туда не вошла.

Коленов, Павел Васильевич, был, в 1950 году, директором маленькой, но очень симпатичной сельской школы в селе Викторовка Кустанайской области. Он преподавал у нас Конституцию. Впрочем, «преподавал» — это слишком сильно сказано. Он и в класс-то к нам заглядывал нечасто. Хотя он и имел «квартирку» в школьном дворе, но пересечь этот двор утром(!), после традиционного вечернего «расслабления» накануне, было для него проблемой. Когда староста класса приходила к нему домой и сообщала, что через несколько минут начнется его урок, Павел Васильевич, не разлепляя тяжело набухших век, давал указание: читать вслух статьи Конституции — с 17-й, скажем, по 27-ю. Минут за 15 до окончания урока он все-таки появлялся — не всегда с расцарапанным, но всегда — с крепко помятым лицом и мутными (но васильковыми и добрыми) глазами. В общем-то он был добр и по-своему нас любил, и мы ему — за его доброту — отвечали взаимностью. Иногда он приходил ... с патефоном и пластинками. Из вороха заезженных, исцарапанных пластинок с портретами Утесова и Шульженко он вынимал, мягко и нежно прикасаясь к краям пластиночного диска своими толстыми, оранжевыми от махры пальцами, какую-то особую пластинку, ставил новую патефонную иглу (для лучшего звучания) и... Ошарашенный класс девочек и мальчиков 7-го «Б» замирал,



слыша вот тут, рядом, звучащий голос... Бога. Бог говорил тихо, медленно, с сильным грузинским акцентом — так что разобрать толком, что́ он говорил, было невозможно. Божество шамкало, мекало, цокало что-то про «социалистическую демократию», про «окончательную победу», про «единство партии и народа», — это была его речь на каком-то там Съезде Советов о новой Конституции СеСеСеРь (как произносил Он). И вот когда вместе с шипением пластинки заканчивалось грузинское цоканье про «СеСеСеРь», Павел Васильевич и заводил с нами мечтательный разговор о будущей (неимоверно прекрасной, коммунистической) жизни. «Ведь как там будет? Там всё будет — и не в магазинах, а на складах, и — бесплатно: пашенички хотите — пожалуйста, сахарку, хлебчика захотелось — подходи и бери». — «Сколько хошь?» — зачарованно спрашивали голодные ребятишки, которые в своем сельском магазинчике видели только серую соль и плохо загоравшиеся спички. — «Сколько хошь!» — улыбался, словно волшебник, который все это может сделать, Павел Васильевич. — «И черного хлеба, и ***белого***?» — «И белого!» — эхом откликался учитель. — «И одежду, и валенки?» — «Всё, что хотите...» Вот это да!

Мы замолкали, и в воздухе распространялась атмосфера чуда...

Пашеничка, черный и белый(!) хлеб, штаны с валенками — бесплатно и сколько хошь — вот они, атрибуты идеального государства Павла Васильевича Коленова, излагавшего нам основы Сталинской Конституции...

Ну, а теперь — об идеальном государстве **Платона**. И уже — не об общих его «принципах» и «контурах», а — о конкретных политических и социальных институтах и структурах.

Оно будет базироваться на трех главных социально-политических структурах:

Высшая власть (по сути — законодательная) — **философы;**
Среднее властное звено (по сути — исполнительная власть) — **стражи;**
Третий (**безвластный**) уровень социальности — **работники**.

Начнем, естественно, с главного звена — с высшей власти.

Государством «должны править философы»

Да, с этого должно начинаться правильное правление. «Пока в государствах не будут царствовать философы,.. государствам не избавиться от зол»[1].

«Серьезные» политики, умудренные государственные мужи это просто не могут читать без смеха и сарказма. Философы у власти? Да это же полный бред! Это — немедленный крах всего и вся, это просто развал всей государственной машины. Тут ведь не речи о сущности Бытия произносить, не манускрипты о «высоких материях» сотворять. Тут речь идет о сугубо практических, сугубо

[1] Там же, 473d.

прагматических делах. И если уж вести речь о материи, то — о «материи» низкой, элементарной, например, — о той, что идет гражданам на одежду: суметь обеспечить выращивание и сбор хлопка, его переработку и перевозку, построить ткацкие фабрики, обучить рабочих, создать систему эффективного планирования (дабы было произведено «материи» определенного качества и требуемого количества — в точном соответствии с потребностями людей и возможностями производства), провести в ходе этой деятельности десятки, сотни, а то и тысячи совещаний (с машинистками-стенографистками, выверенным регламентом, принятием продуктивных решений и тщательно продуманным механизмом их реализации и т.д. и т.п.). Где тут место философам? Тут Спинозы и Канты не только бесполезны, но и прямо вредны... Оградите же нас от выслушивания этих античных благоглупостей, оградите нас (серьезных и деловых людей!) от этих Платонов с их чудачествами! Оставьте эту «возвышенную» дребедень для наивных студенческих аудиторий!

Платон, господа хорошие, предвидел возможность такой реакции. Не такой уж он простофиля, не такой уж он наивный прожектер, как вы полагаете.

У него в «Государстве» вашу позицию (один к одному!) представляет (тоже, как и вы, претендующий на сарказм) некто Адимант: «возвышенные помыслы» и масштабное видение Вселенной («охват мысленным взором целокупности времени и бытия»), замечает он, делают философов, конечно, людьми почтенными и уважаемыми, но, с точки зрения задач, решаемых государственной службой, они выглядят «**очень странными, чтобы не сказать совсем негодными, и даже лучшие из них... делаются бесполезными для государства**»[1].

И что же на это Платон?

А ничего. Он полностью согласен: Да, это так, это — «сущая правда»[2].

Адимант потрясен и растерян (кажется, сократовско-платоновским «штучкам» конца не будет!): «Тогда как же это согласуется с тем, что государствам до тех пор не избавиться от бед, пока в них не будут править философы, которых мы только что признали **никчемными** (с точки зрения государственной полезности)?»[3].

Да очень просто согласуется, дорогой Адимант: в «бесполезности» надо винить «не этих выдающихся людей», а общество, которое «не находит им никакого применения»[4]. Философы «никчемны» и «бесполезны» не вообще для государства, а лишь для *существующей государственности* —

— где «поданные осуществляют то, что пригодно правителю, так как в его руках сила» и вследствие чего «он благоденствует, а сами они — ничуть»[5];

[1] Там же, 486, 487d.
[2] Там же, 487d.
[3] Там же, 487e.
[4] Там же, 489c.
[5] Там же, 343c.

— где «силу имеет тот, кто у власти», и поэтому он «устанавливает законы» «в свою пользу», «а преступающих их карает»[1];

— где власть «то исподтишка, то насильственно захватывает то, что ей не принадлежит» и порабощает граждан, «обращая их в невольников»[2];

— где правитель заботится только о том, что «пригодно ему», а не о том, что «пригодно подвластному», и «днем и ночью только и думает ... о том, откуда бы извлечь *для себя* пользу»[3].

Этому государству Платон и не предлагает философов в правители. Ибо *это* государство прямо отторгает их — «по отношению к государству положение самых порядочных людей (*для Платона — это синоним философов*) настолько тяжелое, что ничего не может быть хуже»[4]. Куда уж тут в «правители»! В *этом* государстве философ «не может найти себе союзника, чтобы вместе с ним придти на помощь правому делу и уцелеть», «напротив, если человек, словно очутившись среди зверей, не пожелает сообща с ними творить несправедливость, ему не под силу будет управиться одному со всеми дикими противниками, и, прежде, чем он успеет принести пользу государству или своим друзьям, он погибнет без пользы для себя и для других»[5].

Надеюсь, вы, друзья-политики, не сердитесь, что Платон сравнил вас со «зверями», что он назвал вас «**дикими** противниками»? Нет, нет, вы ни в коем случае не должны сердиться. Ведь вы же так цените, так славите Макиавелли. А ведь это он, ваш любимец, назвал политиков «полузверями» и даже рекомендовал, каким именно зверям им лучше всего уподобляться — быть «львами» и «лисами» одновременно (хищно-жестокими, как львы, и изощренно-лукавыми, как лисы) — образы, которые вы, не без удовольствия, повторяете в своих приватных разговорах, а то и в статьях (а что тут такого, замечаете вы, «такова уж природа политики»!). Так вот, в *вашем* государстве **философ**, поскольку он не «зверь» и не «полузверь», поскольку он не собирается «благоденствовать» за счет подданных, сам не пойдет во власть — в *вашу* власть. Да, следует еще, пожалуй, оговориться, что, будучи «бесполезным» и даже «вредным» для *вашей* власти и *вашего* государства, он вовсе не бесполезен для Общества; он, даже в условиях *ваших* «полузверских» режимов, в условиях *вашего*, зачумленного бюрократией, государства, найдет-таки способ жизни и деятельности — «сладостный и блаженный»[6] для себя и плодотворный для других, и, в конечном счете, — для общества в целом. И не через участие во власти. «Учтя все это (*т.е. невозможность совместной деятельности с чинов-*

[1] Там же, 338e.
[2] Там же, 344b.
[3] Там же, 343b.
[4] Там же, 488.
[5] Там же, 496d.
[6] Там же.

ными «львами» и «лисами»), он (*не впадает в мрачную депрессию, не поддается панике, а*) сохраняет спокойствие и делает свое дело, словно укрывшись за стеной пыли, поднятой ураганом. Видя, что все остальные преисполнены беззакония, он доволен, если проживет здешнюю жизнь чистым от неправды и нечестивых дел, а при исходе жизни отойдет радостно и просто, уповая на лучшее»[1]. Это, как вы понимаете, — о жизни и судьбе Сократа.

«Значит, он отходит, достигнув немалого!» — восклицает Адимант, обрадованный тем, что, оказывается, и в существующем, далеко не совершенном, государстве есть место для достойной деятельности, есть возможность «жить по Сократу»!

И — снова мудрый собеседник огорошивает его. Немало? Да, конечно. Но это «немало» — по низшим меркам, это «немало» — лишь для тех узких возможностей, в которые философ (нравственный человек) поставлен «диким» политическим режимом. «Достигнув немалого»? Да, Адимант! «Однако все же *не до конца* достигнув того, что он мог, так как (внимание! читать по звуконарастающей интонации!) ***Государственный строй*** был для него ***не подходящим***»[2]. Пауза. И — заключительный аккорд: а «при подходящем строе он (*философ*) и сам бы вырос и, сохранив все свое достояние, сберег бы также и общественное»[3].

Так вот оно что! Философ у власти — это **особое государство,** это **особый тип политического строя**. Его надо осмыслить, за него есть смысл побороться. Это — более высокая и более сложная задача, чем пытаться сберечь свое нравственное достоинство, укрывшись «за высокой стеной» от политической грязи. Но тогда (коли уж вступать в социально-политическую схватку) надо поосновательней уяснить, что же должен представлять собой этот, «подходящий» для «философов» и всех прочих «порядочных людей», строй. И Адимант (которому так хочется достойно прожить свою жизнь) пытает платоновского Сократа: «Но какое же из существующих государственных устройств ты считаешь для нее (*философии*) подобающим?»[4].

Адимант Ну, скажи, Сократ, назови, — где он, этот строй? В Фивах, Афинах, Спарте, Коринфе, Эпидамне, Сиракузах? Где же, скажи, и я завтра, сейчас туда помчусь — пока молод, пока полон сил и желаний — послужить высокому, прекрасному и светлому делу. Где он, этот строй?

Сократ (*тихо и печально*): Нет такого.

Адимант растерянно смотрит на Сократа.

[1] Там же, 497d, e.

[2] Там же, 497.

[3] Там же.

[4] Там же.

Сократ (*не меняя раздумчиво-печальной интонации*) На это-то я и сетую, что **ни одно** (и приостановился на несколько мгновений, чтобы это жестокое «ни одно» попрочнее врезалось в память собеседника) ...ни одно из нынешних государственных устройств не достойно натуры философа. Такая натура при них извращается и меняет свой облик. Подобно тому, как иноземные семена, пересаженные на чужую почву, теряют свою силу и приобретают свойства местных растений, так и подобные натуры не осуществляют своих возможностей, приобретая чуждый им склад[4].

Почти в тех же словах и с теми же интонациями две с лишним тысячи лет спустя русский Сократ — Виссарион Белинский писал о «никчемном» и «бесполезном», о совершенно «лишнем» русском человеке — Печорине: душа Печорина — не каменистая почва, а засохшая от зноя пламенной жизни земля; пусть взрыхлит ее страдание, оросит благодатный дождь, и она произрастит из себя прекрасные цветы небесной любви. Так в веках перекликаются мечты замечательных людей — о плодоносной социальной почве, на которой могли бы вырастать прекрасные цветы небесной любви, а **человеческая** натура превращалась бы в **божественную**. Мечты. И до сих пор — только мечты!.. Но где-то, когда-то, верю, соединенное «количество» этих мечтаний наберет некую «критическую массу» — и прольются «благодатные дожди», и просветлеет небесная синь, и взрыхлится почва, — и преобразится мир; и увидят люди и лермонтовские «цветы небесной любви», и чеховское «небо в алмазах»...

Адимант Три вопроса, Сократ! (*Возвращает своего собеседника и нас с вами от политической лирики к политической прозе.*) Скажи, наконец, в каком же государстве «философы» перестанут быть «никчемными» и «бесполезными»? Какой строй будет «подходящим» для них? И почему ***только*** философское правление будет «подходящим» для этого строя?

Сократ Это не три вопроса, Адимант, это — один и тот же вопрос, только поворачиваемый разными сторонами. «Подходящим» для них будет тот строй, который вписывается в общую Логику, в высшие «Замыслы» Бытия в целом; он должен «работать» на «цели» бытия, то есть — на Благо; в нем должна реализоваться некая функция, необходимая Бытию. А это, с другой стороны, означает, что первейшая и главнейшая задача правителя — иметь представление об этой Логике и под действием ее императивов строить общественные отноше-

[4] Там же, 497b.

ния. Государство, воплощающее эту Логику и тем самым реализующее *назначение* человека в этом мире,— только оно может считаться совершенным государством. А люди, которые посвящают свою жизнь разгадке Логики Бытия и назначения Человека в нем, люди, которые стремятся выстраивать человеческий мир в соответствии с космическими (*в платоновской лексике—«Божественными»*) принципами— это и есть **Философы**. Философ— тот, кто рассматривает любую часть Мира под углом зрения Целого, в контексте Всеобщего. «Природа философов»—это «познание ***вечно сущего***»[1]. Философы «стремятся ***ко всему бытию в целом, не упуская из виду, насколько это от них зависит, ни одной его части, ни малой, ни большой, ни менее, ни более ценной***». Философ—это тот, кто «стремится к ***божественному и человеческому в их целокупности***»[2]. Создать человеческий мир в соответствии с «природой человека» или, говоря высоким платоновским слогом,—с его «божественным предназначением»—вот высшая задача человечества. (*Заметим мимоходом, что «божественное» у Платона не имеет той специфической* ***религиозной*** *окраски, которую получил этот термин в позднейших религиозных писаниях; у Платона— это, скорее, синоним некой высшей, стоящей* ***над*** *человеком, силы, вроде, например, гегелевской Абсолютной Идеи*).

Платоновский Сократ бесконечное число раз повторяет эти свои любимые идеи, поворачивает их к собеседнику то той, то другой гранью, уточняет формулировки—то дает краткое, афористическое определение, то разжевывает его на нескольких страницах—не поймут одно, может, поймут другое. Задача философа, подытоживает он, «**внести в частный и общественный быт людей то, что он усматривает наверху**». Вот так-то, Адимант! Платоновский «Философ»—не кабинетный деятель, перебирающий четки абстрактных формул; платоновский «Философ»—практик, **социальный строитель**, отличающийся от обычного «политического строителя» тем, что он стремится строить человеческий мир по законам, вычерченным «на небесах», т.е. по законам, диктуемым объективной логикой мироздания, а не своеволием или корыстью того или иного правителя. Потому и Человек, живущий в так создаваемом обществе будет обладать «боговидными и богоподобными свойствами»[3].

В общем, Философ—это тот, кто выкарабкался из Пещеры (помните знаменитый миф Платона, где человеческое общество представляется как скоп-

[1] Там же, 485b.
[2] Там же, 486.
[3] Там же, 501b.

ление скованных цепями людей в темной пещере?), кто увидел Солнце (то есть реальный мир в его Сути, в его Истине), понял высший смысл этого мира (т.е. «Благо») и, вернувшись к людям в темноту пещеры, принес им это Знание. Он открыл им глаза: вот как на самом деле устроен Мир (ваши представления о нем, основанные на наблюдении лишь теней реальных предметов на стенах пещеры,—убоги и ложны), вот к чему этот Мир влечется, вот наше место, люди, в этом Мировом, в этом Космическом процессе, вот каково наше предназначение, вот для чего возникла в этом Мире разумная материя (человек). И вот как нам надо жить—в соответствии с этим нашим «предназначением», то есть—в соответствии со своей Природой и Космическим Благом.

Философы задают обществу масштабы движения.

Это, однако, не значит, что «не нужны» экономисты, политики, чиновники-управленцы. Каждому—свое. Это значит только, что если экономист предложит свои программы (на пятьсот, на четыреста, на тысячу дней, на пятилетку, семилетку и т.п.), он должен, выполнив задачу классного и толкового увязывания хозяйственных показателей, передать эти программы на специфическую экспертизу высшей, Философской, власти. Эти «высшие эксперты» не будут перепроверять экономическую конкретику, хозяйственную цифирь (тут приоритет за профессионалами-экономистами). Они проверят эти программы на соответствие их интересам «дальнодействия»—на то, как они вписываются (и вписываются ли вообще) в общую Логику Мирового развития, в какой мере способствуют они реализации «человеческой природы» (т.е. в какой мере их можно считать «справедливыми», насколько они «богоугодны»). Они не будут проверять, к примеру, соответствует ли количество гаек, намеченных экономистами к производству, количеству планируемых болтов, на кои эти гайки предполагается навинчивать. Они определят «лишь», *куда* эти гайки вместе с болтами будут прилажены—к танкам или к тракторам. И если—к танкам, то против кого потом эти танки двинут (да, впрочем, еще определят, нужны ли вообще обществу эти «танки», и тем более—в намеченном профессионалами количестве). Они не будут проверять строителей на предмет устойчивости возводимых теми стен, они «только» определят, будет ли эта стена стеной тюрьмы или детского сада. Они будут определять эффективность социально-экономической деятельности не просто ростом «валового продукта» («вдвое», «втрое»), а тем, кому это удвоение или утроение богатства, в конечном счете, достанется, и каково будет содержание этого удвоения—выльется ли оно в «удвоение» авианосцев и боевых ракет, или в «удвоение» товаров народного потребления, библиотек, школ, научных институтов, театров, дворцов культуры...

И еще несколько граней «режима философского правления».

Философ у власти—это не просто «Знание» у власти, это—***«Знание высшего Блага» («высшей истины»[1]) у власти***, ибо «философская натура...

[1] Там же, 484d.

родственна наивысшему благу»[1]. А воплощение в человеческом обществе «высшего Блага», в ходе которого раскрывается вся полнота и гармония человеческой сущности, есть процесс становления Добра и Красоты.

Властвование Блага (Истины), Справедливости (Добра) и Гармонии (Красоты) с неизбежностью формирует особый тип личности правителей, определяющими чертами которых являются «**правдивость, решительное неприятие какой бы то ни было лжи, ненависть к ней и любовь к истине**»[2], — «такой человек рассудителен и ничуть не корыстолюбив», он «не гонится за деньгами»[3]; это «человек порядочный, не корыстолюбивый, а также благородный, не хвастливый, не робкий»[3].

Иначе говоря, Философия у власти —

Это — Истина у власти;

Это — Совесть у власти;

Это — Справедливость у власти;

Это — правление Правдивости, Благородства и Бескорыстия.

Это все то, что подчиняет деятельность Социума интересам полного и всестороннего развития Человека.

Ну, и что тут плохого, господа «серьезные политики»? Что тут нереального и невозможного?

И пусть потом, после властных философских «экспертиз», после коррекции составленных спецами планов — под углом зрения Справедливости, Совести, Благородства и т.п., — пусть забурлит деятельность государственных чиновников, пусть пойдут толковые совещания и заседания, пусть развернутся дискуссии и обсуждения в СМИ, пусть политические группировки поборются на выборах за право наилучшим образом реализовать идеи и принципы высшей — философской — власти, пусть развернется соревнование между победившим на выборах большинством и проигравшей оппозицией. Философское правление не делает все это ненужным, оно не хоронит ваш профессионализм, господа спецы, оно лишь задает общие исторические рамки, лишь обозначает некоторый «коридор» для ваших действий.

Правительство философов — это Совет мудрецов, это Ареопаг мудрейших.

Ну, а что, вам не хотелось бы, чтобы в этом высоком властном Ареопаге заседали, скажем, Андрей Дмитриевич Сахаров (как вы думаете, могло бы

[1] Там же, 501d.
[2] Там же, 485c.
[3] Там же, 485e.
[4] Там же, 486b.

тогда военно-бюрократическое чиновничество двинуть «ограниченный контингент войск» в бессмысленную и кровавую бойню в Афганистане?), Юрий Григорьевич Буртин (разве получил бы тогда министр Грачев «добро» на новогоднюю чеченскую авантюру 1994 года?), если бы там были Федор Михайлович Достоевский и Лев Николаевич Толстой (разве бы тогда влезла Россия в 1-ю мировую войну?) и — Александр Сергеевич с Михаилом Юрьевичем (вы можете себе представить, чтобы при них какой-то там Жданов посмел вылезти со своим докладом о Зощенко и Ахматовой?). Да разве вы (под «вы» я подразумеваю, конечно, честных, благородных, порядочных во всех отношениях людей), разве отказались бы вы иметь высшее руководство страны в таком, скажем, составе: Толстой, Достоевский, Пушкин, Лермонтов, Сахаров, Ильенков, Гавел, Пальме, Ганди, Неру, Кант, Хемингуэй, Гете, Бетховен, Рафаэль, Данте, Мор, Короленко, Локк, Менделеев, Эйнштейн, Рассел?..

Это все, между прочим, люди гонимые и преследуемые вашими макиавеллистскими режимами, господа чиновники. В *ваших* государствах *вы* властвуете над ними.

Платон предлагает *перевернуть* эту властную пирамиду.

Перекличка веков: разговор с оппонентом из XXI века

Оппонент Ну, что же, идея Платона о том, что в совершенном государстве должны править люди, способные распознавать Смысл всеобщего Бытия и в соответствии с ним обустраивать человеческое общежитие, — звучит красиво и привлекательно.

Но...

Вопрос первый. Вы, разделяющие позицию Платона, уверены, вы можете *доказать* (научно, рационально), что Бытие на самом деле обладает «Смыслом», имеет некую «Цель» и что человек, общество включены в механизм реализации этих Целей и Смыслов? А что, если никаких «смыслов» и «целей» в Бытии нет, а есть лишь «слепое» взаимодействие материальных объектов, свободная игра сил, дающая тот или иной результат — без всякой заранее провидимой цели? Во всяком случае, говорить о «целях» и «замыслах» того, что бесконечно (и в пространстве и во времени), как-то не слишком серьезно. «Цели» и «смыслы» можно отыскивать лишь в неких ограниченных, «конечных» системах, способных преобразовываться во что-то *другое*, переходить на какой-то иной уровень или в другое состояние (которое по отношению к исходному и будет выступать как «цель»). Но как можно говорить о «цели» (кстати, само это слово предполагает достижение какого-то определенного *рубежа*, некую «завершенность», «законченность»!), как можно, повторяю, говорить о «цели» некоего *бесконечно* длящегося процесса, о «цели» *беспрерывно* меняющихся состояний? Да, мы можем представить себе, как одно «конечное» переходит в «другое конечное», но для «бесконечного» не

может быть *другого* «бесконечного». Предположение о существовании одного «бесконечного» рядом с другим «бесконечным» означает признание *границы* между ними, а *ограниченное* «бесконечное» перестает быть «бесконечным» и становится «конечным». Да и по смыслу самого слова — «иным» для «бесконечного» может быть только «конечное». Но переход *бесконечного* Бытия в какое-то *конечное* состояние — это просто нонсенс, бессмыслица. А если эти наши рассуждения верны, то о «смыслах» и «целях» бытия говорить нелепо — и тогда все красивые декларации Платона о возможности построения общества по предначертаниям Свыше — летят ко всем чертям.

Вопрос второй. Предположим на минуту, что вы, друзья Платона, найдете какой-то более или менее убедительный ответ на вопрос о существовании «смыслов» и «целей» Бытия (ну, сделаем вам такую временную уступку!). Но это не избавит вас от необходимости — поведать нам об этих «смыслах» и «целях» (иначе по каким образцам вы будете вычерчивать идеальные линии вашего идеального государства?). У вас есть сказать что-нибудь путное на сей счет, такое, что имело бы под собой более или менее серьезное основание? Или нам всем придется пробавляться вашими взятыми, что называется, с потолка произвольными предположениями? Предположений же этих можно, конечно, понапридумывать сколько угодно, но могут ли вольные фантазии выступать в качестве серьезного критерия социального совершенства? И, кроме того, не слишком ли много в этом случае окажется образцов «идеальных государств» (которые, наверняка, будут даже исключать друг друга — фантазии-то у всех бывают очень разные)?

И если уж решитесь рассказать нам о содержании «смыслов» и «целей» бытия, то обязательно поведайте, как вы докопались до них (уж не шепнул ли доверительно вам о них кое-кто Свыше?).

И ***третий вопрос***. А вообще-то сам вопрос о «смысле бытия» — не праздный ли? Не псевдо ли это проблема? Ведь мало ли какие нелепые вопросы возникают в незрелых, неразвитых головах. Известно, что один «чудак» может задать столько и таких вопросов, что... и т.д. Не «чудаки» ли те вопросы о «целях» и «смыслах» понапридумали, а мы на них с таким упорством, с такой серьезностью ищем ответы.

Начну отвечать вам, господа-оппоненты, по методу Насреддина: и вопрос о «смысле Бытия», по-моему, не праздный, и ваше сомнение относительно «непраздности» этого вопроса — тоже не праздно. Все ваши сомнения, все вопросы — законны и основательны. Ибо никаких строго *научных* доказательств наличия целей и смыслов в Бытии ни Платоном, ни кем-либо другим приведено не было. (Да, думаю, этого никогда и не случится. Тут абсолютно прав Кант: научно не доказуемо ни то, что *есть* смысл в Бытии, ни то, что его *нет)*.

Да, в защиту Платоновой точки зрения можно привести некоторые (весьма серьезные, на мой взгляд, доводы (и я это чуть ниже сделаю), но абсолютной достоверностью, повторяю, эти доводы не обладают. Вы вправе их критиковать, и такая добросовестная критика будет только на пользу процессу поиска Истины; такая критика заставит нас более основательно продумывать

нашу позицию, оттачивать наши аргументы в пользу нашей — всего лишь — Гипотезы. Но я убежден, что за Гипотезу Платона есть смысл держаться.

Однако, обо всем по порядку.

Начнем с вашего третьего вопроса. Ибо по смыслу-то он — первый. Законен ли, необходим ли, оправдан ли *сам вопрос* о смысле Бытия?

Я начну с Маяковского, с его хрестоматийного: «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно...». Это, конечно, не аргумент. Это — *эпиграф* к дальнейшим рассуждениям.

Если из поколения в поколение, из века в век люди с удивительным постоянством, с невероятной настойчивостью ставят и ставят этот вопрос — о наличии в Бытии и в жизни Человека «смысла», «назначения», — значит, есть в нем что-то такое, что побуждает людей к раздумью. И, заметьте, мучаются им и, что называется, «простые люди», и мудрейшие из мудрейших. Зачем, зачем этот мир? И зачем мы в нем?

Кто попроще, поломав немного над ним голову, отодвигает его в сторону, по-разному успокаивая свое оказавшееся бесплодным любопытство: одни — тем, что открытие тайны сей им не по силам, другие — относят этот вопрос к забавам и издержкам юности и перестают, подобно какому-нибудь гончаровскому Александру Адуеву, раздумывать над этой «ерундой» и предпочитают заняться «серьезными делами» — получением престижной профессии, занятием комфортного места на служебной лестнице, стремительным движением вверх по ее ступеням и т.д. — вплоть до холмика с мраморным параллелепипедом: «Под камнем сим...».

А мудрейшие — те продолжают корпеть над разрешение той тайны, создают гипотезы, проверяют их на убедительность всей совокупностью имеющихся у человечества на данный момент знаний; потом их работу подхватывают мудрецы из следующих поколений — с помощью новых данных и новых фактов проверяют и перепроверяют они доставшееся им интеллектуальное наследство, накапливая постепенно крупицы истины. И этот, начавшийся с Сократа и не прерывающийся в течение многих веков, интеллектуальный поиск получил свое название — ***Философия***. Заметьте: не — «наука» (у нее свои, специфические методы и способы познания мира), а ***Ф-и-л-о-с-о-ф-и-я***. Уже в самом этом ***слове***, придуманном Сократом, заложена идея: не о «мудрости» (т.е. не о законченном, доказанном и отстоявшемся знании) тут речь, а лишь о «*любви* к мудрости», о «стремлении» к ней.

Философия — это и есть всемирно-историческое интеллектуальное пространство, которое заполняется размышлениями о сущности Мира, о месте («назначении») Человека в нем, о том, «с какой целью» этим Миром создана Разумная (Человеческая) материя.

Само существование и непрерывное развитие ***Философии*** — есть наиболее убедительный *ответ* на вопрос, необходима ли, нужна ли человечеству постановка проблемы о смысле Бытия.

Я, как вы уже давно, конечно, поняли, — на стороне Платона. То есть — на стороне тех, кто решается утверждать, что Бытие не бесцельно и не бес-

смысленно и что «разумной материи» (то есть — человеку) предначертана в жизни Бытия некая роль.

Какие есть *основания* для принятия *этой* гипотезы?

Ну, прежде всего, это — то, о чем я уже писал в главе о Сократе. Никто (из людей в здравом уме и твердой памяти), кажется, не оспаривает то, *человеческая* деятельность (обусловливаемая системой интересов и освещаемая разумом) — *целесообразна* и наполнена *смыслами* и *целями*. А если это так (а это несомненно так), то нелепо было бы думать, что это, смыслом наполненное, звено существует в общей цепи Бытия, напрочь лишенной «смысла». Целесообразное звено в бессмысленной цепи? Куда же «впадает» смысл человеческой деятельности — во всеобщую бессмыслицу? Довольно глупо получается! Смыслосодержащее звено — оно, ведь, причинно обусловлено *предшествующими* звеньями и не может не передавать «смысл» *следующим за ним* звеньям Природы. Иначе придется признать бессмыслицей всю социальную, человеческую деятельность, и тогда следовало бы прекратить все разговоры о стремлении человечества к какому-то «счастью», о «прогрессе», о «развитии» (какое там счастье, какие там прогрессы-регрессы, если все заканчивается бессмыслицей). Тогда прав Толстой в своей «Исповеди»: если признать, что жизнь — бессмыслица, тогда нет смысла в этой бессмыслице участвовать, тогда револьвер или веревку под подушку и в подходящий момент — петлю себе на шею или пулю в лоб.

«В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей».

Парадоксально, однако, здесь то, что стремление с помощью пули или петли выскочить из жизненной бессмыслицы (а, между прочим, эпохи, действительно лишенные смысла, — не редкость в истории) — это, объективно, демонстрация категорического неприятия «бессмысленного» существования. Это — выражение жгучей, непреоборимой тяги человеческой натуры к Смыслу. Это, как бы дико в данном случае ни звучало, — победа Смысла над Бессмыслицей (не над бессмыслицей жизни вообще, а над бессмыслицей данного, конкретного социального бытия). И в этом для меня великий (и, добавлю, оптимистический) смысл добровольного ухода из жизни Радищева, Есенина, Маяковского... Они своим трагическим решением выносили приговор обессмысленной реальности, окружавшей их; они не желали жить в обществе, утратившем смысл, они своим поступком побуждали живущих искать смысл бытия и строить общество, наполненное смыслом...

И еще одно основание для Гипотезы, выдвинутой Платоном и разделяемой мной. Лучше, ярче всего оно представлено Толстым в его «Исповеди»: без уверенности в существовании «высшего смысла» Бытия нормальная человеческая жизнь *невозможна*. Как это? Почему это? Живут же себе люди — миллионы, да что миллионы, — миллиарды людей — без мучений поиска «высшего смысла», без всяких там философских премудростей. Рождаются, ходят

в школы, получают специальности, женятся, растят детей, трудятся, добывая хлеб насущный и ... приходит время — умирают. И так поколение за поколением. Более чем «нормальная» жизнь!

Ну, во-первых, об этих «миллионах» и «миллиардах». Да, философские системы, трактующие о сущности мира и месте человека в нем, для большинства — книги за семью печатями. Но эти «миллионы» нашли другую, нефилософскую, форму приобщения к смыслу Бытия — ***религию, веру***. Для них — *это* главный «резервуар» представлений о «смысле» бытия и «смысле» человеческой жизни.

Религия — это еще одна, наряду с философией, форма признания человечеством наличия «смысла» Бытия вообще и Человеческого Бытия — в частности и в особенности.

При этом я вовсе не собираюсь никого агитировать вступать в ряды Философов или приобщаться к Вере — это дело свободного выбора каждого. И не хочу сказать, что существование Философии и Религии — есть *доказательство* наличия Смысла в Бытии (повторяю еще раз: это научно, рационально *недоказуемо!*). Я просто констатирую, что сотни поколений, что миллиарды живших и живущих людей — можно сказать, *абсолютное большинство* человечества — на основе своего опыта, интуиции, «внутреннего голоса» (сродни сократовскому даймонию) были и есть привержены идее существования «смысла» Бытия и определяемого им «смысла» человеческой жизни. И это не может быть простой случайностью или просто заблуждением. Это, если хотите, голос самой Природы (Матери Человека!), который, проходя через Чувства и Разум людей, обеспечивал им выживание и развитие.

Тут мы и подошли, пожалуй, к самому главному в нашем разговоре: а что же все-таки говорит нам этот голос Матери-Природы, что «нашептывает» он нам и каким образом удается нам расслышать его? Это и есть кардинальный вопрос о содержании Смысла Бытия — того, что Платон называл ***Благом***.

Что есть благо?
В чем смысл бытия и каково место человека в нем?

Что есть Благо? Разумеется, первое слово — Платону. Он прародитель всех этих дискуссий.

Вначале — о *всеобщих* характеристиках, *всеобщих* принципах Блага. Что оно такое по своей *сути.* Разговор о деталях — потом.

Вы опять разочарованы, вы опять недовольны: «Ведь поставлен же ясный вопрос: в чем — конкретно — Платон и его единомышленники видят смысл Бытия и назначение Человека в мире. Вот и расскажите об этом. Но вы опять что-то крутите-вертите. Опять — куда-то в сторону. Сейчас, чувствуем, снова начнутся бесконечные ваши «предисловия» и «введения». Надоело! Есть что сказать — конкретно и ясно — говорите. Нет? — До свидания. Опять эти «сократовские» манеры — ходить вокруг да около».

Да, да, я понимаю вас. Но прошу вас потерпеть еще чуть-чуть, еще совсем немного. Нам есть что сказать. Может быть, не так много и не так ясно, как нам, и тем более вам, хотелось, но кое-что скажем. Обязательно.

А «крутим» мы и «вертим» по необходимости. Предмет-то какой, крепость-то какая — Вселенная, Бытие, без концов и краев. Чтобы взять эту «крепость», надо же поосновательнее обложить ее с максимально возможного и максимально доступного числа сторон, надо как можно основательнее — без авантюрных вылазок — подготовиться и уж тогда ринуться на штурм ее первых бастионов. Вот и приходится заходить — то с одной, то с другой, то с третьей стороны.

Что есть Благо?
(крупный план, общие принципы)

Вы помните маршрут нашего (вместе с Платоном) движения к концепции идеального государства? Вначале — очень общее и несколько смутное представление о чертах совершенного общества, формируемое интуитивно, в значительной степени — на основе *эстетического* восприятия действительности, через призму искусства. Затем под эстетическую интуицию начинают подводиться рациональные основания, претендующие на то, чтобы получить статус *научного знания*. Так возникают *рациональные* принципы, выражающие ближайшие цели социальной деятельности, которые мы обозначили как «срединные звенья» теории; это, прежде всего, — Свобода, Равенство, Дружба. Следующий шаг — движение от «срединных звеньев» к более глубоким основаниям. Научный подход обогащается этическими императивами. Это единство эстетического, научного и этического начала фиксируется далее категорией Справедливость, ядро которой составляет идея «реализации в социальной жизни *природы человека»*. Справедливо — все то, что служит решению этой задачи. И вот здесь-то и начинаем подбираться к категории Блага.

Мы говорим о реализации «природы человека». Мы говорим, что Справедливость — это все то, что служит решению этой задачи. Но ведь «реализация природы человека» — не самоцель, это вовсе не какая-то «высшая задача бытия». Ведь Мир (Космос, Вселенная) существует не «для человека». Человек (со своей «природой» и «справедливостью») — сам лишь *звено* в цепи Бытия. Он сам — лишь момент реализации какого-то более общего «замысла». В этом «всеобщем замысле», в этой логике бытия у человека есть какая-то своя функция, какое-то свое место. Человек, «реализация его природы» зачем-то «нужны» Бытию. Бытие «произвело» разумную материю (т.е. — человека) — для себя! И вот эту-то предполагаемую высшую, всеобщую «цель» Бытия, подчиняющую себе все формы деятельности «разумной материи», Платон и называет... Нет, тут нельзя своими словами. Переход к вершинной категории Платоновской теоретической системы, к категории, играющей фундаментальную роль в построении Платоном своего философского и социально-нравственного здания, к категории, без усвоения, без понимания

которой ничего нельзя понять в теоретических конструкциях античного мыслителя, этот переход, в силу его чрезвычайной важности, следует зафиксировать документально — не в изложении, не в интерпретации, — а подлинными словами Платона.

Адимант (*платоновскому Сократу*) Да разве… есть что-то важнее справедливости и всего того, что мы разбирали?[1]

Сократ Да, **есть нечто более важное,** и это следует рассматривать не только в общих чертах, как мы делаем теперь: напротив, там нельзя ничего упустить, все должно быть завершенным. Разве не смешно, что в вещах незначительных прилагают старания, чтобы все вышло как можно точнее и чище, а в самом важном деле будто бы и вовсе не требуется величайшая тщательность!

Адимант Конечно. Но что такое это важнейшее знание и о чем оно?..

И — внимание! Сейчас Платон назовет это «важнейшее знание», сейчас он обозначит всеобъединяющую идею своей философии:

Сократ Идея блага — вот это самое важное знание.[2]

Благо — и есть Вершина платоновской теоретической конструкции.

Благо — это «причина причин», это «цель целей».

Вот как выстраивает Платон цепочку своих рассуждений, тянущуюся от бытия отдельной вещи к высшим «смыслам» и «целям» Вселенной:

Каждая вещь имеет свое «назначение», свою «идею»[3]. Но каждая вещь существует (и только так она и может существовать) в связи, во взаимосвязи с другими вещами. Вещи «подпитывают» друг друга, они — не «сами по себе», они не «самодостаточны», они и существовать-то могут только во взаимодействии, они — «части» единого органического Тела — Космоса. У них есть своя специфическая функция в жизни этого Целого, свое «назначение» в нем, своя, иначе говоря, «идея». Но есть еще Идея всего этого Целого. ***Благо*** и есть Идея Целого, Идея идей. Только «через нее (*через идею Блага*) становятся пригодными и полезными (*и, добавим, понятными*) справедливость и все остальное»[4].

Еще раз: Благо — это Причина всех (частных) причин, это Цель всех (частных) целей, это Идея всех (частных) идей.

[1] Там же, 504e, 505.
[2] Там же, 505.
[3] Там же, 507b.
[4] Там же, 505.

Эту мысль Платон озвучивает по-разному, вариативно, заходит то с одной, то с другой стороны, высвечивает то один, то другой ее аспект,—стараясь сделать ее возможно более полной, объемной и, вместе с тем, прозрачной.

Вот несколько примеров этого:

«То, что придает познаваемым вещам истинность (*т.е. наличие в них «идеи»),* а человека наделяет способностью познавать (*что составляет одно из «назначений» человека, одну из граней его «идеи»)*, это ты и считай идеей блага—причиной знания и познаваемости истины. Как ни прекрасно и то, и другое—познание и истина, но если идею блага (*т.е. Идею идей*) ты будешь считать чем-то еще более прекрасным, ты будешь прав... Правильно считать познание и истину имеющими образ блага (*т.е. частными формами его проявления, его существования*), но признать что-либо из них самим благом было бы неправильно: благо по его свойствам надо ценить еще больше (*то есть Благо может существовать, присутствовать в тех или других формах существования предметов, людей, различных природных и социальных процессов; но это лишь* ***частные проявления*** *Блага; есть же еще «Благо вообще», «всеобщая идея Блага»)*»[1].

И далее: «Познаваемые вещи не только могут познаваться лишь благодаря благу, но оно дает им и бытие и существование, хотя само благо не есть существование, оно за пределами существования, превыше его достоинством и силой»[2].

Благо—столь общее, столь абстрактное понятное, что не поддается строгому и однозначному определению. Как известно, определять—значит ограничивать (а Благо безгранично!), определять—значит отличать одно явление от другого (для Блага нет равнозначного ему «другого», его можно отделять только от его же *частных* форм проявления!), определять—значит обозначить вначале общий род определяемого объекта, а затем назвать его *специфические* признаки, отличающие его от других объектов данного рода (но «более общего рода» для блага не существует!), определять, наконец, означает показать историю происхождения, возникновения данного явления («знать предмет—значит знать историю его происхождения»—Гегель), но Благо не возникает из чего-то другого, оно—высшее (выше нет!), беспредпосылочное начало.

И потому Платон не столько *определяет*, сколько *описывает* его. А описание то и дело расцвечивает образами, аналогиями—и в результате «Благо» предстает не только как *научная, теоретическая* категория, но и как *эстетический*, постигаемый эмоционально, с помощью воображения, феномен, и как *нравственная* парадигма, ухватываемая с помощью чувств, интуиции. Особенно часто он сравнивает Благо с Солнцем. Когда, например, Главкон[3] пытается иронизировать по поводу того, что вот-де такой вполне конкретный

[1] Там же, 508е.
[2] Там же, 509b.
[3] Там же, 509b.

«предмет», как Солнце, вдруг у платоновского Сократа выступает в роли некоего *научно-теоретического понятия*, Сократ довольно жестко прерывает его:

Сократ	Не кощунствуй! Лучше вот как рассматривай его образ…
Главкон	Как?
Сократ	Солнце (*подобно Благу*) дает всему, что мы видим, не только возможность быть видимым, но и рождение, рост, а также питание, хотя само оно не есть ни становление (*ни рождение*).[1]

Тут Главкон очень забавно восклицает:

Главкон	Аполлон! Как удивительно высоко мы взобрались!
Сократ	Ты сам виноват: заставляешь излагать мое мнение о благе.
Главкон	И ты ни в коем случае не бросай это; не говоря уж о другом, разбери снова это сходство с Солнцем…[2]

Главкон ухватывается за этот образ Солнца, через него ему легче понять идею Сократа. И платоновский Сократ идет навстречу юноше: хорошо, давай разберем ситуацию на примере Солнца. Собственно, для раскрытия этого символа Блага, как Солнца, Платон и создает свой знаменитый миф о Пещере.

Платон, как вы помните, рассказывает там о предметах, с которыми имеет дело и которые видит перед собой человек. Человек уверен, что предметы эти, их совокупность — и есть единственная реальность. В действительности это не так. «Предметы» — лишь внешняя оболочка их сущности, их «идеи», и оболочка эта очень часто (и даже — как правило) не совпадает с сущностью. «Предметы» эти потому и можно сравнить с «тенями», которые отбрасывают действительные предметы на стены пещеры. А действительные предметы — там, за выходом из пещеры. Мир наших обычных предметов, иначе говоря, это — пространство темной пещеры с тенями на стенах. А мир их неискаженных сущностей — это мир за пределами пещеры, мир чистого света и яркого Солнца. Платон здесь всюду пишет Солнце с заглавной буквы, как бы подчеркивая, что не о реальном, видимом солнце идет речь (это «видимое солнце» — тоже тень Солнца подлинного) и даже не об «идее» солнца как определенного природного тела, но о **Солнце как символе Блага**. Что означает:

«От Солнца зависят и времена года, и течение лет», «оно ведает *всем* в видимом пространстве», «оно же … есть *причина всего того*, что … узники видели раньше в пещере»[3].

[1] Там же, 509b.
[2] Там же, 509c.
[3] Там же, 516c.

Восхождение от изучения видимых предметов («теней») к их сущности, к их «идеям», а через их «идеи» — ко всеобщей Идее (Идее их идей) — есть путь постепенного движения из мрака пещеры к сиянию Солнечного света.[1] «Начинать надо с самого легкого: сперва смотреть на тени, затем на отражение в воде людей и разных предметов (*эти отражения предметов уже ближе к сущности, к истине, к «идее», чем их отблеск на пещерных стенах*), а уж потом — на самые вещи (*то есть — на их сущность*); при этом легче было бы видеть не днем, а ночью, то есть смотреть на звездный свет и Луну, а не на Солнце и его свет (*это — **предпоследняя** ступень перед вхождением в мир Солнца; здесь, при свете Луны, истина, суть вещей видятся уже достаточно ясно, но еще не четко, не резко, и все же отсюда до истины — уже рукой подать*). И вот лишь после этого человек вполне готов к восприятию истины во всей ее чистоте, лишь после этого «человек был бы в состоянии смотреть уже на самое Солнце, находящееся в его собственной области, и усматривать его свойства, не ограничиваясь наблюдением его обманчивого отражения в воде или в других ему чуждых средах».[2] С этого момента начинается постижение Блага как такового, а не его односторонние, частные отражения в тех или других предметах или явлениях.

И — переходя от образного строя речи к научно-категориальному (что позволяет дать более строгую характеристику сущности Блага): «Восхождение и созерцание вещей, находящихся в вышине (*то есть — в сфере «сущностей»*) — это подъем души в область умопостигаемого. Если ты все это допустишь, то постигнешь мою ***заветную мысль*** — коль скоро ты стремишься ее узнать, — а уж богу ведомо, верна ли она».[3]

Вот ведь какие слова нашел Платон: моя ***заветную*** мысль. Сердцевина всех рассуждений. И заключительный аккорд этой симфонии о Благе:

«Итак, вот *что* мне видится: в том, что познаваемо, идея блага — это ***предел***, и она с трудом различима, но стоит только ее там различить, как отсюда напрашивается вывод, что именно она — **причина всего правильного и прекрасного**. В области видимого она порождает свет и его владыку, а в области умопостигаемого она сама — владычица, от которой зависят истина и разумение, **и на нее должен взирать тот, кто хочет сознательно действовать как в частной, так и в общественной жизни**».[4]

Очень точен комментарий редакторов четырехтомника Платона — А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса и А.А. Тахо-Годи — к первой части этого тезиса: «Все предшествующие рассуждения, начиная с 508a, подводят собеседников Сократа к мысли об идее высшего блага, которое ни от чего не зависит, само себя определяет, находясь за пределами бытия (509b), и является не чем иным,

[1] Там же, 516.
[2] Там же.
[3] Там же, 517b.
[4] Там же.

как тем *беспредпосылочным началом* (510b)*, которое символически можно выразить в образе Солнца* (509), все одаряющего, дающего человеку возможность видения мира, но вместе с тем ослепительно недоступного»[1].

Это все так, и я, своей стороны, уже откомментировал подобные идеи. Сейчас же хочу обратить ваше внимание на вторую часть тезиса Платона. В ней он формулирует идею, имеющую основополагающее значение для понимания всей его социально-философской концепции: тот, кто хочет сознательно действовать в общественной жизни, должен выстраивать содержание и логику своей деятельности в русле требований и целей Блага. Иначе говоря, социальная и политическая деятельность людей (в ее идеальном варианте) должна согласовываться с общей Логикой Бытия, с его «целями», т.е. — с тем, что в Платоновской лексике именуется ***благом***.

«Никогда, ни в коем случае не будет процветать государство, если его не начертят художники по *божественному образцу*»[2].

Идеальное, совершенное, истинное государство, стало быть и есть форма (одна из форм) проявления и реализации Блага. Вот отсюда-то и следовал знаменитый тезис о том, что *во главе государства должны стоять* ***философы***. Т.е. — люди, способные подняться над миром узких, повседневных забот (миром «теней») и вступить в мир сущностей, в мир «идей», в пространство мирового, космического движения, люди, способные поведать об этих высших целях бытия своим согражданам, способные перевести высокий язык вечной Природы на язык практических нужд человечества, на язык общественной деятельности людей в конкретных условиях времени и пространства. Назначение философа-правителя — «внести в частный и общественный быт людей то, что он усматривает *наверху*»[3]. Такому правителю «уже недосуг смотреть вниз, на человеческую суету, и, борясь с людьми, преисполняться недоброжелательства и зависти. Видя и созерцая нечто стройное и вечно тождественное, не творящее несправедливости и от нее не страдающее, полное порядка и смысла, он этому подражает и как можно более ему уподобляется»[4]. Способствуя формированию в истинном (совершенном) государстве истинного (совершенного) человека, философы-правители «пристально будут вглядываться в две вещи: в то, что *по природе* справедливо, прекрасно... Смешивая и сочетая качества людей, они создадут прообраз человека, определяемый тем, что уже Гомер назвал *боговидным и богоподобным* свойством...»[5].

А теперь, естественно, возникают дальнейшие вопросы. Если для осуществления «идеальной» государственной деятельности так важно знать содержание Блага («целей» и «задач» Бытия), то:

[1] Платон. Собр. соч. в 4-х т., т. 3, с. 582.

[2] Платон. Государство, 500е.

[3] Там же, 500d.

[4] Там же, 500с.

[5] Там же, 501b.

1. В чем состоят эти «высшие цели» Бытия и какова роль человека в их реализации?

2. Как должно быть устроено общество, в максимальной степени соответствующее этим «целям»?

Ответов на эти вопросы особенно ждали юные герои платоновского «Государства» от его главного действующего лица — Сократа.

И снова их ждало разочарование — как следствие упрощенного понимания ими проблемы.

Они-то полагали, что сейчас им расскажут, наконец, о Целях и Замыслах Бытия (по крайней мере — так, как это представлялось их собеседнику) и потом протянут от них нити к человеческому общежитию: вот — Цели бытия, вот — их реализация в человеческом обществе. А платоновский Сократ опять «мешкает». Потому что знает, что дело обстоит сложнее, хитрее и интереснее. Потому что отдает себе отчет, что движение по ожидаемой его юными друзьями схеме — очень опасно. Ведь полное, ясное и отчетливое знание о «целях» Бытия, как мы уже не раз говорили, невозможно; мы можем иметь о них лишь очень ограниченное, очень приблизительное представление (тем более — на том, раннем, этапе человеческой истории). И умно ли, в таком случае, строить свою общественную деятельность и социальную жизнь людей в «точном соответствии» с этим неполным и неточным знанием? Это будет прямым путем к социальному фанатизму, к деятельности политических фанатиков, которые именем познанных (будто бы!) ими Высших целей Бытия примутся ломать, калечить реальность, навязывая ей свои примитивные схемы, не останавливаясь, естественно, перед массовым уничтожением людей, не вписывающихся в жесткие и тесные рамки их социальной инженерии.

Принцип-то верен: стремиться к тому, чтобы социальное устройство сопрягалось с Логикой Вселенной. Но сопряжение это — процесс. Процесс долгого и сложного прилаживания Общества к бытию, процесс, идущий часто не прямым, а кружным путем.

Платонова методология предполагает, что познание Вселенной (ее Целей и Замыслов) мы начинаем не с изучения космически-масштабных явлений. Мы не стремимся сразу освоить ее бесконечные пространственные и временны́е дали (это — бесперспективное занятие!). Мы начинаем гораздо скромнее, но зато — вернее. Мы начинаем с рассмотрения частных, малых форм Бытия — с тех, что у нас перед глазами. Но поскольку это формы *его* (Бытия) существования, то изучение их приоткроет нам и некоторые важные черты *Бытия вообще*. Мы начинаем с изучения конкретных обществ, деятельности конкретных людей в определенную эпоху. И в *них,* в этих *частных* объектах и явлениях, стремимся отыскать черты *всеобщности*. Задача эта, конечно, не простая, но — единственно обещающая получение действительных знаний о Бытии. Мы изучаем логику исторического общественного развития, устанавливаем, какие ценности и установки укоренялись в общественной жизни, способствуя выживанию людей. Сам факт существования людей

на протяжении многих и многих столетий, факт их «выживания» — свидетельствовал о том, что, пусть стихийно, неосознанно, но как-то прилаживались они к «требованиям» Бытия, как-то попадали они в его ритмы и интенции (не погибли ведь, не исчезли!). Так вот и надо изучать, как происходило это «прилаживание», какие «ритмы», какие «требования» Бытия улавливали и использовали люди в своей деятельности.

Так что, господа оппоненты, оставьте ваши попытки подтрунивания над Платоном — по поводу того, кто, дескать, «нашептал» ему о «высших смыслах» Бытия. Ему «нашептывали» о них не боги, не «кто-то сверху», а скромные и донельзя реальные его братья-земляне — те, кто, за много веков до Платона, пришел в Аттику, поселился в ней, создав Полисы (формы своего сотрудничества и общения), кто изобретал орудия труда и способы воздействия на природу, обеспечивавшие его выживание, кто создавал Культуру и Искусство, способствовавшие его развитию. Платон сравнивал различные формы политического устройства, сопоставлял разные способы производственной деятельности людей, применяемые ими системы воспитания и образования, — стремясь выделить наилучшие, те, что обеспечивали наиболее стабильное, наиболее эффективное общественное развитие.

Именно в ходе такого анализа Платоном и были открыты, и были выделены три фундаментальные ценности, три фундаментальные установки, служившие людям рычагами развития — Свобода, Равенство, Дружба. Им было установлено, что там, где удавалось хоть в какой-то степени реализовать эти принципы, — общество делало наибольшие успехи, а люди, составлявшие это общество, испытывали ощущение подъема и счастья. (Например, — Афины времен Перикла или — начальные этапы перехода от одного — «нисходящего» — политического режима к другому — «восходящему»). Резонно было далее предположить, что потребности людей в Свободе, Равенстве и Дружбе — это их коренные потребности, это потребности их Природы. Таким образом, Природа человека начинала обретать вполне конкретные очертания.

И все же это была, хоть и достаточно вероятная, но — *Гипотеза*. И, как *Гипотеза*, она требовала дальнейших проверок и уточнений. Следовало, в частности, подкорректировать сами понятия Свободы, Равенства и Дружбы (об их неясности в целом ряде аспектов мы уже писали). Надо было проверить их логикой развития современной Платону реальности. И самое сложное — надо было попытаться выяснить, могут ли эти установки и ценности вписаться в более широкий и более масштабный контекст. То есть — можно ли их представить детерминированными не только современной и протекшей человеческой историей, но и Логикой развития всего Мира, Логикой Бытия?

глава 2. Трудные поиски идеала в России

двумя поколениями шестидесятников — XIX и XX веков

Шестидесятники XX века о своих предтечах
(Как мы писали и как нас читали)

«Правильно ли мы Вас поняли?»

Однажды, где-то в начале 70-х, очень симпатичный студент Володя Г. передал мне мою книгу «От Чернышевского к Плеханову» — со своими вклейками, заметками на полях и с приложенным к ней письмом-запиской.

Вот оно.

Уважаемый Григорий Григорьевич!

«Прошедшее не в нашей власти, но будущность наша!» — этими словами Чаадаева вы заканчиваете свою книгу.

Мы с этих слов ***начали*** работу нашего кружка. Мы взяли их для себя девизом. (Кстати, саму идею «кружка», направление и смысл его деятельности мы почерпнули из Вашей главы о Писареве.)

Мы начали с изучения Вашей книги, ибо в ней — о «прошедшем», изменить которое, конечно, «не в нашей власти», но «в нашей власти» понять его. Вместе с тем, Ваша книга не только и не просто о «прошедшем», она — и о «настоящем» (о том, как «прошедшее» предопределило наше нынешнее «настоящее»). И она — о «будущности», о тех целях, к которым следует стремиться и о тех средствах, с помощью которых можно достичь этих целей.

Нам запали в душу Ваши слова: «Установить, что самодержавный строй плох, что система организации труда в обществе, что плохи государственные чиновники — не трудно. Для этого надо быть просто честным, просто наблюдательным человеком, не прятать голову под подушку и жить так, чтобы толстый кусок колбасы не закрывал весь мир.

Для того, чтобы прийти к мысли, что этот мир надо изменить, — надо иметь еще несколько важных качеств: обостренное чувство справедливости и недюжинную смелость.

Но, чтобы установить, как его изменить и что строить взамен разрушенного, — для этого нужны не просто честность и смелость, не просто «здравый смысл», для этого надо серьезно изучить историю, философию, политическую экономию, для этого надо уметь не засыпать над экономическими таблицами; в общем, не легкая это должность — быть «инженером истории».

Мы, думается, прошли первые ступени описанного Вами развития: мы «установили», что «самодержавный» (в том числе наш, самодержавно-партийно-бюрократический) строй «плох», и мы не хотим ни «прятать голову под подушку», ни закрываться от мира «толстым куском колбасы». Я не знаю, достаточно ли у нас «обострено чувство справедливости», достаточно ли мы «честны и смелы» (хотим думать, что все это в какой-то мере присуще нам), но совершенно ясно, что ни «историю», ни «философию», ни «политэкономию» мы не знаем в той степени, в какой необходимо, чтобы содержательно ответить на вопрос, «как строить» новое, более гуманное, более совершенное общество.

Мы очень рассчитываем на Вашу помощь — Ваши советы и рекомендации в этом отношении.

Но прежде я хотел бы спросить, правильно ли мы читали, правильно ли понимали написанное Вами (верно ли улавливаем и трактуем содержащиеся в книге подтексты). Посмотрите, пожалуйста, вопросы, замечания, подзаголовки на полях Вашей книги (а также на вклеенных на ее страницах листочках).

Правильно ли поняли основную идею книги — что существовали (и существуют) в России **две** основных версии социализма — тоталитарная (государственно-бюрократическая), которую-то и «социализмом», по сути, нельзя называть, и демократическая (народная), подлинно социалистическая?

Вот какое место из Вашей книги я имею в виду:

«Вопрос о возможностях и границах человеческой воли в историческом развитии, — пишете Вы, — был в центре внимания русской социалистической мысли. История русского социализма (его теория и практика) содержит богатый и поучительный материал по этому вопросу. Через всю историю социалистической мысли России проходит острая борьба двух линий в оценке возможностей человеческой воли в общественном преобразовании: одну из них мы назвали бы революционным фанатизмом, другую — революционным реализмом. Революционные фанатики (которые часто столь же отвратительны, как и средневековые религиозные фанатики) человеческую волю, сознание, человеческую активность превращали в исходное исторического развития. Естественно, их не интересовали ни объективные законы бытия, ни объективные потребности людей; природа и люди для них — лишь объект их (фанатиков) деятельности, лишь материал, который надо кромсать и мять, чтобы слепить из него что-нибудь "путное". Это — "воля", которая реализуется (по планам фанатиков) в виде большой дубины, которой загоняют людей в социализм. ***(Вы же здесь, Григорий Григорьевич, и сталинское, да и хрущевско-брежневское правление имеете в виду?)***

Безудержному культу “воли” и “насилия” революционный реализм (ярчайшим представителем которого был Чернышевский) противопоставляет теорию объективного анализа закономерностей исторического процесса, принципиально отрицая насилие над большинством народа (даже “для его же собственного блага”). Для революционных реалистов “воля” и “сознание” были лишь “майэвтическими” (т.е. родовспомогательными), средствами.

“Наша сила … в исторической попутности”, — писал Герцен в поистине манифесте революционного реализма — в письмах “К старому товарищу”.

Борьба революционного реализма и революционного фанатизма шла по многим направлениям, но центральным вопросом их полемики (в котором конкретизировалось основное противоречие: “культ насилия” или “историческая попутность”), был вопрос о роли народных масс и личности в истории.

Особенности исторического развития России обусловили то, что ни одна из стран не имеет столь обширной и поучительной литературы по этому вопросу. Представлены все мыслимые точки зрения на этот счет: от фанатического (почти религиозного) преклонения перед каждой подробностью народной жизни до не менее фанатического презрения к самым мощным народным движениям. И среди этих точек зрения была та, что наиболее полно выражена Чернышенским и Добролюбовым (например, в статьях “Луч света в темном царстве”, “Не начало ли перемены?” и др.) — точка зрения, одинаково свободная от фанатических крайностей как преклонения, так и презрения. Сторонники этой точки зрения знали могучую силу народа и уважали его, но они знали и то, что народ этот темен и невежествен, и не приходили в восторг по этому поводу. Деятельность этих революционеров заключалась в пробуждении сознания и революционной энергии народа, они обосновали основной принцип социализма: самодеятельность народных масс — только эта сила способна построить подлинно социалистическое общество.

Иной социализм, — т.е. социализм, в строительстве которого народные массы принимают участие лишь в качестве пассивного инструмента власть имущего меньшинства, — **такой социализм не есть социализм.** ***(Несомненно, это — характеристика нынешнего нашего “социализма”! — В.Г.).***

“Самодеятельность народных масс” — это станет потом важным принципом подлинно социалистического учения.

Таким образом, русские социалисты (из разряда “революционных реалистов”) нащупывали те объективные рамки, которые указывали предел возможностей человеческой “воли” и человеческого сознания; это степень хозяйственного, промышленного развития страны (степень развития производительных сил, как сказали бы мы сегодня), возможность помощи со стороны высокоразвитых стран, это интересы и потребности, существующие в народе, нравственный и культурный уровень населения. Революционные реалисты решительно выступали против всяких “великих скачков”, в основе которых в лучшем случае не было ничего, кроме воли и желания нетерпеливых людей. Наиболее глубокие и наиболее серьезные из русских социалистов, создавая свои революционные программы, тщательно и всесторонне изуча-

ли объективное соотношение реальных общественных сил и характер общественных противоречий. Ярчайший пример этому — идеи Чернышевского (и Добролюбова) о **сочетании борьбы за демократию с борьбой за социализм**. Решительную борьбу ведут ныне (ориентированные на демократию) коммунисты всего мира с идеологией "левого" оппортунизма, прикрывающего свою авантюристическую, антинародную политику ультрареволюционными фразами. Эту борьбу современные марксисты ведут, опираясь на опыт борьбы с "левой", мелкобуржуазной революционностью. Серьезным подспорьем в этой идеологической борьбе является и опыт русского революционного движения XIX века.

Не надо, конечно, переоценивать "левую опасность", но не надо и недооценивать ее. Ведь левая фраза, как и "левая политика", не является лишь результатом "происков" властолюбивых людей. Нет, эта фраза и эта политика имеют прочные корни в положении и настроении народов отсталых стран.

С одной стороны, страшная нищета, страшное угнетение народов такой страны порождают его кипучую революционность, его беззаветную решимость, ибо перед ним действительна выбор: победа или смерть. Но есть и другая сторона этой народной нищеты и угнетенности, эта "сторона" — темнота и невежество народа. Темнота и невежество "человека из народа" мешают ему ясно понять суть происходящей борьбы, мешают понять самого себя и, в первую очередь, мешают понять свою собственную отсталость, свою ограниченность. Ему начинает казаться, что командирский приказ, сабля, винтовка ("средства", так верно служившие ему в революционных боях!) в состоянии решить любые проблемы, любые самые сложные вопросы экономического, политического и культурного строительства. Он не понимает, что ему, бесстрашному революционеру-победителю, надо ... учиться. Он не понимает этого. Свое ограниченное сознание, свои неразвитые, ограниченные потребности он хочет представить, как эталон сознания, как эталон жизнеповедения, следование которому обязательно. Короче, свою ограниченность он хотел бы возвести во Всеобщий закон, не понимая, что его ограниченность была порождена прошлым строем и что поэтому, возводя ее в общий закон нового строя, в обязательную норму нравственности и культурности, он возводит в закон именно это прошлое! Происходит (в новой форме) возрождение старой мерзости, как выражался Маркс. А люди, которые смогли бы (в целях захвата власти) использовать эти настроения, всегда найдутся, больше того, эти настроения сами порождают определенного рода людей. ***(Здесь Вы, по сути, характеризуете социальную базу сталинизма?)***

Однако, победа такого рода "настроений", победа всеобщей ограниченности, не является в XX в. фатальным, неизбежным исходом революций в отсталых странах: здесь и может сказаться сила сознательности и сплоченности революционного руководящего меньшинства, способного понимать уроки истории, и дело вовсе не в том, чтобы в страхе перед возможностью возрождения старой мерзости противиться сплочению и организации народа, его революционному выступлению против старого мира. Ничего подоб-

ного. Сплачивать и поднимать народ надо и пробовать надо, и рисковать надо, и не обязательно ждать, пока сознание последнего “человека из народа” поднимется на запланированную высокую ступень. Всё это так, но только еще одно “надо”: надо помнить, что победа “сплоченной и организованной” (но еще неразвитой и малограмотной) народной массы — вовсе еще не означает “автоматического” наступления социализма. Надо помнить, что только по достижении определенного (высокого) уровня производительных сил, высокого уровня культурности, только тогда и можно всерьез говорить о социалистических преобразованиях.

Это очень важно — как руководители революционного движения оценивают ситуацию, складывающуюся на другой день после революции. Одно дело рассматривать ту ситуацию как временную и преходящую, видеть в ней лишь предпосылки для скорейшего развития производительных сил и культурности народа, т.е. для социализма, (в этом случае политическое руководство отдает себе ясный отчет в опасностях, которые встают на пути нового строительства, и направляет свои усилия на то, чтобы свести эти опасности до минимума). И другое дело, если ситуация эта выставляется в качестве образца общественного устройства, в качестве подлинного, истинного социализма (коммунизма); *это* уже торможение общественного развития, это преддверие личной диктатуры или диктатуры какой-нибудь клики “революционных негодяев”. *(Мы понимаем, о ком тут идет речь; мы хорошо знаем имена этих “революционных негодяев”.)*

Фатальной неизбежности исхода такого рода, повторяем, нет. Надо только трезво оценивать возможности и ясно представлять опасность. Неоценимую помощь в этом может оказать внимательное изучение уроков истории, за которые так дорого платило человечества. Не в нашей власти исправить ошибки прошлого, но в нашей власти не повторять их. “Прошедшее не в нашей власти, но будущность наша”, — этими словами П.Я. Чаадаева мы и хотим закончить свою работу» (стр. 204–207 Вашей книги)».

Потом в письме Володи идут вопросы, связанные с уяснением содержания и специфики русского социализма XIX века, о котором шла речь в моей книге: о крестьянстве, как массовой базе русского социализма, об общинном владении, как социальном институте, положенном в основу своих социальных конструкций основоположниками русского социализма — Герценом и Чернышевским, о факторе «всемирности» (или, как сейчас пишут, «глобальности») исторического процесса, в контексте которой только и могут быть поняты особенности российского общественного развития. Но все это я здесь опускаю, это не для данной книги. Иначе говоря, я опускаю проблематику русской освободительной мысли, имеющую собственно исторический характер, и оставляю лишь сюжеты, связанные с оценками «реального социализма» и с возможными способами противостояния ему, — проблемы, которые, в условиях свирепой партийно-государственной цензуры, не могли быть открыто изложены и потому уходили в подтексты и аналогии. Кстати, одна из

рецензий на мою книгу — в «Вопросах литературы» в 1970 году — так и называлась (уж не знаю, то ли этот рецензент «доносил» по начальству, то ли пытался «открыть глаза» читающей публике): «Далекие аналогии».

Я приведу некоторые «заметки» — на полях моей книги и на вклеенных в нее листочках, которые сделали ребята из кружка Володи.

Сразу скажу, я не вернул Володе этот экземпляр книги. Оставил себе «на память» — и как знак того, что писания наши «не уходят в песок» (как иногда, в минуты грусти, думается), и по той причине, что очень уж откровенны там письменные «комментарии»: попади они в руки различного рода соглядатаев — быть у ребят серьезным, очень серьезным неприятностям. Я вернул Володе другой, чистый, экземпляр и посоветовал быть поаккуратнее...

Привожу ниже отрывки из книги «От Чернышевского к Плеханову» и некоторые, весьма любопытные комментарии моих молодых читателей. («Комментарии» эти, «заметки», «подзаголовки», дабы вы могли отличать их от основного текста, я подчеркиваю).

Поступая так, я преследую двоякую цель: во-первых, хочу показать, **как** мы писали и **как** нас читали (как мы вели беседы с родственными нам душами в присутствии цензоров и партийно-гебистских надсмотрщиков — почти как на свидании родственников с заключенными в шарашке из солженицынского «Круга первого»); и, во-вторых, хочу рассказать о самоотверженных интеллектуальных исканиях представителей русской общественной мысли XIX века, стремившихся к пониманию и преобразованию того, весьма несовершенного, российского общества, в котором им суждено было жить, стремившихся определить тот, достойный, тип жизни и деятельности, который диктовался бы гуманистическими, нравственными началами. И это для нас, «шестидесятников» XX столетия (как, впрочем, и для тебя, мой современный молодой читатель), было (и есть) не менее важно и значимо, чем поиски великих античных мыслителей. Сократ и Платон, Чернышевский и Герцен — вот два главных интеллектуально-нравственных потока, которые, слившись, и могут дать начало мощному течению современной российской общественной мысли. Здесь, в идеях этих четырех великих мыслителей, и должно, на наш взгляд, искать ***начало*** **современной духовной и социальной** ***парадигмы***.

(Говорю об этом, чтобы у вас не сложилось представления, что предлагаю прочесть страницы «второй свежести», страницы давно отшумевших и пожелтевших, как осенние листья, идей. Эти страницы, написанные четыре десятилетия тому назад, излагают концепцию, которой я придерживаюсь и сегодня).

От Чернышевского и Писарева к Плеханову.
Формулы борьбы и их современное прочтение
(Володя Г.: Как надо читать эту книгу)

«а) Становление Чернышевского — революционера и социалиста

Для того, чтобы пробраться, так сказать, к сердцевине мировоззрения Чернышевского, чтобы обнаружить ядро его программы, нужно немало по-

трудиться — петлять по сложным хитросплетениям дорог его мысли, разгребать завалы на этих дорогах, умышленно созданные им, а подобравшись к ядру — осторожно очищать его от «упаковки».

(Так же надо читать и книгу Г.Г., выявляя все ее подтексты; это — чемодан с двойным дном)

Однако не надо думать, что ядро это составляет единственную цель нашего «путешествия» по статьям великого революционера. Нет, нас в не меньшей степени интересуют и хитросплетения дорог на пути к этому «ядру», и секреты его «упаковки». Нас интересует это потому, что все это не менее важно, чем «ядро», потому что все это неотделимо от «ядра». Не для того же настоящие революционеры составляют свои программы, чтобы в кабинетной тиши любоваться своей мудростью и своей логикой. Программы создаются для того, чтобы сообщить их людям, чтобы позвать людей на их осуществление. *Поэтому* путь к людям — это тоже часть программы, часть революционной теории, часть революционной науки. Ведь можно иметь великолепное понимание обстановки, создать превосходную программу ее изменения, но так и остаться с ней в четырех стенах. И какая тогда по существу разница — была эта программа, было это понимание или нет. Мысль осталась мыслью. На примере Чернышевского мы увидим, как мысль превращается в дело, как люди умели бороться в подлейшей обстановке российского царизма, когда, казалось, всякая возможность борьбы исключена, мы увидим, как умели они (даже в этой обстановке!) влиять на все события в революционном духе. Что же эта была за обстановка?

Это был конец царствования Николая I и начало царствования Александра II. Период, связанный с именем Николая I, — один из самых мрачных в истории России.

(Эпоха Николая = эпохе Сталина; кстати, как-то удивительно — даже по годам, хотя и в разные века, — совпадают периоды правления обоих деспотов: Николай — 1825–1855гг. Сталин — 1924–1953.)

Моровая полоса, идущая от 1825 до 1855 г. — так охарактеризовал его Герцен. «Вглядываясь в темносерый фон, видны солдаты под палками, крепостные под розгами, подавленный стон, выразившийся в лицах, кибитки, несущиеся в Сибирь, колодники, плетущиеся туда, бритые лбы, клейменные лица, каски, эполеты, султаны... словом, петербургская Россия». Человеческое уступило место животному. Беззаконие стало законом. Дикая физическая расправа стала будничной работой николаевских палачей. «Имея в руках дикую власть, они не имеют даже того звериного сознания силы, которое удерживает большую собаку от нападения на маленькую». Николаевские (= ежовско-бериевские) собаки кусали от злобы, кусали от трусости, кусали потому, что их за это хорошо кормили; кусали на голодное и сытое брюхо, кусали, едва успевая сплевывать кровь со своих клыков.

Да, это действительно была моровая полоса, время сибирских рудников и белых ремней. Но оно (и, может быть, самое страшное!) убивало, как писал Герцен, не одними рудниками и белыми ремнями, а своей удушающей,

понижающей атмосферой. Николаевское время было, по выражению Герцена, временем нравственного душегубства.

И, наконец, еще более страшное, еще более тягостное заключалось в том, что сколько-нибудь открытая борьба против этого произвола, против этого деспотизма была невозможна. Человек может быть счастлив в самой подлой, самой угнетенной стране, если в руках у него винтовка, если у него не отнята возможность (пусть даже в суде, пусть даже в последней перед казнью речи) обратиться к людям, к народу, через головы правителей. Но если крепко стиснуты руки, если перехвачен полотенцем рот? Если «земли нет под ногами», если «хотят кричать — языка нет... да нет и уха, которое бы слышало»? И лучшие люди становились «лишними» людьми.

— Как это невозможна борьба? — воскликнет иной читатель XX в. — Вы что же, оправдываете бездействие, пассивность? А Огарев, Герцен, в конце концов?

И, может быть, даже добавит победно: «В жизни всегда есть место подвигу!».

В жизни действительно всему есть место. И между прочим — глупости или, скажем мягче, — наивности. Эта милая наивность гнездится в нежных голубиных головах, о которых иногда говорят со вздохом: «Святая простота». Она свята, потому что не замутнена ни одним корыстным или материальным интересом. Но это — простота, потому что такой человек сам не знает, о каких трудных и сложных вещах он говорит. Он не понимает, о чем он спрашивает. Ему кажется, что оправдывают пассивное отношение к жизни. Но причем тут оправдание или осуждение! Можно ли оправдывать или осуждать, скажем, тяжелораненого человека за то, что он лежит в постели, а не идет, ну, скажем, играть в городки. Можно, конечно, говорить, что ранения нетрудно было избежать или хотя бы избежать такого тяжелого ранения, и что наш раненый наполовину сам виноват в своем тяжелом положении, и т.д. Это другое дело. Но если ранение уже факт? Здесь врач уже не занимается вопросом, можно или нельзя было избежать. Он лишь констатирует: никаких городков, более того — никаких движений, если хотите когда-нибудь вообще двигаться; вам надо залечить раны и набраться сил. Согласитесь, что заподозрить такого врача в том, что он «оправдывает» бездействие — весьма наивно.

А разве в 1825 г. (в 1925–1938 гг.) не была обескровлена, не была тяжело ранена лучшая часть русского общества?

А вот вам и Герцен (вслушайтесь еще раз): «Господи: какая невыносимая тоска! Слабость ли это, или мое законное право? Неужели мне считать жизнь оконченною, неужели всю готовность труда, всю необходимость обнаружения держать под спудом, пока потребности заглохнут, и тогда начать пустую жизнь. Можно было бы жить с единой целью внутреннего образования, но середь кабинетных занятий является та же ужасная тоска. Я должен обнаруживаться, — ну, пожалуй, по той же необходимости, по которой пищит сверчок, ... и еще годы надобно таскать эту тяжесть!» «Мои плечи ломятся, но еще несут!»

И, словно обращаясь к потомкам из другого века:

«... Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования? а между тем наши страдания — почки, из которых разовьется их счастье. Поймут ли они, отчего мы, лентяи, ищем всяких наслаждений, пьем вино и прочее? Отчего руки не подымаются на большой труд, отчего в минуту восторга не забываем тоски? Пусть же они остановятся с мыслью и с грустью перед камнями, под которыми мы уснем: мы заслужили их грусть!».

Ну что же, святая простота может бросить вязаночку сухих слов — и подпалить немножко память Герцена — пусть, на то она и святая простота.

Да, мы с грустью останавливаемся перед могилами людей, истомившихся в нравственной душегубке по свободной деятельности. Но мы останавливаемся не только с грустью, но, как и просили эти люди — «с мыслью»; с мыслью о том, что их жизни, их поиск истины не пропали даром для следующих поколений. Они с честью выполнили (кто сознавая, а кто и не сознавая) задачу, возложенную на них историей.

Они были теми капиллярами, по которым кровь декабристов перелилась в тело разночинцев, героев «Народной воли».

Период, в который они жили, словно специально был предназначен для теоретических размышлений, для философских раздумий; такой период, лишая возможности действовать, концентрирует все уцелевшие силы на анализе происшедшего и происходящего. ***Это период теории, период, когда подготавливается завтрашнее действие.***

(Вот возможная и необходимая форма общественной деятельности — в эпоху сталинской тирании: основательное осмысление происшедшего после 1917–1924 гг., выработка программ завтрашнего действия, дабы в случае ослабления политических холодов не оказаться не подготовленными к возможностям, открываемым «оттепелью», что, увы, и случилось после XX съезда, — к этому повороту демократические, народные силы оказались не готовыми.)

«Юноша, пришедший в себя и успевший оглядеться после школы, находился в тогдашней России в положении путника, просыпающегося в степи: ступай куда хочешь, — есть следы, есть кости погибнувших, есть дикие звери и пустота во все стороны, грозящая тупой опасностью, в которой погибнуть легко, а бороться невозможно. Единственная вещь, которую можно было продолжать честно и с любовью, — эта *ученье*». Лучшие люди уходят в философию, историю, политическую экономию; запираются в кабинетах, среди книг и лишь близких друзей. Кротами зарываются они в землю и принимаются за работу. На поверхности ни движения, ни ветерка. Но крот делает свое дело. И он хорошо роет, этот крот ...

Меж тем время залечивало раны, поднималось к жизни новое поколение революционных бойцов. «Новая жизнь прозябала, как трава, пытающаяся расти на губах непростывшего кратера». «В самой пасти чудовища выделяются дети, не похожие на других детей; они растут, развиваются начинают жить совсем другой жизнью. Слабые, ничтожные, ничем не поддержанные,

напротив, всеми гонимые, они легко могут погибнуть без малейшего следа...». Но «мало-помалу из них составляют группы. Более родное собирается около своих средоточий». «Главная черта всех их — глубокое чувство отчуждения от официальной России, от среды, их окружающей, и с тем вместе стремление выйти из нее — а у некоторых порывистое желание вывести и ее самое». «этими детьми ошеломленная Россия начала приходить в себя». К числу этих «детей» и принадлежал Чернышевский.

***

Чернышевский честно и с любовью учился — изучал историю, философию, политическую экономию. «Она (*политическая экономия)* и история (то есть и то и другое, как приложение философии, и вместе главные опоры, источники для философии) стоят теперь во главе всех наук, — писал Чернышевский родным 22 ноября 1849 года — ...И это не то. что мода, как говорят иные, нет, вопросы политико-экономические действительно теперь стоят на первом плане и в теории, и на практике, то есть и в науке, и в жизни государственной». Он предчувствовал перемены и готовился к ним. Осознание происшедшего и происходящего становится все более глубоким, предчувствие будущего все более определенным.

Для него не было предметом раздумий, по какую сторону баррикад его место. Он был с угнетенным и «утесняемым» классом и себя считал обязанным содействовать пробуждению его сознания, организации его борьбы. Для этого и учился. Вот первый итог учебы, зафиксированный двадцатилетним Чернышевским в своем дневнике 18 сентября 1848 года: «...Я думаю, что единственная и возможно лучшая форма правления есть диктатура или лучше наследственная неограниченная монархия, но которая понимает свое назначение, — что она должна стоять выше всех классов и собственно создана для покровительства утесняемых, а утесняемые — это низший класс, земледельцы и работники, и поэтому монархия должна искренно стоять за них, поставить себя главою их и защитницею их интересов».

До революции здесь еще далеко. Но кто из революционеров не проходил через эту веру в мудрого правителя, кто не думал, что многочисленные несчастья происходят лишь по злой воле отдельных вельмож и помещиков и лишь потому, что о них не знает царь.

С этой верой в высшую справедливость легко и спокойно живется, с этой верой человек свободен от нравственных мучений и бессонных ночей. Поэтому для либерала и обывателя эта вера вырастает в целую философию, превращается в идеологическую подкладку их собственного благополучия. Для революционера эта вера — быстро проходящая детская болезнь, потому что главное в ней — не столько вера в мудрого царя, сколько уверенность в том, что сильные, имущие классы не пойдут добровольно навстречу угнетенным; мудрый монарх — лишь средство заставить их это сделать.

Поэтому так быстро приходит выздоровление, так естествен следующий шаг: «С год должно быть назад тому несколько поменее писал я о демокра-

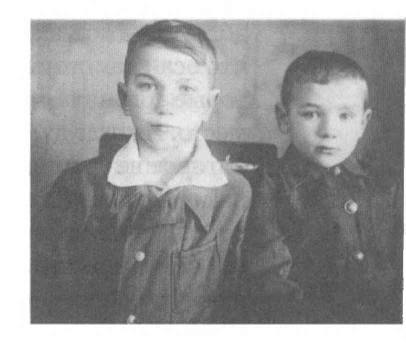
тии и абсолютизме (*имеется в виду как раз приведенная нами выше запись от 18 сентября 1848 г.)* ... Видно, тогда я был еще мнения, что абсолютизм имеет естественное стремление препятствовать высшим классам угнетать низшие, что это противоположность аристократии. — А теперь я решительно убежден в противном — монарх, и тем более абсолютный монарх, — только завершение аристократической иерархии, душою и телом принадлежащее к ней. Это все равно, что вершина конуса аристократии».

Это, пожалуй, самый важный вывод, сделанный молодым Чернышевским. Это самый трудный и ко многому обязывающий вывод. Ибо как только установлено, что монарх и окружение — не что-то обособленное от вельмож и помещиков, как только установлено, что абсолютистская верхушка, средние слои — принадлежат одному и тому же телу, как только это установлено — вывод о необходимости революции делается сам собой, ибо среди правящих — ни внизу, ни наверху — нет сил, способных преобразовать общество, покончить с угнетением народа.

(Это — и моя эволюция, Григорий Григорьевич: я оправдывал Сталина, полагая, что он «ничего не знает» о произволе, творимом нижестоящими. Потом понял: «вождь» и «нижестоящие» — это одно целое. И это, действительно, «ко многому обязывающий вывод». После него было бы слишком наивно рассчитывать на два прежних варианта преобразований: 1. Довести до сведения руководителя о произволе нижестоящих — «открыть ему глаза» и 2. Надеяться на то, что можно ограничиться сменой высшего руководителя — скажем, Сталина каким-нибудь Маленковым или Хрущевым. Становилось ясно: тут надо менять систему. И задача, конечно, усложняется. Ибо речь тут уже должна идти не о «поправках», не о «реформах», а о революции! По-видимому, здесь Г.Г. описывает не просто эволюцию Чернышевского, но и свою собственную.)

Не совсем, Володя! В моей жизни все было немного по-другому. Вера в «мудрого правителя» у меня улетучилась очень рано — в 13 лет. Подслушал ночной разговор родителей, ошарашивающие оценки отцом этого «правителя». Мир начал переворачиваться. (*См. главу «Земляничная поляна».*)

Идем по деревенской дороге. Делюсь подслушанной информацией со старшим братом — Леонидом, приехавшим на летние каникулы в маленькое казахстанское сельцо Викторовка, место ссылки отца. Рядом — поднимает босыми ногами облака пыли вроде бы безразличный к нашему разговору младший братец, семилетний Сашуха.



Вечером, за молочной трапезой при свете керосиновой лампы, Сашуха вдруг:

— Папа, а это правда, что Сталин — подлец?

— Да ты что, откуда ты это взял?

— Да вот, Гришка говорил, что это ты сказал.

— Да нет, Сашунька, Гришутка что-то не так понял...

А потом был разговор — один на один — с отцом. И поведал мне папаня — в расчете на мою уже «взрослость» — о некоторых фактах своей биографии. О том, как их, студентов V курса историко-философского факультета МГУ и партийных активистов, в 1930 году арестовали (за выступления против зверских методов сталинской коллективизации и поддержку линии Бухарина, защищавшего ленинский, нэповский курс). Рассказал, как при обыске взяли его чересчур откровенный дневник с весьма нелестными характеристиками Сталина («узколобый болван», «змей-горыныч»…) и Молотова («тупой исполнитель злой сталинской воли»), как Молотов в своей напечатанной в «Правде» речи клеймил позором их «антисоветскую группу», как в газете «Московский Университет» появилась (на два подвала) статья «Большое двурушничество маленького политикана», где обильно цитировались «антипартийные» и «антисоветские» записи его Дневника, как приговорили их к «высшей мере» и как, услышав этот приговор (после объявления которого садист-судья сделал длительную паузу), упал замертво («от разрыва сердца») славный паренек, выходец из беднейшей крестьянской семьи Ванька Егоров, и как садист-судья, подождав, пока тело Ваньки вынесут из зала, продолжил: «Но, учитывая революционное прошлое подсудимых, их заслуги перед революцией, заменить смертную казнь 10-ю годами лагерей…». И начался 25-летний тюремно-лагерный марафон отца — с кратковременными выходами на свободу и очередными «посадками» — длившийся вплоть до смерти двух главных садистов страны — Сталина и Берии.

В общем, Володя, веры в «мудрого правителя» у меня с 13 лет не было.

Так Чернышевский подходит к осознанию исторической необходимости революции. Как же ускорить ее приход?

«Думал о тайном печатном станке. Когда сел в карету, определились больше мысли и вздумал так, что если доживет теперешнее положение общества до того времени, когда я буду жить в отдельной квартире и будет у меня несколько денег, то едва ли я не буду исполнять своих планов, которые, между прочим, были и такие: если напечатать манифест, в котором провозгласить свободу крестьян, освобождение от рекрутчины… и т.д. И разослать его по всем консисториям и т.д. В пакетах от святейшего синода. И велеть тотчас исполнить, не объявляя никому до времени исполнения и не смущаясь противоречием… Потом придумал, что до́лжно это послать и губернаторам; потом придумал, что до́лжно не посылать его в самые ближайшие губернии к Петербургу: потому что если так, то могут, получивши оттуда донесения, послать курьеров, которые догонят почту в дальних губерниях до приезда их туда, в назначенное место. И когда думал, что тотчас это поведет за собою ужаснейшее волнение, которое везде может быть подавлено и может быть сделает многих несчастными на время, но разовьет-таки и так расколышет народ, что уже нельзя будет и на несколько лет удержать его и даст широкую опору всем восстаниям, — когда подумал об этом, почувствовал какую-то силу в себе решиться на это и не пожалеть об этом тогда, когда стану погибать за это дело. Когда слез с ка-

реты и пошел, пробудилась и та мысль, что ложь, во всяком случае, приносит всегда вред в окончательном результате, поэтому не лучше ли написать просто воззвание к восстанию, а не манифест, не употребляя лжи, а просто демагогическим языком описать положение и то, что только сила и только они сами через эту силу могут освободиться от этого... И когда подумал, —да, как же ложь здесь принесет вред, а не пользу, —тотчас подумал, что так, что убьет доверие народа к воззваниям его приверженцев в последствии времени.

Да и теперь чувствую себя не просто как за несколько часов перед тем, питающим различные нахватанные из газет мнения, которые делают его расположенным к социализму и врагом застоя и угнетения, а почувствовал себя личным врагом, почувствовал себя в измененном положении, так, как чувствует себя заговорщик, как чувствует себя генерал в отношении к неприятельскому генералу, с которым должен вступить завтра в бой, внутренне теперь почувствовал, что я, может быть, способен на поступки самые отчаянные, самые смелые, самые безумные... Этот ток мыслей и эта перемена вся произошли в 8-м часу вечера, 15 мая 1850 года».

Да, такой «ток мыслей» стоит того, чтобы быть записанным так подробно и даже с указанием дня и часа своего появления.

Историческая необходимость и неизбежность революции осознаны Чернышевским совершенно ясно. Осуществится ли эта необходимость при его жизни или после, доживет ли он до ее осуществления или нет, арестуют ли его или нет — эти и подобные им вопросы становятся уже в общем-то неважными. Он вступил на путь революционной борьбы, потому что он просто не может идти по другому пути, он просто не сумеет идти по другому пути — такой уж у него склад личности, такой характер — это самый естественный и, простите, самый легкий для него путь. Эта о таких людях писал Герцен: «Они невозмущаемо тихи, идут твердым шагом, но не топают, людей этих боятся судьи, им с ними неловко». Да, Чернышевский из разряда тех людей, «которые так же просто надевали венок славы на свою голову, как и терновый венок». Потому что, строго говоря, они не принадлежат себе, они принадлежат исторической необходимости; они не думают о себе, они думают о работе, совершить которую требует история, и личное без остатка растворяется в исторической необходимости. И хотя дороги этой исторической необходимости не всегда идут через «сады и виноградники», эти люди сами шагают по ним и зовут других — что делать, иных дорог нет.

«Вот мой образ мысли о России: неодолимое ожидание близкой революции и жажда ее, хоть я и знаю, что долго, может быть весьма долго, из этого ничего не выйдет хорошего, что, может быть, надолго только увеличатся угнетения: и т.д. — что нужды?»

Это удивительное, потрясающее место. Много ли найдется в истории революционеров, которые в 22 года так трезво оценивали перспективы борьбы, так верно оценивали расстояние, отделяющее от осуществления их идеалов?

Да, эта удивительное место! Здесь ясное, честное и гордое осознание того трагического положения, в котором оказались революционеры 50–60-х го-

дов. Объективной основой этой трагедии было то, что темное русское крестьянство (эта единственная массовая революционная сила) было не способно на историческое творчество по созданию общества, свободного от эксплуатации; в то время не было ни одной возможности, — ни широкой дороги, ни узкой тропинки, по которой Россия могла бы двинуться непосредственно к социализму, к тому общественному идеалу, который уже достаточно полно сложился в западноевропейской науке и который был достаточно глубоко усвоен крупнейшими русскими мыслителями, такими, как Белинский, Герцен, Огарев, Петрашевский, Спешнев и др.

Гениальность Чернышевского проявилась в том, что он (и это в 22-летнем возрасте!) остро почувствовал этот трагизм ситуации. Он не ждет от возможной русской революции решения всех проклятых вопросов, «загаданных» истории крепостническим строем. Никакой идеализации: сознавая значительную вероятность (если не сказать неизбежность) этой революции, он сознает, что эта революция не приведет к действительному освобождению утесняемых (хотя и прольет немало крови тех людей, которым он симпатизирует), что в результате этой революции, может быть, «надолго увеличатся угнетения». Это только розовощеким, не научившимся думать юношам (которые, впрочем, нередко со временем становились исправными столоначальниками) свойственно было полагать, что революция одним махом может все решить, все расставить по нужным местам, уничтожить все зло и породить неизбывное добро. А «человек, не ослепленный идеализациею, — писал в дневнике Чернышевский, — умеющий судить о будущем по прошлому и благословляющий известные эпохи прошедшего, несмотря на все зло, какое сначала принесли они, не может устрашиться этого (*т.е. призываемой революции);* он знает, что иного и нельзя ожидать от людей, что мирное, тихое развитие невозможно... Глупо думать, что человечество может идти прямо и равно, когда это до сих пор никогда не бывало».

И сознавая (или вернее, предощущая) всю трудность этого пути, Чернышевский тем не менее готов шагать по этим кривым дорогам истории вместе с утесненными и угнетенными, вместе с народом, потому что, иначе как в борьбе, иначе как через испытания и ошибки, не приходит сознание к угнетенным, не появляются силы, способные к исторической самодеятельности. «...Пусть народ не приготовленный вступит в свои права, во время борьбы он скорее приготовится; пока ты (*речь идет о царском самодержавии)* не падешь, он не может приготовиться, потому что ты причина слишком большого препятствия развитию умственному даже и в средних классах, а в низших, которые ты предоставляешь на совершенное угнетение, на совершенное иссосание средним, нет никакой возможности понять себя людьми, имеющими человеческие права. Пусть начнется угнетение одного класса другим, тогда будет борьба, тогда угнетаемые сознают, что они угнетаемы при настоящем порядке вещей, но что может быть другой порядок вещей, при котором они не будут угнетаемы; поймут, что их угнетает не бог, а люди; что нет им надежды ни на правосудие, ни на что, и между угнетателями их нет людей, стоящих

за них; а теперь они самого главного из этих угнетателей считают своим защитником, считают святым. Тогда не будет святых, а будет: ты подлец, взяточник, грабитель, жестокий притеснитель, пиявка, развратник, и ты тоже, и он тоже, и нет между вами никого, кто променял бы свой класс на наш класс, кто стал бы за нас против вас и стал бы искренно, с убеждением...».

(Да, именно так: будить народ, просвещать его, организовывать и подготавливать его к массовому действию. Расстрел хрущевским руководством рабочей демонстрации в Новочеркасске—не должен отпугивать нас от этой работы; просто к массовым выступлениям надо готовиться более тщательно и умело. А расстрел этот—ясное свидетельство полного разрыва лидеров XX съезда со своим народом и их приверженности к бюрократическим—по сути, сталинско-репрессивным—методам).

Так в канун журналистской деятельности складывалась у Чернышевского программа борьбы, так формировался его удивительно глубокий взгляд на значение массового революционного действия—в истории вообще и в конкретной исторической ситуации в России, в частности.

Конечно, в дальнейшем у Чернышевского углубилось понимание хода исторического развития, необычайно обогатилась теория революционного действия. Но важно отметить (и не грех несколько раз повторить), что уже в самом начале деятельности Чернышевскому не была присуща психология безоглядной и бездумной революционности. Уже в начале своей деятельности он не рассматривал приближавшуюся, по его мнению, русскую революцию в качестве панацеи от всех зол, не рассматривал революционное насилие в качестве единственно достойного и безошибочно действующего средства, с помощью которого одним махом можно решить все проблемы общественной жизни. И это—то драгоценное зерно, которое дало потом, в творчестве Чернышевского, такие прекрасные всходы.

Придя к мысли о неизбежности и необходимости революционных преобразований, Чернышевский, естественно, стремился сделать посильный вклад в то, чтобы преобразования эти совершились с возможно большей пользой для «утесняемых» и с возможно меньшими потерями для дела свободы. Чернышевский считал, что таким вкладом с его стороны может быть пропагандистская (просветительская) и организаторская деятельность. Чернышевский ищет тот круг людей, с которыми он мог бы идти плечом к плечу. Он ищет лучшие для того времени формы организации и сплочения передовых людей, лучшие формы для пропаганды социалистических взглядов.

В период николаевщины все эти формы сводились в основном к созданию узких кружков, которые скреплялись не только идейной общностью, но и близкими дружескими отношениями их участников. Такими кружками были, например кружки Станкевича, Герцена. Стремление к более широкой и разнообразной деятельности, проявившееся в организации кружка петрашевцев с его более широким кругом участников и попытками практической деятельности (выпуск «Карманного словаря иностранных слов», например), было подавлено с той злобой и жестокостью, которые составляли отличительную осо-

бенность николаевского правления. Добавим только — **временно** подавлено, **временно** приостановлено. Потому что **остановить** было уже невозможно. Кружок петрашевцев был лишь гребнем поднимающейся революционной, социалистической волны. А волну поднимали силы, справиться с которыми николаевским палачам уже было не по плечу. Это были силы, высвобождающиеся в результате распада крепостнического строя, это были силы массового крестьянского движения. Свободная и рвущаяся к свободе мысль была неостановима, потому что она отражала общий кризис русской жизни.

(Итак, период николаевщины (сталинизма) — наши задачи: а) теоретическая подготовка к завтрашнему действию; б) аккуратная, осторожная, основанная на личном доверии и дружбе ***кружковая*** деятельность — хоть какая-то организация!)

Крымская война и смерть Николая (Сталина) ускорили этот процесс раскрепощения русской мысли. У передовых людей появилась возможность расширить круг своего влияния. И главное средство для реализации этой возможности они видели в печати. Наступал золотой век русской журналистики. Но золотым он стал отнюдь не потому, что правящий дом позаботился о предоставлении русским журналистам свободы высказываний (такого, как известно, Россия не знала). И вообще не будем переоценивать тех «возможностей» для расширения своего влияния, которые открылись перед революционно настроенными людьми.

(И вот она, ***оттепель***! После Николая — Александр Второй, после Сталина — Хрущев. Верно оценить — не переоценить! — «реформаторов!)

Время Александра Второго *(*Хрущева) ничем существенным от николаевского ***(сталинского)*** времени не отличалось. Разве изменилось положение утесняемых классов, разве изменились формы хозяйствования, разве изменился государственный бюрократический аппарат? Нет, по-прежнему драли три шкуры с крестьян и работников, по-прежнему крепостной и полукрепостной труд давал низкую производительность и по-прежнему утесняемых гнали от парадных подъездов государственных учреждений.

Правда, было одно обстоятельство, которое прикрывало от невнимательных глаз прямую преемственность этих двух эпох. Это обстоятельство заключалось во всеобщем либеральном водолействе, начало которому положил сам Александр (= Хрущев) и которое стало прямой обязанностью его вельмож и сановников — от мала до велика. Стало модно осуждать (намеками и полунамеками) николаевское время. Журнальные канарейки ***(всего Советского Союза!)*** щелкали языками во славу нового «свободолюбивого» императора, во славу «нового времени» и отпускали сердитые трели по адресу времени старого.

А уж как воспевались мужество и смелость Александра и его администрации, которые (на XX съезде) будто бы смогли взглянуть правде в глаза, которые осудили-де прошлое и готовят какие-то там реформы. «Заря свободы восходит над Россией», — писали вчерашние Булгарины и Гречи (которых не поймешь, кто они — полицейские или журналисты). Да что Булгарин! Хо-

рошие, честные, порядочные люди клюнули на это и поспешили встать в ряды Александра. Сам Герцен попался на удочку! (И Герцена по-человечески можно понять: ну как же, теперь хоть можно говорить вслух кое-что из того, что ты думаешь, можно хоть что-то писать, хоть что-то обсуждать с друзьями, не боясь, что назавтра тебя отправят куда-нибудь в Вятскую губернию.)

Но, между прочим, мутная волна либерализма, пущенная Александром, пущена была вовсе не по его доброте или смелости, можно даже сказать, и не по его доброй воле. Александром и его приближенными руководил животный страх перед пропастью, куда неслась страна. Россия приближалась к экономическому краху, и Крымская война ясно показала это. (Действительные причины «смелости» XX съезда!)

По-старому, по-николаевски (по-сталински) управлять было просто нельзя, невозможно. Это значило бы для дома Романовых и его окружения (партийной бюрократии) подписать свой смертный приговор. А как управлять по-новому? И что вообще значит это «по-новому»?

Как управлять по-новому, чтобы сохранить все старые привилегии — вот какая задача стояла перед правящим домом. (Задача, вставшая перед партбюрократами послесталинской эпохи!) Ясно, что это была не простая задача, ибо старые привилегии были неразрывно связаны со старыми формами.

Поэтому, чтобы выиграть время и поразмыслить над ее решением, царское правительство дало понять, что оно готовит реформы; со сцены были убраны некоторые наиболее одиозные политические фигуры, чуть-чуть отпустили вожжи, чуть — чуть ослабили цензуру, создав видимость некоторой свободы слова, и, не тронув существа, навели некоторый либеральный лоск на правительственные учреждения (= хрущевские «реформы»!). Дальше политической спекуляции дело, разумеется, не пошло.

Чиновник быстро и хорошо усвоил «новый стиль» работы. Раньше он, говоря словами Щедрина, два каменных дома ложью нажил, а теперь пошел спрос на «правду», И он еще два каменных дома уже «правдой» нажил. Правдой ли, ложью ли — чиновнику все равно, лишь бы каменные дома наживать. Такой чиновник ясно и отчетливо видел — чуть–чуть изменились формы, но суть осталась та же самая; одну и ту же суть он совершенно реально видел в своих совершенно одинаковых домах, которые-то и были подлинною сутью. А либеральные писатели, не обращая внимания на одинаковость приобретенных чиновником каменных домов, этот символ одинаковости двух эпох, разглядывали «формы» и ликовали по поводу их «неодинаковости». А «формы» изменились-де по воле Александра. Стало быть, хвала императору! И волны субъективизма забороздили по газетно-журнальному морю. Захлестнули они и прогрессивный лагерь. Многие писатели вместо анализа экономического и политического строя «прошлого» и «настоящего времени» занялись анализом поступков и решений отдельных личностей, пытаясь в них найти ключ к пониманию событий. Они мучительно раздумывали над фигурой Николая ***(=Сталина)***, — и не могли ни понять, ни объяснить его. Ибо они Николаем пытались объяснить прошедшее, из Николая вывести его, а

надо было изучать не Николая, а экономический и политический строй прошлого. Они пытались найти логику в Николае и страдали оттого, что не видели ее. Они не понимали, что в Николае и нет никакой логики, что его решения, его поступки — нелогичны, что его действиями руководила не логика, а произвол. Они не понимали, что произвол, нелогичность — это и есть «логика» Николая. А разве даже сам самодур может понять, почему он в одном случае сапогом в морду ткнул, в другом — в живот, а в третьем — на чай дал? А черт его знает почему, ну, была погода плохая, скучно, а рядом чья-то морда оказалась, ну и ткнул. А в другом случае, погода была хорошая, настроение отменное — ну и сунул он той же самой морде чаевые. А историк — бедняга мучается: что за черт, что за загадочный характер: одному и тому же человеку за одно и то же подобострастное выражение лица в одном случае ткнул в морду, а в другом — чаевые дал.

(Именно так мучается, например, Илья Эренбург в своих «новомировских» мемуарах «Люди, годы, жизнь»: почему это Сталин уничтожил Бабеля, Мандельштама и даже близкого к нему Михаила Кольцова и не тронул Пастернака, Булгакова, почему это он повелел Фадееву дать не вызывающей у него симпатии Вере Пановой сталинскую премию более высокой степени, чем предложил Фадеев, и одновременно понизил степень премии гораздо более ему близких писателей и т.п. — там масса такого рода «мучительных» и недоуменных раздумий.)

А надо было понять и объяснить экономические и политические причины, сделавшие такой произвол возможным. Почему царствующий самодур, не считаясь ни с чем, мог безнаказанно то бить в морду, то унижать чаевыми.

И если даже для Герцена это не было до конца решенной проблемой (о прочих уже не говорим!), то Чернышевский, вы помните, уже в двадцать два года (за пять лет до прихода к власти Александра II) открыл для себя ту истину, что не произвольным желанием того или другого царя определяется общественная жизнь страны. Вы помните эту запись в дневнике: царь — лишь «вершина конуса аристократии», «орудие высших классов», а причины господства высших классов Чернышевский видел в экономических отношениях крепостничества и политической системе, как он называл, «азиатства».

Потому и не был для него секретом тот факт, что ничем **существенным** время Александра II от времени Николая I не отличается. Но хорошо понимая это, он понимал и другое — а именно то, что при всем сходстве двух эпох между ними имелось некоторое различие в формах управления. И это различие можно и нужно было использовать в политической борьбе. Но, чтобы умело использовать, надо было правильно оценить его (избежать как недооценки, так и переоценки). И Чернышевский оценил: незначительные изменения, связанные с ослаблением цензуры, и вынужденное некоторое раскрепощение общественной жизни были для Чернышевского не объектом восхищения, не желанной достигнутой целью (как воспринимали их либералы), а взятыми с боя средствами будущей революционной борьбы. Изменившиеся условия для него — это лишь более выгодные условия борьбы, а не усло-

вия лучшей жизни. И этими условиями Чернышевский не преминул воспользоваться.

(Условия для общественной деятельности в послесталинский период несколько расширились, надо учиться пользоваться этими несколько расширившимися возможностями!)

Правда, борьба была им начата еще в последние годы николаевского времени на страницах литературно-критического отдела «Современника». Не случайно была выбрана такая арена борьбы — легальная журналистика и такое «безобидное» средство — литературная критика. Нелегальные средства и формы борьбы не могли дать тогда того эффекта, который давали умело используемые легальные формы. Нелегально люди собираются чаще всего, чтобы действовать, а не заниматься самообразованием или вести политические дискуссии. Но если даже прогрессивная часть общества еще не готова восприятию идей народной революции? Если общество еще, что называется, не разогрето, то как же можно ковать? Некрасовский «Современник» и, в первую очередь, статьи Чернышевского и были теми мехами, которые раздували огонь, разогревая, раскаляя общество. Правда, до 1855 года, до смерти Николая I процесс разогревания шел очень медленно. Вот новая администрация чуть-чуть ослабила цепи, и появилась возможность подбросить жару. С 1856 г. литературно-критические статьи уступают свое ведущее место в творчестве Чернышевского экономическим и политическим статьям; в которых можно было высказаться более определенно.

(Журнал «Современник» — это нынешний наш «Новый мир», вернее — то, чем он мог бы, по мнению Г.Г., быть.)

«Современник» и Чернышевский учили и воспитывали новое поколение революционных бойцов, будущих героев 60-х и 70-х годов.

Между читателями и «Современником» установился тот живой, духовный контакт, когда люди понимают друг друга с полуслова, с полунамека. Образно говоря, читатели журнала чувствовали себя членами революционного союза (пусть организационно неоформленного), центральным комитетом которого был «Современник», а вождем — Чернышевский. Среди них бытовало даже такое название — «партия "Современник"». Создание такой «партии», с силой которой не могла не считаться реакция и которую ввиду ее «оригинальности» невозможно было разогнать, создание такой партии — бессмертная заслуга Чернышевского и его ближайших сподвижников. Ибо, повторяю, журнал был не просто «любимым» или «популярным» у революционной молодежи, он был не просто «учителем и другом», а он был именно руководителем и организатором лучших революционных сил общества. И если уж продолжать не весьма преувеличенное сравнение журнала с «центральным комитетом», он был именно руководящим центром революционных сил страны, центром, который вырабатывал программу действия и разрабатывал способы ее осуществления.

Над Ф.М. Достоевским обычно потешаются, рассказывая, как он приехал к Чернышевскому с просьбой, чтобы тот дал команду своим единомышленникам умерить свой пыл: Достоевский считал, что непрекращающиеся по-

жары в городе — дело рук «партии» «Современника». Достоевский, конечно, ошибался в частном, конкретном случае — в том, что революционеры пойдут жечь дома и лавки мирных жителей. Но он не ошибался в главном, он не ошибался, когда полагал, что за Чернышевским стоит революционная армия и что слово Чернышевского для нее — решающее слово.

Да, «Современник» представляет собой уникальное явление в истории русской журналистики; в истории развития революционной мысли в России. Ни до, ни после не было такого легального (!) журнала, который был бы не просто органом оппозиционных сил (как нынешний «Новый мир»), но крайней левой в революционном движении, главным штабом революционных сил (чем, по мнению Г.Г., «Новый мир», увы, не стал).

Тому были, конечно, и объективные причины: растерянность правящих верхов, с одной стороны, и отсутствие подполья — с другой; т.е. с одной стороны, правительство, терявшееся от многочисленных трудностей, свалившихся ему на голову, не имело ни сил, ни времени для того, чтобы держать «в струне» печать, а с другой стороны, подполье в период николаевщины сложиться не могло, и в 50-х годах подпольная, нелегальная деятельность в общем-то не была первейшей необходимостью, — потому и появилась возможность легальному журналу возглавить революционную борьбу.

Да, «объективные предпосылки» были и «возможность» была, — это верно. Но сходные объективные предпосылки «и аналогичные «возможности» случались и в другие годы (например, в годы издания «Нового мира»), однако такого журнала не появлялось; не находилось людей (в том числе — среди руководителей «Нового мира»), которые использовали бы эти «объективные предпосылки» и реализовали бы «возможности». Пятидесятые годы таких людей дали. Ими, в первую очередь, были Чернышевский и Добролюбов. Что же сделали эти люди, и прежде всего — Чернышевский, чтобы реализовать благоприятные возможности, какой знали они «секрет» превращения журнала (при данных обстоятельствах) в «главный штаб» и «центральный комитет»?

(Это, по сути, советы Г.Г. «Новому миру», содержание которых говорит о том, что Г.Г. считает недостаточно радикальной и демократичной позицию, которую занимает большая часть руководства «Нового мира»; в беседах с нами Г.Г. связывает эту «недостаточность» с позицией людей, группирующихся вокруг В. Лакшина, — которую Г.Г. называет «либеральной», в отличие от «демократической» позиции, характерной для таких деятелей журнала, как Игорь Виноградов, Юрий Буртин и Михаил Лифшиц.)

Секрет этот заключался не в чем ином, как в ***выработке научно и всесторонне обоснованной программы***.

«Современник» сделал глубокий анализ экономического быта России, дал всестороннюю оценку политического момента: и, исходя из него, выработал программу действий, наметил пути борьбы и ее конечные цели.

Такую программу не может заменить никакая (даже блестящая!) критика частностей эксплуататорского строя, никакое (даже самое пылкое!) отрицание существующих общественных отношений, основанное на абстрактно-

гуманистических идеалах и разлюбезном «здравом смысле» (мы уж не говорим о мелком обличительстве и булавочных уколах).

Вообще программа, состоящая только из негативного материала, только из отрицания существующей действительности, такая программа для создания революционной партии не годится. История показала, что негативная программа не может сплотить на продолжительное время даже небольшие группы людей. Серьезный революционер должен иметь положительную (созидательную) цель, должен иметь экономическую и политическую программу.

История, в особенности французская (*прости, читатель, за необходимый здесь повтор*), знает немало радикальных деятелей, которые умели прекрасно оперировать словом «долой»; это были настоящие виртуозы разрушительства (словесного, разумеется), хорошо отвечавшие на вопрос: «Как разрушать?». Но они совершенно терялись, когда их спрашивали: «Как строить?». И когда в редкие исторические моменты революционная волна поднимала их к власти, вчерашние радикалы становились жалкими мокрыми курами, которым любая политическая посредственность, но имеющая вполне определенный план действий, могла без труда открутить головы.

Кто не знает, как строить, тому лучше не приниматься за разрушение. Так хоть какой-никакой, а домишко стоит; и худо-бедно, а живут в нем люди; какая-никакая, а все-таки крыша над головой, да и не так холодно, как на улице. А подожги ее бестолковый человек — и сам будет мерзнуть на пепелище и других разорит; а тут еще найдется какой-нибудь предприимчивый деятель — да вместо дома построит что-нибудь вроде свинарника, да и поселит туда погорельцев, да за это еще с них три шкуры будет драть...

Установить, что самодержавный строй плох, что плоха система организации труда в обществе, что плохи государственные чиновники — не трудно. Для этого надо быть просто честным, просто наблюдательным человеком, не прятать голову под подушку и жить так, чтобы толстый кусок колбасы не закрывал весь мир.

Для того чтобы прийти к мысли, что этот мир надо изменить, нужно иметь еще несколько важных качеств: обостренное чувство справедливости и недюжинную смелость.

Но, чтобы установить, как его изменить и что строить взамен разрушенного — для этого нужны не просто честность и смелость, не просто «здравый смысл», для этого надо серьезно изучить историю, философию, политическую экономию, для этого надо уметь не засыпать над экономическими таблицами; в общем, не легкая это должность — быть инженером истории.

(Об ответственности за исход будущих преобразований.)

б) Программа Чернышевского в 1856–1858 гг. Программа-максимум и программа-минимум

Чернышевский придавал огромное значение выработке положительной программы, определению цели, к которой надо стремиться, ибо эта цель подчиняет себе всю практическую деятельность.

Какова же эта цель, т.е. какова **программа-максимум?** Из дневников Чернышевского мы узнали ее политический аспект — республика, из журнальных статей 1856–1858 гг. мы узнаем и ее экономический аспект — **общественная собственность + общественное, коллективное производство.** Эта цель, а также общественно-политическая обстановка в свою очередь определяли своеобразие тактики на 1856–1858 гг., программу-минимум. Чернышевский — из тех мыслителей, кто, развивая «свою идею с одной заботой о справедливости и последовательности системы в своих чисто теоретических трудах, умеет ограничивать свои советы в практических делах настоящего лишь одной частью своей системы и для настоящего». В чем заключались эти «ограничения» Чернышевского, что же было «удобоисполнимо для настоящего»? Короче — в чем заключалась его программа-минимум на 1856–1858?

Вот, что писал в тот период Герцен: «Освобождение крестьян с землею, ими обрабатываемой. Уничтожение предварительной цензуры. Уничтожение тайного следствия и суда при закрытых дверях. Уничтожение телесных наказаний. Программа на первый случай — так называл ее Герцен. Эту программу (и именно «на первый случай») поддерживал Чернышевский. Ее поддерживали и лучшие из либералов и славянофилов, но для них она была и первым и последним «случаем», альфой и омегой их мировоззрения, их крайней фулой. Однако Чернышевский нередко находил полезным солидаризоваться с ними, так как революционная партия была еще слаба и малочисленна, а «лучшие из славянофилов» (по выражению Чернышевского) так или иначе помогали «разогревать» общество, способствовать росту его активности и самосознания, способствовали пробуждению в русском обществе «мысли и способности к принятию каких-либо умственных убеждений, каких-либо нравственных влечений, каких-либо общественных интересов», — а ведь это тоже входило в программу-минимум Чернышевского на 1856–1858 гг.

***

Но как же удалось Чернышевскому обо всем этом сообщить своим читателям-единомышленникам, **как удалось ему раскрыть перед ними свою программу-максимум и программу-минимум**? Ведь не напишешь в подцензурной печати, что современный режим никуда не годится и что нужен новый, базирующийся на коллективном производстве и общественной собственности. Ведь не скажешь, как Герцен: долой помещичье право, да здравствует освобождение крестьян с землей! Герцену — что, он — в Лондоне, трудно дотянуться дотуда, а тут в Санкт-Петербурге любой околоточный может тебя «хватать и не пущать». В этом отношении патриархальная простота нравов русской полиции известна всему миру. К тому же категорически было запрещено обсуждать в печати вопросы, связанные с крепостным правом.

Но Чернышевский нашел легальную дорожку к своим единомышленникам — он поднял вопрос об общине, сохранившемся старинном русском институте, в основе которого лежало коллективное владение землей. «Община» вместе с контекстом заменяла многие «запретные» слова, через рассуж-

дения об общине и удалось Чернышевскому передать «своей партии» всё, что нужно.

Некоторые писатели и исследователи XIX в., правда, решительно оспаривали приоритет Чернышевского в постановке вопроса об общине в журналистике 50-х годов. Уж не честолюбие ли заставило Чернышевского исказить факты, написав, что именно он поднял этот вопрос? И действительно, нетрудно установить, что до Чернышевского появилось несколько исторических статей об общине за подписями «известных» ученых. Но это была типичная профессорская полемика с пространными выдержками из старинных законодательных актов, обилием исторических терминов и отупляющих подробностей. Приоритет в такой полемике Чернышевский и не хочет себе приписывать.

Чернышевский поднял вопрос об общине, как вопрос политический, злободневный, как вопрос о путях дальнейшего развития русского государства. И здесь его приоритет несомненен.

Профессора изучали общину, как таковую, общину, как замкнутое целое, как старинный общественный институт. Если бы их спросить, зачем они это делали, что им далась община — почтенные профессора величественно бы промолчали, считая, что вы своим вопросом оскорбляете их высокий сан. Но это была бы лишь хорошая мина при плохой игре, потому что, как верно говорил о подобных профессорах Писарев, «большая часть наших ученых вовсе не задает себе вопроса о конечной цели своих трудов. Один пишет о какой-нибудь черниговской гривне, другой о том, как писалась буква *юс* в рукописях XIII в., третий о значении слова *изгой* или еще что-нибудь в таком же нравоучительном роде. (*А надо сказать, что эти почтенные профессора умели о французской революции — об общине уже не говорю — писать так же, как о какой-нибудь «гривне» или каком-нибудь «изгое»*). Если бы вы спросили у этих добровольных мучеников, к чему же они стремятся, из чего они бьются, чем оправдывают и объясняют свою многострадальческую и пребесполезную деятельность, знаете ли вы, что они ответили бы вам на один из подобных вопросов? Самые задорные ответили бы вам, что вы профан и невежда, что если вы не признаете пользы и необходимости археологических, филологических, палеографических и разных других изысканий, одаренных очень звучными названиями, то с вами и говорить не стоит о предметах, недоступных вашему ограниченному пониманию. Другие, более смиренные на вид, ответят скромно, что они собирают материалы для будущего здания русской истории, что они, безвестные труженики, работают для грядущих поколений, которые будут пожинать плоды их усилий. Этот приличный ответ в сущности не что иное, как довольно ловкая увертка, которая действительно обманывает многих доверчивых слушателей и читателей. Представьте себе, что кто-нибудь хочет построить каменный дом и купил себе для этого землю, место; у этого *NN* есть много знакомых, сочувствующих его предприятию и желающих, чтобы роскошное здание как можно скорее и успешнее было воздвигнуто на приготовленном месте; и вот эти знакомые начинают тащить на место полагающейся постройки всякий хлам, все, что им попада-

ется под руку: один волочет старую подошву, другой — разбитую склянку, третий — мешок гнилого картофеля, четвертый — растрепанный экземпляр какого-нибудь сочинения Эккартсгаузена.

— Что вы делаете? — спросит у этих людей посторонний и беспристрастный зритель.

— Да вот, батюшка, — скажут ему усердные носильщики, — собираем материалы для будущего здания.

Конечно, беспристрастный зритель захохочет.

— Помилуйте, — скажет он, — за что же вы разоряете хозяина? Ведь ему придется нанимать несколько подвод, чтобы вывезти со своего участка всю ту рухлядь, которую вы набросали... Разве вы не понимаете, что битое стекло и гнилой картофель ни при каких условиях не превращаются ни в кирпич, ни в камень, ни в известку? Неужели у вас и на это не хватает мозга и соображения?

Дело здесь, может быть, даже и не в «мозге и соображении», а в том, что это собирание хлама для «здания будущего» усиленно поощрялось правящей верхушкой, во-первых, потому, что отвлекало силы от излишнего внимания к «зданию настоящего», и, во-вторых, потому, что знали — из хлама «здание будущего» построить невозможно, и потому волей — неволей все будут продолжать жить в «здании настоящего», так замечательно приспособленном для вольготной жизни власть имущих.

Вот почему так незаметно поначалу и удалось пристроиться Чернышевскому к этим ворошителям исторического хлама. И пока все вокруг таскали этот хлам из одного конца двора в другой, пока занимались его классификацией, Чернышевский использовал общину — в качестве фундамента, а связанные с ней исторические материалы — в качестве кирпичей для строительства действительного «здания русской истории», для выработки своей стратегии и тактики, а также в качестве инструмента для разрушения «здания настоящего».

И дело здесь вовсе не в том, что понятие «общины» само по себе начинено каким-либо особенным революционным зарядом. Нет, само по себе оно в общем-то нейтрально. Важен контекст, в котором эта «община» присутствует. Будучи единственным дозволенным к «употреблению» пунктом из программы Чернышевского, община в его статьях представляла не только себя, но вместе с контекстом нередко заменяла такие слова, как республика, революция и т.д.

Чтобы нас правильно поняли, надо оговориться. Община, конечно, не была притянута за уши к теории Чернышевского, она не была в ней каким-то искусственным телом, каким-то условным символом или паролем. Мы не хотим сказать, что теория Чернышевского — это одно, а община — это другое (пристегнутое лишь по цензурным соображениям), что теория — сама собой, а община — сама собой. Нет, община — существенный элемент его теории, но она не является элементом, определяющим все остальное. Она — не исходное у Чернышевского. Не внутренние законы развития общины по-

ложены Чернышевским в основу разработанной им программы организации производства будущего. Принцип этой организации он выводит из другого источника. Из какого же? «Взгляд на общину, который мы защищаем, — прямо пишет Чернышевский, — принадлежит западной науке, а не славянофилам». То есть в отличие от славянофилов (а впоследствии и народников) Чернышевский далек от идеализации общины, далек от того, чтобы видеть в ней лучшую, высшую форму производства. Он постоянно подчеркивает, что общинное владение — продукт застоя страны, ее неразвитости, «сохранение его у нас есть следствие невыгодных обстоятельств нашего исторического развития». Он вовсе не делает ставку на внутренние законы развития общины. «Но как самые хорошие вещи имеют свою дурную сторону, — пишет он, — так и самые дурные вещи имеют свою хорошую». В те годы обстоятельства сложились так, что общинное **владение**, эта хорошая стороны патриархальной, низкопроизводительной формы производства была важнее ее недостатков. И это обстоятельство надо было использовать(!) при организации будущего экономического устройства.

(Чернышевский: не либерал и не бездумный революционер; равняться на это!):

...Отношение к революции у Чернышевского более сложное, нежели это представляют историки, «делающие» из Чернышевского этакого «революционера во что бы то ни стало».

Мы говорили, что уже юношеские дневниковые записи характеризуют Чернышевского как серьезного революционера, осознающего бесконечную сложность переплетения различных тенденций и возможностей, сопровождающих революционные перевороты, их «за» и их «против».

Апофеоз, вершина этих раздумий, берущих начало в «Дневниках» — знаменитые «Письма без адреса», написанные Чернышевским незадолго до ареста, в 1862 году. Да, в них Чернышевский по-прежнему остается революционером. Он по-прежнему, как и подобает истинному революционеру, убежден, что «ничьи посторонние работы не приносят людям такой пользы, как самостоятельное действование по своим делам» и что в «разрешении запутанностей положения русской нации» народ выиграл бы «через независимое от нас занятие национальными делами больше, чем от продолжения хлопот о нем». Но Чернышевский ясно видит и другие стороны революционного процесса, которые, будучи следствием народного невежества и «народной бестолковости», могут с жестокой силой обернуться потом против самого народа. Вот почему Чернышевский, нисколько ни кривя душой, пишет в том смысле, что-де пока такой «развязки» «мы (*т.е. партия «Современника»*) желали бы избежать». «Ведь между нами, — разъясняет он, — также распространена мысль, что и наши интересы пострадали бы от нее (*от «развязки»),* даже тот из наших интересов, который мы любим выставлять как единственный предмет наших желаний... интерес просвещения. Мы думаем: народ невежествен, исполнен грубых предрассудков и слепой ненависти ко всем отказав-

шимся от его диких привычек... Он не пощадит и нашей науки, нашей поэзии, наших искусств; он станет уничтожать всю нашу цивилизацию».

Весь пафос «Писем без адреса» — это последняя попытка добиться осуществления коренного улучшения жизни народа, избегнув кровопролития. Попытка, представляющая собой не трусливые просьбы либерала, молящего царя пойти на уступки, дабы избежать гнева народного и кары народной; нет, это попытка, представляющая собой решительное и грозное требование **вожака** революционного народа, вожака умного и мудрого, который не о спокойствии царя заботится, а о благополучии народа. И такое отношение к крестьянской революции было характерно для Чернышевского на всех этапах его деятельности.

Так, в одной из рецензий 1857 года Чернышевский, который в то время (по мнению некоторых исследователей) «испытывал либеральные иллюзии», прямо и откровенно пишет, что «обыкновенный путь к изменению гражданских учреждений нации — исторические события», и в качестве примера таких «исторических событий» указывает на английскую (XVII в.) и французскую революции. И тут же характерное для него замечание, побивающее концепцию «безоглядной революционности» Чернышевского: «Но этот способ слишком дорого обходится государству, и счастлива нация, когда прозорливость ее законодателя предупреждает ход событий. Облегчить действование этим способом было целью всех мыслителей, занимавшихся наукою о государстве».

В политической обстановке того времени, когда писалась эта статья, приведенные слова как раз и выражали стремление Чернышевского, как лидера крайней левой в общественном движении, сделать все возможное, чтобы без кровопролития вырвать уступки в пользу народа.

Тот же тип рассуждения лежит в основе статьи начала 1858 года «О новых условиях сельского быта», в которой, как иногда утверждают, либерализм Чернышевского не вызывает никаких сомнений. Смотрите сами: «обязательный (*т.е. крепостной)* труд, — пишет Чернышевский в заключении этой статьи, — явление, совершенно чуждое правилам политической экономии... Роль его относительно политико-экономических принципов — роль препятствия их развитию. Правительство имеет не только право, оно, по требованию всех экономистов, имеет прямую обязанность удалять от народной жизни все препятствия действию экономических принципов... прямая обязанность правительства состоит из отстранения всех препятствий к развитию этого экономического принципа. Этот аргумент совершенно достаточен для здравого смысла. Но, кроме здравого смысла, бывают в людях страсти. Против них существуют аргументы еще более точные и т.д.».

Хорош «либерал»! Хороши «либеральные иллюзии»!

Человек в полный голос заявляет свои требования, человек прямо-таки грозит революцией, — а историки голову ломают: либерал или нет.

Не либерал и не бездумный революционер, отвечаем мы. А такой революционер, который осознал сложность и противоречивость крестьянской революции, революционер, который, прежде чем дать сигнал к бою, испро-

бует все средства, чтобы мирным путем получить, если не все, то, по крайней мере значительную часть требуемого. Это ***беспроигрышная революционная тактика***. Чернышевский отнюдь не загадывает: примет правительство его требования или нет; Чернышевский отнюдь не связывает с реакцией правительства на его требования всех своих надежд, более того, он вообще никаких надежд не возлагает на правительство. Нет! Он, опираясь на созданные ходом исторического развития передовые силы (на них возлагает он надежды) и от их имени, ведет единственно разумную и в высшей степени реалистическую борьбу: если хватит сил добиться своего и добиться открытым путем—очень хорошо, если не хватит—тоже неплохо, ибо та работа по составлению и пропаганде требований, по выработке условий освобождения крестьян не пройдет даром, в борьбе за это выяснится расстановка политических сил и своим отказом правительство разоблачит себя. Таким образом, возможны только два исхода: либо осуществление преобразования мирным путем, либо разоблачение правительства (что необходимо для роста сознания всех передовых и революционных сил). Этой беспроигрышной революционной тактики и придерживается Чернышевский.

Очень важной особенностью этой тактики, о которой стоит сказать еще несколько слов, является то, что программа, выдвигаемая в статьях революционного деятеля, требования, формулируемые им, на первый взгляд мало чем отличаются от намерений правительства.

Наверняка, не все друзья-читатели схватывали революционную подоплеку скромного требования Чернышевского сохранить общину, освободить крестьян с землей и т.д., наверняка, многие из них полагали, что это скромное требование можно осуществить скромными средствами (вроде реформы сверху и т.п.). Но это, конечно, не должно было огорчать Чернышевского. Главное пока—доказать, что требование это справедливо, необходимо и весьма умеренно. Чернышевский знал: подойдет час (в случае, если на мировую революцию сил не хватит), когда они увидят, что даже необходимое, справедливое требование, даже это «скромное» требование правительство отказывается удовлетворить. Чего же, в таком случае, стоит это правительство? К этой мысли в частности, и подводит Чернышевский передовых людей своего времени.

в) Некоторые особенности тактики Чернышевского

Революционная пропаганда, вытекающая из защиты «скромного, легального», внешне безобидного требования (и становящаяся революционной именно потому, что защитник этих требований настаивает не на словесном только их выполнении, как то водится в антагонистическом обществе, а на последовательном и полном претворении их в жизнь)—важная особенность революционно-публицистической деятельности Чернышевского. Исторический опыт свидетельствует, что чем подлее общественное устройство в стране, тем медоточивее речи правящих, тем красивее фиговый листок идеологии, прикрывающий безобразное тело общественной подлости.

Когда ведут солдат умирать — за то, чтобы сильные мира сего жрали, пили и содержали любовниц, никто не говорит им: «Солдаты, вы идете умирать за то, чтобы мы жрали, пили и содержали любовниц», а говорят: «Солдаты, Отечество вас не забудет».

Когда Чаадаева объявили за статью в журнале сумасшедшим, никто не говорил: его преследуют за то, что он честный человек и враг деспотизма, а говорили: он — враг свободы.

Речи Николаевских и Александровских министров переполнены «отеческими» наставлениями — как надо любить ближнего, как надо скромно жить и не лезть вперед, как жертвовать личным счастьем для отечества и т.д. Из святых слов составлялись эти речи. (= «Моральный кодекс строителя коммунизма», принятый на съезде КПСС.) Но на деле оказывалось, что наставления эти относятся не к обществу в целом, а только — к «плебеям». Эта им надо жертвовать, эта им надо поступаться личным. Им надо жить тихо и скромно. Плебеев дурачили этими моральными поучениями. Ведь в обществе, разделенном на вражеские классы, всегда две морали: одна — для плебеев, а другая, негласная — для них, стоящих у трона, этих палачей свободы, гения и славы; хотя на — словах они, конечно же, и за свободу, и за гения, и за славу. «Это иудушка, — писал о российской бюрократии В.И. Ленин, — который пользуется своими крепостническими симпатиями и связями для надувания рабочих и крестьян, проводя под видом «охраны экономически слабого» и «опеки» над ним в защиту от кулака и ростовщика такие мероприятия, которые низводят трудящихся в положение «подлой черни», отдавая их с головой крепостнику-помещику и делая тем более беззащитными против буржуазии. Эта — опаснейший лицемер, который умудрен опытом западноевропейских мастеров реакции и искусно прячет свои аракчеевские вожделения под фиговые листочки народолюбивых фраз» (=советская партгосбюрократия).

Конечно, можно прямо разоблачить эта лицемерие правящих классов, открыть читателю глаза, в какой связи находятся их речи и их поступки. Можно. Но лишь в том случае, если ты издаешь «Колокол», а не «Современник» и не в Петербурге, а в Лондоне. Поэтому журналист «Современника» избирает другой путь разоблачения — он всерьез принимает некоторые из высказываемых желаний правящих (несмотря на то, что эти «правящие» давно научили всех не относиться серьезно к своему словолейству), и начинает всерьез заниматься их последовательной разработкой. Вы говорите, что заинтересованы в том, чтобы крестьяне жили и хлебосольно, и свободно. Очень хорошо. Мы тоже этого хотим, мы это приветствуем и в этом вас поддерживаем и даже хвалим. И в порядке помощи мы предлагаем вам даже некоторые расчеты, как это быстрее и лучше сделать.

Или берется какое-нибудь другое подобное же высказывание и из него выстраивается стройная практическая теория — и удобовыполнимая и полностью совпадающая с официальными взглядами (все это хорошо видят, да и журналист это подчеркивать не устает). И вот крутится правительство, вертится, такие словесные метели поднимает, что ой-ой-ой. Другой бы, мо-

жет, и забыл, с чего он начал и чего он требовал. Но тут журналист и журнал такой попался, что ему дело подавай — слова, заверения и заклинания его не устраивают.

И вот тогда-то и у так называемых рядовых людей начинают глаза открываться. То, что предлагает журналист, рассуждают они, очень здраво, разумно, лояльно и совершенно в духе того, что говорят представители правительства. А смотрите, правительство не только не делает, как предлагает журналист, но даже преследовать его начинает. Что же это за правительство такое, каковы же его действительные цели, что вообще происходит вокруг? И тут-то наш журналист может прийти на помощь, чтобы раскрывшемуся уму передать нужные знания.

Но это сможет сделать лишь тот журналист, который сознательно применял подобную тактику разоблачения реакционного правительства, который предвидел и готовил наступление всеобщего разочарования. Бывали и другие журналисты, которые, как и «плебеи», поверили во все это идеологическое словолейство правящих и, не жалея сил, засучив, что называется, рукава, принялись «помогать» осуществлять идеи (не понимая, что «их идеи» — не для того, чтобы «осуществлять», а для того, чтобы дурачить). С такими патриотически настроенными, умными, честными и бескорыстными дураками хорошо жилось этим «правящим». Такой умный и честный дурак для них сущая находка, ибо, когда люди уже ни во что не верят, то они еще верят этим честным дуракам

И когда этот честный дурак, наконец, прозревает, когда он, наконец, понимает, что он — дурак, что он служил средством одурачивания общества, тогда уже поздно — все свои силы он уже израсходовал на пустое дело. Он уже не может приняться за новое, он уже не может новому учить людей. И он сам ставит на своей жизни точку — будет ли эта точка в виде выстрела в висок, нескончаемого ряда винных бутылок, желтого дома или лакейского стояния на запятках господских карет (Маяковский? Фадеев? Симонов?). А на его место тем временем приходит другой — молодой, честный, умный и полный сил дурак. Страна дураков — это густонаселенная страна...

Чернышевский принадлежал к первому типу журналистов, т. е. к тем, кто сознательно готовил всеобщее разочарование, кто сам способствовал прозрению и передовых людей, и честных дураков, собиравшихся «служить царю, отечеству и народу».

Он выработал умеренную программу («программу-минимум»), доказал, что она совпадает со словесными заявлениями стоящих у трона, и фактически предложил ее правительству. И когда в конце 1857 года появились царские рескрипты, в которых излагались общие принципы освобождения крестьян, то читатели получали возможность сравнить то, что предлагал Чернышевский, с тем, что намеревается сделать правительство. Правда, такая возможность была лишь потенциальной, потому что стоящие у трона — люди искушенные. Когда они выпускали первые рескрипты, то, согласно всем своим религиозно-идеологическим принципам, наговорили с пять коробов про «но-

вую эру», «свободу», «заботу о народе», начинающееся освобождение и т.д. А как конкретно освобождать крестьян — с землей или без земли, с выкупом (и каким) или без выкупа — не поймешь.

«Э нет, друзья, так не пойдет, — мог сказать Чернышевский, — дурачьте своих дураков. Я — стреляный воробей». И воспользовавшись разрешением «обсуждать» (а для всех, кроме «Современника», это, на религиозно-идеологическом языке, значило — «прославлять») рескрипты, он печатает («Современник», 1858, №4) записку либерала Кавелина, который просит большей ясности от правительства. Но просьба «ясности» при таком режиме — это уже преступление. Реакция была злобная. «Современник» получает выговор. Кавелин отстраняется от должности наставника царского наследника. А ведь «записку»-то составил благонадежнейший человек и программа, изложенная в ней, была намного скромней, чем «скромная» программа «Современника»! Разумеется, все это не осталось не замеченным в обществе.

Любопытен в связи с этим и следующий тактический «ход» Чернышевского. Прикидываясь наивным человеком, он пишет письмо в правительственную комиссию (как предполагают, судя по обращению, великому князю Константину). В нем он спрашивает, почему такая странная реакция на опубликованную «Современником» «записку». Разве есть в ней что-либо, что противоречило бы царским рескриптам? И в заключение он прямо требует: «Пусть сам государь император решит, такова ли его воля, какою несомненно предполагает ее автор записки; пусть сам государь скажет, сообразно ли с видами августейшей воли действительное улучшение быта помещичьих крестьян...».

Судьба этого письма Чернышевского неизвестна (сохранился лишь черновик). Но сам по себе этот «ход», направленный на разоблачение «самого государя императора», — важная характеристика тактики Чернышевского.

Такое «обсуждение» рескриптов, как в «Современнике», не входило в намерения правительства. Обсуждение крестьянского вопроса на страницах печати было вновь запрещено.

(<u>Эпоха Писарева. Тут в деталях разработанная программа всей нашей деятельности на ближайшие годы</u>):

Какая объективная **задача** стала перед революционерами этой поры? Да та же, что и в последний период николаевщины (в период Бельтовых и Рудиных) — осмыслить происшедшее, подготовиться к будущему. Перед ними стояла задача серьезной теоретической работы (раз возможность действовать была отнята). Рудины в свое время не поняли этого, они не поняли ни своеобразия исторической ситуации, ни своего места в ней. Но опыт их, их ошибки и заблуждения не прошли даром. Поколение 60-х годов серьезно отличается от своих отцов. И это верно и точно отмечает Писарев: «В практическом отношении (*люди 60-х годов, Базаровы*) так же бессильны, как и Рудины, но они **сознали** свое бессилие и перестали махать руками».

Казалось бы, подумаешь, какое преимущества: сознать свое бессилие, — но в том все и дело, что **сознание** бессилия — это уже некоторая сила. Это не

просто констатация факта, но уже первый шаг действия: раз мы бессильны (а только силой можно в этом обществе чего-либо добиться), значит, надо позаботиться о том, чтобы эту силу приобрести, надо подумать, как это сделать. Человек, сознающий свое бессилие, уже не будет хвататься за дело, на которое, он знает, у него сил недостает, — и, таким образом, и дела не скомпрометирует, и себя понапрасну не сгубит; этот человек будет осторожно и расчетливо, изо дня в день копить силы.

Так начинают вырисовываться контуры программы — накопление сил.

Накопление сил, для Писарева, — это накопление знаний. Какого же рода должны быть эти знания и как их накоплять?

Первое знание, которое надо приобрести прогрессивным людям (или имеющим претензии быть таковыми), — это знание того, что у них нет знаний. «Общество нуждается в знаниях, но оно само почти совсем не сознает и не чувствует, до какой степени оно бедно в умственном отношении и до какой степени эта умственная бедность мучительно отзывается во всех подробностях его повседневной жизни... Когда больной считает себя здоровым, тогда ему, прежде всего, необходимо доказать, что он жестоко ошибается. Именно таким образом следует поступить и с нашим обществом.[1]

Здесь формулировка исходного принципа направления, которое получило название «нигилизм». Оно ставило своей задачей доказать призрачный характер знаний, которыми располагает общество, оно ставило себе целью выметать «мусор ложных понятий»[2].

Ну и, конечно, «патриотической» журналистике был не по душе этот тон «мальчишек» из «Русского слова».

— Как это мы, русские, ничего не знаем? — грозно вопрошали «патриоты из патриотов». — «Мы знаем ужасно много, мы все читаем и обо всем пишем. — Мы знаем, что есть телескоп, микроскоп, химический анализ, жирафа, Александр Гумбольдт, хлебное дерево, анатомия, кокосовые орехи, эмбриология, коралловые рифы и многие другие естественные произведения, интересные с той или другой стороны для исследователей природы. Познания наши по части европейской политики еще более обширны и разнообразны»[3].

И не тронутый политическими ветрами времени добродушный читатель может действительно задуматься: «Так ли уж мы ничего не знаем? Не есть ли этот нигилизм и в самом деле мальчишество? Не хотят ли эти молодые люди слишком просто войти в историю? Не хотят ли они, по лености своей, выговорить себе право ничего не читать, не изучать, что было до них?».

Да, конечно, отвечает Писарев «патриотам», все это «мы» знаем — и как дела в английском парламенте, и кто наши братья, и т.д. Но он показывает, что в условиях казенщины и деспотизма знания имеют лишь **видимость** зна-

[1] Д.И. Писарев. Соч., т. 3, с. 69–70

[2] Там же, с. 112.

[3] Там же, с. 70.

ний; в этих условиях, когда человек лишен, по существу, возможности применять эти знания в жизни, а обречен на бездумное следование воле ближайшего столоначальника, воле самодуров темного царства, знания теряют свою суть — быть инструментом преобразования природы и общества, они становятся мишурой, цветным фантиком от конфеты, они превращаются в чистую формальность, назначение которой «пускать пыль в глаза» и «делать карьеру» или прикрывать замысловатыми наукообразными фразами идиотские (и идиотски простые) действия и решения самодуров. «Мы из каждой дельной мысли, — пишет Писарев, — выхватываем только ее формальное выражение и к обширному сборнику наших затверженных изречений прибавляем, таким образом, еще новую форму, из которой улетучивается весь ее жизненный смысл» (это — вся официальная советская общественная мысль, как на ладони, один к одному).

А что же остается после того, как жизненный смысл улетучивается? — «Лексикон мудреных слов, целые сборники готовых изречений». И разве затвердить готовые изречения — означает «знать»? Разве попугайское повторение мудрых слов — «знание»?

Что же, по мнению Писарева, нужно? — Нужно знать жизнь, живые явления в их связи.

Афористический (как и всегда у Писарева) вывод: «обладание такими сокровищами», как «лексикон мудреных слов», как «сборники готовых изречений», «во всех отношениях должно считаться более тягостным бедствием, чем самая голая умственная нищета» (Вся наша учеба в Университете, за небольшим исключением, — запоминание мудреных слов и сборника готовых изречений).

Писарев намечает и тот единственный, по его мнению, путь, который ведет к подлинному знанию и решению «проклятых вопросов» времени. Этот путь — **самообразование**. «Кто дорожит жизнью мысли, тот знает очень хорошо, что настоящее образование есть только самообразование и что оно начинается только с той минуты, когда человек, распростившись навсегда со всеми школами, делается полным хозяином своего времени, своих знаний».

В чем же смысл такой постановки вопроса? Почему с такой настойчивостью, чуть ли не в каждой статье, пропагандирует Писарев эту мысль о самообразовании (подумаешь, какое важное дело — «самообразование»!)? Потому, что у Писарева самообразование это не «самоподготовка», это не выполнение «домашних заданий» и т.п.; у Писарева **«самообразование» означает «самоосвобождение» — освобождение от гнета официальной мысли, освобождение от полицейского указующего перста**; у Писарева **«самообразование» означает «свободомыслие»**. Вот почему такое презрение у Писарева ко «всем школам», вот почему с таким сарказмом высмеивает он «университетскую науку» того времени (которая мало чем отличается от университетской науки нашего времени).

Ошибаются те, говорил в своих статьях Писарев, кто думает, что университет — светоч науки, светоч знания. Знания, которые дает университет —

это знания лексикона «мудреных слов» и «сборника готовых изречений»; он дает знания того, как поддерживать и укреплять строй, основанный на «бедности и невежестве», он учит манипуляциям со словами. Задача университетов «самодурных режимов» заключается не столько в том, чтобы давать действительное знание (это происходит попутно, независимо от желания воспитателей), сколько в том, чтобы подготовить чиновников «царевых государственных учреждений», чиновников от литературы, чиновников от искусства, чиновников всех мастей и расцветок. В условиях царской России — университет может оказаться (и обычно оказывался) хорошо замаскированной ловушкой, куда попадает наивный и восторженный молодой человек. Ум такого молодого человека, не обладающего ни знаниями, ни опытом, необходимыми для критического отношения к тому, что ему преподносится, легко подавляется искусной софистикой профессоров, этих присяжных поверенных «самодурного режима» (=большинство наших профессоров).

Собственно, это начинается еще в гимназии. «Дети по поводу своих уроков, — пишет Писарев, — часто предлагают учителю очень меткие и остроумные вопросы; иногда эти вопросы приводят учителя в немалое смущение своим неожиданным и непозволительным радикализмом; но учитель — человек ловкий и политичный; он быстро производит искусную диверсию, принимает на себя внушительную осанку или произносит с важным видом глубокомысленную чепуху, и умственная самодеятельность, только что зашевелившаяся в живой голове ученика, опять усыпляется надолго, а может быть, и навсегда» (это — и школа, где я учился).

Университет продолжает этот процесс на, так сказать, более высоком уровне. Но мы говорили, что, производя эту «искусную диверсию», университет не мог не давать каких-то реальных знаний, не мог не знакомить с книгами и произведениями, которые сами по себе будят мысль. Правда, делалось все, чтобы заранее навязать студенту определенное понимание этих произведений, — так что читал он их уже со скукой, полагая, что все их содержание сводится к тем нескольким безжизненным формулам, которые прежде были вбиты ему в голову, — «даже вопросов и сомнений никаких не являлось». Но не все студенты были такие. Кто раньше, кто позже, но вдруг чувствовал жизнь, которая дышит в той или другой книге. И тогда происходило удивительное: «... книга, не тронутая школьным педантизмом, вызывает живую деятельность мысли и прохватывает насквозь все убеждения читателя теми самыми истинами, которые, красуясь на страницах учебника, не возбуждают в мальчике или в юноше ничего, кроме истерической зевоты и ленивого отвращения».

Это Писарев хорошо знал по собственному опыту: «...когда пришлось читать и обдумывать читанное **с практической целью** (*т.е. для самостоятельного решения занимавших Писарева вопросов),* тогда мысль получила такой толчок, которого действия и последствия я не мог ни предвидеть, ни рассчитать. Пробудившееся стремление анализировать и всматриваться не может быть по вашей воле опять погружено в сон... Человек боится подой-

ти к тем гипотезам, которые величественнее Казбека и Монблана, а мысль не боится — и подходит, и ощупывает эти гипотезы, и вдруг докладывает, что **все это пустяки**. Человек приходит в ужас, но ужас этот оказывается бессильным в борьбе с мыслью; мысль осмеивает и прогоняет ужас, и человеку остается только качать головой, стоя на развалинах своего миросозерцания. Наконец и качание головой прекращается, и тогда начинается новая умственная жизнь, в которой **мысль пользуется неограниченным могуществом** (*вот что такое самообразование!)* и не встречает себе нигде ни отпора, ни сопротивления».

Посмотрим теперь, какую **программу** намечает Писарев для самообразования, что он думает по поводу того, каким оно должно быть. Рассуждения Писарева об этом базируются приблизительно на следующих основаниях.

Поскольку вы, окончив университет и будучи уже действительно взрослым и солидным (даже, вероятно, женатым) человеком, решили заняться самообразованием, то, несмотря на внешнюю безобидность этого желания, вы обрекли себя на не очень блестящую и вовсе не усыпанную розами дорогу, ведь для вас самообразование стало не чем-то подсобным, дополнительным к вашей, так сказать, основной работе; оно стало **главным** в жизни, а то «основное» — подсобным. Самообразование будет поэтому забирать массу времени и не давать ни копейки денег. Кроме того, результат вашей деятельности (как и деятельности подобных вам людей) скажется не скоро (может быть, и не при вашей жизни!) и не весьма заметным образом, — так что, может, потом, на празднике жизни, вас лично и не вспомнит никто. Так что хорошенько подумайте, прежде чем решаться. Если **можете** жить иначе — тянуть чиновничью лямку в темном царстве — живите. Беритесь за самообразование, становитесь на этот путь, если **иначе не можете.**

Читайте, советует Писарев, как Рахметов: только то, что «нужно», что «основательно», что «капитально», т.е. читайте, что называется, классиков, великих людей. «Ничто так сильно не расширяет весь горизонт наших понятий о природе и о человеческой жизни, — писал Д.И. Писарев, — как близкое знакомство с величайшими умами человечества, к какой бы отдельной области знания или творчества ни относилась деятельность этих первоклассных представителей нашей породы».

И дальше: «Надо знакомиться только с настоящими титанами и преспокойно проходить, не кивая головой, мимо многих и премногих кумиров, выставляемых на поклонение толпы усердными историками различных литератур».

Но воспитывая в своих читателях высокое уважение к «величайшим умам человечества», Писарев предупреждает об опасности — когда это высокое уважение может перейти в почти религиозное почитание. «Знакомясь с этими титанами, — пишет он, — надо непременно сохранять в отношении к ним полную самостоятельность своей собственной мысли, а иначе придется принимать за чистое золото даже то, что составляет грязное пятно в произведении титана».

И второй совет Писарева: читайте произведения титанов, имея перед собой **практическую** цель (чтение «просто так», чтение «для эрудиции» — это

бесполезное чтение, в этом случае эрудиция становится ерундицией). Читая произведения титанов, не упускайте из виду сегодняшний день, ищите черты сходства и различия, короче — учитесь думать. И тогда в этих произведениях заметите то, чего не замечали раньше, то, что так важно для вас.

Тем не менее, с помощью цитат из «величайших умов человечества», с помощью даже более или менее правдоподобных и виртуозных аналогий нельзя удовлетворительно решить проблемы, которые ставят новые и новые обстоятельства. С помощью «величайших умов» можно установить лишь приблизительное **направление** поиска решения современных конфликтов. А потом, разумеется, придется оторваться от «великих» и пуститься в самостоятельное плавание (сохраняя, впрочем, их методологию, их приемы анализа и т.п.), т.е. заняться кропотливыми и специальными исследованиями явлений современной жизни.

Однако, по мнению Писарева, это время, время кропотливых и специальных исследований, — еще не подошло. Пока вся проблема заключается в ведении предварительной работы, в установлении приблизительного направления анализа, в подготовке инструментария для исследования, в собирании интеллектуальных сил, способных коллективно выполнить эту задачу огромной важности — дать научное освещение происходящего.

Браться же за изучение какого-нибудь специального вопроса сейчас, по убеждению Писарева, — неразумно. «Наша мысль только что пробуждается в немногих головах», — писал он, поэтому «взяться основательно за специальную задачу — значит уйти далеко вперед от понимания общества, сузить, без малейшей пользы, сферу своего влияния и не встретить в соотечественниках ничего, кроме равнодушия и недоумения». И поэтому такого рода «специалисты», как бы прекрасны и глубоки ни были их исследования, «не могут создать в обществе умственное движение». Вот почему «предварительная деятельность совершенно необходима». «К этой цели и направляются наши реалисты, отчасти осмеивая мешающие глупости, отчасти распространяя научные сведения».

В распространении знаний Писарев видел «альфу и омегу общественного процесса», причем главной задачей считал распространение знаний в народе (мы уже знакомы с его рассуждениями о том, что только просвещенный, только высокосознательный народ сможет «как следует» устроить свою жизнь).

Но народ находится пока в состоянии глубокой умственной спячки, к нему не подступишься. И Писарев формулирует задачу на ближайшее время: «Если вы хотите образовать народ, возвышайте уровень образования в цивилизованном обществе».

Писарев не только в общем виде формулирует задачу, но и намечает пути ее решения. «Каким же образом надо распространять знания?» — ставит он вопрос и отвечает: «… пусть каждый человек, способный мыслить и желающий служить обществу, действует собственным примером и своим непосредственным влиянием в том самом кружке, в котором он живет постоянно, и

на тех самых людей, с которыми он находится в ежедневных сношениях. Учитесь сами и вовлекайте в сферу ваших умственных занятий старших братьев, сестер, родственников, товарищей, всех тех людей, которых вы знаете лично и которые питают к вашей особе доверие, сочувствие и уважение. Если умеете писать — пишите о предмете ваших занятий; — если не чувствуете расположения к литературной деятельности, говорите о нем с теми людьми, у которых уже пробудилась любознательность, и на которых вы можете иметь прочное влияние». Писарев говорит, таким образом, и об «организационных формах» самообразования. Он думает не только о том, как повысить умственный уровень людей, но и как они могли бы соединяться и сплачиваться — в этот период страшной реакции. Поэтому, если характеризовать «писаревский период» с точки зрения задач прогрессивной революционной интеллигенции, то его надо назвать не просто периодом теоретической работы («теоретическим периодом»), **но организационно-теоретическим периодом.**

«Самообразование», стало быть, — не только «самоосвобождение», не только «свободомыслие», но и **организация, сплочение революционных сил.**

— Но ведь это очень медленно, — могут сказать особо «активные» люди, — все эти узкие кружки и кружочки.

— Подскажите же, как скорее, — ответим мы. — Что бы вы предложили на месте Писарева? Со своей стороны мы готовы быть его адвокатом...

И последняя цитата в связи с писаревской программой деятельности — из статьи «Посмотрим». Писарев отвечает на вопрос — что должны делать «люди, которые берутся быть руководителями общественного самосознания», в период, когда теоретическое решение социального вопроса еще не найдено: «Всеми силами искать теоретического решения и всеми силами побуждать других людей к тому же самому исканию, то есть изображать яркими красками страдания голодного большинства, вдумываться в причины этих страданий, постоянно обращать внимание общества на экономические и общественные вопросы и систематически отрицать, заплевывать и осмеивать все, что отвлекает умственные силы образованных людей от главной задачи».

Такова программа Писарева, таков его ответ на вопрос — что делать. (Это — и наша сегодняшняя программа.)

В чём же достоинство этой программы? В том, что она представляет собой **в деталях разработанную систему и метод выработки и собирания революционных сил в периоды отливов революционно — освободительного движения.** И я не думаю, будь с ней знаком Чернышевский или Добролюбов, чтобы они в ней что-нибудь существенное изменили — ибо эта система сама по себе совершенно не **противоречит** их учению. Более того, под этой программой со спокойной совестью мог бы подписаться и марксист. Правда, марксист дополнил бы ее теоретическим положением о будущей связи этой организации революционеров с народной массой, которая будет пробуждена самим ходом исторического развития, так, как это сделал в 80-е годы Плеханов: «... пока наша пропаганда вырабатывает **революционеров**, история создаст необходимую для их деятельности **революционную**

среду; пока мы готовим руководителей революционной массы, офицеров и унтер-офицеров революционной армии, — сама эта армия создается неотвратимым ходом общественного развития».

Да, именно такое дополнение внес бы марксист, но это дополнение касалось бы, так сказать, будущего, перспектив; практически же — марксист делал бы в точности все то, что советует Писарев.

Объективно перед революционерами 60-х годов (и 1960-х, и наших — 1970-х!) ближайшей была именно та задача, о которой писал Писарев. Поэтому его влияние было так сильно и так плодотворно.

Володя Г.:

Наше сегодняшнее Кредо

1. Настоящее образование есть только самообразование.
2. Самообразование = самоосвобождение.
3. Самообразование = свободомыслие.
4. Самообразование = чтение и обдумывание с практической целью, для самостоятельного решения вопросов.
5. Самообразование — где мысль пользуется неограниченным могуществом.
6. Самообразование — как главное в данный период жизни: «Если можете жить иначе — тянуть чиновничью лямку в темном царстве — живите. Беритесь за самообразование, становитесь на этот путь, если иначе не можете» (с. 118 книги Г.Г.).
7. Читайте классиков, но не становитесь их рабами.
8. Задача: распространение знаний, «просветительство».
9. Учитесь сами и вовлекайте других.
10. Эпоха Николая (Сталина) — период (с точки зрения задач нравственно-гуманистических сил) «теоретический».
11. Эпоха Александра Второго (Послесталинская, отката от позиций XX съезда и подавления чехословацкого «социализма с человеческим лицом») — период «организационно-теоретический» (просветительство + организация).
12. Плеханов (у Г.Г. — на с. 122): «Пока наша пропаганда вырабатывает революционеров, история создаст необходимую для их деятельности революционную среду; пока мы готовим руководителей революционной массы, офицеров и унтер-офицеров революционной армии, — сама эта армия создается неотвратимым ходом общественного развития».

(На этом я, пожалуй, приостановлю публикацию Володиных «заметок на полях». Приведенных достаточно для того, чтобы понять, как мы писали и как нас читали. ***Дальнейшее*** привожу уже без комментариев моего студента, в том числе и потому, что не хотел бы, чтобы современный читатель смотрел на приводимые тексты через призму читательского взгляда 70-х годов прошлого столетия. Чужой угол зрения может помешать выработке своего собственного отношения к прочитанному...)

В чем же состоит объективное историческое значение полемики Писарева с Добролюбовым, что значила *она* для развития передовой общественной мысли России, какое она занимала место на пути от Чернышевского к Плеханову?

Говорить об этом необходимо в двух аспектах — логическом и историческом. Логический аспект состоит в установлении соотношения добролюбовского и писаревского методов с точки зрения их общетеоретической значимости и общетеоретической истинности. Исторический — требует выявить конкретно-исторические формы, в которых была реализована та или другая научная идея, установить роль и значение данного звена в общей цепи исторического развития теории.

С логической стороны, — субъективистские тенденции, проявившиеся в творчестве Писарева, свидетельствовали о начинавшемся **понижении** теоретической мысли по сравнению с временем Чернышевского и Добролюбова. Однако не надо забывать, что и в рамках субъективистских идей русская общественная мысль, в лице Писарева, делает ряд важных завоеваний, которые войдут потом в золотой фонд науки об обществе. Такое противоречие метода и результатов исследования — не исключение в истории общественной науки, а скорее — вид закономерности. Напомним хотя бы высказывания Маркса относительно того, что именно идеализм, учение более низкого теоретического достоинства, чем материализм, развивал **деятельную** сторону. Поэтому это такое «понижение теоретической мысли», которое вовсе не есть застой, вовсе не тотальное отступление. Где-то Писарев отступил (может быть — не мог не отступить), а где-то, может быть, не на самых главных, но все же довольно важных направлениях, он развивал «наступление», начатое Чернышевским и Добролюбовым. Причем «завоевания» Писарева лежали на пути к созданию подлинной науки об обществе, они составляли необходимое звено цепи теоретического прогресса. И чтобы в полной мере охарактеризовать всю сложность «писаревского этапа» в истории русской мысли, скажем еще, что только с помощью ряда субъективистских идей и были возможны в то время эти «завоевания». Говоря *так*, мы по существу уже переходим к исторической оценке субъективистских тенденций общественной мысли 60-х годов (особенно ярко проявившихся в статьях Писарева).

О неизбежности появления этих тенденций и о том, что бурливый поток писаревских идей имеет источником учение Чернышевского, мы уже не раз говорили в этой главе. Скажем теперь, куда этот поток впадает. Продолжая образный строй речи, надо оказать, что если писаревская река питается лишь несколькими ключами из источника Чернышевского (оставляя многие другие нетронутыми), то и впадает она не в одно место, а разделяется на несколько рукавов. Субъективистские тенденции будут подхвачены и «развиты» народниками, в теориях которых они пройдут и завершат весь цикл своего развития. А то непреходяще — ценное, что выработалось в рамках писаревских — субъективистских — идей, войдет полезной страницей в «книгу» науки об обществе которую потом будут писать русские марксисты.

Положительное значение писаревской полемики еще вот в чём. Она способствовала прояснению (конкретизации) проблем, стоявших перед революционным движением, она в крайней степени заостренности поставила проблему стихийности и сознательности в освободительном движении, — одну из главных проблем русской социалистической революции. Писарев заставил революционных теоретиков задуматься над конкретностью связей стихийного и сознательного, революционной интеллигенции и народа. После Писарева уже нельзя было с теоретической беззаботностью в одном месте говорить, что «Базаровы» определяют ход общественного развития, а в другом — бывало утверждать, что историю делают народные массы. После Писарева необходимо было четко представлять соотношение того и другого. Поиски решения этой проблемы вынуждали революционных теоретиков более внимательно разбирать взгляды по этим вопросам Чернышевского и Добролюбова...

Такие разные «социализмы»... Революционное народничество

Теории и теоретики

Начнем с трех цитат из статей П.Н. Ткачева. «Учитесь! Приобретайте знания! О боже, неужели это говорит *живой* человек *живым* людям. Ждать! Учиться, перевоспитываться! Да имеем ли мы право ждать? *(подразумевается, с революцией)* ...Ведь каждый час, каждая минута, отдаляющая нас от революции, стоит народу тысячи жертв!».

Не пропаганда — наша задача, а «революция, революция не в отдаленном будущем, не «когда-нибудь», а именно теперь», в ближайшем к нам настоящем. «От этого зависит наше будущее, — будущее семидесяти миллионов страдающего порабощенного народа».

«Не ждите же! Делайте революцию, делайте скорее! Всякая проволочка — преступна!»

Красиво, не правда ли? Как это энергично и страшно революционно! Бедный оппонент Ткачева! Должно быть, жалкий и трусливый он человек, и плевать ему на 70 миллионов страдающего народа, над ним, видно, не каплет.

А вот Ткачев. Хотя над ним лично тоже не каплет, а смотрите, он хоть завтра, да что там завтра,— сегодня, сейчас готов отправиться в бой за эти 70 миллионов.

Заманчивая позиция!

Но обратите внимание вот на что: первый из приводимых абзацев («Учитесь!» и т.д.) писан Ткачевым в 1874 г., второй — в 1875 г. а третий и вовсе в 1877 г. Забавно! «Тянуть преступно!» — кричит нам революционер. Чего же в таком случае вы столько лет тянете? — можно было бы спросить у него. Легко делать «немедленные революции» на бумаге!

И ткачевцам отвечал Лавров — так, как они того заслуживали: «Вы не можете ждать? Слабонервные трусы, вы должны терпеть, пока не сумели

вооружиться, не сумели сплотиться, не сумели внушить доверие народу! Так из-за вашего революционного зуда, из-за вашей барской революционной фантазии вы бросите на карту будущность народа? Года через два народ мог бы победить, он, может быть, был бы готов; но вот, видите ли, русской революционной молодежи невтерпеж. Надо сейчас, сию минуту...».

«Слабонервные трусы» — это хорошо. Но вообще Лавров слишком всерьез принимает их, полагая, что они в состоянии «бросить на карту будущность народа». Насмешливо-презрительный тон Энгельса здесь больше подходит.

Может быть, кому-то покажется, что Энгельс слишком уж жестоко «разделывает» Ткачева. Ведь что там ни говори, а Ткачев все-таки в прогрессивных журналах писал, и в царской тюрьме сидел, и от карьеры отказался, бежал за границу, где не такая уж сладкая была у него жизнь. Но это, разумеется, детские рассуждения. Энгельс не касается всех сторон общественной деятельности Ткачева. Он рассматривает его как социалиста и революционного теоретика (т.е. так, как сам Ткачев хотел, чтобы его рассматривали) и говорит, что он (Ткачев) никакой не социалист и не революционный теоретик. Вот и всё.

Это, разумеется, не препятствовало Ткачеву быть весьма полезным для России общественным деятелем, хорошим журналистом, верным другом, порядочным семьянином, короче, иметь массу достоинств, в число которых только не входят ни социалистические убеждения, ни подлинно революционные взгляды.

А был ли он действительно полезным и какого рода пользу принес он, это я, в частности, постараюсь показать в этой главе, которую и задумал посвятить разбору трех основных теорий народничества 70-х годов — ткачевизма, лавризма и бакунизма.

Идеал ткачевистов — социализм, общественная собственность, коллективное производство, справедливое распределение. Собственно, это — идеал, общий всем трем теоретикам народничества. Этот идеал они вычитали из книг.

Для Петра Никитича Ткачева действительность — лишь объект деятельности, лишь материал, который надо кроить и перекраивать. Действительность для него — глина, из которой можно слепить «идеал», так или иначе появившийся в его голове.

И вот он начинает лепить и кроить (разумеется — мысленно, теоретически, до практики дело не дошло). Итак, что же делать для устройства «идеала»? Это самый легкий вопрос для Ткачева: «Вопрос “что делать?” нас не должен больше занимать. Он уже давно решен. Делать революцию. — Как? Как кто может и умеет». Ответ этот — своего рода шедевр. Он опять может показаться диким и нелогичным. И снова мы должны вступиться за Ткачева: ответ этот более чем логичен с его точки зрения, — более того, он во всей красе, во всей ослепительной яркости раскрывает перед нами идеалистическое представление о мире. Раз историческая действительность не имеет внутренних источников своего развития, раз она не имеет объективных законов, с которыми должен считаться всякий, подступающий к ней с планами, выкройками, то именно логично заявить: все зависит от портного, крои как кто может.

Но поскольку Ткачев себя считает, видимо, наиболее искусным портным, то он и предлагает план, по которому слепить «идеал» можно «всего скорее».

План этот заключается в том, что «революционное, цивилизованное меньшинство» устраивает тайный заговор и свергает правительство, революция в виде coup d'etat. Впрочем, Ткачев понимает, что захватить Зимний — это захватить лишь красивое здание, не больше. Чтобы вместе с Зимним захватить и власть в стране, надо парализовать силы, служившие царю, и силы немалые. Кучка заговорщиков сделать это, конечно, не в состоянии. И вот тогда-то ткачевцам (или, как они себя сами называли, якобинцам) и пригодится народ. «Революционное меньшинство, освободив народ из-под ига гнетущего его страха и ужаса перед властями предержащими (*в результате coup d'etat),* открывает ему возможность проявить свою разрушительно-революционную силу и, опираясь на эту силу, искусно направляя ее к уничтожению непосредственных врагов революции, оно разрушает охраняющие их твердыни и лишает их всяких средств к сопротивлению и противодействию». Ткачев советует умело использовать этот момент, когда «его *(народа)* скрытое недовольство, его подавленное озлобление с неудержимою силою вырвется наружу...».

Таким образом, народ помогает «революционному меньшинству» закрепиться у власти, и «меньшинство» приступает к перекройке действительности. В этой «работе» народ на роль помощника уже не годится, надо обходиться без него. Ткачев об этом говорит прямо, не стесняясь; он не опускается до лживых, с его точки зрения, речей о «мудрости народа», до фарисейских клятв в любви к нему и т.д. Не опускается, может быть, не столько по честности, которую, однако, мы ни в коем случае не можем ставить под сомнение, сколько по наивности, но факт остается фактом: он не маскирует свои замыслы, он не льстит народу. Положительные идеалы нашего крестьянства,— пишет он, — строго консервативны («общественный идеал нашего народа не идет далее окаменелых форм его бытия»); — они *(идеалы)* не могут быть идеалами революции. Самое полное и беспрепятственное применение их к жизни мало или даже нисколько не пододвинет нас к конечной цели социальной революции — к торжеству коммунизма». «Народ не в состоянии построить на развалинах старого мира такой новый мир, который был бы способен прогрессировать,— развиваться в направлении коммунистического идеала».

Итак, идеалы народа — не коммунистические. Что же делать? Ждать и способствовать тому, чтобы они развивались в коммунистическую сторону?

Что вы, тогда Ткачев не был бы Ткачевым, человеком, орудующим над миром. Нет, просто «при построении этого нового мира он *(народ)* не может и не должен иметь никакого решающего, руководящего значения,— он не может и не должен играть никакой выдающейся, первенствующей роли.— Эта роль и это значение принадлежат исключительно революционному меньшинству». В чём же заключается эта роль? Вот в чём: «...пользуясь своею силою и своим авторитетом, оно *(меньшинство)* вносит новые прогрессивно-коммунистические элементы в условия народной жизни; сдвигает эту жизнь с ее вековых устоев, одухотворяет ее окоченевшие и заскорузлые фор-

мы. В своей реформаторской деятельности революционное меньшинство не должно рассчитывать на активную поддержку народа».

Но ведь «сдвигать жизнь с ее вековых устоев» — штука, прямо скажем, адской трудности, удастся ли это ткачевскому «великолепному меньшинству»? И этот вопрос не оставлен Ткачевым без ответа.

В одной из своих статей в «Набате» он смеется над Лавровым, который полагает, что после революции весьма просто «декретировать общественную собственность» и «ввести ее в обычай». Декретировать-то просто, замечает Ткачев, но ввести в обычай... И он не без иронии излагает наивные (и надо сказать, действительно наивные) рассуждения Лаврова о том, что вот-де «соберется «мирской сход», сейчас же уничтожит (автор, т. е. Лавров, в этом ни на минуту не сомневается) частные запашки, обратит подушные и подворные наделы в общую собственность, отберет у частных лиц и самих же крестьян их движимое имущество, их скот, их орудия труда, их сбережения, объявит, что все продукты частных работ должны принадлежать всем членам общины, распределяться между ними сообразно с их потребностями и т.д. и т.д.».

«Набат» справедливо смеется над этой иллюзией (ведь мелкое крестьянское хозяйство в то время действительно не исчерпало своих возможностей!) и назидательно замечает: «...предполагать, чтобы это мог сделать добровольно "мирской сход", сход, в котором будут участвовать кроме массы крестьян, "по своим воззрениям и привычкам к новым порядкам совершенно не подготовленных и не понимающих их", вчерашние собственники, мирские паразиты, — предполагать подобную нелепость, значит — не понимать самых элементарных требований практической деятельности, умышленно отворачиваться от реализма жизни и всецело отдаваться утопии».

«Конечно, практические революционеры,— продолжает назидание Ткачев, — никогда так не поступают, как советует им автор *(т.е. Лавров)*. Если уже им удается осуществить первую часть его программы, т.е. захватить в восставших общинах революционную диктатуру, то нет сомнения, что они не пожелают выпустить ее из своих рук до тех пор, пока каждый новый порядок не пустит более или менее глубоких корней в общественную жизнь, пока он не уничтожит всех своих врагов и не завоюет себе симпатий большинства».

Добровольно крестьяне не согласятся на уничтожение частных запашек, на обращение подушных и подворных наделов в общую собственность, говорит «утописту» Лаврову «не-утопист» Ткачев. Но «нет сомнения, что сильная власть, опираясь на некоторую часть восставших рабочих, — может всё это сделать».

Сильная власть, которая «всё может», — это настоящая idee fixe Ткачева. Благодаря ей вовсе не страшны опасности, на которые, в частности, указывает Лавров, такие, как:

1) «остатки паразитов старого общества», 2) «привычки и влечения прежнего времени», широко распространенные в массе («пережитки», говоря языком XX в.); 3) сами «лица социально-революционного союза, которые, вследствие хода революции, стали властью в общинах и на более обширных территориях *(и которые)* могут поддаться развращающему влиянию своего

положения и злоупотребить своею революционной властью или присвоить ее себе в ненадлежащих размерах». Сильная власть это и многое другое преодолеет, и без особого труда.

Каким же образом? Судя по всему, именно так, как описывает Лавров план своих противников (ткачевистов), план, с которым Лавров решительно не согласен: «Всего удобнее устранить их привычными приемами старого общества: составить кодекс социалистических законов с соответствующим отделом “о наказаниях”; выбрать из среды наиболее надежных лиц (преимущественно из членов социально-революционного союза, конечно) комиссию “общественной безопасности” для суда и расправы; организовать корпус общинной и территориальной полиции из сыщиков, разнюхивающих нарушения закона, и из охранителей благочиния, наблюдающих за “порядком”; подчинить людей “заведомо опасных” социалистическому полицейскому надзору; устроить надлежащее количество тюрем, а вероятно, и виселиц, с соответственным персоналом социалистических тюремщиков и палачей; и затем, для осуществления социалистической … справедливости, пустить в ход всю эту обновленную машину старого времени во имя начал рабочего социализма».

Написав так, Лавров, видимо, полагал, что совершенно убил Ткачева. Наивный человек! Он просто дельно и четко изложил то, что Ткачев вовсе и не думает скрывать.

Захотели скомпрометировать щуку причастностью к реке! Захотели скомпрометировать русских якобинцев намеком на возможность с их стороны государственного насилия, виселиц и т.п.! По мнению Ткачева, важно, против кого направлены средства насилия. Ну и что же, что «формы *(государства, насилия, принуждения)* одинаковы *(с реакционными, деспотическими режимами),*— пишет он,—но их содержание, их основная мысль, оживляющий их дух диаметрально противоположны. Вот почему Мараты, Фукье-Тенвили, Раули Риго возбуждают к себе наше сочувствие и симпатию—сочувствие, симпатии всех честных людей, всех искренних революционеров. А прокуроры и палачи божьих помазанников, конституционных монархов и буржуазных республик вызывают в нас чувство ненависти и презрения. Никто не решится поставить их на одну доску, а между тем внешняя форма их деятельности, та легальная машина, которую одни направляли во вред, другие на пользу общества, были совершенно одинаковы».

Итак, теперь нам понятно, какими средствами бравое меньшинство Ткачева намеревалось «сдвигать народную жизнь с ее вековых устоев», каким путем собиралось оно «вносить новые прогрессивно-коммунистические элементы в условия народной жизни».

Перейдем к Лаврову.

***

Лавристы, так же, как и якобинцы (ткачевцы), признают, что народ к революции и социализму не готов. Но в отличие от якобинцев, они считают, что готовность народа—это дело времени: он должен «созреть», он обяза-

тельно «созреет». В противном случае, по их мнению, о социальной революции и говорить не стоит. «Перестройка русского общества,— писал Лавров,— должна быть совершена не столько с целью народного блага, не только для народа, но и посредством народа». Но как это возможно? Как должно осуществиться это «посредством народа»?

Если бы такой вопрос встал перед материалистом, то он, разумеется, обратился бы к анализу общественного бытия России и в развитии его внутренних противоречий, в росте классового антагонизма искал бы данные, свидетельствующие о том, что именно силой объективных исторических законов народ неудержимо подвигается к революции — сплачиваются его ряды, зреет его самосознание.

Не так смотрят на историю идеалисты, и Лавров в том числе. Не в развитии общественных противоречий видят лавристы движущую силу истории. Сознание, мысль, мнения правят миром — вот их точка зрения. И раз мысль доработалась до открытия принципа наилучшего устройства общества, и раз в осуществлении этого принципа наибольшую заинтересованность могут иметь эксплуатируемые, т.е. народ (ввиду предполагающегося улучшения, в первую очередь, его жизни), то, следовательно, задача теперь заключается лишь в том, чтобы растолковать народу, нецивилизованному большинству, что такое устройство общества им выгодно и что ради него стоит выйти на борьбу с властями предержащими. Цивилизованное меньшинство должно «уяснить народу его истинные(!) потребности, наилучшие средства удовлетворения этих потребностей и ту силу, которая лежит в народе, но им не сознана».

Народ, таким образом, для лавристов — инертная масса, в которую лишь цивилизованное меньшинство может вдохнуть «душу живу». Поэтому не сто́ит придавать слишком глубокий смысл словам «посредством народа», которые будто бы сближают лавризм с научным социализмом. «Посредством народа» у Лаврова имеет именно тот сугубо идеалистический смысл, что мысль может воплотиться в действительность лишь посредством народа, лишь через народ (активное сознание преобразует пассивную материю). Мысль, критически-мыслящие личности — творцы истории, народ — лишь средство, лишь материал. Все это — чистейшей воды идеализм или, точнее, бауэризм. Правда, нельзя не отметить, что Лавров, будучи эклектиком — в данном случае, к счастью, — подчас «забывает» об этой субъективно-идеалистической подоплеке формулы «посредством народа» и в полемике с якобинцами незаметно для себя — и в противоречии со своими субъективно-идеалистическими взглядами — высказывает немало верных (близких к материализму) суждений, когда ему приходится защищать это свое «посредством народа». Нельзя не отметить благотворного влияния этой формулы и на действенное народничество, на народников-практиков: не все схватывали, не все имели время и возможность схватить тонкости метафизических зигзагов мысли Лаврова, а броская, четкая формула «посредством народа», почти совпадающая с лозунгом Интернационала, запоминалась, западала в душу. Но все это происходило, так сказать, по независящим от Лаврова обстоятельствам.

На вопрос же, каким образом цивилизованное меньшинство может внести социалистическую бациллу в темную массу нецивилизованного большинства, Лавров отвечает: путем пропаганды.

Т.е. если Ткачев намеревался вносить эту бациллу средствами насилия, то Лавров — пропагандой: один битьем, другой лаской. Но тот и другой, по сути, стоят на одной и той же кастовой точке зрения избранного, цивилизованного меньшинства, толкающего к «социализму» невежественную толпу.

Они были ближе друг к другу, чем им казалось.

***

Третья разновидность народнических теорий — **бакунизм** (или анархизм).

Бакунисты, в отличие от якобинцев и лавристов, утверждали, что народ русский к революции «всегда готов» (как Онегин к дуэли, иронизировал по этому поводу Плеханов).

Правда, на пути реализации революционной активности народа стоит одно препятствие — «замкнутость общин, уединение... и разъединение крестьянских местных миров».

Задача по преодолению этого препятствия возлагается бакунистами на революционное меньшинство, которое должно «связать лучших крестьян всех деревень, волостей и по возможности областей... между собою, и там, где оно возможно, провести такую же живую связь между фабричными работниками и крестьянством», убедить их в том, что «в народе живет несокрушимая сила», которая «могуча только, когда она собрана и действует одновременно... и что до сих пор она не была собрана», связать и организовать «села, волости, области по одному общему плану и с единою целью всенародного освобождения».

Материалист знает, что главную часть этой работы по сплочению трудящихся различных цехов, фабрик, районов и областей страны проделывает экономика — развитие производства (а именно капиталистического производства). Бакунин намеревается выполнить эту задачу чисто политически, путем организаторской деятельности революционного меньшинства.

***

«...Работа, достойная титанов!» — продолжает иронизировать Плеханов.

Оказывается, и начавший за здравие народа бакунизм кончает заупокойным причитанием о неспособности этого народа сделать что-либо, пока цивилизованное меньшинство не сплотит его, пока оно его не подтолкнет в нужном направлении.

Знакомая нам песня о мыслящем, всемогущем меньшинстве и темном, неподвижном большинстве. И такую программу, как верно замечает Плеханов, предлагает революционному меньшинству человек, который писал, что «нужно быть олухом царя небесного или неизлечимым доктринером для того, чтобы вообразить себе, что можно что-нибудь дать народу, подарить ему какое бы то ни было материальное благо или новое умственное или нрав-

ственное содержание, новую истину и произвольно дать его жизни новое направление или, как утверждал... покойный Чаадаев, писать на нем, как на белом листе, что угодно». «...Можно ли вообразить более вопиющее противоречие между теоретическими положениями «программы» и намеченными ею практическими задачами?» — спрашивает Плеханов.

Противоречие это любопытно, как свидетельство острой борьбы материалистических и идеалистических тенденций внутри одного учения. (Материалистические тенденции заметны и у Лаврова, но у Бакунина они получают большее место и большее развитие).

***

Ну, а теперь, закончив краткое изложение трех систем народнического мировоззрения, мы можем сделать вывод, что при всех их различиях они сходятся в главном, что делает их видами одного рода, что позволяет их все характеризовать, как народничество. Об этом прекрасно сказал Плеханов: «...Общей им всем чертой была вера в возможность могущественного, решающего влияния нашей революционной интеллигенции на народ. Интеллигенция играла в наших *(народнических)* революционных расчетах роль благодетельного провидения русского народа, провидения, от воли которого зависит повернуть историческое колесо в ту или иную сторону. Как бы кто из революционеров ни объяснял современное порабощение русского народа — недостатком ли в нем понимания, отсутствием ли сплоченности и революционной энергии или, наконец, полною неспособностью его к политической инициативе, — каждый думал, однако, что вмешательство интеллигенции устранит указываемую им причину народного порабощения... Эта самоуверенность интеллигенции уживалась рядом с самой беззаветной идеализацией народа и с убеждением — по крайней мере, большинства наших революционеров — в том, что "освобождение трудящихся должно быть делом самих трудящихся". Предполагалось, что формула эта получит совершенно правильное применение, раз только наша интеллигенция примет народ за объект своего революционного воздействия. О том, что это основное положение устава Международного Товарищества Рабочих имеет другой, так сказать, философско-исторический смысл, что освобождение данного класса может быть его собственным делом лишь в том случае, когда в нем самом является самостоятельное движение во имя своей эмансипации, — обо всем этом наша интеллигенция частью не задумывалась вовсе, а частью имела довольно странное представление».

Но, разумеется, ограничиться такой оценкой нельзя. Диалектика требует выявления как тождества, так и различия (внутри тождества).

Внутри общего для народничества идеалистического представления о роли личности и масс в истории, внутри этого общего идеалистического мировоззрения, так верно очерченного Плехановым, шла яростная внутренняя борьба, которая методично расшатывала это мировоззрение в целом. Борьба эта шла, как мы уже видели, и внутри одного вида (у лавристов и бакуни-

стов) — как внутреннее логическое противоречие этого вида, и между видами одного рода — как внутреннее противоречие рода. Мы с вами рассмотрим в дальнейшем необходимость и неизбежность появления такого «рода», как народническое миросозерцание, необходимость и неизбежность «видов» этого «рода» (ткачевизма, лавризма, бакунизма), их борьбы между собой, неизбежность внутренних противоречий каждого из видов, — борьбы, которая была не последней причиной гибели этого рода и появления мировоззрения нового рода (научного социализма), который удержал наиболее прогрессивные элементы прошлого, прошлой борьбы (предварительно качественно переработав и иначе преломив их).

Мы это постараемся увидеть, но прежде, — о содержании этой борьбы.

***

Противники якобинцев выдвинули три существенных возражения против их (якобинцев) программы.

1) Главным доводом бакунистов против якобинцев было утверждение, что если даже якобинцы осуществят государственный переворот, то социализма тем не менее они построить не смогут, ибо власть портит человека, и на смену одной формы эксплуатации придет другая — эксплуатация народа захватившим власть меньшинством. «История показывает нам, — говорят бакунисты, — что каждый раз, когда интеллигентное меньшинство захватывало власть в свои руки, оно всегда угнетало народ, оно надевало на него новые оковы взамен старых, оно систематически убивало в нем всякую инициативу; под тяжким гнетом его мнимых благодеяний масса еще более тупела, еще более теряла способность к самоуправлению». И, таким образом, путь, по которому хотят идти якобинцы, — ложный путь, «он неизбежным образом должен привести не к освобождению масс из-под ярма власти, а к новому их порабощению». И что-де в случае анархической революции такого не произойдет, потому что анархисты против всякой власти, всякой централизации и всякого насилия. Но оставим пока в стороне анархический идеал безвластия, оставим в стороне противоречие между теорией и практикой бакунистов, организации которых — Альянс или Народная расправа — были основаны как раз на принципе строгого централизма, вплоть до единовластия, деспотизма. И эти «противники насилия» не гнушались в борьбе со своими идейными противниками прибегать даже к «методу физических действий».

Оставим пока это в стороне и остановимся на их возражении якобинцам. В нем есть изрядная доля истины, а именно та, что в условиях России того времени якобинское революционное меньшинство, оказавшись у власти, превратилось бы в эксплуататорское меньшинство. Однако обосновать это верное положение анархисты не смогли; более того, пытаясь обосновать, они наговорили столько вздору, что верная мысль почти затерялась в нем. Вот как это произошло. В ответ на упрек анархистов в неизбежном перерождении меньшинства под воздействием власти, якобинцы с пафосом восклицали, что это поклеп, что они будут умными, добрыми и хорошими и все будут делать в

интересах народа: «Разве это меньшинство есть меньшинство буржуазное?..— горячились они. — Разве его интересы враждебны интересам Народа?.. Чего же вы *(т.е. анархисты)* боитесь? Какое право имеете вы думать, что это меньшинство — меньшинство отчасти по своему общественному положению, отчасти по своим идеям, беззаветно преданное народным интересам, — что оно, захватив власть в свои руки, внезапно превратится в народного тирана».

В ответ на это анархистам надо было бы обратиться к анализу экономической действительности России тех лет и показать, что в условиях мелкокрестьянской страны, где господствует мелкий производитель и где усиливаются буржуазные тенденции, в таких условиях люди, составляющие правящее якобинское меньшинство, должны либо поддерживать буржуазные экономические тенденции (имеющие силу естественного объективного закона) и тем самым «переродиться», превратиться в эксплуататоров народа, либо стушеваться, уйти в отставку, уступив место другому меньшинству, более точно отражающему требования эпохи; и отсюда вывод, что как бы там ни было, в результате якобинского переворота у власти, в конце концов, должно неизбежно оказаться меньшинство, враждебное народу.

В подтверждение своих абстрактно-теоретических рассуждений анархисты могли бы сослаться и на исторические примеры, хорошо известные якобинцам (но плохо понятые ими). В частности, они могли бы посоветовать русским якобинцам заглянуть в зеркало французской революции конца XVIII века, в котором наши якобинцы увидели бы себя в образе французских якобинцев.

Те тоже хотели облагодетельствовать народ сверху, тоже намеривались насилием решить все вопросы — экономические, политические, религиозные — и тоже мало считались с экономическими требованиями времени. А между тем их политический идеал вовсе не отвечал этим требованиям. И хотя лично Робеспьер и многие его друзья были честными людьми (и если ошибались, то вовсе не по личной корысти), но все же честности и благого желания оказалось маловато для перекройки действительности «по собственному усмотрению».

Экономическое развитие делало свое дело: бурно росли производительные силы, освобожденные от феодальных пут, углублялось расслоение народа, к жизни (и власти) поднималась молодая буржуазия, обогатившаяся и твердо вставшая на ноги именно в годы революции. И эта буржуазия успешно просачивалась в ряды властвующего меньшинства и, в отличие от политических идеалистов Робеспьера и Ко, рассматривала свои государственные местечки в качестве источника дохода. Стоящие на почве экономических интересов, они с оптимизмом смотрели в будущее. И пока политический идеализм правительства Робеспьера, его речи о равенстве, братстве, свободе и т.д. имели успех, эти люди охотно вторили им. Революционная фразеология была для них удобной по тому времени ширмой, за которой шла их действительная жизнь. И постепенно, по мере их усиления, революционная фразеология превращалась в демагогию, а серп революционного правосудия начинал все с большей скоростью косить головы людей, отстаивавших народные

интересы. Скосил он и головы Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона, которые так и не поняли, где же они ошиблись. А кто же поднимался в то время к высшим правительственным местам, кому переходила эстафета революции? — «Тальену, Баррасу — проконсулам в Бордо и Тулоне, мздоимцам и ворам, искоренявшим контрреволюцию потоками крови, превращаемой ими в золото», «вероломному Фуше — будущему министру полиции Наполеона», «Фрерону — казнокраду и убийце, будущему главарю банд «золотой молодежи», Мерлену из Тионвилля, мечтавшему о княжеском особняке», «не раскрывшему клюва, пока не придет его час, старому ворону Сиейесу». «Благо отечества», «человечность», «добродетель» — это были пустые слова для всех этих... набивших себе карманы за годы революции и торопившихся насладиться так легко доставшимся им добром».

И если бы нетерпеливые русские якобинцы перебили на этом месте возражения анархистов, заметив, что пример с Робеспьером к делу не относится, так как он (Робеспьер) не отменил частную собственность, на которой и произрастала буржуазия, а они (русские якобинцы) отменят, провозгласят общественную собственность и введут ее в привычку методами государственного насилия, если бы якобинцы так сказали, то анархисты могли бы на это сказать следующее.

Особенной разницы, почтеннейшие, тут нет никакой. Что такое общественная собственность? — Это собственность. принадлежащая всему населению страны. А это, в свою очередь, что значит? — А то, что все взрослые граждане участвуют в управлении этой собственностью и в распределении доходов, получаемых от нее. А что нужно для этого? А для этого нужна демократическая организация всего народа.

А у вас, г.г. якобинцы? Кто управляет собственностью? — Пришедшее к власти цивилизованное меньшинство. Так? А кто распределяет доход? Конечно же, пришедшее к власти цивилизованное меньшинство. Таким образом, получается, что фактически собственность страны принадлежит вашему, якобинцы, меньшинству, а народ — ваш работник.

Все это могли бы сказать анархисты в ответ на запальчивый якобинский вопрос, какое право имеют они думать, что меньшинство, захватившее власть, «превратится в народного тирана». Могли бы... Но тогда они перестали бы быть анархистами. А в действительности в ответ на якобинское «какое право?...» они наивно ответили: «всякая власть портит человека» (в качестве примеров нередко фигурировали Цезарь и Наполеон). Высказав такую ребяческую «истину», анархисты лишили себя возможности дальнейшего наступления на якобинцев. Зато якобинцы с готовностью (и с полной, добавим, справедливостью), в свою очередь, восстают против этого утверждения анархистов. И вопрос о тирании меньшинства все больше и больше затемняется и запутывается. Так, якобинцы говорят, что власть нисколько не влияет на человека. Кто был хороший и добрый до революции, тот и после победы останется добрым и хорошим. Что касается Цезаря и Наполеона, то власть в их «порче» не повинна, они и до победы были-де «порченными» людьми.

И спор начинает терять уже всякий смысл.

Таким образом, перед нами две метафизические крайности: одни (анархисты) говорят, что всякая власть портит человека, другие (якобинцы) утверждают, что власть тут ни при чём и что ее характер зависит от характера человека.

Но эти крайности сходятся в одном: та и другая игнорируют экономическое бытие людей и его влияние на характер власти.

Верное решение вопроса дано материализмом: власть «портит» человека (т.е. делает его выразителем антинародных стремлений) лишь в том случае, если эта власть в целом становится антинародной, если под воздействием экономических причин она отрывается от народа. Экономика разделяет людей, а не ее политическое следствие — власть.

Но эта истина еще ускользала от народников, хотя и сверкала некоторыми своими гранями в схватке народнических крайностей.

2). Не менее любопытны были возражения лавристов против якобинской программы.

«Вам ничего не удастся сделать, потому что... вы перессоритесь... — говорили они якобинцам. — Те, кто боролись вместе против общего врага, будут неизбежно бороться между собою за личное преобладание». «На другой день социалистической диктатуры начнется спор за диктатуру, а раз он начнется — социальная революция отодвинется на второй план».

Правы лавристы! Ведь поссорятся, обязательно поссорятся! Без драки за местечки у, так сказать, кормила власти не обойдется. Во-первых, сами эти представители меньшинства выходят из ада прошлого далеко не святыми, а во-вторых, разведут их различные экономические интересы — ибо борьба экономических интересов в мелкобуржуазной России неизбежна; и экономическая конкуренция неизбежно найдет свое отражение в конкуренции политической. (Нельзя сбрасывать со счетов и того факта, что в условиях, когда правительство неподконтрольно народу, немалое влияние на форму власти могут оказывать черты характера стоящих на верху общественной лестницы). Результатом таких ссор может быть только то, что действительно задачи революции отодвинутся на второй план.

И ничего в этом случае не решают софистические рассуждения о разумном эгоизме, — что-де «каждый из них *(стоящих у власти)* будет видеть свою личную выгоду в том, чтобы удержать власть как можно долее руках своей партии... — чтобы сделать эту власть как можно тверже и могущественней. Ведь от этого будет зависеть их личная безопасность и т.д.». Не решают потому, что в этом случае мы будем иметь дело с кастовым интересом (правительственного меньшинства), противостоящим интересам всех других общественных групп (корпораций), и если победит интерес правящего меньшинства (чиновничьей корпорации) над интересами других групп (а такой исход в некоторые периоды не есть нечто невозможное), мы получим как раз тесно сплоченное сословие (чиновников), противостоящее народу в видах личной выгоды.

Так что в любом случае у власти окажется антинародное меньшинство.

3. И, наконец, последнее, — и, может быть, самое существенное — взгляд якобинцев на государство и роль государственного насилия в строительстве нового общества.

Может быть, иной читатель, читая подобное изложение взглядов Ткачева на роль государственного насилия, искренне недоумевал, почему это мы с таким неодобрением отнеслись к этим взглядам. Ведь Ткачев, вроде, был прав: после революции революционеры должны взять власть в свои руки, причем власть эта должна быть твердой и служить народу. Разве это не верно? Разве не верно, что государство — это машина для подавления и что поэтому важно лишь, против кого направлена эта машина? И раз якобинцы хотят направить ее против эксплуататоров и в защиту трудящихся, то что же здесь неверного, еретического с точки зрения материализма и научного социализма?

Сейчас мы получим ответ на этот вопрос. Но прежде — вот что рассказывает почти по этому поводу один писатель в одной книге.

Жила-была одна такая власть, в виде Марьи Алексеевны. И жил под ее началом опекаемый ею «народ», в виде ее дочери Веры Павловны, или просто Верочки. И служила эта власть (Марья Алексеевна) верой и правдой счастью своего народа (то бишь Верочке). Жениха хорошего ей заприметила, и собой недурного и с деньжонками, — завидная, короче говоря, партия. Одна беда только, не нравится этот жених дочери: не те у нее запросы и потребности. Но разве может молоденькая неопытная девушка знать свои истинные потребности? Их знает только многоопытная Марья Алексеевна, которая пробует все средства, чтобы уломать строптивую. И бранится, и угрозы в ход пускает, и кулаки даже.

«С ума ты сошла, дура? Смей повторить, мерзавка. Ослушница, — закричала Марья Алексеевна, поднимаясь с кулаками на дочь». — И все это для счастья, все для осуществления истинных потребностей своей дочери. «Я из любви к тебе бранюсь, тебе же добра хочу, — говорит Марья Алексеевна. — Ты думаешь, я злая. Да, я злая, только нельзя не быть злой...».

Все знают, как кончилась эта история, описанная Чернышевским в «Что делать?». Девушка вначале прогнала «жениха», а потом тайком от матери вышла замуж и тайком ушла из дома своих благодетелей.

Избави бог от благодетелей!

Но оставим литературные аналогии, ныне все и без того — прекрасно знают, что там, где большинство народа не имеет влияния на власть, там все разговоры о благе народа, о заботе о народе — пустая идеологическая болтовня. И марксизм, подлинный марксизм, говоря о социализме, никогда не разъединял даже в понятии власть и народ.

Не «власть и народ», а народная власть. Не власть, благодетельствующая народ, а властвующий (правящий) народ (пролетариат) — вот лозунги марксизма. Марксизм — за твердую власть после революции, за сохранение государства, но такого государства, которое по существу есть уже не-государство. В этом соль!

Что же это за «государство — не-государство»?

Как и всякое государство, оно — тоже орудие насилия, но насилия большинства над меньшинством, пролетарского, пришедшего к власти большинства над эксплуататорским меньшинством. А «насилие во имя интересов и прав большинства населения отличается иным характером: оно попирает «права» эксплуататоров, буржуазии, оно неосуществимо без демократической организации войска и “тыла”. В этом вся суть марксизма в данном вопросе.

Демократическая организация народа — вот основа государства — не-государства». Без нее государство может быть только орудием в руках тщеславного меньшинства — какие бы народолюбивые слова ни вылетали из правительственных канцелярий. К этой мысли часто возвращался Ленин. «Гражданская война, — писал он, — насильственно экспроприирует, сразу и прежде всего, банки, фабрики, железные дороги, крупные сельскохозяйственные имения и т. д. Но именно для того, чтобы экспроприировать все это *(т.е. действительно, а не на бумаге, не на словах экспроприировать, то есть действительно, а не на бумаге, не на словах передать во владение народу),* надо ввести и выбор всех чиновников народом, и выбор офицеров народом, и полное слияние армии, ведущей войну против буржуазии, с массой населения, и полную демократию в деле распоряжения съестными припасами, производства и распределения их и т.д. Целью гражданской войны является завоевание бан*ков,* фабрик, заводов и пр., уничтожение всякой возможности сопротивления буржуазии, истребление ее войска. Но эта цель недостижима ни с чисто военной, ни с экономической, ни с политической стороны без одновременного, развивающегося в ходе такой войны, введения и распространения демократии среди *нашего* войска и нашего «тыла».

И дальше: «Мы в своей гражданской войне против буржуазии будем соединять и сливать народы не силой рубля, не силой дубья, не насилием, а *добровольным* согласием, солидарностью трудящихся против эксплуататоров».

«Без *демократической* организации отношения между нациями на деле, … гражданская война рабочих и трудящихся масс всех наций против буржуазии *невозможна (т.е. невозможна в результате такой войны победа действительного социализма)* и в заключение: «Иного пути нет. Иной «выход» не есть выход» (т. е. иной социализм не есть социализм).

Таким «иным ***выходом***», который «не есть выход», таким социализмом, который не есть социализм, и была как раз программа русских якобинцев. **«Казарменным коммунизмом»** окрестили его Маркс и Энгельс.

***

Перейдем теперь к возражениям, которые выставлялись против лавристов.

Как мы знаем, лавристы, в отличие от якобинцев, ставили целью весь народ поднять на борьбу, на революцию. Поэтому они за революционную организацию, более широкую, чем кучка заговорщиков из интеллигенции. В их представлении это должна быть организация рабочих союзов, сельских общин, фабричных ремесленных артелей, т. е. организация, приближающаяся по своему характеру к народной массовой партии.

И то, что через два десятка лет будет реальной (и исполнимой) задачей русской социал-демократии (создание партии трудящихся, партии рабочего класса), то в условиях 70-х годов XIX века, в условиях отсутствия класса пролетариев, в условиях мелкобуржуазной стихии, в условиях, когда крестьянство, «народ» распадается на антагонистические группы, — в таких условиях создание сплоченной, широкой народной организации есть утопия чистейшей воды.

И «реалист» Ткачев высказывает лавристам в связи с этим немало справедливых возражений.

Община, на которую уповают лавристы, говорится в № 5 «Набата» за 1876 г., отнюдь не может служить основой для создания массовой социалистической организации. Община вовсе не «рождает дух солидарности», напротив, она «обособляет местные интересы», община «не чувствует ни малейшей потребности вступать в какие-нибудь близкие сношения с соседними общинами». Между общинами развиваются скорее «дух соперничества и конкуренции», чем дух «солидарности и братского единства». И дальше — очень точно и очень верно: когда община «задыхалась и изнывала под гнетом крепостного права, то тогда еще возможно было в виду общего гнета объединение сельских рабочих в одну организацию. Но теперь эта чистая утопия». Здесь во всяком случае есть ощущение того, что прежде единое крестьянство расслаивается. Но вывод, который из этого делают якобинцы (раз массовая партия невозможна, да здравствует узкий, радикальный заговор), этот вывод находится за пределами социалистических учений.

Таким образом, и в данном случае мы имеем любопытное сочетание: реализм якобинцев — не социализм, а социализм лавристов — не реалистичен, утопия (истина одними гранями соприкасается с учением якобинцев, когда речь идет об оценке текущего момента, и другими — с учением лавристов, когда речь идет о формах социалистического движения).

И если заслугой лавристов было выявление не социалистического содержания якобинских форм борьбы, то заслугой якобинцев было подчеркивание бессодержательности (нереалистичности, утопичности, абстрактности) пропагандируемых лавристами форм социалистической деятельности.

Вот как, например, якобинцы критикуют организационный план лавристов. Лавристы, выдвигая идею массовой организации, вместе с тем ясно понимают, что в условиях царского деспотизма такая организация должна быть тайной и, следовательно, без заговора не обойтись. Но подготовка этого заговора сочетается у Лаврова с требованием длительной пропаганды в народе.

Тут-то Ткачев и указывает Лаврову на противоречие. С одной стороны, тайная организация и тайный заговор, которые не могут рассчитывать на долговечность (ибо тайное быстро становится явным; подготовка заговора не может быть рассчитана на годы; дни и месяцы — вот сроки успешного заговора). А с другой стороны, социальная пропаганда в народе — до тех пор, когда «значительная часть существующих артелей и общин вполне усвоит себе принципы и задачи Социализма», а это требует долгих и долгих лет. «Таким образом, — делает вывод «Набат», — та деятельность, которую автор

рекомендует революционерам накануне революции, есть деятельность не только непрактическая, но просто даже невозможная». Верно!

Столь же мало реалистичен план деятельности лавристов и «на другой день после революции». Так, Лавров, признавая необходимость взятия революционерами власти и пытаясь в то же время отгородиться от палочного социализма якобинцев, говорит, что революционеры не должны слишком уж часто использовать эту власть, что власть эта должна быть как можно мягче и вообще не удерживать свою диктатуру на минуту долее, чем это необходимо. Над этим справедливо иронизирует Ткачев: «Вы требуете, чтобы… революционное меньшинство захватило и удержало в своих руках экономическую и духовную диктатуру и, в то же время, вы отнимаете у него самые элементарные, самые существенные атрибуты власти (речь идет, в частности, об органах насилия и т.п.)»

И убийственный вывод: «Накануне революции он *(Лавров)* обрекает его *(революционное меньшинство)* на невозможную деятельность, — на другой день он ставит его в невозможное положение…».

Это истинно. Не будем забывать только, что это все же лишь часть истины, ибо другая ее часть заключается в том, что лавристские принципы массовой революционной организации, лавристское отношение к государству все же ближе (по форме) к социализму, чем учение Ткачева. И эта вторая сторона лавризма сыграла роль в критике казарменного коммунизма, в подготовке почвы в России для мировоззрения научного социализма.

***

И последняя проблема: наука и революция. Проблема эта имеет много сторон. В полемике 70-х годов она поворачивалась то той, то другой гранью. В ней было много наивного, объяснявшегося слабым развитием общественных отношений в России: так, всерьез спорили — нужны революционерам знания или не нужны (бакунисты утверждали, что не нужны, так как они-де создают барьер между народом и интеллигенцией, мешают их взаимопониманию и т.д.). Но нередко проблема эта поворачивалась и весьма существенной (и интересной для нас) стороной: «вносить» или «не вносить» — вносить социалистическое сознание в массы или не вносить, в уверенности, что массы и без того социалистичны.

Лавров, как мы уже знаем, был за внесение сознания. Правда, при этом он не слишком интересовался, насколько подготовлен народ к восприятию социалистических идей, — субъективно-идеалистическое мировоззрение давало себя знать! Но, тем не менее, он все же считал, что социализм невозможен без науки и что трудящиеся, не усвоившие социалистические идеалы, не в состоянии построить социалистическое общество.

Бакунин горячо оспаривал это. «Чернорабочий человек», говорил он, — «социалист именно по своему положению». «Существенная разница между образованным социалистом… и бессознательным социалистом из чернорабочего люда состоит именно в том, что первый, желая быть социалистом,

никогда не может сделаться им вполне, в то время, как последний, будучи вполне социалистом, не подозревает о том и не знает, что есть социальная наука на свете... Один знает, но не есть *(т.е. не есть социалист)*, другой есть, но не знает. Что лучше? По-моему *быть* лучше. Из отвлеченной мысли, не сопровождаемой жизнью и не толкаемой жизненной необходимостью, переход в жизнь, можно сказать, невозможен. Возможность же перехода бытия к мысли доказывается всею историею. Она доказывается именно историей чернорабочего люда».

Вообще говоря, конечно лучше быть социалистом, чем не быть им. Но можно ли быть социалистом, не будучи знакомым хотя бы с общими выводами теории социализма? И социалистический ли инстинкт у русского мужика? Вот в чем вопрос.

Если бы Бакунин действительно знал русского мужика, если бы у него был опыт общения с ним, то такой нелепицы о «социалистическом инстинкте» он бы не сказал. Но такого опыта в те годы, увы, не было — и не только у Бакунина, но и у основной массы русских революционеров. Поэтому теоретический спор, коммунист ли по инстинкту мужик, никаких плодов дать не мог. Тогда это был вопрос веры, а не точного, опытного знания. Грандиозные «опыты» народничества были впереди. А вместе с опытом вопрос об инстинктах мужика решился легко и просто, и совсем не в бакунинском плане.

Сложнее обстояло дело с другим вопросом: может ли «чернорабочий человек» быть (стать) социалистом, не будучи знакомым хотя бы с общими выводами социалистической теории. Или в более общей форме: может ли стихийная классовая борьба сама по себе (без помощи научного знания) перерасти в борьбу социалистическую...

Практика революционного народничества

Итак, мы разобрали теории народничества. Разрешить теоретический спор могла только практика. Только практика могла выявить истинное и отсеять ложное. Только практика могла вынести им исторический приговор. Что же показала практика народнического движения? Между учениями Лаврова, Бакунина, Ткачева и практикой не было отношения причины и следствия. Не учения вызывали массовое хождение молодежи 70-х годов в народ. Не теории породили практику. А и «теория», и «практика» были в одинаковой степени следствием одной и той же общей причины — развития общественных противоречий в пореформенной России, они были в одинаковой степени наследниками идейного богатства революционеров-разночинцев 60-х годов. Они («теория» и «практика») были дополняющими друг друга частями целого.

Всем этим объясняется, что среди народников-практиков, среди действенного народничества почти не было чисто лавристских, или чисто якобинских кружков. Так, у нечаевцев якобинские, бланкистские идеи сочетались с анархистскими идеями Бакунина, а программа кружка чайковцев включала как лавристские, так и бакунистские положения.

Но как бы то ни было, в той или другой форме, все идеи, все теоретические положения учений русского социализма Лаврова, Бакунина и Ткачева были проверены жизнью, практикой революционного народничества 70-х годов.

Переход революционной молодежи от одних идей к другим вызывался, разумеется, не школярским желанием «проверить» все учения, созданные в заграничных русских журналах, а настоятельной необходимостью революционной борьбы, потому переходы эти имеют объективный, закономерный характер. На эту закономерность следует обращать особое внимание, ибо, не поняв закономерности (необходимости и неизбежности) краха одних народнических идей и перехода к другим, краха этих «других» и перехода к третьим, — не поняв этого, нельзя понять и закономерности (необходимости, неизбежности) краха народнических идей вообще, нельзя понять становление научного социализма в России.

Первыми на практике были опробованы идеи якобинцев. Мы имеем в виду деятельность Нечаева и его единомышленников в 1868–1870 годах. Фабула этой истории такова (даем ее, опираясь на воспоминания В.И. Засулич).

В 1868–1869 годах Нечаев участвует в студенческом движении. С Ткачевым (будущим теоретиком якобинцев), возглавляет левую, наиболее решительно настроенную часть студенчества. Когда начались аресты, он скрылся за границу, а в письмах товарищам сообщал, что его будто бы арестовали, посадили в Петропавловскую крепость и что он оттуда бежал (так он создавал себе капитал революционного деятеля).

За границей он правдами и неправдами приобрел расположение Бакунина и Огарева.

Получил подписанный Бакуниным документ: «Податель сего № 2771 есть один из доверенных представителей русского отдела Всемирного революционного союза» и, вернувшись в конце августа 1869 г. в Россию, принялся создавать заговорщическую организацию, вербуя оппозиционно настроенных студентов (главным образом студентов Петровской земледельческой академии).

Началась заговорщическая конспиративная деятельность — сложная система образования пятерок, вербовки новых членов. (А что еще делать заговорщикам? Подготовлять, убеждать людей, считал Нечаев, дело совершенно бесполезное, напрасная потеря времени. Их следует втягивать в организацию такими, каковы есть, и брать с них то, что можно). Вербовали, разумеется, своих близких друзей. Но скоро оказалось, что у всех завербованных ближайшие товарищи тоже состоят в организации и делать становилось нечего. Все были под номерами: собирались на заседания по пятеркам и писали протоколы заседания. С этими протоколами у членов высших кружков была постоянная возня: с них строжайшим образом требовались письменные доклады, а составлять их никому не хотелось, да и писать-то было нечего. «Протоколы» — это неспроста было придумано Нечаевым. Это были те «компрометирующие документы», благодаря которым он мог держать всех в послушании. А чем же еще долго можно держать людей в заговорщическом ничегонеделании? Как сделать, чтобы не отошла от него молодежь, чтобы не

испортить это «мясо для заговоров»? «Их надо беспрестанно толкать и тянуть вперед в практические головоломные заявления, результатом которых будет бесследная гибель большинства и настоящая революционная выработка немногих» — так относился Нечаев к своим друзьям-заговорщикам. И эту сторону нечаевщины превосходно охарактеризовал Бакунин (он-то, слава богу, имел о ней прекрасное представление). По убеждению Нечаева, писал Бакунин, «за вычетом десятка, составляющих "избранных", — все остальное должно служить слепым орудием и как бы материей для пользования в руках этого десятка людей действительно солидарных. Дозволительно и даже простительно их обманывать, компрометировать, обкрадывать и, по нужде, даже губить их, это мясо для заговоров...»; «во имя дела он должен завладеть вашей личностью без вашего ведома. Для этого он будет вас шпионить и постарается овладеть всеми вашими секретами...»; «в вашем отсутствии, оставшись один в комнате, он откроет все ваши ящики, прочитает всю вашу корреспонденцию, и когда какое письмо покажется ему интересным, т.е. компрометирующим с какой бы то ни было точки вас или одного из ваших друзей, он его крадет и прячет старательно как документ против вас или вашего друга...». «Если ваш приятель имеет жену, дочь, он старается ее соблазнить, сделать ей дитя, чтобы вырвать ее из пределов официальной морали и чтобы бросить ее в вынужденный революционный протест против общества. Всякая личная связь, всякая дружба считается злом, которое они обязаны разрушить, потому что все это представляет силу, которая, находясь вне секретной организации, уменьшает единую силу этой последней».

Такова моральная атмосфера нечаевского заговора. Как же живется, как дышится людям в этой атмосфере?

Остановимся на некоторых из «главной пятерки». 18-летний Николаев. **Крестьянский** мальчик, кончивший свое образование в сельской школе. Нечаеву очень пригодились качества этого типичного «крестьянского сына»: и его недостаточная умственная развитость в сравнении с представителями интеллигенции, и его наивность, с которой он принимал все за чистую монету, его поклонение культу силы, его терпеливость и выносливость. «Он стал буквально его (Нечаева) рабом, но рабом любящим, преданным, на которого можно положиться, как на самого себя... С ним даже хитрить не было надобности: самые, казалось бы, нелепые приказания он свято исполнял, не задавал вопросов и ни на йоту не отступал от инструкций». В деятельности Нечаева этот крестьянский юноша чаще всего играл роль «деятеля из народа», и для интеллигенции, членов организации, он олицетворял собой народ, его чаяния, думы и желания. А этот «народ» был лишь пешкой в руках Нечаева, был, как пишет Засулич, «пугалом для многих членов организации». «Самому Николаеву было строго запрещено пускаться в разговоры — говорил за него Нечаев, он же разыгрывал свои разнообразные роли в строгом молчании».

23-летний **студент** Кузнецов. Он всеми силами старался служить «народу» в лице его представителей Нечаева и Николаева. Но в атмосфере нечаевщины служить народу оказывалось непросто.

Той окрыляющей радости, которая естественно должна наполнять человека, отдающего свои силы для блага людей, Кузнецов не испытывал. Както совершенно незаметно для себя он погружался в вязкое болото лжи и мистификаций.

Когда организация получила приказание собирать деньги с сочувствующих, Кузнецову, поскольку он был сын богатых купцов, было поручено делать сборы с купечества. Поручение по тем временам нелепое вообще, а по отношению к Кузнецову — в особенности. «Московских купцов он вовсе не знал, но желание угодить и не обмануть ожиданий было так сильно, что он вносил несколько раз по 200–300 р. собственных, присланных родными денег и записывал их как собранные с купечества». (Нечаев, конечно, догадывался обо всем этом, но уличать Кузнецова не стремился: главное — деньги достает, ну и хорошо, пусть хоть ворует; **человек** Нечаева не интересовал: срывай с каждого столько, *сколько* на сегодняшний день можешь сорвать). А Кузнецов все больше и больше запутывался: «по внешности он казался страшно занятым, возбужденным, деятельным; в сущности же своей исполнительностью он навлек на себя массу дел и поручений (которые, добавим, нередко не имели ничего общего с реальными возможностями): переговорить с тем-то, достать то-то, привлечь того-то, и не был в состоянии выполнить их, но по слабости характера он не решался отказываться и, стараясь выкручиваться из затруднений ложными отчетами, путался все более». Кузнецов терял свой нравственный облик.

Успенский. Человек **высокоинтеллигентный**, талантливый. В отличие от Кузнецова, Успенский обладал достаточно твердым и решительным характером, был человеком весьма широких знаний и, конечно, Нечаева он оценивал более реалистически, чем другие. Успенский видел его недостатки, видел его хитрости, но сознательно закрывал на них глаза. Он вполне понимал, что в России немыслима никакая легальная работа на пользу масс, и в то время «по собственной инициативе… едва ли он скоро сделался бы заговорщиком: в его натуре не было элементов практического деятеля», у него не было ни знания людей, ни изворотливости. Нечаев был практик, это Успенский в тот момент поставил выше всего и «в интересах дела» подчинился ему. Этим он, так сказать, освятил нечаевскую деятельность и тем самым оказал Нечаеву неоценимую услугу по одурачиванию (или, вернее сказать, по идейному закабалению) многих молодых нечаевцев, для которых мнение такого образованного человека, как Успенский, значило очень много.

И, наконец, Иванов, 22-летний **студент**.

Как ни гони природу в дверь, она войдет через окно. Как ни пытайся посадить на цепь мысль человеческую, как ни пытайся подавить ее угрозами или хитростью,— ничего не выйдет. Идеи могут быть побеждены только идеями.

Вот что говорилось в нечаевском документе «Общие правила сети для отделений»: «Всё количество лиц, организованных по "Общим правилам", употребляется как средство или орудие для выполнения предприятий и достижения целей общества. Поэтому во всяком деле, приводимом отделением

в исполнение, существенный план этого дела должен быть известен только отделению; приводящие его в исполнение люди отнюдь не должны знать сущность, а только те подробности, те части дела, которые выполнять выпало на их долю. Для возбуждения же энергии необходимо объяснять им сущность дела в превратном виде». И дальше: «План, предложенный со стороны Комитета, выполняется немедленно».

И вдруг выясняется, что один человек из руководящей пятерки не хочет быть больше «средством или орудием» неведомых ему целей, не соглашается объяснять кому бы то ни было из товарищей «сущность дела в превратном виде» и отказывается выполнять дурацкие приказания таинственного Комитета, которые вредят студенческому движению, человек, который подозревает также, что и Комитета-то никакого не существует, а существует лишь дурачащий их маленький Наполеон из народа — Нечаев.

Этим человеком был один из любимцев студентов Петровской академии Иванов.

Иванов с самого начала стремился сознательно служить революционному делу, сознательно, а не механически выполнять поручаемое ему. А сознательно — значит, он должен принимать участие в выработке того или другого решения, а не получать готовый приказ; значит, он должен иметь право критики тех или других действий, право сомнения, короче, он должен иметь право голоса, к которому прислушиваются и который уважают.

И с самого начала этому стремлению Нечаев противопоставил административный окрик и угрозу. Такой метод «руководства» имел успех лишь первое время, пока критическая мысль была еще слаба и, так сказать, не стояла еще на собственных ногах. Но она росла и развивалась. И в один прекрасный (вернее трагический) момент Нечаев почувствовал: все, угрозы не действуют. И тогда он без всяких колебаний решает убить мысль, убить Иванова.

Немедленно фабрикуется соответствующий приказ Комитета. Любопытно, как отнеслись к этому «смертному приговору» упомянутые нами члены руководящей пятерки.

Ну, с Николаевым, с этим «крестьянским сыном», с этим любящим и преданным рабом, — всё ясно. Он думает так, как думает его бог — Нечаев. Раз бог говорит, что Иванов враг, значит — враг, и дело с концом.

«Николаеву, — пишет Засулич, — ...было заявлено, что Иванов не повинуется Комитету и будет убит. А ты ступай в академию и посмотри, там ли он, — добавил Нечаев. Не задавая никаких вопросов, не выказывая ни малейшего недоумения, Николаев оделся и вышел».

Успенского Нечаев «обработал» так, что тот только рот разинул. Нечаев, зная эту «богато одаренную», «последовательно теоретическую» натуру Успенского, зная его любимый способ решать спорные практические вопросы сперва в теории, в принципе и затем уже не отступать перед принятым решением на практике, как бы тяжело оно ни было, зная это, Нечаев задал Успенскому теоретический вопрос: обязательно ли для Общества устранять всеми зависящими от него способами являющиеся на пути препятствия? И

получив, естественно, утвердительный ответ, Нечаев показал, что Иванов составляет препятствие (при этом Нечаев без всяких церемоний, без всяких документов и фактов высказался в том смысле, что выйдя из организации и ставши к ней во враждебное положение, Иванов может кончить доносом). Правда, когда речь коснулась смертной казни (или попросту — убийства), поколебался даже такой последовательный человек), как Успенский; «Но какое же имеем мы право лишать человека жизни?» — спросил он. «Это вы о подсудности, что ли? — возразил Нечаев. — Тут дело не в праве, а в нашей обязанности устранять все, что вредит делу, — иных же способов сделать Иванова безвредным мы не имеем».

На этот «теоретический довод» Успенский сдался. (Хотя мы склонны думать, что все эти теоретические построения — лишь жалкая и, может быть, неосознанная попытка успокоить совесть и сохранить уважение к себе; на самом деле Успенский был раздавлен не теоретическими доводами, а удушающей атмосферой нечаевщины; он бы самообманывался, думая иначе).

И — третий, потерявший себя и совершенно растерявшийся Кузнецов; для него «Иванов был старым товарищем, почти другом, с которым он прожил много лет». Как же повел себя Кузнецов, когда узнал, что его друг совершенно необоснованно обвиняется в потенциальном предательстве и что над ним уже занесена рука убийцы?

Вот как. Сначала он «принялся уверять, что Иванова всегда можно уговорить, что он берется его успокоить». Потом он с общего вопроса перешел к частному: «убийство невыполнимо, оно не может удаться». Наконец, Нечаеву надоело слушать этот жалкий лепет и он «грозно спросил: “Не думает ли он сопротивляться Комитету?” — Кузнецов замолчал».

Вот и всё. Остается только добавить, что Иванов был убит. «Потенциального предателя» заманили в грот в парке Петровско-Разумовского, ему сказали, что там спрятана типография, которую надо отрыть. «Потенциальный предатель», услыхав о действительном деле, немедленно согласился отправиться в грот, но его ждала там пуля Нечаева.

Этим, собственно, и кончается «деятельность» нечаевского общества «Народная расправа». Вскоре большинство ее членов были арестованы, а Нечаев скрылся за границу.

Каковы же объективные результаты всей этой деятельности нечаевского общества для революционного процесса? Какое влияние оказала она на революционную молодежь начала 70-х годов?

Мы уже говорили, как печально сказалась атмосфера нечаевщины на самих членах общества. И это особенно было заметно на процессе. «Внезапно явившееся вместе с арестом сознание, — писала Засулич, — что ни Комитета, ни близости народного восстания, ни обширной организации — ничего этого не существует, а были только они одни обманутые студенты, заговорщики по ошибке, действовало на арестованных подавляющим образом.»

То возбужденное, поднятое настроение, в которое они были искусственно приведены, мгновенно опало, и юноши очутились ниже, чем были до сво-

его соприкосновения с призраком революции. Немногие из членов организации оправились потом, к немногим возвратилась прежняя бодрость и жажда дела».

А вот и более широкая оценка, данная Верой Ивановной Засулич: «Несмотря на всю свою революционную энергию, Нечаевы не усилили бы революционных элементов среди нашей интеллигентной молодежи, ни на шаг не ускорили бы ход движения, а могли бы, наоборот, деморализовать его и отодвинуть назад, особенно в ту раннюю пору. Система “не убеждать, а сплачивать” и обманом толкать на дело, вела, конечно, “к бесследной гибели большинства”, но ни в коем случае не “к настоящей революционной выработке”...».

Но задумаемся: является ли нечаевщина случайным явлением для революционного движения в России?

Большинство отечественных историков в один голос заявляет, что для русского революционного движения нечаевщина — явление случайное.

Вот об этом давайте и порассуждаем. Ну, во-первых, что обычно вкладывают в понятие «нечаевщины»? Заговорщическую деятельность, основанную на строгой централизации (деспотии центра), марионеточном послушании низших, на мистификации, обмане и вероломстве. (Сюда же надо добавить еще одну весьма существенную черту, верно подмеченную Засулич: это — «жгучая ненависть, и не против правительства только, не против учреждений, не против одних эксплуататоров народа, а против всего общества, всех образованных слоев...»)

Случайна ли была идея тайного заговора в России в конце 60-х годов XIX в. (т.е. коренилась ли она в объективных условиях российской жизни или только в голове фанатичного Нечаева)?

Вообще революционная деятельность в виде заговоров возникает там, где не сложился, не созрел класс, которому предстоит освободить все общество. «Всем знакома склонность романских народов к заговорам,— писали Маркс и Энгельс, — а также роль, которую играли заговоры в современной истории Испании, Италии и Франции», т.е. в странах со слаборазвитым пролетариатом и преобладанием мелкой буржуазии. Маркс и Энгельс отмечали также, что, например, во Франции «по мере того как парижский пролетариат сам стал выдвигаться вперед в качестве партии, эти заговорщики начали терять руководящее влияние, среди них начался распад...».

Заговор — это политическое выражение революционности мелкого буржуа (так же как массовая пролетарская партия есть политическое выражение революционности рабочего класса). Почему же интересы мелкой буржуазии имеют тенденцию принимать форму заговора? Ответ на этот вопрос дан Марксом в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта».

«Мелкие крестьяне (Parzellenbauern) составляют громадную массу, члены которой живут в одинаковых условиях, не вступая, однако, в разнообразные отношения друг с другом. Их способ производства изолирует их друг от друга, вместо того чтобы вызывать взаимные сношения между ними. Эта изолированность еще усиливается вследствие плохих французских путей

сообщения и вследствие бедности крестьян. Их поле производства, парцелла, не допускает при обработке никакого разделения труда, никакого применения науки, а, следовательно, и никакого разнообразия развития, никакого различия талантов, никакого богатства общественных отношений. Каждая отдельная крестьянская семья почти что довлеет сама себе, производит непосредственно большую часть того, что она потребляет, приобретая таким образом свои средства к жизни более в обмене с природой, чем в сношениях с обществом. Парцелла, крестьянин и семья; рядом другая парцелла, другой крестьянин и другая семья. Кучка этих единиц образует деревню, а кучка деревень — департамент. Таким образом, громадная масса французской нации образуется простым сложением одноименных величин, вроде того, как мешок картофелин образует мешок картофеля. Поскольку миллионы семей живут в экономических условиях, отличающих и враждебно противопоставляющих их образ жизни, интересы и образование образу жизни, интересам и образованию других классов, они образуют класс. Поскольку между мелкими крестьянами существует лишь местная связь, поскольку тождество их интересов не создает между ними никакой общности, никакой национальной связи, никакой политической организации, — они не образуют класса. Они поэтому неспособны защищать свои классовые интересы от своего собственного имени, будь то через посредство парламента или конвента. Они не могут представлять себя, их должны представлять другие. Их представитель должен вместе с тем являться их господином, стоящим над ними авторитетом, в виде неограниченной правительственной власти, защищающей их от других классов и ниспосылающей им свыше дождь и солнечный свет. Политическое влияние мелкого крестьянства в последнем счете выражается, стало быть, в том, что исполнительная власть подчиняет себе общество».

Могут сказать, все это хорошо, но причем здесь тайные заговоры? Ведь Маркс говорит о правительстве.

А при том, что люди, пришедшие к власти, прежде чем стать членами правительства в таких странах, должны были быть заговорщиками. И именно в среде заговорщиков складываются и вырабатываются те принципы руководства и управления, которые будут применены на другой день после революции. «Прообразом будущего общества» называли бакунистские заговорщики свою тайную организацию — Альянс. И этот «прообраз» достаточно полно проявил себя. «Бонапартистами» называли Маркс и Энгельс бакунистских заговорщиков, а сам Бакунин получил от них «звание» лейб-гвардии диктатора.

Итак, заговор, повторяем, — средство революционной борьбы, порождаемое мелкобуржуазной стихией, средство, получающее значительное распространение в условиях отсутствия рабочего движения.

Именно такова и была обстановка в России в конце 60-х годов XIX в.

Вот почему можно решительно утверждать, что заговорщическая деятельность имела корни в объективной действительности, и потому случайной ее назвать никак нельзя. Разумеется, она была не единственной формой

борьбы мелкого производителя против гнетущих жизненных условий. Мелкий производитель — слишком противоречивое явление, в нем развиваются слишком противоречивые тенденции; чтобы иметь однозначный выход — лишь в форме заговора; его протест может принимать и принимал и другие формы, соответствующие другим сторонам его общественного бытия.

А раз мы признаем неслучайной заговорщическую деятельность, то надо быть последовательными и не признавать случайными атрибуты этой деятельности, в число которых, между прочим, входят и мистификация, и вероломство, и ненависть к науке и «образованным людям» вообще и проч. и проч. Ибо эти атрибуты — опять-таки не случайны для заговора, а вытекают из его сути.

В чем же заключается эта суть, почему мелкий буржуа прибегает к заговору? Потому, что законы объективного развития — против него. А объективные законы реализуются через деятельность общества, через деятельность массовых сил общества.

Поэтому и реальные массовые силы (поскольку они знают законы развития, тенденции процесса и свою роль в нем) враждебны мелкому буржуа. Поэтому он (мелкий буржуа) против просвещения, против науки. Для того, чтобы остановить общественное развитие или хотя бы направить его в выгодную для себя сторону, мелкий буржуа не имеет за собой реальных общественных сил. Поэтому он хватается за любую соломинку: ему ничего не остается, как надеяться на чудо. И это чудо пытаются осуществить через заговор, через бонапартистские приемы и методы деятельности. Заговорщики — «алхимики революции и целиком разделяют превратность представлений, ограниченность навязчивых идей прежних алхимиков. Они увлекаются изобретениями, которые должны сотворить революционные чудеса: зажигательными бомбами, разрушительными машинами магического действия, мятежами, которые должны действовать тем чудотворнее и поразительнее, чем меньше имеется для них разумных оснований. Занятые сочинением подобных проектов, они преследуют только одну ближайшую цель — низвержение существующего правительства и глубочайшим образом презирают просвещение рабочих относительно их классовых интересов, просвещение, носящее более теоретический характер. Этим объясняется их не пролетарская, а чисто плебейская неприязнь к habits noirs, более или менее образованным людям, представляющим эту сторону движения...» (Последние слова почти полностью повторяют то, что, как мы помним, говорила Засулич об отношении Нечаева к интеллигенции).

А вот откуда вероломство и взаимный шпионаж заговорщиков (то, что мы называем теперь нечаевщиной): «Заговорщики находятся в постоянном соприкосновении с полицией, они ежеминутно приходят в столкновение с ней; они охотятся за шпиками, так же, как шпики охотятся за ними. Шпионство — одно из их главных занятий. Поэтому неудивительно, что небольшой скачок от заговорщика по профессии к платному полицейскому агенту совершается так часто, если к этому еще толкают нищета и тюремное заключение,

угрозы и посулы. Этим объясняется безграничная подозрительность, которая царит в заговорщических обществах, совершенно ослепляет их членов и заставляет их видеть в своих лучших людях шпиков, а в действительных шпиках своих самых надежных людей».

Так что если бы заговорщическая деятельность Нечаева была единственной на святой Руси, если бы у него не было предшественников и вольных или невольных последователей, то и тогда мы имели бы полное право отрицать случайность нечаевщины в русском освободительном движении. Но мы обязаны это сделать тем более, что у Нечаева были и предшественники, и последователи. Это — автор «Молодой России» П.Г. Зайчневский, это П.Н. Ткачев, это (в какой-то мере) народовольцы и, наконец, эсеры (Б. Савинков и др.) — целая линия в истории русского революционного движения.

Идейное родство нечаевщины и взглядов названных «революционеров» нетрудно доказать документально, да это в той или иной форме признается и многими историками.

Л.Г. Дейч, например, пишет о «предпринятой его (*Нечаева*) единомышленниками — Зайчневским и Ткачевым — в середине 70-х годов» «проповеди макиавеллизма», он говорит, что «народовольцы стали очень снисходительно относиться к якобинским воззрениям; этим, несомненно, объясняется то огромное значение, какое они придали Нечаеву, поставив рядом с цареубийством план его освобождения». Сходные взгляды высказывает Б.П. Козьмин в статьях о Зайчневском и Ткачеве.

Точно устанавливает это родство Плеханов: «...литературная деятельность «партии Народной Воли» сводится к повторению на разные лады ткачевских учений». А связь ткачевских учений с нечаевщиной для Плеханова несомненна: он отмечал, что именно ткачевский «Набат» занимался пропагандой террора и возвеличением нечаевского заговора.

Таким образом, можно сказать, что заговорщическая деятельность (в том числе и один из ее видов — нечаевщина) есть одно из политических выражений революционности мелкого буржуа. Эта деятельность не имеет ничего общего с социализмом, и по сравнению с деятельностью социалистической — реакционна.

Якобинство, хотя и не усвоенное и не испытанное по-настоящему на практике, серьезно подорвало свой кредит. Однако в то время низвергнутым и разбитым оно не было. Оно было, так сказать, отложено в сторону. Оно нуждалось еще в настоящей проверке.

А пока революционная деятельность молодежи приняла другое направление, тесно связанное с якобинством (связанное через полное противопоставление ему; это был «антитезис»), — направление «пропагандизма». Итак, отталкивание от заговорщичества, от якобинства вполне понятно. Но почему новое направление выбрало своим знаменем именно пропагандизм?

Собственно, к пропаганде молодежь готовилась давно. Этому учили ее Герцен, Огарев и, в особенности, Добролюбов и Чернышевский. Да и деятельность нечаевцев была синтезом двух стремлений — rпропагандистского и за-

говорщического (вспомним, что Лунин, Иванов и другие студентов хотели странствовать артелью). Но заговор временно взял верх над пропагандой. И вот теперь пропаганда стала номером первым на повестке дня. Пропагандисты (кружок чайковцев и др.) имеют ту же социальную базу, и то же объективное содержание, что и якобинцы, — выражение мелкобуржуазной революционности. Но есть, нам думается, существенное отличие. «Якобинцы» — это политическое выражение интересов мелкого производителя как собственника, пропагандисты — как трудящегося.

Разъясним это. Каковы могут быть интересы мелкого собственника, человека, владеющего какими-то средствами производства? Во-первых, он чужд всем, он один против всех, он отделяет себя от всех, ему все — враги. Стало быть, общество, рассматриваемое с точки зрения мелкого производителя как собственника, — это общество врагов: каждый противостоит всем и каждому. Для того, чтобы сохранить такое свое положение собственника, чтобы каждый не пожрал каждого, это «общество врагов» нуждается в правящей силе, которая бы не служила ни одному из них (т. е. не усиливала бы ни одного из них), для которой каждый из них был бы безразличен (ибо только тогда, согласно убеждениям собственника, возможна справедливость). Они нуждаются в силе, стоящей над ними и чуждой им.

Заговор и следующее за ним бонапартистское правительство как раз и являются такой силой, поэтому они (собственники) и отдают им свои симпатии. (Могут сказать, что это бонапартистское правительство будет потом гнуть их в бараний рог; но, во-первых, будет гнуть, по их убеждению, всех одинаково, а во-вторых... а, во-вторых, — если бы мелкий производитель умел так далеко заглядывать вперед...)

Так в теории. И это хорошо понимал даже Ткачев — он говорил именно так: заговор нужен потому, что мужик не соединен с мужиком, потому, что община противостоит общине и т.д., потому, что каждый — против каждого. И еще Ткачев говорил, что ткачевское (читай, бонапартистское) правительство нужно потому, что крестьянин — собственник.

Иное дело — мелкий производитель как труженик. Труд — основа единства мелких производителей. Так они противостоят крупным собственникам. Собственность — это то, что их разъединяет, труд — это то, что их соединяет, что роднит их с пролетариатом и делает более других классов восприимчивыми к социалистическим идеям (ибо в основе социалистического принципа, как известно, лежит правило: жить своим трудом). Вот это стремление мелкого производителя, крестьянина-труженика к единению, к справедливому, свободному и равноправному труду и было объективной основой распространения социалистических взглядов среди интеллигенции, было основой деятельности пропагандистов. Но здесь было и предрешение того, что эта деятельность не удастся, потому что нет отдельно крестьянина-собственника и крестьянина-труженика. А есть один крестьянин — он и собственник, он и труженик; как собственник — стремится к капитализму, как труженик — к социализму, не будучи в состоянии принимать по-настоящему близко ни то, ни другое.

Итак, отказ от нечаевщины вызван был отвращением к методам Нечаева, а главное — ее безрезультатностью. Нечаевщина обусловила (в определенном смысле) и формы новой революционной деятельности, которые рождались как антиподы нечаевщины.

Главным уроком, извлеченным из нечаевщины, было осознание (или скорее ощущение) того, что революционная деятельность без народа бесплодна. После нечаевщины лозунг «В народ!» приобрел много новых сторонников, стал основным лозунгом революционной молодежи. Однако содержание этого лозунга разными людьми раскрывалось по-разному, а вернее — ясного представления о будущей деятельности в народе не имел никто. Велись бесконечные споры, шли приготовления — каждый молодец готовился действовать на свой образец.

В разгар этих споров и приготовлений (т. е. в 1873 г.) и появились в заграничных изданиях бакунистские и лавристские программы, бакунистское и лавристское понимание лозунга «В народ!». Это уже были не «взгляды и нечто», не юношеские спутанные мечтания, а тщательно и всесторонне разработанные платформы, которые вполне годились для того, чтобы стать основой для размежевания инакомыслящих и для более тесного идейного сплочения единомышленников. Это был материал для выбора пути.

Однако в 1873–1874 гг. четкого разделения молодежи на бакунистов и лавристов не произошло. Да мало кто и видел существенное различие двух программ: нужен был опыт, чтобы почувствовать их принципиальную разницу.

К моменту начала массового движения в народ (т.е. к весне 1874 г.) молодежь теоретически примкнула к Бакунину «всею своею массою»,— пишет О.В. Аптекман. С одной стороны, сказался бакунистский призыв к немедленному действию, с другой — статья в первом номере журнала «Вперед» о необходимости «бесконечного учения» в университетах. «Но, — продолжает О.В. Аптекман, — пропагандистская волна… перетасовала там, в народе, все направления, уничтожив практически все различия и оттенки революционных фракций: революционеры, словно сговорившись, делали в народе одно дело — пропагандировали идеи социализма. И вышло, что все были тогда пропагандистами: и «бунтари», и «лавристы».

Итак, на практике, «все были тогда пропагандистами», пропагандистами социализма в крестьянской среде, т.е. лавристами. Это свидетельство мемуариста подтверждается многочисленными воспоминаниями других участников «хождения в народ», материалами судебных дел, признается многими исследователями.

В тупике.
В чем причина, кто виноват?

глава 1. Куда же завел ты меня, Платон?

«Я знаю, что я кое-что знаю»

И снова — чуть-чуть отступим назад, и снова — краткое обобщение ранее сказанного — чтобы удержать перед мысленным взором всю картину развития сократовско-платоновских идей (в ее центральных пунктах).

Сократ: И все-таки я кое-что знаю!

Я знаю, что есть у Человека предназначение в этом мире. Он — «для чего-то», он — «зачем-то» в этом мире. В его существовании, в его жизни есть Смысл. И этот человеческий Смысл связан со Смыслом всего Бытия, которое содержит в себе Логику, Законы своего существования и развития, и в силу этого постоянно *устремлено* к Чему-то.

Я знаю, что все это (и Смысл бытия Человека, и смысл Бытия вообще) обязательно надо *познавать* — чтобы более «правильно» и более «праведно» выстроить свою деятельность, свою жизнь — в соответствии с этими Смыслами, в соответствии со своей Природой, со своим Предназначением.

И ***я знаю***, что все это *можно* познавать, т.е. — что все это мы *в состоянии познавать*, ибо мы располагаем таким уникальным и таким совершенным инструментом, как Разум.

Еще ***я знаю***, что все это мы не можем, не в состоянии *познать*. Познавать — да, познать («до конца», «полностью») — нет! Мы не можем познать бесконечность, мы не можем сосчитать бесконечность. Но мы будем бесконечно познавать — все глубже, все основательнее проникая в мир Истины.

И ***я знаю***, что в соответствии с познанной частью Истины (всё более расширяющейся ее частью) мы сможем (и должны) выстраивать свою жизнь, делая ее все более адекватной своему Назначению и окружающему нас Бытию.

Я знаю, что это будет бесконечный процесс расширения нашего Знания и совершенствования нашего, человеческого, Бытия.

Я знаю, что фундаментом нашей Деятельности должны быть принципы Нравственности (принципы не-насилия), совокупность которых и приоткрывает желаемое, идеальное, устройство человеческой жизни и человеческого общения.

Я знаю, вместе с тем, что существование человеческого общества, человеческого сообщества (по крайней мере в мое время и в обозримом будущем)

невозможно без определенных форм *принуждения* людей к соблюдению нравственных (и правовых, т.е. тех же нравственных, но принявших форму писаного Закона) норм, т.е. невозможно без определенных форм *насилия*.

Я вижу (по крайней мере, в мое время и в обозримом будущем) *необходимость* существования двух рядов *противоречащих* друг другу требований — нравственных (не-насильственных, «свободных») и государственно-политических (основывающихся на принуждении и насилии).

Я вижу это ***противоречие***.

И я не знаю, как его разрешить.

Я знаю, что идеальное человеческое сообщество должно покоиться на моральных, нравственных, не-насильственных принципах. Но ***я не знаю***, как это осуществить.

Я знаю Цель, но я ***не вижу*** Пути к ней.

Платон: Я знаю и Цель, и Пути, ведущие к ней.

Я расскажу вам, как построить человеческое сообщество на *Нравственных началах*. Я расскажу вам, как построить *Сократовский Мир*.

Прежде всего, я уточню *Цель*, ибо у Сократа она слишком обща и туманна, и потому трудно сделать ее *конструктивной*, реальной, выполнимой.

Да, Цель — *Нравственный мир*, человеческое сообщество, основанное на принципах Морали. Главные среди этих принципов: Свобода, Равенство, Дружелюбие (Братство).

Свобода — как сознательно *выбираемые* человеком формы деятельности, соответствующие логике Бытия и *назначению* (природе) Человека. Свобода — *от* произвола неразвитого, путаного сознания (не понимающего ни обстоятельств деятельности человека, ни ее смысла и цели) и *от* произвола своих соплеменников, соотечественников, сограждан, стремящихся с помощью разнообразных форм насилия и господства сделать вас *средством* для *их* (навязываемых вам) целей.

Равенство — как непременное условие Свободы. Равенство — как отсутствие привилегий одних по отношению к другим, как отсутствие господства одних над другими. Равенство — в *свободном* выборе своего пути в жизни, своих форм деятельности.

Дружелюбие (Дружба, Братство) — как непременное условие осуществления Свободы и Равенства, ибо Свобода и Равенство могут стать реальностью только в *Братском* сообществе людей; атмосфера *Взаимопомощи, Взаимоподдержки, Взаимоуважительности* — только она способна обеспечить действительную Свободу и действительное Равенство.

Эти важнейшие черты *Идеала* человеческого сообщества можно охарактеризовать как ***Справедливость***, ибо через них может реализоваться *назначение* Человека. Только осуществив их, Человек может стать тем, кем он *должен быть* в этом мире, в отличие от всех других «вещей» и «явлений» Бытия. «Справедливо» — это когда «каждому — свое», когда каждый «получает» то,

что он «заслуживает». Человек, чтобы быть Человеком, «заслуживает» получить Свободу, Равенство, Дружбу. «**Справедливо**»— одарить его всем этим.

А осуществление *Справедливости* (реализация составляющих ее принципов) не только обеспечит идеальное (аутентичное) существование человека (существование, соответствующее его Сущности, его Природе), но через такое — Идеальное, Справедливое — существование человека будет обеспечена реализация неких важнейших «целей», «смыслов» Бытия вообще. Эти важнейшие («высшие») Смыслы Бытия можно обозначить понятием ***Благо***. В этом контексте Бытие выступает не как просто сумма огромного (бесконечного) числа предметов, вещей, явлений, а как некий **Живой Организм**, обладающий Телом (совокупностью органически связанных между собой материальных образований) и Душой, Разумом (Смыслами и Целями своего существования), и что **Мозгом** этого Тела, «инструментом», познающим эти Смыслы и Цели, выступает **Человек**. Этому *Мозгу Вселенной* для его нормального развития, для совершенного выполнения его познавательных функций — и необходимы Свобода, Равенство, Дружба.

Так выстраивается та цепочка *Смыслов* и *Целей*, которые характеризуют Идеал человеческой деятельности. Так обозначаются те общие рамки, в которых построение Идеального человеческого сообщества обретает черты конкретности, смыслонаполненности и, в силу этого, *реальной осуществимости*. Так Человек органически вписывается в Бытие вообще, находит в нем свое место и нащупывает свои задачи по реализации Блага — высших целей Бытия.

Это что касается конкретизации общего, ***общефилософского*** содержания Сократовского Идеала.

Теперь о его конкретизации на социально-***политическом*** уровне. О том, как всеобщие, философско-мировоззренческие Принципы могут быть представлены в виде социальных форм.

Прежде всего: обществом, основанном на подобных принципах, должны управлять ***Философы***. То есть — люди, способные слышать и понимать голос Бытия, способные осознать место и назначение Человека в нем. Их задача: перевести это голос Бытия на язык *Законов человеческого общества*. Философы, стало быть, не только познающие суть Бытия мудрецы, но и *политические законодатели.* (Но это не «законодательная власть» в ее современном понимании. Это — гораздо больше. Это, прежде всего, — Властители Дум, Хранители Нравственности. Это — **Властвующая Совесть**, возведенная в **Закон** и **Право**. Это, если переводить на язык современных реалий, — соединенные в неком единстве Философское Общество, Общественная Академия наук, Учредительное Собрание (дающее стране Основные, Конституционные принципы жизни) и Парламент (Законодательный орган). Это настоящая Властвующая **Элита**. Элита — по своему уровню культуры, знаний, нравственности, по своему месту в человеческом сообществе. Элита — по своей *сути*, не так, как ныне, — когда «элитой» называет себя тупая, наглая, карьерная, эгоистическая чиновничья каста, полагающая, что занимаемые

ими высоко поднятые над человеческой «массой» бюрократические кресла превращают их в неких небожителей).

Проведение в жизнь законов и принципов, сформулированных этой высшей — философско-политической — властью — удел ***Стражей*** (в современной лексике — государственных чиновников, «исполнительной власти»). Только не надо думать, что их удел — механическое «исполнение» предначертаний высшей философско-законодательной элиты. Их сфера деятельности — в высшей степени *творческая*. Решаемые ими задачи по сложности не уступают задачам, решаемым Философами-Правителями, а по непосредственной важности они в чем-то даже превосходят их.

Да, не просто понять логику и смыслы Бытия, не просто установить и сформулировать вытекающие из них всеобщие законы человеческого существования и деятельности. Но реализовать эту высшую Логику в конкретных, каждодневных программах и планах деятельности людей, но перевести возвышенный язык всеобщих законов и принципов на язык конкретных социальных программ — экономических, организационно-политических, культурных, образовательных, международных и обеспечить их умелую и последовательную реализацию — это все задачи не меньшей сложности. Ведь философы имеют дело, главным образом, с *идеальной* реальностью — мыслью и словом. Она, так сказать, более «податлива», чем та *материальная* реальность, с которой имеют дело «стражи». «Сопротивление» материального мира, за преобразование которого берутся Стражи, — во сто крат сильнее и непосредственней, нежели «сопротивление» теоретических построений.

Философы-Правители намечают общие рамки жизнедеятельности общества, прочерчивают общие векторы его развития. Их место — высота «птичьего полета», их масштабы вИдения — масштабы десятилетий и столетий. *Стражи* — здесь, на земле, с нами и среди нас. Им надо найти способы движения по прочерченными прямыми и широкими линиями историческим векторам — среди замысловатых обстоятельств конкретного, земного бытия, проложить пути через переплетения сталкивающихся и, порой, взаимоисключающих друг друга интересов людей. Им надо суметь так согласовать эти интересы, чтобы обеспечить движение по пути к Благу, им надо, кроме того, *добиться*, чтобы общество двигалось в русле этих согласованных программ.

В общем, важность и нужность роли стражей для общества трудно переоценить. Но, как это ни покажется странным, с их деятельностью связана и одна чрезвычайная опасность для общества. Опасность, связанная с возможностью превращения сословия стражей из «слуг» общества в его **господ**. Социальные программы могут быть ими так составлены, а рычаги принуждения могут быть так использованы, что эгоистические интересы правящей чиновничьей корпорации возьмут верх над интересами всего общества, а находящиеся в ее руках средства государственного насилия превратят свободных сограждан в «подчиненное» и угнетенное человеческое стадо.

Опасность эта более чем реальна. Какие мудрые законы были предложены Афинам богоподобным Солоном, этим образцом философа-правителя, —

они расширяли пространство Равенства и Свободы, они открывали захватывающие перспективы развития Афинского полиса-государства. А что получилось в итоге? А в итоге, через два-три столетия после Солона, усиливавшийся из поколения в поколение эгоизм афинского чиновничества превратил Афины — на международной арене — в агрессора и грабителя более слабых полисов, а во внутренней жизни — в одну из разновидностей тиранического режима с всевластием государственной бюрократии. Легальное и публичное убийство Сократа афинской бюрократией — наиболее зримое тому подтверждение.

Да и «беличье колесо» форм политических правлений, в котором обобщена логика греческой социально-политической конкретики, ясно свидетельствует: любой тип государственного правления, как бы счастливо он ни начинался, обязательно заканчивается оформлением господства различных групп бюрократической олигархии, превращением правящих сил из организаций, работающих на благо и прогресс общества, в структуры, преследующие свои узкокорпоративные интересы.

Как, сохранив нужность и важность деятельности этого слоя, избежать коренящейся в нем опасности? Вот вопрос вопросов!

Я предлагаю: обустроить деятельность стражей таким образом, чтобы у них не было абсолютно никакой возможности решать иные задачи, кроме задач общественного блага, чтобы не было самой почвы для возникновения каких-либо иных интересов, кроме интереса стабильного и успешного развития своей страны, своего народа.

Самое главное: у стражей не должно быть ничего «личного», «собственного», никакого, даже минимального, замкнутого на себя пространства. Страж должен быть полностью, абсолютно открыт миру — буквально со всех сторон.

Прежде всего — у стражей не должно быть никакой личной, частной собственности. ***Жилище*** — общее со всеми, никаких «своих» кроватей, столов, стульев, шкафов; все — общее, государственное, ***обще***житийное. ***Питание*** — одинаковое всем, никаких индивидуально-вкусовых блюд, никаких специфических изысков. Принимать пищу — всем вместе, в строго определенное время. ***Одежда*** — никакой отсебятины и вкусовщины: всем — единую униформу на строго определенный срок. Никаких «приработков на стороне», никакого участия ни в каких индивидуальных хозяйственных предприятиях. Никаких ***денег*** — все необходимое будет выдано бесплатно; денежным накопительством заниматься запрещено, да и нет смысла, — коли все необходимое для жизни и деятельности в качестве стража вы будете иметь безвозмездно.

Да, еще семья. Вот серьезный источник эгоизма. Жена, дети, требующие, чтобы все было «как у людей» (имеется в виду: у «людей» — благополучных, с достатком), — чтобы дом был полной чашей, чтобы дети и внуки росли, забот не зная: «Давай, давай — добывай, доставай, неси в дом, больше, больше, еще и еще...». Государственное кресло — отличный инструмент для выкачивания благ из общественного богатства в пользу своего маленького (но требовательного) семейного мирка.

Ну, так долой традиционную семью, этот источник эгоизма! Освободить от него стражей! Понимаю, это экстравагантно, необычно, и большинство встретит мою идею с иронией и в штыки. А что делать? Другого способа оградить стражей от стяжательства в этой, семейной, сфере я не вижу. И придется, уверяю вас, придется обществу пойти на эту меру: стражам — никакой индивидуальной семьи! Чтобы не было для чего «воровать», «брать взятки», чтобы не было куда наворованное нести!

И речь я вовсе не веду о каком-то принципиальном и обязательном безбрачии. Нет, калечить и насиловать человеческую природу я не предлагаю. У стражей будут и жены, и дети, но не «индивидуальные», а — «общие». Да, это как-то ломает традиционные представления о семье, о любви и т.д. Я и сам, признаться, выговариваю все это с большим «напрягом» (традиции и надо мной тяготеют!). Но, повторяю, после долгих и мучительных размышлений я пришел к твердому выводу: другого способа **нет**. Придется принять, придется смириться.

Только не надо искажать и опошлять высказанную мной идею. Обыватели и педантичные хранители семейной нравственности и семейных традиций с негодованием, конечно же, будут кричать об «узаконенном разврате», о гибели такого «светлого и прекрасного» чувства, как «любовь» — к женщине, к детям. Ну, ну, ну! Не увлекайтесь, мои друзья-оппоненты! Во-первых, «разврата» этого хватает и в условиях нашего с вами традиционного семейного устройства. Наши обычные семьи вовсе не панацея от того, что вы называете «развратом». И «любовь» при этих традиционных семейных отношениях — вещь весьма не продолжительная, да и вообще встречающаяся весьма и весьма не часто. А во-вторых, почему — «разврат»? Наши «общие жены» — это не гетеры, не продающие свое тело существа и не рабыни, обязанные услаждать любое желание любого из стражей. Это — свободные, обладающие всеми правами свободного человека, женщины. Они вступают в брачные отношения только с теми из мужчин, кто им мил, кто им люб, кто желанен. Какая ж тут «гибель любви»? Тут, скорее, напротив, — любовь, освобожденная от привходящих, губящих ее факторов — материального расчета, бытовых выгод и т.п. Здесь у возлюбленных просто нет общего дома, общего хозяйства и индивидуальных, частных забот. Люби себе на просторе, сколько твоей душе и твоему телу угодно!

Да и потом — женщины-то у нас будут не какими-то там «наложницами» или жителями гарема какого-нибудь персидского владыки. В нашем, идеальном, государстве женщины — не наложницы стражей. *Они сами могут быть стражами*. Они обладают тут равными правами с мужчинами. Девушки *вместе* с юношами обучаются в школах, вместе с ними занимаются спортом, вместе изучают военное дело и участвуют в военных играх (а понадобится — и в реальных сражениях, защищая свое Отечество), вместе осваивают искусство государственного управления. Поэтому в нашем идеальном государстве — что многие как-то упускают из виду — существует не только общность *жен*, но и общность *мужей*. Так что положение женщины у нас совсем не

унизительное; оно несравненно более высокое, чем в нынешнем обществе с его традиционным семейным укладом.

И дети — общие! Тут тоже наталкиваешься на традиционные возражения: а как же материнские и отцовские «инстинкты», а как же «родительская любовь»? Вы хотите и родителей, и детей лишить всего этого? Какая жестокость, какой абсурд!

И снова — прошу вас: не горячитесь, не спешите с выводами, вникните получше, о чем идет речь. Снова прошу вас не преувеличивать распространенность родительско-сыновней (дочерней) любви в современном обществе. Прошу вас, переберите мысленно все знакомые вам семьи и скажите, положа руку на сердце, много ли из них являются этими подлинными очагами любви, много ли из них действительно счастливых — таких, где бы в любви, дружбе и уважении жили родители, где благополучно складывались судьбы детей, где отношения детей и родителей можно было бы, без большой натяжки, назвать «взаимной любовью». Такие семьи — редчайшее, наиредчайшее исключение. Корысть, детский и родительский эгоизм подтачивают и разрушают *изнутри* традиционные семьи.

А сколько на свете детей, появившихся вовсе не по «любви» и желанию родителей, брошенных и беспризорных! Какие уж там «инстинкты»!

Дети стражей в нашем, идеальном, государстве с самого рождения — предмет заботы всех. Их *всех*, в *равной* степени, опекают. Для них *все* стражи — отцы, все женщины — матери. Ни один ребенок не обойден теплотой и любовью *общей* заботы.

Вы полагаете, невозможно искренне любить детей и самоотверженно заботиться о них, не будучи уверенным, что это — *твои* дети? О, предрассудки традиций! О, эгоизм «инстинктов»!

У нас не будет деления на «своих» и «чужих». Все — *свои*, в равной, абсолютно равной, степени!

И воспитание, и образование у этих детей будет равное, одинаковое. Никаких «частных», «индивидуальных» занятий, никаких «элитных школ», никакого разделения на «привилегированных» и «забытых богами»!

В общем, не так уж сумрачна будет жизнь у стражей.

И все же… И все же придется признать, что целого ряда простых человеческих радостей они будут лишены, и, самое главное, в значительной степени лишены *индивидуальной* самореализации — возможности развивать и удовлетворять свои индивидуальные, специфические потребности. Поэтому законен вопрос: захочет ли кто-нибудь стать стражем? Получит ли он какую-то «компенсацию» за те ограничения его личностной судьбы?..

Вообще-то я хорошо понимаю тех, кто хотел бы сохранить традиционную, «нормальную» семью — «свою» жену, «своих» детей, домашний уют, созданное по своему вкусу индивидуальное семейное гнездышко. И такая семья совсем не обязательно обречена на то, чтобы стать источником эгоцентризма. И детей в такой семье вполне можно воспитать в духе коллективизма, альтруизма, любви к ближнему и к отечеству. Да и «властвующий чиновник»

совсем не обязательно обречен на то, чтобы стать карьеристом, думающим о себе любимом, а не об обществе, которому он предназначен служить.

Я все это понимаю. И было бы прекрасно, если бы в традиционных семьях выращивались такие высоконравственные граждане и если бы власть с ее нынешними, традиционными прерогативами и возможностями не «портила», не развращала людей. Тогда можно было бы обойтись и без моих экстравагантных реформ.

Но... давайте все-таки будем реалистами. Подобные семьи в реальной жизни — исключение. А бескорыстные, заботящиеся только об общественном благе чиновники, — это вообще такая редкость, что о ней и говорить не стоит. Мой анализ огромного количества форм правления, зафиксировавший быструю деградацию правящих групп, — от начального, более или менее общественно-полезного состояния к общественному паразитизму — тому наглядное подтверждение.

Поэтому, если желать быть реалистом и видеть в реальных людях не сошедших с небес альтруистических существ, а — вполне земных индивидов с сильной эгоистической составляющей, то придется позаботиться о создании условий, в которых корысть была бы *объективно исключена*. Я предложил свой вариант таких условий. Попробуйте предложить что-нибудь получше.

Хочу заметить, что предложения мои, хотя, конечно, и экстравагантные, но вполне осуществимые.

И идти в стражи люди в моем идеальном государстве имеют все основания.

Я, например, рассуждаю так. Если я, Платон (Аристотель, Спевсипп...), человек хорошо образованный, неплохо нравственно воспитанный и желающий принести пользу своему сообществу (а через него — и себе), не пойду в стражи, то туда пойдет кто-то другой, и я не уверен, что мне и подобным мне будет комфортно жить под его руководством. Мое воспитание и образование подсказывают мне: трудно это или нет, «интересно» это мне лично или нет, но *мой долг* пойти на службу в сферу государственного управления, несмотря на все те ограничения в личной жизни, которыми обставлена служба в государственном аппарате моего «идеального государства».

И второй аргумент. Как это никакой здесь «индивидуальной самореализации»? Да, некоторые пути и возможности «индивидуальной самореализации» здесь перекрыты. Но...

Разве деятельность по созданию совершенного человеческого общежития — разве это такая уж малозначащая цель? Да, возводящий потрясающей красоты храм зодчий или корабельный мастер, создающий просто волшебное по своим качеством судно, — в полной мере реализуют свою неповторимую индивидуальность. Но разве строительство Социального Храма, Общественного Корабля — задача менее сложная, менее почетная и менее увлекательная? Профессия государственного служащего в нормальном (т.е. соответствующем своей идее) Государстве — масштабная и увлекательная профессия. И компенсируется занятие этой профессией — да, не деньгами, не богатством, не уютом семейной жизни. «Компенсация» — в самой этой деятельнос-

ти, захватывающей дух и воображение: это же сотворение не просто новых вещей и предметов, это сотворение Социального Мира. Это *богоподобная* деятельность, не каждый способен на нее, не каждого подпустят к ней.

И еще одна форма награды для стража. Это, в случае его удачной деятельности, — общественное признание. И его высшая форма — *Слава*. Вещь — эфемерная, скажет кто-то: не согреет она твое тело в холодную погоду, не накормит голодного, не напоит жаждущего. Ну, что же, кому что. Пусть каждый выбирает. Но сохраняющееся в веках твое признание, но поселившаяся в человеческих душах любовь к тебе — дорогого стоят. В конце концов, Слава — это знак твоего Бессмертия. Плащ — самый прочный и самый изысканный — изнашивается, Слава, тем более заслуженная, — никогда!

Пойдут, пойдут в стражи люди, несмотря на все ограничения. И еще соревноваться будут за попадание в мир Стражей. Пойдут, уверяю вас.

Итак: философско-законодательная элита, исполнительная власть — Стражи. И третья составляющая совершенного общества — **Работники**, производители материального общественного богатства.

О них, пожалуй, нет смысла распространяться. Тут я не предлагаю никаких особых новаций. Они будут жить и действовать примерно так же, как сейчас. Обычная, традиционная, «нормальная» семья. У них будет своя собственность и свое производство. Они будут на рынке обмениваться производимыми ими продуктами. И — «оплачивать» деятельность правителей-философов и стражей. Оплачивать — за дело, ибо правители обеспечивают защиту их собственности от несправедливых вторжений, их жизней от агрессии соплеменников, их общую свободу от поползновений соседних государств. Они будут возводить дома-общежития для стражей, поставлять пищу к их общему столу, обеспечивать их одеждой, строить школы для детей стражей, оплачивать труд учителей, врачей…

У этого сословия будет одно отличие от нынешних производителей. Там не будет … **Рабов**. Это будут просто *Свободные Работники*.

Ну, вот и все.

Вот так и будет выглядеть Совершенное, Идеальное, **Нравственное** Государство. Вот так будет выглядеть **Сократовский Мир** — мир, живущий по предначертаниям *Философов*, переведших голос Бытия на язык человеческих Законов, Законов Свободы, Равенства, Дружбы и Справедливости, Законов Нравственной жизни, ориентированной на Благо — Вселенной, Общества и каждого гражданина; **Мир** — выстраиваемый в своих конкретных формах, охраняемый и совершенствуемый *Стражами*; **Мир** — общественного богатства, создаваемого свободными *Работниками*.

От автора: восторги и сомнения

Красивая картина. Впечатляющая и вдохновляющая. Что может быть прекрасней общества, наиболее мудрые члены которого поняли диктуемое Бытием его предназначение, что может быть прекрасней общества, в котором

созданы условия для реализации Природы Человека на основе принципов Свободы, Равенства, Братства, Справедливости! И как это здо́рово — иметь таких совершенно необычных государственных служащих, которые заняты исключительно заботой об общественном благе и не имеют даже элементарной возможности (и необходимости) для корыстно-эгоистических действий! Что может быть привлекательней свободной, защищенной мудрыми, справедливыми законами, деятельности работников, обладающих частной собственностью и обязанных служить общему делу!...

Роскошное, мягко и ровно освещаемое солнцем Идеала, социальное плато! И вдруг — ***обрыв***!

Куда же завел ты меня, Платон?

Ну, ведь так же всё было прекрасно, так возвышенно, так чисто и светло.

Это же Ты поведал мне о Сократе. Да что там «поведал», — взял за руку и привел в вашу «мыслильню», что неподалеку от рощи Академа. И я, невидимкой, сидел там среди вас, — и, затаив дыхание, слушал ваши разговоры.

И возвращаясь к себе, в свой XX век, я ложился на раскладушку в комнатенке своего дачного домика, закрывал глаза и слушал, и слушал ваши речи — о полном смыслов и тайн Мире, о месте в нем Человека, о Благе, Добре, Справедливости, Свободе, о том, как и во имя чего стоит жить. И за закрытыми веками — живой Сократ, ироничный и мудрый. Вы с Ксенофонтом донесли до нас не просто его мысли, но его дыхание, его жесты, его манеру общения, его заливистый смех. И звучал отчетливо и ясно — где-то внутри меня — его голос. Сократ, помнится, говорил о *своем* внутреннем голосе («мой даймоний» — сказал он о нем однажды), голосе, навеваемом ему, по его предположению, самими Богами.

Ну, а *моим* «внутренним голосом», «моим» даймонием стал голос самого Сократа. Я вслушивался в него, запоминал сказанное, потом подходил к столу и записывал услышанное — так появились мои «письма Сократа».

И сколько же раз в видениях своих я вместе с Тобой вскакивал на трибуну перед афинскими судьями — чтобы заслонить, защитить того изумительного человека в ветхом плаще и истертых сандалиях.

И эти его последние 30 дней — перед цикутой: я каждый день вместе с Критоном, Аполлодором, Федоном, Антисфеном, со всеми нашими общими друзьями по сократовской «мыслильне» приходил в его тюремную келью — побыть рядом с ним, послушать его последние нам всем заветы и немного приобщиться к его мудрости и его мужеству...

Висящая над моим письменным столом Рафаэлева «Афинская школа» — полотно, конечно, гениальное, тут нет вопросов. Один только упрек итальянскому мастеру: *Сократ* занимает там не *то* место. Да, там Ты, Платон, с Аристотелем — в центре, это верно и хорошо: два гения, как бы спускающи-

еся с прозрачно-синего неба и несущие людям Истину Бытия. Но Сократу не к лицу быть в вас окружающей *свите*, как то изобразил Рафаэль. Он должен быть ***над*** вами, ***над*** всеми вами (и над Тобой с Аристотелем, в том числе). Ибо от ***него*** вы узнали о «тайнах» Бытия, через ***него*** Мир раскрывал перед вами свои «смыслы». Сократ — это Абсолютная Нравственность, это не превзойденная никем в истории Человеческая Стойкость, это олицетворение Человеческого Достоинства.

Я внимательнейшим образом всматривался в то, как последовательно, шаг за шагом, создаешь Ты образ Идеала человеческого общежития, как в процессе этого Ты сочетаешь две точки обзора — взгляд из гущи «сегодняшней ситуации» и — из далекого, бесконечно далекого будущего. Сиюминутность и Дальнодействие — их сопряжение, их сочетание и давали тот потрясающий результат, когда картина, рисуемая Тобой, отражала, с одной стороны, вполне земные реалии (то, что есть у каждого перед глазами) и одновременно — те далекие возможности, то, чем эти реалии со временем могут и должны стать, — картина удивительного сочетания Сущего и Должного. Я внимал тому, как в твоих речах сливались воедино, в необыкновенную гармонию голос Земли и голос Неба.

Я пристально следил за каждым шагом Твоего анализа существовавших в те времена форм организации человеческих сообществ — весьма далеких от того Идеала, каким, согласно своей Идее, должно было бы быть человеческое общество. То, как Ты разобрал содержание и особенности форм политического правления античного общества — образец на все времена. Через призму Твоих категорий — «тирания», «тимократия», «олигархия», «демократия» — можно отчетливо и ясно разглядеть и наиболее существенные черты современных политических режимов. Ты дал ключ к их пониманию. А уж открытый Тобой закон, который можно было бы назвать «законом круговорота политических режимов» — это премии Нобелевской достойно. (Кстати, не послать ли, в самом деле, соответствующую заявку в Нобелевский комитет? Очень недурно бы прозвучало: «Нобелевская премия за 2007 год в области политической философии присуждена Платону Афинскому — за открытие “Закона о круговороте политических режимов”».)

А в 2008-м можно и о второй Нобелевской вопрос поставить — за открытие и описание граней Идеала человеческого общества (Свобода, Равенство, Братство, Справедливость, Благо…), т.е. — за открытие той путеводной «социальной звезды», на которую ориентировались все мудрые и ответственные люди последующих поколений — от Афинских академиков до идеологов и политических лидеров всех великих социальных движений Нового времени.

Я вчитывался в Твои сочинения, принимал все Твои основные идеи.

Так, наполненные Твоими, идущими от Разума и Сердца, мыслями, мы подошли к двери, за которой, по Твоему уверению, лежит тот Новый, тот Идеальный мир, куда Ты так долго меня вел.

Сейчас, сейчас Ты откроешь эту заветную дверцу — и мы войдем в мир Идеала, в страну «Сократию», где правят проникшие в тайны Бытия *Фило-*

софы, где благородные и бескорыстные *Стражи* переводят всеобщие идеи Свободы и Равенства на язык конкретных социально-экономических программ и политических действий, где свободные *Работники* заботятся о материальном благополучии своего общества и где высшим Законом человеческого общежития выступает совокупность принципов Нравственности и Морали...

И вот оно, наконец, случилось. Ты открыл дверь и повел меня по просторам своей «Прекрасной страны», рассказывая о том, как строятся в ней отношения между людьми, как работают ее политические и социальные учреждения, ее школы, ее лечебные заведения, как организован там семейный быт, как происходит воспитание молодежи.

И вот тут-то все и началось. По мере того, как я шел по Твоему городу, как вслушивался в Твои разъяснения, мои восторженные ожидания вдруг начали гаснуть и сменяться чувствами поначалу — недоумения, а затем — растерянности и горечи.

Все началось с того момента, как мы начали знакомиться с положением дел в Искусстве. Здесь контраст ожидаемого (Искусство, ведь, — сфера наиболее полного проявления *свободы* человеческого духа) и реалий Твоего государства был особенно шокирующ.

Правители государства рассказывали, как тут «руководят» искусством, как создаются и отбираются художественные произведения («мифы» — на их языке). «Прежде всего, — объясняли они, — нам... *надо смотреть* за творцами мифов: если их произведение хорошо (*по мнению, разумеется, правителей*), мы допустим его, если же нет — отвергнем»[1].

Это уже насторожило меня: я, по опыту своего времени — истории «реального социализма» — хорошо представляю себе, что значит «смотреть за творцами».

Потом меня проинформировали, что «надо отбросить» «большинство» ранее — *до* Идеального государства — созданных «мифов». (Это мне тоже хорошо известно — как наши «смотрящие за творцами» товарищи с Лубянки запрещали и уничтожали произведения «творцов»).

Кого же рекомендовали «отбрасывать» в первую очередь? Да как и у нас, в XX веке — Гениев, писавших не о том, что должно понравиться правителям, а — правду жизни — то, что диктовали им их Совесть и Талант. Правителям Платонова государства особенно неугодны были Гомер и Гесиод, — ну, самые талантливые и потому самые правдивые. Забавно, что, как и у нас, в государстве Платона на робкие попытки защитить Гомера и Гесиода ссылкою на то, что они безмерно талантливы, отвечали с казарменной прямолинейностью: в этом их особая опасность — чем талантливее, тем вреднее («чем более они поэтичны, тем менее следует их слушать и детям, и взрослым»[2]).

[1] Платон. Государство, 377с.

[2] Там же, 387b.

А что же крамольного находили правители в произведениях Гомера и Гесиода? — А клевету на... (так хочется продолжить: «на советскую действительность»)... богов: это «лживые сказания»[1] о богах (у нас, в XX веке, речь шла о «лживых сказаниях» о вождях, создателях «пролетарского государства»).

И поразительно: рассказывает нам Платон про свое замечательное государство — и, кажется, прямо о нашем, не менее замечательном, «реальном социализме» речь ведет. Просто один к одному. «Боги», т.е. создатели и покровители Идеального государства, обладают исключительно положительными чертами, они не допускают никаких ошибок ни в теории, ни на практике, они — абсолютное благо и абсолютная истина. Всё благо — от них, «причиной блага нельзя считать никого(!) другого, но для зла надо искать какие-то иные причины, только не бога»[2]. (Я хорошо помню, как нам, в XX веке, вещали об этих «иных причинах»: во всем виноваты «пережитки капитализма», «родимые пятна прошлого», «происки закордонных недругов» и внутренних «врагов народа», но только не вожди революции, не основатели государства, не «руководители партии и правительства»). А вот Гомер всего этого не понимал, у него «относительно богов» сплошные «заблуждения».

Так, Гомер безрассудно *(в психушку его!)* заблуждается, говоря, что два больших сосуда

«... в Зевсовом доме великом,
Полны даров: *счастливых* — один, а другой — *несчастливых*

и кому Зевс дает, смешав, из обоих, то

В жизни своей переменно то *горе* находит, то *радость*...»[3].

(Какое «горе» может быть от «Зевса»? От него только одни сплошные «радости». Спасибо товарищу Зевсу за наше счастливое детство! «Счастливое детство» — с отцами, разбросанными по Гулагу, барачным жильем, с постоянным, никогда не проходящим голодом...)

«Также неверно (*продолжает вещать античный “Жданов”*), будто Зевс у нас подателем

Благ, но также и *зла* оказался.

Мы не одобрим, если кто скажет, что Афина и Зевс побудили Пандара нарушить клятвы и договоры»[4]. (Да не было и не могло быть секретного договора «Риббентроп-Молотов». И «не одобрим» того, кто скажет, что он был!)

[1] Там же, 377d.
[2] Там же, 379c.
[3] Там же, 379d.
[4] Там же, 379 c, d, e.

Ну, а если уж художник оказался сверхталантливым и неисторжимо вошел в самые основы народного сознания (как Гомер с Гесиодом в Элладе, как Маяковский с Есениным в нашем Отечестве), и которых, вследствие этого, уже невозможно просто «выбросить», — есть на них другая управа — красный цензорский карандаш: убрать неудобные стихи, вычеркнуть неугодные строки. Обо всем этом с полной (и наивной) откровенностью повествуют правители Идеального государства: «Мы вычеркиваем эти и подобные им стихи»[1].

О каких «стихах» идет речь, что хотят вычеркивать цензоры платоновского государства?

Во-первых, «мы исключим сетования и жалобные вопли прославленных греков»[2]. (Ну, потому что «положительный герой» должен быть Примером читающим гражданам: он должен быть абсолютно безгрешным, без единого пятнышка, ему не должны быть присущи сомнения и колебания. Как это у Безыменского: «Вышел, иду и знаю, с кем и куда иду!»). Он, этот герой, и смерть, гибель друзей и близких обязан переносить без всяких там слез и страданий — без «сетований»: «Достойный человек не считает чем-то ужасным смерть другого, тоже достойного человека, хотя бы это и был его друг» (из XX века, с грузинским акцентом: «незаменимых людей у нас нет!») — «для него совсем не страшно лишиться сына или брата». «Совсем не страшно» — радостно поддакивает «цензору» благосклонно ему внимающий человек из народа[3]. (Подумаешь, гибель сына или брата — пустяки, будничное дело. Ибо — как это в известной песне? — «забота у нас такая, забота наша простая: жила бы страна родная и нету других забот». Подумаешь, сын в Афгане или Чечне погиб… Страна-то родная живет! А лес рубят — щепки летят! Не без этого!)

Ну, где же всё это понять какому-то там Гомеру? Вы только посмотрите, как описывает он поведение Ахилла после гибели его друга Патрокла: «то на хребет,.. то на бок ложится,.. то ниц обратится» и «напоследок бросивши ложе, берегом моря бродил… тоскующий» и «быстро в обе… руки схвативши нечистого пепла, голову… им осыпал»[4]. И это герой, на которого надо равняться афинскому юношеству?

Вычеркнуть!

«Наши юноши не должны также быть и чрезмерно смешливыми», ибо «почти всегда приступ сильного смеха сменяется потом совсем иным настроением»[5]. Потому «мы *не допустим* и таких выражений Гомера о богах:

> *Смех* несказанный воздвигли блаженные жители неба,
> Видя, как с кубком Гефест по чертогу вокруг суетится»[6].

[1] Там же, 387b.
[2] Там же, 387d.
[3] Там же, 387e.
[4] Там же, 388b.
[5] Там же, 388e.
[6] Там же, 389.

Вычеркнуть!

И о вождях — только высокое, светлое, только уважительно и возвышенно!

Вот это, например, у Гомера сказано «прекрасно:

> силой дыша, приближались ахейцы.
> Молча шагали, вождей опасаясь своих»[1].

Вот это дело: молчаливые, сильные ряды воинов — и где-то над ними всемогущие «вожди». Это «мы» оставим!

А вот как у Гомера гневный Ахилл бранит «вождя» — Агамемнона:

> «Пьяница жалкий с глазами собаки и сердцем оленя.

Хорошо ли, чтобы кто-нибудь из простых людей позволял себе в речах или стихах такие выходки по отношению к правителям?»[2]

Вычеркнуть!

И все пьянки-выпивки из произведений искусства убрать («Егор Кузьмич, — обращаюсь я к секретарю ЦК КПСС Е.К. Лигачеву, — уж не из платонова ли государства позаимствовали Вы идею своей знаменитой антиалкогольной компании в середине 80-х годов 20 века, не платоновские ли цензоры подсказали Вам мысль о вырезании «алкогольных сцен» из произведений искусства?). Например, такие:

> «сидят за столами, и хлебом, и мясом
> Пышно покрытыми... из кратер животворный напиток
> Льет виночерпий и в кубках его опененных разносит.

Способствует ли это... воздержанности у юноши, который слушает такое?»[3]

Вычеркнуть!

«Мы» будем решительно «запрещать», если «и поэты, и те, кто пишет в прозе», будут в своих произведениях показывать, что «несправедливые люди чаще бывают счастливы, а справедливые — несчастны»; «подобные высказывания мы *запретим* и *предпишем* и в песнях, и в сказаниях излагать как раз обратное»[4].

Вообще поэзия должна быть оптимистической и жизнеутверждающей, «в поэзии не должно быть причитаний и жалоб»[5].

И производство **музыки** в этом государстве отлажено превосходно: и тут «осуществлен полный порядок».

[1] Там же.

[2] Там же, 390.

[3] Там же, 390b.

[4] Там же, 392b.

[5] Там же, 398d.

Во-первых, «запрещены» музыкальные «лады», которые свойственны причитаниям», — «смешанный лидийский, строгий лидийский и некоторые другие в таком же роде»; недопустимы «ионийский и лидийский — их называют расслабляющими» — «их надо изъять»[1]! «Оставить» только тот лад, «который бы подобающим образом подражал бы голосу и напевам человека мужественного, находящегося в гуще военных действий и вынужденного преодолевать всевозможные трудности»[2].

Во-вторых, (о, если бы знал Платон, что сейчас он сформулирует один из центральных принципов так популярного в сталинскую эпоху «социалистического реализма»): **запретить «многоголосие»!**[3] Чтобы все — в одну дуду!

В-третьих: запретить изготовление музыкальных инструментов, предназначенных для воспроизводства запрещенных выше ладов (какая изощренная предусмотрительность!): «мы не будем готовить мастеров, делающих тригоны, пектиды и всякие другие инструменты со множеством струн и ладов»[4]. Оставить городским жителям только «лиру и кифару», жителям села — «свирели»[5].

В-четвертых: покончить с «разнообразием ритмов», «установить, какие ритмы соответствуют упорядоченной и мужественной жизни»[6].

В-пятых: «обязательно сделать так, чтобы ритм и напев следовали за соответствующими словами, а не слова — за ритмом и напевом» (смотрите, в какие тонкости влезают политические правители!).

В-шестых: покончить с «уродством, неритмичностью, дисгармонией» (так и ждешь, что сейчас последует ссылка на знаменитую разгромно-установочную статью газеты «Правда» о музыке Шостаковича — «Сумбур вместо музыки»).

И обобщенный вывод (совет Сусловым и Андроповым всех времен и всех народов): надо смотреть не «только за поэтами», «обязывая их воплощать в своих творениях нравственные образы, либо уж совсем отказаться у нас от творчества», но надо *смотреть* и за остальными мастерами и *препятствовать* им воплощать в образах живых существ, в постройках (уж не коммунизма ли?) или в любой своей работе что-то безнравственное, разнузданное, низкое и безобразное»; **«кто не в состоянии выполнить это требование, того нельзя допускать к мастерству»**[7].

Господи! Да что же это такое? *Куда же это ты привел меня, Платон?*

[1] Там же, 398d, e.
[2] Там же, 399b.
[3] Там же, 399c.
[4] Там же.
[5] Там же, 399d.
[6] Там же, 400.
[7] Там же, 401b.

А может, это вовсе и не Платон идет рядом со мной? Может, все это не более, чем дурной сон, — и надо просто поскорее проснуться, чтобы избавиться от наступающего здесь со всех сторон кошмара?

А может, это очередной иронический «ход» Платона, этого великого мастера парадоксов: вот сейчас он улыбнется и скажет: «Успокойся, это всего лишь карикатура на мой Идеал. Это — то, как поняли его некоторые из моих примитивных, ограниченных, но очень амбициозных учеников. Я хотел, чтобы ты увидел — как можно опошлить, как можно извратить мои идеи. Я тем самым хотел тебя предостеречь от смешивания моих действительных взглядов со взглядами моих дубоватых “учеников”. А сейчас я открою еще одну, потайную, дверь — и мы войдем в *мой*, действительно, не карикатурный, идеальный мир...»

Но, увы, ничего подобного мой «экскурсовод» не говорит. Он продолжает искренне, сурово и увлеченно расписывать *этот, свой,* мир, так похожий на тот, что создала много веков спустя фантазия Оруэлла в его знаменитой трагической антиутопии «1984». А встречавшиеся нам граждане этого, Платоновского, мира энтузиастически рассказывают нам о скрупулезно разработанной и великолепно действующей системе репрессий (весьма жестоких и изощренных), с помощью которых они добиваются социального единства и общественной гармонии. «Да, это — процесс очень непростой, — комментируют они свою политику в сфере культуры. — Уж очень далеко зашли болезни предшествующего общества, уж очень оказались испорченными чувства и сознание людей, живших в нем. Формирование нового, идеального, человека здесь без принуждения и насилия невозможно. Но мы обязательно доведем до конца этот процесс воспитания душ!».

«Да никакое это не “воспитание душ”, — прошептал мне мой внутренний, сократовский, голос. — Элементарное “промывание мозгов”!»

Ошарашенный, я нуждаюсь в передышке. Мне надо побыть одному, как-то переварить увиденное и услышанное. Я наскоро прощаюсь с Платоном и — к себе, в XX век, на свой любимый диванчик. Что же это такое выросло из идей Сократа, так, казалось мне, мастерски развиваемых и обогащаемых одним из самых замечательных его Учеников?

«Да что там особенно «переваривать»? Чего там особенно мудрствовать и усложнять? Всё очень ясно и предельно просто: из платоновых идей выросло то, что и *должно* было вырасти, — это профессор Поппер протягивает мне свою книжку “Открытое общество и его враги”. — Вы, как и многие, подобные Вам, люди, поддались “чарам Платона”, его сладкозвучным словам и лозунгам. Вы не распознали их действительный, глубинный — антигуманистический — смысл. Вы поверили в искренность его сентенций, которые на деле полны лицемерия. Они все, эти его идеи, **изначально** реакционны и тоталитарны. В особенности, конечно же, — его мечты об обобществлении социальной жизни — эти социалистические мечтания, которые и не могут закончиться чем-либо иным, кроме как прославлением тоталитарного господства кучки правителей (или обожествленного вождя). Высший, истори-

ческий, суд должен не славить Платона, а посадить его на скамью подсудимых: если в Германии,— то рядом с Гитлером и Герингом, если у вас, в России,— рядом с Джугашвили и Берией».

«Да, да, да!— энергично подхватывают попперовскую мысль многие из моих российских коллег, желающих быть (слыть?) демократами, гуманистами и либералами.— Поппер абсолютно прав: рядом с Джугашвили! Именно так! И— к высшей мере— к презрению и историческому забвению. Вытащить вашего Платона из пантеона славных людей истории (его попадание туда— плод недоразумения и невежества) и— в братскую могилу, вместе с другими теоретиками и практиками человеконенавистничества. И— придавить сверху камнем потяжелее,— «чтоб встать он из гроба не мог».

Хорошо. Давайте суд! Пусть— в России, пусть рядом с Джугашвили. Я к Платону— адвокатом!

Нет, я не буду защищать его «Идеальное государство». Оно и мне глубоко несимпатично. Я не хотел бы жить в нем. А самое главное— там не смог бы жить, там не смог бы вообще появиться человек, ради которого (и ради ему подобных) все это и затевалось,— т.е. Сократ. А если бы вдруг— как-то случайно, противу всех законов и правил этого государства,— ему, Сократу, довелось там произрасти,— государство это уничтожило бы его без особых церемоний, без всяких там публичных судов с предоставлением слова подсудимому. Еще чего! Предоставлять такую трибуну человеку, желающему жить *своим* умом и не склонному гнуть голову и спину пред грозным «начальством»— и тем разрушающему основы этого «идеального» государственного образования?!

Я не собираюсь защищать это государство— будь оно проклято во веки веков!

Я готов защищать *намерения* Платона, я готов защищать те *философские и социальные посылки*, из которых он исходил, те *основания*, на которые он опирался при строительстве (мысленном, разумеется) совершенного общества. Намерения, считаю, были превосходны, основания и посылки в главном были верны.

Я буду защищать его от тех, кто хотел бы посадить его на одну скамью с Джугашвили, кто хотел бы повязать его с ним, кто хотел бы его, в одной связке с советско-грузинским тираном, предать презрению и историческому забвению.

Платон и Джугашвили— ягоды разного поля.

Платон и Джугашвили— это ***принципиально*** разные явления. Платон— искатель Истины, Джугашвили— искатель Власти. Платона заботит величие Человека, Джугашвили— величие Властителя.

Пути платонистов (так, несколько неуклюже, назовем единомышленников Платона) и «джугашвилистов» (т.е.— сталинистов) могут где-то временно пересечься, сойтись в одной точке социально-исторического пространства— создав тем самым впечатление их «родства», их «подобия». Но платонисты оказываются в этой точке как люди, временно сбившиеся с пути, допустив-

шие где-то ошибку, как люди, намеревавшиеся придти в одну комнату, но попавшие в другую. Сталинисты — как люди, достигшие ***намеченной*** цели, попавшие именно в ту комнату, куда и хотели придти.

Да, платонисты и сталинисты, повторяю, могут временно оказаться в одной точке социального пространства, — но они обязательно разойдутся, разлетятся в разные стороны. Одни (платонисты) — обнаружив свою ошибку и пересмотрев ряд своих установок, вернутся на дорогу Человечности и Гуманизма. Другие (сталинисты) — с суровой решительностью продолжат движение по своей узкой и жестокой колее, давя своими кроваво-красными колесами самые основы Нравственности и Гуманизма.

Соратники Джугашвили хотели бы зачислить Платона по своему ведомству, хотели бы прикрыть творимые ими мерзости нравственным авторитетом и именем Платона. «Платон с нами!» — хотели бы они уверить доверчивых людей. Они не прочь прибегнуть и к некой мистификации, изобразив, например, на красном полотнище своей партии афинского мудреца с поощрительной фразой в свой адрес, например: «Верной дорогой идете, граждане!». И, глядишь, потянутся к ним наивно-доверчивые люди: ну, как же, раз уж сам Платон «с ними».

А радикальные критики (ну — те, кто желает быть-слыть демократами, гуманистами и либералами) — они оказывают сталинистам весьма щедрую услугу: охотно и авторитетно подтверждают их родство с платонистами. Они ***отдают*** им Платона: нате, берите, всего, с потрохами, без остатка!

Я не хочу отдавать **им** Платона. Смысл моей защиты: **отделить** Платона от Джугашвили. Что предполагает, во-первых, выявление высокого гуманизма ***базисных идей*** Платоновой политической философии, во-вторых, — обнаружение места и причин «сбоя» платоновского гуманизма, и в-третьих, — раскрытие возможностей преодоления «срыва», — между прочим, в **рамках той же самой исходной Платоновой парадигмы**.

О несомненном гуманизме и высокой истинности базисных идей Платона много уже написано в этой книге, и я представлю эти страницы предполагаемому Высокому Суду.

К тем страницам — только одно добавление.

Я знаю, мое стремление защитить «намерения» Платона вызовет ожидаемую (и потому не дорого стоящую) реакцию оппонентов: «благими намерениями» выстилается дорога, сами знаете куда — в **ад**!

Знаю. Такое бывало — и нередко. Но, добавлю, не вследствие собственно *благих* намерений, а — нередко по причине не слишком удачно выбранных путей их реализации.

Да, я знаю, что *благие* намерения **иногда** ведут в ад. Но я не слышал, чтобы *дурные* намерения вели в рай. *Благие* намерения **могут** привести в ад, *дурные* намерения приведут туда **обязательно**.

Сейчас я скажу вещь — для меня в высшей степени важную и принципиальную, обозначающую рубеж моего противостояния с радикальными кри-

тиками Платона. Радикальные критики Платона (из тех, кто повязывает его в одну связку с Джугашвили) — под предлогом критики «платоновского тоталитаризма», под предлогом критики «средств», предлагаемых Платоном, отвергают **все** высказываемые им **намерения** и все **их** философско-политические обоснования.

Ведь в чем суть этих намерений, что хотел бы Платон и чего совершенно *не хотят* его радикальные критики?

Конкретизируя всеобщие императивы Идеала, Платон стремится решить две задачи.

Первое: он хотел бы, чтобы государственные люди («чиновники» — по-нынешнему, «стражи» — в лексике Платона) не могли превращать свои государственные должности в источник личного обогащения, в средство своего бесконтрольного и безраздельного господства над согражданами. *И еще* он хотел бы, чтобы индивидуальная «частная собственность» не была господствующей формой экономической деятельности людей. Ибо, по его мнению, эта форма собственности с неизбежностью ведет к расколу человеческого общества на тех, у кого есть все, и тех, у кого нет ничего, на тех, кому позволено все, и тех, кому не позволено ничего.

И вот прежде всего — *эти,* прото*социалистические,* идеи «равенства» Платона и *вызывают особую к нему неприязнь большой армии современных «демократов» и «либералов».* Они (как «последовательные либералы»), видите ли, против «вмешательства» общества (сиречь выражающего его интересы государства) в экономическую деятельность людей. Они — за неограниченную свободу частной собственности, за свободную конкуренцию в «условиях рынка», они — за «победу сильнейших» в этой конкуренции. Процессы обобществления экономической деятельности, расширение сферы общественной собственности ведут, по их уверению, к снижению энергии, падению стимулов деятельности, к замиранию, стагнации общественного развития. Пусть побеждают «сильнейшие» («способнейшие» — как они уверяют). Пусть плачут неудачники — они сами виноваты в своих неудачах. Им был дан равный шанс — работайте, боритесь, конкурируйте. Вы его не использовали — вините себя. «Мы», правители, не собираемся поддерживать ваши иждивенческие настроения, восполнять «благотворительностью» ваше неумение (или нежелание) работать и бороться; нахлебничество губительно для общества.

Ныне самодовольные лица этих «успешных» не сходят с экранов телевизоров, а их самодовольные речи заполняют страницы скупленных ими газет и журналов. И устраиваются эти «сильнейшие» на захваченных ими (в ходе «свободной» рыночной конкуренции) просторах страны — вольно, широко, по-хозяйски…

Вы были когда-нибудь в Раздорах? Если бы лет 20, или даже 10, тому назад вы (воскресным утром, зимним, летним ли — все равно) вышли на платформу этой, тогда милой, тихой, окруженной со всех сторон густым лесом подмосковной станции, вы увидели бы, как из вагонов электрички вытекают ручейки людей — в видавших виды спортивных одеяниях и с волейбольными

мячами в рюкзачках. Симпатичная, «рядовая» московская интеллигенция — инженеры, учителя, врачи, рабочие — лесное волейбольное братство. Вы увидели бы, как потекут эти «ручейки» по лесным тропкам, пересекая васильковые поляны и заливные «тургеневские» луга, к волейбольным площадкам, обустроенным среди сосен и дубов этим славным людом. Десятки, да, наверное, сотни самодеятельных «спортивных арен»! Вы услышали бы вскоре то там, то здесь раздающийся звон мячей, веселый гомон «ушедшей в леса» (так там шутят!) интеллигенции. А если бы вы имели возможность подольше побродить в этом лесном царстве, вы, спустя некоторое время, увидели бы, как снимаются волейбольные сетки со вкопанных в землю столбов, как скручиваются разноцветные ленты контуров, обозначающих квадраты игровых площадок, и как на самодельных бревенчатых столах расставляются миски с нехитрой снедью (а иногда — и бутылочкой, если праздник или чей-то день рождения). И, конечно, — песни, как же русскому человеку без застольного пения!

А когда солнце будет уплывать за макушки деревьев, все это лесное братство аккуратно сложит в мусорные мешочки отходы своего «пиршества» (ни единой бумажки, ни единой косточки или бутылочки не оставит — такой это народ!) — и потекут обратно человеческие ручейки в двери вечерней электрички — в Москву; в понедельник, чуть свет — на работу, по больницам, школам, цехам, конструкторским бюро.

Это — если бы вы приехали туда 20–10 лет тому назад.

А сегодня? Попробуйте приехать туда сегодня. Где эти заливные «тургеневские» луга, где пришвинские лесные тропы, где «мелькающие в поле» апухтинские «васильки»? Всюду — трех-, четырехметровые глухие заборы с колючей, пущенной поверху, проволокой (не с пропущенным ли по ней током?), у ворот — баскервильские собаки с теленка ростом. А вон вдоль той опушки леса, где так славно было пробежаться к ручейку — охладить родниковой водицей разгоряченное волейбольными сражениями лицо, — о, сегодня здесь — высоченный каменный забор, а на месте лесной тропки — асфальтовая гладь, но на нее не ступи: видите шлагбаум с нарисованным на нем и перечеркнутым красным крестом человечком: проход запрещен! Асфальт — только для мерседесов зазаборных обитателей. Я, для интереса, в порядке эксперимента, поднырнул под шлагбаум и двинулся по асфальтовой (некогда — лесной, в васильках) дороге к тому бегущему по дну овражка родниковому ручейку. Неужто пальнут из чего-нибудь или волкодава какого натравят? Обошлось, ни выстрелов, слава богу, ни злобных собак. Чувствовал только, как пристально смотрят мне в лицо и спину расставленные поверх забора телевизионные «глазки». И все же не довелось мне до ручья того добраться: все подходы к нему перекрыты такими же могучим заборами, за которыми, сверкая евроокнами и хрусталем угадываемых за ними люстр, высились — почти средневековые — замки, а в редких заборных просветах промелькивали оранжевые, хорошо ухоженные теннисные корты…

А по телевизору один напористый журналист изо дня в день третирует одного не угодного власти политика — что у того-де что-то там не так с по-

купкой дачи. А как же десятки раздорских дворцов? Или там — все, угодные власти? И не за одним ли из *тех* заборов поигрывает в теннис тот шустрый журналист?

Так вот, господа, именно всего этого и не хотел Платон. Для него было неприемлемо подобное — псевдосвободное, несправедливое и безнравственное общество. И вот за это-то вы, господа радикальные оппоненты, его и ненавидите. И именно за это я больше всего его ценю, и именно эти его «намерения» я готов защищать.

Ну, а платоновский этатизм, трансформирующийся в авторитарные, а то и тоталитарные структуры — это, конечно, — беда. Но беда, порожденная прежде всего *вами*, господа «сильнейшие», «безбрежно свободные», фрасимахствующие, так сказать, люди.

Посудите сами: как без «вмешательства», без «усиления роли» государства (разумеется, не чиновно-бюрократического, а — представляющего интересы граждан) — как без этого обойтись? Хотелось бы, конечно, чтобы это «вмешательство», это «усиление» были *минимизированы*, даже рискнем сказать так: **максимально** *минимизированы*. Но как снести тот шлагбаум с перечеркнутым красным крестом фигуркой идущего человека? Как развалить те «средневековые стены», чтобы нормальный (не зазаборный!) человек смог беспрепятственно пройти к ручью в овражке или выйти на лесную тропинку, не оккупированную хищным собственником? Как угомонить и усмирить эту армию «личной охраны» тех дворцов, вооруженную самым современным огнестрельным оружием? В общем, как сломить тиранство античных (и современных) Дионисиев, Хариклов и Critиев?

Вот и приходится мечтать о **силе**, которая была бы способна сломить **вашу силу**, думать о — ну, куда уж тут денешься? — о **революционной диктатуре народа**. А вся сложность ситуации состоит в том, что никто не сможет дать гарантии, что спровоцированная вами, господа «сильнейшие», «народно-революционная диктатура» не превратится со временем — как это уже бывало не раз в истории — в диктатуру **контрреволюционную и антинародную**. Ответственность за такой ход и исход событий несете, *в первую очередь*, вы, творцы и прославители неравенства, идеологи невмешательства организованных общественных сил в вашу, «свободную», деятельность по «приватизации» принадлежащих всем или созданных всеми предшествующими поколениями национальных богатств — вынуждая униженный и придавленный народ к радикально-революционным действиям.

Но, конечно, и революционеры с реформаторами (и в их числе — «платонисты» всех эпох и народов) тут не без греха. Ими, как правило, не осознавалась (а потому и не решалась) задача исключительной важности, тонкости и трудности: **найти *меру*** такого «вмешательства», такого «усиления» государства — которые были бы достаточны для того, чтобы сломить вашу бесчинствующую, господа «сильнейшие», силу, и которые, с другой стороны, содержали бы в себе иммунитет против превращения революционной (реформаторской) власти в **новую тиранию**. (И главное здесь: отдавать себе

ясный отчет, что этатизм такого рода должен быть «демократическим этатизмом», то есть «вмешивающееся» государство должно быть не органом бюрократического сословия, а институтом инициативы и деятельности самых широких слоев граждан).

Вот обо всем этом хотелось бы сказать подробнее. Хотелось бы — «в кругу своих братишек» (Маяковский) — остановиться на причинах того, что подобная задача оказывалась не осознанной нравственно-гуманистическими силами. Хотелось бы поразмыслить над тем, где и почему произошли «сбой», «срыв» в гуманистической концепции Платона, почему его изначальный гуманизм вдруг, при вычерчивании конкретного облика «идеального государства», обернулся не-гуманизмом, а исходная идея Нравственности переросла вдруг в политику, которую иначе, как Безнравственной, не назовешь.

Идеал, обернувшийся Идолом
В чём причина? Кто виноват?

Итак, почему:
Идеал обернулся ***идолом,***
Красота — безобразием,
Свобода — рабством,
Добро — злом,
Истина — ложью,
Сократ — Дионисием?

Что же это за призма такая, вдруг возникающая между Идеалом и Результатом его воплощения? Какими свойствами обладают ее грани, чтобы *так* — порой чудовищно — преломлять лучи, идущие от Идеала?

Это и есть главный вопрос книги, с которого мы и начали наше повествование. И вот подошло время попытаться как-то ответить на него.

Ну, прежде всего, очевидно, что «призма» эта — не что иное, как весьма *несовершенный* «аппарат» перевода высоких, светлых, но *очень общих, очень абстрактных истин* на язык конкретики, язык практического осуществления. И деформации тут идут со многих сторон и во многих направлениях — к тому же по-разному в разные эпохи. *Детальный* анализ всех этих деформационных процессов — задача не для одного человека. Это задача для всей многочисленной армии исследователей, пишущих историю человечества. Собственно, серьезная, содержательная история человечества и есть история возникновения Идеалов, деятельности людей по их осуществлению, обнаружению (неизбежного!) несовпадения задуманного и осуществленного, на основе этого — внесение поправок в исходный Идеал или в методы его реализации, а чаще всего — и в то, и в другое; на базе всего этого — формирование нового, уточненного Идеала и открытие более адекватных способов его реализации. Эти механизмы взаимопереходов, взаимовлияния Теории (Иде-

ала) и Практики (его реализации) обеспечивают то движение истории, которое люди именуют Прогрессом. Но сделав очередные шаги по дороге Прогресса, человечество вновь — уже на новом, другом уровне, другом витке своего развития — обнаруживает очередное несовпадение своего «усовершенствованного» и «уточненного» Идеала с результатом его нового воплощения. Ну, и следует — новое «уточнение», новое «усовершенствование», новый социально-деятельностный, практический процесс — и новое расхождение... Таков, по-видимому, «механизм» движения человеческой истории.

Так что, вообще говоря, «деформационные» процессы («деформация» Идеала при его воплощении) — не аномалия, не болезнь; это — ***норма***. Не драма и не трагедия! Они **могут** привести к драме (и даже к трагедии) — в силу ряда причин, из которых мы выделили бы *три* — особо, на наш взгляд, значимых.

Первая — имеет конкретно-исторический, ситуационный характер. Ну, полагали, например, люди, что ликвидация частной собственности и введение всеобщей общественной собственности (вкупе с плановой экономикой, направляемой и контролируемой государством) даст невероятный эффект, послужит могучим толчком к развитию хозяйственной деятельности, приведет к умножению общественных и личных благ. Ввели. Однако, ожидаемого эффекта, в общем-то, не получили. Результаты не совпали с ожиданиями. Дело поначалу, правда, пошло вроде бы неплохо: и темпы роста были довольно высокие, и общественный продукт рос. Но закончилось все весьма драматически — стагнацией экономики и развалом великого, создававшегося веками, государства. Вроде бы держали в руках «золотую нить», шли, держась за нее. Но где-то вот и почему-то она оборвалась: что-то с той «общественной собственностью» или перемудрили, или недомудрили.

И с построением государства нового типа что-то не вышло. Хотели, чтобы правил Народ, чтобы не было множества партий. (А зачем? Если народ — един, и у людей из народа, в принципе, одинаковые интересы, — их и одна — общенародная! — партия в состоянии выразить!). Хотели, чтобы не было «разделения властей». (А зачем? Будут эти власти притормаживать деятельность друг друга, будут друг дружке палки в колеса ставить: исполнительная — законодательной, а судебная — будет месяцами разрешать их конфликты. А делу стоять?). Куда как лучше — объединить в одном органе все эти власти — чтобы он и законы писал, и сам их исполнял, и сам судил, насколько быстро и верно идет это исполнение. Динамичная, работающая (а не болтающая) система! И чтоб без всяких там «оппозиций», чтобы не тянули в разные стороны, чтобы все «как один»! Но вместо *народной* власти сложилась диктатура *бюрократии*. Ее «дружная», лишенная оппозиции и общественного контроля деятельность оказалась (естественно!) направленной на решение не общественных проблем, а — проблем благополучия номенклатурно-бюрократического сословия. И экономическая стагнация, в результате, дополнилась политическим коллапсом.

Как мы уже отметили, это все проблемы, имеющие ***ситуационный, конкретно-исторический характер***. У них нет единого, годного для всех эпох решения. И **причины** исторических драм, связанных с решением этих проблем, — *разные* для *разных* эпох. Опыт античности или буржуазных революций нового времени в указанном отношении не поможет нам понять причины, скажем, послеоктябрьской катастрофы. Тут понадобится конкретный анализ конкретной ситуации мирового развития и российского бытия начала 20 века, программ деятельности боровшихся в этот период социальных сил и выражавших их интересы политических партий.

Но есть и **вторая**, более общая, причина деформации реализуемых Идеалов — свойственная в равной мере различным, даже весьма далеко отстоящим друг от друга, эпохам. Это — **слишком общее, слишком абстрактное (а потому — чересчур упрощенное) представление о важнейших сторонах вожделенного Идеала — о Свободе, о Равенстве, о Справедливости**. Когда чересчур упрощенные схемы Свободы, Равенства, Справедливости накладывают на повседневную реальность, когда этим упрощенным схемам стремятся подчинить логику действительности, — тут и возникает масса проблем и опасностей. «Своенравная» реальность никак не хочет безропотно подчиняться навязываемым ей схемам, она все время «вылезает» за рамки «предписанного» ей Идеалом поведения. Она требует уточнения и усложнения схем, совершенствования и конкретизации идеальных императивов. Если этого уточнения и усовершенствования не происходит, дело оборачивается бедой, Идеал превращается в Идола.

Так, плохо понятое, невнятно прописанное, неумело конкретизируемое понятие «свобода» — оборачивается в реальности анархией, некоей «вольницей» («делай, что хочешь», «глотай свободы, сколько можешь проглотить»), свободой «без берегов», гоббсовской «войной всех против всех», что, в конечном счете, оборачивается не-свободой — господством «сильных» (и наглых) над «слабыми» (и скромными). А чересчур общее, абстрактное представление о «равенстве» — способно, при осуществлении его на практике, обернуться уравниловкой, уничтожением человеческого многоголосия, людской многокрасочности, — тем превращая веселый, бурлящий многоразличными проявлениями жизни мир в унылое прозябание подобных друг другу роботов...

В общем, задача состоит в том, чтобы не слишком задерживаться на уровне абстрактного провозглашения всеобщих принципов Идеала. Их красиво звучащую словесную форму — наполнять, по мере развития истории и теории, новым, **более глубоким, более богатым и более конкретным содержанием**. Иначе Свобода «вообще», Равенство «вообще», Справедливость «вообще» окажутся не более, чем словесными пустышками, а реальность не подчинится их «приказам».

Ваши же попытки все же навязать бытию ваши узкие схемы, ваши попытки насилия над реальностью дадут результат, прямо противоположный тому, к которому вы стремились. И чем больше расхождение предлагаемых вами схем с реальностью, чем, в силу этого, жестче применяемое вами на-

силие, тем катастрофичней будет несовпадение вашего «гуманистического» (в ваших мечтах) Идеала с утрачивающим всякие признаки нравственности и гуманизма Результатом, тем отвратительнее предстанет перед вами лик Идола, занявшего места возжелаемого вами Идеала.

И есть еще **третья**, и, может быть, **главная** причина превращения Идеалов в Идолов. Но в силу ее важности, мы перенесем разговор о ней в один из заключительных разделов книги.

глава 2. Кто виноват, что делать и кому делать *в Воссии на рубеже XX и XXI веков?*

Перестроить перестройку! (1987–1990)

1) Дано иное (Из вступления к книге «Дано иное» — 1995 г.)

«Перестройка — условие жизненности нашего общества». Так, не без патетики, закончил свое вступление к знаменитому сборнику «Иного не дано» (1988 г.) его ответственный редактор Юрий Афанасьев.

1987 год... Все драматические коллизии «перестройки» еще впереди. Еще всеобщепочитаем генсек Горбачев, еще рядом с ним кандидат в члены Политбюро Ельцин, не покладая рук, «совершенствующий» стиль работы московской партийной организации. Общественность и деятели демократической публицистики готовятся к XIX партконференции — подталкивают ее делегатов к дальнейшим, энергичным шагам в направлении «от тоталитаризма к демократии». «Пусть книга поможет делегатам, станет для них наказом (!), вобравшим в себя мысли и надежды значительной части советского общества», — а это из заключения издателей.

Участники сборника (а среди них — А. Сахаров, М. Гефтер, Ю. Буртин, Л. Баткин, В. Селюнин, Т. Заславская, Н. Моисеев, Л. Карпинский, Г. Попов и другие, в том числе и автор этой книги) полны надежд и какого-то боевого азарта — скорей, скорей отодвинуть общество подальше от края пропасти и — на дорогу, где гласность, демократия, достойная жизнь...

Как недавно — всего семь лет! — и как давно — целую общественную эпоху тому назад — это было!

В эти семь лет сложился в России новый общественный строй. И совсем не тот, о котором мечтали и который звали и авторы сборника, и огромные массы людей, разделявшие их идеалы.

«Иного — кроме демократии, гласности, свободы и т.д. — не дано!», — восклицали демократические публицисты в 1988 г. Оказалось — в 1995-м — дано! Принципиально иное, прямо противоположное тому, что рисовали они в своих проектах. И, наверное, долг всех, кому дороги идеалы демократии, и в первую очередь авторов названного сборника (раз уж они так особенно

энергично звали будущее) попытаться разобраться, почему же мы все, все наше российское общество, в очередной раз в истории провалились — так быстро и с таким треском. **Что** случилось, **что** построилось в результате всех наших перестроечных усилий. И — **почему** это, а не что-то другое построилось, **почему** именно так — шиворот-навыворот — все получилось. В общем снова и снова: «Кто виноват?» и «Что делать?».

Это и есть главные вопросы предлагаемой читателю книги. В ней собраны статьи автора за последние семь лет — те из них, которые хотя и писались по горячим следам событий, но, по мнению автора, не растворились в «злобе дня», те из них, что как бы приподнимаются над повседневностью и сиюминутностью и стремятся уловить общую логику событий, вектор их исторической направленности.

Не автору судить о качестве высказываемых в них суждений. Это дело читателя. Но на одну их особенность обратить внимание стоит.

Сегодня не редкость — утверждения (и надо сказать — небезосновательные), что демократы, разрушившие прежнюю систему и строившие новую, не имели ясного понятия ни о том, **что** они разрушают, ни о том, **что** строят. И потому так ошеломляюще неожиданен оказался для них результат их действий: прямо по Грибоедову, — шли в комнату, попали в другую. Что и вызвало — де растерянность и панику в их рядах.

Так вот, предлагаемые читателю статьи — расположенные во временной последовательности — наглядное (хотя и далеко не единственное в нашей журналистике) свидетельство того, что отнюдь не для всех демократических публицистов подобный финал перестроек и реформ был неожиданностью.

Не задним числом, не post factum даются тут оценки событиям, не после социальных сражений (когда рассеивается дым и проясняются горизонты), а в ходе их предпринимаются попытки извлечения уроков.

Ну, а точность этих оценок, значимость формулируемых уроков, степень их важности и полезности для участников поднимающейся уже новой волны демократического движения — пусть оценивает читатель.

Ноябрь 1995 *г.*

2) Что, во что, почему и как мы перестраивали?

Ретроспектива 1-я (Из книги «Дано иное» — ноябрь 1995 г.)

Конечно, личный опыт — чересчур узкая основа для широких обобщений. В нем много случайного и необязательного. И все же именно личный опыт наполняет жизненностью и особой убедительностью формулы, рождающиеся в ходе научно — теоретического анализа. Личный опыт подает человеку особо значимые для него сигналы — об общественных опасностях, о политических деятелях, — кому из них можно доверять, а к кому надо отнестись с большей настороженностью.

Мой личный опыт, связанный с историей публикации статьи «Кто виноват, что делать и какой счет?», с коллизиями, возникшими на этом пути, был

для меня первым и довольно громким звонком, предупреждавшим о подводных рифах перестройки. Он заставил с определенной настороженностью, с придирчивым вниманием присматриваться к словам и делам наших главных перестройщиков там, наверху, в Кремлевских дворцах и кабинетах на Старой площади, к Горбачеву, Яковлеву и их ближайшему окружению...

Ну, это же полный идиотизм. Сделавший головокружительную карьеру на прославлении «гениального Сталина», блистательно продолживший ее на возвеличивании «дорогого Никиты Сергеевича» и беспомощной критике «культа личности», а затем — на изничтожении Хрущева и преклонении перед «глубоким умом» Леонида Ильича и его «мудрыми творениями» («Малая земля» и «Возрождение») — Петр Николаевич Федосеев, член ЦК КПСС и вице-президент Академии наук по гуманитарным дисциплинам, взошел в 1986 году на кремлевскую трибуну Всесоюзного совещания заведующих кафедрами и начал привычным командирским тоном давать установки, как преодолевать брежневский застой в отечественных науках и жизни, как вести перестройку, объединившись и сплотившись вокруг «руководящего ядра» партии (во главе с Горбачевым и Яковлевым).

Ошарашенно смотрю по сторонам: сейчас люди закипят возмущением, вскочат и... Но никто не вскакивает, никто не «кипит». Сидят, не шелохнувшись, слушают, помечают, как двадцать и десять лет тому назад, в своих записных книжках: это теперь надо оценивать так, а то — вот этак, этого отныне надо любить, а вот того — ненавидеть; вот этих, кого раньше хвалили, надо начать поругивать, а вот тех, кого ругали, можно потихоньку прихваливать. В общем процесс перестройки, как говорится, пошел...

Да нет, ну как же такое может быть, как можно терпеть такое? Скорее в «Ленинку», все другие дела — побоку. Вот они, федосеевские фолианты 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х годов. Надо же объяснить общественности и нашим перестроечным лидерам: если Федосеевы поведут перестройку — ей конец.

Да какое же это наказание — читать его толстенные тома, сопоставлять абзацы из разных изданий одной и той же книги (при Хрущеве, после Хрущева, при Брежневе, после Брежнева...) Но что делать, нужны ведь не общие слова, но факты, цитаты. И потом — подарить скрупулезно выписанный портрет согражданам, дабы они, подобно мне, воскликнули: «Да что же это за чертовщина такая? Да кто же это так самоуверенно идет впереди всех нас “в белом венчике из роз”?» Ну, и вообще надо начать серьезный разговор о том, — как действительно надо перестраивать систему нашего научного развития, как правильно построить взаимоотношения науки с политикой, а ученых — с политиками. Будет ли в конце концов наука факелом, освещающим путь в будущее, или так и останется послушной служанкой политики и политиков.

Скорей, скорей — способствовать тому, чтобы не был в очередной раз упущен подвертывающийся для России исторический шанс.

Бакланов (главный редактор) берется печатать статью в «Знамени». И вдруг — отбой. Через Юрия Карякина (специально ездившего к Бакланову с целью ускорить публикацию) передает: «Был звонок с самого-самого верха;

не спрашивайте ни имен, ни причин — все равно не скажу. Ослушаться не могу: от публикации, к сожалению, придется отказаться». У Ананьева в «Октябре» — та же картина. Уже практически начали печатать тираж. Но грозные звонки с партийно-идеологических вершин — и коммунист Ананьев вынужден подчиниться партийному приказу. Нашлась коса и на самоуверенного Коротича. Уж «Огонек»-то, кажется, мог в те поры печатать что угодно. Но и тут высочайший запрет. И кто звонил-то — сам Александр Николаевич Яковлев. (Лично!) Вот так пассаж! Только ведь вчера я слушал Александра Николаевича у нас, в Академии общественных наук. Сколько гордости и искренности было в той запомнившейся мне фразе, произнесенной им с милым вологодским «оканьем»: «Я за всю свою жизнь не запретил, не снял ни одной статьи». Как славно, как вкусно это было сказано. Ну просто потрясающе: столько лет работать зам. зав. отделом пропаганды в брежневском ЦК — отделе, славившемся своим особым умением душить «прекрасные порывы» научно-творческой интеллигенции, участвовать, повторяю, столько лет в руководстве этого отдела — и не запретить, не снять ни одной (!) статьи!

И вот на тебе. Такую идиллию мой «Федосеев» порушил. Теперь уже повторение той потрясающе-прекрасной фразы становится невозможным: одну статью он все-таки снял (уж я-то теперь это точно знаю!)

Впрочем, что это я за Александра Николаевича решаю? Постойте, да разве **он** снял мою статью? Ее же сняли Коротич, Ананьев, Бакланов. Он просто позвонил. Ну и что, что он член всемогущего Политбюро, второй человек в партии и первый — в ее идеологическом аппарате? Он просто в частном разговоре высказал свое сугубо личное мнение. Снимали редакторы. Он не снимал. Да, не снимал. Ни одной! За всю свою жизнь!

Так что, если сегодня вы услышите, как Александр Николаевич Яковлев, «министр пропаганды» брежневских времен, глава идеологического ведомства горбачевской эпохи, рулевой пропагандистской машины ельцинской команды, лидер новейшей политической партии (созданной с помощью и на базе нынешних чиновно-властных структур), готовящийся, по-видимому, к занятию руководящего идеологического кресла и в постельцинской России, если вы сегодня услышите, как Александр Николаевич повторяет с тем же милым вологодским произношением ту знаменитую фразу, знайте, что это — очередная… сущая правда. И я (наверняка, в числе многих и многих) готов свидетельствовать в этом. И горбачевские помощники решительно перекрывали все каналы движения моей статьи к читателю. Грозили руководству Академии, где я работал, а те, в свою очередь, — мне. Запросили все мои (не федосеевские, мои!) статьи и книги — на предмет компромата. В общем, «своего человечка» защищали, как могли.

Не уступил высокому давлению только Юрий Афанасьев. Не перевелись еще мужчины в нашем политическом мире! Когда ему в высокой инстанции было сказано: разрешаем печатать в «Иного не дано» всё, кроме статьи о Федосееве, Юрий Николаевич презрительно развернулся и, переговорив с участниками сборника — А.Д. Сахаровым, М.Я. Гефтером, Л.В. Карпинским и неко-

торыми другими, сделал заявление: или вы печатаете всё, или мы все снимаем свои статьи и рассказываем обо всем общественности. Мужского разговора, как правило, не выдерживали высокопоставленные партийные боссы.

Статья вышла. Федосеев подал в отставку. Я расстался с местом своей работы.

Такой вот небольшой личный опыт, приобретенный мной в самые первые годы перестройки.

Честно скажу, после того, как Александр Николаевич возглавил нынешнее «Останкино» и создал из части современной правящей номенклатуры политическую партию, у меня появилось желание в духе «федосеевской» статьи написать и портрет самого Александра Николаевича в «революционном развитии». А потом подумал: а зачем рисовать два почти одинаковых портрета. Просто,—посвящаю статью о Федосееве его другу и соратнику Александру Николаевичу Яковлеву.

Когда я прочитал все это моему давнему (с «новомировских» времен) другу Юрию Буртину, то он обратил внимание еще на один факт, тоже несколько смазывающий впечатление от той красивой фразы Александра Николаевича. Из своего обширного новомировского архива он извлек небольшое письмецо от 30 апреля 1966 года с грифом Центрального комитета партии и подписанное зав. отделом культуры ЦК В.Шауро и зам. зав. отделом пропаганды и агитации **А. Яковлевым**. В нем отмечается, что редакция «Нового мира» не прислушалась к критике напечатанной в журнале статьи В.Кардина «Легенды и факты», в которой автор опровергал некоторые легенды официальной советской истории. «Как информирует Главлит,—говорится в письме,—она *(редакция)* подготовила для четвертого номера редакционную статью, в которой продолжает полемику, отстаивая свою линию на вскрытие “подлинной правды истории”. Отделы культуры, пропаганды и агитации ЦК КПСС, ознакомившись с существом дела, пришли к заключению, что продолжение полемики не может принести пользы... Руководителям журнала “Новый мир” (т.т. Твардовскому, Дементьеву, Кондратовичу) было рекомендовано редакционную статью из четвертого номера **снять**. Однако они настаивают на ее публикации. Отделы считают нецелесообразной публикацию указанной статьи». В результате статья была запрещена, а на документе появилась итоговая запись А.Н. Яковлева: «Вопрос решен в оперативном порядке». «Могу еще показать несколько писем аналогичного содержания того же автора»,—сказал Ю. Буртин и потянулся к архивным папкам. «Пока достаточно»,—остановил его я.

«Своим человечкам» архитекторы перестройки радели полной мерой. Прошедшие огонь и воду номенклатурных структур, постоянно, постоянно колебавшиеся вместе с линией партии, с легкостью «гуттаперчевых мальчиков» переворачивающиеся на 90, 180, 360 градусов — на столько, на сколько нужно последнему руководителю, они кучковались вокруг благосклонного к ним Горбачева, всё активнее — с его помощью — заполняя основные ступени перестроечной лестницы. Они были послушны и очень удобны для «вож-

дей»: не спорили, не задавали нескромных вопросов, не бросались в самостоятельный поиск. Ими легко (и приятно!) было управлять (точнее — манипулировать). А с их помощью можно было приступать уже к манипуляциям на более широких социальных пространствах, с миллионами простодушных и легковерных россиян.

Кто будет определять лицо реформ — люди идеи, люди общественных интересов или люди карьеры; люди общественного долга, живущие одной жизнью, одним чувством, одними целями со своими согражданами, или люди номенклатурного братства — собственно, этот вопрос и был главным на заре перестройки. Он и стоит в центре моей статьи из сборника «Иного не дано». Тогда, в 1987 году, жизнь не давала еще ответа на этот вопрос. «Всё решит борьба!» — так, с надеждой и тревогой одновременно, заканчивалась эта статья.

Ход последующей борьбы, однако, не давал поводов для слишком большого оптимизма. Все очевиднее выявлялся недемократизм идеологических и политических ориентиров лидеров перестроечной команды. Удивительной, например, была концепция гласности и плюрализма, поименованная Горбачевым «социалистическим плюрализмом», — согласно которой допускалось «многообразие мнений в рамках социалистической идеологической традиции». Об этой свободе «в рамках» (определяемых, естественно, номенклатурным сословием и его вождями из Политбюро), в частности, — в статье «Ленин и Сталин».

О политической платформе команды Горбачева (изложенной в проекте новой Программы КПСС) — в статье «Момент выбора: демократия или бюрократия» (июнь 1990 г.). В ней констатируется, что горбачевское руководство и КПСС — более не способны направлять развитие страны по демократическому руслу и что **перестройку надо перестраивать**.

3) Кто виноват, что делать и какой счет?
(из сборника «Иного не дано», 1988 г.)

Какой-то острослов заметил, что именно эти три вопроса, вынесенные в заголовок, волнуют отечественного интеллигента конца XX столетия, — в отличие от русского интеллигента XIX века, мучившегося лишь над первыми двумя. В добавлении третьего вопроса — довольно злая, но в чем-то справедливая ирония, отражающая усталость части нашей интеллигенции от двух первых вопросов, от которых только пухнет голова да бегут по спине мурашки, а вера в возможность их теоретического и тем более практического решения ослабевает. И тогда-то в усталом от роковых вопросов мозгу все большее место начинают занимать размышления о футбольных или хоккейных баталиях: какой там счет? И материал для работы мысли есть, и на душе спокойно.

Но ныне время круто сменило свой ход — оно начало отсчитывать минуты революционной перестройки. Вопросы «кто виноват?» и «что делать?» вновь перестали быть академическими, кабинетными вопросами, вопроса-

ми «для себя», «для писания в стол». Они вновь становятся предметом широкого общественного внимания и немедленного социального действия. И вот теперь в этом новом, современном контексте и третий вопрос не выглядит лишним. Он просто утрачивает свой иронический подтекст и отражает новое и глубокое содержание: какой счет сегодня в борьбе сил новаторства и консерватизма, прогресса и реакции, развития и торможения, какой счет побед и поражений сил революции и застоя.

Кто виноват?

Успехи сегодняшних перемен зависят от многого, и в значительной степени — от общественной науки, от ее способности вести стратегию перестройки, от ее умения дать ясный ответ на вопросы: что перестраивается, почему перестраивается, во что перестраивается и почему этот процесс является революционным?

Между тем общественная наука пока эту функцию по-настоящему не выполняла, серьезно отставая от процессов жизни. В чем причина этого — кто виноват? Как ей двигаться дальше — что делать? Обобщенный краткий ответ, который сегодня можно встретить в различных изданиях, гласит: Кто виноват? — Догматизм, отрыв от действительности. Что делать? — Творчески развивать теорию.

Как будто бы верно. Да что там «как будто», просто очевидно. Разве догматизма, отрыва от действительности не было? Было, еще как было! И разве это было на самом деле хорошо? Нет, плохо, очень плохо! И разве творческое развитие теории не нужно? Нужно, крайне нужно! Ну, так вот мы и получили ключик к преодолению бед нашей общественной науки, ключик к пониманию того, кто виноват и что делать.

Однако в этой-то очевидности ответов и заключается вся закавыка. Неужели раньше все это трудно было понять? Неужели раньше кто-нибудь говорил или думал, что догматизм и отрыв от действительности — это хорошо, а смелое творческое развитие теории не нужно? Нет, так никто никогда не говорил и не думал. Но если все это хорошо понимали всегда, а теория тем не менее буксовала, значит, это не ключик, ибо он ничего не открывает, значит, эта формула не разъясняет, кто действительно виноват н что на самом деле делать?

И имеющийся исторический опыт вполне подтверждает основательность нашего скепсиса по поводу объяснительной способности указанной формулы. Так, в «установочном» для обществоведов докладе 28 апреля 1956 года — вскоре после XX съезда, начавшего серьезную перестройку всей нашей тогдашней жизни, — член-корреспондент АН СССР (с 1946 года) Петр Николаевич Федосеев впервые предложил эту формулу преодоления серьезного отставания общественной науки: «...Необходимо повести решительную борьбу с догматизмом и начетничеством, против отрыва от жизни, сосредоточить усилия на творческой, самостоятельной разработке актуальных вопросов общественной науки». Иначе говоря: Кто виноват? — Догматизм. Что делать? — Творчески развивать теорию. А через десяток лет — после известных

политических изменений 1964 года, когда из этой задачи мало что получилось, П.Н. Федосеев, ставший, кстати, тем временем уже академиком (в 1960 году), в своих новых «установочных» докладах вновь твердо заявлял: Кто виноват, что не получилось? — Догматизм, схоластика. Что делать? — Творчески развивать теорию. А еще через десяток-другой лет, после XXVII съезда, когда выяснилось, что и на этот раз задачу реализовать не удалось, в очередном «установочном» материале уже вице-президент АН СССР по общественным наукам П.Н. Федосеев в очередной раз повторил известную нам такую правильную и такую очевидную формулу. И уже с некоторой опаской ждешь статьи П.Н. Федосеева в каком-нибудь 1990 году: «Ничего не получилось», «Кто виноват? — Догматизм», «Что делать? — Творчески развивать теорию».

Стоит всерьез задуматься над причинами отставания общественных наук, стоит всерьез определить, что делать, дабы в 1990 году появились статьи более оптимистического содержания. Не будем заниматься прожектерством, административно-схоластическими рекомендациями, как надо делать, чтобы всё пошло хорошо. Ибо сила и точность подобных прожектов и рекомендаций может быть установлена лишь после испытания их на практике, через какое-то количество лет. А мы и ждать не можем, да и рекомендации эти должны вырабатываться иначе. Их надо извлекать не из головы (как это делал когда-то чемпион всех времен и народов по схоластике и прожектерству Евгений Дюринг), а, как настоятельно советовал Фридрих Энгельс, при помощи головы из практического опыта истории. К истории наших перестроек и их урокам, к анализу судьбы указанных выше «очевидных», но почему-то плохо поддававшихся реализации формул мы и обратимся. А путеводной нитью в этом путешествии по дорогам исторического опыта нам послужат «установочные» доклады и прочие работы Петра Николаевича Федосеева, человека, вот уже несколько десятилетий стоящего у штурвала нашей общественной науки.

Итак, перед нами выступления П.Н. Федосеева эпохи перестройки на рубеже 50—60-х годов: доклад на Всесоюзном координационном совещании по вопросам философии 28 апреля 1956 года «XX съезд КПСС и преодоление недостатков в научной работе по философии», написанная вскоре после XX съезда статья «О связи философии и политики», доклад «XXII съезд КПСС и задачи научно-исследовательской работы в области философии».

Общая схема рассуждений автора такова. Вначале называются «недостатки» (после XX съезда, сказавшего людям немало горьких и правдивых слов, это сделать, разумеется, было нетрудно): «догматизм», «отрыв от жизни», «лакировка действительности», «затушевывание трудностей», «потеря вкуса к изучению живой действительности», «забвение роли практики как верховного критерия истины», неумение применять общие положения к конкретной действительности, «цитатничество» как результат «преклонения перед отдельными авторитетами...». И затем ставится задача эти недостатки «преодолеть», то есть не «лакировать», не «затушевывать» и т.д.

В этой-то схеме, думается нам, и лежит зародыш будущих неудач в решении задачи «преодоления», ибо здесь только по видимости присутствует от-

вет на вопрос «что делать?». В действительности же никакого ответа тут нет. Ну, что реально могут дать призывы: «не лакировать!», «не затушевывать!» и т.д.? Как будто бы прежде ученые не догадывались, что все это — плохо, н вследствие этого — «лакировали», а вот теперь из выступлений П.Н. Федосеева впервые узнали, что это — плохо, и решили перестроиться! Как будто бы прежде не призывали быть «лицом к действительности», «не отрываться» от нее! Задача, следовательно, и состояла в том, чтобы объяснить, почему эти хорошие и ясные для всех призывы повисали в воздухе. Ведь дело было вовсе не в незнании, что такое хорошо и что такое плохо. Главные причины лежали вообще не в сфере знания как такового. Ну, в самом деле. Вот Вы, Петр Николаевич, полагая, что вскрываете причины негативных явлений в философской науке, писали в том смысле, что некоторые ученые, «не умея творчески применять диалектический материализм к живому и вечно развивающемуся естественнонаучному материалу... доходили до прямого отрицания величайших достижений теории относительности, квантовой механики и других научных направлений (Вы, конечно же, имеете в виду генетику и кибернетику, — *Г. В.*) и тем самым тормозили развитие философской мысли». В общем, выходило, философии надо немного бы подучиться «применять», «сменить «неумение» на «умение» — и дело пойдет, и генетике с кибернетикой все дороги откроются. Но, ведь, Петр Николаевич, если серьезно-то посмотреть, разве в неумении дело было? Ну да, Лысенко «не умел», но Вавилов-то «умел»! Но почему-то «неумелые» шли в гору, а «умелые» — сами знаете куда. Вот какие «недостатки» требовалось объяснить и «преодолеть».

Или Вы называете такую причину отставания философии, как «потеря вкуса» к изучению живой жизни, и убеждаете ученых повернуться лицом к действительности. Но, Петр Николаевич, Вы же прекрасно знали, что вкус этот не «теряли», его **отбивали**. Ведь Вы же сами некоторое время спустя, в 1962 году, уже после XXII съезда, и, по-видимому, под очень сильным давлением общественного мнения публично признали, что было время, когда «глушилась творческая мысль», «незаслуженно избивали и чернили многих работников науки». Последнее выражение, правда, немного странное: как будто «заслуженно» можно «избивать и чернить». Но суть все же ясна: люди «не теряли» — у них **отбивали** вкус к творчеству и к живой действительности. Вот об этом «механизме» отбивания, об этой ненормальной для науки атмосфере и следовало бы поговорить поподробней и поосновательней в самом начале обновления, сразу после XX съезда партии.

Это-то и должно быть главным пунктом, центром анализа причин тяжелого состояния науки. И такой анализ ясно показал бы, что вся беда не в «догматизме» и лакировке как таковых, а в «догматизме» и «лакировке», *поддерживаемых методами административного и политического насилия*, иначе говоря — в **бюрократизации науки**.

Беда — в возникновении такой атмосферы, в которой наука просто не может дышать. «Догматизм», «лакировка» и проч. не страшны, если у их оппонентов имеется возможность свободно и публично отвечать, аргументи-

ровать, развивать свои взгляды. В вольном воздухе науки «догматизму» не удержаться.

Что взывать к тому, чтобы ученые ничего не «затушевывали», ничего не «лакировали», шли к «живой жизни»! Да сломать «механизм отбивания» — и подавляющее большинство ученых без всяких призывов ринется к «живой жизни». Не надо соловья обучать пению. Клетку открыть, окно распахнуть — и он сам сядет на зеленую веточку и запоет на воле так, как нам и не снилось: ведь прекрасное пение — это способ его существования (конечно, в нормальных условиях, а не в кошачьих лапах.)

Итак, вот важный урок опыта той перестройки: не в области мысли, не в сфере чистого знания, не в распространении ошибочных научных идей надо искать главные причины научного застоя, а прежде всего в той **общественной атмосфере**, в которой существовала наука. *Перестройку следует начинать с создания такой атмосферы, в которой новые идеи смогут свободно существовать, развиваться, конкурировать со старыми и, в силу своей новизны и жизненности, побивать их*. Если не поняты закономерности, способы, особенности работы «механизма отбивания» или «механизма торможения», если сам этот механизм оставляется, по сути дела, без изменения, то самые хорошие слова мало что будут значить. Слова будут звать в одну сторону, а механизм — двигать дело в другую. Наука будет буксовать на месте.

Неоткрытый порок, неустановленная болезнь будут продолжать подтачивать организм научной жизни — какие бы пожелания и стремления ни высказывали руководящие научные деятели.

Ваши призывы, Петр Николаевич, потому и повисали в воздухе, что они не связывались с необходимостью изменения всей атмосферы научной жизни, со сломом «механизма отбивания», с задачей уничтожения мелочной бюрократической регламентации. И получалась парадоксальная ситуация: слова Вы говорили новые, а действовали по-старому, в соответствии с логикой прежнего механизма, мелочно и дотошно регламентировавшего всю научную жизнь.

Вспомните, к примеру, как реагировали Вы, Петр Николаевич, на научный поиск, который после XX съезда партии повели многие обществоведы, на их стремление поглубже, поосновательней разобраться в явлении, которое получило название «культа личности», на их попытки заново, глазами без шор, прочесть Маркса, Ленина, Гегеля, пересмотреть интерпретацию, которую в 1930–1940-х годах давали важнейшим положениям диалектического и исторического материализма. Вы в добром старом духе стремились уложить этот поиск в жесткое и узкое русло «установочных» предписаний и регламентаций. Так, Вы дали свое объяснение «культу личности» и тут же назвали тех, кто это явление пытается объяснить иначе, «гнилыми, чуждыми элементами», которые не останавливаются «перед извращением исторических фактов» и «пытаются под флагом критики культа личности огульно охаивать и отрицать достижения советского народа в хозяйственном и культурном строительстве». Вот ведь как: еще не открыты архивы, проливающие

свет на тот период, еще только-только наука пробует нащупать верные подходы к его оценке, еще научная-то дискуссия по-настоящему не началась (всего несколько месяцев прошло после XX съезда, приоткрывшего самую возможность объективного анализа прошлого), а у Вас уже и «установочный» ответ готов, и новый грозный ярлык уже отштампован, который и будет теперь дамокловым мечом висеть над каждым, кто попытается отклониться от Ваших установочных формул (я пока не говорю об уровне и качестве Вашего объяснения — об этом разговор ниже, я лишь только обращаю внимание на методологию и стиль Вашего «руководства» научным процессом).

Далее Вы пытаетесь обучить философскую общественность тому, как сегодня по-новому, правильно надо истолковывать важные положения диалектического и исторического материализма. Вы даже не помышляете о какой-либо научной дискуссии на сей счет. Вы и тут просто начинаете давать «установки»: к социалистам-утопистам и гегелевской философии прежде относились так-то, а теперь надо по-другому, закон отрицания отрицания ранее недооценивался и часто не упоминался, теперь надо упоминать и оценивать должным образом, механизм смены надстройки понимался так-то, теперь надо иначе и т.д. и т.п. — на десятке страниц. Я снова не касаюсь пока конкретного содержания и научного уровня этих новых установок, речь в данном случае идет о самих принципах «руководства» наукой. А суть этих «принципов», как видим, такова: вместо системы старых догм навязывается (под угрозой наклеивания ярлыков) система новых догм. Только и всего!

Но, Петр Николаевич, с помощью нового догматизма можно победить старый, но нельзя победить догматизм как таковой. Нельзя бюрократически бороться с бюрократизмом. Нельзя демократизацию осуществить административно-репрессивными методами. Невозможно грозными предписаниями развивать самостоятельность и самодеятельность людей. Обновление, таким образом, коснулось лишь поверхности. Глубинных пластов оно не задевало. На смену старому механизму бюрократического торможения приходит новый, модернизированный. Так стоит ли удивляться, что к 1964 году этот механизм не только не исчез, но и в чем-то даже усовершенствовался: стал погибче, принарядился в более привлекательные словесные одежды — так что не сразу и раскусишь, что это то же тормозящее устройство. Конечно, благодаря прорыву, который осуществил XX съезд, подъему народной инициативы и активности, росту процессов демократизации удалось продвинуться вперед на многих участках общественной жизни. Сила народного порыва, разбуженного высшим форумом партии, была столь велика, что тормозящие устройства не могли сдержать его — они отступали. Но, увы, не исчезали и постепенно вновь, шаг за шагом набирали свою силу и усиливали тормозящий эффект. Это были механизмы не только научного торможения, но и общественного торможения вообще. Перед общественной наукой все яснее вырисовывалась задача их глубинного осмысления. А общественное мнение все решительнее связывало все эти сковывающие развитие моменты с «культом личности», который как раз и был не чем иным, как механиз-

мом социального торможении тридцатых—сороковых и начала пятидесятых годов. Перед отечественной наукой и выросла одна из главных задач—дать анализ того явления, которое получило обозначение как «культ личности». В этой обстановке, естественно, Вы, Петр Николаевич, не могли обойти эту задачу. Это объяснение было бы ключом ко всему. Было бы... в случае точного объяснения и глубокого анализа. Однако Ваш анализ, Петр Николаевич, оказался разочаровывающим.

Вот Ваше исходное положение: «культ личности,—пишете Вы,—ставит того или иного деятеля над партией и народом, приписывает ему чудодейственные свойства, превращает его в творца истории, вершителя исторических событий и судеб народов. Такие представления в течение многих лег распространялись об И.В. Сталине». Откуда такая неопределенность в важнейшем вопросе? Как это «культ личности ставит» и т.д.? У Вас хотят узнать, как это получается, что некая личность превращается в «вершителя судеб», от Вас ждут разъяснений этого странного механизма, обеспечивающего—в социалистической стране!—обожествление одного и принижение всех других. А Вы отвечаете: культ личности ставит и т.д. Да что за мистическая сила этот «культ личности», способный кого-то «ставить» туда или сюда?! Эту весьма странную формулировку можно было бы отнести на счет погрешности стиля, но думается, что тут не погрешность, не случайная стилистическая неряшливость, а сознательно используемая неопределенность выражения. Ведь обратите внимание, что и в самом конце приведенного пассажа—тот же стилистический прием: такие представления «распространялись» об И.В. Сталине. То есть как это «распространялись»? Сами собой, что ли? Возникали вдруг где-то некие «представления» и начинали «распространяться», как дорожная пыль под воздействием ветра. Так, что ли?

Не бывает такого с «представлениями», Петр Николаевич. И потому вполне резонно будет спросить: ну, а кем все-таки конкретно «распространялись» эти «представления»? Ну что же о главном-то умалчивается?

Впрочем, эта неопределенность, касающаяся причин и корней «культа личности», по-видимому, беспокоила и Вас, Петр Николаевич. Она ведь давала читателям простор для всяких (в том числе и «нежелательных», «гнилых»—пользуясь Вашей лексикой) размышлений на сей счет. И Вы предпринимаете попытку дать более конкретный, более определенный ответ на вышеназванные вопросы. Результат оказывается весьма и весьма любопытным.

Начинаете Вы с констатации существования «враждебного капиталистического окружения», ожесточенной борьбы с империализмом, «острейшей классовой борьбы с остатками эксплуататорских классов» в стране, что по необходимости, как Вы считаете, приводило к «усилению централизации управления» и «суживанию рамок демократии»; и далее отмечаете, что, с другой стороны, успехи борьбы в этих трудных условиях связываются в массовом сознании обычно с личностью вождя.

Так что же, это—причины «культа личности»: враждебное окружение, острая социальная борьба, ведущая к сужению демократии и усилению цен-

трализма и т.д.? Признать это означало бы, конечно, не объяснить, а оправдать «культ личности», представить его как необходимое и неизбежное следствие «объективных условий», это означало бы открыто выступить против решений XX съезда. И потому, естественно, Вы специально оговариваете: «Это не означает, конечно, что вышеуказанные объективные предпосылки с необходимостью ведут к культу вождей, стоящих во главе движения». Итак, это не причина, а некие «предпосылки» Ну, а в чем же, наконец, причина-то? Внимание! Мы, кажется, подходим к самому главному.

Дело, оказывается, «в огромной мере» в «индивидуальных отрицательных качествах» личности. В таких, как «властолюбие, увлечение администрированием, грубость, нетерпимость», «капризность», «злоупотребление доверием и уважением масс со стороны отдельного руководителя—это главный корень распространения чуждого марксизму-ленинизму культа личности». И самый главный вывод: «При всем этом нельзя не видеть того, что ответственность за распространение культа того или иного деятеля, сложившегося при его жизни, лежит на самом этом деятеле».

Действительно, никакой неопределенности, никакой двусмысленности: причина «культа личности» в огромной мере—в индивидуальных качествах самой этой личности, она и несет в первую очередь всю полноту ответственности за сложившуюся в обществе ситуацию. Ну, а если быть последовательным, то что из этого следует? А то, что, собственно, что-то переделывать и перестраивать незачем. Ведь «злоупотребившая доверием» личность уже ушла из этого мира и вместе со своими «индивидуальными качествами» унесла с собой все причины печального явления и всю ответственность за него. Перестраивать, таким образом, нечего и спрашивать не с кого.

А поскольку на смену той личности пришла другая с как будто бы более симпатичными «индивидуальными качествами», то все плохое теперь позади, и Вы уже предлагаете забыть это прошлое, в котором незачем-де ковыряться, ибо это послужит только врагам. Вы требуете смотреть в сегодняшний и завтрашний день, которые так прекрасны. И Вы просто не находите слов, чтобы обрисовать эти радужные перемены, происходящие благодаря новому политическому руководству «во главе с товарищем Н.С. Хрущевым»: и «морально-политическое единство народа поднимается на новую ступень», и «осуществление ленинских принципов партийного и государственного строительства» происходит, и «упрочение неразрывных связей партии с массами» налицо, и решаются «задачи технического прогресса во всех отраслях промышленности», и «на основе успехов в развитии промышленности и сельского хозяйства растет материальное благосостояние трудящихся»; не забыто, между прочим, и «расширение посевов кукурузы» как важный символ перемен. Это писалось в 1956 году, всего через несколько месяцев после XX съезда партии. А к 1962 году Ваша восторженность уже переходит все пределы: «Успехи социализма, достигнутые со времени XX съезда КПСС, поистине величественны»: «принципиально новые теоретические положения и политические установки, выработанные XX и XXI съездами партии, уже получили

всестороннюю(?!!) проверку и полностью(?!) подтвердились всемирной практикой борьбы за мир и социализм» и т.д. и т.п. без конца и без краю. И все это — всего три — шесть лет спустя после названных съездов и за два года до Октябрьского пленума ЦК 1964 года, когда все мы перестали быть «во главе с Н.С. Хрущевым» и когда было поведано стране о тяжелом положении ее экономики и о политических бедах субъективизма и волюнтаризма (как стала именоваться линия Н.С. Хрущева).

Ну, что же, Петр Николаевич, опять руководящая личность оказалась отягощенной какими-то отрицательными индивидуальными чертами? И опять можно облегченно вздохнуть, заметив, что вместе с этой личностью ушли на пенсию и ее несимпатичные черты, эта первопричина всех бед, согласно Вашей концепции? А время ли для облегченных вздохов — а ну, как следующая-то «личность» да опять с какими-то изъянами в характере окажется, уж не к генетикам ли на поклон идти: пусть над генетическими кодами «личности» поколдуют, коли судьбы десятков миллионов от этих личностей зависят. Но, согласитесь, надежда на хороший характер — несколько зыбкая основа для устойчивого и планового социалистического развития.

А может быть, дело немного в другом? Может быть, суть явления «культа личности» далеко не в том, что одного человека над другими поднимают, а в том, что какая-то более или менее многочисленная группа людей над всеми другими оказывается? И потому, может быть, не очень многое изменится, если дело сведется просто к замене одного, самого видного из этой группы, человека? Может, поэтому и название «культ личности» не проясняет, а затемняет дело: как-то фокусирует внимание на одной личности и на ее обожествлении, тогда как дело в группе личностей и в их экономических, политических н социальных привилегиях?

Вот почему, Петр Николаевич, так важен следующий вопрос. Помните, мы уже упоминали о Вашем высказывании, что вот-де в прежнее время «распространялись представления» о чудодейственности и абсолютной непогрешимости И.В. Сталина. И мы сказали в том смысле, что представления не «распространяются», а их распространяют. Вы как-то тогда не переводили разговор в эту плоскость. А это необходимо, если действительно желать перестройки. Надо обязательно ответить на вопрос — кто и почему их распространял.

Я знаю, что обычно, когда так ставится вопрос, раздаются голоса: «Да зачем это? Зачем жаждать мести, желать крови, стремиться к сведению счетов?» и т.д. Но почему — мести? Почему обязательно «крови»? Видимо, восклицающие подобным образом о других судят по себе, по-видимому, они не представляют себе анализ уроков прошлого иначе, чем месть или расправу. Припоминается, как в 1957 году снятый со своих высоких постов Л.М. Каганович, по известному свидетельству Н.С. Хрущева, звонил последнему по телефону и просил не расправляться с ним, как это делалось прежде, то есть как расправлялся с другими когда-то сам Каганович. Назвать — кто распространял, нужно даже не для того, чтобы кого-то морально «скомпрометировать» и затем «отстранить», а для того, чтобы действительно всем из прошло-

го извлечь уроки, сделать их зримыми, в том числе и для этих «распространителей», если они действительно хотят вместе со всеми участвовать в перестройке — перестройке общественных отношений и самих себя. Ведь речь идет не просто о конкретных людях, но о носителях прежних отношений, прежних методов и способов мышления и действия. Нужен анализ (и самоанализ) их именно в этом качестве — нужно действительное извлечение уроков из прошлого. Смогут люди осуществить эту самокритику, начнут выдавливать из себя по капельке свою наднародность — перестройка их примет. Но это должен быть разговор на пределе искренности и откровенности, другой — просто неприемлем, ибо речь идет не о сбрасывании листьев, но о выкорчевывании корней. Останутся корешки — и со временем вновь поднимутся джунгли бюрократизма.

Надо же понять, надо же ясно сказать, что те, кто создавал и распространял, кто вбивал в головы других людей указанные выше «представления», делал это не просто из большой любви к какой-то «личности», но потому, что этот режим непогрешимости Авторитета работал и на авторитет «распространителей»: они были как бы целое с этим Авторитетом, они были его апостолами, его соколами, они создавали эту силу и сами были ее частью.

Повторяю: тут нельзя ловчить, сваливая всю ответственность на одну Личность. Это губительно для будущего, для дела перестройки.

То, что не в одной Личности дело, ясно демонстрируется и фактами той далекой перестройки 50-х годов. Ну, вот, например, в духе присущей Вам, Петр Николаевич, методологии Вы говорили в своем очередном установочном докладе после XXII съезда в 1962 году: в прежние годы «одним человеком была присвоена роль единственного и непререкаемого научного авторитета».

Неубедительность этого тезиса ну просто бросается в глаза. Если бы в то время можно было бы публично задавать Вам нескромные вопросы, Вас, наверное, спросили бы: как же это ему удалось «присвоить» подобную роль, что же другие-то смотрели, что же другие-то, которые получше, поскромнее и т.п., не «присвоили» себе такой роли? Да потому, Петр Николаевич, что в одиночку этот человек ничего присвоить себе не смог бы, он мог это сделать только с другими людьми — они-то и помогли ему «присвоить» эту роль, они «присвоили ее ему».

Ну, в самом деле, вот Вы с глубокой гражданской скорбью пишете о громадном ущербе, который нанесла делу развития философии работа этой обожествленной Личности «О диалектическом и историческом материализме»: в этой работе обедняется-де материалистическая диалектика, которая сводится-де к четырем чертам диалектического метода и трем чертам материализма. «Эта небольшая популярная работа, — продолжаете Вы, — представлявшая собой краткое изложение общеизвестных положении диалектического и исторического материализма, не могла служить примером дальнейшего развития марксистско-ленинской философии».

Но, Петр Николаевич, давайте вместе припомним, кто ее примером-то сделал? Кто это писал: «В гениальной работе товарища Сталина "О диалек-

тическом и историческом материализме" обобщено все то величайшее теоретическое богатство, которое создано марксистско-ленинской философией со времени появления "Коммунистического Манифеста", и обогащено новыми выводами о законах общественного развития, о законах борьбы за коммунизм в современную эпоху»? Это можно прочитать на 31-й странице брошюры 1948 года издания «"Манифест Коммунистической партии" Маркса и Энгельса и материалистическое понимание истории». Мне очень неловко писать об этом, Петр Николаевич, но автором этой брошюры является «член-корр. АН СССР П.Н. Федосеев».

Или другая «установка», данная Вами после XXII съезда партии: «Сталин внес путаницу и в понимание соответствия производительных сил и производственных отношений», а именно: «Сталин выдвинул тезис о том, что у нас установилось полное соответствие между производительными силами и производственными отношениями». И снова: «Сталин внес»,—он виноват, он ответствен, он один и т.д. Но, простите, ведь в истории столько «путаниц» вносилось столькими людьми и по стольким вопросам, но люди науки эти путаницы отбрасывали, не давали засорять ими научные страницы: и путаницы эти оставались причудами отдельных людей, а не превращались в могущественные факторы общественной жизни. Согласитесь, что ответствен не только тот, кто внес путаницу, но и тот, кто понес эту путаницу людям, в массы, кто освятил эту путаницу своими высокими научными званиями, кто понес ее в учебники и учебные лекции, кто требовал знания этой путаницы на экзаменах, в том числе на экзаменах в Высшей партийной школе, готовившей руководящие кадры, для которых усвоение этой «путаницы» было условием получения и диплома, и руководящего поста. И кто же был этот энергичный разносчик «путаницы»? Не тот ли, кто писал в прежнюю пору в работе 1948 года: «Таким образом, противоречие между производительными силами и производственными отношениями, которое, как доказано в "Коммунистическом Манифесте", является основным и неизлечимым противоречием капитализма, ведущим к его гибели, *полностью ликвидировано в СССР* (курсив, естественно, мой—*Г.В.*). В результате сложилась новая историческая закономерность, которая характеризуется *полным соответствием между производительными силами и производственными отношениями* (мой, мой курсив, Петр Николаевич! —*Г.В.*). Товарищ Сталин дал гениальное обобщение этой открытой им закономерности общественного развития, свойственной социализму».

Вот ведь как получается. Автор установочного доклада 1962 года говорит: «путаница». А автор брошюры 1948 года называет то же самое «гениальным обобщением». Кто прав? Поди разберись, если автор и той, и другой работы один тот же—да, это П.Н. Федосеев. Вот такая «гениальная путаница» получается, Петр Николаевич!

Или далее. В своем установочном докладе 1962 года Вы отмечаете изъяны, «необоснованные» положения во взглядах Сталина по вопросу о базисе и надстройке, у которого в итоге получается, по Вашему выражению, «не

марксизм, а нигилизм». А вот как этот «немарксизм» Сталина в вопросах учения о надстройке характеризуется в лекции, прочитанной Вами в 1951 году слушателям Высшей партийной школы и изданной отдельной брошюрой: «Товарищ Сталин дал гениальный анализ взаимосвязи производства и надстройки, разбил вульгаризаторские взгляды по этому вопросу».

Я так привык к этой Вашей методе критики прошлого, что как только встречал в Ваших установочных работах обвинения в адрес «отдельной личности» или в адрес безымянных ученых, что-то постоянно «путавших», «вульгаризировавших», «обеднявших», «искажавших», — я всякий раз за иллюстрацией обращался к Вашим работам 40-х — начала 50-х годов и каждый раз находил соответствующие, сурово Вами критикуемые впоследствии места (критикуемые Вами, естественно, без указания источника). Так, когда я прочитывал у Вас, что в период «культа личности» принижали и искажали роль и значение философских взглядов Гегеля, я немедленно обращался к Вашим работам этого периода и быстро находил соответствующие места. Вот например: «мистифицированная диалектика Гегеля» «оправдывает гнет и эксплуатацию, бесправие народов, всю гнусность и мерзость эксплуататорского строя». Или другое, тоже запоминающееся место: «Философия Гегеля отражает систему буржуазного мировоззрения, именно мировоззрения немецкого буржуа, трусливого, консервативного, шовинистически настроенного», философия Гегеля «оправдывает» шовинистические войны, а «последователи философии Гегеля — младогегельянцы *(из среды которых, как известно, вышел Л. Фейербах и к которым в молодые годы примыкали К. Маркс и Ф. Энгельс)*, изображавшие себя революционерами и притом чуть ли не самыми крайними революционерами, — на самом деле были крайними(?!) реакционерами». И в таком духе вся статья о Гегеле и его учениках. Несколько десятилетий спустя — интонация у П.Н. Федосеева совсем, совсем иная: «великий диалектик» Гегель, теперь даже его отношению к войнам давалось оправдание, ибо это был «период освободительных войн», ибо «он (Гегель) жил в эпоху прогрессивных национальных войн» и т.д.

Или указывается на недооценку социалистов-утопистов, существовавшую «в прежние времена». Я, конечно же, сразу — к статьям Петра Николаевича этих «прежних времен». Да, вот, так оно и есть: «Воззрения социалистов-утопистов сводили на нет значение рабочего движения», они «пропагандировали самые нелепые планы общественного переустройства». Ни словечка доброго! Больше того, от некоторых направлений утопического социализма XIX века прочерчиваются решительные линии в современность, к неким социал-демократическим деятелям, которых наш автор называет «литературными прохвостами» — за их утверждение, что социалистическое движение растет не из классовой борьбы, а из гуманистических моральных идей (можно, разумеется, доказывать ошибочность этого тезиса, но при чем тут «прохвосты» — один бог ведает). Итоговый вывод: «Немецкий «истинный социализм» служил немецкому абсолютизму, современные правые социалисты Германии служат американскому империализму. Такова лакейская приро-

да врагов рабочего класса». Вот такая симпатичная «логическая» лесенка — от утопического социализма до «врагов рабочего движения»! Такая знакомая логика той далекой поры!

Могут, правда, сказать: ну, а все-таки так ли это, с точки зрения интересов дела, интересов развития науки, важно знать, что не кто-то, а именно данный ученый в такие-то времена «затушевывал», «обеднял», «недооценивал», «переоценивал» и т.д.? Если этот ученый исправился и сегодня говорит разумные вещи, так чего же больше желать. Не самое ли важное то, что он говорит сегодня? А «сегодня» (т.е. во второй половине 50-х годов) Петр Николаевич и о Гегеле высоко отзывается, и о базисе с надстройкой прежней «путаницы» не повторяет, и закон отрицания отрицания чтит, и не приходит в восторг от философских заметок прежнего Авторитета. Не это ли в конце концов главное? И почему бы не порадоваться этому?

Да чему же радоваться-то? Что не называет «гениальными» популярные (а то и просто ложные) философские высказывания Авторитета? Да после XX съезда для этого не нужно было никакой особой смелости и никакой особой проницательности. Что признает закон отрицания отрицания, отсутствие «полного соответствия» базиса и надстройки при социализме, значение диалектики Гегели и т.п.? Да это же элементарные вещи, это все равно, что «признать», что земля не на трех китах покоится.

Беда в том-то и состояла, что не были раскрыты масштабы (громадные!) отставания нашего философского знания от хода жизни, от ее действительных проблем. Критический анализ прошлого был легким и поверхностным, он шел по поверхности и касался вещей второстепенных. Творцы этого «критического анализа» как бы спешили дать свою, облегченную версию прошлого, закрепив ее традиционным методом строгих предписаний и указаний. О капитальном ремонте вопрос не ставился, шел «косметический» ремонт. Это был тот поверхностный тип критики, который, с одной стороны, не объяснял прошлое, а с другой стороны, вставал барьером на пути действительно реалистической, действительно глубокой критики, способной расчистить завалы на пути научного развития. И потому эта «установочная» критика превращалась в видимость критики. Она не была инструментом обновления, она была инструментом сдерживания новых процессов.

Припомним еще раз ее опорные пункты: 1) «культ личности»! — это всего лишь поднятие одной личности над людьми (а не определенный режим, не определенная система отношений), к тому же это во многом обусловлено ситуацией осажденной крепости и естественным приписыванием лидеру успехов, достигнутых всем народом; ответственность за культ несет сама эта личность и никто больше; к этому прибавляется, что, несмотря на определенный принесенный ущерб, в общем-то «культ личности» ни на что существенно не повлиял, ничто существенно в природе нашего строя не изменил (а кто думает иначе — те «гнилые» люди). Вот таким пустячком, таким малозначащим эпизодом выглядит «культ личности» под пером П.Н. Федосеева. И это после революционного XX съезда! Чему же тут радоваться? 2) При-

чины отставания философской мысли видятся главным образом в «непонимании» одного, «недооценке» другого, «обеднении» третьего, т. е. в области мысли, а не в той социальной атмосфере, в которой существовала наука, не в административно-репрессивном аппарате «управления» ею; потому ставится задача не изменения бюрократического механизма функционирования науки, а простой замены одних философских положений другими — на смену системе старых догм приходит система догм новых. Чему же тут радоваться? 3) У руля общественной науки сохраняются все основные действующие лица предшествующего периода, создатели прошлой, тяжелой для науки атмосферы, и вот уже вновь раздаются их волевые, привыкшие к коротким и резким приказаниям голоса: всем! перестраиваться! быстро! немедленно! застоялись, понимаете ли, разбездельничались!

Чему же тут радоваться, когда, не подвергнув себя публичной критике, бывшие научные вожди, заведшие научную армию в глухомань, снова поднимают руководящий жезл и уже покрикивают — как и куда идти. Да, перестраиваться надо всем, но всем — по-разному. Одна перестройка — у «Лысенок», другая — у «Вавиловых»... И незачем их мешать в одну команду и обращаться к ним с одинаковыми призывами.

Нет, **давайте перестраиваться таким образом, чтобы с призывами и с программами перестройки в науке выступали, в первую очередь, те, кто и в периоды застоев стремился, жертвуя многим, а то и всем, перестраивать науку и общество. Вот почему важно обращаться к персонажам прошлого, дабы хорошо знать, кто тогда «распространял» «гениальную» «путаницу» и кто в меру (и даже сверх меры) своих сил и возможностей распространял золотые крупицы истины. Это нужно не только для восстановления исторической справедливости, но и для того, чтобы знать, на кого можно опереться и на кого можно положиться в первую очередь в непростом деле революционных перестроек**. А не объяснив глубоко прошлое, не поставив задачу слома административно-бюрократического механизма «управления наукой», не выработав поэтому стратегию действительной перестройки научной жизни, сохранив в руководящем наукой «штабе» ядро прежних «научных вождей», трудно ожидать каких-либо серьезных, принципиальных изменений в развитии науки. Так, к сожалению, и случилось в десятилетии после XX съезда партии. Не получив необходимых импульсов и изменений, наука продолжала буксовать. И что же? Начала ли общественность страны получать из руководящих научных сфер какие-либо тревожные сигналы о состоянии общественных наук? Увы, статьи и доклады П.Н. Федосеева той поры полны неудержимого оптимизма: «теоретическая работа», пишет он, «дает новые выдающиеся образцы научного предвидения на основе марксизма-ленинизма» (1962 г.}; «сейчас, как никогда, ярко и конкретно выявляется действие объективных законов социализма и их сознательное использование в изменении общественных отношений» (1959 год); политические руководители «во главе с товарищем Н.С. Хрущевым» дали «работникам общественных наук яркие и поучительные образцы творческого

подхода к теории и практике» (1962 год); и, наконец: «принципиально новые теоретические положении и политические установки, выработанные XX и XXI съездами партии, уже получили всестороннюю проверку и полностью подтвердились всемирной практикой борьбы за мир и социализм» (1962 год).

Иначе говоря, это рапорт об успешном завершении перестройки: отставание преодолено, новые идеи разработаны, они уже прошли всестороннюю (!) проверку на практике и полностью (!) подтвердились. Перестройка успешно закончена!!

Но вот почти детективное продолжение всех этих праздничных рапортов. В книге «Коммунизм и философия» есть такое место: «Культ личности противоречит основным принципам социализма, как самого демократического строя», но сейчас он преодолен — «укрепление связей партии с массами, приближение партийных и советских органов к деловой, практической работе на местах, совершенствование руководства всеми участками коммунистического строительства, систематическое повышение жизненного уровня советских людей вызывают новый прилив сил и энергии в каждом коллективе трудящихся на предприятии, в колхозе, в учреждении». Так написано в первом издании книги в 1962 году. А во втором издании книги, вышедшем в 1971 году, в эту цитату добавлено одно-единственное словечко. В самом начале: «культ личности противоречит...» и т.д. добавлено: «культ личности и субъективизм противоречат» и т.д.

Ну, и что здесь такого, скажет читатель, ну, добавлено одно слово для конкретизации: ведь культ личности связан с субъективизмом — вот и решил автор немного обогатить свою фразу: «культ личности и субъективизм». Не так все просто, читатель! Здесь, в издании 1971 года, «субъективизм» — не просто «слово», «словечко». «Субъективизм» — таким термином стали после 1964 года обозначать линию действия Н.С. Хрущева. И, стало быть, указанное предложение следует читать так: культ личности (И.В. Сталина) и субъективизм (Н.С. Хрущева) противоречат и т.д. Что же, при всем различии их методов мышления и действия, определенное родство действительно между ними имеется: бюрократические извращения, администраторские увлечения были свойственны им обоим, — это не предмет спора. Мы же тут обращаем внимание на одну довольно странную вещь. В книге 1962 года издания про «субъективизм» (Хрущева), про то, что он «противоречит» демократическим принципам, ничего не говорилось. Более того, тогда отмечалось прямо противоположное: говорилось о преодолении «культа личности», и все эти оптимистические констатации об «укреплении» и «расширении» связей с массами относились именно к деятельности руководства «во главе с Н.С. Хрущевым», которая, следовательно, не «противоречила» демократическим принципам. А в 1971 году, получается, та же самая деятельность оценивается уже как противоречащая демократизму, и, следовательно, никаких «укреплений» и «расширений» не было; «укрепление» и «расширение» осуществлялись лишь после 1964 года, в ходе преодоления «субъективизма». Итак, те восторженные слова, которые в 1962 году автор относил к руководству «во главе с Н.С. Хру-

щевым», теперь без всяких изменений относятся к новому руководству во главе с Л.И. Брежневым. Вот так пассаж!

«Так при ком все-таки «укрепление связей с массами» происходило?» — в недоумении спросит читатель и, пораженный подобными методами анализа и оценок, вдруг задумается: а можно ли вообще доверять подобным авторским оценкам и происходит ли на самом деле «укрепление связей с массами» в 1971 году: не столкнется ли он в следующем, третьем или четвертом издании книги, с утверждением, что «культ личности, субъективизм и политика застоя противоречат демократизму», и дальше без изменений — об «укреплении» и «расширении», относимым уже к следующему руководству? (А мы удивляемся сегодня недоверию людей к печатному слову, а мы удивляемся сегодня расхождению слова и дела, существованию двойной морали и двойной бухгалтерии!)

Итак, оптимистические оценки начала 60-х годов о развитии демократизма, преодолении авторитаризма, о «выдающихся образцах научного предвидения», прошедших «всестороннюю проверку» и «полностью подтвержденных практикой», оказались несостоятельными. Ну хоть после этого какие-то уроки были извлечены?

Увы, старое начиналось сызнова. Снова сетование на догматизм, начетничество, отрыв от действительности. Снова — нет ответственных, кроме одной личности. Снова — упреки в адрес безымянных авторов, которые занимались приукрашательством, преувеличением экономических успехов и степени самодеятельности народных масс, упреки тем, кто писал о практике глубокого проникновения в объективные законы и твердом следовании им (тогда как именно с объективными законами тогда мало считались), снова — список новых философских формул вместо «путаных», «ограниченных», «обедненных» старых. И снова — скорые бодрые рапорты о преодолении недостатков прошлого и о выходе общественной науки на новые рубежи, по-настоящему связывающие ее с живой действительностью.

Это было точное повторение уже однажды пройденного.

Вот они, эти новые и вместе с тем удивительно знакомые дорожки и тропки, по которым мы уже однажды с вами, читатель, прогулялись.

Вот Петр Николаевич делает новый доклад на Всесоюзном совещании заведующих кафедрами общественных наук высших учебных заведений: «XXIV съезд КПСС и основные направления исследований в области общественных наук».

Ну-ка вспомним прежние его схемы: с чего должен начинаться доклад? Да, верно, он именно так и начинается — с осуждения догматизма и схоластики и призыва к «творческому развитию теории», повороту к актуальным проблемам практики.

Что там шло далее? — ясная «установка», что конкретно и как «творчески развивать», в чем конкретно должен состоять «поворот» к практике и к какой именно «практике». Да, и здесь — вот она, только конкретное содержание рекомендаций иное: «В первую очередь следует выделить... характери-

стику развитого, или зрелого, социализма, основанную на глубоко научном обобщении опыта социалистического и коммунистического строительства в нашей стране, опыта других социалистических стран, на учете всех факторов, от которых зависит развитие нашего общества. Эта характеристика... позволяет, если так можно сказать, с естественнонаучной точностью определить реальное содержание нынешнего этапа, достигнутого нашим обществом». Итак, характеристика «развитой социализм», как уверяет нас Петр Николаевич, есть результат «глубокого научного обобщения» опыта всех социалистических стран и вообще «всех факторов». Но где же тогда тут место для творчества, если «все факторы» и весь опыт уже глубочайшим образом обобщены? Нам всем остается только открывать рот и с наслаждением глотать этих жареных рябчиков глубочайших обобщений. А чего же ломать голову над тем, в какой точке кривой исторического развития мы находимся, когда уже руководящими деятелями науки «с естественнонаучной точностью» это определено — мы на этапе «развитого социализма». Впрочем, нет, кое-какие детали еще прописать необходимо — и каждая отрасль обществознания получает свое задание. От экономистов, например, ждут «разработки проблем экономики развитого социалистического общества и создания материально-технической базы коммунизма». Свое «творческое» задание по шлифовке обладающего естественнонаучной точностью понятия «развитого социализма» получают философы, историки и другие отряды обществоведения. А вскоре Петр Николаевич, по-видимому, для того, чтобы еще больше стимулировать процесс «творческого развития теории», чтобы дать ему дополнительные, идущие от «живой жизни» импульсы и в то же время обозначить с «естественнонаучной точностью» верное русло исследований, указал: «Учение о развитом социалистическом обществе — крупный вклад в теорию марксизма-ленинизма»; в развитом социализме «осуществляется гармоничное развитие всех его сторон: экономической, социально-политической и идеологической»; ему присуще «планомерно организованное и неуклонно растущее народное хозяйство»; здесь «распределение осуществляется по количеству и качеству труда», а «социалистическая демократия получает всестороннее развитие, становится всенародной, охватывает все стороны жизни общества», «национальные отношения развиваются в направлении полного единства наций».

Вот так широко и четко, опираясь на реальные процессы «живой жизни», развернул Петр Николаевич программу основных направлений поистине творческого развития общественных наук. Не утаил он и образцы, которым должны следовать и которым должны — если смогут — подражать обществоведы: «Блестящим образцом органического соединения высокой идейности с повседневной жизнью и деятельностью, высоким эталоном неразрывной связи» и т.д. и т.п. являются... Да, вы угадали — «Малая земля» и «Возрождение»...

Ну, а после всего этого пришла пора революционной перестройки 80-х годов, и своей статьей «О перестройке работы в области общественных наук» («Вопросы философии» 1987, № 5) Петр Николаевич как будто бы готовится к новому витку спирали.

Нет, право, сколько же в Вас жизненной энергии и оптимизма, Петр Николаевич! Вы поистине достойны восхищения!

Что делать?

Если кратко и главное — сломать механизм торможения. Для этого, конечно, надо хорошо понять, что это за механизм, научиться распознавать его — в какие бы «перестроечные» одежды он ни рядился, представлять, как ломать и что создавать вместо.

Собственно, выше мы с вами и познакомились не с чем иным, как с этим самым механизмом торможения в деле, с его приемами, методами, результатами работы. И это знакомство, надо думать, нам весьма и весьма пригодится сегодня. Встречая нечто подобное в наши дни, мы сможем уже достаточно уверенно утверждать: «Маска, я вас знаю!». И все же: чтобы знать, как ломать, насколько важна и сложна эта работа, — для этого надо ясно представлять себе не только манеру действий, но и природу, сущность этого механизма, надо знать характер и масштаб противостояния сил перестройки и торможения.

Вопросы все это новые и по разным причинам не простые. Основательный ответ на них предполагает разработку новых взглядов на некоторые важные моменты истории нашего общества, его экономические и политические механизмы, его социальную структуру и т.д. и т.п. — громадный труд, посильный лишь обществоведению в целом. Но несколько методологических замечаний — достаточных для этой статьи — можно уже сформулировать и сейчас.

«Торможение» — антипод «перестройки». Эти два явления могут быть поняты только вместе, только в соотношении, только в диалектическом единстве. И вот, чтобы изначально встать на верный в методологическом отношении путь анализа, следует избежать одной, довольно часто встречающейся, но, на наш взгляд, не вполне точной версии перестройки. Так, необходимость перестройки иногда выводят из «ошибок», «промахов», «неудач», допущенных в предшествующий период.

«Ошибки» — да, они существенно повлияли на форму, тип, характер, на все содержание нынешней перестройки. И все-таки не с «ошибок» начал бы я анализ: «ошибки», несмотря на всю их важность, — все-таки второй ряд причин, а первый, более глубоко лежащий, ряд причин — иной.

Перестройка — это в первую очередь процесс приведения всех общественных отношений в соответствие с изменившимися производительными силами общества, с изменениями в его социальной структуре, в сфере культуры и т.д. Она была бы необходима (конечно, значительно раньше и, разумеется, в иной форме), даже если бы не было сделано ни одной «ошибки». Перестройка была бы непростым делом и без предварительных «ошибок», ибо она предполагает ломку сложившихся в обществе структур, пересогласование интересов социальных групп, сформировавшихся на основе прежних общественных структур; она связана с возникновением социальной напряженности и борьбы между группами — теми, кто был более вписан в

прежние структуры, более сращен с ними и в силу этого чувствовал себя комфортно именно в этих традиционных структурах, и теми, кто связан с новыми потребностями, с нарождающимися новыми экономическими и культурными структурами. Логикой исторического развития на повестку дня ставится вопрос о новом уровне и новом характере требований, которым традиционные группы уже не в полной мере соответствуют. Речь, стало быть, идет и об изменении привычных типов деятельности — на всех уровнях — от самого «низа» до самого «верха»; идет смена лидеров на всех этажах общественной лестницы. Процесс непростой и болезненный.

Так было, например, в период перехода нашего общества от военного коммунизма к новой экономической политике, от периода гражданской войны к мирному строительству, когда шла смена ближайших ориентиров и приоритетов. Молодые революционные бойцы, героические ниспровергатели старого мира с трудом усваивали новые лозунги: Учиться! Овладевать богатством культуры прошлого! Или совсем «невозможный» для многих героев гражданской войны призыв: «Коммунисты, учитесь торговать, учитесь хозяйствовать». Сколько драм и трагедий случалось на этих переходах — не просто личных, но трагедий целых социальных групп и слоев. Какое «потрясение» испытали многие молодые революционеры Европы, когда на III конгрессе Коминтерна их революционный вождь В.И. Ленин «вдруг» призвал их быть «пооппортунистичней», когда встала задача перейти от штурма враждебной капиталистической крепости к ее постепенной осаде, к окопной войне.

Мы в давнем и недавнем прошлом не очень хорошо представляли себе механизм развития своего общества, механизм переходов его с одной ступени на другую. Мы нередко чертили в своих головах и книгах плавно восходящие вверх линии, тогда как в действительности это — узловые линии (с «узлами» перестроек), и не всегда прямые, и не всегда идущие вверх, но иногда — зигзагом, в сторону, а в некоторые моменты и — назад.

Сейчас становится все более очевидной закономерность развития нашего общества — через рубежи периодических перестроек.

Мы повторяли слова К. Маркса о том, что в будущем обществе социальные эволюции перестанут быть политическими революциями, но то, что эти «эволюции» будут непростыми, конфликтными (а в случае запозданий и ошибок — остроконфликтными), — об этом мы мало задумывались. А задумываться надо, потому что нам необходимо овладевать механизмом перестроек, дабы они не выливались в кризисные ситуации, в ситуации катастрофического типа. В этой необходимости приведения в соответствие общественных отношений с изменениями в производительных силах и социальной структуре общества и состоит, таким образом, самая глубокая причина перестроек — этих форм социальных скачков.

А теперь пришла пора подключить к нашему анализу тему «ошибок» предшествующего периода и их воздействие на тип, формы и характер перестройки. «Ошибки» (мы берем этот термин в кавычки, ибо он не что иное, как сокращенное обозначение тех крупных недостатков и застойных явле-

ний, которые были в прошлом). «Ошибки», повторяем, обусловили то, что процесс нынешней перестройки принимает особо острый характер — и в этом свете ее революционная суть становится особенно зримой. Суть этих «ошибок» в давнем и недавнем прошлом — постоянные запоздания с началом перестроек, недостаточное использование складывающихся объективных возможностей более быстрого движения к новому типу исторического развития. Механизмы общественного управления и развития утрачивали гибкость, терялась их обратная связь с практикой, не формировался механизм, нацеленный на периодическое осуществление перестроек. В результате дело подчас доходило до сложных и напряженных ситуаций — и только тогда возникало осознание необходимости перестраиваться. Так было в 1953–1956 годах, в 1964–1965 годах, так случилось и в начале 80-х годов. Особенно серьезное запоздание произошло в 1970-е годы: бюрократические механизмы управления, выросшие на прежних социальных структурах, сковывали общественное развитие. Мощные социально-политические тормоза загораживали путь к ставшему уже возможным переходу к новому типу развития. Перестройка и поставила задачу — снять эти тормоза, перейти к новому, гуманистическому типу развития, в центре которого человек.

Что же конкретно означает этот «поворот к человеку», как описать его на языке политэкономии, политики, науки об общественном сознании?

«Поворот к человеку» осуществляется через цепочку взаимосвязанных изменений в трех главных сферах: в сфере экономической, где ставится задача реализации, полного раскрытия общественного характера собственности, в области политических отношений — это всемерное развитие демократии и самоуправления, в сфере общественного сознания — формирование новой психологии и шире — нового мышления. Речь идет о сдвигах действительно революционного типа. В самом деле, возьмите хотя бы «вопрос о собственности». Известно, что простое провозглашение, простое декретирование «отмены» частной собственности еще не превращает ее в собственность общественную. Общественный характер собственности проявляется, реализуется только через систему отношений людей — такую, в которой человек чувствует себя, является на деле не только номинальным, но и реальным хозяином.

И вот в ряде секторов нашего хозяйства, поскольку там не была сформирована в должной мере подобная система отношений, придать собственности общественный характер далеко не всегда удавалось. Собственность в этом случае, как отмечалось Горбачевым на январском Пленуме ЦК КПСС, выступала как бы «ничейной» собственностью. Впрочем, свято место пусто не бывает. В особенности такое «свято место», как собственность. Появились и начали расти группы людей, которые стали превращать эту «как бы ничейную собственность» в объект своего распоряжения и извлечения нетрудовых доходов. И вот уже в нашем «спартанском» обществе, где абсолютное большинство населения привыкло в течение многих лет к суровой экономии и сознательным ограничениям в личной, материальной жизни, стали появляться какие-то невероятно богатые люди, владеющие миллионами и круп-

ной недвижимостью. Кстати, к кому они, эти внезапно выросшие на отечественной почве миллионеры, чувствуют большую близость — к миллионерам-собратьям за рубежом или к трудящимся своей страны и всего мира? Я думаю, этот вопрос тоже не следует упускать из виду, размышляя о революционных красках нашей перестройки.

«Ошибки», не позволявшие в полной мере и везде реализовать общественный характер собственности, «ошибки», приведшие во многих случаях к подмене демократических институтов бюрократическими, к падению гласности, — не просто «несколько приостанавливали движение нашего общества», не просто несколько меняли срок достижения нами высоких исторических рубежей, они меняли **качество** нашего движения, нашего пути. Ведь с чем «опаздывали»? С разрешением противоречий. А известно, что если назревшие социальные противоречия не разрешаются, в обществе появляются и начинают разрастаться застойные явления, начинается омертвление и перерождение отдельных участков ткани общественной жизни. А на базе этих явлений застоя, на основе перерождающейся ткани формируются и социальные силы застоя, сопротивление которых обновлению тем сильнее, чем длительнее был застой.

Вот почему с такой твердостью перестроечной общественностью и была сформулирована задача: сломать механизм торможения, механизм застоя.

А сломать — это означает в первую очередь обеспечить развитие действительной демократии, самоуправления народа, гласности. «Демократия — суть перестройки», — таков важнейший тезис современной перестроечной стратегии.

Но сегодня очень важно переводить принципиальный, стратегический курс в конкретные дела, находя наиболее совершенные и действенные формы развития демократических начал применительно к тому или другому участку деятельности общества.

В этом контексте и следует отвечать на вопрос: что конкретно означает «демократизация науки» (без чего, между прочим, невозможна и «демократизация политики»)?

Ответ этот отнюдь не лежит на поверхности, ибо здесь надо учесть целый ряд усложняющих дело факторов.

Ну, прежде всего нельзя рассматривать науку как сферу чистого знания. Ибо магистральный путь развития научного знания — через его воплощение в практику. Наука и производство, наука и практика становятся единым, неразделимым комплексом. А современное производство и шире — современная практика — есть во многом сфера политики, сфера политических решений. Поэтому, если мы хотим понять, что означает процесс «демократизации науки», мы должны, двигаясь, как обычно, ступенька за ступенькой, рассмотреть вначале вопрос о демократизации науки, как сферы производства знания (ибо прежде чем двигаться к практике, надо иметь что-то, с чем можно к ней двигаться, что можно в ней воплощать). Здесь есть своя специфика у демократии (например, здесь в ходе поиска учеными объективной

истины не действует знаменитый принцип «подчинения меньшинства большинству» и т.п.). Свои принципы и формы демократизации содержит комплекс «наука — практика», «наука — политика».

В такой последовательности и коснемся названных вопросов.

Мы уже отмечали, что главная беда в развитии общественных наук (и философии в том числе) заключается не собственно в догматизме и вообще не в области методологии, теории. Опасен не догматизм сам по себе, не его теория и методология сами по себе. Опасен, мы говорили, догматизм, **поддерживаемый методами административного и политического воздействия.** Вот эти-то методы и способы и должны быть устранены прежде всего, что во многом и создает предпосылки для демократизации процесса добывания научного знания, движения к объективной истине.

Объяснимся определеннее.

Догматизм, как известно, — это твердое и неуклонное следование принципам вне зависимости от изменений действительности. Это, конечно, плохо! Но лишь тогда, когда доказано, что действительность так изменилась, что прежние принципы в прежней форме уже не работают. Но это, повторяем, должно быть доказано — и не иначе как в результате серьезной и напряженной теоретической работы и, может быть, острой, а порой и отчаянной полемики.

Ведь само по себе стремление держаться проверенных прошлой практикой принципов и не зазорно, и не догматично. Разобраться в том, что догма, а что — нет, иногда невозможно без долгих дискуссий, проверки теоретических положений практикой. Теория с необходимостью развивается через противоречие традиционного и новаторского. Теория развивается, прокладывая пути от традиционного к новому, в ней постоянно идет этот живой процесс соединения прошлого с новым; границы, масштабы, способы этого соединения подвижны, неоднозначны, каждый раз — различны. Потому в ходе развития теории, особенно в его переломные моменты, с неизбежностью возникают тенденции мышления, делающие больший акцент на традиционном, и тенденции, делающие акцепт на новизне, т.е. тенденции, способные увести к догматизму, с одной стороны, и ревизионизму, с другой. Но истину, как и наличие ошибок, можно выявить, повторяем, лишь в ходе и в атмосфере свободной теоретической дискуссии, в постоянном сопоставлении теории с развивающейся практикой.

Догматизм, как и его противоположность — ревизионизм, не страшны, если люди науки имеют возможность свободно и публично вести дискуссию и развивать свои взгляды. Догматизм невозможно победить административными решениями или постановлениями. Иным путем, кроме как через механизм науки, эти сложности в развитии теории не преодолеешь. Следовательно, первой и главной заботой людей, пекущихся о развитии научного знания, должна быть забота не о том, чтобы «догматизма (или еще чего-то плохого) не было», а о том, чтобы **была создана атмосфера демократии, свободы, гласности, в которой только и может существовать, должна развиваться наука.** В такой атмосфере прямой, открытой полемики, посто-

янно обращающейся к показаниям практики, будут (не без труда, конечно) отпадать ложные и ошибочные ходы. Ясно поэтому, что задача «организаторов», «руководителей» науки и состоит в поддержке, поощрении и защите такой атмосферы.

Могут сказать: ну, а если в этой дискуссии будут верх брать ошибочные идеи («догматизм», «ревизионизм» и т.п.) — разве не следует предпринять административное вмешательство? Но, простите, а кто определит верность или ошибочность научных идей? Неужели какая бы то ни было администрация располагает способами различать истинное и ложное, которые не доступны ученым? Неужели администрация, а не практика должна выступать в качестве критерия истины? Если бы так, зачем же делать двойную работу: сначала — ученые, а потом — глубже их понимающая дело и направляющая их администрация? Лучше уж сразу сами администраторы обеспечат развитие научного сознания, тем более, что они, по мнению некоторых, не способны ошибаться.

Нет, ложные в научном отношении взгляды могут быть по-настоящему преодолены только научными же методами и никакими другими. Миссия администрации весьма высокая: обеспечить и нормальное функционирование науки, и добросовестную проверку научных выводов практикой. Вмешательство политической администрации оправданно только тогда, когда какая-либо научная школа пытается обеспечить свое господство административными методами.

Настоящий ученый не боится «догматиков», полагающих, что надо и сегодня думать и действовать по-старому. Пусть изложат свои взгляды, пусть приведут развернутую аргументацию. Их миссия тоже важна — это необходимое науке сопротивление. Честная полемика с добросовестными «староверами» очень полезна «обновителям»: новые положения проходят проверку на прочность. Без такой «лояльной оппозиции» невозможна нормальная жизнь науки.

В ответ на требования широкой демократии некоторые глубокомысленно заявляют: «наука не дискуссионный клуб». И очень ошибаются: наука именно и есть дискуссионный клуб, гигантский дискуссионный клуб.

В связи с этим еще об одной стороне дела, где должна быть большая ясность, — о вопросах демократизации комплекса наука-практика, наука-политика. Их часто поднимают практики, политические работники. Хорошо, говорят они, предположим, у ученых идут дискуссии. Различные школы, выясняя сильные и слабые стороны друг друга, не приходят пока к единому общему решению. Они могут еще долго спорить, а вот нам надо уже сегодня, сейчас решить: сажать кукурузу или нет, применять пропашную систему или травопольную, поднимать целину в таком-то районе или воздержаться, строить атомные электростанции или отказаться и т.д. и т.п., мы не можем ждать десятилетия, пока ученые все до конца выяснят: как же быть нам?

Законный вопрос и законное требование. Только это уже не область «чистой» науки, а область практики-политики, точнее, область, где наука соеди-

няется с практикой, с политикой. И тут, конечно, несколько иные критерии и нормы демократической деятельности. Здесь мы и подходим к весьма непростой проблеме взаимоотношения политики (практики) и науки. Дело в том, что политика — это не только наука, но и искусство. Она — наука, ибо ее строить надо на научной основе. Но одновременно политика — это практическое действие, которое нередко предпринимается в условиях, когда научные школы дают разные (иногда — прямо противоположные) рекомендации или когда, в силу сложности и многообразия конкретных обстоятельств, невозможно строго научно просчитать все возможные следствия принимаемых решений. Как поступать, чем руководствоваться в этих условиях политику, человеку практических действий?

Проблема, над которой размышлял еще Кант. Его антиномии, взаимоисключающие утверждения, и были классическим выражением ситуации, когда наука по данному вопросу на данный момент не в силах выдать однозначного решения. И когда надо действовать и принимать определенные решения, человек должен, по мнению Канта, обращаться за помощью уже не к теоретическому разуму (полезному лишь в сфере научной дискуссии), а к практическому разуму, который должен бросить какой-то дополнительный аргумент на одну из уравновешенных чаш весов научного знания. Вот эта ситуация и есть сфера искусства, где большую роль играют интуиция, чутье и т.п. Кант связывал эту интуицию с нравственным началом. Он предлагал в ситуации равновесия научных аргументов обращаться к голосу нравственности — моральный фактор бросать на одну из чаш колеблющихся весов. Любопытное решение! Но все же ставить при выборе во главу угла таинственную нравственную интуицию — дело ненадежное. Сегодня хотелось бы иметь более серьезные основания для того или иного практически-политического выбора, а также более отработанные механизмы выбора. Однозначного рецепта нет.

Принимая практическое решение, политик может выбрать позицию одной из научных сторон, исходя, например, из того, что за нее большинство ведущих ученых; а может не посчитаться с большинством и остановиться на точке зрения меньшинства, исходя, скажем, из того, что на стороне меньшинства — ученые, проницательность которых уже неоднократно подтверждалась предшествующей практикой; может, наконец, способствовать выработке учеными компромиссного решения и т.п. Единого рецепта, повторяю, тут нет. Но что совершенно необходимо и обязательно для политика — это, реализуя на практике одну из научных позиций, помнить о ее неполноте, о ее дискуссионных, не до конца выверенных сторонах, о возможной ее недостаточности. Претворяя в жизнь определенные научные рекомендации, мобилизуя людей на их реализацию, политику надо постоянно держать руку на механизме обратной связи «практика — теория», все время контролировать, что показывает практика, подтверждает она сделанный научный выбор или нет, подтверждает она его полностью или частично. Под влиянием голоса практики политик всегда должен быть готов к уточнениям, исправлениям выбранной им линии. При этом после того, как осуществлен политический

выбор, представителей другой научной точки зрения («научную оппозицию») вовсе не должно отстранять от дел, как то нередко случалось в прошлом, напротив, есть смысл именно их активно привлекать к контролю и анализу процесса реализации идей противоположной научной школы. Не «чернить» научных оппонентов, а предоставлять им право вести самую широкую критику практической реализации научных положений! И как знать, не заставит ли практика пересмотреть первоначально негативное отношение к их позиции? К таким поворотам политику надо быть готовым и не рассматривать их как ЧП. И как знать, с другой стороны, не убедится ли названная «оппозиция» в своей неправоте и не признает ли правоту своих оппонентов? В нормальных условиях тут не должно возникать братоубийственных коллизий.

Добиться гибкой, безотказной, совершенной работы этого механизма обратной связи «практика — теория» — одна из важнейших забот политического руководства. Ввяжемся, провозглашали умудренные политики, а потом разберемся. То есть: «ввяжемся» в практическую борьбу — на основе предварительного теоретического анализа и научных представлений, а затем, сообразуясь с голосом практики, сопоставляя теоретические прогнозы с ходом практической борьбы, «разберемся» (уточним свои «программы», подходы, лозунги и т.д.). Искусство политика и есть во многом искусство обеспечения указанной обратной связи. Догматизм политиков состоит в том, что, принимая политическое решение, они считают делом чести довести его реализацию до последней намеченной буковки: это даже считается «железной последовательностью», «сильной политикой». Но поскольку решение — всегда огрубление действительности, поскольку оно всегда беднее ее, поскольку в решении можно отобразить лишь важнейшие принципиальные тенденции, поскольку в нем невозможно предусмотреть все богатство, все переплетения реальных связей и отношений, то попытки его безусловной реализации вплоть до последней буковки означают часто — ломать, что называется, через колено, никаких маневров и обходных путей, ломить, пока не упрешься лбом в стену, пока не выскочишь вдруг на самый край пропасти… Мудрый же политик — тот, кто способен по едва заметным показаниям практики быстро и решительно вносить коррективы в теорию. Для него наука выступала как средство, инструмент преобразования действительности, а действительность, в свою очередь, как средство, инструмент постоянной корректировки научного знания.

В деле революционного преобразования действительности для такого политика теория является лишь руководством к действию, а не предусмотревшей все священной книгой. И речь при этом вовсе не идет о политике сугубо прагматического характера, о политике, определяемой от случая к случаю. Речь идет только о том, что при сохранении общей направленности исторического течения уметь своевременно и гибко — в соответствии с особенностями конкретной борьбы — менять его русло.

Иначе говоря, у такого политика идеи перестроек рождаются не тогда, когда движение упирается в тупик, а когда возникают первые признаки тор-

можения. И дело не только в политическом чутье, которое должно быть присуще умному политику. Охватить все богатство связей и отношений социальной действительности, оценить их специфику и особенности — не под силу никакому гениальному человеку. Дело тут в первую очередь в том, что подобный политик вместе со своими соратниками стремится сформировать такую атмосферу общественной жизни, когда миллионы и миллионы людей рассматривали бы дела страны как свои собственные, когда бы «все знали обо всем» и реально участвовали в управлении — когда вследствие этого постоянно, со всех сторон и со всех уровней шли бы ясные и правдивые сигналы о ходе реализации общих планов и программ, когда эти сигналы своевременно и компетентно обобщались бы, когда в соответствии с ними можно было бы быстро и решительно вносить коррективы в маршруты нашего движения.

Иначе говора, политический догматизм — это не демократизм. Политическая диалектика, политическое творчество — это всесторонне развитая демократия.

И еще. Политик не просто «практик» в отличие от ученого-«теоретика». Политик в реальной жизни соединяет диалектические противоположности — науку и практику (хозяйственную, культурную, социальную), обеспечивает их взаимодействие и обратную связь и тем способствует как развитию науки, так и совершенствованию практики. Умение не на словах, не в книжках только, но и в реальной жизни соединять противоположности — в этом состоит высшее искусство политика.

Деятельность политика не должна повторять, дублировать и тем более подменять деятельность ученого. Поэтому, между прочим, в политических документах не должны решаться вопросы конкретных наук. Политический документ ведь не учебник и не исследование по истории, философии, научному коммунизму, политической экономии и т.д. К сожалению, в некоторые периоды нашей истории политические документы претендовали на роль высшего научного законодательства и большинство ученых покорно соглашалось с этим, и в итоге занятия этих ученых сводились к повторению и комментированию политических формул. Выдвигать в сфере общественных наук положения, которых не касался политический документ, было нередко безнадежным делом. Наверное, каждый ученый-обществовед может припомнить не один случай, когда обладающий правом «пущать» и «не пущать» его в печать редактор издательства или журнала, сталкиваясь с «неизвестной» формулировкой, категорически требовал: «Покажите политический документ, где было бы записано это положение». Иначе говоря, критерием истинности научного положения было присутствие или отсутствие его в том или ином политическом документе. Прекрасные предпосылки для «творческого развития теории», не правда ли? Разумеется, страдала не только теория, сама политика переставала питаться соком подлинной науки и быть научной политикой.

Это не парадокс, а очень простая и много раз проверенная жизнью истина: чем более научной желает быть политика, тем меньше ей надо подниматься «над» наукой, тем меньше ей надо подменять науку собой.

Вообще демократия и диалектика связей «наука — политика — практика» предполагают два момента: во-первых, ясное определение специфической функции каждой из этих сфер человеческой деятельности, т. е. их различия, и, во-вторых, выявление их единства как единства разнообразного. Они — различны, у них своя арена, свои способы и методы, и ничего, кроме беды, не приносит позиция, когда ученый высокомерно полагает, что его специфических научных способов и методов достаточно, чтобы умело решать любые политические проблемы, или когда политик с не меньшим высокомерием убеждает, что его политический подход способен обеспечивать решение запутанных научных проблем. Каждому — свое.

Но они — и едины, они не обладают абсолютной самостоятельностью, они только моменты целостной деятельности общественного человека. И поэтому они должны взаимодополнять друг друга. Без этого взаимодополнения, без взаимоперехода друг в друга они не могут обеспечить не только действительного успеха общей социальной деятельности, но и успеха в развитии своей сферы. Вот почему люди, специализирующиеся в одной из сфер деятельности, должны быть и достаточно квалифицированными «смежниками»; ученый, оставаясь ученым, должен уметь мыслить политически, должен уметь хорошо слышать голос практики; а политик — голос науки и т.д. Они, повторяю, должны не подменять друг друга, но — быть открыты друг для друга и совместными усилиями, взаимодополняя друг друга, согласовывая — демократически, диалектически — свои задачи, вести работу по преобразованию действительности.

Итак, в заключение, еще раз: **Что делать? — Ломать механизм торможения в науке и политике, что означает развивать диалектику в науке и демократию в политике и экономической практике, отдавая себе отчет в том, что демократия — это и есть не что иное, как политическая диалектика, а диалектика — демократический способ мышления и развития науки.**

Какой счет?

В отличие от первых двух этот вопрос как будто бы не требует слишком пространного ответа. И все же...

Нас долго приучали к мысли, что наш путь — одни сплошные победы, что мы просто обречены идти от успеха к успеху. Мы побеждали историю, мы били ее с крупным счетом, под ноль. Почти без промахов, неудач и ошибок.

И тут пришел XXVII съезд. Тревожно прозвучало: «застой», «торможение», «факты коррупции, бюрократизма, взяточничества», «распространение двойной морали», «невыполнение планов», «сложная экономическая ситуация» и т.д. и т.п. И послышались некоторые растерянные голоса с несколько паническими интонациями: не мы историю, а она нас бьет — и с крупным счетом...

Не надо крайностей, побольше хладнокровия и выдержки! Процессы идут, конечно, весьма и весьма непростые, но отнюдь не неожиданные и не невероятные для честно и добросовестно думающих людей, в том числе для

тех, кто стоит на позиции творческого (не вульгарного, не догматического) марксизма. Сложный маршрут, противоречивую логику развития социалистической революции предсказывал еще Маркс — свыше ста лет тому назад: «...пролетарские революции... — писал он, — постоянно критикуют сами себя, то и дело останавливаются в своем движении, возвращаются к тому, что кажется уже выполненным, чтобы еще раз начать это сызнова, с беспощадной основательностью высмеивают половинчатость, слабые стороны и негодность своих первых попыток, сваливают своего противника с ног как бы только для того, чтобы тот из земли впитал свежие силы и снова встал во весь рост против них еще более могущественный, чем прежде, все снова и снова отступают перед неопределенной громадностью своих собственных целей, пока не создается положение, отрезывающее всякий путь к отступлению, пока сама жизнь не заявит властнее... Здесь роза, здесь танцуй!». Кажется, что это написано сегодня. Имение так: мы возвращаемся к тому, что казалось уже выполненным, чтобы еще раз начать это сызнова. До победы еще ох, как далеко, нет еще даже перелома к ней. Но инициатива силами перестройки захвачена.

Однако итоги подводить рано. Все решит борьба!

4) Не дать умереть великой (демократическо-социалистической) идее!

Драма международного коммунистического движения (МКД)

В середине 80-х годов международный отдел ЦК КПСС бодро рапортовал советской и международной общественности, что в мире живут, развиваются и идут от успеха к успеху свыше 90 коммунистических партий, тесно сплоченных на «принципах марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма». А лет через 7–8, где-то в середине 90-х годов, никто не мог обнаружить даже следов этого «могучего движения», которое каким-то образом вдруг рассыпалось, вдруг словно провалилось в какую-то историческую дыру, испарилось — словно это был какой-то фантом. О нем не пишут, о нем не вспоминают.

Между тем, при всех присущих ему чертах «фантомности» (из девяти десятков партий больше половины были, действительно, фантомами — не влиятельными и крайне малочисленными организациями, хилая жизненность которых поддерживалась исключительно финансовыми вливаниями КПСС), при всех, повторяю, чертах фантомности, было в этом движении и весьма устойчивое, здоровое начало, отражавшее устремление значительной части угнетенного трудящегося люда нашей планеты к справедливому обществу человеческого равенства и свободы, издавно именуемому социализмом.

Можно ли было высвободить это «начало», очистить его от тоталитарно-бюрократических наворотов, импортируемых из недр КПСС и других партий догматической ориентации? Можно ли было «перестроить» это движение, очистившись от сталинизма и неосталинизма и дав старт новому типу интер-

национализма, способному объединить левые демократические, демократическо-социалистические силы?

Попытки осуществить такого рода реформирование международного социализма предпринимались неоднократно — к примеру, попытки Пражских реформаторов в 1968 году, раздавленные советскими сталинистами. Но особенно масштабным и конструктивным было идейное восстание против КПСС крупнейших коммунистических партий Западного мира — Итальянской, Испанской, Французской, которые выдвинули новую теорию социализма и перехода к нему, которую деликатно, дабы не травмировать агрессивных, неуступчивых и дубоватых советских товарищей, назвали «Еврокоммунизмом»: дескать, мы не вмешиваемся в теорию и практику Советского коммунизма, мы просто избираем новую дорогу к новому социализму, применительно к условиям жизни Западных стран второй половины XX века. На деле же, их идеи и их проекты будущего, конечно, имели целью пересмóтреть многие постулаты коммунистического движения *в целом,* — цивилизовав и демократизировав его, удержать то ценное, что содержалось в прежней теории и практике компартий.

Советские руководители поняли опасность этого замысла для себя лично. Но танками эту опасность не отведешь. «Танковое» **идеологическое** наступление началось немедленно. Иногда своей резкостью и грубостью оно напоминало полемику сталинистов со сторонниками Тито во второй половине 40-х годов. В свое время Тито отлучили от комдвижения, теперь начали оттуда выдавливать еврокоммунистов: был взят курс на раскол компартий — на партии Еврокоммунистические и «просоветские» (т.е. по сути, — догматические, сталинистские). Программы перестройки комдвижения, концепции «исторического компромисса», «нового интернационализма», «новой стратегии классовых и политических союзов», «чередования властвующих политических субъектов», предлагаемые еврокоммунистами, не были, конечно, совершенными, там было, о чем спорить и дискутировать. Но это была возможность выхода из тупика, в который вогнали себя коммунисты, ведомые советской компартией, возможность спасения и социалистической идеи, и социалистической перспективы.

И потому, когда — в связи с горбачевской перестройкой — несколько ослаб кандальный звон межпартийной полемики, то наряду с возможностью «перестроить» социализм в СССР появилась параллельная возможность «перестроить» мировое комдвижение, стратегию и тактику движения к социализму.

Судьбе было угодно подвинуть меня на эту стезю и подтолкнуть к участию в этом важном перестроечном процессе. После статьи против Федосеева (отвечавшего, по поручению горбачевской команды, за «перестройку» научной жизни и теоретической деятельности) мне, как я уже писал, пришлось оставить работу заведующего крупной (около 50 человек, вместе с аспирантами) и весьма боевой кафедрой в АОН при ЦК КПСС. Друзья помогли получить новую, довольно скромную должность заведующего отделом теории в издававшемся в Праге журнале «Проблемы мира и социализма».

Впрочем, состоявший их двух человек (ваш покорный слуга и замечательно смелый и талантливый Володя Гаврилов), наш отдел, поддержанный демократически настроенной частью советского коллектива, повел решительное наступление на позиции, которые можно было бы назвать позициями догматизма и застоя и на которых стояло большинство представителей компартий, участвовавших в работе журнала. А вскоре наш шеф-редактор, понимая, что время меняет ход и вектор политической и теоретической направленности, предложил мне занять кресло ответственного секретаря журнала (что, в условиях указанного международного журнала, соответствовало должности главного редактора, ибо основная миссия шеф-редактора состояла в общении с представителями коммунистических партий в журнале).

Получив руководящую должность, я с энтузиазмом приступил к процессу «перестройки». Слетал в Москву, побывал в ЦК, где прошелся по кабинетам людей, в той или другой степени ответственных за ситуацию в комдвижении, — имел длительные беседы с зам. зав. отделом ЦК Грачевым, с помощниками Горбачева — Черняевым и Шахназаровым и некоторыми другими цековскими консультантами и советниками. Излагал свои планы и программы реформ в коммунистическом движении и его печатном органе. Давали выговориться, не перебивали, но толком никак не комментировали, ничего не советовали — ни возражений, ни поддержки. Весь их унылый и озабоченный вид как бы говорил: да делай ты там, в Праге, что хочешь, нам сейчас не до того (тогда я толком не понимал, чем заняты их мысли и их головы; теперь думаю, их хорошо отлаженные мозговые компьютеры уже тогда просчитывали, куда они лично денутся после краха их цековской «конторы»; впрочем, справедливость требует выделить среди них Георгия Хосроевича Шахназарова, — жившего и тогда, и до конца своей жизни заботами не собственного благополучия, а исключительно Общего Дела, его отличала открытая, демократическая, не чванливо-чиновная манера общения).

В общем, начали мы свою перестроечную кампанию в Праге без благословения начальства и по собственному разумению, как, впрочем, и должно происходить в эпохи крутых реформ. Об этой деятельности, ее опыте и ее уроках дадут представление печатаемые в этом разделе материалы.

Не «обновлять», а строить заново

Разговор наш сегодня (в день ленинского юбилея) получился не юбилейный — без славословий и патетических речей. В центре внимания были трудные, острые и нерешенные проблемы. Именно так поступал при сходных, юбилейных, обстоятельствах Ленин. Такой тип разговора — не только дань его памяти, но и насущное требование нынешней критической для социализма ситуации.

Просто «очищение» — невозможно

Детище Ленина — коммунистическое движение — завершает определенный жизненный цикл. И завершает его не под праздничные звуки фанфар, а

при потушенных огнях и приспущенных флагах. В глубоком и всестороннем кризисе оказалась «родина Октября», с легкостью необыкновенной сдали позиции «социалистические режимы» в Восточной Европе. Споткнулся и приостановился Китай, обремененный наследием маоистской «культурной революции» и недавними позорными выстрелами на Тяньаньмэнь. Снимают опознавательные коммунистические знаки со своих знамен крупнейшая в капиталистическом мире Итальянская компартия, Компартия Финляндии, партии в ГДР, Венгрии, Польше. Нередко не находят между собой общего языка коммунисты как на международной, так и на национальных аренах.

Правда, Фидель Кастро, с присущим ему темпераментом, провозгласил недавно: «...если бы волею судьбы мы однажды остались среди последних защитников социализма в мире, ...мы сумели бы до последней капли крови защитить этот оплот». Верю, что Кастро сможет защитить свой кубинский «оплот». Но вряд ли найдется в мире много охотников защищать «оплоты» Чаушеску — в Румынии, Якеша — в Чехословакии, Хонеккера — в ГДР, Живкова — в Болгарии, Брежнева — в СССР. Сегодня слова «социализм», «коммунист» — скомпрометированы этими «оплотами» основательно. Когда говорят «социализм», то, хотим мы этого или нет, перед глазами встают не только индустриальные пейзажи с оптимистическими лицами стахановцев на их фоне, но и нищая, разрушенная деревня с затравленными в сталинских колхозах людьми, лагерные вышки Гулага, насильственное переселение народов... В ГДР у заводских проходных можно встретить объявления: «Бывшие сотрудники госбезопасности и коммунисты на работу не принимаются». В Венгрии — не какие-то агенты империализма, а жаждущая свободы и демократии студенческая молодежь несет транспаранты: «Коммунисты, вон из наших колонн!». А чехословацкие, румынские юноши и девушки приходят к памятникам пролетарских вождей и, объявляя их идейными вдохновителями репрессий (ну, как же — на груди у Чаушеску два ордена Ленина!), зажигают на постаментах свечи — «В память о жертвах коммунизма!». Прав выступающий сегодня в нашем журнале известный ученый из ГДР Харальд Нойберт: ни созданный сталинистами «социализм», ни организованное ими современное комдвижение не поддаются ни реставрации, ни обновлению.

Я думаю, мы упустили время для этого. Наверняка, легко можно было очистить «социализм» и «коммунизм» от грязи сталинизма в 1956 г., после XX съезда КПСС, когда впервые было сказано о преступлениях сталинщины, когда она выглядела какой-то невероятной социальной аномалией, а свет идеалов Октября еще ярко светил людям. Еще не поздно было это сделать в 1968 г.: Дубчек, Смрковский и их друзья вновь попытались возжечь чистый социалистический факел и возродить мечты о социализме с человеческим лицом. В апреле 1985 г. был, думается, последний (хотя и очень уж непрочный) шанс очищения. Невеселые итоги пяти лет перестройки перечеркнули его. **Да, теперь, по-видимому, на самом деле — реставрации и очищению названные явления и понятия не поддаются. Надо подводить черту под прошлым. И вместе с тем — извлечь из него уроки, чтобы найти дорогу в до-**

стойное человека будущее. Надо учиться мыслить по-новому и говорить новым политическим языком. Не обновлять и реставрировать, а, опираясь на идеи гуманизма и демократии, лежащие в фундаменте марксизма, и извлекая уроки из нашей драматической практики, — строить заново.

Дело не только в сталинизме

Кажется, самый первый урок уже достаточно ясно и достаточно полно усвоен широкими кругами прогрессивных, демократически настроенных людей, желающих создать общество действительного, а не бумажно-конституционного равенства. Этот урок — понимание того, что сталинизм — не просто система ошибок и деформаций социализма, но — идеология и практика несоциалистического и антисоциалистического типа, что сталинизм не просто совокупность «некоторых отступлений» от марксизма и ленинизма, но система взглядов прямо им противоположная, что сталинизм выражает интересы не рабочего движения, не трудящихся, не народа, а господствующего над народом (и потому — антинародного) слоя бюрократической элиты. Это — важное завоевание мировой демократической мысли последнего времени, и об этом, в частности, пишут в данном номере журнала Ю. Красин и М. Роблес.

Но это только одна сторона дела. Сегодня теоретический анализ опускается на куда более глубокие этажи исследования. Речь идет уже не только об оценке сталинизма, но и об углубленной оценке идей и концепций Маркса и Ленина. Совершенно очевидно, что теоретический прогноз классиков «научного социализма» и конкретные результаты «социалистического строительства» драматическим образом не совпали. Может быть, не только в сталинизме дело, может, не безгрешны и марксизм с ленинизмом, может, и они несут «ответственность» за неудачи и провалы коммунистов? — так остро и прямо формулируется вопрос в современном сознании — как научном, так и массовом.

При ответе на него сталкиваются, как правило, две позиции.

Одни утверждают, что первопричина нынешнего кризиса коммунистической практики в том, что был плох, несовершенен сам исходный проект основоположников марксизма. Он был-де романтичен, утопичен, субъективистски «опережал время», и потому попытка его осуществления не могла не сопровождаться переизбытком насилия и, как следствие, должна была с необходимостью завершиться установлением авторитарных режимов. Надо поэтому, во имя демократии и гуманизма, раз и навсегда решительно расстаться с теорией Маркса и тем более с идеями его продолжателя — Ленина, непосредственно обусловившего антигуманную практику сталинизма.

И другой подход: идеи Маркса и Ленина в принципе были хороши; никуда не годными оказались лишь средства и способы их реализации. Поэтому надо не отбрасывать «исходный проект», вернуться к этому первоисточнику в его, так сказать, первозданном, «незамутненном» виде и, очистив его от сталинской грязи, начать все сначала — строить новый мир в точном соответствии с классическим проектом.

Эти точки зрения — в явной или скрытой форме — присутствуют в некоторых из предлагаемых вам сегодня материалов. И та, и другая не лишены определенных оснований, и та, и другая ухватывают какие-то кусочки истины. И все же, я думаю, в целом они обе неверны. Пусть же и моя оценка, наряду с другими, предстанет на Ваш, уважаемый читатель, суд.

В отличие от первой точки зрения я считаю, что «исходный проект» был крупным шагом вперед в истории мировой социальной мысли, достаточно хорош, чтобы открыть новые пути социального развития и достаточно реалистичен, чтобы успешно начать такое движение. В отличие же от второй точки зрения я думаю, что неудачи и провалы коммунистической политики связаны не только с «плохими» средствами реализации, но и с тем, что сам «проект» носил на себе печать определенной исторической ограниченности. И поэтому недостаточно «очистить» марксизм (и ленинизм) от сталинизма, нужно, далее, преодолеть, снять и его собственную ограниченность.

Чем же «проект» хорош и в чем его ограниченность?

Он прежде всего хорош тем, что в нем впервые в истории была разгадана «тайна», над которой билась вся мировая общественная мысль первой половины XIX века: почему Великой французской революции 1789–1794 гг. не удалось осуществить заветную мечту человечества, почему она не достигла цели, которую торжественно написала на своих знаменах — «социальное равенство», и какой урок могут извлечь из ее опыта следующие поколения.

Решение Марксом этой загадки в высшей степени поучительно — тем более, что ему предстояло преодолеть точки зрения, методологически очень перекликающиеся с современными. Так, одни писали, что возникновение бонапартизма и нового неравенства произошло потому, что был плох, утопичен «исходный проект» Руссо и Гельвеция (этих идеологических предтечей Французской революции), и потому во имя подлинного равенства — долой ложную философию Просвещения. Другие утверждали, что беда была не в «проекте», а в волюнтаристских, террористических методах его реализации, присущих Сен-Жюсту и Робеспьеру, и потому нужно вернуться к чистоте просветительской «философии равенства» и воплотить ее в жизнь мирными средствами пропаганды и убеждения. Позиция первых вела — объективно — к апологетике нового, буржуазного, неравенства, вторых — к прекраснодушной концепции утопического социализма. Ни те, ни другие не поняли, в чем действительные достоинства и действительные недостатки просветительских идей, не смогли указать реалистические шаги к подлинному равенству.

Маркс же показал, что «проект» просветителей отнюдь не был утопическим мечтанием, мало связанным с реальной жизнью; он был достаточно хорош и вполне годился, чтобы быть программой и основой объективно назревавших социальных преобразований и практических действий по разрушению феодального общества. Да, сознательно поставленные им конечные цели достигнуты не были, т. е. не удалось создать общества действительного социального равенства и свободы; однако в ходе реализации «проекта» был снят, ликвидирован важный и вполне реальный барьер на пути к этим целям:

уничтожено сословное неравенство (с самого рождения разводившее людей по разным социальным полюсам), все становились политически и юридически равноправными гражданами. Вместе с тем Маркс выявил и историческую ограниченность просветительского проекта, авторы которого не придавали серьезного значения экономическому неравенству людей, их неодинаковому отношению к средствам производства, т.е. факту сохранения частной собственности. А ведь именно развитие частной собственности, как показал Маркс, и послужило в дальнейшем причиной раскола общества на классы с противоположными интересами, базой появления неравенства нового, буржуазного, типа. Отсюда — марксистская коррекция просветительского проекта.

Марксизм, приветствуя ликвидацию революционерами-просветителями феодального барьера сословно-политического неравенства, выдвинул задачу снятия следующего важного барьера на пути к свободе, равенству, универсальному развитию человека — задачу ликвидации частной собственности и доведения равенства людей «до конца», т.е. до их равенства по отношению к средствам производства. Были разработаны также идеи о способах реализации этой задачи — теория классов, классовой борьбы, государства, «социалистической революции». Все это и составило громадный интеллектуальный вклад марксизма в теорию и практику мировой социальной мысли.

А в чем заключалась ограниченность марксистского проекта, особенно отчетливо выявившаяся после Октябрьской революции? Всестороннее, идеологически непредвзятое осмысление Октября и послеоктябрьского развития по-настоящему только начинается и, видимо, послужит трамплином для такого же громадного скачка в развитии социальной теории, каким в свое время было осмысление Марксом и Энгельсом уроков Великой французской революции. Сегодня же обратим внимание только на один аспект этого опыта.

Историческая практика выявила, что подобно тому, как во Французской революции после снятия одного барьера неравенства появился другой и «отчуждение» феодального типа сменилось буржуазным, так и в эпоху «социалистической революции», при снятии барьера неравенства по отношению к средствам производства, неожиданно возник еще один «барьер» неравенства, еще один тип «отчуждения», который и не был предусмотрен авторами классического «проекта».

Что не было предусмотрено?

Отметим прежде всего, что некоторые провидческие намеки на возможность появления в коммунистическом обществе новых форм «отчуждения» в работах Маркса присутствуют, — достаточно вспомнить его рассуждения о «казарменном коммунизме». Имеются там и определенные методологические предпосылки к пониманию новейшего типа неравенства, облегчающие движение современной мысли от марксистской социалистической доктрины к новому уровню социальной теории. В этом отношении громадное значение для понимания специфики развития современного исторического процесса и новейших форм «отчуждения» имеет мысль основоположников мар-

ксизма об эволюции главных источников общественного богатства в истории: природа — вначале, затем — труд и, наконец, — наука. Общество, идущее на смену капитализму, имеет тенденцию поставить именно науку в центр всей своей деятельности; само производство в этом случае становится подсистемой науки. То есть наука становится главной производительной силой, и в этих условиях все более важную роль начинают играть не средства производства вещей, а средства производства научного знания, средства информации и управления. Обо всем этом можно прочитать в работах основоположников. Но вот то, что по отношению к этой производительной силе, к этим «средствам производства», к средствам управления социальными, экономическими и прочими процессами, к тому, что Энгельс однажды очень удачно назвал «средствами развития человека», сформируются новые формы «отчуждения», что на этой основе возникнет новый тип общественного неравенства, — это доктриной Маркса предусмотрено не было. А неравенство между тем сохранилось в форме деления на управляющих и управляемых, распорядителей и исполнителей. По сути, произошло сохранение своеобразной частной собственности (монополии) на знания, информацию, средства производства научного знания, управление научными и социальными процессами. Значимость и последствия этого типа неравенства, этих форм отчуждения и не учитывались или, лучше сказать, не в должной мере учитывались в исходных классических проектах. Социальные различия людей казались малозначащими и легко устранимыми в рамках нового общества, которое было названо социалистическим. Но выяснилось, что это не просто проблемы развития науки и социального управления. Отношения в области науки перестают быть собственно научными отношениями; отношения в сфере социального управления перестают быть отношениями профессионально-техническими. Они все больше становятся политическими и производственными отношениями. Иначе говоря, на основе монополии на знания, информацию, средства управления возникают определенные группы людей, которые постепенно формируются в новый господствующий социальный слой, который можно было бы назвать бюро-техно-кратией. Выяснилось далее, что без равенства людей по отношению к «средствам развития человека» невозможно и искомое в «пролетарской революции» равенство по отношению к средствам производства; оно будет лишь формально провозглашенным в конституции обобществлением — формальным обобществлением, а собственность — лишь формально общественной собственностью, потому что невозможно быть действительным хозяином и подлинным распорядителем богатств, будучи отчужденным от информации, статистики, научного знания, системы управления. А без этого, кстати, невозможно и действительное политическое равенство, ибо человек, отчужденный от современных источников знания и средств управления, стоит вне политики.

Итак, история XX столетия в чем-то повторила историю столетия предшествующего. XX век был веком постепенного снятия «барьера» производственно-экономического неравенства и порождения неравенства нового ти-

па. Господствующий социальный слой прошлого столетия — класс частнособственнической буржуазии — уступил свое место новому господствующему слою — бюро-техно-кратии, буржуазные формы «отчуждения» — авторитарно-бюрократическим. Причем процесс этот происходил не только в социалистических, но, в специфических формах, и в капиталистических странах, что нашло свое своеобразное отражение в различных вариантах концепции «революции управляющих», разрабатывавшейся Бернхэмом, Берли, Гэлбрейтом и др. Официальные коммунистические теоретики много и сердито критиковали этих «буржуазных ученых». И те в своем анализе не были, конечно, безупречны. Но ими была схвачена важная черта эволюции капитализма XX столетия — передвижка реальной власти от традиционных частнокапиталистических собственников к менеджерам, техноструктуре, технократии, что видоизменяло и тип общества, и содержание его противоречий, и характер социальной борьбы (что, увы, мало учитывалось официальными теоретиками и программными документами компартий).

Иначе говоря, и в западных, и в восточных странах в разных формах, разными путями возникали новые (в чем-то сходные) типы «отчуждения» и общественного неравенства, складывались новые (в чем-то сходные) формационные образования, которые на Западе переставали быть классически-капиталистическими, а на Востоке — отнюдь не становились классически-социалистическими.

Вот возможность появления общественных отношений, основанных на «отчуждении» и социальном неравенстве нового типа, и не была предусмотрена «исходными теоретическими проектами».

У исторической развилки: три варианта выбора

С названной ограниченностью и была связана последовавшая историческая драма марксистских (и ленинских) идей. Ленинизм в своем классическом варианте исходил из того, что общество после «пролетарской революции» станет принципиально однородным, а оно оказалось разделенным на социальные группы с противоположными интересами. И когда в конце 20-х годов это определилось, — ленинская концепция социального развития уже не могла выступать в качестве безусловного компаса движения. Ведь ленинизм периода Октябрьской революции и первых лет после нее был выражением объективного единства интересов всех слоев угнетенного народа, дружно восставших против политического режима царизма и экономической системы частной собственности. И так же, как когда-то, в эпоху Французской революции (снова прибегнем к весьма поучительной исторической параллели!), единое (в самом начале борьбы) третье сословие начало раскалываться на противостоящие социальные группы — буржуазию и пролетариат, — точно так же единый (поначалу) российский революционный народ стал (в 20-е годы XX в.) раскалываться на бюрократию и трудящихся. А раскол социальных движений обусловливал и раскол той единой идеологии, которой они раньше руководствовались. Так, в свое время французское Просвещение

дало исток двум теоретическим течениям: буржуазно-апологетическому, отражающему интересы обособляющегося класса предпринимателей, и социалистическому, отражающему объективно интересы угнетенных слоев, но в форме программы, выставляемой от имени общества «вообще» и не принимающей во внимание его антагонистический разлом, и потому социалистические программы того времени превращались в утопически-социалистические. Сходная эволюция происходила с ленинизмом. По мере социального расслоения советского общества он начал утрачивать свою однозначность. Появилась — под именем «марксизм-ленинизм» — его сталинская интерпретация, суть и объективное назначение которой — выражение интересов господствующего бюрократического слоя под флагом теории, традиционно выступавшей от имени и во имя всех трудящихся. С помощью этикетки ленинизма сталинистская бюрократия стремилась представить свой узкоэгоистический интерес в качестве всеобщего интереса.

И другой «вариант» ленинизма — нравственно привлекательный, но теоретически и политически весьма беспомощный, он был связан с сохранением наивной веры в то, что общество после Октябрьской революции становится все более однородным и что у всех его членов — общие, примерно одинаковые интересы и единые цели; что всякие «деформации», «головокружения от успехов», беззакония и репрессии есть результат не сознательной борьбы с народом бюрократических сил, а всего лишь более или менее тяжелые «промахи» и «ошибки», на которые следует указать и которые можно исправить, предложив более совершенный путь к общим целям. Поскольку же цели у двух главных социальных групп общества были уже различными и даже взаимоисключающими, то обращение к ним с одинаковым призывом «жить дружно», консолидироваться и действовать сообща — обнаруживало не гуманизм и конструктивность, а лишь наивность призывающего. Такой «ленинизм» в атмосфере социально неоднородного общества превращался все больше в утопическую конструкцию — я бы назвал этот строй мышления «утопическим коммунизмом». Классическим его представителем был симпатичный, образованный, гуманный и... предельно наивный, совершенно запутавшийся в социальных хитросплетениях послеоктябрьской эпохи Николай Бухарин. Обладая бесконечным интеллектуальным превосходством, он, однако, не имел никаких шансов одержать верх над Сталиным. Ибо сталинизм, при всем своем интеллектуальном убожестве и теоретической бедности, был адекватным выражением реальных интересов реального общественного строя — бюрократии. Бухаринизм же был изначально обреченной на неудачу попыткой формулировать единые, общие цели антагонистических по своему социальному положению сил.

Сталинизму мог бы успешно противостоять лишь тот вариант «ленинизма», который сумел бы раскрыть механизм нового «отчуждения», описать содержание новых социальных антагонизмов и выразить антибюрократический настрой трудящихся масс. Трагедия состояла в том, что этот вариант «ленинизма» не состоялся. Может, не мог состояться? Я убежден — мог! И вот почему.

Да, конечно, из того исторического далека, в котором зарождался и развивался марксизм (и ленинизм), предвидеть возникновение нового «барьера» неравенства, нового типа «отчуждения» было невозможно. Но был в ленинизме тот мотор движения, который, при чуть более благоприятных обстоятельствах, был способен вывезти это учение на путь изменений, более адекватно отражающих новую реальность. И это отнюдь не фантастические мои уверения. Факты убедительно свидетельствуют, что постоянное фиксирование внимания на обратной связи «практика — теория», постоянная методологическая готовность к самоизменению теории позволили Ленину уловить возникновение первых симптомов неблагополучия послеоктябрьского развития. Он первым из коммунистов начал размышлять о возможности, при определенных условиях, «термидора». Он первым увидел серьезную опасность в расширяющемся и крепнущем бюрократическом слое: если мы от чего и погибнем, провидчески писал он, так это от бюрократизма. Именно он выдвинул перед рабочим классом Советской России задачу — научиться защищаться от своей бюрократии. Тезис о необходимости «перемены всей точки зрения на социализм», о чем подробно говорится в статье Евгения Плимака, и был началом принципиальных изменений в теории ленинизма. Последовательное развитие этих начал давало серьезный шанс избежать трагедийного варианта развития. Смерть помешала Ленину довести эту работу до конца, а достойных преемников у него, увы, не нашлось. Ученики Ленина не смогли продолжить этот виток восхождения ленинской мысли. Они не в принципе «не могли» (как иногда утверждают), они просто не смогли осуществить это восхождение. История, к сожалению, устроена не так уж «разумно», и не в каждую полночь вылетает из гнезда мудрая сова Минервы — что бы там ни говорил старик Гегель.

Вот и получилось, что сталинизму противостояли лишь утопически-коммунистические концепции, не сумевшие подняться до понимания социально-противоречивого характера нового общества, выработать стратегию устранения этих антагонизмов и потому постоянно терпевшие неудачи. Типичными «коммунистами-утопистами» были Хрущев и все «поколение XX съезда». Сильно влияние утопически-коммунистических представлений и в том политическом курсе, начало которому положил апрель 1985 года. Перестройка не идет, потому что ее «архитекторы» исходят из утопической посылки — принципиальной социальной однородности советского общества, принципиального единства цели всех его слоев. В итоге предлагаются «программы», не устраивающие никого, в итоге, несмотря на призывы к «консолидации», разные социальные силы, преследуя свои специфические интересы, тянут нашу отечественную «телегу» в разные стороны. Она скрипит, покачивается и… остается на месте — ибо происходит не сложение сил, а их взаимное вычитание.

Не быть утопистом сегодня означает прежде всего ясно осознать, что советское общество — это общество, не преодолевшее «отчуждения», а следовательно, и социального неравенства, общество, разделенное на социальные образования, слои, группы с различными, а то и противоположными

интересами; что в этой связи одна из важнейших задач состоит в том, чтобы дать этим интересам выразиться — в организационных и политических формах, программах и деятельности движений, партий, клубов, объединений и т.д. Выразиться — не для того, чтобы они, осознав себя, сошлись в жестокой и кровавой схватке по образцу 1789–1794 или 1917–1920 гг., а чтобы появилась возможность осмысленного, цивилизованного, человеческого разрешения противоречий, суть которых — в нахождении и провозглашении всеми эт ими борющимися силами демократического компромисса.

Через размежевание — к новой консолидации

Да, солидарность, сложение усилий всех основных слоев и групп советского общества — насущная необходимость. Но путь к такой солидарности, к единству действий пролегает, как я думаю, не через авторитаризм президентской власти (еще одна утопическая попытка обеспечить единство через насильственное приведение сверху к «общему знаменателю» всех различий!), а через сознательно и свободно осуществляемое разнообразными политическими и идейными силами национальное согласие. И необходимое предварительное условие такого компромисса — полное, широкое и свободное размежевание, политическое самоопределение всех общественных сил. Там, где нет ясного, осознанного разделения сил, не может быть и плодотворного их сложения, там невозможна прочная консолидация общества. Тут все предельно просто: либо действительная демократия, либо диктатура 6-й статьи конституции. Третьего — не дано.

«Через размежевание — к новой консолидации» — это условие развития не только обществ социалистического выбора, но и всего международного демократического (в том числе — коммунистического) движения. О кризисе комдвижения пишет в своей статье иорданский коммунист Саид Салем. С ним можно в чем-то соглашаться, в чем-то — нет, но главный его тезис мне представляется несомненным: международное коммунистическое движение во всех странах и регионах переживает глубокий кризис, и необходимы срочные теоретические, политические и организационные усилия, чтобы спасти, сохранить, развить, обогатить и продолжить то лучшее, что в нем было и в каком-то виде еще продолжает существовать. В самом деле, разнообразие позиций компартий сегодня таково, что говорить о каком-то едином международном движении значило бы предаваться иллюзиям. Ряд компартий, коммунистических групп и организаций занимает откровенно сталинистские и неосталинистские позиции, другие — напоминают КПСС периода брежневского застоя (с их без конца повторяемым и совершенно выхолощенным паролем-лозунгом, по которому узнают единоверцев: «марксизм-ленинизм» и «пролетарский интернационализм»), третьи — стремятся к обновлению и перестройке, четвертые — эволюционируют в сторону «лево-социалистических» партий и готовятся вступить в Социнтерн, пятые — объявляют о самороспуске, шестые — предпочитают раствориться в новых социальных движениях. Сегодня в мировом движении сил социального прогресса разме-

жевание и объединение идут совсем по другим основаниям, нежели раньше — в XIX или в первой половине XX столетия. Кардинальным образом изменились реальности — и поэтому незачем нам цепляться за старое. Сегодня нужно плюралистическое единство всех левых, демократических, миролюбивых сил современного мира.

* * *

В скорбные для всех прогрессивных людей январские дни 1924 года Надежда Константиновна Крупская произнесла слова, не только не потерявшие своего значения сегодня, но и наполнившиеся (в связи с определенным опытом истории) новым большим смыслом: «...не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почитание его личности. Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память и т.д., всему этому он придавал при жизни так мало значения, так тяготился всем этим. Помните, как много нищеты, неустройства в нашей стране. Хотите почтить имя Владимира Ильича — устраивайте ясли, детские сады, дома, школы, библиотеки, амбулатории, больницы, дома для инвалидов и т.д. ...»

Маркс называл коммунизм «реальным гуманизмом», Ленин рассматривал социализм как строй, доводящий демократию «до конца». Реализовать на практике основной замысел наших великих предшественников: создать гуманистический и демократический общественный строй — что может быть выше этой задачи? Не будем только упускать из виду, что новые условия современной жизни диктуют нам новые формы и способы реализации их основного замысла. Вот почему, осуществляя завещанное ими, давайте чаще вспоминать один из любимых афоризмов Плеханова: я не хотел бы говорить и думать, как Вольтер, в то время, когда сам Вольтер говорил и думал бы иначе.

Драма МКД: кто сорвал перестройку?

Это — отрывок из единственной имеющейся в нашей литературе работы, дающей анализ попыток перестройки международного коммунистического движения и его интернационального органа — журнала «Проблемы мира и социализма» (ПМС). Автор этой не публиковавшейся рукописи — молодой исследователь ***Анна Глинчикова*** *(это ее дипломная работа). Я советую доверяющему мне читателю внимательно ознакомиться с приводимым отрывком. В нем точно изложена фактическая сторона дела, цитируются архивные документы, впервые публикуемые, наконец, здесь вы найдете анализ драмы, разыгравшейся в МКД — на рубеже 80–90-х годов XX века, участником которой (в качестве одного из руководителей журнала «Проблемы мира и социализма») довелось мне быть. Я целиком разделяю подходы и оценки автора.*

Г. Водолазов

Анна Глинчикова. ***Кризис МКД: борьба авторитарной и демократической тенденций*** *(По материалам журнала «Проблемы мира и социализма»)*

Июнь 1990 года. Последний номер «Проблем мира и социализма», журнала, бывшего, по сути, рупором Международного коммунистического движения (МКД). Открывается он скупым и сдержанным автонекрологом: «Настоящим номером журнал “Проблемы мира и социализма” заканчивает свое 32-летнее существование.

Коротко и глухо — о причинах смерти: «Перемены в международном коммунистическом и рабочем движении, новые условия в мире, бурные и неоднозначные процессы, происходящие в странах Восточной Европы, возникшие трудности, включая материальные и технические, сделали дальнейшее издание этого журнала невозможным».

Это не просто последний номер **журнала**. Это последнее слово **МКД**, ибо никаких других органов, представляющих МКД, уже не было. Иначе говоря, это конец не журнала, а Международного коммунистического движения.

Что же случилось, что произошло с Движением, имевшим поистине мировую арену существования и во многом определявшим судьбы человечества в XX столетии? Как, почему и куда ушло оно?

Об этом — почти ничего в нашей литературе. Попытаемся восполнить этот пробел, ограничив, впрочем, свою задачу. Мы рассмотрим этот процесс кризиса и исчезновения МКД через призму судьбы журнала ПМС, этой последней формы, последнего знака интернациональности Движения коммунистов. Этот ракурс рассмотрения, конечно, не даст представления о *всех* сторонах указанного кризиса и попытках его преодоления, но все же он позволит рассмотреть некоторые существенные стороны этого процесса. И наш анализ может послужить толчком для изучения и исследования других аспектов судьбы МКД в конце XX столетия.

Материалы и источники, на которые мы, главным образом, опирались в ходе своего исследования:

— номера журнала «Проблемы мира и социализма»;

— архив ПМС, где особенно внимательно мы изучили «закрытые» прежде стенограммы совещаний компартий в журнале (в особенности, совещаний последних месяцев существования журнала, в которых принимали участие представители свыше 50 партий и где позиции партий были представлены с полной откровенностью, без вуали официальных публикаций; мы получили возможность ознакомиться с этими позициями в наиболее драматический период существования МКД);

— переписка руководства журнала с международным отделом ЦК КПСС, помощниками Генерального секретаря ЦК КПСС и ответственными работниками ЦК партии, курировавшими работу журнала;

— стенограммы международных совещаний коммунистических и рабочих партий; документы Коминтерна и Коминформа.

Особое место в нашей работе займет подробный анализ последнего номера журнала «ПМС». Этот, последний, номер — настоящее зеркало истории МКД и его состояния на июнь 1990 года: там, в компактной и яркой форме, представлены основные позиции коммунистических партий различных регионов мира, их взгляды на социально-политическую ситуацию своих стран и мира в целом, на судьбы социалистической идеи, социалистической практики и социалистического идеала. В этом номере, наряду с *автонекрологом*, сообщающим о закрытии журнала, публикуется извлеченная из архивов «ПМС» декларация о *рождении* журнала — отрывок из стенограммы пражского совещания 1958 года представителей ряда ведущих компартий мира, решивших создать этот интернациональный орган комдвижения. В этой стенограмме — о замыслах, целях и надеждах. Сопоставление этого материала с публикациями последнего номера дает возможность наиболее зримо представить себе путь, проделанный МКД и журналом за последние 32 года, контрастно сопоставить надежды, замыслы и результаты. А проблемы, возникающие на основе такого сопоставления, отсылают нас к статьям других номеров журнала, к материалам международных совещаний компартий, к фундаментальным принципам интернационального движения коммунистов, которые формулировались его основоположниками, его лидерами — от Маркса, Энгельса, руководителей Первого, Второго, Третьего Интернационалов до решений и концепций Международных совещаний коммунистов XX столетия…

Концепция интернационализма (классическая традиция)

Наш анализ (опущенный в данном отрывке — *Г.В.*) показал, что *развитие* классической (марксистской) теории шло от концепции «единства одинакового» к концепции «единства разнообразного». Конечно, в каждую эпоху само «разнообразие» имеет «разнообразный» (т.е. специфический) характер, и соединение этого «разнообразия» в «единство» в каждую эпоху происходит поразному. Марксизм не претендует на вычерчивание универсальной схемы на все времена. Каждая эпоха требует своего, конкретного анализа. Но *методологический* принцип, выработанный марксизмом, универсален: находить единство в *многообразии*. Авторитарно-директивный тип взаимоотношения партий на мировой арене — губителен для движения в целом и для каждой, входящей в него партии. **Авторитарная тенденция, стремление из одного центра навязывать партиям единый тип деятельности ведут не к единству и сплочению, а к развалу единства и разрушению сплоченности.**

Эту истину предстояло — на своей практике — усвоить комдвижению во второй половине XX века.

1958–1962 гг: авторитаризм раскалывает комдвижение

То, что авторитаризм — предвестник раскола, продемонстрировано было довольно быстро. В борьбе за гегемонию в МКД столкнулись две крупнейшие партии, с одинаковым авторитарно-сталинистским менталитетом, КПСС и КПК (Компартия Китая). Каждая претендовала на то, чтобы быть руководя-

щим центром в МКД. Раньше лидерство КПСС не оспаривал никто. Теперь все более усиливавшийся Китай настаивал на смене лидера. Тем более, что КПК возглавлял Мао Цзедун — по мнению многих в комдвижении, пятый (после Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина) классик марксизма (возглавлявший КПСС «практик» Хрущев на роль «классика» явно не тянул). «Центр мирового революционного процесса перемещается в Китай», «ветер с Востока довлеет над ветром с Запада» — обосновывали свои претензии маоисты. Конечно, никаких дискуссий, никакого консенсуса по этим вопросам обе авторитарные партии не допускали. Ни о каком «сосуществовании» двух «центров» не могло быть и речи. «Сосуществование» — это уже элемент демократизма. Или — или! Или КПСС, или КПК! Только так, и никак иначе!

Авторитарные претензии обеих партий привели к первому крупному расколу комдвижения в начале второй половины XX века. Из общего потока выделилась не просто КПК, но в значительной части партий (особенно азиатского региона) стали возникать партии и организации, ориентирующиеся на маоизм. В другой (большей) части комдвижения, естественно, доминировала несколько менее догматичная, чем КПК, — КПСС. В самом начале 60-х годов представители КПК, естественно, покинули журнал «ПМС», и доминирующие позиции советских коммунистов в нем еще более укрепились. Идеологи и политические лидеры КПСС склонны были видеть в этом «победу советских коммунистов». Но это была, скорее, пиррова победа. Это была не победа демократической тенденции над авторитарной, это была победа одной авторитарной тенденции над другой. В целом, это была победа авторитаризма. Авторитаризма КПСС. И эта «победа» стала залогом будущих «поражений», а в конечном счете, и кризиса коммунистического движения.

А что же «демократическая тенденция»? Ее приверженцы пытались ввести конфликт советской и китайской компартий в русло демократической полемики: давайте не клеймить друг друга, не видеть друг в друге «врагов» («ревизионистов», «догматиков», «социал-предателей»), давайте полагаться не на силу угроз, а на силу аргументов, а при особо значительных расхождениях давайте доверимся времени и показаниям опыта. Но эти призывы остались втуне. Авторитаристский менталитет не воспринимал их.

Тем не менее, демократическая тенденция, в прямом или скрытом противостоянии авторитаризму, не исчезала и иногда добивалась впечатляющих успехов, и все же закрепить их доминировавшая авторитарная тенденция не давала, неуклонно подвигая Движение к кризисной черте. Но пласт демократических идей в комдвижении, тем не менее, пополнялся — и это давало шанс на то, что кризис будет не катастрофическим, что выход из него будет найден. Попробуем вкратце проследить за этой логикой развития демократической тенденции, определить завоеванные ею рубежи.

Рубежи демократического социализма

Первым (после XX съезда) рубежом, на котором наметилась возможность соединения Демократии и Социализма, был 1968 год.

Это был поистине знаменательный год.

Год новых демократических, антикапиталистических движений (интеллектуальных сил и студенчества, в первую очередь) в странах Запада. Движений, среди которых особый авторитет и особую силу имело движение, получившее название «новых левых». Это движение обратило внимание западно-европейских коммунистов на новую социальную силу, порожденную условиями научно-технической революции и способную стать мощным союзником рабочего класса в социально-преобразовательной деятельности.

Это был год «Пражской весны». ««Пражская весна»» — самый крупный шаг, самый большой успех демократического социализма в XX столетии. Не просто планы, не просто программы *будущих* преобразований, — это была практика правящей коммунистической партии в одной из высокоразвитых европейских стран. Лидеры чехословацкой компартии Дубчек, Смрковский, Черник, Шилган, Цисарж и дружно поддержавший их Центральный комитет КПЧ выдвинули лозунг «Социализма с человеческим лицом», начали широкую демократизацию партийной и всей политической жизни в стране. Лозунги нашей перестройки 80-х годов во многом повторяли лозунги «Пражской весны». Прага 68-го года указывала на великий для социализма шанс превращения застойной авторитарной системы в гуманистическую и демократическую. Но обновления социализма ни в Чехословакии, ни в мире в целом не получилось: авторитарные силы (во главе с брежневским руководством КПСС) уничтожили этот шанс, направляя коммунистическое движение в авторитарный тупик.

И другая крупная попытка обновления социалистической идеологии, демократизации и гуманизации комдвижения — рождение *Еврокоммунистической идеологии*.

Ее теоретические предпосылки — в «Тюремных тетрадях» Антонио Грамши (30-е годы), потом — идеи Пальмиро Тольятти (в особенности его «Политическое завещание» 1964 года), где главными темами были значение культуры и демократии для практики социализма.

И вот, наконец, Энрико Берлингуэр и его «команда» в руководстве ИКП. Особенно значимы для еврокоммунистической концепции были выдвинутые итальянскими коммунистами две крупных идеи: «Исторический компромисс» и «Новый интернационализм».

«Исторический компромисс». Это создание, в первую очередь, Берлингуэра. В основе этой концепции лежала идея сближения демократическо-либеральных и демократическо-социалистических ценностей (отметим: крупная идея, подтверждаемая опытом последующего развития политической теории и политической практики!). На этой методологической основе вырастало новое понимание современного капитализма и возможностей его эволюции. Еврокоммунизм принимал и включал в корпус своих идей концепцию «революции управляющих», ослабившей господство собственников средств материального производства в обществе; придавал большое значение разви-

тию «среднего класса», существенным образом изменившего социальное лицо и характер противоречий буржуазного общества, и самим фактом своего существования уменьшивший пропасть, разделявшую прежде полюса богатства и бедности, и тем снизивший антагонизм в отношениях между этими полюсами. Было обращено самое пристальное внимание на изменение структуры наемного труда: расширение слоя квалифицированных рабочих, преимущественно интеллектуального труда («белых воротничков»); отмечено расширение социальной базы социализма — за счет людей науки (становящейся главной производительной силой) и широких слоев интеллигенции (перестающей быть узкой социальной прослойкой и превращающийся в массовый социальной слой). По-новому был поставлен вопрос о путях и методах движения к социализму. Доминирующим назван путь мирных, эволюционных преобразований — через борьбу на выборах, парламентскую деятельность, возможность чередований партий во властных структурах. Предложена и новая стратегия социальных союзов с лозунгом: «Не соперничество, а сотрудничество».

Короче, это была новая глава в развивающейся социалистической теории, и глава весьма обещающая.

Концепция «нового интернационализма». Особенно велик вклад в эту теорию известного теоретика итальянской компартии и руководителя ее международного отдела Антонио Рубби. Опорными пунктами этой концепции были: возможность (а нередко и целесообразность) формирования на международной арене союзов не только между коммунистическими партиями и организациями, но и с социал-демократическими, либеральными (выступающими за мир, демократию и гуманизм, то есть — неолиберальными) силами; создавая новое интернациональное сообщество партий, не ставить, как когда-то, в качестве *главной* его задачи, защиту «первой страны победившего социализма», это — лишь одна из его задач (да и само выполнение этой задачи существенно модифицируется: «защита» этой страны исключает ее некритическую апологетику, она совместима с критикой этой страны — там, где она отступает от принципов гуманизма и демократии); и, как общее правило, разработка национальной стратегии компартий — прерогатива данных партий, а не какого-либо международного органа; интернационализм предполагает также возможность прямой и откровенной дискуссии между партиями.

Позиция ИКП была активно поддержана Компартией Испании (КПИ) и Французской компартией (ФКП).

Размышления испанских коммунистических теоретиков нашли наиболее полное выражение и обобщение в вышедшей в 1974 году книге генерального секретаря КПИ Сантьяго Каррильо «Еврокоммунизм и государство». В ней повторялись и развивались выдвинутые итальянцами идеи «Исторического компромисса» и «Нового интернационализма». Но была у этой книги дополнительная особенность: в ней весьма резко критиковался опыт строительства социализма в СССР и предлагался «испанский (западно-европейский) путь к социализму», отличающийся от того, каким шел СССР. В особен-

ности — в вопросах строительства «социалистического государства». Каррильо выступал категорически против известной идеи «слома государства», только эволюционный, только мирный путь, хотя и осуществляющий систему радикальных социальных реформ.

Одной из теоретических основ еврокоммунистической концепции стала книга «СССР и мы», написанная в 1978 году четырьмя видными французскими коммунистами во главе с Ф. Коэном. Уже название этой книги ясно говорило о ее замысле: у Франции будет иной путь к социализму, нежели в СССР. Книга полна критикой сталинистских извращений изначально гуманистических социалистических идеалов.

Отметим, однако, что выступая с довольно откровенной критикой опыта строительства социализма в СССР, его тоталитарных и авторитарных аспектов, осуждением преступлений сталинизма, еврокоммунистические идеологи, тем не менее, рассматривают СССР и КПСС, как дружественные организации, и предпринимают усилия, чтобы убедить эти «дружественные организации» вступить на путь отказа от авторитарных методов и перейти на позиции гуманизма и современной демократии.

Надо сказать, что руководство КПСС довольно нервно реагировало на появление еврокоммунистического течения, в особенности на критику опыта строительства социализма в СССР и современную стратегию КПСС. Напряжение критики советская номенклатура не выдерживала. Она не понимала, как это возможно: критиковать и сохранять дружеские отношения, как вообще возможно видеть недостатки в деятельности «самой прогрессивной силы современности» (то бишь — КПСС). С довольно суровой критикой еврокоммунистических идей (в особенности их интерпретации в книге Каррильо), а также позиции авторов книги «СССР и мы» выступали органы ЦК КПСС — журналы «Коммунист» и «Партийная жизнь». На закрытых же партийных собраниях и идеологических совещаниях еврокоммунисты уже начали рассматриваться, как злейшие враги марксизма вообще и КПСС в особенности. МКД стояло на грани нового капитального раскола, на рубеже нового «отлучения» значительной части компартий от комдвижения, контролируемого КПСС. Уже во многих странах под патронатом КПСС создавались параллельные коммунистические партии не-еврокоммунистической ориентации. Авторитарные методы продолжали свою работу по разрушению МКД.

Но пришел Апрель 1985 года, пришла советская перестройка, а с нею — и новые надежды. Надежды на обновление социализма, на развитие социалистической теории. Журнал «Проблемы мира и социализма» попытался реализовать эти затеплившиеся было надежды...

Новое, демократическое, лицо журнала, новый облик МКД

Последние номера журнала «ПМС» (за 1989–1990 гг) просто удивительны. Они — яркая и зримая демонстрация того, чем могло бы стать коммунистическое движение в конце XX века, демонстрация больших возможностей социалистической идеи, возможностей обновления социалистической иде-

ологии и социалистической практики. Они необыкновенны по тематике: свободный, честный и открытый разговор о непростой ситуации в коммунистическом движении, которую журнал не боится определить как «кризис», остро критичный разговор о практике социально-политического строительства в социалистических странах, откровенный разговор о достоинствах и ограниченности (а то и ошибочности) фундаментальных положений классической марксистской теории, ранее считавшейся абсолютной, непогрешимой истиной. «Международное коммунистическое движение, — говорится в программной статье «ПМС» (№ 4, 1990), — завершает определенный жизненный цикл. И завершает его не под праздничные звуки фанфар, а при потушенных огнях и приспущенных флагах. В глубоком и всестороннем кризисе оказалась «родина Октября», с легкостью необыкновенной сдали позиции «социалистические режимы» в Восточной Европе. Споткнулся и приостановился Китай, обремененный наследием маоистской «культурной революции» и недавними позорными выстрелами на Тяньаньмэнь. Снимают опознавательные коммунистические знаки со своих знамен крупнейшая в капиталистическом мире Итальянская компартия, Компартия Финляндии, партии в ГДР, Венгрии, Польше. Нередко не находят между собой общего языка коммунисты как на международных, так и на национальных аренах».

И по форме подачи материалов необыкновенны последние номера «ПМС»: много «круглых столов», много дискуссий, и дискуссий не формальных, а в высшей степени содержательных, на которых встречаются, сталкиваются в острой (хотя и в абсолютно корректной) форме позиции различных идейных направлений, научных школ и теоретических подходов.

Зафиксируем основные черты этого нового облика МКД, рождающегося на страницах журнала.

Единство разнообразного

Это именно то, чего так прежде недоставало международному коммунистическому движению, стремившемуся к унификации, к единству одинакового. Считалось, что разнообразие разрушит сплоченность, разрушит практическую силу Движения. Журнал демонстрирует прямо противоположное: многообразие подходов, их сопоставление как раз дает жизнь Движению, служит предпосылкой нахождения эффективных путей решения проблем, встающих перед теорией и практикой социализма.

Такой палитры красок, как в последних номерах «ПМС» никогда не знало и не видело коммунистическое движение. Тут открыто и прямо представлены, без исключения, все оттенки подходов и мнений, существующих в коммунистическом движении, а также в других идеологических течениях — и близких к МКД, и далеких от него. При этом журнал подчеркивает, что назначение этого «многообразия», этого сопоставления мнений в том, чтобы «спасти, сохранить, обогатить и продолжить то лучшее, что было в МКД и в каком-то виде еще продолжает существовать», чтобы обогатить, обновить социалистическую теорию, дополнить ее гуманистическими и демократически-

ми ценностями, разрабатывавшимися в лоне других идеологических течений. Журнал никого не лишает слова, его арена — для всех значимых идеологических течений. Журнал откровенно говорит о серьезном разбросе позиций внутри коммунистического движения: «Ряд компартий, коммунистических групп и организаций занимает откровенно сталинистские и неосталинистские позиции, другие — напоминают КПСС периода брежневского застоя (с их без конца повторяемым и совершенно выхолощенным паролем-лозунгом, по которому узнают единоверцев: «марксизм-ленинизм» и «пролетарский интернационализм»), третьи — стремятся к обновлению и перестройке, четвертые — эволюционируют в сторону «лево-социалистических партий и готовятся вступить в Социнтерн, пятые — объявляют о самороспуске, шестые — предпочитают раствориться в новых социальных движениях»[1]. И каждому направлению находится место в журнале — пусть широкие круги коммунистической и демократической общественности знакомятся с этими позициями и выбирают наиболее убедительные и приемлемые. Пусть ход дискуссий, а не административный приказ определит доминирующую систему политического мышления.

1) *Авторитарная, консервативно-фундаменталистская позиция*, стремящаяся приостановить обновленческие процессы и осуществив некоторые поверхностно-косметические изменения, вернуть комдвижение к прежним идеологемам.

Эта позиция существенным образом расходится с позицией журнала. И прежний «ПМС» *ни за что* не предоставил бы своих страниц своим идеологическим оппонентам, он объявил бы им борьбу не на жизнь, а на смерть (клеймя их «ревизионистами», «левыми» и «правыми» оппортунистами, «врагами марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма») — по принципу «кто не с нами, тот против нас». *Демократический* же «ПМС» конца 80-х годов поступает иначе. Вот вам трибуна, вот вам читатели и слушатели — выступайте, убеждайте, соревнуйтесь, открыто и честно с другими течениями и взглядами.

На страницах журнала с развернутыми концепциями выступают руководители одной из наиболее консервативных коммунистических партий того периода — компартии Чехословакии — ее председатель — Л. Адамец («ПМС», № 2, 1990), секретарь КПЧ Й. Ленарт («ПМС», № 3, 1990). Свои далеко не «перестроечные» позиции излагают члены ЦК Трудовой партии Кореи (КНДР), вьетнамские, румынские товарищи. С большими оговорками, выхолащивающими ее суть, выступают член ЦК Монгольской народно-революционной партии, главный редактор газеты «Унэн» Тудэв («ПМС», № 10, 1989) и член политбюро СЕПГ (ГДР) Э. Кренц (там же). С пламенной революционно-социалистической статьей (идеи которой мало сопрягаются с реалиями конца 80-х годов) выступает в № 3 за 1990 год Фидель Кастро с характерным для

[1] Проблемы мира и социализма («ПМС»). № 4, 1990, с. 41.

него заглавием статьи «Социализм или смерть». Наконец, достаточно широко представлена специфическая точка зрения китайских коммунистов на процессы, идущие в коммунистическом движении и в Китайской народной республике («ПМС», № 2 и № 3, 1990).

2) *Демократически-социалистические, «обновленческие» позиции.*

Их представители — постоянные участники дискуссий и предлагают *различные варианты* «обновительских» программ и действий. Дискуссии — относительно типов и масштабов «обновления». Демократия — и есть, в первую очередь, дискуссия. Приказы и догмы не обсуждаются, они просто принимаются к сведению.

В журнале «ПМС» материалы обновленческого типа занимают доминирующее место — и тем, в первую очередь, обозначают общую позицию журнала. Подходы в различных «обновленческих» статьях и выступлениях — очень разные, и дискуссии, хотя и дружественные, — весьма острые.

а) Большое место уделяет журнал обсуждению проблем, выдвинутых так называемым *еврокоммунизмом.* Преследуемые и травимые прежним авторитарно-догматическим руководством КПСС (и находившимся под его влиянием комдвижением), еврокоммунистические теории становятся влиятельным и равноправным участником идейной жизни коммунистических партий. Рубежовым материалом в этом отношении стал «круглый стол» «Еврокоммунизм: плюсы и минусы исторического опыта» («ПМС», № 2, 1990). «Круглый стол» этот — образчик здорового идейного плюрализма: здесь получают слово и защитники (итальянец Гуэрра, испанец Претель, колумбиец Арисала), и критики еврокоммунистических идей (португалец Лопеш, филиппинец Лава, австриец Фурх), но это не «проработка» кого-то, не процедура «отлучения» тех или иных идеологов от общего Движения, это именно выяснение, уяснение и сопоставление позиций.

Но особенно показательна и важна общая точка зрения участвующих в дискуссии представителей КПСС в журнале. Сразу скажем, эта точка зрения вовсе не была какой-то новой официальной позицией ЦК КПСС по вопросу о еврокоммунизме. Тогда, на «перестроечной» волне, какие-то «общие», «официальные» позиции руководством КПСС по подобным вопросам не вырабатывались. В самом руководстве были очень разные мнения по вопросам стратегии, тактики, идеологии, и идеологам, политическим ученым, партийным функционерам предоставлялась счастливая возможность вырабатывать оценки без каких-либо руководящих указаний. В самой КПСС шла напряженная борьба вокруг тех или других идеологических позиций. В самой КПСС, внутри международного отдела были (оставались) как непримиримые критики еврокоммунизма, так в большей или меньшей степени и симпатизирующие ему. В этом контексте очень интересна позиция, занятая ответственными представителями КПСС в журнале. В ней нет ни пафосной апологетики еврокоммунистических идей, ни истеричного их «разоблачения». Все — взвешенно и спокойно, именно так, как в заглавии: «*Плюсы и минусы* исторического опыта». Вначале — общий, принципиальный подход к феномену евро-

коммунизма: «Необходимо решительно пересмотреть ту сугубо негативную оценку еврокоммунизма, которая давалась в значительной части мировых марксистских научных кругов и в первую очередь в кругах, так сказать, официальной политической науки нашей страны. Речь, разумеется, не идет о том, чтобы механически поменять все оценочные знаки: там, где был плюс, ставить минус, и наоборот. Речь идет о взвешенной научной, диалектической оценке в свете новых подходов к реальностям современного мира, месту коммунистов в нем, в свете нового мышления и новой концепции борьбы за социальный прогресс»[1]. И далее, что очень важно, фиксируются достоинства и завоевания еврокоммунизма не в общей, туманной форме, а в виде конкретных положений теории: «Что можно отнести в актив концепции еврокоммунизма? Во-первых, в те годы она была самой крупной, самой заметной попыткой постановки и решения проблем, связанных с появлением новых реальностей в мире, с переломной мировой ситуацией, с кризисными явлениями в ряде государств и регионов, в том числе социалистических стран. Во-вторых, в ней нашла отражение важнейшая теоретическая задача многих партий — освободиться от сталинизма во всех его ипостасях. Еврокоммунистическая тенденция стала серьезным прорывом на этом фронте. И, наконец, в-третьих, во многом благодаря ей начала формироваться новая атмосфера в комдвижении — более демократичная, с большей свободой, бо́льшим плюрализмом мнений. Было не только провозглашено, но и показано на деле, что никто не имеет монополии на истину, что *нет и не может быть партии, которая была бы единственным толкователем марксизма, что всякое идейное и политическое единство должно быть* ***добровольным единством в многообразии***». Это — плюсы. «А теперь — в двух словах — о крупном недостатке идей еврокоммунизма, который проявился в работах и практике его приверженцев. Он, думается, состоит в возникновении и развитии тенденции, когда стремление освободиться от сталинизма перерастало в попытку отрицания ленинизма... Важнейшая, как нам представляется, задача нашего теоретического развития — отделить ленинизм от сталинизма, показать, что это **принципиально** различные, противоположные социально-политические и философские концепции. Только такой методологический подход способен обеспечить и понимание сталинизма, и его преодоление. Думается, значительная часть еврокоммунистических авторов недооценила потенциальные возможности ленинского начала и «октябрьского импульса» в нашей стране. Поэтому несколько неожиданным для них оказался апрель 1985 г., такое крутое наступление ленинских, демократических сил». И дальше — важное дополнение: «Оговорюсь: было бы несправедливо на плечи теоретиков названных (еврокоммунистических) партий взваливать всю ответственность за указанный недостаток. *Главную ответственность за отсутствие развернутого анализа сущности и корней сталинизма несут советские исследова-*

[1] «ПМС». № 2, с. 95.

тели, которые только пять лет назад начали фронтальный штурм этой проблемы»[1]. И поистине знаковое, можно сказать, программное заключение: «Настоящий момент — переломный в развитии марксистской теории. Пересматривается (“ревизуется”) ряд положений и установок, верных в прошлые эпохи, но не работающих сегодня, возникают новые оценки и подходы. В этих условиях, думается, следовало бы осторожнее обращаться с этикеткой “ревизионизма” — есть опасность обозначить им усилия по творческому развитию нашей теории. Может быть, не свертывая идейных дискуссий, все же введем — хотя бы временно — мораторий на ярлыки?». И дальше: «Никто не обладает монополией на истину, никто поэтому не имеет права навязывать свою позицию другим. Если кто-то и где-то пытается это делать, знайте, это — не представители перестройки, это слегка перекрашенные в перестроечный цвет сталинисты»; нам всем нужно «**единство в многообразии, в условиях самостоятельности и независимости всех братских партий**».[2]

б) Важные черты нового облика журнала — оценка одной из важнейших и трагических вех в истории комдвижения второй половины XX столетия — **Пражской весны**, т.е. событий 1968 года в Чехословакии. Хотя в руководящих кругах КПСС, «курировавших» процесс ее взаимоотношений с «братскими партиями» по-прежнему доминировала негативная оценка Пражской весны и позитивная — ее подавления, журнал демонстративно, чуть ли не из номера в номер публикует статьи лидеров, виднейших деятелей Пражской весны: Дубчека, Цисаржа, Гаека, Шилгана и др., в которых рассказывается о событиях 1968 года, дается им позитивная оценка, резко критически оценивается факт вмешательства Советского Союза в процесс демократических реформ в Чехословакии, что, по мнению этих авторов, погубило шанс на обновление социализма в конце 60-х годов. Журнал решается опубликовать в № 2 за 1990 год «Воспоминания переводчицы» Т. Реймановой, которая принимала участия в «исторической встрече лидеров «пражской весны» с советским руководством, проходившей с 29 июня по 3 августа в пограничном городке Чиерна-над-Тиссой» (то есть незадолго до вступления советских танковых соединений в Прагу), воспоминания, зримо передающие тот авторитарно-командный стиль взаимоотношений, которого жестко придерживалось тогдашнее советское руководство (Брежнев, Косыгин, Подгорный, Суслов). И тут же — удивительное письмо-покаяние профессора из АОН при ЦК КПСС А.И. Волкова (работавшего в 1968 году в журнале «ПМС» в Праге) — «Памятник — Яну Палаху!». Он, с болью в душе, говоря о «вине» правительств пяти стран Варшавского Договора, «прервавших обновление социализма в Чехословакии в 1968 году», сосредоточивается, однако, на другом: «А мы, граждане, народы этих стран, несем ответственность за то, что «социализм с человеческим лицом», суливший так много, был раздавлен танками?… Я видел, что означа-

[1] «ПМС», № 2, 1990, с. 95.

[2] Там же, с. 96.

ло для страны подавление народного движения. Нет, наши солдаты не зверствовали, не насильничали, не издевались над людьми. Но танки отняли у народа возможность устроить жизнь по-своему, подавили его творческий порыв, обрекли на бессилие и пассивность. Мы, будучи в Праге, ощущали мучительность этого бессилия, но самое страшное: лучшие люди были исключены из партии, отстранены от общественной деятельности, лишены свободы слова, загнаны в подполье. Худшие — консерваторы, конформисты, даже доносчики, ханжи и карьеристы получили простор для действий, всплыли наверх, ухватились за рычаги управления и подавления своего народа. Естественное и свободное его развитие было остановлено. Несем за это ответственность мы, простые люди?» И — потрясающий финал письма: «И тут одно не дает покоя совести: подвиг Яна Палаха (совершившего самосожжение в знак протеста против ввода войск). Признать бессмысленным его протест как непосредственно нерезультативный? Зря взошли на костер и Джордано Бруно, и Ян Гус? Зря тогда погубили себя многие люди, только смертью и отстоявшие правду, свободу, честь? Нет, мы не можем признать все это бессмысленным и тем оправдать себя, ибо это будет нашим полным нравственным падением. Мы не смогли так, как он, — другое дело. Но снять с себя вину и ответственность мы также не можем. Давайте выразим свое покаяние хотя бы в малой, но символической акции: соберем средства на памятник Яну Палаху. Я обращаюсь с этим к гражданам своей страны и всех тех стран, которые приняли участие в акции подавления «пражской весны»[1].

в) Изменяется в журнале круг советских авторов, анализирующих социально-политические процессы, происходящие в нашей стране и в мире, дающих оценки различным этапам в истории нашей страны, логике развития социалистической идеи. Место традиционно, догматически мыслящих и стандартно излагающих «проверенных» авторов занимают творчески думающие и нестандартно пишущие люди. Среди них *Евгений Плимак*, по-новому, в демократическом ключе трактующий наследие «позднего» Ленина, решительно отделяющий его от сталинской интерпретации и раскрывающий значение идей последних ленинских статей для современного этапа реформирования социализма (см. его статью «Коренная перемена всей точки зрения нашей на социализм», «МС» № 4, 1990); *Юрий Красин* — с его идеей, что «перестройка влечет за собой переоценку концепции социализма, но отнюдь не отказ от системы социалистических ценностей» (статья «На переломном рубеже», «ПМС», № 4, 1990); *Иван Фролов* («Человек — мера всех вещей» «ПМС», № 10, 1989); *Никита Моисеев* («Экологический вызов. Лабиринты эволюции и нить Ариадны», «ПМС», № 3, 1990); *Андрей Сахаров* («ПМС», № 2, № 4, 1990); известные «перестроечные» (хотя и разных оттенков) ученые-экономисты: *Леонид Абалкин* («Взять в руки штурвал корабля», «ПМС», № 4, 1990), *Отто Лацис* («Как идет экономическая реформа в СССР», «ПМС», № 12, 1989),

[1] Там же, с. 62–63.

Олег Богомолов («Главные усилия предстоит предпринять самим», «ПМС», №4, 1990), *Станислав Меньшиков* («Современный капитализм: продолжение дискуссии») и др. Это совсем другая общественная наука, нежели та, что была представлена в журнале в «доперестроечные» времена!

3) Идейный плюрализм журнала конца 80-х годов гораздо шире, чем «плюрализм мнений» в «рамках МКД» или «марксизма-ленинизма».

а) Журнал охотно предоставляет страницы авторам, хотя и социалистической ориентации, но к которым не слишком благосклонно относились в МКД, руководимом Сусловым и Пономаревым.

Так, о «Грядущем обществе» в № 6 за 1990 год пространно рассуждает известный польский политический философ *Адам Шафф,* прежде нещадно критикуемый правоверными «марксистами-ленинцами». Выходят на трибуну «ПМС» югославские теоретики («ревизионисты», которым еще недавно активно «давали отпор» «пролетарские интернационалисты»): знаменитый Милован Джилас (автор известной концепции «нового (бюрократического) класса» при социализме) — «Никогда не считал себя антикоммунистом» («ПМС», № 4, 1990), *Милош Николич* («Однопартийному социализму — конец», «ПМС», № 6, 1990), *Савва Живанов*. Подобные авторы придают многообразию социалистически ориентированной мысли еще большую красочность.

б) Частыми гостями в журнале становятся *социал-демократы, представители новых социальных движений («зеленых», в частности и в особенности).*

Журналы разрабатывает новую стратегию союзов для МКД, в которых коммунисты могли бы активно сотрудничать с различными силами демократической ориентации. О «новом феномене на восточно-европейской политической карте» пишут в подборке «Восточная Европа: “второе пришествие” *социал-демократии*» советские исследователи М. Павлова-Сильванская, С. Ястржембский, а также социал-демократка из Нидерландов, председатель Партии труда Марианна Синт (№ 6, 1990). «Не соперничество, а сотрудничество» — такой принцип поддерживает журнал в отношении взаимодействия коммунистов и *«зеленых»* («ПМС», № 3, 1990). Новые подходы намечаются и в сфере отношений марксистов с *верующими* в материале «Раскол Европы преодолим (диалог марксистов и христиан)» («ПМС», №3, 1990).

в) Демократизм новых подходов журнала и осуществляемого им нового типа поведения в политическом мире особенно заметен и впечатляющ в сфере отношений коммунистов с принципиально иными политическими идеологиями современного мира — с либеральными и консервативными течениями. Журнал демонстрирует открытость коммунистической идеологии, готовность вести дискуссии и сотрудничать не только с родственными, но и весьма далекими от себя идеологическими течениями, видя изначально в них не «врагов», а оппонентов, а в некоторых практических вопросах, в некоторых отношениях и возможных партнеров.

Вполне лояльно и даже дружелюбно (хотя и далеко не всегда соглашаясь друг с другом) беседуют за «круглым столом» о «Судьбе марксизма в свете современного опыта» бельгийский коммунист Ю.Камбье, испанский евро-

коммунист Д. Претель, лидер и ведущий теоретик IV (троцкистского) интернационала Э. Мандель и либеральный американский экономист Дж.К. Гэлбрейт («ПМС», № 6, 1990). Их многоплановая, представляющая разные точки обзора полемика дает современному прогрессивному теоретику богатейшую пищу для размышлений. Д. Претель довольно критически оценивает значение прежних «научно-коммунистических» теорий для современной социальной теории и практики. По его мнению, «в наши дни можно утверждать без какой-либо тени сомнения, что создание теории современного социализма *лишь предстоит*». Троцкист Э. Мандель другого мнения о значимости классического революционно-марксистского наследия для современности: «Если попытаться, — пишет он, — сегодня подвести итог событиям XX в., то не остается сомнений, что прав был не Бернштейн, а Роза Люксембург, Ленин, Троцкий, Грамши и многие другие, шедшие по стопам Маркса и Энгельса». Ю. Камбье пытается найти синтез их позиций: «И обновление, и разрыв с прошлым». А вступающий в дискуссию Дж.К. Гэлбрейт, испытывая несомненное влияние своих социалистических оппонентов, пытается осуществить конвергенцию некоторых либеральных и социалистических ценностей: «Альтернатива социализму в странах Восточной Европы и Советском Союзе — *это отнюдь не традиционный капитализм, а современное, социально устремленное общество, в котором государство играет крупную роль смягчителя и амортизатора возможных потрясений*». И далее: *«Рынок способен передавать необходимые сведения от потребителя к производителю во всем их запутанном разнообразии. От социализма требовалось именно такое приспособление».* Итог такой дискуссии, наверняка, обогатил и ее читателей, и ее участников. И случилось это потому, что осуществился дружеский, демократический обмен мнений и участники дискуссии смогли выступить в ней не только как сторонники определенных идеологических постулатов, но и как представители *научного* знания, что предполагает совместное движение к *истине*.

Или почти немыслимый для «ПМС» прежней формации диалог двух руководителей бельгийских партий: правящей (Социально-христианской) и оппозиционной (Коммунистической) — диалог Жерара Депре и Пьера Бовуа, который журнал назвал «Опытом лояльной полемики» — «Об обществе с человеческим и нечеловеческим лицом». Участники диалога, хотя и «лояльно», но весьма энергично критиковали друг друга. Кто выиграл? Выиграл, думается, в первую очередь, читатель, получивший возможность ознакомиться с серьезными аргументами двух умных и политически опытных людей по поводу социализма и капитализма, их истории и современной практики. Выиграли, по-моему, и оба участника, получившие возможность отшлифовать свои аргументы в содержательном споре, а также найти весьма широкие точки соприкосновения.

И совсем уже невероятный для прежнего журнала материал: статья... Збигнева Бжезинского. Не выбранные, удобные для битья отдельные цитаты, а острая, агрессивная статья с развернутой аргументацией под весьма красноречивым названием «Большой провал». Журнал как бы приглашает

дружественного читателя: попробуйте-ка посражаться с действительными аргументами серьезного идейного противника. И для этой, в частности, цели приглашает высказаться по проблемам, затронутым Бжезинским, толковых, умелых и квалифицированных полемистов из коммунистического лагеря — Марко Роблеса из Эквадора и профессора Юрия Красина из СССР. Они уверенно и спокойно ведут полемику, и вывод, который они делают, имеет весьма высокую степень обоснованности и правдоподобности, а именно: «Перестройка влечет за собой переоценку концепции социализма, но отнюдь не отказ от системы социалистических ценностей» («ПМС», № 4, 1990).

Теория: новый уровень

А что же через это многообразие мнений выкристаллизовывалось в качестве новой парадигмы МКД и что особенно поддерживал журнал во второй половине 80-х годов?

1) Основная и доминирующая мысль: социалистическая идея может иметь привлекательное будущее только тогда, когда с ней и через нее произойдет *возрождение Гуманизма и Демократии.*

Об этом особенно акцентированно — в последнем номере журнала в разделе «Социалистическая идея на перекрестке мнений», а также в № 4 «ПМС» за 1990 год, в разделе «Возрождая традиции гуманизма и демократии».

2) Честная, прямая и откровенная оценка ситуации в МКД и возможностей для ее выправления. Известный ученый-коммунист из ГДР Харальд Нойберт: ни созданный сталинистами «социализм», ни организованное ими современное комдвижение не поддаются ни реставрации, ни обновлению. И комментарий журнала к этой мысли: «Мы упустили время для этого. Наверняка, легко можно было очистить «социализм» и «коммунизм» от грязи сталинизма в 1956 г., после XX съезда КПСС, когда впервые было сказано о преступлениях сталинщины, когда она выглядела какой-то невероятной социальной аномалией, а свет идеалов октября еще ярко светил людям. Еще не поздно было это сделать в 1968 г.: Дубчек, Смрковский и их друзья вновь пытались возжечь чистый социалистический факел и возродить мечты о социализме с человеческим лицом. В апреле 1985 года был, думается, последний (хотя и очень уж непрочный) шанс очищения. Невеселые итоги перестройки перечеркнули его. Да, теперь, по-видимому, на самом деле — реставрации и очищению названные явления и понятия не поддаются. Надо подводить черту под прошлым. И вместе с тем — извлечь из него уроки, чтобы найти дорогу в достойное человека будущее. Надо научиться мыслить по-новому и говорить новым политическим языком. Не обновлять и реставрировать, а, опираясь на идеи гуманизма и демократии, лежащие в фундаменте марксизма, и извлекая уроки из нашей драматической практики, строить заново». Это, по сути, *общеметодологическое кредо журнала.*

3) Новые черты в оценке марксизма и его исторической роли.

Основная идея: вернуть марксизму его статус **научной** теории, статус **науки**. Смысл этой идеи в том, что в эпоху сталинско-брежневского социа-

лизма марксизм фактически превратился в разновидность священного писания, собрания религиозных догм. Он превращался из относительной (как то характерно для научного знания) в абсолютную истину, требующую к тому же не столько доказательств, сколько веры. Во времена «реального социализма» не обязательно было доказывать теоретическое положение, ссылаясь на факты действительности. Достаточно было написать: «Еще Маркс говорил...», и никаких уже других доказательств не требовалось. И то, что «писал Маркс» считалось верным на все времена. «ПМС» стремится, повторяю, вернуть марксизму статус науки, выделяя его достижения и характеризуя его недостатки, ограниченности, а то и прямо неверные или устаревшие положения. Марксизм, согласно концепции журнала есть не вечное, не абсолютное, а развивающееся знание.

Вот как обо всем этом говорится в программной статье журнала «Не обновлять, а строить заново» («ПМС», № 4, 1990): «марксистский проект был крупным шагом вперед в истории мировой социальной мысли, достаточно хорош, чтобы открыть новые пути социального развития, и достаточно реалистичен, чтобы успешно *начать* такое движение», но вместе с тем, «сам «проект» носил на себе печать определенной исторической ограниченности», «и поэтому недостаточно очистить марксизм от сталинизма, нужно, далее, преодолеть, снять его ограниченность».

Так вопрос *никогда не ставился в рамках МКД*. Говорить об «ограниченностях», тем более об «ошибках» марксизма считалось в эпоху сусловского (а тем более сталинского) идеологического диктата почти преступлением уголовно-политического толка. Внешне прежний подход казался формой безмерного почтения и защиты марксизма, на деле же он был средством его разрушения и уничтожения. Новый, научный, подход являлся способом его сохранения и развития.

Вот как говорится в упомянутой статье («Не обновлять, а строить заново») о том, «что не было предусмотрено» марксизмом. Вот какие положения чрезвычайной теоретической важности выносил журнал на обсуждение широкой социалистической общественности.

Прежде всего, марксизмом не была предусмотрена «возможность появления общественных отношений, основанных на «отчуждении» и социальном неравенстве *нового* (не-капиалистического) типа — тех, что сложились в странах «реального социализма». Жизнь показала, что «советское общество — это общество, не преодолевшее «отчуждение», а, следовательно, и социальное неравенство, общество, разделенное на социальные образования, слои, группы с различными, а то и противоположными интересами». Не предусмотрены были и многие существенные направления эволюции буржуазного общества, революционно-катастрофическое развитие которого оказалось лишь *одной из* возможных альтернатив, а вовсе не главной, отнюдь не единственной и не непреоборимой возможностью. Об этих и других сторонах ограниченности марксистской теории — в дискуссии «Социалистическая идея на перекрестке мнений» («ПМС», № 6, 1990).

4) По-новому в журнале ставится вопрос о сущности социализма, о его облике как социализма, допускающего многообразие форм собственности, рыночную экономику, идейный и политический плюрализм, многопартийность (см., например, «Социалистическая идея на перекрестке мнений», «Не отстать от современного мира (правильны ли меры по оздоровлению советской экономики?)», «ПМС», № 4, 1990).

Во многом по-новому ставятся вопросы о путях движения к такому социализму (предпочтительно мирных, эволюционных, парламентских), о субъектах демократически-социалистических трансформаций в современном мире (не «пролетариат» только, но — широкий конгломерат социальных сил, включающих рабочих нового типа — «белых воротничков», интеллигенцию, средние слои), о социальных и политических союзах демократических сил (коммунисты, социалисты, социал-демократы, представители новых социальных движений), о методологии взаимоотношений с другими силами — «не соперничество, а сотрудничество», о соотношении общечеловеческих и классовых ценностей: в определенных ситуациях — приоритет общечеловеческих ценностей (см. «Обновление с позиций реализма», «ПМС», № 10, 1988; «Стратегический курс коалиции», «Продвигаясь за рамки традиционного парламентаризма. Обмен мнениями представителей социал-демократов и коммунистов Латинской Америки», «ПМС», № 10, 1989; «Новое политическое мышление: испытание практикой», «ПМС», № 4, 1990; «Не соперничество, а сотрудничество», № 3, 1990; «Гуманизм — это неделимость прав человека», «ПМС», № 6, 1990).

Можно с полным основанием констатировать, что журнал «Проблемы мира и социализма» стал во второй половине 80-х годов подлинной трибуной *демократической тенденции* в МКД и КПСС, тенденции, развитие которой способно было дать новую жизнь социалистической идее.

Да, как свидетельствуют работники журнала той поры, с которыми мне довелось беседовать при сборе материалов для данной работы, внутри коллектива представителей партий в журнале, как, впрочем, и внутри коллектива советских участников журнала, шли весьма жаркие, весьма напряженные дискуссии о будущем социалистической идеи, МКД, о будущем «ПМС». И обе тенденции — авторитарная и демократическая здесь были представлены в полной мере. Но демократическая брала несомненный верх: «команда» из КПСС, возглавлявшая журнал, — шеф-редактор, ответственный секретарь, его заместители, большинство заведующих отделами и политических обозревателей были людьми твердой демократической ориентации, и они задавали тон в этих дискуссиях.

Эта руководящая демократическая «команда» сумела вернуть в журнал и привлечь к активной работе в нем прежних «изгоев» — еврокоммунистические партии: вернулись итальянцы, испанцы, французы; расколотые прежним руководством КПСС западно-европейские коммунистические партии налаживали контакт между своими враждующими частями и приступали к совместной деятельности в «ПМС»; усилили демократический потенциал

журнала видные деятели «Пражской весны 1968 г.», ставшие активными участниками «ПМС».

Была разработана программа превращения «ПМС» в издание нового, демократического, типа — с небольшим журналистским штатом (взамен неимоверно раздутого), без огромного штата «постоянных представителей партий», но с хорошо налаженной связью с партийной общественностью в различных странах, с качественным изменением редакционного совета журнала (за счет включения в него, наряду с представителями всех течений коммунистического движения, представителей не-коммунистических, левых, демократических сил — от левых социалистов до правых социал-демократов, за счет представителей новых социальных движений. Дали согласие войти в редсовет бывшие лидеры «Пражской весны» (Дубчек, Шилган, Цисарж), имевшие большой политической вес и при Вацлаве Гавеле, — что было особенно важно, ибо предполагалось продолжать издавать журнал в Праге.

И в этот-то период (где-то весной 1990 г.) последовала команда из Москвы, из ЦК КПСС: готовиться к закрытию журнала. Эту идею очень поддерживало к тому времени уже отстраненное от власти руководство одной из самых консервативных партий в МКД — руководство Компартии Чехословакии. Ну, мотивы чехословацких «товарищей» понятны: партии и ее руководящему ядру нужны были средства безбедного существования (материальные и финансовые возможности «ПМС» в тот период были довольно значительны). Но почему Москва, почему Политбюро и ЦК КПСС, возглавлявшие «перестройку» и стремившиеся как будто бы (судя по их речам) к демократизации социализма, решили прикрыть очень важный рычаг демократизации, несомненно демократический международно-авторитетный орган? Вот загадка!

У меня нет документальных данных о том, как обсуждалось и принималось это решение в высших партийных инстанциях — для этого надо получить доступ в труднодоступные архивы ЦК КПСС. Располагаю лишь некоторыми документами — из переписки руководства журнала с помощниками генерального секретаря ЦК КПСС и руководителями международного отдела ЦК. Какой-то свет на ситуацию они проливают. Я приведу отрывки из этих документов и попробую высказать свою гипотезу об общеполитических мотивах закрытия журнала, этого возможного демократического зародыша нового, демократически-социалистического движения.

Вначале о фрагментах упомянутой переписки.

Письмо от 20 декабря 1989 г. (*Очень важный документ, в котором почти за год до закрытия «ПМС» ясно представлена ситуация в комдвижении и в журнале в тот период и описываются планы, вынашиваемые руководством журнала.*)

Заместителю заведующего международным отделом ЦК КПСС
тов. **Грачеву А.С.**:

Уважаемый Андрей Серафимович!

Когда пару месяцев тому назад Вы благословляли меня на должность ответственного секретаря журнала, Вы просили, чтобы через какое-то время я,

вникнув в суть дел, поделился с Вами своими соображениями о путях развития, направлениях возможной эволюции, проблемах перестройки журнала.

Несколько наших коллективно выработанных альтернативных вариантов развития журнала мы уже подготовили для Международного отдела — так сказать, для официального представления. Но все они — на перспективу, для тщательного обсуждения и размышлений. Я знаю, есть свои варианты подходов к развитию журнала и в Международном отделе. И все это требует, конечно, основательных обсуждений. Сегодня же мне хотелось бы сказать несколько слов о необходимости ряда перемен в самое ближайшее время.

Специфика ситуации состоит, на мой взгляд, в том, что перед журналом, с одной стороны, открываются благоприятные новые возможности (реализация которых способна резко повысить привлекательность и значимость журнала), а, с другой стороны, появляются новые опасности, способные (если на них не среагировать быстро и правильно) поставить под вопрос существование журнала. В чём состоят эти благоприятные возможности? В чём суть новых опасностей? Как использовать эти новые возможности и избежать опасностей?

Новые возможности связаны с тем, что в общий поток социалистического обновления решительно вступили ГДР, Болгария, ЧССР. Прежде, независимо от личной позиции представителей от партий этих стран в журнале (болгарин Ганчев и чех Ганак были лично лояльными к идеям перестройки, а немец Бауэр — резко оппозиционен к ним), независимо, повторяю, от личной позиции, все они, связанные установками руководства своих партий, существенно ограничивали возможности совершенствования и обновления журнала: блокировали тематику нового мышления, критику административно-командной системы, сталинизма, активно возражали против расширения диалогов, дискуссионных форм, против публикаций авторов-некоммунистов. Особенно негативна в этом плане была роль Бауэра, вокруг которого сплачивались все антиперестроечные, сектантско-догматические силы.

Сейчас основные барьеры сняты. Бауэр даже объявил на редколлегии, что они в немецком издании опубликуют все те статьи («перестроечного типа»), которые прежде не пропускались им из эталонного в немецкое издание, а Ганак дал «добро» на публикацию материалов, на которые он прежде наложил «вето». Без прежнего Бауэра, без давления прежнего руководства КПЧ (таких его членов, как Биляк, Фойтик, Якеш, Штепан и др.) — силы догматизма в журнале не представляют никакой серьезной опасности. (Оставшаяся четверка наиболее активных людей прежнего типа мышления — кубинец Диас, гватемалец Кано, киприот Иоанидес, филиппинец Лава — не обладают ни влиянием, ни авторитетом, чтобы серьезно затормозить процесс обновления, хотя и способны несколько притормозить ход изменений).

Иначе говоря, сейчас мы можем в значительной степени осуществить обновление (о конкретных направлениях которого — чуть ниже).

Теперь — о новых опасностях. *Те же* процессы обновления, которые бурно развиваются в соцстранах, несут не только новые благоприятные возможности для журнала, но и опасности (никуда от диалектики не уйти!).

Обновление — это и ослабление (поначалу!) позиций правящих партий (политических, идейных, финансовых). Уже отказались, как вы знаете, финансировать журнал поляки и венгры. Нельзя исключать, что в ближайшее время за ними может последовать и СЕПГ (Бауэр намекал на подобную возможность), а то и Болгария с Чехословакией. Эта тенденция, думается, результат не столько финансовых трудностей партий, сколько их (вполне понятного) желания не тратить солидные суммы на не очень им полезное издание (не очень полезное в его данном, полутрадиционном для прежних времен — виде).

Между тем, журнал в состоянии стать средоточием опыта, реальным фактором и определенным рычагом обновления как социализма, так и комдвижения в целом.

Но это немедленно и срочно надо продемонстрировать, подготовив номера, в которых ясно, рельефно бы проявилась новизна мышления и письма.

Каким же должен быть наш журнал, по крайней мере, в самое ближайшее время?

Он должен оставаться пока коммунистическим. Но:

— плюралистически коммунистическим;

— широко открытым для всех сил обновления социализма, для всех левых сил;

— он должен (по крайней мере, в ближайшие месяцы) сосредоточиться на освещении теории и практики обновляющегося социализма (отводя этой тематике 50–70% журнальной площади); он должен широко открыть двери для других левых, демократических сил, партий и движений в социалистических странах;

— наконец, он должен стать менее дорогим для субсидирующих его партий, в этих целях было бы желательно:

а) оставить в Праге только несколько расширенный состав редколлегии; отъезд же на родину основной части представителей партий, уверен, не нанесет ущерба ни связям журнала с партиями странами, ни делу его ведения;

б) резко повысить привлекательность, проблемность, остроту материалов журнала; в связи с этим, я убежден, есть немалые возможности для подъема тиража журнала, роста его окупаемости.

Как пример такого подхода, посылаю Вам план подготавливаемого нами сейчас второго номера журнала (99% материалов которого уже находится на редакционном столе).

И еще. В нынешних условиях для журнала было бы важно появление статьи, интервью, ответа на вопросы членов редсовета и т.п. М.С. Горбачева:

— и с точки зрения важного признака качественно нового этапа в обновлении социализма;

— и с точки зрения разрыва с традицией августа 1968 года, когда, думаю, начался современный кризис как социализма, так и комдвижения в целом;

— и с точки зрения изменения лица журнала (способного стать важным рычагом обновления);

— и еще с одной точки зрения (между прочим, тоже немаловажной). У нас тут, в редакции, выступал Адам Шафф и не без гордости заявил, что в Испании скоро выйдет журнал европейских левых и что откроется он статьей М.С. Горбачева. Члены редсовета с некоторым смущением встретили факт предпочтения того журнала нашему. Думается, однако, что в изменившихся в самое последнее время условиях и учитывая открывающиеся благоприятные возможности обновления журнала (о чем я писал выше) есть смысл уравнять шансы того журнала левых сил и нашего. Мне кажется, мы способны составить ему серьезную конкуренцию.

Всего самого доброго. С уважением, *Г.Г. Водолазов,*
ответственный секретарь журнала «ПМС».

Документ показательный. В нем — и фиксирование ситуации противоборства авторитарных и демократических сил в МКД и в журнале «ПМС», и смелая, реалистическая программа преодоления кризисных явлений в комдвижении. Этот документ — и свидетельство новой, весьма привлекательной атмосферы, которая формировалась в некоторых руководящих сферах международного сектора ЦК КПСС. Письмо свидетельствует о том, что ряд руководителей Международного отдела ЦК (А. Грачев, в частности) поддерживали деятельность демократической «команды» в «ПМС». Да и само письмо, написанное в откровенной манере, активном стиле — факт новый в общении «низших» и «высших» сфер партийного аппарата. Это — язык не аппаратчиков, соблюдающих почтительную иерархию, это — язык свободных людей, ясно осознающих свою ответственность не столько перед вышестоящим «начальством», сколько перед обществом. Это язык не исполнителей указаний, а — самостоятельно думающих и самостоятельно действующих людей. Это, если угодно, язык *демократического общения.*

А пять месяцев спустя в ЦК КПСС полетело другое знаковое письмо от руководителей журнала «ПМС». Оно было направлено еще более высокому адресату — помощнику Генерального секретаря ЦК КПСС, курировавшему международные аспекты деятельности партии — А.С. Черняеву, отправлено в надежде, что с содержанием письма будет ознакомлен и сам Генеральный секретарь, так много говорящий о необходимости демократизации всех аспектов общественной и политической жизни. Если первое письмо (А.С. Грачеву) носит в целом оптимистическую окраску, и его можно было бы назвать «письмом надежды», то второе письмо (А.С. Черняеву), при всей его конструктивности и боевитости, носит на себе печать пессимизма, печать тающих надежд на «архитекторов перестройки», на их желание и умение влиять на события в демократическом ключе. Вот это письмо:

26 марта 1990г.

Уважаемый Анатолий Сергеевич!

Посылаю макет готового к выходу в свет № 5 журнала «ПМС», содержание которого, надеюсь, еще раз подтвердит, что есть здесь журналистское ядро, способное выпускать журнал нового типа.

На Ваш вопрос: что конкретно нужно сегодня предпринять, я бы ответил так: в решение Политбюро (или Секретариата — не знаю точно, где именно будет в самое ближайшее время приниматься решение) о закрытии журнала «ПМС» включить ***поручение Международному Отделу незамедлительно начать работу по подготовке издания международного журнала левых, демократических сил (Европы) на базе международного издательства «Мир и социализм» (г. Прага).***

Давайте попытаемся вместе, Анатолий Сергеевич, разорвать бюрократические паутины, свитые в отделах ЦК, которые обволакивают едва ли не каждую попытку конструктивного обновительского действия. Не скажу, что попыткам этим оказывается какое-то активное противодействие, — нет, все тонет в болоте инертности, апатии, элементарном бездействии, когда никто не берет на себя инициативу, ответственность (а если надо, то и разумный риск); плюс система иерархии, когда каждый имеет право обращаться лишь к ближайшему столоначальнику. А если решить (вследствие бездеятельности этого начальника) действовать через его голову, то сразу возникают бюрократические обиды, упреки в незнании «правил игры» и т.п. О, надеюсь, что этот аппарат доживает последние дни. Но это лирика; надо уметь делать полезное обществу и обновлению дело и в самых ненормальных условиях.

Еще раз, Анатолий Сергеевич. Дело ясное, как день божий.

1. Есть объективная необходимость в журнале левых сил (Европы, в первую очередь, хотя и не только ее).

2. Есть издательство в Праге (советско-чехословацкая собственность), готовое издавать такой журнал.

3. Есть принимающие журнал политические силы в этой стране.

4. Есть первоначальное журналистское ядро, делом доказавшее (см. №№ 2–5 журнала «ПМС») свою способность издавать привлекательный журнал нового типа. Причем это могут делать 15 штатных советских работников (вместо 125 советских работников, выпускавших «ПМС»).

5. Есть авторитетные политические деятели, давшие согласие войти в редсовет (составить его первоначальное ядро).

Ну что еще надо?! Ведь миллионы долларов и крон лились рекой в кассу прежнего журнала (в котором хотя и появлялись приличные авторы и статьи, но итоги деятельности которого за 30 лет я в целом оценил бы как негативные), утекали в так называемые «национальные издания» (многие из которых были мифом и служили подкормкой бюрократической элиты малочисленных, неавторитетных, бездеятельных, а то и просто консервативно-догматических организаций, называвших себя «коммунистическими»). На новый журнал нужно в сотни (в тысячу) раз меньше средств. Да, думаю, и их может не потребоваться — спонсоры (научные фонды и т.п.) у хорошего журнала найдутся, а незначительный первоначальный вклад окупится вскоре и финансовой выгодой для нашей партии (о чем в нынешние времена тоже не грех всем нам думать).

У меня, к сожалению, не было по этому вопросу прямых контактов с руководителями Международного отдела ЦК В.М. Фалиным и К.Н. Брутенцем

(ну, как же — иерархия: я должен, в первую очередь, обращаться к куратору нашего журнала в международном отделе т. А.П. Филиппову и в исключительных случаях — к зам. зав. отделом т. Ю.Ф. Харламову). Но А.П. Филиппов ответил на мою последнюю записку (ту же, что я посылал Вам): идеи интересные, но вряд ли осуществимые. (Отчего? Почему?) Переданы ли эти «интересные идеи» заведующему Международным отделом (как я просил), — не знаю. Поэтому я обращаюсь к Вам, Анатолий Сергеевич.

Времени осталось крайне мало (дней 20): идет отправка на родину советских сотрудников (ядро из 10–12 человек я пока придерживаю), готовится распродажа и отправка на родину имущества (часть ксероксов и компьютеров — это, по сути, и все, что необходимо для нового журнала, — я тоже пока стараюсь придерживать).

Итак, у нас в запасе 20–30 дней. Как Ваше мнение: может, все-таки что-то получиться из затеи с новым журналом или «оставить надежды всякому сюда входящему» и перейти, как говорится, к другим, очередным делам?

Я знаю — у Вас, как всегда, но особенно сегодня, масса неотложнейших дел. Обращаюсь к Вам только потому, что знаю: судьба мировых демократических сил Вам небезразлична и что создание такого журнала — дело не второстепенное.

P.S. Узнал, что в Испании вышел № 1 нового журнала левых сил (где статья М.С. Горбачева и в представлении которого участвовал В.В. Загладин).

С Адамом Шаффом (наиболее активный вдохновитель этого нового журнала) у меня была длительная беседа в Праге, и мы договорились (если наш журнал удастся) сотрудничать, обмениваясь идеями, замыслами, материалами, вместе организовывать «круглые столы» и дискуссии: у нашего (возможного) журнала будет сильнее акцент на процессах, происходящих в Советском Союзе и Восточной Европе, у Шаффа — на Западе. А вообще мы любим крайности: или — «сами с усами», «кто не с нами — тот против нас», или — притулиться на краешке чужого стула в качестве бедных родственников. Действовать инициативно и одновременно демократически — мы еще плохо умеем.

С уважением *Г.Г. Водолазов.*

Итак, как отмечалось в этом письме, оставалось 20–30 дней для решения вопроса о судьбе журнала — произойдет ли его трансформация в журнал нового типа или он просто будет закрыт.

Представители партий в журнале «ПМС», члены всего редакционного коллектива наивно полагали, что «ПМС» является **их** коллективным детищем, наивно полагали, что в **их** руках — будущее **их** органа (а в значительной степени и **их** интернационального движения), — проводили в журнале масштабные совещания, на которых всерьез, очень основательно обсуждали кризисную ситуацию в МКД и вокруг журнала, предлагали различные способы ее преодоления.

Серьезные, взрослые люди, политики со стажем и опытом, — участвовали в совершенно бессмысленном деле, в пустой, никого и ни к чему не обязы-

вающей говорильне. Ибо далеко от них, в Москве (в Кремле и на Старой площади), собирались несколько влиятельных, облеченных властью советских руководителей и, уверена, без каких-либо особых дискуссий, игнорируя (да попросту высокомерно **презирая**) мнения «друзей» по комдвижению (не затребовали, не прочитали ни одной из стенограмм совещаний в «ПМС», а обобщения, посылаемые им в письмах руководителей «ПМС», просто игнорировались), эти несколько руководителей и решали «в кругу своих братишек» судьбу Интернационального движения и его теоретического и информационного органа (примерно так же, как некоторое время спустя трое других «братишек» в чаще Беловежской пущи решали — и порешили! — судьбу великой страны). Решающее и определяющее мнение (в силу большой значимости вопроса) имели, естественно, генсек М.С. Горбачев и отвечавший в политбюро за идеологию А.Н. Яковлев, для которых, кстати, нормой было пренебрежение не только к деятелям МКД, но и к своим помощникам и советникам — подобным Грачеву, Черняеву, Фалину, Брутенцу, к которым шли предложения и требования писем из «ПМС». Вот, например, одно из свидетельств такого рода, приведенное В.М. Фалиным в его недавно вышедшей мемуарной книге «Конфликты в Кремле» (М., 2000): «А. Александров-Агентов, с год пообщавшись с отцом перестройки, сказал мне: “М. Горбачеву советники и советы не нужны. Я не хочу себя чувствовать лишним и ухожу”». В воспоминаниях, увидевших свет после кончины их автора, А. Александров так раскрыл подоплеку своего решения: «Наблюдая его (М. Горбачева) контакты с людьми, я всё больше убеждался, что внешняя открытость и благожелательная приветливость — это скорее привычная маска, за которой нет действительно теплого и доброго отношения к людям. Внутри — всегда холодный расчет. А это малоприятно. И второе. К сожалению, я убедился, что Горбачеву присущ один очень серьезный для большого руководителя недостаток: оказалось, он совершенно не умеет слушать (вернее, слышать) своего собеседника, а целиком увлечен тем, что говорит *сам*. Даже при такой процедуре, как доклад ему информации, это давало себя знать, что, согласитесь, не очень помогало делу. Монолог, лишь монолог...».

Книга Фалина полна фактов такого пренебрежения генсека к мыслям и взглядам товарищей. (Хотя, в скобках, я бы добавила, что, как следует из бесед, которые довелось мне вести с некоторыми видными идеологическими работниками той поры, подобное чванство было присуще не одному генсеку. Пренебрежительное, высокомерно-чванливое отношение было общим стилем отношения вышестоящих работников номенклатуры к нижестоящим. Советники и помощники генсека сегодня в своих мемуарах с горечью вспоминают о том, как пренебрежительно относились к их советам и мнениям, и им даже в голову не приходит, что они так же вели себя в отношении *своих* советников и *своих* помощников. Они в точности дублировали стиль генсеков. И об этом сегодня могут в деталях рассказать, в частности, те работники «ПМС», что обращались с письмами к этим самым «советникам» и «помощникам»).

Но вернемся к нашей теме. Повторяю, я не знаю, как конкретно решался вопрос с журналом (как органом МКД). Ясно лишь, что *только* Горбачев

и Яковлев могли принять решение. И оно пришло. О чем в № 6 журнал «ПМС» и сообщил в том самом «автонекрологе», который мы привели в самом начале этой нашей работы.

Ну, а теперь, в Заключении, — некоторые выводы.

Заключение: наша гипотеза

Судьба МКД нуждается, конечно, в несравненно более капитальном исследовании, нежели наша дипломная работа. Тут много различных аспектов, требующих кропотливого изучения, — и теоретических, и практическо-политических. Тут необходима проработка значительного массива архивных документов, доступ к которым весьма не прост. И потому, не имея пока такой возможности, мы в этой работе и не можем претендовать на чрезмерную весомость наших выводов.

Но все же некоторые обобщающие соображения — назовем их гипотезами — выскажем. Я умышленно употребляю здесь местоимение «мы», ибо, формулируя свои гипотезы, я опиралась на ряд идей проф. Водолазова, помогавшего мне в подготовке этой работы.

Содержание и проявление кризиса коммунистического движения (и исповедуемой им социалистической идеи) состоят в том, что оно начало существенно отставать от задач и требований, выносимых на повестку дня социальным развитием человечества и отдельных стран. «Научно-социалистическая» теория и коммунистическая практика, пусть с ошибками (подчас трагическими), но, начиная с середины Х1Х века до, примерно, середины 20-х годов ХХ столетия довольно плотно соприкасались с реальностью, в определенной степени отвечали на ее запросы. Потом же Теория комдвижения и Реальность стали все больше расходиться друг с другом. Ко второй половине ХХ века теория МКД вещала одно, а жизнь катила совсем по другим рельсам.

Каковы же, на наш взгляд, объективные предпосылки, объективные основания кризиса МКД и каковы усугубившие его субъективные причины? Почему не была разработана некая «антикризисная программа», почему не были приняты и реализованы наметки такой программы, разработанные в журнале «ПМС» в последний период его существования? Почему все-таки было принято решение о его закрытии?

Вначале — об **объективных** предпосылках и основах кризиса МКД.

Мы выделили бы три, на наш взгляд, основные группы вопросов: кризис целей, кризис средств, кризис социальной базы МКД.

1. Кризис целей.

Реальности ХХ столетия ясно показали, что сформулированные теорией научного социализма и воспринятые комдвижением **цели** *(создание социальной системы — с тотальной общественной собственностью, тотальным контролем государства над всеми социальными процессами, соединение — в одну — всех ветвей власти, однопартийностью, моноидеологичностью и т.д.)*

при своей реализации не обеспечивают прогресса в развитии общества, становятся предпосылками его застоя и кризисных явлений.

Жизнь, опыт, социальная практика и «капиталистического» Запада, и «социалистического» Востока приводила политических теоретиков и практиков к мнению, что только смешанная экономика (базирующаяся на сочетании частных и общественных форм собственности), только сопряжение рыночных и государственных регулирующих начал, только идейный плюрализм и многопартийность способны дать простор социальному развитию.

2. Кризис средств.

Кризис целей повлек за собой и кризис средств. Цели, которые выдвигал научный социализм, могли быть достигнуты, как это и фиксировалось в программах «научно-социалистических» (коммунистических) партий, преимущественно в ходе *острой классовой борьбы*, перерастающей в ***революцию***. Революции для научного социализма были главным средством общественных изменений. «Революции — локомотивы истории», «революции — праздник угнетенных» — часто и торжественно провозглашали научные социалисты. Задача свершения революции требовала и политическую партию особого типа (более напоминающую военную организацию, или, как говорил Сталин, «орден меченосцев»), требовала особого типа (полувоенного) дисциплины — с максимальным ужатием демократических норм и ценностей.

Жизнь же показывала, что, в условиях развитых стран XX столетия, доминирующей формой социальных преобразований может быть только **реформа**, только **эволюционный** путь. Отсюда возникал целый комплекс новых стратегических идей, связанный с разработкой темы мирного, парламентского пути к социализму, новой стратегии союзов, нового типа партии и т.д. Официальная же коммунистическая идеология с ее теоретическим центром в ЦК КПСС продолжала дудеть в старую дуду.

Да и самый этот, административно-командный тип взаимодействия компартий с руководящим центром в Москве полностью изжил себя. Движение, как это мы уже не раз говорили, нуждалось в новом типе единства — **единстве многообразия**.

3. Кризис социальной базы.

«Могильщиком капитализма» и созидателем нового общества выступал в марксизме *пролетариат*, лишенный собственности класс наемных работников, наиболее угнетаемый, наиболее обездоленный и потому наиболее заинтересованный в ликвидации буржуазного строя. Но уже изначально марксисты сталкивались здесь с одним теоретическим парадоксом: способен ли хотя и наиболее угнетаемый, но и наиболее культурно неразвитый класс создать общество более высокой производительности и более высокой культуры, нежели буржуазное? В «Манифесте» не было ясного ответа на этот вопрос. Правда, впоследствии, в 23-й главе «Капитала», Маркс разрешил это противоречие, подчеркнув, что субъектом нового, более прогрессивного общества пролетариат сможет стать только тогда, когда капиталистическое производство достигнет высокого уровня, и этот высокий уровень потребу-

ет рабочего более высокого типа образования и культуры. Развитие капиталистического производства обеспечит и развитие рабочего класса; он превратится из «класса в себе» (то есть класса, не осознающего свою историческую миссию) в «класс для себя» (то есть в класс, способный к самостоятельному историческому творчеству). Это был, конечно, серьезный шаг вперед в понимании субъекта грядущих изменений. Но история пошла более «хитрым» путем, чем это предполагал даже такой проницательный мыслитель, как Карл Маркс. Развитие буржуазного производства, действительно, способствовало развитию рабочего класса, повышению его культурного уровня и материального благополучия. Но этот новый рабочий класс, в силу улучшения своего положения становился и менее революционным классом; ему было уже, что «терять в революции», кроме «своих цепей», он уже обладал определенным набором материальных и культурных благ, и перед ним уже не стояла, как прежде, дилемма: «революция или смерть».

И еще один результат «буржуазного развития», заставивший по-новому взглянуть на субъекта социальных преобразований. Это — появление «среднего класса», заполнившего собой прежнюю пропасть между двумя полюсами общества (богатством и бедностью) — и тем существенно снизившего накал социально-классовой борьбы в обществе.

Наконец, научно-техническая революция середины XX столетия существенно изменила тип работника, превратив значительную часть рабочих в рабочих преимущественно интеллектуального труда (в так называемых рабочих «белых воротничков»), чьи интересы и потребности существенно отличались от интересов и потребностей рабочих прежнего типа (рабочих «синих воротничков»). К тому же научно-техническая революция (вкупе с компьютерной) сделала **науку** ведущей производительной силой, а **человека науки** главным субъектом производства.

Учитывая эти изменения, говорить, подобно сталинско-сусловским идеологическим вождям, о «пролетариате» как о «всемирно-историческом субъекте» (даже с теми уточнениями, которые были сделаны в «Капитале»), в середине XX века было уже не слишком «научно» и не слишком «социалистично».

Впрочем, возникновение теоретических и политических кризисов — явление более, чем обычное: жизнь, как известно, несравненно богаче и «хитрее», чем самые совершенные теории. Преодолевают кризисные ситуации *развитием* теории. И тут уже от субъективного, человеческого фактора зависит, окончится ли кризис гибелью, крахом теории, или породит новую, более высокую, более совершенную форму ее существования: вовремя и правильно принимаемые меры ведут к возрождению, пренебрежение болезнью — к гибели организма.

Советские политические руководители, присвоившие себе статус блюстителей чистоты марксизма, считали, что разговоры о «кризисе» — есть просто происки врагов и что теория и практика комдвижения идут не иначе, как от победы к победе. И, естественно, никаких шагов к преодолению кризиса

не предпринимали, они загоняли болезнь внутрь. И в итоге болезнь приняла масштабы, когда требовались уже сверхрадикальные меры лечения. Но инерция лености мысли и стремление сохранить свои командные посты в советском и международном комдвижении усугубляли кризисные явления. Ни «оттепель» XX съезда, ни ««Пражская весна»», ни Еврокоммунистическое диссиденство, ни партийно-демократические тенденции 1960–1970-х годов в КПСС не смогли сломить диктат догматических, авторитарных сил.

Новые надежды родились с перестройкой. И программа демократической «перестройки» МКД, разрабатывавшаяся в рамках «ПМС», открывала одну из возможностей реализации этих надежд. Почему же она потерпела фиаско, почему она не была принята руководством перестраивающейся на демократический (как будто бы) лад компартии Советского Союза, почему это руководство решило закрыть журнал?

Думается, дело обстояло следующим образом.

Ни одна из групп в руководстве КПСС после 1985 года не была демократической. Собственно, основных групп, основных течений в руководстве было три. Это, во-первых, — фундаменталисты-догматики (с ярко выраженной сталинистской окраской) во главе с Лигачевым, Полозковым, Зюгановым, деятелями ГКЧП; ждать от них демократических реформ в МКД и одобрения нового лица журнала было бы верхом нелепости. Во-вторых, это — горбачевская группа, демократическая на словах и авторитарная на деле; им нужна была «словесная» перестройка МКД и журнала при сохранении традиционной системы командования ими из Кремля и со Старой площади. И третье течение — откровенно антисоциалистическое (с А.Н. Яковлевым во главе).

Ни одно из них (каждое — по своим, специфическим причинам) не было заинтересовано в реформах МКД и перестройке журнала. Думается, особенно неприглядна в этой истории роль А.Н. Яковлева, человека, прямо и непосредственно отвечавшего в руководстве КПСС за идеологию. На его «попечении» была марксистская, социалистическая идеология (и в этой связи — МКД). Но, как нам всем впоследствии поведал А.Н. Яковлев, он уже тогда был ненавистником и марксизма, и социализма (см. его «изничтожающую» марксизм брошюру «На пороге XXI века. М., 1991). Трагикомическая ситуация: демократические социалисты из «ПМС» ищут поддержки своим обновленческим идеям у идеологического отдела партии, возглавляемого скрытым (в ту пору) антимарксистом и антисоциалистом!

Естественно, в такой ситуации журнал не мог выжить, а его обновленческие прожекты были обречены.

И всё же, и всё же…

Когда я смотрю в даль XXI века, мне видится, что идеологией, которой будут руководствоваться силы демократии и гуманизма, будет идеология, вобравшая в себя (в сложном сопряжении) ряд важнейших ценностей двух прежних великих идеологий — социализма и либерализма, идеи Равенства (лежавшие в основе социалистических исканий) и Свободы (пропагандиро-

вавшиеся либеральными авторами). И не исключаю, что в числе ценных демократически-социалистических наработок будут учтены и идеи, выработанные в конце 80-х годов XX века журналом «Проблемы мира и социализма».

Браво, Анна! Подписываюсь под каждым Вашим словом!
Г.Г. Водолазов

4. Не дать умереть великой идее!

А это написано уже по возвращении из Праги в Москву. Была в 90-е годы такая симпатичная партия — СПТ (Социалистическая партия трудящихся). Ее лидерами были Людмила Вартазарова и Рой Медведев. Эта партия исповедовала ценности демократического социализма, она занимала последовательные антисталинистские позиции и решительно выступала не только против сил нагрянувшего в Россию хищнического капитализма, но и против сталинистской КПРФ, партии Полозкова-Зюганова. По просьбе лидеров этой партии мной для ее центрального органа и была написана эта статья, тематически перекликающаяся с идеями, излагавшимися мной в «ПМС».

Где сейчас эта партия, что с ней стало, какова ее судьба — не знаю. Не видно ее и не слышно. Впрочем, я не удивляюсь. Почва пока в нашем Отечестве не такова, чтобы на ней могли вырасти цветы нравственности и гуманизма.

Перед тремя опасностями

Говорят, что «рукописи не горят» и «великие идеи не умирают». Лукавые афоризмы, служащие для убаюкивания ленивого сознания! Увы, и рукописи горят, и прекрасные идеи довольно часто гибнут, не оставляя и следа. Рукописи не сгорят — если кто-то самоотверженно защитит от невзгод земных их автора, убережет их от неправедного суда инквизиторов, если кто-то сохранит и, в конце концов, напечатает их. Идея не умрет, если кто-то будет умело поддерживать горящее в ней пламя и передавать по наследству искусство хранения трепещущего в ней огня, если кто-то сумеет сберечь ее от недругов и от тех «друзей», что хуже недругов, если кто-то сумеет постоянно освобождать ее от пыли времен и хлама, вносимых человеческим сознанием с его исторической ограниченностью, с его слабостями и пороками, отражающими специфику и несовершенство давно пройденных этапов социального бытия.

Иначе говоря, рукописи не сами по себе «не горят»; они не горят — когда им не дают сгореть. Идея не сама по себе «не умирает»; она не умирает, когда ей в каждую новую эпоху сообщают новый облик и дают новую жизнь, когда ей таким образом не дают умереть...

Социалистической идее, одной из древнейших и великих политических идей, угрожают сегодня три главные опасности.

Перечислим их по степени возрастания: первая — исходит от ее прямых недругов, вторая — от «друзей», что хуже недругов, и третья — от неумения ее сторонников придать этой идее новые, соответствующие нашему време-

ни очертания, от их неспособности возжечь новый огонь в ее ядре, перевести ее с языка горных вершин идеологических абстракций на язык конкретных политических программ. Устранимы ли, преодолимы ли эти опасности?

Как это ни покажется странным, самое простое и самое легкое — защититься от недругов. Они открыты и откровенны, а в открытом бою социалистическая идея неуязвима. Недруги откровенно говорят, что им не по душе социалистическая идея социального равенства, которую они именуют идеей «уравнительности». Они прямо и откровенно за социальное неравенство, ибо «уравнительство» обеспечивает лишь «равенство в нищете», а неравенство, создание слоя сверхбогатых людей стимулирует к активной деятельности и конкуренции остальных и тем способствует росту всего общественного богатства. Они тоже откровенно против уравнивания и политических возможностей людей, в частности, они решительно против того, чтобы «кухарки» принимали участие в управлении государством. «Кухаркам» надо знать свой шесток — плита и грязная посуда.

И на классиков социализма идут они, что называется, с открытым забралом. В особенности достается Марксу и Ленину. Марксизм для них просто «преступное учение», провозглашающее «социальный расизм» (так интерпретируется ими марксова теория классовой борьбы и ее тезис о существовании «реакционных социальных слоев») и «абсолютизацию насилия» — как универсального средства решения всех социальных проблем, как магистральный путь к обществу «всеобщей уравнительности». («Насилие — повивальная бабка истории», — любят приводить они наиболее «криминальную» цитату из Маркса). Ну, а на Ленине вообще клейма негде ставить: «преступно-бредовые» идеи Маркса начал реализовывать на практике. Наконец, Сталин-Джугашвили завершил создание преступного общества «уравнительности» и «насилия» — по чертежам Маркса и Ленина.

О преступности сталинизма спорить не собираемся, хотя чертежи классиков социализма тут ни при чем, но об этом разговор ниже. Что же касается Маркса и Ленина, то уж, позвольте, господа.

О Марксе. Маркс — вовсе не какая-то «незаконная комета» в ряду «исчисленных светил» европейской мысли. Он считает себя и является на деле учеником и последователем Вольтера и Монтескье, Руссо и Гельвеция, творцов Великой (и заметим — буржуазной!) французской революции. Он приветствует ее гигантский исторический шаг в сфере развития равенства: устранение сословий (устанавливавших неравенство людей от природы) и обеспечение равенства всех перед законом — политического равенства. И вместе с тем указывает на недостаточность этого шага: сохранившееся и растущее на базе нового капиталистического способа производства экономическое неравенство делает призрачной и идею политического равенства. Нужно политическое равенство дополнить равенством социально-экономическим, что для Маркса означало: устранить возможность присвоения одними труда других, т.е. устранить эксплуатацию человека человеком. Эта идея и стала ядром марксистской формы социализма. Тут нет и речи и какой-либо «урав-

нительности»: пожалуйста, богатей за счет своего труда, одно только «но»: не живи трудом других. И всё!

Насчет «насилия» как универсального средства и теории «классовой борьбы» как теории «социального расизма». Господа хорошие, не Марксом придумана «классовая борьба», он только попытался выяснить ее роль в истории; не Маркс «устранял» «реакционные» сословия во Франции, Англии и других странах Европы. «Социальными расистами» были миллионы европейцев задолго до рождения Маркса. И «методы насилия» не Марксом сочинены и не им внедрены в общественную практику. Это не Маркс развешивал на столбах участников восстания Спартака, не Маркс отправлял на эшафот Людовика XVI и Карла I, не Маркс поднял в 1834 году лионских ткачей на восстание и не Маркс руководил его подавлением. Не взваливайте же на его плечи ответственность за существование насилия в истории. И поимейте, пожалуйста, в виду, что именно Маркс был тем человеком, который поставил вопрос о желательности и возможности изменить подобный, классово-антагонистический тип развития человеческого общества. Не он ли, кстати, разъяснял, что общественный идеал для социалистов исключает всякое насилие над людьми? Можно, конечно, размышлять над тем, не следовало ли Марксу призвать к исключению методов насилия не в будущем, не в «идеале», а в конкретных условиях уже середины XIX столетия. И уж тем более Ленину — в начале XX века? Я не против — чтобы поразмышлять. Но, во-первых, это уже другая проблема, а во-вторых, не уверен, что размышление это приведет всех нас к бесспорному и однозначному результату. Прекраснодушных призывов к гуманному отношению предпринимателей к наемным работникам было немало. Но только после того, как сами рабочие «нажали» в европейской революции 1848 года, — только тогда стали законодательно устанавливать границы их рабочего дня и расширять их права. И, может быть, только в результате отчаянной полувековой революционной борьбы пролетариата стали появляться возможности его договоренностей и компромиссов с классом предпринимателей, — и не одним ли из первых появление этих принципиально новых возможностей политической борьбы (с использованием мирных, цивилизованных, парламентских форм) зафиксировал соратник Маркса Фридрих Энгельс в своих работах 90-х годов?

Нет, откровенные противники марксизма выглядят сегодня довольно жалко. Это в большинстве своем или наивные, но претенциозные невежды — вроде чеховского ученого соседушки, или люди не наивные и знающие, но из тех, кто спешит замолить перед нынешней властью свои марксистские «грехи», допущенные в доперестроечном прошлом. Ведь могут довольно сурово спросить у них сегодня: а чем ты занимался до 85 года? А пропагандой и агитацией в сталинско-брежневские времена ведал? А доктора-профессора за прославление истмата получал?..

«Друзья» идеи

Эти значительно опасней. Мы имеем в виду и давних «друзей» социалистической идеи и их нынешних наследников. «Давние» — это те, кто кучко-

вался — с середины 20-х годов — вокруг Сталина-Джугашвили. Тут были все атрибуты горячей приверженности великой идее: прославление «непогрешимого» Маркса, призыв учиться у Ленина («нашего учителя, нашего вождя»), клятвы на интернационализм и неразрывную «дружбу народов»; здесь и «всё для человека», и «депутаты — слуги народа», и наша демократия — «самая яркая демократия земли», и «нерушимое единство партии и народа», и собственность общественная (все хозяева!), и в основе всей жизни — твердые планы, — все как и должно быть при социализме. Но это были слова.

А дела... Дела были вот какие: в основе экономической системы лежала весьма специфическая «многоукладность»: рабский труд миллионов в лагерях, полуфеодальная эксплуатация крестьянства (крестьяне — без паспортов, намертво прикреплены к земле, трудодни — чистая формальность, на них не проживешь), и подневольный труд рабочих в городах. А «самая яркая демократия земли» была на деле диктатурой номенклатуры. Иначе говоря, никакого социализма тут и близко не было. Сложился строй особого типа, социально-антагонистический и политически-тоталитарный. Шла дискредитация социалистической идеи.

Нынешние наследники этих давних «друзей», так же, как и те, называют себя «коммунистами», так же, как и те, отождествляют прежнюю реальность с социализмом и зовут россиян вернуться к тем словам и тем делам. Более того. Преобладающие среди них сегодня течения вместо интернациональных знамен поднимают «патриотические», «националистические» флаги, формируя тем самым движение, которое справедливо характеризуется как «национал-коммунизм». Очень важно не перемешаться с этими людьми. Это — не «двоюродные братья», не «родственники» сторонников подлинно социалистической идеи. Это — их антиподы.

Что значит быть социалистом сегодня?

Я бы так ответил на этот вопрос.

1. Это означает, во-первых, быть наследником не «только марксовой» формы социализма. Марксизм — лишь ***один*** из источников современного социализма (хотя и чрезвычайно важный, но все же «один из»). Мы должны быть наследниками ***всей*** многовековой социалистической традиции. Особенное внимание у нас должны вызвать сегодня те особенности до-марксистских и не-марксистских форм социализма, которые состояли в том, что многие из них рассматривали социализм не как особую формацию, а как движение, направленное — во все эпохи (от рабовладения до капитализма) — к достижению максимально возможного для тех условий равенства людей, — и тем способствовавшее гуманизации существовавших форм экономических отношений и демократически-политических. Необходимо, во-вторых, учесть одну важную поправку, которую время внесло в рассуждения Маркса. Маркс жестко связывал уничтожение эксплуатации с непременной ликвидацией частной собственности. История показала, что организованный в сильные профсоюзы и влиятельные партии рабочий класс в состоянии ограничить (а

в перспективе — не допустить) присвоения своего труда предпринимателем и при наличии частной собственности.

2. Мы не должны рассматривать свою позицию как единственно справедливую, единственно возможную и единственно допустимую. Естественно и законно наличие других политических позиций. Мы будем решительно защищать их моральное и юридическое право на существование, следуя знаменитому принципу вольтеровского либерализма: я не согласен с вашей точкой зрения, но готов отдать жизнь за ваше право ее высказать.

3. Мы — не абсолютные апологеты ленинской стратегии. Не все ее положения мы оправдываем и в контексте тех времен, и уж тем более не склонны целиком переносить ее в дни сегодняшние. Но, подобно большевикам ленинской выучки, мы не хотим, чтобы общество делилось на белую и черную кость, на людей благородно-голубой и не-голубой крови, чтобы одни были управителями, а другие — бессловесным быдлом. Мы хотим, чтобы в управлении государством участвовали все — в том числе и знаменитые «кухарки».

4. Мы — абсолютные противники сталинизма. Как портреты «социалиста» Гитлера, так и портреты «социалиста» Сталина не могут быть подняты над нашими головами.

5. Мы должны быть социалистическими критиками той общественной системы, что, начиная с середины 20-х годов, формировалась в нашей стране. Это не означает, что мы рассматриваем ее существование как какое-то полное и нелепое «выпадение из истории». Методологически наш анализ этой системы должен напоминать тот анализ, который дали капитализму в «Манифесте» Маркс и Энгельс: показать, как в условиях социально-антагонистической и политически-жестокой общественной формации создавалось общественное богатство, решались задачи, поставленные историей, и как развитие кричащих противоречий этой формации сделало абсолютно невозможным ее дальнейшее существование, поставило задачу формирования новых общественных отношений. Я бы обратил внимание, в частности, на то, что в специфических формах страна наша решала задачу создания основ индустриального общества — то, что на Западе осуществлялось в кровавую эпоху первоначального накопления капитала, в жестокие периоды раннего капитализма. И худо-бедно эта задача оказалась в принципе решенной. Кроме того, давление и мощная инерция целого ряда социалистических установок Октябрьской революции способствовали осуществлению — хотя в чрезвычайно деформированном сталинизмом виде — таких исторических задач, как бесплатное всеобщее образование, бесплатное медицинское обслуживание, практически бесплатное жилье и т.п. Нет никакого смысла ликвидировать эти завоевания, доставшиеся такой дорогой ценой нашему народу.

6. В 1956 и 1985 годах наше общество и приверженцы социалистической идеи упустили в высшей степени благоприятные возможности для эволюции общественных отношений страны в направлении демократического социализма и гуманизма. Своеобразие нынешнего момента — идущий пере-

ход власти от прежней партгосноменклатуры к номенклатуре нового («демократического») типа. Все основные, борющиеся за власть политические группировки (Демвыбор, Гражданский союз, Фронт национального спасения), — это всего лишь различные фракции номенклатуры — старого и нового типа. Задача социалистов — не погрязнуть в хитросплетениях этой верхушечной политической возни, где речь идет о дележе собственности и власти между различными номенклатурными группами. Быть не «партией власти», а партией, способствующей и помогающей ***трудящимся*** придти к реальной власти. Не верхушечным «союзам», «блокам», «круглым столам» следует уделять главное внимание, а деятельности «внизу» — внутри «гражданского общества», способствуя различным формам народных объединений — созданию союзов учителей, врачей, инженеров, клубов ученых, деятелей культуры, объединений рабочих, фермеров. Это тем более важно в преддверии грядущих выборов: сплоченным группам политической номенклатуры должно противостоять хорошо организованное гражданское общество.

*5) Ленин и Сталин.
Философско-социологический комментарий
к повести В. Гроссмана «Всё течет»*

«Время — начинаю про Ленина рассказ» — это, как вы, надеюсь, помните, — Маяковский.

Мой «рассказ» о Ленине — впереди. Здесь, в этой статье, — только присказка. Написана эта присказка в 1989 году, но к тому, будущему, «рассказу» она войдет введением — без всяких изменений.

О Ленине пишут и высказываются люди как-то очень противоречиво, противореча, что особенно любопытно, не только друг другу, но и самим себе.

Вот известные, можно даже сказать, «знаменитые» идеологи и историки — А.Н. Яковлев (в 70-е годы — руководитель отдела пропаганды «ленинского» ЦК партии) или Д.А. Волкогонов (тот, что в славные советские времена был заместителем начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота). И рассказывали нам в те годы эти почтенные люди, каким чудесным человеком и каким гениальным политиком был Владимир Ильич, как самоотверженно служил он делу трудящихся всего мира, благу родной страны. А потом, когда «власть переменилась», они «прозрели» — и чудесный, добрый, гуманный человек превратился под их пером в беспощадного диктатора и кровожадного изверга, в «немецкого шпиона», разваливавшего Россию на деньги германского генерального штаба. (Я даже думаю, доживи Ленин до 90-х годов нашего столетия, сидеть бы ему на скамье подсудимых где-нибудь, как это было принято в 30-е годы, в Колонном зале, а новые Вышинские — Яковлев с Волкогоновым — держали бы свои речи с полным набором вышинскообразных клише («шпион», «убийца») и под «бурные, долго не смолкающие аплодисменты» хорошо подобранной публики приговорили бы его, конечно же, к высшей, самой высшей мере!)

Любопытна и эта публика, готовая аплодировать Яковлевым-Волкогоновым. Она аплодировала им и тогда, когда те умилялись Лениным, и сегодня — когда те требуют для Ленина «вышки».

Я сижу с журналистом, в общем-то довольно разумным, неплохо владеющим пером и искренне (зло, но справедливо) бичующим пороки современного отечественного бытия. Толковый и вполне вменяемый человек. Но как только заходит речь о Ленине, его вменяемость в миг исчезает. Зрачки сужаются, белки глаз начинают багроветь — и начинается страстный и вольный пересказ Яковлева и Волкогонова с добавками от Солоухина и Радзинского.

Сам он Ленина толком никогда не читал — так, конспектировал некоторые работы к семинарам по «Истории партии». Он — ленивый умом, все — с чужих слов. Ему говорили авторитетные люди, что Ленин — хороший, что он только и делал, что ездил на новогодние елки в Сокольники для раздачи подарков ребятишкам, что он трогательно и беззаветно любил свою маму, своих братьев и сестер, мировой пролетариат и нашу прекрасную Родину. Ну, и мой собеседник тоже ценил, тоже любил Ильича. А сегодня он его «не любит», потому что те «авторитетные люди» заговорили иначе. И как прежде он был готов драть глотку «за Ленина», так теперь он готов, что называется, грызть глотку уже этому самому Ленину.

В общем, умом ленивый, не умеющий мыслить самостоятельно, он тогда и сейчас — не более, чем раб чужих слов и чужих мнений.

Иначе формировались взгляды автора публикуемой здесь «присказки» о Ленине. Он не по речам Вышинских-Яковлевых, не по благословленному Сталиным «Краткому курсу» и не по современным «Кратким курсам», где все прежние знаки переменили на противоположные, формировал свое мнение. Он прочитал все 55 томов ленинских сочинений от корки до корки. И не просто «прочитал», а продумал все те проблемы, с которыми пришлось столкнуться Ленину. Он изучал эти работы в контексте той эпохи, в контексте жизни России и всего мира. И когда тот, «ленивый умом», читал увлеченно «Краткий курс» и политиздатовские биографии Ильича, наш автор по первоисточникам разбирал полемику, которую вели с Лениным Плеханов, Каутский, Мартов, Акимов, Богданов. Пока «ленивый умом», подключаясь к тогдашнему общему хору, клеймил «политическую проститутку» Троцкого и готовившегося, по уверению Вышинского, убить Ленина Бухарина, наш автор правдами и неправдами добывал протоколы и стенограммы Пленумов и Съездов партии, доставал в разных «спецхранах» и у знакомых работы Каутского, Бернштейна, Троцкого, Бухарина, Богданова, Зиновьева, Каменева, Рыкова и, читая, отчетливо видел, что никакие это не «враги», не «проститутки», не «предатели интересов трудящихся», а напряженно думающие, размышляющие над проблемами запутанного социального бытия XX столетия люди, сгибающиеся под тяжестью этих проблем, делающие замечательные открытия и чудовищные ошибки, где-то правые и где-то неправые в полемике с Лениным.

Главное же в том, что автор *сам, самостоятельно* вырабатывал свой взгляд, независимого от того, что нашептывали в его уши и пытались вби-

вать в его голову официальные теоретики и публицисты. *Его* Ленин не был *их* Лениным. И потому, когда его, где-то в начале 90-х, пригласили на телевидение порассуждать (вместе с Солоухиным) по поводу показанного фильма «Ленин в Октябре», и Солоухин, цитируя жестокие ленинские реплики из этого фильма, завел свои привычные речи о деспотизме и кровожадности Ленина, он заметил, что материал фильма не дает оснований для составления мнения о Ленине, ибо в фильме — не Ленин, а — Ленин, каким его хотел бы представить Сталин. Он сказал, что по-настоящему-то и фильм следовало назвать не «Ленин в Октябре», а «Сталин в Октябре». В 30-е годы, когда вышел этот фильм, был популярен лозунг: «Сталин — это Ленин сегодня»; сталинисты делали все, чтобы в сознании народа сформировался и родственный ему лозунг: «Ленин — это Сталин вчера». Вот этой-то идее и был подчинен фильм. Так что не с Лениным тут мы имеем дело, господин Солоухин, а со сталинской интерпретацией Ленина.

И потому, когда в «новые времена» стали появляться новые «Краткие курсы» истории (с перевернутыми знаками), наш автор остался верен себе.

И все же я хочу, чтобы читатель понял: здесь, в публикуемой ниже статье, — лишь *присказка* к будущему *разговору* о Ленине. Смысл этой присказки хотя и важный, но весьма ограниченный: отделить Ленина от Сталина, показать, что Ленин и Сталин не «близнецы-братья», а во многих отношениях антиподы. Но их разделение только *начало* настоящего разговора о Ленине.

Цель присказки — рассмотреть взаимоотношение Ленина и сближаемого с ним сталинистского Идола. Цель будущего рассказа — рассмотреть соотношение Ленинской теории и практики с Идеалом человеческой деятельности. В том рассказе не будет Сталина, он целиком останется в присказке. Там будет только Ленин — гениальный и ошибающийся. Там будет рассказ о трагедии ленинской жизни и ленинского мышления. Там будут разобраны бесценные уроки чрезвычайно противоречивой ленинской практики. Там пойдет разговор о его «наследстве» — о том, какую часть мы сегодня из него берем и от какой отказываемся.

Ну, а сейчас скажу самое главное. Эта статья не только и даже не столько о Ленине. И даже главным образом не о Ленине. Автор объясняет, защищает в ней тот знаменитый вольтеровский принцип, который гласит: «Я не согласен с Вашим мнением, но готов отдать жизнь за то, чтобы Вы имели право и возможность его высказывать». Вот об этом — о духовной свободе, о демократии интеллекта и совести, о том подлинно гуманистическом, демократическом плюрализме мнений, в котором ни одно из мнений (в том числе — автора) не имеет права претендовать на защищаемую государством свою монополию. Вот об этом, в первую очередь, и идет речь в данной статье.

Зачем понадобился этот комментарий?

Не ручаюсь за детали (никто меня в них не посвящал), но общий ход размышлений редакции (заказавшей мне эту статью) могу предположить — доводилось не раз сталкиваться с подобными ситуациями.

Перед редактором на столе повесть В. Гроссмана. Великолепная. Правдивая, беспощадная, — написанная о том и так, о чем и как у нас еще мало писалось. Она должна прийти к читателю, ее надо печатать,

Но вот одна закавыка: автор так широко и так свободно размышляет, что некоторые речи его звучат непривычно даже для перестроечных ушей. Он выходит за границы — даже за те достаточно широкие границы, — которые завоеваны эпохой перестройки. Ну, в самом деле, вписываются ли, например, в наш социалистический плюрализм острокритические рассуждения Гроссмана о роли Ленина в истории? Или его трактовка корней сталинизма?

Как же тут быть?

Повыкидывать эти дьявольские страницы и печатать без них (достаточно апробированный в прошлом вариант)? Но сегодня это уже неприемлемо. Есть в этом что-то недостойное и для журнала, и для нынешней эпохи. Ведь этого не поймет, что называется, демократическая общественность (много наслышанная об этих страницах), и, с другой стороны, будет брошена тень на провозглашенную и проводимую ныне линию демократической терпимости к инакомыслию.

Есть еще вариант, тоже иногда выручавший в прошлом. Печатать как оно есть. Но где-нибудь в примечании, петитом, как-то так коротенько заметить «от редакции» что, дескать, она «не во всем согласна с автором». Или так: «Отдавая должное художественности произведения, редакция не может согласиться с рядом содержащихся в нем философско-социологических обобщений». Или еще «гибче»: «Было бы неверно отождествлять позицию автора повести со взглядами одного из ее героев». Тоже — плохо, тоже какое-то неуважение и к автору, и к читателям — ведь очевидно же для всех, что главный герой, Иван Григорьевич, высказывает задушевные мысли автора.

А может быть, всё это было не так. Просто редакция не хотела, чтобы остались без ответа несправедливые слова, сказанные в адрес Ленина даже столь уважаемым и талантливым художником, как В. Гроссман, и решила сопроводить повесть комментарием историка или философа. Может, и так. Не знаю.

Но как бы там ни было, редакция не ошиблась: я действительно, приветствуя все основные художественные идеи повести В. Гроссмана, буду решительно возражать против понимания автором (и его героем) причин, корней, истоков сталинизма, против отождествления Ленина со Сталиным, а ленинизма со сталинизмом. И в этом смысле я действительно буду защищать Ленина.

Но прежде (и для меня сегодня **это** главное) я хотел бы **защитить В. Гроссмана**, защитить его право сказать, что он думает и как он думает, его право довести содержание своих размышлений до читателя (и при этом без всяких сопроводительных комментариев). Это, конечно, несколько запоздалая защита (25 лет спустя после смерти писателя!}. Но, с одной стороны, далеко не все, сказанное им, пришло к читателю, а с другой, — речь ведь идет об общем принципе, о праве, в котором нуждаются многие из живущих — те, кто, подобно лирическому герою А. Твардовского, способен сказать о себе: «Не могу передоверить даже Льву Толстому сказать, что я хочу, и так, как я хочу».

«Социалистический плюрализм» — есть ли в нем место В. Гроссману?

Все зависит от того, как толковать «социалистический плюрализм». Если так, как это сегодня нередко делается, — как многообразие мнений «в рамках ленинской идеологической традиции», то В. Гроссману вроде бы тут места нет, ибо он эту традицию как будто бы открыто и остро критикует, и получается в силу этого, что его критика вроде бы не «служит делу укрепления социализма» (еще один признак «соцплюрализма»!). Однако попробуем более основательно разобраться во всем этом.

Вначале — о толковании «социалистического плюрализма» (термин, пущенный в оборот М.С. Горбачевым). Мы не будем затрагивать сейчас вопрос о словах, о терминах, о том, хорошо или плохо это название. Пусть будут эти слова; главное ведь — что за ними стоит, какое содержание в них вкладывается. Так вот, обратим прежде всего внимание на одну довольно странную вещь. Как-то так обычно получается, что добавление определения «социалистический» к какому-либо понятию ведет не к расширению, не к обогащению его содержания, а к резкому его сужению и обеднению.

Вспомним: социалистический реализм, социалистический гуманизм, социалистический интернационализм, социалистическая демократия.

Так, социалистический реализм — это не более богатый и глубокий, чем все его прежние разновидности, реализм, не тот реализм, что в максимальной степени отражает всю правду жизни, а тот, который отражает требования из пяти–семи пунктов, сформулированных разными там Ждановыми и Ермиловыми. Скажем, в 70-е годы просто реализм требовал бы отражения жизненного застоя, а «социалистический» реализм — жизни «в ее революционном развитии» (то есть добродетельного вранья), просто реализм должен был бы показать низведение основной массы людей до участи «винтиков» и «гаечек», а «социалистический» — «решающую роль народных масс в истории», просто реализм требовал бы отражения всех сторон и всех цветов жизни, «социалистический» — лишь «примерных» сторон и розово-голубых красок.

Прежний интернационализм предусматривал добровольную солидарность полностью самостоятельных прогрессивных политических и социальных сил мира. «Более высокая» — «социалистическая» — форма интернационализма на практике нередко означала жесткое ограничение суверенитета «дружественных» стран, народов, политических партий и движений — вплоть до самого беспардонного вмешательства одних во внутренние дела других.

«Социалистический» гуманизм не какое-то там «абстрактное» («трухлявое» или как там еще?) человеколюбие, ставящее превыше всего жизнь и счастье человечества и отдельного человека, но «гуманизм», на знамени которого написано: «Кто не с нами, тот против нас», и если этот, который «против», «не сдается, его уничтожают».

«Социалистическая» демократия часто означала не ту, которая выше, шире, глубже не-социалистической и до-социалистической («буржуазной», «рабовладельческой» и т.п.), а ту, которая уже, которая «не для всех» и которая приводила в итоге к ситуации «человека-винтика», которая прекрасно

уживалась с уничтожением крестьянства, травлей интеллигенции, обожествлением всевластного Вождя.

Действительное же содержание марксистских установок связано с громадным расширением участия людей в освободительной борьбе и общественной жизни. Лозунг марксизма: рабочий класс, освобождая себя, освобождает всех. Освобождение человечества — вот высший императив марксизма. И это понимание общечеловеческого смысла освободительной борьбы ныне всё более широко распространяется в среде марксистов. Очень удачен и очень точен, на мой взгляд, популярный сегодня лозунг: «Больше демократии — больше социализма». То есть «больше демократии» означает «больше социализма». Заметим: «больше» не «социалистической демократии» — «больше социализма» (это было бы, в лучшем случае, бессодержательной тавтологией, а в худшем — сталинистско-брежневской формулой), а именно больше просто «демократии». Социализм (если брать его в изначальном, а не в искореженном советской номенклатурой значении) — это ведь и есть «до конца» доводимая демократия. «До конца» — то есть до действительного равенства людей не только в политико-правовой области (начало чему было положено Великой французской революцией XVIII века), но и в экономической, культурной, научной сферах, то есть до равенства по отношению к средствам производства материальных благ и управления, культурному богатству, к средствам производства научного знания.

Иначе говоря, реализм становится социалистическим, когда он схватывает с наибольшей глубиной логику развития жизни, гуманизм — социалистическим, когда поднимается до общечеловеческого гуманизма и общечеловеческих ценностей, а демократия — социалистической, когда она становится делом и полем деятельности всех и каждого. Вот почему «больше социализма» и означает, в частности, «больше демократии, больше гуманизма, больше интернационализма, больше реализма».

В этом контексте после приведенных разъяснений попробуем поосновательнее разобраться с понятием «социалистический плюрализм». Это важно не только для ответа на сравнительно частный вопрос, вынесенный в подзаголовок данного раздела статьи, но и для более ясного представления о том, в каком направлении в сфере гласности следует держать курс в дальнейшем.

Итак, весьма авторитетные деятели (*тогда всем было ясно, что речь идет о Горбачеве*) информируют нас, что в рамках «социалистического плюрализма» могут получить место только те мысли и позиции, которые «продолжают ленинскую идеологическую традицию» и которые тем самым «служат социализму». Такая трактовка вызывает ряд вопросов. Например, означает ли это, что мыслители, принадлежащие к другим идеологическим традициям, — ну, скажем, поклонники Л. Толстого, последователи М. Ганди, Дж. Неру или такие деятели, как Дж. Гэлбрейт, В. Брандт и т.д. и т.п., — должны оказаться за пределами нашего плюрализма и нашей гласности?

С другой стороны, что конкретно имеется в виду, когда говорится о «ленинской идейной традиции»? Например, сталинский «Краткий курс» с его

высокоположительными оценками Ленина — это «ленинская традиция»? А авторы, официальные интерпретаторы и проводники в жизнь идей «Краткого курса», — Молотов, Берия, Вышинский, Каганович и др., — влезают они в обозначенные рамки? А та «традиция», которая в годы застоя именовалась «Ленинским курсом» (по названию сочинений Л. И. Брежнева)? А Нина Андреева и ее покровители (которые, между прочим, клянутся Лениным, впрочем, вкупе со Сталиным), — их куда отнести? А их антиподы — критики сталинизма и брежневщины Рой Медведев, Лен Карпинский, Андрей Сахаров, Юрий Афанасьев, — они умещаются в означенном русле?

Вопрос-то сегодня вот ведь какой стороной поворачивается: что значит «ленинская традиция»? что такое социализм и что ему «служит»? (Коллективизация и индустриализация «по-сталински» — «служат»? А «классовый подход» в области права, культуры и искусства с его апофеозом в 1937-м и 1946–1948 годах — «служит»? Кто больше служит социализму — расстрелянный в 1938 году Бухарин или положенный в 1953 году рядом с Лениным в Мавзолей Сталин?). Черта под всеми этими вопросами не подведена, наука только приступает к серьезному выяснению всего этого. Еще только-только приоткрылись двери спецхранов, еще продолжают оставаться в тайне главные документы архивов. Только еще едва-едва прозвучали первые, робкие, слабо документированные вступительные речи к серьезным научным дискуссиям, а администраторы уже начинают отмерять допустимые пределы дебатов, чертить для них рамки и границы. Требуют «нового прочтения Ленина» — и тут же грозное предостережение: но только в таких-то вот рамках. Требуют новой, углубленной разработки критериев социализма — и тут же: но, знаете ли, только вот в таких-то пределах.

Но ведь рамки действительно научной дискуссии, границы содержания выносимых на теоретическое обсуждение понятий может определить только сама дискуссия, только сам ее ход. Мы же встречаемся с попыткой определения всего этого до дискуссии. Словно кто-то уж превосходно знает, как надо по-новому читать Ленина, в чем глубинная суть оставленного им наследия, каковы искомые критерии социализма и т.д. Но если это так, если кому-то это все хорошо известно, то зачем этот призыв к дискуссиям, к «многообразию мнений» (и зачем, простите, вообще какой-то «плюрализм»)? Так не таите же, не скромничайте, сообщите нам побыстрее ваше понимание, обозначьте поотчетливей желательные для вас «рамки». Правда, отдайте себе ясный отчет в том, что выполнение этой задачи с необходимостью потребует от вас написания нового Курса истории (и, конечно, — краткого, ибо так оно яснее и проще запоминается, да и легче будет сличать формулы Нового курса с дискуссионными высказываниями).

Да, в этом важном вопросе должна быть полная ясность, тут надо следовать ленинскому методологическому принципу, не однажды уже повторявшемуся с самых высоких трибун: пора перестать морочить самих себя. Да, пора. Либо — либо: либо действительный плюрализм (ограниченный только «рамками» стремления к объективной истине да высшими нравственны-

ми и правовыми критериями, до которых доработалась наиболее цивилизованная, наиболее развитая часть современного человечества), либо — плюрализм «в рамках» (определение которых находится в монопольном владении тех или иных администраторов). И тогда, в последнем случае, действительно не следует морочить ни себя, ни других, не следует говорить о какой-либо принципиальной новизне ситуации — ибо такой-то — «управляемый» плюрализм «в рамках», — пожалуй, и в 1937 году существовал (разве не позволялось тогда многообразие мнений «в рамках» традиций «Краткого курса»?). А если на это кто-то заметит, что в отличие от прошлого сейчас рамки предлагаются более широкие, я отвечу: да, конечно, это так, и недооценивать это нельзя, но принцип, увы, остается прежний — монополия администрации на истину, стремление превратить науку в угодливого комментатора и беспрекословную служанку политики. Речь пока может идти лишь о количественных различиях в рамках одного и того же качества. А количественные характеристики (шире — уже, больше — меньше) в условиях неразрушенной монополии на истину могут легко и быстро изменяться. Легкость, с которой Нина Андреева и К° в первые недели после публикации в «Советской России» начала расширять свои позиции, ясно свидетельствует о непрочности количественных изменений. Должно меняться качество отношений между политикой и наукой, качество плюрализма. Если мы действительно хотим способствовать формированию максимально демократической (т.е. социалистической, ибо это синонимы) атмосферы в нашем обществе, если мы действительно хотим построить привлекательное для трудящихся всей земли общество — свободных, равноправных, всесторонне развитых людей (то есть социалистическое общество), — то наше понимание «социалистического плюрализма» (если уж мы пользуемся этим словосочетанием) должно быть принципиально иным. Плюрализм при социализме своим богатством и многообразием должен превосходить любые другие типы плюрализма. Он должен быть самым свободным и самым широким во всей человеческой истории — в соответствии с уже известной матрицей: «больше плюрализма» означает «больше социализма». Социализму «служат» прежде всего не какие-то определенные, «правильные» (идущие в «нужных» рамках) мнения, а само многообразие мнений, сама возможность каждому высказаться и быть услышанным. «Правильно» — «неправильно» — это не министерствами, не главками, не комитетами определяется, а ходом дискуссии, общественным мнением, практикой.

Только в такой — свободной, ничем не ограниченной (кроме разве лишь статьей демократического правового законодательства) — атмосфере дискуссии и могут формироваться (хотя и не сразу, не без борьбы) истинные (то есть соответствующие объективной логике истории и интересам подавляющего большинства людей) суждения. Только в такой атмосфере победа той или другой «традиции» будет убедительной, полновесной, будет выражением политического, научного и социального прогресса. Впрочем, в такой атмосфере будет обогащаться и само представление о «традициях» — уйдут в прошлое узкие, сектантские представления о монопольной истинности «на-

ших» традиций, которые-де во всем, во всех отношениях выше всех других, на их место придет иное представление о традиции, которая не только способна быть верной своему первоисточнику, но и умеет переплетаться с другими «традициями», обогащаться их мыслями, их идеями, развиваться вместе (и параллельно) с ними, обеспечивая взаимное обогащение друг друга. Путь жестких ограничений, идейного монополизма, административного устранения конкурентов и оппонентов ведет (и в этом надо отдавать себе ясный отчет!) не к победе защищаемой традиции, а, как и всякая монополия, к загниванию, к застою, к кризису. Бюрократические ограничения научной жизни — это лучший способ погубить самую лучшую традицию.

Отсюда вполне понятен наш вывод: в рамках так понимаемого «социалистического плюрализма» В. Гроссман и его единомышленники имеют вполне законное место, не менее законное, чем представители любых других «традиций». Более того, само присутствие их мнений, их могучая побуждающая сила — бесстрашно искать ответы на «проклятые вопросы» наших дней, дабы построить мир нелицемерного уважения к человеку — служат самым высоким и прекрасным целям [совокупность которых основоположники марксизма и называли социализмом).

Но признание их абсолютного права, не спрашивая ничьего разрешения, присутствовать на общественной дискуссионной арене не означает с моей стороны признания правоты их точки зрения на причины, приведшие нас к тупиковым ситуациям, на пути и способы их преодоления. Последующие страницы и будут посвящены полемике с этими достойными уважения людьми.

Ошибки «Дневника» и художественное открытие В. Гроссмана

Будем откровенны: серьезной научной экспертизы гроссмановские страницы о Ленине выдержать не смогут. Их научная слабость просто бросается в глаза. Здесь и неточные факты. (Ну, например, не давал Ленин указаний провести обыск у умирающего Плеханова. Там местные «социалистические» держиморды, будущие сталинисты, поусердствовали. Ленин же, напротив, узнав об этом, страшно и яростно возмутился). А если и приводится эпизод, действительно имевший место, то он как-то странно, как-то весьма неубедительно толкуется. Какая грубая, внушают нам строки дневника Ивана Григорьевича, какая примитивная натура у этого вождя: поднимается с друзьями на гору в Швейцарии и, достигнув вершины, вместо того, чтобы сказать несколько возвышенных слов о красоте природы (как, по мнению автора, должен был бы поступить человек тонкой, интеллигентной организации), он бросает какую-то гневную политическую фразу, являвшуюся, по-видимому, итогом его молчаливых размышлений во время прогулки. Политическая суета заслонила-де ему всю «поэзию Божиего мира». Узость ума, бедность чувства, ограниченность натуры — автору кажется, что именно об этом говорит приведенный им факт. Но просто ведь очевидно, что факт этот говорит совсем, совсем о другом — о прямо противоположном: пока Россия живет так, как она живет, — с распутиными и романовыми, бросая миллионы людей на

гибель в бессмысленную мировую бойню (приводимый эпизод относится к годам первой мировой войны), — он, Ленин, не может любоваться «Божиим миром»: совесть не позволяет. Да вот ведь и автор дневника, сам-то Иван Григорьевич, возвращающийся после многолетней сталинской каторги, — разве он любуется «Божиим миром», бегущим за окном железнодорожного вагона, разве занимают его маленькие радости этого Божиего (а в действительности безбожного) мира, которыми живут его попутчики по купе? Какой он угрюмый, «односторонний», думающий все об одном и том же, этот Иван Григорьевич! И в дневнике-то ни про ручейки, ни про птичек — ни слова; все — про Ульянова и Джугашвили. «Чудовище» настоящее, а не человек!..

Неверны в повести и многие обобщения, касающиеся существенных сторон личности Ленина, его моральных и политических принципов. «Ленин в споре не стремился убедить противника, — читаем мы в дневнике Ивана Григорьевича. — Ленин в споре вообще не обращался к своему оппоненту, он обращался к свидетелям спора. Его цель была — перед лицом свидетелей спора высмеять, скомпрометировать своего противника». Ну, неверно же, совершенно неверно все это. Прежде чем вступить в открытый, публичный спор с А. Богдановым (в книге «Материализм и эмпириокритицизм», 1909 г.), Ленин писал ему несколько лет философские письма — целые «тетрадки» исписывал. Г. Пятакову, Е. Бош и другим молодым «левым» социал-демократам в 1915–1916 годах снова в письмах-тетрадях выяснял для них сложную диалектику межнациональных отношений. А знаменитые, известные сегодня в деталях дискуссии вокруг «Апрельских тезисов» в 1917 году, Брестского мира в 1918-м — эти образцы ленинской демократической манеры полемики! А сила (соединенная с мягкостью и деликатностью) убеждения в его речи «О задачах союзов молодежи» и в работе «Детская болезнь «левизны» в коммунизме»!

И разговоры о нетерпимости Ленина по отношению к оппонентам — они не основаны на серьезных фактах. Все было как раз наоборот. Уж чего-чего не наговорил в его адрес саркастический и ядовитый Плеханов — и с Собакевичем его сравнивал, и с гоголевским Осипом (слугой Хлестакова), называл его «Апрельские тезисы» «бредом», указывал на их сходство с дневниковыми записями Поприщина, вообще его мировоззрение оценивал как «дубоватый марксизм». (Кстати, как деликатны, как изысканно вежливы были его оппоненты, не правда ли?) А Ленин?

Он, этот «необъективный» человек, думавший только о том, как «скомпрометировать своих оппонентов», давая после смерти Плеханова итоговую оценку его взглядов, писал: нельзя стать сознательным коммунистом, не изучив всего, что написано Плехановым по философии. Вот вам и «нетерпимость»! Или: как блистательно сработался Ленин с Троцким в 1917–1923 годах. А ведь какие перья целое десятилетие перед этим летели в их схватках; и Лев Давидович, как известно, подобно Плеханову, в полемике тоже не слишком церемонился. А вот поди же ты — смогли вместе работать. И те трогательные венки воспоминаний, полных преклонения перед Владимиром Ильичей, которые положил Л.Д. Троцкий к подножию памяти о Ленине, — еще одно

убедительное свидетельство нравственной и политической высоты Ильича. А ставший уже хрестоматийным эпизод, когда Каменев и Зиновьев, так разошедшиеся с Лениным в Октябре, смогли вернуться в его «ближайшее окружение» и приложить свои крупные по тем временам силы к укреплению и развитию первых шагов послеоктябрьского строительства. Ленин умел убеждать, умел объединять, умел быть терпеливым, умел ждать, умел делать десять шагов навстречу тому, кто готов был сделать первый встречный шаг. Нет, нет, он — полная противоположность тому характеру, что обрисован в повести.

Или: «Он (Ленин) никогда не допускал возможность хотя бы частичной правоты своих противников, хотя бы частичной своей неправоты». И снова — мимо. Вот только один пример. И для большей убедительности — снова связанный с Троцким (долгие годы одним из главных оппонентов Ильича). Речь шла об очень серьезном вопросе — о тактике по отношению к предпарламенту, к Демократическому совещанию (это был сентябрь 1917 года, острейший момент — когда тщательно выверялись политические шаги, способные приблизить и обеспечить победу грядущей революции). «Надо было бойкотировать Демократическое совещание, — пишет Владимир Ильич и с полнейшей определенностью заключает: — Мы все ошиблись, не сделав этого». И тут же знаменательные слова: «Троцкий был за бойкот. Браво, товарищ Троцкий!».

Найдите мне у Мартова, Аксельрода, Плеханова, Потресова, Чернова и т.д. и т.д. — после 1903 года — подобные слова: «Мы ошибались. Ленин прав. Браво, товарищ Ленин!». Не найдете, уверяю вас!

Об ошибках, когда они случались, Ильич писал прямо — и относительно бойкота 1-й Государственной Думы в 1906 году и небойкота Демократического совещания, об ошибочности политики военного коммунизма (как стратегической линии строительства общества), о необходимости внесения принципиальных коррективов в страстно защищавшиеся им накануне Октября принципы Парижской коммуны и т.д. и т.п. Им даже общий принцип сформулирован: открытое признание ошибок, правильное отношение к ним, связанное с умением извлечь из них урок, — есть первый признак серьезной партии.

Конечно, такие признания — ошибок — далеко не на каждой странице произведений Ленина. Но лишь по той простой причине, что ошибочных страниц в них бесконечно меньше, чем страниц, подтвержденных практикой жизни и борьбы. Ну, а за это нельзя быть в претензии к человеку.

В общем, строгой научной экспертизы указанные места повести не выдержат. Это всем ясно! Знающему человеку не только из числа блюстителей и охранителей с докторскими степенями и профессорскими дипломами несложно одержать легкую победу. И то, что это попытаются сделать, — не сомневаюсь. Но это не будет действительной победой. Потому что повесть Гроссмана и все ее страницы — это не научный трактат, а художественное произведение. И должна восприниматься и оцениваться по законам художественности. И как художник Гроссман не только не ошибся, но и тонко подметил и верно отразил возникновение одной из важнейших тенденций интеллектуальной жизни общества: мучительно размышляя над причинами нескладицы

нашей жизни, все большее число людей обращается — с сомнениями, подозрениями, вопросами — к исходному проекту построения нового общества — к проекту, созданному Марксом, Энгельсом и Лениным, к программам и замыслам Октября. Очень верно схвачена специфика этого феномена: речь идет не о каких-то там дворянах-эмигрантах, вздыхающих в Стамбулах и Парижах по своим, оставшимся в России «вишневым садам», не о белогвардейцах, не о «буржуазных интеллигентах» — вообще не о тех, кто не приемлет самой идеи социального равноправия, а о выходцах из рабочих и беднейших крестьянских семей, о первых поколениях той новой народной интеллигенции, которую породил Октябрь. Речь идет о тех людях, для которых идея социализма, дело Октябрьской революции и имя Ленина были сердечной святыней. И вот мысль, раздумья именно этих людей под страшным давлением громады жизненных фактов, не укладывавшихся в русло их ожиданий, под влиянием немыслимых, невероятных бед, обрушившихся на их головы, мысль этих людей все более активно и все более массово стала двигаться в направлении, которое самим этим людям еще недавно представлялось совершенно невозможным и совершенно немыслимым: а не в исходном ли «проекте» заложены были все те страшные деформации, которые так изломали послеоктябрьские поколения? Речь шла о в высшей степени драматическом интеллектуальном переломе — подобном тому, который происходит в головах верующих, когда жизнь вдруг заставляет их поставить перед собой страшный (для них) вопрос: а есть ли, а существует ли это высшее, милосердное, всемогущее и всезнающее Существо — Бог? Вот какой значимости явление было уловлено Гроссманом — и поразительно, что это было сделано в период (на рубеже 50–60-х годов), когда явление это было еще только-только возникшей, слабой и неясной тенденцией.

В. Гроссман и был одним из первооткрывателей этого феномена — будем же благодарны ему за это. А этот духовный перелом, надлом, сдвиг, поиск ответов на мучительные, страшные вопросы, глубина и основательность размышлений у разных людей происходили по-разному — все зависело от жизненного опыта, силы ума, темперамента. Да и просто от элементарной возможности ознакомиться с историческими фактами. Разве можно быть в большой претензии, например, к Ивану Григорьевичу, что в его дневнике маловато фактов и что те, которые есть, не вполне точны, — его жизнь проходила вдали от архивов и библиотечных спецхранов.

Поэтому, я думаю, задача теоретического анализа повести состоит не столько в том, чтобы, вступив в научный спор, «опровергнуть» Ивана Григорьевича, сколько в том, чтобы попытаться объяснить само возникновение отмеченного феномена (что отразилось в нем?) и высказать свое отношение к самой логике подобных (обращенных к «исходному проекту») размышлений.

Эта задача тем более важна, что сегодня речь идет уже не о зародыше названной тенденции, а о ясно обозначившемся крупном явлении духовной жизни. Речь идет о феномене, который будет играть возрастающую роль во всех интеллектуальных процессах, происходящих в нашем обществе. Уже не

скромные дневниковые записи Ивана Григорьевича, а фундированные цитатами и хорошо проверенными фактами научные статьи появляются на страницах журналов, близится время книг и монографических исследований на эти темы.

Следует иметь в виду, что это не случайность, не какой-то временный зигзаг массового и научного сознания. Это будет долгой и устойчивой тенденцией, с которой нужно будет всерьез считаться. Возникновение ее естественно и закономерно. Все упирается в невыясненность, в необъясненность сталинского феномена, его существенных сторон, его корней и причин. Что он такое, откуда он? Легкими ответами тут не отделаешься. Припомните еще раз все события, все ситуации повести — ведь это что-то за пределами человеческой логики, даже за пределами человеческой цивилизации, невообразимое, немыслимое, невозможное, — и все же это было, было, это оказалось возможным. Почему? Как?

Просто нельзя жить, не ответив более или менее убедительно на эти вопросы. И когда говорят: «Хватит копаться в прошлом, давайте строить будущее — время не ждет», я знаю: это говорят или мертвые душой люди, или те, кто чувством и мыслью из одного мира с «вершителями» нашей истории 1930–1940-х годов. Таких людей надо бы подальше держать от «проектирования» будущего. Нормальный человек не может строить будущее, пока не поймет, как стало возможным такое прошлое. Я бы даже сказал так: все наши обновительские процессы не будут иметь стойкого успеха до тех пор, пока не будет полной информации о прошлом, пока не явятся более или менее серьезные ответы относительно сталинистского феномена, ибо мы должны предельно ясно представлять, что именно перестраиваем. Нельзя просто сложить в исторический саркофаг все смертельно-радиационные элементы истории и закопать его где-то подальше от человеческого разума и человеческой совести. Не получится, — мы, все наши мысли, чувства, все наши общественные организмы подключены к тем корням, которые породили прошлое и которые отравляют нашу кровь, наше общественное кровообращение и сегодня. Продолжение поисков корней сталинизма, обращение в этой связи к «исходным проектам» — насущнейшая и неодолимая общественная необходимость, с ней ничего не поделаешь — не запретишь, не перекроешь. С нею придется считаться, и она может стать разрушительной, если вместо стремления направлять ее возникнут попытки заглушить ее.

Следует помнить и о том, что в этом неизбежном процессе обращения с капитальной проверкой к «исходным проектам», «теоретическим основам нашей доктрины» примут участие люди разного уровня подготовки да и просто разной культуры. Будут перекосы, гам, шум, много будет поднято пыли. Важно не затеряться во всем этом. Важно изначально придать всем этим дискуссиям культурные, цивилизованные формы, отличающиеся демократичностью, нравственным тактом, подлинной, неформальной гласностью. Но и не паниковать и не слишком нервничать в связи с будущими неизбежными перекосами, односторонностями, преувеличениями и т.д. Помнить о

том, что мы (теоретические и политические работники) несем свою долю ответственности за то, что не дали удовлетворительных объяснений феномену сталинизма.

Поскольку же этот процесс генеральной перепроверки уже начался, то, думаю, есть смысл и нам высказать несколько соображений о корнях сталинизма и о том, обосновано ли отождествление Сталина с Лениным.

Вопрос о Ленине должен быть поставлен и решен заново

Что значит «заново»? И почему «заново»?

«Заново» не означает простого переворачивания прошлых оценок: где был плюс, ставить минус — и дело с концом. «Заново» означает генеральную перепроверку всех прежних оценок, всех постановок вопросов, всех идей и цитат, всех выводов. Никаких аксиом, никаких «истин, не требующих доказательства», никаких принимаемых на веру положений!

Речь, конечно, вовсе не идет о том, чтобы напрочь игнорировать все, что писалось на эти темы в прошлом, — там наряду с хламом и ложью встречались и плодотворные подходы, интересные оценки, а подчас (в редких, конечно, случаях) и просто прозрения, И их надо, разумеется, учесть. Но сводить сегодня дело лишь к «уточнению» и развитию прежних оценок путем скрупулезного отделения «верного» в них от «неверного» значило бы обрекать себя на неудачу. Правда и вымысел, ложь и истина переплелись в общественном сознании как змеи весной: голова истины переходит в хвост лжи — попробуй раздели их. Да и потом, истина — это же не сумма отдельных верных утверждений, а система идей (определенным образом взаимосвязанных и развивающихся). А ведь даже сравнительно верные идеи укладывались общественным (и в особенности массовым, обыденным) сознанием в ложную в своей основе канву: «Сталин — это Ленин сегодня», или что то же самое: «Ленин — это Сталин вчера». (Брежневский «Ленинский курс» был в целом наследником сталинской методологии). «Заново» и означает порушить эту привычную канву, сломать эти (и любые другие априорные) рамки.

В прежнем общественном сознании Ленин представал как мыслитель неразвивающийся, неизменяющийся, непогрешимый, как единственный, кто вносил новые крупные идеи в марксистскую теорию, как деятель, который не имел ни достойных соратников (ну, кроме, конечно, Иосифа Виссарионовича), ни серьезных и умных оппонентов. «Заново» означает сломать и эту методологическую традицию. Короче, «заново» означает — произвести перепроверку, руководствуясь коротким, простым и прекрасным девизом Маркса: «Всё подвергай сомнению!»

И такая перепроверка уже началась. Вслед за первыми ее робкими попытками (в конце 50-х годов), убитыми цензурой, пришла пора серьезных научных статей. И уже не в скромных дневниковых заметках героя повести Гроссмана, а в солидных журналах с многомиллионными тиражами зазвучало:

«Неверно видеть главную причину наших социальных деформаций в каких-то специфических взглядах, специфических теоретических построениях

Сталина. Зачем обманывать себя, мифологизируя Сталина и его дело? Копать надо глубже. Критический анализ должен обратиться к "нашим теоретическим основам", "исходным проектам", дабы выяснить "доктринальные причины деформации". Там, в "основах", "доктринах" мы найдем истоки страшной болезни. Ведь то, что писал Сталин, в общем "никогда не противоречило марксизму", в его "работах и лозунгах" "трудно найти несогласованность с привычными хрестоматийными представлениями о марксизме, да и текстами Маркса". Он "строил социализм в соответствии с предначертаниями теории, пытался, как мог, ускорить движение России к коммунизму, начатое (*Лениным*) в Октябре 1917 года". А "отклонения" Сталина от марксизма носили второстепенный характер и сводились, по сути, к трем следующим моментам: 1) низведение простых людей до "функции винтиков"; 2) представление о партии как "ордене меченосцев"; 3) идея, что по мере продвижения к высотам социализма нас ждет обострение классовой борьбы (т.е. возрастание остронасильственных методов решения социально-политических задач)».

Многим такая постановка вопроса показалась чрезвычайно смелой (не спорю!) и удивительно глубокой (оспариваю категорически!). Давайте разбираться.

Прежде всего — об этих «малозначащих», «второстепенных» «отклонениях». «Человек-винтик» — да какая же это «второстепенность», это же целая социальная концепция, прямо, контрастно, антагонистически противоположная пониманию социализма Марксом, Энгельсом и Лениным. Для классиков марксизма суть, смысл, главные цели социализма как раз были связаны с тем, чтобы человек перестал быть безмолвным и беспомощным винтиком экономической и политической машины и превратился в суверенное, свободное, универсально и всесторонне развитое существо; социализм, по их представлениям, — это результат творчества, исторической самодеятельности масс и каждого человека. Разрешите не цитировать? Об этом можно ведь прочитать едва ли не на каждой странице сочинений Маркса, Энгельса, Ленина.

Партия — «орден меченосцев». Да разве это второстепенная деталь теории: кто такие коммунисты — закрытый, замкнутый средневековый «орден», привилегированная каста, господствующая над народом и втайне решающая все вопросы его судьбы, или это открытая, демократическая организация, добровольно взявшая на себя обязанность выполнять волю народа, быть подотчетной и подконтрольной народу в каждом своем шаге?

А идея обострения классовой борьбы? Это же, по сути, апологетика насилия, переходящего в открытый террор против своего народа.

Вот ведь какая суть сталинского политического режима вырисовывается из этих характеристик: замкнутый, закрытый, привилегированный «орден» (во главе, разумеется, со всемогущим Магистром) самодержавно, опираясь на самое грубое, самое жестокое насилие, управляет «винтико-человеками». Это, извините, не второстепенные отклонения от Маркса и Ленина, это вообще не «отклонения» от «исходного проекта». Это просто другой, принципиально другой проект.

Таково, по моему мнению, действительное содержание «отклонений», таково их действительное значение для понимания сути сталинизма и его отличия от «первоначальных проектов».

Теперь два слова о «совпадениях» — о том «основном», что, по мнению некоторых авторов, «роднит» Сталина с Марксом и Лениным, делая их представителями «единой теоретической традиции», которая, «воплотившись» в практику сталинской политики, принесла столько бед. Роднит их, оказывается, ошибочное отрицание товарности и рынка при социализме, идея прямого продуктообмена. «Представьте себе, говорят нам, во что превратится наша страна, если мы предпримем еще одну, теперь уже третью (после военного коммунизма и сталинского наступления на рынок) попытку построить нашу экономику по модели Маркса, то есть на основе прямого продуктообмена и абсолютного директивного планирования сверху».

Да, если будет предпринята такая попытка, стране действительно придется очень плохо. Но при чем здесь «модель Маркса»? Откуда вычитано, что Маркс советовал в условиях, подобных условиям российской действительности после Октября 1917 года, игнорировать рыночно-стоимостные механизмы, вводить прямой продуктообмен и директивное планирование?

Разрешите невеселую аналогию. Человек ныряет в бассейн в точном соответствии с рекомендуемой «моделью прыжка» и разбивается — он упустил из виду одну деталь: бассейн должен быть наполнен водой. Ну, скажите, можно ли винить тут «модель прыжка», рассчитанную на нормальные условия?

Маркс и Энгельс (как, добавим, и Ленин) связывали преодоление товарностоимостных отношений с общественным строем, который возникнет на основе высокоразвитого капитализма (который будет близок к исчерпанию своих возможностей, обобществит процесс производства, создаст высокоразвитого работника, способного управлять социально-экономическими процессами, сохранять и приумножать «плоды цивилизации» и т.д.). И эту-то альтернативу высокоразвитому капитализму Маркс с Энгельсом и назвали «социализмом». Только на этом, чрезвычайно высоком этапе культурного, экономического и политического развития и становится возможным и прогрессивным прямой продуктообмен, разработка планов, ориентированных не на стоимостные характеристики, а на потребности людей. Только к этим условиям и относится «модель Маркса».

Ситуация же, сложившаяся после Октября 1917 года, была совершенно непригодна для реализации этих марксовых «моделей». Здесь речь шла о поиске альтернативы не высокоразвитому, близкому к исчерпанию своих возможностей капитализму, а об альтернативе российской экономике — многоукладной, с доминированием мелкобуржуазного уклада, с существованием даже полуфеодальных отношений. Разваливалась эта экономика — и, конечно, условий для строительства того социализма, о котором писали Маркс и Энгельс (а это, думается, и есть единственно научное понимание социализма), не было. Пытаться в этих условиях применять «модель Маркса» и озна-

чало нырять в ненаполненный бассейн. О каком же «совпадении» сталинизма с марксизмом может идти речь?

А с ленинизмом? Может быть, с Ленина начались попытки применения «модели Маркса» в «не-марксовых» условиях? Может быть, Ленин был первым, кто выдвинул после Октября 1917 года «введение социализма» в России, а Сталин лишь продолжил эту линию, начатую в Октябре 1917 года?

Нет, и с ленинизмом у сталинизма нет ни совпадений, ни отношения преемственности. Ленин, оценивая послеоктябрьскую ситуацию, с определенностью, не допускающей никакой двусмысленности, подчеркивал: для «введения», для непосредственного строительства социализма нет условий — «кирпичи еще не созданы, из которых социализм сложится». И центральная, на мой взгляд, формула, выражающая самую глубинную суть ленинских оценок послеоктябрьской реальности: «выражение социалистическая Советская республика означает решимость Советской власти осуществить переход к социализму, а вовсе не признание новых экономических порядков социалистическими». Более того, «в материальном, экономическом, производственном смысле мы еще в "преддверии" социализма не находимся».

Вот как: даже в «преддверии» социализма не находимся! Поэтому-то и не выдвигал Ленин задачу реализации в этих условиях «модели Маркса», поэтому-то и разрабатывал он специфическую «модель» развития, которая была бы альтернативной не крупному капиталистическому хозяйству, а именно социально-экономическим отношениям, которые сложились в ту пору в России. Не крупный, развитый, государственный капитализм борется здесь с социализмом, отмечал Владимир Ильич, «а мелкая буржуазия плюс частнохозяйственный капитализм борются вместе, заодно, и против государственного капитализма, и против социализма». Вот почему с такой иронией Ленин писал о «левом ребячестве» тех, кто предлагал тогда сразу переходить к социализму. Нет, возражал он, чтобы победить мелкобуржуазность, нам нужно суметь использовать механизмы крупнокапиталистического, государственно-капиталистического производства. «Наша задача — учиться государственному капитализму немцев, всеми силами перенимать его». И писал все это Ленин в начале 1918 года — по сути, сразу же после Октябрьской революции. А нас пытаются уверить, что Сталин воплощал его идеи перехода к социалистическому непосредственному продуктообмену.

Сталин и его окружение действовали не по «моделям» классиков марксизма, а в прямом противоречии с их «моделями». Для Сталина и его окружения в их реальной практике на первом месте стояли политическая воля, политическое насилие (переходящее в жестокий террор), с помощью которых они стремились решать все проблемы экономического и культурного развития, не справляясь о том, достаточно ли зрелы условия для реализации тех или других задач. Не помышляя о том, чтобы находить пути и методы действия, способствующие их созреванию. Это и должно было кончиться большой бедой — как то, кстати, анализируя подобный образ действия, и предсказывали основоположники марксизма.

Я думаю, все изложенное дает нам право сделать вывод: «отклонения» Сталина — не отклонения, а «совпадения» — не совпадения. «Отклонения» на самом деле составляют суть его собственной социально-политической концепции, принципиально отличной от концепций Маркса и Ленина. «Совпадения» Сталина с «исходными проектами» напоминают «совпадение», случившееся у героя известной притчи, пожелание которого на похоронах «таскать вам — не перетаскать» совпадало с пожеланием, обращенным к людям, убирающим свой урожай.

Можно (и нужно) критически анализировать «исходные проекты» — и там мы действительно обнаружим и ряд односторонностей, и чересчур абстрактные утверждения, и определенную аберрацию видения, когда очень далекое представляется очень, очень близким, найдем и прямые промахи, и ошибки. Не найдем, я уверен, только одного — корней сталинизма.

Но доказать только это — недостаточно. Надо ясно ответить на вопрос: если корни сталинизма не там, то где же? Несерьезно же видеть их в злоумышлении, злой воле, политических амбициях, а то и просто в психическом заболевании (появилась и такая версия!) Генерального секретаря. Несерьезно потому, что всё это ничегошеньки не объясняет. Ну, скажем, примете вы диагноз Бехтерева: «сумасшедший у власти». Ну и что? Вы же ни на йоту не продвинетесь вперед в понимании сталинизма, ибо вам всё равно тогда нужно будет объяснить: как же так случилось, что тысячи сумасшедших под присмотром нормальных людей, хотя и называли себя Наполеонами, но спокойно «вязали веники» и клеили спичечные коробки где-нибудь на Канатчиковой даче, а тут один сумасшедший вдруг заставил миллионы здоровых людей «вязать веники» за колючей проволокой и признать, что он — Наполеон.

Или признаете, что слишком плохими были его проекты «коллективизации», «индустриализации», «политической системы». Ну и что? Вам все равно нужно будет объяснить, почему сотни плохих проектов оказывались просто в мусорных корзинах, а Его — становились законом всей общественной жизни страны.

Железная воля? Но давайте же не будем повторять нелепо преувеличенные песнопения подхалимов и трусов. Подумаешь, «воля» — у неограниченного деспота. Какая там особая «воля» нужна была: только бровью поведи, только губу скриви — и десятки угодников бросятся исполнять. Что он, гипнотизер какой? Вольф Мессинг, что ли? Кстати, почему в таком случае Джугашвили, а не Мессинг стал генеральным Гипнотизером?

А серьезны ли те «углубления», которые ныне в большом количестве встречаются на страницах популярных изданий? Понимают: глубже копать надо. И вот копают, углубляют. Например, можно «углубляться» в исследование строения мозга всемогущего шизофреника, отыскать обрывки его электроэнцефалограмм, выйти даже на клеточный уровень изучения — и копать, копать, глубже и глубже.

Можно углублять (как это подчас и делают сегодня) популярную версию о том, какими мастерскими, интриганскими действиями добился Он победы

своих замыслов. Здесь можно и записочки его на разных там заседаниях воспроизвести и воспроизвести его разговоры с каким-нибудь Кагановичем или Ворошиловым, подслушанные кем-то, случайно спрятавшимся под диваном. И про жену вождя можно кое-какие детальки подбросить, и поведать пикантные подробности про сестру Кагановича и некоторых других особ, бывавших у вождя на даче. Тут можно достичь просто неимоверной глубины…

Явно недостаточны для понимания причин сталинизма и рассказы о перипетиях идейно-политической борьбы после смерти Ленина. В них тоже главный акцент делается на личных качествах Сталина, на его политическом коварстве, «макиавеллизме» и т.п. Так, указывается, что с самого начала общепартийной дискуссии с троцкистами он начал борьбу за власть, не придавая слишком большого значения теоретическому содержанию полемики, планам и программам. Мастер политической интриги, он разбивал своих соперников по очереди: вначале использовал авторитет и личные амбиции Зиновьева, Каменева и Бухарина, чтобы разбить Троцкого и тем самым устранить с дороги своего главного политического соперника. Потом-де он устранил и Зиновьева с Каменевым, опершись на яркий теоретический талант Бухарина. («Бухарчика», как ласково и сентиментально называл он его в тот период). Потом подошла очередь и Бухарина, ставшего к 1929 году главным его «конкурентом». Вот и все причины победы административно-командной системы.

Очень простое «объяснение»! Я бы сказал, что модель мелких склок и мелочных подсиживаний, характерных для иных научных коллективов, переносится на явления всемирно-исторического масштаба — туда, где идет движение, столкновение, взрывы, рождение и гибель громадных социальных континентов и политических материков. Думать, что какая-то отдельная личность по своей воле способна передвигать эти «материки» и «континенты» в любом, желаемом ей направлении — святая наивность, в лучшем случае.

Повторяю: либо мы дадим серьезные ответы на вопрос о корнях сталинизма, либо мысль человеческая будет с неизбежностью двигаться в сторону погрома «исходных проектов» марксизма.

И такой действительно серьезный анализ должен быть, как мы полагаем, связан в первую очередь с выяснением взаимоотношений и борьбы интересов, установок и устремлений важнейших социальных групп и слоев, участвовавших в российском революционном движении.

Метод такого анализа давно разработан Марксом. Вспомним, что в течение почти полувека мыслители XIX столетия были бессильны объяснить логику развития Великой французской революции 1789–1794 годов. Тогда тоже преобладали «углубленные» попытки проанализировать черты характера революционных вождей, качество их воли (у одного — железная, у другого — стальная, у третьего — фарфоровая), их умение вести политическую интригу. Исписывались сотни страниц, чтобы доказать, что вот если бы Робеспьер не лег спать в свою последнюю ночь, а продолжал бы объединять своих сторонников, если бы Сен-Жюст в своей последней обвинительной речи успел назвать конкретные имена врагов революции, если бы немнож-

ко иначе вели себя Дантон и Камиль Демулен, если бы Шарлотта Корде была не Шарлоттой Корде… и т.д. и т.п., то не было бы этого калейдоскопа поднимающихся к власти и гибнущих затем деятелей, не было бы итоговой гильотины на Гревской площади… В общем, от таких объяснений, от мириад фактов и мелких подробностей, лежащих в их основе, чумела и пухла голова, а ясность сознания не приходила. Какая там, думалось, логика, какие закономерности — так, бессмысленный, полный случайностей кровавый клубок событий, и только.

А Маркс начал свой анализ не с «проектов» разных революционеров, не с того, что они сами о себе и о революции думали, а с рассмотрения содержания и борьбы интересов больших социальных групп, классов французского общества. И логика революции стала сразу прозрачной, на этом фоне стали предельно ясными взлеты и падения революционных вождей, стали понятными зигзаги судьбы Робеспьера и приход в конечном счете Наполеона Бонапарта.

Да, Маркс дал метод. Чтобы его выработать, надо было быть гением. Чтобы его применять — достаточно быть просто более или менее квалифицированным марксистом.

А метод этот состоит, в частности, в том, что прежде, чем рассматривать взгляды, волю, стремления отдельных личностей, следует понять логику движения и столкновения того, что мы назвали социальными материками и континентами. А отдельные личности? Ну что же, их роль, конечно, немаловажна. Но она может быть сыграна только в рамках тех мощных объективных исторических тенденций, которые не в состоянии создать чья-то индивидуальная воля. Кроме того, отдельная личность может переходить с одного «материка» на другой, с одной позиции на другую, не изменяя при этом принципиально ни противостояния «материков», ни конфронтацию позиций, ни само содержание всемирно-исторического противостояния. Поэтому-то именно содержание классовых, всемирно-исторических противостояний, а не поведение и интриги отдельных личностей, должно иметь приоритетное значение в исторических исследованиях.

Если бы через Сталина не получали свою реализацию какие-то серьезные объективно-исторические тенденции, интересы и настроения определенных социальных сил, никакие бы «ухищрения» с его стороны не обеспечили бы ему столь долго длившегося успеха.

Какие социальные силы, какие интересы и настроения питали сталинизм?

О сущности и корнях сталинизма

Итак, сталинизм. Что же это? Откуда это? Этот кошмар в стране той революции, которая хотела навсегда покончить с эксплуатацией, насилием, унижением человеческого достоинства, хотела быть началом мирового гуманизма и человеколюбия?

В нашей публицистике сегодня много рассуждений об этом «откуда» и меньше — о том, что он такое. Считается, что последнее общеизвестно: ну, там, репрессии, культ, командные методы, повсеместная грубость, унифика-

ция, двойная мораль; остается только найти корни. Но эти перечисления — лишь отдельные части, лишь проявления более глубокой сущности. Ее-то прежде всего и надо определить. Без знания этого «что» невозможно прийти и к настоящему пониманию «откуда».

Итак, что же он такое, «сталинизм», в чем его суть как идеологии и как общественной системы?

Существующая в истории философии шкала оценок философских систем недостаточна для характеристики идеологии сталинизма. Нет в ней таких понятий, которые хотя бы отдаленно могли бы быть применимы к сталинистским взглядам. Наверное, потому, что не было в прежней истории чего-либо похожего на сталинизм. Ну, может быть, из имеющихся наименований ближе всего подошло бы «крайний, грубый, субъективный идеализм». Да, это в том направлении, но до станции «сталинизм» катить по этой идейной ветке еще очень и очень далеко. Достаточно вспомнить теоретическую культуру, гуманизм да и простое человеческое благородство таких субъективных идеалистов, как Фихте, Беркли, Богданов, — и становится ясным, что относить это наименование к сталинизму — значит незаслуженно его облагораживать. Зрелый, развитый сталинизм, каким он сложился к середине 30-х годов, — это антигуманистическая, волюнтаристская идеология бюрократической элиты, абсолютизирующая и прославляющая насилие — во всех его ипостасях. Это его идейная суть. А как система социально-политических отношений, сталинизм — это диктатура бюрократии (причем в ее самых варварских, самых террористических формах).

Сталинисты (что легко устанавливается в первую очередь по их действиям) рассматривают себя («руководящие кадры») в качестве абсолютных авторов и подлинных демиургов истории («кадры решают все!» — И. Сталин). Для сталиниста социальная действительность — не органическая система взаимоотношений людей, развивающаяся по своим законам и проходящая определенные ступени зрелости, а материал, глина, из которой можно лепить что угодно, но своему усмотрению — были бы только политическая воля, крепкая (с «железной дисциплиной!») организация и мощные средства насилия, с помощью которых можно было бы поворачивать людей в любую сторону. Вам нужно получить гарантированное зерно? Создайте диктаторские отряды, вооружите их винтовками и правом беспощадно карать — и они «в два счета» загонят массы разъединенных и безоружных людей за один забор, и те в сталинских колхозах или лагерях будут работать. Куда они денутся! Законы ГПУ выше всяких там «объективных законов»!

Следует к этому еще добавить, что сталинизм — это система, построенная на самой постыдной лжи, на идейном цинизме и двойной морали. Идеологию неистового волюнтаризма и бешеного насилия здесь стремятся вырядить в благородные диалектико-материалистические одежды марксистской терминологии. Диктатуру бюрократической элиты со всемогущим деспотом и кровавыми палачами тщатся представить как самую гуманную и самую яркую демократию Земли.

Да, кажется просто немыслимым господство такой идеологии, такого политического режима в обществе, стремившемся сознательно руководствоваться материалистическим учением Маркса и развивать широкую демократизацию общественной жизни. Это выглядит действительно столь невероятным, что и причины этого обычно стараются найти тоже какие-то невероятные — у чудовищного явления должны быть и чудовищные корни. Ищут в прошлом какое-то внезапное, гигантское социальное землетрясение, которое «вдруг» резко переломило когда-то логику исторического развития.

И в результате сбиваются на ложные пути. Потому что самые страшные болезни, как правило, возникают путем постепенной деформации нормы. Раковые клетки растут поначалу тихо, незаметно, постепенно деформируя здоровую ткань. И только потом, когда перерождение с разных сторон захватывает организм, губительный процесс начинает убыстрять свой ход, обретая черты чудовищного и трагического.

Самое трудное (и самое, конечно, важное) — понять истоки этого движения от нормы к деформации.

Сталинизм начинается просто, «естественно» и тихо — отнюдь не с каких-то громких и коварных «измен», идейных и политических «переворотов». Он начинается: идейно — как бы с марксизма, а социально-политически — как бы с традиций Октября.

Непростая задача и состоит в том, чтобы установить, как, каким путем, под воздействием чего он превращается в прямую противоположность давшему ему жизнь «началу». Это не происходит вдруг.

1924–1929 годы: формирование предпосылок сталинизма. Между преобладанием ленинизма в первые послереволюционные годы и утверждением сталинизма (в середине 30-х годов) лежит некий «переходный период», когда формируются идейные и социально-политические предпосылки и черты сталинизма, когда все яснее выявляются противоположности казарменно-коммунистических и социалистически-демократических начал нашей общественной жизни, когда они вступают в открытую борьбу друг с другом. А происходит эта постепенная идейная и социально-политическая кристаллизация сталинистских тенденций следующим образом.

Сталинизм начинается как бы с марксизма. Начинается как несколько упрощенный, несколько вульгаризированный, как бы немного недопонятый марксизм. И это на первых порах не слишком заметно. Тем более что все эти «упрощения» и «отступления» в той или другой, в меньшей или большей степени были присущи отнюдь не одному Сталину. Все члены большевистского руководства, кроме разве Ленина, грешили этим — и Зиновьев, и Троцкий, и Каменев, и Бухарин, и Пятаков… Причем «грех» этот у всех был одного и того же свойства: они все немного припадали на «левую ногу» — слишком большую роль в истории отводили человеческой инициативе и активности. Их революционные биографии, вся логика их прежней борьбы, боевая послеоктябрьская атмосфера толкали их к преувеличению одной идеи марксизма, изложенной в знаменитом 11-м тезисе Маркса о Фейербахе: «Философы

лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». Понималось это как-то таким образом, что «объяснение» (то есть понимание) мира — это что-то маловажное, второстепенное и даже не очень нужное. Главное — «изменять» мир, «переделывать». И практика как будто подтверждала это: все гигантские «изменения» и «переделки», начатые в Октябре 17-го года, удавались прекрасно. Мир подчинялся и не сопротивлялся. Почти все получалось. Победили монархистов, кадетов, эсеров, меньшевиков, не спасовали перед немцами и Антантой, разбили белую гвардию. Варшаву, правда, взять не удалось. Но это — частности, случайная неудача; в следующий раз приложить чуть больше усилий — решится и эта задача. Главное — «изменять» мир, человек все может!

А разве не так? Разве не критиковал Маркс в «Нищете философии» Гегеля за то, что для него человек — щепка на волнах судьбы, актер, покорно играющий по сценарию, написанному Объективным Разумом. Разве не подчеркивал Маркс, что человек — творец, «автор», что вся история не что иное, как результат деятельности человека, преследующего свои цели? Разве не так?

Не так! Да, Маркс признавал за человеком историческое авторство. Но это была лишь часть, лишь половина марксовой формулы человеческой деятельности. А вот другую ее половину в первые послереволюционные годы как-то не очень замечали. Человек, гласит полная формула Маркса, и автор, и одновременно актер, действующее лицо разыгрываемой в истории драмы.

Человек — автор, ибо своей борьбой он избирает и реализует одну из имеющихся объективных возможностей — по какому, скажем, пути пойдет Россия в начале XX столетия, по прусскому или американскому. Но он не может, например, при всем своем желании, ввести в России 1905 года коммунистическое производство и распределение. Он выбирает только в пределах того спектра возможностей, который был создан деятельностью предшествовавших поколений, за эти пределы ему не выскочить. И в этом отношении он — «исполнитель», «актер».

Эта-то диалектика марксизма («автор–актер») не вполне ухватывалась многими теоретиками и политическими руководителями начала 20-х годов. Им больше нравилась тема «авторства». С нее и начинается движение в направлении сталинизма. Но все же это лишь первые шаги, движение лишь в направлении к сталинизму, лишь некоторый вектор, направленный в его сторону. Однако стрелка, указывающая направление «на Москву» («nach Moskau»), еще не свидетельствует о том, что Москва — там, где эта стрелка, и что тот, кто движется по направлению, ею указанному, обязательно доберется до Москвы. Поэтому нам не кажется убедительным вывод, который делают иные современные публицисты из этого общего левацкого, волюнтаристского поветрия первых послереволюционных лет — дескать, все они — Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Сталин и многие, многие другие партийные лидеры той поры — одним мирром мазаны. Чего их разделять, все хороши!

Я все же думаю, есть одна важная, принципиальная грань, стерев которую, мы рискуем ничего не понять в истории. Я думаю, мы сделаем большую

ошибку, отождествив, например, левацкие увлечения Бухарина (особенно сильные в начале 20-х годов) со сталинистской идеологией середины 30-х годов. Это же принципиально разные вещи: добросовестные заблуждения Бухарина, склонного к преувеличению возможностей революционного народа (и его вождей) в истории, — и сознательный антинародный курс сталинистов, ставящих на исторический пьедестал бюрократическую элиту, ее «всемогущего» вождя и рассматривающих народ как совокупность «винтиков» и «гаечек».

Эту грань надо видеть. Но, постоянно видя эту грань, следует, на мой взгляд, задуматься и над тем — как так случилось, что левацкие, волюнтаристские тенденции не стушевались под воздействием практики, а получили усиление, подходя к той грани, за которой начинается собственно сталинизм, грани, где субъективные ошибки, честное революционно-романтическое заблуждение уступают место тщательно разработанной и последовательно проводимой в жизнь концепции решающей роли в истории административно-бюрократического насилия.

Переход этой грани одной логикой борьбы идей не объяснишь. Дело вовсе и не в том, что в какой-то период руководству партии показались более убедительными левацкие идеи. Усиливала левые тенденции в руководстве, гнала их к грани, за которой начинается сталинизм, в первую очередь психология довольно значительной части революционных масс (наименее развитой, уповающей во всех вопросах на универсальное средство решения — саблю и насилие).

Мощное идейно-психологическое давление этих массовых социальных слоев, политическая поддержка ими руководителей ярко выраженного волюнтаристского типа играли громадную роль в передвижке всей оси политической жизни партии и страны в сторону левачества и субъективизма.

Движению политической и теоретической мысли «влево», к волюнтаризму (а в перспективе — к сталинизму) способствовали, таким образом, идейные установки руководителей партии, формировавшиеся под воздействием не только неточно понятых причин успехов революции и упрощенно истолкованного марксизма, но и давления — психологического, идейного, политического — значительной части революционного народа.

То есть — и это тоже очень важно четко зафиксировать — сталинизм получает первоначальные импульсы и в определенной части народа. Таким образом, не только идейные истоки сталинизма, но и социальные тоже не отличаются чем-то из ряда вон выходящим. Некоторые исследователи пытаются отыскать какую-то необычайную социальную базу, питавшую «чудовище» сталинизма, — называют «пауперов», «деклассированные элементы», те или другие крестьянские слои. Мне же кажется, что и первоначальная социальная база сталинизма не отличается какой-то крайней, особой экзотичностью.

Зародыши сталинистских (то есть субъективистских, волюнтаристских) идей вовсе не кажутся революционной массе чужеродными. Ибо она вся — после громких революционных побед — заражена левачеством (и даже зна-

чительно большим, чем ее вожди). Но все же в революционном народе, совершившем Октябрьскую революцию, ясно просматривается разделение на два крыла, две части, два течения. Одно — несмотря на некоторый налет левачества, естественный, повторяю, в ту пору, — можно было бы все же назвать **революционно-реалистическим, революционно-демократическим, и** другое — **революционно-левацким, казарменно-коммунистическим**. Ранний сталинизм (примерно во второй половине 20-х годов) и начинает все больше ориентироваться на вторую часть революционной массы. Но — в силу важности этого аспекта проблемы — о нем следует сказать поподробнее.

Социальная база «раннего сталинизма»

Принципиально важным моментом для понимания происходивших после Октября процессов является признание существования внутри российского революционного движения двух социальных образований и возникающих на их основе двух идейных течений — революционно-реалистического и революционно-левацкого толка. Мы подчеркиваем: именно внутри революционного движения (о разделении реформистского и революционного крыла, большевиков и меньшевиков писалось много — это другой сюжет). Речь идет о политически развитой, культурной, цивилизованной части угнетенных трудящихся масс и об угнетенной, но темной и неразвитой, страдающей, но непросвещенной массе. Обе части были вместе, одинаково — «против»: против царизма, корниловщины, войны, капиталистического хищничества и бесправия. Но они были по-разному «за», они были за разное «за». Они по-разному представляли себе процесс ликвидации старого мира и утверждения нового.

Разделение это, различия эти имели не случайный, не временный, не второстепенный характер. О том, что речь идет о принципиальном и крупном историческом противостоянии, свидетельствует и тот факт, что эти две тенденции издавна и постоянно существовали в российском революционном движении. Это — «казарменно-коммунистическая», авторитарная (Заичневский, Нечаев, Ткачев...) и демократическая, прославляющая историческую самодеятельность народа (Радищев, Герцен, Лавров, Добролюбов, Чернышевский...). В этих двух типах жизненной ориентации, политического мышления, мировоззрения отразились различия социального и культурного бытия двух основных слоев революционной массы — развитого, культурного слоя трудящихся, способного подхватить и продолжить в истории «золотую нить прогресса», способного, говоря словами Маркса, сохранить и приумножить «плоды цивилизации», и слоя людей, отброшенных обществом на самое дно, «отверженных» в полном смысле этого слова, людей, забитых этим обществом, загнанных в угол, неразвитых, ненависть которых к данному общественному устройству получает преимущественно тотально-разрушительный характер. «Наше дело — страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение, — провозглашали наиболее ранние выразители указанной тенденции в России, нечаевцы. — Пусть же все здоровые, молодые люди принимаются немедленно за святое дело истребления зла, очищения и просвещения земли огнем и

мечом». Формы этой деятельности «могут быть чрезвычайно многообразны: яд, нож, петля и т.п.», — «революция все равно освящает!».

Этот отряд угнетенных требует пристального к себе внимания. Он, с одной стороны, составляет важную и очень решительную часть общей революционной армии и будет с беззаветным героизмом сражаться с угнетателями. Но, с другой стороны, существует большая опасность, что люди этого слоя свои неразвитые потребности, свою «полуазиатскую бескультурность», свои нравственные установки, порожденные во многом их обесчеловечным бытием в старом обществе, попытаются возвести во всеобщий закон нового общества. Причем попытаются сделать это с помощью привычного им средства «огня и меча», с помощью всемогущего, по их мнению, насилия — и в итоге, как писали Маркс с Энгельсом, может в новой форме произойти «возрождение старой мерзости».

Неразвитость, низкий культурный потенциал тысяч Нагульновых и Сафроновых (героев из «Поднятой целины» Шолохова и «Котлована» Платонова) делал понятным им только одно: организоваться, сплотиться, напрячь все силы, непослушных поднять и заставить — и все можно сделать, все! Ошеломляющий успех в Октябре и в гражданской войне — когда по всем обычным законам соотношения сил они как будто не могли победить, но победили, — укреплял их веру в свое всемогущество. То есть непонятая логика Октябрьской победы (в которой как раз опора на объективные законы, а не на насилие, обеспечила успех) и низкая культура значительной части народа и породили массовую эйфорию всемогущества и всевозможности. Ну, буквально: нет преград — ни в море, ни на суше. Или, как восклицал в состоянии политического восторга один из революционных лидеров той поры: «Если это солнце будет светить только буржуазии — мы погасим солнце!!» Вот как! Ораторский образ, конечно, большой силы. И я представляю, каким восторженным гулом откликнулась на него революционная толпа. А вдумаемся в него, умерив экзальтацию: во-первых, надо ли так чересчур-то чваниться — уж солнце-то во всяком случае нам совершенно не подвластно; и во-вторых, если даже мы и выполним это фантастическое обещание, то ведь не только же «проклятая буржуазия», но и сам всемогущий пролетариат исчезнет с лица земли.

Хотя, впрочем, что-то похожее на это обещание сталинистам удалось-таки реализовать: одно за другим, например, гасили они исторические «солнца» — в небе культуры, науки, промышленности, сельского хозяйства. Самоубийственное всемогущество!..

Разумеется, все это неоднозначно. Массовое ощущение полноты своих исторических сил, уверенности в способности к социальному творчеству — прекрасное состояние людей, сбрасывающих оковы рабства. Глядя на них, уже не скажешь, как когда-то Чернышевский о спящей России: нация рабов, сверху донизу — все рабы. В эти-то прекрасные исторические минуты пробуждения роль партий, «вождей», по-видимому, и должна состоять в выяснении тех реальных возможностей, реализовать которые способны полные энтузиазма люди. И, указывая на границы возможностей, где-то надо идти

и против течения — так, как это умел делать Ленин: «коммунисты, учитесь торговать»; меньше громких фраз, больше конкретных, «малых» дел; не бойтесь идти на выучку к спецам; не чваньтесь пролетарским классовым чутьем, овладевайте всем богатством прошлой культуры; стройте будущее не на энтузиазме только, а при помощи энтузиазма на заинтересованности каждого в результатах конкретной работы; миллионы юношей и девушек, механически затвердивших коммунистические лозунги, принесут делу строительства нового общества больше вреда, чем пользы, и т.д. и т.п. — глубокие, умные, отрезвляющие слова. Они не забивали, не гасили энтузиазм, но переводили его из области мифов в мир реальностей, из области слепой и безотчетной веры в мир строгой и научно обоснованной мысли. Сталинизм же закрепляет эти ложные ценности и установки волюнтаризма и возводит их в ранг теории и партийно-государственной политики. Противоположность ленинских и сталинских установок просто бросается в глаза.

Ленин: на основе добровольности, на базе убеждения, опираясь на примеры успешной деятельности, вести постепенную и планомерную работу по развитию кооперативных начал в деревне; используя достижения мировой научной и индустриальной мысли, опыт спецов, сочетая энтузиазм и материальную заинтересованность трудящегося человека, диалектически сочетая хозяйственное единоначалие и рабочую демократию, двигать промышленность; вести культурную революцию, настойчиво, но деликатно преодолевая наследие прошлого культурного варварства.

Сталин: за пару лет ударными темпами создать социалистические отношения на селе, превратив сельских тружеников в колхозное крестьянство, а сомневающихся и «несознательных» — в «лагерную пыль»; за две-три пятилетки всех догнать и перегнать (иначе «нас сомнут»); в кратчайшие сроки покончить с религиозным опиумом, не останавливаясь, если понадобится, ни перед чем — можно и церкви взрывать, и приходы закрывать, и попов сажать; заполнить деревни атеистами и чекистами.

И попробуйте слово сказать поперек этого «энтузиазма» — в порошок сотрут: «Что, неверие в силы народа, в силы революционного, победившего, героического и всемогущего пролетариата? Конечно, вы, интеллигентские умники, можете ждать, а мы, пролетарии и беднейшие крестьяне, измучившиеся за долгие годы рабства, ждать не можем. Не перечеркнуть вам наших надежд, капитулянты, трусы, маловеры, вредители, враги» и т.д. — по восходящей.

Сталинские лозунги той поры — это их лозунги, их желания, их стремления, их надежды. И, конечно, этот хищнически эксплуатируемый государственным руководством энтузиазм — подобно допингу, принимаемому спортсменом, — что-то временно дает, на сколько-то ступеней поднимает общество, но ценой последующего разрушения организма и прихода страшного разочарования — в будущем.

Но тогда, в те исторические мгновения конца 20-х — начала 30-х годов, когда последствия политического допинга для многих были еще не видны,

они восклицали: «Да здравствует наш, родной, близкий Сталин!» И он действительно был их, близкий, родной и такой понятный.

Так — во второй половине 20-х годов — зарождались теория и практика сталинизма, питаемые настроениями значительных масс народа, и в этом смысле его происхождение отнюдь не было каким-либо историческим казусом или нелепой случайностью.

Зрелый сталинизм: социальная база и идеологическая суть. Народен ли сталинизм?

Итак, сталинизм выглядел поначалу, как продолжение марксизма и как выражение воли и настроений народных масс. Заметим, однако, что по мере роста ультралевацких тенденций в сталинском руководстве и кристаллизации сталинской доктрины, эта связь с марксизмом становилась все более иллюзорной, а по мере развития общественной практики, все отчетливей выявлявшей подлинную социальную суть сталинизма, рушилась и его связь с народным сознанием, с массами. Последнее особенно важно, и поэтому нужно пояснить, что я имею в виду.

Из того несомненного факта, что первоначальной питательной идейной средой для становления и первых ростков сталинской доктрины является психология определенной части народных масс, нередко делается вывод, что сталинизм — это народная идеология, что за Сталиным — интересы широких масс народа; что, развертывается далее «логическая» цепочка, тот, кто выступает против сталинизма, — выступает против народа; то есть — кто враг сталинизма, тот враг и народа.

В подобных рассуждениях стирается еще одна существенная грань — между сталинизмом и народным сознанием, народными интересами. Стирание этой грани ведет к разного рода ложным выводам. Для одних публицистов («либерального» направления) — это веское доказательство того, что народ России ничего лучшего, чем сталинизм, и не заслуживал: «Народ имел то правительство, которое он заслужил». Для других (ностальгически вздыхающих по временам «порядка») — это способ защиты сталинизма; Сталин — народный вождь, а созданная им система — отражение воли, желаний и чаяний масс.

Вот против этого отождествления сталинизма и интересов народа хотелось бы особенно решительно возразить.

Да, сталинизм в каком-то смысле вырастает на народной почве, но в нем отражаются не подлинные, не действительные, не глубинные интересы народа, а лишь поверхность его сознания, его психологии в определенный конкретно-исторический период (да и то не народа в целом, а, как отмечалось, лишь его менее развитой, менее цивилизованной части). Надо добавить еще, что эти «верхние слои» его психологии, его настроения находились в остром противоречии с его действительными интересами. Ведь в чем состоял действительный, подлинный интерес угнетенных российских масс? В осуществлении социального равенства людей, и на этой основе — обеспечении роста их материального благосостояния и культурного развития. Однако их пред-

ставления о методах и способах достижения этой цели были ложными — они не вели к ней. Существовало, таким образом, фундаментальное противоречие между действительными интересами народа и предполагаемыми способами их достижения. Возникало ложное сознание, не соответствующее исторически назревшим задачам. Сталинизм в отличие от ленинизма не стремился просветить массы, выяснить это противоречие целей и предлагаемых ими средств и предложить средства, адекватные целям; он эксплуатировал их невежество, их предрассудки. И поэтому, я думаю, нет никаких оснований говорить о сталинизме, как выразителе коренных интересов и потребностей даже какой-то части народа. **Сталинизм, по сути своей, антинароден.**

Народ (ни в каких его частях или слоях) поэтому, строго говоря, никак не может рассматриваться в качестве социальной базы зрелых форм сталинизма (какие сложились, например, к середине 30-х годов). Да, сталинизм в пору своего возникновения питался невежеством, неразвитостью части народных масс. И в этом смысле (и только в этом) определенную «народную» (может быть, точнее сказать, «псевдонародную») окраску он приобретал. Но он приходит в острое столкновение с этими же массами, как только они начинают осознавать свои подлинные задачи и адекватные способы их решения.

В итоге все яснее вырисовывалась действительная социальная база, питающая зрелые формы сталинизма. Сталинизм постепенно ее нащупывает, а затем в массовом порядке ее воспроизводит и решительно в моменты острых социальных конфликтов защищает. Что же это за база?

Диктатура бюрократии. Общий механизм нащупывания (и формирования) бонапартистскими режимами (а сталинский — из их числа) своей адекватной социальной базы превосходно описан Марксом в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта». Свой первоначальный исток бонапартизм, как указывал Маркс, находит в одном из массовых угнетенных слоев (тогда, в конце 40-х годов XIX века, это было крестьянство). И далее важное добавление: «Династия Бонапарта является представительницей не просвещения крестьянина, а его суеверия, не его рассудка, а его предрассудка, не его будущего, а его прошлого...».

Подставим вместо «династии Бонапарта» — «сталинизм», вместо «крестьянства» — «пролетариат и беднейшее крестьянство», и мы получим точную характеристику нашей ситуации в конце 20-х годов. А вот что происходило в бонапартистской Франции дальше. По мере того как развитие исторических событий просвещает крестьянина, помогает ему подниматься со ступени «предрассудка» на уровень «рассудка», происходит обострение противоречий между более верно осознающим свои интересы народом и псевдонародной властью. Но к этому времени бонапартизм уже не нуждается в «братском согласии» с прежде дружественными народными слоями. Он сформировал уже свою собственную социальную базу, полностью отвечающую его зрелым формам: бюрократию, армию, репрессивный аппарат, способные жестоко расправиться со своим вчерашним «союзником». Начались «облавы, устраиваемые армией на крестьян», «массовые аресты, массовая ссылка крестьян».

Сходную эволюцию претерпевал и сталинизм. Эксплуатируя «предрассудок», «ложное сознание» части трудящихся масс, он постепенно укреплял исполнительную власть и создавал соответствующую своей сути армию бюрократии, способную с помощью карательных органов дать отпор всем, кто поднимется на уровень «рассудка» и заявит свои права. **Адекватной социальной базой сталинизма и становится бюрократия.**

Вот почему сталинизм и народ, поверхностно и противоречиво соединенные на начальных этапах нашей истории, с течением времени все дальше отходят друг от друга. По мере развития экономики страны и культурности трудящихся, по мере того как искаженные, деформированные представления о целях социального движения заменяются в сознании трудящихся более точными, а ложные представления о средствах их достижения вытесняются все более истинными, сталинизм утрачивает и ту ограниченную народную опору, что он имел когда-то. Развивающиеся в ходе объективного исторического движения массы становятся поначалу стихийным, а потом и все более сознательным противником сталинизма. В этом — в невозможности опереться на поддержку масс — заключается, кстати, одна из причин затрудненности реставрации крайних форм сталинизма сегодня.

Однако, по мере того, как уменьшается роль одной из опор сталинского режима, резко возрастает роль другой опоры — бюрократии, которая со временем и становится главной социальной базой сталинизма. На этом рубеже изменяется качество сталинского режима: из волюнтаристской, административно-командной системы, все еще сохраняющей определенную связь с народной основой и опирающейся среди прочего на народный энтузиазм (порожденный Октябрьской революцией), он превращается (по времени — где-то к середине 30-х годов) в антинародную (по сути своей) диктатуру бюрократии, опирающуюся на силу карательных органов, на силу страха.

Вместе с изменением качества социально-политических отношений меняется и качество идеологии. Нет, она, как и прежде, сохраняет свою субъективно-идеалистическую окраску. Ибо бюрократия, как и та, менее развитая часть трудящихся, о которой я писал, придерживается волюнтаристских взглядов на исторический процесс, — ее социальное бытие в качестве силы, с одной стороны, бесконтрольно управляющей (точнее — заправляющей) социальным строительством, а с другой — теснимой подлинным субъектом истории — трудящимся человеком, — навязывает ей волюнтаристское сознание. Только в отличие от названных народных слоев она придерживается волюнтаризма и субъективизма не по невежеству, а сознательно. Здесь уже речь идет не о наивно-революционном сознании масс, ошибочно определивших некоторые из своих целей и средств реализации своих интересов, но о безошибочно точном отражении объективных интересов бюрократического слоя, о тщательно продуманной реакционно-консервативной доктрине.

Возникновение и развитие этой, второй, а с ходом времени — главной, опоры и социальной базы сталинизма — тоже вполне закономерный, естественноисторический (а не порожденный волей «злодея» или «гения», как хо-

тите) процесс. Никаких тут исторических казусов нет. Имелись существенные причины того, почему в первые после Октября годы стала усиливаться бюрократия и почему задерживалось половодье демократизма и народоправства.

Историческая обусловленность усиления бюрократии. Если взять экономическую сторону дела, то в начале 20-х годов экономически страна представляла сумму не связанных между собой, разорванных звеньев; системы экономической не было, были лишь малосвязанные друг с другом «острова» экономики. Экономических рычагов, механизмов, способных увязать все в систему, навести мосты между «островами», дабы заставить хоть как-то функционировать эту экономику, не было. Экономические связи по необходимости надо было заменить политическими, административными. Государственное чиновничество и было связующим началом разрозненных экономических звеньев, оно было, так сказать, «административно-политическими костылями» экономики, оно худо-бедно давало возможность экономике жить и двигаться.

Если же взять социально-политический, или социально-культурный, аспект, то неизбежность усиления административно-бюрократического слоя связана с объективной невозможностью значительной части (если не большинства) трудящихся — в силу своей культурной неразвитости — принимать реальное участие в управлении, в реальном контроле за деятельностью хозяйственного и государственного аппарата. Поначалу они не потому не принимали участия в управлении и контроле, что их кто-то, по причине своей злонамеренности, не допускал, но потому, что они просто не в состоянии были это делать.

И снова возникает искушение сделать вывод (как то и происходит в статьях некоторых публицистов): поскольку усиление бюрократии по названным выше причинам — факт неизбежный (и с точки зрения развития экономики страны в какой-то степени оправданный), то, следовательно, и вырастающий на ее основе сталинизм — тоже явление неизбежное, которому нет альтернативы (и потому тоже в определенной степени оправданное).

Думаю, что снова — мимо. Думаю, что несостоятельны и эти попытки обосновать неизбежность сталинизма и на другой, теперь уже не народный, а бюрократический лад.

Что было действительно неизбежным в нашем послеоктябрьском развитии и что — нет? Да, неизбежным было усиление бюрократии. Это факт. Но «усиление бюрократии» — это еще не сталинизм. Сталинизм — это диктатура (то есть тотальное и безусловное господство) бюрократии (да еще в террористических формах). И вот этот-то переход от простого «усиления бюрократии» к ее террористической диктатуре, по моему мнению, неизбежным не был. Убежден, что вполне возможен был и другой вариант развития событий — постепенное ограничение, ослабление роли бюрократии и рост демократических начал.

Была ли эта, другая, возможность реальной? Был ли действительный выбор? Думаю, что и реальная возможность, и действительный выбор были! И вот тому доказательства.

То, что возможности иного выбора были реальными, свидетельствует прежде всего тот факт, что «ситуация выбора» между административно-командным и демократическим началом возникала в нашей истории не раз — не только в 1929 году, но и раньше, и позже; и не всегда разрешалась она в пользу сталинского варианта. Случалось, брало верх демократическое, ленинское начало. Разве нет? Вспомните, к примеру, ситуацию в начале 20-х годов, накануне нэпа, в 1927 году — в период XV съезда партии, в 1956 году (XX съезд!), в апреле 1985 года.

Это были ситуации именно такого выбора. В начале 20-х годов, отмечая мощный рост военно-коммунистических, командно-бюрократических тенденций, Ленин с тревогой писал, что, если мы от чего и погибнем, так это от бюрократизма. Он тогда же всерьез размышлял об опасности «термидора». Иначе говоря, складывалась явно кризисная, критическая ситуация, когда от того или другого решения зависело, придет ли «термидор», «погибнем» ли мы или сумеем найти способ движения по иному, демократическому, а в перспективе — социалистическому пути развития. Этот момент выбора закончился, как известно, в пользу демократической, ленинской, альтернативы. Лениным была предложена программа по ограничению возможностей советской бюрократии, по ее ослаблению. Эта программа предусматривала блокаду, а в перспективе — и разрушение тех главных основ, на которых покоилась бюрократия. Предлагалось, во-первых, оживление экономических связей (что уменьшало бы надобность в существовании громоздких механизмов внеэкономического, административно-политического регулирования) — это программа нэпа, развитие кооперации, поощрение создания промышленных концессий и государственно-капиталистических форм производства. Делалась, во-вторых, ставка на экономические стимулы приобщения населения к труду (что сужало бы сферу внеэкономического, военно-коммунистического принуждения). Принимались, наконец, меры по развитию демократии, участия простых рабочих и крестьян в работе высших государственных органов страны, в контроле за деятельностью руководящих кругов партии, по ликвидации неграмотности и росту общей культуры народа.

Ну, и разве нереален, утопичен был этот план? Разве остался он в сфере мечтаний? Разве не начал он реализовываться в жизни? И разве не пошла успешно его реализация? Успехи нэпа хорошо известны. Административно-командной, бюрократической системе тогда не удалось прорваться к господству.

Потерпели поражение и попытки создания административно-командной системы на базе концепции «первоначального социалистического накопления» Троцкого — Преображенского сразу после смерти Ленина. Борьба партии против этой концепции, в которой ведущую теоретическую роль сыграл Бухарин, закончилась закреплением в целом ленинских, демократических начал развития страны XV съездом ВКП(б) (1927 г.). Вместо предлагаемого авторами концепции «первоначального социалистического накопления» плана развития экономики страны «за счет крестьянства», путем административно-насильственной перекачки средств из деревни в город, вместо их планов

построения работы заводов и фабрик по военно-казарменному принципу и стимулирования интенсификации труда с помощью политического и правового насилия — вместо этого партия на XV съезде приняла программу, нацеленную на сохранение равноправия рабочих и крестьян, на добровольное кооперирование, на высокие (но реалистические) темпы индустриального развития, на расширение демократических начал в общественной жизни.

А разве XX и XXII съезды партии, развитие событий после апреля 1985 года не являются еще одним убедительным доказательством реальности несталинской (антисталинской) альтернативы? Понимание этого, понимание того, что вопрос «быть сталинизму или нет», решается не в сфере каких-то «объективных», царящих над людьми предначертаний, а всеми нами, нашей борьбой, умением ее организовать и вести, понимание того, что нить истории слагается не из каких-то неизбежных, необратимых событий, а представляет собой узлы постоянно возникающих и разрешающихся людьми альтернатив, — это понимание совершенно необходимо для успешной деятельности по революционному преобразованию современной действительности.

Недорого стоит мудрость исследователей, которые, оценивая шаги и результаты конкретной исторической борьбы, глубокомысленно изрекают: все это было неизбежно, иначе и быть не могло, а разговор о возможных иных исходах — это, по их мнению, не историческая наука, а бессмысленное гадание на кофейной гуще. Для них все «неизбежно» — и победа сталинистов в 1929 году, и их поражение в 1956-м, и реванш неосталинских тенденций после 1964 года, и поворот к демократическим началам в апреле 1985 года. Правда, затрудняются они сказать, какая «неизбежность» ожидает нас, например, в 1998 году. Вот уляжется дым сегодняшних схваток, определится в отчаянной борьбе итог событий — вот тогда снова придут наши мудрые летописцы со своим глубокомысленным «иначе и быть не могло». Большой прок от этой «мудрости задним числом»!

Нет, мы не защищаем тезис о том, что в истории «все возможно» и что «от человека зависит все». Мы просто обращаем внимание на то, что соотношение основных социальных сил в нашей истории (развитых и неразвитых слоев трудящихся, бюрократической элиты и т.д.) было и есть таково, что были возможны и остаются возможными варианты как демократического, так и административно-командного развития и что исход каждого из сражений между этими силами не предопределен заранее. Результат зависит от многих конкретных факторов, в том числе и от умения борющихся сторон (и их вождей) находить правильную политическую стратегию и организационные формы борьбы. И еще одна важная сторона методологии, которой мы придерживаемся. Для понимания результатов того или другого конкретного выбора важно видеть общую историческую тенденцию, состоящую в том, что по мере экономического и культурного развития страны и трудящихся масс все более широкой становится социальная база демократических («ленинских») политических программ и сужается социальная база сталинизма. Поэтому, если в первой половине нашей послеоктябрьской истории общий

социально-экономический и политический фон эпохи благоприятствовал победе сталинистских установок (хотя и не делал эту победу неизбежной), то затем массовая историческая инициатива стала — объективно — переходить к подлинно ленинским, демократическим силам (хотя и не делала их победу гарантированной).

Подведем краткий итог сказанному.

Сталинизм берет начало не в каких-то необычных, экзотических идейных и социальных сферах. Он вырастает на той же самой общей почве, что и ленинизм, — почве революционного народа и марксизма, но — на тех участках этой почвы, которые порождают сорняки, паразитические растения, противостоящие цветам подлинно гуманистической культуры. По внешнему виду первые ростки ядовитых растений сталинизма не сразу можно отличить от культурных побегов.

Иначе говоря (оставим образный строй рассуждений!), сталинизм не сразу проявляется как ясно выраженный антипод марксизма и ленинизма. На первом этапе он формируется как некая, неясно выраженная тенденция идеологического субъективизма и политического волюнтаризма, отражающая психологию, настроение менее развитой, менее культурной части революционных масс (это так сказать, ранний, «народный» сталинизм). Суть второй ступени эволюции — в изменении его социальной опоры и идейной окраски: «народный» сталинизм превращается в «бюрократический» (то есть антинародный), а волюнтаристские идейные тенденции — в идеологию культа личности, которая в окружении бюрократической элиты представляется единственным творцом истории. (Заметим — в скобках, потому что это тема особого разговора, — что переход от «народного» к «бюрократическому» сталинизму в 30-е годы был непростым и страшно болезненным процессом. Объективный смысл и логика кровавых репрессий 30-х годов, я думаю, пока не разгаданы нашей наукой. Пишут о расправе над «ленинской гвардией» — делегатами XVII съезда партии. Но ведь подавляющее большинство делегатов этого съезда стали заметными политическими фигурами лишь после смерти Ленина, при Сталине и «под Сталиным» (то есть, как правило, благодаря Сталину). Основные силы «ленинской гвардии» утратили свое влияние уже к концу 20-х годов. «Заметки экономиста» Бухарина (1928) и манифест Рютина (1932) были, пожалуй, последними крупными, заметными попытками повернуть партию и страну на подлинно ленинские рельсы. Иногда в репрессиях 30-х годов видят логику действий преступной политической мафии — расправляются сначала со своими противниками, конкурентами, а затем, дабы спрятать концы в воду, и с их палачами, членами своей мафии, знавшими слишком много. Это, возможно, объясняет некоторые отдельные случаи — уничтожение Ягоды, Ежова и их сообщников, но дать нить понимания, схватить логику событий всего десятилетия эта узкая точка зрения не в состоянии. Иногда поэтому говорят, что там не было никакой логики — неуправляемый процесс кровавой бойни. Не думаю. Мне представляется, что основ-

ным, не осознаваемым хорошо самими участниками содержанием борьбы и репрессий 30-х годов, было противоборство «бюрократического» и «народного» сталинизма. Первый представляли деятели типа Кагановича, Молотова, Ворошилова, Жданова, Маленкова, Берии, Вышинского, Ульриха. Второй — Киров, Орджоникидзе, Куйбышев, Постышев, Косарев, Косиор. Триста голосов против Сталина на XVII съезде — это, я думаю, отражение нараставшего протеста народных масс против укрепляющейся монополии власти бюрократической элиты).

Любопытно, что «народный» сталинизм, разгромленный в 30-е годы в высших партийных и государственных эшелонах, продолжал тем не менее жить в определенных слоях народа. Для него характерной оставалась острая антибюрократическая направленность. Мечты части простого народа в период брежневщины о сильном вожде, напоминающем Сталина, — это мечты о силе, которая смогла бы защитить простых людей от абсолютной власти бюрократии. Видеть различие двух видов сталинизма очень важно. «Народный» сталинизм в отличие от «бюрократического» преодолевается терпеливым просвещением, развитием гласности и демократических начал, в рамках которых эти люди получают возможность осознать свою собственную силу, вполне достаточную, чтобы самим ликвидировать бюрократию, не уповая на мифическую силу какой-либо могучей личности. С этими людьми ленинские, демократические силы могут и должны найти контакт и взаимопонимание.

Таковы, на наш взгляд, сущность и корни сталинизма.

А отсюда и вывод, касающийся путей его преодоления. Не диалектика, не марксистский материализм плохи, не в них семена сталинизма, не их, следовательно, надо уничтожать, беда — в их вульгаризации и искажении. Обрыв золотой нити социального прогресса произошел не тогда, когда возник диалектический материализм, не тогда, когда Ленин на его основе вычерчивал маршруты прогресса в XX столетии, не в период Октября. Не там обрыв, не там определилась дорога, бегущая в пропасть. Обрыв произошел позднее — в конце 20-х годов, там, где ленинизм стал подменяться волюнтаризмом, а идея народоправия культом Вождя. Поэтому я считаю, что люди, желающие способствовать делу человеческого прогресса, должны размышлять не над тем, как «переиграть» Октябрь, а над тем, как «переиграть» 1929-й и 1937-й годы, опираясь на ценности Октября. Разумеется, «переиграть» не буквально — историю не вернешь! «Переиграть» — сегодня, ибо ни 1929-й, ни 1937-й годы — годы торжества бюрократии — отнюдь не невозможная вещь в конце XX столетия. Вот почему влечет нас к пониманию истории отнюдь не только и не сугубо исторический интерес.

А важнейший элемент этого понимания и состоит в том, что ленинизм — не исток сталинизма, а наиболее сильное орудие борьбы с ним. Ибо ленинизм — это учение, выдвигающее задачи, решение которых и ведет к разрушению главнейших опор, фундамента бюрократической системы. Ленинизм выступает за развитие экономических (а не административно-командных) связей в народном хозяйстве страны, за принцип распределения по труду,

запрещающий создание нетрудовых, кастовых, бюрократических привилегий, за превращение работника в действительного, реального хозяина — через механизм самого широчайшего плюрализма и демократизма. И, кроме того, ленинизм не только идейно, программно противостоит сталинизму, но и способен практически, политически победить его. Да, в конце 20-х годов сталинизм взял верх над ленинизмом. Но такой исход сражения вовсе не был предопределен фатально. Ленинские (то есть демократические) силы в партии и народе не «в принципе» «не могли» победить, они не смогли, они просто не сумели победить. Они не смогли выработать хорошо выверенных стратегических планов, определить верную тактику. У них не оказалось сильных и талантливых полководцев; их лидеры допускали грубейшие ошибки в борьбе, и главная среди них — попытка остановить развитие казарменно-коммунистических, бюрократических, административно-командных тенденций (выражавшихся в первые годы после смерти Ленина в планах Троцкого–Преображенского) бюрократическими же, административно-командными методами. Зиновьев, Каменев и многие другие, возглавлявшие борьбу с идеями троцкистского варианта административно-командной системы, заботились не столько о демократическом соревновании программ и идей, не столько об убедительности и развернутости аргументов, сколько о том, чтобы любыми способами скомпрометировать Троцкого как личность. Они фактически лишили Троцкого и его единомышленников возможностей открыто перед всей партией и народом излагать свои взгляды, критиковали его грубо и (за исключением разве что Бухарина), не слишком заботясь о доказательности, извлекали на свет божий ленинские характеристики Троцкого, данные давно, в частных письмах и не имеющие никакого отношения к современной полемике. При обсуждении в высоких инстанциях формировали группы лиц, которые устраивали сторонникам Троцкого обструкцию, не давали говорить, постоянно перебивали их с места грубыми выкриками, требовали «покаяний», «разоружения», «встать перед партией (читай — перед ее руководящей группой) на колени». В этой недемократически ведущейся борьбе с идеями административно-командной системы Троцкого они сами реально, на практике формировали эту систему. Бюрократические идеи нельзя победить с помощью административного, бюрократического насилия. Средства не безразличны к цели, к результату. Негодные средства, применяемые даже во имя «хорошей» цели, с необходимостью дадут негодный результат.

На этом же тридцать лет спустя споткнулся Хрущев, пытаясь покончить со сталинизмом и бюрократизмом бюрократическими же методами. Он — в особенности во второй половине своего «славного десятилетия» — не способствовал развертыванию общественных механизмов демократии, а свертывал их, он видел в себе, в своей личности гарантию против возврата к сталинизму. И не понимал, что одна личность, даже на посту руководителя партии, не в состоянии определить направление и исход исторических битв. Он не понимал, что XX съезд, демократическое половодье 1956–1961 годов не есть результат его индивидуальной деятельности (хотя, конечно, его личной по-

литической смелости 1956 года следует воздать должное!), что он лишь помог приоткрыть клапаны накопившейся и готовой выйти наружу мощной народной антисталинской энергии. Он сам (как и окружавшие его подхалимы) слишком переоценил роль, которую он играл в начавшемся процессе, он слишком переоценил себя. Более того, когда события стали опережать его личные политические возможности, его кругозор, его сложившееся в сталинские годы кредо, он не сумел способствовать тому, чтобы ход событий и демократические механизмы выявили людей — наверху и на местах, — способных двигать перестройку 50-х годов дальше. Он стал — и объективно, и субъективно — тормозить процесс, начало которого во многом было связано с его именем. Вспомним, как заговорил он с творческой интеллигенцией — писателями, художниками, журналистами, как начал единолично определять, кто будет президентом, секретарем ЦК и т.д. Не случайно вновь всякие лысенки пошли при нем в гору, не случайно при нем поднимались к вершинам власти неосталинисты Суслов и Брежнев. Он — во многом сам того не ведая — формировал административно-командную, неосталинистскую («нео» — ибо без массовых кровавых репрессий) систему, которая начала глушить демократические процессы и безропотной жертвой которой он и сам стал вскоре.

Мы не должны третий раз — сегодня — споткнуться на том же самом месте. Все должны знать обо всем, все должны принимать участие во всем — вот ленинский принцип, единственно верный метр, которым можно мерить уровень (да и само наличие) демократии в обществе.

Нет, нам не фатально суждено жить под гнетом сталинизма и бюрократии, просто нам не всегда доставало понимания смысла нашей борьбы.

И еще одно пояснение во избежание недоразумений. Мы сказали: сталинизм — диктатура бюрократии. **А как насчет социализма в нашей стране — был ли, не был?**

Одни говорят: не был! Какой-де это социализм, когда крестьянство без паспортов, не распоряжается тем, что производит, когда миллионы — в лагерях, на рабском труде, когда собственность — как бы «ничейная» и бюрократия — всемогуща.

Другие, понимая серьезность этих аргументов, тем не менее не могут принять категорически отрицательный вывод. С одной стороны, его принятие сопряжено с невероятной потерей исторических ориентиров и координат — возникает просто какой-то обвал мысли и истории. С другой стороны, все же не абсолютно темна была наша история — и неподдельный энтузиазм масс был, и от неграмотности страну освободили, и определенный экономический потенциал создали, и войну — что там ни говори — выиграли, да и потом были ведь и не сталинские периоды в нашей истории. И потому они ищут определений, в которых нашли бы отражение и те, и другие стороны этого противоречивого явления. Предлагают называть его «социализмом» с различного рода добавлениями: «бюрократический», «государственный», «авторитарный», «деформированный» и т.п. Возникают в итоге определения, разрушающие сами себя. «Бюрократический» (то есть не демократический)

социализм — это же не социализм, это все равно, что «горячий лед» или «холодный огонь».

Где же выход? Мне не хотелось бы здесь и сегодня углубляться в эту материю. Обозначу только опорные моменты своего подхода.

Первый тезис: **сталинизм — это, конечно же, не социализм.**

И второй. История нашей страны не сводится к истории сталинизма. Ее содержание — борьба двух тенденций (бюрократически-тоталитарной и демократически-социалистической), и потому реальное состояние нашего общества всегда было результатом их борьбы (результатом, который невозможно выразить в категориях и понятиях только одной из этих тенденций). К тому же, как уже отмечалось, сталинизм не во все периоды был господствующей тенденцией в нашей жизни. Демократически-социалистические (ленинские) начала были особенно сильны в 1917–1929 годах, 1941–1945 годах (патриотический подъем военных лет, прямое чувство ответственности каждого за судьбу страны породили и определенные процессы десталинизации социальной жизни), 1953–1964 годах, 1985 году и по сей день. Это несколько десятков лет. Немало!

Ну и все же, спросит читатель, как все-таки вы определите результаты этой борьбы двух тенденций в нашем обществе, к какому из названных выше лагерей публицистов вы ближе — к первому или ко второму. Я — сам по себе. Мне думается, мы имели дело с социальным феноменом, для точного определения которого в нашей классической теории нет подходящих терминов. Суть этого феномена по-настоящему не улавливается имеющимися теоретическими формулировками, их употреблением, будь то в позитивном или негативном смысле. Мы вступили в социальный мир несколько иного типа, чем тот, в котором жили Маркс и Ленин, разработавшие категориальную структуру нашего социального мышления. Образно говоря, из ньютоновского социального мира мы вступили в эйнштейновский. И потому я за то, чтобы изучать новые социальные реальности — и у нас, и во всех других странах мира — по существу, не торопясь наклеивать на них обобщающую итоговую этикетку. Давайте опишем — глубоко и правдиво — реальную картину общественных отношений в странах современного мира. А итоговые этикетки потом изобретем. Термин, дефиниция не должны предварять конкретный анализ, они должны быть его результатом. Не стоит ли поэтому на какое-то время ввести мораторий на употребление ряда обобщенных социально-политических понятий, дабы груз их прошлого содержания не тянул назад нашу общественную науку, не мешал непредубежденному анализу того, что есть.

И самое последнее. Да, я считаю, что учение Маркса и Ленина, творчески развиваемое применительно к сегодняшним условиям, является главным и наиболее совершенным инструментом борьбы против всех форм и разновидностей сталинизма. Эту свою позицию я буду защищать.

И все же для меня та или другая доктрина — не самоцель. Главное — отстаивание и практическая деятельность по осуществлению гуманистической и демократической альтернативы общественного развития. И

если кто-то пришел к пониманию важности этой задачи через Ганди, Толстого, Бердяева, Улофа Пальме, буддизм, православие и т.п., — это, мне кажется, не должно вызывать огорчения у ленинцев. В конце концов, может быть, именно такое массовое, многообразное, действительно плюралистическое движение с разных сторон к одной и той же цели — может, только оно-то и способно обеспечить ее достижение. И, может быть, от умения этих многоликих демократических сил найти пути друг к другу, создать атмосферу взаимной уважительности и доверия, демократического сотрудничества и зависит, каким — неосталинистским или подлинно свободным — будет новое общество.

Да, для меня, скажу еще раз в заключение, **«ленинизм» тождествен с самой широкой демократией, всечеловеческим гуманизмом и максимальной свободой. Но если я встречу человека, несогласного с этим отождествлением, но тем не менее выступающего подобно Гроссману против сталинизма и за демократическое народоправие, я скажу ему: «Название — дело десятое! Руку, товарищ!»**

5) Момент выбора: ***демократия или бюрократия*** *(или начало конца горбачевской перестройки)*

Это было, если прибегнуть к суровой и строгой лексике тех времен, «антипартийное выступление», причем — резкое и вызывающее.

Шел 1990 год. Опубликован одобренный Горбачевым проект новой Программы КПСС, назначением которого, по идее, было объявить о преображении партии, о превращении ее из сталинистско-бюрократической организации в организацию нового, демократического типа и тем закрепить победу процесса, названного Перестройкой. Однако Программа эта оказалась, по мнению автора, разочаровывающей. Стало окончательно ясно, что с *такой* Программой, с *такой* партией демократия в стране обречена и что Перестройку надо решительно **перестраивать**.

Автор, будучи тогда еще членом КПСС, выступает против всех основных положений будущего Программного документа партии и противопоставляет ему Программу так называемой Демократической платформы, с которой автор полностью не отождествляет себя, но считает, что идеи этой Платформы могут положить *начало* процессу действительной демократизации партии, всей партийной и политической системы страны.

Свою Программу, точнее Программу новой политической партии, в создании которой автор принимал активное участие, он напишет несколько позднее (ее текст мы приводим чуть ниже).

Наше общество топчется на месте, потому что имеющиеся в нем социальные и политические силы тянут его в разные стороны. Происходит не сложение, а взаимное вычитание сил. Все неуступчиво воюют со всеми, никто ни о чем ни с кем не может договориться. Проржавевшие, исторически скомпрометированные старые структуры власти утрачивают привычные ме-

ханизмы управления, новые еще не сложились. И это не двоевластие, это — безвластие. Сколько-нибудь нормальная работа в этих условиях просто невозможна; никто не чувствует себя хотя бы, элементарно защищенным — ни социально, ни политически, ни юридически — ни у кого нет уверенности в завтрашнем дне и даже в сегодняшнем вечере. **В условиях подобной политической смуты, экономического распада и правового кризиса обычно начинают складываться элементы, структурные образования будущей диктатуры — которая, в случае победы, и окажется ответом на общественную потребность навести хоть какой-то порядок.** И не будет ничего удивительного в том, что она, по крайней мере, на первых пора, получит поддержку значительной части народа, уставшего от неразберихи и утрачивающего веру в красиво говорящих, но не способных на эффективные практические действия «перестроечников» различных мастей и оттенков. Для многих любой порядок лучше перманентного хаоса. В такие периоды социального распада, на волне этих настроений и приходят всевозможные Сталины, Гитлеры, Пиночеты. Конечно, диктаторский «порядок», замешанный на насилии и крови людей, — это всего лишь политический наркотик, он дает лишь временное, и во многом иллюзорное облегчение и обуславливает мучительное пробуждение в будущем — когда выяснится, что после периода такого «порядка» людская боль, общественный хаос и всеобщий развал не только, в конечном итоге, не уменьшились, но и возросли многократно. Увы, не все хорошо знают прошлое и потому не все способны заглянуть в будущее… Так постараемся же — пока еще есть время — совместно извлечь уроки из поучительных примеров истории. Приложим усилия, чтобы не Диктатура, а Демократия явилась ответом на объективную потребность в общественной консолидации и обеспечении единства политической воли общества.

Как же идти к этой Демократической консолидации? В каких формах, на какой основе? Выяснению этих вопросов и посвящается данная статья. В ее основу положен анализ двух важнейших политических документов последнего времени: «Платформы ЦК КПСС к XXVIII съезду партии» и «Демократической платформы», представляющих собой попытку указать пути выхода из той ситуации, в какой оказалось наше общество, пути консолидации сил, способных, по мнению авторов этих документов, перестроить страну.

Оценка современной ситуации: бюрократия тормозит реформы

Коренное расхождение платформ начинается с самого начала.

«Демократическая платформа» начинает с констатации того, что очевидно едва ли не для всех: общество находится у «опасной черты» в «глубоком кризисе».

Платформа ЦК ведет свой разговор совсем в другой тональности. Тут нет и намека на какой-либо «кризис». «Трудности», «проблемы» — да, имеются. Но с чем они связаны? Да главным образом с тем, что «масштабы необходимых преобразований оказались намного большими, чем можно было предположить вначале».

Видите как. «Демократическая платформа» с самого начала просто в набат бьет: «Реформы повисают в воздухе», «растет инфляция», «ухудшается продовольственное снабжение населения», «нарастает напряженность в межнациональных отношениях», «во многих районах страны сложилась бедственная экологическая обстановка», «растет преступность, особенно организованная», «крайне непоследовательно проводятся политические и правовые реформы, передача реальной власти из рук партийного аппарата Советам, создание правовых гарантий гласности и социалистических ценностей» — внимание, граждане, Отечество — у кризисной черты.

Платформа же ЦК начинается бодрыми заверениями о достижениях — о том, что главный итог переходного периода — духовное и политическое раскрепощение общества, что в «атмосфере свободы, демократизации и гласности *(это при монополии-то одной партии на средства массовой информации?)* люди обрели гражданское и национальное *(это при событиях-то в Закавказье и Прибалтике, при тысячах беженцев?),* берут в свои руки дела государства *(это при монополии-то аппарата на власть?)*». После этой-то бодрой запевки следует тот самый диагноз трудностей: масштабы проблем оказались большими, чем предполагалось. Да, конечно, это не какая — то политическая, «чернуха» «Демократической платформы» с ее акцентами на «кризисах», «опасной черте» и т.п., это — полная оптимизма установка: шли хорошо, широко, высоко (ну, не без некоторых «ошибок и просчетов», разумеется, — где их не бывает?) — и вышли к новым, еще более высоким, еще более масштабным рубежам. И просто надо, с удовлетворением оглядываясь на сделанное и черпая в этом энергию, напрячь силы и еще более «решительно и энергично» двинуться дальше. «Сейчас кардинальный вопрос — темпы начатых преобразований...».

Это каких «преобразований»? Тех, что сопровождаются пустыми полками, снижением производства, инфляцией, ростом преступности, национальными столкновениями? Увеличить «темпы» всего этого? Может быть, сегодня есть смысл все-таки более основательно задуматься не о **темпах** начатых преобразований», а — об их содержании, о том, какой конкретно вид принимают они в реальной действительности. И, может быть, не наращивать темпы «начатого», а критически его переосмыслить и найти другие, более эффективные пути «перестройки»? Не **это** ли **кардинальный** вопрос сегодня?

Но что же значит все это? Ошиблись немного авторы цековской платформы в оценке нынешней ситуации, и следует попытаться указать им на эту ошибку, дабы она была исправлена?

Нет, никакой «ошибки», в обычном смысле этого слова, здесь нет. Дело в том, что в Платформе ЦК точно и **безошибочно** отражена политическая позиция и социальный интерес административно-управленческих слоев. Именно так, как записано в Платформе ЦК, видится ситуация из кремлевских, обкомовских и министерских окон. Да, конечно, призматические стекла в этих окнах деформируют образ объективной реальности и в этом смысле дают несколько искаженный, ошибочный ее облик. Но само это преломле-

ние света, сама деформация есть тоже объективность, и определенная часть людей, находящихся за этими стенами, отнюдь не какие-то сознательные и намеренные обманщики. Они могут быть по-своему искренни и честны, не исключено, что им, как, например, Лигачеву, действительно «чертовски хочется поработать» на «перестройку» (так, как они ее понимают) по 14 и 16 часов в сутки. Наряду, так сказать, с «честными консерваторами» (искренне думающими, что живут одной жизнью с «народом» и одними думами с ним), есть среди сторонников цековской Платформы и группы, не заблуждающиеся относительно своей народности и идущие на сознательное искажение действительности, под влиянием узко группового эгоизма. Они отдают себе ясный отчет в том, что скажи они правду, а именно — что пять последних лет (как, впрочем, и многие предшествующие годы) их руководящей деятельности привели страну к глубочайшему кризису; назови они далее те его черты, о которых так безжалостно прямо говорит «Демократическая платформа», — то совершенно ясно, что отнюдь не аплодисментами встретит эти признания руководимый ими трехсотмиллионный народ. «Вы продемонстрировали свои возможности, — скажет он. — Довольно. Займитесь лучше какими-нибудь другими делами».

Не «ошибаются» и реформаторы из аппарата, вместе с «честными» и «нечестными» консерваторами разделяющие приведенное выше описание сегодняшней ситуации в стране. Логика «аппарата», законы его функционирования накрепко привязывают их к консервативной его части. Во все решающие, переломные моменты, как свидетельствует опыт истории, они протягивают руку не революционному народу и его демократическим представителям, а консерваторам, — как того и требует интерес привилегированной социальной группы (единичные исключения из этого правила на индивидуальном уровне — не отменяют общего принципа).

Короче говоря, не надо питать иллюзий, не надо думать, что можно чисто теоретически, чисто логически, опираясь на цифры и факты, переубедить эти социально — политические группы людей, чисто просветительской деятельностью перетянуть их на свою сторону, консолидироваться с частью из них на **своей** программной основе.

Исторический опыт ясно свидетельствует, что привилегированные группы, слои, классы просто так, без сильного политического давления на них, с властью и привилегиями не расстаются. Не сознание людей из этих групп надо стремиться, в первую очередь, изменить, а их общественное бытие — поселить в нормальные квартиры с нормальными стеклами в окнах, заставить их ходить в нормальные магазины, ездить в нормальном общественном транспорте (в метро и на автобусах)… И все!!! И будет у всех полное взаимопонимание, и тогда никто из них в период, когда страна разваливается, не будет говорить о встающих «новых масштабах» задач или, когда общество заведено в тупик, — о необходимости наращивания «темпов» (дальнейшего движения по тупиковой ветке?). Но пока нет сил и возможностей у народа изменить коренным образом их бытие, и тем самым — тип всего общественного

бытия, пока важные рычаги управления страной находятся в их руках, следует попытаться на основе компромисса, взаимной договоренности ограничить их возможности, их власть и привилегии — на столько, на сколько позволяет нынешнее соотношение социальных и политических сил. А успешность такого диалога зависит и от хорошего знания позиций и претензий договаривающихся сторон, дабы народ, демократическая общественность страны имели бы возможность сопоставлять, оценивать и выбирать ту или другую программу, ту или другую форму компромисса, — с полным знанием дела.

Оценки нынешней ситуации в двух рассматриваемых Платформах мы уже привели. Теперь о причинах, приведших к этой ситуации (оценка прошлого), и планах на будущее.

Оценка прошлого: два принципиально разных подхода

Снова нужно констатировать, что при ответе и на этот, вынесенный в заголовок, вопрос мысль авторов «Демократической платформы» развивается естественно и логично. Тут ничего не стремятся вуалировать, избегают двусмысленностей и витиеватости, тут хотят быть однозначно понятыми (даже теми, кто не согласен с ними) — и потому стремятся к четкости, ясности, определенности, лаконичности. Всеобщий, глубокий кризис нашего общества и КПСС, подчеркивается в «Демократической платформе», обусловлен, во-первых, кризисом коммунистической идеологии, во-вторых, связанным с ним политическим кризисом всей нашей системы (в том числе и партии), в-третьих и в-четвертых, организационным и моральным кризисом партии. Ну, и разве не так? Разве не была идеология, навязывавшаяся идеологическими отделами всех уровней (в полном единстве и в тесной дружбе с КГБ), разве не была она — объективно (а нередко и субъективно) — средством оглупления и затемнения (а не просвещения) людей, разве не превращалась она, нередко в средство манкуртизации (употребляя ставшее уже общепринятым айтматовское понятие) населения? И разве не превратился наш политический режим в тоталитарный, антидемократический (лукаво возвещавший миру о 99-процентной поддержке советским народом Брежневых, Гришиных, Романовых, Кунаевых, Медуновых и иже с ними)? И разве секрет, что значительная доля руководящего слоя брежневских времен оказалась, по сути, частью могучей и разветвленной преступной мафии, разворовывавшей и распродававшей народное богатство страны?..

Отношение Платформы ЦК к прошлому чуждо «односторонним» и «прямолинейным» оценкам «Демократической платформы». Она зовет к «многосторонности», к «диалектике» и «считает принципиально важным четко различать в нашем прошлом то, что является порождением сталинщины, следствием попрания социалистических принципов и то, что представляет реальный вклад партии и народа в прогресс собственной страны и всего человечества». И далее: «Одинаково опасны как идеализация прошлого, нежелание знать полную и суровую правду о трагических сторонах нашей истории, так и попытки перечеркнуть все по-настоящему великое и ценное в

нашем историческом наследии. Нельзя обрывать преемственную связь труда и борьбы советских людей».

Кажется, верно: и в самом деле, было плохое, но было ведь вроде и хорошее, по нефти, углю ведь на первые места в мире вышли, и водородное оружие создали, а Днепрогэс, а Волго-Дон, а Беломорканал, а Алексей Стаханов, а Паша Ангелина, а...а... да мало ли...

О, это одна из наиболее распространенных интеллектуальных ловушек. Ведь в чем нехитрый смысл этой хитроумной «диалектики»? Вам говорят: «Тезис первый: согласны вы, что в нашей истории было и хорошее, и плохое?». Естественно, вы согласны, ибо не было в истории любой страны таких периодов, когда было **только** плохое (даже ведь во времена фашизма, гитлеризма разве немецкий народ только и занимался тем, что слушал и слушал Гитлера и Геббельса, разве он бросил трудиться? — ведь он и уголь добывал, и сталь варил, и пшеницу выращивал — и в целом не хуже наших стахановцев, да и антифашисты существовали и борьбу вели — и в подполье, и в лагерях). Итак, **было**, было хорошее, соглашаетесь вы, ну, и что дальше? А дальше вот что: осудим, говорят вам, плохое («сталинщину») и возьмем хорошее — например, то богатство, что было создано народом. Наверное, можно согласиться и с этим (чего же от созданных народом производительных сил отказываться!), но на одну неувязочку тут указать обязательно надо. А именно: «сталинщина» — это и есть одна из разновидностей (наихудшая) административно-командной, авторитарно-бюрократической системы. Вот мы и спрашиваем: в ней, в **этой системе** было ли, наряду с плохим, что-либо хорошее, что следовало бы сохранить. Ведь главный вопрос сегодня — как оценить **авторитарно-бюрократическую систему, как поступить с ней. А его хотят (кто — сознательно, кто — бессознательно) подменить другим вопросом: как отнестись ко всему**, что было сделано в истории народными массами. Это все равно, как если бы на вопрос: нужно ли устранять фашизм, нам бы ответили: знаете что, осторожней — не забывайте, что в истории немецкого народа в 1933–1945 годах было и хорошее. Но ведь мы **фашизм**, а не историю немецкого народа хотим устранить. Ведь мы у себя-то сталинизм, авторитарно-бюрократическую систему, а не историю нашего **народа** хотим осудить и устранить. Поэтому от авторов Платформы ЦК хотелось бы получить ясный и прямой ответ, готовы ли, согласны ли они ставить вопрос о ликвидации авторитарно-бюрократической социальной и политической системы — **целиком и без остатка**, или им видится в **ней нечто хорошее**, что хотелось бы сохранить? От такой прямой постановки вопроса авторы указанной платформы уклоняются. Многим из административно-управленческой элиты просто не хочется понимать этого вопроса. Ведь понять его и ответить на него таким образом; да, нужна полная ликвидация этого социально-политического режима — означает для них ликвидацию **их** до сих пор существующей монополии на власть — на власть партийную и государственную. А вот к этому-то они пока еще не готовы, точнее их к этому еще не подготовили демократические силы.

По-настоящему познать объект (простите за напоминание банальных истин!) — это не перечислить различные его свойства («с одной стороны», «с другой стороны»). Научное познание — это открытие главного, всеопределяющего звена системы («клеточки», как говорят философы) и раскрытие того, как с этим главным звеном связаны все другие, определяемые им, звенья.

Если вы хотите дать научную характеристику прежней системы социальных отношений, вам придется быть «односторонним» и признать, что таким ведущим, системообразующим признаком социальной системы — были авторитаризм, бюрократизм, административно командный тип общественных отношений, который формировал и до неузнаваемости искажал даже то потенциально «хорошее», что не может не возникать в любой коллективной трудовой деятельности людей. И чтобы очистить и сохранить это «хорошее», нужно будет коренным образом изменить деформировавшую его систему и построить новую; с помощью механизмов этой новой системы только и можно «взять» и это «хорошее». И тогда мы увидим, что «хорошее» в «плохой» системе может быть только потенциально хорошим, «взять» его — не значит просто «перенести», просто «присвоить», а значит — преобразовать. Попытки же просто «переносить» хорошее, пытаться брать его в исторически сложившемся виде абсолютно бесплодны. И это ясно демонстрируют два основных тезиса платформы ЦК, в которых дается попытка раскрыть — какого же типа «хорошее» ее авторы советуют воспринять. «Для нас, — говорится там, — остается незыблемой приверженность социалистическому выбору и идеям Октября: власть — Советам, фабрики — рабочим, земля — крестьянам, мир — народам, свободное самоопределение — нациям». Прекрасно! Но ведь сие, почти слово в слово, писалось и в «Вопросах ленинизма» Сталиным и в «Ленинским курсом» Брежневым и в решениях всех съездов, начиная со съезда расстрелянных XVII-го и вплоть до XXVI-го — съезда песнопений «развитому социализму» Ну, как же можно после 1937 года, после двадцати лет правления брежневского коррумпированного руководства, без конца повторявшего весь этот джентльменский набор слов, — как же можно выходить с простым повторением подобных деклараций. Ведь сегодня люди ждут разъяснений: почему, несмотря на все вышеприведенные прекрасные лозунги, фабрики так и не перешли к рабочим, земли к крестьянам, а власть — к Советам; и что нужно сделать, чтобы эти лозунги — стали правдой. Только подробным и убедительным ответом на эти вопросы авторы и могли — отделить себя от сталинско-брежневской бюрократии. А так ведь им могут с полным основанием сказать: вы что же, дорогие товарищи, так же привержены «социалистическому выбору», так же отдадите землю — крестьянам, фабрики — рабочим и власть — Советам, как ваши предшественники? В таком случае — извините, нам не по пути. А если не так — то как же? Платформа безмолвствует…

И совсем уж каким-то невероятным анахронизмом выглядит перечисление позитивных завоеваний прежних времен; «право на труд и на пенсионное обеспечение, бесплатное образование и здравоохранение». «Забыть об

этом — значило бы допустить неуважение к истине...» — торжественно звучит голос авторов Платформы. Ну, уж эти-то вопросы современная публицистика выяснила и оценку этим «завоеваниям» дала (сравнив к тому же с тем, что имеется на Западе), — и что за пенсии у нас (помереть, имея их, может, и не помрешь, но и жить по-человечески невозможно), и какие у нас «медицина» с «образованием». Инерция традиционных перечислений «завоеваний» сегодня, увы, не срабатывает.

Путь в будущее: к демократии или новому авторитаризму?

Типичный упрек в адрес «Демократической платформы», прозвучавший, кстати, и в «Открытом письме»: там нет-де экономической и социальной программ. Что же это в таком случае за платформа — не основательная и не серьезная какая-то! То ли дело в Платформе ЦК — и подробная концепция социального развития («в центре политики партии — человек» — так возвышенно называется один из разделов платформы), программные разработки по вопросам экономики, политической системы, межнациональных отношений. Всеохватно и основательно! В общем, государственные люди — против любителей.

А между тем, не более ли правильно поступили авторы «Демократической платформы»? Они взялись за решение вопроса, от которого зависят все остальные. Они поставили в центр проблему ликвидации политической системы, обеспечивавшей монопольное господство управленческой «элиты». Вы требуете от авторов «Демократической платформы» развернутой программы экономических преобразований? Но на Ваши требования они отреагируют законным вопросом: «Применительно к каким политическим условиям желаете вы получить такую программу?» Ведь дело в том, что не может быть конструктивной, «хорошей» экономической программы «вообще», а только применительно к **определенным** политическим условиям и в **связи** с ними. Хотите убедиться? Возьмите, к примеру, перечисление опорных пунктов экономических преобразований платформы ЦК: аренда, полный хозрасчет, подряд, акционерные общества, кооперативы и т.д. Слова, названия эти — в общем неплохие. Ну и что из этого? Ну и почему все это не идет, почему все это остается бумажными программами? Да потому, что там, где есть монополия одной партии (а точнее — аппарата) на власть, где «правят бал» партийно-государственные чиновники с помощью своих обкомов, министерств и ведомств, там экономику будут душить госзаказом, директивными распоряжениями, разорительными налогами, денежной инфляцией и т.п. При таком политическом режиме рыночная, хозрасчетная экономика просто невозможна; поэтому и предлагать ее введение — только хаос возникнет, да прилавки совсем опустеют. Пока бюрократия у власти — какой уж там хозрасчет, какой рынок, — только хуже от этого, уж лучше карточки (понемногу, но зато каждому, хоть с голоду никто не помрет). Это как раз то, чего, судя по всему, не понимают критики «Демплатформы»: экономическая реформа не пойдет без настоящей, подлинной **политической** революции —

просите хоть пятнадцать, хоть сто пятьдесят месяцев для экономических преобразований.

Авторы же «Демократической платформы» отдают себе в этом ясный отчет и потому не считают целесообразным разрабатывать экономические меры применительно к системе существующего политического монополизма. Они предлагают прежде всего и немедленно разрушить саму эту систему, заменив ее демократической. Вся их платформа, все их предложения — об этом. Удастся осуществить это, тогда будут уместны и развернутые экономические программы, исходящие из достигнутого уровня высоты политической демократии. Но расписывать сейчас в деталях и подробностях картину экономической деятельности, не привязанной к определенной системе политических отношений — значит, заниматься бессмысленным и бессодержательным прожектерством, схоластическими упражнениями.

При этом следует отдавать себе ясный отчет и в том, что в обществе того типа, что сложился у нас, преобразование политических отношений есть одновременно и изменение экономических, производственных отношений. Ибо когда административно-управленческий слой лишается монопольной **политической власти**, он тем самым лишается и монопольного **экономического** господства; а установление широкой демократии, с помощью инструментов которой трудящийся человек получает возможность реально влиять на экономику предприятия, района, города, распоряжаться плодами хозяйственной деятельности, превращает прежнего отчужденного, по сути — наемного, работника в подлинного хозяина. В наших условиях революционная политическая программа является одновременно и экономической (вернее, первой и самой важной ее ступенью).

Поэтому полностью оправдан подход «Демократической платформы», которая сосредотачивается на решении главной задачи — выяснении условий и путей перехода от авторитарно-бюрократической политической системы к демократической. А внутри этой главной общей задачи выделяется и еще более глубокий ее пласт: как покончить с монополией партии в политической системе общества и одновременно — с монополией аппарата внутри партии.

Партия и процесс демократизации общества

Изменение места и роли партии в политической системе общества — как подчеркивается в «Демократической платформе» — это не один из вопросов демократизации общества, существующий наряду с другими, а — вопрос главный и решающий. Собственно, изменение роли партии в нашей политической системе — и есть главное, всеопределяющее направление демократизации общества. И далее — четкое, ясное, определенное и, как всегда в этой Платформе, лаконичное решение этой задачи: необходим «пересмотр Конституции СССР (отмена ст. 6) и принятие Закона об общественных организациях (или Закона о политических партиях), в котором должна быть гарантирована свобода создания политических партий и их равноправие, опреде-

лен их политический статус». Здесь, действительно, зерно всех политических преобразований: многопартийность, равноправие партий.

А как же ставятся и решаются вопросы политической демократизации в Платформе ЦК? Здесь тема развития «политического плюрализма» (т.е. — многопартийности) буквально тонет где-то в середине перечислений двенадцати (!) направлений движения «к развернутой социалистической демократии». Здесь все — с размахом, все — солидно, авторы хотят обо всем сказать, ничего не упустить, — об «избирательной системе», о «Советах», о «государственной власти», о «правосудии», о «военной реформе», о «правовом государстве» и т.д. Но это — псевдополнота. Во-первых, потому, что характеристика всех этих направлений состоит, как правило, из общих мест, вроде того, что мы за то, чтобы «выборы были полем честного соревнования представителей всех слоев общества, личностей и идей», «чтобы Советы стали, действительно полновластными органами», что «нужны неотложные меры по укреплению законности и правопорядка», что «аппарат» должен быть «под контролем» общественности и чаще обновляться и т.д. Набор общих формулировок, которые, в силу их абстрактности и малой содержательности, могли бы быть записанными в программах едва ли не любого из течений в нашей партии — от консерваторов до радикалов. Многоплановость здесь подменяется многословием. Нет здесь никаких попыток выделить из всех этих направлений главное, указать на связь его со всеми другими. Ну, и все-таки — о чем же идет речь, в этой одной двенадцатой данного раздела — в главке «Демократия и политический плюрализм» а также: что говорится в Платформе ЦК о статье 6?

О статье 6. После рассуждений о том, что «роль» партии — «быть демократически признанным лидером», действуя через коммунистов в органах власти, однако «не претендуя на преимущество и закрепление своего особого положения в Конституции СССР», и следует «шаг по пути прогресса»: «В связи с этим партия считает необходимым в порядке законодательной инициативы внести на Съезд народных депутатов СССР соответствующее предложение по статье 6 Основного Закона страны».

Сравните, пожалуйста, прямое и ясное — «отменить» (как в «Демократической платформе») и оставляющее поле для возможного маневра, замысловатое «внести соответствующее предложение». И такая неопределенность — свойство не столько литературного стиля авторов указанной платформы, сколько — их мышления и действия. Эта витиеватость — вещь не случайная. Это — свидетельство того, что «прогрессивный шаг» делается нехотя, без желания, как уступка давлению демократических сил.

Вспомним, каким гневом участники одного недавнего Пленума встретили информацию о том, что Ельцин посмел в интервью скромно заметить, что сегодня есть резон поразмышлять, среди прочего, и над вопросом о многопартийности. Повторяю: **поразмышлять** только. Так вот, создали же партийную комиссию, чтобы «изучить» эти высказывания тов. Ельцина — на предмет того, как с ним поступить дальше…

Кто поведет перестройку дальше — бюрократия или демократия?

XXVIII съезд КПСС — момент решающий. Нет, не в том смысле, что на нем ожидается принятие каких-то определяющих всю нашу жизнь «исторических решений». Это при нынешнем состоянии общества и партии абсолютно исключено. Он — решающий, потому что в ходе его и сразу после него, — независимо от чьих-либо желаний — коренным и необратимым образом изменится политический климат, политическое лицо, вся дальнейшая судьба нашего народа. Хочет кто того или нет, но будет сдернуто расшитое звездами, серпами и молотами, фальшивыми лозунгами покрывало, долгие годы скрывавшее действительную жизнь, действительные коллизии, действительный облик нашего общества.

Выдвижение к съезду — для обсуждения и выбора — двух рассмотренных нами платформ — предвестник этого коренного поворота событий.

То, что когда-то было скрыто от глаз, сегодня становится открытой для всех явью: **Коммунистическая партия Советского Союза, начиная с середины 20-х годов, никогда не была «союзом единомышленников»**. «Единая» партия была, по сути, противоестественным (но, впрочем, исторически объяснимым) соединением двух прямо противоположных образований — партийно-государственной бюрократии (этой новой, получившей в 30-е годы абсолютную власть господствующей элиты) и партийной массы, политически эксплуатируемой руководством, но стремившейся тем не менее выражать и отстаивать интересы трудящихся.

Партия не только состояла из этих двух «партий», но имела и две, исключающие друг друга программы: одну — письменную, состоящую из высоких, благородных и прекрасных принципов, привлекавшую массу простых людей, и другую — устную, которой на практике следовало руководство. В самом деле, не поленитесь перечитать, например, Программу КПСС, принятую в 1961 году и действовавшую в период брежневщины, и сопоставьте то, что было в реальной жизни и то, что содержалось в торжественно провозглашенных принципах. Ведь нет же в программе ни слова о том, что секретари обкомов, как это было в жизни, — полновластные и безраздельные хозяева вверенных им областей и судеб людей, в них проживающих, напротив, — там говорится о стремлении видеть народные и партийные массы, трудящихся действительными хозяевами своей страны; нет там даже и намека на то, что инакомыслящих следует запихивать в психушки, лагеря, выталкивать за пределы государства, напротив, провозглашаются задачи «всестороннего развертывания и совершенствования социалистической демократии», «прав и свобод советских граждан»; нет ничего и о том, что правящая элита во главе с Генеральным секретарем будет бессменно, в течение десятилетий, сидеть в руководящих креслах, напротив — обещается «систематическое обновление руководящих кадров»; не найдете вы и уверений в том, что партия — это стоящая над народом организация, лидерам которой позволяется в узком кругу «своих братишек» решать, утюжить ли танками улицы Праги, заполнять ли смертоносными ракетами небо Кабула, напротив, подчеркивается, что

«партия существует для народа, в служении ему видит — смысл своей деятельности», «считает своим долгом постоянно советоваться с трудящимися по всем вопросам внутренней и внешней политики, выносить эти вопросы на всенародное обсуждение» и т.д. и т.п.

Я думаю, многие люди не по расчету, а следуя голосу совести и сегодня согласились бы вступить **в партию перечисленных выше принципов** и одновременно не желали бы иметь что-либо общее с **партией указанных выше политических действий.** Беда лишь в том, что это была **одна и та же** партия, которая декларировала одно, а делала (в лице основной массы своего руководящего слоя) — иное. И поэтому объективным смыслом вступления в столь необычную партию для многих людей и было: опираясь на декларированные высокие принципы, на гуманистические, демократические традиции марксизма, используя те организационные формы и возможности, которые пусть и в минимальной степени, но всё же существовали внутри партии, — разоблачить узурпаторов демократии, выявить эту противоположность между высокими словами и низкими делами, способствовать развитию антибюрократического сознания и подготовке условий для победы демократических сил — в партии и обществе. Так вот и шло формирование двух противостоящих друг другу партий в рамках «единой партии».

К сожалению, исторические условия сложились таким образом, что в 1930–1970-е годы демократические силы партии, как и весь народ, не имели серьезных реальных возможностей влиять на деятельность командных верхов (монопольно распоряжавшихся всеми средствами массовой информации, которые играли роль средств интеллектуального террора, всеми политическими и военно-репрессивными механизмами). Попытки отдельных представителей или групп демократических сил партии раскрыть людям глаза на происходящее, призвать их к борьбе за то, чтобы декларированное стало действительным, а обещанное — правдой, подавлялись господствующим слоем решительно и беспощадно.

Сталинская бюрократия уничтожала всех, кто стремился сам и призывал других быть социалистом не на словах, а на деле (то есть — демократом, отстаивающим коренные интересы трудящихся). Бюрократия брежневских времен не была столь кровожадной, но в беспощадности и готовности на все ради защиты и сохранения своего безраздельного господства ей также не откажешь.

Но все эти иллюзии, эти схватки двух политических течений в партии (а точнее не столько «схватки», сколько удушение демократических сил) происходили не видно для глаз общественности, где-то за кулисами залитой фальшивым, якобы солнечным, светом истины. И вот тайное стало явным.

Внимательное и вдумчивое чтение обеих платформ ясно показывает: две части партии четко осознают свое противостояние, они представили принципиально разные политические программы, выражают интересы разных общественных сил.

И в заключение, может быть, — самое главное.

Я бы ни в коем случае не рассматривал Демплатформу как программу какой-то конкретной будущей партии, или даже одной какой-то строго определенной фракции. Нет, мне думается, у нее — объективно — иной смысл и иная задача: сформулировать ближайшие требования, способные объединить **всех** демократически настроенных людей — независимо от типа и оттенка их демократизма. Сегодня главная линия борьбы: монополизм (авангардизм, гегемонизм и т.п.) какой-то одной политической организации или политический плюрализм, многопартийность; административно-бюрократическое или демократическое общественное устройство. Сегодня важно и актуально только одно политическое деление: консервативно-бюрократическая позиция или демократическая.

Сегодня не время выдвигать на первый план, делать злобой дня, предметом развернутых дискуссий различия среди демократов, различия, которые могут стать актуальными и первостепенными завтра. Но сегодня главная задача — одна-единственная: создание общих условий для нормальной демократической жизни, осуществляемое в острой (но мирной, цивилизованной, не пренебрегающей компромиссами) борьбе с консервативно-бюрократическими силами. В нынешних обстоятельствах демократам крайне необходимо избежать дробления сил, разбегания по разным платформам.

«Демократы» всех оттенков, консолидируйтесь, объединяйтесь, независимо от того, кем вы будете завтра: либералами, социал-демократами, левыми социалистами, марксистами, демократическими ленинистами, гуманистическими коммунистами, «зелеными» и т.п. Не надо плодить платформ! Сегодня определились две, главные, рассмотренные здесь нами. Пусть кто-то считает (а я именно так считаю), что «Демократическая платформа» могла бы быть написана глубже, ярче, основательнее и т.д. и т.п. Это сегодня все несущественные детали. Сплотиться на основе общедемократических принципов, изложенных в ней, потеснить бюрократические силы! Всё остальное потом...

Эта статья, по содержанию примыкающая к предшествующей, написана значительно позднее — в марте 2001 года, к 70-летнему юбилею М.С. Горбачева.

Мне позвонил Отто Лацис (тогда — зам. главного редактора «Новых Известий») и, зная мое отношение к «главному архитектору перестройки», предложил написать о нем статью.

— Но у меня же получится нечто совсем не юбилейное.

— Вот это и хорошо. А то в демократической прессе много елея льют. Да к тому же в этом номере будет и моя статья — позитивная в целом. Так что равновесие будет соблюдено.

Окружение Михаила Сергеевича встретило статью нервно. Один из его помощников позвонил Лацису: «Ну, что же вы, в такой день — и такую ругательную статью!». — «Она не ругательная, она критически-аналитическая», — ответил Отто. И я согласен с ним.

7) Горбачев: номенклатурная утопия

Два типа реформаторов

Есть два типа реформаторов.

Одни — инициирующие реформы, те, кто выдвигает фундаментальные идеи, разрабатывает программы преобразований, и на их основе своей организационной энергией определяет дух и содержание эпохи. Такими были, например, Петр, Ленин, Наполеон, Рузвельт — реформаторы, **создающие** события.

И есть реформаторы, которые плывут (а иные — можно сказать, барахтаются) **внутри** потока событий, созданных и инициированных не ими, а различным стечением обстоятельств. Они не создают события, они создаются событиями. И — в меру своих сил, возможностей и своего понимания пытаются так или иначе на них воздействовать.

Горбачев, совершенно очевидно, принадлежит ко второму типу реформаторов. Достаточно одного беглого сравнения, чтобы убедиться в этом.

Ленин. Он шел к Октябрьской революции, имея за плечами такие фундаментальные труды (оставляю, в данном случае, в стороне их оценку), как «Развитие капитализма в России» (анализ социально-экономического строя в стране), «Империализм, как высшая стадия капитализма» (анализ мировой экономической системы, в которую была включена и Россия), «Государство и революция» (политическая, экономическая программа действий на другой день после революции), программы созданной **им** партии (ближайшая — «минимум» и дальнодействующая — «максимум»).

Горбачев. А что за плечами — к 1985 году — у него? Ну, доклады на пленумах Ставропольского крайкома комсомола, на собраниях передовиков производства; позднее — выступления на всесоюзных совещаниях («по науке», «по техническому прогрессу», «по повышению урожайности», «по кадровой политике»); ну, статьи к юбилейным датам — обычные, нормальные статьи тех лет — с упоминанием об «исторических решениях» недавно завершившегося Пленума ЦК, о постановлениях последнего (тоже, разумеется, «исторического») съезда партии, с обязательными цитатами из Леонида Ильича, Юрия Владимировича, Константина Устиновича (партийных генсеков). Готов признать, что эти произведения отличались — в лучшую сторону — от творений других партийных руководителей. Они были посодержательней, поконкретней, «поконструктивней». Ну, еще его речи — он умел говорить не по бумажке, обладая при этом удивительной для тогдашних партийных вождей способностью соединять слова в достаточно осмысленные предложения. Ну, обладал оргхваткой, великолепно знал движение всех винтиков и колесиков партийного маховика, ориентировался в нем на ощупь, на слух — как экстраклассный шофер в автомобильном моторе. Но только ведь и всего! С таким багажом можно успешно двигаться по всем закоулкам, по всем ступеням партийного мира, но созидать События, да еще «всемирно-исторического масштаба»… Увольте!

Михаил же Сергеевич совершенно серьезно (и, думаю, совершенно искренне) считает себя (см. его предисловие к книге «Годы трудных решений») человеком, «возглавившим один из крупнейших переворотов XX века», «взвалившим на свои плечи груз преобразований в сложной и великой стране». Увы, он, по-видимому, смешивает партийно-номенклатурную должность генсека (официального «начальника» над всем советским людом) с миссией Реформатора, действительно, по самой сути дела, «возглавляющего и направляющего» процесс реформ.

Еще раз: Горбачев никакой «груз преобразований» не «взваливал» на свои плечи. Он «взвалил» на себя обязанности генсека — главного чиновника страны. (Да, и почему, собственно, «взвалил»? Просто — не без удовольствия получил давно, страстно и тайно желаемое.) Он возглавлял не процесс Демократических реформ, а партийно-государственно-бюрократический орган, ***при котором*** начался (с начала 80-х годов) обвал административно-командной системы и начали появляться первые ростки демократического общественного сознания и демократических организаций. И, естественно, этот высший орган и Горбачев, как его официальный глава, не могли во всем этом так или иначе не участвовать. А вот как именно он участвовал и что вышло из его участия — об этом далее особый разговор. Пока же зафиксируем несомненное: не Горбачев готовил и создавал ток событий, он оказался вброшенным в них.

А в чем же был глубинный смысл этих событий и как действовал Горбачев, оказавшийся — волей судьбы — в самом их центре?

Кто с кем и против кого?

Вы помните знаменитую фразу из доклада Андропова (генсека начала 80-х), фразу, просунутую в «высокий доклад» одним из хитроумных спичрайтеров: «Мы плохо знаем общество, в котором живем»? Это была хорошая, звонкая и надо сказать (спасибо тебе, хитроумный спичрайтер!) абсолютно заслуженная оплеуха всей «передовой советской общественной науке», которая, по большей части, не столько изучала реальность, сколько занималась рисованием идиллических картин — иллюстраций к «последним решениям ЦК». Такими идиллическими, ничего общего не имевшими с действительностью картинами были теоретические полотна, изображавшие ситуацию полного «единства советского народа», совпадения коренных интересов всех составляющих его социальных сил («героического рабочего класса», «колхозного крестьянства» и «трудовой интеллигенции»), трансформации многонационального разнообразия в «новую общность» — «советский народ». И — никаких социально-классовых конфликтов, никакого социального противостояния! Что вы! «Народ и партия — едины!» — 99, нет — 99,9% (практически единодушно!) на выборах отдают свои голоса «нерушимому блоку коммунистов и беспартийных»!

И пока гнали на Запад — по щедрым ценам — нефтяные и газовые реки, пока более или менее эффективно работала машина идеологического и политического подавления и худо-бедно функционировала административно-ко-

мандная система, — противостояние социальных интересов было почти неразличимым, латентным, упрятанным глубоко в социальные недра общества.

В условиях же системного — экономического, политического, идейного — кризиса первой половины 80-х годов социальные коллизии вышли на поверхность и стали видны невооруженным глазом. Стала почти очевидной главная линия социального водораздела: с одной стороны — господствующая, всевластная, всем владеющая партийно-государственная бюрократия («номенклатура»), с другой — бесправный, лишенный власти и собственности «народ». И не нужен был какой-то особенно проницательный научный взгляд, чтобы увидеть: формально «общественной» собственностью распоряжаются не «все и каждый», а только и исключительно номенклатура и что социальное равенство и политическая демократия присутствуют только в текстах высочайших Госдокументов, но не в реальной жизни.

Наиболее проницательные из «шестидесятников» уже в 1960–1970-е годы выясняли суть этого развивающегося противостояния, формулировали опорные пункты требований и программ «демократических низов», «гражданского общества». Эти требования, эти программы и зазвучали на массовых, народных митингах и демонстрациях второй половины 80-х годов. Они концентрировались вокруг идеи **Демократизации** всех сторон общественной жизни: ***в политике*** — идейный и политический плюрализм, реальные выборы (чтобы, по крайней мере, выбирать не из одной кандидатуры), отмена 6-й статьи Конституции (о единственно допускаемой к управлению страной политической силе — КПСС); ***в экономике*** — собственность (во всем разнообразии ее форм) — народу! — через ее разгосударствление (что в тех условиях означало дебюрократизацию), через создание цивилизованного рынка; ***в сфере культуры*** — отмена цензуры, партийного контроля и чекистской слежки, а также — гласность, свобода слова, свобода совести и т.д.

Но, увы, это социальное противостояние не стало главной осью борьбы середины 80-х годов. «Низовая демократия», «гражданское общество» не сложились (да и не могли сложиться) в условиях тоталитарно-авторитарной сталинско-брежневской системы. «Народ» был не готов к тому, чтобы стать реальным, самостоятельным субъектом преобразований — ни структур, ни организаций, ни развернутых программ.

Реальным субъектом изменений — организованным, владеющим материально-финансовыми средствами деятельности и рычагами управления, — был только один класс. И этот класс — номенклатура.

Правда (и в этом состояло главное своеобразие момента), внутри правящего класса существовали разные группы, разные фракции, соперничавшие друг с другом за первенство. Борьба, соперничество фракций номенклатурного сословия и определяли ход событий.

Что это за фракции?

Основных — две. Одна — сторонница традиционного сталинско-брежневского «социализма», ее можно назвать фракцией «номенклатурного социа-

лизма». Другая — либерально-бюрократическая, сторонница приватизации (в свой карман) собственности, — фракция «номенклатурного капитализма».

И была еще одна, впрочем, очень слабая, фракция, в определенной степени отражавшая интересы и настроения рядовых граждан; это фракция, склонявшаяся к некоему синтезу идей демократически-социалистического и демократически-либерального толка (можно сказать, — фракция социал-демократической ориентации).

Короткая, но яростная схватка двух основных фракций в начале 90-х годов — с мини-гражданской войной, точнее — с мини-номенклатурной разборкой в октябре 93 года (в пределах Белого дома и Останкинского телецентра) закончилась захватом основных рычагов власти фракцией «номенклатурного капитализма», оставив «номенклатурным социалистам» пространство «номенклатурной оппозиции» (довольно, впрочем, политически влиятельное пространство — с прочными позициями в Думе, в Совете Федерации, в региональных структурах власти). Сильно проигравших тут не было.

С кем был Горбачев?

Вначале — с кем он не был. В главном противостоянии «номенклатура — народ» он не был с «народом». Михаилу Сергеевичу такая констатация, наверняка, покажется странной: ведь в своих многочисленных мемуарах он постоянно подчеркивает, что «идеал», к которому он стремился, — это «общество свободных людей, человека труда и для человека труда», что его деятельность была «ориентирована на интересы человека, глубокий демократизм во всем».

Допускаю, что он вполне искренен, когда так пишет. Но тогда он просто заблуждается относительно объективного смысла своей деятельности. Факты ведь говорят о другом. Так, он до последнего стоял на защите главного положения, законодательно фиксирующего единоличное господство КПСС (сиречь — партноменклатуры), — статьи 6-й Конституции. Он до последней возможности держал оборону против требований «идеологического плюрализма» (выдвинул даже знаменитую охранительную формулу: «за плюрализм, но в рамках марксизма-ленинизма», что на языке партноменклатуры означало — «в рамках последних решений партийного Пленума»; против такого «плюрализма», думаю, и Иосиф Виссарионович бы не возражал: он был тоже за «плюрализм» — «в рамках Краткого курса истории ВКПб»). И выборы Президента СССР (то есть, собственные выборы) не решился провести всенародным голосованием и на альтернативной основе. Предпочел избираться съездом народных депутатов (так сказать, — «в кругу своих братишек»). Хорошо еще, что нашелся один чудак, самовыдвинувший свою, «альтернативную», кандидатуру, помогая тем самым Михаилу Сергеевичу спасать свое «демократическое» лицо. И так далее, и так далее...

В общем, он был верным и преданным сыном номенклатурного сословия. Он был вскормлен и взращен им. Взгляды этого сословия, его интересы, стиль общения с людьми вошли в его плоть и кровь, стали его натурой.

И потому-то он мог очень сильно заблуждаться относительно себя, мог даже не замечать, сколь последовательно и ревностно, можно даже сказать — инстинктивно он служит своему социальному слою.

А теперь следующий вопрос: с какой из фракций своего сословия был Горбачев в те, «перестроечные», годы?

Тут есть некая загадка.

С одной стороны, он потихоньку, на пол-, на четверть-шага, дистанцировался от лигачевско-полозковской группы «номенклатурных социалистов»; иногда он даже грозил им пальчиком (как в случае с поддержкой ими печально знаменитого сталинистского манифеста Нины Андреевой) — не зарывайтесь-де очень. Но, с другой стороны, и «номенклатурных либералов» он не слишком жаловал: то прикроет Яковлева или Шеварднадзе от нападок ортодоксов, то (и, кажется, не без удовольствия) отдаст их им на растерзание, Ельцина тем более разрешил им разделать «под орех». Он то расцелует Явлинского за его «500 дней», то кинется к Рыжкову — за прямо противоположной программой...

С кем же вы, Михаил Сергеевич?

Подумаешь — бином Ньютона!..

Да ответ-то предельно прост, и загадка — только для непосвященных. Он не был ни с одной из фракций, потому что (объективно!) стремился быть вождем номенклатурного сословия **в целом**, защищать его **общие** интересы. Сплотить его, не допустить раскола, иначе события выйдут из-под контроля высшего руководящего слоя, — вот действительный нерв его деятельности в тот период. Он уговаривает и «левых» и «правых»: ребята, давайте жить дружно! А «ребята» его, меж тем, на заседании Политбюро (24–25 марта 1988 года) буквально лбами сталкиваются — в связи со статьей Нины Андреевой. Аж искры летят. Вопросы ставятся уже ребром: за или против сталинизма. А Михаил Сергеевич снова ласково кивает в обе стороны: «Главный итог разговора состоит в том, что он еще раз выявляет наше единство (!) по главным вопросам». (А что, может, вопрос об отношении к сталинизму и на самом деле не является «главным» для номенклатуры? В общем: «сталинисты» и «антисталинисты», в общих интересах нашего сословия, давайте жить дружно!).

А вот с кем Михаил Сергеевич не хотел «жить дружно», так это с теми «платформами» в КПСС, в программах которых явственно звучали антиноменклатурные интонации, — например, с «Марксистской» и тем более — с «Демократической платформой». А когда **внутри** КПСС сложилась, как альтернатива полозковской (т.е. — сталинистской) российской компартии, так называемая Демократическая партия коммунистов России (ДПКР), организация социал-демократического толка, надеявшаяся, между прочим, на поддержку демократствующего генсека, — то из «дружных» рядов «перестроечного» политбюро раздалась решительная команда: исключать этих «демократических коммунистов» из партии.

Авторитарная утопия

Да, именно ей был подвержен наш юбиляр. В ее основе — представление о том, что главным субъектом современных социальных преобразований, способным обеспечить переход от тоталитарных структур к демократическим, является сословие государственных управленцев (в переводе на язык российской политической реальности — ***номенклатура***).

У этой утопии есть два аспекта.

Первый — связан с наивной уверенностью, что при смене социально-экономических парадигм (от административно-командной к рыночной) возможно сохранить принципиальное единство управленческого сословия (сложившееся при старом режиме и прочно сросшееся со старыми методами управления). Утопия — полагать, что прекраснодушный призыв «ребята, давайте жить дружно» может парализовать разъединяющее действие экономических законов. Утопия — соединять несоединимое: Лигачева и Ельцина, Н.Рыжкова и Явлинского, ГКЧП и команду Гайдара. Третий путь? Это — другое дело! Но его-то как раз и не было — ни в мечтах, ни в планах, ни в реальности. А были метания между «левыми» и «правыми», были прекраснодушные призывы к какому-то «принципиальному» единству. «Третий путь» предполагает решительный выход за пределы бюрократических структур и номенклатурных игр на просторы гражданского общества. Но номенклатурное мировоззрение вождей-реформаторов «перестройки» напрочь перекрывало эту возможность.

И все же главной составляющей «перестроечной» утопии была вера во всемогущество начальственных решений и постановлений, вера в «сильную власть», которая «все может». Вера в то, что переход к Демократии (т.е. Народоправству) наиболее совершенным образом может обеспечить какой-то более или менее цивилизованный вариант номенклатурного правления, или, как услужливо поддакивали первому президенту СССР некоторые политологи, **авторитаризм**. Это одна из самых опасных современных иллюзий. Номенклатурное правление, авторитаризм — это режимы, прямо противоположные демократии. Они не приближают общество к демократии, они разрушают ее. **Переходом к Демократии может быть только ... Демократия!** Переход к демократии не может быть процессом усиления авторитарных методов, переход к демократии — это процесс постоянного, каждодневного расширения демократических тенденций, демократического пространства.

Утопия и в том представлении, что будто бы «сильная власть» лидера и начинающаяся с нее «сильная вертикаль» — есть основа «сильного государства». Мы хорошо помним, как все большими и большими полномочиями нагружал себя Михаил Сергеевич — для осуществления «всемирно-исторических» свершений. И мы помним, как запросто, со всеми этими замечательными «полномочиями», оказался он в форосской клетке (в августе 91-го). И не преградили все эти полномочия ни путч ГКЧП, ни развал страны, ни срыв России в яму криминально-номенклатурного капитализма.

Да, без сильной властной «вертикали» нарастающий, крайне опасный процесс атомизации российского общества, расползания его социальной тка-

ни не остановить. Но «сильной», но социально эффективной «вертикаль» может быть только в том случае, если она опирается на «горизонталь» — на структуры и институты гражданского общества, широчайшей «низовой демократии». Без горизонтали — вертикали стоять не на чем. Без сильной горизонтали не может быть сильной вертикали. Вообще — **начинать** строить «сильную вертикаль» можно только с «сильной горизонтали». Иначе — беда.

В этом видится мне главный урок реформаторских неудач Горбачева.

8) «Другой социализм»
(политическая программа партии шестидесятников)

Речь идет о программе партии ДПКР, которая могла быть, но, в конечном счете, в силу разных обстоятельств, не стала действительной партией шестидесятников. ДПКР — Демократическая партия коммунистов России. Она была создана еще в период безраздельного господства КПСС, в первой половине 1991 года, как антипод другой, официальной, компартии России, возглавляемой догматиками и сталинистами Полозковым, Зюгановым (и, между прочим, поддерживаемой Горбачевым). У ДПКР было два истока: созданная в Верховном Совете РСФСР фракция «Коммунисты за демократию» (противопоставившая себя «агрессивному и послушному большинству» коммунистических депутатов, стремившихся остановить демократические процессы в стране) и Обращение к «демократически ориентированным коммунистам», напечатанное 10 апреля 1991 года в газете «Известия» и подписанное рядом известных шестидесятников и весьма влиятельными в тот период политиками.

Вот текст этого Обращения:

Выйти из окопов. Для чего?

Приглашение к размышлению и действию

Одни «выходят из окопов», чтобы ощетиниться штыками (*«выйти из окопов» — это был программный призыв партии Полозкова-Зюганова покончить с «отступлением», с пребыванием «в окопах» и дать «отпор» сторонникам перемен в стране)*, другие — чтобы воткнуть штыки в землю — и тем обеспечить возможность гражданского мира и демократического развития.

Более ста коммунистов, создавших в парламенте России депутатскую группу «Коммунисты за демократию», не просто основали еще одну парламентскую фракцию. Они сделали шаг, который способен изменить *всю* картину политической жизни республики, создать новую расстановку сил, обеспечить прочную консолидацию всех демократических сил, добиться их решающего перевеса над силами конфронтации и реакции, выработать — вместе с союзниками — общедемократическую программу преобразований, отражающих волю подавляющего большинства россиян.

Но чтобы этот шаг действительно имел столь масштабные последствия, он, по нашему мнению, должен быть дополнен немедленными, активными

действиями коммунистов и за стенами верховного органа российской власти — коммунистами-депутатами Советов всех уровней, а также всеми демократически ориентированными коммунистами-избирателями.

И с этой целью мы хотели бы предложить нашим товарищам-коммунистам следующее.

Первое. В Советах всех уровней создать, по образцу Верховного Совета РСФСР, депутатские группы «Коммунисты за демократию». Созвать в апреле–мае сего года общереспубликанское совещание представителей этого блока для сверки «политических часов» и подготовки к первым в истории выборам российского президента.

И второе. На местах жительства и работы создавать группы или (клубы) поддержки депутатов блока «Коммунисты за демократию» (в том числе используя существующие демократические структуры партии). Они могли бы стать активными помощниками во всей деятельности депутатов, входящих в этот блок, участниками всевозможных «круглых столов», где в атмосфере конструктивного и доброжелательного диалога со всеми демократическими силами нашей республики сопоставлялись бы различные точки зрения на способы и формы преодоления современной катастрофической ситуации и где определялся бы путь достижения политического компромисса, учитывающего интересы различных социальных слоев и намерения политических партий. Клубы «Коммунисты за демократию» могли бы стать центром общения коммунистов с некоммунистами, с беспартийными избирателями, а также — организационными в масштабе республики ячейками подготовки и проведения избирательных кампаний.

Еще раз: покончим с окопно-воинственной лексикой и практикой, с ни на чем не основанном историческим самомнением, с суетным стремлением читать высокопарные нотации другим политическим силам. И не только на словах, но всей своей деятельностью докажем народу свою готовность и способность со всеми демократическими силами участвовать в многотрудном марше нашего общества от тоталитаризма к демократии.

Члены ЦК КПСС ***О. Лацис***, ***Б. Гуселетов***, член ЦК КП РСФСР ***В. Липицкий***, депутат Моссовета, член КПСС ***В. Прохоров***, депутат Октябрьского райсовета Ленинграда, секретарь Октябрьского райкома партии ***Т. Васильева***, члены КПСС ***Г. Водолазов***, ***Б. Капустин***, ***И. Пантин***.

Через несколько дней встречаюсь, как основной автор Обращения, с руководством парламентской фракции «Коммунисты за демократию». Решаем создавать политическую партию, формируем Оргкомитет, в который входят лидеры парламентской фракции и подписавшие Обращение. Меня просят заниматься идеологической работой создаваемой партии и подготовить ее Программу, Петру Федосову поручают разработать Устав.

Вместе с другими членами оргкомитета разъезжаемся по стране и создаем региональные организации будущей партии. Вскоре — Учредительный съезд, в котором принимает участие несколько сотен делегатов из многих



регионов России. Я делаю Доклад о партийной Программе, которая принимается единогласно. Петр Федосов докладывает об Уставе. Избирается руководящий орган партии («Правление») — что-то около двадцати человек, примерно половина из них — «шестидесятники» (точнее — представители той ветви «шестидесятничества, которая ориентируется на «демократический социализм»). Принимается название — Демократическая партия коммунистов России (ДПКР). И как положено в нормальной партии — вручаются партийные билеты, определяется сумма индивидуальных партийных взносов.

В работе съезда принимает участие ряд приглашенных секретарей ЦК — из КПСС и полозковской компартии России. Их выступления полны угроз в адрес нашей «раскольнической» затеи. Обещают всех нас исключить из КПСС. Впрочем, мы и сами в ней состоять не желаем; только предлагаем форму цивилизованного развода: «Мы готовы принять участие в готовящемся XXVIII съезде КПСС, но считаем, что это должен быть ее **последний** съезд», — под дружные одобрительные аплодисменты делегатов заявил я в своем Докладе. Необходимость «развода» мы аргументировали тем, что КПСС давно перестала быть союзом **единомышленников**. В КПСС, отмечали мы, давно существует по меньшей мере **две** партии: партия (в брежневский период) всем заправляющей «номенклатуры» и партия бесправных и не имеющих реального влияния «низов», партия (в сталинские годы) «расстреливавших» и партия «расстреливаемых»; были и другие линии размежевания. В общем, надо создать нормальные политические партии — **единомышленников**. А почему необходимо это сделать **на съезде** (т.е. цивилизованно и организованно, а не путем анархического саморазбегания)? Потому что КПСС была не просто «партией» (т.е. добровольной общественной организацией), а — стержнем **государственного** управления, **государственной** структурой, и, следовательно, надо самораспуститься таким образом, чтобы не рухнула, не развалилась в мгновение ока система государственных связей, чтобы управленческий социальный штурвал не остался «бесхозным», чтобы к нему, пользуясь «разбеганием» управляющих групп, не пробрался какой-нибудь проходимец и авантюрист, которыми полна российская политическая арена. Задача, как мы полагали, и состояла в том, чтобы получившая большинство на съезде

одна из новых партий обеспечила бы преемственность в сфере социального управления, какое-то время (предельно короткое — до новых всенародных демократических многопартийных выборов и создания новых государственных механизмов и партийных структур) постояла у «социального штурвала».

Руководство же КПСС (возглавляемое «демократом» на словах и вождем доминирующих групп номенклатуры — Горбачевым) увидело во всем этом посягательство на свою властную монополию. И чтобы сохранить ее, поручило партийным организациям КПСС, где члены ДПКР стояли на учете, исключать их из партии. Какие еще там демократические дискуссии, какое «цивилизованное размежевание»! Вон из партии — раскольников и смутьянов!

А между тем число «раскольников» и «смутьянов» подбиралось уже (как следовало из официальных отчетов ДПКР) к двум миллионам. Не исключаю, что наш орготдел несколько преувеличивал численность партии, все-таки учет был поставлен еще слабо. Но то, что партия становилась массовой — несомненно. В шестьдесят одном (!) регионе действовали организации ДПКР — это несомненный факт. Письма с заявлениями о вступлении в нашу партию, действительно, «приходили мешками» — это я видел собственными глазами.

Где-то весной 1991 года мой старый и добрый товарищ Ю.К., работавший ректором одного из партийных вузов, куда он и меня позвал после моего возвращения из Праги, как-то пригласил меня к себе в кабинет и, смущаясь, сказал: «Слушай, звонили нам из ЦК, требуют, чтобы мы исключили тебя из партии. Ослушаться их мы не можем, но и тебя преследовать не хотим. Может, ты перейдешь куда-нибудь на другую работу? Вот готовы взять тебя заместителем директора одного научного института Российской Академии наук, это все же не партийное заведение, и выполнение указаний высших партийных инстанций для них не столь обязательно, как для нас». Я решил не создавать затруднений для моего собеседника и тут же написал заявление об уходе с работы.

19 августа 1991 года ДПКР — одна из тех политических сил, которые возглавили борьбу общества против реакционного путча сталинистского ГКЧП. Все мы, разумеется, — среди защитников Белого Дома. 20 августа, в момент наиболее острого противостояния с путчистами и в условиях полной неясности дальнейшего хода событий, принимаем решение: обратиться к народу и всем демократически ориентированным коммунистам — создавать движение Народного Сопротивления путчистам-сталинистам. Принимаем также решение о выходе из КПСС и переименовании нашей партии в Народную партию Свободной России (НПСР). «Народную» — т.е. демократическую, партию «низовой демократии» (и чтобы в названии не было слов, хотя бы отдаленно ассоциирующие нас с КПСС). «Свободная Россия» — это нынешнее название площади, где находится Белый Дом и где мы принимали это решение, «Свободная Россия» — это и наша цель: быть свободными людьми, свободными, в первую очередь, от бюрократии и КПСС.

Помню, как мы писали это обращение. По местному, белодомовскому радио — голос Станкевича: Через два часа ожидается штурм Белого дома,

женщинам покинуть помещение, всем подняться выше четвертого этажа, ибо первый удар будет нанесен по нижним этажам. Мы, основная часть руководства ДПКР — как раз на четвертом этаже. Спешим подготовить и принять Обращение: коллективно диктуем, Боря Капустин быстро записывает своим бисерным, но очень четким почерком. Перепечатываем и передаем в радиоэфир.

Всё! Мы — полностью самостоятельная политическая народная, демократическая партия. Сразу начинаем организовывать будущее народное сопротивление гэкачепистам. Убеждены, что повернуть события вспять, к сталинско-брежневским временам, гэкачепистам не удастся. Но кто знает, сколько времени продлится их путч (ведь во главе-то его вице-президент, премьер, все силовые министры, да практически всё руководство СССР). Договариваемся, если ситуация чрезвычайного положения продлится какое-то время, о возможном проведении съезда партии в подполье и т.д.

А 21-го — Победа! Повторяю, мы знали, что **те** не пройдут, но чтобы так скоро! Режим сгнил и рухнул!

После победы ДПКР стала одной из ведущих политических сил страны.

Но потом, как это часто бывает в обществах с неразвитой демократической культурой, в ДПКР возникли два крыла — «демократическое» (возглавляемое шестидесятниками) и «державно-бюрократическое», беспринципно-карьеристское. Я не буду здесь рассказывать о дальнейшей драматической судьбе партии, это — тема особого и обстоятельного разговора и для другой книги, которую, бог даст, напишу. Здесь же для меня важно обратить ваше внимание, читатель, на то, что «шестидесятники» (в особенности те из них, кто принадлежал к демократическо-социалистической ветви) вовсе не были, как это подчас представляется в общественном сознании, только «писателями», только «просветителями», уклоняющимися от практическо-политической деятельности. Как только появлялась хотя бы малейшая возможность практического участия в общественных преобразованиях, они выходили из своих кабинетов, спускались с университетских кафедр и, засучив рукава, бросались в суету политической борьбы. Как правило, она не увенчивалась какими-то серьезными практическими достижениями. Побеждала обычно нахрапистая, пренебрегающая принципами нравственности, опирающаяся на административно-бюрократические и криминально-финансовые рычаги, публика. Я не хочу здесь касаться и того, почему именно так получалось, — это тоже тема особого разговора. Здесь я хочу только обратить ваше внимание на то, что шестидесятниками разрабатывались политические программы практического действия, принципы и шаги подлинно демократических преобразований. И этот опыт, результаты этих наработок не должны уйти в песок, бесследно исчезнуть для будущих поколений подлинно, а не псевдодемократических деятелей. Время и массовое сознание еще дозреет до многих идей, которые были сформулированы шестидесятниками. С этой надеждой и включаю в книгу Программный документ партии, которая могла быть, но не стала партией социальной демократии («партии шестидесятников»).

Документ, многие положения которого вполне могут стать ядром будущей подлинно народной, подлинно социально-демократической партии, возникновение которой, убежден, не за горами.

Програмные ориентиры ДПКР

Когда на место Президента от одной партии баллотируется несколько кандидатов, это означает, что данная партия перестала быть единой партией, перестала быть союзом ***единомышленников***. Президентские выборы в России подтвердили слова М.С. Горбачева на последнем Пленуме ЦК о существовании внутри КПСС нескольких партий. Они по-разному характеризуют общество, которое построено в нашей стране, по-разному оценивают смысл и итоги «перестройки», по-разному понимают, чего хотят россияне, и как они собираются создавать свое будущее.

Мы не «призываем» к расколу, как в том нас пытаются упрекать некоторые лукавые ревнители «единства», особенно из руководства РКП (которые хотели бы свои реакционно-консервативные позиции представить как «единую» точку зрения всех российских коммунистов), мы просто указываем на очевидный факт: раскол этот практически произошел, состоялся. В этих условиях, по нашему мнению, долг каждого из течений — открыто признать свершившийся факт и заново определить свою позицию по отношению к происходящему.

Мы не имеем права сбивать с толку, обманывать россиян, мы не имеем права представлять единым то, что давно уже разделилось на разные, а то и прямо несовместимые части. Задачи нормального политического и социального развития республики, задачи сознательного участия миллионов наших сограждан в политической жизни российского общества требуют ясности позиций всех политических сил. Размежевание де-факто не может не превратиться в размежевание де-юре. Важно только, чтобы это было достойное и цивилизованное размежевание, а не хаотический распад громадной партии, способный обернуться политическим Чернобылем.

Что мы построили?

Ответ, даваемый консервативным крылом КПСС: к 30-м годам мы построили «фундаментальные устои социализма» с «обобществленной индустрией, крупным коллективным сельским хозяйством, плановой системой управления», социально справедливое, экономически эффективное общество, затем, правда, хрущевские реформы с их «буржуазным» привкусом несколько замутнили систему «устоев», а перестройка 80-х годов стремится вообще разрушить эти «устои» и толкнуть страну и общество на путь «капитализма».

Наша оценка — диаметрально противоположная по своему характеру: о каком «социализме может идти речь? Какие «достижения», какая «демократия», какое «социальное равенство»...?

Мы построили антигуманное, экономически неэффективное, тоталитарное, социально-антагонистическое общество.

Давая такую оценку, мы опираемся на непредвзятый анализ истории, в том числе на ряд идей XIX партконференции.

Антигуманизм сложившейся системы связан прежде всего с «отчуждением человека труда от общественной собственности и управления» (XIX партконференция). Человек, живой конкретный человек никогда не был целью созданной в нашей стране системы. Он всегда выступал в качестве «инструмента», «средства» — для «развития тяжелой индустрии», для превращения страны в военную сверхдержаву, для туманного «светлого» будущего (а на деле — для светлого «настоящего» господствующего слоя номенклатуры).

Да, на кумачовых полотнищах мы постоянно читали: «Все для человека, все для его блага», «Человек — главная забота партии». Но кумачовые декларации десятилетиями оставались лишь «украшением» фронтонов зданий, да лозунгами праздничных колонн демонстрантов. Жизнь шла по другим предначертаниям. «Все для человека!» — гремело над головой десятков миллионов «врагов народа», отправляемых в тюрьмы и лагеря ГУЛАГа, — чтобы в качестве рабов возводить «великие стройки коммунизма» — в Сибири, Воркуте, на Колыме, на Беломорско-Балтийском канале... «Все для блата человека» — и во имя этого у других десятков миллионов россиян экспроприировалась земля, орудия производства, а сами они через колхозы и совхозы превращались в наемников государства. «Забота о человеке!» — с этим кличем бесправные, принуждаемые политическим насилием к бесчеловечным условиям труда миллионы людей заталкивались в фабрично-заводские «социалистические» казармы (где производимое богатство распределялось не «по труду», а по произволу и в интересах слоя бесконтрольных и абсолютно-властных «социалистических» правителей).

Для подлинных социалистов мерой социального прогресса, показателем высот, достигнутых обществом, является уровень благосостояния и свободное развитие ***отдельного, конкретного человека***. И вот если по этой, человеческой, гуманистической мерке оценить достигнутое нашим обществом к середине 80-х годов, то достаточно привести только один, маленький, но весьма характерный и о многом говорящий показатель. Средняя месячная зарплата рабочих в промышленности в 1989 г. составляла (после выплаты налогов и квартплаты) — в СССР — 220 руб., в странах Запада (Англии, Финляндии, ФРГ, Японии, США) — свыше 1000 долларов, а если припомнить реальную покупательную способность доллара, то легко установить, что наш рабочий получал в 1989 г. во много раз меньше западного. Совершенно естественно, поэтому, что СССР находится на одном из последних мест среди развитых стран по продолжительности жизни.

Экономическая неэффективность. Антигуманизм экономической системы, отчуждающей человека от средств и продуктов труда, обесчеловечивающей человека, — не редкость в истории. Становление капитализма (так называемое первоначальное накопление капитала) основывалось на кровавом законодательстве, жестоко и беспощадно отрывавшем человека от сельскохозяйственного труда и загонявшем «простых людей» на фабрики и заво-

ды — с 16-часовым рабочим днем и мизерной зарплатой. И этот антигуманный характер буржуазного строя вызывал законное чувство протеста у трудящихся и у их идеологов — социалистов. И все же тот антигуманизм имел хоть какое-то историческое оправдание: не кто иной, как социалист Маркс, отмечал, что «буржуазия менее чем за сто лет своего классового господства создала более многочисленные и более грандиозные производительные силы, чем все предшествующие поколения, вместе взятые». А формирование мощной экономики, развитие системы социального страхования создавали для человека предпосылки того, чтобы ослабить его отчуждение, открывали перспективы его снятия, перспективы гуманизации производства и общественной жизни.

Антигуманность сложившейся у нас системы не имела абсолютно никакого оправдания, никакой, даже мизерной, исторической компенсации. Это были напрасные, неокупаемые страдания. Это было экономически неэффективное общество.

На Западе экономическая эффективность обусловливалась тем, что хотя бы у части общества (предпринимателей, частных собственников) были стимулы к росту производства, острая заинтересованность в этом росте. Нам же удалось создать такое удивительное общество, где ***ни один*** из социальных слоев не был напрямую, органически заинтересован в росте производства, не говоря уже о его совершенствовании. Это очевидно по отношению к рабам ГУЛАГа, к «крепостным» колхозникам и подневольным рабочим — их «зарплата», как известно, не была связана ни с количеством, ни с качеством их труда. Но интересно другое — и господствующая, номенклатурно-бюрократическая каста такой заинтересованности не имела. Благосостояние ее членов зависело не от роста и технического прогресса производства, а от того места, которое каждому из представителей этой касты удалось занять в системе бюрократической иерархии. Движение же по ступеням иерархии обусловливались иными факторами, нежели предприимчивость, компетентность, обеспечение роста общественного производства.

Понятно, что без экономики, без производства общество и его члены существовать не могут. Поэтому командный бюрократический слой стремился подстегивать экономическое развитие страны (в конечном счете, это — основа его всемирного могущества; ведь «отставших бьют», как однажды выразился Сталин). И все же — это опосредованный тип мотивации; личной, прямой заинтересованности в росте производительности труда в техническом переоборудовании производства у чиновника не было. Собственность получалась «ничейной» и соответственно, производство — «ничьим». А раз так, то шаг за шагом мы отставали от развитых стран по производительности труда в промышленности; и на две эпохи — в сельском хозяйстве (производительность сельскохозяйственного труда у нас примерно в 10 раз ниже, чем в США, Канаде, Нидерландах, Бельгии...).

Да, конечно, кое-что за семь десятилетий мы сделали — произвели, добыли, построили. Но сделали это ценой невероятной жестокости, растраты

ресурсов, эксплуатируя послереволюционный энтузиазм народа, его традиционную доверчивость, самоотверженность и бескорыстие.

Методы сталинизма — насильственного, внеэкономического принуждения к труду давали стране возможность какое-то время держаться на плаву — в эпоху «сталинских пятилеток» и военно-мобилизационной ситуации. Винтовка охранников, колючая проволока, давление НКВД и местных всесильных властей какое-то время могли заставить «выкладываться» человека, вооруженного лопатой и роющего «великий» Беломоро-Балтийский канал. («Давай, давай! Скорей, скорей!»). Но заставить с помощью насилия человека рачительно хозяйствовать, совершенствовать технологию, творить, развивать науку, совершать научные открытия — а сегодня в этом состоит магистральный путь развития экономики — невозможно: это бессмыслица, нонсенс. Тут должна быть высокая личная заинтересованность работника-творца, заинтересованность моральная, материальная, личностная. Без такой мотивации к труду процесс развития современного производства — невозможен. Экономическая эффективность развития общества сегодня обеспечивается не «за счет человека», не на основе дегуманизации труда (как когда-то), а ***через*** его гуманизацию, ***через*** превращение каждого человека в субъекта производства, господствующего как над средствами, так и над продуктами своего труда.

О тоталитаризме. Даже последний съезд КПСС охарактеризовал общество, созданное в СССР, как «тоталитарную сталинскую модель». И прав был М.С. Горбачев, неоднократно подчеркивавший, что генсек обладал в обществе такой властью, какой не обладал ни один абсолютный правитель, что «основная масса была отстранена от участия в решении государственных и общественных дел» — «провозглашение демократических принципов на словах и авторитаризм на деле, трибунные заклинания о народовластии, но волюнтаризм и субъективизм на практике, говорильня о демократических институтах и реальное попрание норм социалистического образа жизни». Это было сказано на XIX партконференции, и здесь я подписываюсь под каждым из сказанных слов.

И насчет ***социального антагонизма*** нашей общественной системы. Это ведь в «Программном заявлении XXVIII съезда КПСС» отмечалось, что «огосударствление всех сторон общественной жизни, диктатура, проводившаяся партийно-государственной верхушкой от лица пролетариата, породили новые формы отчуждения человека от собственности и власти...» Здесь же все сказано — и о «новых формах» социального господства и о новом господствующем общественном слое — «партийно-государственной верхушке».

Как мы перестраивали?

«Перестройка не состоялась» — торжественно провозгласил Иван Кузьмич Полозков. По мнению «классиков марксизма» из РКП, ее можно было бы считать «состоявшейся», если бы сохранились все «устои социализма» и главный его «устой» — безраздельная власть бюрократии и партократии.

Мы же считаем, что перестройка состоялась. По крайней мере, первый — и очень существенный шаг ею сделан. Нет, конечно, до демократии на деле, до рыночных отношений, до благосостояния и свободы еще ох как далеко! Но произошел демонтаж прежней идеологической мифологии, перестроились мысли в головах человеческих. Не смогут более Макашовы и Полозковы соблазнить россиян «социалистическим выбором» (по образу и подобию 30-х годов) и «коммунистической перспективой» (брежневского типа). Идеологическая расчистка проведена. Теперь дело за расчисткой политической и экономической, и одновременно — за строительством новой, плюралистической, идеологии, новой, демократической, политики, новой, рыночной, экономики.

Сейчас мы находимся на переломе — когда меняется (должен измениться!) тип перестройки: **из процесса, направляемого и регулируемого «сверху»** реформаторами из верхушки КПСС, она превращается (должна превратиться!) **в процесс, творимый деятельностью самих масс и их демократических организаций.** На подобную перестройку «перестройки» и направлены сегодня главные наши усилия.

Как достичь материального благосостояния и свободы?

I) Экономику — народу.

В экономической политике мы намерены реализовать два основных подхода. Во-первых, мы помним, что коммунисты изначально обещали трудящимся экономическое освобождение, «работу на себя». Но тотальное огосударствление, выдававшееся (одними по заблуждению, другими — сознательно) за реализацию идеи общественной собственности, породило лишь своеобразную форму государственного экономического рабства. Мы выступаем за такую политику, в которой свобода выбора каждым человеком сферы реализации своего интереса сочеталась бы с ***эффективностью***, без чего невозможно благосостояние.

Во-вторых, мы считаем, что стране нанесли огромный вред самодовольные руководящие профаны, которые выдвигались к власти недемократическим путем, заидеологизированные «ученые» и корыстные безграмотные чиновники, все те, кто воспитывался в духе возможности насилия над экономическими законами, считая, будто последние, подобно «дышлу», можно повернуть куда угодно, но главным образом к собственной выгоде. Наше требование, чтобы на всех уровнях — от масштаба страны до рабочей бригады — экономикой занимались специалисты, по-современному грамотные и ответственные, и никто не мешал им вести дело профессионально.

Нет ли противоречия между этими двумя требованиями: «экономику — народу» и «экономику — специалистам». Нет, ибо речь идет о том, как в рамках демократии обеспечить поддержку именно тех специалистов, которые по-настоящему заботятся об интересах народа.

Но тут начинается новый круг вопросов: что это реально означает — заботиться о трудящихся?

Когда мы читаем, слышим, что нужно защищать «сидящих на зарплате», мы задаемся вопросом: неужели только эта роль — наемного работника — и отводится трудящемуся человеку? А если он хочет стать предпринимателем — в составе коллектива, кооперативным, частным? Нет, это не забота о людях труда. Это вкупе с запугиванием наступлением «частника», «новой буржуазии», которая будет де эксплуатировать трудящихся, означает только одно: хотели бы эксплуатировать трудовой народ те самые, кто их пугает, как и прежде, в рамках ведомственной, государственной собственности, которая по сути дела была частной собственностью чиновников, партийных и государственных.

Дело ведь заключается не в форме собственности — она может быть частной, акционерной, государственной, смешанной, дело в том, насколько социальные амортизаторы (системы социального страхования и обеспечения, мероприятия по регулированию рынка труда и обеспечению профессионального обучения) предохраняют социальную сферу в целом от разрушения, от негативного воздействия голого экономического интереса (все равно — частного или государственного).

Когда мы слышим, что нужно защищать трудящихся от рынка, и это называют социальной защитой, мы протестуем! Задача совсем в ином. Надо создать возможность людям действовать на рынке. Только он и обеспечивает свободу выбора каждым сферы приложения своих сил, стимулируя к творчеству в деле, только он, а не какой-либо «посторонний ценовщик» (выражение Н.Г. Чернышевского) в виде государства может реально и непредвзято оценить результаты труда каждого в сопоставлении с трудом других.

Сегодня мы глубже понимаем экономическое освобождение человека, чем просто как реализацию лозунга «фабрики — рабочим, землю — крестьянам». В наших сегодняшних условиях экономическая свобода — это право выбора человеком своего места в смешанной экономике, где одновременно представлены разные виды собственности, разные формы связи производителя со средствами производства. Кто-то хочет и может стать самодеятельным предпринимателем, акционером, кооператором, а кто-то не может и не хочет, предпочитая в качестве наемного работника нести ответственность лишь за результаты своего труда, а не за коммерческий успех. Пусть выбирает себе судьбу сам человек, а общество, государство должны обеспечить соизмеримость, своего рода равенство прав работодателя и работополучателя на рынке труда.

Другое дело — социальная защита тех, кто неконкурентоспособен на рынке труда в силу своих физических качеств, прежде всего инвалидов, пожилых людей, учащейся молодежи и, конечно, детей. Другое дело, защита, скажем, от инфляции тех, кто в силу своей профессии «сидит на зарплате» — врачей, учителей, государственных служащих и т.д. Но и в этом случае надо искать формы связи количества и качества труда с его вознаграждением.

И еще одно: наш рынок не может и не должен быть замкнутым, нам предстоит включиться в мировой рынок. А это сопряжено со множеством слож-

ностей: продукция огромного большинства предприятий на этом рынке неконкурентоспособна, модернизация же их требует гигантских затрат, приватизация, представляющая собой одно из условий перехода к цивилизованному рынку, будет крайне затруднена без модернизации. Запад поможет? Да, но надо понимать, что западные предприниматели не очень охотно деньги вкладывают туда, где нет развитой рыночной инфраструктуры, подготовленных по-современному кадров и т.д. А ведь нужны именно крупные инвестиции — не просто разовые подачки, не только кредиты. Это очень серьезная проблема, и мы будем всячески содействовать тем, кто предложит способы перехода к открытой миру экономике на пользу нам и ему. И, разумеется, мы будем бороться с теми идеологическими преградами, которые люди вчерашнего дня ставят на этом пути, пугая народ «распродажей России». Нет, распродажа страны, всех ее богатств была совершенно беспардонной как раз в нашем вчера, и распродавали ее те самые люди, которые хотят сегодня остановить наше движение к цивилизованному рынку, в цивилизованный мир.

Итак, мы не от рынка предлагаем нашему народу «защищаться», а прежде всего от бездарной и паразитической государственной бюрократии. Рынок — это как раз и есть средство защиты от ее распределительного произвола, от ее стремления забирать в свои руки весь произведенный в стране продукт и затем милостиво распределять его — отнюдь не «по труду», а — по кастовому принципу: вначале главный куш — номенклатуре на личное потребление, затем — поддержка мирового державного могущества (тяжелая индустрия и военное производство), оставшиеся крохи — «для человека», «для его блага». Эти принципы бюрократического распределения и обусловили «коммунистическое» («по потребности») бытие номенклатуры и нищенское существование народа (основная масса которого оказалась «за чертой бедности»). Нормальный, цивилизованный рынок — это и есть инструмент распределения «по труду», средство объективной оценки количества и качества труда, заключенного в продукты.

Но, разумеется, мы видим, что в нынешних условиях, когда по-прежнему не демократические, народные силы, а — в решающей степени — бюрократия определяет пути, формы и скорость движения к рынку, возникают новые антинародные социальные структуры, пытающиеся захватить командные экономические высоты на формирующемся ринке, сколотить капитал — для нового типа закабаления трудящихся. Формируется союз приватизирующейся номенклатуры (использующей свои командные государственные и партийные рычаги для создания финансовых и промышленных монополий) и деятелей мафиозной экономики. Вот от «рыночников» такого типа народу, действительно, нужно выработать формы защиты. Они и могут быть найдены в рамках системы политической демократии, к изложению основных принципов которой мы и переходим.

2. Принципы демократической политики.

Страна переживает переходный период. Его коренной вопрос — сумеет ли она перейти от тоталитаризма — системы бесправия, несвободы народа

и произвола, всесилия номенклатуры, сосредоточившей в своих руках все рычаги господства и угнетения, к демократически организованной республике как федерации свободно определившихся многонациональных исторических земель России?

Условия и трудности движения по этому пути беспрецедентны. Силы тоталитаристского реваншизма и нового бюрократического авторитаризма, чувства мести и нетерпения, соблазны новых утопий, возникающих взамен разрушенных старых, грозят ввергнуть общество в пучину гражданской войны или гниения и распада.

Нет стопроцентной гарантии успеха при создании нового демократического общества. Но есть возможность его достичь, и этой возможностью является ***демократическая политика***.

Современная демократическая политика по своему содержанию, по своему месту в обществе, в системе социальных отношений принципиально отличается от политики XIX — первой половины XX веков. Она перестает быть лишь средством для реализации экономических потенций общества (т.е. не сводится уже к «концентрированному выражению экономики»). Сохраняя определенное влияние на экономическое развитие, она становится в то же время и средством, корректирующим это развитие, становится ограничителем диктаторских притязаний экономики (стремящейся подчинить во имя «экономической рациональности» все аспекты человеческой деятельности, превратить «хомо сапиенс» в «хомо экономикус», т.е. «человека разумного» в «человека экономического»). Демократическая политика выступает и в качестве ***самостоятельной*** сферы деятельности людей, где формируется Человек как подлинно общественное существо. С этим изменением роли политики в жизни общества, в системе жизнедеятельности людей связан еще один новый момент: важным показателем демократической политики становится (должен стать) фактор **нравственности**.

Известна формула: «в марксизме нет ни грана этики» (в том смысле, что марксизм — строгая научная социологическая теория, трактующая об исторической необходимости и потому не нуждающаяся в определении событий с точки зрения «добра», «зла», «справедливости» и т.п.). Этические оценки, альтернативы, выбор изгонялись из «марксизма», клеймились как некий «абстрактный гуманизм», лишенный будто бы все объясняющего классового подхода.

В нашей политической программе играют важную роль такие понятия как «честность», «справедливость», «гуманность», «достоинство», «патриотизм» и т.п. И здесь мы сошлемся не на «марксизм», а на самого Маркса, мечтавшего (в «Учредительном Манифесте I Интернационала») о том времени, когда народы мира будут строить свои отношения, руководствуясь **простыми нормами нравственности** — подобно тому, как это делается между культурными и развитыми индивидами.

Нравственное чувство, нравственные императивы и требования по большому счету выше экономических требований, выше традиционной полити-

ки (трактовавшейся исключительно как отношения между классами). И поэтому, когда мы сегодня говорим о приоритете общечеловеческого над классовым, мы тем самым и говорим о **приоритете норм нравственности над всем остальным в общественной жизни.**

А теперь — к более конкретному содержанию демократической политики.

Демократическая политика — это борьба за верховенство народа, но не его самодержавие. Личность, права и свободы не могут быть принесены в жертву обществу, его потребностям.

Демократическая политика — это свободное взаимодействие всех общественных сил, преследующих свои собственные интересы. Но это — и взаимосогласование, взаимоувязка их действий и позиций, исключающие принцип «кто кого» из жизни общества.

Демократическая политика — это правовое ограничение, регламентация силы и деятельности государства. Но это — и утверждение его власти постольку, поскольку оно действует согласно закону.

Демократическая политика — это создание условий для самоопределения и прогресса свободы. Но это и принуждение там и тогда, где и когда свобода вырождается в нарушение закона, в новые системы господства и подчинения.

Демократическая политика есть единственный метод преодоления тоталитаризма и созидания справедливого и свободного общества завтрашнего дня, метод, требующий специфического применения в каждой сфере общественной жизни. Поэтому лозунгами дня должны быть: не просто формирование рынка, а демократический путь к цивилизованному рынку; не просто сильная исполнительная власть; не просто деидеологизация всего и вся, а демократическое развитие партий и состязание идеологий.

Создавая новую партию, мы признаем свою ответственность за то катастрофическое положение, в котором оказалась страна. Признание этой ответственности обязывает. Во-первых, новая партия обязана сделать все, чтобы этот демонтаж РКП не обернулся общественным хаосом. Наша цель — не «развал» РКП, а выделение из нее наличных идейно-политически различных течений и оформление их в самостоятельные партии. Каждое течение станет тогда самим собой. Единство партии перестает быть в этом случае исповеданием веры, а превращается в принцип идейно-политического и организационного оформления единомышленников.

Во-вторых, новая партия обязана сосредоточить в себе, вобрать в себя те демократические силы, те демократические элементы идейного багажа, которые имелись в КПСС, но были подавлены, оттеснены на второй план или просто не могли никогда реализоваться в ее деятельности. Сделать это нужно не столько во имя сохранения «здоровой» части наследия КПСС, сколько для того, чтобы не было утрачено, рассеяно то, что может стать важной составляющей демократической политики переходного периода в нашей стране.

В-третьих, новая партия должна не на словах, а на деле активно включиться в демократическое обновление общества, найти конструктивные формы взаимодействия с другими участвующими в этом процессе силами, не

теряя при этом собственного лица. ***Ответственность за прошлое — это не покаяние только, а прежде всего деятельное участие в его преодолении***. Расчет с собственной совестью — это не надевание чужих масок, а то преображение своего лица, которое достигается внутренним саморазвитием и самоочищением.

Главными направлениями политики переходного периода новая партия считает следующие:

— формирование демократического национально-государственного устройства Российской Федерации как союза равноправных самоопределившихся народов и исторических земель России;

— завоевание демократическими силами конституционным путем большинства в Советах всех уровней для преобразования их в структуры власти, характерные для модели представительной демократии, т.е. в ***систему разделения законодательной, исполнительной и судебной властей*** на высших их уровнях, сочетание местного самоуправления с выборным или назначаемым главой исполнительной власти на низших уровнях;

— всемерное развитие в рамках закона многопартийности и разнопрофильных структур гражданского общества, полное обеспечение политических и гражданских прав и свобод человека;

— в целях согласования их интересов, что в условиях переходного периода будет представлять особую трудность, формирование при органах власти различных уровней координационно-консультационных советов по модели «круглых столов» с участием всех политических сил (независимо от их представительства в органах власти), действующих на данной территории;

— всемерное развитие в рамках закона «базисной демократии», самоуправленческих и самодеятельных начал, реализуемых в деятельности трудовых коллективов, ассоциаций по месту жительства, различных добровольных движений и объединений;

— последовательная департизация государственных институтов — органов прокуратуры, юстиции, КГБ, армии, госаппарата;

— обеспечение демократических условий и форм проведения референдумов по важнейшим вопросам государственной жизни.

3. Наши идейные ориентиры.

Главным идеологическим требованием ко всей КПСС и к каждому ее члену традиционно было: «Неукоснительное следование марксизму-ленинизму».

Мы не принимаем сам ***принцип***, заложенный в этом требовании: определять «правильность» мысли и действия не по их соответствию жизни, практике, а по их соответствию положениям какого бы то ни было «учения». Каким бы глубоким, «научным» ни было то или другое учение, жизнь — всегда бесконечно богаче и оригинальнее его. Каждому школьнику известны ставшие уже хрестоматийными слова Гете: «Теория, мой друг, сера, но вечно зелено древо жизни». «Соответствовать учению» — и означает плодить интеллектуальную «серость», беспомощную перед действительными проблемами, которые ставит вечно-зеленая жизнь. Не с цитатами из «классиков», но с

проблемами жизни, интересами наших современников мы будем сверять свои намерения и действия.

Однако мы вовсе не сторонники принципиального антиинтеллектуализма. Мы хотим, чтобы интеллект нашего движения был обогащен опытом поисков, достижений и просчетов, присущих вершинам интеллектуальной истории человечества. И среди этих вершин идеи основоположников марксизма должны занять свое достойное место.

Основной девиз работ Маркса — это преодоление отчуждения во всех его формах. Маркс характеризовал строй будущего как **«реальный гуманизм»**. Мы берем на вооружение эту формулу.

Для Маркса смыслом и целью будущего общества было «формирование индивидуальности», создание условий, где «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех». И в этом мы готовы следовать за Марксом.

Маркс мечтал о новом общественном строе, который превзойдет буржуазный — по уровню, масштабам демократии. Он мечтал освободить демократию от влияния «денежных мешков», он мечтал о «демократии, доведенной до конца», то есть до участия каждого человека в общих делах государства. Нам близки и понятны эти мечты Маркса.

Это только потерявшим разум и объятым страхом политическим карьеристам — вчерашним продажным апологетам марксизма — свойственно сегодня восклицать: «Марксизм — это идиотизм».

Мы с уважением относимся к наследию Маркса и его действительным соратникам и последователям — Энгельсу, Бебелю, Плеханову, Каутскому, Розе Люксембург... Но «наш Маркс» — это Маркс развивающийся, постоянно сам себя корректирующий и даже пересматривающий основы своего учения (достаточно вспомнить его знаменитое письмо Вере Засулич 1881 г., в котором Маркс выходит на новый уровень теоретического поиска).

Но «в нашем Марксе» мы видим и присущую ему историческую ограниченность. Она нам ведома не потому, что мы проницательнее Маркса. Жизнь, историческая практика XX в. выявили связи и законы, которые были не видны Марксу. При всем уважении к Марксу, мы отмечаем наличие фундаментального противоречия между его социально-политическим прогнозом и реальным результатом деятельности людей в нашем столетии. Марксом не был предугадан конкретный путь разрешения противоречий в Западном обществе, Марксом не была предсказана возможность антагонистической формации, нового, некапиталистического типа (сложившейся у нас).

Мы не считаем также, что работы Маркса вобрали в себя всю человеческую мудрость. Для нас имеет громадное самостоятельное значение гуманизм теоретиков французского Просвещения — Гельвеция и Руссо, не подчиненное значение (не как один из «источников марксизма»), а громадное самостоятельное значение имеют для нас идеи Канта и Гегеля.

Кроме того, для нас, россиян, не меньшее, а может быть даже большее значение имеют идеи выдающихся русских мыслителей — Радищева, Чаада-

ева, Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Достоевского, Вл. Соловьева, Л. Толстого и др. Они выдерживают сравнение и с мировым философским стандартом, а уж душу-то русского народа, смысл русской жизни, ее логику — они знали как ни один западный мыслитель. Им всем была присуща главная и сокровенная идея русской философии — уникальность и самоценность каждой человеческой жизни.

Не «мальчиками для битья», а мудрыми помощниками в осмыслении судеб современного мира выступают для нас так называемые буржуазные (а на деле — просто блестящие и глубокие) теоретики — такие, например, как Макс Вебер и Зигмунд Фрейд, Кейнс и Фридман, Бернхэм и Гэлбрейт.

Особый вопрос — о В.И. Ленине. В наших рядах есть как те, кто высоко оценивает теоретическую и политическую деятельность этого человека, так и те, кто дает его наследию негативные оценки. Мы не хотели бы поэтому сегодня формулировать окончательный вердикт в отношении его деятельности. Масштаб этой фигуры, сложность эпохи, в которой действовал Ленин и на которую он наложил свой отпечаток, таковы, что тут не обойдешься поспешными и поверхностными оценками. Поэтому мы считали бы целесообразным вопрос о Ленине вынести за скобки данных ориентиров и провести по нему серьезную научную дискуссию в теоретических органах печати.

Предлагается название «Демократическая партия коммунистов России».

Почему — так?

Во-первых, потому, что мы исповедуем в отличии от других течений в КПСС действительно ***демократические*** убеждения.

Но мы не просто ***демократическая*** партия, мы — демократическая партия, существующая пока в рамках КПСС. Мы подчеркиваем — «пока» не потому, что собираемся выходить из КПСС, оставив ее консерваторам, а потому, что в данном ее виде она не может не уйти в прошлое. Ведь она была стержневой, всеопределяющей частью административно-казарменной системы. В новом демократическом обществе такой специфической — государственно-управленческой организации, как прежняя КПСС, просто нет места. И мы хотим способствовать цивилизованному размежеванию, что в нынешних условиях равнозначно демонтажу КПСС. И самое лучшее, на наш взгляд, делать это изнутри — больше шансов удержать общество от острых, непредсказуемых политических схваток, чреватых гражданской войной.

Оставаясь в этот переходный политический период в рамках КПСС, мы ставим перед собой также задачу — отделить существовавшие в ее истории демократические традиции от традиций тоталитаризма (получивших, увы, явное доминирование с середины 20-х годов нашего века). И на базе демократических традиций — объединить миллионы рядовых членов КПСС, чтобы вместе выйти на дорогу строительства подлинной Демократии в нашей республике. Демократические традиции в КПСС — это традиции гуманизма и демократизма в марксистском учении; это — идеи социальной справедливости, определявшие деятельность многих наших соотечественников в эпоху

Февраля и Октября 1917 г. (идеи политической свободы, международного миролюбия, передача собственности и продуктов труда — тем, кто их создает и т.д.); это — далее — линия НЭПа, борьбы против сталинской политики «коллективизации» и «индустриализации»; это — народно-демократические формы борьбы с фашизмом в 1941–1945 гг., подрывавшие казарменно-сталинские методы наведения «дисциплины»; это — ряд идей XX и XXII съездов партии и некоторые элементы хрущевских реформ (в целом противоречивых и неоднозначных); это — инакомыслящая демократическая публицистика 1960–1980-х годов («Новый мир» и др.). Именно эти демократические традиции сделали возможным массовое приятие рядовыми членами партии устремлений Апреля 85-го года, они обусловили появление Демплатформы в КПСС, зерен демократических идей в решениях XIX партконференции и XXVIII съезда партии. Вот почему на этот переходный (и по всей вероятности непродолжительный) период размежевания «внутри» КПСС мы предполагаем назваться Демократической партией коммунистов России. Хотя полагаем, что термин «коммунистическая» в перспективе не сохранится в названии нашей организации.

Заявление Правления
Демократической партии коммунистов России (ДПКР)

В стране предпринята попытка военно-бюрократического переворота. Совершается тягчайшее государственное преступление. ЦК КПСС не высказал свое отношение к путчу, инициаторы которого являются его членами. Молчание руководящих органов КПСС в данных условиях объективно равносильно их соучастию.

В настоящих условиях, когда КПСС используется или может быть использована заговорщиками в своих преступных целях, ДПКР отказывается от прежнего курса **постепенного** размежевания с реакционным крылом КПСС. ДПКР заявляет о том, что в критический для России момент она немедленно и решительно порывает с КПСС и встает в ряды Сопротивления антиконституционному путчу и выражает полную поддержку законному Президенту и Правительству России.

ДПКР призывает своих сторонников, всех членов КПСС выходить из ее рядов, всемерно развертывать активное ненасильственное сопротивление путчистам, не исполнять постановлений так называемого ГКЧП, защитить избранные народом российские власти.

ДПКР призывает армейских коммунистов, всех честных и патриотически настроенных военнослужащих сохранить верность Президенту СССР и законным властям России, встать в ряды антипутчистского Сопротивления.

ДПКР призывает коммунистов — народных депутатов СССР и РСФСР обсудить на своих сессиях попытку антиконституционного переворота и принять решение о смещении со всех постов его руководителей и отдаче их под суд. Партия обращается к коммунистам — народным депутатам всех уровней и коммунистам — избирателям с призывом безоговорочно поддержать структуры законной власти перед попыткой реакционно-авторитарного госпар-

таппарата повернуть вспять поступательное демократическое развитие нашей страны.

Сегодня решается судьба России, и у каждого честного гражданина есть шанс принять решение по совести.

Тоталитаризм не пройдет!

Белый Дом, 20 августа 1991 г. 14 час. 30 мин.

После Августа — 91

Свободная Россия — пока только площадь

«Свободной Россией» назвали площадь перед Белым Домом его защитники в августе 1991 года. Отсюда, по их замыслу, должна распространиться свобода по всей республике... Прошел год. Замысел, увы, далек от воплощения. И не в правительстве, не в его лидерах (которых сегодня не ругает только ленивый) тут, в первую очередь, дело. Всё гораздо серьезнее.

Знаки беды

Предчувствие Беды буквально разлито в воздухе. Ее предрекают не просто те или другие газетные публицисты (чего иной раз не напишешь, чтобы привлечь подписчика!), но политические деятели первого ряда — Шахрай, Козырев, Попов, и вот теперь — Горбачев (обычно сдержанный в эмоциях и прогнозах)...

По-моему, не все — и политики, и публицисты, и в особенности читатели — отдают себе отчет, какая именно беда подходит к нашим дверям. Как во сне — наплывает какая-то не очень ясная, но страшная угроза; словно перед тобой какая-то гигантская историческая воронка, где бешено кружится вода, утягивая туда, в смертельную глубину, людей, общество — и непонятно: откуда это так тянет, и нет уже сил сопротивляться. Так бывало не раз в истории: в смертельную воронку попали когда-то все политические лидеры Великой Французской революции — Бриссо и Верньо, Дантон и Камилл Демуллен, Робеспьер и Сен-Жюст и тысячи, тысячи их друзей и единомышленников; затянуло в смертельную глубину всю «ленинскую гвардию» во главе с растерявшимися и не успевшими ничего понять Бухариным и Рыковым, Зиновьевым и Каменевым; затянуло хрущевскую команду, и вот сегодня на ее бешено крутящиеся края наплывают и Горбачев, Шеварднадзе, Яковлев, а чуть поодаль уже и Ельцин с Гайдаром и Бурбулисом, тысячи и тысячи политических активистов, да и всё наше общество — в гигантской воронке всем места достанет...

Чаще всего беда рисуется в виде экономического краха, голода, развала СССР, СНГ, России, в виде какой-то «диктатуры». Э, да разве все это Беда? Ну, плохо, конечно, с экономикой, и с продуктами туго; но все же худо-бедно, быстро-медленно, но в конце-то XX столетия уж как-нибудь сможем прокормить себя — не война же, не ленинградская же блокада. У кого-то подзаймем,

где-то что-то за рубежом подкупим и внутри страны договоримся, в конце концов, и о ценах на зерно, и о госпоставках, и найдем способы прикрыть наших малообеспеченных — стариков, пенсионеров, инвалидов. Нет, нет, все это не беда — выкрутимся. И с «развалом», и с «диктатурой» — тоже, конечно, плохо, но и тоже — не пропадем. «Пока живы, все поправимо» — утешает народная мудрость.

«Пока живы...» Вот-вот! Вот здесь-то мы и выходим на понимание накатывающейся действительной беды: мы на пороге не просто голода, холода, диктатуры, но — **взаимоистребления.** Перед нами угрозы не уровню жизни, но самой жизни. Мы на пороге гигантской человеческой мясорубки.

Да даже и не на «пороге», она, собственно, уже начала свою ритмичную и все убыстряющуюся работу.

Вот она настоящая Беда: Карабах, это взаимоистребление армян и азербайджанцев, Приднестровье — взаимоистребление молдаван и русских, Северная Осетия — взаимоистребление осетин и грузин... Здесь уже нет этого «пока живы»; многие уже **не** живы, и для них, и для всех нас это уже **не**поправимо. Но и все это — лишь начало Беды. Она подбирается, чтобы заполонить всю нашу страну — бывший СССР, нынешнюю Россию. (Примерно так, как заполонила она всю несчастную Югославию). А подбирается она распространением и культивированием всеобщей озлобленности, повсеместного поиска «врагов», пренебрежительного отношения к чести, достоинству, да и к самой жизни человека.

И озлобленность эта все шире заполняет **все** существующие политические движения — «патриотов», «коммунистов», «демократов».

Вот, к примеру, лексика «патриотического» прохановского «Дня»: «Правительство измены», «оккупационный режим Ельцина-Гайдара» и т.п. Ну, и скажите мне, пожалуйста, что делают с «изменниками» и «оккупантами»? Верно, как правило, их уничтожают. Речь идет, таким образом, не просто о газетных «шапках» и публицистических заголовках, речь идет об открытых призывах к расстрелу, уничтожению. И, разумеется, в число «изменников» попадут все, кто «не с ними» не с прохановцами-стерлиговцами, кто так или иначе поддерживает «правительство измены» (или не слишком активно борется с ним). И вот уже у «патриотов» и мундирчики полувоенных покроев появились — черненькие, коричневенькие, темно-зелененькие, и портупеи на них уже заскрипели и фирменные фуражечки-пилоточки на головах; и желваками уже поигрывают и кулачки сжимают, — в общем, готовятся ребята.

А вот они, «коммунисты» из анпиловской «Трудовой Москвы» и родственных ей организаций. Для них все, что ни делается коммунистами-реформаторами и «демократами» после 1985 года, — все это не что иное, как выполнение планов и заданий ЦРУ. В общем, правители, «реформаторские» и «демократические» организации — это все заурядные «агенты» иностранных разведок — от Америки и Германии до Израиля и Японии. Да, это уже готовая канва для речей будущих Вышинских и Ульрихов. А с «агентами» и «шпионами» — тоже известно как поступают. Просто пока кандидаты в новые

Вышинские не верховодят ни в Кремле, ни на Лубянке, пока их любимые вожди в Матросской тишине выжидают. Но не просто выжидают. Готовятся и кличут Беду на головы россиян. То Крючков из «застенка» с открытым (наглым, полным угроз) письмом через «Правду» (!) к президенту обратится, то Янаев по телевизору (!), вскарабкавшись на спину пухленького, светлоглазенького и самодовольненького «демократического» интервьюера,—как с пьедестала—будет часами (!), с повторами, вещать недоумевающей публике о возвышенном гуманизме и высокой нравственности тех, кто 19 августа наводнил Москву танками. «Мы же обещали Ельцину не штурмовать Белый дом!» Они «обещали»—подняв в ружье войска МВД, КГБ, террористические группы, танковые части... Н вы заметили, как постепенно перестают бегать глаза и дрожать руки у господина Янаева? Чует человек, что приближается его время—время Беды для россиян и время счастливого реванша для него и его друзей.

И среди «демократов» все слышнее суровые голоса угроз и озлобления. Вот, например, один известный «демократ»—режиссер льет телевизионные (и впрочем, вполне понятные) слезы по поводу расстрела царского семейства. И вдруг обильные слезы мгновенно высыхают, лицо зеленеет, кулаки сжимаются и стискиваются зубы: «Я бы этого Юровского вот собственными руками задушил». Не правда ли, какой славный гуманист этот «демократ»! Это о таких гуманистах-страдальцах сказал как-то Ежи Лец: «Снимите его только с креста, так он тут же других крестов понаставит и костры под ними разложит». Или другой «демократ» (беру все эти названия каждый раз в кавычки отнюдь не с тем, чтобы продемонстрировать свое ироническое отношение к ним—хотя вообще-то доля иронии здесь не была бы лишней, и все же в данной статье кавычки—обозначение того, что речь идет о **само**названии, а не о моей характеристике данного течения), итак, другой «демократ», известный поэт-пародист, ставший непременным участником «демократических» шоу-митингов, о своих исторических оппонентах, победивших в Октябре 17 года, отзывается не иначе, как о «большевистском отребье», «красных подонках», «нелюдях», «шариковых».

Очень принято также среди влиятельных «демороссовцев» взывать к разгону тех или иных представительных органов, к тому, чтобы некую организацию объявить «преступной», а ее членам перекрыть доступ к государственным должностям. Такие вот «демократические» маккартисты. А какими эпитетами угощают демократы друг друга, чуть только не сойдутся в чем-то во мнениях. Куда там Ивану Ивановичу с Иваном Никифоровичем с их «гусаками» в адрес друг друга, да и пущенными-то где-то в частной ссоре, на огороде. Наш высокопоставленный «демократ» публично, на весь мир, через всемирно известные европейские газеты назовет своих вчерашних друзей по правительству «червями», другой, тоже очень высокопоставленный, охарактеризует часть правительственной команды «дерьмом, облепившим Ельцина». Это—публично; о не—публичных характеристиках и писать нельзя—можно получить год-другой за мелкое и среднее хулиганство.

А как изъясняются в конфликтных ситуациях иные руководящие «демократы», оказавшиеся по воле случая на высоких должностях в разных республиках СНГ: и «фашистами» могут друг друга окрестить, и бомбами на головы ни в чем не повинных мирных жителей соседней республики погрозить.

Это и есть первый этап Большой Беды: идет в нашей России не диалог и не борьба политических сил, а настоящая полномасштабная холодная гражданская война, и стимулируют ее силы тоталитарного способа мышления и действия, к сожалению, **по обе** стороны сегодняшних политических баррикад. Люди, группы, течения этого сорта могут сходиться, расходиться, сталкиваться, что называется лбами, хвалить друг друга и хулить. Они одеваются в разные одежки — «коммунистические», «патриотические», «демократические». Но в основе их действий и размышлений лежит одна и та же методология — методология **тоталитаризма.** Им всем присущ непримиримо-конфронтационный тип мышления, в оппонентах они видят врагов, подлежащих идейному и политическому (про физическое я пока молчу) уничтожению. Одни хотят разогнать «реакционный парламент», другие — низвергнуть «правительство измены», и все требуют судов конституционных, политических, уголовных — друг над другом, Так что все они (а не кто-то один из них) активно готовят ту политическую среду, создают ту политическую атмосферу, в которой все реальнее просматривается аналогия с ситуацией 30-х годов. Пока все они «судят» «врагов народа», «изменников», «оккупантов», «преступников» только в митинговых речах и газетных статьях, но победи кто-то из них — и ежовско-сталинские «особые совещания», «пятерки» и «тройки» станут явью.

Второй знак Беды — в сфере экономики. Некоторые проклинают «рынок». Но дело не в нем. Курс на «рынок» — это верный курс. На нормальном рынке продукты обмениваются «по труду», и это гораздо **справедливее,** нежели централизованное, волевое распределение производственного национального продукта властвующей бюрократической элитой (думающей в первую очередь о себе, любимой). Рынок — это и экономический прогресс, он дает сильные стимулы к производительному труду, и — предпосылки политической свободы (формирует самостоятельных, независимых людей!). **Беда возникает при переходе к рынку в условиях недемократического государства, в условиях всесилия чиновничества и отчужденности от реальной власти народа.** Переход к рынку предполагает приватизацию, а приватизация, в условиях господства госбюрократии, означает «перемещение» (употребим такое деликатное выражение) общенациональных богатств в руки узкого элитарно-бюрократического слоя. Или, выражаясь проще и прямолинейнее, — означает разграбление народного достояния кучкой новых хозяев жизни. Чиновники начали реформы с того, что в первую очередь приватизировали в свою пользу государство, сам механизм приватизации, и, неподконтрольные общественности, вместе со своими друзьями-теневиками прибирают наработанное всеми за 74 года к своим рукам. О невиданных масштабах коррупции, взяточничества сегодня пишут открыто и много в журналах и газетах, об этом подробно и часто рассказывает российское те-

левидение. Вот одну шикарную гостиницу чиновники разрешают почему-то приватизировать за 17 миллионов рублей при ее действительной стоимости — 17 миллиардов. Разрешают — ну, разумеется без всякой корысти для себя. А раздача земли — тут, как вы понимаете, способов обогащения не счесть. И основная часть ваучеров, в условиях обесценения всего и вся в условиях искусственно создаваемого хозяйственного хаоса, быстренько соберется в нахрапистых руках новых господ нашей жизни. Но имейте в виду: народное сознание никогда не признает «справедливой» такую приватизацию — этот захват горсткой ловкачей всего, что мы все создавали в течение десятилетий. Я предсказываю: этот номер не пройдет. Будет передел — всеобщий, и, увы, скорее всего, кровавый. Народ не примет этого наглого захвата его собственности. Он не смирится с переводом миллиардов долларов на частные счета в зарубежные банки, с обесценением его личных трудовых накоплений, он не примет новых господ, всех этих Артемов Тарасовых, этих юнцов Стерлиговых и их сообщников из чиновных кабинетов. Своей сегодняшней экономической деятельностью вы, уважаемые дамы и господа, чиновники и теневики, готовите новую общероссийскую резню, в которой и вам всем очень несладко придется. И ваши лицемерные заклинания: не считайте, дескать, деньги в чужом кармане, — не сработают. Будут считать, обязательно будут, ибо речь ведь пойдет о деньгах, перекочевавших в «чужой» карман из **их** кармана. А такие деньги — почему же не посчитать? Еще раз: своей деятельностью, уважаемые, вы провоцируете новую пугачевщину, а там и сталинщину — в ответ на ваш экономический нахрап придет нахрап возмездия со стороны вконец издерганных, раздраженных, униженных, обворованных и обделенных людей. Им трудно будет рассчитать меру самообороны.

И третий знак Беды — в сфере политики. Ругают «партию-государство» — КПСС, этот стержень тоталитаризма. И КПСС, конечно же, заслуживает самой суровой и самой беспощадной исторической критики — немало позорных (а то и прямо преступных) действий числится за ее руководящими структурами (при унизительном и трусливом молчании партийных масс). Но что сегодня? Разве сплоченное госаппаратом послеавгустовское чиновничество не является новой партией-государством со своими наместниками, главами администраций, этими новыми всесильными «секретарями обкомов и райкомов» и разве нет тут, в центре, на той же приснопамятной Старой площади хорошо укрытых от народных глаз всесильных руководящих механизмов, где властвуют и вырабатывают решения люди, имена которых редко появляются на страницах печати. Они там по своему усмотрению и кадры по всей России расставляют и «судьбоносные решения» потихоньку заготавливают.

Пугают «переворотом». Да какой там «переворот»? Что переворачивать-то? Нет ведь пока ни рынка (о каком рынке может быть речь в условиях сохраняющейся государственно-монополистической собственности!), ни демократии (разве есть у нас парламент, избранный на многопартийной основе? Разве существует разделение властей, то, что есть — это схватка властей, пытающихся удавить друг друга; разве есть у нас действительная свобода

слова и реальная гласность для большинства народа, а не для элиты — журнальной, мафиозно-финансовой, номенклатурной?).

Итак, вот они, знаки Беды: в **идеологии** — остроконфронтационное мышление, идеология взаимоистребления; в **экономике** — спекулятивно-рэкетный рынок и бюрократическая приватизация, обеспечивающая захват созданного народом богатства новой господствующей элитой; в **политике** формирование новототалитарной системы.

Пока это только тенденции, пока это еще не сама Беда, только знаки ее приближения. Возможности демократической альтернативы пока еще не перекрыты. Еще ни одна из тоталитарных сил не овладела властью безраздельно. Ключевые фигуры нынешнего российского руководства еще удерживают страну от срыва в тоталитаризм, еще обеспечивают защиту общедемократического направления ее развития. Но, кажется, их возможности близки к исчерпанию. Да и вообще — не позиция той или иной группы руководителей определит маршрут движения России. Его способно определить только мощное общественное демократическое движение, ясно определившее причины приближающейся Беды, выяснившее способы ее приостановки и сплотившее основную массу россиян для ее преодоления, т.е. демократическое движение — вновь и вновь применительно к новой, нынешней ситуации ставящее и решающее традиционные вопросы нашего развития — кто виноват и что делать? Я выношу на обсуждение свои варианты ответов:

Так кто же все-таки виноват?

Да, кто «виноват» в том, что большая беда подошла к нашим дверям?

Есть искушение дать ответы покороче и попроще. И потому частенько ищут конкретных виновников — с именем и фамилией. Чаще других виноватят Горбачева и Ельцина. Вот и Руслан Хасбулатов недавно в Дели рассказал широкой индийской общественности, что беды все наши — от Горбачева, этого «заурядного партийного работника», а не какого-то там великого реформатора. И что без Горбачева все процессы у нас шли бы гораздо лучше. Я готов допустить, что с Хасбулатовым во главе было бы лучше. Но ведь в 1985 году Руслан Имранович был всего-навсего зав. кафедрой в каком-то второразрядном учебном заведении. И потому ему трудно было бы оказаться на месте Горбачева. А реально на этом месте могли быть тогда Гришин, Романов, Чебриков, Лигачев, Крючков, Полозков, Лукьянов... Не оставьте в «неведении»: с кем же из них нам всем было бы лучше, господин спикер?

Винят сегодня Ельцина, Гайдара, Бурбулиса. И дело даже не в том, верны или не верны те или другие характеристики отдельных руководителей. Наивен сам метод — искать первопричины коренных общественных бед — в каком-то конкретном человеке, а лекарство от них — в смещении, устранении этого человека. Это тупиковый путь анализа.

Конечно, конкретные лица накладывают отпечаток на ход исторического процесса, и анализ действий, мыслей, поступков политических лидеров — важная задача политической науки. Но прежде следует понять более глубо-

кие причины общественных сдвигов и социальных конфликтов, коренящиеся в глубинах народной истории, в столкновении интересов крупных общественных групп. А мы все напряженно вглядываемся в лица людей из первых рядов российской политики, высчитываем их жалкие рейтинги — стремясь угадать, кто же он, будущий наш герой-избавитель, очередной «отец народов». Старая и грустная песня...

Другой интеллектуальный тупик: обвинять во всем силы «коммунистического реванша». Тоже очень — среди «демократов» — модно сегодня. «Коммунисты», сторонники «социалистической идеи» саботируют все реформы, хотят возврата к «социалистическому» прошлому. Так развенчаем, так добьем социалистическую идею, уничтожим навсегда этот бродящий по Европе призрак, — и пойдут в гору дела демократические. И бомбят сегодня аэродромы социалистических идей, чтобы ни один «реакционный» самолет с них не поднимался, бомбят все — от Стерлигова и Аксючица до Ципко и Александра Яковлева. Опять-таки: не касаюсь сегодня того, хороши или плохи социалистические идеи сами по себе (это разговор особый и непростой). Обращу ваше внимание, читатель, только на то, что сталинско-брежневский строй вовсе не был воплощением идей марксизма или научного социализма (независимо от того, хороши они или плохи, просто — не то). Социализм предполагал общество социально однородное, общество социального равенства. Построено же было общество социально-антагонистическое, разделенное на номенклатурную элиту, которой позволено все, и на подвластную, угнетенную и униженную «массу», которой не позволено ничего. И потому, нападая на социалистическую идею», вы совсем не нападаете на тот строй. Вы бомбите ложный аэродром, оставляя в неприкосновенности аэродромы, действительно заполненные аппаратами насилия и угроз, которые, кстати, и врастают благополучно в современную «демократическую» Россию.

В чем же была суть того строя, на каких принципах на самом деле строились общественные отношения внутри него?

В Октябре 1917 года поднялось на борьбу не какое-то там «отребье», не «подонки» и не «шариковы». Поднялся забитый, униженный, голодный, выкупанный в кровавой реке мировой войны российский народ, желая построить общество социального равенства, широкой народной демократии, где каждый трудящийся имел бы реальную возможность принимать участие в управлении страной, ее экономикой, политикой, культурой. Не получилось. Недостало народу культуры, образованности. Он желал, но не мог управлять страной. Вместо него и за него это стала делать новая элита — госбюрократия (вобравшая в себя, кстати, значительную часть старой, царистской бюрократии — а откуда еще можно было черпать более или менее образованных людей!). Строй не был ни капиталистическим, ни социалистическим. Сформировалась особая общественная формация — госмонополистическая, бюрократическая система, и она вовсе не была каким-то историческим казусом или социальной аномалией. В некоторых — экстремальных — условиях (война, ситуации осажденной крепости, послевоенного восстановления)

она могла быть и нередко была работающей системой. Одна только усложняющая дело анализа деталь. Так же, как капиталистическая система могла иметь, например, форму «демократическую» и «фашистскую», так же и госмонополистический бюрократизм мог быть более или менее демократическим (при Хрущеве, например) или диктаторски-тираническим (при Сталине). До 1985 года менялись формы государственно-монополистической бюрократической системы, суть же сохранялась.

Но к середине 80-х годов этот строй не устраивал уже никого — ни обездоленные, отчужденные от власти и собственности низы (что понятно само собой), ни номенклатурные верхи. И в последнем нет ничего удивительного: дело в том, что земные блага, которыми система щедро одаривала элиту, были как бы привязаны к занимаемому чиновником креслу. Занял кресло — получил соответствующие его рангу блага. Потерял кресло — потерял все: дачи, машины, спецраспределители, спецполиклинику, загранпоездки, власть над людьми. Зыбкое, не очень надежное благополучие. Хорошо бы «отвязать» эти блага от партийно-государственного кресла и привязать их к себе лично. Вот это и есть для него «приватизация», разгосударствление. Вот он и встал поначалу горой за перестройку, за Горбачева. Поэтому, уважаемые «демократические» публицисты и митинговые ораторы, ну, не уверяйте читателя, что вся прежняя номенклатура жаждет вернуться в брежневское государственно-монополистическое болото, что она против рынка и приватизации. Нет, конечно, кое-каких чудаков этого сорта отыскать можно, но основная масса прежнего чиновничества — за рынки и приватизацию (осуществляемую, разумеется, по номенклатурному проекту). И сегодня главное содержание социального конфликта отнюдь не сводится к противостоянию «административно-командных» сил прошлого и демократически-рыночных сил современности. Выбор между рынком и бюрократическим распределением, между госмонополией и приватизацией обществом уже сделан — в пользу рынка и приватизации. Обратного хода уже нет. Действительное содержание современной альтернативы — другое: каким **путем** будет формироваться рынок и осуществляться приватизация — номенклатурно-бюрократическим или народно-демократическим. Иначе говоря, реформы будут осуществляться в интересах большинства россиян, или — номенклатуры (старого и нового призыва)? Вот в чём вопрос, вот где пролегает главная линия современной социально-политической борьбы. Этого, между прочим, не понимают многие демократы. Кажется, не отдает себе в этом отчет и нынешний идеологический лидер ельцинской команды — Геннадий Бурбулис. Он все еще живет иллюзорным противоречием между «демократами» и «коммунистами», между «демократическим» прогрессом и «коммунистическим» реваншем, теряет время в конституционном суде, где жуется и пережевывается конфликт позавчерашнего дня.

А конфликт сегодняшнего дня, подытожим, — и он во многом связан с выбором формы приватизации — пойдет ли она по бюрократическому пути (в чем кровно заинтересованы большинство старой партгосноменклатуры и основная масса послеавгустовского чиновничества, в союзе с «теневиками» —

и старого, и нового разлива) или — по народно-демократическому (главными сторонниками которого являются производительный предприниматель, менеджер и современный квалифицированный работник). И не следует смешивать этот главный социально-политический конфликт с грызней осуществляющих бюрократическую приватизацию различных групп — за наиболее жирные куски общественного пирога. На место номенклатурного государственно-монополистического хозяйства приходит разгосударствленная номенклатурно-рыночная экономика. Бюрократическое сословие меняет внешность, сбрасывает прежние словесно-идеологические одежки, но сохраняет себя в качестве господствующей над обществом и народом силы. Не засматривайтесь поэтому на одежки, на их смену; обращайте внимание на суть: вспомните, ведь значительная часть царской чиновной армии спокойно и без труда перекрасилась в «советское» чиновничество и занимала командные позиции в сталинское время. Потом «сталинистской бюрократии» не составило большого труда одеться в словесные одежки «хрущевской оттепели», «хрущевисты» эволюционировали в «брежневцев», те — в «горбачевцев», основная масса горбачевцев не испытывает сегодня никаких неудобств, трудясь в ельцинской аппаратной системе. И не властители — не генсеки, не президенты — диктуют им стиль жизни и деятельности (это наивная иллюзия!), но **они** мощным давлением со всех ступеней государственной лестницы диктуют руководящим командам основной маршрут движения.

И противостоять этому давлению, замыслам и идеям этого изменчиво-неизменного сословия может не тот или иной руководитель, но только другая социальная сила — «демократически организованный народ». Руководитель должен лишь определиться — с кем он, дабы не попасть в ситуацию Робеспьера, Бухарина, Хрущева, Горбачева, не замечавших раскола когда-то единых реформаторских сил и пытавшихся удержаться, стоя на обеих разъезжающихся в разные стороны «половинках».

Мне думается, ельцинская команда в должной мере еще не осознала своеобразия этой новой ситуации — этого разделения нового типа, происшедшего внутри рыночно-реформаторских сил, еще не определила своего места в этом противостоянии. Это плохо, что не определила, — ситуация начинает выходить у нее из-под контроля. И это хорошо, что не определила, — сохраняет шанс выбрать сторону демократического народа, сохраняет шанс «притереть» абстрактно-теоретические государственные замыслы к интересам и потребностям миллионов и миллионов россиян, преобразовать технократическое лицо начавшейся реформы в социальное, — и в итоге соединить экономику с Демократией.

Ну и теперь — что делать?

Что делать правительству, если оно хочет отвести от страны беду новобюрократического господства, нового тоталитаризма. Что делать тем политическим силам. которые хотели бы служить российскому народу, а не прислуживать новой элите? Нет, нет, я не собираюсь излагать развернутые про-

граммы с пунктами и подпунктами. Речь пойдет только об общей канве размышлений на сей счет.

Надо прежде всего снизить общий уровень конфронтационности в обществе. Нет, наиболее ретивых сторонников холодной гражданской войны — всех этих прохановых-стерлиговых-анпиловых — не урезонить. Это я понимаю. С **ними** конфронтация неизбежна. И спуску им — в рамках, разумеется, закона — давать нельзя. Тут нужен жесткий **правовой** прессинг. Но втягиваемая в острые конфликты экстремистскими лидерами этих лагерей основная масса политических активистов способна и готова, я убежден, сменить язык гражданской конфронтации на язык цивилизованного диалога и гражданского согласия. Правительство должно дать убедительные и впечатляющие примеры своей **готовности** осуществлять управление через диалог, своей **готовности** начать новый отсчет политического времени — времени согласия и компромиссов. Я не подсказываю конкретные возможные шаги — над ними следует еще подумать. Но примерно: ну, отпустите вы этих авантюристов из ГКЧП на все четыре стороны, опубликовав, впрочем, все, что накопало следствие; отмените, не дожидаясь того или другого варианта решения Конституционного суда, указы о запрете КПСС; приостановите лавину переименований, уничтожение памятников; умерьте вакханалию вокруг истории «большевизма» и его вождей, в особенности вокруг Ленина, ленинского мавзолея (что так неоднозначно, так нервно воспринимается в различных частях нашего общества и что так маловажно для решения нынешних неотложных проблем), и Горбачева оставьте в покое (ну, проявите благородство!)... Этим не слабость свою покажете, а силу, уверенность и мудрость. Подобными решениями не «реваншистов» поощрите (как иногда думают в правительственных сферах), а наоборот — отделите озлобленную горстку «реваншистов» от нормальных людей, готовых защищать свои идеалы в цивилизованной форме.

А исторические сюжеты — я не призываю свернуть их обсуждение, но давайте менять жанр: не эмоции, не эпитеты (вроде «отребье», «подонки») пусть выступают на первый план, а **документы**, архивные материалы, научно-аналитические статьи; а то ведь опять какие-то там люди монополизировали (приватизировали в свою пользу) архивы, кормят нас всех оттуда по чайной ложке и по своему выбору — создавая себе и научный, и финансовый капитал, а заодно манипулируя общественным сознанием. Вот, говорят, есть шесть тысяч неопубликованных ленинских документов. Так опубликуйте же немедленно, черт вас подери, — и будем все вместе разбираться. Нет, держат за пазухой, ограничиваются эмоциональной бранью.

В экономике. Верните, прежде всего, все приватизированное ранее, ибо эта приватизация в ситуации хаоса была открытым и наглым грабежом народа. И начните все сначала — начните открытую, честную приватизацию — под контролем общественности, народа, под контролем всевозможных общественных комитетов, советов, союзов, объединений, профессиональных союзов, политических партий и т.д. Да, конечно, и в этом случае без прохин-

действа не обойдется. Прав Г. Э. Бурбулис, заявивший, что полной «стерильности» в процессе приватизации мы не добьемся, и потому при обнаружении фактов нестерильности не следует-де слишком уж паниковать. Это так. Мне не хотелось бы только, уважаемый Геннадий Эдуардович, чтобы эта Ваша в целом верная формула использовалась исполнителями как индульгенция на отпущение всех «не-стерильных» грехов. Мне хотелось бы, чтобы **каждый** выявленный факт «не-стерильности» был бы объектом общественного возмущения, а не философско-меланхолической констатации: «Ну, а что же вы хотите в этих-то условиях?..»

В политике. Нужны новые выборы, немедленные. Нужен парламент, выбранный на **многопартийной основе, сегодняшними людьми** (т.е. живущими не в СССР, а в России, продумавшими уроки августа 91 года и первых шагов реформы). Нужны не назначение, а выборы местной администрации, нужны выборы местных органов власти. Конец этого года — подходящее время для подобной избирательной кампании.

Нужен новый тур битвы с привилегиями, масштабы которых уже значительно превосходят то, что имела брежневская номенклатура. Что-то перестали слышать Ваш голос, уважаемая Элла Памфилова. Начните новую кампанию. Народ вас поддержит.

Найдите способ оградить печать от экономического террора и новой ждановщины. Помогите политическим партиям — государственной финансовой поддержкой (иначе деятельность большинства из них будет продолжать, контролироваться мощными мафиозно-финансовыми группами), выделением помещений для их деятельности. Сколько прочувствованных слов было сказано о необходимости вернуть средства КПСС, принадлежавшие ей здания, санатории, больницы, **народу.** Этим **народом** оказались чиновники московской мэрии, правительственного и депутатского корпуса, а главным «народником» оказался Руслан Имранович, получивший чудненькую квартирку бывшего генсека «преступной организации».

Так вот, исполните свое обещание: верните **всё** имущество КПСС народу, и некоторые из ее помещений — политическим партиям, общественным организациям, этим «народом» создаваемым. Способствуйте становлению подлинной многопартийности.

И последнее. Что делать — демократическим, гуманистическим силам: достаточно ли у них возможностей, чтобы отвести Беду. Достаточно ли — не знаю, пока инициатива у тоталитарных политиков и организаций — выше их сплоченность, тверже их поступь. Я лично не знаю ни одной партии, ни одного движения, которое было бы сегодня способно привлечь к себе, объединить вокруг себя весь демократический (без кавычек) и гуманистический потенциал нашего общества, или хотя бы его значительную часть. Процесс, по-видимому, пойдет не через укрепление и расширение существующих ныне партий, а через всеобщую и генеральную перетасовку существующих ныне политических сил. Хорошо бы, если бы он так пошел — во всяком случае предпосылки для этого уже имеются. Это размежевание идет (и хорошо бы его ускорить!).

Во всех трех основных течениях — «патриотическом», «коммунистическом», «демократическом» — в каждом из них есть своя тоталитарно-бюрократическая и народно-демократическая часть.

«Патриотов», известных мелким и крупным жульничеством на государственных дачах, богатеющих продажей за рубеж — дальний и ближний — алюминиевых труб, вооружения, цветных металлов и прочего стратегического сырья, «патриотов» черных и коричневых рубах исторгнут из своей среды патриоты, которых действительно заботит нынешняя униженность, растоптанность России, волнует сохранение и умножение ее культурных и исторических ценностей. Раскол нетрудно предсказать: патриоты-демократы не смогут быть рядом с «патриотами»-антисемитами, «патриотами»-империалистами.

Сторонники демократически-социалистической идеи все яснее осознают свою несовместимость со сталинизмом, с казарменно-коммунистической политикой.

И в «демократическом» лагере зреет громкий и публичный раскол деммаккартистов, демтоталитаристов с либерально-демократическими и народно-демократическими силами. Последние уже находят пути друг к другу поверх партийных границ, поверх голов лидеров.

Сложится такой альянс всех народно-демократических сил — тогда и появится шанс на то, что свободная Россия не останется только названием одной из площадей столицы.

Подоспеет ли третий вал демократии?

Когда я читаю, как некий господинчик, занимающий пост советника Президента, изрядно подгуляв, топает ногами и грозится «сгноить на ковре» чем-то не угодивший ему экипаж самолета, «размазать букашек по перрону», я не удивляюсь. Эти господа правили нами до 1985 года и после, до августовского путча, и вот теперь. Разве что без партбилетов и звезд Героев. Спрашивается, стоило ли семь лет столько огородов городить, чтобы поменять номенклатурное «шило» на номенклатурное «мыло».

Стоило. Хотя бы для того, чтобы все могли явственно увидеть подлинные, глубинные истоки наших бед: они не в личностях (Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин), которых будто бы «стоит только поменять», и не в идеологиях («коммунистической», «либеральной», «демократической», «патриотической»). Они в устойчивой, сохраняющейся при всех лидерах и идеологиях, системе абсолютного господства неподконтрольного народу чиновничества. Всего и разницы: власть партийно-государственной номенклатуры сменилась властью «приватизационно-демократической» номенклатуры, властью «новократии». Мы говорим «власть», а не «правительство», ибо это не одно и то же. Правительство еще держится — правда, из последних» сил и со срывами в общедемократических рамках, но, кажется, его возможности «держаться» близки к нулевой отметке.

Однако не следует впадать в отчаяние. Худо-бедно, но тюремно-тупиковые стены партийно-монополистического тоталитаризма все же разрушены. Хотя, по известному афоризму Ежи Леца, пробив стены одной «камеры», мы очутились в другой, новая все же чуть ближе к выходу, чуть больше возможностей пробиться из нее на свободу. Демократический Сизиф, хотим мы этого или нет, вновь и вновь будет стремиться вкатить камень демократии на вершину горы, и не исключено, что, сделав выводы из уроков истории, этот Сизиф (в отличие от легендарного) добьется желаемого. Важно, повторю, понять необходимость формирования новых политических сил, способных решать новые исторические задачи. Старые — уже не способны это сделать. Давно сошла на нет первая (реформаторско-коммунистическая, горбачевская) волна. Близок к исчерпанию потенциал второй: романтики межрегиональной группы, демплатформы, ранней ДемРоссии или отодвинуты «новократией» на обочину, или, превратившись в прагматиков, сами с ба-а-льшим удобством расположились на ступеньках властной пирамиды, — так что уже не различишь, кто там на парламентской вершине: то ли «партократ» Лукьянов, то ли «демократ» Хасбулатов.

Подъем новой демократической волны постепенно, но неотвратимо вызревает во всех разветвлениях современного политического спектра России. Новые демократы придут и из «патриотического» движения, отмежевавшись от «патриотов» — империалистов, «патриотов» — великодержавников, и из социалистической части спектра через отделение демократических социалистов от неокоммунистов казарменного сталинистского закала, и из нынешнего «демократического» пространства — через разрыв широких демократических партийных масс с обюрокрачивающимся руководством большинства «демократических» партий.

Чем раньше, чем выше поднимется эта волна, тем скорее мы поймем, что сегодняшняя борьба-грызня там, на самом верху, у подножия президентского трона, — это вовсе не борьба политических течений, партий, социальных групп. Это борьба политических элит — фракций внутри нового господствующего чиновничьего сословия за право командовать этим сословием, а через него и всем обществом. Конечно, там есть и люди достаточно интеллигентные, и, стало быть, порядочные, которых трудно заподозрить в эгоистически-групповых устремлениях. Но дело не в субъективных намерениях лидеров, а в объективной логике их действий, решающим образом определяемой давлением чиновно-бюрократических групп, их окружающих.

Не впутываться в их игру — пусть сами осуществляют разборки внутри своего новократического сословия. Пусть они играют в эти свои игры, но без нас, — таково крепнущее настроение новодемократического сознания.

И вторая угроза демократии — так называемая лево-правая оппозиция, — то же чиновное сословие, только из прошлого, с идеями и взглядами сталинско-брежневской эпохи, коктейль из белых, кроваво-красных и коричневых цветов. Успеем ли нейтрализовать эти угрозы? Подоспеет ли третий вал демократии?

Разборки августовских победителей; контуры нового строя (1993–1994)

Новый строй (монолог в форме диалога Ю. Буртина и Г. Водолазова)

Родила царица в ночь не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку.
А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане»

Множество фактов указывают на то, что в итоге горбачевской перестройки и почти трех послеавгустовских лет в России в основных чертах уже сформировался новый общественный строй. Достаточно далеко стоящий от «реального социализма», которому он пришел на смену, этот новый строй в то же время имеет весьма мало общего и с тем, что не раз провозглашалось у нас в качестве цели «политики реформ»: развитое гражданское общество, высокоразвитая рыночная экономика, демократическое правовое государство. Ни по одному из перечисленных параметров наш новый строй даже отдаленно не приближается к указанному образцу. Тем не менее он существует, приобрел известную внутреннюю законченность, а потому в полной мере заслуживает серьезного анализа.

Предлагаемая нами публикация — монолог в форме диалога, одна из первых попыток такого анализа, удобный повод для которого дает последняя масштабная акция российских властей — «Договор об общественном согласии».

Юрий Буртин. Мне кажется, в своих комментариях к «Договору об общественном согласии» наша пресса пока не нашла нужного тона. Она либо агитирует за подписание договора (чаще всего несколько смущенно, с оговорками насчет его очевидных несовершенств), либо его критикует. Но поскольку критиковать его слишком просто, то преобладает не развернутый критический анализ, а пожатие плечами, ироническое замечание, сожалеющая усмешка. Ни то, ни другое, по-моему не подходит. Агитация — в силу своей заведомой неубедительности, критика — по той причине, что критики договора, как правило, упускают из виду реальное значение этой акции наших властей. Между тем она очень значима — только в каком смысле? Не как нечто способное сколько-нибудь существенно повлиять на ход событий, но как симптом очень серьезных общественных перемен.

Григорий Водолазов. Присоединяясь к мнению о значимости документа, я, однако, хотел бы для начала обратить внимание не некоторые любопытные противоречия и парадоксы, сопровождавшие его подписание.

Парадокс первый. Смотрите, с каким размахом проводится акция. Залитый огнями Георгиевский зал... Масса людей за бесконечными парадными столами. Почти левитановский голос диктора, перечисляющий высокие договаривающиеся стороны. Три речи президента, объединенные идеей согласия: одна — на совместном заседании палат федерального собрания и две здесь, на самой церемонии подписания договора. Притом какие интонации! «Сегодня в Георгиевском зале происходит событие исторического значения...

почти восемь десятилетий назад нашу страну постигла страшная трагедия. Россия была ввергнута в бездну гражданской войны… Кровавая межа разделила людей на белых и красных… Проклятье той войны с тех пор висит над Россией… Надо прервать кровавую череду подобных событий. Это не было сделано нашими дедами и отцами. Это обязаны сделать мы. Обязаны… отвести от России тень гражданской войны, которая лежит на ней все эти годы. Нужно перевернуть трагическую страницу истории и поставить последнюю точку в гражданском противостоянии». Вот как!

Юрий Буртин. Кстати, не кажется ли вам, что такая несколько экзальтированная концепция нашей истории имеет весьма мало общего с реальностью? Верно, что гражданская война была трагедией нашего народа, но неужели мы только сейчас собрались перевернуть эту трагическую страницу, а до сих пор пребывали в состоянии перманентной внутренней вражды? Ведь после гражданской была и Отечественная и несколько других периодов, очень разных по своему историческому содержанию. Неужели же, как подчеркивает президент, «все это время не было примирения»? Да скорее напротив: у нас слишком мало было живой, плодотворной борьбы общественных сил, без которой общество не может нормально развиваться. А когда в 60-е годы все же возникла демократическая оппозиция, тоталитарное государство сделало все возможное, что ее заглушить.

Григорий Водолазов. Да, и уж если говорить об общественном противоборстве, то не о белых и красных, а о той особого рода, скрытой, по большей части бескровной войне, которую десятилетиями вела против народа сталинская, затем брежневская бюрократия. Но это совсем не такая война, по отношению к которой подходят призывы к всепрощению и всеобщему согласию.

Так вот, повторяю, первый парадокс: договор, представленный с такой помпой, с такими притязаниями на историческое значение, оказывается подписан только одной стороной. Условно говоря, нынешние «белые» его подписывают, а нынешние «красные» (коммунисты, «аграрии», большинство «патриотов» за вычетом Жириновского) — нет. Потрачено столько усилий, а в результате получается нечто вроде договора Бориса Николаевича с самим собой.

Парадокс второй. «Договор об *общественном* согласии». На церемонии его подписания президент объявляет — ни много ни мало — о подведении черты под целой эпохой гражданской войны. Как же реагирует общество? Ликует, как 9 Мая? Со слезами на глазах благодарит Бориса Николаевича, Владимира Филипповича, Ивана Петровича и других своих миротворцев? Нет, все тихо. Почти по Пушкину: народ безмолвствует. Население и глазом не повело в сторону этого договора, а свое отношение к его инициаторам и «подписантам» выразило (вскоре после того, как президент огласил свою миротворческую идею) небывало дружным неприходом на выборы в местные органы власти. Как бы говоря: да ну вас к дьяволу со всеми вашими мордобитиями и примирениями, оставьте нас в покое!

Юрий Буртин. Я тут недавно прочел в «Известиях» (за 11 мая) любопытную интерпретацию результатов этих выборов. Дескать, поскольку «народ

уходит из политики», «президент вынужден все больше опираться на политическую и государственную номенклатуру». Мне кажется, зависимость прямо противоположна: народ именно потому и «уходит из политики», что это чужая ему политика, что президент предпочитает опираться на номенклатуру. Так что неприход на выборы — это в наших условиях скорее доказательство политической активности людей, лишенных иной возможности повлиять на их результаты и не желающих быть пешками в чужой игре.

Григорий Водолазов. Парадокс третий. С верхних этажей власти звучат взволнованные речи о недопущении гражданской войны, страстные призывы к миру... Ну, было бы понятно, если бы они звучали в те, например, моменты, когда Руцкой звал на штурм Кремля, а Грачев выводил танки на мост перед Белым домом. Или когда Верховный Совет бросался на президента с импичментом наперевес, а тот грозил ввести какой-то «особый порядок управления». Или когда высокие руководители швыряли друг в друга чемоданы с «компроматом». А то ведь в правительстве ныне стабилизация «по Черномырдину» (ну постучит он иной раз кулаком по столу по тому поводу что министры опаздывают на заседание, но это не бог весть какой серьезный конфликт). И в парламенте идет в общем-то нормальная работа, пусть и не слишком плодотворная (за исключением быстрых и конструктивных решений по вопросам обустройства самих депутатов). Правда, случаются истерические всполохи в иных выступлениях, есть и факты битья депутатских физиономий. Но, во-первых, это чаще происходит в кулуарах, а во-вторых, подобные завихрения образуются в основном вокруг одного знаменитого депутата, который то кого-нибудь бьет, то сам бывает кем-нибудь поколочен...И всевозможные митинги — демонстрации проходят нынче без прежней воинственности.

И вот в этих-то условиях, как гром среди ясного неба: покончим с гражданской войной! Ясно, что тут что-то не то, что под этим кроется нечто отличное от объявленного вслух. Все эти странности — как компасная стрелка под большим месторождением: она мечется, бесится, показывает — тут что-то зарыто...

Юрий Буртин. Итак, поговорим прежде всего о том, симптомом каких социально-исторических обстоятельств является документ, торжественно-скучно (если не считать последовавшего за сим банкета) подписанный 28 апреля 1994 года в Кремле.

Манифест номенклатурной демократии

Григорий Водолазов. Договор называется «Об общественном согласии» (в проекте еще более выразительно: «О достижении гражданского согласия в России»). Но если вчитаться в текст договора, если вспомнить, как и где шло его обсуждение, кто участвовал в подписании, — сразу станет ясно, что речь тут идет совсем не о согласии внутри общества, не о согласии общественных слоев, граждан России. Речь идет, как справедливо отметил при подписании договора г-н Шумейко, о «согласии политиков, государственных и общест-

венных деятелей», то есть о согласии различных представителей и разных частей нашей «политической элиты». Правда, оратор «надеется», что документ этот явится договором и «для всего народа». Но об основаниях для такой надежды спикер верхней палаты умалчивает. И понятно — почему: из текста договора она не вычитывается.

Могут сказать: а не казуистика ли — подобные рассуждения? Ну да, договор подписали политики. А что, надо было сто миллионов россиян пригласить в Георгиевский зал или разослать подписные листы по всем городам и весям? Разве партия не есть политическая форма, рожденная для выражения интересов граждан, социальных слоев? Разве депутатские фракции — это какие-то группки самозванцев? Ведь они избраны гражданами России и, следовательно, являются их полномочными представителями, разве не так?

Может быть, где-то партии и фракции и являются полномочными представителями народа, только не у нас. Давайте вспомним, что собой представляют наши партии. Их программы напрочь неизвестны абсолютному большинству россиян: опросы, проводившиеся в течение 1993 года, показывали, что лишь около 10 процентов избирателей имели представление (да и то, как правило, смутное) о целях этих партии среди населения, об их крупных общественных инициативах? Опять-таки нет. Обычно нынешняя российская партия — это один или несколько «лидеров» и примкнувшие к ним малоизвестные широкой публике функционеры. Что такое, например, партия ПРЕС? Это — Шахрай и Шохин. ЛДПР — это Жириновский. НПСР — Руцкой. ДПР — Травкин. «Выбор России» — Гайдар и еще три-четыре человека.

А как создавались наши партии? Большинство их отнюдь не вырастало из глубин общества, из интересов социальных групп, из их самоорганизации. Собиралось несколько человек в каком-нибудь высоком кабинете, а потом оттуда шли организационные команды по телефонам и факсам. Последний, прямо-таки классический пример — создание партии Шахрая. Незадолго до выборов за неделю-другую сварганили партийку. Таких кабинетно-чиновничьих партий, если располагать государственными возможностями, можно в короткие сроки напечь сколько угодно.

Ну а затем эти небольшие группы, назвавшие себя партиями, с благословения президента «организовали» такое положение о выборах, по которому за ними бронировалось 50 процентов мест в Государственной Думе (по так называемым партийным спискам). Многие газеты тогда писали: что вы делаете? Одумайтесь, господа, не издевайтесь так неприкрыто над демократией! Ну, оставьте своим микропартиям 10–15% мест — тоже много, но ладно, пусть это послужит стимулом для формирования у нас нормальной многопартийности. Нет, настояли на 50%, да и остальные 50 взяли под свой жесткий организационный и финансовый контроль.

Юрий Буртин. Между прочим, теперь уже ясно, что присутствие партий в Думе не прибавило им авторитета в обществе, хотя, возможно, и вовлекло в них некоторое число новых карьеристов. Так что аргумент насчет стимулирования многопартийности оказался битым.

Григорий Водолазов. О чем же свидетельствовали выборы? Половина избирателей голосовать просто не пришла и, следовательно, никаких своих представителей в парламенте не имеет. А те, кто пришел, избрали лишь «вождей» — десять, ну, двадцать человек. Остальные, означенные в партийных списках, были простым приложением к вождям. Избрали, например, Жириновского, Травкина, Шахрая, которые прихватили с собой по несколько десятков человек из своих команд. Строго говоря, этих последних никто не избирал, и что они собой представляют, никто толком не знает. Какие же они после этого «полномочные представители народа»? Они, по сути, назначены депутатами своим вождем. Так что это самая настоящая номенклатура, то есть не избираемая, а назначаемая сверху элита. И, значит, Жириновский имел все основания настаивать на своем праве лишать депутатских мандатов «зафинтивших» членов своей фракции, их никто не избирал, это *его* избирали: а он их назначил, потому может и «снять».

Я уж не хочу углубляться ни в номенклатурное прошлое большинства нынешних «сенаторов» и депутатов, ни в разговор о том, сколь близки все эти «полномочные» к тем, кого они якобы представляют по уровню своего бытия. Приведу лишь свидетельство человека, хорошо знающего жизнь верхних эшелонов власти. «В условиях сверхнапряженного положения с финансами, — заметил президент в речи 24 февраля, — федеральные власти с удивительной легкостью расходуют колоссальные суммы на свое обустройство». И далее — чрезвычайной важности вывод, под каждым словом которого я готов поставить и свою подпись: «Все это свидетельствует о том, что появилось и углубляется новое отчуждние власти от людей, от их повседневных нужд».

Парадокс, однако, состоит в том, что именно к ним, к этим различным фракциям и ветвям отчужденной от людей власти, и обращается президент с призывом о сплочении, о сотрудничестве, о партнерстве. Представляете, что будет с отчуждением в обществе, если все эти фракции и ветви еще и «сплотятся» между собой?

Короче говоря, и в выступлениях президента, и в договоре речь идет не об «общественном», не о «гражданском», а о *номенклатурном* согласии. Поэтому правильным названием документа было бы: «Договор о согласии российской номенклатуры». Поскольку согласиться ей предлагается с необходимостью перехода от конфронтации к цивилизованным формам отношений — ко взаимной терпимости, политическому диалогу, неукоснительному следованию правовым, конституционным нормам, призыв этот носит вполне демократический характер, а документ, в котором он провозглашен, есть, безусловно, документ демократии. Но какой? Как ясно из вышесказанного, это не та демократия, благами которой в равной мере пользуются все слои общества, а *демократия для элиты, для номенклатуры,* т.е. ***номенклатурная демократия***.

Юрий Буртин. Эта констатация кажется мне весьма важной, а термин «номенклатурная демократия» — достойным войти в современный политический словарь. Очень жаль, что этого понятия до сих пор не было в нашем

обиходе. Будь мы раньше им вооружены, научись отличать номенклатурную демократию от подлинной, а режим номенклатурной демократии — от действительно демократического строя, наша страна, может быть, избежала бы многих бед. Тогда мы, возможно, не допустили бы той почти поголовной нравственной порчи, которая, как проказа, изъела души политиков посткоммунистического периода. Тогда благородные слова «демократия», «демократ» не оказались бы скомпрометированы, низведены, как сейчас, чуть ли не до уровня бранной клички. Тогда и реформы, скорее всего, пошли бы у нас по-другому, и результат их был бы совершенно иной...

Увы, это столь необходимое разграничение приходит к нам слишком поздно, когда мы уже нахлебались досыта прелестей номенклатурной демократии, своекорыстной и лживой, бездарной и беспомощной во всем, что выходит за рамки интересов самой номенклатуры, да и то лишь ближайших, без всякого загляда вперед. Но лучше поздно, чем никогда.

Мировая история знала немало таких общественных устройств, где демократия существовала лишь для части общества, в то время, как другая его часть была из нее либо полностью исключена (как это было в античных рабовладельческих республиках), либо имела гражданские права в той или иной мере номинально, формально, без серьезных шансов ими воспользоваться, без возможности оказать сколько-нибудь заметное влияние на формирование органов власти и их политику. Классические примеры такой демократии, реальной для господствующих классов и формальной для социальных низов можно в изобилии почерпнуть из европейской истории XIX века. Маркс и его единомышленники были совершенно правы, когда наделяли ее ограничительным эпитетом «буржуазная». Неправота же их (резко возросшая у Ленина и его последователей) заключалась в том, что они не видели, не хотели видеть, как уже в XIX, а особенно в XX веке, и чем дальше, тем больше, европейская демократия претерпевала глубокие изменения. Из более или менее формальной для большинства населения она превращается в реальную, из классовой — во всеобщую. И хотя процесс этот нельзя считать полностью завершенным и у современной западной демократии есть свои противоречия, именовать ее «буржуазной» нынче уже решительно невозможно. Тем самым впервые в мировой истории и теперь уже, казалось, окончательно демократия как могучий двигатель прогресса и одна из главных универсалий человеческого общежития вступила в качественно новую эпоху своего исторического бытия.

Однако если современной общечеловеческой нормой стала демократия без сужающего социального определения, демократия действительно всех и для всех, то что в таком случае означает появление на политической карте мира нашей нынешней номенклатурной демократии? Эта новая форма демократии классовой, сословной представляет собой на пороге XXI века странный исторический анахронизм. Это вчерашний день, это шаг назад или в лучшем случае куда-то вбок, но никак не вперед, к нормально устроенному гражданскому обществу.

Но я, кажется, прервал нить вашего рассуждения.

Григорий Водолазов. Я хотел бы добавить несколько слов об объективном смысле той политической стратегии, которая предлагается в договоре, оценить ее в историческом контексте.

В своей речи 24 февраля президент (Б.Н. Ельцин) так определил суть происходящего: «Период тотальных разрушительных процессов прежней системы завершается». Я думаю, это верно, дело, действительно, идет о начале нового этапа. Но подлинный, глубинный смысл совершающихся перемен я вижу не в переходе от стратегии конфронтации к стратегии согласия, от гражданского раскола (а то и войны) к гражданскому миру и тем более не в переходе от тоталитарного номенклатурного режима к демократии. *Завершается (сопровождаясь частичной сменой кадров) трансформация старой, властвовавшей до 1985 года политической элиты в новую политическую элиту, опирающуюся на новые механизмы господства.* Общество не стало демократическим, народ, как и прежде, отстранен от собственности, от рычагов власти и управления — здесь существенных изменений не произошло. Обновилась элита, сменились формы ее правления.

Прежняя элита была однопартийной, моноидеологической, тоталитарной. Нынешняя — плюралистична и многопартийна. Последние годы внутри нее шел поиск наиболее адекватной времени и интересам системы взаимоотношений различных ее частей. В духе старого менталитета был испробован режим конфронтации. Наиболее дальновидные пришли к выводу, что он губителен для всех частей элиты. Ее общие интересы требуют цивилизованных, согласительных, демократических способов взаимоотношений.

Иначе говоря, с политической точки зрения, мы имеем дело с переходом от режима номенклатурного тоталитаризма (жесткого в эпоху Сталина, ослабленного — при Брежневе) к **номенклатурной демократии**.

К новому застою!

Юрий Буртин. «Договор об общественном согласии» носит ярко выраженный программный характер. Программа, которая в нем изложена, в очень большой степени *новая*.

До сих пор все программные документы суверенного российского государства заключали в себе идею экономических и политических реформ. «Курс реформ» был чем-то вроде имени нашей государственной политики. Правда, с течением времени разговоры о реформах становились все менее содержательными и конкретными, а само слово «реформа», как заметил недавно один журналист, «стерлось до состояния монеты, утратившей номинал». Но все же оно еще продолжало держаться в официальном обиходе. И вот перед нами программная декларация, где установка на реформы, пожалуй, впервые отброшена. Тщательно вытравлено и само это слово, употребленное лишь однажды, в контексте обещания «осуществлять реформы на селе (какие — не сказано. — *Ю.Б.*) преимущественно на основе экономических методов, максимально исключая административные меры», проще говоря, не трогать кол-

хозы-совхозы, заповедные владения наших советских помещиков. Поскольку текст договора готовился очень основательно, был предметом долгих утрясок и согласований, предположить, что «курс реформ» выпал отсюда по какой-то случайной оплошности, разумеется, невозможно. Нет, отказ от него — это политика, новая, сегодняшняя политика российского руководства.

Что же взамен? На какой идейной основе предлагается строить согласие сторон? Документ отвечает на этот вопрос достаточно четко: вместо реформ, во главу угла теперь выдвигается нечто прямо противоположное — лозунг «стабилизации социально-экономической ситуации». «Участники Договора, — говорится здесь, — обязуются принимать все необходимые меры для обеспечения стабильности в стране...»

Итак, от реформ к стабилизации — вот такая смена вех заложена в договор о согласии, таково «последнее слово» идеологии и политики российских властей. И, словно для того, чтобы ни у кого не осталось на сей счет никаких сомнений, заместитель министра экономики РФ Сергей Васильев как раз в момент подписания документа заявляет: «в основных чертах реформы закончены. Сейчас главное — не менять правила игры, поскольку стабильность важнее перемен» (Реформы кончились? Забудьте. — «Московские новости», 1994, 24 апреля — 1 мая). Таким образом, перед нами программа сохранения нынешнего порядка вещей, программа поддержания статус-кво. «Остановись, мгновение, ты прекрасно!». Вот что выдвигается в качестве основы согласия политических «элит», и если представители многих из них как бы то ни было подписали договор, то, значит, им такая программа по душе.

О чем говорит смена ориентиров правительственной политики? Очевидно, о том, что, по мнению российского руководства, задачи «курса реформ» выполнены. Тот же Сергей Васильев именно так и понимает дело. Его аргументы? «Приватизация состоялась... То же с либерализацией цен: практически все они отпущены на свободу... Валюта в стране конвертируемая... Субсидируемый импорт ликвидирован. То есть экономика России по существу стала открытой». «Что же бывает после того, как реформы закончены?» — интересуется корреспондент. — «Нормальная жизнь», — отвечает заместитель министра.

В данном случае несущественно, какое содержание вкладывает правительственный чиновник в понятие реформ, — важно, что это понимание соответствует официальным взглядам. И вот, согласно этим взглядам, реформы закончены, потому что цель их в основном достигнута. Но если это так, то нельзя не согласиться с тем, что документ, оформляющий переход от «курса реформ» к политике «стабилизации», знаменует собой весьма важный исторический рубеж. Он в самом деле подводит черту. Правда, не под периодом многодесятилетней гражданской войны, как пригрезилось президенту, но под тем, что у нас в последнее время часто называли «переходным периодом», имея в виду переход от «реального социализма» к новому экономическому и политическому устройству. Если реформы состоялись и наступает «нормальная жизнь», значит, переход этот совершился, и мы уже на другом берегу.

Итак, констатируем факт, сегодня мы уже живем при новом не только политическом, но и экономическом строе. Я думаю, для данного утверждения у нас не меньше оснований, чем у русских марксистов конца прошлого века, которые на вопрос, пойдет ли наша страна по капиталистическому пути, отвечали, что вопрос запоздал, ибо капитализм в Россию уже пришел. По аналогии с вашей «номенклатурной демократией» я называю этот экономический строй **«номенклатурным капитализмом».**

Григорий Водолазов. Стоило бы сказать о нем чуть подробнее.

Юрий Буртин. Мы имеем дело с результатом перестройки (очень точное оказалось слово!) нашего прежнего общественного устройства. Система, при которой мы прожили большую часть своей жизни, была не сломана, а перестроена, она сохранилась, только как бы перевернулась на другой бок. При этом в ней многое сместилось, кое-что (устаревшее и маловажное для нее самой) с нее осыпалось. Во-первых (и раньше всего) отлетела, как пустая шелуха, старая, официальная идеология, в которой правящий слой уже не испытывал большой нужды. Во-вторых, рассыпалась тоталитарная политическая система — с КПСС и Советами, Госпланом и Госснабом, КГБ и цензурой. В-третьих, совершился переход к рынку. В-четвертых, произошла децентрализация государственной собственности и раздача ее в персональное владение тем, кто прежде лишь управлял ею в качестве государственных служащих. В результате на базе директорского корпуса и местной администрации у нас сформировалось чрезвычайно оригинальное явление — класс индивидуальных владельцев объектов госсобственности.

Нынешний строй заключает в себе весьма многое от «нормального» капитализма, в том числе свободный рынок (хотя и на монопольной основе), хозяйственную деятельность исключительно с целью извлечения прибыли, постепенно расширяющийся сектор частной собственности на средства производства, землю, недвижимость и прочее. Вместе с тем это принципиально иной строй, прямое продолжение нашего доперестроечного строя.

Начать с того, что все рычаги государственного управления, как в центре, так и, в особенности, на местах, остались в руках прежнего «аппарата», лишь слегка разбавленного новыми людьми (впрочем, быстро уподобившимися старым). И даже наш частный бизнес имеет сугубо аппаратную природу. Вот вполне типичный пример, относящийся к Липецкой области: «Бывший первый секретарь обкома Виктор Донских — генеральный директор акционерного общества. Бывший первый секретарь горкома Евгений Васильчиков — заместитель председателя правления акционерного банка. Бывший управляющий делами обкома Анатолий Негробов — совладелец частной фирмы. Бывший первый секретарь Задонского района Николай Наумов — генеральный директор товарно-сырьевой биржи...Впрочем, движением из агитпропа в бизнес ныне никого не удивишь» (В.Выжутович. «Партия начальства». — «Известия», 1994, 12 марта). А самое главное, осталась в сути своей неизменной основа общественных отношений «реального социализма» — система эксплуатации большинства населения правящим бюрократическим

слоем, только к прежнему — коллективному, корпоративному — способу такой эксплуатации прибавились новые, свобода же пользования ими стала почти безграничной.

Это общество, где средства производства, даже если они «приватизированы», по-прежнему лишены заботливого и инициативного хозяина; где не поощряется трудолюбие и бережливость; где царят казнокрадство и коррупция; где безраздельно властвует чиновник, а рядовой человек перед ним по-прежнему абсолютно бесправен. Как и то, что было раньше, это принципиально застойная структура, лишенная всяких ресурсов саморазвития. Спокойно, эволюционным путем перерасти в нормальное современное постиндустриальное общество она не в состоянии, в то же время в мягкую, «бархатную» революцию, наподобие той, что прокатилась по странам Центральной Европы, наш послеавгустовский режим сумел успешно предотвратить.

И вот этот-то новый строй и новую несправедливость нам предлагают рассматривать как «нормальную жизнь»! Этот-то ублюдочный псевдокапитализм, результат ограниченных, половинчатых реформ, проведенных за счет народа в пользу «обновленной» и «демократизировавшейся» комноменклатуры, пытаются «стабилизировать» и освятить с помощью «Договора об общественном согласии»! Спасибо, господа хорошие, вы славно все придумали.

Страх

Григорий Водолазов. Итак, номенклатурный капитализм (в экономическом плане) и номенклатурная демократия (в политическом плане) — вот та новая действительность, которая нашла свое отражение в рассматриваемом нами документе. Но все же, это непосредственно заставило наших руководителей прибегнуть к такой несколько странной, пожарной мере — при отсутствии, слава богу, самого пожара?

Юрий Буртин. Я думаю, главная причина тому — страх. Страх в связке с назревающим конфликтом между властью и обществом.

Вы правы, сегодня вроде бы нет оснований как-то особенно волноваться по поводу мира и спокойствия в нашем государственном доме, — отчего вся эта затея кажется многим надуманной, праздной. Нет сколько-нибудь значимых конфликтов ни между ветвями власти, ни между регионами и центром, ни между фракциями в Думе. Даже записная «непримиримая оппозиция» типа «Трудовой Москвы» или Фронта национального спасения (штурмовые отряды наиболее реакционной части той же партноменклатуры), помня октябрьский урок, ведет себя гораздо скромнее, чем раньше. Затишье, политический штиль…

Однако наша власть — как тот хороший хозяин, что готовит сани летом, а телегу зимой. Да, сегодня нужды в подобном договоре, кажется, нет. Но завтра? Достаточно поставить вопрос таким образом, чтобы президентская инициатива перестала казаться зряшной. Современные тенденции таковы, что не оставляют места сомнениям: уровень общественного недовольства будет в ближайшее время неуклонно и, может быть, быстро нарастать. Осо-

бенно сильное непосредственное влияние на него будут оказывать, вероятно, три фактора.

Первый — невыплаты заработной платы, широко применяемые нынче правительством (правда, с исключением для себя и других хороших людей) в качестве способа уменьшения дефицита бюджета и сдерживания инфляции. Второй — сама инфляция. Третий — растущий вал безработицы в результате массовых остановок производства.

Инфляция, безработица, кризис сбыта — типичные болезни капиталистической экономики. Неизвестные «плановому хозяйству», они самим фактом своего появления в нашем хозяйственном организме свидетельствуют о его капиталистической природе. Но если нормальный современный капитализм успешно лечит их движением (ускорением и обогащением капиталистического роста), то у застойной экономики номенклатурного капитализма от этих болезней нет лекарств. И вопреки казенному оптимизму правительственных чиновников пресса полнится по этому поводу самими тревожными размышлениями и прогнозами.

Вот пара выдержек из газеты, вполне лояльной по отношению к президенту и правительству.

«От директоров часто можно слышать, что... мол, пройдут каким-то чудом неплатежи — и жить можно. Но чуда-то как раз и не произойдет... А решать проблему еще раз методами 1992 года, т.е. кредитной накачкой, означало бы получить инфляцию уже не 15–20 процентов, как прежде, а все 40» (реформа сверху в России не проводится, утверждает Александр Лившиц, руководитель группы экспертов президента РФ. — «Известия», 1994, 20 апреля).

«Из 568 предприятий Санкт-Петербурга... не работают в эти дни 190... Не работают все крупные предприятия Омска... Такие «праздничные» сообщения пришли в эти дни практически из всех российских регионов... В эти дни мы почувствовали — масштабная безработица уже скоро, если не завтра» (там же, 6 мая).

К этим надвинувшимся опасностям, которые власть не в силах ни предотвратить, ни отклонить, нужно прибавить неизбежное повальное разочарование в результатах «приватизации». Я беру это слово в кавычки, потому что реальная приватизация — раздача госсобственности в «полное хозяйственное ведение» промышленной, аграрной и местной администрации — состоялась еще в 1988–1990 гг. Поскольку отбирать их у нее государство не собиралось, чековая приватизация 1992–1994 гг. была уже, так сказать, «второй приватизацией», предпринятой в основном затем, чтобы «прикрыть грех» первой, то есть хорошо организованным обманом зрения. Когда он развеется (а это должно произойти очень скоро) и подавляющее большинство населения увидит, что его обвели вокруг пальца, трудно предугадать те формы, в которые выльется его досада и раздражение.

Совокупное действие названных факторов, особенно если оно окажется синхронным, не только способно взорвать нынешнее относительное спокойствие, но и представляет серьезную угрозу для режима в целом.

И все это — на фоне того более общего, глубинного противоречия, которое вытекает из предложенных выше характеристик нашего экономического и политического строя. Противоречия между ожиданиями огромных человеческих масс, их надеждами на лучшую жизнь, которая после падения тоталитарного режима, казалось, обязательно должна была для них наступить (пусть ценой новых и более тяжких лишений), — и тем, к чему мы на деле пришли в итоге «перестройки» и «курса реформ». Осознание этого противоречия распространяется все шире, и чувства, им вызываемые, приобретают все большую остроту.

Вот достаточно характерное выражение современных настроений. Рабочий А.Корьюс из Коврова Владимирской области пишет в ту же отнюдь не оппозиционную газету: «Уверен: если побывать на любом предприятии и спросить, что дала людям приватизация, они расскажут то же, что и я. Приватизированные предприятия фактически перешли в личную собственность руководителей. Они правят бал, не считаясь ни с кем. Я работаю на заводе слесарем самого высокого разряда и получаю мизерную зарплату (60–80 тысяч). А работать приходится по 11 часов... Директор завода со своей элитой получают миллионы, отдыхают семьями исключительно на Канарских островах. А для рабочих денег нет! Новые хозяева собственности сплошь и рядом ведут себя так, будто бы все приобрели на свои собственные деньги».

Итог письма: «Мы не против реформ. Согласны даже жить хуже, если потребуется. Но бесправие, беззащитность, унижения терпеть не согласны. Не хотим быть на положении рабов. Многих это так оскорбляет, что они уже сейчас готовы идти громить новых «буржуев». Вот здесь и кроются корни социального взрыва — опять рабочим нечего терять!» («Известия», 1994, 20 апреля.)

«Договор об общественном согласии» — не что иное, как ответ властей на такие настроения (разумеется, с радостью и не без успеха используемые в своих целях коммунистической и нацистской реакцией, политическими спекулянтами типа Руцкого и Зюганова, Жириновского и Анпилова). Это попытка загодя поставить заслон на пути нарастающего недовольства масс, обессилить их протест, связать обязательством неучастия в нем хотя бы организованные политические силы. Отсюда — такая невыразительная деталь как обязательство профсоюзов «на время проведения мер по стабилизации экономики», то есть на неопределенное время, «не проводить и не участвовать в организации забастовок... в целях, не имеющих непосредственного отношения к вопросам заработной платы, условий труда, сохранения рабочих мест». Читай: не проводить забастовок с политическими и сколько-нибудь масштабными социальными требованиями.

Однако этот явно неадекватный ответ на вызов времени, свидетельствующий не столько о здравой предусмотрительности властей, сколько о том, что им нечего сказать обществу, нечего ему предложить. А значит, несмотря на все увеличивающееся количество подписей под договором о согласии, это не то количество, которое переходит в качество. И нет никаких оснований думать, что этот бумажный заслон может оказаться прочным.

Григорий Водолазов. К боязни будущего я бы добавил: и прошлого. Они там, наверху, решили, видите ли, примириться и отпустить грехи друг другу. Значит, и нам не следует ни помнить, ни знать, ни думать ни о чем, что предшествовало их нынешнему «согласию»: ни о перипетиях «перестройки», ни об августе 91-го, ни о сентябре—октябре 93-го, ни о том, на чем основывались прошлогодние взаимные обвинения в коррупции, ни о том, как в действительности прошло голосование 12 декабря 1993 г. Характерный симптом обустройства новой элиты, не раз повторявшийся на нашей памяти. Помните, как устраиваясь на вершинах власти, брежневская команда требовала: хватит ворошить прошлое и тем будоражить народ! Замолчим о преступлениях сталинщины, вычеркнем из истории неудобного Хрущева...

Научный анализ? Никакого анализа не нужно, все уже сказано, забудьте. После двух лет перестройки ту же песню затянул Егор Лигачев: хватит кликушествовать по поводу нашей истории, хватит ее оскорблять... Так и сегодня: с прошлым покончено, поэтому перестанем копаться в нем, колоть им друг другу глаза... Новая элита у власти, а потому в интересах «стабилизации» ее положения «перевернем страницу»—и концы в воду. Удивительно однотипное отношение к исторической правде и удивительная схожесть аргументов!

Юрий Буртин:

Забыть, забыть велят безмолвно,
Хотят в забвенье утопить.
Живую боль. И чтобы волны
Над ней сомкнулись. Быль—забыть!..
Забыть велят и просят лаской
Не помнить, память под печать,
Чтоб ненароком той оглаской
Непосвященных не смущать.

Плохи наши дела, если эти строки Твардовского, обращенные против «стабилизаторов» брежневского режима, вновь обретают актуальный политический смысл. Как и следующий за ними вывод:

Кто прячет прошлое ревниво,
Тот вряд ли с будущим в ладу.

Надежда

Григорий Водолазов. В призыве к «стабилизации» нельзя не увидеть стремление «обновленной» элиты удержать захваченное, достигнутое. И заметим: в то время как «разрешающие» положения договора общи и малосодержательны («изыскивать возможности», «принимать все меры» для преодоления кризиса науки, для воспитания молодежи, для поддержания здравоохранения и пр., «строго придерживаться», «стимулировать», «обеспечивать»...), «запретительные»—очень конкретны:

Нет—действительным реформам.

Нет—политическому противоборству. (Хотя политическая борьба в рамках закона и Конституции—не только не синоним гражданской войны, но, напротив, условие здорового, действительно демократического развития общества.)

Нет—досрочным выборам. (Хотя всем известно, что в демократическом обществе досрочные выборы ветвей власти—нормальное и эффективное средство разрешения тупиковых ситуаций в функционировании политической системы.)

Нет—поправкам к Конституции. (Хотя в периоды крутых социальных ломок,—а мы переживаем именно такой период,—законодательство обычно отстает от потребностей быстротекущей жизни. Как же можно лишать себя возможности восстанавливать это постоянно нарушающееся соответствие буквы закона логике жизни?)

Нет, как уже сказано, многим видам забастовок. (Хотя это чуть ли не единственное действенное средство, позволяющее отчужденному от власти народу мирным путем защищать свои интересы.)

Нет—идеологической борьбе в сфере исторического знания...

Собственно говоря, вся программа «стабилизации» и состоит из этих табу, из этих запретительных знаков. Застой в экономике предполагается таким образом, дополнить застоем в политической жизни.

Но такая программа менее всего способна реально стабилизировать обстановку. Наоборот, все эти «нет» так закупоривают, так стесняют нормальную жизнедеятельность общества, настолько лишают его механизмов разрешения накапливающихся противоречий, что в случае осуществления программы этих шести «нет» мы придем к прямо противоположному итогу: к тому, о чем говорит процитированный вами рабочий,—к взрыву огромной социальной силы.

Нам говорят: больше никаких существенных изменений, достаточно, пора остановиться. Однако с точки зрения нормальной, «низовой» демократии такой призыв более чем странен. Как это—никаких изменений? Во-первых, еще много чего «недоменяли», настоящие, подлинно демократические реформы ни в культуре, ни в экономике, ни в политике еще не осуществлены. Во-вторых, за последнее десятилетие много понаделано такого, чего никак нельзя закреплять и стабилизировать,—«прихватизацию», например, распад науки и культуры. Притом неплохо было бы немного «дестабилизировать»—в рамках закона, разумеется,—вольготно обустроившуюся старую и новую номенклатуру

Так что надежды наших «стабилизаторов» тщетны. «Низовая», общегражданская демократия, конечно, не сможет примириться со всеми этими незаконными запретами, противоречащими даже действующей Конституции, как ни мало она демократична. Широкие слои населения с возрастающей решительностью будут выступать против номенклатурной демократии и номенклатурного капитализма, против нового отчуждения. Их активность даст настоящую силу уже рожденным жизнью и новым союзам, движениям, ас-

социациям, способным действительно выражать их жизненные интересы. *Противоборство этих* ***двух демократий*** *(а не соперничество и сговоры различных элит) должно составить главное содержание предстоящего этапа общественного развития.*

Конечно, еще не все уложилось, не все состыковалось на вершине политического Олимпа. Да, там еще будут происходить различные мини-разборки, шум вокруг которых будет значительно превышать их реальную значимость. Еще будут какое-то время мутить там воду мелкие и крупные политические авантюристы. Если прогноз относительно нарастающего конфликта между властью и обществом подтвердится, то, несомненно, будет достаточно охотников вырядиться «друзьями народа» и, оседлав недовольство масс, въехать на нем в Кремль или, на худой конец, в Федеральное Собрание. Будут сталкиваться личные амбиции, будут топорщить усы и шевелить скулами разные самозваные кандидаты в бонапарты. Но уже сложившиеся мощные элиты — управленческие, предпринимательские, военные, профсоюзные, политические, региональные — властно укажут пределы, в которых этим честолюбцам будет дозволено заниматься своими политическими шалостями. Главная ось нынешней политики — номенклатурное согласие — определилась.

Кто-то еще из элитных групп не подписал договор. Со временем подпишут — не этот, так другой, подобный. По большей части, тут дело не в политических, а в личностных и узко групповых противоречиях. Общеноменклатурный интерес и основанная на нем политическая целесообразность заставят членов различных враждующих группировок перешагнуть через них. Нашли же, и довольно быстро, общий интерес те, кто защищал Белый дом в августе 91-го (Хасбулатов, Руцкой), и те, кто ему угрожал (Лукьянов и Макашов, к примеру); их всех теперь водой не разольешь. Я бы не преувеличивал и степень принципиально-политических различий многих из тех, кто находится сегодня в президентском окружении, тем более в правительстве, с вышеназванной четверкой и их друзьями.

Лидеры «оппозиции», среди которых Зорькин, Руцкой, Зюганов, Тулеев, Бабурин, Проханов, Говорухин, Ципко, не подписали договор, а приняли особое обращение, с концепцией своего варианта «общественного договора». Но основная идея ее та же, что и в договоре, подготовленном президентской командой. «У нас только один путь к спасению — очнуться, протянуть друг другу руки в прощении взаимных упреков и прегрешений, — говорится в этом обращении, опубликованном газетой «Завтра» (1994, №11). — В этом противостоянии не будет ни победителей, ни побежденных. Каждый новый конфликт увеличивает опасность гибели России. Безумию слов и дел мы противопоставляем уважение к закону, созидание во имя Родины». Здесь все, как в том договоре: и взаимное отпущение грехов, и тезис о невозможности победы какой-либо из сторон, и предложение протянуть друг другу руки. Правда, на своей 8-й полосе газета забывает о том, что написано на первой. Там публикуется письмо одного читателя. «Это кто же говорит нам о «гражданском мире»? — пишет он. — Лично я им не верю, не верьте и вы.

Надо сперва прогнать их президента да пересажать по заслугам половину всей этой своры — вот и будет у нас долгожданный мир и покой». — «Нет, нет и еще раз нет! — отвечает газета своему читателю. — Абсолютно с Вами не согласны…С какой же это вдруг стати: пересажать — только половину?»

Как видим, «Завтра» еще не определилось до конца: то ли отпустить грехи и протянуть руки оппонентам, то ли их всех пересажать. Вот такие в ней две тенденции борются. Конечно, с точки зрения демократии, желательно, чтобы победила тенденция первой полосы, ибо за номенклатурные «разборки» общество обычно расплачивается жизнями своих ни в чем не повинных граждан. Но установление действительно цивилизованных форм отношений, в том числе и внутри элиты может быть достигнуто только в том случае, если в обществе сформируется сила, способная *заставить* воинствующие группировки отказаться от угроз и насилия. Речь идет о формировании хорошо организованного общегражданского демократического движения, которое оказалось бы в состоянии не только положить конец кровным распрям «верхов», но и обеспечить победу подлинной демократии над номенклатурной.

Юрий Буртин. Да, вся надежда — на это. Увы, пока только надежда.

В России построены номенклатурная демократия и номенклатурный капитализм. (Ретроспектива, ноябрь 1995 г.)

«Номенклатурная приватизация», «номенклатурная демократия», «номенклатурный капитализм» — это триединство, служащее для обозначения сути нынешнего строя в России, — наше с Юрием Буртиным изобретение. Содержание, стоящее за этими понятиями, оказалось в центре обсуждения «круглого стола», прошедшего в июне 1994 года. Среди его участников были видные политики — Е. Гайдар, Г. Явлинский, Г. Бурбулис, Ю. Афанасьев, Л. Пономарев, И. Хакамада, и известные теоретики — О. Лацис, Л. Шевцова, И. Клямкин, П. Кудюкин, Б. Капустин и др. Большинство забраковало нашу терминологию. Мы не согласились и продолжали в печати ее отстаивать, стремясь более глубоко раскрыть стоящее за ней содержание. По-видимому, нам удалось ухватить что-то существенное — так, что через некоторое время Е. Гайдар в своей книге «Государство и эволюция» даже, написал: «Получили права гражданства термины «номенклатурная приватизация», «номенклатурный капитал», «номенклатурная демократия». И далее: «Ясно, что здесь мы приближаемся к самому ядру очень существенных «подспудных» процессов, определяющих то, что видно на поверхности». Думается, читателю будет интересно ознакомиться с ходом дискуссии, которая развернулась вокруг этого «ядра». Стенограмма выступлений некоторых участников «круглого стола» взята из журнала «Мегаполис» (№3, 1994).

В связи с этой тематикой сделаю одно добавление. В начале 1995 г. вышла в свет книга Е. Гайдара «Государство и эволюция». Она превосходна во многих отношениях. В особенности я выделил бы в ней анализ этапов номен-

клатурной приватизации в 1987–1991 гг., которую автор метко называет «приватизацией до приватизации», «лжегосударственной формой существования частного капитала» — когда «размах номенклатурного разворовывания в 1990–1991 гг. превосходил все, что мы имели на этой ниве в 1992–1994 гг.». Это была «келейная, паразитическая приватизация без включения рыночных механизмов и смены юридических форм собственности». И дальше: «Номенклатурный рынок» — это не рынок, где командуют бывшие члены номенклатуры, «номенклатурная приватизация» — не приватизация, при которой права хозяев получает экс-номенклатура. Речь не о персоналиях, а о системе». Это все верно и точно.

Но я бы оспорил, пожалуй, главную идею книги Гайдара, лежащую, увы, в основе его нынешней политической позиции и деятельности.

Так, Гайдар утверждает, что демократической альтернативы номенклатурной приватизации не было. «Звучит неприятно, — пишет он, — но если быть реалистами, если исходить из сложившегося к концу 80-х годов соотношения сил, это был единственный путь мирного реформирования общества, мирной эволюции государства». И потому необходимая и неизбежная логика общественного развития России, согласно Гайдару, состоит в следующем: вначале — номенклатурная приватизация и номенклатурный капитализм, затем их реформирование в направлении к рыночной (демократической) приватизации и нормальной рыночной экономике («демократическому капитализму»). И начало этому реформированию положено приватизационной реформой Ельцина–Гайдара–Чубайса — отпуском цен и программой ваучеризации. Правда, эти реформы, из-за сопротивления Верховного Совета, осуществились в урезанной форме. И все же прогрессивный сдвиг в направлении «полудемократического капитализма», «полурыночной системы» осуществлен. Иначе говоря, с реформ Гайдара–Чубайса началось преодоление номенклатурной приватизации и номенклатурного капитализма. Задача следующего шага приватизации — преодолеть эти «полу», превратить «половинки» в «полное», «целое».

Меня особенно не устраивают два звена в этой логической цепи.

Первое — тезис об отсутствии во второй половине 80-х годов демократической альтернативы номенклатурной приватизации, Я думаю, такая альтернатива была. Дело в том, что Гайдар все время вращается в кругу **экономических** задач, **экономического** мышления (что для него, профессионала-экономиста, вполне понятно). Но задача преодоления сложившегося до 1985 г. господства номенклатуры — не экономическая (в первую очередь) задача, ибо господство номенклатуры зиждилось на политическом (а не экономическом) господстве. В отличие от правящего класса Запада, капиталистов, власть которых уходила корнями в экономику, в собственность на средства производства материальных благ, господство правящего класса России — номенклатуры — базировалось на частной собственности на политическую власть, на государство, на «средства управления». А уж **вследствие** этого, номенклатура оказывалась и реальным собственником средств производства. Поэто-

му если желать устранения господства номенклатуры, следует воздействовать на первопричину ее господства — нужно ликвидировать ее монополию на **политическую** власть. Поэтому первый шаг по преодолению номенклатурной системы должен быть шагом не экономическим, а политическим. Необходимо лишить ее монополии на власть, иначе говоря, осуществить глубокие демократические преобразования. Программа этих преобразований хорошо известна: идейный и политический плюрализм, действительная гласность, свобода слова, реальная многопартийность, демократические выборы, правовое государство и т.д. И вот **только** после осуществления этого можно приступать к приватизации, которая, под контролем демократически избранного парламента, демократически объединенной общественности будет приватизацией открытой, явной, создающей примерно равные возможности для всех, то есть — демократической приватизацией.

Имелись ли возможности такой, реальной, демократизации общественной жизни во второй половине 80-х годов? Вспомните многосоттысячные митинги, всплеск газетно-журнальной гласности, лавину всевозможных объединений населения в клубы, союзы, движения, партии, ассоциации... Апофеозом чего стал Август-91, когда народные, демократические силы только слегка пошевелили пальчиком — и вроде бы грозное ГКЧП рассыпалось в прах.

Задача широчайшей демократизации была вполне осуществима, но ее не поставили, не выдвинули на повестку дня. А на первый план выдвинули **экономическую** программу — программу приватизации (главными пропагандистами которой и были Гайдар с Чубайсом). *И естественно, в условиях безраздельного политического господства номенклатуры приватизация и не могла не оказаться номенклатурной.*

И вторая ошибка (на мой взгляд, разумеется) Гайдара. Он полагает, что осуществленная им и Чубайсом ваучерная приватизация при всех ее недостатках — все-таки надломила номенклатурный характер экономического строя, усилила значение экономических факторов и механизмов, упрочила роль рубля — и тем положила начало преодолению номенклатурного строя.

Я же думаю, что на деле все осуществилось прямо противоположным образом. Через механизм ваучеров скрытая приватизация, осуществленная номенклатурой в конце 80-х годов, превратилась в открытую. Она отмыта ваучерами, разрослась и окрепла с их помощью. Ваучер, не сделав основную массу населения собственниками, дал возможность господствующему бюрократическому сословию отлучить граждан страны от претензий на равновеликую часть ее богатства. И всего за ничтожные 10 тысяч рублей. «Вы получили свою долю собственности? Ну, так и оставьте нас в покое». То есть реформа Гайдара-Чубайса не «надломила» номенклатурную приватизацию, а завершила ее (впрочем, полностью ее завершит нынешний — денежный — этап приватизации, которую продолжает вести г-н Чубайс).

Ни конкуренции, ни конкурентного рынка не создано. Сформирован рынок, главными субъектами которого являются монопольные приватизационные номенклатурные структуры. Ни о каких «примерно равных возмож-

ностях граждан» сегодня не идет и речи. Номенклатура сделала и продолжает делать **свое** дело под покровом наивно-демократической словесности Гайдара и Чубайса. Подобно тому, как в годы номенклатурного социализма партгосбюрократия прикрывала свое господство идеологическими причитаниями о «благе каждого человека», о «социальном равенстве», так и сегодня нынешняя правящая номенклатура с удовольствием использует демократически-либеральную словесность Гайдара и Чубайса, чтобы делать **свое** — далеко не демократическое и далеко не либеральное — дело.

Скажу больше. Ситуация в России после гайдаровско — чубайсовских реформ стала не только не благоприятней для демократических преобразований, но и значительно сузила их возможность. Ведь до 1985 г. собственность была «государственной», формально принадлежавшей всему населению. Да, реальным ее владельцем, распорядителем и приказчиком было партгосчиновничество. И все же его господство над собственностью было как бы не легитимным, не признававшимся ни законом, ни общественным мнением. Это не была его частная, его, что называется, кровная собственность. И в этом смысле **ту** госсобственность справедливо называют «ничейной». И все же формально — юридически она была, повторяю, собственностью всех, и у населения имелась принципиальная возможность когда-то предъявить на нее свои **законные** права.

Сегодня эта «формально-общественная собственность» перестает быть «ничейной», она уже стала «чьей-то», она стала индивидуально-корпоративной собственностью номенклатурного сословия. Теперь уже **свою** (не какую-то там «государственную», «общественную») собственность эти люди так не отдадут. Они, как свидетельствует история, будут за нее драться, используя **все** имеющиеся в их распоряжении средства. Именно эта ситуация, сложившаяся вследствие ваучерной реформы, не только не отдалила страну от гражданской войны и кровавого передела, но страшным образом приблизила их.

Дискуссия с Андраником Миграняном и Игорем Клямкиным в чем-то продолжает эту полемику с гайдаровско-чубайсовско-бурбулисовской точкой зрения. Так все-таки: движемся ли мы от тоталитаризма к демократии (как считают наши оппоненты), или вновь свернули в исторический тупик, по которому нельзя прийти ни к демократии, ни к правам человека, ни к правовому государству. Наши оппоненты полагают, что следует всего лишь совершенствовать путь, по которому мы идем. Мы же считаем, что нужен ***другой путь***.

Номенклатурная демократия

Какое содержание я вкладываю в это понятие?

Это — политический режим, отличающийся как от номенклатурного тоталитаризма и авторитаризма (существовавших в сталинско-брежневский период), так и от подлинной, настоящей (общегражданской») демократии, за которую выступало демократическое движение с первых лет «перестройки».

Как хорошо известно еще со времен Аристотеля, демократия — это «правление многих» («большинства», в пределе — всех). То, что имеем сегодня в

России, — это «правление немногих» («олигархию», как сказал бы античный классик). И с этим, собственно говоря, уже мало кто и спорит. Элитарный характер нынешних политических партий, созданный специально для движения вверх элиты механизм выборов, узкогрупповые интересы, доминирующие в деятельности парламента и государственно-чиновничьих структур, стали сегодня настолько очевидными, что даже глава нынешнего режима, российский президент, вынужден был отметить как несомненный факт, что «появилось и углубляется новое отчуждение власти от людей».

В элитарности, в усиливающемся механизме отчуждения людей от власти, и состоит главное отличие сложившегося в России режима от действительной демократии.

Теперь сопоставим его с режимом сталинско-брежневских времен. Общее у них, во-первых, то, что и тот, и другой — форма правления «немногих», меньшинства, «элиты». Схожи в них и механизмы формирования этого «элитарного», господствующего меньшинства. Здесь «элита», «руководящие группы» формируются не на арене открытой демократической конкуренции талантов — на виду, под надзором и влиянием всех слоев гражданского общества, здесь мнение, позиция «низов» не играет никакой существенной роли. Все основные импульсы идут по вертикали — сверху вниз. Люди **назначаются** на руководящие должности волей узких, «закрытых» верховных групп, иногда освящая подобные назначения голосованием какого-либо низового органа. Так осуществляло расстановку руководящих кадров в масштабе страны Политбюро ЦК КПСС, так обкомы партии формировали руководящие структуры районных звеньев. Так затем действовало горбачевское Политбюро, сформировав дружную руководящую команду из будущих путчистов августа 91 года. Примерно так назначало (после августа 91 года) представителей президента на местах, руководителей местной администрации некое новое, никем не избиравшееся «политбюро», сложившееся на самом верху, куда входил ряд влиятельных деятелей — так называемых «серых кардиналов». Так, в закулисных маневрах и интригах, происходили назначения (и увольнения) в послеавгустовском Верховном Совете, под бдительным оком знаменитого «демократа» Хасбулатова. Так, сверху, из начальственных кабинетов шли распоряжения по формированию руководящих структур политических партий. В таком ключе проходили и выборы 12 декабря 1993 года, на которых малочисленные, кабинетные партии (за небольшим исключением), забронировали себе 50% мест в парламенте и поставили под свой жесткий контроль остальные 50%, на которых россияне избирали не 450 своих представителей, а всего лишь 10–15 вождей (а уж те **назначали** в партийный список себе подчиненных). Жириновский абсолютно прав, когда говорит членам своей фракции: избирали не вас, а меня; я же вас назначил, я и могу вас увольнять, забирая мандат и передавая другому.

Такой метод формирования руководящих структур и именуется «номенклатурным», а **таким** образом формирующаяся «элита» называется «номенклатурой».

Вот почему, на мой взгляд, и сталинский, и брежневский, и горбачевский, и нынешний политические режимы принадлежат к одному и тому же роду — номенклатурному правлению. Но между ними (внутри общего рода) существуют и важные, так сказать, **видовые** различия. Сталинско-брежневская номенклатура — одномерна, однопартийна, моноидеологична, со строжайшей регламентацией всего и вся и с жесткой (даже жестокой) внутренней дисциплиной. При этом сталинский вариант — более жестокий и всеохватный, это **номенклатурный тоталитаризм.** Брежневщина — ослабленный, смягченный вариант тоталитаризма; это — **номенклатурный авторитаризм.** Нынешняя «элита» — плюралистична и многопартийна (в ней широкий спектр политических сил — от консерваторов и либералов до коммунистов и фашистов). Последнее время внутри нее шел поиск наиболее адекватной времени и ее интересам системы взаимоотношений частей элиты. В духе старого менталитета был испробован режим конфронтации, курс на уничтожение оппонентов. Наиболее дальновидные пришли к выводу, что такой курс губителен для всех частей элиты. Ее общие, долговременные интересы требуют цивилизованных, «демократических» способов взаимоотношений. Вот почему можно сказать, что сегодня осуществляется переход от номенклатурного тоталитаризма к **номенклатурной демократии.** Но, повторяю, это — демократия «цензовая», для «немногих», внутри меньшинства.

Теперь — об **оценке** этого режима. Есть немало политологов, которые, не возражая против его характеристики как элитарного режима, считают, однако, данный режим историческим прогрессом (в таком духе пишут, например, А. Фадин, А. Мигранян, И. Клямкин). Их логика примерно следующая. Невозможно в одночасье, одним прыжком прыгнуть из тоталитаризма в демократию. Это — процесс. Элитарная демократия — есть важный и необходимый шаг на этом пути.

Это было бы верно, если бы нынешняя альтернатива выглядела как выбор между номенклатурным тоталитаризмом и номенклатурной демократией. Тогда бы и я вместе с Фадиным, Миграняном и Клямкиным кричал: «Да здравствует номенклатурная демократия!». Но не кричится мне так потому, что сегодня не 56-й год и альтернатива, по моему мнению, сегодня (и вообще после 85 года) существенно иная. Для меня номенклатурная демократия сегодня не символ победы (хотя бы частичной) над тоталитаризмом подлинной демократии, а знак победы номенклатуры (старой и новой) над демократическим движением.

Я исхожу из того, что в России к 80-м годам сложились, все условия для установления режима «правления большинства». Массовые движения, возникшие после 85-го года, митинги, демонстрации, грандиозные, толковые, великолепно организованные забастовки рабочих и служащих, яркая и смелая деятельность интеллигенции — в ассоциациях, кружках, клубах, на страницах поднявшейся с колен местной и центральной печати, массовый выход на общественные авансцены никому не известных прежде талантов — в экономике и политике, высокий уровень образованности и культуры россиян с

их традиционой нацеленностью на решение общественных проблем — все это выплеснулось на свет божий в первые же годы так называемой «перестройки». В результате, под напором этого мощного прилива низовой демократии, казавшийся неколебимым гранитом тоталитарный режим рухнул в одночасье и практически без единого выстрела. Все его идеологические скрепы, репрессивные решетки, политические замки и железные занавесы оказались давно перержавевшей рухлядью, рассыпавшейся при первом же соприкосновении с ними массовых демократических движений 80-х годов. Попытка же — в августе 91-го года — вновь «закрыть» демократическое движение и повернуть течение исторических рек в прежнее тоталитарное русло была сметена с той же легкостью и с той же неумолимостью, с какой морской прилив сметает построенные на пляжном песке детские сооружения.

Однако, победа у демократии оказалась украденной. Но не той дуболомной партгосноменклатурой, на которой держался брежневский режим, а номенклатурой нового, современного типа, формировавшейся из наиболее дальновидных и ловких «коммунистических» аппаратчиков (входивших в дружную команду «архитекторов перестройки»), а затем — в том числе после августа 91-го — и из тех «новых людей», что въезжали во власть на плечах демократического движения.

Если внимательно, не упиваясь риторикой о «процессе» «исторических реформ», который-де «пошел», рассмотреть конкретные политические шаги «рулевых перестройки», то увидим вещь просто поразительную — едва ли не каждый шаг верховных реформаторов, был направлен не столько на расширение возможностей гражданского, демократического движения, сколько на сужение и усечение мощности развивающейся демократии.

Вот только некоторые, хорошо запомнившиеся вешки на этом пути. «Идеологический плюрализм» — о да, конечно, но только в рамках «социалистического выбора» («социалистический плюрализм»). «Политическое многообразие» — но при сохранении статьи 6-й Конституции о доминирующей роли КПСС (отменили, когда удерживать дальше было невозможно). «Гласность» — но как только одна из известных газет опубликовала рейтинг, согласно которому академик Сахаров стоял выше «архитектора перестройки», ее редактору было предложено (кстати, самим этим «архитектором») уйти в отставку. «Честная, открытая политика» — но партийные архивы по-прежнему недоступны, но пакт Молотова — Риббентропа и документы о трагедии Катыни по-прежнему надежно упрятаны в сейфах главных «перестройщиков». А войска, подтянутые к Кремлю 28 марта 1991 года, дабы припугнуть не слишком покорный Верховный Совет России? А помните, как один из членов партийного руководства посмел свое суждение иметь — и как хрипящей от злобы стаей набросились на него все члены высшего перестроечного штаба и как их вожак пообещал вольнодумцу — «ты у меня политикой заниматься больше не будешь!». А тучи густой лжи вокруг Чернобыля, поигрывания мускулами в Вильнюсе, Баку, Тбилиси (помните саперные лопатки?). А из кого формировалась верховная перестроечная команда? Янаев, Крючков, Болдин,

Шенин... Все руководство ГКЧП, эта команда реакционеров, людей позавчерашнего дня — они-то и были «друзьями и ближайшим окружением» архитектора.

Короче говоря, «перестроечная номенклатура» использовала демократическое движение как средство в борьбе со своими «доперестроечными» конкурентами и лишь в той мере, в какой оно этому служило. Все попытки самостоятельных действий низовых демократических сил и структур встречали жестокое сопротивление перестроечной элиты.

И как это ни еще более удивительно, примерно тот же тип соотношений между «верхами» и «низами» установился в послеавгустовский период. В итоге, к 1994 году мы и получили то, что получили, то, что сам президент назвал новым типом отчуждения людей от власти. Мы получили новый политический режим — **номенклатурную демократию.** И, как я пытался показать, она средство борьбы не столько с тоталитаризмом, сколько — с общегражданской, низовой демократией. И потому я отказываюсь видеть в ней исторически прогрессивный шаг.

Новый режим практически сложился, осталось дорисовать лишь кое-какие детали. Я полагаю, что на основе противоречий и возможностей этого нового строя будет формироваться демократическое движение новой волны. Совершенно ясно, что широкие слои населения с возрастающей решительностью будут выступать, в рамках, разумеется, законов и Конституции, против номенклатурной демократии и номенклатурного капитализма, против нового отчуждения. Их активность даст настоящую силу уже рожденным жизнью новым союзам, движениям, ассоциациям, способным на самом деле выражать их жизненные интересы. **Противоборство этих двух демократий (номенклатурной и общегражданской), а не сотрудничество и сговор различных элит составит, на мой взгляд, главное содержание предстоящего этапа общественного развития.**

Номенклатурный капитализм

Из выступления Юрия Буртина

Новый **экономический** строй, основные черты которого, на мой взгляд, сложились в России, достаточно сильно отличается от того, которому он пришел на смену. В то же время он имеет весьма мало общего и с тем, что не раз провозглашалось у нас в качестве цели антитоталитарной революции: развитое гражданское общество, высокоэффективная рыночная экономика, демократическое правовое государство. Ни по одному из перечисленных критериев наш новый строй, который я называю «номенклатурным капитализмом, не приближается к указанному образцу и вообще, кажется, не имеет сколько-нибудь близких аналогов во всей предшествующей мировой истории.

Мы имеем дело с результатом перестройки (очень точное оказалось слово!) нашего прежнего устройства. Система, при которой мы прожили большую часть своей жизни, была не сломана, а перестроена, она сохранилась, только, как бы перевернулась на другой бок. При этом в ней много измени-

лось, кое-что (устаревшее и маловажное для нее самой) с нее осыпалось. Во-первых (и раньше всего), отлетела, как пустая шелуха, старая официальная идеология, в которой правящий слой не испытывал большой нужды. Во-вторых, рассыпалась тоталитарная политическая система — с КПСС и Советами, Госпланом и Госснабом, КГБ и цензурой. В-третьих, совершился переход к рынку. В-четвертых, произошла децентрализация государственной собственности и раздача ее в персональное владение тем, кто прежде лишь управлял ею в качестве государственных служащих. В результате на базе директорского корпуса и местной администрации у нас сформировалось чрезвычайно оригинальное явление — класс индивидуальных владельцев объектов государственной собственности.

Нынешний строй заключает в себе весьма многое от «нормального» капитализма, в том числе свободный рынок (хотя и на монопольной основе), хозяйственную деятельность исключительно с целью извлечения прибыли, постепенно расширяющийся сектор частной собственности на средства производства, землю, недвижимость и прочее. Вместе с тем это принципиально иной строй, прямое продолжение нашего доперестроечного уклада.

Начать с того, что все рычаги государственного управления, как в центре, так, в особенности, на местах, остались в руках прежнего «аппарата», лишь слегка разбавленного новыми людьми (впрочем, быстро уподобившимися старым). И даже наш частный бизнес имеет сугубо аппаратную природу. Вот вполне типичный пример, относящийся к Липецкой области: «Бывший первый секретарь обкома Виктор Донских — генеральный директор акционерного общества. Бывший первый секретарь горкома Евгений Васильчиков — заместитель председателя правления акционерного банка. Бывший управляющий делами обкома Анатолий Негробов — совладелец частной фирмы. Бывший секретарь Задонского района Николай Наумов — генеральный директор товарно-сырьевой биржи... Впрочем, движением из агитпропа в бизнес ныне никого не удивишь» (В. Выжутович. «Партия начальства», — «Известия», 1994, 12 марта). А самое главное, осталась в сути своей неизменной основа общественных отношений «реального социализма» — система эксплуатации большинства населения правящим бюрократическим слоем, только к прежнему — коллективному, корпоративному — способу такой эксплуатации прибавились новые, свобода же пользования ими стала почти безграничной.

Это — общество, где средства производства, даже если они «приватизированы», по-прежнему лишены заботливого и инициативного хозяина; где не поощряются трудолюбие и бережливость; где царят казнокрадство и коррупция; где безраздельно властвует чин, а рядовой человек перед ним по-прежнему абсолютно бесправен. Как и то, что было раньше, это принципиально застойная структура, лишенная всяких ресурсов саморазвития. Спокойно, эволюционным путем перерасти в нормальное современное постиндустриальное общество она не в состоянии, в то же время мягкую, «бархатную» революцию, наподобие той, что прокатились по странам центральной Европы, наш послеавгустовский режим сумел успешно предотвратить.

И вот этот-то новый застой и новую несправедливость нам предлагают рассматривать как нормальную жизнь! Этот-то ублюдочный псевдокапитализм, результат ограниченных, половинчатых реформ, проведенных за счет народа в пользу «обновленной» и «демократизировавшейся» комноменклатуры пытаются «стабилизировать» и освятить с помощью договора об общественном согласии! Спасибо, господа хорошие, вы славно все придумали.

Какой общественный строй в России сегодня?
А. Мигранян и И. Клямкин
против Ю. Буртина и Г. Водолазова (ноябрь 1994 г).

Ю.Б., Г.В.: «Правит номенклатура».

А.М., И.К: «Нет, демократическая элита»

Григорий Водолазов. У нас сейчас строй, который мы с Юрием Буртиным определили как строй номенклатурной демократии (в политике) и номенклатурного капитализма (в экономике), подробную характеристику этому строю мы дали в предыдущем номере журнала. Мы подчеркивали, в частности, что элитный характер нынешних политических партий, созданный специально для движения вверх элиты, недемократический механизм выборов, узкогрупповые интересы, доминирующие в деятельности парламента и государственно — чиновничьих структур, стали сегодня настолько очевидными, что даже глава нынешнего режима — российский президент вынужден был отметить как несомненный факт, что «появилось и углубляется новое отчуждение власти от людей».

Андраник Мигранян. Мне кажется, что тот язык, и те категории, которые вы используете, вряд ли дадут нам возможность понять, что происходит. Термины и понятия, которые вы употребляете, не научные. Сегодня «номенклатура», «номенклатурная демократия», «номенклатурный рынок» — это все лозунги, может быть для обыденного сознания, для политических митингов, но не для серьезного разговора.

Номенклатура как понятие, как некая система существовала в рамках тоталитарного режима, имела свой смысл, свои функциональные и прочие особенности. С разрушением тоталитарного режима номенклатуры просто нет и не существует. Если мы будем говорить об элитных группах, это другое дело. В социологии, политике и политологии это понятие уже достаточно прояснено. Поэтому можно говорить о том, что такое элита, кто входит в элитные группы, как происходит циркуляция элит в том или ином обществе, она замкнута или не замкнута, кого она интегрирует, в каких условиях она обновляется полностью, в каких не обновляется...Номенклатура — это когда все предписано и расписано на каждом уровне, это список должностей, инстанций. Вся твоя жизнь, все поведение предопределены. Сегодня же какой-нибудь президент банка может «послать» министра, и он это делает, с удовольствием, кстати. Или когда выходит в эфир Женя Киселев и «поливает» президента — немыслимо же говорить в терминах номенклатуры? Ведь

разрушено понятие «верхи и низы». Вот почему сегодня мы можем говорить о плюрализме элит.

Григорий Водолазов. Итак, номенклатурного режима больше нет, ибо разрушено понятие «верхи» и «низы», нет списка должностей и предписаний сверху, банкир может «посылать» министра, а Женя Киселев «поливать» президента. Вот как оказывается, видится мир из кресла члена президентского совета. С того же стула, на котором сижу я, все представляется совершенно иначе. Во-первых, если Женя Киселев и «поливает» иногда президента, то примерно так, как из лейки поливают цветы — мягко, нежно, тепленькой водичкой. Да и вообще, с руки ли высшему должностному лицу в государстве «мериться» плечами с одним из тележурналистов? Иное дело — руководитель телекомпании. Помните, как однажды позиция Егора Яковлева (возглавлявшего тогда «Останкино») по одному частному вопросу не совпала с позицией президента? Мгновенно — даже без телефонного уведомления — Егор Владимирович лишился своего поста. А насчет финансистов, «посылающих» министров, пусть Андраник поедет в «Матросскую тишину» и передаст (вместе с сухарями, разумеется) эту приятную информацию Сергею Мавроди. — *От редакции*: Речь идет о ситуации на начало октября 1994 года. (Это, впрочем, не означает, что мне по душе деятельность АО «МММ» и его руководителя).

И насчет исчезнувшего деления на «верхи» и «низы». Да побойтесь вы Бога! Ведь в этом-то отношении нынешний режим совсем не отличается от режима сталинско — брежневских времен. И тот, и другой — форма правления «немногих», меньшинства, «элиты». Схожи в них и механизмы формирования этого «элитарного», господствующего меньшинства. «Руководящие группы» формируются не на арене открытой демократической конкуренции талантов. Не на виду, не под надзором и влиянием всех слоев гражданского общества. Мнение «низов» не играет никакой существенной роли. Все основные импульсы идут по вертикали — сверху вниз. Люди назначаются на руководящие должности волей узких, «закрытых», верховных групп, иногда освящая подобные назначения голосованием какого-либо низового органа. Так осуществляло расстановку руководящих кадров в масштабе страны Политбюро ЦК КПСС, так обкомы партии формировали структуры районных звеньев. Так, затем действовало горбачевское Политбюро. Примерно так назначались (после августа 91-го года) представители президента на местах, руководители местной администрации. Так в закулисных маневрах и интригах происходили назначения (и увольнения) в послеавгустовском Верховном Совете под бдительным оком знаменитого «демократа» Хасбулатова. Так сверху, из начальственных кабинетов, шли распоряжения по формированию руководящих структур политических партий.

В таком ключе проходили и выборы 12 декабря 1993 года, на которых малочисленные кабинетные партии (за небольшим исключением) забронировали себе 50% мест в Думе и поставили под свой жесткий контроль остальные 50%, на которые россияне избрали, по сути, всего лишь 10–15 вождей (а уж те назначили себе подчиненных).

Такой метод формирования руководящих структур и именуется «номенклатурным», а таким образом формирующаяся «элита» называется «номенклатурой».

Андраник Мигранян. Вебер говорит: возьмите функционирование британского парламента — это архетип демократического института. Что мы видим, когда наблюдаем за работой это парламента? Мы видим, что два-три человека определяют, как все должны голосовать, какие должны приниматься решения. Он сделал вывод, который был сформулирован в железном законе олигархии Михельса, что в конечном итоге решения принимаются узким кругом лиц, это закон организаций. Вот почему и власть, и деньги, и реальные полномочия, хотим мы этого или не хотим, сосредоточиваются в определенных структурах. Есть целая библиотека литературы, и есть целое направление в теории демократии. Это теория элитарной демократии, которая показывает, у кого в руках власть в Великобритании и в других странах. То есть думать, что есть какая-то другая демократия, идеальная, где власть находится в руках народа, — это просто впасть в безумные утопии и абсолютно оторваться от реальной действительности. Это очередная коммунистическая утопия. Народ ни в коем случае не является правителем, не правит, а выбирает тех, кто правят. Это обычно происходит через выборы, а выборы осуществляются в результате организации групп. А группы выдвигают. За этим есть и интересы, за этим есть и деньги и т.д. То есть имеет место обыкновенный политический рынок. Политики предлагают свой товар, а покупатели — избиратели выбирают тот, что по душе, лучше упакован, лучше разрекламирован. Так во всем цивилизованном мире. И это нормально. Я не хотел бы вдаваться в подробности вещей, которые достаточно хорошо известны и расписаны, я просто хочу сказать, что или мы будем анализировать и обсуждать эти вопросы в русле уже пройденного человечеством, или мы снова будем сочинять некие утопии, поворачиваться спиной к тому, что уже есть. Пытаться придумывать для нас некие особые образцы и двигаться к этим образцам.

Режим, который мы имеем, в политической литературе называется делегированной демократией. Она характеризуется наличием слабых политических институтов, слабых связей, слабого государства, слабого гражданского общества. Сцепляется все это харизматическим лидером. Лидер имеет возможность, минуя эти структуры, обращаться к народу. Но подобные режимы очень слабы сами по себе, они держатся на всеобщей слабости: слабому государству противостоит слабое общество. И харизматические лидеры, - конечно, теряют свою популярность. Эти режимы являются переходными, т.е., как правило, они возникают в двух случаях: при переходе от авторитаризма к демократии или то, что у нас произошло: крах тоталитаризма и возникновение такой формы демократии, которая как будто демократическая, а по существу совершенно недемократическая и не могла быть демократической. И здесь возникает переходность этого режима, который имеет шанс (именно шанс!) двигаться в сторону консолидации демократии. Т.е. стихий-

но или сознательно идет становление институтов гражданского общества, которое начинает подпирать существующую политическую систему, слабую, рыхлую и не очень эффективную. Или же экономические и социальные проблемы, с которыми сталкивается подобная слабая политическая система, приведут к сползанию обратно в тоталитаризм.

Словом, я рассматриваю сегодняшнюю сложившуюся ситуацию не как победу какой-то номенклатуры или еще чего-то, не как закончившийся, а как переходный период. Действительно, произошло освобождение от тоталитарных уз, произошла ликвидация номенклатуры. Действительно, стихийно идет и становление структур гражданского общества, нового капитала и возникновение новых структур в банковской сфере, промышленности и прочих. Но этот процесс идет медленно, так как у нас не произошла революция. И слава Богу, что она не произошла. Обновление элиты идет не революционным путем, не уничтожением одних и возникновением других, а путем инкорпорирования этих людей, новых идей и новых интересов.

Григорий Водолазов. Так, очень хорошо. Демократия — это оказывается, когда «два-три человека» все определяют, а «народ ни в коем случае не является правителем». Это, оказывается, «нормально» и «так во всем мире». Думать, что демократия — это народоправство — значит впадать в «очередную коммунистическую(?) утопию». Ведь Вебер, видите ли, писал, Михельс — формулировал... Забавно: раньше для нас все Маркс с Энгельсом «писали», сегодня — Михельс с Вебером «пишут». О Господи, да когда же мы сами-то удосужимся что-нибудь путное «написать»? И все же, что ни говорите, а приятно иметь дело с таким прямым и откровенным оппонентом. Иные идеологи без лукавства обойтись не могут: начинают, что называется, «лапшу на уши вешать» — выдать строй, где «два-три человека» действительно все определяют, за систему народоправства: сочиняют басни о якобы реальном участии народа в управлении. Мигранян прямо называет мечты о подобной демократии «утопией». Он хочет строить систему, где все будут определять «два — три человека». И констатирует, что мы и переходим от тоталитаризма к такой системе.

То, что мы к такого рода системе сегодня переходим, — с этим я спорить не собираюсь. У меня просто язык не поворачивается называть ее «демократией» и в отличие от Миграняна отсутствует желание служить ее укреплению и прославлению. Да, я думаю, что некий переход от тоталитарного режима к режиму иного типа происходит (и в главных чертах уже произошел). Но этот переход, это изменение — в рамках одной общей сущности. Я полагаю, что и сталинский, и брежневский, и горбачевский, и нынешний политический режимы принадлежат к одному и тому же роду — номенклатурному правлению. Но между ними (внутри общего рода) существуют и важные, так сказать, видовые различия. Сталинско-брежневская номенклатура — одномерна, однопартийна, моноидеологична, со строжайшей регламентацией всего и вся и с жесткой (даже жестокой) внутренней дисциплиной. При этом сталинский вариант — более жесткий и всеохватный, это — номенклатурный

тоталитаризм. Брежневщина — ослабленный, смягченный вариант тоталитаризма, это, можно сказать, номенклатурный авторитаризм. Нынешняя «элита» — плюралистична и многопартийна (в ней широкий спектр политических сил — от консерваторов и либералов до коммунистов и фашистов). Последнее время внутри нее шел поиск наиболее адекватной времени и ее интересам системы взаимоотношений частей элиты. В духе старого менталитета был испробован режим конфронтации, курс на уничтожение оппонентов. Наиболее дальновидные пришли к выводу, что такой курс губителен для всех частей элиты. Ее общие, долговременные интересы требуют цивилизованных, «демократических» способов взаимоотношений. Вот почему можно сказать, что сегодня осуществляется переход от номенклатурного тоталитаризма к номенклатурной демократии. Но, повторю, это — демократия «цензовая», для «немногих», внутри меньшинства. И еще. Да, избирательную кампанию можно в определенной мере уподобить политическому рынку. Но рынок-то может стать рынком свободной конкуренции и рынком монопольно-мафиозных групп. Мне думается, что нынешний российский политический рынок — это как раз и есть рынок монопольно-мафиозный. Нормальная (демократическая) конкуренция на нем исключена. Тут опять «два-три человека» все решают — в общем, расцвет «демократии» по Миграняну.

А.М., И.К.: «Шаг вперед».
Ю.Б., Г.В.: «Шаг на месте»

Андраник Мигранян. По крайней мере, то, что произошло, это грандиозный шаг вперед, по сравнению с той зажатостью, регламентированностью, которая существовала при коммунистическом режиме. Другое дело, что, конечно, сложившаяся ситуация оказалась гораздо более неуправляемой, чем могло бы быть. Если, скажем, я вернусь к той идее, которой я всегда придерживался, возможен был авторитарный переход к рынку. То есть демонтаж системы не такой обвальный, не через разрушение политической системы, на месте которой возникли слабые государственные институты, практически ни с чем не справляющиеся. Но происходит хаотическое становление и нового капитала, и рынка, и государства, что, естественно, сопровождается и коррупцией, и взяточничеством, и преступностью. Сегодня я вижу этот процесс таким: или это старые, как вы говорите, и новые элитные группы договорятся и совместно укрепят существующую политическую систему и государственную власть, или этот процесс будет прерван с установлением в той или иной форме диктаторской власти, введением чрезвычайного положения и т.д. Это, конечно, радикально не изменит положение, потому, что, я думаю, кто-то из этих старо-новых структур возьмет на себя ответственность для того, чтобы осуществить шаг вперед. Я сейчас не останавливаюсь на проблемах, которые выходят за пределы Российской Федерации, хотя есть проблемы СНГ и наших соседей, процессы, которые могут отразиться на нашем внутриполитическом развитии. Но я не вижу впереди никакой катастрофы. И было бы неправильно утверждать, что должна быть немедленно

полная демократия. Она изначально не могла быть. Неверно и то, что элита должна быть обновлена полностью. Для обновления, повторюсь, нужна была бы революция. И не соглашусь с утверждением, что низовые движения, демократические, должны были сразу структурироваться и управлять государством. Они также не могли бы этого сделать в силу просто объективных причин: или тогда Ельцин должен был заменить КПСС ДемРоссией и объявить о создании райкомов, или через государство делать государственную партию. Для президента и для общедемократического процесса это было бы разрушительно. Нынешний президент на какое-то время в одном лице олицетворял всю политическую систему и, конечно, являлся определенным гарантом стабильности. И поэтому максимально длительное сохранение его в качестве национального лидера было бы позитивным моментом.

Другое дело, как обычно происходит при подобных переходах, следующие могут прийти к власти — с помощью партий и партийных структур, в результате партийной борьбы. То есть за этим режимом уже последует власть на основе партий, и это тоже естественный этап, через который надо пройти.

Резюмируя же, повторю: мы переживаем переходный период от авторитаризма к демократии.

Григорий Водолазов. Я снова хотел бы сделать комплимент моему оппоненту за его прямодушие. Кто и когда из членов Президентского совета с такой выстраданной прямотой утверждал, что «максимально (!) длительное сохранение его (нынешнего президента) в качестве национального лидера было бы позитивным моментом»?

Никто и никогда! Браво, Андраник!

Игорь Клямкин. Я хотел бы поддержать стремление Г. Водолазова определить политическое содержание переживаемого нами момента. Но термины, которыми он пользуется, для этого, по-моему, не очень подходят. Разумеется, если нет гражданского общества, или, как выражается Григорий Григорьевич, «низовой демократии», то демократия может быть лишь элитарной. И она будет отличаться от демократии западного типа (тоже элитарной, но в том смысле, в каком говорил А. Мигранян) тем, что это элитарная демократия при несложившемся гражданском обществе. Но дает ли нам что-нибудь для понимания ее особой природы прилагательное «номенклатурная»? Думаю, что не дает ничего или почти ничего. Потому что здесь имеет место и нечто такое, что характерно для развитой современной демократии, — всеобщее избирательное право. Вы хотите сказать, что это ничего не значит, что наши партии формируются по «номенклатурному» принципу, когда популярный лидер подбирает («назначает») в свою команду угодных ему и никак независящих от избирателей людей? Но, во-первых, избиратели сами останавливают свой выбор на том или ином лидере, сами отдают предпочтение Жириновскому или Зюганову, скажем, перед Вольским, которого телезрители могли перед выборами созерцать не реже, чем будущих «победителей». А во-вторых (и это главное), если выборы по партийным спискам в наших условиях блокируют «низовую демократию», то что ее не блокирует? Выборы

по мажоритарной системе, к чему призывает Солженицын и на чем, следуя вашей логике, вы тоже должны настаивать?

Но я вовсе не уверен, что само по себе это сделает нашу демократию менее «номенклатурной». Во всяком случае, чтобы доказать это, надо проделать не такую уж сложную, но очень важную работу. Надо сопоставить тех, кто прошел в ту же Государственную Думу по партийным спискам, с теми, кто прошел индивидуально. Можно ли утверждать, что «индивидуалы» последовательнее отстаивают интересы избирателей, что они больше подготовлены как профессионалы к законодательной работе? Я в этом совсем не уверен. Быть может, я не прав. Но критика «номенклатурной демократии» сама по себе на эти вопросы не отвечает и даже не ставит их. Они ее просто не интересуют.

А теперь посмотрим на проблему с другой стороны. Чего хочет, в чем нуждается рядовой человек, интересы которого призвана, защищать «низовая демократия»? В самом общем виде можно сказать, что он нуждается в более или менее органичном сочетании общественной стабильности и общественного развития. Но если структуры «низовой демократии» слабы, а «номенклатура» всесильна, если нет такой волшебной палочки, которая помогла бы создать эти структуры в один присест, то так ли уж безразлично рядовому человеку, что происходит внутри элит, какие группировки там задают тон? Между тем сторонников концепции «номенклатурной демократии» и это интересует мало, а это значит, что они сознательно ставят себя вне реальной истории.

Они считают, что элита консолидировалась против народа и потому главная задача — развенчивать ее корыстные интересы; противопоставлять нынешние «верхи» нынешним «низам». Мне же кажется, что основы для консолидации «верхов» еще не найдено, что режим еще окончательно не укрепился. Можно критиковать его с разных точек зрения «низовой демократии». Весь вопрос в том, ради чего? Чтобы свалить его? А что взамен? Какова ему альтернатива? Сложилась ли она в обществе? Каким может быть сегодня новый руководящий слой? Из каких сфер вы будете рекрутировать в него кадры? Или «народная революция» против «номенклатуры» — это само по себе абсолютное благо и автоматическое решение всех проблем? И не представляет ли собой любая реформа (в отличие от революции) не в последнюю очередь модернизацию старых элит?

Да, без «низовой демократии» нет и не может быть демократии вообще. Но ведь если вспомнить историю утверждения «низовой демократии» на Западе, то профсоюзы, массовые партии, кооперативы, страховые и другие организации начали возникать там в борьбе с реально утвердившейся капиталистической частной собственностью — за ее ограничение. У нас же капиталистическая собственность еще не развилась, ответственный собственник не сформировался, у нас «низовая демократия» складывалась в борьбе с тоталитарным государством, а не с капиталистическим собственником. А теперь вопрос: если мы согласимся, что превращение всех граждан в частных

собственников — это утопия, которая нигде не реализовалась, то как согласовать, не прибегая к насилию, интересы формирующегося «номенклатурного» класса без ответственных собственников с интересами несобственников? Эта реальная проблема не только не проясняется, но и затушевывается концепцией, усматривающей суть происходящего в конфликте «номенклатурной» и «низовой» демократии.

Григорий Водолазов. Поскольку, говорит Клямкин, низовая демократия сегодня «слаба», а элита, номенклатура «всесильна», то рядовому человеку очень важно обращать внимание не на то, что происходит внутри бессильной низовой демократии, а на то, что происходит внутри всесильной элиты — какие там группировки «задают тон» и т.п. Иначе окажешься «вне реальной политики». Да низовая-то демократия, Игорь Моисеевич, слаба сегодня не по природе, не по сути своей. Ее систематически и целенаправленно ослабляли — в начале сталинцы с помощью расстрелов и лагерей, потом — брежневцы с помощью цензуры и психушек, далее — архитекторы перестройки, долго цеплявшиеся за 6-ю статью Конституции и исподволь осуществлявшие трансформацию старых привилегий номенклатуры в новые, и, наконец, — послеавгустовское руководство, стремящееся представить дело так, что взаимоотношение и борьба «группировок» наверху и есть единственно заслуживающая внимания история российского общества: все, что вне «группировок», то — вне истории.

Мне приходит на ум такое сравнение. Лилипуты, воспользовавшись сном молодого, полного сил, могучего Гулливера, заковали его в кандалы, повязали по рукам и ногам. И тут приходит идеолог и говорит: да разве вы не видите, что Гулливер бессилен, он же пальцем пошевелить не может; сегодня главное — лилипуты, их внутренние распри и целования, так давайте не обращать никакого внимания на бессильного Гулливера, давайте заниматься «реальным» делом — изучать устремления лилипутских группировок и способствовать тому, чтобы одна — какая получше — партия лилипутов победила другую. Вообще говоря, что тут спорить: конечно, лучше, если в лилипутской среде верх возьмут лилипуты с более или менее «человеческим лицом», и, конечно, почему бы этому между делом не поспособствовать. Но все же следовало бы не упускать из виду, что ни одна — даже «лучшая» — партия лилипутов не ставит всерьез вопрос о том, чтобы снять путы с Гулливера, — тут они все одинаковы. «Лучшие» ли, «худшие» ли победят — Гулливер, как был, так и останется узником. Вот почему, в отличие от Клямкина, я и думаю, что реальная история там, где идет борьба за освобождение Гулливера, а не там, где лилипуты устраивают между собой потасовки за право господствовать над Гулливером.

А если перейти с языка сравнений и аналогий на более прямую и строгую речь, то я сказал бы следующее.

Я считаю, что завершился определенный этап общественного, социального, политического развития. Это не переходный период, а самовоспроизводящаяся система. Есть немало политологов, которые, не возражая против

характеристики режима как элитарного, считают, однако, данный режим историческим прогрессом (в таком духе пишут, например А.Фадин, А.Миграняан, И.Клямкин). Их логика примерно следующая. Невозможно в одночасье, одним прыжком прыгнуть из тоталитаризма в демократию. Это процесс. Элитарная демократия есть важный и необходимый шаг на этом пути. Это было бы верно, если бы нынешняя альтернатива выглядела как выбор между номенклатурным тоталитаризмом и номенклатурной демократией. Тогда бы и я вместе с Фадиным, Миграняном и Клямкиным кричал: «Да здравствует номенклатурная демократия!» Но не хочу произносить здравицу потому, что сегодня не 56-й год и альтернатива, по моему мнению (и вообще после 86-го года), иная. **Для меня номенклатурная демократия в нынешние времена не символ победы (хотя бы частичной) над тоталитаризмом, не «шаг вперед» на длительном пути перехода от тоталитаризма к подлинной демократии, а знак победы номенклатуры (старой и новой) над демократическим движением.**

Я исхожу из того, что в России к 80-м годам сложились все условия для установления режима «правления большинства», — массовые движения, возникшие после 85-го года, митинги, демонстрации, великолепно организованные забастовки рабочих и служащих, яркая и смелая деятельность интеллигенции — в ассоциациях, кружках, клубах, на страницах поднявшейся с колен местной и центральной печати, массовый выход на общественные авансцены никому неизвестных прежде талантов — в экономике и политике.

В результате под напором этого мощного прилива низовой демократии тоталитарный режим рухнул в одночасье и практически, без единого выстрела. Попытка же — в августе 91-го года — вновь «закрыть» демократическое движение была сметена с той же легкостью и с той же неумолимостью.

Однако победа у демократии оказалась украденной. Но не той дуболомной партгосноменклатурой, на которой держался брежневский режим, а номенклатурой нового, современного типа, формировавшейся из наиболее дальновидных и ловких «коммунистических» аппаратчиков (входивших в дружную команду «архитектора перестройки»), а затем — в том числе после августа 91-го — и из тех «новых людей», что въезжали во власть на плечах демократического движения.

«Перестроечная номенклатура» использовала демократическое движение лишь как средство в борьбе со своими «доперестроечными» конкурентами. И лишь в той мере, в какой оно этому служило. Все попытки самостоятельных действий низовых демократических сил и структур встречали жесткое сопротивление перестроечной элиты.

И как это ни еще более удивительно, примерно тот же тип соотношений между «верхами» и «низами» установился в послеавгустовский период. В итоге к 1994 году мы и получили то, что получили. То, что сам президент назвал новым типом отчуждения людей от власти. Мы получили новый политический режим — «номенклатурную демократию». И, как я пытался показать, она — средство борьбы не столько с тоталитаризмом, сколько — с обще-

гражданской, низовой демократией. **И потому я отказываюсь видеть в ней исторически прогрессивный шаг.**

Это вовсе не означает отрицания мною позитивных сдвигов последнего 10-летия в сфере разрушения тоталитарных экономических и политических структур, в области демократизации и гуманизации массового, народного сознания, ростков нового в становлении и развитии гражданского общества. Мощное давление низовой демократии, массовых социальных слоев в период после 1985 года обеспечило это продвижение. Я только утверждаю, что кристаллизующаяся сегодня политическая и экономическая система правления, подобно прежней, доперестроечной, не только не способствует укреплению и развитию этих позитивных ростков, но сдерживает и угнетает их развитие. Эта система, конечно, — не «шаг назад» (как утверждают коммуно-патриоты из «непримиримой оппозиции», зовущие вернуться в «светлое» прошлое), но она и не «шаг вперед». Она — перевернутое прошлое, «оборотень», как удачно выразился однажды Ю. Буртин; она — всего лишь современный вариант «недемократии».

Игорь Клямкин. Я не собираюсь говорить от имени всех членов политологической компании, в которую меня зачислил Григорий Григорьевич. О себе же могу сказать, что ничего не имею против того, чтобы усматривать в деятельности нынешнего режима элементы прогресса. Хотя бы потому, что не могу доказать, что при нем имеет место один лишь регресс или не происходит никаких перемен вообще. Но ход мысли Г. Водолазова показался мне поистине восхитительным по другой причине. Неужели вы всерьез полагаете, что признать ту или иную, форму прогресса и провозгласить здравицу в ее честь —это одно и то же? Прогресс был при Наполеоне, при Пиночете, при Петре I, мало ли при ком еще. Он мог кому-то не нравиться, против такого прогресса вполне оправданна была еще более прогрессивная борьба (и она часто имела место), но при чем здесь заздравные крики?

Думаю, прогресс потому и получился у нас «номенклатурным», что «низовая демократия» имела очень мало общего с тем, как изобразил ее Григорий Григорьевич. Вы привели очень хороший пример с Гулливером и лилипутами. Но он, по-моему, вам не помог. «Позитивные сдвиги последнего десятилетия», насколько понимаю, заключались в том, что лилипуты, то бишь архитекторы перестройки, развязали Гулливера, он поднялся, расправил плечи и — лилипуты приказали долго жить. И все ради чего? Ради того, чтобы призвать новых лилипутов и добровольно дать им себя связать? Извините, Григорий Григорьевич, но вы сочинили гимн в честь неистребимого лилипутского племени, а не Гулливера, в честь «номенклатуры», а не «низовой демократии». Да, напор ее на коммунистический режим был силен, ее вклад в демонтаж этого режима весьма значителен. Но ее созидательный потенциал, как и всегда в аналогичных ситуациях, оказался более чем скромным, если хотите — близко к нулю.

Григорий Водолазов. Ладно, Игорь Моисеевич, пусть читатель разберется, в честь кого каждый из нас слагает свой гимн. Я теперь — о другом. Вы

признаете, что современный режим — это исторический прогресс, но воздерживаетесь от заздравных криков в его честь. Потому что возможен еще больший прогресс и, следовательно, возможна и необходима борьба большего прогресса против меньшего. О, знаменитый конфликт «отличного» и «хорошего»! Помните ту борьбу в кочетовско-софроновских пьесах 1940–1950-х годов — когда отчаянно сражались те, кто хочет собрать 40 центнеров с гектара, с теми, кто стоит за 38 (при общей норме — 15)?

Правда, в чем состоят эти «элементы прогресса» и в чем будущие «отличники» должны превзойти нынешних «хорошистов» — об этом вы пока умалчиваете, а именно это очень хотелось бы узнать.

Но восхитительна (я возвращаю этот комплиментарный эпитет вам, Игорь Моисеевич) ваша идея, что прогресс («элементы прогресса») существует при каждом режиме (хотя бы потому, что «не может же быть одного регресса») — при Пиночете, Петре и «мало ли при ком еще». Последнее, наверное, подразумевает и Сталина с Гитлером. А что — не было при них «элементов прогресса»? Да, ГУЛАГ, да, колымские лагеря, да, миллионы забитых и «успокоенных» в вечной мерзлоте, но Колыму-то освоили; да, десятки тысяч погубили, но Беломорканал-то выкопали, черт подери, — «элементы прогресса»! Да, Майданек, Дахау, миллионы поляков, русских, евреев забили насмерть, но ведь бетонными шоссейными дорогами всю Германию покрыли и ФАУ изобрели, и ядерную физику как двинули — «элементы прогресса»! Так почему бы борьбу против сталинизма и гитлеризма не обозначить как борьбу большего прогресса против меньшего? Нет, правда, идея восхитительная!

Игорь Клямкин. Еще раз спасибо за хорошие примеры, они мне помогут пояснить свою мысль. «Плохой» прогресс потому и имеет место, что «низовая демократия» не способна противопоставить ему прогресс «хороший». Так было в России начала века (кончилось Сталиным), так было в веймарской Германии (кончилось Гитлером). Повторяю: для меня главный вопрос — не о Гитлере, Сталине и прочих «номенклатурных» вождях, а о слабости гражданского общества, слабости народных сил. Немецкий народ после войны сумел решить эту проблему. Решит ли сегодня народ России — еще не ясно. Поэтому для меня разница между будущими «отличниками» и нынешними «хорошистами» — это и есть разница между нынешним состоянием народа и будущим (и лишь постольку — разница между его нынешними и будущими вождями). А насчет «элементов прогресса», которые есть уже сегодня и которые вы просите назвать, так это то же самое, что и ваши «позитивные сдвиги последнего десятилетия».

А.М., И.К.: «Главное — консолидация элит».

Ю.Б., Г.В.: «Главное — низовая демократия».

Игорь Клямкин. Ну а теперь о том, что делать?

Григорий Водолазов. Новый режим практически сложился, осталось дорисовать лишь кое-какие детали. Я полагаю, что на основе противоречий и возможностей этого нового строя будет формироваться демократическое

движение новой волны. Совершенно ясно, что широкие слои населения с возрастающей решительностью будут выступать — в рамках, разумеется, законов и Конституции — против номенклатурной демократии и номенклатурного капитализма, против нового отчуждения. Их активность даст настоящую силу уже рожденным жизнью новым союзам, движениям, ассоциациям, способным на самом деле выражать их жизненные интересы. Противоборство этих двух демократий (номенклатурной и общегражданской), а не сотрудничество и сговор различных элит составит, на мой взгляд, главное содержание предстоящего этапа общественного развития.

Игорь Клямкин. В подтверждение своей мысли Г. Водолазов иногда ссылается на движения типа польской «Солидарности» или чехословацкого «Гражданского форума». Но эти ссылки свидетельствуют, мне кажется, о том, что сторонники концепции «номенклатурной демократии» смешивают два разных исторических этапа: этап демонтажа прежнего политического режима (это как раз время «Солидарности» и подобных ей организаций) и этап преобразования социально-экономических условий, в который мы вступили. Возьмите наше шахтерское движение. Пока существовал коммунистический режим, оно выступало за «рынок», «реформы», частную собственность, право самим распоряжаться своей продукцией и т.п. Но как только этот режим рухнул, так выяснилось, что все эти лозунги обернулись для шахтеров такими, в частности, проблемами, как необходимость закрытия бесперспективных шахт со всеми вытекающими отсюда последствиями. Шахтерская «низовая демократия» существует, как известно, и сегодня. Но не заставляет ли всерьез задуматься уже сам факт того, что в условиях, когда собственность еще не отделилась от государства, с одной стороны, и наемного труда — с другой, выступления против некоей демонической «номенклатуры» неизбежно обернутся мифологизацией «низовой демократии»?

Вообще, чем больше слушаю, тем больше склоняюсь к мысли, что концепция, которую отстаивает Григорий Григорьевич, не предполагает серьезного интереса не только к «номенклатуре», но, как ни странно, и к народу, или, если угодно, к реальной, а не романтизированной «низовой демократии», Речь идет не только о шахтерах, текущие интересы которых часто расходятся с логикой реформ. То же самое можно сказать о работниках убыточных предприятий, интересы которых, кстати, во многом смыкаются с интересами определенных групп директоров и чиновничества.

«Номенклатурную демократию» и «низовую демократию» тоже, мне кажется, стоит рассматривать не столько как антагонистов, сколько как два взаимосвязанных полюса одного и того же общества. Все пороки «номенклатурной демократии», олицетворяемые фигурами Руцкого, Хасбулатова и т.п., уходят своими корнями в слабость и ограниченность демократии «низовой». В ее историческую аморфность, неукорененность, неструктурированность. Корни — там. Я уже говорил и повторю еще раз: люди сами голосуют за Жириновского, коммунистов, аграриев, они сами создают ту «номенклатурную демократию», о которой говорит Григорий Григорьевич.

Формальное и *предельно* абстрактное противопоставление «номенклатурной» и «низовой» демократии — это вольный или невольный уход от проблемы исторического качества реальных «низов», «низов» как они есть. Нелепо спорить с тем, что нужна работа по формированию гражданского общества, нужны нормальные партии, профсоюзы, другие организации. Вопрос в другом — как их консолидировать, по какому принципу, а главное — можно ли консолидировать как структуры именно гражданского общества посредством простого противопоставления «низов» «верхам»? Я думаю, что нельзя.

Григорий Водолазов. Мы живем в мире слов, иллюзий и терминов, поэтому все наши политические и идеологические ячейки — демократы, либералы, коммунисты — есть не более чем словесность. Существуют реальные интересы социальных слоев и словесность, которую используют политические партии. Чтобы победить в борьбе элит, они действительно стремятся опереться на какие-то социальные силы, на определенные интересы. Главным образом, они о них только говорят. И что-то в этом направлении, конечно, делают. Но все же их господствующий интерес не в решении проблем этих слоев, а — свой, элитный, номенклатурный интерес, представляемый, впрочем, в виде интереса определенных социальных групп. Поэтому задача демократической интеллигенции — показывать несовпадение, скажем, интересов социалистических масс и социалистической номенклатуры, либеральных масс и либеральной номенклатуры. И второе, когда говорится о том, ну что, мол, смогут эти массы, я спрошу — а что может элита? Много ли она сделала, эта элита? Глубже она понимает действительность? Это элита и разрушала возможности низовых структур, низовых лидеров и т.д. Коррумпированность, правовой беспредел — это и есть одна из ипостасей этой формирующейся номенклатуры. А национальные войны, развал экономики — это все проделки «вашей» «всесильной» элиты, Игорь Моисеевич.

Игорь Клямкин. Она всесильна потому, что «ваша» «низовая демократия» бессильна; с ней обходятся так, как она позволяет с собой обходиться. Это во-первых. Во-вторых, ни в одной даже самой развитой демократии нет совпадения интересов избирателей и представляющих их на политической сцене партий и лидеров.

Григорий Водолазов. Люди должны иметь реальные права для объединения в организации. Примите закон о партиях, общественных движениях, чтобы эти общественные объединения могли иметь финансовую и информационную возможность осуществлять процесс соединения, тем самым осуществляя процесс формирования не только политического, но и гражданского общества. Но этого не делается.

Андраник Мигранян. Партии уже сидят в парламенте.

Григорий Водолазов. Это партии номенклатурные.

Андраник Мигранян. Позиция Водолазова и Буртина — это торжество нового марксистского подхода к текущему моменту. Верхи сложились в класс имущих, которые доминируют и все контролируют. Низы тоже сложились в класс, который не имеет ничего. Есть два класса, классовая борьба и смена

существующей системы. То есть мы фактически снова приехали. Нет возможностей реально модернизировать, интегрировать общество не потому, что реально общественная, социальная и политическая жизнь гораздо сложнее и многомернее и там происходят очень сложные процессы, а потому, что есть две чистые линии, есть конфликт между ними и, значит, этот конфликт надо решить определенным образом. И мы знаем как. Это очередной редукционистский подход, что есть идеальная демократия. Существующая система не соответствует идеальной демократии. Вот и вопрос: мы идем к реально существующей демократии или к каким-то идеалам?

Григорий Водолазов. Мой молодой друг Мигранян, по-моему, даже не представляет, насколько он прав. Но только вот в каком отношении. Мы (все! — вместе с Клямкиным, Миграняном, его коллегами по Президентскому совету, с миллионами россиян) действительно приехали к тому же самому. Ехали к демократии, а приехали в номенклатуру. Ехали в общество равных возможностей, а приехали в общество, как и прежде, разделенное на тех, кому позволено почти все, и тех, кому — почти ничего.

Ю.Б., Г.В.: «Лозунг дня: “Демократическая оппозиция”».

А.М., И.К.: «Лозунг дня?..»

Юрий Буртин. Диалог, в котором я могу принять лишь заочное и запоздалое участие, оказался, на мой взгляд, весьма содержательным. Он интересен, во-первых, тем, что это не мелкий разговор. Речь идет не о тех или иных частных явлениях, а о новом строе, новой действительности в целом, что пока еще редкость в нашей прессе. Во-вторых, примечательны позиции спорящих. А. Мигранян и И. Клямкин выступают здесь в совершенно определенной общественной функции — в роли идеологов того нового российского строя, который мы с Г. Водолазовым, к их большому неудовольствию, именуем номенклатурным капитализмом. Что же, раз появился такой строй, он неизбежно должен был обзавестись соответствующей идеологической «легендой», призванной, как говорит персонаж Маяковского, «смягчить, опоэтизировать, скруглить» новую историческую реальность. Появление подобной «легенды» — дополнительное свидетельство в пользу того, что реальность эта уже достаточно определилась в своих очертаниях, «переходный период» (если пользоваться этим малосодержательным обозначением) закончился, новый строй нуждается в стабилизации, а значит, не в последнюю очередь, в собственных идеологах, в умных и образованных апологетах. Наши оппоненты с блеском продемонстрировали два вида апологии: открытую, лобовую, так сказать, беззастенчивую — один и, наоборот, застенчивую, более скромную и диалектичную — другой. Их высказывания в этом отношении почти классика; в разворачивающейся дискуссии мы, я думаю, еще не раз увидим перефразировки употребленных ими полемических ходов и аргументов.

В свою очередь, точка зрения Водолазова интересна тем, что апология нового строя отвергается им с позиции, совершенно не представленной в рамках нынешнего политического бомонда. Это позиция демократии для

всех, а не только для правящего «политического слоя», горделиво, хотя и без всяких оснований именующего себя элитой общества. Это точка зрения демократической альтернативы существующему псевдодемократическому режиму, демократической оппозиции ему. И очень знаменательно, что господа идеологи, изменяя своей обычной ученой рассудительности и хладнокровию, обрушиваются на нее с особой страстностью. Они правильно чувствуют, что ни Руцкой, ни Зюганов, ни Жириновский не так опасны для нового строя, как демократическая оппозиция, не имеющая сегодня за собой никакой организованной силы и вооруженная только правдой.

Пара замечаний по существу спора.

Наши оппоненты отвергают термин «номенклатурная демократия» — главным образом на том основании, что порядок замещения руководящих должностей нынче изменился. Они как бы не знают, что «номенклатура» давно уже употребляется в современном языке не столько как понятие из обихода кадровой практики КПСС, сколько как обобщенное наименование советского правящего слоя. Был ли у нас такой слой, или, может быть, это выдумка «марксистов» Буртина и Водолазова? Владел ли он государственной собственностью, или, может быть, она была действительно «общенародной», как учил нас товарищ Суслов? А если бы и владел, то исчез ли он в наши дни, лишился ли власти и собственности? Я думаю, даже самым вдохновенным апологетам нового строя трудно будет выступить с таким утверждением. Нет, всякому понятно, что в отличие, например, от Чехословакии, где был принят закон о люстрациях, наш правящий слой, несмотря на «перестройку» и «курс реформ» (а точнее, благодаря им), полностью сохранил в своих руках власть и собственность, только сменил формы своего владения да поделился тем и другим с некоторым числом руководящих демократов, инкорпорировав их, как правильно выразился А. Мигранян, в свою среду.

Но если так, то уже одно это, не считая тех аргументов, какие привел Г. Водолазов, — достаточное основание к тому, чтобы называть такую систему власти номенклатурной демократией, а нынешний экономический строй, по-прежнему основанный на корпоративной собственности руководящего слоя, номенклатурным капитализмом. Употребляя эти обозначения, мы стремились передать двойственный, противоречивый, гибридный характер новой общественной структуры, выразить ту мысль, что итогом «перестройки» явился строй-оборотень, строй-мутант, номенклатурный, олигархический режим в квазидемократической и квазирыночной оболочке.

Вам не нравятся такие эпитеты? Ну так предложите другие, более точно схватывающие своеобразие современной российской действительности, но не уходите от существа проблемы, не отговаривайтесь ссылками на западных социологов, описывающих совершенно иную социально-экономическую и политическую реальность. Ваши попытки доказать, что у нас «все как у людей», основанные на выхватывании подходящих цитат из Михельса или Вебера, несерьезны. Нет, у нас совсем не то — новое, другое, исторически беспрецедентное. В особенностях этой новой реальности нельзя разобрать-

ся, не касаясь, с одной стороны, конкретного содержания политики российских властей, а с другой — не уходя из политической сферы «вниз», в область социально-экономических отношений. Ибо общественная жизнь целостна: качество политической системы и процессы, в ней происходящие, нельзя оценить правильно, исходя лишь из нее самой, устранив из поля зрения, скажем, дележ той же собственности.

Между тем наши уважаемые оппоненты рассуждают таким образом, как будто они начисто забыли, кем, в чью пользу и за чей счет творилась та «история», вне которой мы были поставлены И. Клямкиным. Ну, например, какими способами была принята новая Конституция, преобразована система Советов, реформирован избирательный закон и проведены парламентские выборы, совершена чековая «приватизация». **Если все это называется «переходом от авторитаризма к демократии», то что же в таком случае грабеж и обман народа, манипулирование его мнением, надругательство над его волей? Если это «элита», то что же такое грязь?**

Читая монологи А. Миграняна и И. Клямкина, я не мог отделаться от ощущения, что они живут в какой-то другой стране, чем я. В их России, видимо, не происходит сокрушительного падения промышленного и сельскохозяйственного производства, такого, что уже впору говорить о деиндустриализации страны и ее погружении в «третий мир», не разваливаются наука и культура, не уменьшается продолжительность жизни людей, не разрастаются беззаконие, коррупция и всякая иная преступность, а сама Россия не распадается на части, полуизолированные друг от друга сепаратизмом местных «элит» и запредельной дороговизной всех видов транспорта и связи. Увы, в моей стране все это происходит, лишая меня способности смотреть на мир тем спокойным, умудренным взглядом, каким созерцают его наши уважаемые оппоненты.

И последнее. Нас упрекают в том, что мы противопоставляем «низы» «верхам», разжигаем новую революцию. Это упрек не по адресу. На зеркало неча пенять, коли рожа крива. Революции возникают не из слов, какими бы злыми они ни были, а из реального положения вещей, в первую очередь из того, каковы на деле отношения «верхов» и «низов» в том или ином обществе. Вот что пишет по этому поводу читатель газеты, более чем лояльной к президенту и правительству, — рабочий А.Корьюс из г. Коврова Владимирской области: «Уверен: если побывать на любом приватизированном предприятии и спросить людей, что дала людям приватизация, они расскажут то же, что и я... Приватизированные предприятия фактически перешли в личную собственность руководителей. Они правят бал, не считаясь ни с кем. Я работаю на заводе слесарем самого высокого разряда и получаю мизерную зарплату. А работать приходится по 11 часов и даже по субботам... Директор завода со своей элитой (внимание, господа, любимое ваше слово! — *Ю.Б.*) получают миллионы отдыхают с семьями исключительно на Канарских островах. А для рабочих — денег нет!.. Новые хозяева собственности сплошь и рядом ведут себя так, будто бы все приобрели на свои собственные деньги. Рабо-

чие бесправны, унижены, с ними что хотят, то и делают... Такая приватизация позволяет начальникам красть свободно, не таясь, и ресурсы, и имущество, не думая о производстве и работающих. Собственность-то эта им свалилась с неба, за так! Такая свобода даже коммунистам не снилась». И вывод: «Мы не против реформ. Согласны даже жить хуже, если потребуется. Но бесправие, беззащитность, унижения терпеть не согласны. Не хотим быть на положении рабов. Многих это так озлобляет, что они уже сейчас готовы идти громить «новых буржуев». Вот здесь и кроются корни социального взрыва — опять рабочим нечего терять!» («Известия», 1994, 20 апреля).

Так что, уважаемые господа, не с нами вам надо спорить. Поспорьте лучше с автором этого письма. Ему, ему объясните, что «номенклатурного капитализма» не существует в природе, что время «Солидарности» и т.п. прошло с «демонтажем коммунистического режима», что главная задача состоит нынче в «консолидации элит» и что вообще все к лучшему в этом лучшем из миров. А мы послушаем, что он вам скажет.

Игорь Клмкин. Грустно читать эту отповедь Ю. Буртина. В ней есть страсть и боль, есть раздражение, но, к сожалению, нет ни малейшего желания говорить по существу и слушать оппонентов. Зато много желания разделаться с ними одним легким махом, зачислив в разряд идеологов «антинародного режима». Этот способ полемики (и соответствующая стилистика) напоминает давно знакомое и почти забытое, напоминает тех авторов, для которых существо дела не имело никакого значения, так как важнее было совсем другое: «доказать», что их оппоненты являются «идеологами буржуазии» или кого-то еще, и найти тех, на чью мельницу эти идеологи льют свою грязную воду.

А существо дела-то, Юрий Григорьевич, не такое уж сложное. Все, что вам не нравится, мне не нравится тоже — здесь я ближе к вам, чем к А. Миграняну. Но почему все это имеет место? Вы ссылаетесь на нынешнюю «номенклатуру». У меня тоже есть к ней свой счет: после 21 сентября прошлого года я стоял на позициях одновременных перевыборов президента и парламента, выступал за то, чтобы сам народ решил судьбу погрязших в междоусобице властей. Но эта идея, высказывавшаяся тогда многими, была отвергнута. Народ, кстати, ее поддерживал, но настоять на своем он не мог. Поэтому я и говорю, что меня интересует не «номенклатура», не начальство, а реальное состояние общества и его возможности влиять на состояние власти.

Вы знаете, как сделать сегодня, чтобы эти возможности увеличились? Я не знаю; отсюда моя «застенчивость»: я чувствую свою слабость перед этой проблемой. А вы, извините, интеллектуально беззастенчивы, потому что от проблемы отмахиваетесь, для вас само упоминание о ней — вода на мельницу «номенклатуры».

Ваша идея демократической оппозиции — для меня не новость. Я ее публично отстаивал еще перед декабрьскими выборами прошлого года (например, в программе «Итоги»); не отказываюсь от нее и сейчас. Но исход выборов еще больше убедил меня в том, что «демократическая оппозиция» это

сегодня не столько ответ, сколько вопрос. Я вижу, что при нынешнем состоянии общества демократическая оппозиция может привести к власти... все ту же «номенклатуру». Это — в лучшем случае. В худшем же — наша с вами идея, попав на улицу (воспользуюсь известным выражением Достоевского), может видоизмениться до такой степени, что будет работать на политиков типа В. Жириновского. Тем более о «номенклатуре» и результатах ее правления он говорит то же самое, что и вы. Убежден: развенчивать «номенклатуру», не говоря о состоянии народа, — это и значит сегодня работать на Жириновского, который скажет народу любую правду о ком угодно, кроме правды о самом народе. Зачем же нам ему уподобляться? Извините еще раз, Юрий Григорьевич, но в вашей односторонней правде я не вижу ни интеллектуальной честности, ни политической ответственности.

А автору письма, которое вы цитируете, я сказал бы, кстати, примерно то же самое. Я бы ему сказал: к вам относятся так, как вы и ваши товарищи позволяют к себе относиться. Не лучше. Но и не хуже.

От редакции. Вот на какие звенящие ноты вышла полемика. Конечно, разговор не окончен, только начат. Конечно, Юрию Буртину есть что возразить Игорю Клямкину, а Андранику Миграняну есть что сказать Григорию Водолазову, и наоборот. Но приостановим бег полемики! — пусть выскажутся в ней и другие. Рассуди их, спорящих, читатель!

«Переходный период» — куда и как «переходим»? (1995–2005)

«Свобода слова» — придет ли она когда-нибудь в Россию? Диспут: ***Александр Бовин, Григорий Водолазов, Отто Лацис***

Весной 1994 года в печати появилось очень резкое, очень эмоциональное и по сути политическое заявление видных представителей российской демократической интеллигенции, в числе подписавших его были Михаил Жванецкий, Григорий Бакланов, Сергей Залыгин, Петр Тодоровский, Михаил Козаков, Сергей Юрский, Булат Окуджава, Мария Миронова, Анатолий Гребнев, Наталья Бессмертнова и другие, те, кто активно поддерживал становление нового общественного строя в стране. И вдруг такое: «Свобода печати была единственной состоявшейся российской реформой. Сегодня происходит полная ревизия этой реформы, откат к политической цензуре, главная цель которой — обслуживание правящей финансово-аппаратной олигархии... ***Это — не демократия. Это — не рынок. Это — новый тоталитаризм***».

Другая часть общественности, отнюдь не отрицая пришествия «нового тоталитаризма», сомневается, однако, что так называемая российская демок-

ратическая пресса является символом «свободы слова» и инструментом демократии. Высказывается мнение, что именно эта пресса немало поспособствовала тому, чтобы этот «новый тоталитаризм» сложился, что эта пресса отнюдь не стремилась к тому, чтобы выразить многообразие интересов гражданского общества, рядовых граждан России; она обслуживала интересы различных элитных — политических и экономических — групп (именовавших себя «демократическими»). Она — объективно — боролась за «свободу» деятельности и «права» этих групп, мало думая о «свободе» и «правах» для всех граждан. Деятельность по обслуживанию корпоративных, эгоистических этих групп, естественно, не могла не вступать в противоречие с задачами объективной и правдивой информации. Иначе говоря, журналистика этого типа (наряду с откровенно консервативной, реакционной, социально-реваншистской журналистикой) выступала — хотя и на свой манер — инструментом не поддержки, а разрушения тех слабых ростков демократии, что появились на рубеже 1980–1990-х годов.

Иначе говоря, фиксируется угроза демократии: а) со стороны олигархии, душащей «свободу печати», и б) со стороны печати, неподконтрольной обществу, обслуживающей интересы элитно-олигархических групп и потому превращающей средства массовой информации, во-первых, в средства немассовой информации и, во-вторых, в средства массовой дезинформации.

Кто прав? А может, возможны и какие-то другие оценки?

Разобраться во всем этом тем более важно, что без нормальной, объективной и достоверной информации, без обмена ею не может существовать и успешно развиваться общество. Это — важно, потому что лишенный такой информации человек не может делать сознательный выбор, решая свои жизненные проблемы; без такой информации человек не может быть свободным человеком. Потому что урезанная и тем более искаженная информация превращает людей в рабов или манкуртов.

Редколлегия журнала «Мегаполис» посчитала, что будет интересно и поучительно, если вместе с нами над этой проблемой поразмышляют два известнейших журналиста — ***Александр Бовин*** («Известия») и ***Отто Лацис*** («Новые Известия»). Приглашая их к диалогу, мы учитывали и то, что они — не просто журналисты, но и ученые (политолог-международник — один и экономист — другой), способные в своем анализе выйти за пределы собственно журналистской деятельности и рассмотреть ее в контексте социальных и политических проблем современного российского общества в целом. Редакция «Мегаполиса» в этой беседе представлена главным редактором журнала, профессором, вице-президентом Академии политической науки ***Григорием Водолазовым.***

Договорились сосредоточиться на трех основных направлениях анализа:

1) характеристика нынешнего состояния российской прессы;

2) причины, истоки нынешнего состояния: «кто виноват?» — в том, что оно сложилось так, а не иначе;

3) «что делать?» — для того, чтобы появилась надежда на лучшее.

Пресса «до» и «сейчас»

Лацис. Все познается в сравнении. Я на своей, что называется, шкуре знаю, чем была журналистика до 1985 г. и что такое судьба журналиста того времени. Только два примера (из десятков и сотен подобных, случавшихся со мной и многими моими коллегами).

В середине 60-х годов я для «Нового мира» сделал обзор — нет, не каких-то там опасных западных или диссидентских теорий и книг, а всего лишь сборника «решений партии и правительства по хозяйственным вопросам». Ничего себе названьице? Современному журналисту в страшном сне не приснится писать по таким вопросам. Но это — между прочим. Мы тогда вынуждены были именно в статьях на подобные темы искать возможность для высказываний весьма критического свойства. Конечно, намеками, между строк, эзоповым языком, соблюдая все официальные «правила игры». Нет, я не призывал к низвержению партии и правительства. Но подбором документов и эзоповскими комментариями проводил свои мысли. Составителем сборника был Черненко (тогда — зав. отделом ЦК, будущий — через 20 лет — генсек партии). Гранки статьи, естественно, попали к нему. Тов. Черненко дал соответствующее указание Главлиту (т.е. цензуре), и тот, не утруждая себя объяснениями, приказал «Новому миру» мой обзор снять. Твардовский пытался ставить его в каждом из последующих пяти номеров. Но бдительный Главлит каждый раз был на высоте.

Второй эпизод еще прекраснее. В 72-м году я написал рукопись, антисталинскую по направленности, посвященную выяснению корней сталинизма. И снова — ничего системонизвергающего. Формально — в духе партийных решений, принятых на XX съезде и никем не отмененных. Я как бы даже откликался на партийные решения: XX съезд поставил перед наукой ряд вопросов, и я, как представитель науки, попытался на них ответить. Разобрал суть «перелома» 1929 года. Но, конечно, я понимал, что даже в этой лексике рукопись «непроходима», непечатаема, и поэтому в печать не предлагал. Отпечатал на машинке для себя. Но тут на высоте оказалась еще одна (наряду с Главлитом и ЦК) инстанция — незабвенный Комитет госбезопасности. Рукопись отследили и изъяли. Цековская комиссия партконтроля определила, что у меня «антипартийные взгляды». Такая формулировка для живших в 37-м вела известно куда, а в 75-м, когда надо мной состоялся высший партийный «суд», это была дорога — «вон из профессии». И на 11 лет — до начала горбачевской перестройки — я вылетел вон из профессии. Врата журналистики для меня были закрыты.

Вот чем была журналистика того времени.

Нынешняя журналистика от прежней отличается радикально. Я просто не мечтал о такой возможности писать все, что я хочу, и публиковать все это. Я пишу все, что считаю правильным, и не встречаю никаких ограничений при публикации.

Но, с другой стороны, это совсем не то, о чем мы мечтали и на что надеялись в августе 91-го года.

Да, журналистика ушла от государственной зависимости, но попала в не менее жесткую зависимость от денежного мешка. И новый политический режим по сути ничего не сделал, чтобы ослабить новую кабалу, в которую попала журналистика.

Да, мы после августа 91-го года приватизировали известинское здание, кое-какую технику. Но типография, автобаза, различные издательские службы оказались в руках других собственников. А потом в стране установились громадные, по сути монополистические цены на газетную бумагу. Система распространения прессы (чисто государственная монополия!) резко подняла свои тарифы. И наша независимость зашаталась.

А когда, немного спустя, к средствам массовой информации стал подбираться крупный финансовый капитал частных компаний и по «законам рынка» стал скупать акции СМИ, наше новое государство оказалось несостоятельным: во-первых, оно не сумело ввести и отстоять правила цивилизованного, конкурентного рынка (допустив господство олигархически-монополистических групп), а во-вторых, оно совершенно не учло специфики такого товара, как информация, как средства массовой информации. Это — не простой, это, можно сказать, *опасный* товар. И правила обращения с ним на рынке, правила купли-продажи его должны быть особые. Ведь не позволяет цивилизованное государство свободно гулять по рынку таким товарам, как вооружение, ядохимикаты, наркотики и т.п.

Этот товар не должен использоваться владельцами и для установления политической или идеологической монополии, для насаждения тоталитарной идеологии, национализма, шовинизма, фашизма и т.п. Государством же не обеспечена правовая практика борьбы против таких опасностей, общество просто бессильно воспрепятствовать такой «свободе» СМИ.

Наконец, не будем забывать и то, что закон о СМИ вышел до процесса массовой приватизации, до закона об акционерных обществах и, естественно, вступил в противоречие с последним. Получилось, что в законе о печати ничего не говорится об особенностях деятельности СМИ в форме акционерных обществ, а в законе об акционерных обществах не принимается во внимание чрезвычайное своеобразие таких акционерных обществ, как средства массовой информации. В итоге закон о печати утратил способность обеспечивать защиту прав журналиста — в сфере трудовых отношений и в сфере идейной.

Отсюда и следует мой вывод: государство не сделало того, что обязано сделать для упрочения свободы печати. Наоборот, оно создало обстановку, попустительствующую гонению на эту свободу.

Бовин. Мы действительно совершили скачок из царства политической цензуры в царство журналистской свободы. Наши СМИ стали гораздо более разнообразными, разноцветными, отражающими многообразие социальных, политических, жизненных позиций. Этих самых СМИ стало «просто» значительно больше. Если верить Союзу журналистов, раньше выходили 43 всероссийские газеты, а теперь аж 225! На все возрасты и вкусы.

И все же, все же… Дальше идут парадоксы свободы. Свобода печати с помощью свободы цен на печать выродилась в свободу от печати. По сравнению с 1990 годом, последним годом неволи, тираж газет сократился почти в 5 раз, а журналов — в 7,5 раза. Возможно, наша «самая читающая» страна превратилась в самую слушающую или самую смотрящую? Нет, к сожалению. Сокращаются и объемы телерадиовещания. Для миллионов наша свобода оборачивается свободой от информации, а значит, — свободой от собственного мнения, свободой слухов и сплетен.

Другой парадокс. Чем больше свободы — тем меньше ответственности, меньше профессионализма. Многие коллеги озабочены не тем, чтобы дать всестороннюю, общественно значимую информацию, не тем, чтобы показать смысл излагаемых событий, а тем, чтобы любыми способами привлечь к себе внимание, поднять свой «рейтинг». Со всеми вытекающими рекламно-финансовыми последствиями… Предлагаю близкий мне образ: заботятся не о качестве куска мяса, лежащего в центре тарелки, а о том, как и какой гарнир расположить вокруг него.

С этими самыми гарнирами ну прямо достали меня.

На телевидении нет спасу от «заставок» и т.п. Давайте, говорю, просто напишем на экране «Разговор по существу», и все дела, и будем говорить по существу. Нет, отвечают мне, надо, чтобы сначала что-нибудь там покрутилось, посверкало разноцветными огнями… И потом надо вас снять где-нибудь с задумчивым видом. Еще лучше — с умным видом. У памятника Пушкину, например. Или у мэрии… Наплывают крупные планы лица, звучит музыка…

Но тут я был почти непоколебим. Пожалейте, взмолился, ведь жена моя, друзья смеяться будут: ты еще, скажут, на Красную площадь попросись. В общем, отбился. Только в начале самом там что-то все же крутится. Однако не долго.

Другая форма гарнира — это заголовки. Тут уж каждый редактор старается изо всех сил. Читателя, объясняют, надо завлекать. Заголовок — как своего рода мотыль или мормышка. Чтобы клюнули.

Из-за проблемы заголовков прекратилось мое сотрудничество с еженедельником «Итоги». Возможно, я старомоден, консервативен, тем более — не кончал факультет журналистики. Как бы там ни было, но чрезмерную суету вокруг заголовков считаю пустой тратой времени и нервов. Терпел сначала, а потом иссяк. Последняя капля выглядела так. Написал комментарий к визиту президента Украины. Озаглавил: «Россия и Украина». Простенько, но точно по смыслу. Но не тут-то было. Даже главный редактор, очень, кстати, милый человек, вмешался. Никак, говорит, нельзя. И предложил: «Российско-украинский пасьянс». На «пасьянсе» я и сломался. Понимал, конечно, что эта штука посильнее, чем «Фауст» Гете, но сил уж больше не было. Все, сказал, давайте мирно разойдемся. И разошлись. Смешно, но факт.

Слов нет, гарнир нужен, и располагать его желательно красиво, с фантазией. Но на первом плане журналистских забот все же должен быть кусок мяса.

Далее.

Все толкуют об информации. Но поле ее сузилось до предела. Политические интриги, скандалы, сплетни про великих мира сего, криминалитет, аварии и катастрофы — такой вот «информацией» кормят нас каждый день и до отвала. И соответствующий «анализ».

Мне как-то попалось в руки интервью Игоря Евгеньевича Малашенко. У телезрителей, сказал он, плохой вкус, вот мы на этот вкус и работаем. Наверное, здесь наличествует элемент эпатажа. Но в общем-то дело обстоит именно таким образом. Ум, сердце, совесть — как все примитивно, старомодно, «совково». Развлекать и завлекать… Жить стало не лучше, но веселее, безусловно.

Есть и зависимость от денежного мешка, как говорил Отто, есть и резкое падение качества, профессионализма, ответственности, но все-таки «плохая» свобода предпочтительнее «хорошего» рабства.

Водолазов. Я хотел бы вначале обратиться к Отто Лацису. Я совершенно согласен с вашим выводом, Отто Рудольфович, относительно того, что государство не сделало ничего для упрочения свободы печати. И воздаю должное предшествующей ему аргументации. Во всяком случае, как политолог, следящий за жизнью политической мысли, могу констатировать, что именно вами в наше общественное сознание была внесена эта весьма плодотворная идея об особом характере такого товара, как средства массовой информации, и о необходимости поэтому выработки особых правил обращения с ним на рынке.

Но в моем сознании как-то не стыкуются два важных тезиса вашего анализа. С одной стороны, вы говорите, что не видите сегодня для себя никаких ограничений, что вы пишете что хотите и как хотите — и все это публикуется. А с другой — рисуете такую картину удушения свободы печати, что я просто не могу понять, как же это вам удается — в таких-то условиях! — и писать что хотите, и публиковать без проблем.

К тому же мне кажется, во-первых, что ваша констатация полной свободы вашего писания и печатания относится не к сегодняшнему, а к прошедшему (правда, совсем недавнему) времени — ну что-нибудь к периоду с 91-го года по момент лукойловско-онэксимовского переворота в «Известиях». Пределы вашей свободы *сегодня* существенно сузились. Или я ошибаюсь? Но ведь в старых, «ваших», «родных» «Известиях» вы ныне — персона нон грата. А в «новых» — ну там же тоже «денежные мешки» (со своими в высшей степени специфическими интересами) контролируют основные процессы жизнедеятельности, и умеют они это делать (знаю и по собственному опыту общения с ними) потщательней, пожестче и побеспощадней ветхозаветных главлитов и инструкторов ЦК (в те времена личный интерес был все-таки опосредован корпоративно-номенклатурными интересами, а тут он, личный интерес, — прямой, непосредственый, что называется, голенький).

И потом. Опасная это вещь: по своему субъективному состоянию судить о положении журналистов и журналистики в целом. Вы говорите: журнали-

стика ныне не та, что до 85-го года, — вы-де пишете и печатаете что хотите. Отто Рудольфович, я приведу сейчас сюда десяток публицистов (признанных, столь же, как и вы, талантливых — не графоманов каких-нибудь!), которые вам скажут: а вот мы не знаем, где и как нам печататься; печатают одну статью из десяти, и то в изуродованном, покореженном редакторскими карандашами виде; и потому мы, проклиная, как и вы, прошлое, не испытываем (уже в отличие от вас) никакой эйфории по поводу произошедших изменений. **Нас душили тогда номенклатурные палачи, сегодня — денежные. Да, способы удушения изменились, но, так сказать, содержание процесса осталось неизменным**.

Ну, хорошо, вам повезло: ваши представления о реформах, в которых нуждается Россия, совпали с программами властвующих послеавгустовских реформаторов. Статьи «совпадающего» журналиста, естественно, будут печататься без проблем. А каково «несовпадающим»? Тем, кто не приходит в восторг от приватизации «по Чубайсу», тем, кому, скажем, ближе «демократическая оппозиция» Явлинского?

Один очень показательный эпизод, хорошо известный и вам, и мне. В 1996 году один из кандидатов в президенты (демократическая позиция которого общепризнана) — Григорий Явлинский предложил двум известным публицистам возглавить издание (на средства «Яблока») печатного органа. Эти публицисты, разделяющие основные идеи так называемой демократической оппозиции, в свою очередь обратились к руководству «Известий» — предоставить им возможность (не бесплатно, разумеется) делать раз-два в неделю страничный вкладыш в «Известия» для изложения и пропаганды соответствующих идей. Вы лично, хотя и не разделяли точку зрения Явлинского и тех публицистов, активно поддержали тогда этот замысел.

А чем все это закончилось? Поначалу вроде договорились. Потом руководство вашей газеты заявило, что может предоставить полосу только «на правах рекламы» (а это, сами знаете, бешеные деньги!). Когда же обращавшимися эти деньги все-таки были найдены, последовал полный и категорический отказ: к тому времени газета твердо определила своего фаворита президентских гонок (Ельцина) и, по-видимому, сочла целесообразным быть твердым членом команды этого фаворита (что называется, «твердым искровцем»).

Из популярных газет только одна согласилась за сравнительно небольшую плату предоставить полосу «Яблоку» (был даже подписан соответствующий договор). Но тогда удар последовал с другой стороны: «сориентировался» и «определился» спонсор, давший деньги на это издание: он тоже решил сосредоточиться на том же фаворите, что и «Известия», и деньги отозвал.

Ну он-то ладно, от нынешнего нашего финансового капитала трудно ожидать нравственного поведения. Но «лучшая», «массовая», «демократическая» газета!..

А главный вывод, который я делаю в этой части дискуссии, состоит в следующем. Да, **мир журналистики у нас (по сравнению с застойными временами) стал другим, но не лучше и не свободнее. Поменялись лишь**

формы цепей. Понять это изменение, впрочем, немаловажно — хотя бы для ответа на вопросы — кто в этом виноват и, в особенности, что нам с этими цепями делать.

Лацис. Попробую ответить, Григорий Григорьевич, и на ваши вопросы, и на ваши инвективы. Боюсь, вы перепутали литературный прием с объективными критериями. Да, я люблю в статьях ссылаться на личный опыт, меня и самого в чужих статьях убеждают слова: «я сам видел», «это было со мной!». Но для объективной оценки свободы слова смешно ссылаться на то, что Иванову, Петрову, Сидорову не дали напечатать статью. Эдак я могу во имя своих прав и свобод потребовать, чтобы мне дали порулить реактивным лайнером или сделать операцию на чьем-нибудь сердце. Я встречал сотни случаев: человек написал профессионально слабую статью и шумит, что ее не напечатали из-за невероятной ее смелости. Да сейчас смелость не нужна для публикации — посмотрите хоть, что пишут про президента. Я ударение делал не на том, что ***мне*** можно публиковать все, а на том, что мне можно публиковать ***всё***, я как профессионал это констатирую (кстати, это не значит, что моих статей не отклоняли в «Известиях»).

Критерий свободы, стало быть, не в том, может ли высказаться каждый — так не бывает, читатель просто не в состоянии воспринимать такой поток речей. Критерий — имеет ли возможность гражданин получить всю информацию. И я не буду искать других примеров — предлагаю взглянуть по-иному на ваши собственные.

Вы упомянули о каких-то трудностях для тех, «кто не приходит в восторг от приватизации по Чубайсу». Охотно верю, что есть авторы, которые не смогли напечатать свои статьи на эти темы. Но есть ли читатели, для которых остался тайной критический взгляд на это? Критика ваучеризации стала самым надоевшим общим местом и в газетах оппозиции, и в газетах партии власти. О критике, то есть разборе, анализе, даже забыли, сведя к привычной ругани, чаще всего несправедливой. Тут не недостаток, а избыток возможностей для публичного выступления с любыми оценками, включая самые некомпетентные. Ругань в адрес властей из былого препятствия для публикации превратилась в единственное ее оправдание для многих.

Кто виноват?

Бовин. Отто Лацис уже говорил о том, что нынешнее состояние журналистики в значительной мере является результатом отсутствия продуманной политики государственной власти. Власть или не обращает внимания, или пытается под тем или иным соусом возродить цензуру. В данном контексте не могу не упомянуть о проекте федерального закона с таким могучим названием: «О Высшем Совете по этике и нравственности в области кинематографии и телерадиовещания в Российской Федерации». Поистине неймется... То Патриархия (вспомним бои вокруг фильма Скорсезе) пыталась учить нас «этике и нравственности». То думцы наши, насмотревшись, видимо, «Про это», решили, что лучше «народу» смотреть не про это, а про то. И под видом

некоего «Совета» и непременно «Высшего» вознамерились вернуться к временам государственной, политической цензуры.

Но не только в государстве дело. Еще более важно, что общество наше, наше общественное мнение оказалось, как мне представляется, неподготовленным к свободе печати, свободе слова. Как оно вообще оказалось неподготовленным к эпохе радикальных реформ. Ведь тот самый плохой вкус, о котором говорил Малашенко, действительно существует и господствует. Не случайно самые бездуховные, самые скандализированные передачи ТВ собирают самые большие аудитории. И, разумеется, состояние общества, его потребности, его вкусы, характер общественного «спроса» во многом определяют содержание журналистского «предложения».

Кстати, если уж говорить об угрозах демократии, то они не столько в кознях антидемократов, в продажности СМИ, сколько в незрелости общества, в его неспособности выдержать обрушившуюся на него свободу.

Так и хочется сказать: каково общество—такова и журналистика. Однако не буду использовать это «алиби». Журналисты оказались не готовы к свободе, пожалуй, еще в большей степени, чем общество. Не готовы интеллектуально. Уровень знаний, общекультурной подготовки, умение сопоставить факты, делать выводы не дотягивают до сложности проблем, в которые мы погружены. Не готовы нравственно. Поэтому ради «красного словца» не жалеют не только отца, но и самих себя, свою репутацию. Впрочем, о какой репутации можно толковать, если журналист гордо заявляет: «Я—хам!»—и спокойно продолжает появляться на экране.

Говорят и пишут о продажности (вежливо—«ангажированности») многих ведущих «акул пера» (и—языка). Не хочется верить в это. Но, к сожалению, приходится. Уж слишком откровенно все делается.

Водолазов. Александр Евгеньевич указывает на два очень важных фактора, разрушающих современную журналистику. Со своей стороны Отто Рудольфович обратил наше внимание на неумение (а то и нежелание) государства, власти создать правовую, демократическую среду для нормального функционирования журналистики. Мне хотелось бы указать еще на один фактор, определивший нынешнее печальное состояние нашего с вами ремесла, коллеги, фактор, который, как правило, напрочь упускается из виду аналитиками.

Значительная часть журналистов (а журналистская элита почти на 100%) отождествила «свободу печати» («независимость печати») и «свободу слова». Между тем это совсем, совсем не одно и то же. Их спутывание ведет к весьма тяжелым практическим последствиям. Журналисты заботились главным образом о «свободе» **для печати**, о своей, журналистской (фактически—корпоративной) независимости (от государства, от финансового капитала и т.п.), и мало заботились о «свободе слова» для всех граждан, для всех членов гражданского общества. И в результате такого подхода…

Лацис. Извините, я вас перебью. Я не вполне понимаю ваши дефиниции и ваше противопоставление! Я, например, не вижу какой-то принципиаль-

ной разницы между «свободой печати» и «свободой слова». «Свобода печати» и выступает как инструмент, как средство реализации «свободы слова» для читателей. Уничтожение «свободы печати» в обществе означает и уничтожение «свободы слова». А какая еще может быть реальная «свобода слова»? Что — выйти на Красную площадь и, как в известном анекдоте, кричать «Долой президента!» Или обеспечить «свободу слова» (как в былые времена) на московских кухнях? Это маловато! Настоящая свобода слова реализуется только тогда, когда человек может напрямую обратиться ко всему обществу, и осуществляется она решающим образом через средства массовой информации. Другое дело, печать нынешняя нередко злоупотребляет свободой слова, дискредитирует ее. С этим я бы согласился. И потому печать сегодня не в состоянии убедить общество, что она заслуживает твердой поддержки со стороны общества как выразитель, как носитель свободы слова. Во всяком случае это удается далеко не всем, далеко не всегда и далеко не в полной мере. Чаще всего читательское отторжение вызывают уровень и манера журналистского общения с читателем. Каков был настрой многих журналистов периода «застоя»? Эх, слишком низкие потолки установлены в нашем журналистском здании. Вот бы поднять их повыше — отменить цензуру, снять партийное давление — вот тогда бы мы прыгнули. Ну, вот отменили цензуру. И что же? Никто ни в какие поднебесья не прыгает. Оказалось, что знаний серьезных нет, профессиональное умение, кроме умения показывать фигу в кармане, практически отсутствует. К тому же и совести маловато. А тут конкуренция началась, борьба за выживание, влияние, тиражи. Побеждать ведь надо! А как, за счет чего? За счет глубины, основательности, яркости — не получается, Бог не дал. Значит — за счет псевдоостроты, за счет хамства, вранья, скандалов, публикации компроматов и т.д.

Часто сегодня говорят о продажности журналистов, заказных статьях. Да, это все есть, в особенности в электронных средствах массовой информации (где деньги большие ходят). Но чаще всего дело в другом: появление всех этих «чернух» и «компроматов» вызывается не «оплатой» данного журналиста (многое делается без всякой «сверхоплаты»), а его профессиональной несостоятельностью, ибо иным способом добиться превосходства над конкурентом он не способен.

Бовин. То, что продаются и покупаются (хотя и по дешевке) бесталанные, профессионально несостоятельные журналисты, — это не вина, а беда нашей журналистики. Таланта нет, но жить ведь нужно. Жена, дети и т.д. Вина, это когда продаются блестящие профессионалы. Их вина, ибо талант купить можно лишь тогда, когда он хочет продаться. Наша вина, ибо мы терпим их в своей среде.

Водолазов. Насчет «потолков» и связанных с ними рассуждений Отто Лациса согласен. А вот к отношению «свободы печати» и «свободы слова» вернусь.

Конечно, свобода слова реализуется в первую очередь через «свободу печати», через институт «независимой прессы». Но вся беда-то в том, что наш

журналистский мир истолковал «свободу печати» и «независимость прессы» весьма и весьма своеобразно — как свободу слова... *для работников печати, для журналистов,* но не *для всех граждан* страны. Средства массовой информации вместо того, чтобы стать инструментом всего гражданского общества, ареной деятельности, общения *всех* граждан, своеобразным гайд-парком в масштабах всей страны (как то должно быть в нормальном демократическом обществе} превратились в некие элитные журналистские «клубы», где идут бесконечные журналистские тусовки и куда доступ простым смертным (не-журналистам) практически закрыт. Проведите небольшой эксперимент: выньте наугад из подшивки номер старых «Известий», «Новых Известий», «Московского комсомольца» — вряд ли вы найдете там статьи, письма учителя, врача, инженера, фермера, предпринимателя; на 95% — писания самих сотрудников газеты.

Освободившись (где-то на рубеже 90-х годов) от цензуры, от партийного давления и не попав еще под пяту только-только складывающегося финансового капитала, журналисты (в первую очередь, конечно, журналистская элита) спешили создать свой, независимый, корпоративный мир. С подкупающей и циничной прямотой средства массовой информации заявляли: на письма граждан не отвечаем, рукописи не рецензируем и не возвращаем, и вообще мы вправе никак не реагировать на ваши обращения к прессе — это *наш* (а не ваш) мир, наше приватизированное, монопольное производство. Иначе говоря, они постарались стать независимыми даже от... общества — этакие частные концерны по производству такого прибыльного товара, как информация. Нефтяные компании гонят нефть, алкогольные — водку, журналистские — информацию — в погоне за влиянием и прибылью. Так понимаемая и так реализуемая «свобода печати» и превратилась в антипод «свободы слова». И не случайно ведь, дорогой Отто Рудольфович, когда известные и милые когда-то читательскому сердцу газеты разрушались олигархическими группами (в т.ч. и ваши старые «Известия») — общественность более чем равнодушно относилась к этим событиям. А что ей особенно волноваться-то, ведь это не ее, это — **ваши** газеты.

В общем, создание нынешней удушающей атмосферы — плод деятельности не только властных группировок и финансовых групп (что вами, Отто Рудольфович, было превосходно показано), но и в значительной степени журналистской «демократической» элиты (попробуем быть критичными в отношении себя и своего профессионального цеха!). Поэтому, по праву требуя от властей изменения политики в отношении прессы, давайте обратимся с призывом и к самим себе, к своим коллегам: разрушить этот замкнутый корпоративный мир журналистских тусовок и выйти к людям, к гражданам страны, рассматривая средства массовой информации не как «нашу», журналистскую, собственность, не как собственность «нашего», журналистского, коллектива, а как собственность всего общества, всех его граждан.

Кстати, эта открытость обществу, эта прямая, ясная, открытая связь с демократической общественностью — только и способна обеспечить дейст-

вительную независимость прессы от давления чиновничества и «денежных мешков».

И еще. Вы убедительно показали, что пресса, информация — это «особый» товар, и потому к нему надо относиться по-особому. Это так. Я бы только добавил, что пресса и информация — это только **отчасти товар** и что в гораздо большей степени — это сфера и продукт **культуры**, т.е. явления, главное развитие которого происходит за рамками товарно-стоимостной парадигмы. И потому контроль за ее развитием гражданское общество не может доверить стихии рынка, тем более современного «рынка» — монополий и криминальных групп.

Лацис. Да, конечно, опереться прессе на гражданское общество было бы очень неплохо. Но как это сделать и насколько это реально сегодня? Через письма читателей? Я лично не вижу греха в том, что газеты отказались отвечать на письма. Во-первых, это физически невозможно. Ведь прежние «Известия» содержали 80 человек (за счет, кстати, государства, налогоплательщиков!), которые «работали» с «письмами трудящихся». А вся их «работа» состояла в том, что в 99 случаях из 100 они направляли эти письма в те или другие бюрократические инстанции (которые к тому же, в свою очередь, отфутболивали их частенько тем, на кого читатели жаловались), а авторам писем летел стандартный ответ: «Ваше письмо направлено туда-то»... Сейчас в «Известиях» на письмах «сидят» только два человека. И отвечают на письма, когда сочтут нужным. Интересное же, на их взгляд, письмо передают в отделы газеты.

А вспомните, как прежде появлялись на страницах газеты не-журналистские статьи — врачей, слесарей председателей колхоза... Журналист пишет материал, а доярка, свинарка, инженер, колхозник подписывают. Нет, это была не связь с гражданским обществом, это — издевательство над ним.

И все же, при этих оговорках, с главным вашим тезисом — о том, что современная журналистика не стала(!) средством реализации «свободы слова», — я соглашусь. Но только зачем именовать такой тип деятельности современной прессы «свободой печати» («свободой для журналиста» и т.п.). Я бы назвал это явление, разрушающее свободу слова, «журналистским монополизмом» — идеологическим, политическим, организационным. Ведь, когда бандит грабит, это же не называется «свободой для бандита». Это — просто «бандитизм».

Что делать?

Лацис. Чтобы преодолеть кризис современной журналистики, каждому общественному институту надо проделать свою часть работы.

Властным структурам (президентским, правительственным, парламентским) — принять законы о печати, соответствующие нынешней ситуации, о чем я уже говорил в начале нашей беседы. Надо добиваться, чтобы судебная власть стала властью, и особенно важная ее задача — решительнее, тверже, в полной мере применять антимонопольное законодательство во всех

сферах деятельности, соприкасающихся с прессой, а также быть объективнее в защите прав журналистов (суды, как правило, принимают решения не в пользу средств массовой информации).

Многое могут сделать наши капиталисты, владельцы средств массовой информации. Они прежде всего должны понять, что использовать прессу для публикации «заказных статей» — это просто неприлично, дискредитирует свободу слова.

Водолазов. Апелляция к совести, нравственности «денежных мешков»?

Лацис. Нет, не к совести, а к деловой целесообразности: разъяснять, что цивилизованный бизнес в конечном счете выигрывает у нецивилизованного.

Водолазов. Не верю я ни в цивилизованность наших нынешних «капиталистов», ни в благие намерения властей. Нам, работникам интеллектуальных профессий, рассчитывать должно только на себя.

Мы просто не нашли пока формы противостояния этой современной финансовой силе, мы просто (по старой, воспитанной в прежние времена привычке) очень полагались на наше политическое начальство, которое — избранное нами! — нас защитит от этих новых напастей. Но поскольку сейчас вполне выяснилось, что оно не только не может, но и не хочет «защищать», что — более того — оно просто в более дружеских отношениях с «финансистами», чем с нами, рядовыми, не-власть имущими гражданами, — то и надежды наши должны быть связаны только с нашими собственными возможностями. По-видимому, гражданское общество должно обзавестись своими союзами, объединениями, организациями, которые-то и давали бы шанс каждому на борьбу, на то, чтобы «не пропасть поодиночке».

Бовин. Мне как-то не очень верится, что государственные органы проявят заботу о журналистике и журналистах. Я даже боюсь такой заботы, так как ее обратной стороной неизбежно станут зажим свободы, та или иная форма цензуры. Объятия, которые удушают…

Думается, целесообразнее сделать упор на укрепление Союза журналистов, его региональных организаций, всякого рода журналистских ассоциаций, кооперативов, объединений. Много, если вспомнить не модного нынче Маяковского, налипло разных грязных ракушек. Но не вечно же это будет… В общем, вы кстати процитировали еще модного Окуджаву: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке…»

И еще следует сделать упор на повышение собственной сопротивляемости всяким давлениям и влияниям. Нам иногда явно не хватает запаса журналистской прочности. Мы слишком быстро и легко сдаем позиции.

Часто слышу, например, разговоры о «новой цензуре». Не формальной, но весьма действенной. Судя по тем же разговорам, ее осуществляют, в первую очередь, те, кому принадлежат те или иные СМИ. Мой личный опыт пока еще минимален. Но он показывает, что многое зависит от самих журналистов. Надо, повторяю, сопротивляться.

Приведу «пример». В первую программу «Разговор по существу» я хотел пригласить А.Б.Чубайса. Поговорить о стратегии реформ. Это вызвало боль-

шие волнения руководства «ТВ-центра». Ссылаясь на то, что у Ю.М. Лужкова не очень, мягко говоря, хорошие отношения с Чубайсом, мне настойчиво не советовали иметь дело с Чубайсом. «Скандал будет...»

Меня все эти треволнения удивили. Я всегда воспринимал Юрия Михайловича как умного человека. И мне казалось, что его личные взаимоотношения с каким-либо персонажем телевизионной передачи не могут рассматриваться — им же самим, в первую очередь, — в качестве некоего цензурного мотива. Нет, я решительно не хотел согласиться с тем, что «хозяин» Москвы, а следовательно, и «ТВ-центра» может позволить себе такую глупость.

Позвонил мэру. Замечу в скобках, что он — один из немногих ныне начальников, до которых можно дозвониться. Изложил ему ситуацию. И услышал то, что рассчитывал услышать. К сожалению, не могу здесь воспроизвести сочную лексику Лужкова. Но в устной, так сказать, форме довел ее до сведения своих телевизионных боссов.

Мораль сей «басни» проста. Не так страшна цензура, как ее иногда малюют. Важно настроиться на преодоление страхов, не складывать сразу лапки и по возможности прибегать к «первоисточникам». Поскольку эти самые «первоисточники» часто не в курсе того, как их интерпретируют зависимые от них люди. Ну, а Лужкову спасибо за то, что не разочаровал, не подвел...

Главное же, конечно, — это продолжение курса, с которого мы все время сбиваемся, — курса на радикальное реформирование постсоветского общества. И хотя журналистика обладает определенными степенями свободы, самостоятельности, ее судьба — функция от судьбы общества.

Лацис. Ну, разумеется, общество должно понимать высшую ценность для его жизнедеятельности «свободы печати» и «свободы слова» и быть способно защищать эти ценности от покушения на них чиновников или финансовых олигархов. Но как, в каких формах защищать, чтобы это не осталось лишь прекраснодушными пожеланиями?

Я думаю, — не декларациями, не петициями от каких бы то там ни было союзов или объединений, а в первую очередь финансовой поддержкой. Должны реально действовать какие-то фонды, стремящиеся обеспечить поддержку «свободы слова». Ну, может быть, вроде того «Фонда поддержки свободы слова», который создан совсем недавно и президентом коего состоит ваш покорный слуга. Правда, фонд — есть, а денег — пока нет. Надеюсь, что «пока», ибо общая идея — хорошая и, возможно, удастся осуществить материальное обеспечение этой идеи.

Наверное, многое могут сделать те, кого проблемы «свободы печати» касаются особенно близко, — сами журналисты.

Не знаю, может, это чересчур самонадеянно так думать, но мне всегда казалось, что в нашей борьбе с «ЛУКОЙЛом», ОНЭКСИМБанком мы отстаиваем интересы не только журналистов «Известий», но всей журналистской корпорации, мы отстаиваем «свободу слова» вообще. Но многим нашим коллегам из других изданий, по-видимому, так не казалось. По-настоящему нас поддержали, пожалуй, только коллективы «Новой газеты», «Московских но-

востей», радиостанции «Эхо Москвы». Остальные — в лучшем случае отмалчивались («не за нами пришли!»).

Да, в этой борьбе мы потерпели поражение — мы проиграли «Известия». Но общий итог борьбы не сводится только к этому факту. Мы, журналисты, немало и выиграли. Мы обеспечили этой борьбе широкую гласность — передавая другим опыт нашего противостояния. Мы показали, что не обязательно безропотно ложиться под топор финансовых олигархов, им можно и нужно навязывать бой. В ходе этой борьбы мы создали нечто, что может стать историческим прецедентом: мы создали «Хартию» отношений журналистов с акционерами, в которой разработан механизм защиты прав и достоинства журналистов. Ее подписали «ЛУКойл», ОНЭКСИМБанк и «Известия» — в период, когда нас еще не предали некоторые наши союзники. Мы опубликовали эту «Хартию» в апреле 1997 года. К сожалению, выяснилось, что подписавшие ее инвесторы не собирались ее выполнять, так что политическая цена ее пока равна нулю.

Но если не в практическом отношении, то в идейном мы осуществили интеллектуальный прорыв — стало ясней, как журналистам отстаивать свои права и достоинство.

Но вообще-то не стоит предаваться иллюзиям: собственными силами журналисты свои проблемы не решат. Если не бояться громких слов, то следует сказать, что только просвещенный капитал, который к тому же не сводит свои интересы к стремлению овладеть средствами массовой информации, — только он способен поддержать различные фонды «гласности», «свободы слова», «независимости печати» и т.п. И эта надежда — не утопия. Я знаю немало образованных, интеллигентных капиталистов, которые занимают достаточно верную политическую позицию — они хотят быть лидерами культурного бизнеса без того, чтобы скупать для себя средства массовой информации. Все наши журналистские фонды нуждаются только в одном — денежной подпитке. Другого нам не надо. «Свободы слова» — сколько угодно, денег нет. Были бы деньги — и любая газета могла бы стать свободной.

Бовин. Мне не пришлось участвовать в разборках, которые так долго лихорадили «Известия». Но со стороны эти разборки не выглядели как борьба рыцарей «свободы слова» против нашествия «финансовых олигархов». Возможно, я ошибаюсь, но у меня сложилось впечатление, что прежнее руководство «Известий» не смогло удержать газету на плаву. Начались поиски «олигархов». Чтобы те давали деньги, но сохранили наличествующее руководство. Вот тут и разгорелась борьба. Исход ее для стороннего наблюдателя был ясен. Шахматисты-перворазрядники не могут обыграть Каспарова (или Карпова, кому кто нравится). Они и не обыграли. Рассердились и ушли к другим «олигархам».

Моя позиция очень проста. В качестве цензора (коего я пока никак не ощущаю) ОНЭКСИМБанк ничуть не хуже цековского Агитпропа или «ветхозаветного» главлита. А может быть, и лучше. Если мы и тогда делали не самую плохую газету, то почему же не попытаться делать это сегодня?

Что же касается «просвещенного капитала», то он возможен только в просвещенном обществе. И журналистика, которая отказывается просвещать общество, которая отказывается говорить, «что такое хорошо и что такое плохо», сама роет себе яму, из которой ей трудно и долго придется выбираться.

Мне как-то пришлось участвовать в телепередаче под названием то ли «Времечко», то ли «Вечерочек», не помню уже. Показывали двух девочек на площади Трех вокзалов. Одна — проститутка, зарабатывает, содержит маму и сестренку, другая — вроде бы из бригадмила, порядок наводит. Обе повествуют репортеру о своей жизни. И обе к утру расходятся по домам.

Ведущий обращается ко мне и говорит: вот когда слушал проститутку, вспомнил Станиславского — «Не верю!», а вы поверили ей?

Мой ответ звучал примерно так: когда я смотрел эти сценки на площади, то думал совсем о другом. Что вы хотели сказать людям? Неужели, с точки зрения телевидения, безразлично, чем занимаются эти девочки? Какие мысли, какие чувства несет зрителям камера, внимающая равнодушно добру и злу?

Что же, по-вашему, мы должны сказать: «Вот это хорошо, а это плохо?» — спросил ведущий. Время поджимало. Дискуссия закончилась. Моя «совковость» была явлена миру.

Так вот такому равнодушному телевидению, таким равнодушным газетам просвещенное общество не нужно. А в просвещенном обществе журналистам стыдно будет декларировать свое равнодушие.

Водолазов. Я всё же остаюсь при своем мнении. «Свободными» прежде всего должны стать не газеты, а граждане. У них «свободы слова» не «сколько угодно», а практически — никакой. А главный путь к общегражданской свободе и на ее основе — к «свободе», «независимости» прессы — пролегает отнюдь не через кошельки «цивилизованных капиталистов», это скорее дорога к «независимости» от общественности, от граждан.

На мой взгляд, журналисты, действительно желающие преодолеть кризис прессы, должны видеть свою главную задачу не в достижении **личной** (и корпоративной) независимости и свободы, а в том, чтобы помочь безъязыкому сегодня, молчащему, лишенному арен публичного общения обществу стать громкоговорящим, думающим, многоголосым обществом, журналисты должны вести свое дело так, чтобы не властные, элитные круги, а все граждане страны на деле почувствовали, что пресса — это их, им нужная пресса, и в этом случае они наверняка поддержат ее и материально (каждый понемногу, но этих «каждых» — миллионы!) и политически — своей объединенной силой.

Политическая наука, государство и гражданское общество

Существует один стереотип, касающийся понимания взаимоотношения политической власти и политической науки. Стереотип этот сложился в те

времена, когда у нас была одна партия, одна (на всех) идеология и одно, «единственно верное», учение. Суть его: политическая наука — нечто такое, что призвано *обслуживать* политика, быть его интеллектуальной челядью, его обслуживающим персоналом. На официальном языке это называлось — быть «приводным ремнем», или еще красивей: «быть боевым помощником» партии. Высокопоставленные политики из ЦК и Политбюро постоянно «озадачивали» ученых — что именно им нужно исследовать и как нужно это делать. Они собирали их на «загородных дачах», на «совещаниях» и всяких там «пленумах», где журили их и корили, если ученая челядь «отставала от жизни», «не отвечала на запросы политической практики», не слишком энтузиастично выполняла повеления «родной партии» и не менее «родного» правительства.

Впрочем, особо усердных похваливали и даже материально и премиально (порой — весьма недурно) поощряли. Ученые слушали своих политических учителей «с чувством глубокой благодарности», обещали исправиться и поднажать: «Обещаем Вам, дорогой Никита Сергеевич (Леонид Ильич, Юрий Владимирович, Константин Устинович)...».

Сегодня вроде бы социально-политическая ситуация изменилась: плюрализм, многопартийность, свободы, государство не заправляет всем и всеми... А вот поди ж ты, трепет перед политиком, желание послужить и прислужить ему во многих научных сердцах и душах остались. Так и ищут, так и оглядываются по сторонам, к какому бы политику притулиться сегодня, какому бы политику «сапоги почистить». Вообще сегодня довольно распространен образ политического ученого как существа низкооплачиваемого, маловлиятельного, к которому крупные действующие политики относятся с нескрываемым пренебрежением. И поделом! А как еще прикажете относиться к человеку, согласному на место и роль челяди?

И если это так (а я думаю, что — именно так!), то значит все мы еще ***там*** — в той системе, которую мы так энтузиастически и так беспомощно хотели перестроить. Значит, мы — общество, по-прежнему, по сути, лишенное политической Науки (которая заменена у нас своими суррогатами — политическими идеологиями и политическими технологиями). Если же желать всерьез и надолго строить демократическое общество, то взаимоотношение Политики и Науки, Политика и Ученого должно быть принципиально иным. Каким? Выяснение этого тем более необходимо, что место, роль и значение политической науки в жизни конкретного общества особенно наглядно характеризует его социальный строй.

В общем: **скажи мне, какое место занимает наука в социально-политическом процессе твоей страны, и я скажу, какой общественный строй в твоей стране.**

Начнем ответ на поставленный выше вопрос вот с чего — с констатации того, о чем политические теоретики говорили еще со времен Платона и до наших дней — что политика есть процесс согласования интересов социаль-

ных групп, слоев, классов в социуме при посредстве такого инструмента, как государство, — обладающего правом легитимного насилия... Но пространство, где рождаются эти интересы, где они сопрягаются или сталкиваются, — это, как известно, пространство так называемого гражданского общества. Согласовывать же эти интересы граждан, вырабатывая приемлемую для большинства программу социальной деятельности и передавая проблематику этих сталкивающихся интересов в политические сферы, можно двумя разными способами (и с разными, в итоге, результатами).

Первый — это когда каждая социальная (большая или малая) группа, вступая на путь такого согласования, стремится добиться такого общего решения, в котором бы ее групповые, корпоративные интересы получили приоритетное, преобладающее значение. И это нормально. Нормально и то, что ее групповые интересы артикулируются, аргументируются и пропагандируются в программных документах организаций, именуемых политическими партиями. Такого рода теоретические построения, отражающие интересы отдельных социальных групп, называются политическими *идеологиями*. Они могут быть «буржуазными», «пролетарскими», «крестьянскими» и т.п.

И есть другая сфера интересов. Ее обозначил один знаменитый политик, которого принято считать «идеологом пролетариата». Так вот этот политик сказал однажды фразу, просто потрясшую его твердокаменных (и весьма дубоватых) «верных учеников», фразу, от которой они постоянно приходили в растерянность и которую, будь их воля, они бы каленым железом выжгли из наследия своего Учителя. Но слово было сказано, и слово удивительной глубины и теоретической смелости (учитывая жесткую, постоянно подчеркиваемую, классовую определенность политика): «Интересы общественного развития выше интересов пролетариата»! Это — Ленин. И эта констатация дорогого стоит! Да, есть интересы пролетариата, да, есть интересы буржуазии. Но есть и еще нечто, что выше их, — это интересы *всего* общества, интересы общественного развития *в целом*.

И если это верно (а я думаю, что это абсолютно верно), то, наряду с идеологическими построениями, должна существовать теория, которая бы и определяла эти интересы «общественного развития в целом». Определяла бы тем самым, говоря высоким (но очень точным) Гегелевским языком, Истину социального бытия, его Законы.

Владыки, вам венец и трон
Дает закон, а не природа.
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас ***закон***!

Эта теория и должна выразить тот ***закон***, который выше государей, социальных классов и политических партий. А теория, устанавливающая подобные ***законы***, называется, как тоже известно, ***наукой***. И вот каковы методологические предпосылки моего анализа.

Первая: политическая наука, призванная, прежде всего, осмысливать интересы *гражданского* общества, является, в первую очередь, *инструментом гражданского общества.*

И — вторая: политическая наука, имеющая задачу выразить интересы общественного развития в целом, открыть *законы* социального бытия, — внепартийна и надпартийна. «Партийная», «классовая», «сословная» наука — не наука!

То, что политическая наука — ***инструмент*** **гражданского общества** должно быть в полной мере осознано как самой политической наукой, так, в особенности, и гражданским обществом. Ибо из этого осознания следуют весьма существенные и далеко идущие выводы.

Так, если политическая наука — инструмент гражданского общества, то общество и должно озаботиться тем, чтобы инструмент этот находился в отлаженном состоянии, должно озаботиться оказанием ему всемерной поддержки — моральной, материальной, организационной.

Уже и сегодня в рамках гражданского общества общественно-инициативным путем создаются самоуправленческие научно-общественные организации. Достаточно упомянуть (если говорить о сфере политической науки) успешно действующие Академию политической науки с ее филиалами в различных регионах страны, Политологическую Ассоциацию с ее исследовательскими группами. Но гражданское общество заинтересовано в том, чтобы деятельность этих и других подобных организаций строилась не только на энтузиазме их членов. На энтузиазме можно *начать* действовать, можно сделать первые шаги, но успешно и стабильно развиваться можно лишь при условии *материальной и финансовой поддержки.* Это — особый и долгий разговор. Затрону лишь некоторые аспекты проблемы.

Ну, предложение о необходимости увеличения в бюджете статей расходов на науку лежит, что называется, на поверхности стола. И оно, конечно, оправданное: нынешние отчисления — 0,2–0,3% — невероятно малы. Но сегодня я хотел бы обратить внимание вот на какую сторону проблемы. Сколько бы — много ли, мало ли — ни планировалось выделить средств на науку, их следовало бы распределять вот каким образом: половину выделенных на науку бюджетных средств передавать государственным структурам, другую половину — общественным структурам, научным организациям гражданского общества, возглавляемым самоуправленческими институтами.

Меня могут спросить, с подозрительным прищуром: вы что же, предлагаете отделить Науку от Государства? Отвечаю: в определенной степени — да! А почему это должно смущать? Нас же, слава богу, уже не смущает, что значительные сектора *экономической* деятельности отделены от государства и регулируются механизмом рыночных отношений. Так пусть же гражданское общество потребует, чтобы часть бюджетных средств, выделяемых на науку, не проходила через руки государственной бюрократии, а поступала непосредственно в распоряжение общественных организаций. Ну, пусть это будет, например, какая-нибудь Всероссийская Кооперация ученых, чье

демократически избранное руководство (под контролем общественных советов) сможет, конечно же, использовать выделенные средства с несравненно большей эффективностью, нежели государственно-бюрократическое ведомство.

И еще одна идея — связанная с осознанием того, что все существующие научные институты, вузы и школы — это собственность гражданского общества, доверившего государственным структурам распоряжаться этим богатством. Живя многие десятилетия в тоталитарном государстве, мы привыкли к тому, что вся научная и учебно-образовательная деятельность целиком и полностью направляется и контролируется государственными структурами. Мы привыкли считать, что вся материально-финансовая база НИИ, вузов и школ, их аудитории, кабинеты, оборудование и т.п. — есть безраздельная собственность государства и что только государственная бюрократия имеет право распоряжаться всем этим богатством, что только она имеет право определять учебно-образовательные стандарты, вырабатывать планы и определять перспективы научного развития страны. И забывается при этом, что вся эта материальная база изначально и по сути своей — собственность гражданского общества, коллективная собственность граждан (созданная их деятельностью, поддерживаемая и развиваемая их налоговыми отчислениями) и лишь переданная в управления государственным структурам. Конечно, сегодня без *государственного* управления здесь не обойтись. Но оно не должно быть тотальным. Не наступило ли время, когда государство должно «поделиться» с гражданским обществом, когда государство должно вернуть гражданскому обществу часть этого богатства, и передать ее в непосредственное распоряжение гражданского общества? Пусть будет, так сказать, «обязательная», государственная, программа, но пусть, наряду с ней, будет и «произвольная» (определяемая научным сообществом, той самой Кооперацией ученых). Конечно, и сегодня многие, наиболее, так сказать, продвинутые и возглавляемые толковыми и дальновидными руководителями научные и учебно-образовательные структуры (такие, например, как МГУ, МГЛУ, МГИМО, РАГС, госуниверситеты в Казани и Екатеринбурги) понимают эту задачу и предоставляют свои материально-организационные возможности в распоряжение организаций и объединений гражданского общества. Но важно такого рода деятельность перевести из сферы благотворительности, из сферы доброй воли в сферу Закона. И тогда, получив хоть какую-то материальную основу для своей деятельности, другим, более свободным и более самостоятельным голосом заговорит Наука.

В общем, основная мысль моего выступления состоит в том, что Политическая Наука, осознав себя институтом *гражданского общества* и в *этом качестве* получив определенную материально-финансовую базу для своей деятельности, сможет выступить на общественной арене уже не в качестве обслуживающего персонала политиков и государственных чиновников, а в качестве равноправного им соавтора по формированию и развитию социально-политической системы.

Социальное — это производство человека

Я тоже, как и Борис Капустин, думаю, что «социальное», «социальная сфера» — это не один из секторов общества, **наряду** с экономическим, политическим, культурным и т.д. «Социальное» пронизывает все «сектора», ибо оно не какой-то материальный или культурный субстрат, а — определенное **отношение**, существующее и в сфере материального производства, и в сфере политического действия, и в сфере культуры. Я бы сказал: социальная сфера — это сфера производства Человека. Все, что — в любой форме и любой сфере — способствует становлению и развитию свободного, ответственного, нравственного, материально — в разумных пределах — обеспеченного человека — это и есть «социальное».

Так, материальное производство в демократическом, гуманистическом обществе может и должно быть не столько производством товаров и капитала, сколько производством человеческих способностей, производством Человека. Культура — феноменом не шоу-бизнеса, а сферой формирования культурно-нравственных ценностей, инструментов формирования не идолов, а идеалов. И политика — не формой господства одних над другими, но средством создания общественно-правовой инфраструктуры, которая способствовала превращению человека из объекта в субъект истории, его продвижению из мира необходимости в мир свободы. Вот тогда государство станет «социальным» государством, а общество — в полной мере Человеческим, Гуманистическим обществом, сообществом неотчужденной деятельности людей.

Одно из важных направлений ускорения этого процесса в наши дни — развитие структур гражданского общества, умножение общественных объединений, союзов, инициатив, дабы осуществлялось постепенное перетекание многих государственно-властных функций в сферу деятельности этих общественных, гражданских институтов.

Одно из таких важных направлений развития «социальных» структур в современных условиях — это формирование и развитие общественных научных объединений. Знание, наука в руках общественности — способны стать великим рычагом процесса, который я бы назвал процессом «социальной реформации». Но сегодня этот важный участок социальной деятельности грозит превратиться в поле битвы между бюрократической (асоциальной) частью государственных структур и социально-общественными институтами. О некоторых нешуточных проблемах, возникающих в связи со всем этим, мне и хотелось бы сказать сегодня — с той степенью жесткости и эмоциональности, которые, на мой взгляд, необходимы для привлечения к этим вопросам внимания широкой общественности.

В науке, видите ли, решено навести порядок. За это взялся Комитет Государственной Думы по образованию и науке. Но не радуйтесь, не ликуйте, господа ученые: речь идет вовсе не о том «порядке», о котором мечтаете вы, — о порядке в области организации и финансирования науки. Нет, нет,

в этом-то отношении все останется как прежде — нищенская зарплата, развал научных школ, утечка мозгов. Не об этом шла речь на заседании «круглого стола», состоявшегося недавно в стенах Госдумы.

Речь там шла о вещах несравненно более важных (с точки зрения депутатского комитета и активно помогавшей ему другой государственной организации — РАН, т.е. Российской Академии наук) — речь шла о наведении «порядка» в «беспорядочных», а то, по мнению государственных мужей, и просто «непорядочных» попытках неорганизованной научной массы спасти самих себя — свой интеллектуальный потенциал, свой мир научного общения. «О деятельности общественных академий наук» — так, почти как «персональное дело» грозных некогда партсобраний, была сформулирована повестка дня.

В «деятельности» этой, как следовало из вступительных слов организаторов, таится масса угроз и опасностей для науки и общества.

Во-первых, уж слишком много развелось этих общественных «Академий наук» — аж 71 штука. Около половины из них, вступив в какие-то формы кооперации с зарубежным научным миром, назвали себя даже (о, ужас!) «международными»! При этом, по высококомпетентному мнению государственных думских мужей и представителей «нормальной», государственной Академии (РАН), среди этих общественных академий только 10–12–15 (назывались разные цифры) из них — «полезные», «передовые», «способные внести вклад в процветание науки». Наличие остальных 50–60 академий — это «непорядок» (было даже употреблено слово — «безобразие»). Их деятельность надо как-то укоротить. Представитель министерства юстиции не без удовлетворения доложил, что за последнее время удалось-таки несколько укоротить число этих самых академий — на 11 штук; так что теперь их уже не 71, а — 60. И работа, упорная и настойчивая, будет продолжаться (по-видимому, до тех пор, пока останутся только «передовые» и «полезные» общественные академии, число которых в процессе укорачивания будет уточняться, и, как я подозреваю, по решительному настрою государственных людей, отнюдь не в сторону его увеличения).

Получившие (в соответствии с заранее намеченным сценарием) слово представители некоторых «передовых» и «полезных» общественных академий в своих проникновенных речах поддержали постановку вопроса официальных государственных инстанций, кстати, ненавязчиво пробросив мысль, что их академии были, между прочим, первыми, что они, стало быть, первопроходцы и что они к тому же очень строго держат свою марку — один оратор даже заверил, что нынешнюю численность своей академии они не увеличат более ни на одну единицу (понятно — «автобус не резиновый»!). Они, в унисон с государственными людьми, и даже поядовитее их, высмеивали коллег из «ненастоящих», «халтурных» общественных академий (разумеется, не приглашенных на обсуждение: ведь организаторы заранее решили, что они не «настоящие» — чего же с ними якшаться-то!) и заканчивали свои речи бодрыми призывами «помочь Госдуме и Минюсту навести порядок».

Представители официально-государственной Академии (РАН) усмотрели в деятельности общественных академий еще одну жуткую для науки и российского общества опасность — появление в них неких «лженаучных направлений» (которым-де общественные академии не всегда готовы и способны дать достойный отпор). Поминались, в частности, какие-то «лжеучения» в физике, суть которых, будучи (как и абсолютное большинство присутствующих) гуманитарием, пересказывать не берусь. Но идея улавливалась отчетливо: иные общественные академии — это потенциальные разносчики «лженаук».

Но особенно болезненной и потому особенно тщательно рассматриваемой оказалась вот какая проблема: члены общественных академий именуют себя «академиками», а это-де вносит путаницу — ставит на одну доску «подлинных» академиков (т.е. состоящих в официальной Академии наук и получающих за это членство деньги) и академиков «общественных» (тех, что являются членами общественных академий, естественно, за свое членство денег не получающих). Долго (и немного нервно) намечались пути, как бы в самом поименовании различить эти разные типы «академиков». Чаще других звучали предложения — лишить общественные академии права называться «Академиями». Почему бы вам, обращались «государственные» академики к «не-государственным», не назваться, например, «сообществами», «союзами», «научными обществами». Ведь название «действительный член такого-то научного сообщества» — звучит тоже весьма весомо, уговаривали они.

Была подвергнута принципиальному сомнению и плодотворность деятельности академий. Ну, что вы в своих отчетах пишете, обращался представитель Большой Академии к своим «меньшим собратьям», — наша академия «осуществила» то-то, «издала» столько-то; да, это же не ***ваша*** академия осуществила, это осуществили ***ученые***, входящие в вашу академию, — и осуществили на материальной и финансовой базе государственных институтов, университетов, НИИ, в которых они получают зарплату; при чем же здесь ваша ***общественная*** академия?

Подводя итоги обсуждения на «круглом столе», председательствующий депутат Госдумы заметил, что он думал, что будут острые дискуссии, несогласия, но оказалось, что существует принципиальное общее согласие по обсуждавшимся вопросам и что в духе этой общей позиции и будет думцами готовиться соответствующий проект закона — о деятельности общественных академий наук.

Принципиальное единодушие, о котором говорил председательствующий, предсказать было нетрудно — выступали только заранее подготовленные ораторы. Желавшие выступить «стихийно» слово не получили: как это обычно бывает — «время нашей работы истекло, и мы должны уступить место для другого (наверное, подобным же образом подготовленного) круглого стола». Времени хватило лишь для одного «стихийного» оратора, который сразу же и затеял было острую полемику, но... было поздно: в зал заглядывали уже следующие «круглостоловые» очередники...

Так вот, уважаемые господа депутаты из Комитета по образованию и науке, хочу заверить вас, что упомянутое «единодушие» существует только в узком кругу выступивших. И, может быть, есть смысл перенести дискуссию из маленького и душного зальчика Госдумы на вольный простор печатных страниц. Может, есть смысл, господа народные избранники, вам, прежде чем вы выйдете с вашем законопроектом в Думу, более широко, более основательно и более демократично обсудить все стороны проблемы, выслушать и принципиально (с вами) согласных, и принципиально несогласных, к числу которых я отношу, например, себя.

Несогласие начинается с самого начала, с самой постановки вопроса, с выбора угла зрения. Свести разговор к розыску «халтурных» академий, к выяснению того, можно ли членам общественных академий именоваться «академиками» и т.п. — значит подменить обсуждение действительных проблем разговором о пустяках. А действительные проблемы, поставленные во весь рост десятилетним опытом деятельности общественных академий, это проблемы демократизации процесса производства научного знания, проблемы развития Демократии в сфере Науки, проблемы превращения науки из института, обслуживающего власть имущих, в инструмент всего гражданского общества.

Следует иметь в виду, что общественные научные объединения («общественные академии») — это не навязанные свыше, а найденные самими учеными формы кооперации их деятельности, и в перспективе — формы защиты интересов развития науки и деятельности ее представителей. То есть — это одновременно и формы научной деятельности, и формы профессиональной корпорации. Скажу больше: общественные академии — это важные институты гражданского общества, скорейшее формирование которого является вопросом жизни или смерти российской Демократии и шире — жизни или смерти российского общества в целом. Вот, на мой взгляд, границы того проблемного пространства, которое должны были бы освоить участники дискуссии.

Говорить о проблемах, порождаемых деятельностью общественных академий, — значит говорить в первую очередь о том, что тормозит развитие и эффективную деятельность этого института гражданского общества, какие государственные и материальные ресурсы могут быть задействованы для его успешного функционирования и развития. Не «укорочение» инициатив, не сужение форм самодеятельности граждан, не «наведение порядка» в самоуправленческих общественных структурах — задача государственных институтов, а — посильная помощь в их развитии. «Порядок» в своих общественных объединениях граждане будут устанавливать сами; это, господа государственные мужи, не ваша забота.

Сами граждане, сами гражданские объединения будут бороться и с «халтурой», и со всякими «псевдо». Понадобится здесь в чем-то ваша поддержка, господа из Минюста, Думы, — общественники к вам обратятся, но — сами, по своей инициативе и своему желанию. И — обратятся не только с просьбами,

но, уж, извините, и с требованиями (общественники — ведь это те самые налогоплательщики, на средства которых и для которых вы, собственно, и существуете). Вы же, господа государственные мужи, свои главные усилия обратите пока и в первую очередь на искоренение всевозможных «халтур» и всяческих «псевдо» в своих собственных рядах. Разберитесь, например, с псевдопредпринимателями (бандитами — на деле), с псевдочиновниками (ворами — в действительности), псевдозащитниками народных интересов (на деле — защитниками своей шкуры), с псевдоправовиками (на деле — пособниками жулья) и т.д., и т.д. — непочатый край работы!

Нам, считаю, надо обязательно собраться — самим, без госдумовских и минюстовских посредников, на общероссийскую сходку — на, скажем, Конгресс всех (без исключения!) общественных академий. С такой, например, повесткой дня: «Наука и Демократия (десятилетие деятельности общественных академий: опыт, проблемы, перспективы)». Вот тут, дорогие наши друзья чиновники, приходите на помощь: помогите с помещением (Дворец Съездов, Колонный зал, пугачевско-киркоровские площадки, вроде концертного зала «Россия», да любое вместительное помещение — инициатива за вами), помогите с авиационными и железнодорожными билетами, гостиницами, возможностями публикации и распространения материалов Конгресса. И мнения ваши, и советы ваши выслушаем с уважением и вниманием — ведь в рамках предлагаемой дискуссии они не будут иметь характера высокомерных нотаций и поучений.

«Утопия! — скажете вы. — Утопия — уповать на возможность осуществления столь масштабного Конгресса в нынешних условиях».

Ну, хорошо, отвечу я, пусть не сегодня, пусть не завтра и даже не послезавтра. Но давайте определим перспективу, а определив, поработаем на нее. Напряженно, активно, целеустремленно — и кто знает, может и конструктивным окажется в результате давний лозунг демократов 60-х годов: «Будьте реалистами — требуйте невозможного!».

Давайте начнем пока с дискуссии — о Науке и Демократии, о Науке и Гражданском обществе, о формах научной и социальной кооперации ученых (и шире — всей российской интеллигенции) — вот здесь, на страницах «Новых Известий», на страницах других газет, на больших и малых столичных и региональных «круглых столах» — пусть пока не в Колонных залах и Таврических дворцах, а в скромных университетских аудиториях, кабинетах НИИ, да и просто на «кухнях» (еще не остывших от знаменитых дискуссий шестидесятников). Наверное, в ходе таких дискуссий нам всем станет яснее, что происходит с нашим обществом и с его главным — в XXI веке — инструментом познания и практическо-преобразовательной деятельности — с Наукой.

А в ходе такой дискуссии, я думаю, без особого труда удастся решить и те пустяковые «проблемы», которыми так были озабочены организаторы госдумовского круглого стола. И тут — тьма простых и в общем-то равнозначных вариантов решения.

Да, наверное, надо различить государственных академиков (из РАН) и академиков-общественников. Может, есть смысл название «Академия» оставить как раз не за РАН, а за общественными академиями. Это было бы в духе исторической традиции, идущей от первой в истории человечества Академии (Платона — в Афинах) — классической общественной (никак не государственной!) Академии.

А можно наоборот, и я, лично, за это, — переименовать общественные академии. Я бы подумал о таких названиях, как, например, «Союз Ученых», «Сообщество Ученых». И очень хорошо будут различаться, без всякой путаницы: «Академик» (значит — из РАН) и — «Ученый» (значит, из нашего Союза). При стечении обстоятельств «Ученый» может стать и «Академиком», а название «Академик» — совсем не препятствие к тому, чтобы быть и «Ученым».

Рассмотрели бы мы в этой дискуссии и отмеченную на госдумовском круглом столе повышенную «опасность» распространения «лженаук» в пространстве общественных академий. Я в этой связи, обратил бы внимание на два аспекта указанной проблемы.

Первое: призвал бы к осторожности и деликатности с употреблением ярлыков — у нас ведь еще не выветрились из памяти случаи, когда официально именовавшиеся «лженауками» генетика и кибернетика оказались великим научным Знанием. А противостоящая им (при поддержке аппаратов всяких охранительных министерств — от КГБ до Минюста) «подлинная», «большая» Наука оказалась Большой Ложью. Нет, нет, я не проповедую всеядность, я не склонен призывать к толерантности по отношению к заведомой чуши. Я просто призываю, помня печальный исторический опыт, к максимальной осторожности, следуя принципу: пусть лучше просуществует какое-то время «лженаука», чем под маркой «лженауки» будет административно (с помощью охранных министерств) искореняться нечто Новое — то, что в будущем может стать Великим.

И второе. Я бы обратил внимание на то, что возможность возникновения псевдонаучной ерунды не обязательно связана с ***общественными*** формами научной деятельности. Как будто бы статус «государственности» страхует науку от ложной учености. Достаточно вспомнить печально знаменитую школу Трофима Денисовича Лысенко, на которую молилась не только вся официальная Академия, но и безропотно доверявшая ее авторитету вся Советская наша страна.

И между прочим, лысенки тогда не только сферу сельского хозяйства оккупировали; свои, и не менее колоритные, лысенки были и в сфере философии, юриспруденции, экономической мысли… Так что нашей Большой Академии не след уж очень чваниться перед своими меньшими, общественными, собратьями.

Между прочим, этакая элитарная чванливость — вещь весьма распространенная в некоторых кругах Большой Академии. С какой снисходительной улыбкой обращались ее представители к «меньшим братьям» на выше упомянутом круглом столе. Мы-де понимаем ваше желание значиться академи-

ками. Что ж, добавляли «настоящие» академики, «красиво жить не запретишь» (ну, и дальше шли уже известные советы именоваться «по-иному»).

Я вот насчет этой фразы о «красивой жизни».

Дорогие мои коллеги из РАН! На заре перестройки я очень основательно изучил научную «жизнь» одного из руководителей государственной Академии, «ведавшего» гуманитарным знанием. Я скрупулезно проследил всю амплитуду его позиций за полвека (с 37-го по 87-й год), позиций, кардинально менявших свою окраску, в зависимости от сменявшегося наверху партийного руководства — от Сталина до Горбачева. И — поведал об этой «жизни» на страницах известного сборника «Иного не дано». Вы знаете, никакой «красивой жизни» я там не нашел. Не знаю, сколь «красивой» она была за пределами Науки (это меня не интересовало абсолютно), но в сфере Науки — это была некрасивая, даже очень «некрасивая жизнь».

Очень не точен, очень тенденциозен был и тезис одного из руководителей РАН относительно того, что все, что делается общественными академиями, делается-де не собственно академиями, а всего лишь учеными, ***входящими*** в них — на базе и за зарплату по месту их основной работы.

Скажу об Академии политической науки, деятельность которой мне известна не понаслышке. За последние четыре года — два всероссийских политологических Конгресса с несколькими сотнями участников (от Владивостока и Якутска до Санкт-Петербурга), издание трехтомника материалов I Конгресса, не менее объемное издание материалов II Конгресса — на выходе, пятитомная «Антология политической мысли» (4000 стр.!) — от Платона и Конфуция — до самых, самых современных авторов, десятки столичных и региональных «круглых столов», симпозиумов и конференций, с изданиями материалов обсуждений и т.д., и т.д. Всё — «на базе» этой общественной академии, на деньги, ею, этой Академией, добытые. Добытые, разумеется, с немыслимым трудом: где — через гранты, посредничество фондов, где — от просвещенных «новых русских» спонсоров, где — от честолюбивых меценатов, чье имя будет стоять — в ряду знаменитых ученых — на обложках изданий, а где — и методом унизительных выпрашиваний чуть ли не подаяний («хоть немного, хоть чуть-чуть!»). И — десятки региональных отделений академии, состоящих из докторов наук и профессоров вузов.

И, точно знаю, не мы одни такие…

Друзья-коллеги из РАН, дорогие наши академики и член-корры! Вы хотите возрождения и расцвета академической науки? Прекрасно! Вы бьете тревогу в связи с безобразным отношением к РАН нашей политической «элиты» — снизившей государственное финансирование науки до почти исчезающей величины — 0,34% (при необходимом современном цивилизационном минимуме — в 2–3% ВВП), финансирующей нашу «научную единицу» в среднем в 50–100 раз ниже, чем в развитых странах? Мы разделяем вашу тревогу. Вы хотите, как написал недавно в своей статье один из наших уважаемых академиков, «избавить Российскую академию наук от диктата различного рода политиков и шантажа чиновников»? И тут мы — с вами!

Только...

Только уберите из своих требований, изложенных в той же статье академика, весьма неуместно и несимпатично звучащие сегодня ностальгические напоминания, что-де «в Академии наук СССР действительному члену обеспечивали все условия для занятия научной деятельностью: помимо выплаты за звание, квартиры, дачи, выделялись семь вакансий для создания исследовательской группы или лаборатории».

Т.е. не выдвигайте в качестве идеала прошлые, сталинско-брежневские формы организации мира науки, разделявшие научное сообщество на небольшую сверхобеспеченную элиту и научный плебс.

Только снимите свои «заградотряды» на границе с общественными академиями (ибо это дружественная граница — у нас не должно быть двух разных наук!) и поверните все свои — в союзе с нами — силы против действительных могильщиков науки, против современных скалозубов.

«Как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома» — это сказал Тургенев больше сотни лет тому назад. С тех времен и, увы, по сию пору «отчаяние» — наиболее часто возникающее настроение «при виде всего, что «совершается дома». Отчаяние — от того, что ничего не получается ни с социализмом «с человеческим лицом», ни с цивилизованной рыночной экономикой, ни с демократией. Отчаяние — от результатов распада страны, от расползания ее нынешней социальной ткани, от нахрапистости и безнаказанности воров, от нищеты и придавленности значительной массы граждан. Отчаяние — от состояния школ, вузов, заводов и больниц, от качества жизни нашей интеллигенции, от грязи газет и сплетен телевидения — от всей этой черной жижи псевдосвободы.

Тургенев, литератор, находил опору, лекарство от отчаяния — в «великом, могучем, правдивом и свободном русском языке». Наша опора, друзья-ученые, по-видимому, — в неустанном и каждодневном, незамутненном интересами карьеры и властеугодничеством, искании Истины и сообщении итогов этих наших исканий людям. Но — в создании тех общественных объединений, той реальной социальной силы, с которой вынуждено было бы считаться чиновничество. Цель — **не дать целиком огосударствить науку**, не передать управление ею бюрократии, **удержать ее в рамках гражданского общества**, способствуя тем самым превращению всех видов общественной деятельности в деятельность социальную, то есть в деятельность по производству Человека.

Российская социал-демократия как проблема

Для современной политической России «социал-демократия» — новая привлекательная идея, из которой, однако, по моему убеждению, принимая во внимание характер первых теоретических и организационно-политических шагов ее сторонников, ничего серьезного, ничего путного не вырастет. В чем причина ее привлекательности и одновременно — ее бесперспектив-

ности и обреченности — своими соображениями на сей счет мне и хотелось бы поделиться.

Прежде всего, о привлекательности. Это просто поразительно: кто только не желал бы в наши времена называться социал-демократом! Накануне президентских выборов 1996 года Ельцин причислил себя к социал-демократам («по сути»). И Лужков перед выборами в 2000 году — тоже. И Гавриил Попов — ныне просто официальный социал-демократ. И коммунист-ельцинист Рыбкин, и коммунист-левоцентрист Селезнев, и коммунист-бизнесмен Семаго — все «социал-демократической ориентации». А бывший марксист-коммунист, «министр пропаганды» брежневских времен, а ныне ельцинист А.Н. Яковлев — даже создал и возглавил партию социальной демократии (передав, правда, недавно руководство ею «социальному демократу» из компании Чубайс–Кириенко самарскому губернатору Титову). И «Яблоко», согласно широко распространенному мнению, является партией, по сути, «правой социал-демократии». Даже Зюганова многие телекомментаторы (Киселев, например) зачисляют по ведомству социал-демократии (а то как же — частную собственность признает и — смешанную экономику, и рынок, и многопартийность, и свободу печати...). И вот теперь — Михаил Сергеевич объединяет все «здоровые» социал-демократические силы.

Представляете, какое интересное могло бы сложиться Политбюро современной российской социал-демократии: Ельцин, Лужков, Г. Попов, Явлинский, Семаго, Селезнев, А.Н. Яковлев, Титов, Зюганов, Горбачев. Практически все виднейшие политические лидеры — здесь. Ну, разве что Чубайсу с Новодворской, да Анпилову с Жириновским сюда доступ закрыт...

И я, кажется, понимаю причину этой всеобщей тяги политической элиты нашей к социал-демократии. Из трех крупнейших современных политических идеологий две — «коммунистическая» и «либеральная» — в России XX столетия скомпрометировали себя напрочь. Под их знаменами к власти уже не пробьешься. Осталось попробовать третью, срединную — социал-демократическую, пока еще не слишком захватанную правящими группами политической элиты.

Правда, следует заметить, что большинство из перечисленных политических вождей считает себя социал-демократами лишь «по сути», а «по форме» и нынешним политическим ярлыкам они, умудренные и искушенные (отдающие себе отчет в том, что социал-демократия — идеология весьма серьезная, с мировыми традиционными ценностями, с которой надо обращаться серьезно и осторожно), предпочитают называться как-то туманно и неопределенно. Например, — «Единство» (кого с кем — пойми, кто может), «Отечество» (за какое именно они отечество — поди разбери), «Вся Россия» (странно, по крайней мере, — я знаю совершенно точно, что я туда не вхожу, а какая же без меня и многих таких же, как я, «не-входящих», может быть «вся» Россия?), «Голос России» (что это за «голос», кому и что он собирается пропеть — одному Богу известно), Или — ближе к сегодняшним реалиям — «Родина»... «Жизнь»... И только Михаил Сергеевич (из крупных политичес-

ких лидеров) с прямотой (и, добавим, некоторой долей простодушия) обозначил свое движение как «социал-демократическое», полагая, по-видимому, что это знамя объединит многих толковых людей, а написанные на этом знамени классические социал-демократические лозунги обеспечат в будущем политические победы.

Я искренне желаю Михаилу Сергеевичу удачи. Но уже первые организационно-политические шаги этого движения, его первые программные установки приводят меня к твердому убеждению: никакого серьезного политического движения из этой затеи не получится и никаких, даже мельчайших, побед ожидать не следует.

Почему же? Потому что эта новая «Объединенная социал-демократическая партия» вырастает не на базе реальных социальных противоречий и массовых интересов современного российского общества, а на основе старых (да к тому же писанных на основе давнего западного опыта) учебников по политологии. Эта «объединяемая» социал-демократия живет и мыслит в пространстве выдуманного, мифологизированного, «виртуального» мира. Она готовится к «боям» с придуманными, игрушечными, а не реальными оппонентами.

Передо мной «Программные ориентиры» этой партии, принятые ее Учредительным съездом. Вот как в них определяется место социал-демократов в политической системе России. Они-де — между «либералами» (которые «придают основное значение личной свободе, в ущерб Справедливости и Солидарности») и «коммунистами» (которые «стремятся обеспечить равенство и солидарность за счет свободы»). И вот новые социал-демократы объединят воедино Свободу, Справедливость, Солидарность, соединят «либеральный» рынок и «коммунистическую» государственность. Что и говорить, ясная и красивая диспозиция... — на ящике с песком: стойкие оловянные солдатики социал-демократии против игрушечных же солдатиков «либерализма» и «коммунизма».

Ну, в самом деле, где же это в нашей реальной жизни вы видели «либералов», пекущихся о «личной свободе»? Реальные-то, а не придуманные российские либеральные вожди, как известно, пеклись, в основном, о выстраивании самодержавно-президентского политического режима и криминально-олигархической экономической системы. А где это вы видели коммунистов (говорим о влиятельных, политически значимых фигурах, а не о мало на что влияющих индивидах из «народной толщи»), которые бы действительно радели о «равенстве» и «солидарности»? Реальная «коммунистическая» номенклатура во времена своего безраздельного господства (с 1929-го по 1985-й год), как известно, создала общество, отличавшееся самой высокой степенью неравенства и несправедливости — общество, жестко разделенное на всемогущую партгосбюрократию и совершенно бесправный народ. И нынешние зюгановские коммунисты-сталинисты вовсю славят то время — время ГУЛАГа и народного бесправия. Добавим еще, что эта реальная «коммунистическая» номенклатура очень легко устанавливает близкие, родственные отношения —

там, наверху, в пространстве нынешних парламентско-чиновничьих привилегий, — с номенклатурой «либеральной». Собратья по общему, противонародному делу!

Вот по отношению к каким «либералам» и «коммунистам» следует определяться, в первую очередь. Но об этом «объединяющиеся» социал-демократы — ни слова. В своих «Ориентирах» они и далее продолжают вести игрушечные бои на ящике с песком, в придуманном мире.

Вы думаете, в чем «главная причина бедственного положения страны»? «Корень наших бед, — объяснят вам объединяющиеся социал-демократы, — в «глубочайшем моральном (!) кризисе». И дальше на разные лады: «Сегодня вопрос о морали — решающий»; «моральный кризис — тормоз экономического развития, причина неэффективности и коррумпированности политической системы»; «мы, социал-демократы, видим выход из системного кризиса страны в **восстановлении общественной морали**» и т.д. и т.п.

В общем, снова предполагается обратиться с моральными проповедями к бессовестному коту Василию, обгладывающему — стянутые под шумок хитроумных приватизационно-ваучерных маневров — лакомые мясные косточки. И «на этом направлении», полагают объединяющиеся социал-демократы, они «смогут состояться как политическая сила».

Представляю, как нахохочутся «либеральные» и «коммунистические» коты Васьки, читая эти строки!

Современная российская социальная демократия, на наш взгляд, сможет состояться только тогда, когда она поймет,

— что главное, реальное, жизненное противоречие нашего общества — это противоречие интересов гражданского общества (т.е. громадного большинства российских граждан) и интересов **всей** господствующей (либерально-коммунистическо-яблочной) политической «элиты»;

— что в современной России она должна быть не «партией наемных рабочих» (какой она была в Европе в XIX веке), не «партией средних слоев» (какой она стала на Западе в середине XX столетия), не «общенародной партией», сближающейся, а то и сливающейся с либеральной демократией (как то происходит ныне в развитом постиндустриальном мире), а — **Партией Гражданского общества.** Партией, констатирующей наличие глубочайшей пропасти, исторического разрыва между гражданским обществом и политической «элитой». Партией, стимулирующей развитие гражданских инициатив, народной самодеятельности, общественного самоуправления. Партией, органически сочетающей в своих установках демократически-социалистические и демократически-либеральные ценности. Партией, провозглашающей и осуществляющей на практике соединение политики и морали. Партией глубоких, подлинно демократических, осуществляемых самими гражданами (и их действительными представителями) реформ, способных обеспечить (разумеется, в рамках Конституции) замену нынешнего номенклатурно-олигархического строя строем подлинного ***народоправства.***

Общественная палата — какой ей быть?
(тезисы к «круглому столу в Доме журналиста)

1-й тезис. Главное звено проблемы сегодня — это принципы и методы формирования Общественной палаты.

Я не располагаю текстом законопроекта об О.П., внесенным в Госдуму президентской администрацией. У меня — только законопроект, подготовленный Комитетом Госдумы (совместно с группой г-на Фадеева), но есть у меня серьезные подозрения, что критикуемая мною идея Думского законопроекта сохранена и в проекте, подготовленном президентской администрацией.

Так вот, в Думском проекте предполагается формирование ОП, по сути, ветвями власти (и даже финансовые средства, выделяемые для ее деятельности, должны, по замыслу проекта, быть в руках чиновника, назначаемого высшими госструктурами).

Если эта идея сохранится в законопроекте, который примет Дума, то создаваемую на таких основах структуру ни в коей мере ***нельзя считать структурой Гражданского общества***. Это будет всего лишь некий орган ПРИ властных институтах (будет, если прибегнуть к давней и слегка подзабытой терминологии, «приводным ремнем» госбюрократии). И тогда становятся пустыми и бессодержательными высокие слова о ее возможных функциях и правах («контроля», «экспертизы», даже — «вето» и т.п.). Если Я сам подбираю себе «контролера», оплачиваю из своего кармана его деятельность и контролирую расходование им выделяемых мною средств, то можно представить — что это будет за «контроль»!

2-й тезис. Я бы обратил внимание на то, что критикуемая мною идея Думского проекта коренным образом противоречит концепции взаимоотношений политической власти и гражданского общества, изложенной в речи Президента РФ на Гражданском форуме. Напомню основные положения этой позиции: (не буду здесь их все перечислять, скажу только, что основная идея там: гражданское общество и его структуры не создаются властями, сверху; они вырастают снизу, а у государственных органов «одна-единственная задача» — создать ***условия*** для осуществления самодеятельности граждан и их организаций).

Это — хорошая основа для выстраивания отношений власти и гражданского общества, для выработки принципов и методов формирования структуры, которая на самом деле была бы структурой Гражданского общества (а не «приводным ремнем» бюрократии).

3-й тезис. Если мы хотим формировать действительную структуру ***гражданского общества***, то есть структуру, ***вырастающую*** из недр гражданского общества, на базе организационных усилий и инициатив граждан, то я предложил бы следующий образ действий.

Прежде всего — ***не спешить***! Не спешить «создавать» эту структуру, не спешить принимать посвященный ей законопроект, не спешить «рапорто-

вать» высшему начальству страны — о «выполнении» высказанной им идеи. Нужна основательная проработка концепции ОП гражданами России, общественными организациями, ассоциациями, союзами, т.е. Гражданским обществом России. Нужно всестороннее обсуждение и обобщение уже имеющегося опыта деятельности организаций гражданского общества, их обретений, потерь и недостатков. Нужна, повторяю, основательная всероссийская дискуссия на сей счет.

В ходе ***такой*** дискуссии будут постепенно выкристаллизовываться наиболее эффективные подходы к решению данной задачи, выявляться наиболее толковые люди, способные конструктивно работать в новой структуре гражданского общества, будет происходить реальная (а не «бумажная») инвентаризация существующих структур гражданского общества. Тут не Минюст, не госчиновники будут определять, какие организации «наиболее влиятельны» и потому «достойны» быть представленными в ОП. Тут сам процесс обсуждений, дискуссий, форумов, круглых столов будет формой отбора «наиболее влиятельных, активных, инициативных и т.п.» организаций.

А для ведения и организации такого поистине общегражданского (всенародного) обсуждения можно было бы создать некую Оргструктуру («Координационный совет», «Инициативный гражданский комитет» или что-нибудь в этом роде). Состав этого Совета — не столь принципиален, как состав будущей ОП, ибо это — структура временная, выполняющая скромную роль модератора, спикера дискуссии. Но я предложил бы сформировать его, например, следующим образом.

Одну треть его могли бы составить члены оргкомитета Гражданского Форума 2001 года (хоть большого толку от этого форума не было и оргкомитет его формировался не слишком демократично, но все же это был орган, где в какой-то степени были представлены реальные представители реальных общественных организаций). Вторую треть могли составить представители таких институтов гражданского общества, как общественные научные Академии (Политической науки, Социальных наук, Международных отношений, РАЕН и т.п.), которые, являясь институтами гражданского общества, обладают мощным научным и интеллектуальным потенциалом, так необходимым при выработке новых путей общественного развития. Наконец, последнюю треть могли бы составить представители госорганизаций и властных структур (что ни говорите, а они ведь тоже — члены гражданского общества страны).

Выделить (через Думу, где, по идее, должны заседать не «начальники» над гражданским обществом, а его «обслуживающий персонал»: управленцы, нанимаемые гражданским обществом и им же оплачиваемые) средства для ведения такой дискуссии, для создания соответствующих СМИ и т.д.

И еще одно предложение. Чтобы наши идеи получили более мощное звучание, предложил бы обратиться к общественным научным Академиям страны с предложением о проведении Всероссийского Конгресса Академий с повесткой дня: «Общественная палата: какой ей быть?». (И — создать, между прочим, на этом Конгрессе нечто вроде Всероссийской Ассоциации Ака-

демий, — структуру, я думаю, весьма небесполезную для развития Гражданского общества, науки и образования в нашей стране).

P.S. Кстати, почему это выносимый на обсуждение Госдумы проект не известен тем, кого он непосредственно касается, т.е. гражданам России? Где он? И почему это организации гражданского общества отстранены от участия в его обсуждении?

Добавление (1 сентября 2006 г.)

Общественная палата уже создана и действует — по тем параметрам, что были намечены в критикуемом мною законопроекте. Не устарели ли, в таком случае, идеи публикуемых тезисов? Не ушёл ли поезд?

Мне думается, не устарели. И «поезд» не ушёл. Через год-два, когда окончательно выяснится — в чём я совершенно не сомневаюсь — неэффективность деятельности *такой* Общественной палаты в качестве структуры *гражданского общества*, на повестку дня вновь выдвинется вопрос о необходимости создания института, представляющего действительные интересы гражданского общества и способного реально контролировать деятельность государственных структур. И высокие административные органы — уступая давлению общественности — предложат *новый* законопроект создания «нового», «более совершенного института» гражданского общества (законопроект, который, я уверен, будет как две капли воды похож на критикуемый мною) — и тогда идеи публикуемых тезисов вновь станут актуальными.

Номенклатурная многопартийность против демократии

Определение перспектив политического плюрализма в России зависит, на мой взгляд, от ответа на следующие четыре вопроса:

1. Нужен ли вообще политический плюрализм современному российскому обществу? Не правы ли те, кто полагает, что в интересах стабильности и динамизма развития следует вернуться к открытому, официальному политическому монизму, к однопартийности, к какой-то разновидности авторитарной системы?

2. Как охарактеризовать нынешнюю партийно-политическую систему российского общества? Верно ли определять ее, как систему политического плюрализма и многопартийности? Не правы ли те, кто считает, что подлинный плюрализм, действительная многопартийность в России, по сути, еще не сложились? Но тогда — что сложилось?

3. В каком направлении эволюционирует нынешняя партийно-политическая система, в каком направлении движут ее господствующие политические силы страны?

4. В каком направлении следовало бы ее развивать — с точки зрения интересов подавляющего большинства российских граждан? Какие рекомендации может здесь дать современное научное знание?

На этих четырех вопросах я и хочу сосредоточиться.

Первое. Нужен ли современному российскому обществу плюрализм, является ли политический плюрализм (и многопартийность как одна из главных форм его проявления) образованием более высокого, так сказать, социально-политического достоинства, нежели политический монизм (и однопартийность) — с точки зрения стабильности социума, динамики его развития, с точки зрения задачи формирования той, всесторонне развитой, индивидуальности, которую все великие философы — еще со времен античности — неизменно именовали «прекрасной индивидуальностью»?

Лично для меня здесь особых проблем нет: по сути, по общему правилу, со всех указанных точек зрения, политический плюрализм, конечно же, — более совершенная общественная система. И, полагаю, незачем тратить время на доказательство этой аксиомы.

Но…!

Но это — «по общему правилу». А жизнь-то ведь состоит не из «общих правил», а из тех контекстов, в которые эти «правила» включаются (и контексты могут менять знаки этих «общих правил»), а иногда — и из исключений (а исключения эти могут заполнить жизнь одного, а то и нескольких поколений людей, и для них эти «исключения» будут уже не «исключениями», а — правилами всей их жизни). И вот конкретный контекст нашего перехода от административно-командной однопартийности брежневских времен к горбачевско-ельцинскому «плюрализму» существенно поубавил наш **безусловный** оптимизм относительно многопартийности. Политический «плюрализм» 80-х, шедший на смену «монизму» 70-х, бестолково и неумело выстраиваемый, давал весьма печальные результаты. Возникали сотни партий и движений, отличавшихся друг от друга не столько программными установками и идеологическими парадигмами, сколько своими названиями да именами лидеров. Рождалась некая «разбегающаяся политическая вселенная». Вместо цивилизованного плюрализма — политическая анархия, политический хаос, политическая бестолковщина. Распадалась не только тоталитарная, административно-бюрократическая система, но и сама социальная ткань общества, сами основы социальности. Такой «плюрализм» — не выше, не совершеннее «монизма». Если он и не шаг назад, то уж никак и не шаг вперед, скорее — «шаг в сторону» — на том же уровне политической дикости, что и тоталитарный «монизм».

Урок для нас, для политической науки из всего этого — следующий: нужна тщательно разработанная теория перехода — от тоталитарно-авторитарных режимов к демократическим, от «монистических» к «плюралистическим» (в которой были бы учтены и оценены причины неудач и потрясений постсоветского периода) — дабы недемократический монизм не сменялся социально-политическим хаосом и распадом социальной ткани. И другая сторона той же самой задачи: нужны не только рекомендации — как следовало бы и как следует переходить от «монизма» к «плюрализму», но и анализ того, как это реально происходило на рубеже 90-х годов — дабы понять, что

же реально вышло из судорожных, суматошных и плохо осмысленных преобразований.

Так мы переходим ко **второму**, заявленному в начале выступления вопросу: что же сложилось у нас в результате всех этих преобразований?

Иногда говорят: худо-бедно, плохо ли, хорошо ли, но пора хаоса начала 90-х годов миновала, складывается нормальная многопартийность — вот у нас уже не сотни, а всего 5–6 крупных, влиятельных политических партий, имеющих своих представителей в парламенте, ведущих нормальную политическую игру; теперь надо лишь дальше развивать и совершенствовать партийно-политическую систему — на это, например, и направлены новые проекты законов о партиях, об избирательной системе…

Боюсь — как в годы перестройки мало кто понимал, что и во что перестраивается, так точно — и сейчас. Снова и снова: мы плохо знаем общество, в котором живем. Мы плохо понимаем суть нынешней партийно-политической системы и, следовательно, плохо представляем — и что именно собираемся реформировать, и что из нашего реформирования получится.

Суть нынешней партийно-политической системы отнюдь не ухватывается понятием, дефиницией «политический плюрализм». Легковесно применяемый, этот термин может только запутать дело. Ибо есть, по крайней мере, две принципиально (подчеркиваю — принципиально!) различных формы политического плюрализма и многопартийности. Я бы обозначил их так: **демократическая многопартийность** и **номенклатурная многопартийность**. (Это продолжение той системы терминов, которые мы в свое время — в 1992 г. — предложили с Юрием Буртиным для характеристики социально-политической сущности возводимого в 90-х годах общественного строя: **«номенклатурный капитализм»**, **«номенклатурная демократия»** и которые сегодня вошли в широкий политологический оборот. Отмечаю это не столько для того, чтобы лишний раз зафиксировать наш с Буртиным приоритет в данном интеллектуальном изобретении, сколько для того, чтобы поставить новый, предлагаемый мною сегодня, термин — **«номенклатурная многопартийность»** — в связь, в сопряжение с родственными ему понятиями, получившими уже более или менее серьезное теоретическое наполнение — см. хотя бы мою книгу 1996 года «Дано иное. От номенклатурного социализма к номенклатурной демократии»).

Так вот, тип нашей нынешней многопартийности явился результатом совмещения двух тенденций — политического хаоса и номенклатурных традиций. Хаос был упорядочен (из сотен партий были выделены 5–6 — «крупных», власть делящих) привычным для номенклатуры способом давления сверху — административно-бюрократического и финансово-олигархического порядка. Все эти «крупные», представленные в парламенте партии, — это не партии, выросшие из гражданского общества, не партии, представляющие интересы различных социальных слоев, групп, классов и т.п. Это партии современной «политической элиты», современной номенклатуры — ее различных фракций и групп. Все они коренным образом отличаются от «нормаль-

ных» партий гражданского общества — а) по способу создания (сверху, административно-бюрократическим путем); б) по характеру деятельности и методам руководства (авторитарный, кабинетно-чиновничий стиль); в) по объективным целям и задачам (цель — не «общее благо», даже не интересы тех или других крупных социальных слоев, а — благо и интересы узких групп чиновно-бюрократического и финансово-олигархического толка).

А теперь — третий вопрос: в каком направлении идет движение нашего политического айсберга, в каком направлении его стремятся двигать? Пока, увы, не в направлении превращения номенклатурной многопартийности в демократическую. Параллелограмм влиятельных сил, воздействующих на политический процесс, дает пока неутешительный результат: идет закрепление и упрочение номенклатурного варианта политического плюрализма. Продолжает действовать совершенно недемократический избирательный закон. Он изначально бронирует для этих 5–6 партий современной номенклатуры половину мест в Государственной думе (голосование «по партийным спискам»), ставит перед возможностью попадания в парламент «процентный барьер», который, конечно же, «нормальным» партиям (т.е. партиям гражданского общества), с невероятными трудностями формирущимся в условиях безраздельного господства в обществе чиновно-олигархических групп, преодолеть практически невозможно. Еще более высоки финансовые барьеры — суммы, требуемые для пропагандистско-рекламной деятельности (стоимость выступлений по телевидению, в СМИ, издания специальных средств печати и т.п.).

Упрочению номенклатурной многопартийности (т.е. многопартийности только для современной номенклатуры) служит и бурно обсуждавшийся в Думе новый закон о партиях. Он совершенно перекрывает возможности формирования партий демократических, партий гражданского общества. Так, этот закон предлагает считать партиями (со всеми вытекающими из этого политическими правами и возможностями) только такие организации, которые «имеют региональные отделения более чем в половине субъектов Российской Федерации» и в которых «состоят не менее десяти тысяч членов». Вы можете себе представить, чтобы, скажем, нищенствующая интеллигенция (врачи, инженеры, учителя, ученые) или крестьяне, фермеры, рабочие могли сегодня создать такие масштабные организации? Закон же не только не предусматривает мер помощи становлению партий гражданского общества, но и более того — намечает меры гигантского усиления финансирования уже существующих — номенклатурных — партий за счет бюджета, то есть за счет средств тех самых налогоплательщиков, которые создать свои собственные партии, как мы уже отмечали, возможности не имеют. Граждан, таким образом, Закон обязует субсидировать чужие им партии, иначе говоря — чужую власть.

Ну, и в заключение, **четвертый вопрос** — что делать, каковы могут быть рекомендации науки относительно изменения маршрута нашего социально-политического движения — в направлении **демократического плюрализма, демократической многопартийности**? Какова должна быть стратегия, ко-

торая способствовала бы становлению и развитию партий (и организаций), выражающих интересы широких слоев граждан, всех классов и групп гражданского общества (а не только его чиновно-олигархической «элиты»)?

Не с Закона о выборах или о партиях (при всей их важности) следует начинать это движение. А — с выработки государственной программы содействия формированию гражданского общества, которое одно только — с его богатством и разнообразием социальных и индивидуальных интересов — способно быть фундаментом демократического плюрализма.

А такая стратегия предполагает:

1. Превращение всех — без исключения — граждан в реальных собственников, на основе самых разнообразных форм собственности — индивидуальной, кооперативной, ассоциированной, акционерной, государственной — если, конечно, это будет подлинно демократическое государство и действительными субъектами владения, пользования и распоряжения собственностью будут рядовые граждане, а не бюрократическое сословие (как то было во времена сталинско-брежневского номенклатурного социализма). Сегодня же у нас доминируют лишь две — недемократические — формы собственности: финансово-олигархическая (с сильным криминальным отливом) и государственно-бюрократическая (со значительными пространствами коррупции, воровства и вопиющей бесхозяйственности). Сегодня, как и в прежние десятилетия, основная масса граждан — не-собственники (либо наемные работники, либо пауперы).

2. Защиту реальной рыночной экономики от господствующих сегодня в экономике финансово-олигархических и государственно-бюрократических монополий, защиту рыночно-демократических распределительных механизмов от криминально-олигархического, административно-бюрократического распределения. Защитить собственников и собственность от монополистических группировок. **Пока не будет реального плюрализма в сфере собственности, политический плюрализм останется утопией.**

3. Формирование **социального государства**, которое органически сочетало бы в себе единство двух социально-политических координат — **«вертикали»** (обеспечивающей единство правового пространства страны и диктатуру закона) и **«горизонтали»** (т.е. развитие и усиление структур и институтов гражданского общества). Между прочим, политический плюрализм (если быть теоретически безупречным) — это не просто многопартийность, но — процесс создания в обществе многочисленных и разнообразных форм принятия решений (своеобразных «центров власти») — от сел, районов, городов, областей до крупных регионов и федеральных центров. Такое «распыление власти» есть одна из важнейших предпосылок реального участия граждан на всех ступенях принятия и локальных, и общезначимых социально-политических решений, важнейшая предпосылка формирования в обществе реальной демократии.

И если «стратегия вертикали» сформулирована и настойчиво воплощается в жизнь нынешним политическим руководством, то о «стратегии гори-

зонтали» даже разговоров не ведется. А поскольку эта тема — центральная в анализируемой нами сегодня проблематике, то нам придется остановиться на ней особенно основательно. Иначе разговор повиснет в воздухе.

Вертикаль сильна горизонталью

Начну — для ясности — с конца, с главного своего вывода: реализуемая сегодня нынешним политическим руководством «стратегия вертикали» должна быть — и немедленно! — дополнена «стратегией горизонтали», стратегией становления и развития гражданского общества, массовой, «низовой» социальной демократии — только это даст России шанс для действительного преодоления ее бед. Без горизонтали — вертикали стоять не на чем. Без сильной горизонтали не может быть сильной вертикали.

А теперь — обо всем по порядку.

Диагноз

Диагноз главной болезни, главной беды современной России нынешним политическим руководством поставлен, думаю, правильно. Это — атомизация общества, расползание его социальной ткани, разрыв его социальных связей; президент в своем послании Федеральному собранию говорит даже об «отсутствии государственного единства», «децентрализации государства», что чревато распадом страны, распадом социума.

Именно так! По всему социуму, по всем секторам общества и государства — глубокие разрывы и разломы.

В **экономике** — разрыв и противостояние базисных энергетических структур (бесконечные разборки Газпрома и РАО ЕЭС), энергетики и промышленного производства (настоящая война — и холодная, и горячая, вплоть до вооруженных столкновений), рассогласованность импортных и экспортных потоков, разрыв промышленно-экономических и организационно-хозяйственных связей смежников (не соединяемых сегодня ни Планом, ни Рынком). Разрывается на клочки **культурное и образовательное пространство**: оправданное стремление к культурной идентичности оборачивается культурной автаркией, замкнутостью; образовательные стандарты — свои чуть ли не у каждого ВУЗа и каждой школы; плодятся сотни халтурных «университетов» и «академий», что резко понижает уровень российского профессионализма. Разрушаются **федеративные отношения**: рвутся нити, тянущиеся от центра к регионам и от регионов к центру. В **политической сфере** катастрофическим становится отрыв «элиты» от гражданского общества. В **сфере благосостояния** — до чудовищных размеров расширилась пропасть между полюсами богатства и бедности (зарождавшийся средний класс, начавший было связывать эти полюса, — был практически уничтожен августовским дефолтом 98 года). Раздроблена **законодательно-правовая сфера**: единая российская законность все больше дробится на какие-то региональные «осколки» — появляются «калмыцкая», «курская», «владивостокская» и прочие локальные «законности».

Лечение (первые шаги: «стратегия вертикали»)

Поставив диагноз социальных бед страны, новое политическое руководство приступило к поиску того механизма, который способен остановить расползание социальной ткани, обеспечить ее восстановление и обновление и затем — срастание и развитие.

Такой программой обновления была объявлена стратегия выстраивания существенно новой вертикали государственной власти, иначе говоря — «стратегия вертикали». Решительно, без обычной для российской власти раскачки, приступили к осуществлению первых практических шагов в этом направлении: созданию новых, укрупненных федеральных округов и института представителей Президента в них, реформированию Совета Федерации, попыткам наведения порядка в правовой сфере (под лозунгом, выдвинутом Президентом: «диктатура закона»!), усилению влияния государства в экономической сфере (дабы хоть немного приструнить в конец распоясавшуюся и обнаглевшую олигархическую братву) и информационном пространстве (дабы хоть немного осадить газетных врунов и информационных киллеров, щедро оплачиваемых коррупционерами и медийными олигархами)... По поводу этих конкретных шагов можно спорить: удачно ли найдены формы их осуществления, верна ли их последовательность и т.д. Но сама по себе задача укрепления властной государственной вертикали определена верно. Без этого, вне этого формирование новой единой социальной ткани невозможно!

Но!...

Но!...

Да, властная государственная вертикаль играет важную роль в стабилизации социального пространства. И все же его реальное бытие определяется не одной вертикальной координатой, а — **системой** координат, где, наряду с вертикальной (государственнической), существенное значение имеет координата горизонтальная, характеризующая состояние гражданского общества. Только одновременные шаги по этим **двум** осям, шаги, взаимодополняющие, взаимоуравновешивающие, взаимоогранчивающие, способны обеспечить целостность, заполненность социального пространства и стабильность развития.

Вертикаль может быть сильна только горизонталью. Только-вертикально выстраиваемое государство никогда не сможет стать по-настоящему сильным — ни сегодня, ни тем более в перспективе. Только-вертикальная власть не справится — как она не справляется сегодня — ни с социальными, ни с экономическими, ни с какими-либо другими проблемами, стоящими перед страной. И сколь суровыми ни были бы лица высших руководителей, сколь жесткой ни была бы лексика разных чрезвычайных министров, у нее, у этой власти, все будет сыпаться — и будут продолжать мерзнуть тысячи людей в замороженных домах (несмотря на «вертикальные» авралы), и буксовать на месте экономика (несмотря на сверхудачные нефтяные конъюнктуры), и

цвести коррупция в чиновном мире, и сокращаться база международного влияния. И неконтролируемая горизонталью (гражданским обществом) вертикаль сама вскоре станет государственно-олигархической вертикалью. Криминально-олигархическая анархия сменится государственно-олигархической диктатурой, которая — в нынешнюю мировую эпоху рыночной экономики, идейно-политического плюрализма и гражданской демократии — не способна обеспечить ни экономического развития, ни социально-политической стабильности, ни благополучия граждан.

Не скажу, что нынешнее политическое руководство не знает о существовании и значении «горизонтали». Знает! «Корни многих наших неудач, — отметил в одной из своих программных речей Президент России, — в неразвитости гражданского общества и в неумении власти говорить с ним и сотрудничать». Верные и хорошие слова! Да, **слова** есть. Чего нет, так это **государственной стратегии** содействия формированию гражданского общества. Нет серьезных попыток исправить положение дел на этом направлении. И не потому ли, в частности, что узко формулируется первейшая реформаторская задача: «сегодня, — говорится в той же речи президента, — мы прежде всего ставим наведение порядка в органах власти» (не навести там «порядка», если не будет — одновременно — «порядка», т.е. организации и силы, в гражданском обществе!).

Откладывание задачи формирования гражданского общества на «потом», перевод ее в разряд второочередных — чревато... Сосредоточение **всех** усилий на деятельности по укреплению властной вертикали — вещь опасная. Чиновничество, госбюрократия начинают ощущать себя демиургом, главным творцом построения общества и государства, всеопределяющим социально-историческим субъектом, для которого все остальное — гражданское общество, «население», «масса» — является лишь **объектом** его воздействия, лишь материалом для возвышения и наращивания «вертикальных» государственных пирамид. Увлеченное выполнением указанной выше «первоочередной задачи» усердное чиновничество — как это не раз бывало в истории — быстро построит какой-нибудь очередной тоталитарный хлев.

Я настаиваю: нужна (если желать стабильного, устойчивого, демократического развития страны) **государственная программа содействия формированию и развитию гражданского общества**, нужны немедленные практические шаги движения по «горизонтали».

Стратегия горизонтали

Я назвал предлагаемую государственную программу программой **содействия** формированию гражданского общества, имея в виду, что государство не может (и потому не должно даже пытаться) **формировать, создавать** гражданское общество. В современную эпоху гражданское общество — это особая, самоуправляемая система, сотрудничающая, а то и соперничающая с государством, а в иных случаях — даже противостоящая ему (в рамках, разумеется, некой социальной целостности). Роль государства здесь, говоря

словами Сократа, — майевтическая, то есть, родовспомогательная: не самому рождать, а помогать рождению — чтобы оно прошло в срок, без осложнений, чтобы родился здоровый во всех отношениях «ребенок».

Так, в сфере **экономики** государство должно не «создавать» рынок, а содействовать созданию ***условий*** для возникновения и развития нормального, цивилизованного рынка, для защиты цивилизованного предпринимательства. У нас ведь до сих пор «рынок» — только на бумаге, на словах, да в либеральных (псевдолиберальных) программах. В жизни его нет. Там, где он должен быть, — монополистическая, криминально-олигархически-рэкетная система распределения. У нас цена продукта не определяется ни количеством общественно-необходимого труда, потребным для его производства, ни конкуренцией, ни спросом-предложением. Она определяется корыстным своеволием монополиста (отбирающего за бесценок у производителя — в криминально-таможенных, прибазарных «кордонах» — товар и продающего его по своим монополистическим усмотрениям, или организующим — в союзе с коррумпированным чиновничеством — аукционные распродажи народного добра по бросовым ценам…).

В сфере развития **социальной демократии** задача демократического государства — не создавать общественные, самоуправленческие, профессиональные, корпоративные организации граждан, а — защитить и цивилизовать пространство, в котором они могут нормально формироваться, облегчить материально-финансовое бремя их деятельности: предоставить им помещения, удешевить средства их связи и организации, расширить их правовые возможности, помочь в становлении печатных и электронных **общественных** средств массовой информации (действительно общественных, а не государственно-административных и не олигархически — продажных).

Особенно важно — способствовать росту влияния гражданского общества на все политические процессы и политические институты — через многообразные, обладающие серьезными реальными возможностями структуры **Гражданского контроля** (за деятельностью государства и его чиновников), через избирательный процесс, нынешнее состояние которого — с точки зрения интересов демократии — совершенно неудовлетворительно. Существующий избирательный закон (как, впрочем, и идущий ему на смену) — служит не гражданам, не демократии. Он — средство обеспечения господства современной чиновно-олигархической «элиты».

Последние выборы в Госдуму были не чем иным, как процессом дальнейшего отчуждения основной массы граждан России от власти. Их результатом стал окончательный и очевидный для большинства россиян разрыв политической элиты и гражданского общества, устранение всякого серьезного влияния основной массы граждан России на политические решения.

Сильное государство, если оно хочет быть демократическим, должно создать условия, социальную инфраструктуру, обеспечивающие рост влияния гражданского общества на властные политические структуры, на всю общероссийскую политику.

Кто начнет?

Кто начнет разработку этой «стратегии горизонтали», кто сделает первые шаги по ее реализации? Иначе говоря, какие силы способны общую идею «стратегии горизонтали» перевести в русло конструктивной программы действий?

В качестве основных, я вижу две такие общественные силы.

Это, во-первых, политическая наука, могущая быть организационно представленной, например, Академией политической науки. Значимость и возможная роль названной Академии определяется тем, что она, объединяя научную политологическую элиту (здесь — без кавычек!) страны, сама, по сути дела, является структурой гражданского общества, и потому проблемы его становления и развития — это для нее не просто предмет «холодной», отчужденной теории, но — жизненноважные проблемы ее собственного бытия.

Другая сила должна быть из партийно-политической сферы. Ибо только союз Науки, представленной структурой гражданского общества, и Политики, представленной авторитетной и влиятельной политической организацией, способен обеспечить успех первых шагов того, что мы назвали «стратегией горизонтали». Эта партийно-политическая сила должна, по-видимому, отвечать следующим требованиям: быть не созданной «сверху», в тиши чиновно-номенклатурных кабинетов, а вырастающей «снизу», выражая и провозглашая интересы рядовых российских граждан. Она должна вырастать из гражданского общества, на базе его интересов. Она, иначе говоря, должна быть не одним из отрядов политической «элиты» (как сегодня — большинство политических партий), а — политическим представителем широких социальных слоев; быть инструментом не «элитной», номенклатурной демократии, но — демократии низовой, массовой, общегражданской.

Мне и моим единомышленникам — со всех сторон — из недр разных политологических фондов (тех, что — прямо или косвенно — подкармливаются государственной бюрократией или олигархической братвой) несутся возражения — что нет-де у нас никакого гражданского общества, вообще «граждан» нет, а есть (с претензией на остроумие и глубокомыслие!) лишь «население», то есть неорганизованная, непросвещенная и потому бессильная «масса». И вы-де, «новые народники», вы, неисправимые утописты-фантазеры, предлагающие вместо реальных, выполнимых программ прекраснодушные, но бессильные утопии, только запутываете общественное сознание. Сегодня-де реальным субъектом общественных преобразований может быть только «политическая элита», и потому надо озаботиться лишь тем, чтобы более эффективно организовать ее, дать ей научно выверенные рекомендации по реформированию общества. При этом наши оппоненты любят не без претензии на тонкую иронию добавить, слегка перефразировав известный сталинский афоризм: другого гражданского общества у нас для вас нет. (Помните, у Сталина: «других писателей у меня для вас нет»?). А, между прочим, можно было бы сказать в ответ товарищу Сталину: «У вас других писателей

нет, потому что всех «других» вы перебили». И гражданского общества, отвечу я моим оппонентам, у вас для «нас» не будет, если вы будете продолжать все делать для его удушения.

Я же думаю, что несмотря ни на что, основа — и достаточно широкая и крепкая — гражданского общества в России существует. И никакое это не «население», будто бы разрозненное и безгласное, а — высоко развитый (интеллектуально и морально) **народ**, стремящийся к самоорганизации и исторической самодеятельности.

Быть может, это незаметно для «элитных» тусовок на всякого рода презентациях и телевизионных «круглых столах» и «клубах», но обнадеживающее формирование нового массового политического сознания идет в России нарастающими темпами.

Может, я, действительно, выдаю желаемое за действительное и преувеличиваю содержательность и активность массового политического сознания современного гражданского общества? Обратимся к некоторым фактам.

Кто — тупой?

«Народ апатичен и тупо молчит» — подобные фразы гуляют по всяким элитным тусовкам, где говорят «откровенно», «между собой».

Да, тягостно и вроде бы «апатично» «молчит» гражданское общество. Да, молчит. Пока молчит. Но опросы, проводимые серьезными и действительно независимыми научными центрами ясно свидетельствуют, что это не «пустое», не «тупое», а очень содержательное и, я бы сказал, многоговорящее молчание. Массовое сознание наших сограждан не только не «незрелое», но и продвинувшееся максимально далеко, — настолько, насколько это возможно для непрофессиональной политической мысли. «Незрелым» и «тупым» я больше склонен считать сознание нашей теоретической профессионально-политической «элиты» — как «левого», так и «правого» толка.

Многоговорящее молчание

Передо мной испещренные десятками графиков и таблиц материалы социологического опроса, проведенного известным своим высочайшим профессионализмом и добросовестностью «Российским независимым институтом социальных и национальных проблем» (руководитель — профессор М.К.Горшков), материалы по 24 субъектам России — от Калининграда до Приморья, от мегаполисов до рабочих поселков и деревень (всего 71 поселение!).

С помощью этих графиков и таблиц проясняется, например, отношение россиян к трем эпохам в истории нашего государства — сталинской, брежневской, ельцинской; по 28 параметрам оценивается каждая из них. Общее первое место заняла эпоха дорогого Леонида Ильича (17 первых мест, 10 вторых, 1 третье). Второе место за сталинским временем (8 первых мест, 12 вторых, 8 третьих). На последнем месте с громадным отставанием — ельцинский период (лишь 3 первых места, 6 вторых и 19 третьих).

И какой же из всего этого напрашивается вывод?

Кажется, дело ясное: люди хотят вернуться в эпоху Брежнева или, в крайнем случае, во времена товарища Сталина. Так вот — нет! Ни к сталинщине, ни к брежневщине наши граждане возвращаться не собираются. Ни за что! Так, доля считающих, что «преступления сталинизма перед людьми и народами **ничем** оправдать нельзя» составляет 69% (а в возрастных группах от 16 до 45 лет и того больше — 75%). Нет желания возвращаться и в брежневское время. Ведь какие «недостатки», по мнению россиян, были присущи сталинизму и брежневскому периоду?

Эпохе Сталина: «господство страха» (так считают 70% опрошенных), отсутствие «доверия между людьми» (94,7%), отсутствие «гражданских и политических свобод» (98,3). Жить в страхе, в условиях несвободы, скрывая мысли, душу и сердце от людей — вот она, непомерно дорогая плата за отмечаемые «достоинства» сталинщины — «дисциплину». «порядок», «мировой» авторитет»!

А чем оплачивались «успехи в образовании, науке и технике» времен брежневщины? Всесилием «бюрократии» (около 60%), неуважением к православной церкви, по сути — к свободе совести (96,5%). В общем — ценой бесправия и бессовестности.

Вот оно, стало быть, состояние современного массового сознания россиян: нынешнее не приемлем, в прошлое не хотим! Я не вижу тут никакого «отупения». Здесь ясное осознание того, что обрушились два крупнейших исторических проекта XX столетия. Российский гражданин не хочет ни возвращаться в сталинско-брежневский гулаговский социализм, ни тонуть в болоте нынешнего номенклатурно-криминального капитализма. Но он не знает, что — вместо. И **потому** молчит. Он приостановился и задумался. Он серьезный и ответственный человек. Он отдает себе ясный отчет, что истерикой, булыжниками с мостовых проблему не решишь. Он как бы говорит: «Я умею варить сталь, добывать нефть, лечить больных, производить товары и торговать ими — я **здесь** профессионал. А где же вы, дорогие интеллектуалы — экономисты, политологи, социологи? Ведь это же ваша профессиональная обязанность — толково разобрать и объяснить, почему рухнули названные проекты и что возможно и нужно вместо них». Молчат профессионалы, ничего толком не могут ответить на полные смысла вопросы массового сознания…

И еще одна грань содержательности современного народного сознания. В нем не только понимание специфики тупика, в котором оказалось российское общество; в нем, пусть в смутной, пусть в спутанной форме, но присутствует некое общее представление и о путях выхода из него.

Так, в нем сосуществуют, противоборствуют, переплетаются, взаимно исключают и взаимно дополняют друг друга два устремления. Одно — направлено на решительную поддержку рыночных отношений. Половина опрошенных считает, что «частный сектор должен быть полностью самостоятельным», что «каждый человек должен сам заботиться о материальном обеспечении семьи, не надеясь на государство». Но вот второе — поворачивает вопрос

другой гранью — приоткрывается другая ипостась сознания: выясняется, что российский гражданин не такой уж «радикальный рыночник». Он вдруг — устами 85% опрошенных! — заявляет, что «***государство*** должно обеспечить каждую семью минимумом доходов», что «***государство*** должно обеспечить работой каждого, кто в ней нуждается». Так кто же он все-таки, «среднестатистический российский гражданин», — «рыночник» или «государственник»? Ни то и ни другое. Если взять массу мнений всех опрошенных на сей предмет и попытаться свести к краткой формуле, то получим: российский гражданин за соединение рынка (что исключает возврат к тотально-государственному прошлому) и сильного социального, с развитыми регуляторскими функциями государства (в чем легко угадывается знак протеста против радикально-либеральных авантюр).

Добавим еще, что массовое сознание не останавливается и на этой, чересчур общей, формуле. Оно стремится к конкретизации, как бы пытается подсказать профессионалам от политики и экономики основные направления и масштабы государственного вмешательства в социально-экономическое бытие. Реализм и основательность мнений на сей счет просто поразительны. По мнению большинства опрошенных, процентное соотношение государственного и частного секторов в современной социально-экономической деятельности должно быть примерно 60 и 40. Сферы наибольшего участия государства, по мнению абсолютного большинства опрошенных (от 73 до 89%), — это: электростанции, железнодорожный транспорт, добыча нефти, угля, пенсионные фонды, вузы. А наименьшее участие государства целесообразно в таких сферах, как производство продуктов питания, жилищное хозяйство, дорожное строительство, банки, газеты, радио, телевидение. Я думаю, большего от массового политического сознания требовать невозможно.

Наконец, я бы обратил внимание не только на тип и уровень политического сознания гражданского общества, но и на тот вдохновляющий всякого действительного демократа факт, что гражданское общество, брошенное на произвол судьбы, презрительно третируемое интеллектуальной «элитой», зомбируемое «элитой» политической, эксплуатируемое «элитой» финансово-олигархической, тем не менее энтузиастически ведет процесс своего структурирования и самоорганизации. То там, то здесь, по городам и весям России, возникают всевозможные объединения, союзы, комитеты, движения, самоуправленческие структуры. Иные, не выдержав трудностей в современных условиях существования, распадаются, но через некоторое время на их месте появляются новые.

* * *

Над нами посмеиваются, называя «новыми народниками» (не путать с номенклатурными народниками из партии Райкова!). Пусть так. Но мне думается, «новые народники» — это лучше, чем «новые русские» и обслуживающая их «элитная» тусовка.

Мы обязательно проведем всероссийскую инвентаризацию всех инициатив гражданского общества, мы составим и представим на всеобщее обозрение карту подобных инициатив по всем регионам России — и вы увидите: не спит и не бездействует гражданское общество. Собрать крупицы этого опыта самоорганизации и самоуправления, извлечь из него уроки, дать его анализ и на его основе выдвинуть развернутую стратегию развития гражданского общества, «стратегию горизонтали» — это и есть одна из важнейших задач современной российской научной интеллигенции.

Союз гражданского общества, науки, народных, демократических организаций и всерьез пекущихся об общем благе политических партий и деятелей, единство «вертикального» и «горизонтального» строительства — только это даст России шанс на преодоление ее бед.

Только теория и практика строительства России по системе описанных нами вертикально-горизонтальных координат может составить тот фундамент, на котором может развиться демократический политический плюрализм, демократическая многопартийность, современная социально-экономическая и политическая демократия.

Вместо заключения

Ни с теми и ни с другими

Нравственно-политическая философия шестидесятников и современность

Да, именно — «вместо заключения». «Настоящего» заключения не будет. Не будет никаких четких и строгих «выводов» — я знаю, таким должно быть «настоящее» заключение. Я ведь формировался в той системе интеллектуальных координат, когда требовалось обязательно в начале прямо или косвенно ставить вопрос «Что делать?», а в конце ясно и четко отвечать: «Вот что!», и далее — первое, второе, третье...

Я так больше не хочу. Не хочу, чтобы книги претендовали на роль командного состава «человечьих сил». Я хочу, чтобы они, в первую очередь, отвечали на вопрос не «Что делать?», а — «Как (и над чем) думать?». А если человек научится правильно думать, то он **сам** придумает, что ему *делать*.

Да, впрочем, и на вопрос «Как и над чем думать?» можно ответить в прежнем командно-дидактическом ключе: надо-де думать вот над чем, и думать об этом вот так-то.

Мне показалось целесообразным прибегнуть к другой методе. Я стремился рассказать даже не столько о том, как и над чем *стоит думать*, сколько о том, как и над чем *думали* люди, признанные абсолютным большинством цивилизованного человечества гениями.

Это вот и есть, по-моему, настоящая школа мышления («мыслильня»!): вместе с этими людьми прикоснуться к вопросам, которые их занимали (и которые занимают нас сегодня), еще и еще раз передумать вместе с ними логику и смысл их ответов, пронаблюдать, как развивали и уточняли они идеи друг друга, сопоставляя их с исторической практикой.

Не рецепты деятельности имеет смысл выписывать, не готовые решения предлагать, а — методы, способы их получения. Результат без пути, к нему приводящего, есть труп, — писал Гегель. «Рецепт», «готовое решение» — пустое и опасное дело. Ибо исторические ситуации — чрезвычайно своеобразны, уникальны, готовых рецептов на них не напасешься. А вот принципы, методы, пути рассмотрения конкретных ситуаций — дело нужное и крайне полезное. Вот главным образом об этих принципах, методах, способах подхода к реальности, к ее осмыслению и преобразованию (совокупность которых может быть названа ***парадигмой***) я и рассказывал на страницах этой книги. Я стремился проследить, как плетется в истории человечества «золо-

тая нить» интеллектуальных исканий, как зарождаются и развиваются современные звенья, продолжающие и обогащающие эту «нить», как социально-теоретические, духовные парадигмы прошлого, воздействуя на реальность и преобразуясь под ее воздействием, подготавливают современные типы мышления и действия, **современную парадигму**. Ее предстоит осмыслить, опираясь на нее, предстоит действовать молодому поколению, вступившему в XXI век. Поколению, которому, главным образом, и адресована моя книга.

«Есть ли моральному человеку место в политическом мире?»
(«Вот в чем вопрос» моих студентов-политологов)

«Оставь иллюзии, — говорит мой давний друг проф. Ю.К., — сейчас никто и ничего не читает, а твое «молодое поколение» — в особенности. Потерянное поколение!».

Да? А ты, мой друг, загляни в магазин «Библио-глобус»: в залах социологии, политики, экономики, права, философии — не протолкнешься! И не какая-то там седовласая старая читательская гвардия, молодые ребята прямо-таки рыщут по книжным полкам.

Я не очень-то верю в размашистые оценки, вроде того, что вот-де «молодое поколение» никуда у нас не годится: и бездуховное-то оно, и ничего не читает, и ни о чем серьезном не думает; а уж студенты «престижных» вузов (вроде МГИМО) — это вообще сборище карьеристов, опекаемых высокопоставленными и высокооплачиваемыми папашами и мамашами.

А по мне, поколение как поколение — со своими героями и негодяями, «думающими» и не-«думающими», подвижниками и карьеристами, бессребренниками и корыстолюбцами. И в «престижных вузах» не «одна только нечисть собрана». Как и во все времена, в них немало чистых и светлых, интеллигентных и деликатных мальчишек и девчонок, мечтающих о благородной деятельности и всерьез готовящихся к ней.

Прочтите, пожалуйста, несколько отрывочков из эссе студентов МГИМО, что занимались в моем семинаре «Мораль и политика». Посмотрите, что их заботит, что мучает:

«Есть ли поистине моральному человеку, человеку совестливому, место в политическом мире? Меня это особо волнует. Будучи студенткой факультета политологии, который напрямую связан с этой сферой жизни общества, я уже сейчас не могу не задумываться над этим. Как же я буду существовать и работать в этом мире, что ждет меня в политике и что я жду от нее, что будет для меня главным, что должно определять мои будущие поступки и действия — жажда властвовать, иметь силу или же моральные, общечеловеческие ценности. А самое главное — смогу ли я совместить политику и мораль, смогу ли я выжить в жестокой политической реальности, не отступив ни на шаг от своих моральных принципов и убеждений? Возможно ли это вообще?»

Это — ***Ангелина Б.***, это — строки из «Введения» к ее эссе. А вот — из «Заключения»: «Я абсолютно уверена, что человек-политик обязан блюсти моральные нормы и ценности, даже если это усложняет его путь к достижению цели, прекрасно понимая, что в современной политической реальности выживать таким людям гораздо сложнее. Для меня прийти к цели, не ударив в грязь лицом, не унизив и не предав никого из окружающих меня людей, гораздо слаще и приятней, нежели достигнуть того же результата, идя по трупам, не задумываясь о чувствах других. Зная себя, могу сказать, что еще с самого раннего детства я замечала за собой, что всегда, совершая какую-нибудь пакость, я потом мучалась от чувства неловкости, неуверенности в том, поступила ли я правильно, и щемящего чувства «постыдности содеянного». Вот почему еще в начале этой работы, я поставила прежде всего для себя вопрос: а смогу ли я жить по законам волчьей стаи? И так и не получила на него ясный ответ. Я вот думаю, что не смогу и не буду, а все вокруг всё время твердят и убеждают, что политика закаляет и изменяет всех, поэтому «преобразит» и меня. Страшно признаться, но меня пугает такое «преображение»...».

Ах, ты, милая, славная девушка, как я хочу, чтобы ты удержалась в жизни на уровне этих вопросов и чтобы не случилось с тобой того «преображения», которого ты так страшишься сейчас.

А вот — ***Катя П.***: «Большинство моих однокурсников, а, значит, людей в каком-то смысле близких мне, впоследствии пойдут в политику... Да я сама еще окончательно не определила свой жизненный путь. Так сможем ли мы остаться людьми? Конечно, хотелось бы. Наверное, это мечта практически каждого, кто идет в политику. Все мы знаем, насколько грязен тот мир, на жизнь в котором мы себя обрекаем, и мало кто (а, скорее, в известной мере, никто) не смог не «обмараться». Но нам кажется, что вот придем мы и все изменим... Такие честные, чистые. И чему тут верить — статистике или собственным эмоциям? Разум говорит, что невозможно достичь власти без «грязи». И это легко объяснить. Начиная заниматься политикой, мы вступаем в мир, который давно уже существует без нас. Естественно, там есть свои нормы, и мы объективно не имеем никакого права их ломать. Мы вступаем в игру, мы должны играть по правилам. И, причем, неважно, что эти правила расходятся с теми моральными принципами, которые мы впитали с молоком матери. Играть — так играть. С другой стороны, говоришь себе, что вот достигнешь высот, когда уже не ты, а от тебя будут зависеть, и тогда сможешь вновь руководствоваться своей совестью. Но практика опять же показывает, что это не так. Нелегко найти пример человека, кто прошел бы через политическую борьбу и, завоевав себе «место под солнцем», стал бы претворять в жизнь те благие цели, которые он ставил перед собой в начале пути. Но тот свет, та вера, что в душе сейчас, — не это ли главное? Может, мы сможем донести хоть крупицу ее до самого конца? В конечном итоге, на поставленный вопрос ответить однозначно невозможно. К тому же меня ужасает тот факт, что немного выше я привела эту концепцию политики как игры по

правилам, аморальным и жестоким правилам. Не начинаю ли я подсознательно оправдывать себя на будущее?

Как я уже говорила выше, второй вопрос вытекает из первого. Оправдывает ли цель средства? Можно ли заплатить хотя бы одной слезой ребенка за благополучие миллионов? Конечно, здесь можно было бы привести рассуждения на эту тему великих мыслителей, таких, как Макиавелли или Достоевский, например, но я воздержусь от этого. Очень часто удобно ответить на вопрос «да». «Да» — и делай все, что хочешь, лишь бы «идти к благой цели»... С другой стороны, к сожалению, и вправду очень многие объективно полезные и необходимые как для отдельного общества, так и для человечества цели достигались через боль и горе других. Можно ли подсчитать, оценить количество зла на пути к добру, создать пропорцию и вывести «коэффициент зла», который нельзя превышать на пути к благу? Все это логично, рационально, но забывается главное — то, без чего человек — это уже не человек, а именно душа. Вряд ли она сможет не зачерстветь и не запятнаться на пути к добру, лежащем через зло. Но для кого-то это не страшно, кому-то все равно. В конечном итоге, объективного ответа здесь дать нельзя, но зато каждый может попробовать решить этот вопрос для себя. И для меня ответ — «нет». Нет, нельзя переступать через окружающих на пути к цели, какая бы она ни была... не знаю, насколько сама я смогу придерживаться этого принципа... хотелось бы верить, что смогу...».

Иногда так устаешь от бесконечных лекций, семинаров, проверок контрольных работ, от десятков и сотен лиц студентов, заполняющих учебную аудиторию, — что говоришь жене (слава богу, что — один на один и что никто не слышит): «Какая у тебя замечательная профессия — врач: ты занимаешься реальным, ощутимо полезным для людей делом. А я вот всю жизнь только и делаю, что болтаю, болтаю, болтаю... И еще считается, что занимаюсь «серьезным трудом», меня с уважением, даже с пиететом называют «профессором», и еще платят за эту болтовню денежки. Просто чудеса!..». И хочется зашвырнуть подальше обступающие со всех сторон книги и планы-конспекты лекций, лечь, по-обломовски, на диван — и прощайте, наполненные студентами аудитории...

Но вот прочитаешь этакое — ну, то, что, к примеру, пишет Катя, — и хандру как рукой снимает, и проходит минутная слабость, и руки снова тянутся к книгам, ноги несут в студенческую аудиторию, вновь мобилизуется весь твой, уже немалый и довольно поучительный жизненный опыт — и ты уже начинаешь видеть себя не просто «праздноболтающим», а размышляющим вслух со своими молодыми и вопрошающими друзьями — и вроде что-то путное удается тебе сказать им, вроде бы и тебе, и им что-то, в результате, становится яснее.

А вот еще — ***Андрей Б.*** и ***Дина Б.*** Всё — о том же, будоражащем их сознание, вопросе: «Я, как и многие, рассуждая на тему о соотношении морали и эгоизма (назовем это так) в политике, обычно оставлял ответ на вопрос, что

же все-таки лучше, что важнее, чему следовать на практике, открытым. Скорее всего, я сам не могу окончательно решиться, а если и могу сделать это теоретически, то не могу с уверенностью сказать, что не поддамся на определенные соблазны в будущем, которые жизнь, безусловно, будет в огромных количествах ставить на моем пути, тем более, если я изберу политику в качестве главной сферы моей профессиональной деятельности».

«Многие идут в политику с твердым намерением изменить ее, искоренить нечестность, коррупцию и т.д. Но зачастую им приходится принимать политические правила игры: кто-то уходит, кто-то соглашается стать «таким же» и остается. Так можно ли «сберечь в себе человека» в политике? Я считаю, что можно и нужно, при этом изменяя других. Главным нерешенным для меня вопросом остался следующий: возможно ли сначала принять правила игры, чтобы удержаться в политике, а после начать свою миссию по «облагораживанию» акторов. С одной стороны, клин клином вышибают, а, с другой, разве можно построить «добро» на «зле»?».

«Считается, что если ты — человек, живущий по моральным принципам, то в политике тебе делать нечего: если не хочешь жить по принципам волчьей стаи, ты будешь немедленно съеден, и, следовательно, ничего не добьешься».

«Хочу еще раз обратиться к проблеме, невольно поставленной Макиавелли: должен ли человек, а особенно политик, перешагивать через всех и вся, стремясь достичь цели? Меня эта проблема особенно волнует, ведь она напрямую связана с моей будущей профессией. Как любой разумный, хоть немного амбициозный, человек, я хочу добиться успеха в любимом деле, расти по карьерной лестнице, но в моем представлении политика должна идти в ногу с моралью. Для меня это части одного целого. Но почему же они так в реальной жизни разъединены?».

«Что заставляет человека идти в политику? Почему, видя всю низость этого мира, мы все равно стремимся попасть в него? «Жажда власти» — было бы ответом для тех людей, которые, скорее всего, и не увидят в средствах ее достижения, описанных Макиавелли, ничего плохого. Само удовольствие от власти над людьми — это уже не по-христиански. Вряд ли мы все-таки яро верим, что мы сможем что-то кардинально изменить: это слишком утопично. Но почему-то ни на чем не основанная уверенность, что мы попадем в тот мир, но не «обмажемся», остается... или же мы сами еще не решили, по каким нормам — «хорошим» или «плохим» — нам хочется жить? Ведь тогда эти «плохие» нормы станут вполне хорошими для нас, а они так удобны... хотелось бы верить, что это не так...

Еще один вариант: разделить профессиональную сферу и всю другую жизнь. Жить двумя жизнями: в политике быть безжалостным и хладнокровным, в повседневной жизни — добрым и ласковым. Вряд ли это может получиться... Совестливый человек не сможет абсолютно абстрагироваться от того бесчестия, которое ему приходится совершать «на работе», «кошмары» (ибо для него это кошмары) будут преследовать его. К тому же, как нащупать и не переступать ту грань, когда ты еще «играешь роль», не пуская свое вто-

рое, «политическое», Я в себя, и когда ценности мира политического начинают захватывать и другие области твоего сознания?».

Они пишут мне свои эссе и ждут ответов.

Я отвечаю вам, мои друзья, вот этой книгой. Это все, что я могу для вас сделать. Тут ведь не может быть быстрых и легких ответов, тут нет простых решений. Ваши вопросы, которые кажутся, на первый взгляд, конкретно-практическими и сугубо прагматическими, на самом деле уходят в самую толщу проблем человеческого бытия. Вокруг них, по сути, вращалась мысль замечательных людей прошлого. Изучайте их опыт — опыт мышления и опыт деятельности, вбирайте его в себя и — делайте жизненный выбор. Это — одна часть моего вам ответа.

И — другая часть: присмотритесь попристальней к опыту моего, близко соприкоснувшегося с вами, поколения, к опыту тех его представителей, кто своими размышлениями, своими поступками и своими судьбами отвечали на то, что волнует вас сегодня. Их судьбы, их опыт и извлекаемые из него уроки — заслуживают основательного, фундаментального изучения. И, я надеюсь, мы с вами проделаем эту работу.

Здесь же, в «Заключении», я коснусь лишь некоторых, имеющих прямое отношение к вашим вопросам, аспектов этого опыта. И это мое «Заключение» пусть сыграет роль «Введения» к той будущей книге, которую мы вместе с вами напишем.

Пятеро из поколения «шестидесятников» — с поучительными судьбами и впечатляющими идеями: Дедков, Буртин, Карпинский, Бурганов, Бовин.

Поучать начальство или просвещать народ?
(Уроки карьеры и жизни Александра Бовина)

Выступление в Доме журналиста на презентации книги «Воспоминания об Александре Бовине», март 2006 года

С Бовиным я был знаком мало. Мы с ним до поры, до времени, выражаясь словами Игоря Дедкова, «плавали в разных водах»: он — где-то там, наверху, рядом с сильными мира сего (советчик и речеписец у Брежнева и Андропова), я — скромный преподаватель философии в МГУ, и писали мы с ним в разные адреса: он — во всемогущее Политбюро, я — в оппозиционный «Новый мир» Твардовского. Вошли «в одну и ту же реку» мы с ним только в годы перестройки: вместе участвовали в знаковом коллективном труде демократической, перестроечной интеллигенции «Иного не дано»; потом, в середине 90-х, — тесно пообщались за круглым столом «Свобода слова и свобода печати», материалы которого напечатаны в этой книге. Но большой близости — человеческой и духовной не было; все-таки настоящими друзьями люди становятся в молодости.

При прощании с Анатолием Аграновским Бовин заметил: наши разговоры-размышления Аграновскому уже не нужны, они нужны нам, которым еще предстоит жить и действовать.

Следуя этой стилистике, я сегодня сказал бы так: сегодняшние наши разговоры Бовину уже не нужны, более того, они не слишком-то нужны и нам, ибо слишком уж мало оставленное нам судьбой пространство жизни и действия. Но они нужны тем, кто идет за нами.

Я имею дело со студентами-политологами, многие из которых мучаются вопросом: что предпочесть, выбирая свой жизненный путь — пытаться воздействовать на «власть имущих» или на «власть не-имущих»? Какой из этих двух путей ведет к наибольшей реализации своих интеллектуальных и нравственных возможностей, какой из них позволяет наиболее эффективным образом влиять на жизнь общества, в котором им судьбой суждено жить. Причем речь идет о выборе пути человеком, демократически и гуманистически ориентированном, стремящемся следовать нравственным императивам, которые всегда высоко ценил и Александр Бовин. Императиву Твардовского: не могу передоверить даже Льву Толстому — сказать, как я хочу, и так, как я хочу. И императиву Канта: можно не всегда говорить то, что ты хочешь, но никогда не говори того, чего не хочешь.

Вот для этих молодых людей представляемая сегодня книга о Бовине дает бесценный материал для размышлений, анализа и выводов. Бовин побывал в обеих ипостасях: ближайший советник самых-самых «сильных мира сего» и независимый от этих «сильных» журналист. Я не буду своим молодым друзьям «по-профессорски», авторитарно-дидактически навязывать свое мнение, предлагать свои выводы, давать свои рекомендации. Я только укажу им на узловые точки бовинского опыта. И пусть они уж сами решают, сами выбирают — «Думайте сами, решайте сами!».

Я их попрошу, прежде всего, попристальнее всмотреться в деятельность Бовина там, в высших сферах политики — вблизи Брежнева и Андропова (по воспоминаниям его коллег и по его собственной книге «XX век как жизнь»).

Особенно я посоветую им разобрать реакцию советников и консультантов на событие, способное наиболее зримо, наиболее резко высветить все грани их деятельности — на вторжение советских танков в Чехословакию (в августе 1968 года) — для подавления «Пражской весны» и «социализма с человеческим лицом».

Когда вы будете читать названные мной книги, вы легко выделите три типа реакции советников на это событие: реакция советника А., реакции советника Ч. и реакция Бовина (не называю фамилии советников, так как дело не в персоналиях, а — в типажах).

Итак, реакция этих советников на готовящееся вторжение. Все трое — решительно осуждают его, все трое считают, что оно нанесет громадный, непоправимый ущерб нашей стране, нашему обществу (как оно впоследствии и случилось), они, великолепные знатоки Маркса (ибо частенько приходится всовывать цитаты из него в тексты речей «вождей»), хорошо помнят

его знаменитый афоризм: «Народ, порабощающий другой народ, кует свои собственные цепи».

И какова же их реакция?

Первый тип реакции — господин А. Он негодует внутри себя и молчит вовне. И не просто «молчит», но, следуя «партийной дисциплине» и «правилам игры» в высших сферах власти, — усердно и высоко профессионально выполняет задания «руководителей партии и правительства».

Другой человек — господин Ч. Он — более тонкая, более эмоциональная натура. Он просто не в состоянии вынести бурлящий в нем протест. Он приходит домой и ... поверяет его бумаге: он записывает свой гнев в «Дневник», который 30 лет спустя, когда не будет ни Брежнева, ни Андропова, ни прежней партийно-государственной системы, *опубликует*. И все увидят и оценят, какой неглупый, какой прогрессивно и демократически мыслящий человек был этот Ч. Правда, тогда, 30 лет назад, об этом знала лишь бумага его Дневника. Впрочем, нет, знал об этом (и сегодня он может засвидетельствовать!) еще один человек: «Подошел как-то вечером к своей дочери-школьнице, — рассказывает нам сегодня этот самый Ч., — и сказал: «Запомни, мы совершили страшное преступление. Нам не простят это и за сто лет. Оно ляжет позором на русских, на нашу страну, на нашу историю. И что бы потом мы ни делали, проказа от этого преступления будет разъедать все». Бедная школьница, на детскую головку которой посыпались слова этой жуткой тирады! А господин Ч., облегчив таким образом свою душу, пошел на свою привычную работу на Старой площади и еще двадцать с лишним лет со рвением служил там этой «преступной» цековской структуре (и служил бы дольше, если бы ту в 1991 году не ликвидировали).

И вот Бовин: **он** свою «тираду» положил не на все терпящую бумагу Дневника, а на бумагу развернутой официальной «Записки». И направил ее не дочери-школьнице, а министру КГБ Андропову и генсеку Брежневу. Там он призывает отказаться от вынашиваемого решения о вторжении в Чехословакию, он подробно расписывает те громадные «минусы», которые за ним последуют. Он добился встречи с Брежневым и услышал от того: «Решение уже принято. Мы с тобой принципиально не согласны. Если хочешь, можешь выходить из партии». «Я тогда не готов был выйти из партии», — пишет Бовин в своих мемуарах. И — не по карьерным соображением, а просто потому, что он высоко ценил и искренно разделял идеи социализма, которые издавна, с ленинских времен, выдвигала партия.

Он был **единственным**, кто в тех, «высших кругах», оказался способен на «поступок». Но Бовин не ограничился разговором с Брежневым и письмом Андропову. Он совершает еще один, просто немыслимый для чиновника его ранга, **поступок**, который, узнай о нем кагебист Андропов и генсек Брежнев, был бы назван ими не иначе, как «предательством» и «изменой» (со всеми вытекающими из этой квалификации последствиями). Он тайно встречается с помощником лидера Пражской весны Александра Дубчека и сообщает ему о принятом советским руководстве решении о предстоящем вторжении

(давая возможность чехословацким товарищам принять кое-какие защитные меры — например, рассредоточить по различным местам Праги радиопередатчики, с которых они будут координировать свои действия против агрессора и т.п.). Но, понятно, это не Бовин «предавал» идеи социализма, подлинными предателями великой идеи были как раз те, кто принял решение о вводе войск в братскую социалистическую страну.

И вот в такие-то минуты имеющий совесть и уважающий себя человек и начинает думать: «А что я тут, собственно, делаю, и кем, собственно я тут являюсь?». И Бовин ответил со всей присущей ему прямотой и резкостью: я — «более или менее привилегированная **челядь**, и даже не первой, а «второй категории». Иначе говоря — лакей при господах, лакей, которого держат до тех пор, пока он безропотно и «высоко профессионально» выполняет господские прихоти. А чуть заартачился — «Пшел вон!».

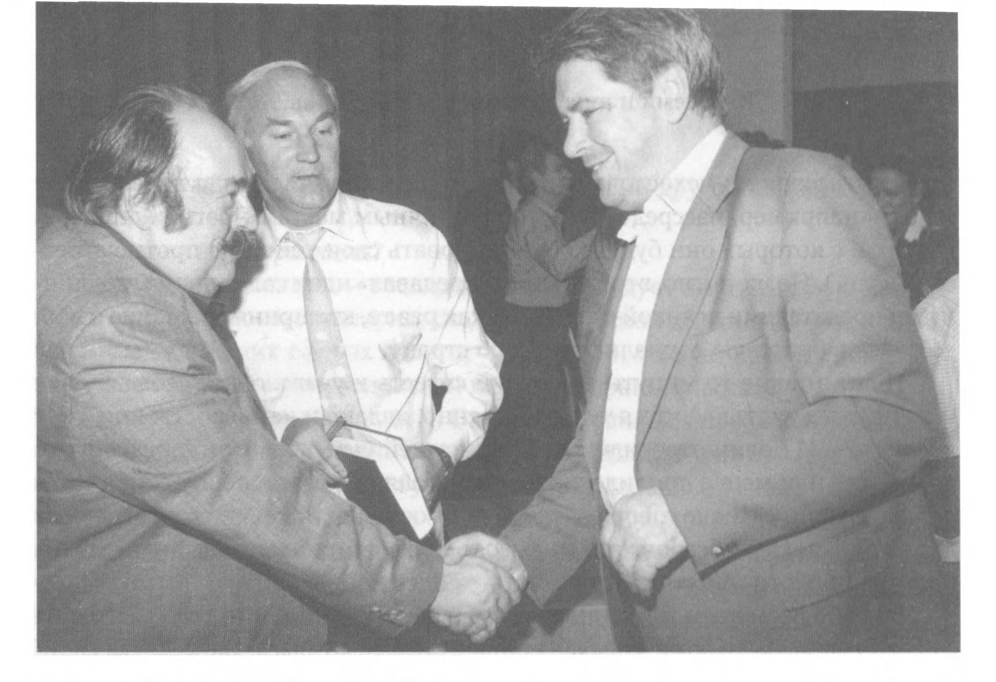
Вот обо всем этом и начинает размышлять Бовин после того разговора с Брежневым. И — в доме отдыха — пишет письмо друзьям, где делится своими нравственными и интеллектуальными мучениями и весьма нелицеприятно отзывается о своих «господах». Пишет и простодушно опускает в почтовый ящик. И первым «другом», читающим это письмо, становится «интеллигентный и благородный» (как его аттестует в своих воспоминаниях тот самый советник А.) Андропов — это его ищейки перлюстрировали бовинское письмо.

«Благородный» Андропов переправляет это письмо не менее «благородному» Брежневу (причем страшно спешит это сделать — боится, как бы его не опередил здесь его зам, получивший копию того письма; ведь тогда карьера «благородного» министра КГБ окажется под угрозой). А затем два «благородных» товарища решают: проштрафившуюся челядь следует гнать в три шеи. Гнать — не встречаясь с ней и ничего не объясняя. В общем, лакей «второй категории» пришел на свою работу, а другой лакей (третьей или четвертой «категории») принес ему конверт, в котором значилось: с сегодняшнего дня Бовин А.Е. в ЦК больше не работает — «Пшел вон!».

Надо отдать должное Александру Евгеньевичу: ему, конечно, всё это было неприятно — и то, что без личной встречи, и то, что — письмом, и то, что — без объяснений; жаль было лишиться и определенных привилегий, положенных цековским «лакеям» (об этом тоже правдивый Бовин упоминает в своих мемуарах: я уже привык к более или менее благополучной жизни, пишет он), но всё же он не воспринимает свое увольнение как катастрофу, как крушение всех жизненных надежд. Он быстро, «без слез и слюней», собирает свои цековские «манатки» и отправляется в свободное журналистское плавание.

Вот с **этого** и начинается тот Бовин, которого мы знали и любили, — Бовин превосходных статей в «Известиях», Бовин глубоких и раскованных комментариев на телевидении, Бовин яркой и оригинальной дипломатии.

И в моей памяти Бовин останется не «речеписцем» докладов генерального секретаря. Тут говорили (а в книге писали), как мастерски-де сочинял он эти доклады — какой при этом демонстрировал уровень философских обобщений, как умел создавать «стреляющие политические формулы», как восхища-



лись его филигранной работой высокопоставленные заказчики. Э, бросьте, друзья-товарищи! Какие там, в этих докладах «философские обобщения», какие «стреляющие формулы»? Обычная бюрократическая жвачка, приправленная ложным пафосом и хорошо, «филигранно» закамуфлированной ложью.

Нет, в моей памяти Бовин останется автором тех смелых «Записок», великолепных аналитических статей и телевизионных бесед. Но особенно он будет памятен тем эпизодом (о котором в книге рассказал Леонид Шинкарев) — как некоторое время спустя после той, преступной, акции августа 1968 года Бовин посетит Прагу и позвонит в дверь того самого помощника Дубчека, которому в свое время поведал о замыслах своих партийных властей, и — не желающий «иметь дело с русскими» чех откажется открыть ему дверь. «Я буду сидеть на лестнице всю ночь, пока ты мне не откроешь», — сказал Бовин. Чешский товарищ выдержал только до пяти утра. Дверь, наконец, открылась, они обнялись и, по-русски, осушили бутылку сами знаете чего.

Так вот, главное, каким запомнится мне Бовин, это — сидящим до пяти утра на лестничной площадке в Праге. И этим, очередным, «поступком» он не просто принес личное покаяние, но ясно показал чешскому гражданину, что благородные люди на Руси не перевелись, что их не надо смешивать с властвующими временщиками и что эти люди смогут найти путь к сердцам и душам людей, живущих в других странах, — через головы правительств и правителей.

«Ни с теми и ни с другими»
(О нравственно-политической философии Игоря Дедкова)

Вместо предисловия

«Я хочу быть понят моей страной, а не буду понят — что ж, по стране родной я пройду стороной, как проходит косой дождь». Вот так, как писал

Маяковский, «косыми дождями», «стороной» проходят по родной стране многие лучшие и талантливейшие ее люди, — по разным причинам: отодвигаемые на обочину бюрократическими режимами, травимые и замалчиваемые всевозможными «сальеристами», не замечаемые большей частью, увы, духовно неразвитого общества; наконец, — по причине удивительной личной скромности, так свойственной русскому интеллигентному человеку.

Игорь Александрович Дедков (1934–1994) — один из таких вот талантливых русских мыслителей, сравнительно скромная известность которых не соответствует масштабу их дарования, значимости оставленного ими духовного наследия. Хотите составить себе представление о масштабе его личности, его дарования и интеллекта — почитайте (или хотя бы только полистайте) его книги «Во все концы дорога далека», «Любить? Ненавидеть? Что еще? (Заметки о литературе, истории и нашей быстро текущей абсурдной жизни)», «Обновленное зрение», его «Дневники», опубликованные в «Свободной мысли» и «Новом мире». А если вы не просто «полистаете» и не просто «почитаете», но вживетесь, вдумаетесь, вчувствуетесь в мир его идей и взглядов, вы, наверняка, увидите, какой громадный и оригинальный вклад сделан им в духовно-нравственную культуру нашей страны и сколь необходимы нам — для просветления нашего взгляда на современную Россию — его мысли и концепции, совокупность которых вполне может быть определена, как *нравственно-политическая философия Игоря Дедкова.* О ней мы и поведем речь сегодня — исходя из того убеждения, что одна из важнейших задач нашей национальной культуры, одно из предназначений отечественной интеллигенции состоит в том, чтобы не дать уйти в небытие мыслям и делам замечательных людей России, дабы дождь их идей и исканий прошел не по обочине нашей национальной культурной территории, а пролился на все ее бесконечные просторы, взрыхлив, освежив почву и тем создав условия для новых интеллектуальных и нравственных всходов…

Из биографической справки об Игоре Дедкове («Свободная мысль», № 9, 1995): «Если пользоваться распространенными определениями, И.А. Дедкова следует отнести к «шестидесятникам», к тому слою российской интеллигенции, которая, горячо поддержав «десталинизацию» конца 50-х, пыталась предотвратить последующую «реставрацию», идейно готовя перестройку. Судьба этих людей оказалась непростой и в чем-то трагичной. В 1956–1957 годах И.А. Дедков был известен как один из лидеров студенческого движения на факультете журналистики Московского университета. Призывы к переменам, к углублению курса XX съезда были восприняты властями как крамола, Дедков и его товарищи подверглись преследованиям. После окончания университета Дедков был направлен на работу в Кострому. Тридцать костромских лет принесли ему известность и общественное положение. Несмотря на бдительный контроль со стороны КГБ, Дедков стал одним из ведущих российских литературных критиков. Он писал смело и откровенно, отстаивая те идеи и принципы, которые не всегда были приятны властям, но вызывали сочувствие и уважение у здравомыслящей части общества.

С началом перестройки Дедков стал постоянным автором комментариев в одной из популярнейших газет того времени — «Московских новостях». В 1987 году он получил приглашение возвратиться в Москву на работу обозревателем в журнал «Коммунист». С августа 1991 года И.А. Дедков — первый заместитель главного редактора журнала «Свободная мысль».

...Игоря Дедкова более десяти лет нет с нами. С печалью, но, помня, о каком человеке идет речь, — с по-пушкински «*светлой* печалью» поклонимся его памяти.

«Мы можем переменить узор ковра»

Это — герценовские слова, которые так любил повторять Игорь Дедков. Да, мы можем и сможем переменить ткущийся историей «узор ковра», если...



Игорь (называю его так — по имени, потому что знаю его с тех бесконечно уже далеких лет, когда мы, студенты МГУ, — Игорь был на четвертом, я — на первом курсе, — опираясь на костыли антисталинских решений XX съезда, дружно, плечом к плечу, поднимались с колен, пробуя идти своими ногами и руководствуясь собственным разумением: «не могу передоверить даже Льву Толстому сказать, что я хочу и так, как я хочу»; потому, и да простит мне читатель, я и не могу, не сбиваясь на фальшивый тон, называть его ни «Игорь Александрович», ни «Дедков»; просто — Игорь), так вот Игорь одинаково не принимал два (весьма распространенных в «интеллигентской среде») типа рассуждений о логике Истории.

Первый. Если вы хотите понять ход Истории, отодвиньте в сторону всякие моральные сентенции и абстрактно-гуманистические штучки — оставьте их для обсуждения особенностей частной жизни и товарищеских взаимоотношений. Государство же, Общество, Социум живут по другим законам (тем более — Великое Государство, Держава!). Политика (и это выяснил еще Макиавелли) по самой своей сути не может быть нравственной. Да, конечно, это не слишком нравственно — заключить, например, договор о дружбе с гитлеровской Германией и на его основе делить земли других народов, нарезая себе жирные куски с чужими городами и людьми. Что делать — есть высшие интересы Государства, Державы: надо было отодвинуть начало войны, поосновательнее подготовиться к ней... Да, это, с моральной точки зрения, кощунственно — подтверждая дружбу с Гитлером, выдавать ему разыскиваемых гестапо иммигрантов-антифашистов (немецких, австрийских, греческих, итальянских), отдавая их на мучения и казни. Но — Держава, Государство, Народ! Все — для них, для их Защиты и Величия!.. Да, не

очень-то нравственно отобрать у крестьян все произведенное ими зерно и, обрекая миллионы соотечественников на голодную смерть, менять его за границей на то, что потом превратится в заводские трубы, самолеты и танки. «Либо мы это сделаем, либо нас сомнут!» (Иосиф Сталин). (То, что миллионы своих уже сами «смяли» — это как-то упускается из виду).

И другой, как будто прямо противоположный, тип рассуждения. Впрочем — растущий из того же корня, что и предыдущий: да, политика, по самой своей сути, не-нравственна и даже прямо — безнравственна; политика — это грязное дело и не может быть иной. А раз — так, то долой всякую политику, все ее постулаты и софизмы. Нормальный человек должен быть вне политики! Мы против всяких «прогрессов», если «рушится человек». К черту интересы Социума, Державы, да здравствуют интересы и права Личности!

Для Игоря Дедкова «интересы и права личности» тоже святы. И он тоже категорически против того, чтобы в огне и свете Великих исторических событий сгорало, расплавлялось и испарялось индивидуальное, личное, частное: «Беремся рассуждать, к примеру, об исторических событиях, великих, величественных, говорим уверенно, громко, прямо грохочем, и вдруг представится, как внутри события сидят съежившиеся от нашего грохота люди и пытаются что-то сказать... А их для нас как бы нет — нам достаточно абстракций, с абстракциями много проще»[1]. Это он все прекрасно знает. Но он знает и другое: съежившиеся, загнанные, замурованные в пространство частного интереса люди не смогут обустроить ни свой маленький личный мир (существующий лишь в рамках Социума, лишь во взаимодействии с ним), ни большой мир своих взаимоотношений с другими людьми — соседями, односельчанами, одногорожанами, с тысячами своих земляков и миллионами соотечественников — ведь это уже сфера политики. А в ней, по «высоконравственным мотивам», они отказываются участвовать. И потому для Игоря — нормальный человек не может и не должен быть вне политики. «Политика, мне бы 30 лет назад в тебя кинуться», — с болью, как о желанной, но не реализованной возможности напишет он в дневнике уже на закате жизни[2].

Еще раз: нормальный человек не может быть вне политики. Только это должна быть **другая политика**, — исходящая не из интересов Державы, безразличной к судьбам и жизням тех, кто в этой Державе живет, а из повседневных забот и интересов простых, рядовых граждан. «Пусть историки, — напишет Игорь об официальных, «державных» историках, — взвешивают и перевешивают на своих весах факты, деяния и репутации значительных лиц». Человек же, разделяющий точку зрения Игоря, «упрямо начинает с другого конца: с судьбы безвестного человека»[3]. Это — принципиально иной взгляд на Историю: смотреть на события глазами не «элиты» чиновно-державной

[1] Дедков И. Обновленное зрение. М, 1988, с. 294.

[2] Дедков И. «Дневник», «Свободная мысль», № 9, 1995, с. 118.

[3] Там же, с. 303

или салонно-морализаторской), глазами не «известного», а — «безвестного» человека. Если «случайно нарушив привычку *(«громыхания» по поводу исторических событий),* пойти по другой стороне улицы», — и «мир будто дрогнет: что-то неизвестное, пропущенное приоткроется в его примелькавшемся облике» («Обновленное зрение», с. 294). Все творчество Игоря и есть приоткрытие этого «пропущенного» и «неизвестного» — картина того, как видится мир с той, другой, «неофициальной» «стороны улицы». Каковы же основные составляющие этой картины?

«Человеческий суд эпохе»

Именно так, используя формулу Игоря, мы назвали бы рисуемую им картину. Но прежде чем рассказать, что на ней, давайте еще и еще раз всмотримся в того «субъекта», что идет по «другой стороне улицы» и в воображении которого возникает эта картина. Самому Игорю очень важно было точно определить и описать его. Это была непростая задача: не впасть в банальности, велеречивость, дешевый пафос. Он осторожно нащупывает существенные черты этого «субъекта». И в описании их прибегает, как правило, к образному стилю речи. Всепроникающая «образность», «художественность» писаний Игоря — это не просто особенность его публицистического **стиля**, это — суть, это — способ его **мышления** и **чувствования,** которые просто не могут существовать в ином стилевом одеянии. Ведь, если ты грохочешь Абстракциями, историческими Законами, то и стиль твой будет грохочущий и абстрактный — стиль чиновно-служебного доклада. Если же смотришь на события глазами «безвестного», нормального (не-великого!) гражданина, то и разговор твой о них будет более личностным, интимным, «человеческим». Вот откуда это Игорево: «**Человеческий** суд эпохе». И потому такой мягкой и теплой эмоциональностью, такой лиричностью окрашены все его размышления о всматривающихся в жизнь людях «с той стороны улицы»: «вся надежда, что литература туда вернется и взглянет их глазами, перескажет их речи»[1]. А вот как попасть на эту точку обзора: «В старом провинциальном городе забрести во дворик, где тропинки, трава-мурава, сараи, поленницы, присесть на скамейку, услышать запах подгнивающего, ветхого, деревянного жилья и **взглянуть оттуда**...». А то можно пойти на городскую окраину — ту, например, что описал Виталий Семин в «Семеро в одном доме», — там трудно живущее «пестрое окраинное население» знает и «теплоту человечности», и ту «ясную меру, которая строже родства и выше дружбы»[2]. Или — в научные лаборатории (что в дудинцевских «Белых одеждах»), где можно познакомиться с теми «безвестными» «героями противостояния», что как упрямая трава «поднимают бугром» давящий все живое бюрократический асфальт и пробиваются к свету.

[1] Дедков И. Обновленное зрение. М, 1988, с. 294.

[2] Дедков И. «Во все концы дорога далека», 1981, с. 75)

О, оттуда мир и события в нем выглядят существенно иначе, чем из окон кремлевских спичрайтеров или салонов «рафинированных интеллектуалов». «Вот с чем я столкнулся, что почувствовал, когда И.Т. вспоминал 60-е годы,— запишет Игорь в «Дневнике» 28 января 1988 года.—Ясное-ясное представление: он где-то поверху, я где-то внизу, он—о «Вопросах философии», о Капице, Лысенко, Кедрове; я—о чем?—о «Северной правде», о каком-нибудь Грише Илюшко, пьянице Комракове, о Леньке Воробьеве и так далее»—жизни «разных сортов». Или (25 марта 1988 года): «Разговаривали за завтраком обо всем на свете: от СПИДа до национальных отношений. Н.Б. вспомнил, как Федоров *(хирург, глазник—а мы еще добавим: лидер партии то ли народно-капиталистической, то ли народно-социалистической, в общем—крупный политик)*, выступая на «круглом столе» сказал о 50 тыс. долларов, на которые он производит закупки оборудования. А присутствующий врач из райбольницы сказала: а у нас и 50 рублей нет, чтобы купить необходимое!.. И тут меня как кольнуло: и представилась та далекая **конкретная** жизнь в каком-то селе, городке, снег, крыльцо, люди, сбивающие снег с валенок… То—жизнь». А через несколько дней (27 марта) опять возвращается к этому, с добавлением трогательных деталей,—видно, что-то очень существенное прояснилось ему в том разговоре: «Тот о тысячах долларов (не дают), а она—о пятидесяти рублях (не дают), и посреди разговора… меня вдруг кольнуло, и здесь, в роскошной этой столовой, среди сытых и чинных людей, я с горьким сожалением почувствовал правоту и недоступность, и упущенность конкретной жизни. В какую-то долю мгновения я увидел крыльцо темного от времени деревянного больничного строения, женщину, наскоро сметающую веником снег с валенок, услышал ее бодрый голос: «Ну, как тут мои больные?». Никогда я так не ощущал многоэтажности, многослойности жизни, как в эти дни. Отвлеченность живет за счет конкретности. Плавание в разных водах».

Да, «элита» и подвластный ей «народ» плавают в разных водах, ходят по разным сторонам улицы и видят по-разному Мир и События, в нем происходящие. Игорь, разумеется, мыслью и чувством с Гришей Илюшко, Ленькой Воробьевым, с врачами из райбольницы. В Москву он вернулся после почти 30 лет жизни в Костроме. «Я произвожу здесь *(в кругах московской «элиты»)*, должно быть, мрачное впечатление. За обеденным столом—разговоры, когда прогуливаемся—тоже, я все молчу. Редко-редко что-то скажешь, и то неохотно. И люди вроде бы располагающие, но все-таки чужие, другой клан, другие воспоминания у них. С другого этажа. И я—с другого, не с их.» («Дневник», 25.03.88). Он с того этажа, из тех коммуналок, из тех столичных и провинциальных двориков, где «Гриша», «Ленька», сельский фельдшер…Он смотрит на мир **их** глазами. Одно только добавление: их глазами, но опираясь при этом не на узкий и частный опыт отдельных лиц, а на широкий фундамент философской, эстетической и этической мысли. Можно сказать, он вводит идущий «снизу» народный взгляд в контекст мировой культуры. И вот только тогда—в пространстве **такой** позиции—начинается сближение и взаи-

мопроникновение всеобщего («общественного») и частного («личностного») начала, иначе говоря — политики и нравственности. В итоге формируется новая единая, «конвергентная» (т.е. — объединительная) мировоззренческая парадигма — **нравственно-политическая**.

Игорь Дедков — один из главных ее творцов и пропагандистов. В этом новом мировоззренческом подходе существовавшие прежде порознь (и даже — в противостоянии) политическое и нравственное начала сплавляются в единство, в некую целостность. И в таком взаимопереплетающемся контексте политика теряет свои «безнравственные» очертания, а нравственность — облик бесплодного и бессильного морализаторства. Иначе говоря, в этом контексте политика становится другой **политикой**, а нравственность — другой **нравственностью**. Вот как о том — блистательно — написал сам Игорь: «Допустима, нужна ли «моральная оценка» (сталинской деятельности и проч.)?.. Моральная оценка — это не обязательно взгляд моралиста. Литература почти с неизбежностью такой взгляд в себе заключает, если устраивает человеческий суд эпохе. В конце концов человек не обязан входить в положение властителя государства, правящей группы. Его критика, неприятие абсолютно законны. Его интересы законно могут расходиться с устремлениями государства, рвущегося в великие и мировые державы. Он явился на свет — жить, а не соревноваться в государственных предприятиях, и пошли они все к черту» («Дневник», 21.3.88).

Нравственность, закрепляемая в политических институтах и решениях, и политика, наполняемая богатством и красотой нравственных принципов; «народность», обогащенная теоретической культурой, и теория, пропитанная конкретикой народного мироощущения, — становятся под пером Игоря Дедкова, основой удивительных прозрений — в отношении Прошлого, Настоящего, Будущего.

Реальный социализм: «Власть отвратительна, как руки брадобрея»

Итак, вначале — о Прошлом. Да, Игорь, как и обещал, вершит не уголовно-юридический и не морализаторский, а Человеческий (что означает — нравственно-политический) суд эпохе.

Вот оценка того общественного строя, того государства, в котором мы жили до 85-го года. Вначале — точные и строгие политологические дефиниции: «Самая большая ложь государства — наличие привилегий, отчуждение гражданских прав,.. иерархия не только должностей, но семей, социальных слоев». Это — речь ученого, теоретика; в ней под корень рубятся положения политической науки того времени, тщившейся представить «реальный социализм» как систему социального равенства, политической и духовной свободы.

Но политические категории — слишком абстрактны и схематичны. Они — лишь начало понимания. И потому тут же политологические характеристики переходят в нравственные оценки: «Партия — ум, честь и совесть нашей

эпохи — формула на удивление сбывшаяся, формула отчуждения ума, совести и чести». Видите, о чем уже с возрастающим эмоционально-нравственным накалом говорит Игорь: партия присвоила, приватизировала, отобрала у нас наш ум, нашу честь и нашу совесть, оставляя нам, по сути, одну-единственную функцию — быть нерассуждающими исполнителями; она, видите ли, освобождает нас от нравственного выбора и ответственности — это она «берет на себя». И далее эмоционально-нравственное начало рассуждений расширяется, обретая все более образный характер: «Государство в существующих формах отвратительно. Оно норовит заполнить все пространство жизни». Ну-ка, вспомним, как такое государство называется на строгом языке политической науки? Да, верно — тоталитарное. А как оно называется на языке нравственно-политической философии Игоря Дедкова? Вот как: «Государство, сочащееся сквозь все поры». (Ну, что скажете? Ведь это посильнее «тоталитарного» — политологического синонима?). И далее: «Ощущение государства с детства: на всю жизнь оторопь и неприязнь» — «власть отвратительна, как руки брадобрея».

И дальше, дальше, дальше: с высот обобщений — вниз, к земле, ко все большей конкретике, с характеристики «элементов» общественной «системы» — на уровень судьбы и чувствований конкретного человека. Вот тогда-то от Человеческого приговора этой системе не отвертеться и не отболтаться. «Дневник» (08.07.86): «Сюжет: где-то перед войной, в 37–38 гг., его обязали сотрудничать с НКВД, т.е. сообщать сведения о руководителе организации (учреждения), где он тогда работал. Он хорошо относился к своему начальнику и ничего плохого не сообщал. Однако было давление, неприятные и тревожные минуты на этих тайных встречах: дома, на скверах, на кладбище, на стадионе. Война освободила от этого шпионства. Но на фронте к нему пришли с тем же предложением. На этот раз он отказался, сославшись на то, что и так честно на гражданке работал на них... После войны его вынудили к сотрудничеству снова. Особенно унизительны были для немолодого человека эти тайные встречи. Июль 53 года. Слезы освобождения. Еще 15 лет, и снова те же сети. В какой-то пьяной компании он слышит: «сексот», и ужасается: они знают, все знают!»

И еще тысячи других по-другому поломанных и растоптанных судеб того времени: «Через какие муки прошли люди в революцию, в 30-е годы, в войну, да, и потом, сколько ушло их времени, сколько жизней, а если выживали, то как измерить пережитое ими в лагерях, ссылках, в бесконечно долгом отсутствии, в изоляции от близких и родных... Как? Какую изобрести единицу измерения горечи, страданий, боли?.. Попробуй, — представь себе ситуацию, что будет с пальцем, если сунуть его во вращающуюся мясорубку».

Мясорубка, прокручивающая сквозь себя людей, — вот рождающийся у Игоря образ социальной реальности, что существовала до 85-го года...

И вот, в восьмидесятые, как когда-то в 56-м, снова пришла Надежда — «перестройка». Ради нее Игорь покидает свой тихий кабинет литературного критика в Костроме и перебирается (по приглашению инициаторов пере-

стройки) в шумную политизированную Москву, в журнал «Коммунист», где, казалось, и варятся основные идеи и программы давно желанных демократических преобразований. Но умудренный, натренированный взгляд Игоря довольно быстро распознает призрачность этих новых надежд.

Перестройка: «Великая затея пошлеет на глазах»

Из «Дневника» — в самом начале перестройки: «Остерегись! — готов я крикнуть»

Кого, чего, по мнению Игоря, следует «остеречься»? Откуда эта постоянная настороженность по поводу обустраиваемой «новой жизни», которую, среди других достойных сынов своего отечества, готовил Игорь? «Дневник» (январь 1988 г.): «Здесь в Волынском («на даче ЦК») незаметно и беспричинно, без каких-нибудь резких знаков я почувствовал, как зыбко то, что происходит и называется «перестройкой». Вспомнилось похожее чехословацкое, польское: как рядом с лидером всегда на втором плане торчало твердое лицо московского слуги. И приходил его час. И прелести либерализма увядали. И твердое лицо заполняло исторический экран... Взгляните в это мрачное, едва скрывающее раздражение, широкое здоровущее лицо второго человека. *(Вы, конечно, легко узнаете лицо Егора Кузьмича Лигачева?)* Нагоняющий, подстерегающий — как на треке — в лучшей позиции. Это всем известно. Остерегись! — готов я крикнуть. — Остерегись!».

Пока еще Игорь связывает «зыбкость» преобразований с упорным противостоянием консервативно-догматических сил, хватающих, что называется, за фалды «архитекторов перестройки». Но если бы дело состояло только в этом! Уж как-нибудь справились бы с консерваторами и откровенными реакционерами, поддержав перестроечных лидеров. Трагичней, когда поперек «новой жизни» встают сами «архитекторы»: «Не хочется писать о политических событиях и впечатлениях последних дней, они все чаще вызывают какое-то пустое раздражение...Много разных людей мы видели на советском верху, но откровенного пошляка (Янаева) нам предложили в начальники впервые. И благодарить приходится Президента. Даже думать об этом персонаже и его покровителе кажется каким-то компромиссом с пошлостью. Великая затея пошлеет на глазах».

Какая это оценка — **политическая**? Да, конечно: новая элита с комфортом обустраивается на спине народа, радеет близким по духу человечкам, делит добычу. Но и — **нравственная**: торжество **пошлости.**

А вот о другом «архитекторе»: «Какая скучнейшая, пошлейшая материя, бывшие товарищи! Александр Николаевич (Яковлев) сказал, что только слоны не меняют своих убеждений, а вот люди должны меняться. Слону, думаю я, нельзя менять своих убеждений — иначе он не выживет, погибнет. Пораженно смотрю я на многих нынешних деятелей демократии: они прозрели в пятьдесят пять, в шестьдесят лет, и я мысленно спрашиваю их: а где были ваши геройские головы раньше? Или вы не прозревали потому, что вам и так

было вполне хорошо, и вы немало делали для того, чтобы соответствовать правилам жизни, которые резвее всех проклинаете сегодня. Разница между такими, как вы, и такими, к примеру, как я, — что вы делали карьеру, лезли наверх по партийным и прочим лестницам, а я и такие, как я, никуда не лезли и не ценили ни этого верха, ни карьеры, ни жизненных благ, даруемых там, наверху. Это не пустая разница и потому наше прозрение датируется не 87-м, не 89-м, не 91-м годом, а 53-м и 56-м, и все, что следует дальше, мы додумали сами, как и полагается медленным и упрямым слонам, неохотно сворачивающим с избранного пути». Теперь Игорю совершенно ясно: не Лигачева с Полозковым следует «остерегаться» народу российскому, но самих «архитекторов перестройки», в том числе Президента, последовательно формирующего руководящий политический орган страны, который затем (неожиданно для него?) назовется ГКЧП: «Ни с теми я и ни с другими: ни с «демократами» властвующими, ни с патриотами антисемитствующими, ни с коммунистами, зовущими за черту 85-го года, ни с теми, кто предал рядовых членов этой несчастной, запутавшейся партии».

И финальная, в духе и стиле Игоря, нравственно-политическая оценка перестройки: «Политическое колесо буксует — летит грязь в наши лица».

Ну, а затем, как необходимое следствие и продолжение **такой** «перестройки» — эпоха «великих реформ», торжество «либералов» и «демократов». Тут уже с самого начала — никаких иллюзий.

Эпоха «реформ»: «черная жижа свободы»

Еще только-только постгорбачевское руководство делает свои первые шаги — политический диагноз Игоря строг и беспощаден: «Разыгрывается старый испытанный российский вариант, освященный традицией: на глазах у нации выходящие из-под контроля начальствующие лица управляют (или пытаются это делать) страной, насаждая повсюду себе подобных и лично преданных. Под разными названиями, но восстанавливаются, регенерируются все те же структура и система, пренебрегающие строительством жизни снизу. Все сверху и беспрекословно». Сущность социальной системы, ее чуждый народу, недемократический характер не изменились: «Как и прежде, человека тащит государство, только теперь — в капитализм». Я в своей книге «Дано иное» (1996г.) охарактеризовал этот процесс как переход от «номенклатурного (т.е. лже-) социализма» к «номенклатурной (т.е. лже-) демократии», указывая тем самым на принципиальную неизменность номенклатурно-бюрократической системы. Игорь в других терминах, но пишет, по сути, о том же. Только он не останавливается на политических и экономических констатациях. Снова и снова в его теоретико-политический анализ вплетаются нравственные краски: «Нынешний поток неприятен хотя бы потому, что его образуют нечистые, мелкие, а то и подлые страсти. В нем несутся, размахивая сабельками, те же самые, что были на плаву и прежде. Они прекрасно чувствовали себя тогда, и теперь — не хуже, не горше. Только вче-

ра они строили социализм, теперь принялись строить капитализм. Какая-то новая, засасывающая воронка». И знакомая морально-нравственная интонация итога: «Добром эта сумятица, эта бестолочь, эта чушь не кончится. «Все проплевано, прособачено...», — поистине так. Не хочется и записывать. Опротивели слова».

То, что сложившаяся в 90-е годы власть не-народная, не-демократическая, то, что это по отношению к гражданам «чужая власть» можно доказывать, анализируя содержание и способ принятия конституции, теорию и практику избирательных кампаний, корыстно-корпоративную деятельность властных структур, как исполнительных, так и представительных. А можно так, как Игорь, выявляя абсолютную аморальность политического режима, его творцов и участников: «Бессовестность власти и властвующих — вот что отталкивало. Когда терпящие говорят: терпите, потерпим, — это одно; когда не терпящие, а берущие полной или достаточной мерой говорят: терпите, ничего не поделаешь, другого выхода нет, — то это совсем другое. Революция была революцией до тех пор, пока призывающие терпеть и не жалеть себя терпели и не жалели себя сами». Недавняя иллюстрация к этому: вспомним, к примеру, с какой энергичностью и тщательностью после катастрофы 17 августа 98 г., превратившей (в очередной раз!) большинство граждан России в нищих, «народные избранники» отрабатывали положения, защищающие и расширяющие их и без того баснословные привилегии. И это — не казус, не ошибка, это — проявление самой сути сложившейся у нас социально-политической системы. И суть эта великолепно схвачена и описана Игорем в самом начале этих псевдо-великих реформ — именно благодаря тому, что в его анализе нравственный аспект занимал доминирующее место.

Однако: «ощущение беспомощности нарастает...»

...А теперь — об одной неясности, об одной загадке в творчестве Игоря. Она меня мучает, и не знаю, разгадал ли я ее. Дело вот в чем.

Мы рассказали о той исключительной плодотворности нравственно-политической точки зрения, которую исповедовал Игорь, — с нее открывается такое ясное, такое объемное видение происходящего. Она дает понимание исторического процесса и, стало быть, должна рождать у исследователя уверенность, что он на правильном пути. И вдруг! И вдруг так тонко чувствующий, так глубоко понимающий Игорь начинает изо дня в день отмечать в своем «Дневнике»: «опустошающая, всеохватывающая растерянность.., ощущение беспомощности нарастает», «не хочется и записывать, опротивели слова..», «говорить их не хочется, еще и потому что все — напрасно», «иногда чувствую, как разрастается вокруг чужой мир и, если б не родные мне люди, если б, точнее, не семья, — жить не стоило бы...», «все удаляется и заслоняется.., и отчаянные бывают мгновения, когда...словно жизнь уже кончилась», «я ничего не хочу писать, я заболел от запахов расцветшей «демократии»... — черная жижа т.н. свободы».

Я легко могу понять растерянность малосведущего человека, который бродит по обществу, как по дремучему лесу, не видя ни дорог, ни тропинок, то и дело натыкаясь лбом на деревья и увязая в колючках кустарника. Но когда **так** пишет Игорь — столько сделавший для понимания сути происходящего, для просвещения общества, создавший такие великолепные инструменты познания, мне становится не по себе. Я мучительно пытаюсь разобраться: откуда такая степень пессимизма у Игоря, такое настроение, можно даже сказать, безысходности? Я не могу уйти от этого вопроса, не могу уклониться от попыток ответить на него. И размышляя над этим, я все чаще прихожу к выводу, что дело здесь не только в личностно-психологических особенностях жизни и судьбы Игоря. Хотя, конечно, психологическая ситуация, в какой оказалось поколение русской демократической интеллигенции, к которому принадлежал Игорь, сильно влияла на ее настроение: всю жизнь постоянно, без продыха и просвета месить черную жижу несвободы, дышать смрадом ее испарений, мечтая о воле, о глотке свежего воздуха — и видеть, как раз за разом огни страстно желаемой свободы оказываются, при ближайшем рассмотрении, гнилушками, тускло светящимися на кочках бесконечного, уходящего за горизонт болота. И все это — когда уже почти исчерпан лимит времени, отпущенный на твою жизнь... Тут трудно быть оптимистом. И все же, думаю, главная причина Игорева пессимизма не в этом. Мне представляется, что верно определив суть современной идеологической парадигмы как «нравственно-политической», Игорь не прописал конкретный механизм взаимодействия этих двух начал — политики и нравственности. Он все-таки не определил — ясно и полно — в чем именно должно состоять нравственное содержание современной политики. Он почти не затрагивает вопроса о том, каким должно быть взаимодействие, сочетание нравственной проповеди и политического действия. Вчитываясь в статьи и дневниковые записи Игоря, я всё больше прихожу к убеждению, что все-таки центр тяжести в его «нравственно-политической» парадигме несколько (более, чем возможно и необходимо сегодня) смещен в сторону нравственности, нравственной критики и нравственных оценок. Мне кажется, Игорь Дедков несколько преувеличивает возможности нравственного воздействия на события — в ущерб политическому. Это-то и обусловило, на мой взгляд, появление в его конкретных программах преобразований черт утопизма, неосуществимости и на основе этого — пессимизма. Вопрос важный, серьезный. По нему следует основательно объясниться. И требование основательности делает необходимым начать наш разговор на эту тему с небольшого историко-философского разбега.

Сократовская драма: возможен ли счастливый финал?

Вообще проблема соотношения нравственного и политического в деятельности людей возникла давно: впервые, как проблема теории и конкретно-политической практики, — в античной Греции. Тогда же появились первые «нравственные» критики экономической и политической системы рабов-

ладения (Антисфен и др.). Долой рабство, восклицали они, оно аморально: одни живут за счет других, недопустимо политическое неравноправие людей! Это была в высшей степени благородная позиция и одновременно — утопическая. Рабство, классовое деление, социальное разделение труда в Греции V века до н.э. было не только «допустимо», но и просто необходимо, если страна была намерена ускоренно развиваться и не погибнуть в схватке с другими странами за выживание. Ведь тип социального развития той поры — нравится ли это кому сегодня или нет — характеризовался формулой: развитие одного (класса, слоя, индивида) за счет другого. Такое, социально-классовое, разделение было даже условием развития общества. Кто задерживался в первобытном **равенстве**, тот обрекал себя на экономический застой и на гибель в схватке с более развитыми обществами, «открывшими» способ своего ускоренного развития — социально-классовое разделение труда.

И политические, силовые структуры, естественно, стремились защитить и укрепить эти, более прогрессивные, социально-экономические общественные образования, структуры социального **неравенства**, этот принцип «развитие одного за счет другого». Здесь-то «политическое» и не могло совпадать с «нравственным», ибо последнее предполагает равенство людей, возможность следования «золотому» нравственному императиву: «поступай по отношению к людям так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе». Экономическо-политическая необходимость **неравенства** расходилась с проповедями социального равенства. Это, конечно, — драма истории. Но — драма, столь же неизбежная, как восходы и закаты солнца.

Трагическое (т.е. объективно-неизбежное) расхождение политики и нравственности впервые в истории мировой мысли было осознано платоновским Сократом. Философия политики Сократа — явление удивительное. Просто поразительно — как смог он на том уровне знаний и общественной культуры сформулировать вопросы, не потерявшие и сегодня свою актуальность, вопросы, на которые мы и по сей день не находим достаточно удовлетворительных ответов — ни в сфере теории, ни в сфере практической деятельности.

Сократ утверждал, что для выживания, развития общества и индивидов, его составляющих, необходимы и Политика, и Нравственность. Да, их требования нередко не совпадают друг с другом, их императивы требуют подчас прямо противоположных решений и способов действий; политика защищает неравенство людей, нравственность — их равенство. Но обществу нужны и «не-нравственные» политики и «аполитичные» моралисты. Быть одновременно тем и другим невозможно. Потому — каждый пусть выбирает свою дорогу, свою нишу: политическая или нравственная сфера деятельности. Для себя Сократ выбрал — нравственную.

Нет, он вовсе не выдвигал задачи — чтобы одно победило другое. Он разрабатывал способы их сосуществования и взаимодействия в современных ему условиях драматичного развития истории. Выбирая для себя *нравственную* жизненную колею, он вовсе не требовал, чтобы социальное равенство с сегодня на завтра сменило неравенство. Он понимал, что это не только не-

возможно, но и было бы губительно для общества. Но и от нравственной проповеди Сократ не считал возможным отказаться. Ее значение он видел в том, во-первых, что она гуманизирует существующее неравенство, препятствует его абсолютизации, заставляет в каждый данный момент исторического времени искать способы его уменьшения и смягчения. И во-вторых, в том, что она, как дальнодействующая стрелка исторического компаса, указывает общее направление общественного развития: от неравенства ко все большему равенству, — ориентируя проницательных политиков на поиск способов достижения максимально возможного для данных условий равенства людей. Образцом такой максимально (для своего времени) нравственной политики были, например, Солон, Аристид, Перикл. А игнорирование нравственной составляющей порождало политиков типа Алкивиада, Суллы, Калигулы.

Драма сократовской мысли получила отражение в его судьбе, в его жизненной драме. «Нравственное» остро столкнулось с господствующим в Афинах того времени «политическим». Политическое попыталось сокрушить нравственное, подчинить его себе. Правители требовали от Сократа прекращения его нравственных проповедей. Но Сократ, понимая, сколь губительно это будет для общества, предпочел быть приговоренным к смерти, нежели опустить, предать знамя Нравственности. Своей смертью он доказал громадную роль нравственного начала в жизни общества в любую эпоху. Своей гибелью он заставил человечество из поколения в поколение ставить и пытаться решать кардинальную (по трудности — не уступающую квадратуре круга) проблему человеческого бытия: соотношение общего (общественного) и частного (личностного), т.е. по сути — Политики и Нравственности. До поры до времени обе эти ипостаси человеческого бытия и сознания развивались порознь, едва соприкасаясь друг с другом. Макиавелли в своем «Государе» зафиксировал это наиболее жестко и беспощадно: политика — дело не-нравственное и не может быть иным. Хочешь быть политическим вождем, нашептывал «государям» Макиавелли, — оставь нравственные заповеди частным лицам. Если же ты — политический лидер, то имеешь право на ложь, коварство, жестокость. Ты, если это во благо укрепления твоего государства, имеешь полное право быть и абсолютно безнравственным. Казалось бы, Макиавелли похоронил нравственность и тем — вторично казнил Сократа. Но вот удивительный тезис знаменитого флорентийца (пропускаемый или не понимаемый многими его комментаторами): да, ты можешь действовать совершенно безнравственно, но ты всегда **обязан казаться нравственным**. Вот ведь как! Значит, есть какая-то сила в требованиях нравственности, и эта сила заставляет тебя, политика, даже во времена Макиавелли, подчиняться ей: ты **обязан** хотя бы казаться нравственным. Нет, не уничтожим Сократ! Что же это за всеподчиняющая сила? Это — сила, выражающая неостановимую историческую тенденцию движения к равенству, и стихийное общественное мнение может не простить политическим вожакам пренебрежительного отношения к подобной тенденции.

А развитие техники, прогресс науки и культуры, те крупные социальные перемены, что привнесли в общественные отношения великие буржуазные революции, обусловливали возможность постепенного перехода от парадигмы «развитие одного за счет другого» к парадигме **соразвития** — развития одного **вместе** с другим; иначе говоря — переход от обществ абсолютного классового противостояния к обществам все большего социально-классового равновесия и компромисса. **Там же, где укореняется принцип со-развития, где нарастают тенденции равенства, политическое и нравственное начинают сближаться, и уже видны горизонты, за которыми политика и нравственность совпадут**. Потому уже сегодня в странах Запада и России вовсе не выглядит утопическим требование сделать политику нравственной. Эту новую ситуацию и фиксирует Игорь Дедков.

Вместо заключения
Он — «рано вышел, до звезды»?

И всё же, и всё же... — не перепутать времена, не преувеличить возможности, не забежать чересчур вперед... Наступила ли в России эпоха социального компромисса, эпоха сближения классов и спокойного эволюционного развития? Наступил ли момент, когда политика способна быть воплощением нравственных принципов, когда нравственные требования становятся главным рычагом экономических, политических и социальных преобразований?

Нет, думаю, такой момент в России еще не наступил. Думаю, сегодня только нравственный, или, как говорит Игорь, «человеческий» суд недостаточен. Еще надобен «суд» политический, да и для юридического — время не миновало. **Прыжок из царства исторического насилия в царство нравственного ненасилия еще не совершен ни обществом, ни историей**. Еще не пришел момент, когда социальное зло можно победить лишь ненасилием. Скажем еще резче и определеннее: без политического насилия (что, впрочем, отнюдь не тождественно вооруженной борьбе или гражданской войне; политическое насилие может иметь и вполне мирные, цивилизованные формы), без политического насилия, повторяю, со стороны демократически организованного народа современное зло «номенклатурного капитализма» и «номенклатурной демократии» побеждено быть не может. А такое насилие, устраняющее господство криминально-олигархического и номенклатурного капитала, обеспечивающее передачу политической власти из рук узкого круга «элиты» в руки граждан России, в руки массовой, «низовой» демократии — называется на строгом социологическом языке, между прочим, **демократической революцией** (или, если хотите, — пожалуйста, синоним: **глубокой, подлинно демократической реформой).** При разработке теории **такой** революции (или — **такой** реформы) нравственно-политическая философия, которую исповедывал Игорь Дедков, не должна быть отброшена. Будучи недостаточной в качестве единственного инструмента социального преобразования, она совершенно необходима в качестве важной составной части

народно-демократической политической стратегии. Своим влиянием она будет гуманизировать современную социально-политическую борьбу, и, главное, — она будет способствовать тому, чтобы в итоге этой борьбы произошла не обычная смена одного господствующего слоя (класса) другим (как то было характерно для всей предшествующей истории), а — ликвидация всякого социально-классового господства, произошел переход к той парадигме, которую мы обозначили как **соразвитие**.

...Жизнь Игоря Дедкова уместилась между двумя по-своему историческими выстрелами. Он родился в 1934-м — в год выстрела в Кирова, после чего лавиной покатилась волна сталинских убийств и репрессий. Он умер в 1994-м — под грохот первых выстрелов по Грозному. Он родился и умер в несвободном государстве, стране рабов, стране господ, стране голубых полицейских мундиров.

Может быть, он «рано вышел, до звезды, свободы сеятель пустынный»? А когда, скажите, в истории и какой сеятель действительной свободы выходил не рано? Такой сеятель всегда немного идеалист, всегда немного утопист, он всегда как бы забегает вперед, стремясь побыстрее вытащить на большак общественный воз, то и дело застревающий в «черной жиже» общественных несовершенств. Но именно такой идеализм, такое опережающее время воздействие на события медленно плетущейся истории — и обеспечивает прорывы в царство, или скажем мягче — в предцарствие, Свободы.

Если же мы будем «трезво» и «осторожно» придерживаться исключительно осуществимого, «возможного» на сегодняшний день (ну, как же, ведь, политика — это искусство возможного!), то мы так и останемся в прошлом, за чертой современной человеческой цивилизации — подобно мифическому Ахиллесу, который, как известно, так и не смог перегнать медленно плетущуюся черепаху, ибо постоянно ограничивал свой бег рубежами черепашьего шага.

Мне лично очень нравится знаменитый когда-то лозунг «новых левых»: «Будьте реалистами, требуйте невозможного!». Вот таким требующим невозможного реалистом и был Игорь Дедков.

По камертону Лена Карпинского

Рубрика журнала «Мегаполис» — «Камертон» — была предложена членом редакционного совета журнала Леном Карпинским. Для нас, людей, долгие годы близко знавших его, для большинства его читателей — зрелых (знакомых с его статьями еще по самиздатовской литературе) и молодых (учившихся демократической культуре по «Московским новостям», главным редактором которых он был) — для всех сам Лен был камертоном, по которому мы сверяли свои мысли и поступки.

Лен Вячеславович Карпинский умер 12 июня 1995 года. Но камертон Лена по-прежнему звучит в наших душах.

Конечно, с точки зрения партии и правительства, Лен был самый настоящий государственный преступник. Он один из первых в нашей стране, кто — с такой полнотой — выдал важную «государственную тайну» — поведал согражданам: что на самом деле представляет общество, в котором они живут.

Так, до XX съезда сограждане были убеждены, что их общество — это «самая яркая демократия земли», реализованная мечта человечества о «братстве» и «равенстве». После съезда заговорили об имевших место «ошибках», «извращениях», а самые смелые хрущевцы — даже о «преступлениях», не изменивших, однако, «природу» этого «самого — самого» что ни на есть строя. Лен же имел бестактность поправить «исторический съезд» и заявить, что «извращения» и «преступления» — собственно, и есть природа этого строя и не просто заявить, но и — описать внутренние механизмы его функционирования, порождающие деление граждан на тех, кому позволено все, и тех, кому — ничего.

Он разгадал тайну господства нового класса, получившего впоследствии название номенклатуры. Господство это связано не с собственностью на средства производства (как это обычно было в истории), а с собственностью на власть, на то, что он назвал «средствами управления». А уж через собственность на «средства управления» номенклатурное сословие обеспечивало себе безраздельную власть и над средствами производства, и над жизнями и мыслями людей.

Ему в двадцать с небольшим доверили быть секретарем ЦК ВЛКСМ. Над ним распростер крылья отеческой опеки сам Михаил Андреевич Суслов, этот могущественный прокуратор партийных идеологических территорий. Его впустили в святая святых, ему приоткрыли все пружины государства, расстелили ковровые дорожки жизненного благополучия. А он...

Конечно — гнать взашей из «святых» мест. Поймет, что потерял, одумается, остановится и вернется. Не может же его обойти стороной «обыкновенная история» — возвращение блудного сына на «круги своя». Нет, история не получилась «обыкновенной». Он не остановился, не одумался и не вернулся.

В 68-м, после марша советских танков по Праге, написал «Демократический манифест», где предсказал крах «социализма со звериным лицом» и изложил, по сути, Программу будущей «перестройки». Манифест уплыл в самиздат и, без подписи, анонимный, пошел по рукам. Но кто же не узнает блистательный герценовский стиль Лена, мускулистую красоту и афористичность его языка! Тем более, если на Лубянке сидит такой большой любитель изящной словесности, как Юрий Андропов, да к тому же с тщательно подобранной им командой таких же тонких знатоков литературы...

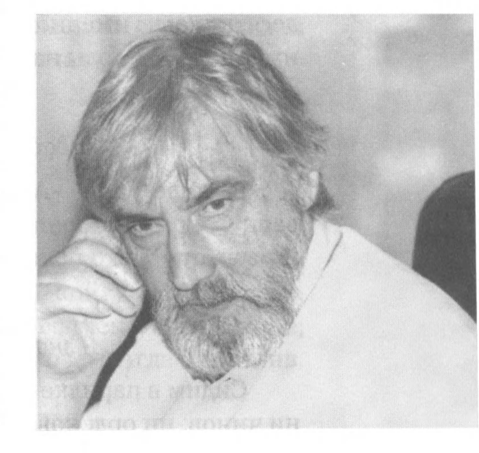
И пошло-поехало. Слежка, подслушивания, предупреждения, увещевания, угрозы, лишение работы и возможности зарабатывать на элементарный кусок хлеба — это с их стороны. И спокойная, твердая, неостановимая просветительская деятельность — с его. Правда, — в малотиражном самиздате, правда, — на «кухнях», которые впрочем, ни с одной университетской аудиторией не сравнить: Эвальд Ильенков, Михаил Гефтер, Генрих Батищев, Ми-

хаил Лифшиц, Игорь Виноградов, Юрий Буртин, Игорь Дедков, Лариса Богораз, Александр Галич, Отто Лацис, Александр Волков, Геннадий Лисичкин, Егор Яковлев, Игорь Клямкин, Юрий Карякин, Натан Эйдельман, Игорь Пантин, Евгений Плимак, Виктор Арсланов...

Что и говорить, прекрасное общение, незабываемые часы, месяцы, годы. И все же, и все же... Подпольное общение друзей — каким бы содержательным и прекрасным оно ни было, — не в состоянии заменить общение с разноликим, разноопытным, с «простым» и «сложным» читателем и слушателем всей России.

Загнанный в сферы узкого эмигрантского общения Герцен как-то с горечью написал в конце жизни: «Мне кажется, я был рожден для больших форумов». Для Больших Форумов был рожден и Лен Карпинский. И речь тут идет вовсе не о реализации какого-то «бешеного честолюбия» — Лен был начисто лишен каких бы то ни было намеков на честолюбие; он был воплощением человеческой скромности и деликатности. Просто у него был такой масштаб «голоса», его мысль несла в себе такой заряд огня и эмоциональности, что все это просто не вмещалось в тесные пространства «кухонь» и «курилок». И звучание его голоса на безбрежных просторах России важно ведь было не только для самореализации Лена, но, в первую очередь, для самореализации того, российского народа, частью которого и сыном которого он был. Это, между прочим, прекрасно понимали румяные комсомольские и пергаментно–серые партийные вожди, так боявшиеся, что удобные для манипуляций толпы манкуртов превратятся в просвещенный народ. Поэтому так внимательно следили они, чтобы голос Лена оставался гласом вопиющего в пустыне. Как и голоса его друзей..

В перестройку ушел с головой — создавал политические клубы, идейные объединения, своим сверкающим словом крушил воздвигаемые сталинско-брежневскими апологетами бастионы вранья и лицемерия. Перестройка была его, подготовленное им и его единомышленниками, мероприятие. Первый, мощный, чистый и светлый демократический вал перестройки был по сути, реализацией, воплощением той системы идей, которую в течение двух десятилетий вырабатывало «шестидесятничество», одним из лидеров которого и был Лен Карпинский.



Но когда вокруг «отца перестройки» закучковались Янаевы, Федосеевы, Болдины и Крючковы, когда потекли первые ручейки крови из Вильнюса, Баку и Тбилиси, Лен брезгливо отвернулся от святого перестроечного семейства. Если раньше его исключали из партии (что для него, философа-гуманитария, было равнозначно исключению из числа работающих), то теперь, когда ему перестроечное руководство вернуло партбилет, он сам отказался от него. **Такая** перестройка не для него.

Август 91-го. Новые надежды. И новые разочарования. И снова он был одним из первых, кто опознал тайную болезнь послеавгустовской демократии — господство «перевернувшейся на другой бок» номенклатуры. Он, в памятной передаче об изгнании из Останкина Егора Яковлева, одним из первых заявил о принципиальном аморализме основной массы политических лидеров. А «безнравственность порождает реакцию» — пророчествовал он.

Да, Лен Карпинский был тем камертоном, по которому можно было безошибочно определять, кто мы и где мы сегодня. Последние месяцы камертон этот звучал все печальнее, все грустнее. А в статьях о Чечне он уже зазвучал похоронным колокольным звоном по демократии...

Камень, предназначенный для фундамента российской демократии, который Лен вместе с единоверцами вкатывал... в гору, снова скатился к ее подножью. «Сизифов труд!» — скажут одни. «Начнем все заново, — скажут другие, — начнем заново, обогащенные и просветленные опытом интеллектуальной, нравственной и общественной деятельности демократов-шестидесятников, ярчайшим представителем которых был Лен Карпинский».

Агдас-85

(Штрихи к портрету: отрывочно и субъективно)

Это — о профессоре, докторе исторических наук А.Х. Бурганове. Цифра 85 (рядом с его именем) означает, что ему, когда были писаны эти заметки, исполнилось 85 лет. Но я этому не верю: так он энергичен, так динамичен. Статья за статьей, книга за книгой вылетают из его компьютера. Его яркие, полные нестандартных идей лекции вызывают восторг у студентов РГГУ. По паспорту он значительно старше всех нас, его друзей. По жизни, по духу, по темпераменту — наш ровесник. И просит считать его «шестидесятником»: именно в 60-е годы он состоялся как мыслитель и как ученый, именно в 60-е годы начал энергично бодаться с дубами официальной науки.

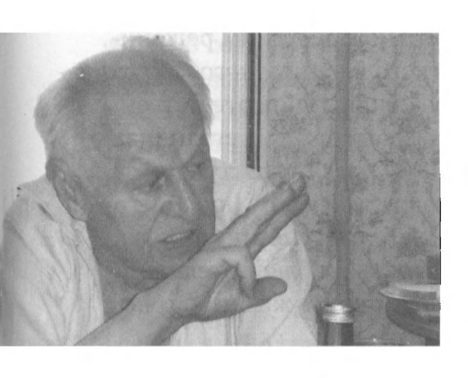
Агдас

Вообще-то он — Агдас *Хусаинович*. Но вы слышали, чтобы Сократа называли Сократ *Софронискович*? Тут нет никакой фамильярности. Мудрецов называют только по имени. В общем — ***Агдас***.

Я знаю, что ничего не знаю

Сидим в парилке Астраханских бань (что на проспекте Мира). В бане — ни чинов, ни орденов. В чем мать родила — все равны. Обстановка располагает к откровенности. Агдас — с легким доверительным прищуром: дескать, только вам с профессором Красиным поведаю, а вы уж не вздумайте кому рассказывать. А я вот взял и «вздумал» — и рассказываю, и пусть все знают.

Итак, Агдас — нам, доверительно: «Я ведь ничего не знаю. Вот написал «Философию собственности» (*толстая книга в зеленом переплете, сейчас мы выйдем отдышаться в предбанник — и он нам с Красиным подарит по экземпляру, с какой-нибудь шутливо-мудреной надписью*). Так вот, ни философии я не знаю, ни экономики, ни истории. Ничего! Какой я «философ», «экономист», «историк»! Техникум ветеринарный закончил до войны». — «Хорошо еще, что не кулинарный!» — с серьезным видом комментирую я. «Да, — соглашается Агдас, — это было бы уж слишком! Но и ветеринарный — не Академия Платона. Потом уж, после войны, — какой-то заочный юридический институт, да и то — экстерном (ужас!). И — всё!» И — заливается беззвучным смехом.



И я хохочу вместе с ним. Я — такой же: доктор *философских* наук, а диплом, ну, правда, не ветеринара, но, пожалуй, еще похуже: та — какая-никакая, а все же специальность, полезная, — животных лечить, а у меня — так, ерунда какая-то: что это за специальность — «журналист»? Но что-то не хочется мне даже в глазах нашей узкой и дружеской компании каким-то неучем, героем хазановских побасенок выглядеть: «Погоди, погоди, Агдас. А как же расцитированные тобою Адам Смит, Давид Рикардо, Маркс, Гегель, Макс Вебер, Кейнс — это же немного сверх программы ветеринарного техникума? А как же — Иван Ильин, Николай Бердяев, Маркузе, Сартр, Камю, наконец, которого ты так оригинально препарировал? А эти столбцы цифр, экономические схемы и таблицы? Да и Маркс, гениальный-то Маркс, основоположник *философии* диалектического материализма, экономист милостью божьей — да у него же диплом *юриста*! А Герцен: настоящее образование — это самообразование? А Писарев: получив университетские дипломы, эти свидетельства профессионального кретинизма, мы только тогда и начали учиться?»

«Ну, не знаю...», — лукаво искрится Агдас...

О недостатках

В прошлый раз подарил очередной свой опус. Сегодня ждет реакции.

Начинаю сурово и серьезно: «Неплохо, Агдас. Но у тебя есть один, но очень существенный недостаток». Настораживается: «Да? Какой?». «Понимаешь, начинаешь тебя читать, и... невозможно оторваться. А времени-то на чтение, сам знаешь, мало. А тут полночи на тебя убил». Оба хохочем. Агдас счастлив.

В книгу рекордов Гиннесса

Не знаю, где эта книга находится и как туда сообщить о рекорде Агдаса. Пусть более сведущие сделают это за меня.

А рекорд потрясающий. Защитил он докторскую диссертацию в 1966 году. А ВАК утвердил его в этой ученой степени… в 1990-м (!). Два с половиной десятилетия (!) решали: можно ли Агдасу докторскую степень присвоить.

Тут одна тонкость: то, что он *достоин* ее, всем было ясно в 1966 году, а вот *можно ли* (не будет ли это чересчур противоречить историческим решениям партии и правительства, а также основам краткого и не-краткого «Курса истории ВКП (б)») — тут были очень серьезные сомнения. О них ответственные за чистоту партийной линии в науке люди поведали даже на страницах модного в те годы журнала «Коммунист» (№ 3 за 1969 год), где отступник от прямизны партийной линии А.Х. Бурганов был покрыт позором (ну, что-то вроде гражданской казни ему устроили). Позор с него был снят после того, как позором (уже совершенно заслуженно!) были покрыты блюстители всяких «Кратких курсов». Отрицание отрицания — диалектика в жизни! А говоришь, что чужд философии, Агдас!

Если хочешь жить долго

Не знаю даже, как рассказать такое. Слово-то уж очень нехорошее. И Агдаса оно, вроде, как-то не красит. Но уж если писать о нем правду, то до конца.

Агдасу — 85. И глаза — ясные, как у сокола молодого, и мышление — быстрое и резкое, и за словом в карман не лезет, и книжек, статей за последнюю свою пятилетку сколько накатал — и все по делу, оригинально, остро, ярко. И… на женщин этак молодецки поглядывает. Ну, как же это так? Ну, как же такое возможно?

«А ты знаешь, — делится он со мной, — все мои враги-недруги — они все… давно подохли! Все! До единого!»

Ну, вы понимаете, какое слово тут меня покоробило. И он, обычно деликатнейший и интеллигентнейший человек, знает, что об ушедших не принято так говорить. Но тут уж не может сдержать себя — ведь на 25 лет в духовный карцер был законопачен. Куда там ваш граф Монте-Кристо!

«И вот видишь, я жив. А они все… (и еще раз то словцо). И не случайно все это. У подлецов — у них отвратительная, губительная жизненная аура. Они плохо спят, они в постоянно удрученном состоянии — совесть не чиста! Нечистая совесть — вот она-то и разрушает все — и психику, и тело. А я жил в соответствии со своими убеждениями. Это же счастье! А счастье-то и продлевает жизнь…».

Я почти мистически смотрю на Агдаса и думаю: как славно, что я не из числа его недругов…

«Кто-то ведет меня…»

Однажды звонит:

— Слушай, не возьмешь по доверенности мою машину? Куда уж мне за руль садиться!

—А зачем же купил?

—Да не купил. Как ветерану, к 9 мая выделили...

Так я узнал, что он фронтовик. Всю войну оттрубил, от звонка до звонка. Ну,—ордена, медали, все, как положено. Под Смоленском, в 41-м, несколько составов его роты полегло. Падают ребята—слева, справа. А он—как заколдованный—ни царапин, ни ранений. Ведет кто-то его по жизни, колпаком волшебным накрывает.

Или та история. Молодым комвзвода ведет он своих хлопцев в какой-то неимоверно трудный поход. Ребята молодые, только школу окончили, не выдерживали: жара, язык к нёбу липнет. И он всю свою флягу молодым пацанам споил. Себе ни капли. А потом, когда сам стал терять сознание,—хлебнул из какой-то лужи, горло смочил. И получил болезнь с мудреным названием—амебиоз. Какое-то жуткое желудочное заболевание—изъязвляется там все и вся. «Должен был подохнуть»—(это он—о себе). Несколько месяцев между жизнью и смертью. Но—медсанбат, но—врачи, но—молодость... Кое-как оклемался. О передовой теперь и речи быть не могло: еле на ногах стоял. Опять кто-то вмешался: оттащил от передовой и тем жизнь сохранил.

А под Мурманском? Жуткий пожар в военном городке. Рванул в штаб—документы какие-то спасать—и оказался в кольце огненном: дома, деревья—все корчится в пламени, даже столбы телеграфные полыхают, и провода плавятся. И опять—***Он***! Дохнул вдруг ветерком—и на минуту расступилось пламя, и—узенькая колея между двумя огненными стенами. И рванул по этой колее молодой лейтенант (со скоростью, наверное, мирового рекордсмена по спринту). И едва выскочил он из пламенеющего кольца, как снова, прямо за его спиной, сомкнулись огненные стены...

И сколько разнообразных смертельных колец охватывало его потом—как-то выскакивал он из них. «Прорвемся!». И прорывался.

...Сидит в предбаннике, завернутый в белопростынную тогу, потягивает свой любимый кисломолочный «Тан»—и, прикрыв глаза, нежится под теплыми лучами заглядывающего в окно солнца...

... И остаться татарином!

Случая поругать «Россию» и нас, «русских», не упустит.

—Вы, русские, породили такую бюрократию—и при царях, и после них—какую ни один народ не знал.

—Ну, один-то народ «знал»,—лениво откликается профессор Красин.

—Какой?

—Да, татарский. От твоих Мамаев да Тохтамышей все и пошло. Все—от татар!..

Агдас смеется:

—А чего ж вы худшее-то от них взяли? Чего ж лучшее-то проморгали?..

Татарию свою обожает, любит нежно и преданно. Рассказывает о своем детстве—заслушаешься.

Я так и вижу: белые, чистенькие татарские деревенские домишки, на крыльце сидит татарчонок Агдас, и мать поет ему народные песни.

Прошу: «Спой, Агдас!». И Агдас напевает, тихо и мелодично. Мелодии — нежные и печальные, красоты необыкновенной — степные, раздольные, вроде нашей «Степь, да степь кругом» или «Тонкой рябины». Под впечатлением Агдасовских песен купил в Казани два компактдиска. И теперь, когда он приходит в гости на украинский борщ, приготавливаемый моей супругой, мы, русский, татарин и украинка, садимся на кухне за маленький уютный столик, наливаем по чарочке ледяной водочки московско-кристалловского разлива и слушаем роскошный татарский ансамбль с потрясающими солистами и изумительным хором. Агдас тихонько комментирует, и его синие глаза слегка влажнеют.

Потом — украинские, русские песни, романсы.

Вкусы и симпатии наши совпадают, ну, можно сказать, полностью. Обожает Тургенева, всё перечитал. А «Клару Милич», а его «Фауста», а «Стихотворения в прозе»? Знает, читал, обожает. И — Чехова, и Есенина, и Чайковского, и Козловского с Лемешевым; о Шаляпине и Руслановой и говорить нечего — выше нет ничего!

Пишет только по-русски. Сочно, образно, эмоционально. «Говорят, меня трудно переводить на татарский...».

Сцепился в печати с одной татарской националисткой: «Хочет, во имя сохранения «татарской идентичности» возвести высоченный и непереходимый забор вокруг татарской нации. Да все наоборот: вводить нашу нацию, нашу культуру — в общецивилизационный поток, взаимно обогащаясь!».

— Не об этом ли, Агдас, применительно к России, говорил Пушкин: «Войти в Европу и остаться Россией!»?

— Об этом, Гриша, об этом! Именно так!

Куликовская битва

Готовилась тут как-то общественность широко и всенародно отметить «славный юбилей» Куликовской битвы — как символ мощи и побед русского оружия.

Решили мы с Агдасом, русский и татарин, выступить со статьей — предостеречь от подобного «празднования». Мы же два системообразующих народа России, от наших взаимоотношений во многом зависит будущее нашей общей страны. Ну, и чего же ликовать по поводу того, что когда-то, «во время оно», мы колотили друг друга? Ведь, глядишь, кто-то захочет отпраздновать «славу татаро-монгольского оружия», кто-то захочет «всенародно» отметить день «Взятия Рязани» или «Сожжения Москвы». Какой тут общий праздник, какое тут единение, какое тут братство?

Ну, вроде, неуместный в данном случае пыл где-то на высоких идеологических этажах поутих, идею «празднования» спустили на тормозах, и надобность в нашей статье отпала.

И в заключение — стихи

Какой юбилей без стихов! И пока тамада потирает руки в предвкушении веселого и содержательного застолья, пока вынимаются сафьяновые папки с адресами (официальными и не очень), пока принаряженные люди готовятся к поздравительным выступлениям, расправляя лепестки роз и гвоздик юбилейных букетов, я быстро, экспромтом, со всей сердечностью и симпатией к юбиляру, пишу вот эти рифмованные строки:

Сегодня этого я не скрою.
И в праздничный день его светлого мига
Слушай меня, вся российская масса:
Я должен открыто и прямо сказать:
Тяготеет уж много лет надо мною
«Это — единственное в мире иго,
Татарское иго Агдаса.
Которое я не хочу свергать!».

«Что делать?» и «Кому делать?»
(Завещание Юрия Буртина)

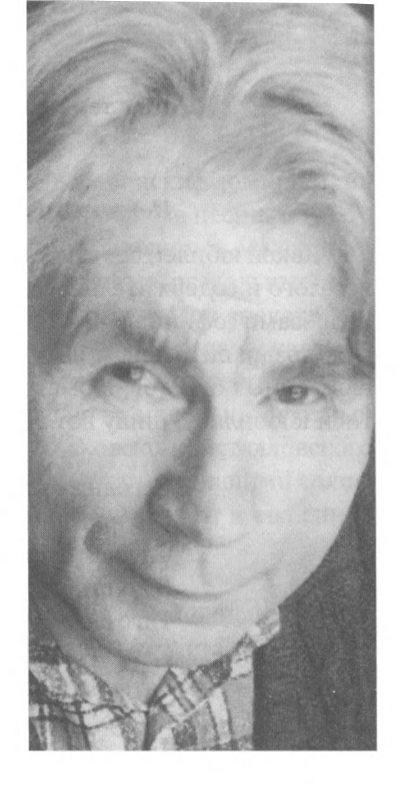
Предварение

«Время Буртина, увы, ушло» — так прокомментировал один известный либеральный публицист посмертно вышедшую книгу Ю.Буртина «Исповедь шестидесятника» (М., «Прогресс-Традиция», 2003).

Не согласен: время Буртина не «ушло». Оно только-только начинается.

«Время Буртина» — это время осознания действительного смысла событий, заполнивших жизнь страны в ушедшем столетии, время глубокого осмысления этапов исторического развития — ленинского, сталинско-брежневского, горбачевского, ельцинского, время понимания того, что *ни один* из этих этапов не дал основной массе людей ни материального благополучия, ни равенства, ни свободы, ни социальной справедливости, время осознания тех интеллектуальных, нравственных, политических предпосылок, которые вызревали и к концу XX века в значительной степени вызрели в народных низах и тесной спаянной с ними интеллигенции. Это время, когда сложились все условия для нового подъема народно-демократического движения, способного приблизить создание в России давно желанного, подлинно Гуманистического общественного строя, который на деле осуществит знаменитый принцип: «правление народа, для народа, посредством народа».

Юрий Буртин сделал все мыслимое, все возможное — для одного человека в предложенных историей обстоятельствах, — чтобы это народно-демократическое движение началось не «на авось», не с туманными представлени-



ями о том, что и как надо делать, не под печально-известным лозунгом «ввяжемся, а потом разберемся». Он, прежде чем появится необходимость «ввязываться», попытался основательно разобраться в происшедшем и происходящем и наметил контуры некой Программы социальных и политических преобразований («Что делать?»), охарактеризовал те общественные силы, которые заинтересованы в ее реализации («Кому делать?).

Чтобы дать аргументированный ответ на эти два вопроса, оказалось необходимым во многом по-новому взглянуть на ход мировой истории (в особенности в Новое и Новейшее время) — Юрий Буртин разработал и придал научно-категориальное звучание таким понятиям, как «доконвергентная» и «конвергентная» эпохи мировой истории, «доконвергентные» и «конвергентные» общества. Он дал новую типологию капитализма и социализма (выделив «доконвергентные» и «конвергентные» этапы в их развитии), во многом по-новому описал логику их противоборства, взаимодействия и сопряжения. Юрию Буртину принадлежит ставшая уже почти общепринятой характеристика *экономической* системы, сложившейся на сегодня в России, как «номенклатурный капитализм». А дополнение ее характеристикой *политической* системы как «номенклатурной демократии» (категорией, разработанной другими, но горячо поддержанной Ю. Буртиным и включенной им в своему концептуальную схему) позволило дать полную и законченную теоретическую характеристику всего постреформенного общественного строя в России: номенклатурный капитализм (в экономике) плюс номенклатурная демократия (в политике).

Да, все, кто знал Юрия Григорьевича Буртина (и я в их числе), свидетельствуют о нем, как о человеке абсолютной порядочности и нравственности. Все так. Одно только добавление. Громадная удача для нашего общества — что эта «абсолютная нравственность» (столь характерная для многих «людей из народа» — от солженицынской Матрены до «проклятых и убитых» астафьевских солдат) в жизни Юрия Буртина переплавилась в большую социальную теорию, высокое интеллектуальное творчество. Буртин дал исторический голос этой, нередко молчаливой, не выражающей себя словом, народной нравственности, он придал ей социально-действенную, программно-политическую силу, он обрисовал ту дорогу, двигаясь по которой эта народная нравственность может реализоваться в создание соответствующего ей нового, Гуманистического общественного строя.

Я знаю немало так называемых демократических теоретиков, в том числе из первой перестроечной волны, которые говорят и пишут очень неглу-

пые, очень толковые вещи о нашей нынешней ситуации. Но их образ жизни, их судьбы — и до-, и, в особенности, после-перестроечные — разительно отличаются от их писаний. Их Тела и их Души живут как бы в разных измерениях, по разным принципам. И потому, читая их, в целом, повторяю, толковые и неглупые размышления, то и дело восклицаешь (по Станиславскому!): «Не верю!».

Юрий Буртин — один из очень и очень немногих политических писателей, чьи теоретические идеи полностью, абсолютно обеспечены его жизнью и его судьбой.

И последнее предваряющее замечание. Следует иметь в виду, что позиция Буртина и его единомышленников коренным образом отличается от позиций всех основных, так сказать, официальных партийно-политических сил — будь то КПРФ, СПС, или какая-либо другая из номенклатурно-политических организаций. Юрий Буртин и его единомышленники даже не придают серьезного значения ни «идейным различиям» (по большей части — лексическим) этих партий правящей «элиты», ни их шоу-драчкам — в парламенте ли, на телевизионных ли тусовках. Ибо все они — не более, чем фракции единой Партии — Партии правящего сословия. А реальным противовесом этой Партии может быть только то, что Ю. Буртин называет «Партией народа», «Партией гражданского общества», «Партией низовой демократии». Особенно резко, особенно рельефна эта социально-политическая концепция прописана в статьях, помещенных в эту книгу: «Новый строй. Монолог в форме диалога» и «Какой общественный строй сегодня в России?».

Все эти предварительные тезисы — дабы не быть простым провозглашением — требуют несколько более подробных пояснений и комментариев.

Итак...

Что делать?

Когда ставится такой вопрос, это означает, что дела в стране обстоят крайне плохо, и, стало быть, надо — и немедленно — что-то «делать».

Люди, спешащие пролезть, кто — в «историю», кто — в парламент, кто — на хлебные места в исполнительные органы власти, кто — в советники этих и других органов, а кто — просто в комфортную, во всех отношениях, среду политтусовщиков, не слазящих с телевизионных экранов, — эти люди легко отвечают на все вопросы. Что делать? Да, это же проще грибов! И — сыплются рекомендации, рождающиеся из политтусовочных разговоров, сдабриваемых коньячком, байками, сплетнями — из истории и сегодняшних дней.

Юрий Буртин к постановке этого вопроса, к попыткам ответа на него шел всю жизнь, настойчиво, продвигаясь с той скоростью, с какой позволяли ему сопротивление исторического и теоретического материала и обстоятельства, отнюдь не благоприятствовавшие свободному теоретическому поиску. Юрий Буртин — и публицист, пишущий «на злобу дня», и — одновременно — склонный к фундаментальным теоретическим построениям исследователь.

Это позволяло ему, человеку без ученых степеней и званий, в своем творчестве органично и на самом высоком уровне профессионализма сочетать «злобу дня» с теоретическим фундаментализмом. Он умел ставить проблемы сегодняшних дней в широкий контекст российской, да и мировой истории.

Посему весьма комичны поползновения иных титулованных специалистов, особенно из тех, кто помоложе, смотреть на творчество Буртина свысока, небрежно-покровительственно: да, человек он, конечно, хороший, честный, и пером владеет вполне прилично, но теории его… — так, плод любительской, дилетантской мысли; потому и не стоит к ним уж так всерьез относиться… Так когда-то общепризнанные поэты относились к «поэзии» Высоцкого; сейчас им, кажется, стыдно за это…

И вот такой работой, в максимальной степени сочетающей в себе политическую злобу дня и фундаментальные теоретические построения, является последняя статья Ю. Буртина (по объему — брошюра) «Другой социализм» (альманах «Красные холмы», М. 1999). Здесь — итог размышлений, писаний всей его жизни. И потому мы имеем все основания назвать ее «Завещанием Юрия Буртина».

Итак, почему же все-таки надо в нынешних обстоятельствах не просто «жить», а что-то «делать»? Потому, отвечает Ю. Буртин, что эти «обстоятельства», сформированные годами горбачевской перестройки и ельцинских реформ, непригодны для нормальной жизни большинства россиян. И в чем же, по мнению Буртина, состоят главные дефекты нынешней социальной конструкции, требующие ее коренного преобразования? Что же такое смастерили горбачевская и ельцинская команды?

Горбачев: партия номенклатуры

Симпотизанты деятельности главного «перестройщика» с недоумением вопрошают: чем это так не понравился Буртину Михаил Сергеевич? Ведь, оба они — оттуда, из шестидесятых, и значит — «шестидесятники». Им бы — рука об руку… Может, гадают, дело тут в обиде, личной? Ну, не позвали, вот, Буртина в ближайшее окружение Михаила Сергеевича…

А что тут гадать-то? Буртин сам все разъяснил — с присущей ему ясностью, прямотой и определенностью. Причем — еще в 1989–1991 годы, когда «лидера перестройки» многие демократические пастыри носили на руках, когда он был еще генсеком и обладал властью, какой, по его же признанию, не обладал ни один диктатор в мировой истории. Вот оно, это «разъяснение» Юрия Буртина: «Когда поляризация общественных сил (к 1988–1989 гг.) стала формировать то, что я бы назвал, с одной стороны, «партией народа», а с другой — «партией номенклатуры», генеральный секретарь ЦК КПСС предпочел то, что ему было роднее и ближе, — номенклатуру и выгодный ей «аппаратный» вариант «перестройки»… Начав критикой Сталина и Брежнева, Горбачев кончил восстановлением — на уровне Центра — командной системы сталинско-брежневского толка, которая ведь тоже была ни чем иным, как диктатурой партийной олигархии… Какой бесславный итог!».

Ну, и какая же тут может быть у Буртина «обида» на его невостребованность горбачевской командой? Напротив, я даже думаю, что он сам, несмотря на всю свою «шестидесятническую святость», крепко «обидел» бы того доброго человека, который вдруг предложил бы ему войти в эту самую «команду» — ту самую, что, например, под свист и улюлюканье черносотенных депутатов и по дирижерской палочке «перестроечного вождя», гнала с парламентской трибуны и вообще — с общественной арены обожаемого Буртиным Андрея Дмитриевича Сахарова.

Ельцин: «чужая власть»

Разумеется, Буртин всем сердцем и всей душой был с защитниками Белого дома в августе 91-го, с теми, кто несколько дней и ночей, безоружным, стоял у нелепых, легко сметаемых баррикад, и кто своим героическим стоянием, своей неколебимой решимостью — умереть, но не стать на колени перед ГКЧП — похоронил прежний режим и кто, к великому сожалению Буртина, ушел в никуда, предоставив «августовским победителям» мастерить новую политическую систему.

Ельцинский режим недолго оставался загадкой для Ю. Буртина. Уже в марте 92 (!) года диагноз — с буртинской беспощадностью — был поставлен: «Чужая власть!» И по адресу своих прежних друзей-товарищей из «Демократической России» (тех, кто после «августа» вольготно обустроился во властных креслах) он прошелся соответствующим образом (беря, как это для него характерно, часть общей вины и ответственности на себя). Он назвал знаменитое народное переиначивание «демократов» в «дерьмократов» «справедливым возмездием» — «за то, что, за очень редкими исключениями, все мы действительно оказались никудышными демократами. Едва получив возможность восстановить честь русской интеллигенции, мы очень скоро, за какие-то три-четыре года, снова ее потеряли... Мы оказались падки на успех, на свет телевизионных юпитеров... Только и слышно было о наших «прорабах» перестройки: «он сейчас в Англии», «она завтра прилетает из Швеции», на следующей неделе они все уезжают в Барселону»... В Барселону ездили много чаще, чем в Тулу и Кострому... Незаметно возникал стиль жизни, недоступный большинству, и тем самым реальное отдаление от этого большинства. А затем к вкусу популярности для многих «новых людей» добавились вкус власти, маленькие удовольствия, доставляемые высоким общественным положением, могучее действие удостоверения с почтенным титулом, украшающим фамилию, личный кабинет в Белом доме, исполнительность помощников и секретарш... И не с суда над другими надо начинать сегодняшний анализ, а с суда над собой. С личного примера бескорыстия, самоограничения, «нестяжательства», — было в русской церковной истории такое течение, вот его бы традицию нам возродить, хотя бы на тот период, пока так бедствует большинство народа! С категорического отказа от привилегий и тайн, от недомолвок и полуправды. Только такое и идет в зачет, все иное пустяки, слова, слова, слова». Естественно, в «ДемРоссии» Буртина больше не видели.

И снова: никто его оттуда не выталкивал, не «оттирал», он сам от них «оттерся». И никакой «роли» среди них играть не собирался. Он начал активно «играть» не «среди них», а против них. Он был с «нестяжателями» против «стяжателей». Напомню — с самого начала 92 года!

Ну, а теперь о фундаментальном пороке, свойственном обеим этим — и горбачевской, и ельцинской — социальным системам. Здесь Юрий Григорьевич формулирует одно из своих удивительных теоретических положений. Он отказывается присоединиться к широко распространенной точке зрения, согласно которой Россия совершает переход от одной социально-политической системы («социализма») к другой («капитализму»). Он доказывает, что никакой смены *социально-политических систем* не происходит, а идет изменение лишь *форм* одного и того же социального феномена, а именно — господства правящего слоя («бюрократии», «нового политического класса», или, что для России наиболее точно, — «номенклатуры»). Сталинизм, брежневщина, режим Горбачева, политсистема Ельцина — это перелицовка одного и того же. А «одно и то же» — это, по Буртину, «безраздельная монополия на власть и собственность» правящего сословия. Это и есть главная Беда России, это и есть главная причина всех ее тупиков.

Поэтому *общим* ответом на вопрос «Что делать?» будет следующий: *сменить* ***номенклатурную*** *форму организации общества —* ***народной*** *(т.е. подлинно демократической).* Понятно, это — самая общая форма ответа. И Буртин, естественно, на ней не останавливается.

Открыв общность указанных выше режимов, выявив их единую сущность, Ю. Буртин, отнюдь не считал, что *формы*, которые принимает эта сущность в различные эпохи, не имеют большого значения при решении вопроса «Что делать?». Он отдавал себе ясный отчет, что различие форм проявления этой сущности обусловливает и различие способов, методов социального противоборства и требует, стало быть, уточнения и конкретизации искомого ответа. Поэтому так внимательно изучает он особенности *форм* господства номенклатуры в каждую эпоху и причины смены этих форм.

Сталинско-брежневская система базируется на «общественной» собственности, что дает основание причислять ее к социалистическому типу социума. Но реально собственностью этой владеют, распоряжаются, присваивая основную часть доходов с нее, не граждане (как то мыслилось при «нормальном», «марксовом» социализме), а — бюрократия, номенклатура. Бюрократия распоряжается собственностью как ее *коллективный* владелец. Поэтому, если это и «социализм», то — особого типа — «номенклатурный социализм» (то есть это «социалистический тип отношений» — только внутри номенклатурного сословия, это — способ организации и деятельности только господствующего класса; общество же в целом, как небо от земли, далеко от социализма и представляет собой классово-антагонистическое общество, причем — нового, отличного от капитализма, типа).

Горбачевско-ельцинская система не вырвала собственность из рук бюрократии, чтобы передать ее народу (как то обещали архитекторы перестройки и реформ). Она лишь перелицевала *форму* номенклатурного владения. Она позволила *членам правящего класса* перейти от коллективных (корпоративно-бюрократических) форм владения собственностью к индивидуальным, частным. В этом и была суть всех процессов «денационализации», «разгосударствления», различных приватизационно-ваучерных кампаний. Раньше, в эпоху «реального (т.е. — номенклатурного) социализма», все привилегии, все блага, все дивиденды от бюрократического владения собственностью были, так сказать, «привязаны» к государственно-партийному креслу, и чиновник получал их *только тогда*, когда он это кресло занимал, и в том объеме, какое место занимало его кресло в общероссийской иерархии кресел. Состояние, надо сказать, не слишком стабильное: у тебя *лично* ничего нет, всё — у «кресла». Теряешь кресло — теряешь все! Вот потому-то и стали возникать в чиновничьих головах идеи — что не худо было бы «отвязать» все эти блага от государственно-партийного кресла («да здравствует разгосударствление!») и «привязать» их *лично* к госчиновникам и к тем теневикам из центральных, областных и районных партхозактивов, которые вокруг этих «кресел» крутились, создавая уже в те времена некую «теневую рыночную экономику» («да здравствует приватизация, ваучеры и аукционы!»). И в результате всех этих «перестроек», этих «смелых и великих реформ» появилась не просто обычная, нормальная «частная собственность», а частная собственность особого типа — номенклатурная. И двинулась эта собственность на «рынок», формируя тоже очень специфический — номенклатурный — рынок. Рынок, основным участником которого стал не свободный массовый производитель, а — коррумпированный чиновник и тесно связанный с криминалитетом олигарх.

Из этих *экономических* посылок концепции Буртина логически следуют и фиксируемые им *политические* особенности современного режима. Номенклатурный рынок порождает различие интересов орудующих на рынке корпораций, групп, кланов, криминальных структур. Для защиты своих интересов эти группы стали создавать политические организации — «политические партии». И снова — не «нормальные» политические партии, долженствующие выражать интересы различных слоев и групп *всего* общества, а — особого типа партии — «номенклатурные», то есть организации, выражающие интересы различных фракций *лишь* господствующего сословия. Номенклатурный рынок в экономике дополняется таким образом системой номенклатурного правления в политике — номенклатурная многопартийность, номенклатурный плюрализм, номенклатурная гласность, номенклатурная свобода слова. То есть свобода слова, гласность, многопартийность, все то, что составляет содержание демократии, — только и исключительно *для* номенклатуры.

Всё это и образовало ту специфическую социально-политическую систему, которую Буртин и его единомышленники наименовали «номенклатурным капитализмом», или «номенклатурной демократией» (две формулы, выражающие одну и ту же суть).

После сказанного, думаю, понятно, почему не продуктивно ограничиться общим призывом к смене «номенклатурной» системы «народной», «демократической». Речь всегда должна идти о замене не номенклатурной системы *вообще*, а номенклатурной системы *определенного типа*. Сегодня — номенклатурного капитализма, во времена, подобные горбачевским, — номенклатурного социализма.

А раз так, то следует дать более конкретные характеристики и систем, долженствующих приходить на смену.

Что — вместо «номенклатурного капитализма»? Капитализм не-номенклатурный? Обычный, нормальный капитализм — как он описан экономистами-классиками — Локком, Смитом, Марксом, Мизесом?.. А что может быть предложено вместо «номенклатурного социализма»? Социализм как таковой, «нормальный», «классический», по Марксу и Энгельсу?

Может показаться, что, по логике концепции Буртина, ответ должен быть именно такой. Но — нет! Тут есть одна тонкость, связанная, впрочем, с самой сутью проблемы. Дело в том, что согласно Ю. Буртину, нет «капитализма вообще» (как и — «социализма вообще»), а есть две принципиально различных разновидности капитализма (как и социализма). И вот для того, чтобы выяснить, каково социально-политическое содержание этих разновидностей, для того, чтобы понять, какая система какой должна приходить на смену, чтобы в максимальной степени способствовать общественному прогрессу и интересам большинства граждан, — и тем самым более конкретно ответить на вышеупомянутый вопрос «Что делать?», понадобилась еще одна, может быть самая главная для концепции Буртина, новация.

Конвергентная теория Ю. Буртина

Сам Юрий Григорьевич, добросовестнейший и щепетильнейший, отдавал тут пальму теоретического первенства Андрею Дмитриевичу Сахарову. Об этом свидетельствовал и подзаголовок его программной статьи «Россия и конвергенция» — «Идеи Сахарова вчера, сегодня, завтра». Не смею оспаривать эту точку зрения Юрия Григорьевича, но не могу не сказать, что у Андрея Дмитриевича то были все же лишь некие наброски, соображения, фрагменты. Содержательные, глубокие, важные. Но стройной, целостной, основательно разработанной, связывающей историю и современность *концепцией* они стали только под пером Ю. Буртина.

Именно Ю. Буртину принадлежит *социально-философская* идея разделения эпох мировой истории на «доконвергентную» и «конвергентную», *им* разработана *социально-политическая концепция* различения обществ «конвергентного» и «доконвергентного» типа, *им* введены в научный оборот *политологические и социально-политические* категории «доковергентного» и «конвергентного» капитализма (соответственно — «доконвергентного» и «конвергентного» социализма). *Он* дал оригинальную трактовку идеи их (капитализма и социализма) исторического движения навстречу друг другу, их сближения и сопряжения, и в перспективе — формирование нового обще-

ственного строя (что-то вроде «капитализма-социализма», или, что то же самое, — «социализма-капитализма»).

Все эти теоретические наработки и обусловили конкретность и глубокую содержательность ответа Ю.Буртина на вопрос «Что делать?». Вот как он шел к этой, все большей, конкретности.

Номенклатурный капитализм, согласно Буртину, это один из вариантов «доконвергентного капитализма» (т.е. «обнаженно классового общества, с резким разделением на богатых и бедных, с жестокой эксплуатацией меньшинством населения его огромного большинства, с полярной противоположностью «верхов» и «низов», их взаимной подозрительностью и злобой» — в общем, капитализм, каким он был на ранних стадиях своего развития, например, в эпоху первоначального накопления, или в эпоху, описанную в «Капитале» Маркса). Он пришел на смену доконвергентному (же) социализму — тому «реальному социализму», который имел мало общего с социалистическим идеалом, начертанным основоположниками марксизма: «В самом деле, — пишет Буртин, — провозгласили диктатуру пролетариата — получили диктатуру партаппарата. Поставили целью бесклассовое общество — оно обернулось безраздельным господством «нового класса», партийно-советско-ведомственной номенклатуры. Национализировали все и вся, заменили частную собственность «общенародной» она быстро стала фактическим достоянием той же номенклатуры, правда, коллективным и анонимным. Объявили о прекращении эксплуатации человека человеком — и создали режим, при котором колхозник мог завидовать своему крепостному предку, потому что нес тяготы барщины (на колхозном поле) и оброка (со своего приусадебного участка) одновременно, труд же рядовых рабочих и служащих оплачивался в несколько раз ниже реальной стоимости их рабочей силы. В противовес капиталистической анархии производства строили высокорациональное плановое хозяйство — получили экономику всеобщей бесхозяйственности, чудовищно перекошенную, безумно расточительную и неэффективную». И к середине 80-х, что совершенно естественно, «реальный (доконвергентный) социализм» оказался в историческом тупике, из которого формой прогрессивного выхода мог быть только переход к конвергентному обществу. Не столь даже важно — социалистического или капиталистического типа, ибо конвергентный капитализм и конвергентный социализм не антиподы, а родственные системы, ибо в них — в тех или иных пропорциях — сочетаются капиталистические и социалистические черты и ценности, что и составляет определяющую черту конвергентности. Правда, для России того времени, отмечает Ю. Буртин, больше подходил вариант конвергентного *социализма* — к этому толкали традиции общественного сознания той эпохи, бывшие в массе своей социалистическими. Но вместо этой прогрессивной возможности осуществилась другая: страна перешла... даже не к конвергентному капитализму, а к капитализму *доконвергентному*. То есть она не сделала шаг вперед, а, по выражению Буртина, просто «перевернулась на другой бок», оставшись на том же самом тупиковом и бесперспективном месте.

Но не утопия ли это конвергентное общество?

Ни в малейшей степени! Целый ряд западных стран демонстрирует такую возможность. Да и в российской истории, в традициях российской социально-политической мысли подобный вариант развития, как подробнейшим образом выяснил Ю. Буртин, в той или другой степени предусматривался. И в первую очередь, как это ни покажется ошеломляюще-странным для идеологов всех фракций современной политической «элиты» (от Зюганова до Немцова с Явлинским), такой вариант развития страны был разработан... **Лениным**.

Нет нужды пересказывать этот феноменальный по глубине и тонкости буртинский анализ знаменитого поворота Ленина (в начале 20-х годов) от традиционных версий социализма (по терминологии Буртина — «доконвергентного») к принципиально новым («конвергентным»). Все это вы сами прочитаете в статье «Другой социализм». Замечу только: надо было обладать не только исключительным даром теоретического и политического ясновидения, но и поистине Буртинской доблестью, чтобы — безупречному и неоспоримому для всех демократу — пойти против течения и столь высочайшим образом оценить теоретические искания вождя Октября.

Я предсказываю, господа-товарищи: в историю образ Ленина войдет не в красно-коричневой оправе сталинского «Краткого курса» и не фотографией, заплеванной нашими доморощенными либералами. В историю Ленин войдет портретом, написанном кистью Юрия Буртина, портретом со сложной игрой теней и света. Войдет политическим мыслителем и практиком, одна часть идей которого (при определенных исторических условиях) будет подхвачена и в упрощенном до предела виде реализована в чудовищной практике сталинизма. Другая же часть идей (причем, что очень важно отметить, — идей, *венчающих* ленинскую деятельность и составляющих, по сути, его Завещание потомкам) — будет теорией решительной и беспощадной борьбы с теорией и практикой «доконвергентного социализма», будет историческим приговором всем Сталинам всех времен и народов. Не случайно с особой злобой, с особой жестокостью расправился Сталин с теми, кто попытался поднять и понести дальше знамя новой теории, слишком рано выпавшее из рук творца «нэповского социализма» — с Рыковым, Томским, Рютиным, Бухариным, Красиным...

Ленинская концепция «другого социализма» (наряду с неолиберальными идеями «другого либерализма» и основанной на них практикой ряда стран Запада) должна, по твердому убеждению Ю.Буртина, стать сегодня одним из важных теоретических истоков при ответе на вопрос «Что делать?».

А теперь — кому делать?

Кому делать?

Новация — уже в самой постановке вопроса. «У нашей общественной мысли, — пишет Ю. Буртин, — есть один давний грех. Она чрезмерно любит вопрос «что делать?». Любит составлять всякого рода программы действий, но при этом слишком редко задается сопутствующим, не менее важным вопросом

«**кому** делать?». Кому эти программы адресованы? Кто всерьез, т.е. исходя из собственных жизненных интересов, захочет, а захотев, сможет их выполнить?»

Тут вот ведь какая штука. Вопроса «Кому делать?», в качестве серьезной проблемы, не существовало для «нашей общественной мысли» потому, что ответ казался совершенно очевидным. Как это — «кому»? Государству, обществу, нам всем. «Общественная мысль» всерьез принимала басню о том, что наше общество — однородное, что у нас нет принципиально разнящихся слоев и классов, и потому *все* живут одной мыслью — как сделать жизнь *всех* лучше и краше. Просто некоторые руководители не знают, что нам всем для этого делать. И вот для них-то обществовед и поясняет: а делать надо нам всем, в том числе и вам, госчиновники, вот что. В общем, все мы — одна семья.

Но реальное общество (во времена и «реального социализма», и нынешнего «реального капитализма») — это никакое не «однородное» общество, это никакая не «одна семья». Это общество, разделенное на группы, слои и классы с разными (а то и противоположными) интересами. И потому интерес одних (подобных, скажем, руководству РАО ЕЭС или членам других олигархических структур) призывает «делать» одно, а интерес других (скажем, врачей, учителей, рабочих, инженеров) — другое, во многом — прямо противоположное.

Поэтому сегодня и необходимо вопрос «Что делать» обязательно дополнять вопросами: кто заинтересован в том, чтобы это делать («кому делать?») и — как именно это делать («как делать?»). Итак — кому и как?

И снова при ответе на эти вопросы — очередная теоретическая новация. И рождается она, что характерно для мышления Буртина, не на основе игры политологическими дефинициями или премудрой кабинетной фантазии, а на основе анализа исторического *опыта*.

Во-первых, — опыта ряда ведущих стран Запада — либерального реформаторства конца XIX — начала XX веков, кейнсианской революции, рузвельтовского неолиберального «нового курса», «революции управляющих» 1930–1950-х годов и т.д., и т.д. В результате чего «классический» капитализм обретал черты нового строя: снижался уровень противостояния внутренних социальных сил и расширялось пространство социального *равенства*. Тем самым — хотя и в своеобразной форме — реализовывалась одна из центральных идей социалистических предсказаний и требований. Биполярная классово-политическая система западного капитализма XIX столетия перерастала в многополярный социально-политический мир, основные субъекты которого вступают в ситуацию примерного социального равенства. Эти основные субъекты: *традиционный собственник* средств производства материальных благ, *менеджер* — собственник «средств управления» (идея Лена Карпинского, высоко оцененная и принятая Ю. Буртиным), *ученый* — собственник научного знания, главной производительной силы современности, *государственный служащий* — собственник средств «контроля» и «содействия социальным процессам», наконец, *современный работник* — весьма образованный, культурный человек, обладающий возможностью защитить свои права и интересы с помощью созданных им профсоюзов и политических партий.

Во-вторых, — это весьма поучительный для нас послевоенный опыт перехода ряда тоталитарных режимов (в Германии и Италии, в первую очередь) к демократии, к экономическим неолиберальным реформам и «социальному государству». Фиксируя ценные и поучительные стороны *этого* опыта, Ю. Буртин отмечает одну их особенность, которая, к сожалению, не позволяет надеяться на возможность его полновесного использования в наших российских условиях. Дело в том, что тоталитаризм, господство государственной бюрократии указанных режимов преодолевались **сверху**. «Ждать чего-либо подобного от российских властей, — не колеблясь, утверждает Ю. Буртин, — было бы крайней наивностью». Поэтому, по его убеждению, наиболее ценен для нас другой опыт — «опыт размывания и преобразования» тоталитаризма, административно-командных структур **снизу** — опыт «Пражской весны» (60-х годов) и доперестроечной польской «Солидарности». Анализируя *этот* опыт, Ю. Буртин особое внимание уделяет открытому народами этих стран новому типу «партии», вообще — иному, чем прежде, пониманию партии. Речь идет о партии не-классовой и даже, что особенно важно, — не-политической. А скорее — социальной. О своеобразной **социальной** организации, представляющей интересы «всего народа».

Но и этот наиболее ценный для России опыт должен быть преломлен через ее специфику. Ибо «в нынешней России ничто — ни в политической системе, ни в морально-психологическом состоянии общества — не способствует появлению на свет» такой оригинальной «партии», такой социальной организации.

Нам надо начать, пишет Буртин в концце своей статьи-завещания, с «активизации всевозможных, по большей части не политических, форм низовой общественной организации и инициативы». «О чём идет речь?» — ставит вопрос Ю. Буртин. И отвечает: «Да о разного рода ячейках неформальной связи между людьми, их взаимопомощи, делании чего-то сообща на производственной, профессиональной, потребительской, культурной, правозащитной, соседской, коммунально-бытовой и т.п. почве — совсем мелких, как домовой комитет, и более крупных, как совет трудового коллектива большого завода, совсем новых, доселе неизвестных, как общество обманутых вкладчиков, и давно существующих, но до поры бездействовавших, как бы дремавших». И еще, и еще... Юрий Григорьевич не отказывает себе в удовольствии перечислить новые формы самодеятельных организаций и объединений, которые создают в самом «низу» российские граждане и которые свидетельствуют о громадном историческом потенциале этих «низов»: «Добровольно складывающиеся кооперативы и товарищества всех форм и назначений. Стачкомы. Комитеты общественного контроля. Кассы взаимопомощи. Общества взаимного кредита. Внутризаводские, действительно независимые профсоюзы. Комитеты защиты прав потребителей. Общественные антимонопольные комитеты производителей и покупателей сельхозпродуктов. Сельские сходы. Организации пенсионеров, инвалидов, ветеранов, бывших заключенных» и т.д., и т.д...

Характерно, что, как и всегда, Ю. Буртин не придумывает «новых форм», он всматривается в жизнь. Она рождает эти формы. Он только фиксирует их,

он призывает инвентаризировать их, описать и обобщить их опыт, протянуть ниточки связей, способных соединить их в некую целостность. «Ибо в масштабе большой страны каждая из таких ячеек в отдельности не значит почти ничего, но в своей бесчисленной множественности они могут составить то…»

Внимание! Мы цитируем последние абзацы последней статьи Юрия Буртина. Внимание! Сейчас он скажет, может быть, самое важное и самое главное — то, что способно дать могучие побеги в будущее.

«…они могут составить то, что называется **гражданским обществом**».

Юрий Григорьевич практически не оперировал этим понятием. Ему, в общем-то, достаточно было такой категории, как «народ». И все же здесь, в самом конце своей последней статьи он успел прикоснуться к этому, становящемуся важнейшим, понятию современной политической науки, успел ввести его в систему категорий своей теории. Успел зафиксировать его основополагающее значение для демократических программ и демократических движений будущего. «Нам нужно перестать следить за движением светил на государственно-политическом небосклоне — они того ни в малейшей степени не заслуживают. Жизнь — внизу, все залоги спасения России — там и только там. Пора переключить общественное внимание. Ни наши верхушечные профсоюзы, ни насквозь коррумпированная государственная власть, ни в той же мере криминализированный окологосударственный крупный капитал не стоят и тысячной доли того интереса, какого заслуживают мельчайшие поры, через которые, бог даст, пробьются ростки **гражданского общества**». На этой ноте и заканчивается последняя статья Юрия Буртина.

…Передо мной сборник докладов «Политический плюрализм в современной России». Сборник, вышедшей в 2001 году, то есть уже *после* смерти Юрия Григорьевича. Передо мной текст одного из докладов. Вчитайтесь, вслушайтесь — не продолжение ли это того, о чем писал Юрий Буртин?

«Мне и моим единомышленникам со всех сторон, из недр разных политологических фондов (тех, что прямо или косвенно подкармливаются государственной бюрократией или олигархической братвой) несутся возражения: нет-де у нас никакого гражданского общества, вообще «граждан» нет, а есть (с претензией на остроумие и глубокомыслие!) лишь «население», т.е. неорганизованная, непросвещенная и потому бессильная «масса». И вы-де, «новые народники», вы, неисправимые утописты-фантазеры, предлагающие вместо реальных, выполнимых программ прекраснодушные, но бессильные утопии, только запутываете общественное сознание. Сегодня-де реальным субъектом общественных преобразований может быть только «политическая элита», и потому надо озаботиться лишь тем, чтобы более эффективно организовать ее. Дать ей научно выверенные рекомендации по реформированию общества. При этом наши оппоненты любят не без претензии на тонкую иронию добавить, слегка перефразировав известный сталинский афоризм: другого гражданского общества у нас для вас нет. Помните у Сталина: «других писателей у меня для вас нет»? А, между прочим, можно было бы сказать в ответ товарищу Сталину: «У вас других писателей нет, потому что всех «других» вы

перебили». И гражданского общества, отвечу я моим оппонентам, у вас для «нас» не будет, если вы будете продолжать все делать для его удушения.

Я же думаю, что несмотря ни на что, основа гражданского общества в России, и достаточно широкая и крепкая, существует. И это не «население», разрозненное и безгласное, а высокоразвитый (интеллектуально и морально) **народ**, стремящийся к организации и исторической самодеятельности».

Приведя в доказательство этого многочисленные цифры и факты, данные весьма представительных опросов, автор заключает:

«Я бы обратил внимание не только на тип и уровень (высокий) политического сознания гражданского общества, но и на тот вдохновляющий всякого действительного демократа факт, что гражданское общество, брошенное на произвол судьбы, презрительно третируемое интеллектуальной «элитой», зомбируемое «элитой» политической, эксплуатируемое «элитой» финансово-олигархической, тем не менее с энтузиазмом ведет процесс своего структурирования и самоорганизации. То там, то здесь, по городам и весям России возникают всевозможные объединения, союзы, комитеты, движения, самоуправленческие структуры. Иные, не выдержав трудностей условий существования, распадаются, но через некоторое время на их месте появляются новые.

Над нами посмеиваются, называя «новыми народниками». Пусть так. Но мне думается, «новые народники»—это лучше, чем «новые русские» и обслуживающая их «элитная» тусовка. Мы обязательно проведем инвентаризацию всех инициатив гражданского общества, мы составим и представим на всеобщее обозрение карту подобных инициатив по всем регионам России, и вы увидите: не спит и не бездействует гражданское общество. Собрать крупицы этого опыта самоорганизации и самоуправления, извлечь из него уроки, дать его анализ и на его основе выдвинуть развернутую стратегию развития гражданского общества, «стратегию горизонтали»—это и есть одна из важнейших задач современной российской научной интеллигенции.

Союз гражданского общества, науки, народных, демократических организаций и всерьез пекущихся о народном благе политических партий и деятелей—только это даст России шанс на преодоление ее бед».[1]

Ну, вот. А нам говорят: время Буртина ушло, время Буртина кончилось.

Нет, господа! **Время Буртина только начинается!**

Делай, что должно — и пусть будет, как будет!

«Да, мы в очередной раз провалились. Быстрых решений нет. Их возможность упущена во второй половине 80-х годов. Общественный, демократический энтузиазм был бездарно растранжирен. Сегодня для

[1] Политический плюрализм в современной России. Материалы сессии Академии политической науки. М., 2001.

нового мощного демократического подъема у общества нет сил. Россия обустраивается в новом — совсем не демократическом режиме работы и жизни.

Это уже не «переходное состояние», когда все бурлит, кипит, варится, когда все подвижно и неустойчиво, когда броуново движение огромного числа социальных клеток, высвободившихся из распавшегося государственного организма, их столкновения и взаимодействия способны породить принципиально новые общественные организмы, новые формы социального бытия. Теперь — это нечто в основе своей сложившееся, отстоявшееся. Понизилась температура «социального бульона». Под гигантским общественным котлом — уже не угли пламенеющие, а пепел остывающий. Заканчивается период социального варения. В общих чертах сложились, остывают и каменеют новые формы общественной жизни.

Затвердевают формы новономенклатурной власти и номенклатурной приватизации. Укореняется на российской почве номенклатурный капитализм. Атмосфера всех сфер нашей жизни в решающей степени определяется чиновником-коррупционером и номенклатурно-криминальным капиталом.

Да, быстрых решений уже нет. Недемократические, номенклатурные силы уже сложились (на новой основе!), нашли друг друга, объединились, выбрали из альтернативных путей общественного развития — свой, новономенклатурный и потащили уже по нему слабо сопротивляющееся, разрозненное, сбитое с толку и утратившее энтузиазм российское общество.

Есть где разгуляться пессимизму, есть от чего впасть в апатию: ни гуманистический социализм с «человеческим лицом», ни нормальная демократия, ни социальная рыночная экономика не складываются на нашей отечественной почве. Я отдаю себе отчет в неизбежности нарастания таких умонастроений. И я не призываю к историческому бодрячеству, ибо понимаю: быстрых решений сегодня нет. И всё же дорогу осиливает только идущий. Приостановиться на мгновение, оглядеться вокруг, похоронить мертвых, расстаться с лжедрузьями, оплакать иллюзии и, подлатав экипировку, запасшись новым идейным провиантом, снова — в дорогу. Думать самому и подвигать к этому других, вновь и вновь слеплять атомы распавшейся материи низовой, массовой российской демократии, объединяя людей труда всех его форм и ветвей — интеллектуального, физического, управленческого, предпринимательского, художественного, твердо и мужественно следуя принципам вековой человеческой нравственности и нестяжательства. В общем, как советовали древние мудрецы, — делай, что должно, и пусть будет, как будет.

И всё же, и всё же... Потенциал российской демократии, нравственные традиции русского народа столь велики и прочны, а сложившийся номенклатурный строй столь полон разрывающих его противоречий, что, несмотря ни на что, я не расстаюсь с надеждой, что это демократическое «*будет*» осуществится еще на нашем с вами веку, читатель.»[1]

[1] Г. Водолазов. Дано иное. М. 1996, с. 665.

Старая новая парадигма

Назад, к Сократу? Вперед, к Сократу!

Да, конечно, жизнь — штука сложная. Кто спорит? Не просто человеку принимать решение в условиях сбегания и набегания друг на друга различных факторов, сшибки интересов людей, возникновения ситуационных сдвигов и поворотов — попробуй все это учесть, высчитать и найти то «единственно правильное» решение, которое приемлемо для твоего ума, твоей души и твоего сердца. Да, все это очень и очень непросто.

И все же не надо чересчур уж все это усложнять. Усложнять настолько, что перепутываются, сбиваются в путаный-перепутанный клубок все ориентиры и принципы. И в итоге ты делаешь свой шаг наобум или следуя каким-то сиюминутным (и не всегда симпатичным) влияниям.

Еще раз: не надо все переусложнять и запутывать.

Ведь все же предельно ясно: надо жить — «не по лжи», следовать принципу «не убий!», нельзя предавать друзей, заботясь о собственной шкуре, и вообще ставить свое «благополучие» выше нравственных заветов и обязательств. И это — *абсолютные* критерии, *абсолютные* мотивы, которые должны лежать в самом фундаменте, в самой основе нормального человеческого поведения во все времена, на всех широтах и во всех сферах деятельности (как частной, так и общественной). Чего тут неясного, чего сложного?

«А вот что, — отвечают нам склонные к «неповерхностному» и «более основательному» мышлению люди. — Вы говорите «не убий!» А если жестокий и беспощадный враг — «с огнем и мечом» — нагрянул на вашу землю? А если вы столкнулись с каким-нибудь отпетым негодяем, извергом рода человеческого? Ну, как в той, например, истории, что рассказал Иван Карамазов своему брату Алеше (живущему строго по моральным заповедям Христовой Нагорной проповеди)».

И этот, «усложняющий» всё и вся, обязательно вытащит на суд ваш эту знаменитую беседу двух братьев. И для произведения пущего эффекта потянется за томиком Достоевского — и поведает обо всем словами великого писателя (дабы было все посочнее и поярче).

«Вот ведь, оно, оказывается как, — продолжит наш «все усложняющий» оппонент. — Верит Алеша в незыблемость Христова "Не убий!". Но подкатывает вот такая ситуация (а она, как каждый знает, — не редкость: изверги, подлецы и негодяи еще не перевелись в роду человеческом) — и шепчет Алеша, наш «гуманист», наш «святой», побелевшими от гнева губами: «Расстре-

лять!». И истину шепчут его губы. Оказывается все не так просто. Оказывается можно (в зависимости от обстоятельств) служить двум богам: Богу «Не убий!» и Богу «Расстрелять!».

Да и что «непререкаемого», что «абсолютного» в этом вашем «Не по лжи!»? Ну обратится к вам уже упоминавшийся нами нагрянувший на наше Отечество, враг: «А поведайте мне, где скрывается и чем вооружен отряд ваших соотечественников». Вы что, следуя императиву «абсолютной правдивости» все так прямо ему и выложите и, может, даже, в интересах этой самой «правдивости», еще и сами поведете врага в то секретное местечко и покажете пальчиком: «Вот они, вот где притаились защитники моего Отечества»?

О нелепости, да и просто безнравственности возведения этого «не по лжи» в ранг абсолюта свидетельствует и известный, часто обсуждаемый, пассаж из Канта. Там Кант, подобно вам, говорит о непререкаемости и абсолютности нравственных императивов, и, в частности, о девизе «не по лжи!». Кант, как и вы, настаивает, что в *любой* ситуации надо беспрекословно ему следовать, — не считаясь ни с какими последствиями ни для говорящего, ни для окружающих. Какими бы эти последствия — даже очень тяжелыми — ни были, всё равно. В конечном счете, следование «абсолютной правдивости» окупится, воздастся за него сторицей. А «ложь во благо», по Канту, способствуя получению сиюминутных дивидендов, в перспективе окажет разрушительное действие на все человеческое сообщество. И, чтобы ни у кого не возникло сомнения в серьезности и твердости подобных убеждений Канта, он рисует одну «крайнюю ситуацию»: некий разбойник спрашивает у вас — где в вашем доме скрывается человек, которого он преследует, собирается схватить (и, возможно, даже убить). Кант настаивает: все равно, независимо от последствий, вы должны следовать требованию «не по лжи» и «сказать правду».

Вот так в предателя друга и сообщника убийцы превращает вас это рекомендуемое Кантом «абсолютное» следование принципу «не по лжи». Вот почему с этими моральными принципами все обстоит гораздо сложнее. Они — сугубо *относительны*: все зависит от ситуации — в одной им надо следовать, в другой от них отказаться. В данном, кантовском, примере от них следует отказаться еще и по той причине, что «разбойник» — это человек, стоящий за пределами цивилизованного человеческого сообщества; он сам поставил себя «по ту сторону» человечности, «по ту сторону добра и зла». И потому нравственные императивы в отношениях с ним не действуют: вовсе не обязательно говорить ему «правду», а при случае не будет никакого греха и уничтожить его.

И еще один аспект, демонстрирующий ложность концепции «абсолютности» и *всеопределяющего* характера нравственных принципов — сфера политического. Государство, политическая власть, опирающиеся на принуждение и насилие, есть *закономерный и необходимый* феномен в развитии человеческого общества. Вдумайтесь: *насилие* — необходимая форма необходимой политической деятельности. Значит, моральные, *не-насильственные* формы не могут быть доминирующими и всеопределяющими в сфере политики».

Так говорит мой «всё усложняющий» оппонент.

И я сразу хочу сказать, что *совершенно* не согласен с самим существом его кажущихся на первый взгляд бесспорными доводов. Давайте разбираться.

Вначале — о примере из Канта.

Итак, для меня исходным тезисом (первым словом моей «парадигмы») является тезис об *абсолютности* и *всеподчиняющем* характере нравственных императивов и моральных ценностей. Тут только одна тонкость (которую, упустил из виду Кант). В нашем, весьма несовершенном, мире постоянно возникают ситуации, когда сталкиваются между собой два (обладающие сами по себе *абсолютной* природой) нравственных императива. И тогда приходится одному их них, по тем или иным мотивам, отдавать *предпочтение*.

В принципе-то Кант прав, утверждая *абсолютный* характер морали. Просто он не слишком удачно применил этот принцип к анализу конкретного случая. В той, предложенной Кантом, ситуации *столкнулись* лоб в лоб два (сами по себе, повторяю, — *абсолютных*) нравственных императива: первый — «не лгать» и второй — «не предавать друзей». И перед вами, таким образом, — ситуация *выбора*: какому их двух моральных требований отдать в данном случае предпочтение. Кант не фиксирует своеобразие данной ситуации, как ситуации *выбора*. Он замечает только один абсолют — «не по лжи» и отдается ему во власть, не замечая другой возможности.

О чем свидетельствует, почему возникает такая ситуация — *выбора* и как она соотносится с идеей *абсолютности* нравственных критериев?

Первое. Подобная (типичная для всей нашей исторической эпохи) ситуация — свидетельство того, что общество устроено еще весьма несовершенно, что мы находимся на этапе *предыстории* человечества, в основании которой лежит принцип господства и подчинения (а не сотрудничества и взаимопомощи), принцип борьбы людей за материальные блага в условиях их — пока еще значительного — дефицита, принцип «отчуждения людей от их собственной сущности», принцип политического насилия. На этом этапе «предыстории» и возникают ситуации, когда с одной стороны — «разбойники» (начиная с тех, кто по ночам выходит с ножом на «большую дорогу», и кончая теми, кто, не нарушая статей уголовного кодекса или ловко обходя их, присваивает себе бóльшую часть общественного богатства, превращая большинство сограждан в зависимых от них наемных работников — «наемных рабов»), а с другой — терроризируемые ими нормальные, трудящиеся люди. Вот что и касается примера из Канта: живи мы в мире равенства, сотрудничества и взаимопомощи, — не было бы там ни ночных татей, ни защищаемых неправедными законами олигархов, и не понадобилось бы кому-либо прятаться от бандитов, спасая свою жизнь и свою собственность. И тогда не сталкивались бы между собой нравственные принципы. И не попадал бы человек в ситуацию неприятного выбора между «не по лжи» и «не предавай»; они бы, эти принципы, не только не сталкивались бы, но и усиливали и дополняли друг друга.

Но так будет в будущем — гармоничном и гуманном — мире, до которого нам пока — как до звезды небесной. А жить-то приходится в *этом*, современном нам, предысторическом, мире. В нем-то как и чем *руководствоваться*?

Я уже сказал относительно «ситуации Канта»: прежде всего, надо зафиксировать *ситуацию выбора*. И далее осознать, что выбор здесь не между «солгать» или «сказать правду»; будь выбор *такой*, тогда не о чем и говорить: конечно, выбираем «правду». Но в действительности содержание-то выбора тут другое: «сказать правду и тем самым предать друга» или «солгать, но спасти жизнь друга». Иначе говоря, — выбор не между «нравственным» и «безнравственным» решениями, а между двумя *нравственными*. Предпочтя одно другому, вы, однако, не выходите за пределы нравственности, а остаетесь *внутри* нее, ибо вы руководствуетесь *нравственным* императивом. Абсолютность, стало быть, состоит в том, что вы постоянно выбираете **один из** *нравственных* принципов. Конкретная ситуация располагает их на некой лестнице *предпочтения*: один из них — более, в данном случае, значимый, другой — менее. И, принимая решение, вы подчиняете его более высокому (в данной ситуации) нравственному принципу.

И потому в обрисованной Кантом ситуации я лично выбираю более, на мой взгляд, важный принцип — «спасение жизни человека» и готов поэтому (и только поэтому!) поступиться менее (в данном случае) важным принципом — «не по лжи».

Таким образом, знание нравственных императивов, понимание их абсолютного характера не избавляет нас от нелегких раздумий — каково в данном случае должно быть **соподчинение** этих принципов. Выверенное следование моральным нормам — это напряженный интеллектуальный труд и нравственная работа (облегчаемая, впрочем, жизненным опытом и навыками нравственных действий). Кстати, это тоже одна из важнейших нравственных заповедей: «применение» моральных принципов — обязательно ситуация выбора, проявление *творческой* сущности человека. И этот нравственный выбор, предшествующий *поступку*, может иметь очень разные формы. Можно предпочесть одному нравственному императиву другой. А можно найти способ действия, не нарушающий *оба* нравственных принципа — и «не солгать» и «жизнь человеку спасти». Английский философ XIX века Джон Генри Ньюмен в «Кантовской ситуации» предлагает вообще ничего не отвечать злодею, а, например, «сбить его с ног и вызвать полицию». Согласитесь, тоже неплохая (правда, не всегда легко осуществимая) идея. Но тем не менее… (Вообще, если захотите поупражняться в поисках удачных нравственных ответов на различные жизненные и теоретически заковыристые ситуации, в том числе и на ту, что обрисована Кантом, откройте фундаментальный труд Бориса Капустина, одного из лучших наших политических философов, «Моральный выбор в политике», в особенности — главу «Случай Канта: моральное созерцание и политическое действие» и вместе с автором попутешествуйте по хитросплетениям нравственных и политических дорог). Здесь же я только хочу обратить ваше внимание на то, что, даже если вы сможете выполнить совет Ньюмена (что, помимо всего прочего, предполагает, что ваша мускулатура, по крайней мере, не уступает мускулатуре разбойника) и «сбить» злодея с ног, то и в данном случае вы, с точки зрения морали, отнюдь небе-

зупречны: да, вы не нарушили ни один из тех двух принципов — «не лгать» и «сохранить жизнь товарищу»; но все же вы *сбили* с ног человека, т.е. совершили над ним *насилие* (что противоречит ряду моральных заповедей, о которых, в частности, говорится в Нагорной проповеди; или, в другом варианте, вы не «сбили», а «вызвали полицию» — тут тоже следует целый ряд далеко не моральных действий: надевают наручники, сажают в машину с решетками, отвозят в тюрьму с крепко запираемыми дверями…

И еще одно замечание. Очень опасен тот ход рассуждений (кстати, часто встречающийся), — что поскольку разбойники, можно сказать, — «нелюди», то с ними можно поступать, не слишком заботясь о требованиях морали: с волками жить — по-волчьи выть. Примерно так рассуждал Локк: «не может быть нравственного долга перед преступником, «который, отрекшись от рассудка, от общего правила и мерила, данного Богом человечеству, сам посредством несправедливого насилия… объявил войну всему человечеству»[1].

Если *таким образом* пытаться защищать систему нравственных императивов (что-де только с нормальными, с нравственными людьми, можно и должно следовать этим императивам, а со злодеями можно бороться и безнравственными методами), то тогда, я думаю, приходит конец *всякой* нравственности. Тогда прав Никколо Макиавелли со своей концепции не-нравственности (и даже прямо — безнравственности) политики. «Ведь тот, кто хотел бы исповедовать веру в добро, — пишет он в своем «Государе», — неминуемо погибает среди столь многих людей, чуждых добра. Поэтому князю, желающему удержаться, необходимо научиться умению быть недобродетельным…»[2]. И еще: «Если бы люди все были хороши, такое *(безнравственное)* правило было бы дурно, но так как они злы и не станут держать слово, данное тебе, то и тебе нечего блюсти слово, данное им»[3].

Так вот, в отличие от Макиавелли и Локка, я полагаю, что и к «волкам» надо относиться не «по-волчьи», а «по-человечьи» — то есть в соответствии с нравственными принципами. И если не говорить злодею «правду», то не потому, что он — «волк» и находится за пределами нравственного пространства, а потому что в данном случае есть более высокий нравственный принцип — «спасение человека», которому мы и призываем следовать.

Да и насчет Алешиного «Расстрелять!» — насчет необходимости уничтожения убийц и растлителей. Все-таки и тут человечество (в лице уже многих стран) доработалось до *человечьего* принципа: не допускать смертной казни и по отношению к ним. Нет, речь не идет о прощении преступлений «волков» и «шакалов», — они должны нести наказание, но — человеческой, а не «волчьей» или «шакальей» мерой.

[1] Локк Д. Два трактата о правлении / Сочинения в 3 т. Т. 3. М.: Мысль, 1988. С. 268.

[2] Н. Макиавелли. Государь. М., 1996, с. 78–79.

[3] Там же, с. 84.

И, наконец, о взаимоотношении морали и политики. Только два слова — после тех сотен и тысяч слов, что написаны в этой книге. Никакого «равноправия»! И тут — **абсолютная, всеопределяющая и всеподчиняющая роль морали.** Да, на определенном (на нашем с вами) этапе истории человечества политика и лежащие в ее основании принуждение и насилие — есть совершенная *необходимость.* Без этого существование и развитие человеческого общежития невозможно. Все это так.

Но:

Отдадим себе отчет, что сверхзадача, «сверхцель» всего **этапа политического развития человечества** (от античности до наших дней) состоит в содействии становлению и развитию подлинно *человеческого* общества, т.е. общества свободы, равенства, справедливости, высокого человеческого достоинства, такого уровня творческих, созидательных сил, при котором станут возможными свободная, коллективно согласованная деятельность, материальное благополучие, гармония интересов индивида и социума, выход на такой уровень общественного и индивидуального бытия, когда насилие и принуждение перестанут быть необходимыми. Иначе говоря, сверхзадача этапа политического развития состоит в формировании **реального гуманизма**, не-политического, **нравственного** (т.е. — подлинно человеческого) **бытия**.

Тут есть, конечно, трудность: движение к обществу не-насилия, к нравственному человеческому общежитию при использовании средств насилия, механизмов политики. Здесь есть, конечно, опасность: принять, в духе Макиавелли, *средства* (в каких-то аспектах необходимые) за *цель*, за *единственно* возможные и *единственно* правильные формы согласования интересов людей в обществе, принять Человечество, являющееся в основе своей **Нравственным** феноменом, за феномен **Политический**, принять *сущность* за одну из *форм* (к тому же исторически преходящую) ее проявления.

Да, тут есть реальная (и практическая, и теоретическая) трудность. Но не следует ее усугублять непониманием. Трудность эта постепенно преодолевается в каждом правильно сделанном шаге человеческого развития. Суть этих «правильных» шагов — в постоянном расширении пространства не-насилия, пространства гуманизма, пространства нравственности и постоянном сужении — насколько позволяют условия — пространства насилия и принуждения, пространства политики.

Когда ко мне, человеку, немало уже пожившему и накопившему кое-какой теоретический и практическо-политический опыт, обращается «юноша бледный, со взором горящим» за советом: «Есть ли ему смысл идти в политику, в которой так много того, что противоречит прекрасным принципам гуманизма и нравственности?», я отвечаю:

«Есть смысл! При условии, что постоянно будешь стремиться к тому, чтобы *снизить уровень насилия в обществе*, что ты постараешься *максимально возможно* — для данных условий — *минимизировать* степень политического насилия и принуждения. Если ты сможешь это делать, если это будет у тебя получаться, — иди в политику и оставайся в ней. Если — не будет (по

причине твоих небольших способностей и возможностей на этом поприще или по той причине, что обозначается поговоркой «плетью обуха не перешибешь») — уходи из нее. Есть другой, не менее важный способ воздействия на общественные процессы. Свет клином на политике не сошелся. Не думай, что она — сфера самого активного воздействия на жизнь людей, на ход событий. Это чиновничье сословие, политическая бюрократия внушают всем, что они — соль земли, «командиры» общества, устроители жизни. Да ничего подобного! Они пытаются ими стать — этакими начальниками-распорядителями жизнями и судьбами людей. И в тоталитарной системе (самой отвратительной из систем) им кое-чего в этом плане удается достичь. В нормальном же (т.е. — не тоталитарном) обществе политика — лишь одна из сфер (и часто не самая значимая) общественной жизни. Не так далек от истины знаменитый полушутливый ответ на вопрос «Кто такой Л.И. Брежнев?» — «Незначительный политический деятель эпохи Аллы Пугачевой». Думаю, правда, что знаковая роль известной эстрадной певицы тут несколько преувеличена. Но сама идея верна: об эпохе Брежнева будут вспоминать, в основном, потому, что тогда жили и творили Александр Твардовский, Андрей Сахаров, Александр Солженицын, Эвальд Ильенков, Юрий Буртин, Игорь Дедков и другие достойные люди. В конце XIX — начале XX века люди уже понимали и писали: «В России два царя — Николай Романов и Лев Толстой». И об эпохе другого «знаменитого» царя — Николая Первого — будут вспоминать только потому, что тогда жил и творил Пушкин. И «великие», «всемогущие» политики той поры (вроде Бенкендорфа) останутся в истории только потому, что они травили Пушкина, вскрывали и читали его письма к жене, друзьям. Они «обессмертили» себя *прикосновением* к Александру Сергеевичу. Только и всего!

Я тебе, мой молодой друг, по большому секрету скажу одну вещь, которую мало кто понимает, а высокопоставленные политические чиновники, исполненные начальственного самодовольства, вообще о ней не ведают (и слава богу!). Так вот, прими к сведению: общественная, социальная (в том числе — политическая) система имеет *две ипостаси*. Одна существует *объективно* (в виде политических учреждений и институтов — парламента, правительства, политических партий и т.п.), другая — *субъективно* (в виде политической и нравственной культуры людей, представляющей собой совокупность их установок, устремлений, надежд, чаяний). «Субъективным бытием политической системы» удачно определил «политическую культуру людей» Габриель Алмонд. И оно для общества и составляющих его индивидов не менее значимо, не менее реально, чем бытие «объективное». Если «культура» эта у большинства людей в обществе монархическая, тоталитарная или авторитарная, то сколько ни придумывай демократических процедур, сколько ни создавай демократических учреждений (подобных свободным выборам, многопартийности, гласности, свободе слова и т.п.), никакой демократии не получится. Тоталитарная культура большинства быстро выхолостит демократическую и гуманистическую суть из этих форм, и постепенно всё вернется на круги своя, пойдет «по Черномырдину»: «начали производить швейную машин-

ку, а на выходе получился пулемет», «хотели строить демократическую партию, а получилась опять КПСС», «хотели как лучше, а получилось как всегда».

Такая вот мощная штука эта «культура», гнездящаяся в головах человеческих. Ее, как говаривал Герцен, не изменишь одним усилием воли, «ее не возьмешь никаким coup d'etat», и далее: «нельзя шагать из первого месяца беременности сразу в девятый»; и еще: «нельзя освободить человека вовне больше, чем он свободен внутри». С другой стороны, если культура эта в массе своей будет гуманистическая и демократическая, то как ни пытайся выстраивать различные причудливые авторитарные и тоталитарные формы — они не удержатся: демократия и гуманизм гражданского общества наполнят их новым содержанием или просто сломают их.

Поэтому, мой молодой, стремящийся к политической, общественно-преобразовательной деятельности человек, не печалься, если современные политические, государственные структуры не способны влиять на события в духе гуманизма и демократии. Иди в мир политической *культуры*, воздействуй на власть не-имущих, на сознание соотечественников, на менталитет гражданского общества. Пиши, выступай, просвещай — изменяй мир в головах людей. Конечно, этот способ реформирования и революционизирования мира — долгий, но зато самый основательный. Так что «политикой» можно заниматься не только в пределах Садового кольца и не только в «высоких» госучреждениях.

На чем спотыкаются Платоны?

Ну, а теперь, как мы и обещали, — о **третьей**, и самой главной, причине, по которой Идеалы вдруг превращаются в Идолов.

Но прежде напомним о той массе вопросов, которые у нас возникли к Платону. И начнем с самого, самого главного.

Почему в прекрасном (по замыслу) *сократовском* мире (мире свободы, равенства, братства и справедливости) гражданам предлагается такая итоговая сентенция: «никто не должен приучать себя действовать по собственному усмотрению: нет, всегда — и на войне и в мирное время — надо жить с постоянной оглядкой на начальника и следовать его указаниям»? Где тут свобода, где равенство и братство? И можно ли представить себе, чтобы в таком мире наставлениями мог появиться, развиться, да и просто выжить Сократ? Это **анти**сократовский мир. В *таком* мире Сократу нет места.

Что это за чертовщина такая? Может, это результат каких-то исторических неурядиц: ну, кто-то там из учеников Платона внес в платоновский текст эту нелепицу? Если бы…

Значительная часть деятельности стражей и правителей состоит, увы, из подобных сентенций и запретов.

И — бесконечный список угроз и наказаний, провозглашаемый правителями, — одно страшнее другого, вплоть до смертной казни. Причем нередко — за всякие пустяки.

Что это? Откуда это? Как попали эти странные, режущие слух звуки в благозвучие платоновской музыки?

По-видимому, дело обстояло следующим образом.

Платон отлично знал современный ему мир. Знал, что он, как небо от земли, далек от начертанного им в тиши его Академии совершенного государства. И в самом деле, где взять столько высоконравственных и самоотверженных «стражей»? Наверняка, на высшие ступени властной лестницы валом повалят всякие карьеристы и взяточники — и, прикидываясь бескорыстными, нестяжателями, напридумают массу способов, чтобы обойти намеченные Платоном жесткие, препятствующие проявлению эгоизма, правила: найдут и как тайно обогатиться, и как укрыть свои богатства от общественных глаз; а накопив злата-серебра, рванут из «идеального государства» в какие-нибудь «порочные» Фивы или Сиракузы, и будут там жить припеваючи, широко и со вкусом пользуясь богатством, награбленным у наивных жителей «идеального полиса». И детей своих найдут способ выделить из общей массы, и начнут (тайно и потихоньку) создавать им «особые» условия жизни и воспитания, и учить их совсем не тому, чему учат других детей в общественных учебных заведениях, и воспитывать будут иначе.

И начнет рушиться идеальный строй, разъедаться ржавчиной эгоизма и накопительства.

Да вот и сам же Платон рассказал нам, как распался «почти идеальный» строй золотого века человечества — после чего и начался этот печальный круговорот неизлечимо больных политических режимов. Как остановить эти болезненные процессы? Как *заставить* заматерелых в эгоизме и корысти людей быть *нравственными и бескорыстными* стражами? Только репрессиями, только угрозами максимально суровых наказаний, иначе — «порча», «разложение» стражей и — гибель «идеального» государства. «Человеческая природа» волей-неволей будет порождать тягу к собственности, индивидуальной деятельности, личностной реализации — стремления, способные разрушить единство и целостность человеческого сообщества. Во избежание столь печальных последствий нужно осуществить *диктатуру* Закона, *диктатуру* Морали.

Так вот и возникает это парадоксальное противоречие: мир нравственности и ненасилия предлагается строить с помощью средств жесточайшего насилия, мир свободы создавать в условиях несвободы, мир равенства — в условиях неравенства, мир братства — в условиях вражды и ненависти. И эти меры предлагается считать *справедливыми*, потому что они, видите ли, ведут к заветной цели. И лишь по ее достижении можно будет отказаться от методов жестокости и насилия.

Горькая и печальная иллюзия — полагать, что средства безразличны к цели. Применяемые *средства*, характер их применения с необходимостью определят содержание *результата* вашей деятельности. Порочные, антигуманные средства не могут обеспечить гуманистический результат. И потому, если вы, в качестве правителей, пришли к выводу, что из этого, «порочного», мира в мир «совершенный» можно и нужно шагать, только обагряя

руки человеческой кровью, и гнать туда людей, выстраивая их в послушные и строгие солдатские шеренги,—значит, либо вы сформировали превратные представления об «идеале» (коли движение к нему требует безнравственных средств), либо неверно определили пути движения к нему.

И что же у Платона—Идеал плох, утопичен или средства осуществления его ошибочны?

Об этом должен быть сложный, неоднозначный и подробный разговор. Пока ограничимся несколькими замечаниями общего порядка.

Опыт веков подтверждает: принципиальные, существенные черты Идеала определены Платоном верно. Свобода, Равенство, Дружба (Братство)—святы для многих поколений людей. И «Философы у власти»—весьма плодотворная и вполне реалистическая идея, и «Стражи-альтруисты»—не такая уж абсолютно невозможная вещь.

Но это все же лишь некий крайне общий абрис Идеала, лишь *приблизительный* его портрет. И «природа человека», и его «назначение»—все это не более, чем гипотезы, более или менее вероятные догадки. Обрисованная Платоном Истина всё же не ***Абсолютна***. Она—***Относительна***. И стало быть, обращаться с ней и надо как с истиной относительной, не во всех отношениях проясненной и достоверной. И, следовательно, «вести» к ней общество нужно в высшей степени осторожно и постепенно, с постоянной оглядкой на результат тех или иных шагов—не ломая «через колено», не размахивая кандалами и топорами. И в ходе этого осторожно-постепенного движения—уточнять, углублять и конкретизировать свои представления о совершенном обществе, об идеале, о цели, к которой мы движемся.

Платон же принял свою схему Идеального Государства за *достигнутую, абсолютную* истину, которую не «уточнять» надо, а—реализовывать, и побыстрее. А чего тянуть с установлением божественного царства на земле? Тут все средства хороши. Тут—«за ценой не постоим» Для достижения этого ничего не жалко и всё оправданно. Пусть—кровь, пусть—несвобода, пусть—кандалы, зато потом—вечная стабильность, благополучие, счастье и блаженство.

Очень опасный стиль мышления, опробованный человечеством после Платона не однажды и давший чудовищные антигуманные результаты.

Ну и масса других вопросов.

Как, например, Философы смогут оказаться «у власти»? Кто их туда за ручку приведет? Сами себя предложат, а другие все согласятся: «правьте нами, милые, сколько вашей душе угодно»? Платон предложил себя тирану Дионисию. Итог (печальный) известен. Но тогда—как? В общем, хорошая идея—без перспективы воплощения, по крайней мере, в тех условиях, в которых живет человечество в последние тысячелетия.

И кто Стражей ограничит, кто окоротит их эгоистические устремления? Ведь вся власть, все средства насилия и пропаганды—у них. Что способно удержать их от использования этих средств в корыстных целях? На что надежда, дорогой Платон? На твои жестокие законы? А не думаешь ли ты, что жестокость-то их они не против своих собратий по управленческому цеху напра-

вят, а против Сократов и таких, как ты, мой дорогой Платон? И будет, в итоге, править тиран (типа Дионисия), которого, конечно же, будут славить как «философа у власти» (ну как же, у самого Платона уроки брал!), и коварно-жестокие «стражи» принудят тебя (вместе с Сократом и Аристотелем) выпить смертоносную цикуту, а «свободные работники» окажутся просто рабами у этих «хозяев жизни», а твоя хваленая «общественная собственность» превратится просто в «коллективную собственность» власть имущего сословия.

Ох, как осторожно следует оперировать и с «целями» («идеальными») и со «средствами», к ним ведущими. И первым, кто выявил эту сложность отношений Целей и Средств и попытался преодолеть парадоксальное противоречие твоей Платон, теории, был твой любимый ученик — **Аристотель**.

Рассказывая об этом, я мог бы подробно и обильно цитировать его «Политику». Но это — для другого типа сочинения. Здесь же я буду следовать тому приему, к которому прибегал уже не раз при изложении мыслей Сократа и Платона, — описывать (на основе имеющихся исторических текстов) ***внутреннюю*** работу их мысли, принимавшую у меня форму «писем Сократа», «внутренних монологов Платона». Что же касается Аристотеля — пусть это будут, скажем, его «дневниковые записи».

Из дневника Аристотеля
«Платон мне друг, но истина дороже»

Они делают все, чтобы поссорить нас с Платоном, чтобы отделить меня от него. Ну, как же, они — верные и преданные его Ученики, знают наизусть все его сочинения, повторяют их слово в слово, добавляя свои, робкие комментарии, пишут различные эссе, разводя своими слюнями платоновы идеи, именуют все это «Платоновой Школой» и передают эти премудрости юношам, приходящим в основанную Им Академию. После Его смерти они понаставят Его мраморные изображения на всех аллеях Академского сада, займут в Академии все руководящие должности и под сенью Его изваяний будут кичиться близостью с ним, будут слыть «верными учениками» обожествленного ими Мудреца.

А я, вот, — вроде «предателя», «изменника»: не встаю на колени перед Кумиром, пытаюсь даже в чем-то не соглашаться с ним, а то и иронизировать над некоторыми его «откровениями». Вон — меня из Академии! Тут место только для полностью «правоверных».

Заполняют сплетнями историю наших с Платоном отношений. Из уст в уста передают, например, как неуважительно и даже пренебрежительно относился я к стареющему Гению. «Вы знаете, — сообщают они своим ученикам, — Аристотель имел бесстыдство во время отъездов Платона ходить с учениками Академии по тем аллеям, по которым обычно ходил Платон, останавливаться и беседовать в портиках, предназначенных только для бесед Платона. А когда наш великий Учитель возвратился, то потерявший стыд и

совесть Аристотель чуть ли не силой пытался не пустить Платона на «захваченные» им, в отсутствие Учителя, территории».

Боги! Оградите меня от этих сплетников, мелочных и завистливых. Неужели не могли придумать что-нибудь посерьезней того, что я имел «наглость» беседовать с учениками там, где обычно беседовал Платон? Как это для них важно — **где** я беседовал, их мало интересует — **о чем**. Да я вообще не думал о том, **где** я беседую: где были свободны аллеи, там я и бродил со своими учениками, где были свободны портики, там я и останавливался. Я только от них, от этих сплетников, и узнал, что это, оказывается, «дорожки Платона» и что ступать на них простому смертному — грех великий.

И помню привели вернувшегося из поездки Платона на мою беседу с учениками в тот самый «священный портик», напев ему, что это я неспроста делаю, что это — намеренная и вызывающая демонстрация, что тем самым я себя ставлю на место Платона... И когда это воинственное окружение Платона потребовало от меня удалиться из этого портика, я резко и холодно заявил, чтобы это *они* все удалились и не прерывали мои занятия: время философских бесед — святое время, не для суеты мирской, не для вмешательства административных окриков и приказов. Вот и вся моя «наглость».

Или вот знаменитая байка, что я как-то одеваюсь иначе, чем они. Ну, как же, Аристотель только и думает о том, как бы выделиться — плащ какой-то особо изящный носил, обувь модную, за внешним видом своим с какой-то особенной тщательностью следил. Ну, вот такой человек легкомысленный!

Они вот об одеяниях своих, о внешности своей и думать не думали, они вот надевали что ни попадя — попроще и посуровей, ибо их все мысли, все их время посвящалось исключительно «Высокому» — изучению Слов и Мыслей Великого Учителя — тут не до одежды.

А почему, собственно? Почему я перед слушателями должен обязательно представать в рваном плаще и грязных сандалиях, непричесанным и со спутанной бородой? Почему философствующий учитель должен непременно походить на странствующего Сократа (впрочем, бесконечно любимого и уважаемого мной) или на сурового, ригористичного Платона (тоже — моего учителя и тоже мной обожаемого)? Почему вообще надо кого-то копировать? У меня свой стиль, своя манера. И почему бы философствующим юношам не показать наглядно, что можно быть вполне земным человеком, хорошо физически развитым, красиво одетым и одновременно быть причастным к самому возвышенному и прекрасному Знанию?

И, конечно, — собрали все высказывания Платона, сделанные им в частных (!) беседах, где содержится критика в мой адрес. Вот видите, это не просто *мы* критикуем Аристотеля, это — сам *Великий Учитель*.

Но посмотрим, что это за «критика», что это за высказывания. У «верных и преданных учеников Платона» не достает даже чутья и остроты ума, чтобы увидеть, что не Аристотеля, а их самих побивают реплики Платона.

«Спевсипп — упрям, как осел, его подгонять надо, а Аристотель боек, как жеребенок, его надо удерживать». Не знаю, кому надо больше огорчаться от

этих характеристик — мне или «ослу» Спевсиппу (возглавившему Академию после смерти Платона).

Или: Аристотель подобен жеребенку, который, напившись молока, лягает свою мать. Да, разве это обидно? Да, я просто счастлив услышать, что Платон так обо мне отозвался, — очень точно и в яркой, афористической форме. Этого афоризма я не только не стыжусь, но поставил бы его эпиграфом ко всем моим сочинениям.

Да, я в полной мере вкусил Платонова «молока», я впитал его, я вырос на нем. И признаю это открыто. Платон — мой учитель, мой великий учитель, и более, чем учитель: он — мой друг. Сделанное Платоном, открытое Платоном, все его творчество, вся его жизнь для меня священны. Я считаю его великим человеком. Но — Человеком. Я не леплю из него безгрешного, всеведущего и всепонимающего Бога. Я дал себе право относиться к нему как к Человеку, как к великому Учителю и великому Философу. А это значит, я дал себе право *сомневаться* в некоторых его идеях, критиковать их. Я не падаю перед ним на колени, я *стою* рядом с ним — ибо перед Истиной мы, люди, все равны. Каким бы почитаемым Учителем, каким бы Другом ни был для меня Платон, **Истина** все же будет для меня выше и дороже.

Я могу ошибаться, я могу неверно критиковать Платона, но от *права* на критику я отказаться не могу. Я хочу говорить то, что я хочу, и так, как я хочу.

Да, прав Платон: я «взбрыкивал», я пытался «лягать» моего учителя едва ли не с первых дней знакомства с ним. Иногда — не к месту и невпопад, и мне крепко доставалось от «матери-кобылицы», но тем самым, набивая заслуженные шишки, я учился *самостоятельности*. И Платон вовсе не огорчался моими «взбрыкиваниями», я даже думаю, они нравились ему — ведь это он меня из рядовых слушателей его Академии перевел в сословие *учителей*.

И я, став *учителем*, очень ценил тех учеников, которые «взбрыкивали». Эти «взбрыкивания» не только формировали их самостоятельность, но и побуждали меня самого к поиску более глубоких и убедительных ответов.

А его «верные ученики» Академию из «мыслильни» превратили в «молельню». Расстался я с ними без сожаления. Я хочу, чтобы созданный мной Ликей продолжал идущие от Сократа и Платона традиции именно «мыслильни».

Да, со временем — пока я взрослел, а Платон «божествел» и «мраморнел», у меня появлялось все больше и больше вопросов к моему Учителю. Вопросы перерастали в разномыслие и разногласия. В особенности я стал сомневаться в некоторых аспектах метода Платона, ведшего, как я стал замечать, к замораживанию и окостенению его теории.

Платон хотел начертить вечный, абсолютный Идеал человеческого общества — нечто *стабильное и бессмертное*. Ему казалось, он открыл его и потому имел право с пренебрежением относиться к деятельности реальных людей и реальных обществ. Он начал смотреть на них — с некоего интеллектуального Олимпа, взглядом божества, рассматривающего копошащихся где-то далеко внизу не очень разумных существ, которые стараются там что-то путное для себя построить, но, неразвитые и неумелые, постоянно выстраи-

вают нечто совершенно не пригожее для счастливой и благой жизни. Крутятся, вертятся в «беличьем колесе» чудовищно нелепых и болезненных форм правления, во всех этих «тимократиях», «олигархиях», «демократиях» и «тираниях». Надо поставить крест на этих усилиях — ничего путного из неразумной, суетливой деятельности не выйдет. Надо бы могучей рукой смахнуть напрочь все эти никчемные попытки, расчистить социальное пространство — так, как поступают архитекторы, зодчие, собирающиеся строить новый, великолепный дом. Они сносят все маленькие, подслеповатые и покосившиеся домишки, вывозят на свалку весь мусор и на освобожденной от старья и рухляди, *абсолютно чистой* площадке начинают с самого что ни на есть фундамента возводить свою ослепительную постройку.

Этот платоновский «метод зодчего», применяемый к социальной жизни и общественному развитию, чреват печальными и опасными следствиями.

Общество ведь не просто сумма построек (успешных и не очень), которые можно легко «снести». Общество — это *органическое* тело, это, если угодно, *растение*, живущее по законам бытия, законам Природы. Дело не обстоит так, что одни люди что-то создают, а потом приходят другие и — если у них возникает желание — уничтожают созданное и возводят в соответствии со своим желанием нечто совершенно новое. Общество, повторяю, живущее и растущее органическое тело, подобное растению, дереву и т.п. Не нравится оно вам, — влияйте, воздействуйте на него, улучшая его рост и цветение. И задача общественного преобразователя состоит в том, чтобы найти способ подобного воздействия на это «растение». **«Метод садовника», а не «метод зодчего» должен лежать в основе социально-преобразовательной деятельности.** Надо стремиться не «абсолютно новое» ставить на место полностью уничтоженного «старого». Надо новое **выращивать** из старого.

«Метод зодчего» предполагает **обожествление** преобразователя: он, видите ли, точно знает, **как** надо. Слушайте его и подчиняйтесь. Откажитесь от попыток проявить активность и инициативу.

Такой преобразователь становится Диктатором, Тираном. Он не берет себе в помощь ни Логику Бытия, ни силы реальных людей. Да, может, люди эти не слишком разумны, многого не видят. И уж, наверняка, бесконечно — в глубине и широте видения Бытия — уступают Платону. Но все, что они делают, это не просто *они* действуют, это *ими* действует некая высшая сила, высшая Логика Бытия. Они вынуждены жить по неким Законам, которые ими не познаны, не открыты, но которые *через них* воплощаются в жизнь. Да, вот то же дерево — разве *оно* строит само себя? Да, оно выделяет соки, пьет дождевую воду, падающую на его листья и корни (оно тоже «действует»), но через его «деятельность» осуществляется некая высшая Воля, высший Закон.

«Метод садовника» относится с бóльшим доверием к деятельности тех «копошащихся» «человеческих муравьев». Надо не отбрасывать, не срезать старое, а принять его, понять, уловить его тенденции, способные развить и расцветить его, надо установить факторы, мешающие развитию, — и из *этого* Старого выращивать Новое.

И тогда будет совершенно исключена даже сама возможность отождествления себя с Творцом, с Богом, а своего разума — с Божественным. Тогда будет признано наличие Логики Бытия и несовершенство человеческого (даже самого гениального) разума, который стремится постичь эту Логику и действовать в соответствии с ней. Правда, постичь ее в полной мере ему не под силу. И потому следует идти по жизни очень осторожно — не ломая через колено, не шагая через кровь. В общем, больше доверия реальной жизни!

И — что касается знаменитой платоновой классификации форм правления. Удивительно глубокое постижение реальности — эти описанные им переходы от одной политической системы к другой, это его беспрестанно вращающееся «колесо» государственных форм, эти выявленные им постоянные срывы поначалу успешного развития, срывы — в эгоизм, беспредел насилия, социального застоя и в конце концов — в тиранию одного ли монарха, группы ли олигархов, компании ли тимократов или псевдодемократической черни.

Но почему же надо уничтожить, почему надо разрушить этот тип социального движения, эти ритмы истории? Почему *вместо* них предлагать нечто совершенно, абсолютно новое, кем-то придуманное (даже если этот «кто-то» человек большого ума и великой мудрости)? Ведь, сам же Платон показывает, что каждая часть его исторического «колеса» начинается весьма оптимистично: взрывает прежний тип застоя и дает простор развитию человеческих талантов и возможностей. Значит, не все в этом «колесе» катастрофично, не все достойно гибели и уничтожения. Ну и почему же не удержаться на этих восходящих ветвях общественного развития, подыскав средство против грядущего (и может быть, совсем не обязательного) срыва. Ведь эта «восходящая ветвь» — не придумка человеческая, а момент объективной логики Бытия. В этом ее сила и ее значение. Почему бы не прийти на помощь логике Бытия, не подключить к ней свой разум, свое сознание, почему бы не попытаться устранить факторы, мешающие в полной мере проявиться этой Логике, столь полезной для человеческого сообщества?

Так вот, я думаю, именно так и следует поступать. В этом-то и будет состоять метод «садовника», выращивающего более совершенные растения из тех, «что есть».

Я полагаю, что «колесо» с его постоянными «срывами» — есть констатация той исторической ситуации, когда развитие общества происходит стихийно, без основательного участия в нем человеческого Разума, когда Человеком еще в полной мере не осознаны условия его деятельности и его возможности влиять на эти условия. Когда же приходит это осознание (и мы, думается, в преддверии этого), то появляется возможность разомкнуть это «колесо» и сменить тип развития с «колесно-повторяющегося», «закрытого» на «открытый», «постоянно-возвышающийся».

Еще раз. Никакой *неизбежности* срывов «восходящих ветвей» нет. Никакой *неизбежности* круговоротов режимов не существует. Просто есть нормальные, открытые к развитию, «правильные» формы правления — такие, где находящиеся у власти силы думают об интересах всего общества, об ин-

тересах общественного развития, об общественном Благе (это те, что относятся Платоном к «восходящей» части форм правления). И есть режимы «неправильные» — те, в которых властвующие силы заботятся лишь о своих узкокорпоративных, эгоистических целях. Никакой, повторяю, неизбежности превращения «правильных» режимов в «неправильные» не существует. Задача состоит в том, чтобы обеспечить и защитить «правильность» Правильных форм, создать преграды корысти и эгоцентризму правящих групп.

Исходя из всего этого, я бы внес поправки в Платоновскую классификацию существующих форм правления. У него их четыре: тирания, тимократия, олигархия, демократия. Ну, прежде всего, я бы исключил «тимократию» в качестве особого режима. «Тимократы», люди доблести и чести, свергающие тиранию, не создают особого, специфического, долговременного режима. Это — переходная, кратковременная форма, не имеющая собственного, специфического базиса — ни экономического, ни политического, ни социального. Она выполняет одну-единственную функцию — разрушение старых, окостеневших форм и создание предпосылок для дальнейшего развития, которое может происходить на базе различных структур — и олигархических, и демократических, и тиранических. Тимократы, радикальные преобразователи, выходят на арену общественной жизни не только в период крушения тирании. Они возглавляют и борьбу демократов против регрессирующей олигархии и способствуют установлению демократии. Они — в первых рядах и той «партии сильной руки», которая стремится покончить с анархией разлагающейся демократии. В общем, они играют важную роль на *всех* переходах от одной формы правления к другой в качестве разрушающего закостенелые формы начала. Но никаких, повторяю, особых форм правления тимократия не создает.

Теперь об оставшихся трех формах правления, зафиксированных Платоном — тирании, олигархии, демократии, с их начальными, «восходящими», этапами и заключительными, «нисходящими». Я бы не объединял эти разные «этапы» в единую форму правления. Наоборот, я бы резко разделил эти «этапы» — я вижу в них не просто «этапы» жизни одного и того же режима, а — *разные формы правления*: «восходящая ветвь» — правильная форма, «нисходящая» — неправильная. И поскольку они столь сильно разнятся, я дал бы им и разные наименования.

И тогда моя классификация будет выглядеть так:

правление	*правильные формы*	*неправильные формы*
одного	монархия	тирания
немногих	аристократия	олигархия
большинства	полития	демократия

Уверен: возможно правильное правление *Одного* («монархия»!) — правление, пекущееся об *общественном* благе. Разве Перикл не был, по сути, *таким* «монархом»? И совсем не обязательно вырождение этой формы в тиранию.

И *немногие* правители могут быть вполне благородными людьми. Разве не были благородны Аристид, Мильтиад, Фемистокл и их сотоварищи, отста-

ивавшие свободу афинян в борьбе с агрессивными персами, заботившиеся о развитии флота, торговли, о благополучии своих соотечественников? И совсем не обязательно их перерождение в каких-то думающих лишь о своей личной наживе «олигархов».

И тем более Полития, направляемое твердыми и разумными законами правление *Большинства*, совсем не обязательно должно завершиться анархическим господством черни («демократией»).

Я не возьмусь расписывать всю систему мер, способных оберечь «правильные» формы правления от их деградации, это вопросы конкретики: в каждом государстве, в каждую эпоху понадобятся свои, особенные меры.

Выскажу только общий принцип. Я за то, чтобы стремиться к созданию неких *смешанных* форм правления, вбирая в них лучшее из всех «правильных» режимов. И дело здесь даже не в отдельных «лучших» чертах (взятых самими по себе), а в том, что соединяемые в единство разные формы правления способны смягчить, уравновесить, ограничить негативные стороны друг друга. Такая *смешанность* — есть условие *гибкости* политических систем, что, в свою очередь, есть непременное условие их стабильности и устойчивости (между прочим, именно к этому и стремится Платон, предлагая, однако, несовершенные способы достижения этой цели).

«Что же это за «смесь» получится? — спросят меня. — Как же это можно соединить монархию, аристократию и политию? Как это возможно, чтобы государственные системы были одновременно правлениями и «одного», и «немногих», и «большинства»?»

«Да очень просто, — отвечу я. — Нужно обеспечить участие «большинства» во всех сферах общественной жизни: выборы, народные собрания, народные вооруженные отряды, народные суды и т.п., дать возможность «лучшим» («аристократам»), т.е. наиболее профессионально подготовленным, дальновидным и талантливым людям руководить, дирижировать общественным процессом (предоставив «большинству» право выбора этих «немногих», право контроля за ними). И, наконец, почему бы какому-то высшему должностному лицу («монарху») не вручить право гарантировать исполнение законов, быть судьей в случае возникновения конфликтов между «большинством» и «немногими». Жесткая «монархическая» вертикаль обеспечит диктатуру закона, «аристократическая» исполнительная власть способна пресечь возможные поползновения монархического двора выйти за пределы закона в пространство самодержавной власти, а вместе они — высший правитель и аристократическое правительство — будут надежным барьером против возможной разнузданности «черни», понимающей «демократию» как произвол и вседозволенность. Наконец, народ, граждане, «большинство» в принципе обладают достаточной силой, чтобы пресечь возможный произвол с другой стороны — со стороны монарха и аристократического правительства.

В общем, такое вот рассредоточение и одновременно сопряжение разных форм властвования способны придать общественной системе и *гибкость*, и основанную на гибкости *стабильность*.

Платону не нравится практически все, что есть в общественной жизни. Ему реальная действительность представляется тяжелым заболеванием, в которое впало человечество, не узнавшее своего «назначения» и своих «задач» в большом мире Бытия. Только он, Платон, наконец, их познал, и теперь на место «ложной» реальности надо поставить «истинную».

И прежде всего следует, по его мнению, из жизни свободных граждан устранить *частную собственность*, этот источник себялюбия и эгоизма, порождающий в среде граждан общественное неравенство, конфликт «богатства» и «бедности», разрушающий единство полисной жизни и втаскивающий государство в пространство нестабильности и упадка.

И снова (да простит мне Платон!) — химера. Да, частная собственность заключает в себе много возможных бед. Да, она является источником многих тяжелых (а иногда и смертельных) болезней. Но жизнь, реальная, живая жизнь так устроена, что, как правило, одно и то же явление может оборачиваться и бедой, и удачей; в нем скрыто и то, и другое. И частная собственность не исключение. Да, она может быть источником больших бед, и на многие из них Платон справедливо указывает. Но она же — и условие больших достижений людей, ибо она — источник необыкновенной энергии и мощного стимула для человеческой деятельности. Кто хочет подробностей на сей счет — пусть заглянет в «Книгу вторую» моей «Политики». «К тому, что составляет предмет владения очень большого числа людей, — написал я там, — прилагается наименьшая забота. Люди заботятся всего более о том, что принадлежит *лично* им; менее заботятся они о том, что является *общим*... Трудно выразить словами, сколько наслаждения в сознании того, что нечто принадлежит тебе, ведь свойственное каждому чувство любви к самому себе не случайно, но внедрено в нас самой природой... Очевидно, **лучше, чтобы собственность была частной**... Справедливость требует указать не только на то, какие отрицательные стороны исчезнут, если собственность будет общей, но и на то, какие положительные свойства будут при этом уничтожены; на наш взгляд, само существование окажется совершенно невозможным»[1]. В общем, уничтожив частную собственность, вы, вместе с заключенными в ней бедами уничтожите и заключенный в ней импульс общественного развития и развития личности. Это — избавляться от больного зуба путем отрубания головы.

Нет, надо быть не корчевателем всего и вся из-за недостаточного совершенства существующего, а — именно «садовником», умеющим очистить и сохранить все ценное, что рождено в этом мире. Надо не уничтожать частную собственность, а парализовать (или хотя бы ослабить) ее слабые стороны, ее негативные для общества и его граждан следствия. И одно из направлений такого воздействия на систему частной собственности — ее сопряжение с системой общественной собственности. Нужно, чтобы эти две формы ограничивали и дополняли друг друга. И обо всем об этом я тоже написал в «Полити-

[1] Аристотель. Политика, 126 1в, 126 3а, 126 3в.

ке». «Как она (собственность),—ставлю я там вопрос,—должна быть организована у тех, кто стремится иметь наилучшее государственное устройство,—должна ли собственность быть общей или не общей?»[1]. И—мой принципиальный ответ: «Немалые преимущества имеет… способ пользования собственностью, освященный обычаями и упорядоченный правильными законами»,—тот, который «совмещает в себе хорошие стороны обоих способов, которые я имею в виду, именно общей собственности и собственности частной»[2].

Да и «равенство» у Платона имеет какой-то очень узкий смысл. И он в это узкое пространство «равенства» пытается загнать все богатство и разнообразие общественной жизни. Меж тем как понятие «равенство» имеет десятки, даже сотни аспектов и значений.

Вообще, все элементы Идеальной Платоновой конструкции претендуют на то, чтобы быть вечными, неизменными, «окончательными». Ее создатель полагает, что такая «законченность», «абсолютность» элементов придает «абсолютность», «вечность» и стабильность их совокупности—Общественному Идеалу. Я же полагаю, что стабильность, «идеальность» общественной системы должна состоять в другом—в ее гибкости, в ее готовности и способности к постоянным *изменениям*. **Платон отождествляет стабильность и окаменелость, стабильность и неизменяемость, стабильность и абсолютный покой. Я же связываю стабильность с постоянной, ни на минуту не прекращающейся изменчивостью.**

Вот именно здесь я особенно капитально расхожусь с моим Учителем.

И образ моего «Идеального общества»—это не конструкция «на все времена» (открытая мудрым философом), а—живая, постоянно изменяющаяся социальная система, быстро и умело реагирующая на все изменения, происходящие в мире, обществе и человеческих головах. Мой Идеал—не «состояние» (раз и навсегда достигнутое), а—никогда не прекращающееся **движение**. Мой идеал—постоянно меняющийся вектор исторического движения, указывающий людям направление конструктивной и эффективной деятельности на Благо общества и каждого из его членов.

Платон, конечно, материал для своего Идеального построения черпает из жизни. Но вычерпанный, «вынутый» из жизни, этот материал теряет свою жизненаполненность. Он превращается в *мертвые* кирпичики, которые утрачивают специфическую, присущую только им жизненную логику, и становятся неодушевленными элементами искусственно возводимой конструкции. И потому конструкция эта получается хотя и возвышенной, красивой, но … *не живой,* не действующей. Получается не жизненным, а бумажным Идеалом. А реально существующее, живое (а не искусственное) общество, естественно будет сопротивляться попыткам загнать его в эти холодные и мертвые дома

[1] Там же, 126 3а.
[2] Там же.

Идеала. И тогда-то и возникает с неизбежностью мысль о том, что загнать его туда можно только силой, только с помощью принуждения и насилия.

И, наверняка, вдохновленные возвышенностью, изяществом и красотой проектов (подобных Платоновскому) такие попытки в истории будут предприниматься. Много в ходе этих попыток будет пролито крови и покалечено человеческих судеб. Может, где-то кому-то и удастся на какое-то время загнать людей в эти химерические конструкции. Но уверен, ненадолго. Жизнь возьмет свое, люди вернуться в реальную, живую жизнь, а «загонялы» эти будут прокляты ими.

Оговорюсь: под «загонялами» я, впрочем, не собственно Платона имею в виду. Убежден: столкнись Платон, в качестве руководителя Преобразований, на практике с этими проблемами, — он не ломал бы через колено, не превращал бы в трупы несогласных и непокорных людей. Увидав, чем на практике оборачивается его теория, он остановился бы и попытался схватить за руки своих не ведающих сомнений и колебаний «верных учеников» и «последователей». Он остановился бы и воскликнул: мы не так пошли, мы не туда зашли; надо **изменить всю точку зрения на предложенный мной Идеал**. Впрочем, подозреваю, что мощно разогнанное исходной теорией действие не позволило бы Платону остановить его и повернуть в другую сторону. Его «твердые» и «безупречно последовательные», выпестованные им ученики не дали бы ему «расслабиться», не оставили бы никаких шансов на пересмотр теории и изменение практики. Более того, подозреваю, они нашли бы способ избавиться от своего «постаревшего» (и «устаревшего»), «отставшего от жизни» или «заболевшего» Учителя. А, избавившись, поклялись бы на его могиле — «довести до конца» Дело, начатое Великим Учителем: «Уходя от нас, Платон завещал... Клянемся тебе, дорогой Учитель, что мы с беспощадной последовательностью выполним начертанные Тобой задачи...»

Я предвижу такую возможность. Поэтому я так энергично возражаю против тех идей моего Учителя, которые, при реализации (тем более «последовательной» и «беспощадной»), способны привести к чудовищным результатам...

Платон мне друг! Но Истина — намного, **неизмеримо** дороже!

Авторский комментарий

Эти «Заметки» Аристотеля требуют комментария.

Во-первых, о методе. Это — в самую точку. Тут **главная причина всех платоновских бед** (хотя, нельзя не заметить, — и побед тоже!). Но сейчас — о «бедах».

В методе этом — **завышенная оценка познавательных возможностей человека**. И это, между прочим, черта, свойственная абсолютному большинству гениев в истории человечества, в том числе таким супергениям, как Платон, Гегель и Маркс. Они знали, что они — Гении, и не ошибались в этом. Они проникали в суть вещей с такой глубиной и основательностью, которые были недоступны, кроме них, никому. Они демонстрировали тот Максимум,

которого в познании мог достичь человек. Но эта их интеллектуальная мощь, эта их гениальность оборачивалась подчас их слабостью.

Им казалось, что они ухватили **абсолютную** истину, достигли **абсолютного** знания и о Мире, и о назначении Человека в нем. (При их невероятном для простого смертного дальновидении нетрудно было впасть в подобную иллюзию!). Они почувствовали себя уже не просто людьми, но почти Богами, Демиургами. И попытались обращаться с действительностью, подобно Богам: выстраивать и перестраивать ее в соответствии со своими представлениями (которые приняли за абсолютную и непогрешимую истину). Они спускались в человеческий мир с горних вершин своего Олимпийского Знания, они шли к людям, как к существам недостаточно разумным и развитым, они несли им свет сознания, они «вносили» это сознание в человеческие головы.

Их (вполне понятное и вполне простительное) заблуждение (относительно **абсолютности** своего знания) обнаружил не я и не кто-то из мне подобных, а существо, несравненно более высокого порядка, нежели совокупность сколь угодно ученых людей. Имя этому существу — История.

История, с одной стороны, подтвердила их гениальность, а с другой — посрамила их (скрытые или явные) претензии на Божественность. Да, они, в общем-то, поняли ее логику, и она, в общем и целом, в свою очередь, текла в описанном ими русле. Но потом вдруг сбивалась с прочерченных ими прямых линий, уклонялась влево-вправо, двигалась зигзагами — то замедляя ход и почти останавливаясь, то вдруг несясь с головокружительной быстротой, руша все вешки их прогнозов и предсказаний.

Из названной когорты сверхгениев, пожалуй, только Маркс отдавал должное непредсказуемой силе Бытия. Это ведь он любил повторять гётевское: «Теория, мой друг, сера, но вечно зелено древо жизни». Это он однажды заметил, что «один шаг *практического* движения важнее дюжины программ». Это он иронизировал над Гегелевской претензией на *абсолютность* его философских идей. Да, Маркс в принципе понимал ограниченность всякого, самого богатого, теоретического знания. Но, создавая конкретные программы преобразований, разрабатывая проекты революционных изменений мира, он как бы «забывал» об этом и выступал в них тоже практически непогрешимым Пророком. А уж его гораздо менее одаренные последователи доводили эту (переходившую некую меру) уверенность гения до абсурда. Иосиф Джугашвили — наиболее яркий пример ограниченности, претендующей на Божественность. Не может быть большей беды для людей, чем попасть в ситуацию, когда ими правит, обладая всей мощью госаппарата, такая вот претендующая на божественность ограниченность.

Платон — не Джугашвили. Платон — философский гений, Джугашвили, ограничивший свой «вклад» в философию несколькими идиотскими страницами о «трех чертах диамата» и «четырех чертах истмата», — философское ничтожество. Но есть элементы метода, свойственные им обоим. Платон допустил теоретическую оплошность, доведенную Джугашвили до неслыханного исторического Злодейства...

Ну да, Платон, я понимаю Твои мотивы. Они высоки и прекрасны: равенство и свобода. Ты хочешь дать гражданам *равное* образование и воспитание. Ты хочешь, чтобы они полюбили то, что любишь Ты, умный, развитый, духовно тонкий, в высшей степени культурный и нравственный человек. Но, дорогой Платон, кто сказал, что, к примеру, Твой художественный вкус — это абсолютный эталон, которому все должны следовать? Почему мы все должны любить милую твоей душе маршевую оптимистическую музыку? А почему не «разрешить» людям любить и что-нибудь иное, например, музыку любовно-лирическую или светло-грустной печали? Ну, какой вред от этого обществу будет? Ты хочешь реальный («Божественный») мир втиснуть в свое — пусть широкое — но *человеческое* русло. Ты не можешь предположить, что, жестоко расправляясь с уклоняющимися от Твоей колеи, ты, не исключено, будешь уничтожать не только действительные сорняки, но и вполне «культурные» растения, которые порождены многообразием жизни и которые Ты не распознал? Почему Ты так самоуверен, так убежден в своей непогрешимости? Да, Твои идеи, Твои мысли выводят людей Твоего времени на новый, более высокий уровень понимания Бытия, они, с Твоей помощью, преодолевают ограниченности, создаваемые предшествующей эпохой. Но Ты тут же вводишь *свои*, новые, ограничения, ты всюду расставляешь *свои* «флажки», за которые никто не смей сунуться.

Ты хочешь остановить движение, «закрыть» систему, «застолбить» на века предложенный тобой Идеал. И Ты полагаешь, возможно это — *осуществленный* Идеал? Я думаю, прав Аристотель: «осуществленный», «достигнутый» Идеал непременно становится Идолом, «Идолищем поганым». Идеал, на самом деле, — не результат, не цель достигнутая, а — Дорога, ведущая в бесконечность. Идеал — не состояние, а, так сказать, — мотив деятельности. Вообще Идеал — не состояние, а движение. И задача, следовательно, состоит в *создании условий для такого движения*, для такого развития. Идеал — это *саморазвивающаяся* и *самоизменяющаяся* система. Все другое — Идолы.

И черты «идольства», выдаваемые Тобой за черты Идеала, ясно просматриваются в системе конкретных мер, Тобой предлагаемых.

Лишь один, но очень значимый, пример, который, кстати, разобрал Аристотель (разобрал интересно, тонко, во многом справедливо, но... несколько односторонне, и потому возникает необходимость к этому примеру вернуться).

Твоя идея «общей собственности». Великая, в общем-то, идея (Аристотель не оценил ее с этой, великой, стороны!). Поразительно, как ты в IV веке до нашей эры (!) нащупал, угадал одно из магистральных направлений развития системы собственности — эту всемирно-историческую тенденцию движения собственности от «частных» форм к корпоративным, коллективным, общественным. Эта идея впоследствии не только легла в основу одной из великих идеологий — Социализма, но и стала важнейшей для многих либеральных концепций двадцатого столетия.

Ты угадал Логику всемирно-исторического процесса Обобществления человеческой деятельности.

Но ...

1. Ты *обожествил, абсолютизировал, догматизировал* эту идею. И уже Твой ученик Аристотель указал на этот ее порок;

2. Ты оказался не вполне прав и с конкретно-исторической точки зрения. И снова — прав Аристотель: частная собственность, при всех своих минусах, обладала в твои времена (и, добавлю, обладает до сих пор, то есть и в XXI веке н.э.!) громадным историческим и экономическим импульсом.

Да, Ты ухватил тенденцию, но не учел, что пространство ее реализации — тысячелетия. Ты разглядел дальнюю (сверхдальнюю!) цель. Но тебе показалось, что она может быть реализована усилием воли — с сегодня на завтра. Ты задумал сжать историю. Ты в своей теории не предусмотрел исторического пространства для *вызревания* этой идеи. Ты поставил на место истории человеческую *волю*. Увы, по этому пути и пошли диктаторы XX столетия.

Но, отдавая должное Аристотелю, хочу сказать, что я отнюдь не целиком на его стороне в споре с Тобой. Я даже думаю, ты, Платон, в определенном отношении видел дальше и глубже его.

Аристотель в политике — прагматик и реалист. Он ясно и глубоко видит сиюминутные, конкретные тенденции. Но он, по сравнению с Тобой, слишком приземлен. Маяки истории (сверхдальние дали исторического движения) ему неведомы.

Я прошу вас: *Там*, в том мире, где, как я думаю, никогда не заходит солнце, отыщите друг друга и не спеша обо всем договоритесь. Дополните друг друга. Пусть Аристотель расскажет Тебе о логике сиюминутности — о роли частной собственности, невероятном многообразии форм «равенства», о многоразличных ипостасях «свободы». И я прошу тебя: **согласись** с ним. Тут он прав. И это не я, это протекшая после Тебя История доказала. Умноравный Тебе Маркс — две с лишним тысячи лет спустя — подвел итог вашему спору.

Во-первых, — о громадной, «революционной» роли, которую сыграл в истории класс, носитель современной, т.е. наиболее развитой частной собственности, — класс буржуазии: «Буржуазия, — пишет Маркс (вместе со своим соратником Энгельсом) в “Манифесте коммунистической партии”, — менее чем за сто лет своего классового господства создала более многочисленные и более грандиозные производительные силы, чем все предшествовавшие поколения, вместе взятые». И авторы «Манифеста» не скупятся при перечислении достижений системы частной собственности: «покорение сил природы, машинное производство, применение химии в промышленности и земледелии, пароходство, железные дороги, электрический телеграф, освоение для земледелия целых частей света, приспособление рек для судоходства...». Так что прав был Аристотель, писавший о мощных источниках общественной энергии, таящихся в лоне частной собственности. Но прав — *частично*. Другая часть правды состоит в том, что названные достижения присущи системе частной собственности только на *определенном* этапе развития человеческого общества, только при определенном уровне имеющихся

в обществе производительных сил. Нельзя «превращать свои производственные отношения и отношения собственности из отношений *исторических, преходящих* (курсив мой — *Г.В.*) в процессе развития производства, в *вечные* законы природы и разума». *Историзма* в понимании прогрессивной роли частной собственности и недостает Аристотелю. Он не смог разглядеть, как, в ходе исторического развития, будут нарастать негативные последствия частной собственности и как, в силу этого, она будет тесниться коллективными, общественными, государственными формами собственности. И это зафиксирует не только социалист Маркс, но и целая плеяда либеральных мыслителей XX столетия: Дж. Гэлбрейт, Кейнс, Д. Белл, Шумпетер, Дж. Ролз, И. Берлин, Р. Дворкин. И это — в русле Твоих идей, дорогой Платон.

Так вот, при встрече Там с Аристотелем поведай ему с основательностью и логикой — как только Ты и умеешь — об этих *дальнейших тенденциях*, заложенных в самой логике развития частной собственности. Скажи ему, чтобы и он, со своей стороны, не слишком увлекался — не слишком абсолютизировал, не слишком обожествлял ту самую частную собственность (верни ему те упреки, что он — совершенно, впрочем, справедливо — делал Тебе!). Объясни ему, что перерастет она свои возможности, и сошлись при этом на указанных выше мыслителей и на опыт мирового развития XX века (вы же Там легко можете путешествовать по временам и пространствам!)...

И все-таки прав Рафаэль — поставивший их на своей знаменитой картине **рядом**. Плечом к плечу, рука к руке нисходят они с небес к людям. Они несут **совместно** открытую истину, взаимообогащая и взаимодополняя друг друга, — «Тимей» в руках у Платона и «Никомахова этика» — у Аристотеля. Разница — в их жесте: Платон указывает на небо, Аристотель — на землю. Платон с Аристотелем — это и есть соединение небесного с земным, божественного с человеческим, идеализма с прагматизмом. Им «не жить друг без друга» — как Небу без Земли и Земле без Неба. «Человеческое», не соединенное с «божественным», становится приземленно-мелким, эгоистически-ничтожным. «Божественное», не воплощенное в практических делах человека, остается бесплодной и туманной премудростью.

Прагматик, «реалист», живущий ближайшим днем и не заглядывающий «за горизонт», в дальние дали, рискует затеряться среди переплетений и сумбура бесконечного множества разнонаправленных дорог и дорожек и потерять ту магистраль, которая обозначает главное направление общественного развития. «Близоруким» трудно ориентироваться на распахнутых пространствах истории. С другой стороны, «дальнозоркий» мудрец, хорошо различающий указатели «за горизонтом», ориентирующийся не на мелкие приметы окружающей природы, а не менее, чем «по звездам», — может, подобно Фалесу (с его постоянно обращенным в небеса взором), рухнуть в попавшуюся ему на земной тропинке выгребную яму.

«Близорукие» и «дальнозоркие» по дорогам истории обязательно должны идти рядом, плечо к плечу, рука к руке — как Аристотель и Платон на картине Рафаэля.

«Платония» — юношеская Академия России
(или: Зачем мне это все?)

«Платония» — так мы совместно с ребятами назвали нашу юношескую Академию. Она действует в рамках Ассоциации «Школа Демократической культуры». Позвольте, прежде чем рассказать о «Платонии», дать вам краткую официальную справку об этой замечательной Ассоциации.

Ассоциация «Школа демоктратической культуры»

Основана в 1991 году (зарегистрирована Министерством юстиции, № 1312, 29 октября 1992 г.). Действует в 41-м регионе России (Якутск, Тюмень, Омск, Томск, Новосибирск, Кемерово, Ижевск, Сыктывкар, Челябинск, Екатеринбург, Уфа, Самара, Липецк, Воронеж, Рязань, Калуга, Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Краснодар и др.). Объединяет: старшеклассников государственных и частных школ, лицеев, гимназий, клубов, стремящихся к углубленному изучению политологии, экономических дисциплин, истории, правовой науки — в контексте с другими гуманитарными и естественными дисциплинами; педагогов вышеуказанных учебных заведений; студентов — выпускников Ассоциации, а также всех, кто желает с нею сотрудничать; ученых — в первую очередь, специалистов в области педагогики, политологии, экономики, истории, права. Главная цель: формирование людей высокого профессионализма и общественного долга — людей, обладающих демократической культурой, способных принять квалифицированное участие в становлении и деятельности демократической политической системы в России.

Зачем мне все это?

В популярном столичном журнале появилась статья об одном из мероприятий Всероссийской ассоциации «Школа Демократической культуры», президентом коей я имею честь являться. Автор статьи — мой давний друг: вместе учились в университете, да и потом судьба не раз соединяла нас в стремлении поспоспешествовать демократическим преобразованиям в тех или других областях жизни нашего отечественного общежития. Об Ассоциации и Академии «Платония» он был наслышан от меня — загорелся и вот приехал в Туапсе, в лагерь «Орленок», посмотреть на всё своими глазами. Он был очарован (его слова!) той атмосферой, что сложилась в нашем детско-взрослом коллективе, сам — с былой студенческой пылкостью, забыв про свои корреспондентско-наблюдательные функции, — лез во все дискуссии, что вели педагоги и дети, торжествуя, когда побеждала его точка зрения, и страшно огорчаясь, когда побеждала другая. И написал обо всем этом — с присущей ему эмоциональностью и мастерством — в своем журнале.

А когда мы как-то сидели у него в кабинете и, не спеша потягивая кофе, говорили «за жизнь», он вдруг спросил: «Послушай, ваша ассоциация, ваша

«Платония» — вещи прекрасные, но зачем **тебе** все это? Ты профессор, даже академик,, читаешь курсы лекций в разных там университетах, ты — политический писатель, выпустивший уже не одну книгу и десятки, а может, и сотни статей, ты — политик, в недавнем — член руководства и главный теоретик одной из известных партий. Зачем тебе эта “Ассоциация”?» Я отшутился в ответ, а придя домой, взял ручку, несколько листков чистой бумаги — и начал писать. Потому что я и сам себе частенько задавал этот вопрос: «Зачем мне все это?» И вот захотелось уяснить — и для него, и для себя.

А когда я прочитал написанное заместителю главного редактора нашего журнала Андрею Ермонскому, тот сказал: «А ты знаешь, мне кажется, письмо твое имеет и общественный интерес — и тем более в период нынешней избирательной круговерти. Я бы даже сделал его «камертоном номера» и дал бы подзаголовок: «Письмо моему другу и самому себе». Я доверился редакторскому чутью и политической интуиции своего коллеги...

* * *

Если говорить о моих побудительных мотивах работы в ассоциации, то их много. Они — разные: что-то здесь, наверное, из области утопических мечтаний, что-то вполне реальная вещь, реальная уже сегодня.

Да вот мелочь вроде бы. Когда известный тебе баскетболист, футболист, оратор из «Керкиры», мужественный — настоящий маленький Жан Габэн — 15-летний Андрюша при расставании с друзьями уходит за домик и там трет кулаком глаза, дабы никто не увидел его слез, — одного этого (клянусь!) для меня достаточно, чтобы крутиться в этой ассоциации. (Тем более не он один тер кулаками глаза!).

Или профессор Б.З. Вульфов. Ему уже за 60, педагогическое светило! — и вот: «Эх, поздновато, эх, лет хотя бы десять тому назад выйти бы на таких ребятишек, на такое вот общение... Странно, но после общения с этими ребятами, с их педагогами у меня возникло какое-то особо острое ощущение — как бы это выразить? — небессмысленности своей деятельности». И дети обожают этого полного, медлительного, негромко — но всегда в абсолютной тишине и всегда мудро — говорящего человека.

Ты видел полотно Рафаэля «Афинская школа»? Поверишь ли, несколько часов (!) стоял около нее в Ватикане (посчастливилось как-то в командировку туда смотаться) — уйти не мог из того мира, что на полотне. Откуда-то сверху, из-под античной арки, в проеме которой сияет ярко-синее небо, идут быстрым легким шагом (видно, как развеваются их одежды!) старец Платон и молодой красавец Аристотель. Они поглощены спором друг с другом — о чем-то очень существенном и сокровенном. Платон показывает вверх, на небо, Аристотель — на землю. (Где главное обиталище истины? И что вообще есть истина?..) И как прекрасно сосредоточены лица идущих рядом с ними, вслушивающихся в диалог двух мудрецов. А слева, справа — на ступенях широкой беломраморной лестницы, у парапетов, в беседках — юноши, девушки, молодые и пожилые люди (всех возрастов!) ведут захватывающие

дискуссии. Одни — чертят геометрические фигуры («Негеометр да не войдет!» — надпись на фронтоне платоновской Академии), другие — возятся с какими-то астрономическими инструментами, третьи — обсуждают философские проблемы, раскрыв том Анаксагора, а кто-то, уединившись в укромном уголке, читает книжку (стихи? Сафо?). А вон — ба! — да, это Рафаэль в своем знаменитом бархатном беретике — пририсовал себя к одной античной компании — так, видно, мил ему был этот мир. Вот и я стоял и стоял у этого полотна, да не стоял, жил там. Вникал в беседу двух моих кумиров (каждый фрагмент сочинений, каждая подробность жизни которых мне известны лучше, чем что бы то ни было в истории; и вот благодаря Рафаэлю — личная встреча). Переходил от одной группы беседующих к другой, я долго-долго силился понять смысл их разговоров, пообжиться там, пообвыкнуть... В общем, ношу этот платоновско-рафаэлевский мир в душе своей. И хотел детишек нынешних к нему приобщить. Все время рассматриваю наше с ними нынешнее общение через призму того мира. **Вот и нашу юношескую Академию (где участники ассоциации ведут научно-исследовательскую работу) мы договорились назвать «Платония».**

И ты знаешь, когда мы в «Орленке», где почти такое же сверкающе-синее небо, как в древних Афинах, сходились с ребятами, педагогами, учеными на дискуссии (да еще в созданных ребятами из простыней белоснежных одеждах, напоминающих греческое одеяние), когда пышно чествовали победителей «Олимпийских игр», когда в «Театре Диониса» разыгрывали сцены из Эсхила, Софокла, Аристофана, — возникало что-то из той прекрасно-возвышенной атмосферы общения, так дивно переданной на рафаэлевской картине.

Гегель называл мир платоновской Академии миром «прекрасной индивидуальности» и «прекрасной коллективности». Вот такой мир, ну хоть некоторое подобие такого мира, хотелось бы создать сегодня.

А на следующий год, после Греции, — Франция. Франция эпохи Великой революции 1789–1794 гг. Еще одна эпоха взлета человеческого духа, эпоха людей-гигантов, эпоха мучительных поисков совершенного устройства человеческого общежития. А через год после этого — Россия. Вот уж там-то мы особенно развернемся. Конечно, и «Греция», и «Франция» — это для нас подходы к России, это — ступени (мировой цивилизации) к ней, это — извлечение уроков истории для нее, это — сопоставления, аналогии с ней. Но тут уже мы выйдем на нее прямо и непосредственно — Россию Карамзина, Пушкина, западников и славянофилов, Чернышевского и Каткова, Мусоргского и Рахманинова, Столыпина и Ленина, Сахарова и Андропова, Горбачева и Ельцина (покопаемся — а что делать? — и в мусорной корзине современных политических страстей!)...

— Но это ведь всего для двухсот человек... — скажешь ты.

— «Всего»? — отвечу я. — Разве 200 — это «всего»? Разве это не «целых» 200?! Да в платоновской Академии-то поменьше было! И к тому же это в «Орленке» — двести, а в липецкой «Чайке» — еще 150 да в Сыктывкаре — еще 200. Да на наши московских сессиях (в январе и мае) каждый раз по полторы сот-

ни — посланцы из 41 региона, где есть наши «опорные точки» — клубы, лицеи, гимназии, школы, отдельные классы. Каждая такая опорная точка — 500–2000 человек.

Так что это уже не горстка энтузиастов. И в связи с этим еще один «побудительный мотив». Не родится ли из нашей Ассоциации, из других нынешних детских объединений новый тип всероссийского общения детей, юношей и девушек. Ведь рассыпались не просто старые организации, рассыпается сам Мир детей; он индивидуализируется, вернее атомизируется. А если человек перестает быть «**общественным** животным» (Аристотель), он становится просто животным.

И еще. Рухнул старый мир не только детских организаций, но и старый мир школьного образования. Педагоги, в особенности историки, обществоведы, литераторы, просто не знают, как выкручиваться в нынешней ситуации, как преподавать свои дисциплины: как, например, ребятишкам рассказывать о Николае II, кто он — Николай-кровавый или Николай-святой, а Ленина как трактовать, а Сталина, а семьдесят лет советской власти, а Горбачева с его перестройкой? А науку об обществе — марксизм — вроде бы затолкали сапогами и ботинками, — и что вместо? А что говорить о Горьком, Маяковском? Кто они — большие народные писатели или прислужники антигуманной тоталитарной системы? И т.д. и т.п. — бесконечный ряд вопросов. Конечно, можно было бы посоветовать учителю высказывать по всем этим вопросам свое личное мнение. Но, с одной стороны, попробуй сформулируй его в условиях хлынувшего потока новых, взаимоисключающих, не всегда поддающихся проверке фактов и стихий идеологической митинговщины. А с другой — разве процесс образования должен быть сведен к изложению разных (нередко взаимоисключающих) мнений разных учителей?

Вот мы и пытаемся в рамках ассоциации объединить усилия учителей и ученых по отработке модели школьного преподавания в современных условиях; мечтаем вынести ее потом на всеобщее обсуждение. Так наша ассоциация из детского объединения превращается в детско-взрослое. И наряду с детскими учебными, научными, организационными структурами в ней возникают взрослые: педагогический совет (руководители — проф. О.С. Анисимов, доцент из Иванова Д.И. Полувянный и учитель из Липецка В.В. Кретов), научный совет (профессора В.В. Журавлев, Э.С. Нухович, Л.С. Вартазарова), аспирантская школа (проф. Б.З. Вульфов). Из всего этого и возникает у людей ощущение незаброшенности, непокинутости. Говорят ведь — «на миру и смерть красна». Понимаешь — и смерть! А, стало быть, сколь «красна» «на миру» жизнь?!

Кстати, возможность «смерти»-то сегодня, на миру ли, в одиночку, — тема из актуальнейших. Ты знаешь, какая зарплата у учителя? Где-то — на три-четыре похода в магазин!

Спрашивает Валера Кретов (молодой учитель из Липецка) на встрече наших ребят и педагогов с Р.Г. Абдулатиповым:

— Рамазан Гаджимуратович, вы — профессиональный педагог, почему не повоевали, чтобы увеличить отчисления на среднюю школу? Смотрите,

как лоббируются в Думе интересы Агропрома, Газпрома, ВПК. Педагоги просто в отчаянии, есть идеи создания партии педагогов — для защиты интересов образования.

И что же отвечает Абдулатипов, этот далеко не худший из парламентариев? Вот что:

— Какую еще партию педагогов?! Надо создавать партию производителей материальных благ. Будут материальные блага — будет что распределять, будет что выделять и учителям, и школам. А так все требуют средств. А где их взять?

Да будет Вам, Рамазан Гаджимуратович! На зарплаты-то депутатские (в размере министерских окладов) денежки нашлись сразу же и без проблем, и триллионы — на «ремонты» Дум, Белых домов, Советов Федераций нашлись и на некоторые президентские структуры (помните письмо одного известного генерала премьеру — о выделении 4,5 триллиона рублей), и на бойню в Чечне — нашлись, нашлись триллионные средства. Озолотить учительство (как и врачей, как и работников науки, культуры) сегодня, конечно, не получится. Но не дать им умереть с голоду, не унизить, не раздавить их нищенским подаянием можно уже и сегодня. Только не надо учительству при этом рассчитывать на заботу и добрую волю парламентариев, даже лучших из них. Лишь на себя! Вот и еще один «побудительный мотив»: не сложатся ли в рамках ассоциаций, подобных нашей, низовые объединения учителей, ученых, работников культуры, которые не жалкими просителями будут стоять у парадных подъездов властных структур, но сами смогут послать достаточное количество своих преподавателей в центры власти и действовать там с позиции сильных, а не бомжей, вымаливающих себе лишнюю копеечку?!..

А еще, знаешь от чего хочется уберечь детей? Две телевизионные картинки не идут у меня из головы. Одна: какая-то изрядно располневшая мадам представляет детский «теневой правительственный кабинет». Вот девочка — «премьер-министр», вот мальчики — «министр финансов» и «министр обороны». «Кабинет» этот (под кураторством вышеупомянутой мадам и ее коллег) работает параллельно с правительством Черномырдина. И через несколько дней «дети–министры» вместе с сопровождающими мадамами отправляются на месячишко в Страсбург — знакомиться с работой Европарламента, дабы окончательно утереть нос черномырдинскому кабинету.

И другая картинка. Академик Шаталин и Со в своем фонде готовят «будущих премьеров», министров и т.д. В общем, готовят будущее руководство России. Этакие Аристотели, воспитывающие Александров Македонских. И вот они на презентации — будущие Сосковцы, Заверюхи, Чубайсы, Назарчуки — в черных костюмах с бабочками солидно так что-то потягивают из бокалов (надеюсь, все-таки пепси!).

А сколько детских объединений под названием «Лидер», «Будущее России»! Названия, конечно, дают взрослые, и детишек туда они же затягивают.

Ты знаешь, все эти разговоры о воспитании «лидеров», «будущих руководителей» — не просто безобидная трескотня. Это — калечение детских душ, ре-

бячьей психики и ребячьей нравственности. Это все уже было — все эти инкубаторы, где целенаправленно выращивались румяные вожди. Это все атрибуты не демократического, а бюрократического, тоталитарного государства. Не в 12–15 лет рождаются «лидеры», «руководители» России. «Лидерство» — это не самоназвание, это — общественное признание, приходящее к человеку в процессе долгого и безупречного служения обществу (прости мне, ради бога, некоторую высокопарность, но как-то без нее здесь не обойдешься).

Мы в нашей ассоциации, в нашей «Платонии» не «лидеров» хотим «готовить», не «элиту», противопоставленную детской «массе», детской «норме». Мы хотим, чтобы в процессе нашего общения, нашего совместного с ребятами обучения, нашей совместной с ними деятельности происходило формирование и развитие **личности** (как школьника, так, обрати внимание, и педагога). А из **личностей** потом, на других этапах общественной деятельности и будут выделяться и «лидеры», и «руководители» (но это уже — не предмет наших забот и не сфера наших задач).

И последнее. Ты как-то обмолвился, что вот-де наша жизнь полна коллизий, драматизма, а вот-де в деятельности ассоциации этого драматизма маловато, складывается некая благостная картина.

Честно говоря, с удовольствием обошелся бы без всякого «драматизма». То, что хорошо для журнальной статьи (драматическая направленность делает ее читаемой!), для жизни — не очень.

Но будничных каждодневных коллизий и проблем и у нас достаточно. Посмотри только на темно-синие круги под глазами нашей вице-президентши Тамары Вернигоровой, на ней все эти хлопоты по организации сборов, сессий, добыванию помещений, улаживанию конфликтов и недоразумений. А те идейные схватки у истоков нашей ассоциации, когда решалось, кем мы будем — «кузницей лидеров», как настаивали одни, или сообществом культуры, как хотели другие... И все же это драматизм — умеренный, не-шекспировский, одним словом. Настоящий драматизм знаешь когда начнется? — когда мы и подобные нам, объединившись и укрепившись, станtv реальной общественной, общественно-культурной (а возможно, и общественно-политической) силой. Когда эта сила сможет выдвинуть из своей среды и послать в центры власти людей, способных отстаивать интересы российской Культуры. И вот тогда-то эта массовая низовая демократия столкнется с интересами чиновничьих и мафиозных структур. Я обещаю: вот тут драматизма для твоих статей будет достаточно.

Доживем ли мы, доживет ли наша ассоциация до этого — не знаю, туманна даль истории. Но если сегодня 15-летний Андрей вытирает слезы при расставании с друзьями, профессор Вульфов сожалеет о малом резерве оставшегося у него времени, а педагоги из 41-го региона бомбардируют нас письмами и телефонными звонками: когда следующая сессия? f следующий сбор? — то Дело **уже** сделано. А получится ли из всего этого что-то большее — поживем-увидим. Как говорили древние: делай, что должно, и пусть будет, как будет.

Международный журнал «Megapolis», № 1, 1996 г.

Услышат ли? Поймут ли?

Это я, в который раз в книге, — о молодых людях из поколений, следующих за нами. Я давал им, своим студентам, тексты — свои и своих друзей. Я *не обязывал* их ни читать эти тексты, ни откликаться на них. Это — «вне программы», это — «факультативно», «на добровольных началах»: вот, захотите — почитайте, будет желание — откликнитесь парой слов.

И все же, не без волнения, ждал — прочтут ли, откликнутся ли?

Прочли и откликнулись.

Публикуя отрывки из их откликов, я испытываю некоторую неловкость — отклики эти не лишены комплиментарных фраз в мой адрес. Поначалу я попытался избежать этого неудобства — сняв все упоминания обо мне. Но тогда пропадало содержательно существенное, что высказывали ребята. И тогда я решил — пусть останется всё, как есть; умный — поймет, а мнение других меня не волнует. Ведь все-таки эти отклики не столько **меня**, сколько **их**, моих молодых друзей, характеризуют — **их** отношение к нам, шестидесятникам, и ко мне, как одному из их представителей, близко соприкоснувшемуся с ними.

***Асмик Назарян*. Мы можем и должны «переменить узор ковра»**

Какое непривычное волнение... Пальцы немного дрожат, а глаза с интересом скользят с одной строчки на другую, иногда как бы улыбаясь и говоря: «И мы так думаем», иногда темнея и становясь глубже, будто сопереживая автору... А временами в них вспыхивает яркий, даже угрожающий огонек, не обещающий ничего доброго тому, кто не согласен с ними... Но вот маленькая буря улеглась, и они, полные спокойствия и доброты, снова плывут по строчкам, как по волнам, увлекаемые все дальше и дальше от привычных берегов, в далекие страны, где им открываются новые, неведомые доселе горизонты, где их, наверняка, ждут новые бури и новые победы...

Именно с таким чувством волнения и вместе с тем живейшего интереса читала я статью Г.Г. Водолазова «Ни с теми и ни с другими», посвященную Игорю Александровичу Дедкову. Само название, казалось, выражало какую-то грусть и... одиночество, страшное, губительное для души одиночество, от которого страдают талантливые люди, «проходящие по обочине национальной культурной территории»... И мы, новое поколение, те самые «интеллектуальные и нравственные всходы», которым так нужен этот «дождь идей и исканий», стараемся всеми листиками, всеми порами впитать его, чтобы поросль была сочная, зеленая, здоровая...

Читаю дальше... Шаг за шагом, от главы к главе все нарастающее чувство растерянности. Сначала воодушевление: «Мы можем переменить узор ковра». Именно этот заголовок — жизненный девиз большинства думающей и переживающей за свою страну молодежи сейчас. То же самое ведь было и в 60-е годы с так называемыми «шестидесятниками», к которым принадлежал и Дедков. Получается, что мало изменилось с тех пор — мы так же, как тогда и они, стремимся изменить сложившуюся реальность («узор ковра»),

добавить в нее светлые и яркие краски того самого вожделенного времени, той самой «звезды пленительного счастья», восхода которой так ждали, ждут и, наверное, будут ждать разные поколения. И в 1980–1990-е годы такие люди, как Игорь Дедков, хотели, чтобы это время настало, хотели максимально приблизить его — и в этой спешке и всепоглощающем желании быстро изменить все, разрушить все старое и построить новое, не обратили внимание на маленькую деталь — а что строить, какую реальность они хотят получить? Ведь, сметая старые политические институты, старую власть, нравственные принципы, традиции и установки, не так-то легко изменить, разрушить, стереть и заменить их новыми… Из этого и «реальный социализм»: «власть отвратительна, как руки брадобрея», и «перестройка»: «великая затея пошлеет на глазах», и «эпоха реформ»: «черная жижа свободы»… В чем же проблема? Почему, если становилось ясным и понятным, что задуманное идет по неправильной колее, — почему нельзя было повернуть эту колею в нужном направлении? Не хватило сил? А, может, рельсы уже прогнили? Или машинист (я имею в виду тех, кто стоял тогда у власти) был равнодушен к пассажирам, которые, даже чувствуя что-то неладное, не имели какой-либо возможности изменить направление движения, и думал лишь о том, как побыстрее добраться к *себе* домой? А ведь нужно, чтобы поезд не сбивался с намеченного пути, все пассажиры четко знали, что они приедут именно туда, куда намеревались, что машинист, опытный, серьезный, благоразумный и, самое, главное, осознающий, что в его руках находятся тысячи жизней, вел состав уверенно и не дрогнул перед препятствием. Вот это Григорий Григорьевич, и я с ним полностью согласна, и называет, на мой взгляд, соразвитием, которое подразумевает гармоничное сочетание нравственного и политического, постепенные, ***осознанные*** и ***продуманные***, изменения существующей реальности для достижения наибольшего благосостояния. Но что, на мой взгляд, крайне важно: действительно ли эти изменения должны осуществляться самими гражданами в рамках так называемой «низовой», массовой демократии? Этот вопрос отнюдь не нов, и великие философы, мыслители, начиная с Платона, пытались найти на него ответ. И одним из возможных решений этой древней загадки представляется мне процесс циркуляции элит, предложенный Моской и Парето. И вся трагедия российских реформ 1980–1990-х гг. и заключалась, как мне кажется, в том, что строй изменили, а вот элиту-то — нет. Соответственно и методы решения вопросов управления страной, нравственные принципы остались старыми. Поэтому и «ощущение беспомощности нарастает», и «раз за разом огни страстно желаемой свободы оказываются, при ближайшем рассмотрении, гнилушками, тускло светящимися на кочках бесконечного, уходящего за горизонт болота». А нужно было «быть реалистами, требовать невозможного!» Игорь Дедков был именно таким «реалистом», но он, как маятник, качнулся далеко вперед и там остановился, не вернувшись назад, в существующую реальность. Он не завершил начатое, не разработал свою нравственно-политическую концепцию до конца, применительно к сложившейся действительности, отчаялся на полпути.

Как-то на семинаре Григорий Григорьевич говорил нам, что поворотные исторические события — как маятники, раскачивающиеся сильно вперед (намного сильнее, чем это требуется и **возможно** в сложившейся ситуации), которые, по возвращении, именно благодаря такому далекому продвижению и позволяют всему обществу как бы перетечь в другое состояние, более близкое к тому самому «счастливому будущему», к соразвитию.

Игорь Дедков был одним из таких маятников, который в решающий для страны момент смог прорваться к недосягаемым нравственным высотам… Только жаль, что он «рано вышел, до звезды…»

***Маша Самохина*. Как будто бы это написано мной**

С самого начала хочу честно признаться, что у меня никак не хватало времени сесть и прочитать Вашу работу «Реквием». Это происходит оттого, что из-под горы книг, которые нам следует прочитать, чтобы выполнить самостоятельные домашние задания, практически невозможно выбраться. Да-да! Нет, только ни в коем случае не думайте, что я не люблю читать или что-нибудь еще в этом роде. Отнюдь. Я очень люблю читать. Более того, и книги покупаю регулярно, разные книги, интересные книги, в том числе и из магазина «Глобус» (что на Лубянке); а иной раз вдруг наткнешься в бабушкином книжном шкафу на какую-нибудь запыленную занимательную книжицу, отложишь ее себе на десерт, на сладкое и подумаешь: «Сначала мне еще вот то, то и то надо прочитать, ну а потом и за это сяду, в последнюю очередь». И уже предвкушаешь, в голове жужжит рой каких-то бессвязных, но волнительно-приятных мыслей о том, как много новых дум родит в голове каждое вновь прочитанное произведение. Люблю это состояние. Вот только читать книги в свое удовольствие или как я это называю «для себя» в последнее время мне совершенно некогда. Только выберешь день, только приготовишься, нет, обязательно опять нагрузят большим рефератом, докладом, переводом по одному из трех изучаемых мной иностранных языков. И вновь откладываешь до следующего раза. А кипа книг на моей кровати все увеличивается, здесь есть и книги «для себя», и книги для занятий. Лежат они в аккуратных стопочках и ждут своего часа. И на полу тоже стоят стопочки книг, лежат папочки с ксерокопиями особенно редких изданий, которые в библиотеке домой не выдают. Одни из них уже весело разноцветные от моего незаменимого друга в чтении учебной литературы — маркера, другие пока еще наполнены серой и однородной массой букв, которые дожидаются, когда же очередь дойдет и до них.

Так вот, именно поэтому у меня никак не получалось сесть и прочитать «Реквием». И так уже глаза болят, хочется спать… Но все же вчера ночью на меня вдруг нашло какое-то вдохновение и я поняла, что момент настал и пришло время прочесть это произведение. Весь дом спал, ну а я, Ваша книга и настольная лампа продолжали бодрствовать.

Сразу скажу, вступление или даже скорее лирическое отступление (что-то в нем есть от знаменитых лирических отступлений Пушкина в романе

«Евгений Онегин») мне очень понравилось. Живое, легкое, искрометное, яркое, наполненное простыми и понятными образами. Но вот то, что было дальше, в несколько раз переросло все мои даже самые смелые ожидания. Мне вдруг показалось, что я читаю свое собственное произведение, да-да, именно то, которое я так хотела написать, которое так часто и подолгу обдумывала. Господи! Да здесь же все мои мысли, только мне не хватило смелости выразить их на бумаге. Кажется, совсем недавно я обсуждала все это со своим другом, как тему «Мои вопросы к истории». Признаться, набралось немало материала, вот только написать ту работу у меня тогда не хватило времени (наверное, писала очередное сочинение по французскому или по испанскому, а может, учила право? — не помню.) Одним словом так это и осталось лишь в моей голове.

И вот произошло удивительное, почти чудо. Должна сказать, что очень сложно передать свои чувства, когда ты вдруг читаешь в чьей-то работе свои собственные мысли. Возникает не то дежа-вю, не то гордость. Трудно сказать, но одно могу заметить точно, чувство это очень приятное. Ты вдруг очень сближаешься с автором статьи. Вы как будто становитесь роднее, ведь наши мысли — это самое личное, самое потаенное, что у нас есть. Это так здорово, когда кого-то еще посещают такие же мысли, как и тебя, а, может, и тебя, как кого-то еще. Так вот, я была приятно удивлена таким совпадением.

***Ангелина Браун*. По Гамбургскому счету**

Прослушав вступление к Вашей книге, которое озаглавлено, если я не ошибаюсь, «Реквием», я захотела выразить появившиеся тотчас же при прослушивании эмоции. Это, можно сказать, отклик одной из тех «дикарей», которым и посвящена данная книга.

Но что сразу привлекло мое внимание и вызвало желание слушать, это — очень уместный эпиграф, заимствованный у Пушкина: «Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек...». Как я поняла, «черный человек» — это те самые вопросы к истории, которые так волнуют, не дают покоя, вопросы, на которые нет однозначного ответа. Например, Вы ставите вопрос, куда завело нашу страну, наш народ то самое «единственно верное», «единственное научное» учение — коммунизм. Этот вопрос, признаться честно, волнует и меня, то есть современное поколение, а это значит, что вопрос актуален и по сей день, и именно поэтому привлекает внимание современного слушателя.

Да, именно **слушателя**. Интересно, что Ваш текст легко воспринимается на слух. Возможно, благодаря множеству легко запоминающихся деталей, отступлений. Вот я, например, отметила, что отступления (всевозможные рассказы о Ваших друзьях, о некоторых примечательных фактах, событиях из прошлого, как та интересная история о Ленинской библиотеке, о том, как тяжело доставали интересующие Вас книги) «облегчают» текст, делают его легким для восприятия.

Еще мне понравилось, что во Вступлении описана живая жизнь, приметы времени. Например, такая ремарка, как «вот только что вышел из мага-

зина «Глобус», что на Лубянке» и подобные ей заметки, приблизили текст к реальности, опять-таки сделали его легким для восприятия.

Помимо подобных отступлений и интересных заметок, мое внимание привлек язык, которым написано это Вступление. Он очень емкий и насыщенный различными метафорами. Более всего мне запомнились «ядовитые цветы сталинизма» и «грызущая критика мышей» («грызущая критика» — это, Ангелина, не мое, это — из Маркса — *Г.В.*).

Возможно, мой отклик покажется Вам инфантильным, но он написан по Гамбургскому счету, так как пишу его по «свежим следам», что называется, пишу все, что пришло на ум в момент прослушивания.

***Асмик Назарян*. Мое «прошлое» и настоящее**

Дружба, стремление к знаниям, футбол, великие Маркс, Гегель, Кант, «Ленинка» — такие разные вещи, но так живо описанные во введении к Вашей книге, что, кажется, это я была тогда с Вами, и я бродила по полю, слушая декламировавшееся наизусть творение немецкого философа, и я сидела в библиотеке, пытаясь запомнить не допущенные до широкого читателя произведения, и я, разбираясь в сложных немецких «энтфремдунгах», листала толстые словари с тем, чтобы найти наиболее точное определение...

Действительно, хоть я и не жила в то время, время «шестидесятников», но все же после Вашего чтения я настолько глубоко погрузилась в ту атмосферу, что, казалось, все это происходило со мной. Очень необычное введение для книги — складывается впечатление, что Вы просто сидите рядом и рассказываете, рассказываете... А информации и впечатлений так много, что порой не успеваешь за Вами, хочется еще раз прочитать, прокрутить назад услышанное, чтобы в полной мере прочувствовать каждую строчку и каждое слово... Мне очень понравилось, что первое впечатление о книге я получила именно, когда **ВЫ** сами нам ее прочитали, потому что Вы расставили акценты так, как Вы хотели, так, чтобы выделить мысли, важные для **Вас**. С другой стороны, возможность перечитать и по-своему оценить и осознать — одно из главнейших преимуществ книжного жанра. Поэтому, запишете ли Вы книгу на диск или же ее будут просто читать, — не самое главное. В любом случае впечатление того, что Вы ведете с читателем спокойные беседы за чашечкой кофе или чая, иногда разгоряченные споры в аудитории или же излагаете серьезные рассуждения и задаете вопросы, на которые нам самим предстоит ответить, все равно сохраняется.

Мне действительно очень нравится этот спецкурс, и я бы хотела, чтобы Вы и дальше читали нам отрывки из своих книг, статей, произведений.

***Яна Сопчук*. В поисках Смысла и Истины... происходящего**

Передо мной на столе лежит «Реквием» Водолазова Григория Григорьевича. На тринадцати, всего тринадцати печатных страницах разместились и размышления, и вопросы, и воспоминания о его студенческих годах. Автор, рассказывая о личном, приближает к себе читателя, как бы говоря: «Я делюсь

с тобой, мой дорогой читатель, очень ценным, личным, но это для того, чтобы ты понял меня, осознал, почему меня интересуют именно затронутые здесь вопросы, а не какие-либо другие. Я делюсь с тобой, читатель, но и ты, пожалуйста, проникнись всей душой, читая это». По крайней мере, именно так я почувствовала автора, восприняла его стиль, слова, повествование. По мере чтения «Реквиема», в моей голове всплывали различные исторические факты, некоторые мнения людей, которые я слышала по возникающим вопросам, и все это помогло мне представить как бы общую картину, которая и сложилась у меня по окончании чтения. Очень хочу особо выделить те моменты, которые запомнились мне больше всего, которые показались мне наиболее интересными и, конечно же, наиболее актуальными.

«...И пока не было их перевода, ночами напролет, со словарем, ползали ... по этим его «Тетрадям»..., видя в этом, открытом нами, различии глубочайший смысл... рождались ряды новых, удивительных, далеко идущих философско-социологических «открытий»... Эвальд расскажет нам, почти наизусть, свой любимый роман Оруэлла «1984» (конечно же, не переведенный, конечно же, подпольный)...». ...Вот, вот, вот, ну, почему сейчас молодежь не увлекается философией, утопическими рассказами, трудами классических мыслителей? Почему студенты не сидят ночами напролет, читая взахлеб Маркса, Канта, Гегеля, Фихте? Потеряли ли актуальность и значение труды этих великих людей в наше время? Мой однозначный ответ — нет! И все же только единицы студентов изучают эти труды по собственному желанию, ради собственного интереса и жажды познания, а не потому, что завтра на семинаре по философии или истории политических учений об этом будет спрашивать преподаватель и студенту придется что-то отвечать.

Хотя, а не парадоксально ли это? Ведь Григорий Григорьевич делится с нами, представителями молодого поколения, уже, конечно, не заставшими тех времен, когда надо было и в «спецхран» проникать, и выкручиваться, выдумывать, исхитряться, чтобы получить хоть какую-нибудь из «вражеских книг». А сегодня... Троцкий, Бухарин, Бернштейн, Лефевр, Маркузе, Сартр — все произведения этих мыслителей в открытом доступе. Библиотеки МГИМО, МГУ, городские библиотеки, огромные книжные магазины — кажется, что все только и предназначено для того, чтобы люди погрузились в чтение этих томов, которые так долго были под запретом, так долго не разрешались. И почему так? Неужели просто потому, что «запретный плод сладок»? То есть пока было очень тяжело, почти невозможно достать книгу, чтобы прочесть хоть пару страниц, молодежь тянулась к изучению философии, а как только все произведения появились на прилавках книжных магазинов, интерес упал? Нет, не думаю, что все так просто. И *не потому*, что уже столько написано рецензий, откликов, критики, различных статей, что каждому кажется, что всех классиков уже другие авторы интерпретировали по-разному и для себя самого уже в первоисточнике ничего нового не откроешь. Нет, как раз-таки совсем наоборот. Бери книгу, погружайся в мысли автора, и станет ясно, что каждый по-своему воспринимает написанное. Но беда нашего общества,

которое живет компьютером, Интернетом, деньгами, личными выгодами и минимальным интересом к Книгам, книгам с большой буквы, а не к мягкообложной Донцовой или Марининой, в том, что мы разучились работать с Книгой, любить Книгу, учиться у Книги.

«И все же ... центром, солнцем, вокруг которого вращалась вся наша молодая, разнообразная жизнь, была Книга и связанный с ней поиск смысла, ***Истины***... происходящего»,—вот о чем пишет Григорий Григорьевич. Вот к чему он хочет устремить желания и страсть нашего поколения.

Нельзя было не задуматься и над «философской сказочкой» Льва Толстого, которая была в «Реквиеме»—«...и пошел, побежал мужик—больше, больше прихватить ... так и несся наш мужик дальше—и упал с последним лучом солнца, и, уже лежа, из последних сил, потянулся, чтобы еще горстку чернозема в ладонь зацепить». Не кажется ли вам это знакомым? Да это же наша жизнь. Жизнь, которую хотят прожить люди XXI века. А, может, и не хотят, может быть, условия, окружение, вся та атмосфера, в которой мы рождаемся, взрослеем, становимся «людьми», просто подталкивает нас двигаться всегда в таком бешеном ритме. Человек, как только что-то заполучает, приобретает, завоевывает, хочет еще большего. А потом еще, И еще. И так до конца...Подождите. Каков он будет, этот конец? По-моему, конец у человека будет таким же, как у мужика из этой «сказочки». К сожалению, мы свидетели того печального факта, что крупные, успешные бизнесмены, олигархи, политики очень часто уходят из жизни не в престарелом возрасте, в окружении любящей семьи, а молодыми, а иногда—насильственной смертью. Да, мы все умираем. Умираем очень рано. Еще задолго до того, как нас хоронят и оплакивают родственники. Мы умираем в процессе этой погони, этой суеты, этого постоянного желания «иметь ЕЩЕ». В каждом погибает Человек, испаряется наше духовное начало, наши моральные ценности. Не для того ли, чтобы мы над этим задумались, автор описал «сказочку» Л. Толстого в своем произведении?

Также я считаю, что прав был Гегель. Прав был в том, что единственное, как он говорил, чему учит история—это то, что она ничему не учит. И Г.Г. Водолазов выделяет тот факт, что в истории имеется огромное количество примеров, подтверждающих гегелевские слова, но, несмотря на это, «каждое следующее поколение берется опровергнуть пессимистические формулы Сократа и Гегеля...», но я этого не замечаю. Не замечаю ни на примере нашей страны, ни на примере других великих государств, правители которых, не используя богатый исторический опыт страны, если и не губят ее, то уж точно приводят в упадок ее территории или экономику, или общество. И, может быть, смешно или банально, но я считала и считаю, что на федеральном уровне в нашей стране, в Государственной Думе, в администрации президента, на руководящих постах многих министерств должны стоять люди с гуманитарным образованием, юристы, доктора исторических, философских наук, а не бизнесмены, не читавшие в жизни ни одного труда по истории и философии. Только, может быть, в этом случае мы научимся извлекать нужные

уроки из нашей многовековой истории, учиться на теориях великих мыслителей и начнем управлять нашей страной в соответствии с ними.

Нельзя обходить своим вниманием ни Сократа, ни Платона, ни Аристотеля, ни Цицерона, ни Августина, ни, конечно же, Макиавелли, Гоббса, Локка, Руссо, Монтескье. «Но — опять! — нырять в колодец времени, на самое дно, а потом снова, как сотни твоих предшественников, карабкаться наверх по его заплесневелым стенкам? ...Да — снова, да — на самое дно! Придется! Что поделаешь! Мыслители нашего поколения уже пытались сэкономить время и силы, обойтись лишь «необходимым минимумом усилий»: начать свое корректирующее движение с последних и предпоследних ступеней: С Ленина и Маркса. Не получилось! Мал разбег и узок горизонт!». Конечно, так, и только так. История не перескакивала через саму себя. Она развивалась постепенно, переходя от одного этапа к другому. Так почему же мы, изучая ее, можем начинать не с первейших государств-полисов, их развития, краха, возрождения, появления первых философско-политических теорий и социальных систем, а только — с XX века? Нет, так мы ничему не научимся.

Еще очень многими своими мыслями, которые появились после прочтения «Реквиема», я бы с удовольствием поделилась с Вами. Но, придерживаясь избранного мной формата, завершу эти свои «Заметки на полях рукописи», свой отклик на «Реквием» Водолазова Григория Григорьевича.

Спасибо Вам за то, что пишете. Это нужно и важно мне, моим однокурсникам, всему нашему поколению. Обещаем учиться и поступать так (а, может, и руководить страной так), чтобы нами гордились наши преподаватели, наши родители, наши дети.

***Ангелина Браун*. Чтобы не обрывались цепочки мыслей**

«Ни с теми и ни с другими» — так называется статья, посвященная Игорю Дедкову и его нравственно-политической философии. Стыдно признаться, что до того момента, как мне попала в руки эта статья, я ничего не слышала и не знала об этом человеке, о его жизненных взглядах и глубокой душе...Вот уж справедливо замечено: «сравнительная скромность известности такого человека не соответствует масштабу дарования...»Теперь же, мне не только хочется прочитать его книги, статьи, размышления, а увидеть его самого, поговорить с ним. Мне кажется, общение с такими людьми обогащает и развивает. Вот только жаль, что теперь это уже невозможно.

Думаю, Игорь Дедков прошел через многие жизненные испытания, и именно поэтому он так хорошо разбирался в жизни.

Возможно, это покажется странным, что я с такой уверенностью говорю об этом человеке, совершенно не зная его. Говоря так, я опираюсь на его философию...ведь философия — это правила и законы, по которым живет человек. Те моральные принципы и установки, которые определяют его действия и поступки. Философия же Дедкова очень нравственна и глубока. Этот человек не просто жил, он пытался изменить мир к лучшему, пытался показывать жизнь такой, какая она есть, без прикрас, пытался в ней разобраться

и помочь через свои статьи разобраться в ней и другим людям. ОН не молчал, когда от него требовали молчания, отстаивая те идеи и принципы, которые были близки простому народу, а не правящей верхушке. Для этого человека были святы интересы и права личности. Он знал, в человеке личность никогда не проснется, если ее топтать и подавлять, заставляя идти против своей воли, но во благо государства. Ведь не люди живут ради государства, а государство создано людьми для воплощения в жизнь их идеи и интересов. Маленькие, затравленные люди никогда не создадут сильное, Великое Государство, Державу. И это понимал Дедков, прекрасно осознавая, что политика не может быть нравственной....Но вот парадокс. Зная все недостатки и изъяны политики, он все же не мог бы жить без нее, говоря: «Политика, мне бы тридцать лет назад в тебя кинуться...». Лично я увидела в этих словах горечь и досаду, будто жалел Дедков, что многого сделать не успел, много еще не сказал и не донес своих идей до людей. Значит, было еще что сказать. Значит, верил и знал Игорь Дедков, как изменить мир к лучшему.

Меня очень заинтересовала философия этого мыслителя — нравственно-политическая. Дедков обратился не к элите, а к человеку, каких много, он пытался посмотреть на мир политического «с другой стороны улицы», где живут простые люди со своими печалями и проблемами. Для философа очень важно было правильно подметить субъекта этой жизни. И Дедкову это удалось. Удалось потому, как мне кажется, что он переживал все через себя, он всю эту «другую сторону жизни» старался прочувствовать. Исходя из своих человеческих позиций, Дедков устраивает «Человеческий суд эпохе». В чем заключается этот суд? Возможно, в поиске справедливости для всех, которой так не доставало той эпохе, в которую жил философ. Он с детства видел, как ломались и топтались судьбы людей, «сколько ушло их времени, их жизней». Возможно, именно поэтому социальная реальность представлялась ему «мясорубкой, прокручивающей сквозь себя людей». Думаю, справедливо в статье отмечено, что Дедков родился немного в неподходящее для него время. Он хотел увидеть справедливость в обществе и в отношениях между людьми, а видел все не то, все другое; даже перестройка не оправдала его ожиданий. Он искал Свободу, живя в несвободное время, в несвободном государстве и видя то, чего видеть не хотел бы, всегда стремился что-то улучшить, что-то изменить...

Читая статью о Дедкове, я задумалась не только о нем, как о личности, и его философии, но и о том, как **необходимо, чтобы цепочки мыслей и идей таких великих людей не обрывались после их смерти, а, напротив, развивались и дополнялись последующими поколениями. Для человечества очень важна «связь веков».** А это возможно лишь, если дела, начатые нашими предками, будут завершены нами, молодыми и амбициозными, пришедшими на их место, так же, как и когда-то они, желая что-то изменить и улучшить. Для этого надо в первую очередь знать этих людей, пусть даже не в лицо, а через их статьи и книги. Думаю, сами они творят, желая, чтобы их мысли были поняты молодежью, а дела, незавершенные ими при жизни, завершены кем-то после них.

Не буду писать много... Думаю, это основное, что хотелось сказать после прочтения статьи. Возможно, со временем, когда я прочитаю ее в более зрелом возрасте, то обращу внимание на другие важные моменты...это всегда так: сначала читаешь, видишь один смысл, читаешь позже, обращаешь внимание на другие мысли и идеи, над которыми как-то не задумался раньше.

Андрей Бардин. **Мои мысли после прочтения «Реквиема»**

Не далее как на прошлой неделе мы с моим лучшим другом Андреем обсуждали, как всегда, жизнь — проблемы, успехи, радости и неудачи. И как всегда, недоумевали, как же могут пригодиться нам многие вещи, которые мы изучаем в институте, в этой реальной жизни. Не для работы, а для познания ее сути, «смысла». Ведь есть же нечто неуловимое, которое вокруг нас, всегда с нами. Мы этого не видим, не понимаем, обходим стороной — а оно не просто есть, а воплощает смысл всего происходящего, некий всеобщий закон, написанный на непонятном нам языке, стеклянный шар на дне озера, неуловимый для мимолетного взгляда. Мне кажется, такая вещь все-таки существует, иначе не было бы всех последствий этого закона, тех попыток его разыскать, нащупать на дне водоема и вытянуть оттуда, подняв фонтан брызг и напугав мирных обитателей. Миллионы людей в разные времена задавались мыслью об этом, а интеллигенты и глубоко рефлектирующие люди — тем более. Проблемы законов природы, общества — то, что нам ближе всего. Поэтому философия и политика — мои любимые предметы, они заставляют глубже задумываться над жизненными вопросами, больше всех приближаются к постижению тайн.

Говорят, что в МГИМО готовят отличных специалистов-международников. Раньше я думал, что нас будут учить только языкам, политической теории и разным методам исследований. Очень интересно, что на втором курсе у нас появилась возможность выбрать в качестве факультативного предмет «Мораль и политика», который ведете Вы, Григорий Григорьевич. Это мы с друзьями и сделали, записавшись почти всей группой к Вам. На семинарах у нас появилась возможность обсудить животрепещущие проблемы, поднять разные вопросы — от толкования истории до судьбы нашей страны, прочитать работы разных авторов о морали в политике. От Вас, как от очевидца многих событий, мы услышали подчас шокирующие подробности о событиях во времена СССР и о тех нечеловеческих трудностях, которые Вы преодолевали вместе со своими друзьями. Все это произвело на меня глубокое впечатление. Сейчас передо мной лежит Ваша статья — «Реквием». Кое-что из нее Вы уже нам зачитывали, теперь я дочитал ее до конца и хотел бы выразить свои мысли по этому поводу.

Должен сказать, что читать было очень легко и интересно! При этом темы затронуты очень сложные. Например, вопрос о наличии предпосылок для сталинизма в ленинском и марксистском учениях, о причинах исторических ошибок, в результате которых государства оказываются повержены в пучину насилия и ненависти. Вы говорите о Робеспьере. Должен признать, что не

знаю, как подступиться к этим вопросам. Наверное, не хватает опыта. Могу лишь предположить, что корни этих проблем, возможно, лежат в сфере психологии людей. Ведь когда человек принимает какое-то решение, и осуществляет его, он снова часто оказывается недоволен результатом, после чего отчаивается в своем творчестве. И тут творить начинают другие, и так далее. Но у людей могут быть разные цели и мнения, и в результате они начинают противоречить друг другу, что выливается в конфликт, который влечет за собой самые разные, порой тяжелые последствия. В 1917-м царя свергли, что сопровождалось кровавыми побоищами, волны ненависти и насилия захлестнули страну. Режим поменяли, долго выкорчевывая корни старого, переписывая все заново, забыв о многих традициях и о Церкви, ударившись в политическое строительство. Вы говорите, что структура учения Маркса изначально была иной, нежели тот результат, который получился в нашей стране после ее воплощения, тем более после его перекроек сталинистами, что истоки ошибки — в отсутствии правильной ревизии марксистской парадигмы. Думаю, так и есть, и кроме того, думается, здесь сыграли роль и другие факторы. Это упадок культуры и веры, на мой взгляд. Люди у руля были большей частью бездуховны и рассержены на мир, не задумывались о последствиях поступков и судьбах других. Вкупе с использованием власти для укрепления своих позиций это дало то, что произошло. Как я уже отметил, редко выходит толк из решения «сломать-построить», нужен структурный интегральный подход. Эта мысль есть и у Вас. К сожалению, люди — всего лишь люди, и часто следуют совсем другим мотивировкам и ведут себя слепо, действуя по ситуации и спасая лишь свою шкуру. У них нет времени и желания что-то обдумывать и планировать. А большая часть народа ждет своей участи, не имея ресурсов, образования или инициативы для участия в жизни страны. Я имею в виду, в том числе, и тогдашнюю Россию. Да и сейчас большинство народа у нас не имеет представления, что же на самом деле творится «наверху». Все условия для того, чтобы решить за них, как им жить. О морали в этом случае говорить, конечно, не приходится, только о жесткой политике. О грязной, страшной политике. Наш долг — не допустить этого снова. Хочется верить, что эта ошибка длиной почти в век научит нас многому.

Как же быть? Думаю, нужно развивать культуру и ценить веру. Я уже говорил об этом. Общество с высокими и стабильными социокультурными переменными менее подвержено кризисам и ошибкам такого рода, о каких Вы рассказываете в «Реквиеме». Нужны крепкие механизмы государственных институтов, налаженные каналы взаимодействия масс и власти, достаточная степень представительства в выборных структурах. Звучит соблазнительно. Почему же у нас этого всего нет?.. Видимо, нужно пройти через все испытания, чтобы получить опыт и умение построить лучшее государство. Не перекраивая, а будучи садовником.

В «Размышлениях» Вы поднимаете вопрос о том, не напрасно ли проведена такая работа, прочитаны сотни книг... Конечно, нет! Вклад каждого человека нужен, только так можно прийти к чему-то лучшему и светлому,

только если учитывать мнение всех, можно уладить конфликт, только сообща можно построить дом, только изучая опыт друг друга можно научиться чему-то. Вы делитесь с нами опытом, а мы с Вами, и мы все становимся на новую ступеньку. И так — во всей стране, во всем мире. Вспомним и Гегеля, и Канта, и Маркса, и Макиавелли — они многое сумели оставить нам. Жизнь коротка, но ярка, и грех не пытаться сделать ее лучше — не стоит упускать такую возможность. Нужно верить в лучшее, как ни наивно это может прозвучать. Просто потому, что человек способен на многое, очень многое. Мы должны научиться еще и слушать друг друга — тогда у нас есть шанс. Вы донесли до нас идею «поколения 60-х», рассказали о его жизни, проблемах и мечтах. Я с интересом читал о ярких характерах Ваших друзей, в ужасе замирал при словах «расстрелы», «репрессии»... Как же непросто было жить.... Нельзя допустить такого снова, нельзя. Хорошо, что связь поколений есть, что она работает. Мы, в свою очередь, постараемся подхватить этот опыт и учесть его. Спасибо Вам за это.

Спасибо, ребята! Позвольте и мне сказать вам в ответ: «Когда в будущем вам придется оказываться на развилке жизненных дорог перед нелегким выбором «своей колеи», вспомните, о чем мы говорили, о чем писали друг другу на наших семинарах, вспомните вечера в Центральном Доме литераторов, посвященные памяти Игоря Дедкова и Юрия Буртина, где мы с вами окунались в атмосферу абсолютной нравственной чистоты. Память обо всем этом, я уверен, поможет вам сделать выбор, за который вам не будет стыдно ни перед людьми, ни перед самими собой.

* * *

Один очень мудрый человек однажды заметил: Прогресс во всей протекшей человеческой истории был подобен тому языческому Идолу, который не желал пить нектар иначе, как из черепов убитых. Нектар Прогресса — и черепа убитых. Именно так. Именно такой была Парадигма прогресса человеческой истории.

Я надеюсь, что XXI век, если мы будем достаточно умны и активны, найдет иной, более адекватный для «нектара прогресса» сосуд. Сосуд, основные материалы для производства которого замешивались две с половиной тысячи лет назад — в сократовской философии.

В общем — **Вперед к Сократу, друзья!**

Григорий Григорьевич Водолазов
Идеалы и идолы
(мораль и политика: история, теория, личные судьбы)

Главный редактор издательства
И.А.Эбаноидзе
Дизайн, подготовка иллюстраций и верстка
И.Э.Бернштейн
Корректор
Е.Л.Павлова

Подписано в печать 21.09.2006. Формат 70×100/16.
Бумага офсетная № 1. Гарнитура CharterC. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 54. Тираж 3500 (1-й завод — 1800). Заказ № 5136

Издательство «Культурная революция»
Адрес: Москва, ул. Мясницкая, д. 9/4, стр. 1
Телефон/факс (495)6218471
E-mail frederih@mail.ru

При участии ООО «ПФ «Сашко»

Отпечатано в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14



Воспроизведенную на переплете старую фотографию извлек их моих архивов художник-оформитель этой книги. Он посчитал, что фотография передает ее дух.

Да, на ней нет Сократа, Платона, Аристотеля, Макиавелли, Канта, нет и моих друзей-шестидесятников Эвальда Ильенкова, Юрия Буртина, Лена Карпинского, Игоря Дедкова, Игоря Клямкина, об идеях и судьбах которых рассказывается в книге. На этом фото нет ничего, что *прямо* иллюстрировало бы ее содержание. И тем не менее… Это — мимолетно схваченный лик нашей страны и нашего народа — советской страны и советского народа. Это — глубинка, северный Казахстан, село Викторовка Кустанайской области. 1950-й год.

Вглядитесь. Вон оно, кумачовое полотнище — празднуется 33-я годовщина Октябрьской революции, по замыслу — великой *народной* революции, воплощающей в жизнь Идеалы человечества — свободу, равенство, братство, материальное благополучие. А вон, на портретах, — люди, формулировавшие и обосновывавшие эти высокие цели, — Маркс и Энгельс. Рядом с ними — человек, взявшийся за реализацию этих идеалов, — вождь Октября Ленин. И — Сталин, при котором Идеалы обернулись жестокими и кровавыми Идолами.

В самом низу — те, для кого и во имя кого делались все великие революции. Принарядились по случаю праздника, надели лучшее, что имели: кургузые валенки (в начале-то ноября!), видавшие виды пальтушки́ и телогрейки, пожамканные шапки и картузы́. Половина из них не по своей воле приехала в это забытое богом село: кто — потому что ингуш, кто — потому что немец, кто — потому что «враг народа» или член его семьи. Завтра они пойдут в сельский отдел МГБ «на (ежемесячную) отметку». А сейчас, после речей на «правительственной» трибуне, они растянут меха своих аккордеонов, поднесут к губам трубы — и грянут пролетарский гимн, под звуки которого и пройдут перед трибуной «колонны трудящихся» этого замечательного села.

Между Портретами и Полотнищем — великие люди Викторовки. Номенклатура, благодетели народа. «Благодать» (просто физически видно!) перетекает к ним с портретов вождей.

Справа от трибуны — не вошедшая в кадр наша милая викторовская школа с первоклассными («контрреволюционными») учителями, которые сделали бы честь и столичным школам. А слева (тоже за кадром) — переделанный из церкви (посшибали кресты и купола!) — клуб. Там я, двенадцатилетний, выходил на сцену и читал симоновский «Митинг в Канаде», звонко выкрикивая в зал: «Россия, Сталин, Сталинград…». И зал отвечал аплодисментами. А в третьем ряду сидел мой отец (кстати, один их тех «контрреволюционных» учителей), прошедший к тому времени не один лагерь и не одну ссылку…

И самая важная деталь фотографии: фигурка человечка у подножия Высокой Трибуны. Это — маленький казашонок Сапаш. Как бы отдельно от всех. Символ будущего. Каким-то будет оно? Как-то сойдутся там, на жизненных путях, Идеалы и Идолы. Кто кого одолеет? И каково будет там, в Будущем, этому маленькому человечку?

Именно обо этом — моя книга.

Григорий Водолазов

ISBN 5-250-05999-6

9 785250 059992

идеалы *и* идолы

Григорий Водолазов